

Владимир (Зеев)
Жаботинский



ИНСТИТУТ ЖАБОТИНСКОГО В ИЗРАИЛЕ
(ТЕЛЬ-АВИВ)

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КОВЧЕГ»
(МОСКВА)

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ





ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. 1895

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ

том второй

**в двух книгах
книга 1**



**ПРОЗА
ПУБЛИЦИСТИКА
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
1897—1901**

УДК 821.161.1-31 / - 32
ББК 84 (2 Рос=Рус) - 44
Ж12

**Издание осуществлено при спонсорской
поддержке Фонда Михаила Черного**

Редакционный совет:

Йоси АХИМЕИР, Ирина БЕРДАН, Михаил ВАЙСКОПФ,
Борух ГОРИН, Феликс ДЕКТОР (*гл. редактор*), Леонид КАЦИС,
Вольф МОСКОВИЧ, Дмитрий РАДЫШЕВСКИЙ (*председатель*),
Александр ФРЕНКЕЛЬ (*зам. гл. редактора*)

**Составление и общая редакция
Феликса ДЕКТОРА**

**Предисловие
Леонида КАЦИСА**

**Примечания
Ирины БЕРДАН**

ISBN 978-985-436-571-8 (т. II, кн. 1)
ISBN 978-985-436-550-3

© Дектор Ф., составление, 2008
© Кацис Л., предисловие, 2008
© Бердан И., примечания, 2008
© ООО «МЕТ», оформление, 2008

ОТ РЕДАКЦИИ

В первую книгу второго тома ПССЖ¹ вошли (в хронологической последовательности) все известные нам произведения Жаботинского, опубликованные в периодических изданиях 1897—1901 годов², за исключением стихов, пьес и переводов (они составляют отдельный том), а также нескольких корреспонденций³, послуживших набросками для будущих рассказов⁴.

В конце каждого текста приводятся сведения о его первой публикации — фамилия или псевдоним автора, название газеты (журнала) и дата выхода в свет (по старому стилю). Если публикация сопровождалась указанием на место и дату написания, то эти сведения вынесены в начало текста.

Постраничные сноски, отмеченные звездочкой, принадлежат автору; пронумерованные арабскими цифрами — редакции ПССЖ.



Коллектив редакции благодарит за дружескую помощь Ирину Любавину, сделавшую ряд ценных замечаний при подготовке книги к печати, и Григория Ротенберга, предоставившего русский перевод иноязычных слов и выражений, значение которых может быть не известно современному читателю.

¹ Здесь и далее: ПССЖ — Полное собрание сочинений Владимира (Зева) Жаботинского в девяти томах.

² Работы этого периода, найденные незадолго до подписания книги в печать, см.: ПССЖ. Т. 2. Кн. 2.

³ Речь идет о трех публикациях в газете «Одесские новости»: «Studentesca. Из жизни русских студентов за границей» (19.03.1901), «Вскользь. Харчевня студентов. Из римских очерков» (14.12.1901) и «Вскользь» (31.12.1901).

⁴ См. рассказы «Диана», «Траттория студентов», «Via Montebello, 48» и «Белка» (ПССЖ. Т. 1. Минск, 2007. С. 453—495, 541—549).



Жаботинский-публицист

Публицистика Владимира Жаботинского, в отличие от его художественных произведений, впервые публикуется в объеме, который позволяет сказать, что мы действительно получаем о ней полное представление. Составители наиболее представительного собрания сочинений Жаботинского, вышедшего на иврите в 1947—1958 годах, не ставили перед собой задачу осветить российский этап деятельности лидера ревизионистского направления в сионизме, не говоря уже о полном переводе на иврит всех текстов Альталены. В тот период трудно было говорить о чрезмерной популярности взглядов Жаботинского и в новообразованном Государстве Израиль, и в остальном еврейском мире, достаточно слабо связанном с Россией, не говоря уже об СССР. За истекшие полвека ситуация в корне изменилась, но до сих пор еще никто не собрал все, что написано Жаботинским хотя бы только по-русски.

А между тем русский был первым и последним языком его творчества, начиная с гимназических статей в «Южном обозрении» и кончая посмертными публикациями на страницах харбинского «Гадегеля». Но если в первой своей работе Жаботинский рассматривает проблему школьных отметок в процессе воспитания юношества, то последние его статьи предупреждают мир о трагических последствиях все более и более назревавшей и в конце концов разразившейся Второй мировой войны.

Таков диапазон исторического контекста, не зависящего от воли отдельного человека. А вот биографический и мемуарный контексты, которые либо не зависят, либо, напротив, зависят как друг от друга, так и от автора, в случае Жаботинского совершенно не совпадают и принципиально расходятся. Вспоминая свои русские годы, Жаботинский не без гордости говорил, что работал честно, но описывать то время ему не хочется. Здесь, правда, надо помнить, что все поздние тексты Жаботинского так или иначе связаны с его борьбой за создание еврейского государства любыми средствами, включая, естественно, военные. А в этом контексте и литератур-

ные, и политические проблемы Российской империи к моменту написания мемуаров были уже неактуальны. Не были актуальны «русские» проблемы и для составителей вышеупомянутого ивритского собрания сочинений Жаботинского.

Казалось бы, что проще: собрать тексты Жаботинского и расположить их, например, в хронологическом порядке. Сделать это действительно можно и даже нужно. Однако следует помнить, что на этом пути нас будут ждать не только обретения, но и потери. Такому простому решению препятствует хотя бы наличие прижизненных сборников статей Жаботинского. И прежде всего его знаменитых «Фельетонов», переведенных на массу языков. (Не путать с сатирическим жанром советской прессы: во времена Жаботинского «фельетоном» называлась актуальная статья, напечатанная «подвалом», т. е. в нижней части газетного листа.) Кстати, у Т. Герцля тоже был сборник «Фельетоны», вышедший и по-русски с предисловием Жаботинского (СПб., 1912).

Два издания «Фельетонов» — петербургское (1913) и берлинское (1922) — существенно отличаются друг от друга. Они соответствуют как двум важнейшим периодам становления личности Жаботинского, русскому и эмигрантскому, так и двум этапам жизнестроительства автора: 1908—1913 и 1908—1922 годы.

Достаточно того, что первое издание было напрямую связано с событиями времен «дела Бейлиса», которое предшествовало краху Российской империи, отмечавшей в том же году 300-летие дома Романовых; а второе вышло в свет уже после того, как в итоге двух войн (Первой мировой и Гражданской) и двух революций в 1917 году не стало ни Российской империи, ни Романовых, ни той русско-еврейской среды, в которой вырос, сформировался и прославился Жаботинский. В 1922 году речь шла об издании «Фельетонов» в среде русской и русско-еврейской эмиграции, да и сам Жаботинский был уже далеко не просто ярким еврейским журналистом.

Вот лишь один пример различий между петербургскими и берлинскими «Фельетонами», который, однако, способен продемонстрировать всю тонкость работы автора как со своими старыми текстами при объединении их в книгу, так и, говоря современным языком, со своим имиджем. Первое издание завершалось статьей «Четыре сына», приуроченной к Песаху 1911 года, когда ни о каком «деле Бейлиса» еще и речи не было. Да и самого Бейлиса арестовали только летом. Тем не менее, именно Песах 1911 года разделил историю российского еврейства на *до* и *после* «дела Бейлиса». В 1913 году острополюемические статьи Жаботинского были очень памятны его читателям. Поэтому и напоминание о работе, посвященной русско-еврейским и иудео-христианским отношениям, было вполне уместно. Да и слово «ритуал» в последнем абзаце этой статьи, еще

не имевшее в 1911-м никакого «кровавоветного» оттенка и приобретенное его в 1913-м, выглядело как предсказание, пусть и бессознательное, будущих событий.

Понятно, что в 1922 году, девять лет спустя после оправдания человека, обвинявшегося в «ритуальном убийстве», было бы уже анахронизмом заканчивать сборник абзацем со словом «ритуал», столь важным в год процесса Менделя Бейлиса. Поэтому и состав берлинской книги — другой. Как другим стал и сам автор.

Однако и там, в Берлине 1922 года, оставались актуальными знаменитые статьи прежних времен — «Четыре сына» и «Вместо апологии», которые пережили непосредственный повод своего написания. Статья «Вместо апологии» тоже имела свой исторический контекст и в момент написания не предназначалась специально для будущей книги.

Даже в фундаментальной библиографии Минны Граур¹ эта актуальнейшая статья 1911 года фигурирует лишь в содержании сборника «Фельетоны», вышедшего спустя два года. А ведь в газетном варианте она имела иное жанровое оформление, будучи одним из эпизодов столь любимого Жаботинским жанра дорожных разговоров. В книге же никаких следов этого не осталось. И диалог превращается в боевую публицистическую статью. Таким образом, текст Жаботинского обретает в реальном контексте свою историю. Чего уж говорить об отдельных статьях и целых сквозных темах творчества Жаботинского, которые не находили и не находят себе места на страницах специальных работ о нем.

Этот пример показывает, что даже наиболее известные тексты Жаботинского давно уже вышли за рамки своего исторического контекста и существуют как бы автономно, вне библиографии.

А между тем, «делу Бейлиса» посвящены не только вошедшие в «Фельетоны» «Четыре сына» и «Вместо апологии». Серия статей «О ритуальном убийстве» десятки лет покоилась на страницах «Одесских новостей» вместе с такими исключительно важными текстами, как «Дело без Бейлиса» и заключительное заявление Жаботинского «Первая половина вердикта», написанное уже по окончании процесса и затерявшееся на страницах петербургской «Речи».

Эти сведения могут показаться не такими уж и важными для нас, знающих сегодня и итоги процесса Бейлиса, и дальнейшую судьбу его участников. Однако, помимо исторических итогов тех или иных событий, важными могут оказаться и их историко-культурные последствия, часто независимые от тех, кого они косну-

¹ Kitive Ze'ev Z'abotinski: bibliyografyah, 1897 – 1940 / 'arkhah Minah Gra'ur. Tel-Aviv, 2007 (Сочинения Зеэва Жаботинского: Библиография, 1897 – 1940 / Сост. М. Граур. Тель-Авив, 2007. На иврите).

лись. А историческое значение этих статей и фельетонов может оказаться сегодня даже важнее для нас, чем для их читателей в годы написания того или иного текста. Поэтому в данном случае именно хронологически последовательная публикация по возможности всех текстов времен «дела Бейлиса» позволит нам вернуть их в реальный исторический контекст 1911—1912 годов, по отношению к которому оба издания «Фельетонов» — 1913 и 1922 годов — являются уже следующими этапами развития творчества Жаботинского. Не забудем, что реалии русской жизни, предшествовавшей октябрьскому перевороту, стали поистине «непонятней, чем Пушкин, и видятся только во сне» (Б. Пастернак).

Именно так и получилось с текстами Жаботинского времен «дела Бейлиса». Имя Жаботинского на десятилетия исчезло со страниц истории и русской, и русско-еврейской культуры. Так же, как имя постоянного, по большей части скрытого оппонента Жаботинского из круга русской радикально правой печати В.В. Розанова, перу которого (в соавторстве с о. Павлом Флоренским) принадлежит «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» — одна из самых позорных книг того времени, призванная «философски» доказать существование у иудеев кровавых ритуальных жертвоприношений.

Поскольку Розанов не упоминается в вошедших в «Фельетоны» статьях Жаботинского 1911—1913 годов, никому из исследователей не приходило в голову сравнить тексты двух мыслителей — русского и еврейского. А ведь сделай они это, роль Жаботинского в борьбе с радикальным русским философским антисемитизмом и в формировании позиции защиты на процессе Бейлиса, да и в русской журналистике начала XX века вообще, стала бы очевидной. Кстати, теперь, когда газетные выступления Розанова изданы в десятках томов, мы можем найти там имя Жаботинского.

И имя Розанова присутствует в серии статей «О ритуальном убийстве», которые Жаботинский публиковал в «Одесских новостях», однако не включил в «Фельетоны». Так, понятные с виду «фельетоны» времен «дела Бейлиса» обретают совершенно другое значение и измерение. А сам Жаботинский далеко не случайно исключает их из своего сборника, поскольку был противником так называемой документальной защиты еврейства, которую называл «апологией», или доказательством самими евреями отсутствия у иудеев ритуальных жертвоприношений христианских младенцев. «Доказывать» их существование Жаботинский предлагал тем, кто верит в этот бред. Если он как постоянный автор «Одесских новостей» и участвовал в подобной защите, это не мешало ему занимать собственную позицию, отдельные (далеко не все!) детали которой вошли в «Фельетоны». Именно двойственностью позиции

Жаботинского, и не только в этом случае, объясняется его отказ от мемуарного анализа этих событий, актуальность которых существенно уступала его последующей деятельности.

При этом не надо думать, что Жаботинский забыл о России. Она «ушла» в его художественные произведения, типа одесского романа «Пятеро» или сложного библейского повествования «Самсон назорей». Не забудем, что эти сочинения печатались с продолжением в том самом журнале «Рассвет», где из номера в номер, иногда по несколько статей под разными псевдонимами или вовсе без подписи, печатались его же острейшие тексты на общеполитические и внутриссионистские темы или порой неожиданные рецензии на книги современников. Так Жаботинский продолжил свое участие в становлении русско-еврейской литературы, понимаемой им как еврейская литература на русском языке. И свой вклад в нее внес пьесой в стихах «Чужбина», которая, как считается, была запрещена в 1910 году, а полностью вышла в Берлине в том же 1922-м, что и второе издание «Фельетонов».

Не удивительно поэтому, что, наряду с «бейлисовским» циклом, в число наиболее известных статей «Фельетонов» вошли «Четыре статьи о "Чириковском инциденте"». Они посвящены скандалу, разыгравшемуся в доме известного писателя и драматурга, автора популярной тогда пьесы «Евреи» Евгения Чирикова¹, где еврейский драматург Шолом Аш читал свою пьесу русским литераторам. В ответ на замечания Чирикова и его коллеги К. Арабжина, что пьеса, мягко говоря, не совершенна, автор заявил, что русским писателям не понять его пьесы. Это вызвало резкую реакцию слушателей, менее всего связанных с идеями антисемитизма. Другое дело, что слишком мало времени отделяло «инцидент» 1908 года от многолетнего запрещения в России театров на идише, которое фактически перестало исполняться, начиная с 1905-го, но официально было отменено лишь в 1907 году². Так что высказывание Ш. Аша тоже могло иметь совершенно иную окраску, чем утверждение, что русскому не понять еврея.

Так или иначе, это событие попало на страницы тогдашней печати и вызвало грандиозный резонанс, на который явно не рассчитывали участники скромных салонных чтений.

С «чириковского инцидента» началась грандиозная дискуссия о так называемом национальном лице, а, по сути дела, общероссийская дискуссия о возможности позитивного обсуждения либеральными кругами проблемы русского национализма. Одним из ярчайших представителей этого направления оказался П.Б. Струве.

¹ См.: Михайлова М. Еврейская тема в творчестве Е.Н. Чирикова и «Чириковский инцидент» // Параллели. М., 2003. №2/3. С. 163—188.

² Эльяшевич Д.А. Правительственная политика и еврейская печать в России, 1797—1917. СПб.; Иерусалим, 1999. С. 479.

Именно предложенный им образ русского народа как медведя, вставшего из берлоги, и послужил основой полемики. Впоследствии эта дискуссия разрослась настолько, что на статьи «Г-на Ж.» откликнулись десятки изданий, а сама история способствовала выходу специального выпуска сборника «По вехам» (1909), посвященного этой дискуссии. Сам же Чириков написал тогда статью под характерным названием «Благодарю, не ожидал»¹.

Кстати, в романе «Пятеро», время действия которого охватывает и 1908 год, отмечается, что антисемитские выпады в студенческой среде, имевшие место в тот период, еще за несколько лет до этого были абсолютно невозможны.

Надо отметить, что последствия «Чириковского инцидента» для еврейских писателей тоже были небесплодны. Так, Шолом Аш посвятил ему достаточно герметичный для современного читателя роман на идише «Мэри»², а Жаботинский ответил Чирикову как раз «Чужбиной», ряд эпизодов которой прямо противостоит сценкам «Евреев». Причем общеинтеллигентскому сочувствию евреям в пьесе русского драматурга противопоставлена у Жаботинского жесткая сионистская позиция.

В 1908 году проблема «евреев в русской литературе» не была для Жаботинского новой и неожиданной. Его соученик и коллега (как по гимназии, так и по вылету из нее) Корней Чуковский еще в 1906 году опубликовал статью на эту тему. Молодой критик сомневался, что евреи способны внести заметный вклад в русскую литературу³. Это высказывание Чуковского привело к острой дискуссии, в которой принял участие В.В. Розанов, reagировавший и на газетные статьи Жаботинского, которые лишь несколько лет спустя войдут в «Фельетоны».

Именно из статьи Розанова 1908 года «Пестрые темы. II»⁴ можно было узнать, что Розанов и Жаботинский познакомились в Риме в 1901 году, когда Жаботинский был еще не радикальным участни-

¹ См. перепечатку в сб.: Национализм. Poleмика 1909—1917 / Сост. М.А. Колеров. М., 2000. С. 138—140.

² См.: Кельнер В. Петербургские реалии романа Шолома Аша «Мэри» // Лехаим. М., 2007. № 2(178). С. 89—93.

³ См.: Чуковский К. Евреи и русская литература // Чуковский и Жаботинский: История взаимоотношений в текстах и комментариях / Авт. и сост. Евг. Иванова. М., 2005. С. 109—119. Эта работа содержит ряд важных материалов о Чуковском и Жаботинском, однако сама тема заслуживает дальнейшего исследования. В частности, некоторые отзывы Чуковского о Жаботинском в переписке с Р. Марголиной и даже в «Дневнике» Чуковского необходимо сопоставить с реалиями советской жизни середины 1960-х годов и условиями открытой корреспонденции.

⁴ Розанов В. Пестрые темы. II // Розанов В. В нашей смуте. М., 2004. С. 114—120 (впервые: Русское слово. 1908. 22 мая).

ком еврейского национального движения, а, по словам Розанова, вполне русским литератором. Жаботинского, который в Риме вполне успешно поедал мясные котлеты, приготовленные на сливочном масле¹ (т. е. откровенно нарушал кашрут), Розанов описывает теперь как еврея в лапсердаке и широкополой шляпе. Разумеется, в таком виде Жаботинский не ходил никогда. Однако Розановугодились любые средства для создания образа своего старого знакомца, превратившегося из русского литератора в еврея. Тем более что за Жаботинским тянулась легенда о том, будто его обращение к еврейской теме связано исключительно с кишиневским погромом 1903 года, после которого замечательно талантливый русский журналист еврейского происхождения неожиданно для всех стал непримиримым сионистским вождем.

Свою лепту в распространение этой легенды внес, как видим, и Розанов, а в 1930-е годы еще и еще, например, Михаил Осоргин и некоторые другие. Внешне, без учета как раз сверххранного творчества Жаботинского, это выглядело именно так. Однако чтение даже самых ранних его корреспонденций из Италии показывает, что интерес к еврейской теме и еврейству был присущ их автору изначально. Вот начало сказки, опубликованной семнадцатилетним Жаботинским: «За столицей мудрого царя Соломона шелестел по склонам холмов густой лес. С его опушки запутанные тропинки вели на поляну, где происходили свидания Ариэля и Тамары» («Южное обозрение». 27.02.1898). Вспомним первый очерк о Римском гетто (1899) или рассуждения об антисемитизме в австрийских университетах, не говоря уже о публикации в еврейском журнале «Восход» (1898) первого сионистского стихотворения Жаботинского «Город мира», посвященного Иерусалиму, именно так и названному в одной из этимологий: Ир шалом — Город мира. А в августе-сентябре 1902 года он печатает в «Одесских новостях» «Древле. Сказание о любви израильянина Зимри к язычнице Казве», а то и вовсе статью «О сионизме».

При этом, говоря о раннем творчестве Жаботинского-газетчика, разумеется, следует учитывать и то, что ни «Одесский листок», ни «Одесские новости» не были чисто еврейскими изданиями — их корреспондент должен был отражать все особенности жизни Одессы или Италии, с которыми ему приходилось сталкиваться по долгу журналистской работы. Вхождение Жаботинского в литературу и журналистику знаменательно совпало с подъемом еврейского национального движения: год первой публикации Жаботинского (1897) был годом созыва Первого Сионистского конгресса, а траги-

¹ Этот образ на долгие годы будет знаковым в полемике Розанова и Жаботинского. См. об этом: Кацис Л. Кровавый навет и русская мысль: Ист.-теол. исследование дела Бейлиса. М., 2006. С. 411—450.

ческий для российских евреев 1903-й (год Кишиневского погрома) стал годом принятия конгрессом решения о создании еврейского государства в Палестине. Говоря о причинах резкого поворота Жаботинского от так называемых общечеловеческих ценностей к еврейским, не будем забывать, что молодой журналист и драматург оказался готов к тем решающим событиям в жизни еврейского народа, под воздействием которых успешный молодой русский литератор стал одним из лидеров еврейства XX столетия. Не удивительно, что уже в 1904 году Жаботинский становится активнейшим автором журнала «Еврейская жизнь», где публикует обширные теоретические статьи, в которых спорит, например, с территориялистами, предлагавшими внепалестинские варианты создания еврейского национального очага. Куда более удивительно, что в этом журнале активно печатается и его друг Корней Чуковский, едва ли не начавший свою литературную деятельность переводами *сионид* с английского языка. Более того, полное издание «Дневника» Чуковского за предреволюционные годы пестрит упоминаниями о Жаботинском и в ряде случаев содержит то ли сцены, параллельные будущему роману «Пятеро», то ли свидетельства об участии автора дневника в событиях, легших в основу романа. В любом случае, влияние Жаботинского на Чуковского не только в предреволюционный период, но и в 1920-е годы, когда «русский Жаботинский» массивно переиздается в Берлине, выходит далеко за пределы юношеской дружбы¹.

Недаром Чуковский незадолго до своей смерти с такой теплотой вспоминает о Жаботинском в переписке с Р. Марголиной².

Рассмотрение проблемы «евреев в русской литературе», пьесы «Чужбина» и «чириковского инцидента» позволяет нам углубиться в биографию Владимира Жаботинского и перейти к его первым драматургическим опытам. Ведь начинал он не только как журналист, но и как драматург. Так, в 1901 году в Одессе была дважды представлена публике его пацифистская пьеса «Министр Гамм» («Кровь») — переработка пьесы итальянского драматурга Ломбардо. Жаботинский печатал ее в виде, как он выразился, газетного фельетона и упоминал в своих корреспонденциях о встречах со странным человеком, автором «Крови». Следующая драма «Ладно» была сыграна только один раз (и, как сообщают исследователи, со скандалом) 5 ноября 1902 года.

¹ См.: Кацис Л. От еврейской Одессы до Петрограда: Дневники К.И. Чуковского (1901—1922) // Лехаим. 2007. №1. С. 90—95; Он же. Из Петрограда в Ленинград: Дневники К.И. Чуковского (1922—1935) // Там же. №2. С. 94—97.

² См.: Переписка Рахель Павловны Марголиной с Корнеем Ивановичем Чуковским // Менора. Иерусалим, 1977 (5737), № 112, с. 49—73.

Пьеса считалась утерянной, однако не так давно была обнаружена В. Левитиной в архиве «петербургского суворинского — антисемитского» театра (ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 2, е. х. 972). Как могла она сюда попасть? — это вызывало недоумение. Но из письма — единственного — самого Жаботинского Суворину стало ясно: он отдал ее артисту этого театра Глаголину во время гастролей в Одессе. Общественное лицо этого театра Жаботинскому, возможно, было неизвестно: работавший корреспондентом “Одесских новостей” в Италии, он в какой-то степени был оторван от России, вернулся лишь недавно. Но даже если допустить, что о неблагоприятной репутации театра он слышал, то вряд ли обратил на это особое внимание: духовный переворот, который сделал его сионистом, — дело очень недалекого, но все же будущего»¹.

Между тем ответ на недоуменный вопрос видного исследователя русско-еврейской сцены могут дать многочисленные, подчас крайне мелкие театральные заметки Альталены, публикуемые в настоящем томе. Говоря о низком уровне одесского театра, Жаботинский приводит в пример как раз становление суворинского театра, возникшего с появлением настоящего режиссера из группы актеров. Принимая во внимание довольно горький опыт общения Жаботинского с одесскими труппами, с одной стороны, и внимательное отслеживание тенденций развития итальянского театра — с другой, выбор театра Суворина, который в 1901—1902 годах еще не получил откровенно антисемитской репутации, представляется вполне логичным. Между прочим, именно в издательстве Суворина вышел в 1885 году известный сборник С. Фруга «Стихотворения», отразивший перелом в сознании поэта, связанный с кровавыми погромами 1881—1882 годов².

Однако судьба ранней драматургии Жаботинского для русской культуры не сводится к чисто театральным перипетиям, поскольку она сложно переплетена с многолетними и непростыми взаимоотношениями Жаботинского с героем его ранних корреспонденций, рассказов, писем и публицистики — Максимом Горьким. А уже этот сюжет непростыми нитями связан с творчеством Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.

Почти детективные обстоятельства достаточно долгих взаимоотношений Жаботинского и Горького вполне могут стать предметом специальной монографии. В 1890-х и самом начале 1900-х годов молодой одессит видел в Горьком символ русской культуры, гарант серьезности русского присутствия в Италии, в 1901-м был уже

¹ Левитина В. ...И евреи — моя кровь: (Еврейская драма — русская сцена). М., 1991. С. 239—240.

² См.: Кацис Л. Книга С. Фруга «Стихотворения» (1885) и динамика подтекста в русско-еврейской поэзии // Еврейский книгоноша. 2005. № 7. С. 31—39.

автором статьи о Горьком и Чехове, опубликованной в итальянском журнале «Nuova Antologia»¹, а к 1903-му — рецензентом многих постановок пьесы Горького «На дне» и ряда рассказов, где писатель назван прямо или обняком.

Но все перекрывает история с вышеупомянутым итальянским драматургом Ломбардо, создавшим прототекст пьесы «Кровь», которую и переработал Жаботинский. Дело в том, что этот знакомец Жаботинского написал пьесу как бы из русской жизни «За что?» и ради успеха постановки объявил ее переводом из Горького. Что и было отражено Жаботинским в «Одесских новостях».

Ситуация усугублялась еще и тем, что в 1903—1904 годах Горький участвовал в распространении запрещенной поэмы Жаботинского «Бедная Шарлотта»². В дальнейшем Алексей Максимович не всегда приветствовал националистические, как он считал, выступления Жаботинского. Но пьеса «Чужбина» ему нравилась, и он рекомендовал ее своим корреспондентам. Более того, Жаботинский послал ее Горькому с дарственной надписью, объясняя *свое нежелание* выпускать это творение в свет «боязнью художественных просчетов», беспокоивших его больше, чем нападки политических противников. (Это письмо Жаботинского требует тщательного комментария, поскольку более подробное изложение «Чужбины» публиковалось в двух номерах журнала «Рассвет», где Жаботинский занимал далеко не последнее место.) А чуть позже он привлек Горького к финансированию Еврейского легиона³.

Связи с творчеством Горького и его оппонента Ф. Сологуба стоит поискать и в утопических очерках Жаботинского «Правда об острове Тристан да Рунья»⁴. Средиземноморская утопия Жаботинского, осмыслявшего на фоне «правды о Палестине» правду нереализованного хотя бы «Мадагаскарского проекта», испытала, похоже, влияние средиземноморских утопий Горького и особенно «Навьих чар» Сологуба⁵.

¹ Жаботинский В. Anton Chekhov e Massimo Gorki: L'impressionismo nella letteratura russa // Nuova Antologia. Rome, 1901. Vol. 36. No. 719. P. 723—733.

² См. об этом: Горький М. Полн. собр. соч. Письма в 24 т. Т. 4: Ноябрь 1903—1904. М., 1998. («Жаботинский» — по указателю).

³ См.: Вестник Еврейского университета в Москве. М., 1993. №1. С. 217.

⁴ Анализ этого текста на фоне «риторики "своего и чужого"» у Жаботинского см. в работах М. Вайскопфа, в частности: Вайскопф М. Любовь к дальнему: заметки о русскоязычном творчестве Владимира Жаботинского // Вестник Еврейского университета. М.; Иерусалим, 2006. №11(29). С. 240—243.

⁵ Интересное сопоставление утопий Горького и Сологуба безо всякой, разумеется, связи с Жаботинским см.: Мазинг-Делич И. Как спасти культуру от цивилизации: средиземноморская модель Максима Горького // Культуральные исследования / Под ред. П. Лысакова и А. Эткинды. (Труды

Эта параллель заставляет по-новому взглянуть и на один очень важный и болезненный аспект становления Жаботинского-публициста, связанный с именем национального героя Италии Джузеппе Гарибальди. «Одесские новости» множество раз печатали посвященные Гарибальди статьи Жаботинского и рецензии на гарибальдийские сочинения Д'Аннунцио, идеологические позиции которого также повлияли на автора романа «Пятеро». Образ Гарибальди освещал ряд страниц идеологических текстов Жаботинского и логически подготовил его симпатии к Бенито Муссолини. Тема эта достаточно сложная, претерпевшая немало этапов своего развития. Однако для нас сейчас важно то, что происходило на раннем этапе развития идеологии Жаботинского. И для понимания этого важную роль играет письмо Жаботинского Муссолини от 16 июля 1922 года, где Жаботинский представил картину средиземноморской еврейской культуры, основанной на итальянском языке, приводил примеры позитивного участия еврейских масс в политической и финансовой жизни тех стран, где евреи живут в больших количествах. Жаботинский предложил Муссолини не делать Италию центром панарабского мира, отметив, что благодаря евреям портовых городов итальянский язык на протяжении 50 с лишним предшествующих лет был лингва франка средиземноморского мира, между тем как арабские общины создавали немало экономических проблем. Он советовал Муссолини совместно с евреями ограничить безраздельное влияние арабских стран в Средиземноморье и предлагал помощь евреям в деле обеспечения итальянских интересов в Палестине и Леванте¹.

Оценивая переписку Жаботинского с вождем итальянского фашизма, не надо забывать, что дуче не был антисемитом, с одной стороны, а с другой — тогдашние европейские державы поддерживали с ним вполне нормальные отношения и вели равноправные переговоры. При всей малопривлекательности итальянского фашизма с его отвратительно безвкусной брутальностью он все же был куда более национал-либерален, чем его германский национал-социалистический собрат. Муссолини до Гитлера и Муссолини при Гитлере — не одно и то же. Поэтому ретроспективно не стоит обвинять Жаботинского, коль скоро такой была современная ему Европа².

факультета политических наук и социологии; Вып. 8). СПб.; М.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге; «Летний сад», 2006. С. 267—289.

¹ Jabotinsky Z. Lettera a Benito Mussolini. Roma, il 16 luglio 1922.// Jabotinsky Z. Verso lo stato. Scritti e discorsi di politica sionistica scelti e annotati da Leone Carpi. Editrice l'idea sionistica. 1963. P. 27—31.

² Общий взгляд на проблему см.: Minerbi S. Postfazione: Italia e Palestina // Jabotinsky V. Stato e libertà: il carteggio Jabotinsky — Sciaky (1924—1939) / a cura di Vincenzo Pinto. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2002. P. 193—203.

Приход Гитлера и нацистов к власти в Германии вызвал у Жаботинского однозначное отторжение. А когда двое палестинских его соратников одобрили в ивритской газете приход к власти будущего бесноватого палача евреев, Жаботинский тут же резко одернул их¹.

Это лишний раз говорит о том, что средиземноморская утопия Жаботинского, включавшая всю Италию от Гарибальди до Муссолини, не имела никакого отношения к немецкому национал-социализму. Проблематика итало-палестинских и итало-сионистских взаимоотношений должна быть переписана с самого начала, поскольку применительно к Жаботинскому ни с русской, ни с итальянской стороны никто этим вопросом еще толком не занимался. Но вернемся к Горькому и Италии.

Еще один контакт Горького, Шолома Аша и круга Жаботинского имел место уже после того, как Россия для Жаботинского осталась позади. В 1922 году Горький дал Шолому Ашу интервью для выходявшей на идише газеты «Форвертс», в котором отметил, что еврейские коммунисты зачастую ведут себя бестактно по отношению к русскому народу, в частности при изъятии церковных ценностей.

Это замечание Горького послужило поводом для обвинений его в антисемитизме. В защиту писателя выступил «Рассвет» Жаботинского. Попала эта история и на страницы советского журнала «Жизнь национальностей». Спрашивается, почему Жаботинский и его журнал встали на сторону Горького? Как ни странно, именно это явление Горький еще в 1910 году обсуждал в своем письме Жаботинскому (единственном письме, известном составителям академического собрания сочинений основоположника пролетарской литературы). Напомнив о реплике С. Юшкевича, что, мол, русско-еврейский писатель будет сознательно портить русский язык, Горький назвал это высказывание бестактным в контексте русско-еврейских отношений. Так что редактору парижского «Рассвета» была известна позиция Горького в данном вопросе. Тем более что Горький, как мы уже писали, отнюдь не приветствовал и крайне резкие порой высказывания самого Жаботинского по национальному вопросу.

Но и это не все. В 1928 году тот же вопрос затронул в своем письме Горькому и Б. Пастернак. На первый взгляд, его знаменитая фраза о том, что он никогда не откажется от своего еврейства, хотя оно и мешает ему, в отличие от Горького, открыто говорить «об идиотствах, допускаявшихся при изъятии церковных ценностей»,

¹ Подробно об этом см.: Москович В. Юбилейные заметки о В. Жаботинском // Евреи России — иммигранты Франции. М.; Иерусалим., 2000. С. 11—34.

не имеет никакого отношения к Жаботинскому. Однако это письмо было вызвано тем фактом, что к Горькому вместо книги поэм Пастернака попала книга его прозы, открывавшаяся ранней «Апелесовой чертой». Эту прозу, обсуждавшую проблемы соотношения «племенных и кровных корней поэзии», Пастернак посылал в горьковскую «Летопись», откуда получил отказ. Более того, отдельные эпизоды «Апелесовой черты» пародировали горьковские «Сказки об Италии». «Летопись» же печатала в то время сочинения основоположника русско-израильской литературы сиониста А. Высоцкого. На этом фоне проза сына академика Леонида Пастернака, которого Борис Леонидович не случайно упомянул в письме Горькому в качестве гаранта своей принадлежности к еврейству, выглядела, по меньшей мере, неуместно, особенно в период, когда обсуждалась возможность его встречи у Горького с М. Цветаевой. Тогдашние, да и позднейшие отношения Горького и Пастернака подобных игр не предусматривали.

Казалось бы, прямой связи с Жаботинским вся эта история действительно не имеет. Однако герой «Апелесовой черты» сочиняет некую поэму «Il sangue» — «Кровь»¹. Как мы уже знаем, именно так называлась в переводе Жаботинского и пьеса скандально связанного с именем Горького Ломбардо. Проблема соотношения аристократизма духа и происхождения была одной из важнейших тем еврейской публицистики от Ахад-Гаама до позднейшей идеологии «Бейтара» Жаботинского.

Таким образом, все сочинение молодого Пастернака, переживавшего в тот период кризис национальной идентичности, обостренный дискуссией о евреях и русской литературе, «делом Бейлиса» вкупе с началом Первой мировой войны и обвинениями евреев в тотальном шпионаже в пользу Германии², было пронизано духом противостояния тому, о чем напоминал Жаботинский, републикуя в своих «Фельетонах» 1913 года статьи 1908 года о «чириковском инциденте».

Эти обстоятельства позволяют сделать кажущееся на первый взгляд невозможным предположение. Всем известны слова Михаи-

¹ Подробнее об этом см.: Кацис Л. Еврейские эпизоды в «Апелесовой черте» и эпистолярии Б. Пастернака // Вестник еврейского университета. М.; Иерусалим, 2006. №11(29). С. 151—194.

² Это и есть основа некоторых сцен «Доктора Живаго», затрагивающих еврейский вопрос. См.: Кацис Л. Диалог: Юрий Живаго — Михаил Гордон и русско-еврейское неокантианство 1914—1915 годов (О возможных источниках еврейских эпизодов «Доктора Живаго») // Judaica Rossica. Вып. 3. М., 2003. С. 174—207.

ла Гордона о еврействе, обращенные к Юрию Живаго и вызвавшие самую острую реакцию, поскольку написаны были уже после создания Государства Израиль¹.

«В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению? Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого народа? Отчего не сказали: *"Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми.* Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас" (курсив наш. — Л.К.)»².

Выделенные нами слова героя романа, кажущиеся чисто пастернаковскими и не имеющими литературных предшественников, поразительно напоминают беседу Жаботинского с неким итальянским деятелем, приведенную сначала в «Одесских новостях», а затем и в отдельной брошюре «...Чужие! Очерки одного "счастливого" гетто»³ (с посвящением «...Всем недругам Сиона»). В Италии, которая, в общем, была свободна от антисемитизма, где еврей мог быть министром и даже премьером, именно итальянец призывал евреев не селиться в отдельных районах, чтобы не сохранять себя как евреев. Любопытно, что после первого же очерка о гетто Жаботинский опубликовал статью «Автор пьесы Горького» («Вскользь». 13.10.1903), где говорит о Ломбардо как о реальном авторе пьесы «Sangue», названной, кстати, без артикля единственного числа при неисчисляемом понятии «кровь». Не делая слишком далеко идущих выводов, заметим: похоже, что артикль единственного числа и должен был подчеркнуть индивидуальность, оригинальность, единственность и в то же время неопределенность позиции Пастернака в 1915 году.

¹ См.: Кацис Л. «Доктор Живаго» Б. Пастернака: от М. Гершензона до Бен-Гуриона // Еврейский книгоноша. 2005. № 8. С. 63—74.

² Пастернак Б. Доктор Живаго // Пастернак Б. Полное собр. соч. в 11 т. Т. 4. М., 2004. С. 124.

³ Жаботинский В. Вскользь. Гетто. «Одесские новости». 12.10, 18.10, 29.10.1903; то же: Чужие! Очерки одного «счастливого» гетто. Одесса, 1903. Тип. Г.М. Левинсона.

Можно не сомневаться в том, что «Одесские новости» 1900—1910-х годов были вполне доступны семейству одесситов Пастернаков, тем более что «Одесские новости» представляли собой вполне общероссийскую по уровню газету, а семья Пастернаков сохраняла связь с этим городом.

Но как бы ни относиться к знакомству Пастернака с одесскими статьями Жаботинского, нет никаких сомнений в том, что дискуссия на тему «Евреи и русская литература» не могла пройти мимо Пастернака. Тем более что она касалась самых тонких струн его души.

И хотя исследование этого вопроса надо отложить на будущее, без изучения самой позиции Жаботинского (и не только по вопросу о евреях и русской литературе, но и в связи с его оценкой «еврейского патриотизма») обойтись невозможно. 12 мая 1908 года Жаботинский опубликовал в газете «Свободные мысли» статью, которая так и называлась: «Еврейский патриотизм». Она столь же важна, насколько была до недавних пор малоизвестна¹.

Этот текст затрагивает не только проблемы искренности или, наоборот, неискренности евреев — русских патриотов, но и обсуждает трудный вопрос о том, как и за что стоит любить Россию. Ведь если евреи будут любить абстрактную Россию, в сущности, Российскую империю, то и путь в русской литературе у них один — тотальная ассимиляция в этой культуре. Если же они будут любить Россию не столь абстрактно, то любить придется не свою родину, а соответствующее ей на данный момент географическое понятие. Ведь любя Россию и оставаясь самим собой, еврей любил бы ее так же, как и представители других народов империи, например грузины, которые, войдя в нее, сохраняют свое национальное своеобразие. Однако часто происходит так, что в связи с изменением политических границ еврей приходится менять и тип своего «географического» патриотизма, что может вызывать вполне обоснованное чувство презрения к столь влюбчивой натуре: «Во Львове помер два года тому назад еврейский депутат Бык, вождь поляков Моисева закона. В юности он был немцем Моисеева закона — в том же Львове, ибо край на верхах был сильно онемечен. И Бык в те времена декламировал о слезах, наплаканных на берегу реки Збруч, что протекает между Волочиском и Подволочиском, и делал из этого ясный вывод: немецкая культура — моя культура, мой Шиллер, мой

¹ Можно найти ее в кн.: Чуковский и Жаботинский: История взаимоотношений в текстах и комментариях / Авт. и сост. Евг. Иванова. М., 2005. С. 164—173 (цитируется без указания страниц).

Ленау! Но когда с 1869 года началось официальное ополячивание Галиции, Бык не стал переть против рожна... И слезы, наплаканные в Збруч, получили новое значение: мой Мицкевич, моя Польшизна! И с той же ревностью пошел Бык проповедовать галицийским евреям ополячение, и умер польским лакеем... хотя в юности был немецким».

Это один путь. А другой представляет собой венгерский пример, когда идет омадьяривание румын, словаков, хорватов, сербов и т.д. И здесь наибольшую ненависть у этих народов вызывает уже венгр Моисеева закона. Жаботинский рассказывает о своем впечатлении от литературы венгерских инородцев: «Она написана буквально кровью и слезами, она захватывает искренностью — и я могу только болезненно морщиться, когда на каждой странице этой литературы читаю горькие проклятия по адресу мадьярских патриотов Моисеева закона. Авторы этих брошюр, люди, страдавшие за свой народ в изгнании и мадьярских тюрьмах, настаивают, что нет худшего, более циничного мадьяризатора, чем ассимилированный жид. А один из этих писателей, Роровісі, человек широкого образования и кругозора, имеющий в своем формуляре четыре года тюрьмы за полемику против венгерских угнетателей, написал в объяснение этой психологической черты горькую фразу, которая звучит как пощечина: "Очевидно, евреи думают, что раз они так легко мадьяризуются и германизируются, то и другим нечего упираться..."»

И еще важнее конец этой статьи, уже совсем не о литературе: «*Нам* не страшна ни та, ни другая перспектива. Кто из нас эмигрирует, кто останется — другой вопрос. Но где бы нас ни захватила история, *мы* не назовем себя поляками, как теперь не желаем быть русскими, и если не всё, то хоть часть еврейского имени оградим от русистских, словацких — а некогда, быть может, и литовских и грузинских проклятий».

Эта статья была прислана Жаботинским из Вены, что важно и не случайно. Однако еще важнее то, что уже во время Первой мировой войны евреи Галиции и Карпат оказались именно в той ситуации, которую описывает Жаботинский. Ведь к границам Червонной Руси приближалась русская армия. А «проклятия» литовцев и словаков — это уже Холокост и Вторая мировая война, которую в самом ее начале глубже других понял и задолго до того как она началась глубже всего прочувствовал, предсказал и проанализировал «г-н Ж.».

Выход из тупиковой еврейской ситуации Жаботинский видел в так называемом федерализме, то есть предоставлении максималь-

ному количеству народов империи максимального количества национальных прав и возможностей. И тут его взгляды совпали со взглядами виднейшего украинского федералиста М. Драгоманова. Недаром журнал «Рассвет» помнил о нем и отмечал его годовщины. И недаром также одной из самых первых книг о Жаботинском, вышедших на постсоветском пространстве, стала перепечатка на Украине канадской книги Клейнер І. «Владімір (Зеев) Жаботинський і українське питання», Київ—Торонто—Эдмонтон, 1995.

И недаром столько статей Жаботинского как раз о славянском или карпатском вопросах, о румынских, финских или венгерских и словацких проблемах, — статей, забытых на десятилетия так же, как и статья «О еврейском патриотизме», возвращаются к нам сегодня, после краха СССР, в качестве предельно актуальных и даже захватывающих. Эти статьи 1906—1914 годов могли бы составить целые книги, включая сюда еще и турецкий вопрос, и албанский. Но история решила так, что исторические и политические панорамы Европы, писавшиеся Жаботинским всю жизнь и явно повлиявшие на будущую публицистику Эренбурга вплоть до его «Визы времени»¹ и военных статей 1940-х годов, оказываются собранными и переосмысленными только сейчас. Впрочем, однодневок Жаботинский и не писал.

На этом фоне нельзя пройти мимо вошедшего в «Фельетоны» ответа В. Тану-Богоразу: «Если г-ну Тану или другим уютно в русской литературе, то вольному воля. Я, например, не только не стал бы их манить назад, но даже не выражу сомнения, точно ли им так уютно, как они рассказывают. Напротив, признаю и не сомневаюсь. Г-н Тан объясняет свои родственные чувства к русской литературе, между прочим, и тем, что деды его захватили жаргон, проходя через Ахен, а ему, г-ну Тану, какое дело до Ахена? Это резон, но я советовал бы г-ну Тану употреблять его пореже и с осторожностью; ибо мы на своем пути прошли не только через Ахен, но и через Вильну, Киев, Одессу, отчасти через Петербург и Москву, и если мы начнем так небрежно отмахиваться от попутных городов, то нам с г-ном Таном могут со стороны предъявить вопрос: Что это такое? *Cujus regio, ejus religio*? Где переночевали, там и присягнули, а выйдя вон — наплевали? Эх вы, патриоты каждого полустанка...

Я бы этого лично не хотел и потому предпочитаю не плевать на Ахен и не лобызать торцов Петербурга. Свои гражданские обязан-

¹ См.: Кацис Л. К. Бальмонт и И. Эренбург в контексте идеологии «славянского единства» // *Russian Studies*. Seoul, 2007. Vol. 16. No. 2. P. 197—228.

ности несую там, где я приписан и ем хлеб, и несую их корректно; в сердце же к себе чужих людей я не пускаю; в том, какой я город люблю и к какому городу равнодушен, никому давать ответа не желаю и принципиально демонстрирую совершенно одинаковое благорасположение к Ахену и Москве. Будь у меня всамделишный свой город, я бы тогда стал говорить о любви; и это, быть может, была бы такая любовь, какую сорок тысяч людей на запятках любить не в силах»¹.

Название этого города мы знаем: Ир Шалом — Город Мира, сказание о котором Жаботинский опубликовал еще в 1898 году, тот самый город, о котором идет речь в последней реплике пьесы «Чужбина», когда, услышав о погроме, Мендель говорит: «Мы стояли Шмонээсре²? Нас прервали посередке? / Это наше место, никуда мы отсюда не выйдем. / Достоим нашу молитву, а дальше — увидим»³.

В заключение остается процитировать то место, где прервалась и откуда должна «продолжиться» пьеса «Чужбина», а «чужбина галута» — окончиться. Это и есть «серёдка» Восемнадцати благословений: «Протруби в большой шофар о свободе нашей; и подними знамя, под которым соберется народ наш, рассеянный по свету; собери нас, всех вместе, с четырех сторон света. Благословен Ты, Господь, собирающий разбросанный по свету народ свой, Израиль!»

С этими словами В. Жаботинский через шесть лет после написания «Чужбины» покидал Россию, оставив лишь в своей памяти да на страницах романа «Пятеро» и то, что мы здесь описали, и многое другое, с чем мы встретимся в последующих томах.

Тридцать лет тому назад Ицхак Орен (Надель) в своем предисловии к сборнику произведений Жаботинского писал:

«Изменился и стал другим мир. Забыты сотни больших, интересных в свое время книг. А мысль, гнев, сарказм, которые живут в коротких, написанных прямо на злобу дня фельетонах, пере-

¹ Жаботинский В. О «евреях и русской литературе» // О железной стене. Минск: МЕТ, 2004. С. 52.

² Восемнадцать благословений (*иврит*) — часть ежедневных молитв, включающих в себя и благословение Иерусалима.

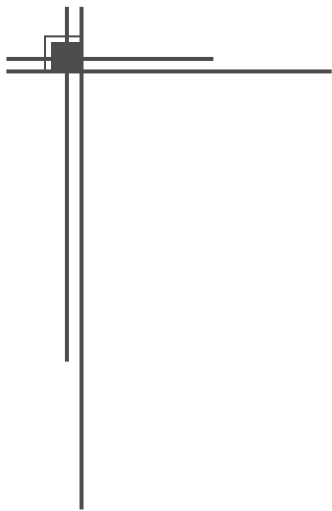
³ Жаботинский В. Чужбина: Пьеса. Комедия в 5 д. / Предисл. М. Вайскопфа. М.; Иерусалим, 2000. С. 238. В отличие от многих других книг Жаботинского, «Чужбина» пока переиздана лишь однажды. О судьбе книг Жаботинского, которые стали возвращаться в страну, где были написаны, см.: Жаботинский в XXI веке на русском языке // Еврейский книгоноша. 2003. № 1(2). С. 56—61.

шагнули через эпоху. И молодой Жаботинский говорит сегодня с евреем-москвичом так же горячо и убедительно, как говорил с его екатеринославским или одесским прадедом»¹.

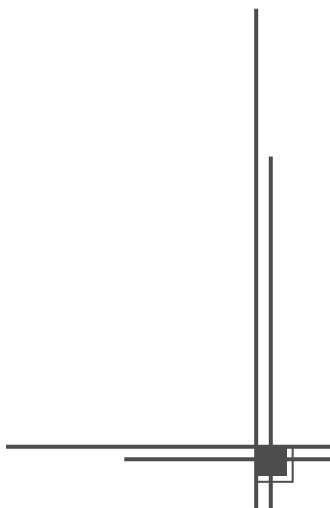
Этим словам уже тридцать лет. Но правота их от этого не меньше.

Леонид Кацис

¹ Орен И. Владимир (Зеев) Жаботинский. // Владимир (Зеев) Жаботинский. Избранное. Иерусалим, 1978. С. 22.



**ПРОЗА
ПУБЛИЦИСТИКА
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ**
1897—1901





Из детского мира

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Мы очень часто придаем различные названия одному и тому же понятию, выражая этим наше отношение к последнему. То самое, что вчера мы считали извинительным проявлением самолюбия, сегодня мы называем гордостью, то, в чем сегодня мы видим немного сильное выражение справедливого негодования, завтра мы заклеим именем дерзости. Но между всеми этими произвольными категориями, в которые мы заключаем очень близкие между собою понятия, нет, может быть, более сходных, чем категория зависти, с одной стороны, и «благородного соревнования» — с другой.

Действительно, разницу между этими понятиями можно заметить только в том случае, если принять, что зависть для достижения своих целей пользуется вообще средствами непохвальными, а «соревнование» употребляет исключительно законные и благородные пути. Но ведь это относится уже к проявлению данных чувств, а не к самим чувствам. И разница в проявлениях зависит вовсе не от разницы в чувствах, а от большей или меньшей честности субъекта, т.е. от той же причины, по которой один человек подавляет в себе жажду мести, тогда как другой подчиняется ей.

Между тем наши педагоги, принимая различие в названиях за разницу в чувствах, самым деятельным и сознательным образом культивируют в детях ту именно зависть, которую по справедливости следовало бы считать «матерью пороков».

В самом деле, разве не к этой цели направлен повсеместно распространенный у нас способ оценки учебных знаний посредством более или менее сложных балльных систем? Г-да педагоги мотивируют, очевидно, эти системы желанием поднять успехи учеников, действуя на их самолюбие. Но при этом забывается следующее. Те ученики, которые учатся ради отметок, предпочитают, не дорожа знаниями, при всяком удобном случае заслужить высокий балл мошенническим образом, что, как кажется, еще легче, чем обыкновенно думают. Те же ученики,

которые желают действительно знать, будут заниматься и без отметок. Остается ничтожный процент тех, которые, хотя и учатся только ради отличий, но желают честно заслужить их. Эти ученики, несомненно, сочтут необходимым и без отметок аккуратно исполнять свои обязанности, хотя бы и не представляющие для них интереса.

Таким образом, польза, приносимая балльными системами, совершенно незаметна, но этого далеко нельзя сказать о вреде, причиняемом ими. Ничто так не портит товарищеских отношений между соучениками, как отметки. Почти каждый из читателей может вспомнить примеры, доказывающие неоспоримо вредное влияние балльных систем на характеры воспитанников наших учебных заведений.

Ребенок поступает в младший класс, иногда вместе с каким-нибудь «старым» другом, очень может быть, что они уже читали или слышали об училищной жизни и о знаменитом «духе товарищества». Этот последний, конечно, с первых же дней оказывается химерой. Но дальше — еще хуже. Два «старых» друга выдвигаются на главный план; пальма первенства колеблется между ними. В них невольно возникает «благородное соревнование». Но один из них случайно сплеховал и получил невысокую отметку. Он уныло сидит и вслушивается в бойкие ответы своего соперника.

Вдруг он слышит, что последний сбился, спутался, запнулся, неужели ему не обрадоваться? Это ведь так логически вытекает из самой идеи «благородного соревнования». А теперь наш ученик при всяком ответе своего соперника будет невольно, но жадно ожидать, чтобы этот снова сбился и запнулся и т.д. При таких условиях — близок конец «старой» дружбе!

Или вот другой случай. Попадаетея трудная задача. Учитель предлагает умеющим выйти к доске. Десяток «специалистов» назойливо рвутся с мест; некоторые даже шепчут: спросите «меня». Когда же счастливец вызывает, другие жадно следят за ним, радуются его ошибкам и подчас даже насмеваются. А ради чего все это делается? Ради отметки.

Таких примеров можно было бы привести тысячи, если бы дело не было ясно на первый же взгляд. Это чаще всего встречается, конечно, в младших классах, однако же и в старших оно не редко. Таким образом, отметки портят отношения между учениками, возбуждают в них зависть к успехам товарищей. При всем том дело редко доходит до соперничества, до настоящей конкуренции, когда оба стараются действительно лучше

учиться; гораздо проще, легче и спокойнее неверно подсказать сопернику, сбить его, как бы нечаянно, и стараться отличиться перед учителем при помощи нехлопотливых, но мало похвальных уловок.

При этом, конечно, соблюдается иерархия. «Перворазрядные» соперничают только с «перворазрядными», средние — со средними. С этой точки зрения ясно, что балльная система тем вреднее, чем она сложнее, чем больше разнообразия она допускает. Например, при практикуемой в наших гимназиях системе 5 баллов с «плюсами» и «минусами» возможен настоящий ажиотаж на $4+$, $3-$, $3=$ (ей-богу — три с двумя «минусами»!) etc.¹ В институтах и корпусах употребляется 12-балльная система. Не знаю, есть ли в ней «плюсы» и «минусы», если да, то это нечто чудовищное.

Отсюда ясно, что вред заключается не в самой балльной системе, а в ее сложности. Поэтому рациональнее всего было бы установить только две отметки: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» без всяких «плюсов» и «минусов». Благодаря этим отметкам родители и опекуны учеников не менее, чем теперь, знали бы об успехах своих питомцев; наконец, желающие могли бы обращаться за более точными сведениями к преподавателям. Такая перемена была бы очень желательна.

Кстати заметить, детская зависть вообще пользуется очень нежным уходом со стороны наших воспитателей — и специалистов и доморощенных. Большинство взрослых на каждом шагу, без всякой задней мысли говорят ребенку «ты» и покровительственно обращаются с ним, хотя есть множество детей, которых до слез возмущает эта незаслуженная ими «несправедливость» и которые только из благовоспитанности или робости не решаются выразить свое негодование. Многим детям трудно примириться с мыслью, что из-за одной разницы в годах, в которой они совершенно неповинны, им приходится вечно чувствовать себя низшими. Рискуя показаться смешным, я настаиваю, что такое обращение не только вредно, так как вызывает в детях зависть к полноправным лицам, но и не имеет разумного основания. Вежливость никогда не мешает; что же касается до того, что «ты» будто бы «сближает», то это бывает только при *взаимном* «тыкании», да и то не всегда!

Вл. И.

Южное обозрение. 11.09.1897

¹ И так далее (лат.).



Эдгар Аллан По

I

Через два года исполнится пятидесятилетие со дня смерти оригинальнейшего из поэтов — Эдгара По. Некоторые американские газеты извещают, что в Балтиморе уже готовится подписка на открытие ему памятника. Поэтому, может быть, будет своевременным поговорить с читателями о новеллах и поэмах североамериканского поэта.

Какой-то французский писатель замечательно метко определил одну из важнейших особенностей Эдгара По словами: «алгебра, подчиненная фантазии». Действительно, По в высшей степени обладал умением строить воздушные замки из необычайных положений и самых рискованных вымыслов на научном фундаменте или применять свои довольно обширные познания к созданиям своего могучего воображения. В этом отношении Жюль Верн или Мавро Иокэй (в некоторых романах) являются последователями Эдг. По. Его «Приключение Ганса Пфаля», в высшей степени характерное и замечательное произведение, несмотря на ошибки в научном обосновании некоторых вопросов, является прототипом множества «путешествий на Луну и другие планеты»; с той же точки зрения можно рассматривать прелестный рассказ «Низвержение в Мальстрем» и «Рукопись, найденную в бутылке»; впрочем, в последнюю новеллу, как это очень часто бывает у Эдг. По, вложена еще одна труднопонятная символическая идея. По особенностям характера По не любил больших произведений; на немногих страничках в форме короткого рассказа он излагал сжатым и сильным языком богатое содержание творений своей странной фантазии. Впрочем, из-за этой краткости часто, как в новеллах «Морелла», «Леди Лигейя», «Элеонора» и др., очень трудно раскрыть глубокую мысль автора.

Наиболее обширное из его произведений — «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» — представляет собою странный «роман», недосказанный, почти лишенный завязки и единства действия, но полный картин эффектной и — если можно так выразиться — утонченной фантазии. В этом именно произведении встречается много сцен, в которых Эдг. По с прославившим его искусством заставляет читателя бук-

важно холодеть от ужаса. Многие говорили мне, что даже знаменитый «Вий» Гоголя в детстве не производил на них такого впечатления. В конце этого романа По возвращается к своему излюбленному коньку — к таинственным совпадениям и раскрытию непонятных тайнописаний. Надо заметить, что в таких «анализах неведомого» он достиг редкого совершенства; это известно всякому, кто читал такие шедевры его, как «Золотой жук», «Убийство на улице Морг», «Украденное письмо» и «Тайна Мари Роже». Я убедился *личным опытом*, что, следуя указаниям первого из этих рассказов и небольшой статьи «Cryptography» («Тайнописание»), легко научиться разбирать шифры известного типа — именно те, в которых *каждая* буква заменена *особым* знаком. Но из биографии Эдг. По очевидно, что он умел анализировать и более сложные криптограммы; так, известно, что читатели журнала «Graham's Magazine» присылали Эдг. По шифрованные письма на шести языках и самых разнообразнейших типов, и он немедленно разбирал их. К сожалению, он не изложил всех своих принципов анализа; он ограничился (в статье «Cryptography») только ссылкой на сочинения по этому интересному вопросу Trithemius, Cap. Porta, Vignere и P. Niceron.

Свою поразительную способность доходить, опираясь на немногие данные, до первых причин всякого запутанного происшествия он тоже доказал не одними только рассказами. Достаточно упомянуть об истории загадочного убийства, тайну которого Эдг. По, живя вдали от города, где случилось происшествие, раскрыл в рассказе «Тайна Мари Роже»; достаточно вспомнить, что он при появлении в печати первых глав романа Диккенса «Барнаби Редж» предсказал, в разборе их, все дальнейшее развитие действия в этом произведении. Я бы не осмелился передавать этот невероятный случай, если бы о нем не рассказывал такой авторитет, как Ингрэм, и если бы Э. По сам в статье «Философия творчества» не сослался на письмо английского романиста, где последний спрашивал По, «не имеет ли он сношений с нечистым».

II

Уже многим бросалось в глаза сходство между Эдг. По и Достоевским. Прочтите, с одной стороны, «Идиота», «Карамазовых», «Игрока» и прочие романы Достоевского, а с другой — «Беренику», «Сердце-обличитель», «Дух извращенности»,

«Колодец и маятник», «Черную кошку», некоторые главы из «Приключений Пима» и т.д., и вы увидите, насколько близкое родство существует между произведениями тенденциозного реалиста — и поэта, сознательно поклонявшегося только красоте (Beauty) и считаемого романтиком, отцом символизма. У обоих видны любовь и поразительное умение анализировать *ненормальные* духовные процессы — будь то обычные отправления больного, неестественного характера или же отклонения от правильного хода психических отправлений в здоровой душе. Эта черта Достоевского известна всем, и легко найти ей соответствие в попытках Эдг. По проследить нарушения психической цельности, вызванные чрезмерным развитием некоторых чувств, как зрение, слух, или же внимания, привычки к самоанализу и т. п. Очень замечательным в этом отношении кажется мне очерк «Дух извращенности». Здесь Эдг. По мастерски характеризует возникающее у многих болезненное стремление поступить наперекор требованиям нашего же разума. Нечто подобное есть и у Льва Толстого в том месте «Отрочества», где он рассказывает о столкновении Николиньки с губернатором S-te Jerome'ом. Но у Достоевского или у Толстого все это по большей части разработано до подробностей; у Эдг. По только намечены наиболее поразительные, странные, неестественные стороны всякой ненормальности — только те стороны, которые способны приковать к себе его внимание, управляемое фантазией совершенно особенного склада. Эта фантазия далеко не так плодovита и разнообразна, как воображение Дюма-отца, Г. Эмара и других; она идет больше в глубину, нежели в ширину; она *изысканна* и ищет небывалого, поражающего и странного. Именно странного: «strange» — слово, чаще всего употребляемое Эдг. По.

Лучше всего Эдг. По передавал страх во всех его отношениях и видоизменениях. Он посвятил анализу этого чувства «Падение дома Эшеров»; этот роман — позвольте так назвать его — полный глубинного смысла. Интерес этого произведения сосредоточен на представителе выродившейся фамилии Эшер, существе с невероятно чуткими нервами, изоощренность которых доходит до переживания чужих ощущений. Эдг. По применил к Эшеру слова Беранже: «Сердце его — лютня, повисшая в воздухе и отзывающаяся на легчайшее прикосновение». Эшер борется с невидимым чудовищем — Страхом и наконец погибает под его влиянием. Приступы его таинственной бо-

лезни переданы Эдг. По с неподражаемой выразительностью; при этом много значения имеет слог автора, вполне оригинальный и самобытный, так же как и вся вообще внешняя форма его произведений.

III

Очень интересны идеи Эдг. По, выразившиеся в его произведениях, — его взгляды на жизнь, на религию, на науку и искусство.

В «Вороне» — чудной поэме, едва ли имеющей что-нибудь подобное себе по оригинальности сюжета, формы и размера и по красоте выразительного стиха, — в «Вороне» Эдг. По выразил свое грустное, пессимистическое воззрение на земную жизнь и земное счастье. «Никогда», «никогда» — «nevermore» — главный мотив этой песни разочарования и отчаяния. Нет ничего — ни забвения, ни свидания за гробом. Ворон, прилетевший в одинокое «жилище Ужаса», остается в нем навсегда, и из его черной тени измученный дух страдальца

Не восстанет — никогда!

Та же мысль о невозможности счастья выражена в стихотворениях «Эльдорадо», «Сон во сне», «Червь-победитель». За счастливой страной золота и наслаждений надо идти на Лунные Горы; жизнь — это «сон во сне», драма, разыгрываемая в театре для ангелов* и заканчивающаяся вечным триумфом Победителя-Червя.

Эдг. По верил в Бога и умел горячо молиться, но относительно загробной жизни его взгляды часто противоречивы. В «Вороне» он отрицает бессмертие, тогда как в новеллах «Морелла» и «Лигейя», если не ошибаюсь, проведена мысль, что душа и после смерти не теряет сознания и энергии, — мысль, которую Ингрэм называет его любимой идеей. Может быть, при более глубоком исследовании сочинений По удастся примирить эти кажущиеся противоречия и связать их воедино.

Эдгар По в продолжение всей своей жизни сохранил уважение к человеческому разуму и к науке. В сказке «Правда чуднее выдумки» он рассказывает, как супруг Шехерезады, не усомнившийся в правдивости прежних сказок своей жены,

* Замечательно, что и Достоевский называет жизнь «водевилем дьявола» («Бесы»).

не поверил ее описанию чудес новейшей науки. Впрочем, в другом рассказе он заставляет последнюю пасовать перед древней цивилизацией Египта.

На его собственных научных идеях заметен был отпечаток метафизики и мистицизма. Так, он увлекался гипнотизмом (знаменитый, произведший громадный фурор рассказ «Случай с м-ром Вальдемаром»); полагал, что все вещи в мире одарены чувствительностью и сознанием (как видно это из «Падения дома Эшеров»). Однако следует заметить, что к последней из этих идей очень легко перейти от новейших научных теорий.

Замечательны мысли Эдгара По о задачах искусства. Целью последнего он считал только Красоту, а не Истину; «...иначе, — говорил он, — Крэбб как поэт выше Мильтона». Вы не станете читать произведения, где вам рассказывают давно известные вам истины; вы ждете нового, интересного; если это новое будет изображено верно до протоколизма, но настолько же сухо, вы не удовлетворитесь истиной произведения и не скажете, что это искусство; вы захотите, чтобы все было *красиво* нарисовано и рассказано вам, и если даже тема будет отталкивающей, вы найдете *красоту* в исполнении и причислите это произведение к созданиям искусства. Для того чтобы обстоятельно изложить истину, не надо искусства — на это способен и писарь, но искусство нужно для того, чтобы придать истине *изящную* форму, которая могла бы произвести впечатление. И первое появление искусства вызвано не желанием знать Истину, а желанием Красоты.

При всем том, не в пример другим поэтам того же направления, Эдг. По не делал из своей поэзии какого-то создания «вдохновенных мечтаний». Стоит прочесть «Философию творчества», где он рассказывает, как создавался его «Ворон», и где он говорит, что «ничто в этой поэме не является плодом случайного вдохновения, но она подвигалась вперед, шаг за шагом, с точностью и последовательностью математической задачи». В этом отношении По является совершенным реалистом, несмотря на мотивы своей поэзии.

Какая бездна между поклонением красоте у Эдг. По и у наших жрецов «чистого» искусства! Кто не зевает над бессодержательными стишками Фета? И, однако, прочтите тоже «безыдейные» стихотворения — баллады Эдг. По — «Перезвон» («Bells»), «Элалюм» и особенно «Аннабель Ли» — и вряд ли вы не почувствуете всего значения настоящей поэзии, которая

не довольствуется красивыми избитостями, но ищет прежде всего *оригинальной* красоты в идеях, в теме — хотя бы и несложной — и даже в структуре стиха.

Конечно, и у По есть избитые стихотворения, но их очень мало. Среди его рассказов найдется уже больше совершенно неудачных и неприятных, особенно в юмористическом тоне. Юмор не давался Эдг. По, в этом он опять сходится с Достоевским. Но не надо забывать, что эти спутанные новеллы-галлюцинации хранят на себе явную печать белой горячки, которая мучила несчастного алкоголика-поэта. В свои светлые минуты он написал несколько чудных произведений, полных ума и поэзии, и они надолго останутся памятниками искусства.

Вл. И.

Южное обозрение. 12.10.1897



Взгляды современных беллетристов на воспитание

Детский вопрос все больше и больше обращает на себя внимание мыслящей части русского общества. На страницах лучших журналов очень часто появляются рассказы и повести, посвященные разработке этого вопроса с той или другой стороны. При сравнении между собой всех этих произведений нельзя не остановиться на взглядах их авторов на некоторые важные частности детского вопроса. Так, очень замечательно отношение их к родительской власти, к детской самостоятельности; особенно интересна точка зрения, с которой они смотрят на воспитание — школьное и семейное.

Года два-три тому назад произвели большое впечатление две повести г-на Гарина: «Детство Темы» и «Гимназисты». Оригинальный слог, импрессионистская манера изложения, живая и как будто небрежная обрисовка типов — все это завоевало автору симпатии читателей, тем более что некоторые узнали в повестях г-на Гарина лица и события, действительно жившие и происшедшие лет 25 тому назад. В обеих повестях, особенно во второй, замечательно характерно и живо изображена гимназическая жизнь конца шестидесятых годов, как утверждают лица, учившиеся в то время в средних учебных

заведениях. Другой автор, г-н Тимковский, в повести «Сергей Шумов» (Русск. мысль, 1896) изобразил гимназию современную. Притом автор увеличил занимательность своего сюжета тем, что жизнь, представленная в его произведении, не только гимназическая, но еще пансионская (известно, что при гимназиях нередко иногда устраиваются казенные пансионы). Значит, г-н Тимковский выбрал тот случай, когда школа всецело берет на себя воспитание ученика и ответственность за него.

Из этих трех повестей вытекают заключения, очень неблагоприятные не только для характеристики школьного воспитания, как оно поставлено теперь, но и для самой возможности его. Авторы ставят вопрос так: могут ли школа, гимназия, пансион рационально воспитать учеников, то есть внушить им известные нравственные правила и приучить их следовать этим правилам? И этот вопрос оба автора решают отрицательно.

Для того чтобы было возможно воспитание, необходимо доверие ученика к наставнику. Но поставьте себя на место маленького гимназиста или пансионера. Вас окружает толпа товарищей; некоторых из них вы любите, и даже все остальные гораздо ближе вашему сердцу, чем воспитатели, как бы последние ни были симпатичны, гуманны и справедливы. Поэтому во всяком случае вы будете стоять не за старшего, а за младшего, тем более что у вас еще мало развито понимание добра и зла. Наставник добивается своего, воспитанники, насколько могут, противятся ему или ропщут; при таких условиях порядочное воспитание становится химерой. А для того чтобы сделать его возможным, вам придется руководствоваться правилом «разделяй и властвуй». Но ведь принципы Макиавелли — плохое подспорье для воспитания. Да и для того чтобы «разделять», потребуются средства не совсем благовидные. Так, в «Детстве Темы» директор, желая выпытать у учеников имя виновного в каком-то проступке, употребляет такой прием: он остается с мальчиком наедине, сжимает ему руку, играет взглядами «страшных» глаз и доводит ребенка до какого-то гипноза и отчаяния. И он вполне прав, потому что иначе поступать невозможно. Если у него 400 учеников, то он не может никакими средствами заставить каждого из них добровольно уважать директора и подчиняться его мудрым мероприятиям. Что же остается делать? А не наказывать ученика за проступок, значит отречься от роли воспитателя. Та же история повторяется в повести г-на Тимковского. Цели начальства и здесь хорошие,

но средств никаких нет, кроме самых непохвальных. И здесь приходится тоже обратиться к другому спасительному принципу: цель оправдывает средства. И вот являются господа вроде надзирателя Павловича, который для «более удобного наблюдения» завел сапоги на пробковых подошвах, и тому подобные «воспитатели».

Отсюда один вывод. Если школа, для того чтобы воспитывать, должна пользоваться средствами, которые, во-первых, бесчестны, а во-вторых, только озлобляют учеников и делают невозможным всякое воспитание, то ясно, что школа должна ограничиться только обучением. Воспитание — дело не ее.

А чье же? Вот на этот вопрос мы находим ответы в некоторых других произведениях последнего времени, но особенно опять-таки в «Гимназистах» г-на Гарина (о которых я надеюсь подробно поговорить при случае с читателями «Южного обозрения»). Повести вроде «Новых всходов на старой полосе» (Русск. бог., 1897 г.) или «То было раннею весной» (Русск. м., 1897 г.) занимаются больше вопросом о пределах родительской власти и детской свободы, вопросом, которого я здесь не касаюсь. В первой из них, кроме того, можно найти материал и для предмета этой статьи; но нами взят случай слишком частный — мать и воспитательница изображена женщиной дурной и бесчестной. В «Гимназистах» же мать героя Карташева — особа умная и благородная; все симпатии автора на ее стороне, она горячо любит своих детей, желает им добра, но...

Но окончательный вывод получается снова тот же. Воспитание — дело очень тонкое. Для этого дела нужно знакомство с детской душой, а психология детской души — это то, что не снилось нашим мудрецам и что представляет китайскую грамоту для матери Карташева. И выходит опять, что цели хорошие, а средства никуда не годятся. Мать хочет, чтобы Тема (сын) вышел хорошим человеком, и для этого не позволяет ему своего суждения иметь, при случае выразительно намекает: помолчи, душенька, а не то... — и поселяет его в проходной комнатке тоже «в видах более удобного наблюдения». А отсюда происходит то, что сын мало-помалу перестает ее уважать и, привыкнув вечно подчиняться, остается слабым ребенком на всю жизнь. Поэтому третья часть трилогии г-на Гарина «Студенты», хотя в ней уже не говорится о воспитании Карташева, все-таки интересна с той же точки зрения, так как в ней ярко показаны печальные последствия карташевской педагогики.

Но карташевская педагогика еще очень хороша сравнительно с воспитательными системами всякой другой семьи. И вывод опять-таки получается очень неблагоприятный и опять-таки не только для *современного* семейного воспитания, а для самой возможности его вообще.

Но допустим, что есть для воспитания средства и честные, и ведущие к несомненному достижению цели, и зададим себе вопрос, не будут ли верхом преступного самомнения слова: «Я сделаю из моего дитяти такого человека, какого я считаю хорошим»?

Вл. И.

Южное обозрение. 19.10.1897



Ариэль и Тамара

СКАЗКА

За столицей мудрого царя Соломона шелестел по склонам холмов густой лес. С его опушки запутанные тропинки вели на поляну, где происходили свидания Ариэля и Тамары.

Ему было около четырнадцати лет, и ей тоже. Но Ариэль был сыном знатного иерусалимца, одного из любимейших советников премудрого царя, и его волосы были черны, как ночь, а глаза — как уголь. А Тамара жила за городом, потому что ее отцу, иноплеменнику, не дозволялось обитать среди иудеев, и ее мягкие, длинные локоны были нежного темно-каштанового цвета, а синие глаза глубоко поразили Ариэля, когда он в первый раз встретил ее, бродя по лесу.

С этих пор они много раз сходились по ночам на поляне среди леса, нежно целовали друг друга глаза и волосы, перекидывались робкими полусловами и потом со вздохом расставались, убегая, чтобы незаметно проскользнуть к себе. Впрочем, Ариэль принимал больше предосторожностей, чем Тамара: его суровый отец ни за что не должен был узнать, где проходили ночи сына.

И в эту ночь, стоя у дерева среди светлой поляны, Тамара снова ждет. С темного неба ярко светит белый месяц: как серебро на черном фоне бархата, резко выделяется осыпанная лун-

ным блеском стройная фигурка Тамары в легкой длинной одежде. Минуты убегают, и чудится, что ветер шелестит: не жди его, Тамара, он не придет!



В этот вечер Эгуд, отец Ариэля, долго расспрашивал одного из рабов.

— Откуда ты знаешь, что это было не в первый раз? — говорил Эгуд.

— Это было ясно из их речей, господин.

Тогда старый Эгуд угрюмо велел рабу уйти, а сам отправился в комнату своей прекрасной жены.

— Я давно предупреждал тебя, Ноэми, что мы много горя испытаем из-за Ариэля.

Ноэми стояла перед ним, испуганная и встревоженная.

— Тысячекратно прав наш мудрый царь, сказавший, что не следует обращать внимание на слова жены! Из-за тебя, Ноэми, я так мало наказывал Ариэля. Не было примера, чтобы израильское дитя пользовалось такой свободой, как он. И давно я говорил тебе, что мне не нравятся его мысли и слова. Но теперь он превысил меру моего терпения, и я покараю его со всей строгостью, заповеданной нам отцовскими обычаями. Не возражай мне!

И, покидая плакавшую Ноэми, он приказал:

— Пусть пошлют Ариэля в мои комнаты.

Через минуту Ариэль вошел к нему с опущенной головой. Он догадывался, что отец хочет за что-то наказать его побоями. Прежде это часто случалось, но с тех пор как в богатый дом Эгуда вступила вторая жена старика, молодая и добрая красавица Ноэми, Эгуд стал мягче обращаться с Ариэлем.

Эгуд сидел на эластичной подушке у стола и холодно, сурово смотрел на сына. Ариэль не догадывался, о каком проступке его будет речь.

— Авиноам сказал мне, — начал Эгуд, — что вчера ночью ты был там, в лесу.

При этих словах Ариэль сразу побледнел.

— Ты был в лесу, и с тобой была женщина. Авиноам узнал в ней дочь купца из Идумеи, девицу Тамару, жилище которой лежит за пределами Иерусалима. И я хочу знать, правду ли говорит Авиноам?

Ариэль тихо прошептал:

— Правду.

— Отступник! — закричал громовым голосом Эгуд, поднимаясь и занося руку, — позор моему имени! Проклятие моей старости! Сын царедворца Эгуда ходит на свидания с язычницей, с малолетней блудницей из идумейской земли! погоди же! Ты искупишь эти свидания неслыханной болью — я накажу тебя строже, чем когда-либо наказывал отец свое дитя!

Эгуд кинулся на сына; Ариэль закрыл глаза. Отец швырнул его на пол и позвал раба. Авиноам принес тяжелую плеть, и на неподвижного Ариэля посыпались свистящие, резкие удары. Ариэль зарыдал от невыносимой, жгучей боли, но не смел даже заслонить себя рукой. Его крики доносились до комнат госпожи Ноэми, которая в отчаянии бросилась на кровать, напрасно закрывая себе уши. Крики Ариэля звучали все громче, пронзительнее, хриплее; в них уже трудно было различить что-нибудь человеческое — это зверь безумно визжал от смертельной, жестокой, беспощадной боли.

Потом Авиноам унес бесчувственное тело Ариэля в отдаленную комнату. Туда же проскользнула Ноэми со своей любимой служанкой.

Эгуд сидел над окровавленным местом расправы. Он так тяжело дышал и его глаза так угрюмо чернели под седыми бровями, что рабы не решались войти и смыть эту кровь с каменного пола.

Эгуд развернул государственные бумаги, над которыми он работал. Но трудно было ему сосредоточиться на них, потому что в его душе с сознанием исполненного долга соединялись непонятные укоры совести. И вот он долго сидел, глубоко задумавшись, пока заря не окрасила розовым налетом окон его комнаты. Тогда Эгуд прошептал:

— Нет, не это называется жестокостью!

В дверях показался Авиноам.

— Господин, твой сын только что очнулся. Ноэми велела доложить тебе об этом.

Авиноам робко произнес эти слова и скрылся.

Эгуд побледнел и поднялся, вскрикнув: «Только теперь!» Заря игриво засверкала на влажном, еще кровавом пятне посреди пола.

Мучения Эгуда стали невыносимы. Он бросился во дворец мудрого Соломона. Эгуд знал, что в это время царь уже выходил из роскошных женских покоев своего дворца.

Подходя к утренним комнатам Соломона, Эгуд услышал тихий и звучный голос царя, напевавшего под перезвон могучих струн арфы покойного Псалмопевца стихи из «Песни Песней».

Когда мудрый царь умолк, Эгуд приблизился и поверил ему свои сомнения. И царь Соломон сказал ему:

— Ты исполнил свой долг.

Тогда Эгуд вернулся к себе и объявил, что Ариэль в продолжение трех дней останется взаперти, и пищей ему будут вода и хлеб.



И на следующую ночь, и на третью ночь Тамара не дождалась Ариэля. Когда же настал четвертый вечер и измученная девочка проскользнула на поляну, из-за деревьев показалась навстречу невысокая стройная фигура, и Тамару нежно обнял Ариэль.

— Дорогой мой, отчего ты не приходил так давно?

Тогда он невольно заплакал и рассказал Тамаре все, что произошло в ту ночь. И когда он кончил, Тамара вскочила и гордо спросила:

— Ариэль, повтори, как назвал меня твой отец?

— Он сказал, что ты блудница, — прошептал Ариэль. При этом в глазах Тамары засверкали слезы, краска залила ее грустное личико, она схватилась за сердце, наклонилась к Ариэлю и тихо спросила:

— А ты... что ты ответил?

— Я ничего не ответил, — угрюмо проговорил он.

Тогда Тамара опустила на колени, закрыла лицо руками и горько заплакала. Ариэль прижался к ней, целуя, лаская ее, умоляя и успокаивая, но Тамара плакала и шептала:

— Я не блудница... а ты не заступился за меня!

Ариэль много раз покрыв поцелуями ее губки и волосы, и руки, и глаза и, наконец, подымаясь, произнес громким голосом:

— Слушай, Тамара. Я клянусь тебе Божьим именем, что с этой ночи ни мой отец, ни кто другой, даже сам царь Соломон, не оскорбит тебя безнаказанно при мне. Никогда и никто!

И он снова поцеловал Тамару, и Тамара сквозь слезы ответила ему на ласку. Тамара опутала шею Ариэля своими каштановыми волосами. И так они сидели долго, обмениваясь детскими ласками и нежными полусловами.

Месяц неподвижно неся в бездонной глубине темного неба; в его лучах, прерывавших густую зелень, резвились голубые алмазные искорки-пылинки. Густые ветви низко наклонялись над Ариэлем и Тамарой, словно прикрывая их мохнатой рукой.

И на следующую ночь Ариэль снова пришел на эту поляну; но в третий вечер Авиноам вторично подстерег его.

Ни госпожа Ноэми, ни рабы или рабыни не помнили, что бы старый Эгуд когда-нибудь гневался так, как в этот раз. Несколько мгновений он молчал, а затем с ужасным проклятием кинулся в комнату сына.

Это было утром. Ариэль уже вернулся и спал.

Эгуд разбудил его тяжелым ударом по лицу.

Ариэль вскочил, мигом стряхнул с себя сон, отступил и воскликнул, прикрывая лицо руками:

— За что?

— Египтянин! — загремел Эгуд, — ты снова был с этой блудницей! Отверженец!

Ариэль стиснул зубы и подошел к отцу, чувствуя, как холодеет в нем сердце от предчувствия чего-то небывалого и неизбежного:

— Я послушался, и ты можешь избить меня, — сказал он, глядя в потемневшие глаза Эгуда, — но ты не должен оскорблять честную девицу позорным именем. Не повторяй это больше.

Эгуд не поверил своим ушам. Вне себя, он ударил сына по темени. Кровь прилила к голове Ариэля, невыносимая злоба закипела в его груди и, расслышав новый крик отца: «блудница!», он изо всей силы размахнулся...



Еврейский закон говорит: поднявший руку на отца или мать — да будет побит камнями.

И вот дикая толпа собралась на площади пред великолепным Соломоновым храмом. Толпа редела и бушевала, но когда вдали показалась процессия, наступила немая тишина.

Ариэль шел со связанными руками, едва прикрытый грубым холстом. Его глаза были опущены и лицо бледно и безжизненно.

А несколько сзади гордо шел высокий старик с поднятой седой головой и суровыми глазами. В его руке был круглый металлический камень.

Ариэля подвели к небольшой насыпи. Эгуд остановился против него. Толпа раздалась; тишина стала еще зловещее и мертвеннее; Ариэль поднял голову, вскрикнул — и камень Эгуда ударил его в лицо.

Толпа загудела, завывала, загрохотала. Камни со свистом дождем замелькали в воздухе, сталкиваясь между собой и добивая истерзанное тело. А старый Эгуд среди шума и крика упал на колени и дико закричал, подымая руки к небу:

— Господь карающий, пошли мне силу — я исполнил свой долг, укрепи же мою душу, Господи!



И в эту ночь, стоя у дерева среди светлой поляны, Тамара снова ждет. С темного неба ярко светит белый месяц; как серебро на фоне черного бархата, резко выделяется осыпанная лунным блеском стройная фигура Тамары в легкой длинной одежде. Минуты убегают, и чудится, что ветер шепчет: «не жди его, Тамара, он не придет»!

Вл. И.

Южное обозрение. 27.02.1898



Аль-Джанеско

Цыганская легенда

— У вас говорят, что цыгане прокляты Богом, — сказала мне старая гадалка Негреза, — и, может быть, это правда. Слушай меня, я расскажу тебе предание о тех цингаро, что живут на западе и называются гитанами, и ты, ученый господин, объяснишь мне, точно ли прокляты мы Богом?..

Однажды в ненастную ночь по берегу реки, которую в той стране называют Мансанарес, шел молодой цыган Аль-Джанеско. На плечах его был плащ, под плащом гитара: все его богатство. Он спешил укрыться под какой-нибудь кровлей, вспомнил, что недалеко находится кабачок Педрильо, и бросился туда. Когда его впустили и собравшееся там общество узнало путника, раздалось веселые приветствия, потому что во всем

том краю хорошо знали гитана Аль-Джанеско и его песни. Гости толпой окружили юношу; но вдруг к Аль-Джанеско подошел высокий черноволосый молодец и сказал:

— Я шел тебе навстречу. Наш табор недалеко. — После этого он добавил несколько слов по-цыгански, которых никто не понял, но которые глубоко взволновали Аль-Джанеско. Он накинул свой плащ и, несмотря на грозу, выбежал вместе с этим высоким юношей.

— Неужели Зецинго, мой старый Зецинго, так болен? — спрашивал дорогой Аль-Джанеско.

— Ты видишь, что он послал меня к тебе навстречу. Но он сказал мне: «Энгаль, я велел моему сыну быть здесь по истечении трех месяцев, и я верю, что он придет сегодня к сроку, и я знаю, что не умру, не повидав его». И Зецинго велел мне топиться.

И вот, когда прошло несколько времени, Энгаль остановился перед одним из шатров уснувшего табора, а его спутник поспешно вошел туда и бросился к седому цыгану, лежавшему на охапке травы. Но старик, из которого жизнь уходила, как песок из горсти, прервал ласки Аль-Джанеско и сказал:

— Слушай и помни. Я, Зецинго, которому тебя поручили ребенком, воспитал тебя не так, как воспитываются другие дети нашего вольного племени. Я не учил тебя чуждаться эспаньолов, которых я ненавижу, — я заставил тебя много и много раз обойти их города, узнать их жизнь, их нравы и обычаи — и это сделано. И я знаю, что теперь ты, Аль-Джанеско, во всем равен покорителям этой богатой страны. И ты должен начать борьбу с ними и вернуть эти края маврам и гитанам.

«Да, Аль-Джанеско! Потому что ты предназначен к этому судьбой. Ты много раз спрашивал меня, что за странные изображения составлены на твоей груди родимыми пятнами, а цыгане дивились, почему у тебя зеленые глаза. Слушай меня, Аль-Джанеско! Энгаль, войди и слушай! Я, Зецинго, утверждаю и клянусь, что Аль-Джанеско — потомок и наследник мавританского царя Аддиль-Могамеда зеленоокого, а знаки на его груди — это факел, герб наших несчастных владык из города Гренады!»

Тогда Аль-Джанеско отступил, как ужаленный ядовитой степной змеей, а Энгаль опустился на колени. И Зецинго дал молодому калифу — так, господин, называются цари на языке тех цингаро — священные знаки высокого происхождения. А затем он с трудом поднялся и воскликнул:

— Иди теперь, единственный сын наших повелителей, — единственный, потому что, кроме тебя и твоей сестры, отданной в другой табор, нет более потомков Аддиль-Могамеда. Иди, созови всех гитанов этого полуострова, воодушеви их, подыми их, пойди пред ними и верни им свою опозоренную родину!

И между тем как Зецинго говорил эти слова, жизнь оставила его, и он упал на траву. А когда прошло четыре месяца и над Испанией стояло жаркое лето, по всем таборам уже пролетела весть, что поднялся молодой наследник мавританского царя и сзывал всех цингаро в горную область, имя которой Царра-Невада.

И много таборов тайно пробрались туда, а в закрытом ущелье Аль-Джанеско вышел к ним, показал им священные знаки своего происхождения и произнес пламенную речь. Он говорил от восхода до полудня, и когда он замолк, толпа загремела буйными кликами, подобно десяти громовым ударам; все упали на колени, приветствуя молодого царя, и молодые девушки целовали его руки, а мужчины клялись пойти вслед за ним и победить и отомстить.

В эту ночь Аль-Джанеско долго совещался с Энгалем и храбрейшими из гитанов. Они советовали напасть на эспаньолов тайно, в ночное время, и при помощи хитрости уничтожить их разом и без сопротивления. Но Аль-Джанеско, который привык к обычаям притеснителей и чуждался дикости своего племени, топнул ногой и объявил, что гитаны добьются своего права в честном бою, а не обманом.

После совета Аль-Джанеско одиноко брел по горным тропинкам при сиянии месяца. Он задумался; вдруг до его слуха донеслось грустное пение молодого женского голоса. Вот эта песня, господин:

*«Сердце плачет и рыдает,
И не спится бедной мне:
Где-то милый пропадает
В чуждегальной стороне...
Только тот, кто в синем поле
Сыщет ветер, — только тот
Там, вдали, на вольной воле
Мне любимого найдет...
У испанца дом укромный,
С ним подруга в доме том —
Ты ж, мой друг, гитан бездомный,
И в разлуке мы умрем.*

*Пронеслося наше счастье,
Не вернет его мольба —
Только горе да ненастье
Посылает нам судьба!»
Встала зорька золотая,
Разогнала ночь и тьму;
Скрылись звезды, тихо тая,
В пышном райском терему.
И вернулся милый к милой,
И обнять ее спешит,
Но холодною могилой
Бедный прах ее сокрыт.
Не снесла она разлуки,
И укрыл ее курган,
И чрез день — день, полный муки,
Рядом с нею лег гитан.
Пронеслось гитанов счастье,
Не вернет его мольба,
Только горе да ненастье
Посылает им судьба.*

Эту песню составил когда-то сам Аль-Джанеско.

И когда песня окончилась, Аль-Джанеско увидел молодую девушку. Она опустилась перед ним на колени; и когда он заметил ее красоту, он невольно спросил:

— У тебя есть милый, дитя?

Она произнесла: — Да! И этот ответ кольнул Аль-Джанеско прямо в сердце. И вот он велел девушке назвать имя своего возлюбленного. Но девушка молчала.

— Я приказываю это тебе, — сказал молодой повелитель гитанов. И девушка чуть слышно ответила:

— Его имя Аль-Джанеско.

И она протянула руки к своему возлюбленному, но молодой цыган, не знавший еще женской любви, удалился от нее.

Когда же настала следующая ночь, Аль-Джанеско невольно пришел на то же место. И опять раздалась та же грустная песня. Когда она замолкла, девушка подняла глаза и увидела Аль-Джанеско. Она снова упала на колени, но он опустился рядом с нею и, страстно целуя и лаская, склонил ее на росистую траву.

Ночь пролетела, солнце взошло. Царь и молодая цингара уснули на зеленой горной площадке. И когда солнце озарило лицо Аль-Джанеско, он пробудился и радостным взором окинул свою спящую подругу, которую впервые видел при дневном

свете. Он поднялся на колени и снова стал горячо целовать ее губы, плечи и открытую грудь.

И тогда он увидел на этой груди несколько родинок, которые вместе образовали факел, герб мавританских царей из города Гренады. Он задрожал и отшатнулся. В эту минуту его возлюбленная проснулась, и солнце ярко осветило ее ласковые, веселые очи, зеленые, как глаза Аль-Джанеско.

Аль-Джанеско с криком отбежал от нее. Дьявол привел ему на память слова, которые произнес Зецинго в ночь своей кончины: «Ты единственный потомок Аддия, кроме твоей сестры — сестры — сестры».

И вот, сжав кулаки, Аль-Джанеско яростно крикнул:

— Не приходи ко мне, женщина, не приходи! Не касайся меня, проклятая!

Она изумилась и упала пред ним на колени, а Аль-Джанеско, ломая руки, рассказал ей все. Но ее лицо все прояснилось, и она воскликнула:

— Если так, то слава Небу за мое высокое происхождение! Иди ко мне, мой брат и мой супруг!

Тогда Аль-Джанеско схватил себя за волосы.

— Проклятие Бога поразило тебя и твое племя безумием! Разве ты не знаешь, преступница, что нет греха ужаснее того, который мы совершили? Одумайся! Слепая! Слепая! Одумайся и искупи свой преступный позор!

— Брат мой, — печально спросила она, — о каком преступлении говоришь ты?

Тогда Аль-Джанеско, пораженный и бледный, бросился к краю площадки.

— Одумайся! — закричал он в отчаянии, — ты слепа, и все вы слепы, вы не знаете добра и зла и оттого вы страдаете. Проклятие Божие над вами! Одумайся и искупи свой грех, как я искупаю его!

И Аль-Джанеско с воплем кинулся в черное ущелье Царя-Невады и исчез там навсегда.

А таборы, оставшиеся без предводителя, снова разбрелись по Испании.

— Скажи мне, ученый господин, — спросила гадалка Негреза, — действительно ли мы прокляты Богом?

Но я не знал, что ответить ей.

Вл. И.

Южное обозрение. 22.03.1898



Мышонок

Из действительной жизни

Берн, 14 (26) мая

Хорошенький городок Виль-Эрст, всегда тихий и спокойный, был уже с неделю в большом волнении. Случилось происшествие вообще странное, а для этого тихого уголка даже поразительное: случилось покушение на убийство при самых небывалых обстоятельствах. Дело произошло так.

14 мая утром повар г-жи Б. Фридрих Рюкер, находился во дворе и наполнял водою ведро, на дне которого стояла мышеловка с пойманным мышонок; Рюкер (как после выяснилось) боялся мышей и потому предпочитал хлопотливую операцию утопления их всяким другим истребительным мерам. Вокруг собрались ребятишки и смотрели, как мышонок в отчаянии взбирался все выше, стараясь просунуть головку в промежутки между проволоками. Вдруг послышался громкий возглас, и к Рюкеру бросился крошечный, бедно одетый человек. Это был Антуан Жозеф Малер, приказчик небольшой лавки. Он толкнул было ведро, но Рюкер держал его довольно крепко, так что бессильный Малер только ушиб себе ногу. Малер кричал что-то, обращаясь, по-видимому, к повару, но последний не понимал его. Тогда Малер завизжал, выхватил из кармана складной нож и серьезно ранил им в горло Рюкера, затем он опрокинул почти полное ведро, схватил мышеловку и убежал.

Странность этого происшествия увеличивало еще то обстоятельство, что преступник был кретин. В этих местах (как полагают, благодаря влиянию горного воздуха) нередко являются на свет странные существа, карлики с дряблыми и тупыми лицами, с тусклыми зелено-серыми глазами и с поразительно резким, страшным, непередаваемым голосом. Когда кретин сердится или волнуется, то понять, что он говорит, становится почти невозможным. Но кретины редко волнуются: они почти всегда тихи, робки и дики. Они чуждаются общества и ведут одинокую, полудикую жизнь.

Кретин-преступник — об этом Виль-Эрст еще ни разу не слышал, а потому все ждали процесса Малера с жадным любопытством и нетерпением.

Малер был схвачен около полудня в роще возле самого города. Мышеловки с ним уже не было. Он сначала визжал и вырывался, но потом покорился и затих.



Почти весь городок перебивал у старой *madame Koede*, содержательницы *quincaillerie*¹, где служил Малер. Мадам Кеде в тысячный раз охотно рассказывала все, что знала о своем приказчике.

Оказалось, что Малер был совершенно одинок, жил на краю города очень бедно и скромно (он получал 30 франков в месяц), ни с кем не сходилась и не сблизился, был довольно аккуратен и вполне честен. Мадам Кеде полагала, что Малер, не в пример прочим кретинам, кроме хитрости, свойственной этим людям, отличался еще некоторой развитостью ума. Далее, он был, по-видимому, религиозен и совершенно не вспыльчив.

Лавочница, жившая на окраине городка возле дома, где поселился Малер, сообщила, что кретин покупал у нее хлеб, масло, соль, картофель, летом — фрукты; брал в долг и платил аккуратно.

Больше никто ничего не знал об Антуане Жозефе Малере.



После прочтения обвинительного акта было приступлено к перечислению «вещественных доказательств».

...Мышеловку же, — читал *maître*², — а также заключавшиеся в ней мышонка найти не удалось...

Тут кретин, который, сторбившись, сидел все время на своей скамье, вдруг заволновался и заговорил отрывисто своим резким голосом:

— Нет... Нет! Мышонок тут — у меня.

Он поднялся, вытащил что-то из-за пазухи и протянул к столу руку с маленькой темно-серой мышью. Произошел «инцидент». С одной стороны послышался смех, с другой — истерические и полуистерические вскрикивания напуганных дам.

Потом все успокоилось; кого надо, просили удалиться, и мышь была причислена к «вещественным доказательствам».

¹ Скобяная лавка (*фр.*).

² Мэтр (*фр.*).

Кретин, заикаясь, пояснил, что он спрятал мышонка в день нападения на Рюкера и жил с ним в тюрьме, кормя его остатками своего обеда. Мышеловку же он «изломал и выкинул в реку». После этого разъяснения процесс продолжался своим порядком.

Тут произошел второй «инцидент», уже совсем неожиданный. При обычном вопросе о виновности Малер заволновался, встал и ответил:

— Я... имею что сказать. Тут... он или он, я не помню, — один... один меня спросил: признаете себя... виновным? Это в самом начале. Я... я не признаю. Я не виновен... господин судья. Я вам сейчас скажу... Не мешайте. Он... этот несчастный, как его зовут? Поймал совсем маленькую мышку... сильный, большой человек... поймал мышку, посадил в клетку... Он туда воду наливал, хотел утопить. Вы посмотрите на эту мышку теперь, какая она маленькая! А тогда она была еще меньше.

По-видимому, Малер расхрабрился и начал говорить немного плавнее и яснее. Публика была изумлена и безмолвствовала.

— Мышеловка стояла так, на боку, в ведре... Он лил воду, а мышка карабкалась в самый верхний угол... и мордочку просовывала, и дрожала. Дрожала и бросалась. Ах, мне жаль, вы не видели, какая она тогда была крошечная. Палец... маленький палец... мизинец... вот, вот. А он ее водой обливал! Ай, господин судья, у нее торчала шерсть от воды, а прежде была гладкая, как будто голая!

Я знаю, что меня накажут за нанесение раны. (Прокурор пожал плечами.) Знаю... Я вас боюсь — всех вас тут, но все-таки я скажу вам то, что я думаю.

Я думаю, что все вы — господин судья и он, и вон тот господин (Малер указал на своего адвоката и на прокурора), и все люди, которые слушают, гораздо больше преступники, чем я. Не мешайте, я всегда молчал, а теперь вы меня спросили, что я имею сказать, и я хочу все рассказать. Больше, чем я, потому что я никогда никого не убивал, только теперь одного ранил, а они каждый день... Каждый день.

Я был еще мальчиком, когда у отца была ферма в горах: козлята, телята... Я всегда был с ними — потом между людьми у меня не было товарищей. Я не больше любил свою мать, чем козлят и телят, право, не больше. У нас не ели живого мя-

са — ни отец, ни мать, никто. Но из города покупали... и я видел, как их резали, и они мычали и вырывались и плакали, как будто маленькие дети... Человек ударял их молотком и потом резал большим ножом, так что кровь разливалась по земле. Это он резал для вас, а не для меня. Для меня никогда никого не резали!

Я был у одного важного господина во дворе; повар стоял возле помойной ямы и откручивал головки у голубей. Ай! Даже не резал, а брал пальцами и крутил, пока шея не порвется! Потом он бросал головки в помойную яму, и головки еще были живые и хотели пищать — раскрывали клювы, но голоса не было! Это тоже не для меня, и я этого никогда не делал.

У нас в пруду всегда ловили лягушек и увозили в город — такое множество, что никто не мог бы сосчитать. Один седой господин заведовал этим. Он сказал, что студенты будут резать лягушек и узнают, как они устроены, а люди устроены так же; и вот эти студенты будут лечить людей. Я это знаю: один доктор вылечил меня от опасной болезни. Но я спросил: разве каждая лягушка устроена иначе? Можно разрезать одну лягушку, описать в книге, как она устроена, и довольно... Он посмеялся и сказал, что я ничего не понимаю. Я не понимаю, да, но я бы этого не сделал. Я не убью Божье творение, чтобы увидеть то, что уже есть в книге.

Тот... Рюкер, да?.. Он хочет жить, и мышка тоже хочет жить. Лягушка тоже, и теленок тоже, и все одинаково хотят жить. Я не боюсь теперь, я хочу знать, почему меня судят, когда я ранил одного, только одного и еще заступился за другого, а вас всех — сколько вас тут — не судят, хотя вы убиваете каждый день. Я знаю, теперь вы прикажете убить и меня (прокурор уже не пожал плечами)... Только не бойтесь, Бог вам зачтет это когда-нибудь!

Малер замолчал и смело посмотрел на председателя.

Публика затаила дыхание...

Присяжные оправдали кретина.

Вл. Ж.

Одесские новости. 19.05.1898



Из Швейцарии

ОТКРЫТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ

С самого утра на богатых улицах Цюриха замечалось необычное оживление, а среди снующей публики то и дело показывались небольшие группы костюмированных средневековых рыцарей, бюргеров, герольдов или просто крестьян из различных кантонов, в живописных областных нарядах. Это участники сегодняшнего грандиозного цуга ходили осматривать Цюрих. Разным бернским горцам, приехавшим сюда прямо из Оберланда и вряд ли видавшим даже свой захолустный Берн, или ретророманцам из Граубиндена, самого дикого швейцарского кантона, действительно было чему подивиться в этом красивом городе. Изящные и большие дома, театр (до курьеза похожий на наш одесский, но в очень уменьшенном виде), зеркальные окна магазинов, старые готические церкви, памятник Цвингли, наконец, прекрасное озеро — все это может понравиться и не горцу из одичалого кантона. К сожалению, погода стояла очень хмурая, солнце выглянуло было на минуту и совсем спряталось.

Около двух часов дня публика начала составлять шпалеры вдоль пути, предназначенного для следования цуга.

Около четырех часов показался цуг. Впереди прогарцевала очень немногочисленная «армия» цюрихского кантона, а за ней потянулся длинный ряд местных студентов и политехников, одетых средневековыми герольдами, рыцарями, маркизами и т. д.; в их рядах мелькали и элегантные амазонки в нарядах соответственных эпох. Затем ехали представители разных эпох швейцарской жизни в напудренных париках, в буклях, в робах, фижмах и брыжах.

За последними маркизами появилась колесница, на которой среди цветов красовались богини искусств и мудрости, а выше их всех — богиня свободы, которую изображала красивая девушка из окрестностей Цюриха.

После этого началось шествие представителей двадцати двух кантонов, длившееся около часа.

Прежде всех показался бернский кантон с неизменным медведем на знамени. Тут были представлены все сословия кантона, имевшие или имеющие что-нибудь самобытное:

от крестьянок в синих лифах с белыми вставками и цепями до недавних горожан в широких коричневых фраках с микроскопическими фалдочками. Тут же везли разную характерную бернскую утварь и даже, в особой тележке, постель, над которой красовался аист — эмблема семейного мира.

Так же подробно и художественно были представлены остальные кантоны. Каждый раз в публике вызывали восторг то маленькие седые карлики, везшие целой кучей тележку с огромным налимом и представлявшие Унтервальден; то утопающие в винограде румяные вакханки, окружавшие своего пьяного бога Дионисия, который представлял, если не ошибаюсь, Шафгаузен; то университетская колесница Базеля и его же дикари в звериных шкурах; то охотники за сернами из Граубиндена; то желтое войско и аристократические всадники Женевы. Публика с балконов и амфитеатров бросала представителям кантонов цветы, а наивные крестьяне-представители с визгом махали платками и угощали зрителей пригоршнями орехов и апельсинов.

Цуг продолжался больше часа. Организаторам шествия вполне удалось осуществить свою идею «*национального музея на открытом воздухе*». Из этого цуга внимательный наблюдатель мог за час узнать о Швейцарии больше, чем из обстоятельнейшего исследования.

Вл. И.

Южное обозрение. 19.06.1898



Из Швейцарии

В Берне, да, кажется, и во всей «*Confoederatio Helvetica*», жизнь тянется так тихо и спокойно, по крайней мере сравнительно с другими странами, что даже мелкое событие разрастается в глазах населения до размеров важного, почти исторического факта. Сегодня, например, открытие нового моста через реку Аару — *Kornhausbrücke* — праздновалось чуть ли не с таким шумом, как у нас столетие Одессы.

Празднество вышло действительно красивым и оригинальным. Начать с того, что небо ради этого дня порадовало бернцев безоблачной погодой, что здесь очень и очень редко.

Мост оказался очень изящным и грациозным при всей своей величине; под ним крутые скаты берега зеленели густыми рощицами; Аара, как всегда, неслась далеко внизу с сумасшедшей быстротой, лаская глаз своим удивительным голубым цветом, совершенно таким, какой изображают на картинках и какого в России ни на каком Днепре не увидишь. По мосту, ярко освещенному солнцем, торжественно проходили под музыку не вполне гармоничного оркестра, наигрывавшего национальный гимн, войска, за ними бундесраты в средневековых пурпурных мантиях, с жезлами в руках, затем менее пышные гросраты, а затем студенческие корпорации. Корпоранты были все в своих оригинальных шапочках, с золотыми галунами, в лентах, с розами в петличках и рапирами в руках, облаченных в огромные кожаные перчатки, на манер рыцарских. При этом где-то недалеко через определенные промежутки времени отбивались традиционные двадцать два пушечных выстрела, потому что у швейцарцев тоже заведены для чего-то пушки, равно, как и кадеты, из которых только и набирается контингент офицеров: ведь выслужиться в офицеры из солдат при четырехмесячном сроке службы решительно невозможно. Эти кадеты тоже участвовали в Zug'e и были очень эффектны в своих формах.

После полудня состоялся второй цуг, в котором участвовали исключительно дети, ученики и ученицы младших классов народных, *prima* и *secunda* школ. Дети в Швейцарии, не в пример старшим, вообще очень красивы, и здесь они были прямо прелестны. Особенно девочки, здоровые, свежие, румяные, все в белых платьях и осыпанные цветами.

Детский оркестр, под музыку которого маршировали молодые гражданки и граждане Берна, был составлен почти исключительно из национальных инструментов, главным образом из альпийских свирелей. Играл он тоже национальные горные мелодии, отличающиеся своеобразными горловыми переливами и переходами — «йоддированием». Это йоддирование вряд ли под силу непривычному горлу. Оно здесь поражает вас очень часто, даже на улице, в песне любого ребенка и довольно-таки неприятно действует на ухо, привыкшее к русской или украинской мелодии.

Вечером была здесь иллюминация, но довольно мизерная...

Если я сказал, что в швейцарской жизни не бывает крупных событий, то должен извиниться: недавно такое событие случилось. Я говорю об истории с итальянскими рабочими и их аги-

татором Бедуцци; эта история, верно, отчасти уже известна вам; я надеюсь рассказать ее подробно в следующих письмах.

Вчера (17—5 июня) состоялся здесь конгресс швейцарских врачей. Прошел он довольно неоживленно: референт был только один — бернский профессор Иодасон, читавший о накожных болезнях. Его почтенные коллеги из двадцати двух кантонов слушали довольно невнимательно и задолго до конца реферата принялись ужинать. Впрочем, надо заметить, что такое отношение к чужой речи представляет в Швейцарии обычное явление: слушатели заказывают себе пиво, любезничают с кельнершами, стучат стаканами — и все это, однако, не мешает им слушать и очень дельно возражать.

Вл. И.

Южное обозрение. 20.06.1898



Бергли

ОБЕРЛАНДСКАЯ ЛЕГЕНДА

В бернском Оберланде есть не очень высокая гора, мало, даже почти совсем не посещаемая туристами. Однако на ней есть места, с которых открываются чудные виды на весь Оберланд, на голубое Тунское озеро и горы, начиная с огромного Низена и кончая Эйгером, Монахом и сверкающей Юнгфрау. Эти картины прелестны, но, право, развалившийся замок на одной из вершин этой горы еще лучше и величественней. А замечательнее всего то, что этот старый замок еще не превращен в ресторан.

Как называется эта гора — я не знаю. Жители крошечных chalets¹, окружающих ее, называют ее Bergli (горка), но ведь это не имя.

Замок же называется Безевиттер и имеет свою легенду.



Старый вдовец, герой тридцати трех сражений Рихард Безевиттер поселился здесь на отдых от трудов своей славной жизни. Здесь он охотился на представителей Бернского кантона —

¹ Сельские домики в горах; шале (фр.).

медведей, которые тогда еще и не начинали вымирать, и воспитывал свою шестнадцатилетнюю дочь Märieli. Мэриели была краше сказочной красавицы, веселой маленькой птички, а в сердце ее было столько же любви, сколько лучей у солнца. Только солнце греет всех одинаково, а Мэриели отдавала предпочтение перед другими своему отцу и молодому рыцарю Зигмунту Вайблингену.

Зигмунту не было еще двадцати лет, но он уже успел прославиться, и старый Безевиттер, знавший толк в людях, утверждал, что Вайблинген еще окажет своим копьём великие услуги христианскому миру. Вайблинген считался женихом Мэриели, которую знал и любил с детства.

Кроме Мэриели у Вайблингена была еще одна привязанность: это его знаменитый испанский крестоносец Кристобаль де Роба. Этого рыцаря считали замечательнейшим человеком той эпохи. Ему было только двадцать восемь лет, но его имя гремело по всей христианской Европе, и даже в дикой литовской Бьяловежи — Vähliveiss — было известно, что нет никого храбрее, благочестивей и великодушней Кристобаля де Роба. Но этот рыцарь отличался христианским смирением, и не только перед своим другом Вайблингеном, но ни перед кем в мире не кичился своей славой.



Старый Безевиттер затеял большой праздник и разослал приглашения многим рыцарям, а в их числе Зигмунту и его знаменитому другу. В Швейцарии владетельные рыцари, как Безевиттер, были немногочисленны, но зато они пользовались уважением всего рыцарства Европы. Рихард Безевиттер, прославившийся в тридцати трех битвах, был первым из швейцарских рыцарей, и потому все приглашенные сочли его зов за честь и поспешили явиться.

Радость свидания Мэриели с Зигмунтом была так велика, что, глядя на влюбленную парочку, сам Безевиттер был растроган.

— Ты еще не разлюбила меня, Мэриели? — спрашивал Зигмунт.

— Пусть меня накажет Господь, если я разлюблю тебя, Зигли! — отвечала Мэриели и позволяла ему целовать свои локоны.

За день до начала праздника приехал наконец Кристо-баль де Роба. Он был немного выше среднего роста и очень красив; его одежда была изящна и проста, а оружие сверкало художественной отделкой.

Безевиттер, Вайблинген и толпа гостей встретили великого рыцаря у ворот, а на крыльце его ждала Мэриели. Кристобаль де Роба низко склонился перед молодой хозяйкой, поцеловал ей ручку и произнес:

— Если бы не святой крест, укрепленный на моей недостойной шляпе, я бросил бы ее к ногам высокочтимой госпожи в знак того, что прелестней ее я не встречал еще ни одной девицы.

И все были очарованы изысканной вежливостью испанского рыцаря.

Празднество началось.



Все веселились и ликовали уже две недели, только Вайблинген становился час от часу задумчивей и бледнее, да и Мэриели казалась далеко не такой веселой, как бывало.

Ударила неожиданная беда: Зигмунт стал замечать, что Мэриели отдаляется от него, и хотя он успокаивал себя, чуткое сердце твердило ему, что его счастье прошло. А когда он спросил у своей возлюбленной, что с нею стало, она вдруг заплакала и убежала. Вайблинген еще никогда не видел ее плачущей, и ее слезы так истерзали его сердце, что он дал себе зарок не огорчать больше свою Мэриели.

Но тоска все сильнее и сильнее мучила его. Он старался не выказывать ее, чтобы не омрачить праздничного настроения других; в сердце же у него постоянно шевелилась мучительная скорбь. Мэриели избегала его, и он спрашивал себя — почему.

Однажды вечером, когда он в тяжком раздумье лежал на площадке уступа, мимо него поспешно прошел старый капеллан замка Безевиттер. Зигмунт вскочил, снял шляпу и сказал:

— Отец мой, я хочу посоветоваться с вами.

— Да будет над вами благословение Господне, сын мой, — сказал священник, — я вас слушаю, но поспешите, так как я тороплюсь к умирающему.

Вайблинген поведал ему свое горе и воскликнул:

— Может быть, вы, святой человек, знаете, что причиной этому?

Капеллан поднял руку, указал на темно-синее небо и сказал на швейцарском наречии:

— Der oba (Тот, Кто вверху).

Вайблинген пошатнулся, ударил себя по голове и бросился в замок, повторяя:

— Der oba? Де Роба! Де Роба!



На заре небо было покрыто облаками. Было темно и хмуро, но Вайблинген заметил, как в саду мелькнуло что-то белое. Он схватил меч и пробрался в сад.

У самой стены на скамье сидела Мэриели, а у ее ног стоял на коленях де Роба и целовал ее руки, и Мэриели не противилась. Де Роба проговорил:

— Сегодня же ты скажешь это Зигмунту. Я знаю его благородство: он освободит тебя от обета.

И де Роба поцеловал ее прямо в губки. Вдруг что-то горячее залило его лицо, и чудная белокурая головка Мэриели скатилась на дерн. Онемев от ужаса, де Роба выпустил из рук тело Мэриели и вскочил. Перед ним стоял Вайблинген.

— Тебе не придется сообщить мне эту тайну и рассчитывать на мое благородство! — насмешливо сказал Зигмунт, снова занося меч.

— Несчастный! — загремел де Роба и одним ударом кулака выбил меч из руки Вайблингена.

В эту минуту порыв ветра разогнал тучи, и поднявшееся солнце озарило золотокудрую головку и стройное тело мертвой девушки. Вайблинген зашатался и прислонился к дереву.

Между тем громкий возглас Кристобая де Роба пронесся по всему замку. Послышались беспокойные голоса, старый дворецкий показался на площадке, где лежало тело Мэриели, застонал и с диким криком бросился назад. Почти мгновенно сад наполнился гостями-рыцарями и слугами. А через минуту все затихли и расступились, и старый Рихард Безевиттер безмолвно, весь бледный, опустился на колени у трупы своей дочери.

Тогда Вайблинген ступил вперед и сказал:

— Рыцарь Безевиттер! Это я убил красавицу Мэриели за то, что она, будучи моей невестой, явилась на свидание к Кристобаю де Роба и поцеловалась с ним.

Безевиттер поднялся, взглянул на испанца и спросил:

— Правда ли это?

— Да, — ответил де Роба.

Все рыцари с ужасом отступили от него, а Безевиттер отошел от тела Мэриели и сказал:

— Рыцарь Вайблинген! Вы поступили справедливо. Да будет над вами благословение Господне!

Де Роба ступил вперед, смело обвел взором собрание и гордо сказал:

— Нет, рыцарь Безевиттер, он поступил несправедливо, и не будет над ним Божьего благословения. Ваша дочь, рыцарь, была невинна, как голубка, потому что любовь, посылаемая Богом, приходит в наше сердце без спроса и независимо от нашей воли. Любовь невольна, как жизнь, а в невольном нет греха. Я, Кристоаль де Роба, объявляю, что нет и не было в христианском мире более чистой и совершенной девицы, чем какою оставалась до последнего мгновения своей жизни Мария Безевиттер. И кто не согласен со мною, того я вызываю на поединок — я, рыцарь Кристоаль де Роба из Испании. Откликайтесь!

И глубокое молчание было ответом на вдохновенную речь знаменитого рыцаря.

— А теперь, — продолжал он, обращаясь к Зигмунту, — чтобы решить, прав ли был ты, рыцарь Вайблинген, в своем поступке, я вызываю тебя на суд Божий перед этим трупом твоей невесты и моей возлюбленной.

И среди глубокого молчания зрителей де Роба велел принести тяжелый меч, висевший в пиршественной зале. Когда этот меч принесли, он поднял его одной рукой и взглянул на Зигмунта. Вайблинген, шатаясь, подошел и стал с ним рядом.

Де Роба напрягся, размахнулся и швырнул тяжелый меч прямо вверх. Раздался зловеющий свист; оружие, вертясь, как колесо, и сверкая, улетело высоко и далеко в голубое небо. Де Роба и Вайблинген тихо опустили и легли ниц на холодную землю рядом, тесно прижавшись друг к другу.

Снова послышался усиливающийся резкий шум и свист. Меч со страшной высоты, вертясь и рубя воздух, возвращался назад. Присутствующие закрыли глаза.

Послышался тяжелый и глухой удар. Лицо старого Безевиттера оросили брызги крови, и он открыл глаза.

Через мгновение раздался его голос:

— Божий суд свершился. Рыцарь Кристоаль де Роба, подымитесь. Да будет над вами благословение Божие.



Пожилой, полудивилизованный горец, рассказавший нам эту легенду, задумался и потом добавил, указывая на замок:

— Люди трудились над украшением этого здания, а затем потрудилась и природа. А когда природа и люди соединяются, они создают самое лучшее. Посмотрите, как красиво.

Мы не особенно вникли в его философию, но картина была действительно чудная. Месяц усыпал всю Бергли своим сиянием; развалины, полуокутанные туманом, сверкали белым блеском. Под ними, в долине, беззвучно волновалось серебряное озеро перелетного тумана, а еще ниже сверкало настоящее озеро, Гриназее, отразившее свои почерневшие от ночного освещения берега и громаду Низена, на вершине которого лежала жемчужная туча. С другой стороны Юнгфрау, Монах и далекий недоступный Финстерааргорн сияли на краю темного неба, как голубовато-белые гигантские маяки. Тихо... Тихо...

Вл. Ж.

Одесские новости. 19,21.06.1898



Норти

Этюд

Шестилетний Норти жил в Тванне, на берегу Бильского озера. Это было в то время, когда бернское кантональное бюро раздумывало, причислить ли Тванн к городам или оставить за ним скромное название селения. Действительно, по величине он напоминал крохотную деревушку, но на вид производил впечатление средневекового города, с узкой мощеной улицей, с высокими готическими домами из серого гранита, тесно прижавшимися друг к другу. Так и остался этот вопрос нерешенным.

Норти жил очень беззаботно. Зажиточные родители покамест не заставляли его работать. Он вечно бродил по западному берегу озера и доходил до Биля на севере и до Неввиля на юге. Дети из Неввиля говорили по-французски с прелестным акцентом истых невшатальцев и обучали Норти языку своего кантона; он же учил их болтать на *bernerdütsch*¹.

¹ Местное название бернского диалекта немецкого языка.

Но если к восьми часам вечера — момент, когда все дети в Швейцарии отправляются спать, — Норти не было видно на улице Тванна, родители знали, что кто-нибудь отвез его на остров св. Петра, который также называли островом Жан-Жака. Норти очень любил этот островок, знал все его закоулки и все комнаты в развалинах того дома, где «Жан-Жак из Женевы» проводил летние месяцы.

Однажды, когда Норти стоял на мосту и прислушивался к падению шумного водопада Тванненбаха, мать позвала его:

— Nortili! Chumm daher! (Иди сюда!)

Она сказала, что г-н мэр зашел сегодня к ней и подтвердил распоряжение правительства о том, чтобы все дети в Бернском кантоне, начиная с шестилетнего возраста, обязательно посещали школу. Для Тванна школа была в соседнем Лигерце, и завтра Норти должен был в первый раз отправиться туда.



Учитель школы в Лигерце казался очень добрым молодым человеком. У него был славный звонкий голос, который очень понравился Норти, и когда учитель начал объяснять и рисовать белые узоры на черной доске, Норти заслушался. Ему сразу представилось, что он лежит в зарослях тростника на берегу острова, в своем любимом месте. Голос учителя напоминал ему шелест камыша и рокотанье озерной зыби; шуршанье праздничных платиц девочек казалось ему шепотом былинки и листы, а их голубые глазки живо привели его на мысль тех птичек, которые доверчиво садились там к нему на плечи и приносили шелковистыми головками к его щеке, и кроткие, умные глаза ежика Зилли, выбегавшего к Норти за получкой хлеба. Мысли Норти переносились далеко, и когда учитель обратился к нему с вопросом, он испугался и ничего не отвечал, хотя вопрос был очень легкий и все дети наперебой рвались ответить на него.

Учитель понял, что Норти испугался его, приласкал мальчика, велел ему слушать и стал вторично объяснять то же самое. Но когда он опять повторил свой вопрос, Норти снова испуганно заморгал заслезившимися синими глазами, потому что он хорошо слышал голос учителя, но не слышал его слов. И все засмеялись над его незнанием. Но учитель принялся объяснять то же в третий раз. Теперь Норти старался не вспоминать об островке

Жан-Жака, и на вопрос учителя он опять ничего не ответил, так как все время думал не о том, что говорит учитель, а о том, что не надо вспоминать об острове.

Мальчики и девочки еще громче рассмеялись: ведь это было так легко и понятно! Но учитель не смеялся. Вдруг он побледнел, страшно закашлялся и сердито затопал на Норти ногами. Норти замер от ужаса и разрыдался.

На следующий день он не пришел в школу. Дети рассказали учителю, что отец жестоко высек Норти за упрямство и после этого Норти куда-то убежал. Учитель подумал про себя, что не побоями следовало бы внушать детям любовь к учению, но вслух он, конечно, не сказал этого.



Наступили прозрачные сумерки, засверкала голубоватая Венера, и на небо выплыл месяц.

Норти лежал на траве, лицом вниз, у края невысокого, но обрывистого берега и смотрел на воду. Островок затих, но не спал. Зилли сидел на кочке возле Норти и радостно удивлялся, почему его приятель еще не уходит, хотя уже темно. Птички тоже были с Норти очень ласковы. Это были настоящие друзья, которым можно было довериться. Они не стали бы посылать Норти в школу, до которой мальчику не было никакого дела, они не стали бы сечь его и запрещать ему лежать вот так на траве, сколько угодно. И Норти твердо решил остаться с ними навеки.

В траве сияли бенгальские звездочки светляков, и в их голубоватом свете по влажной земле сновали муравьи и черные жучки. На цветах, как на пышных пьедесталах, качались печальные ночные бабочки. Над озером подымался беловатый туман и серебрился в сиянии месяца. Норти дремал. Зилли толкнул его раза два мордочкой, но Норти не просыпался; тогда Зилли убежал, потому что у него не было больше времени.

Становилось холодно. Белый туман окутал сонного Норти, и ему чудилось, будто он тонет, будто его окружают ласковые русалки. Они добрые; но вдруг они хмурятся и становятся страшными. Норти понял, что они хотят его бить, и проснулся.

Он чувствовал тяжесть и боль в голове и пошатнулся. Ему стало жутко в черной тени, среди молчания, нарушаемого странными голосами ночи. Ветки, казалось, протягивали к нему

морщинистые руки, а березы, белые, как те русалки, насмешливо сверкали нежной корой. И Норти замер и оцепенел, как будто ожидая чего-то страшного.

И вот в лесу что-то застонало: «Норти!» И с другой стороны откликнулось: «Норти! Норти! Норти!»

Волосы Норти поднялись дыбом, он не мог произнести ни слова. Лес точно пробудился и зарокотал над головой мальчика.

— Норти!

Норти, безумный от ужаса, с криком повернулся и кинулся, спасаясь, в белый туман, окутавший озеро. Засверкали хрустальные брызги, а потом белая пелена снова протянулась над берегом.

— Норти! Норти! — доносилось все ближе и ближе.

Но Норти не откликался, и этот зов не мог уже испугать его, потому что не доносился в холодное царство русалок.

Вл. И.

Одесские новости. 27.09.1898



Во дворце богдыхана

Чун-Линг обошел огромный дворец, укрываясь в тени стен, и очутился в узком дворе. Тут, у колонны, темнела неподвижная фигура.

— Это ты, Матико? — прошептал по-японски Чун-Линг.

— Я, — отозвался японец. — Тебя ожидают, господин.

Оба скользнули в узкую дверь, которую Матико запер за собой на замок. В течение пяти минут они шли по темным коридорам. Наконец японец остановился перед стеклянной дверью и сказал:

— Здесь.

Он низко поклонился и ушел. Чун-Линг вступил в невысокую комнату. В ту же минуту портьера распахнулась, и ему навстречу вышел человек среднего роста, моложавый, бородастый, в странном наряде — полуевропейском, полукитайском.

Это был император Китая.

Чун-Линг пристально взглянул на него и поклонился:

— Поздравляю тебя, Куанг, — наконец-то!

Молодой монарх покраснел:

— Ты говоришь о косе... Да, я остригся, но клянусь тебе, что это было нелегко.

Чун-Линг пожал плечами и авторитетно сказал:

— Со старыми предрассудками вообще трудно расставаться. Тем больше чести для того, кому удастся отделаться от них.

Император упал на диван — он не привык стоять так долго на ногах — и проговорил, ломая руки:

— Одобряй меня, одобряй... Ах, Чун-Линг, мне трудно. Скажи мне, приходилось ли кому-нибудь из императоров Европы вести такую тяжелую борьбу, какую веду я?

Чун-Линг молчал. Император вдруг вспыхнул и сказал:

— Отчего ты стоишь? Сядь здесь, рядом со мною... Ты знаешь о моем вчерашнем распоряжении?

— Относительно одежды придворных? Да. Канн-Юмей показал мне экземпляр приказа. Я теперь от него с важными вестями.

— Что такое? Говори свободно, нас не подслушают.

Чун-Линг осмотрелся, наклонился к богдыхану и тихо сказал:

— Тебя хотят свергнуть. Против тебя заговор.

К его удивлению, Куанг-Си только махнул рукою.

— Я давно подозревал это. И пусть. Меня утомляет все это... Я уже измучен.

Чун-Линг вскочил.

— Да, — вскричал он, — уступи им место! Позаботься о своем покое и уйди на отдых! Погуби начатое дело, оставь свою родину, спасти которую призван, в жертву ее собственной темноты! Браво, Тианг-Дзи! Половину Китая растащат добрые друзья, другая половина будет обливаться кровью междоусобиц — ничего! Зато тебе будет хорошо — ты избавишься от работ, не так ли?

Император сидел, низко понутив голову.

— Ты прав, — решительно сказал он после небольшой паузы. — Ты прав. Я останусь.

— Тогда вели сейчас же арестовать главарей.

— Да. Кто они?

Чун-Линг пристально смотрел ему в глаза.

— Ты велишь арестовать их? Кто б они ни были, Куанг?

— Да.

Чун-Линг ответил:

— Во главе заговора находится твоя мать.

Император вскочил, как ужаленный, но Чун-Линг выпрямился, властно протянул руку и твердо проговорил:

— Арестуй ее, Тианг-Дзи, сдержи свое императорское слово.

Куанг-Си всплеснул по-китайски руками:

— Арестовать?! Никогда!

В эту минуту за дверь послышался шум. Голос японца Матико произнес: «Здесь». Дверь распахнулась, и в комнату внесли открытый паланкин. За ним вошли человек двадцать придворных с обнаженными саблями.

Император закричал, отступая:

— Мать!

Чун-Линг вынул из кармана револьвер и прошептал:

— Матико нас выдал... Конец!

Императрица неподвижно сидела в паланкине, оглядывая сцену. Когда она заметила сына, ее лицо изменилось от гнева, она прошипела:

— Ты остригся?

Она выпрямилась, подняла голову, указала рукою на Чун-Линга и крикнула:

— Взять его!..

— Стой, — сказал Чун-Линг, подымая револьвер. — Не меня надо арестовать. Назад! Тианг-Дзи, великий сын неба, исполни свое обещание. Прикажи им арестовать твою недостойную мать как заговорщицу против твоей священной особы.

Императрица пошатнулась. Солдаты стояли в нерешимости. Их офицер медленно перевел глаза на лицо богдыхана. Император молчал.

— Куанг! — закричал Чун-Линг, — вспомни о своей родине! Прикажи арестовать эту женщину, или небесная империя погибла. Куанг! Эти солдаты ждут твоего властного слова — одного только слова! Не отступай — неужели право матери священнее блага твоего народа?! Куанг, опомнись!

Император молчал.

Императрица повторила:

— Взять его!..

Солдаты встрепнулись. Тогда Чун-Линг проговорил:

— Если сын неба — полный трус, то я покажу ему, как надо действовать.

И он прицелился в императрицу.

В ту же минуту Куанг-Си кинулся к нему и ударом руки подбил револьвер кверху. Пуля ударила в огромное зеркало на стене. Послышался испуганный крик императрицы; ее паланкин

мгновенно загородился живой стеною солдат. Чун-Линг с проклятием оттолкнул богдыхана, который тяжело рухнул на диван и закрыл лицо руками.

Солдаты кинулись на Чун-Линга.

— Будь же ты проклят, подлый изменник! — закричал он, приставив револьвер к своему виску.

Выстрел грянул как-то страшно громко. Тело революционера упало к ногам солдат, которые испуганно расступились.

Императрица, бледная, но спокойная, холодно приказала: — Добить его.

Затем, сделав знак носильщикам, которые тотчас же подняли паланкин, она сказала сыну:

— Тианг-Дзи, врачи утверждают, что твое здоровье построено от государственных забот. Я позаботилась, чтобы тебе не нужно было выходить из своих покоев.

Вл. И.

Одесские новости. 4.10.1898



Эдельвейс

Оберландская легенда

Была ясная месячная ночь. Внизу слабо мерцали среди глубокой долины огоньки селения Лаутербруннен; в бинокль можно было различить сверкающие под луной серебристые кружева грациозного водопада Штауббаха.

Из chalet¹ сторожа доносилась песенка с обычными швейцарскими «йодлями» — своеобразными, невозможными для непривычного горла щелкающими трелями.

— *Uuf'm blauen Zür'cher See*
*Schöne Meytschi häb i g'seh!*²

Я тоже был «на голубом цюрихском озере», но не видел там ни одной красивой девушки. Тем не менее песенка понравилась мне, и я позвал:

— Аннели!

¹ Сельский домик в горах; шале (*фр.*).

² На голубом Цюрихском озере / Чудную девушку я увидел (*нем., гуал.*).

Певица — молодая дочь сторожа — вышла ко мне, и мы стали вместе смотреть на сверкавшую Юнгфрау.

Я спросил:

— Правда ли, что на ее вершинах еще не была нога человека?

— Правда, — ответила Аннели. — Только теперь на Юнгфрау строят железную дорогу, и это в первый раз нарушит ее чистоту. А до сих пор — никто и никогда. Впрочем... рассказать вам одно предание? Вы, иностранцы, любите наши сказки.

Я, конечно, приготовился слушать. Предварительно, снисходя к моему невежеству, Аннели спросила:

— Вы знаете, что такое Edelweiss?

Я знал, что это — название белого цветка, встречающегося только на огромных альпийских вершинах. Англичане нередко свертывают себе шеи из желания добыть эдельвейс не в лавке, а, так сказать, *au naturel*¹.



— Давным-давно, — начала Аннели, — в Туне жил смелый охотник. Он часто слышал в народе сказку о том, что существует в Альпах чудесный волшебный эдельвейс, который принесет счастье не только тому, кто сорвет его, но и всей родине этого смельчака. Беда только в том, что чудесный цветок рос на самой вершине Юнгфрау.

Смелый охотник страстно мечтал о том, как бы добыть этот цветок, создать вечное счастье своему кантону и покрыть свое имя громкой славой.

И вот однажды, никому не сказавшись, он взял свой арбалет и отправился в дорогу. Подъем с первого шага оказался страшно трудным, но охотник повторял себе:

— Не отступай! За все мучения тебя наградит святой лепесток эдельвейса!

И он полз всю ночь напролет, без усталости и отдыха. Когда же наступило утро, и он с утесов морены взглянул вниз, он не различил там ни шале, ни речек — ничего. Тогда он перевел взоры на вершину и горько заплакал: подножие горы было далеко, но вершина была еще дальше!

Но охотник был смел и ловок, как альпийская серна. Он снова пополз, пробираясь выше и выше.

¹ В натуральном виде (*фр.*).

Прошел день, наступил закат, отбросивший яркое пламя на далекую вершину Юнгфрау, и измученный охотник внезапно увидел перед собой отверстие черной огромной пещеры. Он направился туда.

Вдруг что-то громко зарычало, и перед охотником появился огромный темно-бурый медведь. В то время медведи уже вывелись в бернском Оберланде, где когда-то их было так много; встретить медведя приходилось очень редко. Поэтому охотник был поражен; кроме того, он так утомился, что вряд ли мог бы бороться с сильным зверем. Но его удивление и ужас еще возросли, когда медведь заревел на его родном языке:

— Назад, несчастный! Прочь из нашей обители!

Тогда охотник низко поклонился и сказал:

— Я ищу чудесный эдельвейс, растущий на вершине Юнгфрау. Я полз и цеплялся за утесы, я царапал лицо об острые льдины — впусти же меня на отдых, господин, в твои королевские палаты!

Медведь с удивлением посмотрел на него, потом на вершину, подумал и вдруг рывкнул:

— Садись!

Он подставил охотнику спину и помчался с ним, как буря, в глубину пещеры. Вдруг он остановился, и охотник, несмотря на всю свою храбрость, обмер от ужаса, увидев огромное сборище медведей разного возраста. В громадной зале, где они толпились, было светло, хотя нигде не видно было ни огня, ни щели наружу.

Медведь стряхнул седока, поднялся на задние лапы и обратился ко всему сборищу:

— Братья! — сказал он. — Когда-то вся эта страна принадлежала нам. Мы жили здесь беззаботно и счастливо; в память нашего владычества этот кантон еще и теперь называется Берном* и в гербе его изображается медведь. Но теперь мы разбиты и побеждены людьми. Они явились в эту страну позже нас, но, тем не менее, стали вытеснять нас и безжалостно убивать. Тех, которых они оставили в живых, они бросили в клетки, чтобы тешить на них свое любопытное зрение. Правду ли я говорю, братья?

— Правду! — загремело сборище.

* От: Bär — медведь (нем.).

— Они убивают, — продолжал медведь, глядя прямо на охотника, — не так, как мы убиваем нашу добычу. Мы убиваем из голода; они же убивают еще и для того, чтобы украшать свои комнаты пушистыми коврами; из убийства они сделали развлечение и назвали его охотой. Правду ли я говорю?

— Правду!

— И теперь, — снова заговорил медведь, — на всем пространстве бернского Оберланда не осталось почти ни одного медведя. Только мы удалились на недоступную Юнгфрау и поселились тут, вдаль от людей. Но теперь один из них проник и сюда. Братья, я не убил его. Он сказал мне, что ищет тот самый эдельвейс, который растет на вершине нашей Юнгфрау. Этот цветок принесет счастье тому, кто сорвет его, и родине этого героя. Все это — правда, и новая родина, смелый охотник, будет действительно счастлива, если ты добудешь этот цветок, но знай, что *твое* счастье, о котором говорит поверье, это — вечный покой. Тому, кто сорвет эдельвейс с вершины Юнгфрау и осчастливит навеки свою родину, не назначено вернуться живым.

Медведь замолчал, а охотник стоял в глубоком отчаянии.

Тогда медведь снова заговорил:

— Слушай же, охотник. Мы пошлем одного из нас, он сорвет драгоценный цветок и лишится ради него жизни. Ты возьмешь этот эдельвейс. Но в награду за это обещай нам, когда ты вернешься, уговорить людей, чтобы, по крайней мере, в этом последнем убежище люди не преследовали нас и дали нам спокойно оставаться здесь до тех пор, пока не наступят лучшие времена. Хочешь?

Охотник бросил свой арбалет наземь, поднял руку вверх и сказал:

— Клянусь.

На рассвете один из медведей ушел из пещеры. Весь день охотник ждал его возвращения, глядя на высокую вершину Юнгфрау. А поздно вечером раздался грохот, по склону горы промчалась лавина, и на площадку у входа в пещеру скатился безжизненный медведь. У него в лапе был пышный, белый, бархатистый эдельвейс.

Медведи зарыли своего товарища в белом снегу. Он получил счастье — вечный покой.

Наутро охотник должен был покинуть медведей и вернуться в долину.

Наступила ночь. Медведи спали, но охотник сидел у входа и думал. Эдельвейс был у него, но условие медведей казалось ему невозможным. Отказаться от охоты, когда в ней столько радостей, и именно теперь, когда он открыл местопребывание медведей? Это казалось ему ужасным. В нем сразу проснулась натура стрелка.

Он начал жадно вглядываться в спавших зверей. Ему пришло в голову, что и теперь можно было бы славно поохотиться. Эта мысль овладела им и отуманила его голову...

Он пробрался к месту, где накануне бросил свой арбалет, поднял его и всадил стрелу глубоко в сердце одного из медведей. Тот успел только зареветь.

Все медведи разом вскочили. Поднялся рев и грохот, и, увидев труп, звери яростно кинулись на охотника.

Тогда послышался голос того медведя, который встретил охотника накануне.

— Это бесполезно. Не убивайте его. Вы видите, братья, что люди неисправимы. И они сильнее нас. Уступим же им место!

Рев еще усилился, и вся масса зверей с воем бросилась к выходу пещеры и ринулась с площадки вниз. Их падение разбудило лавину, и лавина навеки похоронила их под снегами Юнгфрау.

Охотник вернулся в Оберланд. Я не знаю, был ли он счастлив, и не знаю, где тот эдельвейс, но бернский кантон стал могущественнейшим во всем швейцарском союзе.



После небольшой паузы Аннели спросила:

— Seyd ihr scho a Mal in Bern g'sy?¹

Я ответил:

— Да, я бывал уже в Берне.

Она сказала:

— За старым мостом в Берне есть яма, где бродят на потеху народу несколько медведей. Вы видели? Мой отец посмотрел на них и сказал, что люди нехорошо отплатили старым владыкам нашего кантона за эдельвейс.

Вл. И.

Одесские новости. 11.10.1898

¹ Вы уже бывали в Берне? (нем., диал.)



Встреча с Лукени

Письмо в редакцию

Как громом поразило меня сообщенное нашими корреспондентами известие о возмутительном убийстве, совершенном в Швейцарии анархистом Лукени. Не говоря о том ужасном впечатлении, которое производит это известие на всех само по себе, меня ваши телеграммы поразили тем более, что этим летом, живя в Швейцарии, я имел случай стороной видеть Лукени, будучи далек, конечно, от мысли, что передо мною будущий убийца австрийской императрицы.

Это было в июне нынешнего года. Я предпринял довольно большую прогулку пешком изерна в полудикое местечко Аппенцель. По дороге, в старинном городке Aarberg, мой спутник, давно живущий в Швейцарии, предложил мне зайти в кафе, отдохнуть и позавтракать.

За столом рядом с нами сидела небольшая группа людей — человек пять, по виду итальянцев. Двое из них оживленно и громко спорили о чем-то на непонятном романском жаргоне. На одного из спорщиков мой спутник нечаянно указал мне. Это был не очень высокий мужчина (насколько можно было судить, так как он сидел), с коротко остриженными волосами; черты его лица не представляли из себя ничего выдающегося, не имели даже особенно энергичного выражения. На нем была обычная синяя блуза поверх сюртука.

Товарищ сказал мне по-русски:

— Смотрите на него, только не пристально, — и потом написал на подносе по-русски же: «Лукени».

Я никогда не слышал этой фамилии и вопросительно взглянул на своего собеседника, но он тихо сказал мне, что объяснится потом. Через несколько минут мы поднялись и вышли. У входа хозяйка, с которой мы рассчитывались, незаметно указала на итальянцев и сказала:

— Опять разобьют что-нибудь и станут торговаться из-за каждого гарре (сантима).

Когда мы отошли до середины площади, товарищ рассказал мне, кто такой Лукени — человек, ставший через два месяца убийцей австрийской императрицы.

— Он родом, как говорят, из Пармы, хотя сам называет себя ломбардцем. Лет пять тому назад он судился в Милане за распространение анархистских прокламаций. Так как улики оказались недостаточно, он был оправдан, а за сопротивление и оскорбление полиции просидел четыре или пять месяцев в тюрьме.

Отбыв наказание, Лукени переехал из Милана в Беллинцону (Швейцария), куда и перенес свою агитаторскую деятельность. Но проповедь анархизма среди швейцарского населения, отличающегося спокойствием и рассудительностью, оказалась, по словам моего спутника, малоуспешной. С итальянцами-рабочими на юге Швейцарии ему, очевидно, более удалось, потому что правительство кантона Тичино стало следить за ним, а после убийства Карно в конце 1894 года его выслали из Швейцарии.

В позапрошлом году, однако, он был снова арестован в окрестностях Кура (Chur), т.е. опять в Швейцарии, и снова выслан за границу.

— С тех пор, — продолжал мой собеседник, — о нем здесь не было ничего слышно. Впрочем, мне Карл Моор (депутат союзного совета) говорил, что в «походе мальчишек» дело тоже не могло обойтись без Лукени.

Он намекал на поход, предпринятый в нынешнем мае итальянскими рабочими в Швейцарии, которые отправились было к итальянской границе, чтобы принять участие в ломбардских беспорядках. В «походе» участвовало так много подростков, что газеты называли это движение «походом детей-крестоносцев» (Kinderkreuzzug).

— А как к нему относятся в Италии и здесь? — спросил я.

— Как в Италии, не могу вам сказать, так как никогда не слышал: это вовсе не особенно видная личность даже среди анархистов. А в Швейцарии анархистов не любят. О честности его отзываются довольно недвусмысленно. Рабочие в Граубюндене называют его «зловредной душой». Очевидно, он теперь скрывается, так как въезд в Швейцарию ему запрещен.

В самом Аппенцеле мы опять столкнулись с Лукени. Он брал у кассы билет, как помню, в Лозанну. Здесь я рассмотрел его ближе. Действительно, его лицо производило не очень приятное впечатление, особенно поражали его странные, клочковатые брови над впалыми глазами.

— Он сбрил бороду, — сказал мой спутник, глядя Лукени вслед. — Я помню его еще бородачом. Несомненно, скрывается.

Вл. И.

Одесские новости. 1.11.1898



Во славу науки

Этюд

Котька и котик стали в конце концов друзьями. Несомненно, их соединяло некоторое сходство положений.

Котьке было четыре года; его отец служил в дворниках, и поэтому другие дети не хотели играть с Котькой: мамы запрещали им это. Котьке приходилось только глотать слюнки, когда ребяташки резвились во дворе. Положим, за воротами на улице пребывала другая веселая компания, которая ничего бы не возразила против присоединения дворницкого сына. Но «гуляться» с этой компанией Котьке в свою очередь запрещала его мама, знавшая лучшие времена.

Поэтому Котька был совершенно одинок, пока не встретил котика.

Котик тоже был одинок. О своих родителях он не имел ни малейшего понятия. Сестер и братьев у него не было. Собственно говоря, они когда-то были, но их частью раздали в разные стороны, частью побросали за ненужностью в ставки, где заготавливался лед.

Когда Котька и котик подружились, мальчик приютил у себя приятеля и стал кормить его чем Бог послал. Благодаря этому котик пополнил, и через неделю из него вышел вполне приличный, чистенький, сытенький котенок.



Во дворе жил «Михайлыч», или «профессор». Так ребяташки называли важного, серьезного бритого господина, который вечно занимался и почти никогда не приходил домой позже того часа, когда Котькин папа запирает скрипучие ворота. Когда Котька забирался на крышу флигеля, он постоянно видел

«профессора» за столом, у окна во втором этаже противоположного строения; двор был узок, и Котька ясно мог рассмотреть книгу, лежавшую перед «профессором», и стоявшую рядом какую-то сложную машину.

К «профессору» каждый день приходили ученики-гимназисты и особенно студенты. Они нередко приносили с собой в мешочках лягушек или ящериц, пойманных где-нибудь в саду. Один из учеников как-то зазвал Котьку к «профессору», и там сам «Михайлыч» показал мальчику «фокус»: лягушка была совсем уже дохлая, но когда «профессор» притронулся к ней двумя проволоками от своей машины, эта лягушка начала так дрыгать ногами, что Котьке стало страшно.

Ученики «профессора» с большим уважением смотрели на «машину», а особенно на ее обладателя, о котором шепотом говорили друг другу:

— О, это большая голова!

У «Михайлыча» была действительно большая голова, и Котьку это даже немного сместило.

— Совсем кавун! — думал он.

Но вообще он ничего не имел против «Михайлыча». Тот всегда ласково трепал его по голове, а котика покармливал булкой с молоком. Однажды он даже бросил котике кусок мяса и, глядя из окна, сказал почтительно стоявшему сзади ученику:

— Славный экземпляр. Я на нем намерен показать вам этот опыт. Стоит попытать.

— И вы надеетесь, Иван Михайлыч, что удастся? — робко спросил ученик.

— Н-да. Увидите, что он очнется.



И «Михайлыч» действительно «попытал».

Однажды, когда Котька сидел в дворницкой, «профессор» ласково взял котика на руки и унес его к себе. Там уже сидели несколько учеников.

«Профессор» обернул шею котика толстым «шпагатом», взял в руки один конец и дал другой молоденькому студенту.

— Гм... — осмелился сказать тот, заикаясь и робея. — Не лучше ли... было бы... прирезать?..

— Ах, нет, нет, — нетерпеливо возразил «Михайлыч», — ведь нужно, чтобы ни одна ткань не была разорвана. Неужели вы и этого не знаете? Мы дернем сразу, это не будет мучительно.

Котик ласково поглядывал на них веселыми глазками. У него были славные синие глазки; котик был еще так молод, что они не успели позеленеть.

«Михайлыч» и студентик плотно ухватили концы «шпагата» в руки, поправили петлю на шее котика и разом дернули...



Выбежав из дворницкой, Котька искал своего приятеля. Он забирался и в конюшню, и в погреб, и в сарай. Наконец он вылез через слуховое окно на крышу флигеля и оттуда увидел котика.

Котик лежал на столе у «Михайлыча», подняв лапки кверху, оскалив зубы и выпучив глаза. «Профессор», вертя в руках проволоки своей машины, злобно говорил:

— Ничего не выходит! Не хочет очнуться. Окодел, абсолютно окодел. Верно, проклятый ток недостаточно силен. Ну, делать нечего, нам придется просмотреть все это по книге и по рисунку.

Котька поднял с крыши осколок черепицы и швырнул его в окно. Котька был еще мал, но умел ловко кидать камнями. Стекло зазвенело, а «профессор» отчаянно вскрикнул и схватился за голову.

— Морока с этим мальчишкой, — кричал через минуту дворник.

Эгаль

Одесский листок. 3.11.1898



С дороги

I

— О, вы увидите, насколько наш Будапешт лучше Вены, — говорила мне одна венгерская патриотка на вокзале Львова.

Зная понаслышке мадьярское самообожание, я внутренне расхохотался над этой смелой идеей. Но потом мне пришлось сознаться, что моя недоверчивость была совершенно безосновательна. Действительно, столица Венгрии, пожалуй, «лучше» своей австрийской соперницы. Будапешт, конечно, не превзойдет

Вены красотой. Но ведь и Вена при всем своем «вкусе» и «шике» не в состоянии поразить или восхитить, как Париж или Рим, после которых, как утверждают туристы, она производит довольно-таки скромное впечатление. Между тем Будапешт, кроме своей красоты, привлекателен главным образом своим оригинальным характером. Будапешт — памятник венгерской старины, героической, поэтической и легендарной, и он напоминает об этом на каждом шагу. А что есть в Вене специально венского, необщеввропейского? Даже и «гигерли»¹ найдутся во многих других городах, начиная хотя бы с Одессы.

Как только электрический катер перевозит вас через Дунай из Нового города в Старый, вы сразу попадаете в какую-то старинную средневековую атмосферу. Узенькие извилистые улицы, архаически замощенные большими квадратными плитами по диагонали, высокие готические окна с крохотными балкончиками для цветов, потемневшие от времени стены из кирпича или гранита, двери какой-то неуклюжей и в то же время изящной формы; и тут же, среди этих узеньких улиц, высятся дряхлые богатые дворцы старинных магнатских фамилий, известных всему миру: Зичи, Ракоци, Текельи. Носители этих имен заседают теперь в верхней палате и давно уже завели себе новые дома по ту сторону Дуная, но покинутые дворцы в Офене все еще хранят на себе сложные лепные гербы своих обладателей и другие признаки былого величия.

Странно видеть, как среди этой старинной обстановки из-за какого-нибудь древнего монумента вдруг появляется вагон электрического трамвая и с гудением скользит по узкому переулку, сверкая щегольской желтой окраской. А по ночам эти выхваченные из позапрошлого века улицы залиты белым светом электрических фонарей и кажутся еще фантастичнее в этом непривычном для них освещении.

Электричество в Будапеште давно уже заменило газ и пар. Венгерская столица старается идти наравне с веком, и Новый город, колоссально разросшийся за последние тридцать лет, имеет уже совершенно европейский характер. В последнее время Будапешт обогатился еще одним прекрасным зданием: это помещение парламента. Оно еще не вполне закончено и отделано, но публике уже открыт доступ в грандиозный зал собраний нижней палаты, расписанный *al fresco*² такими художниками, как Мункачи и Хоц.

¹ От: Gigerl — франт, фат (нем.).

² В технике фресковой живописи (итал.).

Старое здание парламента, которое я посетил в то же утро, было далеко не так пышно, но зато в нем шли оживленные и даже страстные дебаты по животрепещущему вопросу: сохранить ли прежний, общий с Австрией, таможенный тариф, возобновлявшийся до сих пор каждые десять лет? Если этот вопрос не будет решен утвердительно до 31 декабря, то тариф будет считаться отмененным. Понятно, как должна была работать сепаратистская обструкция. Даже мне, при моем полнейшем невежестве в области мадьярского языка, интересно было прислушиваться к страстному тону ораторов, красиво отчеканивавших каждое слово своей речи.

Позднее, в вагоне, уносившем меня на юг — в Фиуме, я спросил одного венгерца, говорившего по-немецки, доходит ли у них в «парламенте» до таких скандалов, как в Вене?

— О, — ядовито сказал мадьяр, — мы не смешиваем понятий «парламент» и «пивной погребок».

Сколько ненависти к австрийцам слышалось в этой фразе! А ненависть эта велика, настолько велика, что мадьяры очень неохотно объясняются по-немецки.

Только для одного австрийца венгерцы делают исключение: для императора Франца Иосифа.

— Это честный, справедливый, *божественный* человек! — сказал мне тот же мадьяр.

Покойная императрица тоже пользовалась любовью мадьяр. На ее памятник в Венгрии собрано уже полтора миллиона.

Следует заметить, что при всей нелюбви венгерцев к языку Шиллера и Гете, я с большим комфортом объяснялся на каждой станции и с каждым кондуктором по-немецки и благополучно проехал через всю Венгрию от Бескил до Дьекеньеша (Gyűkényes), зная по-мадьярски всего одну фразу — нечто вроде *нем тудом мадьяр*.

Это значит: «Я не говорю по-венгерски».

II

Венеция, 8(20) ноября

После Дьекеньеша поезд проходит по мосту, под которым протекает Драва, и останавливается на станции Дрне, по одному названию которой можно понять, что мы очутились в Хорватии. В самом деле, вагоны наполняются хорватами, которые заводят бесконечные разговоры на своем звучном, легко понятном для русского уха языке.

Если назвать чувства венгерцев к австрийцам ненавистью, то для антипатии, которую питают друг к другу хорваты и мадьяры, не найдется имени. Хорваты винят венгерцев во всех несчастях Боснии и Герцеговины и требуют полного равноправия для себя; мадьяры настаивают на том, что ни министр-президент Банфи, ни будапештский парламент ни на йоту не повинны в страданиях боснийцев, что боснийцы, как и все южные славяне, большие «бетьяры» (головорезы, разбойники), а требования хорватов находят чрезмерными в свою очередь; каждое же посягательство Австрии на самостоятельность венгерцев считают святотатством. Кто тут разберется?

Но опять-таки преданность Францу Иосифу и любовь к покойной императрице представляют пункт, в котором хорваты сходятся с мадьярами.

В Загребе в наш вагон посадили мальчика лет двенадцати. Мы с ним мигом сошлись, и он показал мне нож, только что купленный за пятьдесят «новичей» (крейцеров), заявив, что намерен перерезать этим самым оружием всех анархистов. При этом хорваты одобрительно усмехнулись, а один из них потрепал мальчика по плечу и сказал:

— Фурбастый¹ хлопчик!

Загреб (по-немецки Аграм) — столица Хорватии и центр умственной жизни почти всех южных славянских народов. В здешний прекрасный университет («всеучилиште») съезжаются немало студентов из Сербии, Болгарии, даже из Черногории. Здесь несколько классических и реальных гимназий, хорватская академия, музеи, библиотеки, картинные галереи. Словом, это интереснейший уголок, но, к сожалению, он еще менее Будапешта знаком русским туристам. Русские бывают здесь так редко, что хорваты даже не умеют отличить наш язык от польского...

Хорватия живописна, но уныла. В горах, по которым бежит поезд, холодно и пасмурно; небо все время в тучах. Но вот из-за гор показываются Адриатическое море и его берега, ярко освещенные солнцем. По мере того как поезд спускается к морю, небо все проясняется и светлеет. Внизу, как на ладони, виднеются Фиуме, крошечная цветущая Аббатия и Истрия со своей богатой столицей Триестом. Наконец, тучи остаются далеко позади, на вершинах, и солнце ярко освещает белые

¹ Здесь: шустрый; от: furbo — хитрый, лукавый (*итал.*).

высокие дома Фиуме, все еще пестреющего яркой зеленью, несмотря на позднюю осень.

Трудно не залюбоваться Фиуме. Это — маленький городок (30 000 жителей), даже не очень красивый, но непередаваемо уютный, привлекательный, симпатичный, если можно так выразиться. Улицы в нижней, новой части города прямы и хорошо вымощены. Они не широки, между тем как дома все в три этажа и выше; вероятно, многие замечали уже, насколько такой контраст увеличивает красоту города, придавая ему более величественный вид. Невольно вспоминается Одесса, где на широчайших улицах красуются одноэтажные домики, мизерность которых еще более оттеняется большим расстоянием между тротуарами и которые с такой быстротой переносят наше воображение на задворки какого-нибудь провинциального городка...

Фиуме расположен амфитеатром по уступам берега, по которым извиваются кривые крутые переулки, часто заменяющиеся ступенями. Эта часть города тоже довольно красива; на одной из ее улиц находится старый муниципальный театр (их в Фиуме два); на другой возвышается огромный роскошный каменный дворец с надписью «Муниципальное элементарное шестиклассное училище». Обучение в этой школе — обязательно и бесплатно...

Есть неизбежная в итальянских и полуитальянских городах улица-бульвар. Здесь, как и на нашем одесском Corso — Дерибасовской, по вечерам группами гуляет молодежь мужского пола и ведет оживленную перестрелку глазами с хорошенькими фиумянками. Большинство последних не носят шляпок, и это отсутствие головных уборов им очень к лицу.

На улицах слышится итальянский язык; гораздо реже доносится венгерская, хорватская или немецкая речь. В Фиуме четыре газеты. Три издаются на итальянском языке (одна из них муниципальная), а четвертая — на венгерском.

Насколько мне известно, в этом прелестном уголке Австрии есть только одно крупное неудобство. Это — клопы. Еще по дороге меня предупреждали, что все дома старого города кишат этой мало эстетичной нечистотой. К счастью, мне не пришлось проверить этот слух самолично, так как в тот же вечер я уехал в Венецию.

Эгаль

Одесский листок. 17.11.1898



Рим

13(27) ноября

Бедные журналисты! Они, конечно, предвидели, что конференция о мерах против анархизма будет облечена дипломатической таинственностью, но подобной «скрытности» они не ожидали. Даже к порталу палаццо Корсини не подпускается ни одно «постороннее лицо». При таких условиях не только не получишь сколько-нибудь достоверных сведений о происходящем внутри здания, но даже и не сочинишь их: все равно не поверят!

Огорченным газетчикам пришлось довольствоваться другим конгрессом — даже, собственно, не конгрессом, а отголосками конгресса. Дело в том, что иностранные студенты после международного университетского съезда в Турине посетили Рим и были, конечно, очень торжественно приняты сынами местной *alma mater*¹.

Это было любопытное зрелище. В огромной яме, представляющей скромные остатки римского форума, собрались до двухсот студентов. В толпе кое-где мелькали цветные береты корпораций, но их было очень мало. Большинство студентов были в черных и коричневых пиджаках, с тростями и зонтиками, которые пришлось очень кстати: теперь — *la settimana dei morti* («неделя покойников»), и дождик, по традиции поливающий в эти дни Вечный город, не сделал исключения ради торжественного случая.

Это, однако, не охладило пыла манифестантов: хотя и мокрые, они энергично обменивались возгласами:

— *Evviva Roma! Evviva la Federazione! Evvivano gli studenti esteri!*²

Два или три человека взобрались на пьедестал какой-то колонны и произнесли с сильным французским акцентом несколько приличествующих случаю теплых слов. Ответом им были новые *evviva!* — и популярный в Риме профессор г-н Жицци произнес небольшую речь о важном значении международной студенческой федерации. Вероятно, дурная погода мешала ему

¹ Университет; букв.: «мать-кормилица» (*лат.*).

² Да здравствует Рим! Да здравствует Федерация! Да здравствуют иностранные студенты! (*итал.*)

вдохновиться: его доводы были настолько нелепы, что великое значение игрушечного туринского съезда осталось — для меня, по крайней мере, — тайной.

Затем студенты колонной направились к дворцу «Изящных искусств», где и распили торжественный брудершафт.

А ехидный дождик все-таки подгадил бедным конгрессистам. Во время шествия к дворцу «Изящных искусств» один из французских студентов поскользнулся на мокрых ступенях Ага Соелі и сломал себе ногу. Имя студента, по одним сведениям, Венсан Рюи, по другим — Саблье. Его отправили в госпиталь Della Consolazione, где вчера посетил его министр народного просвещения г-н Баччелли, распорядившийся поместить молодого человека в отдельной камере.

Вчера вечером в том же дворце «Искусств» состоялся в честь гостей турнир. Бились на шпагах и на саблях. Победителем в обеих отраслях фехтовального искусства оказался итальянский студент Модильяни.

Старый профессор Джованьоли, если не ошибаюсь, автор известного романа «Спартак», приветствовал Туринскую федерацию речью.

— Товарищи, — сказал он между прочим, — в этом мирном союзе учащейся молодежи разных стран не видите ли вы одного из первых лучей грядущего, обещанного нам желанного мира и братства народов?

Я отправился в гостиницу Vittoria и добился аудиенции у одного из участников конгресса, женевского студента, фамилии которого я не уполномочен назвать. Отрекомендовавшись, я попросил его сообщить мне, к каким результатам привел съезд и какие следствия может он иметь для студенчества?

— Видите ли, — объяснил мне женевец, — наш конгресс в этом году был не более чем опыт. Так что особенных результатов, понимаете...

— О, понимаю, понимаю, — уверил я его. — Но все-таки?

— Все-таки мы установили принцип братства между студентами тех стран, которые имели своих представителей на конгрессе. Затем коснулись вопроса о дуэлях... Обособленности корпораций... И вообще, вы понимаете, само уже по себе это заключение союза должно принести плоды. Отныне студент, попавший за границу, не будет чужим ни в одном университетском городе...

— А позвольте узнать, насчет студенческих библиотек, взаимопомощи, самообразования — что выработал конгресс?

— Взаимопомощь? О, да, это — закон во всякой корпорации. А остальное, о чем вы говорите... Н-да, но... ведь это только первый съезд...

— Так-с... *Veuillez agréer mes remerciements!*¹ — И я откланялся.

Впрочем, чем бы дитя ни тешилось... Лучше уж игрушечный конгресс, чем те неигрушечные роли, которые разыграли французские студенты в процессе Золя и их румынские собратья (имевшие здесь своего представителя, г-на Демитреску) в позапрошлогодних антисемитских беспорядках в Будапеште.

Эгаль

Одесский листок. 21.11.1898



Письма из Рима

19 ноября (1 декабря)

Криспи недоволен. Это вполне естественно для человека в отставке, каким является в данную минуту г-н Криспи.

Неудовольствие его вызвано ничем иным, как таинственной конференцией в палаццо Корсини, и экс-премьер изливает свою душу в довольно бессвязной статье, сплошь переполненной истинами столь почтенного возраста, что, читая это произведение, хочется воскликнуть:

— *Onorevole!*² Из какой хрестоматии вы списали это?

Недавнему деятелю тяжело, конечно, сидеть сложа руки, когда рядом происходит дело столь неоспоримой важности, как антианархистская конференция. И г-н Криспи не только находит, что виноград зелен, т.е., что из конференции ничего не выйдет, но и употребляет еще более ребяческие приемы: он заявляет, что этот самый виноград предлагали когда-то и ему, да он, видите ли, отказался!

— В 1894 году, — повествует г-н Криспи, — под свежим впечатлением убийства Сади Карно, одна дружественная держава составила план подобного конгресса. Но мы (гм!) не сочли возможным присоединиться к этому проекту, он оказался мертворожденным (*fallì sul nascere*).

¹Примите уверения в моей благодарности (*фр.*).

² Титул депутата парламента; букв.: «досточтимый» (*итал.*).

Что называется, «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней», и все потому, что «мы не сочли возможным...»

А не сочли возможным потому-де, что результатом такого конгресса явилось бы вторжение международного контроля во внутренние дела каждого государства, чего не потерпела бы ни одна страна и против чего первая восстала бы — восстанет, по мнению г-на Криспи, — Англия, гордая свободой своих граждан и своим «правом убежища».

Если это даже и верно — что еще никому не известно, — то и эта мысль не принадлежит г-ну Криспи и высказывалась уже не раз.

В этом ученическом упражнении на заданную тему — заданную, потому что статья написана по приглашению лондонской «Daily Mail», — есть только одно известие, которое, пожалуй, можно счесть за относительную новость. Криспи сообщает, что папа долго и усиленно хлопотал, чтобы конференция была собрана не в Риме. Папа в качестве безземельного государства, как известно, не получил приглашения послать своего представителя на конгресс, и наместнику св. Петра, конечно, неприятно видеть этот самый конгресс в своем Риме. Очевидно, папа тоже «недоволен».



Как пламенный патриот своего родного города я всюду ищу что-нибудь, напоминающее Одессу. Представьте же себе мое удовольствие, когда сегодня утром в окне одного киоска города Corso я увидел брошюрку под названием «Драма капитана Альфреда Дрейфуса. Роман. Выпуск первый». Чем Рим не Одесса? Он только несколько поотстал от нее, потому что в Одессе, вероятно, вышел уже тысяча первый выпуск этого великолепного и правдоподобного романа, из которого узнаешь «драму» несчастного «Альфреда» до таких подробностей, что даже личность знаменитой «дамы под вуалью» оказывается установленной и достоверной!



Вряд ли кто-нибудь еще помнит промелькнувшее в начале этого года в русских газетах известие о лекции, прочитанной каким-то профессором в Неаполе и касавшейся сенсационного парижского процесса.

На днях эта лекция опубликована в Риме под заглавием «Антропология в деле Дрейфуса—Золя». Автор брошюры — психиатр г-н Zuccarelli, профессор криминальной антропологии и судебной медицины в Неаполе.

Большая часть этой лекции посвящена восхвалению поступка Золя, имеющему очень отдаленную связь с темой, указанной заглавием. Зато очень интересно начало брошюры и ее предисловие.

Проф. Дзуккарелли, сличая портреты героев дрейфусовской эпопеи с имевшимися в его распоряжении черепами, над которыми проводились исследования в психиатрическом кабинете университета, пришел к следующим знаменательным выводам: в то время как конструкция черепов Золя, Пикара, Шерер-Кестнера, Жореса, Трарье и Леблуа, судя по их портретам, может послужить моделью нормального развития частей головы и правильной соразмерности их, черепа главных антиревизионистов, защитников генерального штаба, представляют значительные отклонения от нормального типа.

У Золя проф. Дзуккарелли находит безукоризненно правильный черепной свод, регулярную соразмерность между мозговой и лицевой частями черепа и констатирует полное отсутствие каких-либо аномалий в конструкции и форме частей лица знаменитого писателя. Те же утешительные признаки автор брошюры открывает и во всех остальных поименованных сторонниках пересмотра.

Гораздо печальнее дело обстоит с противниками. У Пеллье проф. Дзуккарелли замечает макроцефализм и акроцефализм (удлиненность и заостренность черепа); у Анри — слишком короткие оттопыренные уши и неправильности в строении лба и затылка; то же констатируется у трех других из противников пересмотра, которых проф. Дзуккарелли почему-то не называет.

Что же касается Пати дю Клама, то этому господину приходится хуже всего. Профессор Дзуккарелли наполняет чуть ли не полстраницы перечислениями признаков, доказывающих, что этот «инквизитор» не что иное, как типичный вырождок.

Более правильная организация черепа замечается у генералов Гонза и Буадефра, из чего автор брошюры заключает, что они оба являются антиревизионистами главным образом для сохранения престижа армии и порядка в стране.

В предисловии к брошюре, воспроизводящей лекцию теперь, через восемь месяцев по ее прочтении, г-н Дзуккарелли указывает на то, что факты подтвердили его правоту: Анри оказался преступником и покончил с собой; характер Пати дю Клама выяснился настолько, что даже военному начальству пришлось обратить внимание на этого «выродка». Стало ясно, по мнению проф. Дзуккарелли, что оба воина носят в своем антропологическом сложении признаки «органической преступности».

Можно прибавить к этому, что характер подполковника Пикара тоже все более и более выясняется перед глазами пораженных современников и что, если ген. Гонз не проявил никаких особенных добродетелей, то Буадефр с самого момента признания Анри сложил с себя звание начальника главного штаба и ни одним словом более не противится «шествию Истины». Это говорит в его пользу и также в пользу смелых заключений неаполитанского антрополога.

Брошюрка Дзуккарелли очень бойко раскупается.

Эгаль

Одесский листок. 26.11.1898



С дороги

III

Венеция сразу показывает себя иностранцам с лучшей стороны. Подъезжая к какому-нибудь другому городу, вы прежде всего попадаете на вокзал, который, пожалуй, и красив, но ничем не отличается от десятка других виденных вами вокзалов. К вам бросаются неизбежные носильщики, а у портала стоят рядком все те же щеголеватые, но малопозитичные кареты с надписями: Hôtel d'Europe... Hôtel de France... И нужно провести в городе дня три, чтобы понять хорошенько, в чем его особенности. Другое дело — Венеция, особенно, если вам посчастливится подъехать к ней в безоблачное и тихое утро.

Город образует большой полукруглый залив, и пароходик венгерской компании останавливается в его центре. Спереди, справа и слева, на расстоянии километра от пароходика, прямо из голубого моря поднимаются белокаменные высокие виллы,

башни, колокольни и широкие купола храмов, мосты и даже целые площади. Кое-где из-за белой стены выглядывают зеленющие верхушки деревьев. С левой стороны высится собор св. Петра; с правой видна большая площадь с двумя высокими колоннами. Это — Сан-Марко. В бинокль можно рассмотреть даже знаменитых львов, в пасть которых попадало все, что начальству ведать надлежало.

— А где же таможня? — практически спросил я у матроса, называвшего мне выдающиеся пункты города.

— А вот она! — и он указал мне на длинную черную гондолу, подъезжавшую к нашему пароходику.

Это действительно по-венециански! Таможня в гондоле!

Так и есть, гондола пристала, и из нее вылезли человек десять таможенных чинов. Главный чиновник, высокий старик с седой бородой, казался очень представителен в своей длинной черной мантии и шапке с огромным пером, но остальные производили мало внушительное впечатление.

Оказалось, что пароходик не подойдет к пристани. Пассажиры должны пересесть со всем багажом в гондолы, которые их доставят по назначению.

В самом деле, вокруг пароходика собралось штук пятнадцать гондол. Надо сознаться, что, как это ни удивительно, их довольно верно изображают на картинах. Только, конечно, убранство их гораздо скромнее, чем кажется г-дам художникам. Словом, Венеция с первой встречи показывала нам все свое, типичное, венецианское. Только, к сожалению, гондольеры были не в национальных костюмах, а в пиджачках с жилетами и черными галстуками и чуть ли не в крахмальных воротничках. Кроме того, ни один из них и не думал петь, хотя во всех — по крайней мере, русских — стихотворениях, посвященных Венеции, «гондолу» обязательно рифмуют с «баркаролой». К слову сказать, рифмуют совершенно некстати, потому что по-итальянски говорится не *гондо́ла*, а *го́ндола*, что даже одесситам не показалось бы рифмой к слову «баркарола».

Я думаю, что, если бы у венецианских лодочников сохранился еще обычай петь, то они именно тут и показали бы свое искусство с целью привлечения пассажиров. Но, очевидно, и в Венеции, как и повсюду, эпоха поэзии миновала.

Правда, один гондольер несколько раз запевал что-то, но, когда я вслушался в эту коротенькую песенку, то разобрал:

— O vieni, passegger! — Приди, пассажир!

Это так же кратко, как знаменитое: «О закрой свои бледные ноги», — но гораздо понятнее и выразительнее.

Гондольер повез меня по узеньким, извилистым каналам, из воды которых, без тротуаров или ступеней, подымались старые стены домов и палаццо¹. Часто, когда гондола приближалась к повороту, из-за угла показывался черный нос другой лодки, и мой гондольер испускал какой-то дикий вопль, означавший предостережение, на который встречный лодочник отвечал тем же, — и лодки ловко пролетали мимо друг друга, а гондольеры что-то лопотали — верно, ругались — на своем непостижимом наречии.

О, эти наречия! На итальянском языке пишут, но не говорят — это общепризнанный факт. В каждом большом городе — свой патуа², и, вслушавшись в говор простонародья, так и хочется воскликнуть:

— И кто это распустил слух, что итальянский язык красив и звучен?!

Впрочем, Флоренция говорит на чистом, прекрасном итальянском языке. В Болонье я покупал жареные каштаны (нечто вроде национального лакомства) у крестьянки из Тосканы, которая говорила безукоризненно красиво и правильно.



В Болонье у меня была четырехчасовая остановка, которой я воспользовался, чтобы осмотреть город. Он довольно красив. Вдоль почти всех улиц идут крытые галереи-арки, под которыми вечером гуляет публика. Те же типы хорошеньких женщин, что и в Фиуме, и опять те же девушки — конечно, не из высших классов, с непокрытыми головами.

Вот одна из достопримечательностей Болоньи: башня Азинелли — высочайшая серая башня, четырехугольная и призматическая. Даже среди высоких домов на большой площади она кажется гигантской. Возле нее находится «падающая башня» Garisenda, не столь высокая, но замечательная своим наклонным положением. Я много слышал о подобной башне Пизы и с любопытством смотрел на эту тяжеловесную диковинку. Наклон, в самом деле, очень значительный — может быть,

¹ Дворец (*итал.*).

² От: patuá — наречие, говор (*фр.*).

градусов до 18—20, но впечатления «падающей» Garisenda все-таки не производит. На одной из сторон ее приведены четыре стиха из «Ада», где упоминается об этой башне.

Университет в Болонье замечателен только тем, что он — древнейший в Европе. Правда, и этого достаточно.

Фонтан Нептуна. Я взгляделся в статую бога и подивился, насколько итальянцы еще близки к природе. Не знаю, нарочно или нечаянно так размещены струйки воды и такая поза придана Нептуну, но получается очень неаппетитная картина. А для итальянцев это не дико. Брр!.. Они публично выходят из пределов не только благопристойности, но и эстетичности — все, и простолюдины, и средние, и высшие классы! О, античная простота?

Эгаль

Одесский листок. 30.11.1898



Чочара

РАССКАЗ

Третьего дня вечером нам, собравшимся по обыкновению в caffè Greco на via Condotti, было особенно скучно. Дождь хлестал упорнее, чем когда-либо. Кроме нас, в кафе никого не было.

Мы только что окончили разговор о натурщицах. Больше говорить было не о чем. Идти домой под проливным дождем тоже не хотелось...

Вдруг старший из художников, полуседой импрессионист М., поднял голову и проговорил:

— Я вам расскажу историю о натурщице — в этой истории я был одним из действующих лиц. Ладно?

Мы сразу оживились. Александр принес кофе, мы уселись поудобнее; М. начал свой рассказ.



— Было это десять лет тому назад, здесь же, в Риме. Я задумал картину «Купающаяся Джульетта» и подыскивал подходящий оригинал. Это было трудно.

Дело не в том, конечно, что моя Джульетта должна была быть почти подростком. Дело в идее этой картины. Она должна была выражать полную, настоящую невинность. Купающаяся Джульетта должна была любоваться своею красотой и сознавать ее, но в то же время быть совершенно чистой духовно и даже не подозревать, что в ее красоте есть что-нибудь грешное, запретное. Она должна была любоваться своим телом с той же невинной простотой, с какой любовалась бы хорошенькой игрушкой или свежим, румяным яблочком. Понимаете? А такого выражения «из головы» не напишешь. Надо было найти его в натуре. Изволь, ищи, в нынешние дни, когда у людей воображение до того развращено, что матери считают неприличным кормить грудью своих детей при мужчинах.

Я каждое утро проходил по несколько раз по piazza di Spagna и искал свою Джульетту. Эта площадь была и тогда местом сборища крестьянок из округа Рима, среди которых мы, художники, находили себе натурщиц. Вы, может быть, не знаете, что народ называет их *le ciociare*¹.

Я долго искал и не находил. Наконец, в одно воскресенье я невольно обратил внимание на красоту молоденькой, лет пятнадцати, чочары, которая пила воду у каменной лодки, служащей бассейном фонтана на piazza di Spagna.

Только завидя ее, я сейчас же подумал: *Escola!*²

Я позвал ее к себе в студию, сговорился с нею, и с того же дня она начала позировать. Когда она снимала с головы уродливый убор, который носят чочары, что-то вроде пледа, сложенного вчетверо, она казалась еще лучше.

Звали ее Андjolита. Она была очень разговорчива, и во время работы мы постоянно болтали с нею.

— Андjolита, — спросил я ее однажды, — в моей стране, в России, очень трудно найти оригинал для картины. Там девушки стыдятся позировать. Я бы хотел знать, отчего это? Ведь ты не стыдишься?

Вопрос был неосторожный, но я не раскаялся, что предложил его.

Она расширила глаза, словно удивилась, и ответила:

— Стыдиться? Но ведь синьор сам понимает, что это глупо. Как я могу стыдиться того, что я хорошенькая и что синьор нашел, что с меня стоит написать картину? В прошлое воскресенье

¹ Крестьянка (*итал.*).

² Вот она! (*итал.*).

il tata (отец) повел меня в галерею; там масса картин, где изображены раздетые женщины, и если сам папа велит сохранять эти портреты, то нечего стыдиться. Ессо!¹ Il tata прочел в каталоге и сказал мне, что для многих из таких картин позировали графини и принцессы²...

Клянусь честью, тут я поверил в могущество древнеитальянской крови и в живучесть итальянского духа!

У этого народа было столько любви к красоте, что графини и принцессы соглашались во имя этой красоты позировать перед художниками, и народ сохранил в себе эту древнюю черту до нашего хмурого fin-de-siècle³. Но это в скобках.

По ответу Анджолиты вы можете судить о том, насколько она подходила к характеру моей картины. И действительно, работа подвигалась вперед быстро и удачно.

Черт побери! Я не окончил ее и не окончу никогда!



Однажды утром, выходя из этого самого caffè Greco, я встретил на улице молодого человека, лицо которого показалось мне знакомым.

Пройдя пять шагов, я вспомнил, что это был Генрих Потоцкий, мой бывший однокашник, чудный, душевный малый, но мистик, оставивший гимназию после пятого класса и поступивший потом в какую-то клерикальную школу в Кракове.

Я бросился за ним, и он сейчас же узнал меня. Мы встретились очень радушно. На радостях я чуть было не позвал его в caffè Greco, но вовремя вспомнил направление его мыслей и воздержался. Я повел его в свою студию, которая была тут же, на via Corso; квартира моя была далеко, на Транстеверинской стороне.

Оказалось, что Генрих жил уже вторую неделю в Риме. Видеть Священный город было его мечтой, и осуществить ее помогли ему какие-то краковские отцы, выдававшие ему пособие. Он собирал здесь материалы для работы по истории папского престола.

Я показал ему свои картины и, конечно, Джульетту. Увидев ее, он покраснел, быстро отвернулся и сказал:

¹ Вот (*итал.*).

² Принцессы (*итал.*).

³ Конец века (*фр.*).

— Мой бедный друг, ты все еще не поправился?

— Подожди, Генрих, — ответил я, — я рассчитываю на то, что именно ты одобришь идею этой картины.

Но когда я разъяснил ему, в чем моя идея, он ужаснулся.

— Это ты называешь невинностью?! — спросил он взволнованно. — Это? Господи! Да ведь твоя Джульетта не знает, в чем добро и в чем зло, и именно из этого неведения надо выводить человека, чтобы он не совершал зла, принимая его за добро!

В эту минуту дверь моей студии отворилась. Это Анджолита явилась позировать.

Генрих взглянул на нее и остолбенел.

— Ты с *нее* пишешь свою картину? — почти закричал он.

— Да, — ответил я, — а что?

— Да ведь это еще дитя! И ты взял ее в натурщицы? Ты учишь ее этому ужасному ремеслу? Господи! Да ведь ты честный человек?!

Я не успел ему ответить. Он схватил свою широкополую шляпу и ушел.

— Что с этим синьором? — спросила Анджолита.

Она не поняла ничего: мы говорили по-русски.

Я сердито ответил:

— Этот синьор просил у меня денег, а я сказал, что он не получит ни одного сольдо!..



Прошло две недели. Но теперь моя работа плохо подвигалась вперед, потому что Анджолита стала хандрить. У нее появилось выражение задумчивости, совершенно не подходившее к Джульетте. Болтливость с нее как будто соскочила.

Я стал было ее расспрашивать, но ничего не добился.

Наконец, в один прекрасный день она не пришла. На следующий сеанс тоже не явилась, и я увидел ее только на четвертый день.

— Что с тобой случилось, Анджолита?

— Niente¹. Я не могла.

Я заметил, что она за эти дни побледнела и осунулась. И руки у нее заметно дрожали, когда она стала расстегивать свой корсаж. И вдруг, представьте, она упала на кушетку, закрыла лицо руками и залилась слезами:

¹ Ничего (*итал.*).

— Что такое?

— Я не могу больше! Это стыдно, стыдно!..

— Что стыдно, *Madonna ti guardi?*¹ Позировать?

— Да...

Я остолбенел.

— О, черт побери! — и меня осенила вздорная, но верная мысль: — Да уж не сошлась ли ты с тем синьором?

Она сразу перестала плакать и вскочила.

— Да это он мне объяснил. Вы солгали мне: тот синьор не просил у вас денег; синьор упрекал вас за ваши отношения ко мне, и вот почему вы так гневались!

— Побойся Бога, *ciociarina*, какие это «отношения»?!

Она опять заплакала.

— Это правда, что вы мне ничего дурного не сделали; я сама согласилась стать вашей натурщицей... Но ведь это ужасно! Я только теперь поняла, как это ужасно!

— Да где ты с ним встречалась?

Оказалось, что он назначал ей свидания в *via Albani*, где-то у черта на куличках.

Мне хотелось сказать ей: «Моя дорогая, почтенный синьор просто-напросто влюбился в тебя!» — но что-то непонятное удерживало меня. Однако эта история мне надоела: я не выношу женских слез. Я сказал ей:

— Знаешь, *fanciulletta*², я не могу принуждать тебя. Если ты не хочешь позировать, вот твой расчет, и ты свободна. А когда ты очнешься, приходи опять ко мне, и мы окончим нашу картину.

Я настолько хорошо знал этого веселого котенка, что был уверен в скоротечности такого «затмения». Но прошла целая неделя, и она не являлась.

Наконец — было это, как теперь помню, в четверг — я увидел ее снова. Я сидел в своей студии, смотрел на неоконченную картину и злился, что не могу дописать ее. Увидев Анджолиту, я радостно кинулся ей навстречу. Но ликовать было нечего.

— Я пришла к синьору, — заявила она мне почти с первого слова, — с великой просьбой. Я хочу... Я буду умолять его, чтобы он уничтожил эту бесстыдную картину — *codesto quadro impudico!*

Моя злость сразу вернулась.

¹ Бог с тобой; букв.: «храни тебя Матерь Божья» (*итал.*).

² Девочка, девчушка (*итал.*).

— Ты с ума сошла? — раскричался я.
— Я не сошла с ума. Но я умоляю! Умоляю!..
Я холодно ответил:
— Ни за что.

Анджолита бросилась передо мной на колени. Но я уже не помнил себя от досады. Я схватил «Джульетту» с мольберта, запер ее в соседней комнате и ушел из студии, крикнув на прощанье:

— Скажи своему синьору, что он не только большой дурак, но и большой грешник!

Больше я уже не видел моей Анджолиты.



Через четыре дня ко мне пришла пожилая, но еще красивая чочара, мать девочки, и спросила, не видал ли я за последнее время ее дочери, которая куда-то исчезла. Я предложил ей тот же вопрос, и она ушла. А через полчаса я получил городское письмо, в котором прочел:

«Ради Бога! Ты не знаешь, где она? Генрих».

Прошел день.

Вечером дверь моей студии отворилась. Вошел Генрих.

Не снимая шляпы, он сел у стола, опустил голову на руки и словно задумался.

— Ну? — спросил я.

Он глухо ответил:

— Утопилась.

Вл. Эгаль

Одесский листок. 3.12.1898



Рим

26 ноября (8 декабря)

Что бы сказали наши защитники классицизма, если бы сообщить им, что в этом самом Риме, являющемся в их глазах огромным музеем классических «наук», готовится коренная реформа среднего образования, направленная в пользу реализма?

Действительно г-н Баччелли, министр народного просвещения, — непримиримый и убежденный противник классической премудрости как предмета преподавания в средних учебных

заведениях. Он того мнения, что есть, по крайней мере, десяток отраслей науки, знакомство с которыми для юноши не в пример необходимее и важнее сведений по латинской этимологии. Он того мнения, что нечего роскошествовать там, где ощущается недостаток в самом необходимом. Он того мнения, что ни Гомер, ни Вергилий ничего не потеряют, если их прочесть в хорошем переводе; кроме того, он находит, что практикуемое теперь разжевывание классиков через час по столовой ложке ни разу еще не оказало ни на одну ученическую душу приписываемого ему облагораживающего влияния, но зато вызывало утомление. Наконец, он того мнения, что желающие смогут изучать классические языки и штудировать Гомера у себя на дому, как это и теперь разрешается всем, кто интересуется внекурсовыми науками. И так как этих последних могикан классицизма окажется очень мало, то станет ясно, что из-за двух-трех любителей не стоит налагать ярмо на всю молодежь страны.

— Ведь среди лицейстов, — прибавляет фельетонист журнала «Fanfulla», — есть любители фотографии, а также рыбной ловли, и их верно больше, чем любителей греческих местоимений; ergo¹?!

На этом собрании г-н Баччелли приступил к учреждению «Liceo-modello»², программа которого будет заключать в себе только те науки, изучение которых может действительно послужить развитию ума и души у школьной молодежи. Лицей этот, учреждаемый в виде опыта и пробы, будет давать своим воспитанникам такие же права, как классическая гимназия.

Говоря вообще, очень нежелательны всякие опыты и пробы педагогического характера, потому что объектами их являются всегда существа слишком драгоценные для производства над ними экспериментов. Но в данном случае всякий с чистой совестью может сказать г-ну Баччелли:

— В добрый час!

Эгаль

Одесский листок. 4.12.1898

¹ Следовательно (*лат.*).

² Образцово-показательный лицей (*итал.*).



Письма из Рима

У РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

I

Братья Сведомские

Дом на *via Margutta*, где находится студия чуть ли не сорока художников разных национальностей, представляет из себя настоящую виллу. Большой двор весь занят цветущим садом и расположен так, что сюда почти не доносятся звуки улицы. Тишина придает еще более прелести этому уголку.

Студия братьев-художников, хорошо известных посетителям петербургских выставок, высокая и обширная зала, ярко освещенная, не пестрит особенным множеством эскизов и этюдов, что придает ей несколько пустынный характер.

— Мы только недавно сюда перебрались, — объяснил мне младший из г-д Сведомских. — Пришлось переделывать, перестраивать многое и внутри, и снаружи.

Г-н Сведомский распахнул дверь, и оказалось, что при студии имеется особый небольшой садик, в глубине которого уже зеленеет кустарник.

— Летом мы все это засадим растениями, так что наш садик не уступит тому, который вы видели во дворе, — продолжал любезный художник.

— Статуя ваша собственная или принадлежит хозяину? — спросил я, указывая на мраморную женщину, пьедестал которой подымался из зарослей.

— Наша. Это — работа покойного Панова «Фрина перед судом».

Знаменитая гетера изображена в ту минуту, когда находчивый адвокат, защищавший ее против обвинения в богохульстве, сбросил со своей прекрасной клиентки тунику, чтобы показать судьям, что такое совершенное создание не может быть преступным. Фрина стоит, потупив голову и как бы в замешательстве подняв левую руку к лицу. Здесь ей не придана такая испуганно-стыдливая поза, как в известной картине, и это, пожалуй, более естественно.

— Лицо у нее совсем *moderne*¹, а не греческое, — сказал г-н Сведомский.

Я в качестве профана разрешил себе дерзкое замечание, что так лучше, потому что древнегреческую красоту, говоря по правде, трудно понять. Сплошь и рядом слышишь искренние вопросы: да что хорошего в лице этой Геры или этой Афродиты?

Мы вошли обратно в студию, и мой собеседник занялся какой-то домашней работой, предоставив меня любезности своего брата, который при нашем появлении работал над большой картиной.

— Это — Фульвия с головой Цицерона, — сказал мне художник.

Фульвия, откинувшись в злорадном восторге на пышное ложе, смотрит с хорошо переданным бешеным наслаждением на лицо ненавистного оратора. Рыже-каштановые волосы разметались по постели, прекрасное лицо искажено злой улыбкой, стройная обнаженная рука нервно впивается пальцами в мертвую бледную голову.

Возле картины на диване лежало еще желтое платье натурщицы.

— Вы выставите эту картину, маэстро?

— Да, в Петербурге. К февралю надо будет окончить ее... ее и вот эту. Обе пойдут вместе.

Г-н Сведомский-*senior*² указал мне на другую, тоже еще не оконченную картину. Молодая девушка в костюме времен французской революции, слегка откинувшись назад, ждет со шпагой в руках врагов, которые ломаются в подающуюся дверь.

— Это — из эпохи террора, — пояснил художник. — Это уже второй вариант. От первого мне пришлось отказаться, и, между прочим, представьте, потому, что прострелянное зеркало, которое я списал со всевозможной точностью с природы, заставило бы всякого зрителя недоумевать, что это такое. Посмотрите.

— Неужели это зеркало? — изумился я, забывая, что это — самый оскорбительный вопрос, какой можно предложить художнику.

¹ Современное (*фр.*).

² Старший (*итал.*).

Но г-н Сведомский только улыбнулся.

— Вот видите! А это — с натуры. Помните, как у Гаршина в «Художниках» сказано: «Видишь вон тот зеленоватый тон в небе? Натура — а напиши, никто не поверит!» Не помню, конечно, слов, но смысл этот.

Если исключить злосчастное зеркало, этот вариант картины вряд ли уступает второму. Поза девушки в замужестве, если не естественнее, то проще. В общем, обеим картинам несколько вредит их относительно небольшой размер, если только не сочтется крупной ошибкой нескромное суждение о неоконченной картине. Зато даже и теперь видно, что выражение лица удалось г-ну Сведомскому в этой картине не меньше, чем в «Фульвии».

Среди эскизов бросается в глаза чудно-красивая головка девушки *en face*¹.

— Это римлянка — хороша, неправда ли!

— Это — *сіосіага* (крестьянка)? — спросил я.

— О, нет! Те редко годятся для таких картин. Это скорее — из среднего класса.

— Вот картина брата, — продолжал художник. — Это «курьезная» вещь, потому что еще никто, кажется, не писал этрусков. Брату пришлось изучать памятники, чтобы установить этрусский тип и написать латы. Картина была в Петербурге и была бы куплена академией, если бы не непредвиденные обстоятельства.

Я обратил внимание на два экземпляра старинных, уже несколько выцветших гобеленов, на которых изображены две сцены из истории Ромула и Рема.

— Это тоже любопытная вещь, — предупредительно заметил г-н Сведомский. — Таких гобеленов было десять, исполненных по рисункам Джулио Романо. Восемь из них хранятся где-то во Франции, чуть ли не в Клуни. А два экземпляра у нас...

Больше я не считал возможным тревожить любезных братьев-художников и раскланялся, предложив на прощанье последний вопрос:

— Вы давно уже в Риме?

— О, мы здесь старожилы: двадцать пять лет!

¹ Анфас (*фр.*).

II

Г-жа Краснушкина

Обширная, в два света, студия г-жи Краснушкиной в настоящее время почти пуста. Десятка два небольших этюдов красками и карандашом развешены по стенам — и только.

— Как видите, у меня здесь почти ничего нет, — встретила меня художница.

— Но ведь вы собираетесь выставить свою картину в будущем марте в петербургском обществе художников?

— Эта картина существует пока только в моем воображении... да, пожалуй, вот на этой фотографии.

Г-жа Краснушкина показала мне два маленьких картона, которые послужат этюдами к ее будущей картине.

На одном из картонов довольно искусно сфотографирована молодая девушка с задумчивым, опущенным лицом. На другом — снят мальчик лет двенадцати, прехорошенький в своем костюме паж; по повороту головы, по робкой позе опечаленного ребенка и по выражению глаз можно понять, что на картине он будет со стороны смотреть на свою любимую молодую госпожу и по-своему страдать ее грустью.

— Картина будет названа, ну, «Мечты», что ли, — сказала г-жа Краснушкина. — Костюмы эпохи Медичи. Позировала мне одна знакомая, потому что натурщица ведь никогда такой позы не даст. А паж, не правда ли, хорошенький? У меня много знакомых таких ребятишек.

Как бы в подтверждение слов художницы через две минуты послышался стук, и в дверь просунулась голова маленького кудрявого *ciociagino*¹, явившегося с исключительной целью попросить у синьоры сольдо, хотя никакой причины на это не имелось.

— Избаловала я их, — рассмеялась г-жа Краснушкина, когда чочарино исчез.

Среди эскизов обращают на себя внимание несколько крымских татар и характерные головы казаков.

— Это — родные картинки, — объяснила художница, — я — уроженка Таганрога.

¹ Деревенский мальчик (*итал.*).

III

Г-н Александров

Г-н Александров, студия которого находится в том же доме, занят в настоящее время большой и серьезной работой.

На полотне, еще только начатом, размещены четыре фигуры в мистическом полусвете катакомб. На первом плане изображена en face женщина или девушка в длинном темном одеянии; выражение лица и глаз, молитвенно поднятые руки, сам тип — все строго выдержано в духе первых веков христианства. На заднем плане помещена группа из трех фигур, еще только намеченных: это — старик и две женщины, очевидно, тоже христиане.

Г-н Александров указал мне на освещение:

— Как видите, работа очень сложная, потому что свет двойной: сверху — солнечный, сбоку — от факела или лампы. Эта картина — воспроизведение фрески в катакомбах di Santa Priscilla. Археологи разно толкуют значение этой картины. Фреска, как и все подобные произведения, написана прескверно и неумело — просто «напачкана» кистью. Фигуре женщины придан тоже большой размер, но перспектива не соблюдена. Я же хочу подойти как можно ближе к сюжету древней картины и в то же время не нарушить требований современного рисунка и художественной живописи. Это, могу сказать вам, чуть ли не первый опыт такого воспроизведения. Сюжет страшно труден: приходится много штудировать. Вот, кстати, мое «приспособление»...

Художник указал мне на род палатки, в которой из дерева, камня и картона устроена модель той же подземной галереи, что и в картине. Г-н Александров зажег лампу и поставил ее в углубление, причем внутренность палатки сразу получила поразительное сходство с настоящей катакомбой.

— Когда я пишу, — прибавил г-н Александров, — я отворяю завешенное теперь окно, которое составляет заднюю стену палатки, и получается то двойное освещение, которое я искал в катакомбах S. Priscilla.

Я опять вернулся к мольберту, и художник указал мне на цвет одежды молящейся женщины:

— Обыкновенно это длинное одеяние пишут белым. Это большая ошибка; я нигде, ни на одной фреске того времени не видел белого платья этого типа, потому что это — верхняя одежда, которая всегда делается темной.

— Картина будет на выставке в предстоящем году? — спросил я.

— О, нет, раньше чем через год или полтора я и не надеюсь ее окончить.

Среди этюдов, которые мне удалось видеть лишь мельком, интересна написанная в нескольких видах голова лысого бородатого старика.

— Это — этюды для моей картины, бывшей уже на выставке. Она называлась «Quo vadis»¹.

Эгаль

Одесский листок. 6.12.1898



Письма из Рима

ПРОТИВ НОЖА

Coltellata² — это повальная болезнь низших классов Италии. Когда раздражение итальянца доходит до известного градуса, он хватается за боковой карман, вытаскивает неразлучного спутника — нож, — и дело оканчивается очень печально.

Ежедневно газеты приносят известия о новых coltellate. Вчера сообщалось о гарсоне³ какого-то caffè, который дал veturino (извозчику) шестнадцать сольдо вместо установленной лиры и, когда извозчик раскричался, пырнул в него ножом; сегодня рассказывается о старике шестидесяти двух лет, который убил пожилую содержательницу небольшого ресторана; дня три или четыре тому назад передавался случай с одним из посетителей галереи театра Costanzi, получившим в толпе от неведомого врага два удара ножом в грудь.

Сами итальянцы и, главным образом, рабочие, более всех подвержены этой болезни, сознают ее опасность, и сегодня я присутствовал на первом заседании Lega operaia contro il coltello — Рабочей лиги против ножа.

Подойдя к piazza di Pietra, где находится биржа, избранная лигой для первого заседания, я невольно остановился и развел руками, как, вероятно, сделал каждый из многочисленных

¹ Куда идешь (*лат.*).

² Удар ножом; поножовщина (*итал.*).

³ Официанте (*фр.*).

собравшихся. Вся площадь была окружена цепью карабинеров в черных треуголках с красными кистями. Картина эта была так неожиданна и наводила на такие странные выводы, что один из старичков не утерпел и крикнул:

— Да неужели правительство не *против*, а *за*?!

Когда небольшой зал биржи наполнился публикой (было много дам и мало рабочих), седенький старичок, председатель лиги, встал и объяснил, как возникло это общество. Он заявил, что средства, которыми лига рассчитывает достигнуть своей цели, — двоякого рода: воспитательные и кооперативные. Последние касаются доставления занятий тем рабочим, которые остаются без заработка, чтобы улучшением их материального положения вывести их из состояния неослабевающего раздражения.

Поднялся высокий бритый пожилой мужчина, известный всей Европе и очень популярный в Риме профессор Раффаэлло Джованьоли, и произнес краткую, но блестящую речь, главные пункты которой я привожу здесь.

— Signore e signori¹, — начал оратор, когда стихли приветственные аплодисменты, — гнев — самая дикая, самая животная из страстей человека. В том, кто объят гневом, разум как бы умирает, и человек стремится удовлетворить свою вспышку самым грубым способом, посредством физической мести. И ясно, что когда при этом у человека под руками оказывается смертоносное орудие — нож, вспышка, может быть, мимолетная, порождает трагедию, жертвой которой является нередко какой-нибудь отец семейства. Семья остается без своего кормильца, и некому пропитать и воспитать осиротелых детей. Между тем, не будь при вспыхнувшем человеке этого ножа, дело, в худшем случае, окончилось бы пустой дракой. Не забудьте, что тогда прохожие не боялись бы вступить в дело и разнять противников, между тем как теперь такое вмешательство является очень рискованным. Лига, на первой конференции которой мы присутствуем, поставила своей задачей пропаганду той мысли, что итальянцы, столь вспыльчивые по своей природе, должны оставить варварскую привычку носить при себе ножи, должны обезоружиться, чтобы избавить себя, при случае, от искушения совершить братоубийство. И мне кажется, что к этому крестовому походу против ножа должны присоединиться все честные люди.

¹ Дамы и господа (*итал.*).

Здесь оратора прерывают рукоплесканиями и возгласами: Bene! Venissimo!¹

Только мой сосед, очевидно рабочий и крайний либерал, делает недовольную гримасу и бормочет что-то неодобрительное.

— Господа, — продолжает профессор Джованьоли, — как мы можем называть себя христианами, когда этот ужасный обычай доказывает, что мы предумышленно и заранее готовимся к братоубийству? Чему научил нас в таком случае великий кодекс, оставленный Христом? И, наконец, достойно ли это великого народа, породившего современную цивилизацию, народа, — скажу это между нами как братьями по крови, — который является способнейшим к развитию изо всех народов мира?

Чувствую, что я совершаю некоторую нескромность, сообщая вам эти слова, сказанные оратором не для всеобщего сведения, но было бы жалко опустить эту характерную фразу.

— Все правительства, — продолжал референт, — несомненно, поймут пользу этого нового крестового похода и подарят ему свою санкцию... несмотря на то, что сегодня мы видели совершенно иное!

При этом намеке на роту карабинеров, оцепившую площадь, весь зал расхохотался и с криками *benissimo!* стал аплодировать. Даже мой недовольный сосед улыбнулся и сказал:

— Bra²!

— Но, господа, — прибавил оратор, когда шум утих, — я уверен, что это только мимолетное недоразумение.

Профессор Джованьоли закончил свою речь ссылкой на одного из великих поэтов Италии, Петрарку, и словами:

— ...И, подобно ему, я громогласно повторяю вам: *расе! расе! расе!* — мир, мир, мир.

Когда я вышел из биржи, карабинеры все еще дежурили на площади. Только когда вся публика разошлась, они «марш-маршем» отправились в казармы.

Эгаль

Одесский листок. 11.12.1898

¹ Хорошо! Прекрасно! (*итал.*)

² От: bravo — отлично (*итал.*)


Рим

В десять часов утра поезд, состоявший из десятка битком набитых вагонов, увез из Рима пилигримов, желавших присутствовать на торжестве в Ментане. Сорок лет тому назад там произошло сражение — последний из кровавых актов междоусобной войны, объединившей Италию, — последний, потому что через три года, вступая в Рим, войска Виктора Эммануила не встретили уже никакого сопротивления со стороны папистов.

Около одиннадцати часов мы были в Монторотондо, где застали уже целый корпус участников торжества, и через несколько минут больше трех тысяч человек двинулись пешком в Ментану. Несколько оркестров соединенными силами гремели какой-то бравурный марш, если не ошибаюсь, «L'inno di Garibaldi», а потом начали нечто такое знакомое, что я не утерпел и спросил соседа, господина со значком на плече:

— Scusi¹, signore: что это за марш?

— Это австрийский «Марш Двуглавого орла», — ответил тот.

Австрийский марш на торжестве гарибальдийцев?! Это было немного неожиданно, но, как бы то ни было, это добрый знак.

Вот Ментана. Из толпы на ходу не рассмотришь, что это за городок; видна только неширокая улица, вся пестреющая знаменами. Мы проходим под триумфальной аркой, на которой написано что-то нелестное относительно папского владычества, и оказываемся на большой площади, где возвышается знаменитый монумент-жертвенник. На нем видны две урны, содержащие кости нескольких солдат из немногочисленного отряда, павшего здесь в 1868 году, и это, к сожалению, почти все, что осталось от недавних подвигов итальянских патриотов.

На ступенях монумента показываются несколько человек с венками в руках. На них красные рубашки — это последние гарибальдийцы.

Депутат крайней левой, г-н Бовио, оратор с недюжинным талантом, всходит на возвышение и среди глубокой тишины произносит своим звучным голосом речь, горько-меланхоличе-

¹ Извините (*итал.*).

ский тон которой не нарушается никакими искусственными жестами или громкими фразами. Оратор избрал благодарную, но безотрадную тему: параллель между теми идеями, во имя которых бились гарибальдийцы, и теми, которыми теперь признана жизнь Италия.

— Битва при Ментане, — говорит г-н Бовио, — была последней битвой. Брешь, пробитая в Porta Pia, оказалась символом свободного входа в Рим. Но политическая программа, проникающая в нашу столицу через эту брешь, — это была уже не программа Ментаны.

— Ментана требовала свободы совести и мысли, нового статуса, принципов международной справедливости; Рим дал вместо этого только некоторую терпимость, старый режим с поверхностными поправками и старые формулы победы и права сильного.

Затем г-н Бовио указал на неопределенность и нерешительность римской политики, доводящей до отчаяния беднейшие классы населения и вызывающей катастрофы. При этом намеке на майские волнения со всех сторон послышались крики: «Амнистия! Амнистия!»

— Дело не в одной амнистии, — ответил среди грохота рукоплесканий оратор, — употребим более определенное слово, более широкое понятие: свобода совести и мысли.

А движение в пользу амнистии, несмотря на относительную мягкость правительственных мер против виновников майских беспорядков, все разрастается и разрастается. Учащаяся молодежь принимает в этом движении живейшее участие.

Те же крики в пользу амнистии раздавались — немножко *mal à propos*¹ — на собрании типографов в театре Эльдорадо. Мне удалось попасть туда только к самому концу; тем не менее дело даже в том виде, в каком оно выяснилось мне из отрывочных фраз присутствующих, представляется очень интересным и характерным.

Еще при Рудини составила Кооперативная типография, предложившая правительству сдать ей все работы, исполнявшиеся до сих пор заключенными в тюрьме Regina Coeli, с тем, чтобы доставить занятие безработным типографам округа. Некоторые министры выразили свое согласие, и, кажется, в их числе был и сам маршал ди Рудини. Основатели типографии

¹ Не очень к месту (*фр.*).

удвоили свои усилия, но теперь, когда все уже готово и остается только передать печатание «Gazzetta Ufficiale» и всего прочего в руки кооперации, теперь от министерства Рудини остались только крошки, и некоторые представители высшей бюрократии энергично воспротивились этой передаче. В результате типография осталась «при пиковом интересе».

Типографы устроили собрание, рассказали многочисленной публике (большой театр был полон) о вероломстве бюрократов и вотировали протест в твердой уверенности, что эта мера не даст делу остановиться.

О да, дело здесь не остановится. Оно, по всей видимости, неуклонно и напролом направляется к уютному местечку «под сукном».

Эгаль

Одесский листок. 16.12.1898



Рим

Герой дня в Риме — дон Лоренцо Перози. Это священник-композитор, написавший в последнее время две оратории: «Воскрешение Лазаря» и «Воскресение Христа». Первая не имела особенного успеха. Зато вторая, шедшая на днях в базилике Святых Апостолов, произвела фурор.

Базилику превратили в театр — и места продавались по очень высоким ценам. Папа упорно запрещает духовенству посещать светские театры даже тогда, когда в них даются духовные концерты. Сам Перози насилу получил разрешение дирижировать «Воскрешением Лазаря», шедшим в театре Костанци. Поэтому для второй оратории пришлось отвести церковь.

Произведение Перози вызвало гром аплодисментов, и знаменитости духовной музыки ставят его очень высоко.

Лоренцо Стеккетти, один из лучших поэтов современной Италии, сказал, что те немногие итальянцы, которые сохранили еще в себе твердые убеждения, резко делятся на две партии: клерикалов и крайних радикалов. Середины нет, или, вернее, она состоит из массы, убеждения которой поддаются редактуре и корректуре *ad hoc*¹.

¹ Для данного случая; специально (*лат.*).

Кажется, это правда. Эдмондо де Амичис, писатель скромный и миролюбивый, но не способный играть роль флюгера, после долголетних колебаний окончательно примкнул ко второму лагерю. На днях вышла в свет его новая книга «Carozza per tutti» («Омнибус»). Здесь он еще раз и более уверенным тоном, чем прежде, в «Gli amici» («Друзья»), высказывает принципы этого лагеря.

Пример де Амичиса особенно поразителен. Это скромный человек и писатель, напоминающий во многих отношениях г-на Короленко; он не любит полемики (до которой такие охотники все его собратья — Кардуччи, Стеккетти и покойный Каваллотти); он в высшей степени джентльмен и не позволяет себе порнографии.

Он, наконец, автор слащаво-сентиментального «Дневника школьника» («Суоге»), читая который, невольно думаешь, что автор — женщина, и именно барышня, и даже, пожалуй, гувернантка. Но с этими качествами де Амичис соединяет в себе чуткую душу гражданина, живущего и дышащего «вопросами», и это мешает ему остановиться на спокойной фабрикации рафинированной и маринованной литературы, подобно Д'Аннунцио. И если де Амичис, благонамеренный и спокойный господин, шагнул в крайнюю левую, то это подтверждает мнение Стеккетти: действительно, в положении нынешней Италии есть что-то роковое, что гонит всех людей, способных иметь убеждения, в два противоположных лагеря.

У меня нет места для разбора новой книги де Амичиса. Пока удовольствуюсь замечанием, что по сюжету, вернее, по внешней концепции она напоминает очерк Глеба Успенского «С конки на конку».

Де Амичис когда-то написал книгу об Испании, в которой, несмотря на свое добродушие, отнесся к этой стране довольно сурово. Но теперь в Италии все больше и больше пробуждается интерес и симпатия к этой родственной стране.

В начале несчастной войны, когда все честные люди ясно видели, что Куба должна быть освобождена, эта симпатия выразилась в пассивном молчании и сказалась в отказе г-на Меллотти Гарибальди помочь кубинским повстанцам. Но теперь, когда Соединенные Штаты с Испанией поступили совершенно по-европейски, итальянская печать почти единодушно переходит на сторону побежденных.

Здесь установилось странное, не высказываемое печатно (по весьма понятным соображениям), мнение о роли американцев в этой войне. Поговаривают, что «дядя Сэм», давно облюбовавший Кубу, делал все возможное, чтобы вызвать Испанию на объявление войны, и, видя, что все усилия тщетны, он устроил несчастье с броненосцем «Maine», в котором обвинил испанцев и, таким образом, создал себе повод для конфликта. Потому будто бы американские делегаты в комиссии, заседавшей в Париже, отказались произвести следствие о взрыве «Мэна», чего вполне законно требовали испанцы после официального обвинения их президентом Мак-Кинли.

Несмотря на то что Штаты подорвали свой авторитет расправой с побежденными, этому слуху трудно поверить. настолько трудно, что газеты ограничиваются только намеками на него.

Эгаль

Одесский листок. 17.12.1898



Письма из Рима

У РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

Профессор Риццони давно уже не пишет ничего для выставки, и потому мне пришлось ограничиться осмотром этюдов и небольших картин, развешанных в студии. Здесь много портретов разных кардиналов, нечто вроде пассиви г-на Риццони, потому что я и теперь застал его за портретом кардинала Лавалетта, и хорошеньких головок римских *modelle*¹. Все, что пишет г-н Риццони — до маленьких эскизов, отличается изящной и тонкой отделкой. Большинство художников считают, очевидно, шиком писать этюды и эскизы небрежно, пятнами и мазками; при этом понимается, что смотреть на полотно надо издали. Я, грешный, смотрел, бывало, издали и сбоку, и даже сзади, и могу с чистой совестью сказать, что эффект со всех точек зрения получается один и тот же. На нежной коже женских головок различишь каждый мазок, колею от каждого волоска кисти; цвета и полутени набросаны кусками. Смотрите издали!

¹ Натурщица (*итал.*).

У г-на Риццони, напротив, всё, особенно лица, художественно отделано и не боится взгляда близко стоящего человека. Тон кожи написан гладко, без грубых мазков; цвета сменяются постепенными и нежными переходами. При такой манере письма головки римлянок выходят особенно очаровательными и вполне оправдывают восторженное мнение о них г-на Риццони.

Профессор Риццони вообще очень любит Италию и Рим. Уроженец нашей Риги, он уже тридцать пять лет живет здесь, приезжая в Петербург только летом. Он знает итальянцев и высоко ценит этот народ, к которому почему-то принято относиться несправедливо.

— Талантливая нация, — сказал мне г-н Риццони. — Они во всем первые: и в живописи, и в скульптуре, и — надо же сознаться — в музыке. У них искусство в крови: чуть ли не балаганные артисты играют Гамлета, и как играют! Но об итальянских художниках теперь мало слышно, и понятно почему. Здесь нет рекламы, нет выставок и салонов вроде парижского. Кто хочет, может постучаться к любому художнику и попросить разрешения осмотреть студию. Вот и все. Конечно, при таких условиях слава далеко не разойдется, и во главе постоянно оказываются французы. А куда годятся эти французы в сравнении с итальянцами или с испанцами, которых здесь тоже много — один талантливее другого?!

— Здесь, очевидно, — спросил я, — много иностранных художнических колоний?

— Очень много. Испанцы, французы, немцы, англичане, голландцы — и среди всех немало крупных талантов. Сказать вам откровенно и чистосердечно: мы, русские, тут слабее всех... и сами виноваты в этом.



Г-н Степанов, один из талантливейших художников здешней русской колонии, занят теперь огромным плафоном для частного дома Бога в Москве. Плафон написан на сюжет «Веселье гонит время» и состоит из пяти картин.

Центр изображает старика Хроноса, которого одолели шустрые ребятишки-амуры, отнявшие у него косу и часы, нахлобучивающие на его хмурую седую голову венки и потихоньку сталкивающие его куда-то в пропасть. Остальные четыре картины меньшего формата займут углы плафона. На них изображены искусство, чтение, пляска и скука.

Не говоря уже о размерах (ради которых г-ну Степанову пришлось переменить студию), работа трудна еще тем, что все цвета приходится подгонять под вечернее освещение, придающее краскам совершенно неожиданные оттенки. Однако талантливый художник уже почти совсем справился со своей задачей.

Для февральской выставки в Петербурге г-н Степанов готовит картину «Дележ добычи». Группа бандитов XVI столетия в темной таверне делит между собою плоды последних подвигов. Несколько разбойников с жадностью копаются в сундуке, а один уже посадил к себе на колени какую-то красотку и наслаждается кружкой вина.

Картина еще только нарисована углем, если не считать предварительного этюда красками.

Я предложил г-ну Степанову вопрос об иностранных художниках в Риме. Он подтвердил, что в их числе есть много первостепенных талантов; здесь есть французская академия, английская, испанская и немецкая, где молодые иностранцы живут и учатся писать.

— Кстати, — добавил г-н Степанов, — сюда нередко приезжают и из России учиться. Обыкновенно молодые художники попадают в затруднительное положение, потому что как узнать, у кого из художников стоит учиться? Очень жаль, что никто не знает о существовании этих академий. Правда, русской академии здесь нет, но и во французской, и в других есть вечерние курсы живописи, публичные и руководимые авторитетнейшими профессорами.

Эгаль

Одесский листок. 20.12.1898



Рим

Подходит Новый год, и это видно не только по количеству игрушек, выставляемых в окнах всех магазинов на Corso, но и по газетам. Они начинают рекламировать себя, и как рекламировать! У нас такую рекламу сочли бы верхом неприличия, и она могла бы разве только уменьшить число читателей газеты.

Вот, например, «Fanfulla». Странное имя этой газетки как будто рассчитано на то, чтобы напомнить о парижском «Figaro». Действительно, газетка усердно разыгрывает роль младшей

сестры французского органа. Но от большого усердия она иногда берет фальшивые тона и подчас сбивается на покойную «Одесскую газету». Буквально: «Fanfulla» на днях увеличила число своих столбцов с пяти до шести и по этому поводу подняла такой же гам, какой одесская покойница — не тем будь помянута — подняла при своем появлении в увеличенном формате.

А рекламирует себя эта «Fanfulla» довольно непозволительным образом. Она печатает передовую в полстраницы, где объявляет свою программу, шесть раз упоминает о шести столбцах, обещает за какой-то конкурс премию в виде трехколесного автомобиля и иллюстрирует все небольшой картинкой «скрок», на которой изображена толпа подписчиков, желающих абонироваться на год.

«Polo Romano», признающий себя органом «буржуазии толстой и тощей, но по преимуществу тощей», объявляет о себе в таких словах: «Мы хотим закончить век таким актом щедрости, который останется в журнальных летописях монументом для потомков». А акт этот будет состоять в том, что кто прибавит к подписной цене три лиры, получит то-то, а кто пять лир, получит еще больше. И газета заключает: «такой массы подарков не позволяя себе ни один журнал XIX века».

Даже «Tribuna», порядочная, джентльменская «Tribuna», печатает теперь по две передовицы: в первой (мелким шрифтом) говорится о вероломстве Соединенных Штатов или о хитрости негуса Менелика, а во второй (крупным шрифтом) объявляется, что премии «Трибуны» баснословно дешево обойдутся читателям, а потому последние приглашаются «поспешить». К нам зайдите, кавалер!

Вот уж именно, что город, то норов.

Только об Австрии нельзя сказать этого. Там в каждом городе вы встретите одно и то же: вражду национальностей.

Итальянские журналы очень волнуются по поводу скандалов в Триесте. Как-никак, но Истрия все-таки принадлежит к Австро-Венгерской монархии, и на этом основании в столице благодатного полуострова происходит горячая потасовка из-за хорватской гимназии. Итальянская часть населения не хочет этой гимназии, видит в ней нарушение своих прав (эта фраза — лозунг австрийца, кто бы и где бы он ни был), и римские газеты настаивают на правоте итальянцев.

Правда, что Истрия — та же Италия (почему я и говорю о ней в этом письме из Рима). Но итальянцам не следовало бы забывать, что в Триесте очень много славян, особенно теперь,

при усиленной эмиграции из Боснии и Герцеговины. Эта часть населения имеет свои духовные потребности, за удовлетворением которых ездить в Загреб, за сотни верст, конечно, не приходится. Хорватская гимназия основывается для славян, и никто не толкает итальянцев посещать ее, тем более, что в этом городе с 180 тысячами жителей есть, несомненно, итальянская гимназия, и не одна!

Поразительно, до чего все тряпочки, из которых белыми нитками шито это государство, заражены желанием затереть друг друга и не допустить не только превосходства над собою, но даже равенства с собою!

Ажитация римлян по этому поводу увеличивается еще тем, что как раз подоспела годовщина смерти Вильгельма Оберданка из Триеста, одного из национальных вожаков «молодой» Италии.

Эгаль

Одесский листок. 22.12.1898



Рим

17(29) декабря

Вчера перед вечером вопрос об амнистии был окончательно решен. Гуманный акт будет объявлен 1 января по новому стилю и распространится на всех, чья кара не превышает двух лет заключения в тюрьме. Нет никакого сомнения, что вскоре последует амнистия и всем остальным жертвам майских волнений.

Таким образом, г-н Пеллу наконец уступил давлению общественного мнения. Дело стояло только за ним, так как король Умберто никогда не был противником амнистии. Вчера в палаццо Браски г-н Пеллу выдержал последнюю баталию с военным министром и уступил. Очень может быть, что в этом итальянцы усмотрят добрый знак, симптом обращения к политике либерализма, в которой теперь спасение Италии, по единственному мнению всех газет Севера и Юга. Да позволено будет мне выразить, однако, свое глубокое убеждение, что итальянцам, как своих ушей без зеркала, не видать либерализма, пока премьером останется г-н Пеллу. Это чрезвычайно непопулярный деятель. Простые смертные терпеть его не могут за его презрительное отношение к публике.

Не только «Don Chisciotte» или «L'asino», но и все другие журналы, помещающие «скроки», ни за что не пропустят случая царапнуть его карикатурой. При этом, конечно, по установившемуся во всем мире, но довольно-таки мерзкому обычаю, особенно достается наружности г-на Пеллу, именно его ушам, которые в одной из последних карикатур доведены до размера настоящих парусов. Этими парусами г-н Пеллу, по смыслу текста, старается спасти утопающее министерство.

Не знаю, утопает ли министерство на самом деле. По крайней мере, есть на этот счет очень неясные слухи, а сегодня «Агентство Стефани» объявляет эти слухи ложными. Заявление, конечно, официальное. Скептики хорошо знают, что без опасности телеграфные агентства не любят тревожиться и надо много дыма, чтобы они начали отрицать существование огня.

Зато в мирной области искусства здесь праздник.

Сара Бернар дала здесь пять спектаклей. Об успехе нечего и говорить. Особенно поразила критику «La dame aux camélias», которой артистка придала совершенно незнакомое, новое даже для самой Бернар, освещение классической простоты и безыскусственности.

Г-н Rastignac (адвокат Морель), первый из театральных критиков современной Италии, опубликовал интересное интервью с вечно юной артисткой.

Сара Бернар оказалась в восторге от Италии, итальянского языка и от Рима. Г-н Растиньяк спросил у нее, как и при каких обстоятельствах развилось в ней то, что отличает Сару Бернар от других артистов.

— Все дело в мысли, — ответила она. — С первого раза действительно во мне осталось впечатление *разницы*; при соприкосновении с артистами Odéon и Théâtre Français, которые в сравнении со мной были звездами, я почувствовала себя чужеземной. Их язык, их жесты были не те, которые казались необходимыми мне. И мне надо было решиться, дерзнуть, совершить гигантский скачок, рискуя переломать себе ноги, или же спокойно остаться затертой в толпе. Я решилась на скачок, и осталась цела.

Далее Сара Бернар сообщила, что она «постоянно учится» и изучает «каждый тип, за который принимается, пока он не предстанет перед ней живым и как бы воплощенным».

Ростан оканчивает для нее драму «Орленок», от которой она заранее в восторге. Сюжет действительно гарантирует безусловный успех: дело идет о «сыне Наполеона, герцоге

Рейхштадтском, французе, принужденном принять немецкое имя и ненавидеть страну, которую прославил его отец». Что выйдет из этого сюжета из-под пера Ростана, талант которого у нас, в России, даже наполовину не может быть оценен, и как примут эту драму французы — можно себе представить.

Шваб переводит для Сары Бернар «Гамлета», а «Викторьен» — так она запросто называет Сарду — готовит для нее же «Волшебницу».

О новой, «аналитической» школе она отозвалась очень сдержанно:

— Я люблю некоторых авторов этой школы. Но нет ничего целого, и потом... нет поэзии!

*C'est le mot*¹.

«Мертвому городу» Габриеле Д'Аннунцио она предсказывает, несмотря на недавний печальный опыт, огромный успех в будущем.

Кстати, г-н Д'Аннунцио выпустил на прошлой неделе новую драму «La Gioconda», произведение очень замечательное... для него. Но об этом в другой раз.

В. Э.

Одесский листок. 25.12.1898



Святки в Италии

«МЕО»

Старая рождественская сказка

Синьор Депретис быстро взбежал по лестнице и позвонил. Отперла ему сама жена. Увидев большой пакет, который принес с собою муж, она радостно спросила:

— Нашлась?

Синьор Паоло качнул головою, снял пальто и взял пакет в руки.

— Все плачет? — спросил он у жены, которая сделала утвердительный знак. — И не спала?

— Нет. Она так впечатлительна!

¹ Этим все сказано (*фр.*).

— Знаешь что? — заговорил в раздумье муж: — Я хотел было подождать вечера и устроить ей сюрприз на елку. Но надо будет отдать ей куклу теперь же, а то она слишком взволнована.

Нерина сидела на кушетке в своей хорошенькой детской и печально смотрела в окно. Ее глаза были так необычайно красны, а круги под ними так необычайно сини, что при первом взгляде можно было понять, сколько она плакала в это утро и как мало спала в эту ночь. Ее не занимали теперь не только старые игрушки, но даже новые, только вчера вечером подаренные. Папа так много рассчитывал на роскошный, дорогой *presepio* для представления св. мистерии: большинство куколок махало руками и ногами, ясли были сделаны из красного дерева, головка Младенца — с настоящими мягкими волосиками — была окружена ореолом из тоненькой золотой проволоки, а маленький органчик исполнял песни ангелов и трех волхвов. Ни одна девочка в Риме, вероятно, не получала еще к Рождеству такого дивного *presepio*. Но это было напрасно: Нерина и не взглянула на подарок, тогда как прежде, бывало, не отгоняла ее от этого крошечного театра.

Мама вошла в комнату, положила ей руку на голову и сказала:

— Какие у тебя красные глазки, *bambina*¹, — вот что значит не спать почти две ночи! А вечером будут гости... Слушай, пойдешь теперь заснуть, если я дам тебе что-то очень хорошее, что-то такое, что тебе очень понравится и что ты очень хочешь получить?

— Что?

Так как тут была мама, Нерина собиралась снова заплакать. Синьора Депретис показала ей куклу.

— Гуальберта!!! Нашлась!

Нерина кинулась к своей пропавшей любимице и стала ее неистово целовать, наскоро убедившись, что Гуальберта цела и невредима, только голубое платье сильно испачкано.

Через четверть часа наконец Нерину удалось уложить в постель, но прежде она раздела куклу и прижала ее к себе, заявив:

— Мы будем спать вместе!

¹ Девочка (*итал.*).



Нерина шептала кукле:

— Какая ты холодная, fanciullina mia!¹ Надо тебя согреть.

Она еще крепче прижала Гуальберту к себе, свертываясь в клубочек под одеялом. И на самом деле, атласная кожа куклы потеплела, Гуальберта зашевелилась и обняла левую толстенную руку Нерины.

— Senti, poveretta², — шептала девочка, — ты должна рассказать мне свои приключения. Это будет очень интересно!

— Но мама хочет, чтобы ты заснула, — ответила Гуальберта.

— Ничего, я все равно не засну. Рассказывай, что ты видела за эти два дня. Via!³

Кукла устроилась поудобнее и начала рассказывать.



— Ты меня оставила возле витрины с картинками, на карнизе, а сама с папой ушла. Тогда уже стемнело, и проходящие меня не видели, хотя я видела их очень хорошо. Мне было так страшно, что я не могу тебе передать, и к тому же становилось довольно холодно. Так я сидела почти целый час. Вдруг мимо меня прошел маленький мальчик с каким-то ящиком под мышкой. Он напевал вполголоса ту песенку, что всегда поет твой папа:

*Chi sa se servi ci son
Dentro alla lu-u-na,
E so sono tutti birbon,
Quelli di lu-u-na?*⁴

Он очень внимательно оглядывался по сторонам и потому заметил меня, нагнулся и вслух сказал: «Эге! Да ведь это кукла той девочки!» Тут и я его узнала: это был, кажется, тот самый мальчишка, который так приставал к папе, предлагая почистить башмаки. Он поднял меня, оглядываясь, завернул в какую-то грязную тряпку, взял тоже под мышку и понес с собою. По дороге он останавливал почти каждого прохожего и предлагал

¹ Девочка моя (итал.).

² Послушай, бедняжка (итал.).

³ Давай, начинай! (итал.)

⁴ Кто знает, есть ли слуги / Там, на луне, / И все ли они плуты / Там, на луне? (итал.)

спички. Но когда мы подошли к Corso, он свистнул и сказал: «А, pizzardoni!» — и перебежал галопом через улицу, где было очень светло.

— Я знаю это слово, — сказала Нерина, — pizzardone значит полицейский, только помни, Гуальберта, если назвать так полицейского в глаза, то он очень обидится.

— Мы шли ужасно долго, — продолжала Гуальберта. — Когда мальчик наконец остановился, мы были в какой-то узенькой и темной улице. Здесь он вошел в дверь, сел на свой ящик, поставил меня перед собой и заговорил со мною:

«Что мне с вами делать, синьорина, а? Следовало бы отнести вас в полицию. Но я не могу туда явиться с ящиком, где лежат щетки и вакса, потому что я... как бы вам сказать... забыл выхлопотать позволение на чистку сапог. Понимаете, cara lei¹? А теперь у меня болят ноги и мне очень не хочется бежать так далеко, тем более что скоро надо идти на cottio. Э? Поэтому вам придется побыть у меня до завтра».

Его лицо было освещено, и я видела, как он задумался, глядя на меня, и вдруг стал печальным, покачал головой, свистнул и сказал: «Ессо!²» Потом взял меня в руки, завернул, вышел снова на улицу, пробежал несколько домов и поднялся по какой-то страшно высокой лестнице.

Тут он постучался в дверь и спросил: «Sora³ Nanna, можно видеть Нинетту?»

В дверях показалась женщина и сказала: «Вечно ты тут, Мео! На что тебе она?»

«Sora Nanna, вам ведь не мешает... Я к ней на минуту!»

«Ступай, она там лежит».



— Знаешь, Нерина, я никогда не видела такой бледной и худой девочки, как эта Нинетта. Мне стало ужасно жаль ее, а она так обрадовалась, когда Мео подал ей меня, что у нее сразу выступил на щеках яркий румянец. Мео смотрел на нее и сказал: «Можешь оставить ее у себя до завтрашнего утра. А теперь — сiao, до свидания». — «Куда ты? Посиди со мною». — «Я еще не был дома и не ел, и потом мне надо еще поспеть на cottio».

¹ Дорогая вы моя (*итал.*).

² Вот! (*итал.*)

³ Синьора (*итал.*).

Тогда она стала ласкаться к нему: «Meino, дорогой, возьми меня тоже на cottio. Я так давно не была на улице! Я совсем забыла, что послезавтра Рождество».

Он ответил: «Ты с ума сошла, Нина. Теперь холодно, а ты... нездорова».

Когда он запнулся, она так печально посмотрела на него, что мне стало больно внутри, покачала головой и повторила: «Возьми меня с собой, Meinio mio!»

Он отвернулся и сказал: «A sora Nanna?»

Тогда Нинетта закричала: «Тетя, тетя, я пойду к Мео на ужин. Вы ведь будете у sog'ы Реджины, и мне скучно оставаться одной».

Тетка заворчала немного и сказала: «Ступай».

Нинетта закуталась в платок, взяла меня, и мы вышли, а через несколько минут были в квартире Мео. У него оказались три маленьких брата и мать, и все они жили в одной комнате, совсем небольшой.

Мео посадил Нинетту в углу, а сам подошел к матери. Нинетта не очень теребила меня, так что я слышала разговор Мео и его мамы.

Он сказал:

«Сегодня я заработал семнадцать сольди. А ты?»

«Я тридцать сольди».

«A bambini?²»

Я очень удивилась, услышав, что эти мальчики — старшему было лет семь — зарабатывают деньги.

Мать вздохнула и ответила: «Старшие принесли по одиннадцати сольди, а Пьерино поймал pizzardone, привел его сюда и сказал, что, если еще раз увидит моих детей продающими спички без патента, то мне достанется».

После этого мать сказала: «Всего есть четыре лиры пятнадцать сольди. Слушайте, дети, если мы купим caritone^{*}, то потом нам целую неделю придется есть «хлеб со слюною» — pane o sputo».

Мео отвернулся, а остальные три мальчика начали плакать и кричать так, что у меня закружилось в голове. Маленький Пьерино лег на стол, начал бить по доске каблуками и повторял во все горло: «Я хочу caritone! Я хочу caritone!»

¹ Мой Меино (итал.).

² Дети (итал.).

* Вид угря.

Мать зажала уши и закричала хриплым голосом: «Zitto, zitto¹, Мео купит вам caritone!»

Тогда Мео отозвал ее в сторону и сказал: «Пусть их, мама. Я, верно, завтра получу лиры две от тех, кто потерял вот эту куклу. — Он показал матери меня и добавил, почему-то смотря ей прямо в глаза: — Я ее нашел на via Sistina».

Мать тоже посмотрела ему прямо в глаза, потом посмотрела на меня и сказала: «Не испортить ее, Нинетта». Потом она опять обратилась к Мео: «Ну, тебе пора. Cottio скоро начнется. Только купи хорошего caritone. Бедные мои дети, надо же вам, в самом деле, хоть раз в году сытно и вкусно поесть!»



— На улице Нинетта куталась в два платка и прижимала меня к себе. Я высунула голову и слушала, но они молчали. Только один раз Мео сказал: «Мы оба сумасшедшие. Дует трамонтана², а я веду тебя на piazza del Cerchio!»

Она ответила: «Но на улице ведь так хорошо! И мне тепло, Мео, право, тепло».

Мы прошли мимо огромной ямы, большой, как piazza Colonna, и оттуда подымались какие-то столбы, камни и стены...

— Это — Foro Romano, — вставила Нерина.

— ...Мы его прошли, и я увидела толпу, услышала шум и крики и почувствовала невыносимый запах рыбы. Торговцы ужасно громко выкрикивали названия рыбы, и чаще всего слышалось: Caritoni! Caritoni! Caritoni! — Это и был cottio, рыбный рынок.

— Да, — опять прервала Нерина, — я знаю, такой рынок устраивается перед каждым Рождеством. И у нас вчера вечером тоже был к ужину caritoni. Но рассказывай дальше, Гуальберта, я больше не буду тебя прерывать.

Гуальберта снова заговорила:

— Я не люблю шума и толпы, и потому я спряталась под платками Нинетты. Там, как в темнице, я пробыла очень долго, и под конец Нинетта начала страшно кашлять. Когда я почувствовала, что мы ушли с cottio, я снова выставила голову. Нинетта, хрипя, сказала Мео: «Идем скорее домой, мне очень боль-

¹ Замолчи, не шуми (итал.).

² Северный ветер (итал.).

но в груди, когда я кашляю». Мео смотрел на нее так, как будто она была его сестра, и повторил несколько раз: «Мадонна! Зачем я взял тебя с собою, я сумасшедший?!»

Когда мы вошли в ту улицу, Мео дал ей в руки сверток с рыбой, а сам взял Нинетту на руки и понес нас наверх, в комнату сору Нанны. Но сору Нанны не было. Мео уложил Нинетту на кровать — если бы ты видела эту кровать! — и Нинетта все кашляла так, как будто у нее рвалось в горле. Мео хотел позвать сору Нанну, но девочка не соглашалась и уверяла его, что это пройдет. Она прибавила: «Только вернись ко мне и не отнимай у меня сегодня куклу».

Мео взял рыбу и побежал домой. А через несколько минут Нинетта — она была горячая-горячая — сделалась такой странной и стала говорить такие непонятные вещи, что я едва не обмерла со страха. Она начала бредить.

Мео пришел и, увидев это, бросился за своей матерью и сорой Нанной. Вся комната наполнилась соседками, а через полчаса пришел доктор. Обо мне тут совсем забыли, и кто-то бросил меня в угол. Я попала за сундук и лежала там, почти ничего не слыша и не двигаясь.



— Только на другой день обо мне вспомнили. Мать Мео вытащила меня и унесла к себе. Я успела рассмотреть Нинетту, которая лежала на своей постели и тихо хрипела.

Когда наступил вечер, пришел Мео. Он отдал матери свою выручку и сейчас же убежал к Нинетте.

Он вернулся не скоро и смотрел очень хмуро. Зато его братьям было весело. Они прыгали вокруг стола и пели:

*Evviva il capitone,
Abbasso il pizzardone!*¹

Потом один из них закричал: «Мама, а ты забыла, что сегодня надо зажечь серро²?»

Мать сказала: «Но у нас нет больше дров».

Тогда мальчишки снова начали хныкать. Мать вздохнула и одела уже было платок, но Мео встал и без шапки вышел из комнаты. Через десять минут он вернулся и принес большой кусок деревянной доски.

¹ Здравствуй, рыба-капитоне, / Убирайся, пиццардоне! (итал.)

² Полено (итал.).

«О, — сказала мать ласковым голосом, — кто это дал тебе так много?»

А Мео коротко ответил: «Я украл это на стройке».

Потом он сел у стола и больше не двигался.

Мальчики положили доску в камин, обернули ее старой газетой и зажгли. Когда она наконец разгорелась, они запрыгали перед огнем, греясь и крича:

*Serpo, serpo!
Gesù e Maria,
E San Beppo,
E così sia!*¹

«Серпо должен гореть до самого рождественского утра», — кричал Пьерино.

Тут Мео поднял голову и сказал: «Доктор говорит, что Нинетта проживет столько же, сколько и рождественское серпо».

Мать разделила между всеми часть *caritone*, и Мео принялся с жадностью за еду.



— Сегодня утром Мео вышел из комнаты, когда было еще темно, и вернулся только через три часа. Он был очень молчалив и бледен; он завернул меня в платок, взял под мышку свой ящик и вышел. На улице перед домом, где жила Нинетта, была большая толпа, но Мео пошел другой дорогой, и я не могла узнать, что случилось с бедной девочкой.

Мео шел молча и опустив голову, не предлагая никому спичек и не останавливаясь для чистки башмаков.

Вдруг к нему подошел полицейский и сказал: «*Ohé, ragazzo*², покажи-ка мне свой билет!»

Мео вздрогнул и оглянулся, как будто хотел убежать. Но полицейский держал уже его за куртку. Тогда он спросил: «Какой билет?»

«А ведь это ящик для чистки сапог?»

«У меня нет билета», — сказал Мео угрюмо.

Полицейский ничего не ответил, взял его за руку и повел с собою. «А это что?»

¹ Полено! Полено! / Иисусе, Мария / И Иосиф святой, / Воистину так! (*итал.*)

² Эй, мальчик (*итал.*).

Мео, глядя в землю, ответил злым голосом: «Вы или слепой, или дурак, pizzardone: это кукла».

Полицейский, кажется, страшно рассердился, но сдержался и только прибавил шагу да сказал: «А вот мы в префектуре узнаем, откуда у тебя эта кукла».

Когда мы пришли в большое здание с огромными залами — верно, это была префектура, — какой-то господин взял меня у Мео, унес и спрятал в шкаф. Через час дверь шкафа отперли, и я увидела твоего папу.



Синьор Депретис вошел в детскую на цыпочках, но Нерина уже проснулась.

— Babbo, babbuccio¹, — позвала она, — если бы ты знал, что Гуальберта рассказала мне во сне!

И она передала отцу приключения куклы, закончив своим настойчивым тоном:

— Надо, чтобы ты отыскал семью Мео и также бедную Нинетту, может быть, она еще жива, и помоги им. Непременно, babbo mio!

Отец посадил ее к себе на колени и сказал:

— Как ты впечатлительна, моя милая девочка! Ведь ты понимаешь, что это все тебе только приснилось. На самом деле Гуальберту принес в полицию приказчик того магазина на via Sistina, где мы ее потеряли.

Нерина задумалась.

После, наедине, синьора Депретис сказала мужу:

— Все это твоя система воспитания. При девочке читают газеты, говорят Бог знает о чем... Она так впечатлительна!

Вечером было очень весело. Рождественская елка в Риме — редкость, и это еще увеличивало ликование детворы. Нерина нашла среди подарков новое платье для Гуальберты, переодела ее и танцевала с нею вальс в первой паре.

Вл. Эгаль

Одесский листок. 25.12.1898

¹ Папа, папочка (*итал.*).



Письма из Рима

1898 ГОД

19(31) декабря

Наше время — скучное время, говоря вообще, но на 1898 год даже журналисты не могут пожаловаться. Этот год подарил им немало событий важного и даже сенсационного характера. Особенно много перенесли три родственных государства в юго-западном углу Европы — Испания, Франция и Италия.

Сегодня последний день этого бурного года. Благодаря любезности г-на Алессандро Наталетти, молодого римского журналиста, доставившего мне написанный по моей просьбе очерк «Il 1898 in Italia»¹, мы можем сегодня подвести итог всему происшедшему за этот год на Апеннинском полуострове.

«Год этот, — пишет г-н Наталетти, — был богат событиями, то печальными, то радостными для Италии. К воспоминаниям о первых шагах нашего национального возрождения (1848) и о людях, представлявших лучшую Италию, присоединилась Национальная выставка в Турине, блестящее доказательство достигнутых нами успехов, но в виде противовеса явились печальные волнения народа, доставившие столько горя каждому итальянскому сердцу и еще до сих пор оплакиваемые сотнями матерей и жен.

В первый раз после многих и многих лет итальянская кровь была пролита руками итальянцев. В мае месяце, когда солнце с особенною лаской согревает Италию, над полуостровом пронеслась буря: народ взволновался в Неаполе, Флоренции, Милане; и оружие, предназначенное для защиты отечества, было обращено против его детей.

О причинах волнений теперь, всего через шесть-семь месяцев, нелегко и даже невозможно судить. Близость событий мешает ясно рассмотреть их. Несомненно одно: волнения как не везде выразились с одинаковой силой, так и не везде произошли от одних и тех же причин.

Из таких причин, выставляемых различными партиями, можно, по-моему, исключить одну: голод. Нет, не этот "плохой советчик" был виною волнений. Экономического благосо-

¹ 1898 год в Италии (*итал.*).

стояния в Италии нет, к чему отрицать! Иначе и быть не могло: нация, которая за тридцать лет должна была создать из ничего все — железные дороги, порты, туннели, школы, казармы, флот, телеграфы, библиотеки, — которая должна была и должна еще бороться за процветание своей промышленности среди стран, давно опередивших ее во всех этих отношениях, — эта нация не может находиться в благоприятных экономических условиях. Но не следует преувеличивать, выставляя Италию страной нищих. Вздорожание хлеба могло быть поводом к волнениям, но не их истинной причиной. Это можно привести много доказательств, и вот одно из них: в Милане, в Неаполе, во Флоренции, где беспорядки развилась с особенной интенсивностью, экономические условия гораздо благоприятнее для народа, чем в других областях Италии. Особенно в Милане, справедливо называемом ломбардским Манчестером, где волнения продолжались дольше всего и в самой резкой форме, промышленность процветает, заработная плата относительно высока и народу живется лучше, чем где бы то ни было в Италии.

Среди причин майских событий точно так же не следует подозревать существования какой-нибудь боевой доктрины: скорее всего, виной было недовольство (*malcontento*), вызванное разными обстоятельствами и ловко направленное политическими партиями, а также южная кровь итальянцев».

Но каковы бы ни были причины, несомненно, что реакция, необходимая тогда, теперь должна прекратиться. Известно, что это желание всей Италии, выраженное г-ном Наталетти, наполовину осуществлено. Завтра будет официально опубликован декрет об амнистии, напечатанный газетами еще позавчера.

«Между тем, — продолжает г-н Наталетти, — Пьемонт и Турин *con amore*¹ работали над устройством выставки. Тридцать лет тому назад Карл Альберт, дед короля Умберто, король Сардинии и Пьемонта, дал своим подданным статут², который, сохраненный великодушием Виктора Эммануила, именно за это названного *Re Galantuomo*³, управляет теперь Италией и неразрывно соединяет в ней народ с династией. Национальная выставка в Турине, колыбели нашего *Risorgimento*, имела целью отпраздновать это событие и вместе с тем показать Европе успехи Италии.

¹ Любовно (*итал.*).

² Конституция (*итал.*).

³ Король-джентльмен (*итал.*).

Выставка удалась, хотя волнения и замедлили ее открытие; она доказала, что Италия прогрессирует и что можно верить в ее будущее. Недавно все доставлялось нам из заграницы; теперь мы уже почти все производим сами для себя и многие продукты нашей промышленности соперничают с иностранными».

Это правда. Не так давно еще коконы шелковичной бабочки увозились из Италии в Лион и оттуда возвращались обратно в виде заграничного шелка и бархата, обложенные пошлинами. То же было и с другими материями. Теперь этого нет. В верфях Генуи и Ливорно теперь нередко строятся суда по заказам из-за границы: в военном флоте Аргентины, Бразилии, Румынии немало судов итальянского происхождения. Испанский «Cristobal Colon», один из немногих уцелевших в войне, был построен итальянцами в Ливорно.

Но вернемся к рукописи молодого журналиста.

«В области искусств также много отрадного, выставка в Турине, а также еще открытая в Риме выставка Pensionato Artistico Nazionale (победитель пользуется казенной стипендией в 300 лир ежемесячно в течение четырех лет) позволяют ожидать многого от наших молодых художников.

Что касается музыки, то новые оперы наших мастеров (Джордано, Масканы) были с восторгом приняты в Италии и частью заграницей. Явилась новая яркая звезда — дон Лоренцо Перози, двадцатилетний священник, завоевавший себе сразу поклонение публики своими поразительными ораториями.

Драме пришлось бы посвятить целую статью — столько нового и хорошего появилось в этой области за 1898 год. Заслуживают особенного внимания драматические конкурсы, на одном из которых судебное жюри представляла сама театральная публика, вотировавшая при помощи особых билетов.

Было несколько празднеств в честь великих, прославивших некогда имя Италии. Все это — слава бывшего, но часто взгляд назад служит побуждением идти вперед. Критик Руджеро Бонги сказал: "Италии, чтобы ожить, нужно было только оглянуться назад". В 1898 году было четыре празднества этого рода. В Урбино воздвигли монумент в честь Рафаэля Санцио; в Бергамо сын Доницетти, автора оперы "Лючия ди Ламмермур", поставил памятник своему отцу, в Риме праздновалась память Бернини,

великого архитектора и скульптора бароссо, украсившего наш город дворцами, монументами и фонтанами; наконец, в маленьком городке Реканати произошли торжества в честь Леопарди, великого поэта-пессимиста. Празднества в его память вызвали горячие споры между двумя школами нашей критики — классической и антропологической и были причиной появления нескольких новых работ как о Леопарди, так и о теории гения, выставленной другою славой Италии — Чезаре Ломброзо.

В области внешней политики можно отметить только полустолкновение с республикой Колумбией, коммерческий трактат с Францией и наше участие в успокоении Крита в сообществе с Россией».

Заканчивает г-н Наталетти печальной нотой, вспоминая, что в этом году Италия похоронила двух своих лучших сынов: Казалетти и Брина, которому она была обязана своим флотом.

Эгаль

Одесский листок. 1.01.1899



Рим

Ни для кого теперь не тайна, что тройственный союз, который здесь коротко называют «la triplíce»¹, начинает трещать по всем швам. Между венским и берлинским парламентами на днях только произошел обмен сомнительных любезностей по поводу высылки подданных одной страны из другой. Что же касается Италии, то она, несомненно, стоит теперь на поворотном пункте. Коммерческий трактат с Францией вызвал здесь энтузиазм и восторг; почти в то же время разнесся слух о подобном же договоре и с Россией. Эта весть более не подтверждалась, только «Тribuna» объявила, что трактат с Россией представляет много затруднений. Как-никак, но очевидно, что Италия начинает отклоняться от диссонирующего тройственного союза в сторону двойственного.

Недавно это было иначе. Приезд императора Вильгельма был здесь отпразднован с пышностью, несколько даже смешной. Достаточно напомнить один факт. На дороге от вокзала к Квириналу, по которой должен был последовать *il nostro*

¹ Тройной, тройственный (*итал.*).

caro alleato Gulielmo¹, красовалось не помню какое здание, неоконченный фасад которого портил вид всей улицы Venti Settembre². Времени оставалось очень немного. Но «Тришка — малый не простой»: ассигновали 25 тысяч лир, и *за одну ночь* возвели фасад из *картона*, производившего иллюзию камня. Сошло. По отъезду императора этот дворец Аладдина был, конечно, разрушен.

Бедный Тришка, — как подумать, что у него двадцатипяти-тысячные суммы совсем не на каждом шагу валяются!

Последние новости.

Одна — для археологов. Министр народного просвещения Гвидо Баччелли, несомненно, талантливейший из членов нынешнего министерства, много заботится о римской старине. По его инициативе возобновлены работы по проложению огромной круговой улицы, которая даст посетителям Рима возможность сразу обойти все античные достопримечательности Вечного города. А теперь, по его же распоряжению, начаты раскопки на римском форуме, и на днях были открыты два неизвестных монумента у жертвенника Весты и храма Юлия Цезаря.

Эгаль

Одесский листок. 4.01.1899



Рим

LA MALAVITA

Это слово на днях слышалось повсюду — в любом кафе и даже просто на улице. Термин «malavita»³ в буквальном переводе означает «дурная жизнь» и употребляется он здесь в качестве собирательного прозвища для подонков общества, вроде тех, которые на весь мир прославили лондонский квартал Уайтчепель.

Вот вам свежая, еще непросохшая страничка из жизни этой malavita — драма, взволновавшая даже римлян, которые, однако, видали виды.

¹ Наш дорогой союзник Вильгельм (итал.).

² Двадцатое сентября (итал.).

³ Уголовники; подонки общества (итал.).

На днях, ровно в полдень, трое рабочих встретили на набережной Тибра Lungotevere Sangallo молодого человека, шатавшегося и залитого кровью до пояса. Рабочие отвезли его в госпиталь Santo Spirito, и через пять минут юноша скончался. У него оказалась в горле рана, очевидно, от ножа, проникшего до самых легких. По документам, найденным в кармане убитого, выяснилось, что его звали Бернардо Эртель (Oertel) и что родился он в 1878 году.

К вечеру полиция разузнала, что Эртеля видели около полудня прохаживающимся по набережной Sangallo с видом нетерпеливого ожидания. Вскоре появился другой субъект, на вид тоже не старше двадцати лет, который осмотрелся вокруг и, увидев Эртеля, направился прямо к нему. Сойдясь, оба, не говоря ни слова, вытащили ножи — и произошла coltellata¹; Эртель получил смертельный удар в горло, а его противник после этого исчез.

Полиция не стала удивляться, что никто из свидетелей поножовщины не попытался разнять противников — на такой риск вряд ли отважится тот, кому дорога жизнь, — и продолжала свои розыски. Было сейчас же указано, что Эртель только на днях вышел из тюрьмы, и, сопоставляя это с другими фактами, между прочим, с тем, что Эртеля видели накануне во время горячего объяснения с группою других сынов malavita, полиция заподозрила существование шайки, к которой принадлежал и убитый. Шайка эта, очевидно, совершила какой-нибудь подвиг, давший обильный заработок, при дележе которого Эртель, находившийся тогда в тюрьме, был забыт; отсюда могла произойти его ссора с товарищами и, в частности, с убийцей. Приметы последнего были раздобыты полицией, но не послужили ни к чему, так как относились только к одежде убийцы, который, конечно, поторопился переменить ее.

Наконец было арестовано пять человек, из которых один (имя его тщательно скрывается, чтобы не подвергнуть его впоследствии мести честной компании) обмолвился:

— Эртеля зарезал *Перулетто*.

После этого полиции осталось только разузнать, кто в среде malavita, любящей псевдонимы, noms de guerre, носит это прозвище, и этот субъект, Джузеппе д'Оттавиа, был арестован.

¹ Поножовщина (*итал.*).

При нем нашли части платья, бывшего на убийце Эртеля. Теперь выясняется следующая полуромантическая подкладка этого эпизода.

Римская *malavita*, в лице самых испорченных и самых смелых своих детей, уже давно мало-помалу сплотилась в полуорганизованное общество, наподобие сицилийской мафии или неаполитанской каморры, о которых рассказывается столько неправдоподобного и, тем не менее, быть может, достоверного.

Покойный Эртель вступил в это общество под кличкой Эмилио, которая скоро сменилась нелестным прозвищем *er Voјassia*. Это слово на римском диалекте означает нечто вроде палача и дано было Эртелю товарищами, подозревавшими, что он полицейский шпион.

Выйдя недавно из тюрьмы, Эртель встретил среди своей компании особенно резкое недоверие к себе и решил созвать товарищей на *dichiaramento*. Этот обычай, практикующийся в среде *malavita*, состоит в том, что подозреваемый в присутствии всей банды спрашивает каждого из товарищей, в чем состоят его обвинения. Затем он представляет свои объяснения и требует оправдания. Если кто-нибудь из компании не согласен признать его «чистым», то дело решается чем-то вроде средневекового «божьего суда», т. е. поножовщиной между подозреваемым и его скептическим коллегой.

Полиция узнала, что Джузеппе д'Оттавиа, *alias*¹ Перулетто, еще накануне *dichiaramento* заботливо отточил и осмотрел свой нож, имея, очевидно, какой-нибудь «зуб» против *er Voјassia*. И действительно, на другой день он один отказался признать Эртеля оправданным. Следствием этого явился поединок того рода, который получил теперь широкую известность, благодаря «Сельской чести» Масканьи. Римляне, повторяю, видали виды, но эта дуэль среди бела дня, в далеко не пустынной части Рима, и неожиданное открытие целой организации ордена этих рыцарей поразили даже привычных жителей нижней Италии. Они давно уже перестали рассчитывать на такую прыть со стороны своей *malavita*; обыкновенно полагается, что настоящие бандиты исчезли с переходом Римской области в руки короля. Но *malavita* осталась по-прежнему голодной, оборванной и бесправной, а ее дети по-прежнему проводили свои дни без призора на улице, потому что отцы были все время

¹ То есть (*лат.*).

«на работе» и матери... матери тоже «на работе». И эти обстоятельства произвели то, что они обыкновенно производят, не взирая на перемену правительства.

С исчезновением папской власти исчезли политические бандиты, но политика — это только одна десятая жизни, тогда как хлеб — ее половина.

Я еще не видел клерикальных журналов. То-то, верно, бьют в тимпаны «Osservatore» и «Vera Roma»!

Эгаль

Одесский листок. 10.01.1899



Рим

На днях исполнилась годовщина смерти Виктора Эммануила.

Иногда кажется, что у Италии есть один только герой — этот король, в сиянии славы которого наполовину исчезают Гарибальди, Мадзини, Д'Адзелио, Кавур. Памятниками Виктору Эммануилу полны все города Италии; его именем названы лучшие улицы, лучшие библиотеки в главных пунктах Италии; Гарибальди удостоен всего этого едва ли наполовину, а об остальных героях политического Возрождения на полуострове нечего и говорить.

Покойный король похоронен в Пантеоне. Этот колоссальный древний храм, воздвигнутый когда-то толерантностью римлян во славу всех богов языческого мира, сохранился в совершенной целости и обращен папами в церковь, а происшествия 70-го года отметили стеклянный купол Пантеона гербом династии, белым крестом на пурпурном щите. Здесь похоронены, кроме Виктора Эммануила, несколько пап и Рафаэль Санцио.

Утром, ровно в 8 часов, сюда прибыли король, королева, наследный принц и принцесса Елена Николаевна. Была отслужена месса, во время которой королева и принцесса не вставали с колен.

С 9 часов началось непрерывное дефилирование разнообразных депутаций. Каждая входила в правую дверь металлической ограды, вступала через главный портал в полутемный храм, проходила перед укрепленной в правой стене здания

гробницей короля, окруженной траурными огнями и заваленной цветами, венками, лентами; каждая депутация складывала здесь свой венок, записывалась в книге (здесь постоянно лежит книга для имен всех посетителей Пантеона) и выходила через портал и вторую, левую дверь.

Около 11 часов под звуки *Marche funèbre*¹ Шопена показался кортеж 25 ассоциаций. Почти каждая группа несла с собою венок. Энтузиазм толпы вызвала депутация клуба «Триест»: на ее венке было написано: *Uu popolo che tace, ricorda e spera!* (Народ, который безмолвствует, помнит и надеется!)

Коротко и ясно. Ирредентисты в Италии далеко еще не вымерли; по их мнению, Италия не может считаться объединенной, пока Корсика и Триест остаются не присоединенными (*irredenti*). «*Circolo Trieste*» — клуб истрианских ирредентистов, мечтающих о возвращении Триеста и Фиуме в лоно Италии, выбрал удачный момент, чтобы напомнить итальянцам, что их братья по ту сторону Адриатического моря «помнят и надеются»...

«Безмолвствуют»... это сказано только «так себе», для красоты слога. Напротив, в Истрии не безмолвствуют; я уже писал вам, что тамошние скандалы вызывают здесь глубокое сочувствие, и именно потому венок ирредентистов с красноречивой надписью произвел сильное впечатление.

Эгаль

Одесский листок. 17.01.1899



Рим

В ночь на праздник *Erepania*², по-народному *la Befana*, иностранцы в Риме отправляются на *piazza*³ *Navona* посмотреть, как веселится народ.

Это — самая большая площадь в Риме. Здесь в дни цезарей происходили публичные состязания, и за *piazza Navona* сохранилось еще старое название *Circo Agonale*⁴. На площади стоят три фонтана чудной работы Бернини и его учеников.

¹ Траурный марш (*фр.*).

² Благовещенье (*итал.*).

³ Площадь (*итал.*).

⁴ Арена состязаний (*итал.*).

Один край площади занят складными будками, где продается все, что угодно: от игрушек до кухонной утвари; торговля идет бойко, потому что завтра, в день *la Befana*, нужно оделить подарками всех родных и знакомых. Но охотнее всего нарасхват покупаются дудки, трубы, свистульки, барабаны и другие музыкальные инструменты этого рода ценою в несколько сольдо. Потому что каждая народная душа, без различия пола и возраста, в эту ночь и на этой площади считает своим долгом произвести как можно больше шума.

Почему *Epifania* знаменуется таким грохотом, в чем причина этого странного культа — я не знаю. Но над всей площадью стоят рев труб и дудок, визг и переливы свистулек, рокотание трещоток, гром барабанов, песни, хохот, звонкие голоса женщин и вопли мальчишек. Едва окунешься в эту густую толпу, оглушающий гам начинает действовать на нервы, возбуждает и напрягает их, доводит до какого-то странного, даже болезненного, но все-таки приятного состояния. В общем грохоте есть что-то задевающее, подхватывающее, подмывающее, и невозможно устоять против искушения самому вооружиться жестяным тромбоном длиной с метлу и начать трубить в уши кому попало: солидным отцам семейства, барышням, *pizzardoni* — полицейскому, а то и просто в воздух. Туристы обоего пола, чопорные немцы и англичане, тоже подхвачены волной этого странного веселья и бегают группами, звонко тараторя на своих языках и гудя в свои дудки до потери дыхания. Мамаша далеко, щечки хорошенькой мисс или фрейлин разгорелись, шарф развязался, она хохочет, трубит в уши заглядевшемуся незнакомому юноше и ясно показывает, как приятно хоть раз в жизни сбросить лоск девичьей неприступности.

И над всем этим гамом царствует повторяемый и подхватываемый сотнями голосов крик:

— *Ma chi è! Ma chi è!*

Что это такое? В буквальном переводе «*ma chi è!*» значит «это кто?» Эти три слова, неизвестно как и почему, стали народной поговоркой в Риме. Года два тому назад была здесь другая: *Guido, va' alle corse!* — «Гвидо, ступай на скачки». Что за смысл и в той, и в другой, почему римское простонародье произносит это *ma chi è!* в подходящих и неподходящих случаях — никто не знает. Но эта маленькая фраза занимает в характеристике «сегодняшнего» Рима такое место, что опустить ее было бы значительным пробелом. В театрах второго разряда артисту

достаточно кстати произнести это *ma chi è!* — и его репутация установилась: раек (*loggione*) отвечает ему дружным хохотом и оглашает весь театр аплодисментами. *Ma chi è!* эксплуатируется рекламами и вывесками; наконец, недавно основался юмористический журнальчик под этим заглавием — и журнальчик процветает. Такова сила сезонного *motto*¹.

Оргия шума на *piazza Navona* длится всю ночь напролет, и ее отголоски слышатся еще в продолжение нескольких дней на улицах Рима в форме неожиданного рева жестяной трубы или невыносимых трелей свистелки.

Эгаль

Одесский листок. 18.01.1899



Для «дневника»

Рассказ

«Мой остроумный недруг!

Вы, вероятно, будете проклинать меня: записки, которые я вам посылаю, намараны ужасным почерком и, главное, очень неполны. Но я, право, не виновата. До последней недели, правда, я не особенно много занималась Леной, потому что по учебнической привычке откладывала пока можно, а чуть взялась серьезно изучать ее — она уже три дня как перестала являться. Пойти к ней я не могла, так как они живут очень бедно, и я бы стеснила ее мать, как это уже раз было. Посылала горничную два раза, но она никого не застала. Итак, вы видите, что я не виновата, и как вам ни тяжело, а должны будете в этом сознаться. Посылаю вам всего три странички записок; покажите свое искусство и при помощи вашего холеного остроумия растяните их на порядочный дневник, за который я получила бы не меньше пятерки. Это, кажется, ваше амплуа: позавчера вечером, на Дерibasовской, вы показали мне свое искусство говорить без умолку полтора часа и ровно ни о чем. Поддержите свою славу.

Посылаю вам это письмо с горничной, потому что сама очень занята. Но завтра перед вечером забегу к вам посмотреть,

¹ Шутка, острота (*итал.*).

и горе вам, если еще не будет начато. Не забудьте, что в среду я читаю свой дневник, а надо еще переписать и поправить (да-с, поправить)...»

Как только письмо было дописано до этого пункта, знаки препинания были расставлены несколько иначе, чем тут, — в комнату вбежала Лили и сказала:

— Твоя пригостишка пришла, Надя. Она там раздевается.

— Наконец-то!

Надя кинулась в сени, поцеловалась с крошечной девочкой в форменном платьице и повела ее к себе.

— Что с тобой, Лена? Отчего ты не приходила?

— Я не могла, мадамзель, — ответила девочка, степенно усаживаясь на стул. — Я и в класс не ходила. Мы были заняты.

— Кто это «мы»?

— Я и мама.

— Ах, какая ты, Леночка! Надо сказать: мама и я. Чем это заняты?

«Может быть, хоть четвертую страничку удастся написать?» — мелькало в голове Нади.

Лиля принесла чаю с печениями и ушла. Она знала, что когда Надя изучает пригостишку, присутствовать означало бы нарываться на ссору с сестрой. Лена взяла свой стакан и начала объяснять, по обыкновению, подробно и пространно. Она привыкла к тому, что «мадамзель» по неизвестной причине всегда интересовалась ее рассказами, как бы длинны они ни были, и этот интерес взрослой девушки очень льстил ей.

— Мы с мамой все время жили у дяди Павы и не возвращались на квартиру. Все потому, что папа вернулся. Он жил в Кишиневе до сих пор и ничего, тихо, а теперь явился и начал кричать на маму.

Лена сделала артистическую паузу. Надя спросила:

— Ну и что?

— Он все показывал на меня и кричал, что я его дочь и что он хочет взять меня. Тогда мама заплакала и сказала, что нет, чтоб он уехал к себе в Кишинев и оставил нас в покое. Потом с мамой сделалась истерика, а он сказал: «А, ты хочешь, чтоб соседи сбежались!» — и ушел... Мерси, мадамзель.

— Пей еще, Леночка. Ну, ну?

— В шесть часов мама ушла на урок; тогда он снова пришел и стал говорить со мной: как я учусь, и что, и когда, и про нас тоже...

— Твой папа молодой? — быстро спросила Надя. — Впрочем, это пустяки. Ну, рассказывай.

— Он, как мама, только совсем худой и с красными глазами. Он пьяница: от него пахло водкой. И вдруг, мадамзель, представьте себе, он берет меня на руки...

«Она живо передает виденное: надо будет отметить», — подумала Надя.

— ... и говорит, что «уйдем со мной, на что тебе мама, она бессердечная женщина и ничего не понимает». Я испугалась, но говорю, что это нельзя. Он говорит: «А ты меня любишь? Только скажи правду». Я еще больше испугалась и говорю, что да и очень.

«Умеет изворачиваться и лгать», — мысленно записывала Надя.

— Тогда вдруг, знаете, мадамзель, он хватает меня еще крепче и говорит: «Я тебя увезу!» Я стала плакать: «Иди себе, а то я буду кричать отчаянно!»

«Употребляет книжные выражения...»

— Он тоже сам испугался и ушел. Потом пришла мама, и я ей говорю, так и так, а она говорит: «Переберемся к дяде Паве». Так мы у дяди Павы и жили три дня. Мама меня не пускала ходить в класс. Сегодня утром пришел дядя Пава и сказал маме про папу, что он «убрался ко всем чертям». Дядя Пава сказал, что погрозил папе «посадить» его. Я у мамы не хотела спросить, но «посадить» — значит в острог?

— О, нет, какие глупости, — сказала Надя. — Просто так посадить, — добавила она рассеянно, думая про себя: «надо было бы теперь узнать ее субъективный взгляд — так, кажется, — на все это».

— Кто же прав, по-твоему, Леночка, мама или папа?

Лена выпятила нижнюю губу и отодвинула от себя стакан.

— Что значит, он увезет меня? — спросила она с негодованием. — Я не чемодан.

— Да, Леночка, это против тебя, но против мамы, как, по-твоему, прав он или нет?

«Если ответит влопад, отмечу, что понимает самые сложные вопросы», — подумала Надя.

— Конечно, мама! Чего это он приехал голову морочить? Никто его вовсе не звал.

Наде показалось, что она зашла немного далеко; к тому же вопрос был исчерпан, и она заметила:

— Тсс! Леночка, кто же так говорит о родителях? И вообще я, когда была маленькой девочкой, не бралась судить о том, чего не понимала.

Лена подняла на нее глаза с таким откровенным изумлением, что Надя поторопилась сказать:

— Ах, Леночка, скоро начнет темнеть, тебе пора. Сегодня ни я, ни Лили не можем тебя проводить.



Надя дописывала последние слова, когда вошел отец. Она передала ему наскоро рассказ девочки.

— Гм-да, тяжелая история, — сказал папа. — Ты этим тоже воспользуешься?

— Конечно! В обработке Чернецкого — он мне пишет дневник — выйдет прекрасно: пятерка обеспечена.

— Ах вы, обманщицы! Мм... Слушай, девочка знает, что ты ее описываешь?

— Боже сохрани!

— Видишь ли... Ведь эту историю ты прочтешь перед целым классом, не так ли? При учителях? И будет известна фамилия девочки? Не пристало бы разоблачать эти семейные драмы...

— Бог с тобою, папочка! Как же иначе? Разве можно изучать ребенка вне среды, в которой...

Отец отмахнулся:

— А ну тебя! Из учебника наизусть? Слыхал!

Он вышел, думая про себя:

«Кто тебе поручится, брат Антон Антоныч, что эту самую Надю, когда она была таким же клопом, не "описывала" какая-нибудь добрая душа? А у нас тогда с женой, может быть, маленькие "не того" были, о чем и читался доклад перед классом? А? Тьфу! И фельетонистов не надо».

Надя дописывала, повторяя протяжно вполголоса каждое слово:

«...богатый материал. Твердо надеюсь на вас. Будьте славным мальчиком, сядьте сейчас за работу: все равно сегодня вечером я буду на Дерibasовской. Н.»

Вл. Эгаль

Одесский листок. 19.01.1899


Рим

Масонство в Италии распространено до самых поразительных размеров. Почти все выдающиеся люди здесь — масоны. Огромный процент депутатов и сенаторов — члены римской ложи, владеющей своим палаццо. В теперешнем кабинете называют трех министров-масонов.

Говорят, что в настоящее время масоны отказались от всякого мистицизма и составили огромную лигу радикального и гуманитарного характера, и таинственность, которой они по-прежнему облачают себя, вызывается простой необходимостью при политических целях и при обилии могущественных врагов.

С незапамятных времен масону противопоставляется иезуит. Это осталось и теперь. В Италии иезуиты гораздо сильнее, чем это принято думать. Их много в черных рясах и много во фраках; они тоже владеют своими палаццо, и в Риме находится глава их ордена «черный папа» — «генерал» Мартин.

Эти две враждебные таинственные силы, несомненно, не дремлют. Если снаружи о них ничего не слышно, то тем очевиднее, что под землей они неустанно ведут свою работу.

Впрочем, войско «черного папы» здесь, в Италии, не может рассчитывать на особенный успех. Дело в том, что повсюду клерикалы находятся в дружбе, по крайней мере, с консерваторами, но в Италии это невозможно, потому что консерватор всегда ультрапатриот, а итальянская церковь...

Олиндо Гуеррини, поэт и публицист, говорит:

«Во всякой другой стране клерикальное правительство было бы несчастьем, шагом назад, но оно осталось бы внутренней болезнью, и отечество не лишилось бы своего единства. У нас в Италии не то. Наши клерикалы — враги объединенной Италии. Для нас клерикальное правительство означало бы политическую смерть».

Здесь не забыли еще о роли папы и папистов в эпоху объединения.

Русская литература теперь в ходу. В журнальном зале библиотеки имени Виктора Эммануила (где есть и «Вестник Европы») я нашел на страницах мадридского журнала «La España

Moderna» рассказ г-на Короленко «El sueño de Makar». В примечании редакция сообщает, что множество одобрений, полученных ею после помещения очерка того же автора «El desertor de Sajalin», побудило ее напечатать и «Сон Макара».

Эгаль

Одесский листок. 24.01.1899



Рим

В нескольких километрах от Рима лежит городок Фраскати, славящийся своим вином. Фраскатинский округ довольно велик и населен очень густо. Тем не менее здесь нет ни одного правительственного лица и даже гимназии.

В настоящее время народное образование поставлено в Италии так: в элементарной школе, обязательной для всех, дети проводят пять лет; затем есть гимназия, поступление в которую, конечно, не обязательно, тоже с пятилетним курсом; аттестат гимназии дает право на поступление в лицей, заключающий три класса, а окончившие лицей (лиценциаты) могут поступать в университет. Таким образом, гимназия вместе с лицеем представляет здесь нечто вроде гимназии русского типа. И именно этого заведения во фраскатинском округе не имеется. Т.е. не имеется правительственного, казенного. Но в Мондрагоне, одном из пунктов этого округа, есть частное заведение, соединяющее в себе гимназию и лицей, с восьмилетним курсом. Это училище устроено иезуитами.

Обыкновенно воспитанники частных лицеев, кроме испытания при своем заведении, должны сдавать еще экзамены в казенном лицее, чтобы получить право на звание лиценциата. Но так как казенных лицеев мало и денег тоже мало, то многие частные заведения этого типа уравниваются в правах с правительственными школами: их аттестат имеет силу казенной *licenza liceale*. Отцы иезуиты, заведующие гимназией-лицеем в Мондрагоне, тоже лелеяли мечту об уравнивании в правах (*pareggiamento*). Мотивируя свое желание потребностями фраскатинского округа, они собрали сто восемь депутатских подписей и подали петицию министру Баччелли, который разрешил *pareggiamento*.

Сейчас же после этого в газетах началась кампания против мондрагонского заведения, ярко выразившая непримиримую ненависть разнообразных партий Италии к клерикалам.

Правительству указали на то, что поощрять каким бы то ни было образом учреждение, где юношество воспитывается иезуитами и, следовательно, в известном направлении, — шаг, не соответствующий итальянской внутренней политике, потому что с 20 сентября 1870 года Ватикан и все, что группируется вокруг него, официально признается враждебным Италии.

Ни в какой другой стране вы действительно не увидите ничего подобного. Здесь церкви (в Риме их 365 — по одной на каждый день простого года) экстерриториальны как помещения иностранных посольств. В церкви запрещено вносить национальное знамя — это невероятно, но это факт, и запрещение исходит, конечно, не со стороны светского правительства. Нигде, кажется, церковь не пользуется в своей области такой безграничной властью, как здесь; папа считается коронованной особой, и ему должны быть воздаваемы соответственные почести. И при всем том папа будирует, называет себя пленником и буквально *никогда* не выходит из Ватикана.

Что же касается в частности иезуитов, то я уже сообщал вам, какую роль они здесь играют. Вот еще доказательство их значения. Римская «Тribuna» — самый осведомленный журнал в Италии и далеко не последний в этом отношении во всей Европе. Она питает большую симпатию к Криспи, но по поводу лица в Мондрагоне завязала с ним маленькую полемику, так как «почтенный старец» почему-то стоит за *pareggiamento*. И «Тribuna» говорит: «Криспи выразился: *наши* противники. Когда в полемике такого рода говорится "*наши* противники", то для нас и для г-на Криспи дело может идти только о иезуитах».

Кроме клерикальных газет, только «Popolo Romano», называющий себя органом буржуазии, заступился за мондрагонское заведение. За это «Тribuna» — говорят, не без основания и даже напротив — обвинила его в подозрительной дружбе с теми же вездесущими сынами «черного папы» — иезуитами.

Этот «fracasso»¹ закончился тем, что министр Баччелли отменил распоряжение о *pareggiamento* мондрагонского притона науки.

¹ Шум, шумиха (итал.).



Несколько времени тому назад в римском парламенте поднят был вопрос о разводе. Проект предлагал санкционировать эту меру на следующих основаниях: если брак был заключен по любви, то известно, что «любовь слепа-с»... и невозможно заставлять людей всю жизнь каяться в шаге, совершенном в состоянии ослепления; если брак был заключен «по расчету», то расчет мог быть ошибочным — *errare humanum est*¹.

Палата провалила этот проект.

Нашлись люди, доведенные сладостями брачной жизни до состояния, когда тот или другой исход становится необходимым. Одна такая чета проявила удивительную изобретательность.

Муж и жена, родом итальянцы, отправились в один из швейцарских кантонов, где право на натурализацию дается трехдневным пребыванием в пределах округа, приняли гражданство этого кантона, развелись и вернулись в Италию ровно через неделю после своего отъезда в Швейцарию. Об экс-жене история умалчивает, а экс-муж непосредственно по приезде начал готовиться к браку с синьориной Z.

Изворотливого итальянца привлекли к ответственности, но суд после долгих и тщетных попыток определить, в чем, собственно, обвиняется ответчик, отпустил его с миром.

Чем не сюжет для сенсационного водевиля?

Ходят слухи, что в январской сессии парламента снова будет поднят благодаря этому нашумевшему инциденту вопрос о разводе. Есть надежда, что санкция будет дана.

Эгаль

Одесский листок. 25.01.1899



Рим

Вам уже известно о волнениях, происшедших в сицилийском городе Нишеми и вызванных тягостью для бедного населения многочисленных налогов, а особенно потребительного (*dazio consumale*). Ни в один итальянский город не может быть беспощадно ввезен продукт, употребляемый для питания, хотя бы он

¹ Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

был не только итальянского, но специально местного происхождения и в самом ограниченном количестве; это значительно подымает цену всего, что необходимо для жизни. После беспорядков в Нишеми произошли волнения в Бари, к счастью, не принявшие таких опасных размеров, как первые. Год тому назад в Montecitorio (так называется парламент по площади, где расположен его палатцо) не обратили бы внимания на такие пустяки, но теперь палата, согласно пословице, дует и на воду.

Двое *onorevoli* (так называют здесь депутатов) — Ваккелли и Луццатти — представили президенту совета, министру внутренних дел г-ну Пеллу проект полной отмены, по крайней мере для Южной Италии, потребительных налогов. Полагают, что палата одобрит этот проект.

Но и теперь не скрывается, что отказаться от ежегодного дохода в несколько миллионов казна не может. Проект Ваккелли — Луццатти предлагает перенести тяжесть этой повинности с беднейших классов на зажиточные, т.е. ввести налоги на предметы роскоши, например на фортепиано. Это, конечно, придется не по вкусу не только правым и центру, но даже левым; однако делать нечего, провалить проект, очевидно, не приходится.

Таким образом, получится милая картинка: из «предметов роскоши» в домах итальянцев, не обложенных налогом, останутся, если не ошибаюсь, только зеркала.

Казна, наполовину пустая, стремится добывать деньги отовсюду. Слава Рима, его музеи и галереи, тоже обложены налогом: в будни посетители платят за вход. Ватиканское «правительство» не отстает от светского и взимает почтенную лепту за посещение катакомб. Говорят, что римский муниципалитет, не желая уступить старшим в умении зашибать копейку, тоже собирается снова поднять затихший было вопрос о введении платы за осмотр Колизея. После этого останется только потребовать, чтобы прачки писали свои счета на гербовой бумаге.

Здесь есть меткая школьная острота:

— Что вы знаете об основании Рима?

— *Roma è fondata su carta bollata*: *основание* Рима — гербовая бумага.



Эрмете Новелли, один из первых артистов Италии, вернулся из Парижа, где играл с таким шумным успехом, и уже две недели привлекает в театр «Valle» многочисленную восторженную публику. Это действительно крупный талант, уступа-

ющий, конечно, покойному Росси и даже трагику Цаккони, игравшему недавно в Петербурге, но значительно превосходящий знакомого Одессе Густаво Сальвини.

Новелли — противник предрассудков в искусстве. Он не боится ни веселой комедии, ни даже фарса; он с одинаковым искусством произносит монолог Гамлета и какой-нибудь другой, смехотворный «монолог» из тех, которые именно он ввел здесь в моду: это — одноактная комедийка с одним действующим лицом, все время разговаривающим не то с публикой, не то с самим собою. Новелли, говорят, очень любит этот жанр и выбирает преимущественно те пьесы, где не рассказывается ни о каком приключении, где весь центр тяжести «монолога» лежит в остроумной, блестящей болтовне и «отсебятинах».

Все это не мешает ему гениально исполнять и серьезные драмы. «Papa Lebonnard» — эта прекрасная «комедия» Экара почему-то не пользовалась успехом во Франции, пока Новелли не показал Парижу, что это за произведение, дав в заглавной роли трогательный и оригинальный тип. Этой пьесой он начал свой сезон в Риме, и все, видевшие его в роли старого Лебоннара, вряд ли скоро забудут этот вечер. Так же прекрасно и тонко играет Новелли Кина, Людовика XI (в драме Делавиня) и Шейлока...

Эгаль

Одесский листок. 28.01.1899



Рим

Будет ли папа приглашен на конференцию о разоружении? Этот вопрос для итальянского правительства важнее, чем думают. Действительно, право голоса в этом конгрессе, который так блестяще должен закончить собою наше столетие, могут иметь только главы государств; если папа будет приглашен, то это докажет, что его признают главой государства и что это признание исходит от державы, уже несколько лет играющей первую скрипку в «концерте». Это должно очень больно задеть самолюбие итальянского правительства. Потратить столько усилий и столько крови на то, чтобы лишить папу титула главы государства и чтобы вернуть его к первобытному состоянию главы католической церкви, — и вдруг такая неожиданность!

Между тем, правда, с некоторой натяжкой, можно сказать, что папа Лев — все еще светский владыка. Действительно: площадь св. Петра — это еще достояние Италии (не «нации», а именно «Италии»: так здесь принято говорить, противопоставляя папу не народу, а самой Италии), но пространство под огромной колоннадой, окружающей эту площадь, принадлежит уже Ватикану и пользуется экстерриториальностью настолько, что итальянский солдат не имеет права укрыться под колоннадой от дождя, если не согласится снять эполеты и кокарду Савойской династии. Огромные экстерриториальные сады Ватикана тянутся, кажется, до самого моря, и вместе с бесчисленными храмами, находящимися в Италии, но не принадлежащими ей, это составит порядочную «Папскую область», совершенно самостоятельную и превосходящую своими размерами даже настоящие государства, вроде Монако, Сан-Марино и Андорры.



Большой интерес вызвал здесь оригинальный спектакль, повторяющийся в течение пяти вечеров в театре «Politeama Adriano» и привлечший массу фешенебельной публики, в том числе и королеву Маргариту. Программа спектакля заключала, во-первых, «Джирис, китайскую оперетку маэстро Пьетро Кальканьи и К^о» — остроумную пародию на последнее произведение П. Масканьи «Ирис», сюжет которого выужен либреттистом, как я уже писал вам, из японской жизни, и затем — балет «Tzigana» («Цыганка»).

Оперетка «Маэстро Кальканьи» вызвала много смеху. Пародия доведена до высокой степени точности — где у г-на Масканьи является Солнце со своим гимном «Son io, son io, la Vita, son la Beltà infinita»¹, там в «Джирис» восходит Луна с соответствующей песенкой; роль Трех Эгоизмов исполняют два Альтруизма и т.д.

Музыка довольно мелодична, но оркестровка, конечно, примитивная, что и не удивительно: авторы — самая зеленая молодежь, римские студенты. Они же пели, играли, они же составили весь кордебалет «Цыганки» (автор которой студент-журналист г-н Карло Фальбо) и вызвали шумные аплодисменты.

Эгаль

Одесский листок. 31.01.1899

¹ Это я, я — Жизнь, я — вечная Красота (*итал.*).



Рим

ИЗ ПРАВОВ КЛЕРИКАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

В небольшом городе Модене недавно основана была газета «La Provincia», орган католической партии, незадолго перед тем побитой на выборах. Редактор «Provincia», г-н Лучано Дзукколи, начал систематически обрушивать громовые статьи на самых уважаемых граждан Модены, и так как статьи не отличались чистотой, то затронутые лица, не желая мараться полемикой, передали дела в суд. Но решения суда еще не состоялось, так что покамест г-н Дзукколи бесстрашно продолжает в том же духе.

В поисках объекта для своей желчи г-н Дзукколи напал на нового профессора физиологии в тамошнем университете (в Италии нет ни одного захолустья без университета) и буквально изругал этого молодого ученого в двух статьях, написанных, так сказать, авансом, потому что профессор Патрици не только ни в чем еще не провинился, но еще и не начал своего курса. Это вызвало негодование даже в другой католической газете того же города, а о населении нечего и говорить. Профессору Патрици была устроена по поводу его первой лекции внушительная овация, а на следующий день г-н Дзукколи напечатал новую статейку, где повторял и вотировал прежнее, присоединив еще грязноватые намеки на профессора Патрици.

Общественное мнение маленького города было настолько возмущено этим, что г-ну Дзукколи пришлось лично извиняться перед оскорбленным. После этого он... счел себя свободным и выпустил новую карточку инсинуаций и площадной брани против того же горемычного профессора, против гласных муниципалитета, против студентов, против редакции другого клерикального журнала, словом, против всех, кто не принял его сторону, а в конце статьи бравый литератор угрожал вызвать своим влиянием опасные беспорядки в городе.

После этого поднялась целая маленькая буря, а молодые ученики профессора Патрици, по юношеской склонности к прямолинейности, in corpore¹ отправились в редакцию «Provincia» —

¹ В полном составе (лат.).

бить г-на Дзукколи. Но г-н Дзукколи не захотел венца мученического и дал в присутствии полиции собственноручно расписку в лживости всех своих нападок за подписью своей и многочисленных свидетелей.

А на следующий вечер, 21 января, в «Provincia» появилась новая статейка, в которой намекалось, что курилка все-таки жив и, если только захочет, то и не так еще...

Одна из симпатичных сторон итальянского народа — их у него гораздо больше, чем думают и пишут, — это его умение оценивать по заслугам своих выдающихся людей.

В Италии Байрон и Шелли не были бы изгнаны общественным мнением. Когда старый Джозуэ Кардуччи или Олиндо Гуеррини (Лоренцо Стеккетти) проходят по улицам своей дорогой Болоньи, нет ни одного прохожего, который не снял бы почтительно шляпы перед высокоталантливыми поэтами и учеными Италии.

На днях глава сицилийских поэтов Марио Раписарди удостоился редкой чести: он при жизни сможет любоваться своим мраморным бюстом, поставленным на средства правительства и муниципалитета в одном из скверов Катании, города, где поэт родился в 1844 году и где теперь состоит профессором, потому что и Катания не без университета.

На днях во Франции и в Италии праздновалась годовщина дижонской битвы, в которой французы благодаря помощи генерала Гарибальди победили прусские войска. По поводу этого торжества здесь, в Риме, произошла любопытная небольшая полемика.

В день празднества Риччотти Гарибальди на банкете в caffè le Venete произнес речь, в которой указывал на необходимость более мирной политики по отношению к Ватикану ввиду тяжелого, неестественно натянутого внутреннего положения Италии. Так как банкет был устроен обществом Camicia Rossa — Красная Рубашка, т.е. гарибальдийцами, и Риччотти Гарибальди считается наследником и истолкователем патриотических и политических идеалов своего великого отца, этому спичу было придано важное значение.

Публицист Rastignac (псевдоним адвоката Морелло) ответил обширной статьей, где указывал на противоречие между новой, выраженной сыном Гарибальди программой Camicia Rossa, и той, за которую боролся отец. Это заставило г-на Rastignac'a констатировать неопровержимый, но почему-то непризнан-

ный в Италии факт, что Риччотти Гарибальди очень симпатичный господин и порядочный полководец, но плохой философ, тогда как отец его занимал далеко не последнее место в ряду политических мыслителей нашего века, и поэтому нынешнему вождю *Samicia Rossa* следовало бы не изменять программе генерала.

Г-н Риччотти Гарибальди написал Растиньяку, что его слова на банкете именно и выражали принципы отца, который ничего не имел, по собственному его заявлению, даже против союза с чертом, если это могло принести пользу Италии. Отчего же теперь не примириться с Ватиканом, который к тому же не посягает больше на единство Италии?

Интересно знать, какое впечатление произведет в Ватикане это миролюбие, выраженное в столь лестной форме.

Эгаль

Одесский листок. 2.02.1899



Письма из Рима

Последние два заседания на Монтечitorio (так здесь называют палату депутатов, по имени площади, где находится палаццо парламента) были в высшей степени интересны.

Как известно, два депутата левой, Турати и де Андреис, оказались скомпрометированы во время майских волнений прошлого года и поплатились заключением. Военный трибунал назначил им такие большие сроки, что амнистия декабря 1989 года не коснулась их, если не считать сокращения высылки на два года.

Явился вопрос: объявят ли места Турати и де Андреиса в палате вакантными? Левая в один голос утверждала, что это было бы незаконно, так как преступление обоих депутатов, по смыслу уголовного кодекса, не влечет за собой потери гражданских прав. Была составлена особая джунта¹, которая после долгого колебания пришла к заключению, что арестант и депутат — два ремесла, не поддающихся смешению, и поэтому избирательные коллегии Турати и де Андреиса должны выбрать себе новых представителей.

¹ От: giunta — комиссия (*итал.*).

В первом из заседаний, о которых я пишу, 3 февраля, после шумных сцен заключения этой джунты были приняты большинством голосов палаты.

Следующее заседание, 4 февраля, отличалось еще более бурным характером. Был поднят снова вопрос об амнистии. Месяца два тому назад депутат Подзо представил совету министров петицию о полной амнистии, скрепленную 400 000 подписей. 4 февраля вопрос об этой петиции должен был разбираться палатой.

После реферата Подзо поднялся знаменитый профессор Энрико Ферри, один из главарей позитивной криминальной школы, и произнес одну из своих блестящих импровизаций, на которые он, лучший из ораторов парламента, такой мастер.

Он настаивал на том, что амнистия — право парламента и не выходит из пределов его компетенции, что и было, по словам г-на Ферри, признано четырьмя или пятью лучшими юристами Италии, имена которых оратор тут же назвал. Кроме того, палата как высшее правительственное учреждение страны не должна стеснять себя подобными вопросами: она имеет право не обращать внимания даже на кодексы.

В этом месте речи палата почти единодушно выразила свое сомнение изумленными возгласами. Действительно, такого парадокса никто не ждал от депутата крайней левой, несомненного сторонника разделения власти.

Г-н Ферри, не смущаясь (он — типичный адвокат), продолжал, указывая на то, что амнистии желают не только оппозиционные партии правой и левой — клерикалы и социалисты, но и консерваторы, представителями которых являются депутаты центра. Он указал на то, что декабрьская полуамнистия совершила огромную несправедливость, абсолютно исключив из сферы своего действия рецидивистов по проступкам этого рода, так что остается надеяться, что новая амнистия не повторит этой ошибки.

— И вообще, — закончил г-н Ферри, — пусть г-н Пеллу постарается, чтобы преграды между классами, воспетые одним из наших поэтов во время последней избирательной борьбы, не были, по крайней мере, построены из штыков.

Это — намек на г-на Д'Аннунцио. За границей неизвестно, что знаменитый декадент — депутат от Пезаро и восседает по крайней правой, точнее, в этом почтенном конце находится его место, так как сам он предпочитает прогулки по берегам

Нила и окрестностям пирамид. Во время последних выборов г-н Д'Аннунцио произнес в своем родном Пезаро, славящемся консерватизмом, речь, воспевающую эти самые преграды (siepe) и составленную с обычным его мастерством. Эта речь, красивая и изысканная, настоящее лирическое стихотворение в прозе, но прозе, не менее гармоничной и поэтической, чем стихи, доставила ему титул депутата. Это типично: в настоящее время парламент в Италии вообще составляется именно так или почти так.

Палата вотировала «порядок дня» (ordine del giorno), указывающий на желательность амнистии, которая, таким образом, несомненно, будет дана королем Умберто и прекратит напряженное движение в стране.

Здесь выходит журнальчик «Amnistia», напечатавший на днях прелестное стихотворение Ады Негри в пользу амнистии. Под заголовком этот журнальчик крупно печатает характерный девиз: «Никакой другой журнал не зарождается с таким страстным желанием как можно скорее прекратиться». Бедный журнальчик, теперь, кажется, он может спокойно умереть.

Эгаль

Одесский листок. 8.02.1899



Письма из Рима

Адрес парижских журналистов в пользу амнистии, под которым подписались представители всех лагерей французской печати, от Жореса и Себ. Фора до Кассаньяка и Дрюмона (за единственным исключением непримиримого «Petit Journal»), произвел здесь лучшее впечатление, хотя оно было бы полнее, явись этот адрес днем раньше. Дело в том, что адрес был опубликован 5 февраля, а уже 4-го была единогласно вотирована итальянской палатой желательность амнистии. Даже г-ну Пеллу пришлось сознаться, что амнистия «желательна»; из этого ясно, что она не заставит себя ждать, так как еще не было случая, чтобы король Умберто отказался подписать заключение министерского правительства, тем более невозможно было бы это в данном случае, при общеизвестной гуманности короля.

Итак, амнистия обеспечена — если принять, что вообще в нашем мире, и особенно в Италии, можно считать что бы то ни было обеспеченным. По правде сказать, в декабре, когда появился декрет о смягчении мер, трудно было ожидать такого скорого продолжения.

Но г-н Пеллу — бывший генерал и в качестве воина очень любит субординацию. Ему показалось невыносимо, что после этого успеха партии парламента, посторонние центру, начнут, пожалуй, «зазнаваться». Поэтому он постарался охладить их радость несколькими характерными законопроектами, для которых потребовал спешного обсуждения.

Вот наиболее типичный пункт.

О печати. По судебным делам о диффамации запрещается опубликование отчетов и дебатов. Редактор, подвергшийся в течение одного года двум наказаниям за проступки путем печати, должен внести залог; в случае несостоятельности газета должна прекратиться. После трех осуждений за проступки путем печати газета должна доставляться властям за два часа до опубликования.

Такие же меры предлагаются и против ассоциаций.

Понятно, куда метит г-н Пеллу. Эти законопроекты направлены прямо против крайних оппозиционных газет, известных своей бедностью, но по дороге они очень больно задевают и просто либеральные органы. Кроме того, как попытка введения незамаскированной предварительной цензуры эти меры прямо противоречат статуту Карла Альберта.

Однако утверждают, что законопроекты пройдут в палате депутатов. В конце концов, это будет неудивительно. Всюду, где интересуются Италией, известно, что парламент ее составляет с бору да с сосенки, при колоссальном равнодушии общества к своим избирательным обязанностям, так что в выборах участвует одна треть лиц, пользующихся избирательными правами.

Конгресс журналистов, состоявшийся в прошлом году в Лиссабоне, соберется в 1899 году в Риме. Местный синдикат представителей печати начал уже готовиться к этому дню — 5 апреля 1899 года. Приходится подыскивать помещение для заседаний конгресса, так как ожидают, что особенно пышные апартаменты, находящиеся в постоянном распоряжении синдиката, окажутся тесными.

Следующий съезд, в 1900 году, произойдет, как уже известно, в Париже и должен будет составить один из «гвоздей» всемирной выставки.

Итальянские артисты тоже рассчитывают на эту выставку. Здесь у кого-то явилась несчастная идея собрать труппу из лучших драматических артистов Италии — Дзаккони, Сальвини, Новелли, Дузе, Тины ди Лоренцо, Пеццана — и отправить их в Париж «пленять своим искусством свет». Рассчитывают, что и правительство придет на помощь этому проекту крупными материальными пособиями.

Проект, конечно, дутый. Из всех итальянских артистов, кажется, только г-жа Элеонора Дузе в состоянии говорить по-французски, не возбуждая смеха в парижанах. Но остальные ее коллеги — истинные итальянцы в этом отношении и с языком Франции знакомы только «*così così*»¹.

Кто же пойдет слушать драму на итальянском языке, когда тут же французские театры будут ставить лучшие пьесы своих репертуаров и когда — по заслугам или нет — Сара Бернар известнее Дузе, Коклен — славнее Новелли, Муне-Сюлли — знаменитее Дзаккони?

Новелли пользовался успехом в Париже, это правда. Но испанская артистка Герреро, которая в своем роде не ниже итальянского собрата и которая притом, как говорят, очень хороша собою, доигралась до 80 тыс. франков убытку и уехала. Итальянский язык так же мало понятен французам, как испанский. Следовательно, в успехе Новелли виновато также и слепое счастье: что называется, повезло. Действительно, ему еще заранее посчастливилось сделаться сезонным львом в Париже. И при всем том наибольший успех (и сбор) доставили ему не классические пьесы итальянского театра, которых публика не понимала, а драмы Шекспира.

Вероятно, мысль об этой артистической экспедиции будет оставлена. Как известно, Новелли получил от президента Фора знаки ордена Почетного легиона. Теперь — любезность за любезность — министр Баччелли пожаловал орден *Corona d'Italia* Коклену и Муне-Сюлли; что-то в этом же роде достанется на долю писателя Жюль Клареси.

Эгаль

Одесский листок. 10.02.1899

¹ Так себе; кое-как (*итал.*).



Карнавал в Риме

На днях один знакомый сказал мне, что карнавал кончился. Я не имею никакой причины не верить ему, тем более что в его пользу говорит прецедент: с месяц тому назад он же сказал мне, что карнавал начался, и по справкам в календаре оказалось, что это правда. Следовательно, карнавал кончился. Но, право, не будь добрых знакомых и календаря, иностранцу трудно было бы догадаться, что карнавал в такой-то момент начался и в такой-то кончился. Снаружи этого не видно.

Странно, что именно в Риме масленичные празднества проходят так незаметно. Рим — город развлечений (*città dei divertimenti*). Здесь совершенно не развита жизнь промышленная и торговая, о фабриках, заводах, больших промышленных фирмах Рим почти не слышит. Умственная жизнь довольно широка, но, в конце концов, публичные проявления интеллектуальной деятельности любого города всегда сбиваются на развлечения высшего типа, лекции, диспуты, выставки и т.д. Развлечений же в настоящем смысле слова масса: концерты следуют за концертами (на днях, между прочим, будет здесь петь Аделина Патти; римляне, народ довольно остроумный, говоря об этой артистке, выражаются «блаженной памяти Патти» — «*buon'anima sua*», намекая на слухи о том, что великая певица потеряла теперь свой голос); театров очень много, и ни один почти никогда не «отдыхает»; наконец, обычные балы высшего общества и придворные, доступ на которые совсем не труден, — словом, город веселится и веселится и только. Таково первое общее впечатление приезжего.

Правда, если вдуматься в характер этих развлечений Рима, то мы заметим, что все эти развлечения более или менее аристократические, и потому, так сказать, закрытые. На открытый воздух, на улицу, в народ ничего не выносится. И действительно, сами римляне называют свой город аристократическим. Это вполне понятно: в больших пунктах, не производящих, а только потребляющих, народ, плебеи, не может играть никакой роли в нашу эпоху.

Поэтому лучшие карнавалы Италии теперь происходят уже не в Венеции, не в Риме, где когда-то они были так славны, а в промышленном Милане. Этот небольшой город носит

прозвище «ломбардского Манчестера», даже «итальянского Парижа»: он кишит фабриками, производит больше, чем потребляет, и поэтому преобладающую роль играют в нем не потребители — патриции, а производители — простонародье, *popolino*, или выразительнее — *la plebaglia*¹. А народ любит поселиться на улице...

В Риме на улицах за все праздничные дни не было заметно ничего особенного. Только в «*giovedì grasso*» («скромный четверг») на *Corso* была огромная толпа, что и вообще не редкость.

Толпа была по-праздничному разряжена, но и это не редкость. Главная слава итальянского карнавала, ряженые и *confetti* — увы... Очевидно, поэзия маленькими, но верными шагами уходит из буржуазной жизни современности. Ряженных почти не было. Изредка в толпе показывался какой-нибудь длинный нос или арлекин в полной форме, но это сейчас же привлекало всеобщее внимание до такой степени, что становилось видно, насколько римляне отвыкли от милого обычая рядиться. Прекрасный пол тоже выслал на *Corso* двух с половиной представительниц в костюмах *Colombina*, но это были по большей части особы того возраста, в котором можно хоть и по будням наряжаться как угодно — маркизой *Louis XIV* или бушменской красавицей, — рискуя вызвать только замечание: «какая хорошенькая девчурка!»

А относительно взрослых Колумбин у публики сейчас же являлись два невольных подозрения: первое, что они, может быть, из *ses dames*²; второе — что они не маскировались бы, если бы были хорошенькими. Последнее соображение, по-моему, довольно основательно.

А *confetti* — их я абсолютно не видел. Только в последний день карнавала на том же *Corso* одна очень юная девица занималась обсыпанием публики с балкона этими бумажными шариками, но внизу изо всей массы гуляющих нашлось только поддюжины уличных мальчишек, которые отвечали девице тем же. Остальные проходили и стряхивали с шляп карточь шаловливой барышни.

Умер карнавал, и так основательно, что его здесь даже больше не хоронят, хотя этот обычай существует у всех почти южных романских народов.

¹ Чернь (*итал.*).

² Из тех дам (*фр.*).

В папское время все было иначе. Это опять-таки странно: католическое духовенство очень отрицательно относится к языческому обычаю карнавала. В начале февраля текущего года раггосо — священник какого-то тосканского paesello¹ — издал, например, манифест, призывавший молодежь обоего пола воздержаться от бесовских празднеств масленицы. Тем не менее, когда папа еще не был пленником в Ватикане, все эти князья и маркизы (которых в Риме не исчислит ни один математик и которые все — родственники пап) тратили порядочные суммы на эти увеселения. Конечно, делалось это для того, чтобы «заговорить зубы» и отвлечь внимание ророліно от истинных причин его нищеты, но, как бы то ни было, ророліно веселился. Теперь папа за флагом и «в плену», князья и маркизы, как по мановению волшебного жезла, обеднели и сдают в наем свои роскошные палаццо; где тут думать о карнавале!

Конечно, у аристократии (и старинной, и последнего издания) есть и в Риме свой карнавал, и даже очень пышный. Это — римские «veglioni», которые считаются лучшими в Италии. Veglione — грандиозный масленичный маскарад с танцами, устраиваемый в партере какого-нибудь театра, откуда, понятно, убирают все кресла. Конечно, при этом — неизбежные премии за лучшие костюмы. Но в эту зиму и veglioni сошли довольно печально.

За одним исключением. Местный синдикат корреспондентов иностранных и итальянских газет устроил в театре «Politeama Adriano» лучший veglione сезона, который прошел поистине блистательно и, главное, с такой чистосердечной веселостью, о какой в России, даже у вас в Одессе, трудно иметь понятие. Хозяева этого veglionissimo приложили к делу всю свою изобретательность, все свое усердие и радушие, и действительно многочисленным гостям было весело, и разговоры, и «интриги» завязывались непринужденно и интересно. Но все это — не в пример прочим, и особенно последнее обстоятельство — непринужденность разговоров.

Один из русских — столь многочисленных — забытых писателей, Баратынский, в какой-то поэме смеется над петербургскими маскарадами и их беседами.

«Я знаю вас! Я знаю вас!»... —
и больше ничего. Право, в Риме не лучше. Фельетонист «Tribuna» приводит следующий диалог:

¹ Деревушка, местечко (итал.).

- Мне кажется, что я вас где-то видел.
 — Неужели? Может быть.
 — Вы никогда не бывали на *veglioni* этого театра?
 — Нет.
 — Значит, и на прошлогоднем не были?
 — Не была.
 — Значит, сегодня вы в первый раз видите *veglione* этого театра?
 — Да.
 — Ага.
 И пауза.

Эгаль

Одесский листок. 14.02.1899



Вопрос об уравнении в правах иезуитского лицея в Мондрагоне с правительственными заведениями вызвал отголосок в парламенте и закончился сдачей в архив, т.е. одобрением со стороны палаты отказа от *pareggiamento* иезуитского колледжа. При обсуждении этого вопроса в палате было несколько интересных подробностей.

Читатели уже знают, что петиция о *pareggiamento* (уравнении в правах) была подписана 108 депутатами. Число довольно устрашающее, если принять, что все это клерикалы или, по крайней мере, члены партий, расположенных к клерикалам. Но на деле оказалось не так страшно. При разборе вопроса в парламенте в защиту почтенных отцов выступило уже не 108 депутатов, а несколько меньше. Именно — один. Остальные, по похвальному обычаю итальянских «*onorevoli*» (титул членов парламента, муниципалитета и т.д.), или отсутствовали, или скромно молчали.

Этот единственный, г-н де Чезаре, говорил не много и не сказал ничего особенно замечательного. Он только один раз воодушевился. Депутат Бовио заметил:

— Иезуит всегда останется иезуитом.

— А масон — масоном, — обидчиво подхватил де Чезаре, и ему громко захлопали все девять клерикалов, не поленившихся прийти в заседание.

Министр Баччелли, решительно один из лучших членов нынешнего прискорбного министерства, объяснился в очень остроумной речи и получил одобрение большинства.

Тот самый депутат г-н Бовио, хотя и враг иезуитов и один из любимых сыновей крайней левой, все-таки, как человек умный и старающийся быть беспристрастным, не пожелал высказаться против иезуитского лица; ему казалось, что отказ в *raggiamento* противен принципу свободы преподавания.

Хорошая вещь — свобода преподавания, но одно дело — позволять иезуитам преподавать, и другое дело — поощрять их, тем более что уравнивание в правах увеличило бы число воспитанников мондрагонского заведения. Конечно, лучше всего было подорвать иезуитский лицей учреждением в округе правительственного учебного заведения, но тут уже нужно извинить бедняжку Италию. У нее и так мало денег, а у Германии все-таки больше броненосцев, да и солдат; надо подтянуться, надо поддержать престиж великой державы № 7, — где тут думать о балансе Министерства народного просвещения?

Возвращаясь к инциденту, нужно подчеркнуть эту халатность депутатов: сто восемь из них подписывают петицию, о которой спустя месяц даже не решаются заговорить. Это удивительно соответствует всем теперешним распорядкам в этой области: все делается спустя рукава. Выборы идут лениво, депутаты заглядывают в палату гораздо реже, чем в *caffé Agagno* на *Corso*, — странная спячка страны, тянущаяся уже слишком долго.

По поводу инцидента о Мондрагоне неаполитанский профессор Паризи опубликовал письмо, где рассказано много интересного об этом заслуженном «обществе Иисуса», о его тенденциях и ухищрениях. Есть и анекдотики, касающиеся иезуитского преподавания.

Например, приглашают в *Pantano*, иезуитскую школу в Неаполе, профессора истории из Технологического института.

— У нас, — поучает его ректор, — полная свобода преподавания, мы допускаем все убеждения: монархические, республиканские, социалистические и еще более крайние. Но, принимая во внимание юношеское легкомыслие слушателей, когда дело коснется какого-нибудь из пап, не вполне отвечавшего своему назначению, мы просим вас... не то чтобы исказить историю... но, понимаете... этак поскорей перескакивать через щекотливые пункты.

Профессор был очень польщен, но предложил отцу-ректору пригласить лучше профессора гимнастики, как более опытного в искусстве перескакивания.

Эгаль

Одесский листок. 15.02.1899



Письма из Рима

Не бывало на свете союза, к которому ироническое название *mésalliance*¹ было бы более применимо, чем к нынешнему тройственному — Германия, Австрия, Италия! Нужно понимать в математике меньше, чем... и т.д., чтобы три такие величины соединить плюсами.

Те же итальянцы четыре года тому назад осмеивали франко-русский союз, выставляя на вид 1812 год и крымскую кампанию. Это очень мало походило на логику: в таком случае нельзя было бы подобрать пару европейских государств, могущих заключить между собою «настоящий» союз, так как все они когда-нибудь да дрались между собою. Но — *passi* (допустим), как говорят итальянцы. Что тогда сказать о союзе Австрии с Италией?

Само слово «Италия» появляется в европейском словаре только с того момента, как Австрия теряет лучшую часть своих владений. Свергнуть иго ценою страшных усилий и потом, почти сейчас же, забывая всю кровь и все эшафоты, заключить с бывшим представителем этого ига дружеский союз, да еще без всякой пользы для себя — это можно объяснить только магией величия, губящей Италию...

Все это невольно приходит в голову при чтении известий о том, что падуанская префектура запретила чествование дня 8 февраля. В этот день в 1849 году произошла кровавая резня между австрийцами и падуанскими студентами-патриотами. Спрашивается, что для Италии эти павшие студенты, если не борцы за национальную свободу? И это официально признано: в итальянских университетах стены буквально покрыты плитами, на которых вырезаны имена всех этих молодых героев. Но ведь каждый из них прежде всего ненавидел австрийцев.

¹ Неравный брак (*фр.*).

Следовательно, нет у итальянцев ни одного национального праздника, который не был бы насмешкой над «дорогими союзниками». И Италия, дорожа этим неестественным союзом, старается «воздерживаться» от национальных праздников. Это очень любезно. Венгерцы вряд ли «воздерживаются» от преклонения перед Кошутом и Петефи.

Слава богу, теперь все уже понимают, что, если нужен и возможен союзник, то он — за Альпами. Действительно, в Италии сближение с Францией имеет много сторонников и не имеет противников; по крайней мере, при обсуждении коммерческого трактата вся палата одобрила его. Жаль, что этого нельзя сказать о парижском парламенте, где нашелся г-н Фирмен Фор, не постеснявшийся в присутствии посла г-на Торниелли разругать Италию на все лады.

Вот еще одна итальянская любезность. 9 февраля 1848 года папа Пий IX бежал из Рима, где патриоты провозгласили римскую республику. Она просуществовала недолго, но важна, как первое по времени провозглашение принципа, ставшего лозунгом Италии: папа не должен пользоваться светской властью. В этом смысле день 9 февраля официально канонизирован. 9 февраля текущего года исполнилось 50 лет с этого дня; гарибальдийцы хотели отпраздновать этот юбилей. Но г-н Пеллу попросил Риччотти Гарибальди «отложить».

Это очень характерная «любезность». Министерство не хочет почему-то дразнить клерикалов, так что, может быть, мы доживем до того самого сближения с Ватиканом, о котором недавно говорил Риччотти Гарибальди. Посмотрим; это будет не только интересно — это будет очень поучительно.

Вообще, у нынешнего министерства все очень оригинальные начинания. Законопроекты генерала Пеллу, особенно те, что касаются печати и ассоциаций, очень не понравились. Союз римской прессы собрался по этому поводу на таинственное экстренное заседание, результаты которого неизвестны. Ожидается бурная сессия парламента. «Don Chisciotte» печатает на первой странице:

«Коллегам по журналистике. Составитель законопроекта о печати г-н Кортис (министр). Просим коллег запомнить: это надолго».

Эгаль

Одесский листок. 17.02.1899



Письма из Рима

Депутат, о котором мне нередко приходилось писать, республиканец-радикал Бовио, на днях, как говорится, «взял» да представил президенту кабинета министров генералу Пеллу свое прошение об отставке.

Мотивы были представлены следующие: какой-то избирательный журналчик напечатал список депутатов, получающих на тех или других основаниях деньги от правительства в качестве чиновников какого бы то ни было ведомства. Таких оказалось немало, и на одном из первых мест, по требованиям алфавита, очутился *opogevole*¹ Бовио.

Но г-н Бовио — республиканец, да еще радикал и к тому же, что называется, человек убеждений: он счел диффамацией указание на то, что он получает жалование от правительства той формы, какая утверждена итальянской конституцией. Он действительно читает лекции в Римском королевском университете, но со времени своего избрания он перешел из профессоров в приват-доценты, так что плата, получаемая им, — студенческий гонорар, а не правительственное жалованье, выдаваемое только профессорам.

Палата единодушным вставанием отказала г-ну Бовио в отставке и, значит, выразила ему пожелание жить да поживать в депутатском кресле. Это решительно необъяснимо. Во-первых, г-н Бовио — республиканец, следовательно, центру и правой нечего было вставать. Во-вторых, он — радикал, значит, центру и правой опять нечего было вставать. В-третьих, он — один из самых дельных депутатов, т.е. опасный противник, *ergo*², центру и правой опять-таки не стоило беспокоиться. И все-таки!

Это вышла довольно эффектная демонстрация в честь г-на Бовио; особенно если принять во внимание, что депутатов было не так мало, как всегда: с долей воображения и если приписать стенографов и сторожей, можно было бы насчитать почти целую сотню.

Один из депутатов меньшего калибра тоже представил, на тех же основаниях, прошение об отставке. Но этот опыт решительно не удался. Палата отпустила его с миром, и президент

¹ Досточтимый (*итал.*).

² Следовательно (*лат.*).

ее Дзанарделли объявил в том же заседании место бедного депутата вакантным. «Приструнительные» законопроекты, которыми генерал Пеллу огорошил бедную Италию, до обсуждения их в палате обсуждаются публикой и печатью с большим интересом, но без большой симпатии.

Ассоциация римской прессы устроила заседание, которое было облечено такою таинственностью, что туда нельзя было пробраться иностранным корреспондентам, и совершенно напрасно: ничего особенного она не постановила. Вотировала, само собою, «порядок дня», решила «протестовать» — словом, приняла все неизбежные в этих случаях меры глубоко репрессивного значения и — разошлась.

Взгляд общества на направление г-на Пеллу (от него еще в декабре ждали либеральной политики) можно определить последней карикатурой римского «L'Asino». Генерал Пеллу, изображенный, как полагается, «с ушами и очень даже с ушами» (местное motto¹, созданное специально для него), кричит из своего рабочего кабинета секретарю:

— Эй! Нет у вас там какой-нибудь ненужной бумажки?

— Есть, эччелленца!²

И секретарь подает ему Альбертинский статут 1848 года.

Чтобы не выходить из области прессы, вспомним о IV Международном конгрессе представителей печати, который состоится здесь, в Риме, около начала апреля по новому стилю. Помещением его будут роскошные локалы³ Ассоциации римской прессы на piazza⁴ Colonna. Уже выбрана комиссия по устройству всего необходимого; в нее вошли сенатор Висконти Веноста, князь Русполи (синдик⁵ Рима), депутаты Бовио и Луццатти.

Эгаль

Одесский листок. 20.02.1899

¹ Шутка, острота (*итал.*).

² Ваше превосходительство (*итал.*).

³ Помещения (*итал.*).

⁴ Площадь (*итал.*).

⁵ Мэр (*итал.*).



Ульрих

Очерк

В воздухе стоит обычный гам вечерней жизни с редкой для Одессы нотой звона колокольчиков на санях. А санная дорога действительно чудесная, и кто может, спешит воспользоваться ею, зная, что завтра или послезавтра от твердого снега останется только слизкая грязь.

Соборная площадь вся покрыта непротоптанной белой периной.

Со стороны собора показываются две фигуры. Это две молоденькие девушки, обе в меховых шапочках, с шарфами и муфтами, обе хорошенькие, раскрасневшиеся от мороза и быстрой ходьбы и обе веселые: послезавтра учение, и надо хорошо распорядиться последними вечерами праздников.

— Лида, я боюсь идти через площадь, мы утонем в снегу, и потом она совсем пуста.

Но Лида, очевидно, смелее.

— Если пуста, то тем лучше, никого не встретим, а если утонем в снегу, то найдется рыцарь, чтобы спасти нас.

С беспечным хохотом, неловкими, но быстрыми шагами барышни пробираются по неглубокому снегу.

— Лида, кто-то идет... Военный?

— Да, кажется.

Правда, это военный, но в какой-то странной форме. Девушки проходят в стороне от него, и Лида в полуоборот, не останавливаясь, спрашивает:

— Как ваше имя?

Военный, по крайней мере в двенадцатый раз за этот вечер, отвечает:

— Ульрих.

Барышни бегут дальше, и Лида вполголоса объясняет:

— Это из финляндских офицеров: они гостят в Одессе уже три недели... А моего жениха будут звать Ульрих? Что ж, это...

— Лида, он идет за нами!

— Кто? Ульрих?

— Да!

Лида смотрит и спокойно замечает:

— Вряд ли именно за нами, но если бы и так? Какая ты трусиха, моя Нюничка! Ведь это — офицер.

— Идем все-таки скорее, — говорит «Нюничка» и немного замедляет свою походку.

— Идем скорее.

Лида согласна и тоже немного убавляет шаг, так что в самом начале пустой аллеи иностранец настигает их. Несколько секунд он идет с ними рядом, но поодаль, потом набирается духу и с акцентом, похожим на немецкий, произносит:

— Извините, барышни... можно два слова?

Обе барышни еще убавляют шаг, и «Нюничка» после небольшого колебания говорит:

— Простите, но мы вас не знаем...

— Что вам угодно? — прерывает решительно Лида.

Офицер приближается, переходит по-кавалерски на левую сторону и ясно показывает молоденькое румяное лицо с белобрысыми усиками.

— Я очень прошу, извините меня, — говорит он негромко и несмело, — я бы не хотел, чтобы вы сочли меня за *нахал*; как только вы скажете, я сейчас оставлю вас и уйду... Но...

Он подыскивает слова и упорно смотрит вниз.

— Э, да что, вы, верно, будете смеяться, но я вам *прямо* объясню, почему обеспокоил вас. Мои товарищи получили отпуск на праздники и уехали в Улеаборг, а я дежурный, я остался; я теперь совершенно один в незнакомом городе; это очень тяжело и тоскливо — совершенно один в незнакомом городе, во время праздников. Вот... Может быть, вы станете смеяться или обидитесь, но напрасно, потому что только скажите и я уйду. Я побеспокоил вас вот для чего: я хотел попросить... так, наудачу... позвольте мне в этот вечер, пока вы имеете время, быть... ну, считаться как вашим знакомым; я всегда проводил этот вечер в семье, с сестрами и братьями; я прошу только этот вечер, и недолго, знаете, барышни, мне уж слишком тоскливо!

Тут он подымает на них глаза, такие же свежие и молоденькие, как все его лицо. Обе барышни смотрят на него очень серьезно. Они уже прошли мимо памятника и вышли на шумный, ярко освещенный перекресток. «Нюничка» по привычке сворачивает было на Дерибасовскую, но Лида искусно направляет ее прямо, по более спокойной Преображенской.

Офицер ждет. Лида спрашивает его:

— У вас здесь нет знакомых?

— Никого. Два или три здешних офицера, но теперь они не могут заниматься мною: праздник, визиты, семейство. Я совершенно один.

Эти слова «совершенно один» он как-то отчаянно вычеканивает своим неловким, затрудненным произношением.

— А скажите, — говорит Лида, — почему вы именно к нам подошли?

— К вам? К молодым мужчинам я не обратился бы, потому что тем, без всякого сомнения, показалось бы смешно. А к вам я решился подойти, потому что был в пустом месте.

Он улыбнулся.

— Если бы вы сказали мне «прочь, *нахал*», то уж лучше в пустом месте, а не на людной улице.

У него есть еще один резон, которого нельзя объяснить этим барышням. Когда они прошли мимо него, отражение снега осветило их лица, и он по их молодости заключил, что эти хорошенькие девушки, наверное, не из той отверженной касты, которой сын скромной финляндской семьи чуждался и боялся. Он вспоминал о своих сестрах, и ему мучительно хотелось провести этот вечер в обществе женщин, но таких же чистых и таких же свежих душою, как эти далекие Гертруда и Анни.

Лида и «Нюничка» внимательно взглядывают на него. Они совсем не охотницы до строгости — свидетели тому небо, аллеи Александровского парка и с десяток кавалеров самой первой юности, но *нахалов* они не любят, особенно когда это не свой брат безусый коллега, а целый офицер. Однако у Ульриха такое доброе и опечаленное лицо, что они успокаиваются.

— Это так странно и неожиданно, — говорит «Нюничка» колеблющимся тоном, — мы вас не знаем...

— Знаете, сделаем так, — говорит Лида, — мы позволяем вам сопровождать нас до первого вашего проступка. Понимаете?

Офицер понимает и смотрит на Лиду с благодарностью, в которой столько ясного детского выражения, что барышня невольно спрашивает, сколько ему лет.

— Девяносто, — серьезно отвечает он, но они догадываются, что он хочет сказать «девятнадцать», и раздражаются звонким хохотом.

— Ваши числа такие трудные; я бы хотел посмотреть, как бы вы говорили по-фински, — полубидчиво оправдывается офицер и сам смеется.

Они поворачивают к Дерibasовской. Светло, шумно илюдно. По обоим тротуарам движутся взад и вперед длинные пестрые цепи гуляющих; здесь можно говорить о чем угодно и хохотать без стеснения, потому что общий гам сохраняет секреты лучше всякого уединения.

По твердому снегу мостовой бегут роскошные сани, увозящие какую-то парочку, и при виде их у молодого северянина раздуваются ноздри.

— Барышни, — говорит он, — позвольте мне пригласить вас покататься на санях.

Они вспыхивают и переглядываются, а офицерик в ту же минуту как будто бледнеет и опускает руки.

— Вот я уже и провинился, — говорит он уныло. — Ради бога, извините меня; я забыл, что вы не знаете меня и не можете поехать со мною. Извините и не сердитесь.

Через минуту молчания у Лиды вырывается:

— А вы, честное слово, ничего нам не сделаете? Не завете?

— О! — отвечает Ульрих, почти задыхаясь от радости. — Можно? Да? Да? Санки!

— Лида, ты с ума сошла, — шепчет испуганная подруга.

Лида встряхивает головой:

— Э, один раз в жизни — не беда.

— Я ни за что не поеду, — решительно объявляет «Нюничка».

Санки подъезжают, обе подруги садятся рядом, офицер против них.

— Куда-нибудь по адресу или так, *турями*?

— *Турями*, — смеется Лида.

Извозчик лихо поворачивает и начинает первый «тур».

— Так медленно, — говорит Ульрих.

— Пусть он потом свернет на Пушкинскую, там можно будет быстрее, — отвечает Лида.

На больших часах перед магазином стрелки показывают девять.

— В десять мы обе должны быть у нее, — говорит «Нюничка», кивая на подругу.

В десять часов — не совсем в десять, но раньше одиннадцати — сани останавливаются перед воротами дома Лиды. Офицер высаживает барышень.

— Что вы будете думать об одесских девушках, один бог знает, — замечает Лида. — Кататься с незнакомым — это, знаете...

Офицер снимает фуражку, крепко пожимает руку Лиды и говорит немного дрожащим голосом:

— Я не люблю лгать: это, правда, считается не принято, но пусть вас Бог благословит за это, потому что так тяжело —

быть одиноким и чужим, смотреть на веселье на улице и знать, что мне тут нет места. Прощайте, спасибо, пусть вас Бог благословит!

Лида и «Нюничка» немного тронуты. Бедный девятнадцатилетний мальчик, в его голосе как будто слезы!

Стройные фигуры исчезают в подъезде. Ульрих, опустив голову, идет к саням.

— Извозчик, — говорит он, — повезите меня куда-нибудь *очень погальше*.

— Куда бы же? В парх, може, прикажете?

— Как, извозчик?

— В парх, то есть за город, хотите?

— Хорошо, за город, только скорее.

Сани бегут, офицер сидит, опустив голову.

Вл. Эгаль

Одесский листок. 22.02.1899



27 февраля (1 марта)

Весть о неожиданной болезни папы разнеслась вчера после полуночи, так что в публике, выходявшей из театров, слышались уже категорические утверждения, что Лев XIII умер. Сегодня с самого утра до вечера повторяются довольно упорно все те же уверения: папа будто бы уже скончался, но от народа это скрывают; вряд ли можно считать такие слухи чем-нибудь больше обыкновенной обывательской «утки»: во-первых, нет никакой причины скрывать подобные вести и, во-вторых, бюллетени о ходе болезни подписаны лицами, научная добросовестность которых слишком известна.

Недуг Льва XIII — застарелая опухоль на левом боку, уже около тридцати лет затрудняющая обращение венозной крови. В последние дни ввиду холодной трамонтаны¹, а также, несомненно, вследствие переутомления старого первосвященника при нескольких важных дипломатических приемах опухоль перешла в воспаленное состояние и вызвала сильную лихорадку.

¹ Северный ветер (*итал.*).

Врачи папы, Лаппони и Маццони, пришли к убеждению, что необходима операция, которую второй из них и произвел в десять часов утра. Хлороформировать больного не решились и ограничились небольшой дозой какого-то слабого притупляющего нервы состава. Вся процедура, благодаря ловкости молодого еще хирурга, продолжалась минут десять. После операции лихорадка, судя по бюллетеням, исчезла, и папа вскоре пришел в себя настолько, что попросил показать ему вырезанную опухоль и сказал д-ру Маццони:

— Вам нужно было много отваги, чтобы оперировать такого старика, как я.

На огромной площади св. Петра перед зданием Ватикана все время стояла большая толпа народа и несколько экипажей. Довольно часто показываются из боковых входов, где стоят солдаты швейцарской гвардии, черные фигуры в рясах и бросают несколько слов в передние ряды, откуда эти последние известия о ходе болезни Льва XIII передаются по всей широкой площади и быстро разносятся по Trastevere и по городу. Бюллетени появляются через каждые два часа.

О врачах папы известно, что оба еще относительно молоды: д-р Лаппони окончил курс в 1876 году в Болонье, а г-н Маццони, хирург, производивший операцию, в 1880 году в Риме. Оба, особенно первый, довольно известны в медицинской журналистике.

Как странное и печальное совпадение подчеркивают то, что 3 марта, т.е. послезавтра, должно исполниться «совершеннолетие» папы, 21-я годовщина его избрания. Только в последнем выпуске клерикальной газеты «La Vera Roma» была помещена по этому поводу хорошенькая серенада на транстеринском диалекте, посвященная папе.

Над текстом серенады боевой журнал поместил изображение статуи Pasquino, на которой в средние века в Риме наклеивались знаменитые сатирические «пасквилады». Тут же красуется надпись: «Министерство внутренних дел», показывающая, кого подразумевал автор под безымянными недоброжелателями папы.

Здесь все желают, чтобы этот автор — он подписался Frustino¹ — не «сглазил». Даже противники клерикалов понимают, что преемник Льва XIII будет, несомненно, так же мало

¹ Хлыстик (*итал.*).

расположен к светскому правительству, как нынешний папа, но вряд ли будет обладать его тактом. А это может невыгодно отозваться на внутреннем спокойствии Италии и, пожалуй, не одной Италии.

Так как, однако, печальная перспектива кажется многим довольно вероятной, то поднимаются толки, кто будет преемником. Произносится до десяти имен, но особенно основательных доводов в пользу данного кандидата никто не приводит. В некоторых посольствах говорят о популярном кардинале Ланалетта. Кандидатура кардинала Рамполла считается маловероятной, так как «государственных» секретарей при св. престоле очень редко выбирали в папы: они нужнее на своем посту. Во всяком случае, настаивают, что преемник папы будет, несомненно, итальянцем, как и Лев XIII.

Процедура избрания вам, конечно, известна. Все кардиналы собираются в одной из зал Ватикана для закрытой баллотировки и не имеют права покинуть эту залу прежде, чем не будет избран новый папа. Каждый раз, как баллотировка дает нейтральные результаты — это случается очень часто, — записки бросаются в огонь, и дым, направляемый по трубам к фасаду Ватикана, дает знать народу, толпящемуся на площади, что папа еще не избран. Наконец, когда кардиналам удастся возвести на св. престол кого-нибудь из их числа, закрытое окно растворяется, и младший из монсеньоров возвещает Риму мирское имя нового первосвященника и то имя, под которым он намерен занять папский престол.

Вл. Эгаль

Одесский листок. 25.02.1899



Письма из Рима

В своем официальном органе «L'Osservatore Romano» папа Лев XIII обнародовал недавно свое «Второе письмо об американизме». Его здесь ожидали с нетерпением ввиду важности вопроса.

«Янки» считается обыкновенно человеком, дух которого вполне и исключительно поглощен долларом. Между тем на деле оказывается иначе: «янки» очень интересуется религиозными вопросами. В Северной Америке всяких сект гораздо больше,

чем в любой цивилизованной стране Европы, если говорить, конечно, о более или менее развитых, интеллигентных слоях общества.

Одна из сект носит католический характер. Но ввиду того, что католицизм считает папу, во-первых, светским, а во-вторых, абсолютным владыкой, американцам, не желавшим отречься от своего либерального политического строя, пришлось ввести в свой катехизис несколько существенных нововведений, чтобы сохранить принцип конституции рядом с повиновением Ватикану. Другие нововведения секты касались и некоторых положений науки, признанных теперь повсеместно и ставших необходимыми для современной жизни, но игнорируемых католицизмом. В этой форме католическая пропаганда пользуется большим успехом в Соединенных Штатах.

Вопрос был в том, как смотрит на это папа; вопрос важный не только для американской секты, но и для католиков всего мира. Признает ли папа Лев XIII допустимость некоторых реформ в катехизисе или останется при формуле *nihil innovandum* — «никаких нововведений»?

Тридцать лет тому назад папа Пий IX решил тот же вопрос отрицательно. Он издал свою знаменитую буллу «*Non possumus*»¹, где предал анафеме новаторов. Эта булла произвела глубокое впечатление в Европе. У нас в России Тютчев, не охотник до «гражданской» поэзии и совсем не свободомыслящий, отождествился на буллу стихами, где говорил о папе:

*Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет!
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть брег».*

*Sed alia tempora!*² Теперешнее «Письмо» папы Льва XIII подтверждает идеи его предшественника (конечно, в несравненно более мягкой форме), но оно уже не вызовет шума и пройдет незамеченным в политическом мире.

Папа Лев XIII заставил долго ждать своего решения. Напротив, он даже давал не раз повод думать, что его отношение к «американизму» далеко не отрицательно: он писал проповедникам нового учения благосклонные письма и награждал некоторых из них. Несомненно, он колебался. Заокеанская секта давала ему тысячи новых духовных детей, признавших как-никак непогре-

¹ «Мы не можем» (лат.).

² Но времена меняются (лат.).

шимость папы. Это была одна сторона медали; зато на другой стороне было вычеканено слово «компромисс». Папа Лев — или его советники — поняли, что первая уступка повлечет за собой вторую и третью и что католическая церковь должна остаться строго и гордо консервативной, если она не хочет мало-помалу превратиться в нечто балансирующее между двух огней, как случилось это с лютеранством. *Nihil innovandum*¹.

Кто такой папа Лев XIII? Этот вопрос является при всяком внешнем проявлении его невидимой деятельности. Принадлежит ли он к абсолютно «непримиримым» или готов на уступки в области чисто политической, понятно? Политика его, конечно, «непримиримая», но говорят, что она, как это часто бывает, зависит не столько от папы, сколько от «секретарей», как выразался Крылов. А что такое сам Лев XIII как личность?

Этого никто не знает. Доступ к нему возможен исключительно для тех лиц, которые не станут делиться с публикой сведениями о внутреннем мире папы. Известно только, что он — человек высокого ума, что он очень вежлив и приветлив и отличается сдержанностью характера, не в пример Пию IX. Если он продолжает будирование своего предшественника, называет себя пленником и живет безвыходно в Ватикане, то резкая активная враждебность Пия IX оставлена им, и его официоз, названный в начале этого письма «*L' Osservatore Romano*», отличается относительной сдержанностью и порядочностью тона не в пример другим клерикальным газетам.

Что касается папского затворничества, то утверждают, что по ночам Лев XIII выезжает иногда в закрытой коляске показаться по улицам Рима и осмотреть город, сильно изменившийся и обновившийся со времени избрания нынешнего главы католической церкви.

Папа издал томик латинских стихотворений; говорят, что он довольно талантлив. Мне еще не удалось раздобыть эту книгу: ее довольно трудно достать; кажется, она раздается только «посвященным». Впрочем, недавно какой-то клерикальный журнальчик напечатал составленные Львом XIII латинские шарady, тоже в гекзаметрах; в виде премии отгадчикам было обещано собрание стихотворений папы.

Вл. Эгаль

Одесский листок. 2.03.1899

¹ Никаких нововведений (*лат.*).


Рим

Год тому назад, когда хоронили Феличе Каваллотти, вся широкая *via Nazionale* была запружена толпами народа, провожавшего тело своего любимца на вокзал, откуда останки его были увезены на север, в его любимое Даньенте. В текущем месяце годовщина этой смерти прошла в Риме совершенно незамеченной; некоторые газеты даже и упомянули-то о ней только спустя дня два, приводя отчеты о поминальных торжествах — тоже очень скудных — в Милане и Турине. В самом Риме — необходимо повторить — не было и намека на что-нибудь достойное внимания: жил Каваллотти, умер Каваллотти, кажется, все равно.

Вот что непонятно. Каваллотти был популярнейшим человеком в Италии, одним из лучших — если не лучшим — между деятелями парламента; он был уже далеко не молод, но от него еще много ждали. Все помнят, как поразила итальянцев его смерть на дуэли. И при всем том первая годовщина его смерти проходит чуть ли не забытой в Риме, где он в последнее время действовал и предводительствовал. Правда, отчасти это объясняется аристократическим характером столицы, о котором я уже писал вам: Каваллотти был республиканцем, а главная часть населения Рима, т.е. аристократия, наполовину монархисты, наполовину даже паписты, явные или тайные. Народ, который мог бы сочувствовать идеям покойного депутата, не играет здесь никакой роли. Но в Милане и Турине тот же народ представляет преобладающую часть населения, отчего же и там эти дни прошли так скромно?

Каваллотти составил себе почетное имя и в литературе. Его драмы и *proverbes*¹ очень часто даются в итальянских театрах. Два-три тома его стихотворений, хотя и не обнаруживающих большого поэтического таланта и написанных слишком уже по случаю (это в моде у итальянских поэтов), все-таки читаются с удовольствием, благодаря редкому остроумию и сильному чувству. Хороша полемика Каваллотти с Лоренцо Стеккетти, главою школы поэтов-реалистов, по-здешнему «веристов». Правда, эта полемика — дела давно минувших дней, но филиппики Каваллотти против преувеличенного «веризма» написаны так метко

¹ Здесь: сценки (*фр.*).

и едко, что эти стихотворения могут очаровать даже и профана в области истории итальянской литературы за последнее тридцатилетие. Еще лучше патриотические стихотворения, особенно одно из них, написанное всего два года тому назад, при открытии памятника Гарибальди на Gianicolo (холм, с которого, если помните, Пьер смотрел на Вечный город в одной из лучших сцен романа Золя). В этой балладе Каваллотти заставляет генерала назвать г-на Криспи (произнесшего речь по случаю открытия) просто-напросто ladro¹. Другое стихотворение, написанное 12—13 лет тому назад, доказывает, как Каваллотти уже тогда глубоко понял, в чем беда Италии. Манья величия, желание сидеть за одним столом со взрослыми, губит ее: «Ей отвели за столом последнее место, но наконец и ей подадут блюдо!»

Не кажутся ли эти слова написанными по поводу последних событий? Я говорю о новых потугах Италии на ранг «державы с колониями». Его превосходительству генералу Пеллу и его сотрудникам мало одной Эритреи, которая не дает метрополии ни копейки прибыли (буквально) и отнимает у нее миллионы лир (тоже буквально). Правительство открыло какие-то итальянские интересы в Китае. Как вам нравится сама эта идея об итальянских интересах в Китае? После этого можно смело говорить и о китайских интересах в Италии. Вот как шагает вперед идея сближения народов! Если Россия, Англия и Франция действительно *вынуждены* охранять свои интересы в стране, граничащей с их владениями, причем же тут Италия? У нее достаточно *d'autres chats a fouetter*²: люди от голода, правда, не мрут, но все-таки голодают; отсюда невероятный процент преступников, невероятный отлив эмигрантов и невероятное недовольство, которое рано или поздно может прорваться в чем-нибудь поярче прошлогодних волнений. Правительство давно уже обещало несколько экономических *provvedimenti*³, но вместо того ограничивается представлением новых политически репрессивных законов о печати, об ассоциации, о рецидивистах-преступниках, что только усилит в стране *malcontento*⁴, да увеличит флот, «чтобы не потерять престижа за границей».

¹ Вор (*итал.*).

² Заботы поважнее (*фр.*).

³ Меры, мероприятия (*итал.*).

⁴ Недовольство (*итал.*).

Надо быть ignorant comme un maître d'école¹, чтобы не видеть, что престиж Италии за границей уже твердо установлен. Например, Швейцария формально запрещает ввоз итальянского серебра в 50 сантимов, одну и две лиры, очевидно, находя, что в этих трансальпийских «серебряных» монетах что-нибудь да неладно. В той же Швейцарии, а также везде, где вам угодно, наплыв итальянских эмигрантов своей конкуренцией вызывает у туземных рабочих настоящую италофобию. Наконец, чуть не официальные ноты держав указывают Италии на то, что ее malcontento, опираясь на свойства расы, делает из нее рассадник анархистов; чуть ли не официально бросают ей в глаза имя «нищей». А его превосходительство строит пароходики в железной броне.

Необходимо отметить поведение газеты «Tribuna», этого в высшей степени влиятельного флюгера, редактируемого депутатом Аггилио Луццати: передовицы этого органа — прямые аналогии милитаризма и политики министерства.

В неудаче итальянских притязаний в Китае «Tribuna» винит Россию, влияние которой «преграждает путь *нашим интересам...*» и т.д. Если это верно, остается только пожелать полного успеха русскому послу в Пекине и полной неудачи Италии. Это ее, конечно, не исправит, но все-таки прибавит еще одну единицу к сумме ее значительной — и все еще недостаточной — горькой опытности.

Эгаль

Одесский листок. 13.03.1899

Душа и тело

Рим

В середине 1898 года на выставке в Турине первую драматическую премию получила г-жа Амелия Росселли за свою драму «L'Anima» («Душа»). Недавно это произведение, в первый раз для Рима, шло здесь в театре Drammatico Nazionale и повторилось четыре вечера подряд. Действительно, эта драма стоит особенного внимания и может занять почетное место в нынешней театральной литературе Европы. Литературные до-

¹ Невежествен, как школьный учитель (фр.).

стоинства «L'Anima» не выходят из ряда вон, но сценические — несомненны и значительны. Дело, однако, не в тех и не в других, а в глубоко обдуманной идее драмы.

Прежде чем передать ее содержание, интересно выслушать рецензента «Трибуна», рассказывающего, как создалось произведение.

Синьора (не синьорина) Амелия Росселли, римлянка, никогда не брала пера в руки. Однажды она присутствовала на представлении драмы, идея которой ее глубоко взволновала. Дело шло о женщине, не любившей своего мужа, предпочитавшей ему другого человека, но не желавшей изменить супружеской верности. Эта женщина нашла такой исход: мужу она оставила свое тело, а любимому человеку отдала нераздельно и всецело свою душу, т.е. стала его другом, поверенной, дала ему все, кроме своего тела, что требуется по отношению к супругу от идеальной жены-подруги.

Г-жа Росселли была глубоко возмущена этой развязкой. Автор драмы полагал, что при указанном исходе женщина избегает измены; г-жа Росселли нашла, что, напротив, эта передача души другому и есть настоящая измена, так как обладание душой выше обладания телом.

Эта последняя мысль стала тезисом драмы, которую г-жа Росселли вскоре написала и послала в Турин. А теперь — вот вам содержание драмы.

Ольга де Веларис, молодая художница, замечает, что ее натурщица Мария в этот сеанс очень рассеянна и печальна. Оказывается, что ее возлюбленный, художник Леонарди, уехал и собирается жениться, оставив Марию с ребенком на руках. Ольга утешает ее:

— Ты не должна стыдиться того, что любила человека, которого считала достойным. И не говори, что он похитил твою честь: разве в тебе только одно тело! Разве у тебя нет души, которой никто не может коснуться, если ты этого не пожелаешь, и разве эта душа не осталась в тебе чистой? И разве девственность души не выше девственности тела?

Утешенная натурщица уходит, и к художнице является с визитом молодой Веттори, юноша без занятий, ведущий рассеянную жизнь, но в душе неиспорченный и притом далеко не глупый; Ольга даже того мнения, что он мог бы стать выдающимся художественным критиком, если бы не его лень.

Веттори намекает Ольге на свою любовь, но она просит его не говорить об этом; тогда он отвечает, что повинуется. «Будьте спокойны, — продолжает он, — я не из тех, что устраивают сцены, не имея никакого права на это. Я сумею страдать про себя».

В это время является с визитом к художнице его мать, синьора Веттори, с молоденькой дочкой Грацианой. Обе только что вернулись с выставки картин, которой синьора Веттори возмущена до глубины души. «Больше моей ноги не будет на выставках!» — и добавляет так, чтобы дочь не слышала: «Только и есть, что человеческое тело и тело...» В эту минуту она замечает, что дочь с любопытством рассматривает картины такого же содержания, развешанные в студии Ольги.

— Грациана, не смотри! — вскрикивает мать и повторяет это замечание еще несколько раз, пока Ольга не закрывает несколько особенно ужасных картин.

— Да, — говорит сердито Грациана, — так все: ни выставки, ни театра, ни книг, ничего мне нельзя!

— Я не виновата, — отвечает мать, — это не я пишу безнравственные романы и драмы, которые опасны для девушек.

Ольга вмешивается, замечая, что если бы девушек иначе воспитывали, не было бы опасности. При этом синьора Веттори в ужасе отсылает Грациану «за стаканом воды», а Ольга продолжает:

— Посудите сами. Есть два рода истин: те, которые девушки должны знать, и те, которые они должны игнорировать. И выходит то, что о дозволенных истинах девушка и не думает, а весь свой интерес обращает на другие: запретный плод сладок.

— Ах, твой идеи! — отвечает ей мать Грацианы.

В это время молодой Веттори уходит, и его мать сообщает Ольге свои планы: она хочет выдать Грациану за доктора Сильвио N. и просит художницу наедине поговорить о нем с Грацианой. Слыша это, Ольга вспыхивает и резко отвечает, что не занимается устройством браков.

Грациана возвращается со стаканом воды и в то же время является доктор en question¹. Он начинает веселую беседу с Грацианой: хорошенькая, кокетливая барышня ему не антипатична. Между тем синьора Веттори просит взволнованную Ольгу «показать ей картины». Через несколько минут, однако,

¹ Вышеупомянутый (фр.).

завязывается общий разговор; вскоре синьора Веттори с Грацианой собираются уходить. Перед расставанием доктор рассказывает им анекдот об одной общей знакомой: та повела дочерей на драму, но драма оказалась скабрешной, и несчастной даме пришлось все время кашлять, чтобы заглушить голоса артистов и уберечь своих дочерей от скверны; соседи наконец возмутились, и девицам удалось прослушать все до самого конца действия.

— О, не беспокойтесь, — вставила Грациана, — все девицы прочли уже эту драму, но только тайком.

Когда рассерженная мать уводит ее, Ольга говорит доктору:

— Смотри, Сильвио, вот настоящая девственница, «чистая лилия». Она «ничего» не знает, она «невинна» — и зато сколько же в ней интереса ко всему этому недозволенному? По-моему, в этом направлении души и заключается настоящая испорченность, а вы, мужчины, при выборе жены требуете от нас главным образом физической «невинности».

— Что ты, Ольга, — изумляется Сильвио, — да, конечно, девственность тела — прежде всего!

И, прерывая самого себя, он сообщает Ольге, что его отец согласен на их свадьбу, что они теперь могут повенчаться, а затем он увезет ее на два года в Берлин, куда собирается по делам. Но Сильвио с удивлением замечает, что художница принимает это известие очень сдержанно, опускает голову и спрашивает наконец, отчего бы этой свадьбе не произойти через два года, когда он вернется из Берлина. Сильвио глубоко поражен.

Тогда она говорит ему:

— Слушай, ты сказал, что девственность тела — прежде всего. Знай же, что если так, я не для тебя...

Молодой доктор в ужасе и отчаянии бросается к выходу, но Ольга, рыдая, удерживает его и рассказывает, как это произошло. Будучи девочкой и живя в деревне, она стала жертвой какого-то дикого крестьянского парня, которого видела в первый раз.

— Я долго рыдала, — говорит она, — но потом сказала себе: отчего ты плачешь? Разве у тебя не осталось души, которая чиста и которая принадлежит тебе, и разве душа не выше тела?

Но для юного жреца науки, собирающегося в Берлине пополнять образование, это не логика. Он уходит, оскорбив Ольгу предварительным приглашением стать его любовницей...

В тот же вечер у молодого Веттори, живущего отдельно от родителей, должны собраться несколько друзей. Первым является Сильвио, объявляющий приятелю о своем решении просить руки его сестры Грацианы.

Эта самая Грациана, спустя несколько минут, когда в комнате никого нет, приносит брату записку от отца и — характерная черта — прежде всего кидается к фотографическим карточкам, расставленным здесь в изобилии. Это оказывается еще лучше выставки. Мамы нет, и барышня успевает досыта налюбоваться портретами дам, одетых, по ее выражению, *più po che si* (скорее нет, чем да).

Вскоре после ее ухода собираются приятели (Сильвио снава тут), и начинается пирушка. В это время является Ольга.

— Я была одна, — говорит она, — вспомнила, что сегодня у вас соберутся друзья, и пришла тоже.

Веттори очень рад приходу молодой художницы, и его приятели тоже, но доктор Сильвио проклинает про себя ее эмансипированность. Завязывается общий разговор о театре и именно о той самой драме, которая, по словам рецензента «*Tribun'ы*», побудила г-жу Росселли написать свое произведение.

— А ведь правда, — говорит Веттори, — лучше обладать душой любимой женщины, чем ее телом.

— О, нет, — возражает Ольга, нервно смеясь, — спросите хоть у доктора. Доктор, какого вы мнения на этот счет?

— Я думаю, что девственность тела — прежде всего, — объявляет доктор немножко невпопад, но зато глядя Ольге прямо в глаза.

С несчастной художницей начинается род истерики.

— Он прав, — кричит она, между тем как Веттори возражает Сильвио, — он прав! Что такое душа? Что в ней? Я не дорожу своей душой, я даже готова ее продать! Кто из вас купит мою душу? Доктор, сколько вы дадите за мою душу?

— Я не покупаю душ, — ответил Сильвио.

— Но я отдаю вместе с душой и *все остальное!* — кричит Ольга с нервным хохотом. — Кто покупает?

Тогда начинается странная сцена. Молодые люди наперыв предлагают красавице десять, двадцать и пятьдесят тысяч. Но Веттори объявляет, что дает ей все свое богатство, и Ольга остается за ним.

Друзья деликатно исчезают, а Веттори успокаивает Ольгу, зовет камердинера и велит ему проводить художницу домой. Ольга глубоко тронута его благородством, и через несколько дней становится его женой.

Проходит год.

Сильвио и его молодая жена Грациана гостят у Веттори. Муж Ольги счастлив и до безумия влюблен в свою жену. Она убедила его взяться за большую работу по художественной критике, которую он теперь издает. Зато Сильвио почему-то печален.

В то время как он сидит, тоскливо задумавшись, входит Грациана в костюме амазонки, с хлыстиком в руках. Сильвио просит ее отказаться сегодня от прогулки верхом, потому что ему скучно и он хотел бы побыть с нею. Кроме того, ее частые прогулки вдвоем с «чужим кавалером» (сам Сильвио не умеет кататься верхом) становятся неприличны...

— Ага! — говорит Грациана. — Опять ревность? Я так и знала.

Рассерженный Сильвио строго запрещает (sic) ей сегодняшнюю прогулку, а потом начинает изливаться перед нею свою душу. Грациана слушает и, очевидно, скучает.

— О, Грациана, вылечи мою душу! — молит супруг.

— Ты болен? — отвечает она со своей обычной «очаровательной» наивностью. — Позови доктора.

При этом ответе лиризм оставляет Сильвио, и он обрушивается на бедную жену с упреками, так что она сообщает ему печальную, но несомненную истину:

— Tu m'hai seccato — ты мне надоел.

Он в бешенстве убегает, повторив свое запрещение. Является кавалер, с которым Грациана очень мило кокетничает, и они оба уезжают. В дверях они сталкиваются с Ольгой, которой Грациана предлагает сопровождать их. Но Ольга занята: она переписывает заметки мужа.

Входит Сильвио и узнает от Ольги, что Грациана уехала. Доктор в отчаянии восклицает: «Так всегда!»

— О, не уходите, — молит он свою прежнюю невесту, — дайте мне сказать вам, что теперь я чувствую свою вину и понимаю свою неправоту. Теперь я вижу, что значит обладание душой и обладание телом. О, поверьте, за этот год я успел измучиться. Да, я сознавал, лаская мою жену, что никто, кроме

меня, не касался ее тела, но ее душа — она ни на миг не принадлежала мне, она принадлежала первому встречному, с которым Грациана «невинно» кокетничала в данный день, а таких было немало. Мне часто хотелось задушить ее своими руками, крича: «На что мне чистота твоего тела? Дай мне твою душу, твою душу!» Но души не было. Я вижу теперь: я не друг и товарищ для нее — я для нее орудие, при помощи которого она наконец приобрела желанную свободу, о которой так мечтала!

— Вы, Ольга, — восклицает он после небольшой паузы, — верная жена другого. Но я чувствую, что ваша душа еще со мною, и молю вас: отдайте мне эту душу, пусть она принадлежит мне, который никогда не переставал любить вас.

— Я вас тоже любила, Сильвио, — говорит Ольга. — Но теперь я могу быть вашим другом, я попробую завоевать для вас душу Грацианы, но моя душа, как и мое тело, нераздельно принадлежат моему мужу. Это мое последнее слово.

Грациана возвращается с прогулки с ворохом цветов. В соседней комнате она разбирает их вместе со своим кавалером. Сильвио остается один; до него доносится беззаботный хохот жены. Тогда он достает револьвер и кончает с собой.

Такова драма г-жи Росселли.

Я нисколько не обольщаюсь на счет этого произведения, от которого я, однако, в восторге. Трудно не рассмотреть здесь того, что Л.Н. Толстой называет «каркасом»: план, по которому написана драма и который искусственно и механически подогнан под тенденцию. Как сказано выше, литературные достоинства этой новинки не особенно велики. Но дело не в них.

Или я жестоко ошибаюсь, или в «Анима» г-жи Росселли прямее и яснее, чем когда-либо, поставлен перед нами неумиряющий вопрос о правах и пределах человеческой глупости.

Подойдите к человеку — будь он бездонно глуп или очень умен, это безразлично, — и спросите его: что выше, душа или тело? Он немедленно ответит: «душа». Тогда предложите ему жениться на девушке вроде Ольги, и он откажется.

— Почему? Ведь, по-твоему, душа важнее тела, а душа у нее чиста?

— Эх, — скажет он, — у тебя завиральные идеи.

Так он ответит, если он глуп и даже если он умен. Возьмем Писарева: этот человек уж, наверное, не отличался салонностью в мещанской морали. И, однако, когда ему пришлось

решить вопрос, хорошо ли поступила Соня Мармеладова из «Преступления и наказания», он отказался от ответа, объяснив, что вопрос слишком сложен.

Слышите? Вопрос слишком сложен. Если бы она отдала жизнь, чтобы спасти семью от голодной смерти, вопрос был бы ясен: Соня Мармеладова — героиня. Но она отдала не жизнь, а то, что казалось ей, верно, дороже жизни и при этом, заметьте, что принадлежало только ей и чем она, по всякой логике и всякой справедливости, имела право распоряжаться, как своей собственностью. В таком случае вопрос становится слишком, видите ли, сложным.

Ergo¹, что для нас важнее, душа или тело?

Пройдут, вероятно, годы, прежде чем человечество схватится за свои седые волосы и спросит себя: да какое отношение имеет вся эта «физиология» к нашей душе, к нашей нравственности? Байрон был развратником — это вы узнаете даже из павленковских биографий, но он умер в Миссолунгах, а Лойола — о, этот был очень целомудрен и «нравственен»!

Но в драме г-жи Росселли подчеркнута не одна эта идея. Если эта статья попадет на глаза какой-нибудь матери, пусть она обратит благосклонное внимание на фигуру Грацианы.

Для Грацианы есть «два рода истин: те, которые можно знать, и те, которых знать нельзя». И получаются два следствия.

Во-первых, запретный плод сладок, и барышня преисполняется ко всему недозволенному пламенным интересом. Смею думать, что произошло бы не то, если бы недозволенное было дозволенным. Для Ольги де Веларис, которая почти так же молода, как Грациана Веттори, пикантные картинки именно потому не представляют интереса, что они для нее не запретный плод.

А во-вторых, при таком воспитании девушка только и мечтает, что о «свободе». И выходит, что муж для нее — не друг и товарищ, а «орудие, посредством которого она приобрела наконец эту желанную свободу».

Вот что следовало бы запомнить каждой матери, имеющей дочерей и занимающейся их воспитанием. Педагогика — «наука» ширины неизмеримой, это давно известно. Как у земного шара, у нее нет краев, и путник, отправившийся странствовать по ее простору, в конце концов возвращается к месту,

¹ Следовательно (лат.).

из которого вышел. И, начав воспитание с целью изгнать из души дочери всякое помышление о «том, чего знать не следует», можно достигнуть самых неожиданных результатов: именно эта таинственная область и заинтересует девушку, и как заинтересует?

Memento¹*

Вл. Эгаль

Одесский листок. 17.03.1899



Письма из Рима

Г-Н СЕМИРАДСКИЙ

На *via Gaeta* первый попавшийся лавочник указал мне, где живет столь популярный в Риме «*pittore² Semiradzki*». Пока я звонил у ворот, пока обо мне докладывали, я успел мельком оглянуть небольшой, но изящный трехэтажный палаццо, принадлежащий знаменитому художнику, во дворе раскинут хорошенький сад, все еще зеленый или, скорее, уже зеленый. Дом напоминает загородную виллу, тем более что этот уголок действительно окраина города: сейчас же за стеной сада начинается пространство древнего преторианского лагеря.

В студии пришлось подождать с минуту: судя по небольшому полотну, оставшемуся на рабочем мольберте, визит спугнул любезного художника среди работы и заставил его переодеться. Но я едва успел осмотреть артистически просто убранную мастерскую, как вошел г-н Семирадский, рослый мужчина с моложавым лицом, с русыми волосами и русой бородой, без бакенбард, на американский манер.

Я решился сразу высказать, что долго колебался перед этим посещением, так как автору «Светочей христианства» должны были уже наскучить корреспонденты и репортеры.

* Было бы очень желательно, чтобы драма г-жи Росселли была поставлена у нас. Разрешение на ее постановку было бы, несомненно, дано. Если бы одесские любители заинтересовались этим произведением, перевод его мог бы быть доставлен без всяких затрат с их стороны; это пополнило бы их репертуар интересной и серьезной новинкой, не очень длинной (3 действия) и нетрудной в виду яркой сценичности.

¹ Помни (*лат.*).

² Художник, живописец (*итал.*).

— О, пожалуйста, — ответил г-н Семирадский, — напротив, я с удовольствием дам вам все нужные указания, тем более что журналистов из России здесь почти не видишь.

Действительно, насколько я мог узнать, из коллег, русских корреспондентов, в Риме находится только представитель «Нового времени».

— А я, — продолжал художник, — хотя живу в Риме уже двадцать пять лет, все-таки сохранил о России самые лучшие воспоминания: ведь я в Харькове и гимназию окончил, и университет.

Кроме маленькой картинки, которую г-н Семирадский писал перед моим приходом, в студии находились еще три или четыре больших полотна, пока недоконченных, но уже достаточно разработанных. Сюжеты, как всегда, из классической римской жизни, которую художник так детально знает, так тонко понимает и так высоко ценит.

На одном мольберте несколько стройных женских фигур, несколько девушек римского типа сгруппированы на фоне густой заросли. Одна оперлась на мраморный пьедестал какого-то памятника, другие две полулежат, полусидят в непринужденных и изящных позах. В общем — хорошенькая жанровая картинка из тех, какие вообще любят художники-антиквисты, с тем отличием, что такой реальной игры солнечных пятен на зелени, на белом мраморе, на обнаженных смуглых ручках красавиц никто, кроме Семирадского, не напишет. Краски итальянских лучей переданы так ярко и живо, что сразу вспоминается одна удивительная деталь знаменитой исторической картины того же художника, находящейся в краковском музее: в «Светочах христианства» с такой же неподражаемой яркостью и реальностью написаны блестящие золотые сосуды на левой стороне полотна.

— Эта картина — для выставки?

— Я сам еще не знаю, — ответил г-н Семирадский. — Кажется, пошлю ее в Петербург, но легко может случиться, что уже поздно: знаете, чуть ли не полтора месяца картина должна путешествовать отсюда до нашей столицы.

Вторая картина, разработанная пока меньше других, получает название «Будущие жертвы Колизея». Это — семья новообращенных христиан, притаившихся для тихой беседы или молитвы в каком-то укромном уголке, у маленького фонтана;

из-за стены виден Колизей — конечно, не в том состоянии старческой дряхлости, до какого доведен этот величественный памятник теперь, — и колоссальная статуя Нерона.

Третье полотно будет, несомненно, одной из серьезнейших картин г-на Семирадского. Это — «Христос, благословляющий детей». В высшей степени интересно, что нового даст нам г-н Семирадский в этой работе на сюжет, нашедший себе уже стольких истолкователей. Несомненно, что-нибудь свое, самобытное, оригинальное г-н Семирадский вложит в эту картину, и это намерение, конечно, уже заранее определенно формулировалось в его сознании, потому что иначе он не начал бы этой работы. Но спрашивать, в чем именно будет состоять эта характерная черта, было бы неудобно, а определить самому, при недоконченности картины, — трудно, даже невозможно: лицо Спасителя тоже еще не выписано.

Момент дня выбран г-ном Семирадским опять-таки его любимый и вместе с тем очень трудный: вечерние сумерки, когда женщины сходятся к источнику за водой, сопровождаемые ребятишками... Слово «ребятишки» вместо обычного «дети» против воли просится на язык благодаря своему простому, жизненному оттенку: до того хорошо и правдиво написаны или только набросаны эти маленькие фигуры, с любопытством и доверчивой смелостью глядящие на Учителя. В углу правого плана, за спиной Христа, сгруппированы два или три отдыхающих апостола.

Хороши дети и на четвертой картине. Знатная римлянка эпохи упадка отправилась на прогулку за город; на берегу Тибра, может быть, и даже скорее на берегу какого-нибудь узенького морского залива, потому что вода на картине синяя, а святой Тибр, не в обиду ему будет сказано, желт, как хлебный квас, — где-то на берегу нашлось славное местечко; рабыни-египтянки расстилают коврик для госпожи, которая уже сбрасывает с себя верхнее платье; а пока, пользуясь моментом, ее маленькие сыновья прыгают и катаются по коврику и траве. При окончательной отделке полотна г-н Семирадский оденет мальчиков, но теперь, ввиду сложности поз, они написаны, как аист их принес. Кто любит ребятишек, может до слез залюбоваться этой прелестной картинкой.

Я указал г-ну Семирадскому на небо, написанное над этой семейной сценкой:

— Живя на нашем юге, плохо верится в рассказы о красоте итальянского неба; думаешь, «в конце концов, одно и то же». Только здесь, в хорошие дни, и начинаешь понимать, какие чудные оттенки могут быть в этой синеве.

— Ну, знаете, — ответил художник, — я думаю, что в большей степени все это зависит от самовнушения. Право, само по себе это небо вовсе уж не так прелестно... Другое дело, если вы будете глядеть на него с той точки, где оно граничит с каким-нибудь ярко освещенным зданием: там оно от контраста получает настоящую, полную синеву. Да и вообще все зависит от контраста. Хотя, правда, есть элементы, не нуждающиеся в помощи контраста: такова морская вода. Она... Да, впрочем, вы, верно, как одессит хорошо знаете красоту моря, особенно наше море с его чудным синим цветом. Я в Одессе не бывал, но сужу по картинам Айвазовского, из его лучшего периода, конечно.

Я ответил, что Айвазовский писал свое море в Крыму; на нашем же берегу лучшие моменты не полдневная синева, не особенно ярко выраженная, а изменчивые, переливающиеся и колющиеся полуоттенки заката и молочно-голубая, бледная, с золотыми и оранжевыми искрами окраска на утренней заре.

Г-н Семирадский расспрашивал об Одессе и кивнул головой, узнав, как там редки художественные выставки.

— Слишком уж это, по слухам, коммерческий город; умственная жизнь — того...

Мне пришлось поддакивать; что ж поделаете, горькая правда — дважды правда. Но удивительно, до чего слава нашей молодой столицы в этом смысле разошлась по Европе. О г-не Семирадском нечего и говорить, но сами итальянцы и даже итальянки, которые все еще с подозрительным любопытством спрашивают, какого цвета Черное море, и те знают, что *Odessa s'abbandona troppo al commercio di grano* — чересчур уж увлекается хлебной торговлей.

От Одессы беседа перешла к другим городам. Г-н Семирадский в восторге от Вены:

— Она построена в новом стиле — но сколько изящества! А обойти ее музеи — это значит учиться и наслаждаться: здесь немецкая усидчивость сплетена воедино с тонким вкусом и талантом истинных художников. Как новый город Вена по красоте вряд ли имеет себе подобных.

— Как? А Париж?

— В Париже другое: в Париже — жизнь. А внешность Парижа, его архитектура — Господи, что за безвкусица! Это особенно заметно, если вы подойдете к нему на рассвете, притом после, например, долгого пребывания в Риме. Еще рано, магазины не открыты, народу на улицах мало, и вы увидите всю эту архитектурную нищету неприкрытой. Конечно, я говорю о новых зданиях. Что касается старины, то, например, о соборе Notre-Dame я не могу и говорить: я просто влюблен в него. Он, как известно, не окончен: он должен был заключаться двумя шпилями, а вместо этого обе башни остались точно обрубленными, — но какая прелесть! Эти башни, галерейка, особенно чудная розетка над порталом — слов не найдешь для передачи всего этого.

— А миланский собор вам нравится?

— Как бы вам сказать... Он слишком пестр: чересчур много этих башенок — это не соответствует простоте готического стиля.

По поводу замечания, что миланский собор — *готическое «barocco»* (итальянское видоизменение парижского готического, *barocco* — любимый и характерный стиль XVI века), г-н Семирадский выказал свой взгляд на этот последний стиль, памятники которого в бесчисленном множестве разбросаны по Риму:

— Барокко не нравится ортодоксам, но ведь он все-таки порою чудно хорош, и, в конце концов, надо быть таким гением, как этот Бернини, чтобы создать фонтан Trevi.

В Риме г-н Семирадский живет потому, что здесь под рукой все материалы для его излюбленных классических сюжетов; кроме того, здесь, особенно в женщинах из деревень, удивительно сохранился древний тип.

Разговор зашел о «Quo vadis» Генрика Сенкевича. Я удивился по поводу того, что именно здесь, в Риме, никто — кого ни спросишь — не слышал об этом романе.

— Что делать, славянские языки так мало распространены, что только Толстого и переводят. Зато в Англии и Северной Америке эта вещь имела колоссальный успех; в России тоже. Я, конечно, очень люблю этот роман, но, признаться, больше я ценю у Сенкевича знаменитую трилогию. Как-никак, древний Рим — это предмет не столь оригинальный, как старая Польша, и он не может быть настолько близок сердцу Сенкевича, при всей его эрудиции. А «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Во-

лодиевский» — это сама Польша. По-моему, этих вещей нельзя читать в переводе: в них в каждом обороте, в каждом восклицании — чисто польская *couleur locale*¹.

Я заметил, что действительно лучшим даже переводчикам трилогии на русский язык пришлось сохранить многие польские слова и выражения.

— Конечно! Читать «Потоп» в переводе — все равно, что читать в переводе «Пана Тадеуша».

Разговор перешел на Мицкевича, которого г-н Семирадский артистически понимает и ценит. Однако произведением истинно гениальным он считает только «Пана Тадеуша», из которого мы с наслаждением вспомнили меланхолическое начало, картины Беловежской пуши, — картину огорода, исполненную со свежей простотою Гомера, и концерт Янкеля.

— «Дяды» мне не нравятся, — заметил художник, — я их, прямо говоря, не понимаю, как не понимает, конечно, ни один из их почитателей и толкователей. Я убежден, что Мицкевич иногда писал в порывах такого странного вдохновения, что потом сам не сумел бы расшифровать того, что ему продиктовал его мистицизм, так как задатки мистицизма существовали в нем еще до товианистического увлечения, значит, в эпоху написания «Дядов». Вы, может быть, помните известное необъяснимое пророчество из этой поэмы, предсказывающее появление некоего вождя: «А имя его — сорок и четыре».

Сколько пытались разобраться в этой загадке, что это за 44, а ничего не добились. Я же как-то виделся с сыном Мицкевича, Владиславом, и спросил: «Скажите, пожалуйста, ваш отец никогда не говорил с вами о том, что он хотел сказать в этом месте?» Тот мне ответил, что спрашивал отца, и Мицкевич искренне заявил: «Я, право, сам не знаю!»

Это очень интересное сведение. Я припомнил, что в прошлом году русские газеты одно время интересовались этим господином «Сорок четыре» и наконец пришли к оригинальному заключению, что под этим псевдонимом Мицкевич подразумевал самого себя.

— А что касается «Валленрода»... Лучше бы он не писал этой вещи. Я не могу примириться с ее идеей. И то сказать: ею злоупотребили для своих инсинуаций недоброжелатели известного сорта.

¹ Местный колорит (*фр.*).

Перед уходом я обратил внимание на снимок с какой-то большой картины, занявший почти полстены. Это оказалось эскизом одного из двух исторических полотен г-на Семирадского, помещенных в Московском историческом музее; сюжет работы был взят из рассказа арабского летописца X века Ибн Фодлана «О похоронах Росса в Булгарах».

На прощание г-н Семирадский сказал с маленьким вздохом:

— Я бы хотел побывать еще раз в Харькове, но это невозможно: я очень занят весь год и с утра до вечера, а два свободных месяца летом необходимо проводить с семьею здесь где-нибудь в горах. А в Харьков меня так и влечет. Там еще есть мой старый учитель рисования, г-н Б-чий, преподаватель гимназии. Я ему бесконечно обязан; он имел большое влияние на мою художественную карьеру и дал мне первые и главные начала художественного воспитания. Мне так бы хотелось повидаться с ним! В прошлом году там праздновали пятидесятилетний юбилей его педагогической деятельности; я воспользовался этим и послал ему снимки со всех своих картин.

Пятьдесят лет учителем гимназии! Становится страшно при мысли об этой каторжной перспективе, но, вероятно, старому педагогу отрадно думать, что он воспитал для европейского искусства такого ученика, как Семирадский, — и притом такого благодарного ученика.

Эгаль

Одесский листок. 17.03.1899



Письма из Рима

РИМСКОЕ ГЕТТО

Мне здесь удалось раздобыть февральскую книжку «Русского богатства». Это не очень легко. О русской литературе теперь много говорят в Европе и, значит, в Италии тоже, но много ли читают — это другой вопрос. Здесь популярны — будем надеяться, что не только понаслышке, — наши классики: Толстой, Тургенев, Достоевский, немножко известны Пушкин, Лермонтов, Писемский: раз, два — и обчелся. О Короленко, Чехове и др., столь популярных в Германии, нечего, конечно, и го-

ворить, а у нас, однако, известен и Д'Аннунцио, и плаксивый де Амичис, и даже — *horribile dictu*¹ — г-н Фогаццаро. Что же делать, таковы уж эзотерические свойства русского языка. Поэтому из наших журналов в римской *Biblioteca nazionale* есть только «Вестник Европы». Мне, соскучившемуся по «Русскому богатству», пришлось обратиться к любезности редакции «*Tribuna*», где эта «*rivista russa*»² получается и пребывает в состоянии вечной неразрезанности.

В февральской книжке журнала есть рассказ Зангвилля «Мечтатель». Рассказ трогателен и, главное, невелик, поэтому пройдем молчанием его погрешности и, так как действие происходит в римском гетто, поговорим об этом любопытном уголке Вечного города.

Если свернуть с *Corso* Виктора Эммануила и отправиться в довольно сложное путешествие по переулкам, которые становятся все уже и грязнее, то после получасовых блужданий можно, при удаче, добраться до огромной площади, не вымощенной, что очень редко в Риме. Это и есть центр старинной обители римских евреев.

Здесь город сохранил в полной неприкосновенности свой средневековый вид. Высокие желтые и серые дома лепятся друг к другу, почти друг над другом; окна так малы, что голые гладкие стены, употребляя технический термин, кажутся слепыми. Кое-где, как черные щели, выделяются между домами прорезы узеньких улиц, сбегających к общему центру — площади. В одном углу последней бьет небольшой фонтан, вокруг которого расположился крошечный базар. Десятка два торговков сидят на немощеной земле, заслонясь от солнца колоссальными серыми зонтиками, и продают «разные разности», какие на базарах полагаются.

Необходимо заметить, что в этом углу площади пахнет довольно скверно: дело в том, что бассейн у фонтана утилизирован для помойной ямы (по-одесски «смытник»), и там гниют на свободе всякие отбросы базара: листья капусты, внутренности птиц, выброшенные за выслугой лет овощи и прочее. Тем не менее базар — одно из самых оживленных мест этой пустынной площади. Здесь всегда много женщин, окруженных здоровыми ребятишками и болтающих с торговками, которые,

¹ Страшно сказать (*лат.*).

² «Русский журнал» (*итал.*).

несомненно, знают все городские новости, как вообще дамы этой профессии. Живая, крикливая беседа идет на правильном *dialetto romanesco*¹, которым говорит весь римский *popolino* (простонародье); кроме легкого гортанного оттенка, в акценте обитателей гетто нет никаких особенностей. Даже крикливая, слегка певучая тонировка речи свойственна вообще итальянцам, особенно женщинам.

Детей ужасно много. Тут они дерутся, там бегают взапуски, в третьем месте еще как-то возятся, и все это с писком, криком и хохотом. На противоположном конце площади группа их играет во что-то вроде мяча. Надо подойти поближе: действительно мяч. Маленькие игроки искусно проделывают те же, что и у нас, «лапки», «свечки», «стрекозы», начинают и кончают «коны» (партии). Как эти все тонкости называются здесь, я не успеваю спросить, так как меня заинтересовывает здание, о стену которого мальчики непочтительно кидают свой мяч. Что-то в простой архитектуре невысокого дома внушает, что это и есть знаменитая пятеричная синагога римского *ghetto*.

В рассказе Зангвилля упоминается об этом: папы запретили евреям иметь больше одной синагоги, так что пришлось при помощи какой-то сложной комбинации соединить уже отстроенные пять молелен одной крышей — и готово. Папы остались довольны.

У маленькой двери стоит красивый бритый старик в каком-то форменном берете. Узнав во мне иностранца, он подходит и предлагает мне осмотреть *la scuola* («школу»). Он — сторож синагоги.

Молельни не велики: при усердии в каждой поместятся человек пятьсот, может быть, немного больше. Они внутри очень изящны и носят отпечаток мавританского стиля: несомненно, построены выходцами из Испании. Одна из «школ» называется Храмом Кастильским, другая, кажется, Арагонским; еще одна названа просто «Храмом» (*Tempio*).

Во время осмотра сторож и присоединившийся к нам служка («шамаш») успевают сообщить мне, что обитатели гетто почти все — нищие; живется плохо, но в сравнении с тем, что было, — слава Богу и 20-му сентября 1870 года!

Действительно, под властью пап в гетто жилось не завидно. Все, что рассказывает по этому поводу Зангвилль, правда. Евреи должны были обязательно украшать свои головы шапками (для

¹ Римский диалект (*итал.*).

женщин — повязки) желтого цвета. В девять часов вечера или около того все выходы гетто запирались цепями и железными воротами, и с этого момента до утра весь народ должен был безмятежно почивать в своем квартале. Если же еврея находили позже урочного часа за пределами гетто, нашедший собственноручно «поступал с ним по законам» и затем доставлял его в полицию, где сбирры¹ тоже «поступали» с ним и затем запирали в кутузку, которая, верно, была мало гигиенична; а утром, «поступивши» в третий раз, виновного прогоняли домой, обязав его, конечно, к уплате штрафа.

Понятно, что евреи должны благословить смену правительства. Современный режим дает им полную равноправность. Антисемитов в Италии нет, а клерикалы занимаются этой специальностью только между прочим, так что ассимиляция происходит довольно быстро.

Исчезновение антисемитизма, который в форме религиозной юдофобии свирепствовал в Италии лет семьдесят тому назад, объясняется, понятно, упадком фанатизма; на экономическую же почву, как это случалось в других странах, ненависть к евреям не могла перейти: их слишком мало в Италии, и их конкуренция не заметна.

Результатом страшной скученности евреев в папское время было то, что гетто служило рассадником заразы во время эпидемий; папская санитария обыкновенно локализовала заразу простым способом, описанным у Зангвилля: гетто запирали и не выпускали оттуда никого, пока эпидемия не пройдет. В последней трети нашего века для оздоровления местности центр *ghetto*, где сосредоточивались самые тесные и спутанные переулки, пришлось срыть буквально до основания: та именно немощеная площадь, с которой мы только что осматривали еврейский квартал, была недавно застроена сотнями домов.

...При выходе из «школы» старый сторож указывает мне на большое мрачное здание возле самых синагог и называет его *Palazzo Cenci*.

— Как? То самое, где жила Беатриче Ченчи?

— Именно.

Я не знал, что палаццо Ченчи находится в гетто.

Золя в «Риме» верно заметил, что при первом взгляде на здешние «палаццо» иностранец не только разочаровывается, но совершенно становится в тупик. Это напоминает казармы,

¹ Полицейские, стражники (*итал.*).

до того вся внешность «палаццо» суха и проста. Надо прожить здесь довольно долго, чтобы понять благородное изящество этой простоты; но для современного человека это слишком несложно и даже наивно. В вопросах пластического искусства упорно царит какое-то лицемерие, мешающее сознаться, что для людей XIX века античный стиль в живописи и архитектуре так же чужд, как идиллия Феокрита: мы понимаем, вернее, признаем его красоту, но непосредственно, безыскусственно нравиться нам может только стиль *moderne*¹, стиль Эйфелевой башни.

Теперь палаццо Ченчи, само собой, отдается в наем. На некоторых окнах белеют картоны с обычной в Риме латинской фразой: «Est locanda» — отдается комната.

Я огибаю палаццо и попадаю на какую-то шумную, широкую улицу; в двух шагах — «белокурый» Тибр (*il biondo Tevere*) и мост, с которого гетто кажется еще более похожим на древний средневековый городок рядом с людной улицей нового Рима.

Уходя с моста, я вспомнил, что и здесь гетто дает, выражаясь по-одесски, «старовещников». Теперь уже их не видать; но, судя по некоторым стихотворениям Джузеппе Джоаккино Белли (талантливый поэт, написавший в сороковых годах этого столетия до 2000 сонетов на диалекте *romanesco*, в которых отразился весь римский *popolino*² того периода), — судя по Белли, еврей-старьевщик с его характерным кличем «Аё!» является одной из типичных фигур папского Рима.

Эгаль

Одесский листок. 3.04.1899



Буря

РАССКАЗ*

Рим

Профессор задал сыну урок на завтра, потянулся, подошел к окну и, глядя на море, воскликнул:

— Ну и погода!

¹ Современный (*фр.*).

² Простонародье (*итал.*).

* Это сюжет новой драмы Л.Р. Монтени «*Tempesta*», имевшей большой успех в Риме и Милане.

Адриана, сидевшая за швейной машиной, не успела ответить, как в дверь постучались.

— *Avanti!*¹, — сказал профессор. — Доктор, вы? Вот это мило с вашей стороны. Здравствуйте, здравствуйте; садитесь и рассказывайте, что нового.

— Погода плоха, вот и все.

Адриана внимательно посмотрела на врача и сказала:

— Доктор, вы, верно, от Ланци. Вы, может быть, знаете, от чего синьора Ланци не пришла позавчера?

Доктор замялся:

— Она, кажется, была нездорова... Вы знаете, у этой дамы...

Профессор ходил большими шагами по комнате. Он нахмурился и посмотрел на детей: мальчик посадил трехлетнюю сестренку на колени и показывал ей картинки. Профессор подошел поближе к Адриане и доктору и мрачно сказал вполголоса:

— Это все не то. Старая история. Синьора Ланци узнала, что Адриана не моя жена и, конечно, визит к нам...

Адриана положила шитье и посмотрела на него кроткими глазами.

— Ну, и есть ли из-за чего огорчаться, Джорджо? Пусть синьора Ланци сидит дома. Слава богу, и без нее находятся друзья, которые не забывают нас даже во время бури.

Джорджо пожал руку доктору, а Адриана продолжала:

— Мы вас, знаете, не отпустим в такую погоду. Вы пообедаете с нами, тем более что у нас сегодня некое блюдо... Догадываетесь?

В эту минуту вбежал матрос со спасательной станции.

— Вы тут, синьор доктор, — сказал он, — пожалуйста, скорее. Бурей так закачало маленький пароходик, который шел из Чивитавеккьи в Неаполь, что ему пришлось остановиться у нас. С одной дамой совсем дурно, и вы необходимы. Ее снесли в госпиталь у станции.

— *Ma!*² — сказала Адриана, пока доктор спешно одевался. — Неужели Ланци не могла дать ей место у себя? В госпитале так сыро и холодно! Джорджо, можно было бы перенести ее на это время к нам, eh? Бедняжка, морская болезнь хоть кого свалит.

¹ Войдите! (*итал.*)

² Однако (*итал.*).

— Конечно, — сказал профессор. — Конечно. Доктор, рас-
порядитесь, чтобы ее перевели к нам, в спальню, слышите? —
кричал он вдогонку врачу. — Пусть теперь Ланци говорит, что
мы еще чужих к себе в дом пускаем, не так ли, Адриана?

— Пусть, — ответила весело молодая женщина. Она позва-
ла детей, и оба помогли ей убрать шитье и привести комнату
в порядок.

Потом она пошла в спальню, куда через несколько минут
принесли через другие двери больную.

Тот же матрос вбежал снова к Джорджо и впопыхах подал
ему рецепт доктора. Профессор начал составлять лекарство
и расспрашивал:

— Эта дама одна?

— Нет, с ней господин, очевидно, муж. Он — граф... граф...
как его... граф Венти-Рамполи.

— Вот лекарство готово, — сказал профессор.

Из спальни выбежала горничная, унесла туда лекарство
и заперла дверь. Матрос вышел.

Дверь спальни снова отворилась; показался молодой еще
мужчина. Он подошел к профессору и подал ему руку.

— Простите за это нашествие, — сказал он, — мы вам при-
чиняем столько беспокойства!

— О, синьор, — ответил Джорджо, — право, пустяки.
Не о чем и говорить. Скажите лучше, как чувствует себя ваша
супруга?

— О, благодарю вас, она пришла в себя. Через несколько
минут совсем оправится.

Оба сели и разговорились. Профессор назвал себя и расска-
зал о своих опытах над низшими организмами, ради которых
ему пришлось поселиться в этом приморском городке.

Вошла Адриана. Граф вскочил и спросил:

— Ну, как синьора?

— Лучше, лучше; все хорошо: вашей сестре нужен только
отдых.

— Сестре? — спросил удивленный профессор.

— Э? Гм... — ответил граф. — Ну да, сестре. Я разве не ска-
зал вам, что это... как его... моя сестра?.. Так вы говорите,
синьора, что ей лучше? Тысячу раз благодарю вас и прошу
прощения. Теперь я, с вашего позволения, пойду на пристань
справиться о вещах. Если бы я, профессор, смел просить вас со-
проводить меня...

— О, к вашим услугам, — сказал Джорджо.

Адриана прибавила:

— Я надеюсь, синьор, что вы непременно будете обедать с нами — да?

Он поблагодарил, и оба вышли.

Адриана подошла к шкафу, но услышала шум отворявшейся из спальни двери. Она обернулась.

— Синьора, зачем же вы встали?

— Благодарю вас, я чувствую себя прекрасно.

Вошедшая была бледная, но красивая дама лет тридцати, с золотыми венецианскими волосами, немного развившимися. Она медленно подвигалась по кабинету.

— Какой у вас всюду порядок, синьора, — говорила она слабым еще голосом. — А что это за коллекции?

— Это — коллекция профессора.

— А! Здесь есть и профессор?

— Да, — сказала Адриана. — Это... мой муж, профессор Леони.

— Джорджо Леони? — быстро спросила гостя.

— Вы его знаете?

— О, нет. Но я много слышала о нем. И... вы давно замужем за ним?

Адриане показалось в ее тоне что-то ироническое. Она кое-как ответила, извинилась хлопотами по хозяйству и ушла на кухню.

Гостя подошла к фортепиано и стала разбирать ноты.

В передней послышались шаги. В кабинет вошел Джорджо, увидел ее и остановился как вкопанный.

Она не слышала.

Профессор подошел ближе, заглянул ей в лицо и почти вскрикнул:

— Лаура!

Она обернулась, посмотрела на него и спокойно села у стола.

Джорджо оглянулся, наклонился над ней и сказал вполголоса, но с силой:

— Вы сейчас же оставите этот дом.

— Ну, вы не очень любезны, — ответила она насмешливо. — И, однако, если есть здесь кто-нибудь, имеющий право оставаться в этом доме в качестве вашей жены, то это я, и та... та дама, которая только что рекомендовала мне вас своим мужем, просто присвоила мои права.

Джорджо беспокойно стоял у двери.

— Все это вас не касается. Вы отказались от всего этого в тот самый день, когда покинули меня, по-моему, даже раньше, когда взяли себе первого любовника, — сказал он.

Она осталась совершенно спокойной и закинула назад свою голову.

— Да... И за то — полная свобода, — проговорила она с наслаждением. — И я даже приняла снова свою девичью фамилию.

— Свобода самки. — В его голосе слышалось горькое презрение. — И пользуйтесь ею, сколько вам угодно, но не смущайте моего счастья. Уже и того достаточно, что из-за вас эта женщина и мои дети лишены имени. Оставьте меня в покое, как я оставляю вас.

— А ведь вы меня все-таки любили, — протянула она дразнящим тоном.

Он пожал плечами.

— Да, любил. О, как любил! Когда я узнал о первой вашей измене, мне показалось, что мои боги опозорены, что мое отечество завоевано врагами; когда вы уехали, мне показалось, что моя жизнь окончена... Понимаете?

Она подняла на него глаза. Джорджо продолжал:

— Вас не было со мною! Вы разлюбили меня и не хотели больше знать меня! Я падал на колени и с криком протягивал руки за вами... за вами... А теперь я смотрю здесь на вас с таким равнодушием... с таким презрением!

Она снова опустила голову на стол и задумалась. Голос профессора задрожал злобой.

— И я нашел счастье в этой святой женщине, а потом в двух маленьких созданиях, которым не могу дать своего имени, но из которых я сделаю честных людей. А у вас, — он низко наклонился над ней, — а у вас никогда — слышите, никогда не будет этого утешения!

Она тихим голосом ответила:

— О да, мне тоже хотелось бы узнать счастье матери!

— Что-о-о?! — расхохотался он. — Вам? Да на что вам? Да вы не знаете, что надо быть святою, как эта женщина, надо принести много жертв, чтобы не покраснеть в тот день, когда придется сказать своим детям: «Я родила вас, не будучи женою вашего отца!» Понимаете?

Она вспыхнула и выпрямилась.

— Вы слишком гордитесь предо мною своим счастьем. Берегитесь, чтобы мне не пришло желание испортить его, заявив этой женщине, кто я такая, и потребовав своих прав.

— Вы это сделаете?! А впрочем, что угодно. Будет лишняя низость с вашей стороны — и больше ничего.

В эту минуту через комнату пробежала маленькая девочка: у стола она остановилась и с любопытством взглянула на красивую даму с пышными золотыми волосами. Та потянулась было к ребенку, но профессор быстро схватил девочку на руки и вынес ее.

Вошел доктор с графом. Адриана вернулась и пригласила всех в столовую.

— Grazie¹, signora, — сказала Лаура, — но это невозможно. Мы сейчас уедем.

— Как? — в один голос изумились все, кроме вошедшего профессора.

Лаура тихо сказала графу:

— Я этого хочу, а причины объясню тебе потом.

Адриана была в отчаянии, апеллировала к доктору, мужу и графу, но гостья упорствовала. Тогда Адриана подошла к врачу и шепнула ему:

— Опять та же история. Она узнала, что я не жена Джорджо и не хочет оставаться у меня.



Граф и доктор ушли сдавать в багаж вещи. Гостья, Адриана и Джорджо сидели в комнате.

— Синьора, — начала Адриана, собравшись с духом, — отчего вы не хотите воспользоваться нашим приглашением? Оно от чистого сердца...

У нее в голосе послышались слезы.

— Право, это невозможно. Я тороплюсь в Неаполь, чувствую себя уже вполне хорошо и не хочу попусту беспокоить вас. Все трое молчали с минуту.

— Вы не намерены оставить этот городок? — спросила гостья.

— Зачем? — ответила Адриана. — Профессор здесь занимается своими опытами, а мне везде хорошо с ним. — Она ласково посмотрела на мужа. — Вы не можете себе представить, сколько в нем доброты под этой хмурой ученой наружностью.

¹ Спасибо (*итал.*).

Она была глубоко огорчена, но в гостье ей инстинктивно что-то нравилось, и ей хотелось почему-то рассказать ей «все», «оправдаться» перед ней.

— Нам здесь так хорошо, синьора, — продолжала она, — обыкновенно Джорджо работает, а я шью что-нибудь, и мы всегда вместе; если у меня или у него случается какая-нибудь удача, мы так рады бываем сообщить ее друг другу! Мне с ним хорошо, и я думаю, что ему со мной тоже. Я знаю, что он всем выше меня, но моя гордость в том, что я на этом посту оказалась достойнее другой, которая занимала его до меня.

Джорджо сделал движение, чтобы остановить ее, но Адриана продолжала голосом, который все больше и больше дрожал:

— Видите ли, синьора, мы не повенчаны. Другая женщина — законная жена Джорджо, но она меняла любовников, как наряды, и наконец покинула его. И если бы вы знали, сколько мук она нам стоит! Не из-за нас самих, конечно... Но дети, бедные дети, которым мы не можем дать честного имени отца!

— Так что, я думаю, — тихо сказала гостья, — единственный исход — это смерть той женщины?

Адриана опустила голову и прошептала:

— Тяжело и счастье, достигающееся ценою смерти другого.

Они молчали.

— У вас много детей, синьора? — спросила гостья.

— Мальчик и девочка. Первый ребенок у нас родился через год после нашей встречи. Ах, синьора, я еще теперь помню, как я радовалась ему, и дрожала над ним, и не могла наглядеться. Он был такой слабый и хрупкий, и мне казалось, что если бы ему угрожала опасность, я бы отдала все, свою жизнь и жизнь Джорджо, решилась бы на какие угодно подвиги, дала бы себя измучить и обесчестить, чтобы спасти мое дитя. Он уже ползал и называл меня «тамма»; и потом он на моих глазах начал понемногу слабеть, точно что-то по капле уходило из него: я смотрела на это, терзалась и корчилась по ночам от тоски и боли и не могла ему помочь — ничем, как чужая; и он умер...

Ее голос осекся; Адриана расплакалась. Гостья низко-низко опустила свою золотоволосую голову и прижала к глазам платок.

Джорджо положил Адриане руку на плечо:

— Перестань, милая, что ты...

Она подняла голову и воскликнула:

— Синьора, вы плачете? — Она подбежала к гостье и поцеловала ее тонкую белую руку, с отозвавшимся из глубины сердца полусловом: — O, quanto sieta buona! Как вы добры!

В дверь постучались. Это были граф Венти-Рамполи и доктор. — Синьора, неужели вы все-таки уезжаете сейчас? — спросила Адриана.

— Это необходимо, верьте мне, дорогая синьора, — ответила она, смигивая с ресниц последние слезинки.

Началось прощание.

Лаура тихо подошла к профессору и протянула ему руку:

— Senza rancore — без злобы друг на друга, да?

Он пожал ей руку и ответил:

— Senza rancore, потому что вы видели мое счастье.

К ним подошла Адриана.

— До свидания! — грустно сказала она.

— Прощайте, дорогая синьора. Можно поцеловать вас на прощанье?

Молодые женщины обнялись. Профессор невольно вскрикнул:

— Адриана...

Лаура обернулась к нему и сказала:

— Отчего же нет? Ведь бог знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь.

Джорджо и Адриана остались одни.

— Знаешь, кто была эта женщина? — спросил он. — Синьора Лаура Леони.

Адриана вскрикнула и бросилась к нему.

— О, не бойся, — улыбнулся профессор, — буря прошла мимо.

Вл. Эгаль

Одесский листок. 12.04.1899



Правда

Притча

На болоте лжи не растут благоуханные цветы.

Г-жа Дубельт

Мне вспоминается беседа, которую мы вели в прошлом году в Шафлохе, у Тунского озера.

Шафлох — это длинная глубокая пещера на высоте более тысячи метров над уровнем Адриатики. Она не особенно

грациозна, но именно поэтому она не так изгажена туристами и торгашами, как окрестность «девственной» Юнгфрау, Штаубаха и прочих знаменитостей бернского Оберланда.

Мы сидели на входной площадке Шафлоха, при свете месяца и маленького костра кутались в пледы и дождевые плащи и вели беседу о правде.

Именно одна дама из старых идеалисток горячо утверждала, что каждый должен воспитывать себя так, чтобы не бояться высказывать правду в лицо кому угодно, откровенно и ясно.

Антон Михайлыч, уничтоживший одну сигарету за другой, посмотрел на даму, когда она окончила, покачал головою и заговорил:

— Дайте, барыня, я вам об этой самой правде расскажу а chlyn Sägeli — маленькую былинку. — Он, как все тамошние «старожилы», привык вставлять в русскую речь словечки на Schweizer Deutsch¹. — Только вы не злитесь: я с вами не спорить буду, а просто спрошу, как вот в таком-то случае поступить, по-вашему, должно?



Мой младший брат Семен совсем такой же идеалист, как вы. Он был еще довольно молод — лет тридцать шесть, не больше. Не скажу, чтобы он был как-нибудь особенно умен или хорош собою, но как-никак мужчина видный, с «пламенной» речью, да и благодаря своему прошлому окружен «ореолом» — фигура увлекательная.

Прожил он в нашем городе месяца два, и вот вернулась на каникулы из Питера некая курсистка, славная барышня лет двадцати шести, и собой недурненькая. Встретились они с братом у меня в доме — она к моей жене ходила — и, гляжу, моя барышня возьми да и влюбись в Семена.

Семен, понятно, взаимно, и завели они воркотню, как в этом случае полагается. Условились повенчаться через год, когда барышня окончит свои курсы, и она уехала в Петербург.

Тут, само собой, пошла переписка на всех парах.

Из столицы к нам письмо три дня идет и назад столь же, так что каждую неделю у Семена письмо от Зиночки и у Зиночки от него. Рай и блаженство.

¹ Швейцарский диалект немецкого языка.

Подходит дело к декабрю. Переписка все так же оживлена, только вижу, что Семен начинает хмуриться и меняться в лице. Что такое? Чувствуется, что он все с каким-то разговором подступает ко мне и не может решиться. Прошли так недели две, наконец — свершилось.

Приходит Семен ко мне, осведомляется, не услышит ли жена, и начинает свою исповедь.

— Я, — говорит, — должен сказать тебе прямо, что я и такой, и сякой, и в придачу изменник.

Я изумился, а он все распространяется. Я начинаю понимать, что хотя он может самому себе поклясться в том, что Зиночка царит единодержавно в его сердце и везде, где следует, но тем не менее организм предъявляет и свои требования, а до свадьбы далеко... И опять он себя на все корки ругает: скотом, животным, самцом и прочая.

Осталось мне одно — пожать плечами и осведомиться, чем могу служить.

Он помялся, да и выпалил:

— Откажи, мол, своей Палладе и, бога ради, убери к себе мою Марью!

Вон оно что! «Палладой» жена называла нашу кухарку Пелагею, а Марья состояла в том же чине у Семена. Была эта Марья полная, красивая замужняя бабенка, с мужчинами не строгая — и замутила она моего идеалиста. И объясняет он мне, что отказать Марье безо всякой вины — не в его принципе, а вот если бы у меня вакансия освободилась, так он и сплавил бы свое искушение ко мне.

— Ах, ты, — говорю, — непоследовательный? (Ужасно как он боялся этого слова.) А я-то свою Палладу за что же прогону, а? Это тоже не по принципу!

Опустил он голову, развел руками и ушел.



«Долго ли, коротко ли», только герой мой не выдержал. Обольстился.

После «падения» он уже вынес принципы за скобки, заплатил Марье за три месяца вперед и упросил уехать к мужу. А сам — ко мне и чуть не всю комнату затопил покаянными слезами. Изменник, обманул доверие, самец, и вся эта ихняя терминология. Я его сколько мог успокаивал, да мало действует. Однако время взяло свое; прошло месяца два, и он присмирел.

Слава богу, уговорил я его не писать невесте о своем грехе — зачем ее огорчать?

Приходит лето, она сдала экзамены и явилась. Тут и радость, и восторги; свадьбу, чтобы потешить родителей, решили устроить по-провинциальному — открыто и весело, и срок назначили — в августе.

Тут, я вижу, начинают Семена томить всякие рефлексии да сомнения. Честно ли, мол, скрывать от невесты? (А надо вам знать, что было это в сохранности: Марья уехала в свою губернию, а я и жене не рассказал — мы с нею в дружбе были, да я не люблю той дружеской откровенности, при которой забываешь, где твой секрет, где чужой.) Я говорю: да чего ж тебе, дурень, ее печалить? А иначе, видите ли, подло. Ну, ладно, так расскажи, покайся! А тут, оказывается, это ее так поразит, так поразит, потому что она в него так верит, так верит... Никак невозможно! Absolut unmöglich!

А она действительно в него верила. Не наглядится, не налюбуется, на руках носит. Бывало, до слез со мной ссорится, когда я, подшучивая, начну доказывать, что и Семен не без недостатков. Куда! Идеал, одно слово — идеал. Безупречен, непорочен и велик!

Вижу я, что заживут они себе пресчастливо, если только Семен своей дуростью не напортит, и чуть не на коленях его умоляю оставить фанаберии и промолчать.

— На что тебе? — говорю. — Ведь правда, любовь, все эти хорошие вещи на то и даны, чтоб люди были счастливы; так на какого ж тебе черта применять их для разрушения счастья бедной барышни?

Семен слушает, соглашается, а на другой день опять рефлексии.

Зиночка, хотя и была поглощена своим счастьем, тоже это заметила и начала допытываться: и что с тобой? и, пожалуй, разлюбил? Он все успокаивает ее: ничего да ничего, тебе показалось, — а сам все становится мрачнее.

— Нет! — говорит мне, — все это софизмы. А истина выше всего, и не мог я оставлять ее во тьме, если она так верит в человека, недостойного этой веры, в самца, скота... — и опять пошел сыпать термины.

— Ну, — говорю, — берегись, Семен Михайлыч. Разобьешь ее счастье и свое и тогда будешь настоящим мерзавцем. Хорошая вещь правда, но ведь гуманность-то будет чином повыше и правды, и всего прочего, что есть на белом свете. Помни мои слова.

И вышло, что он моих слов не попомнил. За неделю до свадьбы на коленях, в слезах открылся ей во всем. А она на другой же день уехала в Питер.

Я ушам своим не верил и бросился на вокзал. Она мне уже из окошечка вагона заявляет: нет, мол, я верила и обманулась... А так нельзя мне с ним жить. Разбиты, мол, мои идеалы! Такая бьёрнсоновская героиня!

И мотается мой Семен бобылем до сего дня — сколько лет, и считать противно. Что с Зинойчкой стало — не имею сведений, потому что я в наших краях давно уже не был.

Вот и все. Только я вас опять спрошу: для какого, простите, лешего понадобилась ему и ей эта правда, когда без нее жили бы они себе счастливо и беспечно и никому бы зла не было?



Антон Михайлыч сел на камень у края площадки, спиною к нам. Дама, помолчав, горячо заговорила:

— Счастливы бы не жили, потому что она его, очевидно, не любила: истинная любовь прощает... и, кроме того...

Антон Михайлыч повел глазами в сторону дамы, вынул сигаретку изо рта и сильно плюнул, так что грузный плевок полетел в белый туман, затопивший пропасть...

Вл. Эгаль

Одесский листок. 15.05.1899



Кот-Мурлыка

Н.П. ВАГНЕР

I

Белинский сказал: «Пишите для детей, но пишите так, чтобы вашу книгу с удовольствием прочел и взрослый». Эти слова были произнесены по поводу сказок Гофмана. Действительно, в начале и даже около середины нашего столетия Гофманом зачитывались не столько дети, сколько взрослые. В этом отношении талантливый писатель, избравший себе оригинальный псевдоним «Кот-Мурлыка», может быть смело поставлен рядом с немецким романтиком.

Первый выпуск «Сказок» г-на Вагнера появился, кажется, в 70-х годах и произвел большое впечатление. С тех пор почтенный автор значительно пополнил свой сборник, разросшийся в настоящее время до размера нескольких объемистых томов. Рассказы Кота-Мурлыки можно теперь встретить почти в каждом интеллигентном семействе.

Такую популярность писателя, очень серьезного и даже довольно трудно понимаемого, следует отнести на счет его недюжинного таланта и главным образом его отзывчивости на вопросы нашего времени.

Кот-Мурлыка заслуживает гораздо более почтенного эпитета. Он прекрасно владеет тоном, наиболее подходящим к содержанию его произведений. Так как в этих «сказках» разбор самых ужасных сторон нашей жизни соединяется с простотою и непринужденностью изложения, часто даже с наивностью притчи для детей, то и тон автора соответствует этим обеим сторонам его произведений.

Н.П. Вагнер великолепно владеет словом. Наряду с художественной небрежностью языка вы встретите у него обдуманную симметричность и стройность изложения, наряду со спокойным течением речи — торжественный лирический пафос. И все эти оттенки, тесно связанные с характером каждого изображаемого момента, составляют вместе гармоническое целое. Кот-Мурлыка в совершенстве владеет языком каждого из выводимых им типов. Он далеко не юморист, тем не менее некоторые действующие лица его произведений созданы в строго выдержанном тоне мягкого, светлого юмора: такова, например, сказка о попочке и перепелочке. И остальные любимые типы Кота-Мурлыки: пессимисты, идеалисты, желчные «борцы», измученные искатели правды — все говорят своим, характерным для каждого из них языком и вообще очерчены с поразительной ясностью и выпуклостью.

Действие у Кота-Мурлыки развивается непринужденно, интересно и увлекательно. Склонность к романтизму оттолкнула Н.П.Вагнера от крайностей противоположной школы, презрительно относившейся к занимательности содержания, требовавшей только «сути». Хорошее дело суть, но нельзя забывать, что *genre épique*¹ способен испортить серьезнейшее произведение. А над Котом-Мурлыкой никогда не соскучишь-

¹ Скучный жанр (*фр.*).

ся. Его сказки читаются с захватывающим интересом, огромное воображение автора постоянно заставляет читателя следовать за собою и оставлять яркие следы в его памяти.

Все это дает Вагнеру полное право на признание за ним большого и редкого таланта.

II

Маленькая, незначительная по замыслу и исполнению сказка «Две склянки» может, однако, считаться центром, главным пунктом взглядов автора на современное общество.

У бедного поэта на окне стоят две склянки: одна с чернилами, другая — с амбре. Поэту снится, что склянка с амбре ожила и понеслась вместе с ним куда-то в небеса. Поэт называет свою спутницу «Амброй», ведет с ней оживленную беседу, но ежеминутно его прерывает спокойный и внушительный голос буржуазной склянки с чернилами. Она в качестве законного супруга «Амбры» (обе склянки долго стояли рядом и повенчались) требует, чтобы поэт умерил свои восторги и вспомнил о житейской прозе. Проснувшись, поэт замечает, что обе склянки разбились и содержимое их смешалось. И поэту приходит в голову, что все прекрасное в природе и в душе человеческой также смешано с «узкими стремленьями нашего крохотного самолюбия; везде смесь амбре с чернилами».

Заключаются размышления поэта тем, что он бросается спасать свою рубашку, к которой подбираются разлившиеся струйки чернил и амбре, и отправляется благодарить какого-то высокого «покровителя». Очевидно, и у него, поэта, не без «чернил».

Эта мысль о несчастном, отталкивающем, но неизбежном соединении в жизни «чернил» и «амбре» проходит красной нитью почти через все произведения Кота-Мурлыки.

Вот вдохновенный, гениальный поэт Артингсон («Впотьмах»). Америка считает его чуть ли не главным двигателем ее прогресса. В своей молодости он страстно влюбился в мисс Драйлинг, которая была старше его шестью годами и сказала ему: «Я скоро отцвету, я не пара вам». И он благоразумно послушался ее и женился на другой мисс, а мисс Драйлинг (к которой Артингсон сохранил нежнейшую взаимную дружбу) осталась старой девой, преждевременно одряхлела и в 48 лет стала бесильной старухой. И после 20 лет разлуки мистер Артингсон

встречается с нею, догадывается, чего стоило мисс Драйлинг его благоразумное повиновение ее советам; в довершение всего на глазах старой мисс Драйлинг он покоряет сердце ее племянницы, живого портрета тетки в молодости; он сам влюбляется в эту девушку и, отказываясь от нее с прежним благоразумием, сводит ее в могилу. А это — великий поэт и композитор, гордость передовой Америки.

Но в этой самой повести есть женский тип, в котором, может быть, мало «амбре», зато совершенно не видно «чернил». Это — жена Артингсона, самоотверженная Джелла. Может быть, на этом типе можно остановиться без горечи и отвращения?

Как бы в ответ на это Кот-Мурлыка в другой повести выводит на сцену такую же самоотверженную Джеллу. Она не блещет, но трудно найти в ней что-нибудь отрицательное. И, тем не менее, Н.П. Вагнер, устами поклонника этой девушки, отказывается от нее. Что его отталкивает? Где струйка «чернил» в этом кротком, гуманном создании? Она в самой человеческой природе. У этой девушки тело, как у всего мира, состоит из отвратительных клеточек; под ее красотой скрывается невидимая, но противная сущность жизни — протоплазма; ее прелестное личико под микроскопом оказалось бы обтянутым морщинистой, шероховатой, грубой, мохнатой кожей. И в нравственном существе девушки заключается точно такая же струйка едких, неприятных «чернил»: лучшие побуждения ее души неизбежно основаны на всепроникающем эгоизме: она оказывает благодеяния лишь для того, чтобы доставить себе удовольствие прекращением чужих страданий. И этого не может вынести ее болезненно требовательный поклонник.

Если мы раскроем чудную сказку «Мила и Нолли», то проследим то же явление в высших, более широких областях — в общественной жизни. Мила, попавшая после долгих страданий в безмятежное царство феи Лазуры, не может удовлетвориться полным счастьем, царящем в этом краю; в самом безмятежном блаженстве недостает *чего-то* — может быть, движения вперед, может быть, как говорит Надсон, страдания, к которому мы привыкли; во всяком случае, капля ядовитых «чернил» есть и тут. И этой капли среди целого моря «амбре» достаточно, чтобы отравить чуткое сердце Милы. Мила умирает — может быть, убивает себя, а ее верный друг Нолли поныне мучится над решением загадки:

— Чего доставало Миле? Чего?

Читатель видит, что эти несчастные, не удовлетворяющие люди одарены чрезмерным, болезненным аналитическим чутьем и столь же болезненной требовательностью. Но именно в этом их сходство с людьми нашего fin de siècle¹, один из главных недугов которых заключается в страсти повсюду находить горечь всеразрушающей капли «чернил».

III

У Вагнера есть два типа, которые его очень занимают и которые он всегда противопоставляет друг другу. Один из них — это «борец», суровый, закаленный, страдавший, но энергичный человек, отрицатель настоящего во имя лучшего будущего. Другой тип — кроткий, гуманный, полный любви и всепрощения идеалист, создающий обольстительные утопии, но неспособный к осуществлению своих идеалов даже в минимальной части.

Таковы, например, в рассказе «Князь Костя» Кудинов, с одной стороны, и Костя — с другой; таковы оба героя повести «Макс и Волчок», таковы двое из маленьких героев «Папы-пряника», таковы Гранжо и его жена («Базиль Гранжо») и многие другие.

В этом отношении, по моему мнению, самой характерной является трогательная история «Макс и Волчок». В ней ясно указаны условия, вырабатывающие тот и другой тип.

Маленький Макс живет у своей бабушки, которая в нем души не чаёт. Его балуют, закармливают, устраняют от него всякие заботы. Он — шаловливый, веселый ребенок, но вдруг на него нападает тоска и задумчивость. Он рассказывает своей бабушке сказку о «пареной репке», которая выросла в теплом мягком навозе, между тем как ее подруги пробивали дорогу своим корням в жесткой земле. И вот, когда пришла зима, выносливые репы стойко встретили холода — только выхолненная пареная репка не вынесла их и погибла. Охваченный тоскою, Макс бежит из дома бабушки. В лесу он сходится с одичалым Волчком. Этот энергичный, стойкий мальчик рассказывает Макс свою историю. Он служил на фабрике, терпел голод, холод и побои. Но зато из него вышел сильный человек. И Макс, умирая, говорит Волчку: «Я — "пареная репа", я могу только мечтать и петь».

¹ Конец века (итал.).

Эта дивная сказка, вместе с «Милой и Нолли» и «Базилем Гранжо», никогда не забудется и создаст своему автору почетное имя в истории литературы.



Говорят, что Кот-Мурлыка вреден для детей. Он слишком мрачен, он развивает вредную чувствительность, он «слишком рано» знакомит... и т.д.

Пусть лицемеры вопиют о спасительности блаженного незнания. Мы предпочтем их словам то изречение, которое случит эпиграфом к сочинениям Кота-Мурлыки:

*Буди сознание в человеке:
Пусть к лучшей жизни он идет!..*

В. Эгаль

Одесский листок. 2.07.1899



Ницца la Bella

ОДЕССКАЯ СКАЗКА

Когда оба собеседника спустились с крыльца и обогнули дом, старший из них — господин с глубоко сидящими глазами и сосредоточенным выражением лица — указал на вывеску, что висела над дверью кондитерской, принадлежавшей буфету казино. Он сказал по-французски, с очень резким акцентом иностранца, но правильно:

— Смотрите, вот из чего ясно, что дела Ипсиланти идут плохо.

Его спутник поглядел на вывеску и расхохотался. Он наклонился к уху сосредоточенного господина и крикнул очень громко, как кричал глухим:

— *Ventre-saint-gris*¹, вы правы, милорд!

«Милорд» расслышал и кивнул головой. Действительно, по вывеске юркового содержателя буфета в одесском *casino* можно было судить, каковы успехи греческого восстания.

¹ Черт побери (фр.).

Этот почтенный негодник явился в Одессу из Триеста. Его происхождение решительно невозможно было определить: он называл себя Черноконичем, в качестве истрианского славянина, и Каваллонеро, в качестве истрианского итальянца; таким образом он оказался родным для двух главных элементов населения молодого города, но так как здесь было много греков, то он перевел свою фамилию на благородное аттическое наречие и стал называться еще и третьим именем — Меланиппиди.

А так как Одесса была одним из центров, откуда греческие повстанцы получали помощь, — и не только деньгами, — то ясно, что на вывеске лавочки отражались все перипетии войны. Поэтому когда Каподистрия написал Ипсиланти знаменитое письмо, поразившее горем всю Грецию, фамилия «Меланиппиди» исчезла с вывески Черноконича (он же Каваллонеро), а тотчас после японской истории это имя опять заняло свое место. Но теперь на вывеске снова значилось только: «Cantina e pasticceria di Niccolò Cavallonero — Crnokonich»¹. Слово «Melanippidés» было густо замазано черной краской, следовательно, дела Менохира — как называют героя-князя здешние греки — шли неважно.

Но, хотя Черноконич и был пройдоха, кормил он все-таки очень порядочно и давал хорошее вино. «Милорд» и его спутник вошли поэтому в казино и уселись за столик. Спутник «милорда» весело кивнул головою хорошенькой брюнетке, стоявшей за стойкою буфета, и закричал:

— Eh, signorina Nizza la Bella, come sta²? Прикажите подать нам чего-нибудь *riquant*³!

Ницца притаилась за стойкой и стала в упор смотреть на обоих. Глухого «милорда» она не любила: вообще, англичане ей не нравились, а уж этот — бог с ним. Зато другой, темноглазый, веселый, со странным контрастом смуглого лица и светлых вьющихся волос, в красной рубаше под модной альмавивой, очень интересовал ее. Его здесь окрестили Sandro — подруги Ниццы называли его даже *il brutto Sandro*⁴, хотя Ницце он все не казался «некрасивым», и девушка знала, что он здесь

¹ «Винный погребок и кондитерская Никколо Каваллонеро — Черноконич» (*итал.*).

² О, прекрасная синьорина Ницца, как поживаете? (*итал.*)

³ Острого (*фр.*).

⁴ Некрасивый Сандро (*итал.*).

не по своей воле, а в наказание за какие-то выходки в Петербурге или Москве. В чем эти «выходки» заключались, Ницца не знала, но вся местная молодежь окружала Сандро таким вниманием, что на этот счет не оставалось сомнений: верно, он сделал что-нибудь очень геройское.

С Ниццей его познакомили уже месяц тому назад; Мандрони сам представил его своей невесте по настоятельной просьбе Сандро, которому уши прожужжали рассказами о красоте этой шестнадцатилетней Ницца la Bella. Мандрони молод и красив, соперников он не боится — да и без того у Ниццы много обожателей; и ведь этого изгнанника недаром называют *bruto Sandro* — опасаться было нечего.

Сандро действительно оказался не опасным. Он не увидался за Ниццей — может быть, ему казалось это непозволительным по отношению к Мандрони — и даже мало говорил с нею; иногда только его глаза встречали взгляд девушки. И тогда он откровенно и свободно любовался ее точеным личиком и миндалевидными карими глазами.

Ниццу он удивил. На вопрос подруга она как-то ответила, что Сандро ей кажется *così stravagante*¹... В нем было что-то особенное. Ницца не могла объяснить, что именно: ей только казалось, что он совсем не такой беззаботный, как кажется, и что если бы он меньше хохотал, а больше грустил, то это вернее передавало бы истинное настроение его души. Таких она еще не видела: одесские *giovinetti*² смеялись всегда как дети, а у этого Сандро казалось, что его смех — веселая музыка в правом конце клавиатура, тогда как в левом тянется печальный, рыдающий аккомпанемент — вроде *Miserere*...

Как бы то ни было, синьор Черноконич был очень рад: прежде его дочка почти никогда не соглашалась посидеть в буфете казино, а теперь — вот уже три недели — она проводит там часа по три в день. *Manco male*, и за то спасибо.

Ницца смотрела на Сандро, с аппетитом уничтожавшего котлету, и старалась вслушаться в разговор его с глухим инглизи³. Говорил «милорд», а Сандро слушал и ел.

— Я думаю, — объяснял «милорд» на своем французском языке, — что одно из двух: или он все может — тогда он не добр, потому что заставляет нас страдать; или его силе есть

¹ Такой экстравагантный (*итал.*).

² Молодые люди (*итал.*).

³ Англичанин (*итал.*).

пределы — а тогда к чему он нам? И вообще я думаю, что глупо объяснять загадки при помощи понятия, которое само нуждается в объяснении своего появления.

— Да-а, — протянул Сандро негромко, забывая, что глухой англичанин его не слышал. — Да-а... Все это так, но это, *parbleu*¹, нисколько не отрадно... Красоты в этом нет, понимаете, милорд, красоты. Плохо...

Тут он выпил рюмку вина, поставил ее и вдруг, вспомнив что-то, вскочил и подошел к стойке.

— Синьорина Ницца!

— Что? — спросила она по-русски.

Ницца говорила по-русски очень правильно: она окончила «Градское девичье училище».

Сандро тихо сказал:

— Мне поручили поговорить с вами, синьориночка. Поговорить и даже побранить, *con permesso*, с вашего позволения, конечно. Где бы это можно было? Вы сегодня вечером будете в театре?

— Я попрошу папу.

— *Benissimo* — *e arrivererci presto*². Но непременно!



Синьор Черноконич, прекрасно понимавший свои выгоды, в 1817 году пожертвовал на устройство порто-франко четыре тысячи серебром. Поэтому теперь он считался «степенным гражданином» г. Одессы и владел абонементом на ложу за полцены.

Ложа была обита стареньким красным сукном и оклеена обоями. В ней стояло пять стульев, но считалось неприличным, если являлось более трех лиц.

В этот вечер Арриги пела Розину, и так пела, что в конце действия Ницца заметила слезы у себя на глазах. Синьор Черноконич был тоже очень доволен и заснул только в антракте. Ницца тихо сидела на своем стуле и осматривала «платею», украдкой отыскивая Сандро. Но в *platea*^{*} его не было.

Ницца подняла глаза к ложам и увидела его. Сандро сидел в ложе прямо против *palchetto* Черноконича, и с ним была дама, которую Ницца знала: это была одна из первых красавиц

¹ Черт возьми! (*фр.*)

² Отлично — до скорой встречи (*итал.*).

* Партер; *palchetto* — ложа.

города, недавно приехавшая сюда и уже имевшая много поклонников и неприятельниц. Ее муж был родственником и соотечественником самого синьора Черноконича.



Сандро сидел в ее ложе и казался очень доволен. Его глаза сверкали так весело, что даже зоркая Ницца не нашла в них ничего напоминающего о затаенной грусти, которая постоянно чудилась ей в смехе Сандро. С него она перевела взгляд на его даму, на ее пышное декольте, выпятила вперед нижнюю губку и презрительно шепнула:

— *Fi che scollacciatura!*¹

Сандро увидел ее, ласково кивнул ей и выбежал из той ложи. Через минуту он сидел рядом с Ниццей.

— Вы знаете, о ком я буду говорить?

Она пожалала плечами, оглянулась на отца — он спал — и сказала:

— О Мандрони.

— О Мандрони. Вы очень догадливы. Bravo! И было бы хорошо, дитя мое, коли бы вы были настолько же справедливы и добры, как догадливы.

— Разве я злая?

— Эх! Зачем такие ужасные слова употреблять. Злы ли вы? Не думаю. А впрочем, я лгу. Я это именно думаю. Вы — злая синьорина.

— Я!? Это вы несправедливы, да. В чем моя злость, говорите сейчас?

Сандро засмеялся.

— Ладно. Я вам скажу, в чем ваша злость. Мандрони вас любит? Раз. Вы — его невеста? Два. Но вы запретили ему подымать разговор об этом, пока вы сами не заговорите. Теперь он сидит у моря и ждет погоды, потому что вы обеими ручками отмахиваетесь от каждого его слова. А он, бедный, в июле уезжает в Неаполь, и вас он страшно любит. Что же, не злая вы, синьориночка?

Ницца молчала. Ее головка была опущена, полудетская грудь, декольтированная по моде, тяжело дышала, а хорошенькие пальчики с розовыми, по-детски подрезанными ноготками тиранили голубой веер. Сандро взглянул на этот веер и удивился.

¹ Фи, какое декольте! (*итал.*)

— Эге! — воскликнул он. — Вот что значит южная кровь! Да вы изорвали веер, дитя мое. Что с вами? Неужели вас так волнует этот разговор?

Ницца печально подняла на него глаза и увидела, что с его лица как будто сбежала насмешливая улыбка — или, вернее, сквозь эту насмешливость проглянуло что-то ласковое, участливое, доверчивое и вызывавшее доверие. У Ниццы в груди сладко-сладко сжалось сердце. А папа спал.

Ницца решительно заговорила:

— Хорошо, я вам отвечу.

В этот миг оркестр заиграл увертюру, и синьор Черноконич проснулся.

— А-а-а, — протянул он, — *che veggo! I miei complimenti*¹, Александр Сергеевич.

Ницца вспыхнула и замолчала. Она сразу же почувствовала, что в ней исчезает минутная решимость рассказать этому Сандро, почему она так «зла» с Мандрони.

Он остался в их ложе до второго антракта, а когда упал занавес, он был глубоко растроган и весь полон восторгом впечатления.

— О, эта Арриги! — восхищался он. — Я не отдам ее даже за Каталани, не то что за вашу Дзамбони. Дзамбони! Не к Дзамбони, а вот скорей к Арриги подходит тот сонет вашего здешнего одописца, как его, Пеццола, что ли?

*Melodiosa nel dire, i cori assale,
Mentre virtù nel labbro suo non mente;
Casta nel cor, par che d'amar si pente —
E ad inebbriare ogni mortal poi vale.*²

Он продекламировал этот куплет одесского поэта, уже стоя у двери, и потом откланялся. А Ницца сейчас же стала смотреть на противоположный *palchetto*.

Но там уже сидел муж красавицы и еще какой-то молодой офицер, очевидно, русский, с которым она весело болтала и хохотала.

Потом Ницца опустила глаза и увидела Сандро. Он стоял в проходе четвертого ряда *platea*, и лицо его было нахмурено.

¹ Кого я вижу! Мое почтение (*итал.*).

² Звук голоса ее — сердце усада. / Не знают лживых слов ее уста. / Она скромна, приветлива, чиста, / Но смертный от ее пьянеет взгляда. (*Пер. с итал. Г. Ротенберга*).

На ту ложу он не обращал никакого внимания и даже смотрел совсем в другую сторону. Ницца выждала, пока ее взгляд не встретился с его глазами, и улыбнулась ему.

Он пришел в ее ложу в последнем антракте перед *divertimento*¹ и взял с нее слово, что она будет «миленькой» с бедным Мандрони. Так как он при этом даже ни разу не взглянул на ту ложу, Ницце захотелось сделать ему что-нибудь приятное, и она обещала.



Был вечер, теплый, но не душный; у моря чувствовалась даже приятная прохлада, хотя ветра не было. Море даже не плескало, а только словно ласкалось о берег, и все большие звезды отражались в нем золотыми дрожащими нитями.

По мелкому песку шла Ницца, за нею Мандрони вел ее пожилую тетку. Мандрони был не так скучен, как всегда: он рассказал Ницце о своих дарданельских приключениях, и Ницца должна была сознаться, что приключения очень интересны и что он умеет рассказывать их скромно, не подчеркивая своей роли.

— Oh! Sediam un po², — застонала утомленная тетка.

Но Ницца всматривалась вперед и шла дальше.

Шагах в тридцати, где заливчик замыкался скалою, стоял Сандро в своей красной рубашке. Альмавива³ лежала на песке; Сандро выбирал камни и, изгибаясь, кидал их в море, так что они рикошетом перескакивали по темной воде, вспыхивавшей от ударов фосфорическими серебряными брызгами.

— Мадонна! — воскликнул в комическом ужасе Мандрони. — И это — занятие для чиновника и поэта?! Ах ты, marmot!⁴

Сандро подошел к ним и снял широкополую шляпу.

— Un peu de gymnastique⁵, — оправдался он по-французски, из уважения к тетке Ниццы, которая очень мало владела русским языком. — А что касается моей поэзии, то, право, мне уже кажется, что теперь — basta. Уж больше месяца пера в руки не брал.

¹ Дивертисмент (*итал.*).

² Ох, давайте присядем (*итал.*).

³ Плащ-накидка, модный в начале XIX в.

⁴ Мальчишка (*фр.*).

⁵ Немного гимнастики (*фр.*).

— Старая песня, — сказал Мандрони, а Ницца удивилась.
 — Разве вы поэт?

— М-м, — отвечал Сандро, опуская голову, — к сожалению...

— Согласись, мой милый, что сожаление тут приделано прямо для красоты — *finchè si crede, comme on dit chez nous. Eh?*¹

Сандро оживился.

— Ей-богу, нет! Я тебе не скажу, чтобы всегда, но очень часто я бываю в таком настроении, что согласился бы сделаться кем угодно, только чтоб не иметь в своем формулярном списке двух поэм. О, черт возьми! Испытал бы ты это, мой почтенный друг — смотрят на тебя не как на *simple homme comme il faut*², а... черт знает что... как на аппарат для высиживания стихов.

— Тсс... ты уже путаться начал, — испугался Мандрони, — представь, а я как раз хотел просить тебя прочесть что-нибудь свое мадемуазель Ницце. Вот бы ты был благодарен, а?

Сандро сразу затих.

— Вот что, — пробормотал он по-русски. — Положим... Вечер сегодня очень хороший, и мадемуазель Ницца очень славная барышня. Да и у меня на душе что-то очень поэтично сегодня. *Eh, bien, ainsi soit-il*³. Вы позволите? — обратился он к тетке.

Он читал свои стихи просто, как будто рассказывал, и красивые перекрестные рифмы очень нравились Ницце.

Это была история молодой дикарки из горной деревни на Кавказе. Она полюбила русского пленника и спасла его. Но русский не мог любить ее, потому что его сердцем владела другая, — и эта другая была недостойна ни его, ни молодой черкешенки. А черкешенка все-таки спасла русского, распилив его цепи в тихую лунную ночь. И когда они расстались, она долго смотрела вслед беглецу. Он оглянулся и уже не увидел ее, а увидел только струистые круги да пену в волнах горной речки.

Когда Сандро окончил, тетка встрепенулась и сказала: *c'est touchant*⁴, Мандрони поблагодарил его, а Ницца молча сидела на альмавиве поэта и смотрела на темно-синюю воду. Когда зыбь набегала на подводные камни, вокруг них тоже играли и сверкали струистые круги.

¹ Покуда верят, как говорится. А? (смесь *итал.* с *фр.*).

² Обычного человека, такого, как все (*фр.*).

³ Ну что ж, так и быть (*фр.*).

⁴ Очень трогательно (*фр.*).



Ницца шла по деревянным настилкам к купальням. Она немножко исхудала и побледнела за последние недели, но это ее не портило.

Кто-то нагнал и окликнул ее. Это был Сандро. Альмавивы на нем не было, а вокруг шеи было обернуто мохнатое полотенце, концы которого развеялись за спиною. Он был тоже очень печален; Ницце даже казалось, что ему вовсе не до беседы с нею и что он с трудом подыскивает темы для разговора. Она еще больше ушла в себя.

— Что это с вами? — спросил он. — Для невесты, свадьба которой через месяц, такое настроение не подходит.

Она холодно ответила:

— Вы могли бы и не заговаривать об этом.

Ее сразу охватила злоба на этого Сандро. Зачем он вмешался не в свое дело? Зачем он уговаривал ее выйти за Мандрони? Положим, они давно помолвлены; положим, Мандрони ее любит, и она тоже... когда-то... Но все-таки...

Он сказал:

— Ваша тетка жалуется, что вы ее как-нибудь уморите: вы заплываете обыкновенно так далеко, что вас даже не видно. Экая вы храбрая какая!

— А вы бы, конечно, побоялись. Не судите по себе, — злобно и презрительно сказала она.

Он приостановился.

— Что-о? Побоялся бы? Вене¹. Посмотрим. Сейчас возьму у сторожа полный купальный костюм — и посмотрим, кто лучше плавает.

Солнце стояло уже низко. Вода была спокойна и не очень тепла.

Ницца тихо, но уверенно и мерно проводила по воде обнаженными руками, и вода вокруг нее не пенилась, а только рокотала. Ее волосы были подобраны высоко на темени и придавали ей какой-то лукавый и веселый вид. И точно, тоска ее исчезла.

Она уплыла уже так далеко, что купальни только неопределенно белели где-то на берегу. Никто не увидит. Она немножко приподняла голову и плечи и оглянулась.

¹ Ладно (*итал.*).

Сандро подплывал к ней справа, звучно и коротко хлопая по воде мускулистыми смуглыми руками.

— Теперь я спокоен за вас, — сказал он, — начнете тонуть — спасу. А потом явлюсь к синьору Черноконичу и потребую презренного металла, ибо оный никогда помехой не служит.

Он плыл шагах в десяти от нее и ближе не подплывал. Вода точно убегала под ними. Было так тихо, что им даже не приходилось повышать голос.

— Слушайте... — начала она.

— Что, друг мой?

— Разве вы в самом деле считаете меня своим другом?

Он подумал и сказал:

— Да.

— Хорошо, я рада, — ответила она. — А тогда... ответьте мне искренне на один вопрос.

— Искренне? Что ж, как другу, можно.

— Отчего вы всегда так печальны — и вот сегодня тоже? У вас какое-то горе, да?

Тогда он подплыл к ней на два шага ближе и рассказал ей все, что мучило его душу.

И Ницца ярко представила себе эту женщину, какую видела ее тогда в театре, — красавицу с роскошными волосами и роскошным декольте. Но у Ниццы не было в сердце уже ни отвращения к ней, ни злобы, а только одна глубокая, щемящая боль. Она тихо спросила:

— Разве она вас не любит?

— Я не знаю, — в отчаянии ответил Сандро. — Я не знаю, синьориночка. Но я очень несчастен... и очень смешон, и не будь вы такая милая, славная подруга, я не рассказал бы вам этого ни... Да что с вами? Что вы побледнели? Вы устали?

— Это ничего, — очень тихо ответила Ницца. — Право, ничего. Видите, сюда едет лодка. Плывите, а то неловко. Я тоже плыву обратно, уже пора.

Он внимательно всмотрелся в ее лицо, потом в парус, показавшийся в стороне предместья, и уплыл, сказавши:

— До свидания, синьорина Ницца.

— До свидания, — прошептала она.

Он уплывал все дальше. А Ницца неподвижно лежала на спине и смотрела, закинув голову, на бледное предзакатное небо, и боль в ее сердце росла и росла и превращалась в странное, мучительное отчаяние. Она разом вырвала руки из-под

головы, высоко подняла их над водою и заломила свои тонкие пальцы с розовыми детскими ноготками. Слезы стали жечь ее глаза, и ее головка погрузилась в тихую воду.

И Ницца стала опускаться. Сначала глаза ее были открыты, потом она зажмурилась. В груди сперлось дыхание, в голове стало страшно тяжело. Вдруг ужас охватил ее, она вся содрогнулась, и в ту же минуту ей в горло хлынула соленая вода, проникая куда-то глубоко-глубоко — в самое сердце.

Лодка с парусом, покрасневшим от заката, быстро неслась по воде. В ней сидел глухой англичанин, смотрел в небо, думал свою думу и ничего не слышал.

Вл. Эгаль

Одесский листок. 4.11.1899



Письма из Рима

2 декабря Рим воздавал последние почести своему усопшему синдикку¹, князю Эммануэле Русполи. Уже заранее предвиделось такое стечение народа, что войска чуть ли не с утра загородили все проходы в лучшую часть города; из этой цепи выпускали всех желающих, но никого не впускали, так что многим мирным гражданам пришлось прождать до четырех часов, когда они наконец получили разрешение вернуться домой. Зато порядок был образцовый. Шествие проследовало по улицам Corso и Nazionale между двумя густыми шпалерами зрителей; лавки по пути катафалка были закрыты, и на них читалась надпись: *«гражданский траур»*.

На колесницу было возложено много венков, между прочим, от короля и королевы. Любопытно, что на венке от короля красовалась следующая надпись: «Князю ди Подджо-Суаза — Умберто I». Очевидно, у короля были какие-нибудь основания чувствовать больше расположения к князю ди Подджо-Суаза, чем к синдикку столицы.

Однако покойный Русполи как личность не представлял из себя, насколько известно, ничего особенно замечательного. Зато на своем посту он пришелся как раз кстати и был, можно сказать, образцовым главой муниципалитета.

¹ Мэру (*итал.*).

В Риме, где весь смысл муниципальной политики заключается, может быть, в урегулировании отношений между либералами и побежденными, но не сложившими оружия клерикалами, умение лавировать между партиями, никого не раздражая, но и не поступаясь своими убеждениями, умение, которым в совершенстве обладал Русполи, было настоящим сокровищем. Конечно, будучи либералом, он не мог похвастать особенными симпатиями сильной клерикальной партии, занимающей правые места в совете на Капитолийском холме, но благодаря его такту это нерасположение никогда не выражалось в резких, непарламентских формах.

Русполи при вступлении своем в эту должность поставил перед собою две задачи: внешнее благоустройство Рима и муниципализацию предприятий. Этой программе он неуклонно следовал до последнего дня.

Надо заметить, что задача благоустройства Рима труднее той же задачи, выпадающей на долю лорд-мэрам других городов мира. Повсюду эта задача заключается в том, чтобы уничтожать и сносить старое и на его месте воздвигать новое, согласно последним словам науки. Но в Риме, где все старое священно и неприкосновенно, где не только каждый монумент, но каждый узенький, кривой, грязный переулочек с лишенными воздуха домами представляет собою необходимую черточку в характерной физиономии Вечного города, так что за уничтожение ее пришлось бы дать отчет перед всей образованной Европой, дорожающей именно этим, *старым* Римом, — здесь приходится лавировать, работать «в два фронта», воздвигая новое и сохраняя, даже реставрируя, старое. Из этого затруднения Русполи вышел с честью. С одной стороны, при нем совершенно прекратилось расхищение останков древнего Рима, бывшее эпидемией в доброе старое папское время; многое было приведено в порядок, укреплено, подновлено; при нем, может быть, и не без его инициативы, начались предпринятые министром Баччелли раскопки на форумах. С другой стороны, столица Италии при нем оделась в «гранитную броню», обзавелась электрическим освещением, трамваями, полезными учреждениями; в этом отношении Русполи столько сделал, что в числе городов, славящихся благоустройством, к муниципалитетам которых обратился за советом по некоторым техническим вопросам городского хозяйства одесский городской голова, значится и Рим.

Что касается муниципализации предприятий, то в этом отношении еще рано подводить итоги деятельности Русполи. Это цель, которой невозможно достичь в какие-нибудь десять лет: Русполи почти ничего не успел обратить в собственность города. Но только со временем будет видно, насколько контракты, заключенные им с различными компаниями, составлены удачно в интересах городского хозяйства и насколько ведут они к осуществлению главной задачи каждого муниципально-го организма — к превращению города в собственника всех предприятий, имеющих общественную важность.

Эгаль

Одесский листок. 28.11.1899



Письма из Рима

Перед уголовным трибуналом Милана проходит теперь запутанное дело, волнуемое всю Италию по обилию и острому характеру вопросов, поднимаемых этим процессом.

Канва преступлений следующая. Лет десять тому назад на высшем посту при Banca d'Italia¹ в Сицилии находился некий Нотарбартоло, честный человек, решившийся не допускать тех злоупотреблений, которые до того времени неизменно изо дня в день практиковались в этом учреждении. У Нотарбартоло нашлись сильные враги, посыпались анонимные и другие угрозы, и, наконец, честного человека убили в вагоне поезда. Преступники бесследно пропали.

Все Палермо знало наверное, чьих рук это дело, но на формальный донос никто не решился, следов преступников не нашлось (это будет видно ниже), и дело кончилось измором.

Теперь, через десять лет, сыну покойного Нотарбартоло удалось возбудить обвинение против палермской полиции, которая сделала все от нее зависящее, чтобы не дать истине выплыть наружу. В настоящее время перед миланскими судьями выясняются такие вещи, что даже высшие представители страны, каждое слово которых имеет официальное значение, не стесняются упреждать решение суда, высказываясь самым определенным образом насчет сицилийских блюстителей поряд-

¹ Банк Италии (*итал.*).

ка. Об этом говорили и министры, и сам король во время приема депутатов. Министр внутренних дел ограничился только шаблонной просьбой «не смешивать всей корпорации с...» и т.д.

Подкладка дела Нотарбартоло тем более ужасна, что она указывает на гангрену, охватившую общество от самого низа до самого верха, от мелкого южного жулика до члена палаты представителей.

Во всей Европе известно, что такое *camorra* и *mafia* — две городские и разбойничьи организации со сложным и хитрым устройством, насчитывающие тысячи, может быть, и десятки тысяч членов и действующие в южной Италии: каморра — в счастливом Неаполе, а мафия — в Сицилии; это — братства с доведенной до совершенства техникой взаимопомощи, представляющие огромную «черную силу», противодействующую распространению культуры в народе. Но неизвестно то, что в каморру и мафию входят не только дети подонков общества, так называемая *malavita*¹, но и люди высших слоев, преследующие свои особенные цели, совершенно недоступные для обычного состава воровских братств, которыми эти люди только пользуются в виде удобного орудия.

Из результатов процесса Нотарбартоло получается картина поразительного могущества мафии. Убийцы покойного прежде всего принадлежали к этой почтенной корпорации; следовательно, те, у кого был «зуб» против Нотарбартоло, т.е. служащие банка, имели сношения с мафией.

Затем полиция старалась замаять дело, составляя подложные документы, уничтожая такие следы преступления, как окровавленное белье убийц, и предупреждая заподозренных о предстоящих обысках. Значит, у полиции тоже было кое-что общее с упомянутыми чиновниками и с мафией.

Наконец, как теперь выясняется, чуть ли не главным виновником всего этого дела, вдохновителем мафии и ее арендаторов является некий *oporevole*² Полиццоло, в настоящее время занимающий пост депутата на *Montecitorio*.

Даже итальянцы, привыкшие к подземным махинациям, ахнули от ужаса при виде такой роскошной акклиматизации мафии под всеми параллелями общества. Они так заинтересовались этим пышным растением, что о мафии печатаются статьи

¹ Уголовники; подонки общества (*итал.*).

² Досточтимый (*итал.*).

в серьезнейших изданиях и юридическое общество в Риме посвятит тому же вопросу одну из своих еженедельных лекций. Это значит, что вопрос о тайных братствах *malavita* для Италии не менее важен, чем «важные» вопросы об эмиграции и о колониальной политике.

По отношению к депутату Полиццоло особенно ярко выражается это необычное для официального мира предвосхищение решения суда.

Дело в том, что *onorevole* теперь «обретается в нетях», как говорилось в старину. Один депутат спросил у президента палаты Коломбо, верны ли слухи, будто он, президент, получил прошение Полиццоло об отставке. Коломбо ответил, что прошение было, но оказалось подделкой какого-то мистификатора. Тогда депутат от лица всей палаты заявил, что сожалеет о том, что прошение не было подлинным.

И президент, чья обязанность состоит в том, чтобы протестовать против каждого резкого слова, не протестовал.

Эгаль

Одесский листок. 3.12.1899



Письма из Рима

Депутат Турати, один из популярнейших людей в северной Италии, был осужден за майские беспорядки прошлого года и заключен в тюрьму, но весной 1899 выпущен в силу дарованной королем полуамнистии. Благодаря этому он очутился в очень двусмысленном положении. С одной стороны, как депутат он неприкосновенен и в высшей мере пользуется всеми правами, какие могут быть у итальянского гражданина; с другой — над ним тяготеет полицейский надзор.

На днях, ввиду предстоящих административных выборов, в Милане состоялось собрание крайних партий, «гвоздем» которого должен был быть Турати. Но он прислал письмо с известием, что получил от миланского префекта формальное запрещение присутствовать на собрании с угрозой, что в противном случае само собрание будет немедленно распущено, а против него, Турати, будет возбуждено судебное преследование.

Расчет префекта оказался плохим: письмо Турати наделало во сто раз более шуму, чем сколько могло бы произвести присутствие самого Турати.

4 декабря в палате на негодующий запрос одного из депутатов президент Совета министров Пеллу — кажется, в первый раз в своей жизни — объявил, что не принимает на себя ответственности за поступок префекта и находит его незаконным и нетактичным (*inopportuno*).

6 декабря по этому же поводу в палате состоялось одно из самых интересных заседаний сессии. Дело в том, что Турати прислал прошение об отставке и просьбу своим друзьям не подавать голосов за отклонение этого прошения.

Конечно, можно предполагать с большой долей вероятности, что г-н Турати рассчитывает втайне именно на это неприятие палатой его отставки. Просьба же к друзьям, очевидно, была прибавлена *pour éviter le ridicule*¹ в случае, если палата все-таки отпустит его с миром.

В заседании палаты 6 декабря Бардзилаи, депутат левой, обрушился на правительство с упреками за всю его политику, носящую характер жестокости и уверток. Через три дня после того как король при открытии парламента обещал отмену административной ссылки («принудительных поселений»), министерство объявило, что это была, так сказать, устная опечатка и ничего подобного не имеется в виду. Ясно, что при такой изменчивости настроений правительства префект не знал, какого курса ему держаться, и рискнул посягнуть на свободу депутата, надеясь угодить начальству. Чем он виноват, что подул случайно другой ветер? Бардзилаи требовал отклонения отставки оскорбленного депутата.

Еще больше горечи было в речи Дзанарделли, которая произвела большое впечатление. Оратор был недавно президентом палаты и вообще пользуется глубоким уважением друзей и врагов.

Дзанарделли подчеркнул характерную особенность этого министерства, которое точно задалось целью бороться с народным представительством. Он заявил, что не признает отказа Пеллу от солидарности с миланским префектом. Напротив, поступок последнего был необходимым следствием полицей-

¹ Чтобы не выглядеть смешным (*фр.*).

ского раздора, от которого министр Пеллу не желает освободить Турати; этим он парализует значение королевского помилования после того, как сам добился, чтобы это лицемерное «помилование» заменило полную амнистию, обещанную королем.

Дзанарделли тоже требовал неприятия отставки, Пеллу отвечал, главным образом оправдывая себя. Префект предварительно телеграфировал ему запрос, можно ли запретить Турати участвовать в собрании. Пеллу отвечал отрицательно, но ответ пришел в Милан слишком поздно. Конечно, остается открытым вопрос, почему ответ запоздал? Затем президент совета напомнил, что когда он был призван к власти, печальные события уже произошли, и потому не он ответствен за введение осадного положения и военных трибуналов. Он закончил своим обычным приемом — заявлением о желательности амнистии, но «в пределах, допускаемых...» etc.¹, т.е. применительно к... обстоятельствам.

Палата вотировала любопытное решение. Как известно, в избрании нового депутата назначается комиссия (джунта) для расследования, не было ли при выборах подкупов, давления на избирателей и вообще незаконных приемов; результаты следствия представляются палате, и последняя утверждает или отвергает избрание нового члена.

Джунта еще не закончила своих работ по поводу нового избрания Турати. Было поэтому предложение Соннино, к которому присоединился и Пеллу, — отложить вопрос о принятии отставки до утверждения избрания Турати. Так палата и постановила.

Как характерен этот вотум для парламента на Монтечиторио, который благодаря огромному проценту безличной и равнодушной депутатский черни пуще огня боится всего решительного и окончательного и предпочитает елико возможно отдалять момент, когда наконец придется склониться бесповоротно в ту или другую сторону!

В. Эгаль

Одесский листок. 12.12.1899

¹ И так далее (лат.).



Итальянская мафия

Рим, 7(19) декабря

Последние дни были богаты событиями, самое шумное из которых, несомненно, арест депутата Полиццола, замешанного в процессе Нотарбартоло, который разбирается теперь присяжными в Милане.

Чтобы сделать рельефнее в глазах читателей эту интересную фигуру депутата — коновода огромной разбойничьей организации, нужно напомнить вкратце фабулу дела Нотарбартоло, дела, которое произвело сильное удручающее впечатление на всю Италию, да и за границей не осталось незамеченным.

Нотарбартоло, лет десять тому назад занявший пост директора Banca di Sicilia¹ в Палермо, деятельно принялся за искоренение беспорядков, царствовавших в этом учреждении. Ему удалось отчасти положить конец злоупотреблениям, но зато он нажил сильных врагов. Борьба кончилась тем, что Нотарбартоло убили в вагоне поезда. Немедленно начато было следствие по этому делу. Во всей Сицилии не было человека, который не знал бы наизусть имен виновников преступления. При всем том дело об убийстве Нотарбартоло прекратилось «за неимением данных и улик». Только теперь прокуратура нашла возможным снова начать этот процесс, но перенесла его в Милан, так как на беспристрастие палермского суда положиться было бы рискованно: дело в том, что та же сила, жертвой которой стал Нотарбартоло, дает себя чувствовать и сицилийской магистратуре, создавая такую среду, в которой не могут существовать благонадежные элементы; честные люди неохотно занимают там судебные и административные должности, так что за сицилийскими чиновниками в Италии давно уже утвердилась печальная слава.

Эта темная сила, представляющая одну из худших язв южной Италии, носит имя мафии (у неаполитанцев — каморра). Образуя тесно сплоченное общество, mafiosi, число которых и приблизительно трудно определить, держат в страхе всю мирную часть сицилийского населения, обеспечивая себе

¹ Банк Сицилии (итал.).

безнаказанность и свободу действий не только в деревнях, но и в лучших городах острова. Преступления до того часты, что газеты указывают на три последних дня, прошедших в Палермо без убийств, как на следствие особенно энергичных мер полиции. Тем не менее эта мафия не была бы еще так страшна, если бы в ней принимали участие только низшие классы населения, подонки, так называемая *malavita*. Но когда обнаруживается, что и зажиточные горожане, и члены полиции, и даже судьи состоят в близких сношениях с той же организацией и что во главе ее фигурирует человек, пятнадцать лет подряд занимающий кресло в палате народных представителей, тогда, понятно, опасность слишком уж резко бросается в глаза обществу и благодетельные потрясения, вроде нынешнего скандального процесса, становятся буквально необходимыми.

Подкладка дела Нотарбартоло такова: приказание убить несчастного директора банка, приведенное в исполнение мафией, исходило от *opogevole** Полиццоло; полиция, вдохновляемая тем же *opogevole*, дала возможность скрыться всем непосредственным участникам преступления и уничтожила вещественные доказательства; наконец, суд вычеркивал систематически из протоколов своих заседаний все свидетельские показания, направленные против убийц и их высокопоставленного покровителя. Вместе с тем обнаружилось, что общественное мнение считает Полиццоло и его мафию виновниками не только одного этого преступления; свидетели миланского суда говорят о такой уверенности Полиццоло в своей безнаказанности, что он позволил себе после прекращения первого процесса об убийстве Нотарбартоло устроить у себя в имении пир на весь мир по случаю этого радостного события, и полиция знала это и молчала. Другие свидетели рассказывают о мощи и власти мафии, о том, что богатым помещикам приходится платить ей контрибуцию во избежание всяких недоразумений, а богатые помещики, вроде принчипе¹ Мирто, не отрицают этого.

Одним словом, получается картина полного могущества и еще большего, поражающего могущества Полиццоло, потому что этот депутат, очевидно, был царьком в своей области и держал ее в терроре.

* Почтенный — официальный титул итальянских депутатов и сенаторов.

¹ Князь (*итал.*).

Курьезная история ареста этого депутата: 9 декабря утром никто еще в Риме не знал, что в палате будет речь о возбуждении преследования против Полиццо. Палата не раз уже высказывала по адресу отсутствующего своего члена очень резкие мнения; дошло даже до того, что ею было выражено единодушное сожаление, что прошение Полиццо об отставке, полученное президентом палаты, оказалось только мистификацией какого-то шутника. Но, несмотря на все эти зловещие признаки, внезапное решение палаты оказалось какой-то неожиданностью для всех обывателей как Рима, так и других крупных центров Италии и, в частности, Палермо.

Министр юстиции внес свое предложение, и палата, сократив до минимума обычные формальности, единогласно, простым вставанием разрешила преследование Полиццо. При этом, чтобы Палермо не могли достигнуть слухи о происходящем в палате раньше, чем почтенный депутат будет арестован, правительство употребило очень эксцентричный прием, какой даже в романах вряд ли встретится: специальный телеграфный аппарат на Монтечиторио (так называется дворец, где происходят заседания палаты) оказался якобы испорченным, а посылка телеграмм с общей станции стоит слишком дорого; кроме того, корреспондентам каждые четверть часа сообщалось, что аппарат скоро будет исправлен, и лишили этой надежды только тогда, когда было уже слишком поздно. Благодаря этому все газеты, кроме римских, остались без парламентских известий, но зато в Палермо все было тихо.

Полиция Палермо уже давно следила за Полиццо и через два часа после вотума палаты арестовала его.

Кроме ареста Полиццо, процесс Нотарбартоло вызвал несколько других парламентских «инцидентов», из которых один занимает общество и печать уже несколько дней подряд и еще далеко не «исчерпан». Дело в том, что во время первого, не доведенного до конца процесса об убийстве Нотарбартоло нынешний военный министр, генерал Мирри, был в Сицилии главой полицейской администрации. Поэтому ему пришлось явиться для дачи свидетельских показаний перед миланским судом присяжных, что он и исполнил, произведя своими словами огромное впечатление. Ничего особенно нового он не разоблачил, но на публику, а затем и на все итальянское общество глубоко подействовал прямой и откровенный тон, необычный в устах министра.

Генерал Мирри объявил, что следствие велось с непрости- тельной, «величайшей и даже преступной небрежностью». Едва он, Мирри, был назначен на пост чрезвычайного комиссара в Палермо, как сейчас же деятельно принялся за розыски по делу Нотарбартоло, но ему мешала удивительная торопли- вость магистратуры, спешившей покончить с процессом и за- явить его; и как раз тогда, когда он, Мирри, казалось, напал уже на верный след, его известили, что дело прекращено.

Конечно, и до показания генерала Мирри ни для кого не бы- ло тайной, что магистратура в Палермо нисколько не меньше виновна в печальных событиях, о которых идет речь, чем поли- ция или муниципалитет.

Но в палате оппозиция посмотрела на показания Мирри с иной точки зрения. В нескольких запросах и статьях, подпи- санных депутатом де Феличе (который опубликовал недавно важные разоблачения относительно Полиццола и некоторых других членов парламента), генералу Мирри были предложе- ны следующие вопросы.

Если он нашел в действиях палермской магистратуры не- законную торопливость, «преступную небрежность», если он видел, что дело прекращено будто бы за неимением улик, тог- да как он сам, однако, «напал на след», то почему он, генерал Мирри, не обратил на это внимания Министерства юстиции? В палате он заявил, что, если и на этот раз судьи не окажутся на высоте, то правительство должно будет вмешаться; значит, он признает возможность правительственного вмешательства в дела правосудия; отчего же тогда в бытность свою комиссаром в Сицилии он не вызвал этого вмешательства?

Другой вопрос, который де Феличе предложил *опогevole* Мирри и его товарищам, не менее щекотлив, потому что и те- перь следствие по делу Нотарбартоло ведется не в Милане, где происходит суд, а в том же Палермо. Так, в настоящее время там допрашивают депутата Полиццола и даже предполагаемого убийцу, некоего Джузеппе Фонтана. Но из официальных дан- ных, опубликованных в начале 99-го года, видно, что личный состав судебных учреждений почти тот же, что был в 93-м году. Почему же министерство, член которого так обрушился на эту самую магистратуру, оставило в ее руках предварительное следствие? Это действительно странно. Покамест ответа на этот вопрос не было. Генерал Мирри в палате ограничился ука- занием на то, что никому нет дела до его показаний и что он,

в качестве свидетеля, исполнил свой долг. Сказано это было с обычным пренебрежением к палате, от которого никак не могут отделаться оба воина, входящие в состав нынешнего министерства, Мирри и его коллега Пеллу, и никого не удовлетворило. Подождем.

Любопытно видеть, с какой трогательной простотой относятся жители Сицилии к существованию и деятельности мафии. Например, недавно некий князь и сенатор поведал одному журналисту, ничтоже сумняшеся, следующий веселый анекдот.

У князя в Сицилии — обширные плантации фисташек, стоившие ему большого труда и безжалостно обкрадываемые. Какой-то старичок из простолюдинов сказал князю: «У меня сын сидит безвинно в предварительном заключении; выхлопочите ему свободу, и за то кражи прекратятся». Князь это исполнил, и через несколько дней на одном из деревьев его плантации нашли повешенного вора, у которого на шее красовался мешок фисташек. С тех пор кражи прекратились. Через два года, однако, они возобновились: оказалось, что у того же старичка снова арестовали того же сына за «царапину», нанесенную кому-то. Принципе опять выхлопотал молодцу свободу, на его дереве опять повесили человека с мешочком фисташек на шее, и кражи опять прекратились.

Эпическое спокойствие, с которым «князь и сенатор» рассказывает и позволяет напечатать эту историю, наводит на печальные соображения. Очевидно, мафия для сицилийца, даже из высших классов, дело привычное и в порядке вещей. Простолюдины же, конечно, больше полагаются на покровительство могущественной корпорации *mafiosi*, чем на официальных блюстителей порядка и правосудия. Причина этого лежит в исторических судьбах благословенного острова, к которому испокон веку протягивали когти разные добрые соседи и который поэтому привык смотреть на правительство, как на врага. Справедливость требует сказать, что новое правительство со дня объединения, первый сигнал к которому подала Сицилия, ничего не сделало для того, чтобы перевоспитать этот народ. Теперь правительство Пеллу обещает усиленно взяться за это перевоспитание. Сильно сомневаемся, успеет ли оно в этом.

Вл. Ж.

Северный курьер. 14.12.1899



Письма из Рима

7(19) декабря

Вокруг процесса Нотарбартоло и связанного с ним дела депутата Полиццола мало-помалу группируется неизбежная плеяда разного рода скандалов *à propos*¹. Последний из них грозит принять крупные размеры.

Нынешний военный министр, генерал Мирри во время убийства и первого процесса Нотарбартоло находился в Палермо в качестве чрезвычайного комиссара от правительства. Поэтому он был вызван для дачи свидетельских показаний перед миланским судом присяжных. Генерал Мирри, в статском платье, в назначенный день явился и под присягой при огромном стечении публики показал следующее.

Первый процесс об убийстве Нотарбартоло велся с «величайшей и даже преступной небрежностью». Магистратура старалась замять дело. Он, генерал Мирри, взялся было сам за розыски и следствие, но как раз тогда, когда он попал на верный путь, ему объявили, что дело прекращено за отсутствием следов.

Все это было показано с доброй солдатской прямоотой, от которой мы в политике давно отвыкли, и произвело огромное впечатление на судей, адвокатов, публику и вообще на все общество. Слово министра само по себе возбуждает особенное внимание, потому что министры обыкновенно выражаются полусловами, а генерал Мирри к тому же еще обрушился так сурово именно на представителей правосудия: это должно было особенно взволновать Италию, так как люди дорожат правосудием больше, чем самой свободой.

В парламенте (который в последнее время выгодно отличается от своих прежних сессий если не обилием полезных действий, то, по крайней мере, оживленностью заседаний) этот случай был перенесен на совершенно неожиданную почву. Левая, в лице депутата де Феличе-Джуффрида, автора важных разоблачений по делу Полиццола и мафии, напала на самого генерала Мирри, объявив, что его поведение резко противоречит его словам.

¹ По этому поводу (*фр.*).

Если он сознавал, что палермская магистратура ведет процесс с «преступной небрежностью», отчего он не обратился к тогдашнему министру юстиции? Если он видел, что дело было прекращено будто бы за неимением следов в то самое время, как у него следы эти были налицо, отчего он не протестовал? Отчего он, чрезвычайный комиссар с обширными полномочиями, промолчал тогда, хотя теперь, будучи министром, он счел возможным заявить (в палате), что правительство «должно будет вмешаться в это дело, если палермская магистратура опять окажется не на высоте своего призвания»? Если он, как видно из этих слов, считает, что правительство может вмешиваться в дела правосудия, то почему он тогда не вмешался или не вызвал такого вмешательства? И если он считает, что палермские судьи недостойны доверия, то почему им теперь доверена часть процесса, хотя личный состав магистрата с 1893 года почти не изменился?

Были возражения такого рода: неизвестно, обращался Мирри в свое время к правительству с жалобой на подвиги палермского суда или нет, а потому нельзя и нападать на него. На это де Феличе отвечает: если бы оказалось, что Мирри жаловался, то пришлось бы признать немалую «преступную небрежность» за тогдашним правительством, которое не отозвалось на такую жалобу ни одним звуком; кроме того, остался бы открытым вопрос, почему генерал Мирри счел возможным для своей чести и своего достоинства остаться на этом посту, где ему не хотели оказать содействия в правом деле.

Покамест генерал Мирри ничего определенного не сказал. Он только заявил: во-первых, что палата не имеет права вмешиваться в его свидетельские показания; во-вторых, что он, отвечая правду перед миланским судом, исполнил свой долг; в-третьих, что депутат де Феличе поднял этот вопрос с целью произвести эффект.

Все это, кроме первого пункта, пожалуй, и правда, но этого недостаточно.

Эгаль

Северный курьер. 14.12.1899



Anno Santo

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Рим, 10(22) декабря

С нового года начнется приток иностранцев. В наступающем году, кроме обычных туристов, в Рим придут пилигримы из всех католических стран Старого и Нового Света ввиду юбилейного года церкви Anno Santo. Хотя в последнее время anni-santi значительно участились — так, один папа Лев XIII устроил уже три, правда, чрезвычайных (straordinari) юбилея: в 1879, 1881 и 1885 годах, — тем не менее рвение верующих не ослабело. В этом году, говорят, число пилигримов за одни зимние месяцы превысит сто тысяч. Упомянутые три юбилея не имели такого успеха.

Это, конечно, объясняется импонирующей торжественностью самого момента: перед наступлением нового века все человечество невольно производит себе генеральный смотр, общую поверку, и для верующего католика должно быть в это время особенно заманчиво увидеть Рим, поклониться этому «кладбищу св. Петра» и получить отпущение грехов. Кроме того, эта дата — конец столетия — особенно точно соответствует замыслу первого основателя обычая anno santo, папы Бонифация VIII, который в булле «Ad certitudinem praesentium»¹ установил именно столетний промежуток между юбилеями католической церкви.

Юбилей 1900 года будет 12-м*; первый anno santo был провозглашен по счету в 1300 году, в том самом году, когда Данте совершил свое путешествие по трем областям загробного мира; впрочем, это путешествие не помешало поэту присутствовать в этом именно году при папских торжествах в качестве члена посольства от флорентийских гвельфов.

Папа Бонифаций VIII установил за «святым годом» значение праздника покаяния и всепрощения. Булла «Ad certitudinem» гласила: «Мы даруем... полнейшее прощение всех грехов тем, которые в настоящем 1300 году... а также через

¹ «Всем истинно верующим» (лат.).

* Giubilei straordinari [внеочередные юбилеи] не считаются.

каждые сто лет в будущее время будут приближаться с уважением к вышеназванным базиликам, искренне каясь и исповедуя грехи свои».

Но уже через пятьдесят лет папа Климент V, живший в Авиньоне, нашел нужным провозгласить второй *anno santo*, и с тех пор в хронологии юбилеев римской церкви появляется некоторая асимметрия. Попадаетея, например, *anno santo* в 1423 году. Но затем окончательно устанавливается промежуток в 25 лет, который строго соблюдался в течение четырех столетий: только в 1850 году Пию IX пришлось отказаться от юбилея ввиду особенно неблагоприятных условий того бурного времени.

Предстоящий *anno santo* был провозглашен 2 мая 1899 года буллой «*Properante ad exitum saeculo*»¹; этот юбилейный год начнется 24 декабря нового стиля. Чтобы привлечь во храм Св. Петра большее число верующих, в 1900 году католическая церковь не будет выдавать никаких других индульгенций за исключением некоторых особенных случаев, вроде отпущений *in articulo mortis*².

Любопытно, что папа Лев XIII считает необходимым предупредить будущих паломников о необходимости сосредоточить все помыслы на покаянии в следующих выражениях: «Знайте, что добрый католик в это священное время должен, обходя достопримечательности Рима, руководствоваться только чистой верой. Поэтому следует решительно отказаться от несвоевременных зрелищ неподобающего характера».

Нельзя не предвидеть, что искушений будет много: римские театры в наступающем году обещают очень интересные сезоны.



Среди театральных приманок этого года первое место занимает, бесспорно, новая опера Пуччини. «*Tosca*» будет поставлена, вероятно, 10—15 января по новому стилю, хотя афиши и говорят, что первое представление состоится 6 января.

Это — своего рода *giorno santo*³ для любителей музыки. Не только из всех городов Италии съезжаются композиторы, писатели, артисты, музыканты, чтобы послушать новую

¹ «Век, идущий к исходу» (*лат.*).

² Одной ногой в гробу; канонический перевод: «в момент смерти» (*лат.*).

³ Святой день (*итал.*).

работу автора, который за последние два года стал для итальянцев тем, чем был прежде Масканьи, но и несколько музыкальных критиков из Франции объявили о своем намерении приехать.

Ввиду такого стечения заинтересованных лиц римское «общество драматических и оперных авторов и артистов» решило устроить в январе конгресс по театральным вопросам. Он состоится тоже приблизительно около 10 января и продлится дня три.

В России распространился по газетам слух, будто этот конгресс будет носить интернациональный характер и будто в его члены записываются и иностранцы. На деле же это будет не более чем съезд итальянских авторов, актеров и антрепренеров для обсуждения пяти вопросов, имеющих практически исключительно местный итальянский интерес. Конечно, теоретически решения этого конгресса будут иметь значение и для иностранцев, в виде примера, но не больше. Поэтому все рассказы о наплыве французов, немцев и русских неосновательны: записались в члены съезда только упомянутые французские критики, приезжающие слушать «Тоску», потому что билет конгресса дает 50 процентов скидки при проезде по железным дорогам Италии.

Пять вопросов, указанных в программе, таковы.

Как урегулировать отношения между импресарио и директорами, с одной стороны, и артистами, с другой? Очень интересно будет посмотреть, как здесь разрешат этот вопрос, наболевший во всех отраслях искусства.

а) Как поставить дело таким образом, чтобы театры, могущие тратить большие деньги на объявления, не затирали этим более бедных товариществ?

б) Как устроить, чтобы каждый театр имел собственные декорации, костюмы и пр., что в настоящее время каждая труппа должна привозить с собой?

В каких реформах нуждается теперешняя театральная такса?

Допустимо ли, и на каких условиях, субсидирование театров или трупп со стороны правительства или городов?

О предоставлении актерам льготы при проезде по железным дорогам.

Как видите, все вопросы специально итальянского характера, которые могут интересовать иностранца только в принципе. Чтобы цель съезда не расплылась в массе разговоров,

кроме этих пяти пунктов, ничего другого на конгрессе обсуждать не будут. Так как среди участников есть депутаты, то можно надеяться, что решения съезда не останутся только в сфере платонических *ordres du jour*¹.

Вл. Ж.

Северный курьер. 19.12.1899



Письма из Рима

13(25) декабря

Нет ничего нелепее поговорки: «Быть в Риме и не видеть папы». Быть в Риме и не видеть папы считается чем-то столь же позорным, как «видеть Неаполь и не умереть». На деле же не только иностранцы, но и коренные римляне, *romani de Roma*, в огромном большинстве случаев не видели главы католической церкви. Это вполне естественно, так как он показывается только на торжественных церемониях в Ватикане, которые очень редки, особенно в последние годы, и на которые доступ очень труден. Поэтому папа стал редкостью, видеть которую не так легко, как видеть Колизей или галерею на Капитолии, так что его последний публичный выход 24 декабря следует считать событием, заслуживающим подробного отчета.

В одиннадцать часов утра на площади *San Pietro* была уже довольно большая толпа, которую отделяла от фасада базилики густая цепь карабинеров. Так как площадь эта принадлежит «Италии», а не «церкви», то королевские солдаты имеют право пребывания на ней; и самый яркий клерикализм не мог ничего иметь против того, чтобы «притеснители» Святого престола поддерживали порядок при церемонии. Внутри храма эту обязанность исполняла или специальная гвардия папы — его швейцарцы, или молодцы в темных киверах и белых рейтузах.

Площадь перед храмом св. Петра представляет собой несколько растянутый в ширину круг, обведенный колоннадой. Под этой колоннадой, слева, был оставлен проход для обладателей билетов — счастливцев, которым предстояло пройти в храм до открытия Святых ворот; впрочем, в число этих счастливцев было легко попасть.

¹ Резолюций (*фр.*).

В atrio¹ церкви было уже довольно много народу. Карнизы стен были унижены молодежью, сумевшей вовремя занять эти «почетные места», тем не менее остается непонятным, как там могли удерживаться, не соскальзывая вниз, эти молодые люди и особенно девицы. Наиболее смелые взобрались на пьедесталы статуй. В нише главного atrio, справа, находится железная статуя апостола Петра, у которой посетители собора обыкновенно целуют большой палец ноги; на пьедестале этой статуи, фамильярно прислоняясь к ее железному хитону, стояла целая кучка очень элегантных молодых людей. Другая группа сидела, свесив ноги, на деревянном «домике» одной из бесчисленных исповедален, расставленных по всем углам храма. К этой кучке пришлось присоединиться и мне, потому что, стоя в толпе, даже в бинокль нельзя было рассмотреть ничего, кроме дамских шляпок.

Сверху было виднее. Устроители праздника не брались за задачу «украсить» церковь — надо им отдать эту справедливость. Все было оставлено таким, каким вышло из рук Микеланджело или Бернини. Были только устроены два низеньких барьера, отделявших алтарь от места, отведенного публике «билетной», и это пространство — от другого, где потом должна была разместиться безбилетная. Только правая галерея церкви, в конце которой находятся Святые ворота, была зачем-то чуть ли не до потолка завешена каким-то безобразным огромным сукном, которое удивительно не гармонировало со всем стилем храма. По этой галерее должен был пройти папа после открытия Porta Santa². У выхода из этой галереи к алтарю Confessione³ разместились делегаты от паломничества, каждый со своей хоругвью.

С моей обсерватории было видно, что толпа далеко не так велика, как могла казаться и как ожидалось. Едва половина места, отведенного для «билетных», была битком набита; в задней половине было очень и очень просторно. Иностранцев было в высшей степени мало, и огромное большинство состояло не только из итальянцев, но даже именно из римлян. Благодаря этому особенного подъема в настроении не замечалось, несмотря на важность момента. Не было только громкого смеха и криков, в остальном — та же веселость, те же остроты и шуточки, что и в театре. Дело в том, что римскую толпу нельзя поразить

¹ Вестибюль, холл (итал.).

² Святые врата (итал.).

³ Исповедание (итал.).

ничем в мире. Вероятно, прошлое Вечного города создало эту черту в характере потомков Цезаря: никакое зрелище, никакое явление не может вызвать в них «благоговейного трепета»: они ко всему относятся запанибрата; это свойство даже не раз вызывало чувство неприятного удивления в наезжавших сюда иностранных дворах. Кроме того, религиозного чувства в римлянах очень немного. И папа к тому же заставлял себя ждать, подавая этим повод к появлению всякого рода «слухов». Наконец, сзади, справа, извне доносится пение, которое тотчас же подхватывают несколько десятков любителей. Это папа спускается по *Scala Regia*¹ к наружной галерее храма, где находятся Святые врата, и мы в нетерпении мысленно считаем его шаги.

Пение стихает, и затихает вся толпа. Несколько секунд молчания — и потом мы скорее угадываем, чем слышим, три удара, доносящиеся оттуда же, издалека. Несколько голосов шепотом произносят при этом слова, которые говорит в это же время папа: — *Aperite mihi portas justitiae!*² — Затем мы напряженно ждем стука падающей двери, но вместо того начинается вновь пение, причем мы слышим, как невидимый хор уже подвигается по правой закрытой галерее, значит, внутри церкви. Очевидно, Святые врата опустились под ударами золотого молотка папы без шума и грохота. Все взоры направляются на выход из галереи, где сейчас должен появиться балдахин папы. Но и это ожидание обмануто. Невидимые певчие останавливаются в галерее и смолкают.

Вместо того сзади отворяют двери храма и впускают безбилетных, которые с топотом, гиком и криком устремляются к своему барьеру. Этот шум продолжается добрых четверть часа.

Наконец, спереди, откуда-то сбоку раздаются звуки труб. Идут! Хоругви паломнических делегаций подымаются и колыхаются; из галереи выступает небольшой отряд роскошно одетых швейцарцев; за ними несут свечи, проходят в высоких митрах кардиналы.

Потом над толпой вырастают два гигантских белых опахла, а над ними — белый балдахин, который плывет в воздухе, среди аплодисментов и криков *evviva il papa Leone!*³ — по направлению к *Confessione*. Взвиваются белые платки и мужские шляпы, которые сначала мешают видеть.

¹ Царская лестница (*итал.*).

² Отворите мне Врата справедливости (*лат.*).

³ Да здравствует папа Лев! (*итал.*)

Балдахин останавливается прямо против публики, и наконец можно ясно разглядеть небольшую фигуру в серебристой мантии, сидящую в кресле. Папа весь покрыт своей мантией. На его голове нет тиары, она покрыта только белой скуфейкой — *calotta* — среди белых волос. На маленьком, исхудалом лице с огромным носом и характерной впадиной под тонкой нижней губой можно прочесть только вечную, добрую и лукавую улыбку беззубого большого рта с его двумя морщинами. Узенькие, блестящие глаза папы медленно обводят публику.

На ступени *Confessione* всходит кардинал и долго возится, надевая на старческую голову папы тяжелую трехконечную белую тиару. Потом он уступает свое место другим двум кардиналам, которые поочередно читают, по латыни и по-итальянски, прокламацию о XXII *anno santo*¹.

Когда они сходят, папа делает движение, приподымается и протягивает к нам руки. Снова раздаются крики *evviva* и рукоплескания, но громче прежнего; кое-кто опускается на колени под благословением первосвященника.

Среди этого шума кресло папы немного подымается и, чуть колеблясь, медленно плывет по воздуху обратно. Папа вновь приподымается и в последний раз протягивает руки над толпой. Новый взрыв криков, новое мелькание платков и шляп.

— *Evviva il papa!* — Два-три голоса кричат во все горло: — *Evviva il papa-re!* (Да здравствует папа-король!)

В эту минуту папа исчезает в галерее.

В. Эгаль

Одесский листок. 30.12.1899



Письма из Рима

ИТОГИ 1899 ГОДА В ИТАЛИИ

Истекший год, богатый крупными событиями для Европы вообще, прошел, однако, довольно незаметно для Италии. Факты, которые несколько месяцев тому назад казались имеющими большое значение, теперь, на беспристрастный взгляд, представляются не больше чем мимолетными, изолированными

¹ Святой, или юбилейный год (*итал.*).

явлениями. Они любопытны как иллюстрация положения страны, но на дальнейшую судьбу ее они по своей незначительности не могут иметь никакого влияния. В начале 1899 года президент Совета министров представил на утверждение палаты ряд пресловутых *provvedimenti*¹, ограничивавших свободу ассоциаций и печати; сознавая, что палата в своем нынешнем составе способна провести эти законы, хотя они, безусловно, противоречат желаниям большинства нации, крайняя левая начала obstruction, мало-помалу принявшую очень резкие формы. Министерство Пеллу подало в отставку, но король призвал к власти опять того же генерала Пеллу, обнаружив таким образом прореху в итальянской конституции, которая допускает подобную фактическую несменяемость министров наперекор всей логике представительной формы правления. Затем, ввиду невозможности сладить с левой, генерал Пеллу добился того, что его *provvedimenti* были «узаконены» королевским декретом помимо парламента, хотя итальянская конституция не имеет ничего подобного австрийскому §14. Это вызвало недовольство во всей стране. Оставался открытым вопрос, признают ли судебные учреждения законную силу этого декрета и будут ли они принуждать к наказаниям тех, кто преступил против *provvedimenti* генерала Пеллу. Оказалось, что один апелляционный суд высказался против законности декрета, а другой — за эту законность. В настоящее время декрет все-таки передан в парламентскую комиссию, которая его по возможности урезывает. Несомненно, в конце концов генералу удастся провести его в парламент при помощи двух-трех ничтожных уступок: в этом уверены все, кто только знаком с бесхарактерностью здешнего парламентского большинства.

Между тем, агитация в пользу амнистии для виновников или, скорее, жертв майских волнений 1898 года, встречая упорное невнимание со стороны правительства, поддерживала в стране тяжелое и опасное беспокойство. Амнистию пришлось вырывать по клочкам из рук генерала Пеллу. Истекающий год закончился наконец объявлением этой амнистии, да и то неполной и потому неспособной успокоить Италию.

К концу же года снова выплыло наружу дело о Нотарбартоло, убитом в Сицилии в 1893 году. Не только к этому преступлению оказались причастными очень высокопоставленные

¹ Меры, мероприятия (*итал.*).

лица, но процесс показал и еще теперь показывает широкую картину продажности, в частности, в полиции, суде, муниципалитетах, финансовых учреждениях и администрации одной из лучших провинций королевства. Общество пришло в ужас от этого вида именно потому, что, глядя на депутата Полиццо-ло, подстрекателя убийц, на полицейского де Блази, помогавшего преступникам скрыться, каждый невольно думал: «Ба! Знакомые все лица! Чем и у нас не Сицилия?» Общественное мнение потребовало отчета, и некоторые инциденты заставили заподозрить корректность нынешнего военного министра, генерала Мирри, занимавшего важный пост в Сицилии в 1893 году. После очень резких, но малоубедительных разъяснений в палате генерал Мирри в самое последнее время подал в отставку и вышел из министерства. Все это указывает, что язва Сицилии, и не ее одной, лежит очень высоко; тем не менее в руководящих сферах заметна тенденция отвлечь внимание общества от этих высот, напирая особенно на злополучную мафию, состоящую из сицилийской бедноты, и крича, будто центр тяжести процесса Нотарбартоло именно в мафии. Эту мафию генерал Пеллу намерен разнести в пух и прах. Но удастся ли ему уничтожить этот естественный оборонительный союз людей, которые с молоком матери всосали недоверие к правительству? Вопрос риторический, на который ответа не полагается.

В общем выводе из всего этого вытекает, что ни одно из событий, разыгравшихся в 1899 году в Италии, не может служить залогом близких перемен ни к лучшему, ни к худшему. Не считать же, в самом деле, за такой залог те неудавшиеся попытки генеральского правительства урвать кусочек у Китая, которые имели предлогом необходимость «охранять интересы» 124 итальянцев, обитающих в Небесной империи. Эта неудача тоже останется безрезультатной: она слишком незначительна, чтобы отучить правительство от колониального зуда.

В. Эгаль

Одесский листок. 1.01.1900



Письма из Рима

МАФИЯ

Даже в Италии все теперь говорят о мафии, и почти никто не знает, что это такое. Из того, что слово *la mafia* употребляется обыкновенно рядом с названием неаполитанской каморры, или теппы, «работающей» по городам и весям Ломбардии, обыкновенно заключают: между этими явлениями есть что-нибудь общее. На деле же общего нет ничего, кроме натянутых отношений с уголовными законами королевства. Знаменитая неаполитанская самогга, которой посвящено столько фельетонных романов, представляет собой самую прозаическую организацию всякого рода воров и мошенников, мелких и крупных. Такие братства, возникающие на почве общности ремесла, не редкость ни в каком большом городе, не говоря о лондонском Уайтчепеле и о Париже; можно привести в пример хотя бы Одессу, где еще сравнительно недавно полиции приходилось наталкиваться на своеобразные союзы мелкого «жулья».

Так как каморра представляет собою сообщество воров, основанное в целях воровства, то, конечно, у нее нет и не может быть членов, принадлежащих к высшим классам общества, хотя обыкновенно рассказывается противное. Эти слухи вообще следует приписать легкой воспламеняемости, которой отличается фантазия смертного человека; доля истины, заключающаяся в этих слухах, как и во всякой лжи, состоит в том, что возможны случаи, когда более или менее важные синьоры становились на время арендаторами каморры для каких-нибудь малопохвальных целей, а по достижении этих целей, понятно, принуждены бывали силой своего влияния покровительствовать преступникам и помогать им увертываться от бдительности полиции (что не очень трудно в этом благодатном климате).

Сицилийская мафия, *li mafiusi*, — совсем другое. Для того чтобы выяснить это, необходимо вспомнить, что пережила Сицилия за все время, которое охватывает история. Поочередно все народы, на которые нападала страсть к «колониальной политике», отбивали богатый остров друг у друга и устанавливали там свое владычество, а вместе с тем и свое правительство: финикияне, карфагеняне, римляне, арабы, норманны, испанцы,

вплоть до почтенной расы «королей обеих Сицилий», последнему из которых, «королю-бомбе» Фердинанду, выпала на долю честь уступить наконец житницу Италии возрожденному королевству. В древние и средние века на свете вообще существовал упорный предрассудок, будто правительство есть учреждение исключительно притеснительное: тем понятнее появление такого предрассудка там, где правительство в течение столетий состояло из чужеземных узурпаторов. Поэтому коренное сицилийское простонародье до сих пор считает суд, муниципалитет, не говоря уже о полиции, своими врагами. И надо сознаться, что правительства Савойского дома ничего не сделали для того, чтобы уничтожить это мнение. Никто, ни в палате, ни даже в министерстве, не осмелится отрицать того факта, что из провинций королевство Сицилия управляется хуже всех, потому что чиновники, попадающие туда, ничем не лучше римских проконсулов. А между тем восстание Сицилии было первым сигналом к войне, давшей Савойскому дому десять новых областей вместо убогого Пьемонта, которым рисковал Виктор Эммануил.

Под влиянием этого недоверия к правительству, которое не признавалось способным поддерживать принцип справедливости в стране, с незапамятных времен возникла мафия. В одной из предыдущих корреспонденций уже было упомянуто, что это не организация. Мафия — скорее братство *du secours mutuel*¹. Если у *mafiusi* и есть какая-либо иерархия (это больше чем сомнительно), то она — явление позднейшее, наносное, подражательное, не имеющее никакого отношения к сущности союза. *Mafiusi* не заговорщики. Каждый мужчина, который не желает считаться трусом, *capignuni* (падалью), который не хочет оставлять без возмездия наносимые ему оскорбления, тем самым объявляет себя *mafiusi*. Например, оба героя «Сельской чести» Масканы, «кумовья» (*compari*) Турриду и Альфио, — несомненные *mafiusi*. Эта опера вспомнилась нам очень кстати: именно в «деревенском рыцарстве», *cavalleria rusticana*, вся разгадка мафии. Поэтому, если в каморру вступают только воры, прекрасно знающие, что они воры, то *mafiusi* не без основания считает себя, как бандит Спарафучиле в «Риголетто», *galantuomo* (джентльменом). И по той же причине, если человек из высших классов общества не может быть настоящим каморристом, то он очень легко может стать *mafiusi*.

¹ Взаимопомощи (фр.).

Но здесь есть очень важный пункт. Простонародье, вступая в мафию, гарантирует себя, до известной степени, от оскорблений и притеснений более сильных лиц, т.е. достигает того, чего не ждет от покровительства полиции и суда. Но у высших классов нет и не может быть этого недоверия к администрации; напротив, чем эта администрация распухеннее, тем легче богатому и знатному барину добиться всего, чего ему надо. Следовательно, если этот барин вступает в сношения с мафией, то лишь для преступлений, для таких дел, которые даже для сицилийской полиции кажутся чересчур рискованными.

Высшие классы именно и развращают мафию, делая из круговой поруки диких, но честных *mafiusi* гнусную шайку наемных убийц. Конституция оказала самое неожиданное влияние на мафию: разные Полиццоло стали пользоваться ею ежегодно во время выборов для «собирания голосов».

Когда же мафия остается в пределах деревни и деревенской бедноты, она — смело можно сказать — представляет собою цвет народного духа, пышное проявление мужества и зачатков того чувства законности, которое глубоко свойственно этим людям, но пока еще тождественно для них с понятием о мести. В мафии проявляются те именно черты национального характера, которые создали в Сицилии парламент за полвека до зарождения конституционализма в Англии, и любопытно, что тогда, в двенадцатом веке, *mafiusi* не «собирали» голосов для своих нанимателей, потому что дело шло об их собственном парламенте, а не о том неопределенном учреждении, которое заседает где-то в Риме и оттуда распоряжается судьбами Сицилии. Мафия — это проявление той же силы, которая вызвала революцию на острове в 1860 году, и той же силы, которая вызвала недавние волнения сицилийских городов, но в 1860 году в честь восставших писал оды Кардуччи и их подвигам радовался король Виктор Эммануил, а в 1898 году их потащили в военный трибунал. *Sic transit gloria mundi*¹.

Нынешнее правительство, генерал Пеллу, купно с прочими коллегами, решило искоренить мафию. Мероприятия предвидятся двоякого рода: во-первых, достодолжные аресты и взыскания в мире *mafiusi*, исходя из того принципа, что чем больше *mafiusi* будет послано на галеры, тем меньше их останется в Сицилии; во-вторых, перевоспитание народа, внушение ему доверия

¹ Так проходит земная слава (*лат.*).

к администрации и суду, т. е., иными словами, коренная перемена персонала по всем штатам полиции и магистратуры.

Генералу Пеллу ничего обыкновенно не удается. Он хотел, последовав примеру других, урвать у Китая кусочек никому (и прежде всего итальянцам) ненужной земли, но это ему не удалось. Он хотел провести без парламента королевские декреты о печати и ассоциациях, но это не удалось, потому что судья и кассационное учреждение не признают этих декретов законными, и палата назначила комиссию, которая поменьку урезает эти генеральские измышления, чтобы только потом, в совсем уже скромном виде, предложить их все-таки на полномостное рассмотрение парламента; наконец, генерал Пеллу не хотел допустить амнистии по всем приговорам за прошлогодние майские беспорядки, но и это ему, кажется, не удастся. И искоренение мафии тоже не удастся генералу Пеллу.

Допустим даже, что полиция и суд стали в Сицилии идеальными: останется одна вещь, которая обратит в ничто все усилия, это — налоги. Народ, приученный веками к недоверию, никогда не сможет представить себе, чтобы то самое правительство, которое своими поборами обращает всякое предприятие в бесплодную работу Данаид, желало ему добра. И когда идеальный судья приговорит сицилийского крестьянина к уплате налога с прибавлением штрафа за сопротивление, оказанное при взимании податей идеальному полицейскому, то крестьянин возьмет ружье и в темную ночь пристрелит идеального судью или идеального полицейского, и это называется mafia.

Что же касается мер строгости, то и это утопия. В Италии официальный процент преступлений, виновники которых не разысканы, шестьдесят на сто. В Сицилии он еще выше, потому что мафия грозит смертью за донос, так что свидетели на суде молчат. А без свидетелей нельзя ничего поделать, нельзя никого осудить и никого утрашить.

Чтобы перевоспитать Сицилию, нужен новый курс не только внутренней, но и внешней политики, но этот курс был бы отрицанием позорной политики озлобления, которую поддерживает генерал Пеллу.

Эгаль

Одесский листок. 13.01.1900



Италия в 1899 году

Рим, 5 (17) января

Важнейшие события, которые истекший год принес Аппенинскому полуострову, можно распределить по четырем рубрикам. В первой половине года политическая жизнь вращается вокруг приключения с китайской бухтой и злополучных законопроектов генерала Пеллу; к концу года на первый план выступает дело Нотарбартоло, вокруг которого группируется целая система «инцидентов». В четвертую рубрику следует поместить вопрос об амнистии, агитация в пользу которой не прекращалась и не ослабевала в течение всего года.

Притязания, заявленные бывшим министром иностранных дел адмиралом Каневаро на Сан-Мунскую бухту в Небесной империи, были вполне естественным следствием печальной политики, которой Италия следует с начала восьмидесятых годов. Желая, как сказал Кавалотти, во что бы то ни стало сидеть за одним столом со взрослыми, т.е. разыгрывать великую державу в «концерте», Италия вступила на дорогу милитаризма и «колониальной политики»; хотя до сих пор этот курс не принес королевству ничего, кроме убытков и погромов, отступать от него, хотя бы только на время, казалось не желательным, чтобы не потерять престижа. Поэтому, глядя на операции, которые производились в запрошлом году над Китаем со стороны других держав, Италия захотела потребовать у правительства Богдыхана чего-нибудь и для себя, ссылаясь на необходимость «охранять интересы итальянского населения и промышленности» в Небесной империи. Этот шаг произвел, однако, очень неблагоприятное для министерства впечатление, во-первых, потому, что никаких интересов Италия в Китае не имеет, а во-вторых, потому, что она еще недостаточно могущественна для подобных притязаний, раз они не вызываются необходимостью. Правительство Небесной империи, вероятно, достаточно уже раздраженное притязаниями со стороны других, воспользовалось случаем и сорвало свою злобу на малоопасной Италии: посол ее в Пекине получил решительный отказ на требование об уступке бухты, и отказ этот был выражен в очень резкой форме. Римское правительство послало к берегам Китая несколько броненосцев, но все понимали, что это — не больше

чем демонстративная прогулка, потому что «в случае чего» Италии было бы совершенно не до войны. Дело кончилось ничем: Сан-Мунская бухта осталась за Китаем, и министерство, вообще не пользовавшееся большими симпатиями, почувствовало свой престиж сильно поколебленным.

К этому присоединились *provvedimenti*¹ генерала Пеллу, вопрос о которых еще до сих пор не исчерпан. Эти законопроекты, которыми генерал порадовал Италию, вместо ожидавшихся с нетерпением экономических преобразований ограничивали очень чувствительным образом свободу печати, ассоциаций и собраний, а также предлагали нечто вроде милитаризации для служащих в разных учреждениях общественного характера, как телеграф или почта. Все это было по внешности согласовано с буквой статута Карла Альберта, лежащего в основе конституции, но коренным образом противоречило ее духу и крайне увеличило непопулярность министерства в обществе. Однако генерал Пеллу знал свою палату, в которой значительная часть представителей народа исповедует чистейший политический индифферентизм и вотум которой очень легко поддается воздействию свыше: Пеллу не сомневался, что *provvedimenti* пройдут. Не сомневалась в этом и крайняя левая. Чтобы воспрепятствовать такому приращению отечественных законов, группы «народных партий» (социалисты и часть радикалов и республиканцев) решились прибегнуть к средству хотя и не парламентскому, но в данном случае извинительному: к обструкции. Левая сознавала, что большинство нации — за нее, и потому считала себя вправе противиться воле большинства палаты. Таким образом, когда Пеллу, потеряв терпение, потребовал голосования для своих *provvedimenti*, не дожидаясь конца искусственно затягиваемого обсуждения, обструкционисты перешли от слов к действию и повторили на Монтечичорио дикие сцены, происходившие незадолго до того в венском и будапештском парламентах. Депутат де Феличе-Джуффрида опрокинул урны с голосами, рискуя поплатиться за это по всей строгости уголовных законов. Сессию пришлось закрыть прежде, чем было покончено с вопросом о *provvedimenti*. Тогда Пеллу дал блестящий образец настойчивости: он добился от короля пресловутого «декрета-закона», которым генеральские *provvedimenti* вводились в силу помимо парламен-

¹ Меры, мероприятия (*итал.*).

та. Это было настоящим *strappo allo Statuto* — нарушением конституции; тем не менее мнения апелляционных судов, которым пришлось обсуждать приговоры, произнесенные в силу декрета-закона, разделились: одни признавали законную силу за указом, другие нет. Высшее судилище страны, римская *Cassazione*, нашло возможным утвердить приговор, основанный на *provvedimenti* генерала Пеллу. Тем не менее положение декрета было настолько неудобно, что его поторопились передать на обсуждение новой сессии палаты; эта сдала его в комиссию, которая старается смягчить его резкость. В конце концов он, понятно, пройдет, но в значительно смягченной форме.

Произошедшая во всей этой кутерьме перемена министерства не принесла стране никакого облегчения или успокоения. Так как отставка кабинета была добровольной, то король Умберто имел возможность призвать к власти опять того же Пеллу. Каневаро был заменен Висконти Веноста, и, действительно, об «итальянских интересах в Китае» уже больше не говорится; во всем же остальном политика министерства осталась без перемены.

Дело Нотарбартоло настолько знакомо читателям, что говорить о нем подробно в этом очерке было бы излишне. Но не мешает указать на странное поведение правительства в этом процессе. Хотя это дело выяснило, что главные виновники современного состояния Сицилии (и не ее одной) — администрация и магистратура, министерство упорно замалчивает эту сторону процесса и вместо того мечет грома против *мафии*, которая, при всей ее нежелательности, в данном случае представляет самое меньшее из обнаруженных зол. Такое нежелание правительства обратить внимание на истинную язву «житницы Италии» дает оппозиции повод намекать на то, что по отношению к «сицилийским делам» у очень многих высокопоставленных лиц рыльце в пушку. Отставка генерала Мирри, военного министра, относящаяся, впрочем, уже не к 1899 году, а к 1900, — только подтвердила это подозрение, доказав, что подчас веяния, заносившие заразу в атмосферу Сицилии, исходили от лиц, занимавших первые посты в королевстве.

Все эти события, конечно, не могли содействовать успокоению страны и уничтожению ее традиционного *malcontento*¹, тем более что параллельно им, от 1 января до 31 декабря,

¹ Недовольство (*итал.*).

в течение всего года продолжалась агитация в пользу амнистии виновникам майских беспорядков 1898 года. Население, неудовлетворенное королевским *indulto*¹, которое не возвращало осужденным политических прав, сотнями тысяч подписывалось на петициях и вотировало желательность амнистии в коммунальных и провинциальных советах. Генерал Пеллу, однако, медлил; почему — это его тайна. В последний день года наконец была объявлена амнистия, но так как из нее были исключены административно ссыльные (*coatti*) и заочно приговоренные (*contumaci*), то столь желанное «забвение» майской недели со всеми ее последствиями не осуществилось. Агитация перенесена, таким образом, и на новый год и не только не уменьшилась, но даже увеличилась, так как среди *coatti* и *contumaci* находится немало лиц, настолько дорогих для оппозиционных партий, что об «успокоении» в настоящее время нечего и помышлять.

В общем итоге видно, что политическая жизнь Италии в 1899 году, хотя отличалась большим разнообразием, не дала, однако, стране ничего утешительного и даже не представляет никаких признаков, по которым можно было бы надеяться на близость лучшего будущего. Единственное исключение в этом отношении дают попытки сближения с Францией при помощи нового торгового трактата. Несомненно, лучшим выходом для Италии из ее затруднений в области внешней политики было бы отпадение от прискорбного тройственного «мезальянса» и союз с родною нацией по ту сторону Альп; упомянутое частичное сближение дает право думать, что исполнение этого желания всех итальянцев не совсем невозможно.

В противоположность политическому разнообразию общественная жизнь в Италии за истекший год не выдвинула почти ничего достойного внимания, так как и дело Нотарбартоло невольно приходится отнести к политике. Можно упомянуть только о муниципальных выборах в некоторых городах Севера, где победы передовых партий доказали, что население мало-помалу отучивается от своего равнодушия к общественному благополучию.

Собственно говоря, именно эти отрадные симптомы — единственное, что позволяет смотреть с некоторою верой на близкое будущее. Так как очень вероятно, что предстоят рас-

¹ Милость (*итал.*).

пущение палаты и новые общие выборы, то можно надеяться, что страна отнесется к этому со вниманием и создаст парламент, способный очистить воздух удалением тех элементов, которые в настоящее время так усердно и полновластно поддерживают в Италии озлобление и нищету.

Вл. Ж.

Северный курьер. 13.01.1900



Письма из Рима

Наконец, в последний день 1899 года король Умберто под-писал амнистию, которая означает не только прощение, но также и главным образом полное «забвение». «Gazetta Ufficiale»¹ печатает текст декрета, который состоит из трех статей. В первой статье говорится, что амнистия дарована осужденным за проступки против законов о печати, о «свободе труда», за сопротивление властям и т.д. Между прочим, амнистия покрывает так называемые преступления против общественной безопасности, если они были совершены по случаю публичных демонстраций или волнений: этот пункт относится к тем из участников майских событий, которые были привлечены к ответственности за поджоги податных бюро; затем сила декрета распространена и на проступки против тех статей уголовного кодекса, которые воспрещают приписывать королю ответственность за действия его правительства, публично осуждать конституционные основы государства, подстрекать кого бы то ни было к преступлению или неповиновению законам, оправдывать действия, признанные законом за преступные, и т.д. Таким образом, первая статья декрета отменяет все вообще приговоры по преступлениям этого рода, в частности, жертвы майских волнений прошлого года все подпадают под его действия.

Статья вторая устанавливает некоторые исключения. Амнистия не касается тех из указанных в первой статье преступлений, которые сопровождались действиями против собственности или личной неприкосновенности; точно так же влиянию декрета не подлежат заочные приговоры.

¹ «Официальная газета» (итал.).

Статья третья гласит, что амнистия не уничтожает гражданских последствий и прав пострадавших от амнистируемых преступлений. Таким образом, вознаграждение частным лицам за убытки будет взыскиваться по-прежнему, тогда как, например, судебные издержки не должны будут уплачиваться, представляя убыток не частного лица, а казны. Точно так же право жалобы по преступлениям печати, совершенным до 31 декабря, не отнимается у частных лиц, в то время как эти же преступления, если право жалобы на них принадлежит правительству, подпадают, по смыслу параграфа 2-го статьи 1-й декрета, под действие амнистии.

Как можно судить из этого, амнистия дана королем в очень широких размерах, что делает честь (правда, несколько запоздалую) и ему, и его советникам. Некоторые пункты декрета, однако, вызывают возражения. Почему, например, исключены из амнистии приговоры, произнесенные в отсутствие обвиняемых (*in contumacia*). Таких приговоров было довольно много в мае прошлого года, и так как они не считаются окончательными, то в будущем, по мере возвращения в Италию отдельных осужденных *in contumacia*, будут возникать соответствующие процессы, причем на свет Божий снова вытащат все прелести достопамятных событий и снова будут разбирать их по косточкам. Это — крупная ошибка авторов декрета, потому что и желание всей Италии, и самый смысл этой амнистии в том именно, чтобы изгладить всякое воспоминание о «весенних грозах» 1898 года. И много других вопросов напрашивается по этому поводу, но главный из них: если вы даете в конце концов амнистию, то чем, если не злостным упрямством, объясните вы то, что не дали ее до сих пор, что оттягивали ее срок всякими средствами, подсовывая общественному мнению разные суррогаты в виде частичных помилований?



«*Audiatur et altera pars*»¹ — правило, которого никогда не надо забывать. Необходимо поэтому приложить его к теперешней южноафриканской войне, в которой большинство цивилизованных людей на свете стали на сторону буров, хотя платонически, но решительно. Дело в том, что из некоторых стран,

¹ Да будет выслушана и другая сторона (*lat.*).

преимущественно южных, и из Соединенных Штатов Северной Америки нередко доходят слухи о явлениях, имеющих характер голоса в пользу англичан. Балтимор устраивает митинги за Джона Буля, греческие офицеры собираются предложить бескорыстно свои услуги английскому войску. Даже потомки Вильгельма Телля, которые никак не могут забыть, что они в течение веков были всегда идеальными наемными солдатами, одно время рвались туда же, в Трансвааль, «бить буров» назло всем, кто имеет претензию считать Швейцарию страной свободы. Что же касается Италии, то у нее есть довольно прочная симпатия к англичанам, коренящаяся в чувстве благодарности и далеко не лишенная причин; поэтому здесь, хотя никто не становился прямо на сторону джинго, все время наблюдалось некоторое колебание, борьба между сочувствием к бургерам и расположением к бравому Томми Аткинсу. Все это должно навести беспристрастного человека на мысль, что действительно не худо было бы выслушать и «alteram partua», т. е. англичан, прежде чем бесповоротно осудить их.

Известный публицист Растиньяк (адвокат Морелло) напечатал недавно две статьи, где старался доказать, что в этой войне право на стороне англичан, а вина на стороне буров. Растиньяк утверждает, что подкладка дела совсем не та, которую видит ослепленное общественное мнение Европы. Буры, по его объяснениям, суровый, невежественный и энергичный народ; у них, как у всех пастухов, непреодолимое отвращение ко всяким налогам и податям. Но так как подати необходимы для процветания республики, то буры воспользовались притоком уитлендеров. Иностранцы, особенно англичане, накинувшиеся на золотые россыпи, стали платить за буров (странно!) подати и вообще нести на себе непосильные тяготы для облегчения бургеров. Несмотря на это, уитлендеры украсили Трансвааль, построив лучшие города страны. Бургеры же довели свою жестокость с ними до того, что даже на суде уитлендер не мог добиться справедливости против бура. Наконец, после убийства одного из видных среди них, уитлендеры подали королеве Виктории знаменитую петицию. Другая сторона дела, по словам Растиньяка, та, что в Трансваале, где две трети чиновников — голландцы из Европы, нидерландские золотопромышленные общества имеют огромное влияние, так как вся война ведется, собственно, ради интересов голландских золотопромышленников, боящихся конкуренции англичан.

Все это настолько сложно и, главное, сомнительно, что требовало бы документов и доказательств, которых, конечно, Расиньяк не мог представить в двух газетных статьях.

Эгаль

Одесский листок. 20.01.1900



«Тоска» Пуччини. Данте со сцены

Рим, 13(25) января

Во время затишья, связанного с парламентскими каникулами, на первый план выступили художественные интересы: особенное внимание, конечно, вызвала новая опера Пуччини, а затем много говорилось и о Джачинте Пеццана, артистке, предпринявшей декламацию Божественной комедии со сцены.

«Тоска» имела громадный успех, и с каждым представлением нравится все более. Но... это не «Богема», и такой искренней повсеместной симпатии, какой пользуется предыдущая опера Пуччини, его новое произведение не завоеует. Успеху «Богемы» содействовала столько же ее музыка, сколько ее либретто, в котором вместо обычной оперной условности дана была для музыкальной иллюстрации настоящая (хотя и не полная) «живая жизнь». Музыка «Тоски» выше и совершеннее, чем в «Богеме», — так утверждает местная критика, но ее либретто представляет крупный шаг назад, в область убийств, бегств, пыток, выстрелов и т.п. Она дает богатую канву для таланта композитора, но не позволяет надеяться, что красота мелодий и гармонии будет подкрепляться обаянием сценической правды.

Вот содержание либретто, составленного по драме Сарду: в первом действии художник Каварадосси (тенор де Марки) помогает спастись от папской полиции республиканцу Анджелотти, бежавшему из тюрьмы Castel Sant' Angelo. Начальник ватиканской полиции барон Скарпиа (баритон Джиральдони) арестует Каварадосси, и во втором действии, призвав к себе певицу Флорию Тоску (Дарклэ), возлюбленную художника, велит пытать последнего в ее присутствии. Тоска не выдерживает и открывает барону, где скрылся Анджелотти. Тем не менее Каварадосси должен быть расстрелян; за его спасение Скарпиа требует от Тоски того, что полагается в этих случаях и в таких

драмах. Тоска соглашается; Скарпиа отдает приказ, чтобы расстрел Каварадосси был фиктивным, но тайком дает офицеру понять, что такое распоряжение сделано им только для виду и не должно быть исполнено. Затем, оставшись наедине с певицей, он пишет для нее «и ее спутника» охранную грамоту, но в это время Тоска его убивает и убегает, положив ему предварительно (для «психологии») в руку распятие. В третьем действии, происходящем на платформе Castel Sant' Angelo, Тоска объявляет Каварадосси, что его расстреляют холостыми зарядами и, когда он падает под пулями, восклицает: «Но это артист!» Когда она убеждается в своей ошибке, солдаты вбегают, чтобы арестовать ее за убийство Скарпиа; она бросается с парашюта вниз. Все эти черты, любовь, страхи и цветы происходят в Риме в anno santo 1800¹.

Жаль, конечно, что музыка Пуччини употреблена на «иллюстрирование» такой драмы, жаль потому, что музыка чудная, а оркестровка, насколько может судить непосвященный laicus², доведена до высокой степени совершенства. Перечислять отдельные места незачем, так как сухой перечень не может дать никакого понятия о достоинствах оперы; упомянем только о начале третьего действия. В «Тоске» нет ни увертюры, ни введений, и Пуччини для «симфонии» воспользовался всей первой половиной последнего акта. На сцене — полусвет раннего-раннего утра, с едва занявшейся зарей и с неясными очертаниями спящего Рима; внизу проходит невидимое стадо, запекает свою песенку (на диалекте romanesco) проходящий, тоже невидимый пастушок; звонят колокола разных церквей. Кроме нескольких тактов пастушка, пения нет; в оркестре все время идет симфония предутренней тишины и ее смутных шумов. К счастью, либреттисты не решились приделать к этой заре затасканный восход солнца. Зато в других местах либретто оказало музыке не одну медвежью услугу. Роль Тоски написана так, что ее музыкальная партия вышла самой бледной во всей опере: по либретто у героини только *две* характерные реплики; выстрелы на сцене поневоле пришлось передать затасканными пассажами оркестра — и это далеко не все. Справедливость требует указать и на одну крупную ошибку самого Пуччини. Сцена, когда набожная Тоска кладет распятие в руку убитого

¹ Святой, или юбилейный 1800 год (*итал.*).

² Мирянин (*лат.*).

Скарпиа, если и возможна, то ее необходимо провести как можно поспешней, но по партитуре оперы она невозможно растянута.

Общее впечатление от новой оперы: прекрасная музыка и непростительно скверное либретто.

Отчет о «Тоске» занял столько места, что о Гиацинте Пеццана придется сказать только самое необходимое. Эта гениальная артистка, уже очень пожилая, не имеющая себе в Италии соперниц в своем репертуаре, к сожалению, очень мало известна за границей. Пеццана — живая школа классической итальянской игры, соединяющей жизненную простоту с благородством; своим умением одинаково воплощать и комические, и трагические стороны жизни и доводить правдивость исполнения до высокой степени она напоминает Эрмете Новелли, но по силе таланта превосходит его.

Она декламирует Данте перед опущенным занавесом, в черном платье, без аккомпанемента. В Риме она прочла III песнь Ада и XVI Чистилища. Ее звучный голос, редкая мимика, простые и несложные, но выразительные величественные жесты передают все оттенки сменяющихся настроений Божественной комедии с такой искренностью, с такой проникновенной верой в незыблемую красоту дантовой поэмы, что впечатление получается глубокое, необычайное, буквально потрясающее. Пеццана кажется современницей Алигьери, одной из тех флорентинок, которые искренно верили, что адский огонь опалил смуглые щеки поэта; в те времена, вероятно, стихи Данте произносились именно так, с таким чувством, с таким мистическим ужасом и негодованием. Трудно сказать, что удастся Джачинте Пеццана лучше: яркие ли картины адских мучений, или диалоги, где она в совершенстве передает смирение рассказчика и величественное спокойствие Вергилия, или философско-лирические тирады, в которых Данте клеймит людей, неспособных ни на добро, ни на зло, стоящих «не за Бога и не за его врагов, а за себя» и потому «противных и одному, и другим». Каждая строчка, каждое слово передаются артисткой так, что приходится глубоко пожалеть о недостатке места, не позволяющем нам остановиться подробнее на этом своеобразном комментарии Божественной комедии.

Вл. Ж.

Северный курьер. 21.01.1900



Начало сессии палаты

Рим, 22 января (3 февраля)

Занятия палаты возобновились 31 января, но до сих пор характер наступившей сессии еще не определен: первые заседания прошли очень бледно и скучно и к тому же при таком малом количестве депутатов, что голосование сметы Министерства почт и телеграфов пришлось отложить за неявкой законного числа народных представителей. Никакого шума не вызвало даже обсуждение избрания в депутаты Турати, Коста и Кьези, которые после майской недели 1898 года были лишены политических прав, но в силу последней амнистии получили их снова; проверочная джунта¹ отказалась от обсуждения законности этих трех избраний, предоставив решение палате, которая утвердила депутатов в их новом звании против ожидания почти единогласно. Таким образом, три знаменитых главаря крайней левой снова водворены на свои места в палате.

Так же спокойно и незаметно прошел вопрос о Чезаре Батакки, от которого очень много ожидали любители парламентских инцидентов. В 1879 году, после неудавшегося неаполитанского покушения сумасшедшего анархиста повара Пассананте во Флоренции были устроены празднества в честь спасения короля Умберто. Во время одного шествия в толпу была брошена бомба; подозрение пало на Чезаре Батакки, который и был осужден. С тех пор Батакки находится в вечном заключении в Вольтерре. Но недавно была судебным порядком обнаружена недобросовестность двух главных свидетелей обвинения, и вообще выяснилось, что все эти свидетели принадлежали к подонкам *malavita*² и в момент процесса говорили согласно внушениям полиции. Благодаря, однако, недостаткам устарелого итальянского уголовного судопроизводства, это не составляет повода для пересмотра процесса, так что друзья Батакки принуждены агитировать за помилование, требуя акта милости там, где, собственно, нужна справедливость. Конечно, этой агитации не может помочь законодательное учреждение; но принять в ней участие может и парламент. Левая

¹ От: giunta — комиссия (*итал.*).

² Уголовники; подонки общества (*итал.*).

решила поэтому пользоваться всяким удобным случаем, чтобы говорить о Батакки для того, чтобы имя его произносилось как можно чаще в палате: это все-таки лишний шанс на то, чтоб его помиловали. Пока, понятно, генерал Пеллу со свойственной ему государственной дальновидностью выжидает и безмолвствует. Между тем агитация очень разрослась: один из избирательных округов Милана выставил Батакки кандидатом на депутатское кресло, и его избрание очень вероятно ввиду преобладания в Милане демократических течений. Но первую попытку заговорить о Батакки в палате нельзя счесть удавшейся. Сонное настроение, может быть, послепраздничное, а может быть, и *pregnanz*¹, до того преобладает в палате, что запросы Бруникарди (умеренного) и Кьези о причине запрещения нескольких собраний за Батакки были сделаны очень вяло; *oporevole*¹ Бертолини, товарищ министра Пеллу, отвечал, хотя и грубовато, по обычаям этого министерства, но так же вяло, а бывшая налицо сотня депутатов слушала тоже вяло...

Трудно себе представить, как пойдут дела дальше, если это сонное царство палаты не будет распущено. К счастью, коренная перемена депутатского персонала становится час от часу вероятнее; эта вероятность увеличивается еще одним многозначительным обстоятельством. За министерством Пеллу стоит сильный покровитель, депутат Соннино, предводитель центра, т.е. многочисленной толпы совершенно безличных заполнителей депутатских кресел, составляющих в палате огромное большинство. Благодаря этой массе *oporevole* Соннино всегда был в состоянии обеспечивать «своему» министерству вождеденное «доверие палаты». Но в течение последних недель прошлого года Соннино внезапно изменил свое отношение к кабинету, дав это понять жестокою схваткой с министром общественных работ. Очевидно, могущественный «центр центра» чем-то недоволен и — как говорят — решительно отказывает в своей милости генеральскому правительству. Это, если оправдается, должно будет окончательно вынудить Пеллу согласиться на распущение палаты в надежде ослабить партию Соннино. Действительно, можно надеяться, что ввиду некоторого пробуждения страны в XXIII *Legislatura*² попадет меньшее число беспринципных и потому «центральных» депутатов, чем то,

¹ Досточтимый (*итал.*).

² XXIII созыв (*итал.*).

которым боги наградили XXII. Но вряд ли этот убыток Соннино пойдет на пользу Пеллу: более чем вероятно, напротив, значительное приращение левой, с которой у генерала самые натянутые отношения.

Вл. Ж.

Северный курьер. 30.01.1900



Рим

24 января (5 февраля)

Сенатор Бельтрани-Скалия представил на последнем заседании в Palazzo Madama запрос по адресу министра внутренних дел, спрашивая, какими именно мероприятиями Пеллу рассчитывает улучшить общественную атмосферу Сицилии и уничтожить мафию. Но, собственно говоря, форма запроса послужила Бельтрани только предлогом для произнесения речи в оправдание родного острова от обвинений и нападков, вызванных разоблачениями процесса Нотарбартоло: действительно, главная часть речи была посвящена мафии и выяснению ее истинного значения. Так как в одной из предыдущих корреспонденций «Одесского листка» уже была объяснена довольно пространно разница между мафией — оборонительным союзом диких, но честных крестьян — и неаполитанской воровской каморрой, то здесь можно обойти молчанием содержание речи сенатора Бельтрани и рассказать только об ответе министра Пеллу. Но предварительно не мешало бы коснуться одного обстоятельства.

Дело в том, что как только дело Нотарбартоло стало сильно вредить престижу Сицилии, множество сицилийцев, известных в политике, искусстве или литературе, горячо выступили на защиту острова в статьях, речах, публичных (даже университетских) лекциях. Это было вызвано тем сильно развитым во всех итальянцах «локальным» патриотизмом, благодаря которому римлянин, флорентиец, ломбардец гордятся не только своей родиной, но также — и в очень сильной степени — своим городом и областью. Над таким патриотизмом у нас принято смеяться, тогда как если его не преувеличивать, он представляет очень симпатичное и полезное явление. Благодаря

ему маленькая Италия обладает множеством умственных центров; пять из них представляют собой настоящие европейские интеллектуальные столицы. Поэтому итальянцу, родившемуся в Равенне или Таранто, не приходится ехать в отдаленный Рим, так как у него под рукой лежат Милан или Неаполь, имеющие несколько не меньшее умственное значение, чем столица королевства.

Перейдем теперь к намерениям генерала Пеллу. Как это ни странно, в его ответе на запрос Бельтрани не было обычных громов и ужасов, напоминающих щедринское «запору». Он высказался против всяких чрезвычайных мероприятий, считая вполне достаточным позаботиться о том, чтобы уже существующие общепитальянские законы применялись в Сицилии не только на словах. Для этого генерал намерен улучшить личный состав сицилийских административных и судебных сфер, которые теперь представляют из себя нечто неприличное. В частности же, против мафии генерал намерен действовать при помощи неослабной строгости, не допуская и т.п.

Эти драгоценные слова, к сожалению, очень неопределенны. И заранее было ясно, что в Сицилии надо перелицевать начальственный персонал и построже следить за мафией; все дело в том, каким образом это будет сделано. На этот счет генерал не дал никаких указаний. Очень прискорбно, особенно потому, что существует жестокое сомнение на счет самой возможности этих реформ для генерала. Речь идет не о том, что генерал, как надо надеяться, весьма недолговечен (политически), но о том, что сицилийская мафия, как не раз указывалось в предыдущих письмах, неискоренима без радикальной перемены в общей внутренней и внешней политике Италии. И, кроме того, скептицизм простирается даже и на саму искренность добрых намерений генерала. Что он не собирается шутить с крестьянской мафией, этому все готовы верить, но не верится как-то в его враждебные намерения против административного персонала Сицилии, особенно после внезапной и «необъяснимой» отсрочки процесса Нотарбартоло, из которого вытекало столько ценных указаний именно насчет этих самых преступных чиновников палермской полиции и магистратуры...

В. Эгаль

Одесский листок. 31.01.1900



«Перевоспитание» Сицилии и дело Нотарбартоло

Рим, 24 января (5 февраля)

На последнем заседании сената Бельтрани-Скалиа представил нечто вроде запроса министру внутренних дел по поводу мероприятий, которые подготовляет генерал Пеллу для предполагаемого «перевоспитания Сицилии», главная цель, однако, речи сенатора Бельтрани состояла в опровержении разных слухов и мнений о Сицилии, пущенных в обращение миланским процессом. У итальянцев есть одно в высшей степени симпатичное качество: *местный патриотизм*. Любовь к Италии не мешает им ценить отдельные области и гордиться их достоинствами: тосканец хвалится чистотой своего языка, неаполитанец — своим климатом и песнями, сын Пьемонта — прославленной честностью северного населения. Благодаря этому в Италии есть, *по крайней мере*, пять равнозначащих крупных умственных центров (Рим, Неаполь, Турин, Флоренция, Милан), в то время как во Франции вся жизнь сосредоточена в Париже, а у нас на Руси — в Петербурге и Москве, с явным и огромным вредом для всего населения и для крупных провинциальных городов. Благодаря этой черте итальянского характера почти одновременно с разоблачениями процесса Нотарбартоло стали раздаваться громкие голоса общественных деятелей, писателей и ученых, родившихся в Сицилии, в защиту своего острова от слишком поспешных обобщений. Сенатор Бельтрани-Скалиа в своем «запросе» главным образом занимался тоже обелением Сицилии от позорящих ее нападок и клевет.

Конечно, главным предметом речи была мафия. Бельтрани указал на очень печальное для Сицилии недоразумение, в силу которого обыкновенно рядом с мафией упоминают о неаполитанской каморре, хотя между двумя этими явлениями нет ничего общего. Каморра — это простая воровская организация, отличающаяся от обычных шаек больших городов Европы только количеством членов; все эти члены, конечно, подонки общества не только в социальном, но и в нравственном смысле. Но сицилийская мафия не имеет в себе ничего, напоминающего организацию: здесь нет ни обрядов, ни иерархии;

mafioso, по словам оратора, это просто-напросто название всякого «истинного мужчины», который не желает прощать своих обид и готов при любой нужде пустить в дело ружье. Так как относительно правительственного правосудия в Сицилии установились самые пессимистические взгляды, то к mafiusu¹, который умеет защищать себя, свою семью и друзей, простонародье чувствует большое уважение. Настоящей язвой мафия становится только тогда (этого, конечно, не сказал сенатор Бельтрани — это прибавляем мы от себя), когда ею начинают пользоваться высокопоставленные лица для своих темных целей — вроде выборов в парламент или «устранения» разных Нотарбартоло.

Так как главным предлогом этой апологии был все-таки запрос о мероприятиях, генерал Пеллу высказал, как он намеревается «исправлять» Сицилию. Он говорил, надо признаться, очень разумно: объявил себя решительным противником чрезвычайных provvedimenti («временные» законы террористического характера) и дал понять, что вся задача будет состоять в коренной перемене персонала сицилийской администрации и магистратуры (которые представляют из себя теперь идеальное воплощение продажности). Что же касается собственно мафии, то с ней генерал обещал поступать по всей строгости законов.

Все это, конечно, очень хорошо и очень верно и, однако, не оставляет ни малейшего сомнения насчет того, что Пеллу никогда не удастся «исправить» Сицилию, не говоря уже о том, что, как можно полагать, ему для этого не хватит времени. Пусть генерал Пеллу попробует быть строгим там, где свидетели обвинения, из страха перед круговой порукой мафии, на суде молчат и где поэтому очень трудно засудить mafioso даже при полной добросовестности судей, не упоминая уже о том, что и арестовать этого mafioso не так просто, как кажется, потому что любой крестьянин готов укрыть его у себя.

Кроме этого всего, можно сильно сомневаться в искренности генерала Пеллу, когда он обещает перемену персонала сицилийской администрации. Исход дела Нотарбартоло ничуть не показывает в нем такой антипатии к сицилийским деятелям. Продолжение процесса было внезапно отложено: судьи решили, что ведение процесса, где ежедневно публично раздаются

¹ Член мафии; мафиози (*итал.*).

обличения против депутата Полиццоло, несовместимо со следствием, которое ведется теперь против того же Полиццоло в Палермо и которое по закону должно быть негласным. Но так как это — софизм (обличения свидетелей, призванных в суд по поводу *gruigi* обвиняемых, нисколько не касаются следствия, введущегося в Палермо, и нисколько не уничтожают его негласности) и так как это рассуждение, если признать его *bona fides*¹, должно было прийти миланским судьям в голову гораздо раньше, т.е. сейчас же после ареста Полиццоло, то в Италии распространилось убеждение, что судьи получили вдохновение свыше, так как там опасались не столько ответственности Полиццоло, сколько разоблачений насчет Криспи и Рудини. Если это так, то нельзя рассчитывать на особенное рвение Пеллу в разгромлении сицилийской администрации, потому что это рвение тоже непременно повело бы к обнаружению виновности очень высоко стоящих лиц.

Вл. Ж.

Северный курьер. 4.02.1900



Письма из Рима

«Инцидент Баччелли» разыгрался раньше, чем этого ожидали, и, против обыкновенного, не в палате депутатов, а в сенате. Профессора Кардарелли и Д'Антоня внесли запрос о случае со Сквитти, которого министр Баччелли, в силу предоставленного ему права, назначил на одну из кафедр неаполитанского университета, вызвав этим студенческие беспорядки и протест профессоров. Баччелли, хотя и больной (его захватила свирепствующая в Риме инфлюэнца), явился на заседание сената и, конечно, блистательно оправдался.

Любопытна судьба этого злополучного министра. Благодаря его научным заслугам, а в особенности открытому, симпатичному, великодушному, чисто римскому характеру он пользуется в Риме огромной популярностью, большей, чем сам король Умберто. Ему дали здесь добродушно-насмешливое, но почтительное прозвище *divo* *Vasselli*, «божественного» Гвидо. И при всем том бедному министру народного просвещения

¹ Добросовестным (*lat.*).

поразительно, что называется, не везет: не проходит трех месяцев без того, чтобы в каком-нибудь из 20 с чем-то университетов Италии не начались волнения, сопровождающиеся криками: «*abbasso Vasselli!*»¹ Шумят, конечно, студенты, но и профессора не выказывают особенного расположения к своему начальнику и нередко дают ему понять это.

Последний случай — *caso Squitti*² — вызвал много толков. Параграф 69-й так называемого закона Казати дает министру право назначать, помимо введом факультетского совета, профессорами в некоторых университетах лиц, имеющих за собой заслуги в области науки. У министра Баччелли ввиду его популярности постоянно бывает много искушений применить этот параграф: к нему обращается с просьбами большее число охотников, чем обращалось бы к более строгому министру. Удивительно, Баччелли очень часто преподносит университетам новых профессоров, создаваемых по закону Казати; понятно, что даже при малом развитии автономного устройства факультетов такие подарки не могут нравиться профессорским советам, тем более что, как утверждают, великодушные министра заставляет его впадать нередко в ошибки и признавать научные заслуги за теми, кто их не имеет (в пример ставят г-на Сквитти).

Что касается учащейся молодежи, то ее поведение в этом отношении необъяснимо. Несомненно то, что молодые студенты обыкновенно как-то сами чувствуют, кто к ним искренно расположен; также несомненна и любовь министра Баччелли к студенчеству; наконец, Баччелли является инициатором проекта университетской автономии, которая не может не прельщать молодых людей при их острой жажде к самостоятельности. Между тем неизвестно откуда возникла чуть ли ни ненависть к министру со стороны студентов, которые восстают против него по самым ничтожным поводам. Достаточно рассказать, напр., прошлогоднюю историю, из-за которой произошли серьезные беспорядки в пяти или шести университетах сразу. Некто Стратико, 42 лет, прошедший с отличиями военную службу и напечатавший несколько дельных сочинений по ветеринарному делу, подал Баччелли прошение о зачислении его в студенты ветеринарного отделения при медицинском факультете в Неаполе. Так как у Стратико не было необходимого для этого свидетельства об окончании среднего

¹ Долой Баччелли (*итал.*).

² Дело Сквитти (*итал.*).

учебного заведения, то Баччелли принял его только из внимания к его занятиям и с условием — выдержать в течение университетского курса экзамен на получение этого свидетельства. Такой «фаворитизм» до того рассердил молодых коллег Стратико, что они произвели беспорядки в очень резкой форме. К удивлению всей Италии (против неаполитанских манифестантов были даже самые крайние газеты), участие в волнениях приняли и студенты нескольких других университетов. Объясняется это влиянием профессоров, пользующихся своей популярностью, чтобы тайком вызвать неудовольствие студенчества против слишком властного министра.

Баччелли никогда не пользуется своими правами во вред кому бы то ни было, и во многих случаях прав он, а не его противники, будь они учащиеся или учащие. Но вполне естественно и то, что в стране, где существует понятие о праве высшей школы на самоуправление, попытка вторжения администрации в область, которой должно заведовать самостоятельное коллегиальное учреждение — профессорский совет, — не может не считаться оскорбительной. Надо надеяться, что представление парламенту работ комиссии по рассмотрению проекта об университетской автономии не заставит себя ждать, и новый закон окончательно уничтожит причины вражды между Баччелли и академическим персоналом, так что этот почтенный ученый сможет, для пользы народного просвещения, остаться на своем посту и после того, как теперешнее министерство уйдет со сцены.

Эгаль

Одесский листок. 10.02.1900



Начало конца. Джордано Бруно

Рим, 5(17) февраля

Мы приближаемся, очевидно, к моменту, когда желанное распушение палаты станет неизбежным и наконец осуществятся общие выборы, от которых, даже принимая в расчет правительственное давление на избирателей, следует все-таки ожидать благотворного влияния на дела Италии. Если только не произойдет чуда, то палата будет распушена еще до начала пасхальных каникул: об этом можно говорить с уверенностью,

потому что на сцену снова выступает яблоко раздора, бывшее в прошлом году причиной парламентских скандалов, — «декрет-закон» 22 июня 1899 года, утверждающий, без согласия палаты и сената, законную силу за так называемыми *provvedimenti*¹ генерала Пеллу.

Декрет, как известно, передан в комиссию, доклад которой представлен теперь палате депутатом Джирарди. Комиссия больше двух месяцев работала над немногочисленными параграфами указа, что давало бы право ожидать от ее занятий каких-нибудь существенных результатов; так как не только его форма, но и сама сущность возбуждает сомнения и споры насчет своего соответствия духу и букве конституции, можно было надеяться, что комиссия урежет этот декрет, сгладит его противоречия с основным статутом королевства, вообще — придаст ему такой вид, который сделал бы возможным его обращение в закон без особенных протестов оппозиции. Но комиссия, по существу дела, не внесла *ни одной* поправки в текст декрета, ничего из него не исключила и почти ничего не прибавила; зато она в изобилии снабдила его статьи обширными объяснениями, в которых заметно старание затушевать излишнюю суровость *provvedimenti* и доказать, что под их строгим тоном не скрывается, собственно, ничего особенно грозного. Таким образом, *provvedimenti* Пеллу остались в полной неприкосновенности.

Необходимо, однако, заметить, что в среде самой комиссии возникли крупные разногласия по поводу декрета, и ее меньшинство представило *contro-relazione*, встречный доклад, в котором предлагает палате категорически отказать правительству в обращении декрета в закон. Тем не менее не может быть никаких сомнений, что большинство палаты окажет декрету, по примеру прошлого лета, радушный прием. Следовательно, возобновление обструкции неизбежно: крайняя левая уже объявила об этом; один из ее вождей, депутат Бардзилаи, говорит в письме к редактору газеты «*Tribuna*», что обструкция для левой — вопрос чести. При возобновлении же обструкции правительству останется только один выбор: или отказать от *provvedimenti*, т.е. пасть, или распустить палату.

Обсуждение декрета (министерство старается теперь по возможности оттянуть этот роковой день с таким же рвением, с каким в прошлом году торопило его наступление) произойдет

¹ Меры, мероприятия (*итал.*).

приблизительно недели через две после представления палате некоторых других законопроектов, относящихся к сметам министерств внутренних дел, военного и морского.



Сегодня, 17 февраля, истекает триста лет со дня смерти Джордано Бруно.

17 февраля 1600 года в Риме был сожжен на костре великий ноланец¹, один из тех странствующих гуманистов, которые разнесли по всей Европе свежие веяния, завещанные итальянским Возрождением. Бруно был казнен за ересь, безбожие, безнравственную жизнь и растрижничество (в ранней молодости он был доминиканцем).

Официальная Италия, однако, *ничем* не поминает своего великого сына. Не слышно ни о каких празднествах, ни о каких торжествах; этот день даже ничем не отличен от обыкновенных будней — не закрыты ни лавки, ни школы. Правда, закрыт университет, но сделано это, во всяком случае, не в честь Бруно, хотя и по поводу Бруно.

Часть римского студенчества решила отпраздновать юбилей созывом «первого студенческого антиклерикального съезда», на который собрались делегаты ото всех университетов Италии. Когда эти делегаты уже приехали в Рим, полиция объявила конгресс запрещенным, так что его заседания могут состояться только при самом ничтожном (не свыше 50) количестве участников. Тем не менее комитет съезда известил студентов, что конгресс, хоть и в такой форме, все-таки состоится. Затем 16 февраля Антонио Лабриола прочел первую лекцию своего специального курса об «исторической судьбе Джордано Бруно»; так как слушателей собралось очень много (пришли и не студенты — дамы, литераторы, журналисты), то для профессора устроили кафедру во дворе университета. После лекции конгрессисты с толпою местных студентов, среди криков: «Да здравствует Бруно!» и «Долой клерикалов!», направились на Campo del Fiore, но узенькие улицы старого Рима были уже запружены карабинерами, которые не пропустили студентов к памятнику ноланца, заставили их отступить и затем молодецким натиском, пуская в ход кулаки, взяли приступом сам университет. Теперь он, как сообщают газеты, закрыт до 1 марта.

¹ Уроженец городка Нола на юге Италии.

На печальные соображения должна эта культурная картина навести того, кто искренне любит Италию и желает ей добра.

В идее антиклерикального съезда нет ничего оскорбительного для правительства, так же как и в криках: «*evviva Giordano Bruno*» или «*abbasso i clericali*»¹. Напротив, и конгресс, и эти возгласы совершенно соответствуют традиционной политике, которой королевство по отношению к Ватикану придерживается с 1870 года. Со дня занятия Рима и до сих пор клерикалы открыто заявляют себя врагами правительства, и во главе этих врагов открыто стоит папа: он не выезжает из Ватикана, не выпускает в Ватикан итальянских солдат и итальянского знамени, не имеет при итальянском королевском дворе нунция и не имеет итальянского посольства при своей курии; папа и Италия-монархия находятся между собою в войне, потому что между этими двумя «державами» прекращены всякие дипломатические сношения. Поэтому до сих пор Италия, относясь с полным уважением к правам папы как духовного владыки, строго и неуклонно следовала политике ограничения светского влияния церкви; в этом отношении монархия сумела себя поставить и всегда твердо охраняла свое достоинство. Нечего думать, что теперь намерения правительства изменились, что оно собирается искать совершенно ненужного ему примирения с Ватиканом; в политике сильнейший никогда не протягивает руки первым. Значит, ни запрещение антиклерикального конгресса, ни появление карабинеров среди мирной демонстрации студентов не могут быть объяснены желанием оказать любезность папе или жиденькому количеству паломников, собравшихся к *anno santo*² в Вечный город. Здесь, очевидно, о папе и не думали. Это беспричинное вмешательство полиции есть просто одна из тех бестактностей, которые так дискредитируют нынешний режим в глазах общественного мнения.

Вл. Ж.

Северный курьер. 11.02.1900

¹ «Да здравствует Джордано Бруно» или «долой клерикалов» (*итал.*).

² Юбилейный год (*итал.*).



Первые стычки. «Quo vadis»

Рим, 19 февраля (3 марта)

Decreto-legge¹ до того заполнил собою политическую жизнь страны, что решительно невозможно оторваться от него и посвятить несколько необходимых строк другим явлениям этой жизни. На очереди стоят несколько законопроектов, важность которых в нормальное время не уступала бы, пожалуй, значению декрета: есть новый бюджет военного министерства, представленный Пеллу и требующий увеличения с 264 миллионов лир до 396 миллионов; есть проект морского министра Беттоло о торговом флоте, вызывающий страстные протесты со стороны всех судостроителей в Италии, так как этот проект устанавливает пониженную норму платы за тонну; есть податная реформа, внесенная министрами Кармине (финансов) и Бозелли (государственного имущества) и вводящая налог на движимое имущество (причем под действие этой реформы должны подпасть и рабочие ввиду того, что задельная плата есть та же движимость); есть интересная журнальная полемика между депутатом Мадджорино-Феррарисом и министром земледелия Саландрой об аграрной реформе и системе земледельческого кредита; есть вполне разработанный проект Гвидо Баччелли об университетской автономии; есть законопроект об эмиграции и так далее. Кое-что из всего этого могло бы иметь особый интерес и для русской публики — например, устройство земледельческих ссуд или самоуправление высшей школы, но речь о том приходится отложить до свободного времени, потому что теперь на первом плане декрет.

Он обсуждается уже три заседания, но обструкция пока еще не началась. Левая действует согласно предварительному уговору. В первом заседании Бардзилаи представил *pregiudiziale*, т. е. требование, чтобы палата *a priori*² отвергла обсуждение декрета на том основании, что парламенту могут быть представляемы только законопроекты, а не декреты для «обращения в закон». Пеллу не стал вдаваться в разбор хрупкой казуистики этого требования и ограничился тем, что поставил вопрос

¹ Правительственное постановление, имеющее силу закона (*итал.*).

² Здесь: не входя в суть дела (*лат.*).

о доверии; тогда Бардзилаи взял свою *pregiudiziale* обратно, находя неудобным доставить генералу неожиданный вотум большинства о «доверии». Затем Пантано было внесено предложение об отсрочке с тем, чтобы предварительно подверглись обсуждению все остальные вопросы, стоящие на очереди, а потом уже декрет (как и требовало десять дней тому назад само министерство). С отсрочкой повторилось то же, что и с *pregiudiziale*: после возражения Пеллу Пантано взял ее обратно. Палата перешла к обсуждению декрета. Теперь, если будет принят и переход к рассмотрению отдельных статей, крайняя левая, согласно своему плану, начнет obstruction

Вчера состоялось в Милане интересное и для русской публики решение суда по делу о переводах «*Quo vadis*». Генрик Сенкевич за период каких-нибудь восьми месяцев сделал в Италии блестящую литературную карьеру, обратив на себя всеобщее внимание как на европейскую силу, высокоталантливую художника и поэта благодаря переводу его романа «*Quo vadis*», изданному фирмой Деткен в Неаполе. Роман, конечно, произвел фурор, пожалуй, еще больший, чем у нас в России три года тому назад; публика и критика остались в восторге. За «*Quo vadis*», вызвавшим о себе множество статей и брошюр, появились в отдельных изданиях «*La famiglia Polaniecki*», «*Bartek il vincitore*», «*Anna*» («Ганя» — прелестный рассказ, которого, к сожалению, в Италии *не смогут* оценить по достоинству); один журнал напечатал «*Oltre il mistero*» (заглавие «Без догмата» почему-то не понравилось переводчику).

Процесс возник из-за того, что фирма Деткен получила от г-на Сенкевича исключительное право на перевод его произведений; другие фирмы, конечно, не обратили на это внимания и, пользуясь отсутствием конвенции между Италией и Россией, не только издали прочие романы Сенкевича, но и сам «*Quo vadis*» напечатали в новом переводе. Деткен подал жалобу, но миланский суд оправдал ответчиков.

Курьезно то, что папская конгрегация внесла «*Quo vadis*» в свой Index книг, чтение которых добрым католикам запрещено.

Вл. Ж.

Северный курьер. 27.02.1900



Письма из Рима

Комиссия, работавшая над декретом 22 июня, закончила свои занятия, и депутат Делигарди представил палате отчет о них, так что наконец можно судить о том, насколько успешно справилась она с трудной задачей и насколько добросовестно к ней отнеслась.

Необходимо напомнить сущность содержания этого *decretone*, возведенного в форму «закона» одною волей короля, помимо парламента, и поэтому вызвавшего жаркие споры относительно законности и обязательности заключающихся в нем постановлений. Последние касаются публичных собраний, ассоциаций, охраны общественных работ и, наконец, печати, преимущественно повременной. Статут короля Карла Альберта гарантировал Италии большую или меньшую свободу во всех этих отношениях, но с того времени прошло больше полувека, в течение которого правительство мало-помалу урезывало права печати и ассоциаций, так что теперь эти права состоят в прямой и очень резкой зависимости от полицейского произвола. Декрет 22 июня 1899 года должен окончательно добить нежелательные элементы в обществе. Он предлагает дать полицейским властям право распускать все собрания, происходящие «в открытом месте или в присутствии посторонней публики», если эти власти признают такие собрания вредными; относительно ассоциаций декрет предписывает столь же строгие меры, предлагая министру внутренних дел закрывать их, если они направлены к ниспровержению основ «путем действия». У служащих по ведомствам железных дорог, почт и телеграфов и на газовых и электрических станциях декрет отнимает право стачки, которым пользуются обыкновенные рабочие. Особенное же внимание уделено печати: установлена ответственность не только редактора и «его сотрудников», но и типографа, а в число прегрешений включены: печатание отчетов о процессах о диффамации, оскорбления по адресу иностранных государей и их послов и даже «распространение ложных слухов» — термин очень неопределенный и легко поддающийся «толкованиям».

Несмотря на то что комиссия очень долго работала над этим декретом, в ее докладе он почти не изменен. Главные поправки состоят в обширных объяснениях, приложенных

к статьям декрета и пытающихся смягчить его резкий смысл, истолковывая его с грехом пополам так, чтобы не оттенять его противоречий духу статута. Поправок в настоящем значении этого слова, т.е. исключенных параграфов и т.п., совершенно нет; есть две-три слабые попытки установить кое-какой контроль над действиями полиции (в качестве контролера предлагается не что иное, как префектура) или смягчить слишком строгие наказания, предписываемые декретом. Но все это так мелко, жалко и незначительно, что невозможно даже определить сущность робких поправок комиссии: они составлены слишком неясно и расплывчато. Проще сказать, комиссия оказалась достойным чадом палаты. Как и в палате, в комиссии большинство составилось из лиц, неспособных к решительным ответам и предпочитающих золотую середину между двумя стульями. Подобно большинству палаты, большинство комиссии тоже сочло для себя выгодным избежать, с одной стороны, столкновения с властью имущими, а с другой — слишком откровенной услужливости; плодом такого настроения не могло явиться ничего другого, кроме доклада Джирарди.

Однако меньшинство комиссии осталось при особом мнении, и депутат Вилла от его имени представил палате встречный доклад, в котором парламенту предлагается воспрепятствовать обращению *decretone* в закон. Доводы приводятся здесь не столько юридические, сколько, так сказать, моральные (Вилла особенно подчеркивает оскорбленное достоинство законодательного учреждения). Это несколько умаляет вескость протеста, но, с другой стороны, противники *pellusovskikh* *provvedimenti*¹ сумеют сами найти юридические возражения, и значение встречного доклада не столько в мотивировке его, сколько в самом факте его возникновения, указывающего на разногласие в самой комиссии.

Как только работы последней были закончены, крайняя левая потребовала немедленного обсуждения декрета, нисколько не скрывая своего намерения возобновить при нужде прошлогоднюю тактику. Но именно ввиду того, что обструкция внесет долгий перерыв в заседания палаты, признано необходимым заняться прежде обсуждением смет на 1900 год и несколькими важными законопроектами (об эмиграции, о торговом флоте, о военных затратах). Затем начнется чтение доклада.

¹ Меры, мероприятия (*итал.*).

Положение дела в настоящее время представляется ясным до прозрачности. Большинство палаты физически неспособно отказать министерству в обращении декрета в закон. Крайняя левая, как выразился депутат Бардзилай, не может не возобновить обструкции, потому что в этом для нее вопрос чести. Следовательно, обструкция неминуемо должна повториться, и на этот раз уже придется распустить палату и рискнуть общими выборами. Остается только надеяться, что министерство догадается сделать этот шаг прежде, чем обструкция примет те формы, в которых она проявилась в прошлом году.

Эгаль

Одесский листок. 29.02.1900



Обструкция

Рим, 20 февраля (4 марта)

Обструкция, к которой левая решила прибегнуть и о которой я вам писал в предыдущем письме, не заставила себя долго ждать. Согласно уговору, она должна была начаться в субботу, 3 марта. Так как об этом было заранее известно, то в палате трибуны для публики, трибуна двора, места журналистов были битком набиты; причем можно было заметить десятка два дамских шляпок. Наоборот, *auletta* (маленький зал, где теперь временно заседает палата) была не совсем полна. Скамьи правой, по заведенному правилу, были пусты; центр значительно в сборе; на эстраде министерства сидели три-четыре фигуры в миролюбивой беседе с собравшимися внизу депутатами. Но левая и крайняя левая были переполнены: не было ни одного свободного места.

Раздался звонок, президент Коломбо, покашливая, объявил заседание открытым, и почти сейчас же началась первая вылазка: депутат Виски в небольшой речи подтвердил серьезность намерений оппозиции и, для первого шага, потребовал поименного голосования для отпусков уезжающим депутатам, разрешаемых испокон веков простым вставанием. В переводе на обычный язык это означало, что каждый из немалочисленных отпусков, ежедневно предъявляемых палате, будет отнимать у нее, по крайней мере, по получасу времени.

С правой стороны и из центра подымается ропот протестов, которые через миг превращаются в сплошной гам отдельных возгласов и местоимений; из общего шума вырываются резкие слова — например, «buffoni» (шуты). Президентский звонок надрывается, и в зале мало-помалу устанавливается относительное спокойствие, но сам Коломбо, очевидно, смущен. К нему подбегают несколько депутатов из центра; происходит, верно, совещание, между тем как один из опогévoli¹, слова которого едва доносятся до галереи печати, протестует против предложения Виски. Наконец, президент подымается — шум стихает почти сразу — и решительно объявляет, что поименное голосование в данном случае неуместно, хотя в парламентском уставе и не указаны случаи, когда депутаты имеют право требовать вотума по переключке, но практика и традиция указывают, что это возможно только при вопросах политического характера.

Новый взрыв протестов — уже слева. Крайняя левая повторяет и подкрепляет свое требование, ссылаясь на букву регламента. Шум усиливается до невероятных пределов; уловив момент сравнительного затишья, президент объявляет, что не берет на себя решения этой задачи и потому предоставляет решить ее палате. После этих слов крайняя левая, как один человек, вскакивает. Раздаются не крики, а буквально вопли: «Палата не имеет на это права! Исполняйте регламент! Трусы! Да это не президент!» И т.д.

Коломбо, не звоня, подымается и спокойным тоном, под которым чувствуется ярость, — жаль, что выражения его лица не видно с нашей эстрады без бинокля, — объявляет, что ставит на голоса («вставанием») свое понимание регламента. В один миг весь центр и вся правая на ногах; уровень левой понижается — обструкционисты садятся на мгновение, но видя, что их дело проиграно, вскакивают, частью срываются с мест и производят какую-то оргию шума, напоминающую празднование Befana (6 января) на Piazza Navona, когда все простонародье Рима стекается на эту огромную площадь с громовыми колоссальными дудками и старается оглушить город адским грохотом. По адресу президента раздается: «Кум правительства! Вы не сдержали слова! Трус! Vigliacco!»

На нашей эстраде англичанин-корреспондент, бледный, уставив глаза в свой белый бинокль, почти кричит соседям:

— Смотрите на Турати!

¹ Депутат (итал.).

Это интересная картина. Черная фигура «майского героя» одиноко сидит в своем кресле в самой спокойной позе, и руки его методично поднимают и опускают доску пюпитра, ударяя о края. К Турати подбегают несколько других и, соблаздившись его примером, усаживаются рядом. Грохот досок ясно выделяется из общего гула и производит фурор.

Затем вдруг депутаты центра успокаиваются и садятся. Шум значительно утихает. На эстраде печати говорят, что президент переходит к «очередным делам». На очереди — запрос Рикардо Луццатто (с крайней левой) о неподобающих действиях какого-то префекта; действительно, Луццатто читает свой запрос, и подымается товарищ министра внутренних дел Бертолини (Пеллу сам не явился), чтобы отвечать, но в ту же минуту грохот пюпитров наполняет зал: вся левая стучит, центр и правая отзываются ревом негодования. Бертолини стоит, опираясь руками о край стола и, очевидно, с презрением смотрит со своей высоты на этот беспорядок; потом пожимает плечами и садится. Стук прекращается; сверху, с трибун публики, доносятся отрывки подавленного, но гомерического хохота.

— Прошу коллег с крайней левой, — говорит президент, заметно волнуясь, — не ставить себя в слишком неприятное положение перед страной...

Взрыв. Три десятка ораторов вскакивают и, прося слова, начинают одновременно свои *quousque tandem*. Президент кричит что-то, чего мы не разбираем, и после этого с крайней левой доносятся знакомые звуки: стучат. Коломбо швыряет колокольчик и сходит со своей кафедры, объявляя перерыв. Через три четверти часа вспыхивают огни, заседание возобновляется, и президент объявляет, что не нашел средства прийти к соглашению с обструкционистами, поэтому он предлагает перейти к очередным вопросам и снова дает слово Бертолини. Бертолини подымается, и... крайняя левая начинает свою музыку. Прежняя сцена повторяется до мельчайших подробностей. Бертолини садится, и все стихает. Коломбо, полузадыхаясь, в полной тишине говорит:

— Протестую против поведения крайней левой и объявляю, что она препятствует ходу работ палаты. Заседание закрыто.

Вл. Ж.

Северный курьер. 4.03.1900



Письма из Рима

В числе ходячих фраз в Италии одно из первых мест занимает выражение: «страна *bel canto*». Поэтому в качестве добросовестного хроникера я должен был бы дать подробнейший отчет о римской опере и здешних певцах. Но я позволю себе говорить пока только о драме.

Начну с народных театров. *Metastasio* и *Manzoni* (кстати, замечу, что здесь существует похвальный обычай называть театры не полными глубокого смысла кличками вроде «Городского», «Нового», «Русского», а именами национальных поэтов и деятелей). Впоследствии открылся еще *Margherita*, но это был уже совершенный балаган: за кресло платилось 50 *centésimi* (18 копеек), а за места низшего ранга — еще меньше, так что на «галерее» цена доходила до пятачка. Сообразно этим ценам была, понятно, подобрана и труппа. Но поразительно то, что на репертуар балаганчика это нисколько не повлияло: в то время как аристократический *Valle* пленял свою публику «Контролером спальных вагонов» и пр., в *Margherita* с успехом ставились *только* классические произведения: Альфьери, Джакоза, Косса, Дюма-сына и даже Шекспира «Гамлет» (честное слово!).

Нельзя сказать того же о *Metastasio* и *Manzoni*. Правда, в первом из них я слышал «Гёзов» («*I pezzenti*») покойного Феличе Кавалоти, а во втором тоже однажды давали «Даму с камелиями» и «Гамлета», но это были исключения. Главный репертуар *Metastasio* состоит из фарсов французского жанра, а *Manzoni* гремел от ружейных выстрелов, взрывов, крушений поездов и прочих аксессуаров сенсационной драмы.

Но даже в этих театрах бросалась в глаза удивительная естественность итальянского артиста или актера. Ни шаржа в жизнерадостном *Metastasio*, ни преувеличенного трагизма, трагических завываний «молниеносных» взглядов, мин и поз в кровавых эпопеях *Manzoni*. В особенно эффектных пунктах сенсационной драмы, когда герою приходилось жертвовать собою или смело оскорблять своих притеснителей, без позировки, правда, не обходилось, но она вполне соответствовала национальному духу: поза действительно является как бы врожденной южным романским народам.

Manzoni сделал себе оригинальную специальность: здесь довольно ответственные роли отдавались очень часто детям. В «Пиратах Саванны» девочка лет семи с большим успехом провела довольно трудную роль с длинными диалогами и даже монологами; в другом произведении, «Бриллиантовом ожерелье», еще более ответственная роль досталась девочке лет десяти, несомненно, очень талантливой особе: я ее видел и в другом театре, Drammatico Nazionale, где она играла (вместе с Джацинтой Пеццана) в «M-r Alfonse» Дюма.

Из взрослых артистов Manzoni я особенно помню молодого г-на Вестри, игравшего «героев». Должен сознаться, что я никогда не подозревал о возможности вложить столько естественности в нелепые создания итальянских веристов. В самых трудных местах, когда напряжение нервов у зрителей доходило до нежелательных размеров, г-н Вестри с редким тактом оставался прост и натурален. Помню, как в «Мишеле Строгове» Жюля Верна бедному г-ну Вестри на сцене выжигали глаза раскаленным кинжалом; помню, как он, стоя на коленях, болезненно слегка скривил губы, закусил их как-то жалостно, с одной стороны только прищурил глаза, словно не решаясь закрыть их, оттянул голову изо всей силы назад и быстро-быстро замигал. Такого выражения ужаса без большого таланта не создать; даже лицо у г-на Вестри как-то побледнело, точно в самом деле жар от раскащенного бутафорского кинжала доносился до его ресниц. Очень может быть, что Вестри предстоит еще карьера: говорят, что и Новелли, и Дзаккони так же, даже еще ниже начали.

Metastasio менее оригинален. Здесь следует упомянуть только о беззаботной, чисто итальянской веселости и о том, что фарсы постоянно бывали пикантны, но циничны — никогда.

Однако самое интересное в этих театрах не артисты, а сама публика. Мелкие лавочники, ремесленники, приказчики, конторщики, а наверху, в *loggione*¹, — рабочие, эти зрители сидят здесь вольно и непринужденно, снимая шапки только во время действия, и то по просьбе сидящих сзади (а женщины так и не снимают шляп, но женщин в этих театрах очень мало). Во время антракта в театре царит невообразимый шум: первые ряды переговариваются с последними, боковые галереи — между собою, через весь театр, в амфитеатре несколько любителей с присвистом поют «*Siciliana*» или «*Ridi pagliaccio*»,

¹ Галерка (*итал.*).

а большинство кричат капельмейстеру: *maestro!* смелей! пора! кончайте! В *loggione* продают тыквенные семечки. После второго действия появляется разносчик и выкрикивает: «*Esso la "Tribuna!"*»¹, и свежий номер популярной газеты раскупается нарасхват.

Во время действия публика очень внимательна, хотя до полной тишины доходит очень редко. В особенно удачных местах актера прерывают возгласами *bene!* *bravo!*² и аплодисментами, а в комических — с галереи непременно доносится какое-нибудь остроумное замечание *завсегдатая-гамена*, чистого римлянина, который не умеет ни думать, ни говорить без острот. Свист и шиканье слышны очень редко.

После каждого действия устраиваются овации, но в конце последнего акта, хотя бы герой только что отличился самым удивительным образом, публика с жидкими хлопками подымается и спешит из театра. Что это за поразительный и психологический закон, вызывающий такую нелепую торопливость у самых ярых любителей театра? Посмотрите на любое семейство в театре: что с ним творится в конце спектакля: как суетится толстый папаша, как беспокоится мамаша, точно еще минута — и стены обвалятся! Интересно было бы знать, чем объяснить эту странность, встречаемую, однако, повсюду — в Италии, как в Норвегии, в Англии, как у нас.

Вл. Эгаль

Одесский листок. 12.03.1900



Обструкционизм в Италии

Рим, 12(25) марта

За две недели все успели настолько свыкнуться с обструкцией, что даже перестали считать ее болезненным явлением и начали смотреть на нее, как на нечто естественное и необходимое. Каждый день кто-нибудь из депутатов с крайней левой представляет поправку к статье 1-й декрета-закона и говорит о ней как можно дольше, а президент Коломбо прерывает его: такова обычная, уже надоевшая программа заседаний на Мон-

¹ Вот «Трибуна»! (*итал.*)

² Хорошо! Bravo! (*итал.*)

течиторио, где царствовала бы невыносимая скука, если бы депутаты изредка не развлекались инцидентами и если бы десятка два-три из них не сохранили веселого настроения и юмора. Публика трибун, слушая в четверть уха бесконечные, морозящие обструкционные речи, только и ждет, чтобы кто-нибудь из *onorévoli*¹ сострил. *Onorévoli* не заставляют себя просить и любезно забавляют публику. Пальма первенства в этом отношении принадлежит незаменимому Энрико Ферри, который недавно привел в восторг всю *auletta*² своей научной классификацией методов обструкции: он распределил их по пяти категориям, пародируя свои же категории преступного человека.

В настоящую минуту эта мирная идиллия нарушена таким резким образом, что если и была до сих пор какая-нибудь надежда на приличное разрешение вопроса о декрете, теперь больше не на что надеяться. После предложения Камбрэ-Диньи о пересмотре устава палаты для крайней левой осталось только одно средство, пятое по классификации Ферри — *obstruzione materiale*, т.е. самое грубое подражание прошлогодним беспорядкам. В самом деле, Камбрэ (конечно, предварительно согласившись с министерством) нашел единственное верное средство избавления от обструкционистов в том, чтобы была немедленно избрана комиссия, которая в течение двух дней переработала бы регламент палаты так, чтобы дать президенту более широкие полномочия для пресечения и предупреждения; палата же должна «принять или отвергнуть заключения комиссии одним голосованием, без разделения, без обсуждения и без поправок». Это задумано, несомненно, очень хитро, и в случае успеха *mozione*³ *Cambraja-Digny* с обструкцией можно было бы покончить в два заседания. Однако осуществление этой приятной перспективы оказалось не так легко.

В противовес предложению Камбрэ депутат Пантано внес *contra mozione*⁴, предлагающее палате, отвергнув предложение Камбрэ-Диньи, принять на себя обязанности учредительного собрания, пересмотреть конституцию и, по примеру доброго старого времени, посредством плебисцита-референдума отдать новый статут на одобрение нации.

¹ Обращение к депутату парламента; букв.: «досточтимый» (*итал.*).

² Малый зал (*итал.*).

³ Депутатское предложение (*итал.*).

⁴ Встречное предложение (*итал.*).

Италия — не Швейцария и не Франция; здесь невозможно придумать *bête plus noire*¹, чем пересмотр конституции. Здесь любой власть имущий готов при случае всячески изобидеть эту конституцию, преступить ее запрещения и тем самым провозгласить ее устарелость или несостоятельность. Но согласиться на пересмотр статута никто, конечно, не рискнет и сейчас же объявит, что конституция трижды свята, непогрешима и неприкосновенна.

Эта боязнь пересмотра, с одной стороны, и убеждение в его необходимости вместе с угрозой агитации — с другой, заставляют, к сожалению, опасаться, что потрясение, может быть, не есть один звук пустой.

Есть вопрос, может быть, и праздный, который очень занимает в данный момент Италию. Часть общества стоит за обструкционистов, часть против, но ни те, ни другие не могут точно ответить на вопрос: кто прав? Конечно, не только законные, но отчасти и нравственные доводы говорят не в пользу обструкционистов, которые, противясь освященной конституцией воле большинства, оскорбляют принцип законности, ими же самими провозглашаемый. Но если резонов для их оправдания не хватает, то зато за них громко говорит чувство, и симпатии большинства невольно остаются на их стороне. Вот характерный эпизод в этом отношении. В России, вероятно, неизвестно, что Габриэле Д'Аннунцио — депутат и именно член крайней правой. Очевидно, и сам Д'Аннунцио забыл о своем звании, потому что на заседаниях палаты его никогда не видели: он проводил свое время в поисках вдохновения то на берегах Нила, то в Тоскане, то в родных Абрुццах. Только в последние дни он появился в Риме и принялся посещать палату, приняв даже участие в голосовании, где, как и вся правая, вотировал в пользу предложения Камбрэ. Во вчерашнем заседании, однако, во время апогея беспорядка он внезапно пересел поближе к левой и даже принял участие в ее протестах против «грубой численной силы». Вечером же, в то время как крайняя левая по обыкновению совещалась в одной из зал палаццо Монтечиторио, Д'Аннунцио явился и, принятый рукоплесканиями, сделал обструкционистам следующий комплимент на своем немного искусственном наречии: «Приношу свои по-

¹ Нет ничего хуже; букв.: самая черная бестия (*фр.*).

здравления крайней левой по поводу пыла и стойкости, с которыми она защищает свою идею. Сегодня я видел, с одной стороны, множество мертвецов, которые выли (*che urlavano*), а с другой, небольшое число живых и красноречивых людей. Как человек интеллигентный я иду к жизни».

Вл. Ж.

Северный курьер. 18.03.1900



Рим

17 (30) марта

Не колеблясь, можно сказать, что Италия давно не находилась в таком опасном положении, в такой степени на краю бездны, как в настоящую минуту, после заседания палаты 29 марта. До сих пор существовали только парламентские затруднения; теперь эти затруднения благодаря искусному, но не совсем корректному приему президентов совета и палаты улажены или, вернее, разрушены: но именно потому и следует опасаться того, что гораздо ужасней всяких депутатских обструкций — перенесения беспорядков из зала заседаний в Palazzo Montecitorio на улицу.

Как известно, в самом начале обсуждения *provvedimenti*¹ Пеллу, являющихся яблоком раздора, обструкционисты успели представить до полусотни «поправок» к одному только первому параграфу этого злополучного законопроекта; по поводу каждой, даже самой пустячной «поправки» произносились бесконечные речи, и в заключение «поправка» хотя и отвергалась, но не иначе, как поименным голосованием, затягивая таким образом обсуждение *decreto-legge*². Конца этой сказке про белого бычка не предвиделось, так что министерству пришлось выбирать между тремя выходами: роспуском палаты, отставкой кабинета или изменением устава парламентского делопроизводства. Пеллу избрал, конечно, третий путь, последствием чего явилось предложение депутата Камбрэ-Диньи поручить пересмотр этого устава существующей при палате специальной комиссии. Этим предложением, однако, вопрос

¹ Меры, мероприятия (*итал.*).

² Правительственное постановление, имеющее силу закона (*итал.*).

не был разрешен, потому что крайняя левая немедленно принялась обструировать самый проект Камбрэ-Диньи: снова полились бесконечные речи с обычными перерывами президента палаты, г-на Коломбо, и с перебранками между левой и серединой. Во вчерашнем заседании генерал Пеллу с помощью Коломбо умудрился — вряд ли к чести обоих президентов — выйти и из этого последнего затруднения. Он предложил палате прекратить пока обсуждение не только предложения Камбрэ, но и самих *provvedimenti* и перейти к другим очередным вопросам; комиссии устава между тем поручить пересмотр регламента палаты, который должен быть закончен к субботе, 31 марта, и *вотирован* палатой без обсуждения и без поправок во вторник, 3 апреля, посредством *вставания*.

Сейчас же после этих слов министра несколько депутатов крайней левой потребовали слова с целью, конечно, поднять обструкцию и против этого предложения. Но президент Коломбо на этот раз позволил себе беззаконие, предосудительное не столько по своей сущности, сколько ввиду последствий, которые из него могут проистечь: он не дал слова никому и сейчас же поставил вопрос на голоса посредством того же вставания. Многочисленные *ministeriali* мгновенно вскочили на ноги — и предложение Пеллу было принято. Не только крайняя, но и конституционная, не обструлирующая левая (Дзанарделли — Джолитти) немедленно подписали протест, объявив, что не признают голосования 29 марта ввиду его незаконности. Но было уже поздно.

Положение дела в настоящее время таково: комиссия устава сплошь, за исключением одного оппозиционного депутата, состоит из сторонников министерства; председатель ее — князь Сидней Соннино, который во всей этой эпопее *provvediment'ov* и *decreto-legge* разыграл роль закулисного режиссера и руководителя, что-то вроде Пати дю Клама — этой римской дрейфусиады. Заключение этой комиссии заранее известны: она даст президенту палаты право лишать депутатов слова по произволу, удалять непокорных из зала заседаний даже силой в случае необходимости и т.д. Палата должна будет голосовать все эти заключения *tali quali*¹, без обсуждения. Ясно, что в их одобрении не может быть сомнения. И так как голосование будет произведено вставанием, а не закрытой баллотировкой

¹ Такими, как есть (*итал.*).

(как в прошлом году, когда обструкционисты опрокинули урны с голосами), то полная победа правительства над народными партиями (*partiti popolari*, как именуются фракции крайней левой) неотвратима и несомненна.

Весь ужас положения состоит в том, что в этой крайней левой сидят такие люди, как Энрико Ферри, Коста, Турати, де Феличе, Бардзилаи. Ни в центре, ни, конечно, на правой нет никого, кто бы равнялся по влиянию на массы этим людям. Турати после майской недели 1898 года стал национальным героем Милана, гнезда итальянской демократии, где теперь к тому же ярко радикальный и очень влиятельный муниципалитет; де Феличе, сицилийский сепаратист и герой разнообразных противоправительственных кампаний, пользуется, в буквальном смысле, обожанием населения в восточной части Сицилии; профессор-криминолог Энрико Ферри превышает популярностью их обоих и уже одним фактом своего участия в обструкции, не обратясь ни одним словом к учащейся молодежи, вызвал студенческие волнения от Палермо до Турина, так что часть университетов теперь закрыта. И все эти люди перед началом последней обструкции хором и во всеуслышание Италии и Европы объявили, что борьба с *provvediment'*ами для них — «вопрос чести», т.е. взялись за гуж, которого теперь не выпустят из рук, не останавливаясь, может быть, ни перед какими средствами.

Тому, кто любит эту чудную страну и ее добрый, способный, симпатичный в лучшем смысле слова народ, страшно и больно подумать, что Италия, может быть, находится накануне повторения несчастных событий 1898 года. И конечно, не того мы опасаемся, что ей придется пережить какой-нибудь переворот и начинать все сызнова: у правительства много солдат, и во главе его стоит тоже солдат. Никакой переворот немислим в настоящее время. Но беспорядки, кризисы промышленности и, как их дополнение, будущая безработица с голодом, процессы, каторга, а главное, кровь — вот чего невольно боишься, вспоминая о словах Марка Твена: «Пока дерутся представители в парламенте, можно быть спокойным, что не подерутся избиратели на улице». А Пеллу и Коломбо прекратили «драку в парламенте», закрывая глаза на то, что «улица» и без того достаточно возбуждена: *malcontento*¹ всегда было в Италии традицией, и теперь под влиянием последних событий оно только разрослось.

¹ Недовольство (*итал.*).

Из этих событий, несомненно, первое место следует отдать двум скандальным процессам, поразившим негодованием и изумлением всю Италию. О первом из них — знаменитом деле Нотарбартоло — будет еще случай поговорить, когда оно возобновится; остановимся сегодня на процессе сообщников Аччарито (виновника последнего покушения на короля Умберто).

Этот процесс в настоящее время разбирается перед судом присяжных в городе Терамо в Абруццах. В декабре 98-го года Аччарито из тюрьмы Санто Стефано послал королю просьбу о помиловании, причем назвал несколько своих будто бы сообщников. Последних немедленно арестовали и начали было судить в Риме, но при этом сейчас же стали обнаруживаться такие вещи, что власти спохватились, приостановили дело и перенесли его в глушь провинции. Но и отсюда телеграммы разносят по Италии все подробности процесса. Оказывается, что Анджелелли, директор тюрьмы, чтобы выпытать у Аччарито имена его сообщников, подвергал его физическим пыткам, держа свою жертву (признанную не вполне нормальным субъектом) в холодной сырой конуре почти без воздуха и совершенно без света, давая пищу такого качества, что даже неприхотливому простолыдину Аччарито приходилось «по два раза фильтровать воду сквозь носовой платок». Но это оказалось недостаточным, и Анджелелли стал подсылать к Аччарито арестантов, которые, выдавая себя за анархистов, старались добиться его откровенности; сам Анджелелли не гнушался лично и многократно уговаривать и обольщать Аччарито, суля ему разные заведомо ложные блага вроде помилования; каторжнику, доведенному до полного умственного иступления, Анджелелли нашептывал о печальной судьбе некой Pasqua Venaruba, бывшей подруги Аччарито; Анджелелли унизился до того, что солгал преступнику, будто Паскуа родила сына, который теперь вместе с матерью умирал с голоду. И в довершение всего директор Санто Стефано составил письмо к Аччарито от имени той же Pasqua, где она умоляла своего старого друга ради нее и мифического сына заслужить себе прощение выдачей сообщников. Этот подлог победил упрямство Аччарито: он переписал составленное Анджелелли прошение-донос и подписал его. Теперь, на суде, Аччарито отрицает все указания своего доноса, и действительно против обвиняемых нет улик. Анджелелли третьего дня на очной ставке со своим арестантом признал почти все показания Аччарито (также и подлог письма) и позволил себе выразиться, что сделал все это для блага королевской фамилии.

На этой очной ставке произошел факт, который я передам *pour finir*¹, без всяких комментариев. Аччарито в конце заседания разрыдался и закричал Анджелелли, при глубоком и одобрительном молчании публики: «Вы подлец (*vigliacco*)!» Анджелелли промолчал, но за него ответил... прокурор. Он объявил: «Вы сами подлец».

Altalena

Одесские новости. 22.03.1900



Новый роман Д'Аннунцио

В ТЕАТРАХ

Рим, 20 марта (2 апреля)

По поводу последней выходки знаменитого *Superguoto* — переселившегося в палате справа налево — в печати появились ему упреки за то, что он пренебрегает своим депутатским званием, не принимая почти никогда участия в заседаниях. На эти справедливые обвинения Д'Аннунцио не сумел ответить: грозная статья, напечатанная им в «*Giorno*»², представляет любопытнейший образец того, как можно писать о политике языком «*Also sprach Zarathustra*», но не содержит никаких объяснений или оправданий такого равнодушия к доверию избирателей. При всем том общество, конечно, готово простить Д'Аннунцио этот грех, так как он не терял даром времени, проведенного вне палаты. Со времени своего избрания он успел напечатать «Джоконду», «Славу», сборник стихов под заглавием «Хвалы», а на днях наконец появился долгожданный роман «*Fuoco*» («Огонь»).

Первая серия повестей Д'Аннунцио, «романы розы», уже закончена. В «Наслаждении», «Невинной жертве» и «Триумфе смерти» он дал картину различных проявлений *bête humaine*³, проследив извращения лучших и высших свойств современного человека, в котором энергия, сила воли, гений не столько исчезли, сколько выродились и развратились. Вторая серия — «романы лилии» — должна носить совершенно иной характер.

¹ В заключение (*итал.*).

² «День» (*итал.*).

³ Человек-зверь (*фр.*).

Из этой серии напечатаны пока только «Девы скал». Вместо ярких, хотя и болезненных красок, отличающих «романы розы», здесь появляются оттенки, нюансы, *sfumature*¹; язык автора значительно изменяется, воспринимает *архаические* формы шестнадцатого столетия; действующие лица перестают вырисовываться резко, во весь рост, а намечаются точно в полусвете, в «дымке», употребляя любимое словечко отечественных символистов, и сами образы героев меняются, переходят в другую категорию: вместо сильных, жадных до жизни, полнокровных, как в «романах розы», они должны явиться в «романах лилии» более, так сказать, неземными, более *prerafaelite*.

«Фуосо» начинает собою серию, посвященную «гранатовому яблоку». Если символическое значение «розы» и «лилии» легко понятно, то идея «*melagrano*»² не сразу поддается объяснению. Вернее всего, что после опьяняющего запаха розы и еще более ядовитого благоухания лилии Д'Аннунцио намерен указать своим читателям и почитателям путь к возрождению, к спасению, облекая последнее в символ скромного, но полезного и полного сочных семян гранатового яблока. Это тем более вероятно, что, как кажется, последний из «*romanzi del melagrano*»³ будет носить название «Триумф жизни».

Однако в «Фуосо» этих свежих струнок возрождения — может быть, только на первый взгляд — незаметно; вообще, новый, третий стиль творчества Д'Аннунцио в этом романе не настолько ясно определился, чтобы можно было установить главные резкие отличия его от предыдущих. Это вполне понятно, так как стилия по произволу не изменишь, и попытка Д'Аннунцио — распределить себя самого, передним числом, по клеткам — не могла не окончиться неудачей.

Передать содержание романа было бы затруднительно.

Здесь, как и в предыдущих романах, Д'Аннунцио сделал героем произведения себя самого под именем Стелио Эффрена, поэта — «создателя образов» (Д'Аннунцио полагает, что этот эпитет к нему подходит). Здесь эта тождественность писателя с героем особенно ясна, потому что Эффрена в романе является автором нескольких действительных произведений Д'Аннунцио, например драмы «Мертвый город». Рядом с «создателем образов» поставлена неизбежная у этого писателя,

¹ Нюансы (*итал.*).

² Гранат (*итал.*).

³ «Гранатовые романы» (*итал.*).

необыкновенная женщина-вдохновительница, знаменитая артистка Фоскарина, в которой тоже легко узнать живое и всем известное лицо. Действие романа происходит в Венеции и все состоит из разных этапов внутренней эволюции Стелио, его душевных, часто довольно мелких скачков, прогрессов и регрессов, при помощи которых он «идет к жизни».

Язык романа все тот же, обычный аннунциевский язык. Его красота, неподдающаяся передаче на нероманские наречия, доказывает, что из итальянского языка можно сделать почти музыку, почти «симфонию», как выражаются французские новаторы, но этот же самый слог, с другой стороны, благодаря своей искусственности мешает полноте впечатления.



Интересных новинок в римских театрах пока еще не было в этом году. Новая пьеса Giacosa, носящая меланхоличное заглавие «Точно листья...» («Come le foglie...») и совершающая нечто вроде победного шествия по Северной Италии, не дошла еще до нас. Молодое товарищество «Pietro Cossa» в театре «Quirino» попробовало устроить плебисцитный конкурс нескольких одноактных пьесок, но попытка вышла настолько мизерной, что о ней писать не приходится. В опере после «Тоски» наступило затишье.

Очень много шума произвела постановка в театре Valle «Сирано де Бержерак» — в первый раз на итальянском языке. Заглавную роль исполнял Андреа Мадджи, один из лучших трагиков Италии, знакомый и петербуржцам.

Он играет своего «Чирано» совершенно *à la moderne*¹, не оставляя на нем никакой «пыли веков», кроме костюма 1640 года. Муне-Сюлли в свой последний приезд в Россию высказал нескольким интервьюерам принципы французской школы, согласно которым театры должны показывать публике исторические и этнографические картинки: Эдип должен быть прежде всего лицом своего времени, а Эрнани — прежде всего, испанцем. Но тайна всемирного обаяния итальянских артистов кроется, может быть, именно в том, что они никогда не признавали этой теории; их исполнение выдвигает на первый план общечеловеческое и очень мало заботится о колорите страны и эпохи. Мадджи придает своему герою разве только две-три

¹ По-новому (*фр.*).

легкие черточки испанца XVII столетия; в остальном его Сирано должен быть совершенно близок, родствен и понятен современным зрителям. Благодаря этому Мадджи удастся сделать из драмы то, о чем, может быть, и не мечтал Ростан, — «пьесу настроения», т.е. высший род драматического творчества. Именно в этом и должна заключаться цель неромантизма: поднять хотя бы на минуту настроение зрителя, показав ему марево другой, более полной, более красивой и более благородной жизни. Но для такого подъема необходимо, чтобы зритель понимал и чувствовал эту жизнь сердцем, непосредственно, не прибегая к помощи своих познаний в истории и этнографии.

Исполнение Мадджи обеспечило «Сирано» шумный и прочный успех, драма повторяется уже в двадцатый раз на сцене Valle. Часть заслуги надо отнести на долю переводчика, Марио Джоббе. Если «героическая комедия» Ростана — не шедевр, то итальянский перевод ее уж несомненный и настоящий шедевр.

Вл. Ж.

Северный курьер. 31.03.1900



Рим

24 марта (6 апреля)

Читатель должен уже знать в общих чертах о здешних парламентских событиях последних дней, закончившихся так некстати внезапным каникулярным роспуском. Это дает мне приятную возможность избежать подробного рассказа о скандалах, не принесших чести ни большинству, ни меньшинству. Ограничимся только несколькими соображениями о том положении, в которое эти события поставили палату.

К сожалению, положение мало утешительно. Прежнее яблоко раздора, *decreto-legge*¹, правда, почти исчезло со сцены, так как Пеллу готов отказаться от него, по крайней мере на время, но его заменил уже другой, еще более нежелательный для оппозиции факт — утверждение палатой нового устава для парламентского делопроизводства. Как известно, и крайняя левая, и левая конституционная (партии Дзанарделли—Джолитти) официально отказались признать законным это утвер-

¹ Правительственное постановление, имеющее силу закона (*итал.*).

ждение и своим демонстративным уходом из зала заседаний отрезали себе всякий путь к отступлению. Без ущерба для своего достоинства левое крыло палаты и после 15 мая, т.е. по возобновлении занятий палаты, не сможет подчиниться правилам нового регламента. К тому же последний, кроме сомнительной законности своей формы и своего происхождения, по самой своей сущности представляет мало привлекательного для прогрессивных партий, так как рядом с необходимыми мерами против обструкционизма в нем есть и статьи, посягающие на свободу нормальных прений. Трудно допустить, чтобы группа депутатов, громко провозгласившая недействительность этого устава, примирилась с ним. Ясно, что столкновение неизбежно. При этом против министерства окажется не только прежняя полусотня «крайних», но еще и семьдесят влиятельных, уважаемых палатой депутатов конституционной левой, которая до сих пор строго придерживалась нейтралитета. Во главе этих новых врагов стоят бывшие министры Дзанарделли и Джолитти, пользующиеся уважением и страны, и верховной власти; в выборе средств они, правда, будут разборчивее «Горы», но это не сделает их менее опасными противниками. Словом, если не произойдет чего-нибудь совершенно непредвиденного, столкновение должно возобновиться, и в более острой форме. Если министерство будет упорствовать, что вполне вероятно, то последствия легко могут распространиться за пределы Palazzo Montecitorio. И все это нужно для того, чтобы кабинет Пеллу, вредный и для благоденствия, и для престижа Италии, не потерял власти. Великая цель должна оправдать средства.

После этих печальных, но, к сожалению, неизбежных выводов забудем до 15 мая о политике и перейдем в мирную область искусства.

Габриэле Д'Аннунцио заставил в последнее время говорить о себе, превратившись внезапно из представителя крайней правой в соратника Ферри и Турати. Он утверждает, что сделал это в силу своего «стремления к жизни»; газеты думают, что он сделал это для рекламы. Во всяком случае, несомненно, что Д'Аннунцио не изменил своим убеждениям: на крайней правой он поддерживал идею ницшеанского аристократизма, а так как, по Ницше, высший аристократ тот, кто разбивает преграды закона, установленного другими, то Д'Аннунцио присоединился к обструкционистам, которые как раз и занимались,

по его мнению, ниспровержением законности. По этому поводу он напечатал в «Giorno»¹ две крупные статьи — курьезнейшие потому, что их злободневное содержание представляет непередаваемый диссонанс с декадентским «высоким штилем», которым глаголет Д'Аннунцио... Впрочем, дело не в политических убеждениях почтенного сверхчеловека, я хотел сказать два слова о его новом романе «Fuoso» («Огонь»), начинающем собою серию «романов гранатового яблока» и напечатанном недели три тому назад.

Успех «Fuoso» будет на три четверти succès du scandale². Если в «романах розы» и в «романе лилии» читателям предоставлялось только угадывать, что герой повести и автор — одно и то же лицо, то в «Fuoso» откровенность Д'Аннунцио насчет себя самого сделала излишними всякие догадки. Герой, Стелио Эффрена, в этом романе прямо является автором нескольких произведений, принадлежащих в действительности Д'Аннунцио, — именно трагедии «Мертвый город» и известной «Осенней аллегории». Еще сильнее подействует на любопытство читающей толпы фигура знаменитой артистки, подруги Стелио, которой в романе дан псевдоним Фоскарины вместо настоящего ее имени, известного всей Европе и Америке не меньше, чем имя самого Д'Аннунцио. Надо признать, что Д'Аннунцио не остановился на полпути в своей откровенности: и Стелио, и Фоскарина изображены у него во весь рост, со всеми подробностями, и если портреты вышли не вполне верными (что, по крайней мере, насчет Стелио несомненно), то в этом виновата не злая воля автора, а его свойство — смотреть на мир и людей сквозь призму своего жеманства и своей неодолимой, патологической неискренности. Благодаря этому он из себя сделал умственного титана, пуп мира сего, вождя и Заратустру, хотя на деле он представляет гораздо более скромную величину.

В принципе, нельзя осудить ни откровенности, ни самомнения. Напротив, Д'Аннунцио, которого природа одарила огромным талантом, но совершенно лишила фантазии и объективной наблюдательности, без самоизучения и откровенности не мог бы создать ни одного героя для своих эпических произведений. Но самоуверенность хороша лишь постольку, поскольку она соответствует истине. Было бы смешно, если бы

¹ «День» (итал.).

² Скандальный успех (фр.).

Прометей, окруженный поклонением смертных, оказался настолько глупее их, чтобы не понять своего собственного значения, но еще смешнее, когда маленький обыватель возомнит себя Прометеем, а если обыватель повторяет об этом по всякому поводу и безо всякого повода, то оно более чем смешно — оно просто неприятно. *C'est notre cas*¹, потому что в романе «Фуосо» наш обыватель истощает весь свой богатый словарь на эпитеты для возвеличения «Стелио».

Но если уделить этим суждениям Д'Аннунцио о самом себе тот ноль внимания, которого они заслуживают, то «Фуосо» получит значение важного «человеческого документа». И в этом именно состоит вся ценность произведений Д'Аннунцио, — говорю так, нисколько не умаляя этой крупной ценности. В его романах никогда нельзя будет искать отражения общества *fin de siècle*²; но зато в них будет отражена до мелочных подробностей душа их автора, который сам по себе может служить характеристикой нашего времени, потому что ни Верлен, ни Уайльд, ни даже Ницше не воплощают в себе до такой степени всех странностей этой прискорбной эпохи.

Таково общее впечатление от «Фуосо», к которому мы еще возвратимся в одном из ближайших писем.

Altalena

Одесские новости. 3.04.1900



Театр в Риме

Рим, 1 (14) апреля

В духовной жизни Италии, — говоря о численном большинстве населения, без различия сословий, — первое место занимает не книга, не газета, а театр. Он объединяет всех, по крайней мере городских, жителей. В здешнем театре вы можете за один вечер познакомиться со «всем Римом»: в придворной ложе вы увидите королеву Маргариту, и в то же время с галереи до вас донесутся смех и прибаутки маленького *lustrino*³, который чистил вам утром сапоги за возмездие в два

¹ Это наш случай (*фр.*).

² Конец века (*фр.*).

³ Чистильщик обуви (*итал.*).

сольди. О римском театре можно бы и надо бы, что называется, писать и писать. Но в газетном очерке поневоле придется ограничиться беглыми набросками.

Рим, при населении, почти равном одесскому, раз в пять богаче театрами, чем новороссийская столица. Обыкновенно во время главного сезона театра два заняты оперой, два или три — «прозой» — название, под которым понимается все, что не *musica*, даже и стихи; в остальных театрах оперетка — итальянская и на местном наречии *romanesco*. Есть из чего выбирать, даже, пожалуй, слишком, потому что римское население вообще небогато, и ни импресарио, ни актеры не загибают особенных прибылей.

Об опере я не буду говорить. Итальянских певцов и композиторов знают везде, а в Одессе лучше, нежели где бы то ни было. Отношение же здешней публики к опере легко можно себе представить, зная хоть только понаслышке музыкальность итальянцев. Достаточно сказать, что на первое представление новой оперы ложи продаются иногда по 400 франков, не считая входных билетов, и, несмотря на такой контраст с обычной дешевизной римского театра, зал бывает полон доверху.

«Prosa» не так популярна. Только в исключительных случаях драме удается достигнуть полного сбора. Обыкновенно не хватает или лож, или верхов. Дело в том, что здесь характер «галерки» совершенно простонародный: интеллигенция предпочитает партер и ложи. Поэтому редко удается в один и тот же вечер примирить кресла с райком.

В итальянском драматическом театре есть одна странность, которой мне никак не удастся объяснить себе. Национальное производство драм и комедий — при той драматургии, которая овладела всей Западной Европой и быстрыми шагами пробирается уже в Россию, — обильно не одним количеством, но и качеством. Из произведений не только признанных столпов современной драмы, но и молодых писателей, кишачих дюжинами по всем городам и весям Италии, можно было бы набрать больше чем достаточно для интересного репертуара, не говоря уже о классиках вроде Гольдони или Альфьери, которых итальянская сцена почти забыла. Словом, богатство, особенно по сравнению с Россией, огромное. Несмотря на это, в репертуаре итальянских кочующих товариществ национальная литература, даже по сравнению с той же Россией, составляет самый жалкий процент. Французская драма, комедия, фарс буквально

но заполняют сцену, хоть они по большей части не могут идти в сравнение с произведениями Бракко, Феррари или Джакоза. Чем объяснить это печальное явление — вряд ли разрешимая задача. Сами итальянцы, которые при всем своем патриотизме любят побранить родину и поговорить *à la Sar Peladan* о вырождении романских племен вообще и Италии в особенности, обвиняют во всем свою национальную страсть к подражанию французам. Пожалуй, такой ответ и верен при всей его неполноте, так как действительно последние тридцать лет жизни Италии густо отмечены этой болезнью подражания Парижу. Но в чем итальянская сцена не подражает никому, во что она вносит постоянно самобытную Божью искру — это исполнение. В последнем лицедее мелкого театра, не учившемся, не имеющем ни манер, ни даже хорошего произношения, если только он не лишен крупницы таланта, вы найдете лучшие признаки и отличия итальянской школы. Мне кажется, что эту школу следует назвать психологической, чтобы особенно подчеркнуть ее несходство с французской, принципы которой недавно проповедовал у вас Муне-Сюлли. Парижский трагик подчеркивает в Эрнани испанца, в Эдипе древнего грека; можно предположить, что, попади на берега Сены какая-нибудь китайская драма, Сюлли исполнил бы ее «так, как сыграл бы артист соответствующей нации». У итальянской школы другое понятие об искусстве: она не делает из театра школьного волшебного фонаря с этнографическими и хронологическими картинками; ее принцип — играть *à la moderne*¹. Точно так же, как Гамлет или Луи Блаз говорят на сцене не по-датски и не по-испански, а на языке, родном для слушателя, — точно так же для зрителя, по понятиям итальянцев, должны быть *родными* во всяком месте и во всякое время чувства и действия героя. Итальянская школа *переводит* на родной язык не только слова действующих лиц, но и их жесты, их мимику; для необходимого местного и временного колорита оставляется только то, что допускается строгим чувством меры. То же самое итальянская школа соблюдает и относительно «пыли веков», которую не набрасывает, как Муне-Сюлли, густым слоем, а только намечает несколькими легкими точками, исходя из соображения, что в искусстве нужна *verità* — «правда», но не «веризм», ее вырождение.

¹ Современно; по-новому (*фр.*).

Высшее проявление этой школы, ее классическое воплощение — Эрмете Новелли, но отражение и влияние этих принципов вы увидите, повторяю, даже в полуневежественных актерах деревенского простонародного театра-балаганчика. В этом балаганчике ставят подчас Шекспира и, конечно, играют его плохо, но труднейшая из тайн сценического искусства — естественность игры — кажется точно врожденной и неотделимой в итальянском актере.

От этих высоких областей перейдем к оперетке. И да позволено мне будет высказать, что я не считаю последнюю недостойной такого помещения рядом с высшими родами произведений для театра. На оперетку в России установился взгляд, как на что-то не стоящее имени искусства, между тем в самом ее, так сказать, принципе — в смеси драмы (комедии) с оперой — нет еще ничего унижительного: может быть, оперетка еще более условна, чем даже опера, но театр без условности немислим, как и всякое искусство, и умеренная условность никогда не вредит полноте впечатления; думаю даже, что многим операм не мешало бы превратиться в оперетки, чтобы актерам не приходилось *петь* разных лирически знаменательных фраз, вроде «как вас зовут» или «мне холодно». Очень может быть, что будущность оперетки почетнее ее прошлого, что мы еще увидим серьезного композитора за созданием серьезной оперетки и лучших артистов-певцов — ее исполнителями.

Конечно, в настоящее время оперетка мало соответствует этому идеалу; немецкая оперетка по большей части рассчитана на разные непохвальные человеческие слабости, хотя и здесь многое следует отнести на долю усердия актеров. Но в Италии на оперетку смотрят ради музыки и для забавы, не требуя от сцены тех функций, которые приписываются трюфелям и шампанскому. Поэтому в здешних театрах, особенно в южной половине полуострова, никогда не слышно о «прекрасных Еленах» или «Орфеях в аду». Из венского и французского репертуаров выбираются только самые скромные вещи; в большом ходу, кроме национальных, еще и мелодичные оперетки испанских авторов, за «нравственность» которых ручаются нравы их родины. Таковы, например, «Пять частей света» — здешняя «Гейша» в смысле популярности, — в которых и сквозь увеличительное стекло не найдешь ни одного «греха».

Вообще, даже переводной французский фарс, даже кафешантан в Италии носят довольно скромный характер. Не говоря уже о Париже и Вене, города нашей матушки Руси должны

казаться Гоморрами в сравнении с Римом. Пародируя тон учебника географии, можно сказать, что, начиная от реки По к югу, наряды актрис, певиц и певичек, их жесты и речи становятся все скромнее и приличнее, доходя на островах до апогея благопристойности. А от исполнителей зависит многое. Достаточно сказать, что здесь «Дама от Максима» является такой невинно-шутливой пьеской, что решительно непонятно, за что она могла вызвать газетные громы в России. Разгадка же проста: дело не столько в нашем северном лицемерии, сколько в легкой, но серьезной операции, произведенной в Риме над этим шедевром. Знаменитые загадки «дамы» бесследно выкинуты, все прочее слегка смягчено — и в результате публика не меньше хочет, но смехом здоровым, хоть бесцельным, здоровым и не «трюфельным»...

Мне бы еще следовало сказать два слова об оперетке диалекта *romanesco*, насчитывающего десятка два даровитых актеров и несколько сносных авторов и композиторов. Но эта тема, как и напрашивающаяся при ней параллель с нашей малорусской сценой, так любопытна, что я оставляю ее для другого раза, когда можно будет говорить подробнее. К тому времени нам удастся уже познакомиться с новой, венецианской диалектной труппой, начинающей с субботы свои вечера в театре *Quirino* и имеющей в репертуаре, между прочим, комедии Гольдони. Таким образом, материал для очерка увеличится, и параллели между театрами *romanesco*, *veneto*¹ и *украинской мовы* выйдут полнее и интереснее.

Altalena

Одесские новости. 6.04.1900



Рим

10 (23) апреля

На днях было здесь маленькое торжество: чествовали за сорокалетнюю ученую и писательскую деятельность профессора Анджело де Губернатиса. Де Губернатис один из первых в Европе познакомил запад с литературами востока и севера, между прочим, и с русской, так как Россия вообще одно время пользовалась его расположением: он и женился на русской.

¹ Венецианский диалект (*итал.*).

В университете он читает санскритский язык и итальянскую литературу, в которой выбирает отделы, само название которых производит впечатление чего-то вроде санскрита: например, об эпистолярном стиле четырнадцатого столетия и т.д. Впрочем, он хорошо знает свой предмет, любит его и потому привлекает внимание слушателей, несмотря на ограниченность ораторского дара. Между прочим, его лекции служат одной из немногих приманок, заставляющих итальянских девиц, вообще не очень прытких на этот счет, заглядывать в университет.

Юбилей этого заслуженного и перед Италией, и перед Россией литератора заставляет меня сообщить некоторые сведения о том, насколько в Италии любят, знают и понимают русскую литературу.

Любовь к ней несомненна, если понимать любовь в том смысле, что здесь очень охотно говорят о русских писателях, очень охотно собираются в театре в тех редких случаях, когда на афише появляется имя русского автора; не проходит публичной лекции, на которой вы не услышите хоть мимоходом родного имени или заглавия, приплетенного приблизительно, кстати; Энрико Ферри в своих криминологических и антропологических импровизациях никогда не пропускает случая упомянуть о «Мертвом доме» и дать этому произведению лестное определение *dantesco*, т.е. такого, от которого бы не отказался и создатель «Божественной комедии». Более того: здесь принято сулить России великую будущность, грядущую духовную гегемонию, даже чуть ли не поглощение романского мира, и в доказательство этого всего сейчас же ссылаются на Джованни Тургенева, Теодоро Достоевского, Леоне Толстого.

Все это, несомненно, любовь, хотя с такою же степенью точности можно было бы назвать это любопытством и модой, потому что в Италии, если смотреть «с птичьего полета», в общем, не подмечая мелочей, не читают русских писателей.

В этом именно заключается второй вопрос, поставленный в начале настоящего письма: насколько знают итальянцы русскую литературу. Я не решился бы, несмотря на сказанное двумя строками выше, категорически утверждать, что здесь не *знают* русских писателей, т.е. не знают, в чем состоят главные отличительные признаки, тенденции, симпатии, размеры и особенности таланта Тургенева, Толстого, Достоевского, — у каждого из них в отдельности и у всей русской школы вообще;

более того, кое-кто сумеет высказать вам довольно правильное, хоть и мало определенное понятие о Писемском или о Гоголе, Пушкине, Лермонтове. Все эти познания, составляя моду мгновения и злобу дня, носятся в воздухе, вычитываются в десяти страничках журнальной статейки, подхватываются в беседе между светскими дилетантами; таким образом, эти сведения принадлежат к области квадратного дилетантства, они очень смутны, но им нельзя отказать в известной степени верности. Точно так же и на западе, и в России многие имеют и довольно ясное, и довольно правильное понятие о Ницше или хоть о Марксе, не читав ни того, ни другого; точно так же можно иметь верное представление о характере испанцев, французов или англичан, не побывав даже в таможене города Подволочинска. Знание понаслышке имеет много недостатков, но имеет и свое достоинство, истекающее из той причины, что «наслышка» есть *vox populi*¹, а в гласе народа всегда должен быть корень истины. Только на этих утешительных соображениях и зиждется признание за итальянцами знакомства с нашей литературой.

Я не берусь отрицать, что есть некоторые охотники, знающие ее хорошо и основательно — хоть бы тот же Де Губертис, но об исключениях не принято говорить. Точно так же нельзя не упомянуть и о том, что из десяти образованных итальянцев можно наткнуться на двух, которые, пожалуй, прочли в переводе два романа Толстого, «Преступление и наказание» и, может быть, «Отцов и детей». Но при сравнении с тем разливным морем литературы и макулатуры, которое сплавляет сюда Франция, русское умственное производство не имеет здесь не только большого, но даже и среднего значения. Печально, и все-таки правда.

Третий вопрос — понимают ли, когда читают, — заставляет меня колебаться. Здесь невольно напрашиваются два ответа: с одной стороны, мне за довольно продолжительное пребывание здесь ни разу не приходилось констатировать грубого, очевидного непонимания смысла или характера лучших русских произведений. Но, с другой, я ни разу не слышал, чтобы какое-нибудь имя из русского романа употреблялось в виде нарицательного, для обозначения типа, что для русской беллетристики, психологической *par excellence*², служит первым

¹ Глас народа (*лат.*).

² По определению (*фр.*).

и лучшим признаком понимания. Неужели в Италии нет живых Раскольниковых, Базаровых, Обломовых и в особенности неужели нет вечно юных и вездесущих Аркадия Николаевича и мадам Кукшиной? Позволяю себе сомневаться на основании личного опыта. Может быть, в итальянской литературе есть уже эти типы? Я не настолько знаком с предметом, чтобы дать решительный отрицательный ответ от своего имени, но могу уверить, что из всех моих расспросов у лиц компетентных выяснилось, что подобных типов у итальянских авторов нет, да и а priori известно, что совсем не в типах богатство этой роскошной литературы. Значит, итальянцы просто прошли мимо галереи портретов, прошли не заметив, т.е. не попав. И так как эта черта национальная, то здесь даже трудно подыскать исключения: ни в чей словарь не вошло в Италии ни одного имени, почерпнутого из русского музея... кроме слова *nichilista*¹, которое запомнили все и из которого создали какую-то могущественную политическую мафию. Но и кроме вопроса о типах, есть другие доказательства непонимания. Например, Мизелли, один из лучших современных поэтов Италии, хорошо знакомый с северными литературами, занятый в настоящее время переводом Лермонтова, выразился как-то, что предпочитает последнего Пушкину, потому что у Пушкина слишком уж много байронизма. Второй пример можно увидеть в судьбе «Воскресения». В переводах его, правда, недостатка нет. Но до сих пор не было почти никакой серьезной статьи об этом романе, говорят о нем мало, так и кажется, что, слыша отовсюду из-за границы восторженные отзывы о новой эпопее Толстого, итальянцы робеют и скромно молчат, как профаны перед картиной Боттичелли, не желая расписываться в своем непонимании.

Кто зато добился и понимания, и оценки в массе статей, и притом в течение меньше чем года, — это Генрик Сенкевич. До появления «*Quo vadis*» в итальянском переводе, он был здесь совершенно неизвестен; «*Quo vadis*» «открыло» его, вызвало дальнейшие переводы (перевели даже трилогию, которая вряд ли может рассчитывать на успех) и множество статей в лучших журналах. От «*Quo vadis*» публика и критика остались в восторге, хотя и в этой стране фанатизма и свободомыслия читатели сумели отделить существенные части романа от пристегнутой к ним тенденции, которой здесь дали прозвище «рекламы като-

¹ Нигилист (*итал.*).

лицизму». О «Quo vadis» говорили и писали больше чем полгода; говорят и теперь, благодаря постановке на сцене простонародного, до сих пор ничем не выдававшегося театра Манцони, удачной и эффектной переделке в десяти картинах. Но не только этот роман, близкий итальянской и особенно римской публике по содержанию, сделал здесь «карьеру»: полным успехом был награжден и перевод «Без догмата», успехом не только в смысле чтения, но и понимания, если судить по журнальным статьям. Очевидно, поляки, эти славянские французы, вообще ближе итальянскому характеру, чем далекие «московские варвары».

Если бы мы начали доискиваться причины тех печальных результатов, которые только что нашли, это завело бы нас слишком далеко. Взамен того, вспомним лучше, что наши упреки итальянцы могли бы отметить такими же укорами. В самом деле, и в нашем глазу бревно заметно, у нас французская и немецкая книга заполнила все. Мы не знаем итальянских классиков. Это было бы еще простительно; гораздо хуже то, что Россия незнакома с современной литературой Италии точно так же, как Италия с русской. У нас «знают» М. Серао, Д'Аннунцио и, не по заслугам, Фогаццаро, потому, что этими писателями заинтересовался Париж. А Панцакки, Верга, Капуана, Берсецио, уж не говоря о поэтах — Кардуччи, Раписарди, Стеккетти — все это для русского уха то же, что для итальянца Чехов, Горький, Короленко, Некрасов, Надсон...

Altalena

Одесские новости. 16.04.1900



24 апреля (5 мая)

Маевка рабочих в этом году прошла очень тихо и мирно. Гулянье было устроено за Тибром, вне города, на Драконовой скале (Rosca del Drago), с которой открывается широкий и красивый вид: впереди — пестрая серо-желтая панорама старого Рима и папского городка, слева — тяжелый купол Ватикана, справа, на высоком холме Януса, на фоне молодой зелени — villa Corsini, колоссальная фигура Гарибальди на коне чудной работы Этторе Феррари; позади — холмистая, уже зазеленевшая самрагна romana¹, кое-где оттененная высокими кипарисами

¹ Римские окрестности (итал.).

и зонтообразными пиниями. На площадке *Rossa del Drago* есть харчевня с добрым белым фраскатинским вином и скромными закордонными ценами. Гулянье было устроено в форме «*privatissima*»¹, т.е. впускали по пригласительным билетам, но так как *decreto-legge*², ограничивавший число участников «приватных» собраний полусотней, отошел в вечность, то приглашения щедро раздавались кому угодно, и на гулянье собрались около тысячи человек. Большинство состояло из рабочих, но были и добровольцы — студенты, журналисты, несколько кающихся буржуа неопределенного общественного положения; кое-где пестрели на солнце женские платья, было даже несколько элегантных шляпок с миловидным содержимым. Далеко внизу, на пыльной дороге, рисовались молодецкие фигуры двух дюжин карабинеров и полицейских, наряженных следить за тем, чтобы веселье не переходило за пределы *Rossa del Drago*, но и эта подробность декорации не портила настроенная ввиду привычки и только служила источником для красноречия ораторов.

Говорили депутат Биссолати, несколько студентов и известный Чеккарелли, один из оправданных «сообщников» Аччарито; после них на стол подняли старого-престарого, косматого, седого, оборванного дедушку-гарибальдийца, который взял измятую рыжую шляпу, отсалютовал ею памятнику генерала, улынулся во все лицо и объявил:

— *Cittadini* (граждане), я написал для сегодняшнего дня маленькое стихотворение и, если хотите послушать, прочту его; только там о политике не говорится, потому что я, знаете, свободен ото всего...

И начал говорить белыми стихами свою *poesia*³, которая была не очень нескладна и относилась к вопросу о бедных и богатых; когда он кончил, это не сразу заметили, и только после того, как старик попросил, чтобы его сняли со стола, раздались рукоплескания и *bravo nonnetto*⁴! Мы повели его в харчевню и угостили вином, и он объяснил нам, что за политикой не следит и не хочет следить, потому что Италия обманула *generale*⁵ и его подвижников, которые пролили за нее столько крови

¹ В высшей степени приватное (*итал.*).

² Правительственное постановление, имеющее силу закона (*итал.*).

³ Стихотворение (*итал.*).

⁴ Bravo, дедушка (*итал.*).

⁵ Генерал — имеется в виду Гарибальди (*итал.*).

и никогда не думали, чтобы из нее вышло то, что вышло. Он из числа тех вымирающих ветеранов возрождения, которым недавно правительство отказало в ассигновании субсидии, несмотря на ожидаемое увеличение военного бюджета; но до этого, по его словам, ему нет никакого дела. У него дочь — трансверинская прачка, она его содержит и одевает, e basta¹.

После речей начался праздник. Маленький духовой оркестр недурно сыграл марсельезу и карманьолу, толпа нескладно, но громко пропела гимн партии с очень эффектным мотивом, но с текстом, который оставлял желать многого в смысле поэзии; потом потанцевали, пошумели с итальянским *brìo*²; кто-то влез на акацию и поднял над головой палку с флагом так, чтобы ее видели и карабинеры у подножия холма, но карабинеры были в мирном настроении и упорно смотрели в другую сторону; «прудонианцы», тоже принявшие участие в празднике, прокричали несколько слишком уж парадоксальных *evviva*³, но марксистское и республиканское большинство пропустило это мимо ушей, и праздник прошел так благополучно, что даже правительственный «*Popolo Romano*» (единственная газета, появившаяся в этот вечер) говорил о нем в самом благодушном тоне.

Эта маевка, на которую собрались едва тысяча участников, не может, конечно, иметь значения смотря силам, как в Германии. Здесь, в Риме, народ слишком важен, ленив и скептически для невинных демонстраций и безвредного энтузиазма и вообще слишком тяжел на подъем для того, чтобы сойтись в импонирующем количестве на праздник, единственная *attraction*⁴ которого — более или менее отвлеченная идея. И сама идея вряд ли имеет много последователей в Риме, среди коренных *gòmani de Roma*, которым двадцать пять веков напряженной исторической жизни не прошли даром, оставив в всех сословиях, от князей до трансверинских носильщиков, оттенок насмешливого презрения к иллюзиям мира сего: все суeta суeta, все проходит — цезари, папы и утопии. Конечно, все это верно только относительно Рима, потому что в Италии столько народов, сколько городов. Например, Милан, «ломбардский Манчестер» — очаг демократического энтузиазма,

¹ И достаточно (*итал.*).

² Блеск (*итал.*).

³ Да здравствует (*итал.*).

⁴ Привлекательность (*фр.*).

представляет полную противоположность с Вечным городом, насквозь проникнутым этим своеобразным «буддистским» мировоззрением.

Но маевка на Драконовой скале представляла интерес не только в смысле картинки из быта римского *popolino*¹, который умеет так мило и добродушно веселиться: у нее было и политическое значение. Как читатель мог уже заметить несколькими строками выше, в этом празднике коллективистов приняли участие, в первый раз, две другие из так называемых народных партий: республиканцы и индивидуалисты — «прудонианцы», те самые, которых итальянский климат производит так много, что избыток их попадает, и часто очень некстати, за границу, вызывая взрывы негодования то во Франции, то в Швейцарии, то в Испании. Насколько может быть состоятельным союз эволюционистов с этими делателями истории — вопрос довольно трудный, и не здесь его разбирать, тем более что союз этот представляет только часовое перемирие ввиду общего врага, как во время обструкции, и что обе демократические партии по-прежнему будут протестовать против фанатических крайностей анархизма. Для меня в этом перемирии интересна не сущность его, а одна черта итальянского характера, которую можно было бы поставить в пример немцам, французам и русским, — это отсутствие догматизма и правоверия.

Например, раскол марксизма, поднявший такие бури в Германии и во Франции, почти ничем не отозвался в Италии, и не из равнодушия, а просто потому, что в здешних соответствующих партиях этот спасительный переход к практике совершился сам собою и без шума. Антонио Лабриола, глава итальянских марксистов-теоретиков, выразился однажды, что никакого марксистского «кризиса» никогда не бывало, что еретические идеи *à la*² Бернштейн можно найти и в его, Лабриола, книге «*Essais sur la conception matérialiste de l'histoire*»*, напечатанной гораздо раньше. Действительно, в этих «*Essais*» Лабриола, по крайней мере, по вопросу о пресловутом «базисе и надстройках» во многом разошелся с правоверными толкователями Маркса и, однако, не заслужил имени еретика по-

¹ Простонародье (*итал.*).

² Вроде, наподобие (*фр.*).

* Русский пер. СПб., 1898, издание Семенова и Березина.

тому, что преподнес свои соображения читателям не в виде ужасных, переворачивающих мир открытий, а простым тоном человека, исправляющего необходимые погрешности основной теории и не привыкшего цепляться зубами за каждую строчку катехизиса и объявлять анафемой всякого несогласно мыслящего. Такой же свободой от фанатизма и доктринерства могут похвалиться и практические деятели этой партии в Италии, не отказывающиеся от перемирия с партиями родственного направления из-за несходства идеалов, лежащих в отдаленном будущем.



За последние недели появилось в итальянском переводе еще несколько произведений русской и польской литературы: в отдельных изданиях — «Грачевский крокодил» Салова, а также «Пойдем за ним» Сенкевича; в фельетонах «Tribuna della Domenica» печатается его же «На светлом берегу».

В «Rivista di Roma» помещена небольшая, но интересная статья Romanus'a под заглавием «Упадок Толстого». Разбирая «Воскресение», автор приходит к неутешительным выводам. По его мнению, на своей прежней высоте талант Толстого удержался только в эпической, изобразительной части его нового произведения: широкие картины, захватывающие почти всю русскую жизнь, по-прежнему отличают руку великого мастера. Но старческая *decadenza*¹ выразилась, по мнению Romanus'a, в полной несостоятельности и мелкости психологического анализа, который когда-то составлял славу Толстого. Перерождение Нехлюдова остается необъясненным для читателя: мы часто присутствуем при внутренних *рассуждениях* Нехлюдова с самим собой, но эти рассуждения происходят всегда на почве уже *готового настроения*, и Толстой не показывает, как возникало и развивалось это настроение. Еще темнее для нас душа Масловой: каждый раз, как читатель с нею встречается, она уже сделала шаг вперед, в ней уже совершалась какая-нибудь перемена, но сам ход ее духовного брожения скрыт от нас. В заключение Romanus допускает, что этот пробел, может быть, оставлен Толстым нарочно, и объясняет мысль следующими словами, доказывающими очень тонкое для иностранца понимание духа толстовского

¹ Упадок (*итал.*).

учения: «Может быть, проповедник полной простоты духа, возвращения к природе пренебрегает слишком сложными анализами, которые, заставляя душу проникать в собственные бездны, смущают ее, и потому являются безнравственными».

Altalena

Одесские новости. 27.04.1900



17(30) апреля

Во дворце изящных искусств, где помещается выставка, недавно открылась другая, ежегодно устраиваемая сообща несколькими художественными кружками главнейших городов Италии. Выставка занимает около десяти зал, из которых две отведены ваянию; большинство произведений помечено 1899 или 1900 годом. Подписаны они, по большей части, известными именами, и в хороших вещах недостатка нет. Но ввиду массы пейзажей и особенно ввиду крупной идейной скудости, которая (за немногими счастливыми исключениями) всегда была, к сожалению, болезнью художников, об огромном большинстве картин и названий, которые заслуживали бы доброго слова, я не могу даже упомянуть, так как все их достоинство в исполнении. Что можно рассказать далекому русскому читателю о картине, где хорошо выписана какая-нибудь старая сцена из священной истории, или где опять влекут на казнь юную христианку, или где опять изображена восточная красавица после купанья? Исполнение может быть прекрасно, но исполнения не передать, а содержанием художники твердо и строго пренебрегают, не ища не только идейности, но даже оригинальности сюжета. Соберите сотню каталогов разных выставок, откройте наудачу один и перечтите названия произведений: в остальных 99-ти вы найдете, по крайней мере, десяток двойников для каждой картины первого каталога. А когда выставки пустуют, то виновата всегда невежественная публика.

Я упомяну поэтому только о двух-трех экспонатах периодической выставки с тем, чтобы потом сказать несколько слов о более содержательной постоянной.

На первом месте, мне кажется, следует поставить небольшое полотно Бизео (известного, может быть, и в России по одной из книг де Амичиса). Это — «Alba novella» («Новая заря»). Над серым беспорядочным хаосом пустынной земной коры нависло хмурое, туманное небо; ничего, кроме тяжелых сумерек, ни сверху, ни снизу, и только в центре картины выделяется ослепительным пятном белое сияние, в котором едва-едва намечены черты Спасителя. Все полотно выдержано в том благородном символизме, который ничего общего не имеет с декадентскими школами.

Есть прелестные водные пейзажи испанцев Энрике Серра и М. Эчена: у обоих — нежная, отрицаемая новаторами манера письма, при которой краски не ложатся резкими, определенными мазками, точно пятнами, а словно льются, незаметными оттенками переходя одна в другую. Хороши также марины Бенишелли и утихающее море на картине Бенда. К пейзажам надо причислить и картину молодого художника Белла, о которой в Риме много говорили; на ней изображена старая, отощавшая лошадь среди римской Piazza Termini, и трудно решить, что в замысле живописца было на первом плане: измученная кляча или ночной вид площади и ее чудного фонтана, одного из лучших в Риме, с бесчисленными струйками воды, рассыпающейся в высокую пирамиду алмазной пыли и проницаемой лучами двух электрических рефлекторов. Фон для картины более чем благодарный, но исполнение далеко не оправдывает восторгов римской критики. «Дивизионистская» манера накладывания красок посредством отдельных пятен и точек, которые на расстоянии якобы должны дать впечатление полной реальности, незаменима для декораций, но на выставке неоспоримо предпочтительней тот способ письма, о котором говорилось выше по поводу картин Серра и Эчена.

Декаденты дали этой выставке едва десяток картин, среди которых ничего выдающегося и оригинального. Вообще, здесь, в отечестве Сандро Боттичелли, неопрерафаэлитизму не везет, как не везет и соответствующим течениям в других областях искусства. Ясное небо Италии не благоприятствует росту «цветов упадка». Есть «Голова Христа» Someda, есть картина с модным названием «Ananke» («Рок» по-гречески), но это — слабые подражания Штуку и англичанам.

Ваятели тоже ничем не отличились в этом году. Барельеф «Sciopero» («Стачка») Пагостена представляет из себя полное фиаско, несмотря на благодарную тему. Есть два хороших бюста — Леонкавалло и Масканьи, работы, кажется, Спадони, и его же хорошенькая терракота «Богема»; на первом плане Мими, печально припавшая головою на грудь своего поэта, за ними Мюзета, яростно нападающая на своего *gospo*¹ — на Марсея, облаченного в знаменитые клетчатые панталоны; в третьей паре красавец Шонар играет на трубе рядом с зачитавшимся Колленом-философом, небритым, утопающим в старейшей *zimarr'e*², которая пока еще не отнесена в ломбард и карманы которой набиты книгами. Группа, если не ошибаюсь, куплена одним из русских римлян.

Для хроники назовем еще «Affare Dreyfus»³, картинку, написанную какой-то художницей и неизвестно за что попавшую на выставку итальянских передвижников, и, выйдя на фасадную лестницу Palazzo delle Belle Arti⁴, свернем в дверь направо, чтобы познакомиться с несколькими из многочисленных шедевров постоянной выставки.

Вот «Христос в пустыне» Джузеппе Феррари, славного земляка тенора Баттистини. Сюжет картины не нов, но с таким огромным талантом позволительны и перепевы, в которые всегда будет внесена новая душа. Не думаю, чтобы кто-нибудь другой из современных художников был в силах дать такую иллюзию ночи, горя, одиночества, такие мрачные световые эффекты и сочетать с ними в виде контраста, но не диссонанса, бездну кротости, любви и *résignation*⁵, разлитую на слабо освещенном бледном лице Христа.

Вот небольшое полотно Veruda "Sii onesta"⁶. Отец умирает на нищенской постели; его лицо скрыто рамой, но исхудалые, извивающиеся пальцы руки, похожей на лапу хищной птицы, говорят достаточно о страданиях умирающего. Дочь плачет у него в ногах, слушая шепот, который, верно, болью отдается в ее душе: «будь честной». Будет ли исполнен последний завет умирающего? На это отвечает маленькая деталь, невольно бро-

¹ Противный (букв.: «жаба»; *итал.*).

² Теплый плащ-накидка (*итал.*).

³ «Дело Дрейфуса» (*итал.*).

⁴ Дворец изящных искусств (*итал.*).

⁵ Смирение, покорность судьбе (*фр.*).

⁶ «Будь честной» (*итал.*).

сающаяся в глаза среди жалкой обстановки комнаты: на стройных ножках девушки красуются дорогие, изящные вырезные туфельки с высокими каблуками...

Вот «Наследник» Патини, одна из тех картин, которые приковывают зрителя к месту. Грязная, сырая, пустая, большая подвальная комната; на полу, прикрытое тряпками, лежит холодное, землистое тело хозяина, и куда вы ни отойдете, на вас глядят его закрытые глаза из-за грязных ледяных ног. В дальнем углу комнаты женщина плачет, опустив голову низко на руки. Все это оттенено зловещими сумерками подвала, и солнечный яркий свет падает только на «наследника», на голого грудного ребенка, который лежит тут же на полу и играет большой луковицей. Голова у него большая, щеки здоровые, красные, лицо смело повернуто к нам, взгляд ни веселый, ни печальный, ни добрый, ни злой — взгляд маленького животного, которое ничего не понимает.

«Sogni» Коркоса — картина совсем в другом роде, но тоже хорошая, талантливая, метко угаданная. Это — барышня в элегантном утреннем костюме, одна в саду на скамье: нога закинута на ногу, локоть уперт в колено; лицо, поставленное прямо en-face¹, опирается подбородком о сжатый кулак в длинной шерстяной перчатке; другая рука закинута вдоль спинки скамейки; вся фигура сильно наклонена вперед, и глаза смотрят прямо перед собой. Лицо, кроме чудного teint², — не лицо красавицы; лет барышне не меньше двадцати двух, ноги и руки не очень малы; в позе больше дерзости, чем изящества. Но именно в вызывающей, неприличной, почти неженственной дерзости, выраженной во всем, от модной развеявшейся прически до носка ботинок, столько типичности, столько нашей современной, сегодняшней среды, что эта выхваченная из жизни demi-vierge³ против воли зачарует вас, напоминая сотни знакомок из тех, которые были или могли быть «владычицами ваших дум». Картина названа «Мечты», но выражение лица далеко не то, которое испокон веку принимало лицо замечтавшейся девушки. О чем может мечтать эта дочь наших вавилонских дней, возле которой на скамье, рядом с соломенной шляпкой, лежат три томика в знакомой желтой гляцевитой обертке, в какой печатаются французские романы?

¹ Анфас (фр.).

² Цвет лица (фр.).

³ Полудева (фр.).

В отделе ваяния есть три вещи, которые остались бы шедеврами, если бы их перенесли даже из палатки выставки в музей. Это — «Madre»¹ Чечони, одна группа Рутелли и «Proximus tuus»² Д'Орси.

«Мать» поставлена в первом зале выставки. Она уже немолода, ей лет сорок, но это здоровая женщина. Она только что оделась, но еще не накинула кофточка, покормила толстого, здорового, важного сосунка и теперь радостно улыбается, подкидывая его на руках и глядя в его недовольные глазки. По совершенству форм, замысла, отделки статуя Чечони лучше всего, что есть в этом палатке.

Группа Рутелли иллюстрирует одну из первых песен «Ада». Двое из «тех, что были побеждены гневом» в земной жизни, изображены в момент, когда они в пекле несут кару за запальчивость. Грех гнева преследует их и здесь — в этом их наказание. Оба стройные, красивые, полные сил люди; один из них уцепился за ногу убегающего и впился в его тело зубами и ногтями, а товарищ, полный ужаса и слепой ярости, охваченный потребностью тоже причинить кому-нибудь боль, укусил себя самого за плечо с выражением на лице такой живой кровожадности, которой не передать словами.

Рядом с этим грохотом силы, жизни и мускулов сидит, вытянувши ноги перед собой и сгорбив спину, другая статуя. Ее плоская старая голова с лицом идиота, с кожей, расщеленной солнцем и ветром, повязана по-крестьянски платком и опущена на впалую грудь; тонкие руки бессильно упали, и лопата выпала из них на переворошенную землю. «Человек земли» отдыхает, чтобы через минуту снова приняться за свою тупую работу. На его лице вы не прочтете ничего, кроме беспредельного отупения. Это и есть «Твой ближний».

Altalena

Одесские новости. 1.05.1900

¹ «Мать» (итал.).

² «Твой ближний» (лат.).



Рим

CAFFÈ ARAGNO

28 апреля (11 мая)

Центр Рима, в обоих смыслах, находится возле Piazza Colonna. Если вы часов в девять вечера от огромной, освещенной перекрестными электрическими огнями колонны, которую воздвиг Марк Аврелий и на которую папы поставили св. Петра, направитесь к узкому, длинному, светлому Corso и свернете налево, то два шага приведут вас к кафе Араньо. Это и есть центр и пульс умственной, общественной, политической жизни Рима.

Рим не любит толпы: мне уже приходилось указывать на присущую римлянам долю величавой сдержанности характера. Но перед Араньо по вечерам и в праздник, и в будни проходящим приходится работать локтями. Дамы и барышни, сочетающие международную красоту с римской элегантностью, отцы семейств, щеголи-сыновья в желтых коротеньких пальто колоколом, офицеры в молодецки закинутых на плечо пепельных плащах, мистеры, герры, полдюжины городских и карабинеров, на всякий случай, — и среди этой толкотни, точно всплески пены среди прибоя, вертятся и мелькают газетные разносчики разного пола и возраста, исполняющие во всю силу легких так называемый вечерний концерт Piazza Colonna. Прежде чем войти «к Араньо», послушаем этот концерт.

Парижский камло¹, верно, кричит громче. Но и здешний giornalaio² — совсем не то, что нумерованный разносчик в нашем отечестве, где повышать голос на улице позволяют себе только продавцы мороженого. Здесь голоса звонкие, уверенные, часто звучные; сильный, точно напыщенный, акцент римского простолюдина придает «концерту» оттенок вдохновения и пафоса. Выкрикиваются или здешние вечерние, или иногородние, редко и местные утренние, издания.

Бойче всех вечером раскупается «Tribuna». Это хороший, солидный тип честной европейской газеты. Она не принадлежит никакой партии и старается отвечать на запросы жизни,

¹ От: camelot — продавец газет (фр.).

² Продавец газет (итал.).

не надевая на себя ярлыка и оставляя за собою право давать в каждом отдельном случае ответ сообразно своему пониманию, не связанному предвзятым принципом. И тем не менее «Tribuna» не заслуживает упрека в беспринципности, потому что ею руководит постоянно одна цель: благо и преуспеяние родины, без ущерба для соседей, но и без убытка для Италии. Редактор этой газеты — консерватор; но ни одно новое течение в жизни или общественной науке, если не принимало уродливых форм, никогда не встречало на столбцах нападок и вылазок заглушительного свойства. Идея мира (больное место «Tribun'ы») тоже пользуется ее расположением как идеал, но, не имея веры в близкое осуществление этого идеала, «Tribuna» добивается, чтобы Италия не была слабой среди сильных, безземельной среди колониальных держав. Со всем этим можно не соглашаться, но добросовестному и беспристрастному патриотизму газеты нельзя отказать в уважении. Что касается беспристрастия, то ему «Tribuna» могла бы поучить, по-моему, не одно русское издание.

Не носит ярлыка и «Giorno»¹, существующий всего четвертый месяц и уже добившийся широкого распространения. Составившись из слияния доброй памяти «Don Chisciotte» и «Fanfulla», он носит радикальный оттенок, но в число его сотрудников входят талантливые люди без различия политических вероисповеданий; здесь писал, между прочим, Д'Аннунцио, еще до пресловутого перехода налево. Но имя «Giorno» не часто раздается в «вечернем концерте»: он выходит утром, и к вечеру редко остаются нераскупленные выпуски.

Важное место в «концерте» — пюпитр второй скрипки — занимает «Avanti». Это уже газета с ярлыком: под ее заголовком красуется название рабочей партии. «Avanti» представляет обычные хорошие и дурные черты этого рода изданий; впрочем, по сравнению с некоторыми тевтонскими собратьями, эта газета выгодно отличается некоторой сдержанностью тона, дающей большее впечатление силы и уверенности. Надо отметить и то, что «Avanti», орган для народа, печатал в фельетоне «Воскресение», в то время как «Giorno» пробавлялся М. Прево, а «Tribuna» — Монтепенем.

Редко-редко донесется до вашего слуха «Popolo Romano», и совсем не оттого, что газета раскуплена. Дело в том, что она представляет только специальный интерес в тех случаях, ког-

¹ «День» (итал.).

да надо навести справку, что думает по такому-то вопросу министерство. «Ророло» — официоз. Со дня возникновения он пристроился к начальству и, меняя окраску по мере происходящих вверху перемен, процвел до того, что теперь помещается в роскошном собственном палаццо. Его руководитель синьор Шовэ — один из любопытнейших авантюристов нашего времени. Мне жаль, что нет места для пересказа содержания нескольких прочувствованных писем, посвященных когда-то этому господину покойным Каваллотти. Шовэ начал свою карьеру в полку солдатом с ростовщичеством и растраты; продолжал ее на журнальном поприще пасквилями, клеветой, вымогательствами и успел пустить такие корни, что, несмотря на десятки разоблаченных Каваллотти преступлений, несмотря на участие в процессе Ванса Романа, он и по сие время цел и невредим и продолжает свою миссию уполномоченного истолкователя правительственных настроений. Тип, интересный не только по своей биографии, но и по цельности, откровенности и несокрушимости своего характера. Одному военному, вступившему было с ним в полемику, Шовэ ответил печатно: «Перестаньте. В этом споре вы можете только потерять, а я только выиграть, потому что вы еще пользуетесь репутацией порядочного человека, а я нет».

Но пора проститься с концертом. Войдем в кафе. Оно состоит из трех довольно больших и высоких зал недурной архитектуры, но не выдающихся ни роскошью, ни даже особенным комфортом обстановки; и, однако, кафе заполнено публикой до того, что нет места для приставного стула. И публика отборная: среди простых обывателей и форестьеров¹ в каждом ряду столиков вам укажут по несколько «гвоздей» из местных или даже не только местных знаменитостей: депутатов, профессоров, журналистов, писателей, художников, отцов города с громкими именами староримской знати. Скромное кафе служит им гостиной, куда они приходят с женами и дочерьми, где принимают гостей ввиду малой любви Рима к семейному очагу; здесь говорится обо всем, начиная с погоды и кончая политикой, которую подчас здесь же и готовят.

Остановимся на одной характерной группе, которая неизменно каждый вечер собирается в каком-нибудь уголке первого зала. Это — Антонио Лабриола и его юная свита. В одном из предыдущих писем я говорил уже о научном значении этого

¹ Иностранцев, приезжих (*итал.*).

трезвейшего и беспристрастнейшего из последователей Маркса; сегодня посмотрим на его крупную и типичную фигуру вне рамок кафедры или книги.

По выходе в свет «*Essais sur la conception matérialiste de l'histoire*» Лабриола получил от одного русского публициста печатный выговор за непочтение к «доктрине» и авторитету ее основателя. И действительно, непочтение к авторитетам — яркая, даже преувеличенно яркая черта этого ученого, от которого достается часто не только его современникам или коллегам. Защитник и почитатель умозрительной философии, глубокий знаток и ценитель ее столпов, он, однако, способен, привязавшись к какой-нибудь запятой, вышутить и высмеять Канта, Гегеля или Декарта, к удовольствию молодых и многочисленных слушателей. Правда, это вполне объясняется потребностью сильного ума пробовать свои силы в столкновении с крупными величинами и подчеркивать свою независимость от них; но это же дает повод злым языкам говорить и писать, что Лабриола «занимает в университете и в кафе Араньо кафедры философии и злословия». Впрочем, все это не составляет и полгреха, а за учреждение двух кафедр вместо одной ученого можно только благодарить. В самом деле, каждый вечер «у Араньо» вы увидите его полное безбородое лицо с итальянскими черными окладистыми усами, как у Петра Великого, живым веселым взором и кудрявой черной с проседью *zázzerà*¹. Вокруг него толпой собирается молодежь, иногда подсядет и пожилая фигура, и начинается беседа о злобе дня; Лабриола, лукаво поглядывая исподлобья на проходящих, выбрасывает один за другим свои афоризмы, парадоксы, сарказмы, нюхает табак и начинает снова.

Сегодня он в споре с безусым юношей лет девятнадцати на вид и двадцати двух в действительности. Это — Селла, молодой журналист, составивший уже себе некоторое имя в Италии и в Швейцарии статьями по экономии и статистике. Лабриола видит в нем, и недаром, назревающую опасность раскола. До 98-го года Селла был марксистом; в мае этого злополучного года ему пришлось перекочевать из Италии в Женеву, где он слушал лекции Маффео Панталеони, своего собрата по родине и по несчастью. Панталеони, молодой, но, может быть, первый по таланту из современных итальянских экономистов, проповедует «неолиберизм» и проповедует, очевидно, весьма убедительно, потому что число «обращенных» и марксистов

¹ Шевелюра (*итал.*).

уже очень почтенно. Селла тоже «отрекся», примкнул к «эдонистико-индивидуалистической» школе Панталеони и превратился в ярого врага теории прибавочной ценности и связанных с этой теорией «прогнозов».

Как я уже писал вам, книга Бернштейна не вызвала в Италии никакого раскола; но очень может случиться, что школа Панталеони, особенно теперь, по возвращении его в Италию, произведет здесь не только раскол, а целое распадение. Очень может быть, обаяние этой новой (т.е. подновленной) доктрины объясняется тем, что ее можно принять за попытку научного обоснования некоторых ультраосвободительных демагогических течений нашего века, к которым у итальянцев всегда было «влечение, род недуга».

Мы еще будем иметь случай поговорить об этом явлении, но теперь наш визит «в Араньо» чересчур уже затянулся.

Altalena

Одесские новости. 4.05.1900



Задача

Вагонный рассказ

— Это напоминает мне одну историйку... Вы не хотите спать?

Я сказал, что не хочу. В дороге часто приходится лгать. В этом отношении вся жизнь вообще есть длинная, очень длинная дорога.

Именно поэтому я не принимаю на себя ответственности за достоверность «историйки», которую мне рассказал этот соотечественник. Впрочем, мало ли что случается.

— Я ехал, — начал он, — по этой самой дороге и скучал немилосердно. Есть люди, которые думают, что путешествия исключают скуку. Действительно, со стороны оно кажется быстрой сменой впечатлений, если сегодня ты в Будапеште, а завтра в Фиуме, но для самого путешественника между этими двумя моментами тянутся двадцать четыре часа однообразной тряски в вагоне... Тьфу! *Vae divitibus, vae divitibus*¹, коллега, —

¹ Горе богатым, горе богатым (*итал.*).

скука хуже плетей. Я сидел в купе в единственном числе, а за моим было купе дамское — с венгерской надписью *ной сакас* и по-хорватски *za gospodje*. От нечего делать я стал прислушиваться к тому, что говорилось в том купе.

Прежде всего я разобрал возглас по-итальянски:

— Джаннино, не стучи в окошко, разобьешь!

Очевидно, там был и мальчик.

Затем тот же голос заговорил другим тоном и на другом языке — я разобрал, что по-немецки. Другой женский голос ответил: *Ja, Fräulein, nach Fiume*¹, — и сейчас же за этим последовал окрик первого голоса по-итальянски: «Джаннино, не лезь на сетку!» Последовал прыжок и новый возглас:

— Сумасшедший, да ты разорвешь мне платье!

Очевидно было, что в том купе находились три osoby: маленький мальчик Джаннино, его спутница — сестра или гувернантка, но не мать, потому что это была *Fräulein*, — и другая дама или девица, немка, очевидно, чужая для первых двух.

С этими мыслями я заснул и, засыпая, слышал еще два окрика, потому что Джаннино тыкал зонтиком в лампу и сделал из саквояжа чужой барышни пароход.

Когда я проснулся, уже рассвело; было немного пасмурно, и мы проезжали по Кроации. Я очень люблю виды этого края... знаете: «на горы каменные там поверглись каменные горы» или как его бишь? Подлинно, «суровый край: его красам, пугаяся, дивятся взоры»...

Он очень мило произносил стихи.

Я начал каяться в своем первоначальном убеждении, что это коммивояжер, окончивший четыре класса заведения.

— Помню, — продолжал он, — я уселся у окна, вынул кошелек и стал считать. Я ехал в Венецию и должен был прожить там, по крайней мере, две недели, а у меня оставалось пятьдесят лир и австрийскими деньгами пять гульденов тридцать один крестер, не считая билета на проезд из Фиуме до владычицы морей. Это было немножко мало. Я предвидел... одним словом, предвидел много скверных вещей.

Я вышел в коридорчик и увидел тут всю тройку из *ной сакас*. Действительно, я угадал.

Во-первых, тут была чудная барышня, немка, прехорошенькая веночка с карими глазками. Затем, была тут спутница Джаннино, тоже очень хорошенькая, с русыми волосами и серыми

¹ Да, барышня, в Фиуме (нем.).

глазками. А сам Джаннино был лучше их обоих, вместе взятых: черный итальянский бесенок с черными глазками, лет восьми — ртуть, воплощенный «Дневник маленького проказника». Когда я появился, он прыгал на одной ноге вдоль коридорчика и кричал:

— Куджина Ванда, берегитесь!

Едва я сообразил, что куджина означает «кузину», как Джаннино на скаку вышиб коленкой из рук своей спутницы книжку, и она полетела в меня. Я поднял ее и отдал. На ней было написано: «*Bez dogmatu*».

Меня обрадовало то, что она была полька. Я почему-то очень люблю и этот народ, и его язык, и особенно его девушек. Меня обольщает в них сочетание запада с востоком: это славянские французы.

Словом, мы разговорились по-итальянски, так как я польски очень плох. Через четверть часа Джаннино уже прыгал через мою палку, укрепив ее поперек купе. Мы перешли на немецкий язык, чтобы в разговоре могла принять участие и веночка. Мне стало так весело и легко на душе, что я только колебался, к которой из двух почувствовать слабость. Полька была пластичнее и смелее, венка была пикантнее.

Панна Ванда сказала Джаннино:

— Берегись, не трогай меня; синьор тебе спускает, а я тебя, в конце концов, запрю.

Джаннино отрезал:

— Если синьор меня боится, то вы тем более — вы слабее его.

Она заспорила, и это дало нам повод померяться силой. Я перегнул ее руку, причем мы хохотали, а веночка очень подозрительно щурилась на наше единоборство.

Между Хорватией и Литторалем есть большой туннель... Эге, я вижу, что вы при этом слове насторожились — и даром.

Когда мы очутились в темноте, то все четверо расхохотались от неожиданности — говорю вам, что нам было очень весело. Пока исчезал слабый полусвет, я видел, как Джаннино припрыгивал от радости. Потом мы все замолчали.

Ей-богу, я совершенно нечаянно прикоснулся мизинцем к ее ручке; и я не нахал — я сейчас же отдернул руку.

Потом — я обомлел. Представьте себе, я почувствовал теплое дыхание на щеке и затем беззвучный, но крепкий поцелуй, прямо в губы — ей-богу!

А? Что скажете?

Кровь бросилась мне в голову. Я точно сквозь какой-то грохот слышал голос Джаннино, который в коридорчике пытался отворить окно и звал на помощь куджину. А она спокойно ответила:

— Не надо, Джаннино, дым войдет.

Наконец, мы выехали на свет Божий. Панна Ванда была совершенно спокойна. Венка тоже. Венка была еще без шляпки, а на панне Ванде был берет со спущенной вуалеткой. Как же?..

Но вуалетку легко поднять и отпустить, потому что несомненно было одно: веночка, при всей своей пикантности, не могла поцеловать меня как есть — ни с того ни с сего.

Но это спокойствие! Ай да панна Ванда!

Замелькали белые дома Фиуме, и вот мы на вокзале. Я пошел носильщиков.

Тогда панна Ванда, глядя мне прямо в глаза и улыбаясь, сказала:

— Так как вы только завтра уезжаете, то я буду очень рада видеть вас у себя, и тетка — мама Джаннино — тоже, потому что она варшавянка. *Corsia Deak*, номер такой-то.

Я отвечал с очень большим ударением:

— Непременно!

Веночку я проводил до самого *Hôtel de la Ville*, где она остановилась. По дороге я окончательно отбросил вздорную мысль, что это была она. Приходилось бы приписать ей слишком уж большой артистический талант — столько естественной невинности было в ее обращении со мной.

Я оставил ее в *Hôtel de la Ville*, а сам пошел на поиски какого-нибудь скромного *albergo*¹, потому что о моих ресурсах вы уже знаете.

Мы приехали в Фиуме в девять часов утра. В половине третьего я звонил у дверей мамы Джаннино. Вы поймете, что за этот промежуток времени я успел окончательно и погубительно влюбиться.

Я сидел у них один час и упросил панну Ванду поехать со мною в Аббаццию.

Пароходик отходил в четыре часа, а последний из Аббацции в шесть. Пока она одевалась, я сбегал в свой *albergo* за биноклем.

¹ Гостиница (*итал.*).

Я чувствовал, что сейчас сделаю глупость, — но не мог устоять. Я вошел в первую встречную меняльную лавку и обменял свои 50 лир на гульдены.

Но день был такой славный, солнечный, Ванда такая хорошенькая и весь городок со своими стройными домами венского стиля и голубым морем был так приветлив, что я махнул рукой на политическую экономию и перестал думать о Венеции и о двух неделях, которые я должен буду там провести. Что мне «завтра» — да здравствует «сегодня»!

Я купил два свертка засахаренного миндаля; мы сидели на палубе первого класса и любовались пароходиком «Volosca»: он был такой беленький, такой *умытый* — видно было, что он принадлежал немецкой компании. О чем мы говорили, в точности не помню, но могу вас уверить, что у панны Ванды был большой артистический талант.

Скоро показалась Аббация.

Это такой дивный уголок, что описывать его было бы кощунством. В конце ноября там было море, настоящее море темной зелени платанов и пальм и других деревьев — я не знаю ботаники, — и из этого моря пятнами выделялись, по всему склону горы, белые-белые виллы. Чудо! Чудо! Это было бы совершенством, коллега, если бы не надписи на немецком языке. Впрочем, неизбежное неизбежно.

Моя задача вполне определилась для меня: нужно было заставить панну Ванду сознаться, а потом последовать моему принципу, который гласит, что грешно пренебрегать маленькими мимолетными *amoretti*¹.

И... Господи! Поверите, коллега, я еще и теперь злюсь при мысли, что я даром потерял время.

Она хорошо знала Аббацию. Она провела меня по всем главным «улицам», а к концу, в виде десерта, приберегла парк при лечебнице — прелесть, подобно которой я никогда не видал, — но за весь этот час мне не удалось ни разу навести разговор на путь истинный. Это была полька, которая выскальзывала как змея.

Когда мы забрели в глубину аллея парка, я предложил ей присесть, и она согласилась. Дорожка была узенькая-узенькая, вся закрытая густой зеленью и сверху, и с боков; кроме того, уже смеркалось. Среди зелени были разбросаны большие

¹ Любовные интрижки (*итал.*).

белые камни; в сумраке они казались статуями, так что мне стало чудиться, будто мы перенесены в какой-то античный мир. Было так красиво, что я боялся шевельнуться. Панна Ванда тоже говорила почти шепотом.

Я сказал:

— Тьма...

Она сказала:

— Да... Как в том туннеле.

Я потерял терпение и заговорил:

— Слушайте, синьорина. Я наконец должен у вас спросить прямо: зачем вы это сделали?

— Что?

— Да не хитрите, забудьте хоть на минуту, что вы дама, говорите — зачем?

Она хотела отвечать, но в эту минуту раздался звонок пароходика на пристани. Она вскочила и закричала:

— «Volosca»! Бежим, мы еще поспеем!

Я ухватил ее за руку и сказал:

— Не пушу.

— Что вы? Ведь это последний — уже шесть часов!

Но при всем том она не отнимала руки, и я совершенно терял голову. Я взмолился:

— Синьорина, панна Ванда, милая, останемся еще на часок. Погода тихая, я возьму обратно ялик.

— Но ведь это бешеные деньги, что вы?!

Я махнул рукой. Венеция? Две недели? Ге! Да здравствует «сегодня»!

— Панна Ванда, милая, добрая...

— Но... — она замылась. — Ей-богу, я проголодалась, невозможно...

Я ответил:

— Мы закусим здесь.

Венеция? А ну ее!

Панна Ванда осталась, и ее рука осталась в моей. Послышался снова звонок и свист. «Volosca» ушла.

Тогда панна Ванда сказала:

— Пустите мою руку. И... пройдемся, — видите, как темно. Как это нехорошо, что я согласилась!

Мы уже шли медленно-медленно по бесконечным аллеям. Я сделал последнюю вылазку.

— Синьорина, теперь отвечайте! Зачем вы это сделали тогда?

— Но что и когда?

Я никогда не слышал более искреннего удивления в тоне голоса.

— А тогда, в туннеле?

— В туннеле?!

Она вся выпрямилась и точно задрожала, и, представьте, в ее голосе мне послышались слезы, честное слово, когда она сказала:

— Клянусь вам, что я не знаю, на что вы позволяете себе намекать. Но вы злоупотребляете тем, что я неосторожно осталась с вами здесь.

Понимаете?! Проклятие! Это была веночка! Мои гульдены, мои гульдены — и Венеция!

Делать было нечего. Я кое-как извинился. Потом мы закусили — отступить было поздно: три гульдена долой. Потом мы погуляли — я делал любезную *bonne mine au mauvais jeu*¹ — и пошли на маленькую каменную пристань. Море было великолепно, но яличник потребовал шесть гульденов — и то не сразу согласился.

Мимо!

На другой день я не пошел к панне Ванде и только перед отъездом на пароходе «Daniel Ernö», уходившем в Венецию, забежал из вежливости попрощаться.

Мать Джаннино сказала:

— Джаннино не гулял сегодня, Ванда. Пойди с ним проводить пана, eh?

Панна Ванда взяла за руку Джаннино, и мы пошли в порто-франко. Джаннино был очень весел, но я ни разу не улыбнулся и был сух, как пробка.

Но когда я уже стоял на борту, когда мы уже тронулись, мне пришлось бросить свое самообладание, потому что Джаннино, хохоча во все горло, закричал с берега:

— Signore, а почему у вас такие жесткие усы?

Понимаете?!

Altalena

Одесские новости. 6.05.1900

¹ Хорошая мина при плохой игре (*фр.*).



«Сирано де Бержерак» на римской сцене

Рим, 8(21) мая

У вас собираются поставить «Сирано де Бержерака». Это странное явление — поэма, чуть ли не сказка, облетевшая в наше прозаическое время весь цивилизованный мир, — заслуживает внимательного изучения. Как понять, симптомом чего признать эту загадку, что мы, разучившиеся понимать рифмованную речь и привыкшие смеяться над исторической драмой «с выстрелами», слушаем в течение длинного вечера эти стихи и эти выстрелы со сцены и уходим из театра под сильным и нешуточным впечатлением? Говорю «мы», потому что я почти уверен в успехе этой драмы и в Одессе, хотя никогда не имел удовольствия слышать труппу г-на Корша и не знаю, насколько ей может удасться исполнение.

Не нужно доказывать того, что «Сирано» далеко не шедевр. Промахи в постройке действия все стушевываются перед главным недостатком: кроме героя, на котором сосредоточен весь интерес драмы, да еще, пожалуй, вводной фигуры Рапо, в произведении нет ни одного живого лица, которое бы говорило, а не только подавало реплики. Как и всегда, блестящего, но не глубокого таланта Ростана хватило только на центр картины, а аксессуары он дописал по рутине, механически поводя привычной кистью. Затем, исторической истины в драме и в телескоп не увидите. Канва действительно близка к данным биографии Бержерака, но дело не в канве: психология героя, его чувства, мысли, способ выражения — все это не имеет никакого отношения к XVII веку, все это до того верно списано с конца нашего столетия, что бросается в глаза даже людям, не имеющим никаких притязаний на знакомство с Парижем 1640 года. И, в довершение всего, стихи. Как бы они звучны и красивы ни были, стихи на сцене непременно должны мешать иллюзии, и, с точки зрения здравого смысла, пьеса в стихах еще большая нелепость, чем опера. А в результате всего — успех.

Я отчасти уяснил себе эту загадку после того, как услышал «Сирано» в Риме, в театре Valle, в исполнении труппы Андреа Мадджи. Труппа была хороша, т.е. на своем месте и не портила ансамбля — все, чего можно в этой драме требовать. Сам «Чи-

рано» — Андреа Мадджи — был больше чем великолепен, был совершенен. Я не видал Коклена в этой роли, но сомневаюсь, чтобы к нему больше, чем к Мадджи, подходили слова Ростана: «Душа Сирано переселилась в вас». На римской сцене был не Сирано де Бержерак, а была именно его душа, его сущность и квинтэссенция, переселившаяся в новое тело; и подобно тому, как по теории переселения душ новое существо не рабски повторяет старое, а показывает, чем стало старое в новой среде, так и Мадджи нашел для души Сирано ту мимику, те жесты, те перебивы мелодичного голоса, которые избрала бы эта душа, если бы жила вместо своего века в наши дни. Кроме наряда, в Мадджи ничто не напоминало о пыли веков. В *то* время Сирано, бросая свой кошелек Бельрозу, употребил бы, верно, какой-нибудь смешной для нашего глаза жест, принял бы какую-нибудь неестественную для нас позу; в *то* время Сирано, посылая из-под балкона Роксане тирады, в которых искренняя страсть так хорошо слита с тонкой изысканностью выражения, нашел бы, верно, какие-нибудь странные для нас, слишком напыщенные интонации, а в минуты отчаяния хватал бы себя за голову и потрясал бы в воздухе руками. Но Мадджи придал всему этому ту меру и тот оттенок, которые были нужны, чтобы зритель ни на минуту не мог вспомнить, что чувства Сирано отдалены от него на 260 лет: его герой жестикулировал изящно, но просто, говорил тоном искренне взволнованного и не позирующего человека и страдал неподвижно, стискивая зубы и опуская глаза.

Иначе нельзя играть Ростана, потому что сам автор поступил точно так же. Я уже указывал на *modernité*¹ самой драмы. Чувства, приписанные Сирано, правда, мог иметь и *chevalier*² той эпохи, но форма, в которой они развились, и выражения, в которых они вылились, не могли возникнуть в XVII веке, когда для этого эстетизма, для этого сознательного, аффектированного и подчеркиваемого культа слова и жеста не было еще повода, потому что измельчание и опошление жизни еще не назрело до необходимой степени и не могло вызвать реакции. Ростан сам «переселил» душу Сирано в наше столетие, и игра Мадджи была только развитием замысла автора.

Благодаря этому драма, чуждая зрителям по месту, по времени, по национальному характеру, стала для аудитории Мадджи чем-то родным и своим. Она захватила, как может захватить

¹ Современность (*фр.*).

² Шевалье — дворянский титул в феодальной Франции (*фр.*).

только родное и свое; зритель не думал: «как это место трогательно!», а вместо того был растроган на самом деле. Это полное отсутствие временного и местного колорита в декламации и в мимике привело к тому, что историческая драма в стихах — род произведений, способный восхищать, но не трогать, — превратилась у Мадджи в «пьесу настроения». В полночь, расходясь, публика не обсуждала никаких «вопросов», не разбирала никаких «типов»: она уходила под впечатлением, с созданным настроением в душе, которого нельзя было передать и разъяснить, как не передать и не расчлнить впечатления, оставляемого музыкой.

В этом — секрет успеха «Сирано». Трудно найти что-нибудь общее между этой пьесой, «Одинокими людьми» Гауптмана и «Дядей Ваней», но все эти три произведения сближены и породнены тем, что они рассчитаны — сознательно или нет — не на интерес, а на настроение: эти три произведения относятся всецело к области лирики. И, мне кажется, нет никакого сомнения, что эта странная, незнакомая до сих пор лирика, невидимо воплощенная в драму, повесть, рассказ, что эта литература настроения в настоящее время начинает свое царство. Мода в искусстве сменяется модой, и та мода, которая будет властвовать в продолжение ближайшего наступающего теперь периода, есть именно эта литература. Она не будет преподносить читателю «человеческих документов», «вопросов», «тенденций» и прочей оскомины; она не будет настоящим философским руководством, но она будет действовать на нас прямым подъемом духа, вызывая порыв, стремление, бодрость, — будет действовать, как музыка на солдата. И что именно это искусство, а не декадентская неискренность, будет ответом на искание «новых путей», доказывается тем, что литературы настроения (в том смысле, в каком она проявилась) никто заранее не проповедовал, никто не разыскивал, а она возникла произвольно и одновременно в разных краях, и мы заметили ее рождение только тогда, когда она уже окрепла и стала на ноги. У нас, в России, она успела дать не только Чехова. Шумный и необычный успех «Камо грядеши» и очерков Максима Горького надо приписать той же причине: прямому обаянию, непосредственному проникновению в душу, захватыванию и *настраиванию* на свой лад и тон струн сердца; когда вы насмотрелись на Петрония и Эвнику, на Мальву и Челкаша, то не «вопрос» и не «идея» остаются у вас в голове, а остается в сердце настроение, вдохновение, порыв.

Я смею думать, что эта новая литература будет, по общественному значению, ничуть не ниже предшествовавшей ей литературы «идеи» и «вопроса», потому что она отвечает на важнейшую нужду нашего времени — оздоровить, освежить, вспрыснуть живой водой нынешнего человека, превратившегося в «обывателя», потерявшего силу и красоту, ставшего и нравственно, и телесно близоруким, рахитическим, безмускульным. «Одинокое люди» или «Дядя Ваня» оставляют в нас чувство тоски, желание стряхнуть с себя действительность, в которой ужаснее всего ее серая, плоская пустота. Герои Горького или Сирано Ростана — полнокровные, энергичные, властные, неукротимые и, главное, *цельные* — создают в нашей душе сознание того возрождения и оздоровления, того идеала живой жизни, к которым должно стремиться современное заляжавшееся, изъеденное молью человечество.

Altalena

Одесские новости. 14.05.1900



Силуэты итальянской сцены

I. НОВЕЛЛИ И ДЗАККОНИ

22 мая (4 июня)

Со 2 июня в театре Costanzi начинаются представления товарищества Эрмете Дзаккони*. В числе новинок (новинок для Рима) он обещает «Лоренцаччо», «Геншеля», последнюю драму Джакоза, озаглавленную «Точно листья», и многое другое. Говорить о Дзаккони, хотя бы по поводу «Геншеля», придется еще не раз; сегодня я попробую дать общее понятие о месте и значении его среди итальянских артистов. Для этого лучше всего сопоставить его с Новелли. Оба признаются равными по таланту, оба имеют равные — и только им двоим принадлежащие — права на занятие первого места между артистами Италии, обоих, наконец, зовут одинаково — Эрмете. Взятые оба вместе, они воплощают в себе все новое итальянское сценическое искусство, но на этом сходство их кончается. Новелли представляет одно течение этого искусства, Дзаккони — другое.

* В России этого артиста во время его гастролей в Петербурге именовали почему-то Цаккони.

Новелли — классик современной сцены. Вслед за несколько приподнятой игрой Томмазо Сальвини, Э. Росси и А. Ристори, перешедшей в смягченной форме в трагическую манеру Пеццаны-Гвальтьери, итальянская сцена перешла к так называемой простоте и к «реализму». Оба эти названия не вполне верны: старинная манера, с ее богатством интонаций и жестов, была так же «реальна», т.е. так же соответствовала жизненной правде своего времени, как и сдержанный тон современной игры; что же касается «простоты», то она на новой сцене, в сущности, совершенно ни при чем, так как, напротив, именно *простой* и непосредственный человек в минуты волнения кричит и жестикулирует, и нужна высокая степень *сложности* характера, чтобы внутренние бури так тонко и почти незаметно отражались на внешности, как требует этого современная школа. Приписывая реализм и простоту новому искусству, мы точно отказываем в признании их за старым, в котором, между тем, была и простота, и реализм, только на свой лад. Но так как оба слова верно передают то впечатление, которое выносит, со своей точки зрения, человек наших дней из сравнения старой школы с новой, то можно примириться с этой неточностью.

Новелли — классик реализма и простоты. Истинные классики всегда отличаются уравновешенностью, закругленностью и законченностью творчества. В их создании не может быть пробелов: оно должно с безупречной пропорциональностью воплощать ту сторону жизни, воспроизведению которой посвящено. Классик неспособен к увлечению модой, к малейшему отступлению от строгости своего евангелия: он в пределах своей области совершенен и безукоризнен, как равнобедренный треугольник. В его творении беспристрастный критик может отметить стороны, с которыми не согласится, но не найдет ни одной погрешности, ни одного недостатка.

Таков Новелли. Я не видел его в Гамлете, но думаю, что даже в этой роли его исполнение не может вызвать обычных споров. Конечно, с его *толкованием* кто-нибудь да не согласится; но область актера — не толкование, а передача, и в этой области Новелли, несомненно, безукоризнен и безупречен.

Новелли совершенно неспособен к «пересаливанию», точно так же, как человек благовоспитанный — к бестактности. Действительно, такт или, еще лучше, аристократичность — наиболее подходящее определение его игры. Можно только

поражаться умной, тонкой, благородной разборчивости, с которой он устраняет из своего исполнения все, что может показаться преувеличением, хотя бы в сторону того же реализма или той же простоты. Иногда в разгаре действия какой-нибудь эффект или *coup de scène*¹ сам собой напрашивается, и вы невольно ждете его, но аристократ Новелли обманывает ваши ожидания, потому что этот эффект показался слишком дешевым его изысканной брезгливости.

С другой стороны, когда художественное чутье говорит ему, что сценическая правда требует той или иной подробности, он не отступает перед риском вызвать ужас пуристов. Я помню, что у нас в России какой-то актер попробовал сыграть Шейлока с еврейским акцентом и получил за это строгие выговоры от критики. Для Новелли, как и для всякого итальянского артиста, комедия Шекспира представляется скорее оправданием, чем осуждением Шейлока, так что в антисемитизме его заподозрить нельзя; тем не менее и он придал произношению венецианского купца гортанный оттенок, вполне естественный для еврея того времени. Правда, впрочем, что в Италии это горловое *p*, слышавшееся со сцены, не затрагивало никакого «наболевшего вопроса».

Если Новелли — классик, то Дзаккони — новатор; если Новелли — аристократ, то Дзаккони — революционер. Новелли воплощает свою школу, Дзаккони создает свою. Новелли не любит крайностей, даже больше — презирует их; Дзаккони смело идет им навстречу и чуть ли не на них основывает свой трон; Новелли переносит из жизни на сцену только то, что остается после строгой цензуры его художественного такта; Дзаккони считает эту цензуру остатком старинной манерности и показывает со сцены жизнь со всеми ее подробностями. Новелли — «реалист», Дзаккони — «верист».

В двух драмах мне посчастливилось видеть и Новелли, и Дзаккони: в «Кине» и «Гражданской смерти» (иначе «Семья преступника»). Сравнив исполнение обоими одной и той же роли, мы легче всего сможем составить себе ясное понятие о том и о другом.

Новелли в «Кине» хорош уже потому, что его дарование одинаково обнимает и смех, и слезы, а эта пьеса дает простор и трагику, и комичу. Дзаккони, наоборот, не умеет смешить,

¹ Сценический эффект (*фр.*).

поэтому в его репертуаре нет тех веселых комедий, почти фарсов, в которых так хорош Новелли. Ясно поэтому, что комической частью «Кина» Новелли должен был бы дорожить больше, чем его молодой соперник. Между тем Новелли совершенно выпускает часть второго действия — ту смешную сценку, когда суфлер Соломон находит под столом собутыльников великого артиста — так же, как и сцену бокса, в которой есть где развернуться характерно-комическому дарованию. Этой урезки ничем иным нельзя объяснить, как разборчивостью артиста, ненавидящего грубоватые, чисто внешние эффекты.

Наоборот, Дзаккони, признающий право на воспроизведение даже за хорошим ударом кулака, не только не выпускает этих сцен, но даже проводит их — особенно бокс — очень старательно, с полным «веризмом».

В конце монолога Гамлета, когда Кином начинает овладевать «безумие», разница между Дзаккони и Новелли выступает опять очень ярко. У Дзаккони Кин, доведенный до бешеного отчаяния, точно не зная, чем больнее оскорбить своих фешенебельных врагов, начинает буквально подпрыгивать (не умею найти более подходящего слова), подымая ноги перед рампой. Не знаю, есть ли эта пометка у Дюма; знаю, что ни Новелли, ни русские артисты не делают этих странных телодвижений, которые, однако, могут быть объяснены, хотя, как говорят многие, с натяжкой. Во всяком случае, характерно, что Дзаккони ради достижения наивысшей степени правды идет на риск показаться позером и неискренним; тем более характерно, что для полноты впечатления эти прыжки не нужны, — допустив даже, что они правдоподобны, — потому что впечатление полубезумия и без них достигается; напротив, они разрушают трагичность минуты, вводя в нее чуть ли не смехотворную составную часть, и Дзаккони не может не знать этого. Но правила «веризма» гласят, что правда впечатления должна быть принесена в жертву правде исполнения.

«Гражданскую смерть» оба артиста исполняют почти одинаково; только в самом конце, в смерти Коррадо, особенно резко выступает разница. Новелли остался до того верен себе, что пошел наперекор замыслу автора, в ущерб, по-моему, достоинству драмы, и без того небезупречной: он совершенно изменил конец, и у него Коррадо не отравляется, но умирает от внутреннего потрясения. Насколько я понимаю, это с научной

стороны натяжка, а с литературной — и того хуже. Но Новелли тоже, как и Дзаккони, готов на всякий риск, лишь бы не поступиться своим понятием о сценическом искусстве, лишь бы избежать сцены смерти от стрихнина, которая неминуемо должна быть отнесена к разряду внешних, не духовных эффектов.

Наоборот, для Дзаккони этот стрихнин именно и дорог: здесь (как и в «Привидениях» Ибсена) он переносит на сцену больницу. Он извивается, корчится, кусает свои плечи, царапает скатерть и падает, скрючившись до неузнаваемости. Впечатление получается потрясающее. Но то же впечатление (говорю это ни в похвалу, ни в порицание, а просто устанавливая истину) дает и клиника, и анатомический музей.

Насколько Дзаккони дорожит этой «научной» стороной своей игры, видно из того, что для «Привидений» он провел больше месяца в какой-то больнице близ Турина, изучая те случаи, которые подходили к таинственному недугу Освальда Альвинга. Но о «Привидениях» (единственной пьесе, в которой даже противники «веризма» должны признать манеру Дзаккони уместной), о «Нероне» Коссы, о «Геншеле» и «Одиноких людях» Гауптмана, о «Нахлебнике» Тургенева, о «Власти тьмы» и о многих других произведениях, в которых мне довелось и теперь доведется видеть Эрмете Дзаккони, надеюсь сказать впоследствии.

Покамест я замечу только, не входя в оценку самого «веризма», что вопрос о большей или меньшей фотографичности искусства есть вопрос второстепенный, а на первом месте по-прежнему остается старый владыка — талант. Дзаккони может быть прав или неправ, когда переносит клинику в театр, но он совершенно неправ, он оскорбляет свое огромное дарование, когда отодвигает его на второй план ради своих совершенно не зависящих от таланта, надуманных и вспомогательных веристических ухищрений. Он точно пренебрегает «Нероном», в котором его талант подымается до степени проникновения, до «откровения», как выражаются итальянцы, и провозглашает своим «боевым конем» «Привидения», где чуть ли не вся сила его — в медицинском учебнике.

Altalena

Одесские новости. 28.05.1900



НОВАЯ ПАЛАТА

23 мая (5 июня)

Сегодня результаты выборов стали окончательно известны: 282 коллегии избрали сторонников и ставленников министерства, 99 — членов левой конституционной и 75 — членов крайней левой, надежды которой таким образом блистательно оправдались.

Какую роль в этом деле сыграло министерство, видно вот из чего: крайняя левая приобрела уже 21 лишнее кресло в палате (и приобретет еще около пяти через неделю, после перебаллотировок в спорных коллегиях); левая конституционная не уменьшилась; Коломбо, бывший президент палаты, один из главных врагов обструкционистов, побит в Милане (который послал в палату 5 крайних, по числу своих коллегий), и таким образом этот «акционер нового регламента» не вернется в палату. Министерство прибегло к разного рода «давлениям», которые на юге принесли свои плоды. Например, в Катании не избран социалист де Феличе; но Ферри, избранный в двух коллегиях, уступит ему Равенну. Д'Аннунцио во Флоренции тоже побит, но и для него социалисты найдут коллегия, дорожа им как средством рекламы.

Altalena

Одесские новости. 28.05.1900



ОБРАЗЦЫ «ВЫРОЖДЕНИЯ»

28 мая (10 июня)

Некоторое время тому назад здесь поминалась третья годовщина события, лучше всего рисующего «вырождение» Италии: в мае 1897 года у Домоко, близ Фермопильского ущелья, небольшой отряд гарибальдийских добровольцев, окруженный густыми полчищами турок, погиб за свободу Крита и Греции,

т.е. за чужую свободу, в борьбе с народом, который никогда и никак не мог бы стать опасным для Италии, — значит, погиб, исключительно и в благороднейшем смысле слова, за идею. О значении этого события распространяться незачем. Лучше попытаться познакомить читателя с несколькими портретами из этой небольшой, но ценной и роскошной галереи.

На первом месте — вождь павшего отряда Антонио Фратти. Ему было уже 50 лет. Он потрудился на своем веку: он бился за объединение Италии под Неаполем, у Ментаны, в Сицилии; когда Гарибальди повел свои красные рубашки защищать родную и соседнюю Францию, в дижонском сражении был ранен и Антонио Фратти. Но эта жизнь не успела утомить его. Едва началась греко-турецкая война, он отозвался на призыв Риччотти Гарибальди, уехал в Грецию и был убит на том же месте, на котором пал царь Леонид, и в той же обстановке — во главе немногих против многих, — защищая Элладу от варваров. Через две недели после этой геройской смерти Феличе Каваллотти сказал о нем: «Я не знаю смерти более идеальной, более завидной. На заре жизни, еще не сознавая тягости ее, ее бурь и страданий, в горячке энтузиазма, хорошо исчезнуть, как сон, с оружием в руках. Но пройти все мытарства и непогоды этой жизни, узнать ее безобразия, разочарования и мерзости, пережить испытания, которые отнимают веру и у сильных душою, в которых теряют свет и высокие умы, — и выйти из всего этого победоносным и верующим, и закончить свою дорогу так, чтобы память об этой победе не умерла и чтобы луч ее сиял примером для грядущих бойцов, — это уже не сон, это сам идеал, высший из идеалов; он живым и вооруженным прошел между нами и, оставив на нашей земле отпечаток своей стопы, — чтобы все знали о его прошествии, — преображенный, вознесся к небесам Славы».

Остальные были еще в цвете первой молодости.

Ромоло Гаррони было двадцать лет; он оставил в Риме жену и маленького сына Спартако. По дороге, которой проходили гарибальдийцы, он вел дневник. Последняя запись сделана в день сражения: «Я раздал товарищам почту. Для меня — ничего! Трубы играют сбор: турки идут на нас. Наконец».

Продолжения нет. «Наконец!..» Гаррони упал под пулями, произнес имя своего ребенка: «Spartacuccio mio!»¹ — и умер.

¹ Мой маленький Спартак (*итал.*).

Аларико Сильвестри был студентом римского университета. За несколько дней до сражения при Домоко товарищ, возвращавшийся в Италию, звал его с собою. Сильвестри ответил: «Ты уже дрался, а я еще нет». Пуля ударила его в горло, и он умер на носилках. Товарищи зарыли в землю его тело, осыпанное цветами, одетое в красную рубашку, и на грудь ему положили письмо с волосами невесты.

Guido Каппелли родился в Милане. Одиннадцати лет от роду, он однажды бросился в реку и спас двух девушек. Правительство послало ему медаль. Когда ему минуло четырнадцать лет, он бросил спокойную жизнь в богатой семье и уехал в Тунис, где скитался один-одинешенек, верхом, по пустынной степи и попал однажды под ятаган разбойника. Рана зажила, он вернулся в Италию, к семье, которая в нем не чаяла души. Подросла война, и он исчез. В Неаполе его арестовали по просьбе матери. Он тут же, в порту, вымолил у нее позволение на отъезд и уехал в Грецию. Его капитан случайно, из письма друга, узнал, что этот юноша уже получил знак отличия, и упрекнул его за скрытность. Каппелли ответил: «А на что было говорить? Не стоило труда».

Турецкая пуля дала ему второй знак отличия, какой редко достается даже лучшим солдатам: она попала ему прямо в грудь. Он поднялся, спокойно сказал: «Я ранен», двинулся к перевязочному пункту, но по дороге упал снова и больше не поднялся.

Ему было семнадцать лет.

Altalena

Одесские новости. 4.06.1900



Рим

1 (14) июня

Первое и последнее заседание истекшей полусессии палаты было простым увеселительным скандалом, не имевшим в свое оправдание даже маски серьезности. Вы уже, вероятно, знаете, что обструкционисты пели хором гимн рабочих, гимн Гарибальди, карманьолу и марсельезу и таким упрощенным приемом добились распускания палаты. 15-го вечером президент палаты Коломбо, храбрость которого, очевидно, не беспредельна, заявил Пеллу, что *не* призовет солдат в зал заседаний, несмотря ни на какие новые регламенты, а 16-го утром, придя

за входным билетом, я нашел флаг Монтечитории спущенным и увидел депутата де Феличе, который трогательно прощался с римскими друзьями: сессия была прекращена, распущение палаты ожидалось к вечеру, и молодой представитель Катании торопился покинуть до заката родную итальянскую почву, чтобы не попасть в тюрьму, где за ним числится еще несколько лет за сепаратизм и преступления печати. С ним вместе уезжало в Марсель еще несколько других товарищей по несчастью. Действительно, вечером появился декрет о распущении, и полиция осталась очень недовольна, так как дичь была уже «там, далеко».

Дело в том, что министерство, очевидно, рассчитывало на какие-нибудь выгоды от общих выборов, потому что иначе проще было бы уйти в отставку сейчас. Несомненно, оно надеялось на приращение своего и без того огромного большинства при помощи приличествующих давлений, влияний и возмездий. Мы знаем, что эти расчеты оправдались, и что покорная *maggioranza*¹, подающая голос за все, что угодно начальству, будет располагать лишними двадцатью голосами. Кто от этого потерял? Крайняя левая? Нет, потому что крайние партии выиграли теперь достаточно новых депутатских кресел: это именно было главной причиной того, что правительство так медлило с распущением. Ясно, что потеряла только левая конституционная, группы Дзанарделли—Джолитти, т.е., как предсказала «*Avanti*», обе враждующие силы увеличились, а подушка, смягчающая их столкновение, стала тоньше. И, вдобавок, на эту подушку надежды мало, потому что и Дзанарделли, и Джолитти подтвердили, что нового регламента ни за что не признают. Значит, после общих выборов обструкция только усилится, и генералу Пеллу придется сочинять новую развязку к затеянной им сказке про белого бычка.

Я копаюсь в этой скучной и мизерной политике, при которой постоянно «воз и ныне там», не ради ее интереса, конечно, а для того, чтобы перейти к местным толкам о парламентаризме и его «крахе». Это — тема животрепещущая, выдвинутая на первый план последними событиями в Германии, Австрии, Франции, Италии, Бельгии и, вероятно, еще где-нибудь: в настоящую минуту столько парламентов занимаются обструкцией, что всех не упомнишь.

¹ Большинство (*итал.*).

В парламентах дела решаются большинством голосов, поэтому парламентаризм есть царство большинства; обструкция есть желание меньшинства навязать свою волю большинству; следовательно, обструкция есть отрицание парламентаризма; поэтому всякий, кто сочувствует обструкционистам — немецким или итальянским, — тем самым подтверждает несостоятельность парламентаризма. Это так ясно, что сам Аристотель не нашел бы в этом построении логической ошибки. И так как на сторону обструкционистов (вернее, на сторону принципов, защищаемых обструкционистами) стали в последнее время самые передовые и свободомыслящие люди образованного мира, то им, несмотря на весь либерализм, пришлось выступить против представительственного строя, составлявшего до сих пор главное приобретение либерализма. Вот в чем трагедия нынешнего положения.

Из путаницы разноречивых, часто нелепых мнений, подхваченных мною, сторонним наблюдателем, в разговорах, в газетных статьях, в публичных речах, я считаю возможным выделить следующее течение, которое, если не выражает мнения большинства страны, передает, по крайней мере, убеждения тех, кто требует созыва учредительного собрания для пересмотра конституции. По правде сказать, в конце концов, эти реформаторы — едва ли не одни во всей Италии думают что-нибудь определенное по вопросу о «крахе парламентаризма».

По их мнению, выдвинутому в палате крайней левой, понятие о святости воли большинства устарело, и в некоторых случаях меньшинство решительно не может и не должно уступать. Еще яснее, чем в Италии, видно это на примере Германии, потому что, действительно, полная и скандальная недопустимость закона Гейнце ясна для всякого здравомыслящего человека, и, однако, большинство на нем настаивает. Ясно, что необходимо гарантировать права меньшинства. Для этого, во-первых, надо установить, что для решения палатой некоторых вопросов недостаточно простого большинства голосов, а требуется большинство квалифицированное, т.е., например, две трети. Во-вторых, меньшинству должно быть предоставлено право обращения к народу, так называемого *referendum*'а, практикуемого в Швейцарии: по важным вопросам голосование должно производиться народом. Этот принцип доведен до крайности во Франции Полем Деруэлдом, который совершенно упраздняет парламент, предоставляя решение всех дел

плебисциту. Затем следуют мелкие реформы, как право избирателей отзываться своего депутата до срока, вознаграждение депутатам и т.д. Что касается всеобщего избирательного права, то за него в Италии не очень стоят, так как народ в деревнях подает слишком мало надежд на особенный либерализм.

Но если вы у наиболее сознательных из защитников этих реформ спросите, ждут ли они от подобных преобразований какой-нибудь выгоды для страны, улучшится ли от этого положение народа, то они коротко и ясно ответят вам: «нет». И это вполне понятно. Требование квалифицированного большинства голосов может во многих случаях тормозить ход государственной машины, с тою только выгодой, что это обойдется без скандалов обструкции: просто не наберется двух третей. Что же касается *referendum*'а, то, если народу едва ли можно доверить даже выбор собственных представителей, то еще меньше можно рассчитывать на его умение разобраться в каком-нибудь сложном вопросе. Теперь подкупы и давления пускаются в ход только по случаю выборов; при системе референдума «влияние» будет производиться при каждом референдуме.

Ясно, как дважды два — четыре, что выход только один, старый, бессмертный и давно известный — просвещение. Когда народ начнет понимать, читать и сравнивать, тогда только он перестанет поддаваться подкупам и давлениям, будет выбирать настоящих представителей и сумеет давать сознательные ответы на референдуме.

Но жестоко ошибается тот, кто подумает, что пока этой сознательности в народе нет, нечего хлопотать о прогрессе и реформировании представительственной организации или о развитии низших форм в парламентарные. У людей есть претензия требовать от прогресса немедленных выгод, которых он решительно не может дать: благосостояние есть цель прогресса, а не сам прогресс.

Общая программа того преобразовательного течения, о котором идет речь, такова: в настолько сложной машине, как государственное устройство, реформы не могут прямо повести к улучшению положения, но эти реформы желательны потому, что приближают нас на одну ступень к моменту, когда улучшение это станет возможным.

Altalena

Одесские новости. 5.06.1900



Рим

3 (16) июня

16 июня утром в Palazzo Madama, в соединенном заседании сената и палаты, король открыл первую сессию XX законодательного корпуса речью, которая по благородству выраженных в ней мыслей заслуживает того, чтобы привести ее в переводе.

«Господа сенаторы, господа депутаты! Открывая последнюю сессию XX законодательного корпуса, я высказал пожелание, чтобы плодотворный период труда его дал стране те экономические и административные мероприятия, которые давно уже служат предметом ее законных надежд. Но резкое разногласие между большинством и меньшинством палаты депутатов, вышедшее из пределов мирных и спокойных прений, остановило деятельность парламента и побудило меня созвать избирательные собрания. Страна произнесла свой вердикт, и я, приветствуя вместе с членами верхней палаты новых представителей нации, верю, что начинающий свои занятия законодательный корпус сумеет найти в рассудительности, в патриотизме и в нашей общей любви к свободным учреждениям импульсы и средства к тому, чтобы исполнить свой важный долг.

Наши союзы, наши прекрасные отношения со всеми державами дают стране уверенность в том, что национальные интересы ни в каком случае не будут оставлены без удовлетворения; постоянный внутренний порядок дал ей то спокойное доверие, которое позволяет все более и более развиваться труду на полях и фабриках.

Правильному развитию своих свободных учреждений Италия обязана крупными успехами, сделанными ею, несмотря на перемены судьбы, во второй половине века; но длинна еще дорога, которую мы должны пройти, чтобы занять и удержать за собою то высокое место, на какое мы имеем право в ряду наиболее культурных наций. Заботиться о всевозможном улучшении условий жизни работающих слоев; дать необходимое покровительство произведениям нашей промышленности и земледелия; оказать деятельное покровительство нашим эмигрантам; смягчить, насколько позволит бюджет, тягости податной системы; приспособить к потребностям новой жизни воспитание и обучение молодежи; поддержать на должной

высоте престиж правосудия и судей; дать стране корректную администрацию, — такова задача, которая предстоит новому корпусу. К исполнению ее будут направлены законопроекты, которые мое правительство постепенно будет представлять вам.

Но была бы напрасна всякая надежда на достижение ожидаемых благ без правильной деятельности парламента. Чтобы достичь этой правильности, я взываю ко всем тем, у кого есть добрая воля, кто предан отечеству и моему дому, всегда разделявшему судьбу этого отечества.

Г-да сенаторы, г-да депутаты. В день, когда среди всеобщего горя я возвестил о смерти великого короля, моего отца, я обещал доказать итальянцам, что учреждения не умирают. Я должен сдержать священное обещание, и потому мой долг — защищать эти учреждения от всякой опасности. Ваш же долг — сделать так, чтобы народ продолжал видеть в них основу своего благосостояния. Вы сумеете исполнить мудрую и плодотворную законодательную работу, которую страна ждет от вас, в порядке и с достоинством, подобающим вашим постановлениям. Достижению этой цели прошу содействовать вас всех, одушевленных одним только чувством — желанием высшего блага родины».

Будем надеяться, что эта прекрасная, благородная, беспристрастная, примирительная речь действительно послужит началом нового поворота во внутренних делах Италии. Надежды на это есть. С одной стороны, министерство, очевидно, не особенно стоит за свой злополучный *regolamento*¹, послуживший яблоком раздора, и при нужде откажется от него; с другой стороны, крайняя левая устами Турати в Милане заявила о своей готовности принять деятельное участие в обсуждении важных очередных законопроектов, как только исчезнет с лица земли незаконный регламент; она даже не отказывается от принятия изменений в уставе парламентского делопроизводства, только, понятно, эти изменения должны обсуждаться в установленном порядке.

Вообще теперь можно рассчитывать на отдых после обструкции и на правильную работу палаты. По всему тону королевской речи видно, что правительство уступит в единственном тормозящем вопросе о регламенте; но, — допуская невозможное, — если бы Пеллу и заупрямился, то осложнения разрешатся переменной министерства, потому что, судя опять-таки по той же речи, третьей обструкции начальство не желает.

¹ Регламент (*итал.*).

Первое заседание палаты прошло очень спокойно, при огромном стечении депутатов. Выборы президента дали такие результаты: Галло, кандидат министерства, получил 242 голоса, а Бьянкери, кандидат оппозиции, — 214. Итого 28 голосов перевеса на стороне министерства. Этого недостаточно, чтобы трубить о полной победе на выборах.

Вообще очень странно, что за границей многие, сравнив число избранных ministeriali с числом оппозиционных депутатов и найдя, что первое больше второго, заговорили о победе министерства. Невозможна победа на той почве, на которой не было и борьбы. Борьба велась не с тем, чтобы оставить правительство без большинства: об этом пока в Италии нельзя и помышлять. Но министерство хотело разгромить крайнюю левую — в этом и был *raison d'être*¹ распущения палаты, — и здесь, конечно, об его победе говорить не приходится.

В прежней палате было 16 социалистов, 19 республиканцев и 23 радикала. В новой палате — 31 социалист, 29 республиканцев и 32 радикала.

Altalena

Одесские новости. 10.06.1900



Рим

НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО

15 (28) июня

Урок не пошел впрок. После того как выборы дали крайним левым 96 кресел вместо прежних 67 и в том числе 32 достались социалистам вместо прежних 16; после того как Пеллу, не добившись соглашения с обструкционистами, вышел в отставку, можно было ожидать, что на сцену явится министерство, способное действительно примирить умы и успокоить расхолодившиеся страсти. Вместо того образовался кабинет 80-летнего старичка Саракко, уже давным-давно «забракованного в сенате» и подобравшего товарищей себе под стать. Они все люди очень почтенные не только по возрасту, но и по внутренним качествам, но больше ничего о них нельзя сказать. В общем, новое министерство носит на себе окраску той консервативной

¹ Смысл (фр.).

безличности, из которой рано или поздно должна выплыть наружу самая откровенная реакция. Тронная речь давала право надеяться на другой исход.

Висконти Веноста вошел в состав кабинета Саракко и останется, как и до сих пор, в Палаццо della Consulta — министром иностранных дел. Это значит, что политика Италии по отношению к китайским событиям останется та же, что и до сих пор, т.е. неизвестно какая. В самом деле, намерения правительства неясны. Пока оно почти ничего не предпринимает, чтобы завоевать себе право на часть того магарыча, который державы разошьют за счет богдыханши после усмирения мятежа, эскадры в Китай не посылает и не высказывает решительных намерений. Но народным партиям, противникам колониального распространения, не время еще ликовать: влиятельные газеты и влиятельные люди, с Криспи во главе, деятельно работают в пользу высылки сильной эскадры, и предположить, что Италия после сан-мунского фиаско до самого конца останется только свидетельницей событий, было бы очень смело. Не такие течения преобладают теперь в правительственных кругах.

Вопрос о том, должна ли Италия вмешаться в китайские столкновения, слишком сложен для того, чтобы без специального глубокого изучения можно было дать на него ответ. Итальянцы — народ в высшей степени плодовитый, выселение достигает огромных размеров, и эмигрантам на чужбине приходится довольно плохо: конкуренция пришельцев всегда вызывает к себе более враждебное отношение, чем конкуренция соотечественников. В Швейцарии, во Франции, на юге Германии наплыв итальянских рабочих породил настоящую италофобию, нередко разражающуюся погромами. В Аргентине итальянцев в настоящее время *больше, чем туземцев*, и там с минуты на минуту может возникнуть второй уитлэндский вопрос. Поэтому Италии необходима своя колония, свой уголок, куда можно было бы сплавлять избыток безработного населения без опасения неприятностей. Но, с другой стороны, Китай, с его конкуренцией дешевого труда кули, не место для этого. И, главное, нельзя забывать того, что из бюджета в 1500 миллионов Италия отдает уже 1200 на войско, флот и уплаты по долгам. Всякое новое осложнение потребует новых податей, которых страна буквально не может дать.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 19.06.1900



МОЛОДЕЖЬ

2(15) июля

Я ничему так не завидую в Италии, как ее молодежи. Здесь кипучий интерес к общественному благу, к «живому делу», к «проклятым вопросам» начинается и расцветает в первые годы общественной жизни, в те годы, которые немецкий или швейцарский юноша посвящает пиву или рапире и — много-много — духопитательным таинствам римского и других прав. Итальянская молодежь по своему отношению к окружающим явлениям, по своим запросам, по своему раннему отращению к игривому времяпрепровождению* производит впечатление серьезности и заставляет считаться с ее мнениями. В Италии есть драгоценное уважение к юноше: здесь с ним спорят, ему возражают, дают место и стараются побить логикой, а не аргументами *ad hominem*¹, вроде указания на безусость.

Из десятка молодых людей, которых мне удалось наблюдать у Араньо, я познакомлю вас с одним, выбранным не потому, что он больше других успел в жизни и, может быть, больше других обещает впереди, а просто потому, что он моложе и типичнее остальных. Ему двадцать один год, он родом из Пьемонта, имя его Эмануэле Селла; я уже как-то упоминал о нем в одном из предыдущих писем, говоря вскользь о новоллиберистическом течении в итальянской экономической науке и о том, как оно проявляется в *caffè Aragno*.

Селла вырос в богатой семье, преданной монархическим убеждениям, но к десяти годам из него выработался марксист настолько ярый, что в 1898 году, в мае, когда редакторам газеты «*Grido del Popolo*» пришлось бежать за границу, туринская социалистическая партия поручила Селла заведывание изданием. Он внес в это заведывание столько души, что через две недели прокуратура подала на него жалобу куда следует; в то же время в речи, которую Селла месяца за три до того произнес перед рабочими в Бьелле, начальство задним числом усмотрело ка-

* Разумеется, я говорю о меньшинстве, потому что большинство всегда и везде безлично, и потому одинаково в Стокгольме, Афинах и Лиссабоне. Описывать можно и должно только меньшинство, то меньшинство, которое дает тон целому, как фасад дает характер зданию.

¹ Букв.: к человеку, т. е. переход на личности вместо ответа по существу (*lat.*).

кое-то *crimen lesae*¹. Селлу известили о надвигавшейся опасности, так что он счел за благо последовать за многочисленными друзьями и уехал в Швейцарию, откуда мог вернуться только через полтора года.

Там, в Женеве, лекции Маффео Панталеони сделали из него ярого противника социализма, и таким он вернулся в Италию, чтобы продолжать в Риме искус университетского чистилища. Между тем его монография об итальянских эмигрантах в Швейцарии, напечатанная прежде в «*Giornale degli Economisti*»², вышла отдельным изданием с предисловием ныне покойного Нумы Дроза; несколько передовиц в том же ежемесячнике упрочили его имя в ряду молодых экономистов Италии и доставили ему честь нескольких цитат в итальянских и заграничных журналах и книгах.

Последние выборы застали его в Афинах, куда он ездил по поручению какой-то газеты. Едва пришло известие о распущении палаты, он поспешил вернуться в Пьемонт и стал во главе избирательной борьбы в округе Коссато. Задача была трудная, и я с любопытством следил по газетам, как он из нее выпутается. Не говоря уже о том, что министерский кандидат, экс-депутат Коррадино Селла, был его близким родственником и другом, главное затруднение состояло в том, что кандидатом народных партий выступил социалист, адвокат Дино Рондани, «майский» эмигрант, находящийся теперь в Америке. Я уже отмечал драгоценную черту в характере итальянцев: отсутствие правочности, фанатизма, якобинской непримиримости. На недавних выборах все оппозиционные партии — и монархические, и народные — прекрасно поняли задачу минуты и дали свои голоса противникам реакции без различия оттенков, нисколько не компрометируя этим своих убеждений. Селла как радикал ради торжества крайней левой пожертвовал своей антипатией к коллективизму и повел агитацию за Рондани. Так как кандидата в наличности не имелось, работы было втрое больше, а времени мало. В одну из последних ночей перед выборами Селла верхом объехал в сопровождении немногих соратников и все увеличивавшейся толпы несколько горных селений округа Коссато и произнес до пяти импровизированных речей — судя по отчетам «*Avanti*», с огромным успехом. Действительно, избранным оказался Рондани.

¹ Покушение на жизнь монарха или безопасность государства (*лат.*).

² «Экономическая газета» (*итал.*).

Так действует и работает итальянская молодежь. Но сухая наука и мелкая политика, очевидно, не настолько овладевают ее душою, чтобы не оставить места совершенно иным чувствам и настроениям.

Проходя мимо витрины Лешера, я увидел изящную книжку, на желтой шероховатой обертке которой в углу значилось: «Questo è sogno. Poema di Emanuele Sella»¹. Я меньше всего ожидал от молодого, но прилежного статистика поэмы, да еще фантастической, судя по прелестному заглавию: «Это сон».

Поэма оказалась не настоящей поэмой, а цепью отдельных стихотворений, по большей части сонетов, рассказывающих, понятно, историю любви автора к Габриэле, брак, рождение сына и смерть ее вместе с ребенком: все это, конечно, собственного изобретения.

Читая «Это сон», мне еще не раз пришлось изумиться. Все вместе — сюжет, простота которого подходила скорее к психологическому роману вроде первой манеры Л.Н. Толстого, странная отрывочная форма, смелость, с которой автор в число видений своего «сна» поместил гимн во славу лорда Робертса, трансваальского победителя («панталеонисты» — за англичан), — все это придавало поэме непобедимую прелесть свежей и непритязательной оригинальности; музыкальная красота стиха в некоторых сонетах, по-моему, не уступила бы гармоническим стансам Д'Аннунцио (влияние которого, к сожалению, немножко отразилось и на внутренней стороне произведения), а изящество образов обнаруживало недюжинную поэтическую наблюдательность. Стиль, в котором выдержан язык поэмы, доказывал глубокое и тонкое знание красот тосканского наречия XIII и XVII столетий, но яснее и неопровержимее всего крупный талант виден был из того, что молодой поэт сумел сочетать изысканность старинной формы с правдивостью настроения, так что его поэма почти всюду дает полный, верный, искренний тон без оттенка фальши или искусственности. Ценность этого качества могут понять и русские, потому что и в нашей поэзии теперь затишье по части искренности.

Недавно я сидел у Араньо недалеко от столика, за которым Селла поедал третью порцию зернистого мороженого. Прошел мимо знакомый и похвалил поэму. Селла поднял на не-

¹ «Это сон». Поэма Эмануэле Селла (*итал.*).

го свои полудетские глаза, улыбнулся так радостно, что стало весело смотреть на него, и заговорил:

— Нравится? Я почти все написал у Араньо. Осенью я издам фантастические рассказы: увидите, как они будут хороши. Я завтра уезжаю в Бьеллу; там я теперь славный поэт — не правда ли? И, кроме того, у меня рука на перевязке — я поранил большой палец. Когда я приеду в Бьеллу, то стану сразу героем у самых элегантных дам и барышень. Но там у нас и девушки из народа прехорошенькие. Они меня все знают после этих выборов; раз я шел мимо сигарной фабрики, и они закричали мне из окна: «Evviva Emanuele!»¹ Вы читали в «Avanti» речь, которую я произнес в Бьелле? Послушайте, как красив этот стих: «Le nùvole dilèguano lontano...»² Чей?! Мой!..

И все это с такой живой, откровенной радостью ребенка, получившего награду первой степени, что само хвастовство становилось невыразимо милым.

Если вам скажут, что ранняя жизнь сушит душу и убивает юношескую свежесть и непосредственность, не верьте.

Altalena

Одесские новости. 7.07.1900



УБИЙСТВО КОРОЛЯ УМБЕРТО

19 июля (1 августа)

В Монце (Ломбардия) находятся поместья савойского дома; король Умберто часто заглядывал в этот маленький, спокойный городок, где все его знали и любили. Вечером 20 июля он, по обыкновению, присутствовал на турнире местного гимнастического общества, раздавал призы, был как всегда со всеми любезен и приветлив; случившемуся поблизости депутату-обструкционисту он сказал:

— Я стар, милый мой Пеннати, и завидую этим юношам. В свое время и я был незаурядным гимнастом.

¹ Да здравствует Эмануэле! (*итал.*)

² Облака тают в отдаленьи (*итал.*).

Он покидал палестру¹, стоя в карете, с цилиндром в руках, отвечая на приветствия населения. Из толпы выдвинулся человек лет тридцати, маленький, бледный, неуклюжий, подбежал к коляске и три раза, почти в упор, выстрелил в короля. Король упал на подушки, кучер в ужасе стегнул лошадей и помчался к дворцу. Толпа в бешенстве кинулась на убийцу: гимнасты схватились за свои железные трости, а один из них кулаком повалил преступника на землю. Карабинерам едва удалось справиться с толпой, которая хотела суда Линча: им пришлось окружить отчаянно рвавшегося убийцу, крича:

— Вы ошибаетесь! Это не он!

Король Умберто скончался у самых ворот дворца. Королеве Маргарите сказали, что супругу нездоровится: она в бальном платье поспешила в его покои и нашла того, кто был прежде другом ее детства и затем спутником ее жизни, мертвым на диване.

Горе королевы не нуждается в описании. Умберто давно преследовали покушения злоумышленников; после первого из них Маргарита, остолбеневшая, пораженная, подавленная этим крушением прекрасной иллюзии, говорившей ей, что потомство Виктора Эммануила свято и дорого для *каждого* итальянского сердца, заплакала и сказала: «Поэзия савойского дома погибла». После покушения Пассананте произошло покушение Аччарито и другие события, еще глубже подкопавшие основы той идеальной благородной связи между престолом и народом, которая в Италии — и особенно в Италии — при других условиях пустила бы ветвистые корни и которую *la gentile*² Margherita так хорошо назвала поэзией савойского дома. Вечером 29 июля несчастная королева сказала только: «Он никому не делал зла, и его убили, как тирана. Это — величайшее злодеяние нашего века».

Король Умберто действительно никому не сделал зла в своей жизни. Он был сыном *Re Galantuomo* и был сам королем-джентльменом. Он был храбр и великодушен. В 1866 году он бился при Виллафранке и так доблестно, что славный гарибальдиец Биксио — «второй из Тысячи» — после сражения попросил позволения пожать ему руку. Впоследствии он доказал свою храбрость иначе и еще лучше. В 1884 году он посетил холерные города Италии, обошел больницы, частные дома,

¹ Спортивный манеж (*итал.*).

² Приветливая, добрая (*итал.*).

сидел на постели у больных и умирающих и сыпал золотом направо и налево — он, которого начали было подозревать в скупости, обманувшись его разумной бережливостью в дворцовых делах. И не только в этом случае он показал Италии свою доброту и свое великодушие. Вместе с Маргаритой он помогал как мог и кому мог. Те из рабочих обществ, которым их политические убеждения не препятствовали приблизиться к покойному, хорошо знали его любовь к трудящемуся сословию.

Государственное значение Умберто и оценка его с этой стороны кажутся спорными вопросами только на первый взгляд. Попробуем разобраться в них.

Прежде всего, Умберто в политике был еще более джентльменом — если это возможно, — чем в частной жизни. В ночь на 9 января 78-го года, когда умер Виктор Эммануил, в манифесте нового короля было сказано: «Итальянцы, ваш первый король скончался. Его преемник докажет вам, что наши свободные учреждения бессмертны». И с того дня до минуты смерти Умберто был, безусловно, *беспримерно* верен этому культу учреждений альбертинского статута и в последней речи к парламенту, которая была вам сообщена в полном переводе, еще раз подчеркнул эту святую для него живучесть и неувядаемость итальянской учредительной хартии. Мне кажется, что и самые крайние партии не могут не признать его добросовестности в понимании собственных прав и обязанностей. Закон, положенный в основу статута — воля нации, — был девизом его государственной деятельности.

Но, с другой стороны, конечно, он не обладал политическим гением. В этом было несчастье покойного короля. Его избранники — семь министерств Депретиса, пять кабинетов Рудини, по три комбинации Кайроли и Криспи, министерства Джолитти и Пеллу — все оказались не на высоте призвания и подорвали доверие страны к правительству, кем бы оно ни было представлено — левой или правой. Но король Умберто оставался верен духу конституции и не ставил препятствий перед волей правительства, утвержденного представителями нации. Поэтому все тени и все слезы последнего двадцатидвухлетнего промежутка жизни Италии должны пасть на голову тех мало-совестных или малоумных каморристов, которые за этот период самоуправствовали над страной, изводили ее народ и крали ее деньги; но память усопшего короля-джентльмена стоит недостижимо выше этих черных шаек и останется навсегда чтимой и незапятнанной.

За время правления Умберто Италия все-таки сделала огромные успехи. Когда умер Виктор Эммануил, прошло едва восемь лет с занятия Рима, и полуостров носил еще все следы варварского владычества австрийцев и князьков. Король Умберто оставляет Италию покрытой сетью железных дорог, соединяющих полные жизни вполне европейские города; флот и войско даже *слишком* хороши для Италии; по ее общинам раскинуты школы, обучение обязательно, политическое воспитание распространяется, и дорога к прогрессу широко открыта.



Смерть короля Умберто произвела во всей Италии невыразимо тяжелое впечатление. В обыкновенное время он не любил помпы, и все города хорошо знали его полную, крепкую фигуру с седой головой и белыми, пышными усами, помня, как он запросто проезжал по улицам в экипаже с красными кучерами; и еще лучше знают повсюду золотоволосую приветливую королеву Маргариту. И теперь, представляя себе, что он убит, а она стала вдовой, вряд ли есть среди тридцати миллионов этой благородной страны хоть одно сердце, которое не сожмется с болью и с ужасом. И потом — савойский дом для Италии не пустой звук. Испытания, которые она пережила, могли отвратить сердце народа от правителей, но священные и великие воспоминания, связанные с династией, не успели улечься. Когда страшное горе постигло дважды осиротелую семью Виктора Эммануила, старая любовь неминуемо должна воскреснуть.

Вся печать единодушно выражает свое горе и негодование. Консервативная «Тribuna» при этом не забывает предостеречь от попыток реакции, указывая на их вред и призывая партии к примирению. Социалистский «Avanti», подчеркивая всю лютость и безрезультатность преступления, напоминает еще раз о той странной монополии цареубийств, которой злая судьба наградила Италию, и обвиняет во всем тех, кто был виной ее застарелого недовольства. Эта газета, конечно, тоже предостерегает против реакции.

К сожалению, в этом отношении тешить себя розовыми надеждами нельзя. Итальянцы не знают короля Виктора Эммануила III. О его умственной стороне известно только то, что он — охотник до путешествий и коллекционер монет, а об его нравственной стороне то, что во время миланских волнений, ко-

гда Умберто отовсюду получал советы самого свирепого характера, принц Неаполитанский подавал голос за кротость и милосердие. Ходят еще смутные утешительные слухи насчет его роли в злополучной африканской войне и в удалении Криспи. Но этого мало. Тяжкое горе, молодость, обилие дурных советников, естественная потребность мести легко могут свести молодого короля с той дороги, которая одна способна дать успокоение стране, в течение семнадцати веков не знавшей покоя, истерзанной, истощенной и все-таки в своем утомлении полной великих сил.

Нельзя скрывать от себя, что настоящая минута благоприятна для самой резкой реакции. Если король Виктор Эммануил III захочет распустить палату, крайняя левая потеряет большую часть своих недавних приобретений, потому что население сильно настроено против нее. Чернь — темная и «интеллигентная» — слепа и несправедлива. Радикалы и республиканцы были всегда в Италии первыми защитниками святости человеческой жизни. Остается только кучка чистых, беспримесных анархистов-террористов, невежественных, неразвитых, неорганизованных и малочисленных продуктов итальянского и неитальянского голода и вырождения. На этих сектантов действительно падает ответственность за кровь Карно, Елизаветы и Умберто; они одни должны быть преследуемы как существа антисоциальные, употребляя термин положительной уголовной науки.

Но чернь не разбирается в подробностях. Я знал педагога, говорившего: «Социалисты, иначе анархисты, так называемые нигилисты». Чернь именно так смотрит на дело. Даже римляне, спокойствия которых, казалось, ничем не проймешь, сегодня шевельнулись, устроили демонстрацию и прошли перед редакциями крайних газет, которых никогда не читывали, крича: «Долой!» А вечером на Piazza Colonna из номеров этих газет устроили костер, жиденький, но прискорбный, потому что святое негодование населения не должно обрушиваться на невиновных. И понятно, мастеровые реакционного цеха уже принялись ловить рыбу в мутной воде. Полиция секвестровала утренний номер «Avanti», где даже турецкий цензор не нашел бы ни одного слова, которое бы не было словом ужаса и отвращения перед преступлением; этого было достаточно, чтобы пустить слух, будто крайние партии напечатали чуть ли не поздравления по адресу убийцы...

Если в Риме шепчутся, то, значит, в Италии кричат. Если величавый, ленивый, равнодушный, скептический гомане di Roma¹ жжет без разбора крайние газеты, то, очевидно, чернь всего полуострова готова приписать передовым партиям грех безграмотного разбойника-утописта. Почва для реакции вспахана.



Папа, узнав о кончине короля, воскликнул: «Бедная семья!» и отслужил лично мессу за упокой души своего врага. В Ватикане боятся Виктора Эммануила, которого считают «папоедом» (mangiaretti) и у которого было уже с папой столкновение, когда во время бракосочетания принца Неаполитанского с княжной Еленой на колокольнях папских церквей отказались звонить.

Altalena

Одесские новости. 24.07.1900



Рим

19 июля (2 августа)

Итальянская полиция деятельно принялась за поиски соучастников Бреши, но, конечно, хранит обо всем упорное молчание, тем более что ей теперь приходится переживать неприятные минуты. Король был уверен в своей Монце, и потому там не было особого наряда стражи, но ходят слухи, что те 36 телохранителей, которые по закону постоянно должны в статском платье находиться вблизи короля, тоже были в отлучке. Если это и неправда, остается неопровержимым то обстоятельство, что Бреши, за которым следила полиция Цюриха, Будапешта, Барселоны, Брюсселя и Лондона, только на своей родине, в Италии, пользовался полным доверием префектур, и даже не был занесен в знаменитые мрачные списки опасных анархистов, хранящиеся в министерстве внутренних дел.

Вот некоторые факты, ставшие известными помимо полиции.

За день до убийства одно высокопоставленное лицо, имени которого не сообщают, проходя мимо королевского дворца

¹ Коренной римлянин (*итал.*).

в Монце, заметило четырех людей, говоривших между собой. Один из них попросил у рассказчика спичек; тот отозвался неимением, и спрашивающий отпустил какую-то непонятную остроту, благодаря которой рассказчик взглянул на него внимательнее и невольно запомнил черты его лица. Теперь оказывается, что с анонимным сановником говорил сам Бреши. Сановник запомнил, что двое из товарищей последнего говорили с сильным тосканским акцентом.

Другой факт важнее: в какой-то миланской харчевне как раз вечером 29 июля посетители подвыпили, начали шуметь, и один из них закричал:

— Погодите! Завтра вы, может быть, увидите на домах Милана траурные флаги!

Полиция, между тем, арестовала в Иврее Антонио Ланера, сопровождавшего Бреши на обратном пути из Америки и во время поездки в Париж на выставку. Полиция хранит в тайне причины ареста, но известно, что в Ланере видит разыскивавшегося «белокурого» и «неразлучного» спутника, следы которого повсюду скрещиваются со следами Бреши за эти последние недели. Утверждают, что таинственный второй револьвер, найденный на палестре, прежде чем упасть на землю, был в руках Ланера. Он родом из Тренто (итальянская Австрия); его присутствие в Иврее ничем не объяснимо, если не видеть в нем связи с тем, что Умберто и Маргарита должны были поехать через Иврею, направляясь из Монцы в Вальдасту. Ланер мог быть 29 июля в толпе, где бросил свой револьвер на землю и, не зная, удалось ли покушение (была ночь, и карета с королем сейчас же после выстрелов умчалась), поспешил на свой кровавый пост в Иврее.

Хотя цинизм анархистов только больше обнажает их бездонное невежество и колоссальное недомыслие, так что никакая партия, обладающая организацией и считающая в своих рядах образованных людей, не может быть заподозрена в солидарности с ними, обвинения в соучастии и подстрекательстве продолжают сыпаться на крайние группы — социалистов, республиканцев и радикалов.

Насколько это справедливо, доказывают многочисленные афиши, расклеенные крайними партиями всех «ста городов». В них говорится с негодованием и презрением об ужасном преступлении, повергнувшем целую страну в искренний траур и, может быть, в пропасть реакции.

Яснее всего следующий пример. Промышленный Милан («ломбардский Манчестер») давно стал самым радикальным из городов Италии: как известно, в последних выборах все его депутаты оказались принадлежащими к крайней левой. Его городской совет, избранный последней зимой, почти целиком составлен из «красных», синдик¹ Мусси — республиканец. Когда усопший король Умберто недели две тому назад проезжал через Милан, муниципалитет блистал на вокзале полным демонстративным отсутствием, несмотря на добрые личные отношения короля с миллионером Мусси. Но как только стало известно о мученической смерти Умберто, Мусси один из первых послал королеве Маргарите телеграмму с горячими уверениями в глубоком сочувствии радикального Милана; в этом же духе составлены манифесты синдика, развешенные по улицам ломбардской столицы. Это вполне ясно доказывает, что никакие политические убеждения не могут помешать горю о безвременной и насильственной кончине одного из благороднейших, великодушнейших и наиболее любимых сынов Италии.

Негодование против убийцы таково, что не редкость услышать жалобы на отмену смертной казни, совершенно исключенной, как известно, из уголовного свода Дзанарделли, действующего в Италии. Бреши грозит так называемый *ergástolo*, т.е. вечная тюрьма с обязательной работой, причем в первые семь лет одиночное заключение непрерывно, а затем допускается работа вместе с другими арестантами, но с правилом молчания. Принимая во внимание тяжелые условия итальянских тюрем (особенно для преступников этого рода, как выяснилось недавно в процессе «сообщников» Аччарито), надо заключить, что *ergástolo* гораздо хуже и тяжелее нашей сибирской каторги. *Ergástolo* — это могила.

Король Виктор Эммануил, которого народ все еще по привычке называет *principino*², вчера прибыл в Монцу, но о его встрече с матерью ничего еще не известно.

Altalena

Одесские новости. 25.07.1900

¹ Мэр (*итал.*).

² Королевич, наследный принц (*итал.*).



Рим

СЛЕДЫ ЗАГОВОРА

Сначала газеты сообщили, будто бы выстрелов в короля было четыре, затем было установлено, что Бреши стрелял всего три раза. Тем не менее часть очевидцев настаивали на том, что слышали четвертый удар. После того как убийца был арестован и его пятиствольный револьвер, в котором не хватало как раз трех зарядов, был в руках у карабинеров, неподалеку от места преступления нашли, по словам некоторых газет, второй револьвер. Был ли он разряжен и насколько, об этом ничего не говорится: очевидно, полиция хочет сохранить обстоятельства до поры до времени в тайне, чтобы не спугнуть сообщников Гаэтано Бреши, если таковые имеются, что не невероятно. Еще вероятнее существование заговора, на мысль о котором наводят многие обстоятельства.

Прежде всего, если память меня не обманывает, перед процессом Лукени ходили слухи о следующих будто бы сделанных им заявлениях: что анархистами было постановлено убить или одного из французских претендентов, или короля *Умберто*; что Лукени ожидал в Женеве именно этого претендента и, когда последний не приехал, избрал своей жертвой императрицу Елизавету. Известно, что Лукени за некоторое время до своего преступления находился в Будапеште, где работал при постройке нового парламента. Гаэтано Бреши в это же время проживал в столице Венгрии, но без определенных занятий, причем, однако, не терпел недостатка в деньгах. Напротив, его относительно роскошный образ жизни внушил подозрения полиции, которая учредила за ним надзор, подозревая его в анархистской пропаганде. В день убийства императрицы Елизаветы он внезапно скрылся.

Лукени в женевском остроге был допрошен о том, знает ли он Бреши, и он отказался отвечать. Можно предположить, что, если бы Лукени не знал о Бреши ничего компрометирующего, он заговорил бы, понимая, что его молчание может только повредить тому. Но, с другой стороны, допустимо, что такой человек, как Лукени, которого вдобавок даже анархисты считают самым недалеким, не зная, что сказать и не думая о послед-

ствиях, предпочел замкнуться в многозначительное безмолвие «с ученым видом знатока». Для всякого, кто следил за жевневским процессом и составил себе понятие об этом странном типе, такое соображение не может не иметь вероятности.

Газтано Бреши ведет себя в тюрьме спокойно и несколько вызывающе. Он с нетерпением ожидает процесса, и уже принялся писать свою речь.

Брат его, лейтенант Анджело Бреши в Неаполе, вынужден, конечно, подать в отставку. Он служит уже шестнадцать лет и начал с нижних чинов: его послужной список не запятнан. Лейтенант Бреши подавлен горем; он давно уже порвал все сношения с братом. Если король Виктор Эммануил III не примет его прошения об отставке, это будет хорошим началом и добрым предвестьем для его правления.

Сегодня ночью король проехал через римский вокзал, направляясь в Монцу из Реджо. С ним была и новая королева; оба возвращались, как известно, из веселого восточного морского путешествия на яхте «Yela». На вокзале были только министры, с которыми король говорил не больше двадцати минут.

Altalena

Одесские новости. 26.07.1900



Рим

СЛЕДЫ ЗАГОВОРА

21 июля (3 августа)

Эти следы становятся все яснее; конечно, дело идет, собственно, не о настоящем заговоре, а о существовании лиц, знавших о готовящемся преступлении или собиравшихся принять в нем участие.

Истинный очаг заговора, находящийся в Соединенных Штатах, останется вне круга действий полиции и суда. Если бы даже удалось доказать участие петерсонских анархистов в убийстве короля Умберто, их нельзя было бы привлечь к ответственности, так как Штаты не выдают государственных преступников.

В Италии кроме Ланера, о котором я уже писал, арестовали в числе других цирюльника Квинтавалле, также анархиста. Он, как и Ланер, почти наверное считается сообщником Бре-

ши. У него дома нашли компрометирующие письма последнего. Квинтавалле и Ланер отвезены в Милан для очной ставки с убийцей. Интересно, что родные Квинтавалле, как и семья Бреши, — все почтенные и честные люди.

Новый король

Я уже писал вам, что воззвание короля к народу составлено в самых общих выражениях, и Виктор Эммануил все еще остается для нации загадкой. Два-три сведения анекдотического свойства, впрочем, довольно характерные, питают законное любопытство публики.

Принц воспитывался по-спартански: подымался в шесть часов утра, выпивал чашку бульона и садился на коня; если он на минуту запаздывал со вставанием, бульон откладывался на неопределенное время. Отдыхая от скачки и военных упражнений, принц сидел за грамматикой или задачник, от которых опять-таки отдыхал над своей коллекцией монет. Благодаря этому он к двенадцати годам говорил «уже» довольно свободно по-французски и по-английски (итальянцы мало способны к изучению языков, так что успехи Виктора Эммануила можно признать удивительными). Воспитателем его был какой-то суровый генерал, но и родители его не баловали. Однажды, когда король Умберто, забыв о часе обеда, засиделся за декретами, принц сказал королеве Маргарите:

— Мама, я есть хочу.

Маргарита подала ему раскрытую книгу:

— Читай, и пройдет.

Это был Данте, отрывок о голоде графа Уголино.

Характер у нового короля, насколько известно, немного солдатский, прямой и суровый. Когда он вернулся с Востока, один из принцев посоветовал ему описать свое путешествие. Виктор Эммануил ответил:

— Не хочу, так как я не мог бы написать всю правду.

Другие сведения

К чести итальянской печати надо отнести то, что все газеты, даже так называемые *stampa forcaiola*¹, находят в своих портфелях по доброму слову в защиту несчастного брата убийцы,

¹ Махровая пресса (*итал.*).

лейтенанта Бреши. За ним 20 лет беспорочной службы; он ожидал ближайшего производства в капитаны, — и вдруг вся его карьера рухнула по вине брата, которого он давным-давно не видел и не знал. Даже правительственная «Capitale» говорит, что лейтенант Бреши — самая несчастная из всех жертв монцского убийства.

Относительно суда над Бреши ничего еще не известно. Он подлежит ведению присяжных, но по желанию правительства может предстать и перед сенатом, преобразованным в верховный суд. Но, насколько мне известно, в противность распространявшимся слухам, Бреши и в последнем случае не может быть осужден на смертную казнь, *совершенно* исключенную из числа наказаний по своду Дзанарделли.

Вчера вечером состоялась большая молчаливая демонстрация. Участники, в числе свыше десяти тысяч, прошли в безмолвии, с открытыми головами, неся траурные знамена, по всему Корсо от площади Народа до площади Венеции и оттуда на Капитолий, где молодой синдик князь Колонна произнес небольшую речь с балкона ваятельного музея.

Altalena

Одесские новости. 27.07.1900



Рим

КОРОЛЕВА МАРГАРИТА

Королевская чета пользовалась во всей Италии, особенно в Риме, огромной популярностью, прежде всего, конечно, благодаря личным качествам Маргариты и покойного Умберто; затем также, и не в малой степени, благодаря их нелюбви к помпе. Оба, особенно королева, показывались запросто на улице, проезжали по Corso рядом с толпой других карет, барских и наемных, не стесняя и не разгоняя никого; народ при этом не стоял «шпалерами» по сторонам улицы, а шел спокойно своей дорогой, и, однако, никто — если только это не был ярый республиканец или папист — не забывал снять шляпу перед внушительной непокрытой седой головою короля и особенно перед ласковой улыбкой золотоволосой королевы. Простота, соединенная с величием, привлекает сердце и не уменьшает уважения.

Но, конечно, больше были привязаны к королеве. Умберто уважали, к нему привыкли, ему симпатизировали (в Риме его называли *Simpaticone*¹), но Маргариту любили. Любили не только за то, что у нее доброе сердце, что, по слухам, пять миллионов — почти треть гражданского листа — уходило из дворца на дела благотворительности, но главным образом за ее приветливость, за красоту, которой она славилась в молодости и следы которой сохранила, за то, что она не пряталась от простых смертных, не чуждалась их и жила одной жизнью с населением, появляясь часто на концертах и первых представлениях и хлопая в ладоши, когда раек подавал знак к рукоплесканиям.

И потому теперь, в дни траура, когда эти ее спектакли и концерты прекращены и не скоро возобновятся, когда она сама невидимкой притаилась в Монце и собирается навсегда покинуть Рим и затвориться в Турине, в сердцах и умах римского населения на первом месте не убитый король, не его сын, не родина, а королева Маргарита — *Margherita, rovera donna*², как подписалась она под телеграммой, посланной в ответ на соболезнования архиепископу Приско.

В тот же день, как газеты напечатали эту телеграмму, по Риму разошелся рассказ о первом обеде в Монце, в котором приняла участие приехавшая новая королевская чета. Маргарита указала Елене на свое место первой хозяйки и прибавила:

— Теперь оно твое.

Эти слова, вместе с надписью «Маргарита, бедная женщина», должны были больно ударить по римским сердцам. Италия так сжилась с мыслью, что Маргарита — первая женщина, *la prima donna*, на полуострове, и была так счастлива тем, что эта первая из ее дочерей оказалась и прекрасна, и благородна, и добра; и вдруг в одно мгновение трон рассыпался, первая женщина стала «бедною женщиной», ее место за королевским столом и всюду должна занять другая, чужестранка, «царственная пастушка», знакомая только Черногории да Неаполю. Правда, Неаполь ее любит, а может быть, скоро ее полюбит и Рим, и за ним и остальная Италия, но все невольно и упорно повторяют себе, что первую, старшую, высшую королевой для них все-таки навсегда останется «Савойская жена», «белокурая принцесса», «золотая маргаритка единой Италии»,

¹ Симпатия (*итал.*).

² Несчастливая женщина (*итал.*).

«утеха гордого народа», воспетая Кардуччи, знакомая всех, и в черном платье еще больше, чем в бальном наряде своей оперной ложи, дорогая и близкая всем.

Нет газеты, которая бы не посылала ей каждый день ласкового теплого слова, написанного с тем уважением, с той благоговейной осторожностью, с которой мы прикасаемся к дорогому нам, хрупкому, художественно прекрасному предмету. Серьезная, важная «Tribuna», в которой каждое слово размерено, как в правительственной афише, говорит королеве, уходящей со своего места в голове стола, что первенство за общим поминальным столом ее верных тридцати миллионов останется за *нею* и волей или неволей *она*, Маргарита, займет его в глазах Италии, для которой она стала теперь такою же святыней, как «железная корона» монцского собора; когда Бонапарт венчался этой короной, он сказал: «Горе тому, кто к ней прикоснется!» — и итальянский народ, окружив свою заплаканную королеву, говорит: *quai a chi la tocca*¹! — «Giorno»² печатает предложение ваятеля Хименеса поставить Маргарите памятник на Пинчо; наконец, простонародный «Rugantino» на своем звучном римском наречии сочувственно говорит ей:

*Ccusi' ccome se spezza' na colonna.
Ccusi' ccusi' ccome se strappa un feore,
A Vvoi reggina, a Vvoi, ppovera donna,
L'anno spezzato, anno strappato er core...*

Это значит: «Как разбивают колонну, как вырывают цветок, у вас, королева, бедная женщина, разбили и вырвали сердце».

Может быть, никогда коронованная женщина в горе не встречала такой манифестации привязанности, такого раската народной любви. Если правда, что разделенное горе — полгоря, то и скорбному сердцу бедной женщины Маргариты суждено узнать утешение.



Королева Маргарита составила молитву за упокой души Умберто; знаменитый архиепископ кремонский, монсеньор Бономелли, выхлопотал у папы разрешение для верующих проносить эту молитву. Вот ее перевод:

¹ Горе тому, кто ее тронет (*итал.*).

² «День» (*итал.*).

«Господи, он делал добро в этом мире, не хранил злобы ни против кого, всегда прощал причинявших ему зло; он приносил свою жизнь в жертву долгу и благу родины; до последнего дыхания он старался исполнить свое назначение. За его багряную кровь, пролившуюся из трех ран, за то доброе и справедливое, что он сотворил в жизни, Господи милосердный и праведный, прими его в объятия и дай ему вечную награду». *Stabat mater.* — *De profundis.*

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 29.07.1900



Рим

СКАНДАЛ В ПАЛАТЕ

25 июля (7 августа)

Заявление, которое Пантано должен был прочесть в палате от имени республиканцев, было составлено в следующих выражениях:

«Необходимы несколько слов от лица группы, к которой я имею честь принадлежать, для того, чтобы из нашего молчания не были выведены должные заключения.

Присоединяясь к выражению глубокого соболезнования и живого протеста против свирепого преступления, возбудившего единодушное негодование страны, мы, независимо от невольного и непреодолимого душевного импульса, имели в виду подтвердить вечные заветы нашей партии, которая всегда осуждала политическое убийство как противное всем принципам гуманности и цивилизации.

Какова бы ни была форма, которую президентское бюро или особая комиссия придадут сочувственным адресам на имя короля и королевы-матери; каков бы ни был законопроект, который будет предложен палате на обсуждение, как дал нам понять президент Совета министров, — ничто не может и не должно повредить цельности нашей политической веры, потому что мы придаем сегодняшней торжественной манифестации только одно высокое значение: именно полное согласие палаты в негодовании против преступления, перед которым единодушно возмущается совесть итальянского народа.

И в этом смысле, я надеюсь, мы сознательно и спокойно подадим свои голоса за предложения президента Виллы».

Предложения Виллы заключались в участии палаты в похоронном шествии. Вам уже известно, что правая не дала Пантано произнести ни слова из этой речи. Выслушав кое-как с громким ропотом заявление социалиста Турати, она совершенно не захотела дать слово главе республиканцев — партии, представляющей более близкую опасность по сравнению с социалистами. Таким образом, после всех лживых и недобросовестных обвинений, брошенных реакционерами в лицо прогрессивным партиям и подхваченных чернью, правая помешала обвиняемым оправдаться, заткнула своему подсудимому глотку. На невежественную публику, особенно на чернь, это должно, понятно, произвести такое же впечатление, как и секвестры «Avanti», повторяющиеся теперь через день. «Avanti» перехвачен — значит, социалисты одобряли убийц короля. Речь республиканца вызвала негодование ministeriali, и Пантано не дали говорить, — значит, Пантано от лица республиканцев хотел послать Бреши из палаты поздравление с удачей. Прав или не прав после этого был Пантано, когда крикнул бушевавшей правой:

— Мы не спекулируем на преступлениях, как вы!

Если когда-нибудь был в Италии отталкивающий, святотатственный пример позорной ловли рыбы в мутной воде, то Европа видит его теперь. Страну хотят опять сделать жертвой реакции, и для этого пользуются продуктом реакции же. Этим «благонамеренная» камарилья на Монтечиторио хочет почтить короля-джентльмена, короля Умберто доброго, Умберто — отца народа, Умберто, сказавшего однажды:

— Я невыразимо верю в свободу, полную, беспредельную; я верю, что только она поможет нам выйти из всех затруднений, она уладит все неурядицы и сама собою водворит равновесие.

Другие известия

Суд над Бреши, конечно, состоится очень скоро; если его сообщники не будут еще уличены, он предстанет перед присяжными один, чтобы не затягивать дела и дать непосредственное удовлетворение народному негодованию.

Прежний проект — предать Бреши суду сената — оставлен окончательно после письма одного сенатора, появившегося в «Tribun'e». Сенатор справедливо замечал, что помпа верховного суда, четыре сотни судей, огромное стечение публики только помогли бы убийце достигнуть его истинной цели — широкой рекламы или, по словарю анархистов, пропаганды. Вместо того, может быть, заседания миланского суда присяжных в процессе над Бреши произойдут при закрытых дверях или с допущением одних представителей печати. На этот счет законы уголовного судопроизводства дают неопределенно широкую формулу: «по усмотрению председателя, в видах благопристойности или общественного порядка».

Негласное судопроизводство в этом случае более чем уместно, но опасно по одной причине: Бреши, несомненно, прибегнет в кассационное судилище с обжалованием толкования статьи о заседаниях при закрытых дверях. Это — новая проволочка и новая «реклама», тем более что кассационное судилище, доказавшее свое беспристрастие в истории с *decreto-legge*¹, может очутиться в затруднительном положении: в самом деле, гласный процесс Бреши, даже предполагая, что подсудимый разразится речью в своем вкусе, не может угрожать ничем общественному *порядку* в тесном, судебном смысле этого слова. Может случиться, что приговор суда придется отменить. Это было бы торжеством, которого не следует доставить ни убийце, ни его подстрекателям.



Рим усиленно готовится к похоронам усопшего короля. Известие о том, что скорбная честь приютить останки Умберто достанется не северной Суперге, а римскому Пантеону, вызвало здесь — такова людская природа — большую радость. Горе Рима, конечно, глубже горя всей остальной Италии, потому что только столица видела, как день за днем постепенно белели усы Umberto-Simpaticone, но смертные слабы, и траур не может помешать им улыбнуться сквозь слезы при мысли о польщенной гордости римского гражданина и... о предстоящих заработках. Похоронное шествие послезавтра опишет огромную и путаную кривую по Риму, так что катафалк не забудет

¹ Правительственное постановление, имеющее силу закона (*итал.*).

ни одной части доречного города; понятно, что по дороге шествия все окна и балконы заранее уже наняты нахлынувшей сразу массой приезжих за скромные цены в 500 и выше лир.

Humanum est¹.

Altalena

Одесские новости. 31.07.1900



Силуэты итальянской сцены

II. ДЖАЧИНТА П. ГВАЛЬТЕРИ

Одесситы постарше должны хорошо помнить г-жу Гвальтьери: она прогремела у нас своими гастрольями много лет тому назад, овладев сердцами одесских театралов.

В Италии она более известна под своей девичьей фамилией Pezzana. Ей уже, вероятно, около шестидесяти лет, но талант ее до сих пор свеж и полон огня. После Дузе она по таланту первая в Италии.

Гвальтьери стоит на рубеже между двумя школами. Когда она выступала впервые, на сцене царили Аделаида Ристори и Томмазо Сальвини, великие трагики, героини которых в каждом движении, в каждом взгляде, каждом слове оставались героями. Рядом с этими артистами игра Джачинты Гвальтьери могла показаться откровением простоты и естественности. Но теперь, когда Ристори и Сальвини опочили на лаврах, покинув сцену, и сама Гвальтьери состарилась, люди — и за ними актеры — стали еще скупее на жесты, еще сдержаннее в движениях. Для теперешних зрителей даже огромная простота игры Гвальтьери слишком богата, слишком пластична: «Пеццана — артистка большого трагического жеста», — называют ее теперь.

Тем не менее Гвальтьери гораздо ближе примыкает к новым школам и, хотя не в такой мере, как Эрmete Новелли, является классиком новой итальянской сцены. И у нее, как у ее великого собрата, чувство меры управляет всеми сторонами таланта, потому оба они одинаково хороши и в трагедии, и в фарсе.

¹ Таков человек (*лат.*).

В первый раз я видел Гвальтьери в «Лекарстве для больной девушки», характерной одноактной картинке из римского простонародного быта. Она играла старую соседку, суетилась, потирала бедра, щелкала пальцами, сплетничала, с ужасом рассказывала об антихристовом наваждении, т.е. о железной дороге, лукаво смущала невесту свадебными остротами и казалась рожденной для роли комической старухи.

Через несколько дней она играла Гунгильду в «Джоне-Габриэле Боркмане». Транстевверинскую кумушку сменила холодная, недобрая, непобедимая скандинавская женщина, которая не боится ничего, даже отчаяния, потому что и к нему привыкла. В каждом шаге было величие королевы, потому что ибсеновская героиня и была королевой в своем пустынном ледяном царстве; и опять казалось, что Гвальтьери создана для этой роли, трагической из трагических, лишенной даже сильных сцен, в которых все-таки должна была бы прорваться наружу страсть живого человека, — ледяной роли женщины, которая похоронила все, кроме гордости.

Я видел ее потом в ролях вдовы Гишар и жены наполеоновского маршала: она щеголяла такой искренней, простодушной вульгарностью, что на следующий день казалось просто невероятным ее превращение в шиллеровскую Марию Стюарт, которая тихо, не шевелясь, глядя непередаваемым взглядом на своих тюремщиков, спрашивала:

— Только равные могут быть судьями — кто же из вас мне равен?

Душа этой артистки охватывает всю гамму, восходящую от Катерины Юбше к Медее, и на каждой ноте дает звук редкой чистоты, красоты, силы и особого тембра, какого больше ни у кого вы не встретите. Но большая публика, понятно, ища мишени для своего энтузиазма, даже среди этих чудных нот откопает одну фальшивую, и ее именно изберет. Так, у Дзаккони восхищаются клиническими «Привидениями», а говоря о Гвальтьери, восклицают:

— Если бы вы ее видели в «Терезе Ракен»!

Роль старухи Ракен действительно дает Гвальтьери несколько благодарных моментов, но большая публика всему предпочитает четвертое действие, которое Эмиль Золя в недобрый час своей жизни выпустил на свет таким уродливым, что талантливой актрисе ничего не остается другого, как только

изуродовать его уже вконец. Джачинта Гвальтьери надевает белый парик, из которого вырываются дикие седые пряди, выписывает на лице бледность, морщины, худобу, темные круги под глазами, беззубый рот и проводит пять шестых акта без слов и движений, все время только трясая седой головой, точно фарфоровая статуэтка, и поводя глазами. Нечего и говорить о том, что впечатление ужаса достигается в совершенстве; но, во-первых, при чем тут искусство, и, во-вторых, это впечатление далеко уходит из разряда эстетических, и у дам чаще всего разрешается истерикой.

И Гвальтьери, и Дзаккони, особенно первая, слишком умны для того, чтобы не знать цены этим кунштштюкам. Но... спрос создает предложение: «Привидения» и «Тереза Ракен» считаются и будут считаться «боевыми конями».

В последнее время Джачинта Гвальтьери сделала две интересные попытки: предприняла декламацию песен из «Божественной комедии» перед спущенным занавесом и сыграла, по чужому примеру, Гамлета. Вторая попытка, кажется, не особенно удалась.

Первая же увенчалась полным успехом, потому что Гвальтьери обладает главным, что необходимо для этой нелегкой задачи, — лучшим даром, какой судьба может дать актеру: у нее до сих пор в полной силе и чистоте сохранился дивный грудной голос, которому нет равного на итальянской сцене. Голос Гвальтьери многострунен, как ее талант: для каждого оттенка каждого из человеческих настроений в нем есть откликающийся тон; но даже в хрипе голодных детей Уголино этот голос сохраняет свою глубокую контральтовую гармоничность. И когда Гвальтьери читает Данте и ее голос покорно вьется и гнется по извию стиха и сливается с ним до того тесно, что вы перестаете различать, где кончается красота рифмы и начинается прелесть голоса, только тогда чувствуется, какая залежь небесной музыки дана Италии в ее несказанно прекрасном языке.

Такова Джачинта Гвальтьери, гений которой окреп в минуту своего восхода и до своего заката не ослабнет, отражая в своей многогранности все цвета жизненной радуги.

Altalena

Одесские новости. 8.09.1900



Городской театр

«ЖИЗНЬ» И. Н. ПОТАПЕНКО

Пьеса эта написана так, как вообще все, что выходит из-под пера г-на Потапенко; в общем все смотрится с большим интересом, производит довольно жизненное впечатление и в некоторых местах даже трогает.

Сошла «Жизнь» очень хорошо. Не упоминая пока о главном герое — профессоре Белозерове (г-н Шувалов), надо на первое место поставить г-на Соловцова в роли помещика Тавлинова (тестя Белозерова), старого, но еще изящного барина из полузаграничных. Г-н Соловцов дал прекрасную живую картину, и не вина исполнителя, если ему не вполне удалось сгладить некоторые слишком неприкрытые притязания на нарочитую смехотворность, допущенные автором, например: назойливое повторение одной и той же фразы: «Страшно я не люблю вмешиваться в чужие дела». Был хорош г-н Неделин (бретер и сердцеед Ратищев). Г-н Леонидов сыграл ассистента Синицкого почти образцово и ярко оживил эту довольно шаблонную у автора фигуру. Г-жа Велизарий провела роль Ольги Павловны, жены Белозерова, очень просто и очень хорошо. Г-н Борисов сыграл старого профессора Тройнова с чувством и с толком. Остальные исполнители были на своих местах.

К г-ну Шувалову надо применять особую мерку. У этого артиста гораздо больше таланта, чем наблюдательности. Поэтому только в классическом репертуаре, герои которого выходят из области обыденного, его можно оценить по достоинству; в скромных же, так сказать, обывательских ролях, для которых актеру необходимо уметь присмотреться к простой жизни простых людей и просто пережить ее на подмостках, г-н Шувалов, естественно, чувствует себя не в своей тарелке. Поэтому роль Белозерова удалась ему постольку, поскольку в ней был материал для создания человека выдающегося; в остальных сценах г-н Шувалов не трогал, не убеждал, так как слишком беспричинной казалась приподнятость его тона для тех простых вещей, какие он произносил. В третьем действии, где Белозерову приходится против своих убеждений принять вызов Ратищева, а особенно в четвертом, в трагической картине смерти,

г-н Шувалов произвел большое впечатление; своей мимикой, несмотря на ее относительную примитивность, ему удалось даже примирить противоречия, допущенные автором. Первые же два действия прошли менее удачно.

Г-н Шувалов имел большой успех у публики, собравшейся в ограниченном числе.

Г-н Скуратов прекрасно прочел «Старого капрала» и несколько юмористических стихотворений. К его идее можно отнестись только одобрительно, но в выборе стихотворений следовало бы быть посовременнее.

Altalena

Одесские новости. 18.09.1900



Рим

Несколько дней дорожной спячки, когда читать нечего, говорить не с кем, думать не хочется, спать нельзя, когда вся душа до того поглощена терпением, что исчезает даже сознание скуки. Но всему есть конец,

— Roma-Termini! Tutti si scende!¹ — слышится сквозь последние толчки поезда последний возглас кондуктора. Наконец,

Знакомая чудная картина. Посередине круглой площади Термини в слабом предзакатном освещении высокой колонной дрожит матовая кисейная пыль стройного фонтана. Через час загорятся рефлекторы, а площадь потемнеет темнотой римской ночи, и тогда кружевной столб воды, насквозь пронизанный зеленоватыми лучами электричества, заиграет на черном фоне каким-то непередаваемым жемчужным сиянием. Но пока еще рефлекторов нет, еще светло, и видна вся широкая глубина богатой via Nazionale, где степенно копошится медленная, величественная римская толпа.

Подкатил извозчик, и мы торгуемся, и он отвечает на чистом римском наречии, гармонично, напыщенно, отчеканивая и отделявая каждую букву своей многотонной речи. Потом начинается езда по особому плану, которого извозчик, очевидно, не одобряет.

— По via Savour.

¹ Рим-Конечная! Все выходят! (*итал.*)

Он сворачивает на улицу Кавура. Мимо бегут сначала высокие дома современной постройки и стиля — и вдруг между ними открывается что-то вроде высокого каменного утеса, унизанного дряхлыми, узкооконными строениями, где, вероятно, ютилась нищета папского времени; на плоских крышах маячат, вырисовываясь резкими черноватыми силуэтами по бледнеющему небу, какие-то деревья; к вершине утеса ведет узкая лестница, и, когда мы проезжаем внизу, видно, как эта лестница на вершине впадает в арку, точно в туннель, и сквозь туннель виден полукруг неба. Это Тарпейская скала.

Дальше. Между сплошными элегантными современными домами иногда неожиданно врываются архаические пятна — гладкие стены с опавшей штукатуркой, узкие оконца, пестрые массы выступов и крыш одна над другой и белье, развешенное по целой сети веревок.

На углу *via Serpenti* что-то огромное, грандиозное показывается налево, в глубине этой улицы.

— Извозчик, к Колизею.

Минута — и мы вне Рима, и высокая, неоглядная, круглая, темно-серая громада Колизея близко-близко вырезывается на небе верхними ярусами своих опустошенных арок, и на верхнем ярусе, где он еще уцелел, горит багрянец заката; и еще поворот, и Колизей угрюмо исчезает за холмом, точно говоря:

— Не тревожь меня днем, приходи ко мне ночью. Мы, старые, живем только по ночам, когда новое спит.

Ладно, старая бессмертная развалина, мы увидимся ночью, когда месяц напрасно будет силиться заглянуть в огромный круг, охваченный твоими могучими стенами, изрытый странными и страшными подземными ходами, из которых доносятся неясные, жуть наводящие ночные шумы.

— К реке.

И мы на мосту Святого Ангела. Почти смерклось, и теперь не видно «белокурой» желтизны священного Тибра. Он блестит голубоватой сталью и спокойно бежит туда, налево, к тесному гетто, к островку святого Бартоломео, полюбоваться остатками последнего наводнения. А прямо перед мостом подымается лучший алмаз античного зодчества, какой есть в Риме, круглый, темный, зубчатый, непостижимо прекрасный в своей величественной простоте замок Св. Ангела, гробница Адриана.

И слева, далеко, за несколькими улицами, из поднебесья, на гробницу Адриана глядит торжественный могучий купол Апостола Петра, высокая полукруглая корона Ватиканского собора. Но туда уже поздно ехать.

— К Piazza del Pòpolo.

Услышав такой конец, извозчик сквозь зубы бранится: *mannaggia*¹, — очевидно, по адресу седока, — и поворачивает назад, в извилистую сеть узеньких средневековых улиц, где солнце и в полдень не гостит.

Вдруг мы вылетаем на прелестную, точно игрушечную, несмотря на все свое величие, узкую и прямую, как струна, улицу. Это — Fontanella di Borghese. Она бежит вверх прямо перед собой, перерезает Корсо и так же прямо впадает в аристократическую маленькую *via Condotti*, а в глубине улицы Кондотти, точно из рамы, глядит уголок Испанской площади, над которым подымается фантастически причудливая, широкая, в полплощади, и высокая лестница гениального Бернини. Прямо против нее, из другого конца стройной Fontanella, горит закат, освещающая красным заревом и лестницу Бернини, и грациозный, прелестный, тонкий двухбашенный костел Горной Троицы, и этот стройный красно-золотистый силуэт на фиолетовом фоне вечернего востока до того прекрасен, что голова кружится от его красоты...

Мы свернули. Вот и Piazza del Pòpolo — круглая, широкая, белая, с тонким обелиском в центре. На восточной стороне подымается высокий обрыв холма-бульвара Пинчо, откуда теперь дивный вид на собор св. Петра, на холм Януса, на конную статую Гарибальди и, главное, на закат, малиновый римский закат, знаменитый по всему свету. А слева высятся ворота, через которые когда-то паломники с трепетом вступали на древнюю почву Вечного города. И чтобы Вечный город сразу околдовал их, против самых ворот от этой площади симметрично прямыми лучами разбегаются три главные улицы: Бабуино, Корсо, Рипетта.

— Извозчик, к Араньо.

Он облегченно вздыхает и выезжает на узкий, бесконечный, прямой Корсо, осененный темными палаццо и уже освещенный цепью электрических ламп. Взад и вперед катятся по узеньким тротуарам и по гранитной мостовой две реки

¹ Чтоб тебе пусто было (*итал. простореч.*).

колясок и пешеходов, блистая римской отборной безупречной *eleganza*¹. И нет города на земле, где бы по улицам проходило и проезжало столько красавиц!

Но Корсо вдруг расширился, электричество засияло ярче, толпа стала гуще, и шумливо зазвучали голоса газетчиков... Это — центр центра итальянской столицы, сердце ее жизни, узел ее нервов — кафе Араньо.

— Наконец! — радуется измученный извозчик.

Altalena

Одесские новости. 12.12.1900



10 (23) декабря

На днях в здешних политических сферах произошло довольно значительное изменение: министр Рубини, государственный казначей, подал в отставку. Причины этого представляют некоторый пикантный интерес для любителей анализа. Уже давно известно было, что Рубини (против ожиданий) оказался одаренным очень щепетильной бережливостью по отношению к казенным деньгам, и поэтому многократно и упорно отказывал своим товарищам по кабинету в выдаче средств на неотложные, чуть ли не срочные нужды. Министры были очень недовольны его упрямством, так что публика не удивилась бы даже общему министерскому кризису. Вместо того Рубини почел за благо сам избавить своих коллег от слишком скупого кассира. Товарищи с миром его отпустили и решили, чтобы не портить своего очевидно спешшегося хора введением постороннего лица, вручить казначейство г-ну Кимирри, министру торговли, у которого, надо полагать, много свободного времени. Министр-президент Саракко в сенате выразил после этого свое порицание «чрезмерной экономности» Рубини. Анализ здесь заключался бы в разрешении следующей мудреной задачи: если Рубини не давал денег, значит, или их не было совсем, или они принадлежали к суммам, по закону неприкосновенным. Чего же хотели министры? Того ли, чтобы Рубини достал деньги из-под земли, или того, чтобы он прикоснулся

¹ Элегантность (*итал.*).

к неприкосновенному? И чего ждут от министра Кимирри, который не будет «чрезмерно экономен»? Это неясно. Впрочем, на то и политика.

Палата по обычаю распустила себя на рождественский отдых на две недели раньше срока, не сделав почти ничего. Надежды на нее не оправдались: правда, обструкция прекратилась, но именно потому на заседания приходило по тридцати человек депутатов. Вообще, политические перспективы для Италии теперь еще более серы, чем и год назад.

От политики следовало бы перейти к политическим процессам. В здешнем уголовном суде разбирается дело о диффамации, возбужденное Кодронки, бывшим вице-королем Сицилии, против бывшего депутата, очень известного де Феличе. Дело очень интересно и по обрисовке сицилийских условий до упразднения должности «чрезвычайного комиссара» (которого на острове называли просто вице-королем), и по выступающему на фоне процесса профилю самого де Феличе, который, не выдаваясь ни ораторским, ни писательским, ни каким-либо другим талантом, успел заслужить себе широкую популярность среди демократии севера и юга. Но об этом процессе лучше будет поговорить на днях, когда он кончится. Что же касается дела Полицолло, которое уже год как передано для изучения обвинительной палате в Палермо, то газеты говорят, что она палата, наконец, благополучно пришла к заключению, что Полицолло действительно дал мафиотам поручение убить командира Нотарбартоло, а потому предается суду. Это было очевидно еще год тому назад.

Следствие, но административное, начато также по поводу последнего наводнения. Действительно, бедствие было грандиозное. Проходя по улицам Рима, иногда видишь на высоте человеческого роста укрепленный в стене камень с надписью: «Высота наводнения 1870 г.». Разлив этой осени почти достиг уровня этого последнего. Осевшая площадь перед Пантеоном была залита водой; в лучшей части города, на Корсо, фундаменты и погреба домов были затоплены; приречные улицы, особенно широкая и людная Рипета, превратились в озера. О нижнем, трастевринском Риме и говорить нечего. Не обошлось без утопленников. При этом стена длиной в сто метров, выстроенная нарочно против напора воды вдоль левого берега Тибра, ниже середины города, рухнула.

Именно по этому поводу назначено следствие. Но публику, кажется, меньше интересует, кто виноват в том, что стена была плоха, чем разные соображения на счет значения anno santo (юбилейного года). Послезавтра папа Лев XIII закроет святые врата в правой галерее Ватиканского собора, так что можно уже подвести итог всему, что принес Италии «святой год». При подсчете оказывается действительно, что anno santo подарил полуострову несколько поистине ужасных несчастий. Антиклерикалы, конечно, колют этим совпадением глаза сторонникам папы, говоря, что это был не святой, а отлученный (scomunicato) год. Но клерикалы шепотом отвечают, что Рим мстит за себя узурпаторам, и эта месть, конечно, особенно ярко разражается в предвыборные эпохи, вроде юбилейного года. В 1870 году, в год взятия Рима, говорят они, случилось величайшее на памяти римлян наводнение, а в год именин папства грозные знамения повторились. Все это, конечно, шепотом, потому что, когда одна здешняя газета в конце июля попробовала высказать все это вслух, пришлось защитить ее редакцию от раздраженного населения взводом полицейских.

В мире искусства здесь пока только одно выдающееся явление: «Casa di Goldoni»¹ с Эрмете Новелли во главе. До сих пор в Италии не было оседлых артистов и трупп, прикрепленных к одному городу; великий артист, очевидно, увлекся примером Франции и, в подражание парижскому «Maison de Molière», основал в театре Valle постоянную (на весь зимний сезон ежегодно) труппу «Дом Гольдони». Мне еще предстоит случай подробно говорить об этом нововведении и о том, так ли оно благотворно и желательно, как это, несомненно, считает Новелли.

В театре Костанцы играет опереточная труппа, и оркестром дирижирует маэстро Конильо, молодой и талантливый знаемец одесситов. Конечно, дирижирует по-прежнему наизусть.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 20.12.1900

¹ «Дом Гольдони» (итал.).



Рим

ЭКС-ДЕПУТАТ ДЕ ФЕЛИЧЕ

17 (30) декабря

Дело между Кодронки и де Феличе, о котором упоминалось в предыдущем письме, кончилось осуждением. Уголовный трибунал — вроде нашего окружного суда без присяжных заседателей — присудил де Феличе к уплате 1100 лир штрафа и к тринадцати месяцам заключения в тюрьме! Это наказание в силу недавней амнистии будет смягчено на шесть месяцев. Таким образом, к почтенному тюремному прошлому де Феличе этот приговор прибавит всего семь месяцев нового уединения.

Любопытно то, что некоторые обвинения против Кодронки, напечатанные де Феличе в газете «Avanti», признаны доказанными. Укажу только на один пример, весьма типичный для всех бывших и будущих разоблачений о Сицилии: в статьях де Феличе указывалось на то, что на время выборов отъявленные и всем известные мафиоты получали от полиции право на ношение оружия, которого обыкновенному смертному в обыкновенное время почти нельзя добиться. Трибунал признал доказанным, что полиция выдавала такие разрешения с целью подкрепить шансы правительственного кандидата вооруженными и на все готовыми сторонниками. Но, по мнению трибунала, не доказано, чтобы во всем этом был замешан Кодронки, который как «вице-король» мог и не знать о таких мелочах. В процессах о диффамации всегда строго блюдетсЯ правило: не пойман — не вор.

Но ежели оставить в стороне решение трибунала и дать полную веру обвинениям де Феличе, они все-таки представляются не настолько яркими, чтобы о них следовало особенно распространяться после всего того, что писалось в Европе за последние годы о Сицилии, о том, как ею управляют и каких туда посылают чиновников. Может быть, потому, что я прибыл к последним заседаниям и не слышал свидетельских показаний, мне кажется, что кодронкиада — только бледный снимок с картин, развернутых перед обществом на недавнем процессе Нотарбартоло. Когда последний возобновится, будет еще время

возобновить их в памяти читателя. Поэтому существо процесса мы обойдем молчанием, тем более что как-никак Кодронки признан по суду чистым и непорочным.

Для нас, иностранцев, в этом деле интересен сам обвиняемый.

Джузеппе де Феличе-Джуффрида, или Пеппино де Феличе, как его называют бесчисленные друзья и просто сторонники, — с головы до ног типичный сицилиец. Поэтому, как у всякого сицилийца, как у самой Сицилии, у него есть восторженные друзья, превозносящие его до небес, называющие его надеждой родного острова, и есть заклятые враги, утверждающие, что де Феличе просто негодяй. То обстоятельство, что из выражающих те или другие мнения половина никогда не видели де Феличе в глаза, доказывает, насколько он известен в Италии. Без преувеличения, в своей партии, особенно на юге, он популярнее всех. Энрико Ферри, шумная знаменитость, блестящий популяризатор, неотразимый пропагандист, лучший оратор палаты, Турати, Коста, де Андреис — дельные организаторы, публицисты, люди пострадавшие, Биссолати, редактор «Avanti», не говоря уж о сторонящемся от политики Антонио Лабриола, — никто из этих лиц не может соперничать в популярности, в горячей — немного фамильярной — симпатии со стороны единомышленников и в отчаянной ненависти противников с Пеппино де Феличе, которого, однако, грех назвать большим писателем, большим оратором, а тем более ученым. Даже как пропагандист или организатор он, кажется, ничем особенно не прославился.

Тайна его популярности в том, что он внес отпечаток своей Сицилии, этой итальянско-африканской, т.е. в куб возведенной Гаскони, во всю свою общественную жизнь. В Сицилии все принимает удешевленные размеры: солнце неестественно горячо, ураган неестественно резок. Золотая раковина Палермо ослепительно красива, население невероятно бедно и грязно, девушки поразительно прекрасны, старухи нечеловечески безобразны, ревность, мстительность, коварство, любовь, дружба, благородство — все выражено в таких красках, каких на материке не видали. Сицилиец вырастает в такой обстановке, что впоследствии нельзя ждать от него медленной, спокойной работы, для какой создан, например, уроженец Пьемонта, близкий сосед уравновешенной Швейцарии. Сицилийцу нужны шум, суматоха — putiferio, как там говорят. Таков и де Феличе.

Пока в Италии и Сицилии все обстоит благополучно, пока население смиренно и скромно голодает и снимает с себя кожу для уплаты податей, пока полиция бесшумно создает себе шансы на получение наградных к празднику, пока в палате депутаты лениво просят об устройстве новых шоссе, а министры отказывают по высшим соображениям, — де Феличе стушевуется. Этим временем пользуются Ферри, Турати и десятки других, разъезжая по стране, читая лекции, произнося речи и вербуя членов для партии; но де Феличе молчит, не двигается с места и изредка запросит министра: почему в Катании (он до последних выборов был депутатом от Катании) гавань неисправна?

Но едва начинается шум, едва вспыхнет где-нибудь скандал, начнутся уличные свалки, охватит острая горячка проснувшихся министров и депутатов, — де Феличе выступает на сцену и одним шагом становится в первые ряды нападающих. Оказывается, что у него полон карман обличений, доказательств, улик — столько, что он страстно высыпает их в статьях «Avanti» и речах перед палатой, и все-таки они не иссякают; в уличной свалке он среди толпы, с поднятой палкой, ловкий, сильный, немного полный, с раздавленным котелком на затылке, раздает и получает *bastonat'ы*¹, попадает в полицию, доказывает там свою депутатскую неприкосновенность и сейчас же принимается вызволять из кутузки своих знакомых, среди которых есть и сторонники, и противники.

Случатся события посерьезней, произойдет даже что-нибудь ужасное, вроде памятных сицилийских волнений — газеты на содержании начинают вопить чуть ли не о сепаратистском заговоре, впереди всех имен ставится имя де Феличе, и де Феличе попадает на пять лет в тюрьму. Наконец, начинается обструкция — де Феличе шесть часов подряд говорит неизвестно о чем и успевает уморить от скуки самого президента палаты; когда обстановка меняется, когда обструкционисты видят свое дело на краю ловушки, когда палата делается ареной кулачного скандала, — де Феличе впереди всех; другие свищут губами — он свищет в заранее приобретенный оглушающий гудок-сирену; другие идут в рукопашную с центром — де Феличе бросается к урне с баллотировочными записками и опрокидывает ее одним толчком, дорогим толчком, которому по закону цена — двадцать лет каторги.

¹ От: *bastonata* — удар палкой (*umal.*).

И всюду, где слышится имя Пеппино де Феличе, непременно дело идет о скандале, обличениях, putiferio. Это имя, как гром, сопровождает молнию или, как молния, предшествует грому.

Враги, не видя от де Феличе ничего, кроме бунта и буйства пером, голосом и кулаками, называют его негодяем. Но это клевета. Де Феличе просто сицилиец, беспокойный и смелый наездник, за которым две большие заслуги — искренность и любовь к родине, к несчастной, поруганной Сицилии. Этого наездника, по-моему, нельзя упрекнуть даже в том, что для нашей серенькой пешеходной эпохи он родился не вовремя.

Напротив, все в Италии указывает, что такие люди, как Пеппино де Феличе, еще сыграют в ее жизни видную и по-своему благотворную роль.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 22.12.1900



Невежа

Очерк

Посвящается М. Горькому

Настоящих приключений не бывает в теперешней жизни: вся она состоит в том, что мы принимаем пищу и перевариваем ее. Поэтому теперь принято называть «приключением» всякую мало-мальски любопытную, не совсем обыденную мелочь. Поскользнулись на улице — приключение; заблудились в воротах дома Вагнера и вместо Дерibasовской попали на Ланжероновскую — приключение; обронили двугривенный, разбили очки, встретили забытого знакомого — все «приключение». Не знаю почему, всякий раз, как попадаю в Фиуме, со мною должно случиться какое-нибудь «приключение» этого типа, большей частью какая-нибудь интересная встреча. В последний раз у меня были даже две такие встречи. Первая из них до того похожа на анекдот, что я подожду подходящего настроения и тогда только попытаюсь описать ее, хотя все описание должно состоять в точной передаче вагонного разговора с российским казенным педагогом, получившим наследство и направлявшимся в Аббацию — лечить один из обычных педагогических недугов.

Вторая встреча произошла в самом Фиуме, на Лидо, где я шатался без определенной цели. Героем ее был тоже россиянин, но не педагог, а писатель.

У одного пароходика, опершись о перила сходни, стоял довольно изящный господин, разговаривавший с матросом. Проходя мимо, я услышал, что матрос говорил по-хорватски, а господин расспрашивал его по-русски. Лицо господина было мне знакомо, и я сейчас же вспомнил, где видел его портрет: в юбилейном выпуске хорошей поволжской газеты, в которой он был главным сотрудником. Я знал его имя, псевдоним и несколько его фельетонов и рассказов, которые мне очень нравились.

Я выждал, пока он сказал матросу «до свиданья», а матрос ответил: «z'Вогот»¹. Господин направился в мою сторону шагом слоняющегося человека. Лицо у него было хорошее, располагающее. Я подошел к нему, поклонился — он вежливо (как всякий русский за границей) приподнял котелок. Я сказал ему, что прошу позволения представиться ему в качестве поклонника его таланта, и назвал его имя, псевдоним и газету.

С его лица сбежала мигом всякая доброта и любезность, оно точно одеревенело, стало ужасно злым, и он ответил мне буквально так:

— Убирайтесь вы к чертовой бабушке.

И пошел прочь, а я остался пригвожденным к месту от изумления. Так я простоял минуты две, потом пожал плечами, пошел в кафе «Адрия», сел, заказал чай, взял газету и все-таки не мог еще прийти в себя.

Вдруг меня тронули сзади за плечо. Это был, *horribile dictu*², мой обидчик. Я серьезно разозлился и вскочил:

— Что вам надо?

Он развел руками и сказал просто и смущенно:

— Простите бога ради, я вот вас обидел ни за что ни про что, и мне страшно стало совестно. Вы уж извините.

— Да помилуйте, как же можно так оскорблять человека только за то, что он принял вас за другого?

— Да вы не ошиблись, я именно тот, за кого вы меня приняли.

— ?!?! Так я этого уже совсем не понимаю.

¹ Прощай (*хорв.*).

² Страшно сказать (*лат.*).

— Послушайте, — сказал он, — еще раз прошу вас извинить меня, забыть мою грубость; потом мы заново друг другу отрекомендуемся (у него был красивый волжский выговор), вы мне позволите присесть к вам, и я вам все расскажу.



Вот его исповедь.

«Я прежде был чиновником, дожил так до двадцати пяти лет; потом наудачу попробовал счастья в "Живописном обозрении" (я с детства пописывал); рассказ напечатали, потом повесть, потом я попал в нашу газету, увидел, что это как раз моя струнка, — потому что талантик у меня милый, но очень маленький, — бросил канцелярию и утвердился злободневным газетчиком; и был очень доволен. У меня есть кое-что свое, газетка платила мне полтораста рублей в месяц, у нас захолустье, а человек я скромный.

Я никогда никому до того не говорил, что пописываю, никому никогда не давал читать своих опытов, потому что не люблю, чтобы надо мной изрекали приговоры. Только мои родные да два-три приятеля знали (и то догадались, а не я сказал), что я пописываю, но поняли, что я не люблю об этом говорить, и молчали.

Теперь пошла музыка не та. Псевдоним, конечно, сейчас же разгадали, изумились, что я бросаю службу, приставали, как водится, с советами; все это надоедало, но я в первом пылу пропускал это мимо ушей и только старался сейчас же менять тему разговора. И — опять-таки за первым пылом — я совершенно не заметил, как мало-помалу все, все и все перестали говорить со мною о погоде, о картах и прочем, а непременно заговаривали о литературе и о моих писаниях. И когда первый пыл прошел, и я оглянулся, то меня охватили страх и досада. Мне трудно будет объяснить вам это.

Приходит знакомая Анна Михайловна, которая всегда меня уважала, считала деловым молодым человеком, знала, что я чиновник, то есть занят вещами выше ее понимания, и потому никогда ни на какие советы мне не покушалась. Теперь она приходит и говорит еще издали, лукаво улыбаясь и кивая:

— Читала, читала, мы все в восторге. Только зачем это у вас она остается жива? Лучше бы ей умереть, так знаете, на руках у Юрия, в лунную ночь...

Приходит Семен Иванович, счетовод губернской управы, и говорит, одобрительно улыбаясь:

— Читал, читал. Прелестно. Отчего только вы так мало рассказов пишете? Вы нам побольше.

И цитирует Грибоедова: вот таких людей бы сечь-то...

Прихожу на обед к имениннику, мировому судье, и он при всем честном народе говорит мне, тоже с улыбкой:

— Читал, читал — очень удачно. Только что это вы, батенька, издательский карман щадите? Вы подлинней, подлинней, да коротеньких строчек побольше. Хе-хе!

За столом сидят дамы, тоже ласково улыбаются мне, кивают и говорят:

— Очень мил у вас этот очерк "Нелли". У вас, право, талант.

Приходит околоточный, улыбается и говорит:

— Читал, читал, с удовольствием читал.

А я должен, понимаете, перед Анной Михайловной оправдываться в том, что Нелли не умерла, счетоводу объяснять, что больше трех рассказов в месяц трудно выдумать, и почему трудно; мировому судье я с кислой улыбкой толкую, что слишком длинного фельетона редакция не допустит (а он с этим не согласен и спорит), а дам и околоточного должен благодарить за лестное мнение.

И, понимаете ли, из этого получается что-то такое обидное, унижительное, вы как-то так беспомощно подпадаете под начало всей этой публики, и всякий вам судья и критик, и всякий считает себя вправе высказать в лицо вам свое мнение о вас самих и еще улыбается, потому что это-де должно вам быть приятно, — и так это все невыносимо для мало-мальского самолюбия, что я начал прятаться от людей и в редакцию, которая на главной улице, посылал рукописи через мальчика. Больше: пробовал изменить псевдоним, да куда там! Сейчас разгадали, и только еще больше разговоров пошло и пришлось давать объяснения и по этому вопросу.

Я литераторов почти не знаю, но убежден, что каждому из них, у кого есть настоящее самолюбие, мучительно и неприятно это сознание, что первый встречный ему судья и, главное, сейчас же самоуверенно плюнет ему, литератору, в глаза своим лестным или нелестным мнением, будто его спрашивают!

Да скажите: почему, если вы чиновник или молодожен, ни один воспитанный человек не станет с первого налету высказывать вам свое мнение насчет смысла вашей службы или

красоты вашей жены; а о том, что вам, может быть, ближе и милее и жены, и службы, о том, во что вы вложили свою душу, всякий сапожник, всякий обыватель вправе говорить с вами и ставить вам отметку, и в глаза, понимаете, в глаза?

Я знаю, разница та, что моя жена — только для меня, а свою повесть я отдаю “на суд публике”. Во-первых, это выражение — большая ложь. Я ничего не отдавал на суд ни публике, ни критике. Я зарабатываю свой хлеб тем трудом, который мне приятен, то есть это все равно, как если бы я для собственного удовольствия сел у себя дома играть на фортепиано. Мимо раскрытого окна идут люди; кому нравится — остановится, кому нет — пройдет мимо. Но ни у кого я не прошу мнения, отметки или суда: я играю для своего удовольствия; и пишу я для своего удовольствия и пропитания. Я не говорю, что мне неприятно знать, что публике нравится мой талант. Но пусть они сознают это про себя, пусть печатают в газетах, но в глаза-то, в глаза-то мне пусть молчат, пусть не низводят меня на степень школьника, который только их отметкой и интересуется, только ею и жив и с которым не о чем больше говорить! Я под судом в жизни не был, черт возьми, и быть не хочу и не буду!

Критика в печати — это еще туда-сюда (хотя и это, по нашим временам, бесполезный пережиток). Но только в печати и обсуждайте то, что в печати же вам было предложено; а переносить литературу в жизнь и мучить меня ею — это такая же гадость, как если бы я написал пасквиль, то есть перенес бы жизнь в литературу.

Да и согласен я, что есть лица и моменты, по отношению к которым допустимо такое глядение массы в глаза живому человеку. Это — моменты энтузиазма, моменты действия. Они возможны для актера, для оратора, которые тут же на месте, наэлектризовав публику, срывают гром аплодисментов. Но для писателя или художника такие моменты невозможны, потому что его действие происходит за сценой. Так что, поймите, когда публика смотрит в глаза вызванному ею актеру или только что смолкнувшему оратору, то и он, и она полны еще энтузиазма, вдохновения... А когда я, писатель, прохожу по своему захоластью, и одна дама указывает на меня другим трем дамам, то здесь энтузиазм неуместен, и его нет, а есть только желание подробно осмотреть меня, не признавая за мною никакого права на стыдливость... Черт возьми, и до чего же невыносимо

противно это глазение!.. Это, простите, что-то такое вроде насекомого, понимаете, назойливого насекомого, которое забралось вам под воротник и от которого нельзя избавиться...

И ведь, право, дошло до того, что на меня, если не на улице, то в концертах, в театре, на бульваре, начали глазеть просто кучками. В популярность вошел. И нет-нет — из этой кучки выделится знакомая фигура, подойдет и выскажет мнение. Я перестал быть свободным гражданином, я сделался аппаратом для писания статей, и только с этой точки и смотрели на меня добрые люди.

И знаете, что я сделал? Когда они нарвались у меня раз пять на грубости, когда я нескольких дам прямо обрезал заявлением, что не желаю знать их "мнения", и вообще всем своим знакомым дал понять, что мне неприятны всякие разговоры со мною о моих писаниях, и когда все это не помогло, потому что, верно, они считали это кокетством, я напечатал желчный фельетон, где объяснил все то, что докладывал только что вам, и привел афоризм о том, что глазение публики производит впечатление пододежного насекомого, и даже назвал насекомое по имени и отчеству; а в тот же вечер пришла Анна Михайловна, закивала головой и сказала, улыбаясь:

— Читала, читала. Очень сильно! А все-таки вы неправы.

А? Что скажете?

А тут приходит из цензуры моя комедийка: разрешили. Я боялся толкнуться на столичную сцену; пошел к нашему антрепренеру — я с ним знаком — и дал прочесть. Он указал некоторые поправки и обещал поставить. А редактор в отделе "Театр и музыка" поместил об этом пять строк петита.

Вечером того дня шел в театре "Дядя Ваня". Я опоздал к началу, вошел в середине действия, а в антракте побежал было к буфету... Стоп. Идет навстречу Анна Михайловна, улыбается, кивает и говорит:

— Читала, читала. Скоро, значит, будем и вас вызывать. Только отчего ж это вы не попытались пустить пьесу на Императорскую сцену? Где Савина, Мравина, Славина... Вы, верно, рассчитываете на нашу провинциальную снисходительность? О, мы будем очень строги!

Я ей ровно ничего не ответил, скользнул в буфет, забился в уголок потемней и шепотом попросил чаю...

Не помогло. Идут. Идут мировой судья, счетовод земской управы, дамы, околоточный, десяток фигур, которых я не знаю, идут на меня, улыбаются, кивают и говорят:

— Читали, читали...

И невзвидел я свету Божьего. На глазах у всей публики хватил стаканом об пол и закричал:

— Да что вы, — говорю, — глаза на меня пялите? Чего вы пристали? Когда вы меня в покое оставите? Ведь вы мне хуже клопов надоели, ведь меня от одного запаха вашего тошнит, вы меня до печени доведете... Что за каторга, Господи ты мой, — уйдите вы, говорю, с глаз моих долой!

Из наболевшей души вырвался у меня этот вопль, и...

И эти пшп... пошляки захлопали в ладоши! Жидененко, но захлопали!

Я ушел из театра. Сказал антрепренеру, что пьесы не дам. Пошел утром к издателю и объявил, что еду за границу, и, если он не хочет меня потерять, пусть назначит корреспондентом. Он со мной бился, да ничего не вышло.

— Что ж, — говорит, — поезжайте в Рим. Только уж платить будем, конечно, поменьше...

Ну, и уехал я. И не успел еще отдохнуть — вы навстречу, поклонник таланта!.. Это уж, знаете, рок! Простите великодушно».

— Коллега, — ответил я, — вы были правы, а я был виноват. Если бы вы были на моем, а я на вашем месте, я бы вас еще хуже обругал. Честное слово журналиста!

Altalena

Одесские новости. 23.12.1900



Рим

СТО ЛЕТ ПОСЛЕ «ТОСКИ»

18 (30) декабря

Завтра в полночь здесь кончается девятнадцатый век. Люди теперь стали очень умны, очень скептически и, вспоминая, что скоро цифру XIX надо будет заменить цифрой XX, онижимают плечами и с улыбкой говорят: «Ну что же, и заменим, очень просто, никакого торжественного или важного шага мы в этом не видим. Совершенно случайно у человека на руках оказалось десять пальцев, отсюда пошло десятиричное счисление, и сотне стали придавать значение чего-то цельного, законченного. Все это суеверие».

А все-таки столетие останется для нас чем-то круглым, цельным, законченным — потому ли, что люди просто при-выкли в каждый ...-сот первый год подводить итог пройденной дороге, или потому, что суеверное человечество искони, при наступлении нового века, считая его новой зарей, нарочно применяло к нему обновление своих планов и своей энергии — это все равно. Важно то, что именно сто лет, а не больше и не меньше, составляют одну ступень. И конечно, у меня и быть не может притязания рассказать вам, во сколько вершков вышиною оказалась для Италии последняя из таких ступеней, то есть, что именно успела эта страна за сто лет. Мне бы только хотелось помочь читателю бегло измерить разницу между последней ступенью и предыдущей.

В Италию ездит много иностранного народа. Приезжает немец, презрительно выдвигает нижнюю губу и говорит: «Aber¹, у них здесь и понятия не имеют о комфорте!» Приплывает англичанка, отправляется в трастеверинский Рим, становится ногами в то самое место, где стоял Рафаэль Санцио, и смотрит, как смотрел он, на окно Форнарины и при этом выразительно держит у носа камфору. За ней появится француз, поведет носом на скромную обстановку, в которой теперь поселилась великая мать искусств, из вежливости похвалит и вспомнит о Париже. И все они про себя думают неутешительные вещи. Отцы семейства думают: «Какая масса воров и нищих!» Старшие сыновья: «Какая позорная дешевизна труда!». Деловые люди: «Какое невероятное отсутствие инициативы! Какое запущение богатств!» Политики: «Что за бессилие внутреннее и внешнее, какой ничтожный флот, какие неурядицы в управлении, в законодательстве, в суде!» И все, вернувшись домой, рассказывают и печатают: бедность, слабость, распущенность! А газетный стрекулист, склонный к синтетическому мышлению и притом находящий, что клевета — синоним глубокомыслия, провозглашает так, чтобы было слышно на все четыре стороны света: «Вырождение расы. Конченный народ!» — и для *couleur locale*² прибавляет: «*La commedia é finite*»³, — и делает в этой фразе орфографическую ошибку, и доволен.

Не будем таить греха: ведь и россиянин, сын не столь отдаленного Востока, попав сюда, нередко вместо того чтобы снять шляпу, как в храме, надевает ее лихо набекрень и говорит:

¹ Однако же (нем.).

² Местный колорит (фр.).

³ Нужно: *La commedia è finita* — комедия окончена (итал.).

«А у нас железные дороги куда лучше и дешевле. А у нас никогда не слышано, чтобы на суде прокурор говорил дерзости подсудимым и адвокатам. А у нас городовые с собой ручных кандалов не носят. Хороша конституция!»

И главное, есть народ, который повинен в этом злоязычии на Италию больше, чем все наезжающие добрые соседи, взятые вместе. Этот народ — итальянцы. Слепленно восхищаться собой — вредно и смешно; напротив, именно по отношению к себе хороша даже излишняя строгость. Но нарочно порочить всякое светлое пятно среди темного родного фона, нарочно подымать вопль, злорадствуя неизвестно над кем при всякой маленькой неудаче, — это грешно, стыдно и стыдно. Американцы несколько лет бьются с маленьким войском Агвинальдо, англичане полтора года безуспешно сопят за своей заплечной работой над крошечным народцем, и никто не сомневается в храбрости англосаксонских солдат, а когда в 1896 году при Аббе-Гариме на итальянцев налетела абиссинская орда в пропорции десяти на одного и сделала свое дело, то вся Италия закричала: «Мы погибли!» Криспи слетел в отставку, Баратьерри попал под суд, а Европа, глядя на все это, назвала итальянских солдат трусами, и сами итальянцы недалеко были от того, чтобы поверить этой бесчестнейшей из клевет. Не того можно бы ожидать от таких патриотов, как итальянцы.

Конечно, если Чиччо Криспи вышел в отставку, то туда ему была и дорога. И точно так же многое из того, что возводят сами на себя итальянцы и что говорят о них иностранцы, есть полная и святая правда. Италия во многом отстала и очень отстала от Франции, Англии, Германии... кое в чем и от «не столь отдаленного Востока». Но иначе быть не могло.

У вас на днях пойдет или уже пошла опера «Тоска». Действие происходит в Риме, а дата — 1800 год, т.е. сто лет тому назад. Либретто взято из Сарду, и мы не знаем, насколько можно доверяться исторической точности Сарду. Но, во всяком случае, общий характер эпохи в этой пьесе дан и ярко освещен.

Сто лет тому назад Италии не было. Полуостров был разорван на кусочки, и из кусочков сочилась кровь, потому что люди, кричавшие «ура» на одном и том же языке, похожие друг на друга, как братья, могли в любую минуту сойтись на границах этих кусочков вражескими лагерями и начать стрелять друг в друга. Над страной тяготел худший из кошмаров — чужеземное владычество. Внутри была тьма, черная и грязная тьма, слитая из произвола, тирании, невежества, разврата, беззакония,

а во тьме творилась пытка, строились виселицы, зажимали рот всякому, кто хотел закричать или вздохнуть.

Теперь, через сто лет, Италия не может еще назвать себя счастливой, но дорога к счастью перед ней открыта. Есть еще произвол, но он прячется и извивается, как змея перед ударом камня, в своих последних притонах. Есть невежество, но образование стало обязательным, а двери университетской аудитории раскрыты для всех желающих без исключения, чем еще не скоро похвастанутся, например, немцы. Разврат? Он стал всемирной болезнью в XIX веке, но ведь итальянцы в нем дети перед французами или перед той нацией, которая подносит камфору к ноздрям, когда попадает в транстеверинский Рим. А вместо английской виселицы, французской гильотины, немецкого эшафота у итальянцев отменена смертная казнь — шаг настолько трудный, настолько дорогой, что его смело можно назвать, несмотря на весь ужас систем, заменивших казенное убийство, подвигом идеализма.

И хорошо ли, плохо ли, а ведь Италия покрыла себя железнодорожной и телеграфной сетью, превратила свои города в европейские центры, создала флот, войско, и не из жалости же признали великой державой ее, ее, которую Меттерних считал за пустой звук.

Для ста лет всего этого немного, но вспомните, что все это сделано только в тридцать лет, а для тридцати лет это поразительно много. Остальные же семьдесят лет истекающего века пошли на другую работу, на гигантское, почти нечеловеческое дело, на осуществление чуда, в которое никто не хотел и не мог поверить. Люди, разъединенные десятью веками отчуждения, тиранией своих правительств и косыми взглядами чужих, объединенные только общей надеждой, малочисленные, почти невооруженные, в семьдесят лет создали себе родину, очистили ее от десяти узурпаторов, объединили, омыли своей кровью и навеки оградили от нечистых посягательств.

Если бы, кроме этого подвига, итальянцы даже ничего больше не успели за все столетие, не открыли бы ни одной школы, не проложили ни одного рельса, не прочли ни одной бесцензурной строчки, то и тогда они могли бы с полным правом гордиться этой своей нищетой, потому что и тогда бы они в сто лет совершили все и даже больше, чем можно совершить за столетие.

Altalena

Одесские новости. 24.12.1900



Одна минута

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

Огоньки берега давно пропали. Месяца не было; волны светились частью от себя, частью от блеска множества ярких выпуклых звезд. Снасти парохода стонали своим странным звуком, не то скрипя, не то гудя; капитан с вышки кричал кому-то что-то на языке, которого я не понимал. Стало холодно. Я ушел в каюту. Там было шумно, было много народу, были хорошенькие иностранки; но для всего этого люда важные и злые на вид лакеи уже накрывали длинный стол — они собирались ужинать. Это не входило в мои расчеты, я скрылся в кабину, лег на свою верхнюю полку и утешился плиткой душистого шоколада, а потом задремал под мерное, скрипящее, неприятное дрожание парохода.

Разбудил меня стук. Перед умывальником стоял мужчина с седоватыми бакенбардами. Этот счастливец так хорошо поужинал, что даже пришел отмывать следы пиршества.

Увидев, что я открыл глаза, он обратился ко мне с какой-то речью. Расслышав слово *керем* (прошу), я сообразил, что он говорит по-венгерски, и сейчас же ответил:

— Нем тудом мадьяр.

Я твердо верил, что это значит «не говорю по-мадьярски», хотя обыкновенно мои соседи по вагону, когда я прерывал их расспросы этими тремя словами, почему-то продолжали беседу со мною как ни в чем не бывало на том же непостижимом наречии. Но господин с бакенбардами меня понял и спросил по-итальянски, не найдется ли у меня куска мыла. Я дал ему мыло, он привел себя в порядок, поблагодарил меня и лег на нижнюю полку; но за это время мы уже успели разговориться. Теперь он лежал внизу и расспрашивал, я — вверху и отвечал. Мадьяр был очень любознателен и обстоятелен: я должен был рассказать ему все, что знал, о торговых делах Одессы, о крымском и бессарабском виноделии; он был коммивояжером какой-то фирмы, продававшей токайское. Окончив расспросы, он переменял разговор:

— Вы — счастливец, вы говорите, что у вас там много друзей. А вот мне придется встретить Рождество на чужбине, и одному. Это неприятно.

— До Рождества месяц, — отвечал я, — еще успеете вернуться. Вы живете далеко от Фиуме?

— Нет, моя семья живет в местечке Гаршфальва, это около Уй-Домбовара, в восьми часах от Будапешта.

— Я знаю эту станцию, — сказал я, — даже помню, что там поезд останавливается только на одну минуту. Правда?

Он ответил немного изменившимся голосом:

— Да... только на одну минуту.

Я свесил голову за край койки, улыбнулся приятной улыбкой человека, нашедшего интересную тему, и сказал:

— Ведь правда, по-венгерски «одна минута» будет «эд перц»? Это единственное, что я знаю по-вашему, хотя уже три года, как езжу по Венгрии, и то запомнил благодаря странному случаю...

Я собирался рассказать ему этот случай, но тут по глазам его увидел, что он меня не слушает, а думает о чем-то своем, и о печальном своем. Он повторил машинально:

— Эд-перц, эд-перц... Да, одна минута может много значить. Я вот вам расскажу, что для меня значит одна минута. Да вы не свешивайтесь, а то кровь к глазам прильет. Берегите глаза.

Я лег навзничь и стал слушать. Остальные две койки нашей кабины были не заняты. Его слова доносились снизу медленно и отчетливо:

— Моя семья живет в местечке Гаршфальва, не доезжая Нового Донбовара, как я уже вам сказал. У меня жена, два сына и дочь Нинка. Три года тому назад Нинке было восемнадцать лет. Она была высокая, полная, красивая.

Он помолчал и прибавил тише:

— Черноглазая. Три года тому назад нашей фирмы еще не было, я служил у Ковача из Будапешта и все время жил в столице, а домой наезжал только к Рождеству, к Пасхе и летом. И вот, как раз три года тому назад, утром двадцать четвертого декабря, я телеграфировал своим: «Встречайте», сел в вагон и поехал домой праздновать сочельник. По расписанию поезд должен был прийти в Гаршфальву около половины четвертого. Я еще за две станции увязал свой плед, собрал чемодан и ящик с подарками и стал ждать с нетерпением, которое все росло. За четыре месяца, которые я провел в разлуке с семьей, Нинка стала невеселой и сама писала мне: «Атья (папа), я очень похорошела».

Двадцать четвертого декабря во втором классе не могло быть большого числа путешественников. В моем вагоне было четыре купе: в первом сидел я, а в соседнем был тоже один

пассажир, но я не думал о нем и положительно не могу вспомнить даже того, был ли это мужчина или женщина. Остальные два купе были пусты.

И вот я наконец слышу по стуку поезда и по свисту, что моя станция близко. Вокзал — по правую руку, но мои всегда ожидали меня у депо, налево от рельсов и не доезжая вокзала. Я выскочил на площадку со своей поклажей в руках, отворил дверцу и выглянул. Поезд замедлил ход, показалось депо, а на перроне мои, все пятеро (с женихом) и Нинка впереди всех.

И я до сих пор слышу, как Нинка кричит мне, пока мой вагон приближается к ней.

— Скорей, папа, а то поезд стоит одну минуту!

И мне так захотелось поцеловать ее, что я не стал ждать остановки и прыгнул с чемоданом и пледом на перрон, бросил чемодан и плед и кинулся к Нинке...

И в эту минуту из полузакрытого окна моего вагона, из окна второго купе моего вагона, вылетела наискось небольшая бутылка, ударилась о косяк, упала на перрон и разбилась. А моя Нинка закричала диким голосом, схватилась за глаза и упала мне на руки.

Поезд миновал нас, остановился, кондуктор по ту сторону вагонов закричал:

— Гаршфальва, эд-перц!

Жених Нинки завыл, как волк: «Бассама!»¹ и побежал к вагонам; старший сын за ним. Но как только они добежали, поезд тронулся: одна минута прошла.

С того дня моя Нинка слепа на оба глаза, и жених навсегда уехал в Семиградю».



Я хотел сказать этому мадьяру:

— Если бы вы знали те муки, смесь невыносимых угрызений и подлого давящего страха, которые перенес тот неизвестный пассажир за ту минуту, когда в его жилах остановилась кровь, и он помнил только два крика — вопль невидимой женщины за окном и возглас кондуктора «эд-перц», — вы бы, может быть, простили его.

Но я ничего не сказал. И утром, в Анконе, после таможни я ушел, не попрощавшись с ним.

¹ Венгерское ругательство.

Зачем мне глядеть ему в глаза, зачем мне говорить с ним? Разве я могу утешить его... разве я могу заплатить ему за погубленные черные глаза его дочери Нинки, которая так страшно, так безумно и отчаянно закричала тогда, три года назад, на минутной станции, так страшно, что ее вопль до сих пор звенит у меня в ушах?

Altalena

Одесские новости. 28.12.1900



Рим

РАЗНОГО РОДА БАНДИТЫ

23 декабря (5 января)

Англичанам, которые любят все видеть, высмотреть, представляется теперь случай полюбоваться необычайным зрелищем — облавой на человека. Для этого надо только сесть в Чивитавеккья на пароходик и переправиться на остров Сардинию, в самую нетронутую, первобытную и полудикую из областей Италии. Там, в одном гористом уголке, они найдут круглую цепь из нескольких рот солдат и карабинеров; эта цепь никого не впускает и, конечно, никого не выпускает из своего круга, постепенно сужается и надеется таким путем заморить голодом и взять живьем молодого, но знаменитого бандита Музолино.

Около 1896 года по селениям, раскинутым в этом самом округе, кочевал юноша лет двадцати или двадцати одного года, по ремеслу пыльщик, стройный и из себя недурной, хотя, как все сардинцы, невысокий и с оливковым цветом лица. То был веселый симпатичный малый, которого поселяне принимали очень приветливо и радушно, как и всех, впрочем, по обычаю этой гостеприимной страны. В одной из деревень юноше понравилась девушка из семейства Коццоли; он отправился перед закатом к источнику, куда женщины ходили за водой, выждал минуты, когда его красавица осталась одна, выскочил из-за кустов и признался ей в любви. Вероятно, признание вышло у него очень пылким и стремительным, что легко допустить, даже признавая всю честность его намерений и только принимая во внимание сардинский темперамент. Девушка испугалась, убежала и пожаловалась братьям, что пыльщик хотел ее погубить.

Сардиния гораздо более Сицилии отдалена от Африки, но обитатели первого острова еще более сицилийцев напоминают Отелло. Если для сицилийца честь жены, дочери или сестры — пункт помешательства, то для сардинца это символ веры. Сардинец, как Отелло, доверчив и, как Отелло, ревнив. Бедный крестьянин гостеприимно уложит вас спать у себя в избе, и так как у него всего одна комната, он не усомнится постлать вам солому рядом с настилкой, где спят его дочери, так как ему и в мысль не приходит, чтобы гость мог оскорбить хозяина в лице его драгоценнейшей святыни. И именно потому, если на следующий день вы где-нибудь за углом позволите себе поцеловать его смуглую дочку, и он это заметит, то он вас застрелит на месте со смирением и *résignation*¹ человека, которому не хочется на каторгу, но нечего делать, такова воля Мадонны.

Братья Коццоли взяли в подмогу своего зятя и на следующий день напали на несчастного пыльщика; тому пришлось бы очень плохо, если бы не выручил приятель (кажется, тоже супруг его сестры — трогательные примеры родственных чувств). Вдвоем они выстрелами прогнали Коццоли, так что пыльщик отделался одной раной от удара ножа. Через день или два старый Коццоли-отец был убит на пороге своего дома. Умирая, он назвал пыльщика; кроме того, шляпу последнего нашли на ступенях крыльца. На суде он клялся в своей невиновности и уверял, что шляпа его досталась сыновьям убитого в виде трофея при памятной стычке, последовавшей за объяснениями в любви. Но его засудили. Услышав приговор, он по-итальянски укусил от злобы себя за палец и сказал:

— Мне двадцать один год, и на двадцать один вы меня приговорили; это будет вместе сорок два. Молитесь Богу, чтобы я умер до выхода из тюрьмы.

Потом он объяснил, что отомстит председателю суда, присяжным, адвокату (который поленился защищать его лично и прислал какого-то заместителя) и свидетелям — по его словам, лжесвидетелям, среди которых главный был синдик (староста) села, где произошло убийство. Вскоре после того он бежал из тюрьмы. Отсюда и начинается история бандита Музолино.

За четыре года он успел убить четырнадцать из своих врагов; кроме того, за ним числится пятнадцать неудавшихся покушений. Ввиду этого славного прошлого, а главное,

¹ Смирение, покорность судьбе (*фр.*).

ввиду странной неуловимости Музолино против него и послана целая рать, устроившая на него настоящую охотничью облаву.

Но туземцы уверяют, что Музолино не сдается и теперь. Напротив, Музолино, по их словам, уже успел вырваться незаметно из цепи, так что, когда солдатики совсем сожмут свой круг, они увидят в его центре только своего собственного капрала.

Вообще, Музолино пользуется любовью населения, которое до того еще дико, что ношение оружия, запрещенное даже в Сицилии, пришлось для Сардинии разрешить. Здесь про Музолино рассказывают разные чудеса. Говорят, что он не только никого, кроме своих врагов, не убивает, но будто и никогда не грабит, напротив, где появляется Музолино, там прекращаются кражи, так как известно, что Музолино не любит воров. Чтобы насытиться, Музолино достаточно постучаться в любую хижину: его накормят и за честь почитут. Особенно любят его будто бы дети, потому что, встречая в горах ребенка, Музолино никогда не забывает погладить его по голове, дать поиграть ружьем и подарить горбатый сольдо, который приносит счастье.

Неделю тому, на глазах у карабинеров из облавы, родное село бандита с шумом и блеском отпраздновало свадьбу его младшей сестры, синьорины Чезиры Музолино. Пили за здоровье родственников невесты и шумно кричали *evviva!*¹

Но довольно о Музолино, честь и место монсеньору Фавье. Места, правда, осталось мало, но тем больше чести.

Монсеньор Фавье недавно прибыл в Рим из Пекина, где занимал самое видное место во французской духовной миссии и вместе с нею перенес знаменитую осаду во дворце британского посольства. Папа очень радушно принял монсеньора, вероятно, расспрашивал об успехах миссионеров и (так как всем известно, что успехи эти огромны), несомненно, похвалил и отпустил с апостольским благословением.

Теперь пекинский корреспондент «*Tribun'ы*» г-н Белькреди знакомит итальянскую публику с деятельностью монсеньора Фавье. Все то, что Белькреди передает о злоупотреблениях французских миссионеров, об их вызывающем пренебрежении к китайской святыне, словом, все то, что послужило главной причиной пожара, уже известно русским

¹ Да здравствует! (*итал.*)

читателям. «Пикантное» начинается с момента, когда была снята осада с посольств и начался праздник на улице европейцев.

Белькредди сообщает — и утверждает, что в Пекине все это знают и что об этом уже послан рапорт в Париж, — будто монсеньор Фавье сейчас же по освобождении послал во все концы Пекина китайцев-католиков, своих крестников, с поручением награть как можно больше *articles de Chine*¹ и награбленное снести ему. В то же время у невежественных союзных солдат монсеньор скупил за гроши все драгоценности, конфискованные ими по праву сильного. А засим поехал в Европу — сначала в Рим, для апостольского благословения, а затем в Париж — для генеральной распродажи.

Т.е. сначала соблюл невинность, а теперь хочет приобрести капитал.

Altalena

Одесские новости. 29.12.1900



Силуэты итальянской сцены

III. БЕНИНИ

Ферруччо Бенини играет только на венецианском наречии, и только репертуар этого наречия.

Не подумайте, что в Италии диалектальные литературы находятся в таком же непрерывном упадке, как у нас. Несмотря даже на то, что в Италии, по крайней мере, дюжина особых наречий, а у нас в двенадцать раз меньше, там о каждом местном диалекте заботятся в двенадцать раз больше. Не только литературы всех диалектов процветают, особенно поэзия, но повсюду, кроме Рима, на диалекте говорит даже лучшее и высшее общество. Поэтому у итальянцев и взгляд на диалектальные литературы особый.

Лучшее в этих литературах — театр. Гольдони все свои шедевры написал на венецианском наречии; недавно скончавшийся Берсецио оставил Италии бессмертную комедию на пьемонтском диалекте — «Злоключения господина Мелкосошкина»

¹ Китайские товары (*фр.*).

(«Le miserie de monsu Travet»), горькую историю из быта чиновничества. Процветание диалектальных театров относится не только к прошедшему: на венецианском, пьемонтском, ломбардском, болонском, неаполитанском, сицилийском наречиях ежегодно пишутся новые пьесы, о которых надо или говорить подробно, или вовсе не говорить; разве только читателям будет небезынтересно упоминание о прошедшей лет шесть тому назад по всей Италии сицилийской драме «Серная копь» («La Zolfara»), которую написал Джузеппе Джусти-Синополи, теперешний римский корреспондент «Одесских новостей».

О театре венецианском, в частности, я тоже не могу распространяться, потому что этот очерк посвящен исполнителю, а не произведениям. Попробую набросать в десяти строках главные черты венецианского диалектального театра.

Прежде всего, он глубоко национален. В то время как лучшие труппы, играющие по-итальянски, заполняют свой репертуар на три четверти переводами, венецианцы играют только оригинальные пьесы и, конечно, ничего от этого не теряют. В этих пьесах всегда изображается или сама Венеция, или венецианская область, так что характер симпатичного племени, населяющего лагуну, положил на все в них свой отпечаток. У Гольдони, у Галлины, у Пилотто выводятся только обыкновенные добрые обыватели, злодеи на сцене почти не показываются, и тем не менее отношения этих добрых людей всегда складываются в простую, трогательную, печальную драму. Действительно, венецианцы добры, кротки и потому сильно чувствуют все булыжники житейской мостовой, даром что в их городе мостовых нет. Но нрав у них все-таки веселый, отходчивый, и потому самое тяжелое положение на венецианской сцене постоянно и непременно разрешается счастливым концом, и зритель уходит растроганным, а не подавленным. Но такой счастливый конец никогда не бывает пошлым, так как «торжества добродетели» и «кары порока» вам не преподносят уже потому, что ни добродетели, ни порока во всей пьесе нет: есть только обыкновенные средние добрые люди да их исконный враг, имя которому — «обстоятельства».

Этот образцовый репертуар развозят по Италии две труппы. Одна — Драго-Прикато, очень недурна; другая, по безукоризненности ансамбля лучшая в Италии, гордится кроме того своим главою и директором Ферруччо Бенини.

Бенини — самый странный актер, которого я когда-либо видел. Не то поражает, что он играет самые разнообразные роли: у крупного, даже скажу больше — у настоящего артиста не может быть тесного «амплуа». Но странность Бенини в манере его игры. Он заходит дальше «простоты». «Простота» — в крови у всех итальянских актеров без исключения. Но Бенини отказался даже от национального итальянского богатства жестов и интонаций, богатства, которым, например, Дзаккони пользуется так щедро и расточительно. У Бенини есть две-три роли, требующие по замыслу сочинителя комической живости, и в этих ролях, конечно, он дает образцы той истинной итальянской *vivacita*¹, от которой и северянина подмывает в пляс. Но и здесь это — не больше как атрибут данного типа; главная же манера Бенини, то есть его способ передавать и иллюстрировать биение души, всегда остается совершенно иною. Она поразительна в своей недостижимой несложности. Вы не уловите, почему игра Бенини так захватывает, почему его речь так выразительна, когда он почти не меняет интонации, почти не шевелится; вы не уловите той мимической линии, которая отличает лицо Бенини опечаленного от только что бывшего перед вами лица Бенини довольного. И все-таки разница где-то есть, потому что, когда Бенини весел, зритель задыхается от хохота, когда Бенини доволен, зритель сияет, а когда Бенини тоскует, зритель глядит на него не моргая, в особенной позе, с особенным выражением и поворотом головы, которые умному актеру должны быть дороже рукоплесканий. Здесь уж прямо душа артиста говорит с вашей по телеграфу, без проводов.

Я приведу для примера «*Serenissima*»², комедию Галлины, в которой для Бенини создана роль старичка Видаля, обнищавшего потомка венецианских патрициев, попавшего в фактотумы богатой благотворительницы-англичанки, но довольного, жизнерадостного и полного детских иллюзий на счет почетности своего положения. Это именно одна из тех ролей, в которых требуется живость; седенький *nobiluomo Vidal*³ у Бенини выходит настоящей ртутью: он юлит по сцене в своем котелке

¹ Живость (*итал.*).

² «Светлейшая» — официальный титул бывш. Венецианской республики (*итал.*).

³ Дворянин Видадь (*итал.*).

и поношенном пальтишке с тальночкой и изящно вертит тросточкой, приговаривая: «Лучше и быть не может». Но когда дело доходит до передачи того, что творится на душе у бедного *pobiluoto*, юркость остается на втором плане, в стороне, а то *нечто*, неуловимое, непостижимое, может быть, полутонное изменение голоса или дрожь ресниц, мгновенно передает зрителю мельчайшие колебания в сердце нищего дворянина.

Другая странность Бенини в том, что он, хотя и артист первой величины, не увлекается так называемым толкованием роли. Эта мания теперь овладела всеми, кто причастен к сцене. Нет ни одной мало-мальски мыслящей «любительницы», которая бы не мечтала сыграть «Даму с камелиями» с каким-нибудь особенным «коленцем», совершенно новым, чтобы тем иллюстрировать «новое понимание типа». У артистов покрупнее это увлечение дошло до того, что на каждом шагу какое-нибудь хитрое «коленце» ударяет зрителя по глазам, назойливо крича своей надуманностью: «Я емь толкование роли!» Это расхолаживает, потому что обязанность зрителя — чувствовать, а не обсуждать. Когда этих «черточек» подпущено в меру (то есть очень мало), они только содействуют силе впечатления, но теперь ими так злоупотребляют, что они превратились в простые, дешевые выкрутасы. Их особенно много у Дзаккони, а еще больше у Муне-Сюлли, и в этом крупнейшие пятна двух редких талантов.

У Бенини есть такт — дар, который реже гениальности. Он знает, что «понимание» или «изучение» роли, так же как и *couleur locale*¹, историческая верность, декорации, костюмы — все это аксессуары, второстепенные вещи. Они нужны постольку, поскольку их требует талант, чтобы было ему где разгуляться, но не сами по себе. Право голоса на сцене должно исключительно принадлежать старой, сущей и вечной, правдивой, непритворной и не мудрящей искре Божией — таланту и чувству.

Altalena

Одесские новости. 1.01.1901

¹ Местный колорит (фр.).



НОВАЯ ОПЕРА МАСКАНЬИ

29 декабря (11 января)

Опера эта мало-помалу начинает оттеснять на последний план другие интересы. Римляне с нетерпением ждут 17 числа — как те, которые рассчитывают попасть на первое представление, так и те, которым до поры до времени придется только слушать дядюшкины рассказы о том, как вкусны гусиные лапки. А так как «Маски» пойдут вечером 17 января, кроме римского Костанци, еще и в театрах Милана, Турина, Венеции, Флоренции, Неаполя и Вероны, то можно сказать, что для всей Италии новая опера Масканьи является теперь важнейшим из интересов минуты.

До сих пор все, относящееся к музыке и тексту «Масок», держалось в строжайшей тайне. Но теперь остроумный издатель оперы, зная, что лучший способ подзадорить любопытство, это полуудовлетворить его, начал допускать местных газетчиков на репетиции и разрешил им кое-какие «нескромности» насчет либретто.

Последнее написал все тот же Иллика. Г-н Иллика хорошо владеет стихом, так что, когда ему дают готовый остов драмы и предоставляют облечь ее в рифмы, он исполняет эту работу образцово. Так, ему очень удалось либретто «Богемы» и «Тоски», потому что канву их исполнил присяжный и хороший драматург Джакоза. Но когда Иллика взялся сам выдумать либретто, у него получилась «Ирис» — нечто ужасное с драматической точки зрения. Зато на этот раз Иллика показал себя. Либретто подписано только им; вероятно, многое здесь принадлежит, по крайней мере в виде первой идеи, самому Масканьи. Как бы то ни было, содержание либретто в высшей степени оригинально и даже смело задумано.

Прежде всего, надо знать, что такое «Маски». Сценическое искусство в Италии в первые времена не знало написанных особым автором и наизусть разученных произведений. Кочующая труппа сообща придумывала канву драмы, сдабривала ее более или менее однообразными смехотворными приключениями и разыгрывала почти экспромтом, причем каждый исполнитель

сам сочинял слова своей роли. С течением времени некоторые типы, особенно полюбившиеся зрителям, вошли в традицию и стали повторяться во всех комедиях кочевых трупп. Таких типов накопилось множество; наиболее известные из них — Панталон (обыкновенно старичок, одураченный отец или рогатый муж), Пульчинелла (иначе Полишинель, полный близнец Ваньки-Рутютю), приказный крючок нотариус, влюбленный Арлекин, шустрая красавица Коломбина и т.д. У каждого из этих типов сохранялась своя неизменная форма: Пульчинелла немыслим без белого подпоясанного халата и колпака, у Паяца всегда набелено лицо, на Арлекине клетчатый наряд в обтяжку, а Панталон, весьма возможно, дал свое имя соответствующей части мужского облачения. Потому-то все эти традиционные типы догольдонианской комедии называются «масками».

Эти «маски» выведены в новой опере Масканьи.

Начинается она очень оригинально. Вы видите, что капельмейстер подымает палочку, занавес взвизгивает — и на сцене оказывается полный беспорядок: рабочие устанавливают декорации, а оркестр вместо увертюры начинает издавать ту разноголосицу, которая всегда предшествует приходу дирижера; вторые скрипки настраивают себя *pizzicato*, первые пробуют свои силы коротенькими пассажами, кларнеты отзываются отрывистыми звуками, точно откашливаясь, и контрабас гудит, стараясь уловить и уничтожить диссонанс в аккорде кварты с квинтой. Но так как все это столпотворение исполняется по нотам, принадлежащим остроумному перу Масканьи, то, верно, разноголосица будет связана в оригинальную гармонию.

Но почти сейчас же ее прерывает выходящий на неубранную сцену «импресарио»... Оркестр умолкает, и импресарио произносит пролог, в котором, вероятно, будет заключаться объяснение главной идеи оперы. Здесь, в Риме, это вступление будет сказано актером Луиджи Рази, который считается хорошим декламатором.

После речи импресарио на сцену входят актеры, еще в «партикулярных» платьях, и режиссер поручает каждому из них какую-нибудь роль с соответствующими наставлениями. Потом занавес опускается, оркестр играет увертюру, начинается первое действие, происходящее на площади перед домом богатого старика Панталона. Дочь его, прелестная и невинная

Розаура, влюблена в юношу Флориндо, но отец не хочет и слышать об их браке. На той же площади находится дом нотариуса, у которого есть молоденькая, бойкая и хитрая служанка Коломбина. У нее имеется жених, бродячий торговец Бригелла. Коломбина и Бригелла очень любят Розауру и Флориндо и решают между собою устроить так, чтобы старый Панталон дал согласие на свадьбу дочери с ее молодым ухаживателем. Но у Панталона другой жених на примете. Это — высокородный капитан Баландран по прозвищу Пугало (Spaventa), господин с изящными манерами, старающийся быть оригинальным и изысканным. Он появляется на площади в сопровождении своего слуги Арлекина, торжественно представляется Панталону, который бежит приготовить у себя дома все к встрече желанного гостя, своему слуге Тарталья велит пока занимать капитана. И заика Тарталья занимает гостя таким образом:

*Вот у-у-улица, а это
Пло-площадь, а вокруг все сте-сте-стены!*

Второе действие в доме Панталона, в зале, убранной с ужасным безвкусием разбогатевшего лавочника. Розаура и Флориндо поют страстный, но печальный дуэт: они потеряли всякую надежду, потому что Панталон хочет сегодня же подписать брачный договор дочери с капитаном Баландраном по прозвищу Пугало. Но Коломбина успокаивает влюбленную парочку: она и Бригелла все уладят. Пока Коломбина ждет прихода Бригеллы, Арлекин, слуга капитана Баландрана, большой гастроном, пробует объяснить ей в любви в таких выражениях: «Я люблю тебя, молодая полненькая курочка! Твой круглый бюст прелестней кухонной плиты; я смотрю на тебя и чувствую приступ аппетита». Но приходит Бригелла и прогоняет этого соперника. Бригелла добыл где-то чудодейственный «говорильный» порошок; он украдкой высыпает его в сосуд с эликсиром «Рожай-мальчиков», которым Панталон намерен угостить приглашенных по случаю свадьбы дочери. Появляются приглашенные — все «маски» — и хором восхваляют чистую и прелестную Розауру, олицетворяющую истинное итальянское искусство в противоположность гримасничающему и позирующему капитану Баландрану. Слуги разливают по бокалам вино, к которому Панталон велит подмешать эликсир «Рожай-мальчиков». Порошок Бригеллы мгновенно производит свое

действие — все хозяева, гости и служащие начинают неумолчно говорить, не слушая друг друга; даже Тарталья перестал заикаться. Приходит нотариус, но о составлении договора нечего и думать ввиду странного состояния всех присутствующих. Таким образом Розаура на время спасена.

Третье действие — в саду Панталона. Старик упорствует в своем желании отдать дочь за капитана Баландрана. Розаура пытается упросить самого капитана отказаться от ее руки, но напрасно. Тогда Бригелла обращается ко всем «маскам», которые накануне в доме Панталона так восторженно восхваляли Розауру, и уговаривает их всех переодеться капитанами Баландранами. Вся эта толпа лжебаландранов, в совершенстве подражая претенциозным манерам высокородного капитана, является к Панталону требовать руки его дочери. Старик в полном замешательстве, так как отличить настоящего капитана среди этой массы двойников решительно невозможно. Подымается драка, но тут приходит нотариус и успокаивает соперников, предлагая им «всеобщее разоружение». Панталон, потеряв надежду отыскать истинного капитана Баландрана, соглашается выдать дочь за Флориндо. Нотариус между тем овладевает бумагами капитана Пугала и вместо тех титулов, которыми хвастался Баландран, находит только счет трактирщика. Опера кончается новым гимном в честь «итальянской маски», которая вдохновенно поведала всему миру вечное искусство». Хор восклицает, обращаясь к этой отвлеченной «маске»: «Теперь ты воскресла, вновь полная правды и гуманности, одаренная бессмертными чарами; разбей же оковы роковой иноземной лжи и стань снова плодотворной, великой и истинно итальянской».

В последних словах достаточно выяснена идея этого остроумного символического либретто. История прелестной Розауры и ломающегося капитана Баландрана с его дутым аристократизмом — эмблема борьбы итальянского искусства с модными веяниями «конца века», манерными, неискренними и неестественными. Масканьи празднует в своей новой опере освобождение итальянской «маски», единственным идеалом которой были «Правда и Искусство», от этих нечистых экзотических примесей.

Altalena

Одесские новости. 3.01.1901



Рим

ЭКСПЕДИЦИЯ ГЕРЦОГА АБРУЦЦСКОГО

1 (14) января

Спешу передать вам вкратце содержание отчета о странствованиях «Полярной звезды», прочитанного сегодня самим герцогом Людовиком и капитаном Каньи в чрезвычайном заседании Географического общества в присутствии королевской четы, кузенов герцога, членов дипломатического корпуса и избранной публики.

После краткой речи профессора Далла Ведова, председателя Географического общества, представившего аудитории референтов, на кафедру взошел герцог Аbruццкий и познакомил слушателей с первой частью своей экспедиции. Огни в зале при этом были потушены, и электрические лучи падали только на белый экран, предназначенный для иллюстрирования рассказа.

«Stella Polare»¹ 12 июня 1899 года (нов. ст.) покинула Христианию и 1 июля была в Архангельске, где запаслась собаками в количестве 120 штук — маленьких, тощих, безобразных, но крепких и нечувствительных ни к холоду, ни к голоду, ни к усталости. После этого судно отправилось на север и 21 июля коснулось мыса Флоры, откуда, собственно, и началась настоящая экспедиция, целью которой было исследовать северную часть архипелага Франца Иосифа, узнать, существует ли, как предполагалось, земля в море королевы Виктории, прозванном так путешественником Джексоном, и главным образом проникнуть как можно далее на север.

Добравшись до моря Виктории и обогнув остров принца Рудольфа, экспедиция не нашла ничего, кроме льда, и не открыла никаких следов предполагаемой земли. Пришлось остановиться для зимовки на северо-западном берегу острова принца Рудольфа, в бухте Теплиц-Бэй. Здесь же «Звезду» сковали льды, давление которых было так сильно, что в первых числах сентября остова не выдержал и дал пролом правого бока. Вообще зима была лютая; ветер в два дня изорвал трехцветный флаг на мачте, оставив только зеленую полосу. Но зато это был цвет надежды, — замечает герцог Луиджи.

¹ «Полярная звезда» (итал.).

Около Рождества приключилось грустное событие, стоившее молодому и отважному предводителю полярной экспедиции двух пальцев на руке: во время поездки на собаках вдвоем с капитаном Каньи сани упали в ледяную расщелину и герцог искалечил кисть так, что два пальца пришлось отрезать из опасения антонова огня. Но тяжелее всего было для молодого принца то, что после операции ему нельзя было принять участие в главной половине путешествия. Времени было мало, и пришлось покориться. Герцог передал честь предводительствования экспедицией капитану Умберто Каньи, а сам остался в Теплиц-Бэе.

О похождениях экспедиции рассказал сам Каньи, которому герцог в этом месте уступил кафедру. Отчет Каньи так интересен, что я передам его, по возможности, собственными словами капитана.

«Провизия состояла из сухарей, кофе, чая, молока, соли, масла и мяса, разделенных на порции; врач Кавалли установил норму общей дневной порции пищи в 1400 граммов. 11 марта все было готово, и наша экспедиция, трогательно попрощавшись с герцогом, тронулась в путь по направлению к северу.

Я разделил отряд на две группы, поручив командование первой лейтенанту Куэрини (Querini), а второй — доктору Кавалли.

Термометр показывал от 40 до 50 градусов ниже нуля. Особенно холодна была ночь с 15-го на 16-е: ртуть опустилась до последнего деления термометра, то есть до 52 градусов. Лучшая из наших собак отморозила лапу, и пришлось ее пристрелить.

Главной задачей для нас было не мерзнуть, а высшим ежедневным наслаждением считалось держать в руках чашку с бульоном, пока последние капли на дне ее не превращались в лед. Наше верхнее платье было все время покрыто настоящей туникой из мерзлых капель, что подчас становилось невыносимо. Только ногам было тепло благодаря особой финской обуви: толстая кожа сапог наполнялась сухой травой, которая плотно облегла ногу, не пропускала влаги и не выпускала тепла.

Больше 6—7 часов в день нельзя было идти, и, кроме того, все время приходилось прокладывать дорогу среди сугробов, так что больше 7 миль ежедневно нам не удавалось проходить.

Тяжелые условия похода побудили меня отправить обратно ту часть отряда, которая, как было условлено с герцогом, должна была вернуться первой. 23 марта в 10¹/₂ час. утра лей-

тенант Куэрини, проводник Олье и норвежец-машинист Стокен вручили нам часть ненужных им припасов, главным образом из одежды, и расстались с нами. Никто не предчувствовал, что мы больше никогда не увидим этих несчастных товарищей по борьбе.

31 марта от нашего каравана отделилась вторая возвратная группа — доктор Кавалли, проводник Савуа и матрос Карденти, которые удалились по направлению к югу, крича нам: "Счастливого пути!" Но мы были не так радостно настроены: мы думали о трудностях, ожидающих и нас, и их — их еще больше, чем нас. Наоборот, о Куэрини и его товарищах мы совсем не беспокоились, считая их уже на зимней квартире в Теплиц-Бэе.

И мы продолжали свою дорогу по стрелке компаса, выдерживая подчас долгую, даже двухсуточную блокаду среди снегов».

При Каньи оставались только три спутника — проводники Птига (Petigaz) и Феруйе и матрос Канена. С их согласия он уменьшил дневные порции (которые с начала пути были рассчитаны на 47 дней вперед и столько же обратно), чтобы иметь возможность продолжать поход. Между тем несколько потеплело и стало возможно ускорить движение, хотя появились во льду трещины, принуждавшие часто искать длинных обходов, а иногда приходилось даже нести сани в руках. Бывало и то, что через трещину устраивался мост из ледяных полос. Таким образом, удавалось оставлять ежедневно позади себя от 10 до 15 километров (8—10 верст).

«Вечером 17 апреля (продолжаю от лица Каньи) мы дошли до 84-го градуса северной широты; перед нами лежала бесконечная равнина. Нашей мечтой было достигнуть 87-го градуса. Но подсчет припасов, повторенный больше двадцати раз, доказал мне несбыточность этой мечты. Поэтому я решил ограничиться, по крайней мере, 86 градусами 30 минутами, чтобы все-таки опередить Нансена. Он, проникнувший на север, как известно, дальше всех предшественников, достиг только 86 градусов 14 минут.

23 апреля снова подул западный ветер, скоплавший кучи льда и сугробы снега. Путь снова стал невыразимо труден. Однажды вечером я собрал своих спутников и спросил их, хотят ли они остановиться. Все они единодушно ответили: "Вперед", — и мы продолжали поход.

Тут началось для нас странное существование: мы все точно застыли и внутренне остолбенели в одном сознании близкого успеха. Мои воспоминания об этих беспредельных пустынях похожи на сон, до того машинальна была наша жизнь во льдах, вся сводившаяся к мерной безмолвной ходьбе.

Наконец, вечером 25 апреля мы дошли до 86 градусов 33 минут северной широты. *Нансен и все его предшественники были опережены.* Такая победа нас оглушила; мы долго стояли молча, пока я не закричал *evviva*¹ в честь короля. Мои спутники подхватили этот крик, и я укрепил во льду трехцветное итальянское знамя».

Наутро экспедиция двинулась обратно. Припасов оставалось только на 30 дней, между тем как путь, который теперь следовало пройти, мог потребовать снова тех же 45 дней. Маленький отряд двинулся обратно по своим же следам, которые в снегу и льду ловко открывала собака *Мессикомо*. Но 28 апреля новый широкий канал заставил Каньи избрать новый путь, свернув к западу. Собаки были утомлены и сильно отощали; весь отряд вообще начинал чувствовать последствия урезанных порций. 1 мая они дошли до 85-го градуса, но 2-го числа пришлось сделать продолжительный привал — во-первых, из-за ужасной метели, во-вторых, из-за болезни самого Каньи. Он отморозил часть пальца. Врача не было. Каньи сам ампутировал себе палец и через два дня был готов в дорогу.

Температура поднялась до 16 ниже нуля — бедным путникам при такой благодати казалось, что они чуть ли не у себя в Италии. Кроме того, их окрылила близость цели: 8 мая они были в ста милях от острова, где оставили «Звезду». За эти двенадцать дней обратного пути они прошли 170 миль.

Но отсюда возвращение пошло гораздо медленнее, а тут грозила близкая оттепель, что не мешало частым снежным метелям погружать путников в холодный пух чуть ли не до самых плеч. Через трещины приходилось перебираться, нередко принимая ванны в ледяной воде. Припасы истощались: сухари совсем вышли. Собак уже кормили... собаками.

«Мы встретили первое июня (продолжает Каньи) на ледяном островке, в непередаваемых мучениях, телесных и духовных.

С 8 июня мы питались уже исключительно собаками, а живым их подругам приходилось довольствоваться костями и кишками. Только зубы и оставались...

¹ Да здравствует, ура! (*итал.*)

10-го, в воскресенье, Птига заметил землю, и мы отпраздновали это событие последними 60 граммами кофе, из которых вышло у нас целых 3 литра напитка. Тем не менее мы нашли свой кофе вкусным и крепким.

13-го у нас остались только 10 собак и только одна кирка для разбивания льда — остальные сломались.

20-го мы снова попали на оторванную льдину в двух-трех милях от земли. Мы пережили ужасные минуты. Течение понесло нашу льдину прямо на огромную ледяную гору; мы успели вскарабкаться на последнюю, а льдина, с которой мы спаслись, разбилась на маленькие куски».

21 июня в десять часов утра отряд Каньи дошел до стоянки герцога, исполнив свою миссию — проникнул на север далее всех предшественников. Здесь Каньи застал доктора Кавалли с товарищами.

Но о Куэрини, Олье и Стокене не было ни слуху ни духу. Они бесследно пропали во льдах полярной пустыни.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 8.01.1901



Рим

3 (16) января

Географическое общество преподнесло всем участникам экспедиции «Stella Polare» по медали. Герцог Абрुццкий получил золотую, а капитан Каньи — таков свет — серебряную. Остальные довольствовались бронзой. Кроме медали, герцог Людовик получил от Болонского университета почетный диплом доктора физико-математических наук. Наконец, римская дума в чрезвычайном заседании единогласно пожаловала ему, рожденному в Пьемонте, римское гражданство. Это считается очень высокой честью, особенно в глазах коренных римлян, которые до сих пор инстинктивно считают себя чином выше тех, кого презрительно называют *итальянцами* или *бугзуррами* (северянин, нечто вроде «кацапа»). «Sso' romano, sso' ar Campidojjo» (я римлянин, я записан на Капитолии, т.е. в муниципальном архиве), — говорит здешний простолюдин с гордостью принца крови, и он прав, если для настоящего принца крови римское гражданство является честью.

В то время как герцог Абруццкий читал свою *conferenza*¹, снаружи ворота Collegio Romano² были окружены стражей и толпой любопытных. Сквозь эту толпу внезапно стал продираться некто неизвестный с большим букетом в руках. Его остановили и спросили: кто, куда и откуда.

— Мне мой хозяин велел отнести этот букет. Пустите. Ведь здесь читают лекцию? — отвечал он на местном наречии.

Загадка стала еще темнее, когда из букета вынули карточку с надписью: «От итальянских студенток». Трудно было предположить, чтобы итальянские студентки вдруг обнаружили такой взрыв географического энтузиазма. Наконец, кто-то догадался спросить у посланца:

— Для кого ж эти цветы?

— Для той барышни, что читает сегодня лекцию.

Тут только окружающие догадались, в чем дело, и направили человека с букетом в университет. Цветы предназначались для синьорины Терезы Лабриола, которая в этот же день и час должна была начать свой курс философии права.

Г-жа Лабриола — видный пионер женского дела в Италии. Она первая в своей стране получила диплом доктора права и даже пыталась проникнуть в адвокатское сословие. Ввиду того, что закон прямо не запрещает женщинам заниматься адвокатурой, решение вопроса зависело от корпорации. Последняя не оказалась настолько любезной, чтобы создать прецедент, грозивший увеличением и без того огромной конкуренции: г-же Лабриола было отказано.

В скобках: это, конечно, не делает чести ни образу мыслей, ни великодушию здешних присяжных поверенных, но не следует забывать, что самосохранение — прежде всего. В Италии на 30 миллионов населения 20 университетов, которые ежегодно высыпают на поверхность страны такое множество кандидатов права, что больше половины их не могут и мечтать о юридической практике и должны искать службы в казенных или частных учреждениях за 100 франков в месяц. При таких условиях прирост конкурентов является очень неприятной угрозой. Так что за адвокатской корпорацией, отвергнувшей женщину, нельзя не признать смягчающих обстоятельств. Говорю это не в оправдание, а только в защиту.

¹ Лекция, доклад (*итал.*).

² Римский колледж (*итал.*).

Теперь г-жа Лабриола получила первую в Италии женскую юридическую кафедру. В слушателях у нее не будет недостатка, так как она читает обязательный предмет; по крайней мере, на первую лекцию собралась такая толпа, что самая большая аудитория едва вместила половину, а остальным пришлось уйти. Судя по такому началу, можно рассчитывать, что г-же Лабриола удастся собрать на свои лекции и студенток, которые обыкновенно усердно избегают юридического факультета.

Тереза Лабриола — дочь известного социолога, профессора Антонио Лабриола, которого в одном из прошлогодних писем я имел честь представить читателям в его сфере — за мраморным столиком кафе Араньо. Мать ее — немка. Г-жа Лабриола еще очень молода, но успела уже напечатать несколько статей по вопросам юридической философии. Ей сулят большой успех и почтенную ученую будущность.



Политика следует верещагинскому девизу: на Шипке все спокойно. То есть палата празднует каникулы, и министерство ниоткуда не подвергается прямым сокрушительным ударам. Зато оно само по себе разрушается, и, несмотря на предосторожности, слухи об этом проникают в печать. В кабинете нелады. После ухода министра-казначея Рубини казну хотели поручить министру финансов Бруно Кимирре, но раздумали и отдали этот портфель Финали, члену Государственного совета. У Висконти Веноста, очевидно, вышли крупные несогласия с коллегами, потому что кто-то из этих коллег — «кто-то», которого газеты не называют, — стороной предлагал портфель иностранных дел депутату Соннино, вождю консерваторов-реакционеров. Соннино отказался, потому что рассчитывает на звание министра-президента; Висконти Веноста, узнав о том, как без его ведома распоряжаются его портфелем, не скрыл от Саракко своего сильного неудовольствия. Словом, кабинет считается *moriturus*¹.

Если он падет, то выбор новой комбинации будет пробным камнем, по которому страна сможет оценить политические взгляды и стремления молодого короля. Выбор будет очень труден, если руководствоваться желанием успокоения и умиротворения страны после недавних неурядиц. Соннино неудобен как

¹ Обреченный на смерть (*лат.*).

слишком ярый реакционер, к тому же побитый в лице provvedimenti¹, внушенных им генералу Пеллу, вызвавших обструкцию и, наконец, взятых обратно. Рубини нежелателен ввиду неопределенности окраски: за ним числится и сближение с покойным Каваллотти, и политика, приведшая к майским волнениям 1898 года. Имя Джолитти слишком напоминает о скандальном крахе римского банка. Луццатти не понравится влиятельным классам как фанатик прогрессивного налога и т.д.

Общественное мнение, кажется, удовлетворилось бы комбинацией вроде той, какую составил Вальдек-Руссо: сплав из всех главных групп центра, правой и левой, из которых придется только исключить республиканцев и социалистов. Такое изъятие необходимо с точки зрения достоинства короны. Но, с другой стороны, без поддержки двух наиболее деятельных третей крайней левой эта комбинация будет лишена своего скрепляющего и объединяющего значения.

В конце января, вероятно, будет официально объявлено о беременности королевы Елены. Факт установлен уже и теперь, но, по обычаям Савойского дома, только по прошествии четвертого месяца церемониймейстер уведомляет страну о событии письмом на имя президента сената.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 11.01.1901


Рим

10 (23) января

Провал или успех? Вопрос очень трудный. Во всяком случае, скорее провал.

Только в Риме, где дирижировал сам композитор, первое представление «Масок» прошло со средним успехом. В остальных пяти городах (в шестом, Неаполе, спектакль не мог состояться по болезни одного из исполнителей) — полное фиаско, со свистками и воем. Особенно не понравились публике пролог, оказавшийся действительно скучным, ненужным и неостроумным, и третье действие. Где-то, кажется, в Турине, в зрительном зале под конец послышались крики: «Да это мистификация!» Вообще, многие в полном недоумении решили, что новая опера

¹ Меры, мероприятия (*итал.*).

или большая часть ее — не что иное, как шутка, которой маэстро хочет одурачить публику в отместку за насмешку над «Ирис». Но ведь «Ирис» уже стала любимой оперой — за что же месть?

На Масканьи этот единодушный ропот подействовал. Он сейчас же окончательно выкинул пресловутый пролог, так что теперь опера бесхитростно, *tout bonnement*¹ начинается с увертюры, и внес некоторые сокращения в остальное. В таком исправленном виде я слушал вчера эту нашумевшую новинку.

За этот отзыв берусь с великим страхом и нерешительностью, как подобает полному невежде в музыкальном отношении. Музыка Масканьи в последнем периоде вообще очень трудна, а здесь трудность еще увеличивается приноровленным к содержанию старинным стилем. Здешние критики, например, указывают на влияние Чимарозы, которого мы, профаны, едва знаем по имени и чуть ли даже не считаем живописцем. Кроме того, я прослушал оперу только один раз, правда, напрягая все время внимание, но все-таки один раз. Этого мало. В «Ирисе» есть серенада Иора («Открой окно, Иор тебя зовет») — чудная вещь, которую теперь поют во всех домах и бренчат на всех фортепьянах. Но для того чтобы понять ее оригинальную мелодию, публике понадобилось много времени: сначала ее почти никто не заметил, кроме больших знатоков и ценителей. Нам, профанам, серенада эта показалась просто неудавшейся попыткой создать что-то новое, небывалое. И только с течением времени, при повторениях, мы невольно стали вслушиваться в ноты, начали понемногу улавливать нити мелодий и, наконец, увидели и оценили ее во всех изгибах ее красоты. «Маски» еще трудней, употребляя обывательский музыкальный термин, чем «Ирис». Какая разница с «Тоской» Пуччини, который гораздо более Масканьи прост, искренен, доступен... и, кажется, более талантлив.

Одним словом, мой отчет выйдет поневоле скороспелым, но делать нечего: и без того это письмо, принимая во внимание здешние обычные и южнорусские нынешние почтовые порядки, Бог знает, когда получится у вас.

Общее впечатление, данное мне оперой, сводится к максимуму раздражения и минимуму удовлетворения. На каждом шагу оркестр или певцы начинают музыкальные фразы, первые же такты которых заставляют насторожиться, приготовиться к блестящему развитию этого мелодического вступления, а взамен

¹ Попросту; без затей (*фр.*).

того получается разочарование: обрывок мелодии исчезает в каком-то неестественном, неподходящем продолжении. Слово Масканьи нарочно, в угоду своей оригинальности, заставляет каждую мелодию свернуть с того пути, который подсказывает музыкальная совесть; цель этого — поразить новизной приема — вполне достигается, но зато нет *ни одной* строки, которая бы захватила и «унесла» бы слушателя, как это бывает у менее мудрствующих композиторов.

Есть места, где эта манерность дает себя знать меньше. Такова увертюра, довольно длинная, и особенно следующее за ней *présentation*¹ масок публике — единственное, что осталось от злополучного пролога; таков комически бравурный выход капитана Баландрана-Пугала (рассчитываю, что снежная блокада уже снята с Одессы, и вы уже получили мое письмо с изложением либретто) и еще несколько отдельных мест, которые перечислять не стану. Упомяну только о танце равапа во 2-м действии. Это — характерный танец плавных движений, приседаний и *croisez*². Масканьи удачно выдержал его несложную изящную музыку в староитальянском стиле; кроме того, в такты менуэта вправлен небольшой мадригал («я — тучка, озаренная тобой»), который Флориндо поет своей даме Розауре, — несколько прелестных, полных чувства и совершенно национальных фраз а *variazioni*³. Следующая за «паваной» бурная «фурлана» не производит никакого впечатления, а конец действия — шумная сцена всеобщего переполоха — даже в Риме не прошел без шиканья.

Немало в опере и таких мест, которые больше всего раздражают и даже злят слушателя, потому что он как бы чувствует или предчувствует их красоту, но пока, с первого раза, они ничего не говорят его сердцу. Конечно, здесь виноват неразвитый слушатель, а не маэстро, хотя это далеко не единичное впечатление. К таким местам я отношу оригинальную «серенаду серенад», которую в 3-м действии Флориндо поет под окном у Розауры. В каждом ее переливе чувствуется, сколько души и творческой муки вложил в эту песню композитор, но... пока только.

Есть зато и ужасные ненужные длинноты, и скучные общие места, и повторения отдельных моментов из прежних опер (газеты намекают, что и заимствования из чужих), и другие недо-

¹ Представление (*фр.*).

² Круазе — танцевальное па (*фр.*).

³ С вариациями (*итал.*).

статки, и этих пятен так много, что при не вполне удачном подборе исполнителей не удивительно, если где-то в Турине или Генуе часть публики приняла всю оперу за мистификацию.

Но главная ошибка, из-за которой «Маски» приходится бесповоротно записать в число совершенно неудавшихся опер, это — либретто. Каюсь: ознакомившись с ним по изложению содержания в газете «Fanfulla», я обмолвился добрым словом по адресу г-на Иллика. Но одно дело — сюжет (принадлежащий к тому же больше самому Масканьи, чем либреттисту), а другое — изложение. Последнее совершенно никуда не годится. Остроумия, без которого маски немислимы, у Иллика не оказалось (это, впрочем, было уже видно по «Богеме» Пуччини), и он заменил его одними потугами. Качество этих потуг вы оцените по следующему примеру. Бригелла, объясняя состав говорильного порошка, перечисляет: парламентаризм, Китай, вооруженный нейтралитет, антисемитизм — это во дни оны, во времена масок! Недостает только имени «Дрейфус». Прибавьте к этому, что говорильный порошок по-итальянски *polverina parlamentare*, и вы поймете, что за путаница времен и стилей, убивающая всякую иллюзию, царит в этом либретто... Кажется, такого фиаско Иллика еще не видал.

Завидна судьба этого стихотворца. Он прежде служил во флоте, потом бросил море и поплыл по водам журналистики и театра. Когда ему ни здесь, ни там не повезло, его принял под свое крыло всемогущий миланский издатель Рикорди, собственник всех выдающихся итальянских опер, от «Трубадура» до «Тоски». И теперь композитор, желающий вступить в переговоры с Рикорди, должен волей-неволей заказать либретто Иллика — так хочет нога синьора Рикорди. Вообще последний — точно взят из Островского и переведен на итальянский язык: всем памятно, как он в прошлом году, из одного самодурства, с криком и скандалом прогнал с генеральной репетиции «Тоски» всех журналистов, приглашенных самим Пуччини.

Негодность либретто увеличила трудности и без того нелегкой задачи исполнителей. Правда и то, что — по крайней мере, в Риме — артисты попались все посредственные, даже очень посредственные, особенно со стороны игры. Ни у кого — за одним исключением — и в помине не было того простодушия и комизма, которые должны отличать маску.

С живым удовольствием отмечу, что единственным исключением — и это признали все местные газеты — явился ваш знакомец и любимец маленький г-н Дадди, игравший Арлекина,

слугу капитана Пугала. Г-н Дадди, по словам «Tribuna», оказался настоящей находкой, даже откровением. Он один сумел искренно и весело изобразить настоящее создание народного юмора — плутоватого Арлекина, вечно прыгающее, пестро одетое, лакомое и проказливое существо.

Но одна ласточка, да еще второстепенная, весны не делает. Партнеры г-на Дадди почти все слабоваты, либретто совсем плохо, музыка — не шедевр, и если римляне все-таки «принимают» оперу, то — рискну предположить — этому причиной присутствие самого Масканьи в качестве дирижера: *success d'estime*¹.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 17.01.1901



Рим

Д. ВЕРДИ

14 (27) января

Вы в России едва ли можете представить себе, что значит Джузеппе Верди для Италии. Объяснить это трудно, потому что перевода для слова *venerazione*, соединяющего понятия преклонения, обожания, религиозного почтения к седине и множества других оттенков, нет в русском языке.

«Сила судьбы» шла в первый раз в Петербурге в присутствии императора Николая Павловича. «Дон Карлос» увидел свет на сцене парижской Орéга в присутствии Наполеона и Евгении. «Аида» была впервые поставлена в Каире в присутствии египетского хедива, который за такое первенство заплатил сто пятьдесят франков. Эти три факта, о которых помнит каждый итальянец, являются напоминанием того, что, может быть, не было еще в Италии человека, который так беспредельно широко, по всем уголкам цивилизованного мира и поистине от подвалов до дворцов, распространил бы славу и честь итальянского имени, как Верди. Великому патриотизму итальянцев отрадно сознавать, что в России или в Египте музыка Верди — итальянская музыка — знакома, понятна и лю-

¹ Успех у знатоков, не у широкой публики (*фр.*).

бима так же, как в Риме, и, значит, все эти чудные, с детства дорогие нам арии представляют собою такой язык — такой итальянский язык, — на котором говорит весь мир.

«Весь мир» — это слово всегда употребляется очень приблизительно, и все-таки в этом случае оно ближе к истине, чем когда-либо. Не станем и сравнивать популярность великого композитора с популярностью великих писателей: разница слишком велика и всем известна. Мало того, что читателей в пять раз меньше, чем слушателей, — из этих читателей половина не согласны с идеями великого автора и потому не признают и его гения. Но сравните Верди с другими оперными композиторами, произведения которых тоже облетели весь мир: большая часть ниже его по дарованию, почти все бесконечно уступают ему в мощной плодовитости творчества, а те, чей талант, может быть, и выше гения Верди, подняли вокруг своего имени слишком много споров, чтобы быть понятными для всех. Вот почему Верди — величайший из популяризаторов и демократизаторов музыки.

И какой музыки! Новое время приносит новых птиц с новыми песнями: теперь Италия, а за нею вся Европа, вместо Верди напевает и насвистывает отрывки из «Сельской чести», «Паяцев», «Тоски», «Лозэнгрин», «Вертера». Но я никогда не забуду одной сцены в мастерской маленькой книгопечатной артели. Наборщики, собравшиеся, как всегда в рабочей среде, с разных концов Италии, сосредоточенно постукивали свинцовыми буквами и все в унисон насвистывали вальс Мюзеты. Они сами и мы, посетители, заслушались прелестной, всем знакомой мелодией. И вдруг за окном, но далеко, в другом дворе, невидимая шарманка затянула что-то другое, тоже очень знакомое, но настолько непохожее на песенку Мюзеты, что мы переглянулись удивленно, точно спрашивая друг у друга, откуда это, а наборщики один за другим замолчали. Шарманка играла попури из «Трубадура», из затасканного и надоевшего «Трубадура», и нам всем — простите великодушно — бедный Пуччини показался вдруг таким маленьким и дешевеньким... Шарманка замолчала или заиграла ту же Мюзету — я не помню, но помню что *proto* (метранпаж) оттолкнул от себя набор и вздохнул на всю мастерскую:

— *Quella sì ch'è e la musica!*¹

¹ Вот она, настоящая музыка! (*итал.*)

Конечно, мы были несправедливы к Пуччини, потому что он совсем не маленький и не дешевенький композитор. Но хрустальной искренности вдохновения, но чувства, идущего прямо из души в душу, всего того, что есть у Верди, эти «новые птицы» не дают. Их музыка стала чем-то вроде экзамена: кто ее понимает, получает аттестат зрелости; и, наоборот, считается необходимым известный ценз, некоторое «благородство» вкуса, чтобы вполне оценить «новые песни». А демократ Верди пустил к себе в театр встречного и поперечного, особенно в Италии, где на его операх бывал и маленький чистильщик сапог, и старый полуночный тряпичник, он же собиратель окурков, — где эти оперы видали сцены деревянных балаганов в крохотных местечках. Нет Ноева потомка, которому была бы непонятна эта музыка, и потому-то над седой головой Верди скрещивалась и соединялась такая беспримерная в истории человечества масса симпатий, точно лучами или токами сходящихся отовсюду, где известно слово «музыка», в одну точку, к одному магниту.

Этот магнит находился в Италии, это была сама Италия; говоря о манере Верди, нельзя утешаться обычными возгласами: «Он не умер, он живет в своих творениях», — нет, Италия с его смертью понесла огромную потерю, утратила один из своих великих монументов, связывавший и роднивший ее узлами любви, благодарности и преклонения с другими народами.

Эта утрата велика, тяжела... и незаменима.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 20.01.1901



Об актерской оседлости

Письмо из Рима

Пишу вам после полуночи под свежим впечатлением рукоплесканий, только что отгремевших на бенефисе Новелли. Для другой столицы, конечно, обыкновенный бенефис артиста не мог бы считаться настолько выдающимся событием, чтобы корреспонденты оповещали о нем иностранную публику. Но Рим — иное дело: здесь бенефис Эрмете Новелли принял

размеры настоящей муниципальной, официозно-городской демонстрации. Она подготавливалась уже за неделю, так что капитолийская дума успела собраться, обсудить и преподнести гениальному артисту роскошный венок и подарки от муниципалитета; министр народного просвещения Галло, не успев из-за дел попасть в театр Valle, прислал бенефицианту поздравительную телеграмму, на которой подписался министром. Новелли, величайший из современных артистов Италии, если не считать Сальвини-отца, всегда, конечно, пользовался любовью публики, но никогда его бенефисы не носили характера подчеркнутой официальной манифестации. Дело в том, что, как я уже сообщал, Новелли основал в театре Valle «Дом Гольдони», первый в Италии опыт *осеглой* образцовой труппы, и римляне решили достойно поблагодарить его, показав, что они поняли и оценили всю важность и все значение такого новшества. Иными словами, этот бенефис, походивший скорей на юбилей, должен был выразить собой: артист Эрмете Новелли, ваша идея блестяще удалась, привилась и пустила корни в нашем городе; мы вам очень благодарны и просим вас продолжать ваше победное шествие по этому новому пути.

И действительно, великолепный бенефис все это выразил. Но вопрос в том, насколько это все правда, и не ошиблись ли римляне, утверждая, что новшество Новелли привилось и пустило корни. Мне, как иностранцу, дано взглянуть на этот вопрос со стороны и без всякого увлечения; попробую ответить на него, тем более что в принципе он для русской публики еще важнее и существенней, чем для здешней.

Но прежде всего справедливость требует того хоть маленького отчета о художественной стороне бенефиса. Артист выбрал для своего вечера не комедию Жана Экара «Папаша Лебоннар», как предполагали все, зная, что в этой пьесе, извлеченной им из пыли забвения, Новелли поистине неподражаемо хорош. Он вместо этого оказал честь русской литературе, выбрав тургеневского «Нахлебника». Я видел в роли Кузовкина Э. Дзаккони и потому боялся, что Новелли исковеркает пьесу, приделает к ней уродливый конец — смерть старого нахлебника. Но мне уже случилось на столбцах «Одесских новостей» указывать на тонкий художественный такт и вкус Новелли: ему трогательный отъезд старика, ошачливленного одним поцелуем дочери, не показался слишком слабым, неэффектным финалом. И действительно, этот финал и все вообще второе

действие Новелли проводит поразительно. У нашей братии, театралов *ex officio*¹, проводящих в театре по тридцати вечеров в месяц, обыкновенно нервы затвердевают настолько, что не испытываешь никакого волнения в самых сильных местах драмы, и мы оцениваем игру артиста только головой, особенно, если пьеса смотрится не впервые. Редко-редко выпадает и на нашу долю праздник, когда удастся засмотреться на актера до того, что почти забываешь о факте своего собственного присутствия. Для меня таким редким праздником было второе действие «Нахлебника». Рассказ Василия Семеныча — трогательное сплетение любви к умершей женщине, ненависти к ее мужу и опасения оскорбить дочь, и особенно сцена прощания, когда Кузовкин отрекается от своих пьяных речей, — это картины, которых во всю жизнь не забудешь. Как мог Новелли до такой глубины изучить гамму человеческой речи и мимики? Что за сверхъестественное чувство помогает ему среди однообразных строк отпечатанной роли так разобраться во всем и для каждого слова, не пропуская ни одного, найти породившее его чувство и тот тон, жест, изменение лица, которые одни только могут выразить и передать это чувство? И каким образом все следы этой страшной аналитической работы, все леса постройки исчезают на сцене, так что ни одна мелочь не покоробит нас своей надуманностью, но все действие течет так плавно и естественно, точно это жизнь, а не театр? Тайна гения, наполняющая почти благоговением всякого, кто вдумается в ее непроницаемое величие.

После «Нахлебника» Новелли прочел один из тех маленьких монологов перед опущенным занавесом, которые составляют его специальность. В этом роде у него нет соперников. В его репертуаре масса таких сценических рассказцев, то трогательных, то смешных.

Третьим шел бесшабашный французский фарс, где бенефициант сыграл субъекта, с голоду нанявшегося в переводчики при парижской гостинице, не зная ни одного языка. Веселая комедия — другая сторона таланта Новелли. Когда мне случается смотреть его в таких ролях, я всегда ужасно жалею, что «Ревизор» не знаком итальянской сцене. Новелли был бы великолепным городничим, какого, может быть, и в России не видели.

¹ По обязанности (*лат.*).

Воздавши должное таланту артиста, возвратимся к вопросу об идее новатора.

Обыкновенная система итальянских артистов такова: они кочуют по всем более или менее выдающимся городам королевства, нигде не оставаясь более месяца-двух. Новелли решил отныне проводить шесть месяцев подряд (главный сезон) в Риме, в остальное время он будет частью отдыхать, частью наезжать гастролером в другие города. Эту систему можно назвать русско-французской, так как во Франции и у нас она проведена строже и последовательней, чем где бы то ни было.

Разница результатов такова. В Италии можно насчитать, по крайней мере, 20 городов (а для Италии это много), рассеянных по всем частям полуострова, публика которых знает и Дузе, и Сальвини, и Новелли, и Дзаккони, и Дж. Гвальтьери, и Эммануэля, и Т. ди Лоренцо, и Рейтер, и Мадджи и т.д. Знает не как гастролеров, заглянувших на недельку и игравших спустя рукава, при обстановке на скорую руку, с первыми попавшимися партнерами, но как артистов, привезших сюда свою труппу, свои декорации, свой лучший репертуар, отнесшихся ко всему делу серьезно и внимательно, потому что в этом их хлеб.

У нас, напротив, все лучшие силы сосредоточены в двух-трех казенных труппах, предназначенных специально для увеселения петербуржцев и москвичей. Провинция видит их раз в пять лет, мельком, и играют они при этом как люди, знающие, что они и без провинции обеспечены. Провинциальным антрепренерам не удастся сохранить для себя ни одной звезды первой величины, потому что с казенным окладом не потягаешься, а для того, чтобы удержать у себя даже второстепенную звезду, приходится назначить ей такую мзду, после которой необходимо скаредно экономить на остальном персонале и на обстановке. Получается типичная провинциальная труппа, т.е. три сносных актера, невыносимый, раздражающий антураж, отсутствие ансамбля и допотопная постановка.

А вот вкратце дальнейшие последствия: в Италии вкус 20 городов воспитан на образцовой драме, а у нас только два города видят ее; в Италии нет актеров, почивающих на лаврах, а у нас невозможность конкуренции уничтожает всякую охоту прогрессировать; в Италии новинки драматических писателей находят сбыт в 20 местах, а у нас — в двух; в Италии драма отражает жизнь 20 пунктов страны, а у нас «действие происходит в С.-Петербурге». Одним словом, в Италии распределение

театральной деятельности служит одной из причин того, что Турин, Милан, Флоренция, Неаполь, Палермо не провинция, а у нас — одной из причин того, что Киев, Одесса, Харьков и Казань именуется провинцией и действительно суть провинция.

Искусство должно быть кочевым, передвижным, иначе оно теряет свой смысл и благородство своей просветительной задачи. Но если за художника или писателя кочуют его книги и картины, то зато оседлый, скажу больше — закрепощенный, актер или певец — это уродливое извращение, болезненное уклонение от естественной нормы. Искусство на службе у такого-то города — все равно, что утилизация солнечного света только для одной улицы в ущерб другим. Именно как солнце талант должен обтекать землю.

Надо надеяться, что на предстоящем съезде сценических деятелей в Петербурге будет обращено внимание на это закрепощение искусства и будет выражено хоть платоническое желание, чтобы образцовые казенные труппы получили кочевой характер вместо теперешнего оседлого. Воспитывать всю Россию будет гораздо приличнее для государственного предприятя, чем служить для увеселения столиц.

Опыт Новелли является именно уклонением с правильного пути на кривой, уклонением, не вызванным никакой необходимостью, а надуманным, подражательным и искусственным. Это доказывается сборами. В былые приезды Новелли в течение 30 дней театр Valle бывал битком набит; теперь, кроме исключительных дней вроде бенефисов или новинок (и то не всегда), бедный «Дом Гольдони» и на треть не полон. А ведь этому делу всего два с половиной месяца; что же будет потом?

Будет, конечно, то, что «Casa di Goldoni» расстроится, — газеты уже сообщают о разочаровании Новели, — и эта попытка муниципализации гения забудется без следа, к счастью и благу итальянского искусства.

Дай бог и нам того же!

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 22.01.1901


Рим*22 января (4 февраля)*

Третьего дня в сенате состоялось очень интересное заседание, главная часть которого была занята интерпелляцией адмирала Каневаро, бывшего министром иностранных дел в первом кабинете Пеллу. Читатели вспомнят, что Каневаро принадлежала инициатива созыва в Риме конференции международной защиты против анархистов после трагической кончины императрицы Елизаветы. Запрос Каневаро был сформулирован так: какие последствия правительство дало или намерено дать постановлениям конференции? Речь, в которой Каневаро развил свою интерпелляцию, содержала интересные сообщения.

По его словам, результаты работ конференции оказались еще более важными и серьезными, чем он рассчитывал. Разоблачать эти результаты он, конечно, не станет, но должен указать на то, что, по мнению большинства участников, Италии сильно вредила отмена смертной казни. После конференции он, Каневаро, изложил покойному королю свои взгляды на этот счет и просил его содействовать восстановлению казни, хотя бы только за цареубийство. Но король отказался вмешиваться в это дело, объявив: «Вы правы, Европа права, но я уже не раз подвергался покушениям и не желаю, чтобы теперь подумали, будто я боюсь. Я солдат и не боюсь никого».

Тем не менее Каневаро уже готов был начать выработку законопроекта, когда произошла крупная перемена в министерстве, и он потерял портфель. С тех пор на эту тему не было больше речи до того самого момента, когда от руки такого же убийцы пал король Умберто. В течение шести месяцев, прошедших после этого кровавого события, правительство опять-таки не представило ни одного законопроекта против анархистов.

Министр юстиции Джантурко ответил, что о восстановлении смертной казни правительство не станет хлопотать, но проект закона в защиту от анархистов уже готов и будет срочно предложен на обсуждение сената. И действительно, в тот же вечер президент сената получил этот законопроект, который вчера опубликован газетами.

Вот его изложение.

§ 1. К ассоциациям, сходкам или собраниям из двух или более лиц, которые с целью ниспровержения существующего порядка путем насилия умышляют покушения на чью-либо жизнь, собственность и т.д., применяются статьи уголовного кодекса, относящиеся вообще к преступным сообществам, т.е. карающие участников заключением до пяти лет, а в некоторых случаях и до двенадцати. За оказание участникам помощи виновные караются заключением до одного года.

§ 2. Участники таких заговоров освобождаются от всякого наказания, если до совершения преступления донесут обо всем подлежащему начальству.

§ 3. За подстрекательство, в видах пропаганды анархизма, к преступлениям, неповиновению властям или к вражде между сословиями, а также за апологию преступлений виновные подвергаются заключению до 1 ½ года и штрафу до 1500 лир. Осуждение не может состояться на основании одних только заявлений того лица, к которому обвиняемый будто бы обращался с подстрекательством.

§ 4. Рецидивисты по преступлениям 1-го и 3-го параграфов караются ссылкой за пределы королевства на неопределенное время.

§ 5. К наказаниям, перечисленным в §§ 1, 3 и 4, всегда присоединяется полицейский надзор. Но и по прекращении последнего полиция может воспретить отбывшему наказание пребывание в некоторых местностях.

§ 6. Указанные выше преступления преследуются в Италии даже в том случае, если итальянский подданный совершит их за границей.

§ 7. Воспрещается печатание биографий и портретов обвиняемых по вышеуказанным преступлениям, а также печатание отчетов об их процессах.

§ 8. Воспрещается подписка в пользу осужденных в силу этого закона.

Общее впечатление от этого проекта в публике и печати, без различия направлений, таково.

Статья 1-я, устанавливающая, что два лица (вместо традиционных пяти) могут считаться преступным сообществом, дает слишком широкий простор подозрениям и обвинениям. Кроме того, так как ее термины очень неопределенны и могут угрожать и социалистам, и республиканцам, эта статья встретит решительное противодействие всей крайней левой и большой час-

ти левой конституционной, хотя все эти партии тоже считают необходимыми мероприятия против анархистов. Статья 2-я, гарантируя доносчику прощение, противоречит всем традициям итальянского уголовного права; кроме того, она дает полный простор агентам-подстрекателям создавать заговоры, ничем не рискуя. Статья 3-я опять-таки полна слишком широких терминов и не будет пропущена левыми. Статья 4-я, как и 2-я, не может рассчитывать даже на одобрение сената, потому что ссылка по суду за пределы королевства представляет собой нововведение без прецедентов, а таковые не должны создаваться исключительными законами. Статья 5-я неудобна как раз теперь, когда приближается день отмены полицейского усмотрения в виде административной ссылки.

Остальные статьи не вызывают возражений; воспрещение печатания биографий и портретов, напротив, даже встречено общим сочувствием как подрыв одного из побуждений в преступлениях этого рода. Воспрещение печатать судебные отчеты, однако, не может понравиться в стране, приученной к гласному суду.

Все эти мнения в той или иной форме высказываются и в независимой консервативной печати, и в предварительных совещаниях сенаторов, которые первыми призваны к обсуждению законопроекта. В палате последний тоже не найдет сильной поддержки ввиду того, что против нынешнего министерства ратуют и левая, и правая — вторая даже более первой. При таком положении дела общее мнение таково, что проект не пройдет без коренных изменений, да и то только ввиду настоятельной необходимости законодательной борьбы с анархизмом.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 29.01.1901



Рим

КУЛЬТУРНОСТЬ ИЛИ НЕВЕЖЕСТВО?

21 января (3 февраля)

Завтра начинаются общедоступные чтения в только что открытом здесь «народном университете». Сущность этого учреждения совершенно та же, что и в Одессе: знакомить в живом и понятном изложении с квинтэссенцией современной

науки тех, кому почему-либо недоступен университет. Разница та, что здесь эти лекции могут рассчитывать на большую, чем у вас, демократичность в составе слушателей, так как и аудитории казенных университетов всегда открыты для всех желающих, и лица более интеллигентные не нуждаются поэтому в особых учреждениях. «Народный университет» в Риме рассчитан на посетителей из настоящего «народа», главным образом рабочих и мелких служащих: по крайней мере, таковы желание и надежда основателей. На деле их похвальные стремления, однако, не вполне и, во всяком случае, не сразу осуществятся, если судить по примеру других итальянских городов. Например, в Турине за 1899 год лекции «народного университета» посещали только около 200 слушателей с низшим образованием: из остальных — 400 представили свидетельства средних учебных заведений, а 100 — даже университетские дипломы. Т.е. всего две седьмых аудитории (где на 605 мужчин приходилось 95 женщин) были составлены из лиц низшего слоя, из «народа», для которого в принципе и затеяно предприятие; остальная часть принадлежала к интеллигентной публике, искавшей здесь то, чего не дают слишком подробные и педантичные лекции казенного университета — экстракта, сока, ядра знания в немногих словах.

В Риме, конечно, пропорция может оказаться иною как в ту, так и в другую сторону; нельзя забывать того, что в этом непромышленном городе аристократов, художников и чиновников очень мало фабричных рабочих, а на привлечение в аудитории транстеверинского простонародья нельзя надеяться. То все — коренные римляне, совершенно особенное племя, которое выше мимолетных треволнений сей жизни и в том числе выше науки.

Воспользуюсь этим случаем, чтобы, насколько сумею, разобратся в том смутном, спутанном впечатлении, которое итальянцы в массе производят на иноземца, желающего оценить степень их культурности и проверить, насколько справедлива их широкая слава народа невежественного. Но необходимо поставить на вид то, что все мои — поистине немногие и мимолетные — наблюдения сделаны в одном Риме и поэтому могут только приблизительно совпасть с положением дела в других городах.

Если взять в проводники обыкновенный здравый смысл и просто, как на счетах, обсудить и взвесить данные за и против, то получится, конечно, невежество. По статистике, в 1894 году

в Италии на 1000 человек обоего пола старше шести лет приходилось 525 неграмотных. Пятьдесят с четвертью процентов не умеющих читать — это неоспоримый аттестат на невежество.

Взглянем, однако, на все это глубже и осторожней и главным образом постараемся выделить из понятия «культурность» два элемента: знание и интеллигентность. Первое состоит в том, что память воспринимает и сохраняет усвоенные разумом сведения; вторая представляет собою нечто неуловимое, неопределимое, общую окраску, тон или фон; она возникает как следствие познания, но в то же время служит ему стимулом. Интеллигентность — это свойство или настроение, благодаря которому мы, сталкиваясь с вопросами знания, даже темными для нас, не испытываем того стеснения, которое охватывает лавочника в кругу аристократов. Разница между образованностью и интеллигентностью та же, что между хорошими манерами и благовоспитанностью: как последняя может существовать без изящных манер, так и интеллигентность возможна при отсутствии научных познаний.

Из этих двух элементов культурности итальянскому народу недостает только первого: он необразован, но тем не менее интеллигентен. Конечно, это свойство может ярко выступить только при сравнении итальянского простолюдина с таким же неученым простолюдином другой страны, но даже при некоторой разнице в пользу второго из них в степени полученного, конечно, элементарного образования итальянец поразит вас большей восприимчивостью, большей тонкостью суждений, большей подготовленностью к восприятию и даже большей близостью к тому особенному выражению лица, по которому вы привыкли узнавать интеллигентного человека.

Это впечатление начинается с первого появления итальянского городского простолюдина, с самой манеры, с которой он вас встречает. Даже у римлянина, который довольно груб, вы заметите эту врожденную изысканность обращения, то, что здесь называют *educazione* (воспитанность): он грубоват не потому, что неотесан, что не знает законов общежития, а потому, что считает их отчасти необязательными для высшего существа, именуемого римлянином. В итальянском простолюдине вообще много сознательности. Он не просто, не по безотчетной привычке вкладывает свое обращение с вами в особые формы, но знает причину и основание этому и уверенно говорит о долге

гостеприимства, о правилах *educazione* или обязательности «Galateo» (название старинных сборников-указателей приличий, употребляемое теперь в отвлеченном смысле).

Недостаток места не позволит мне сегодня остановиться на особенностях этих приличий, которые могли бы послужить материалом для интересной странички, напрашивающейся на заголовок: «немножко социологии». На этот раз упомяну только, что приличия («*complimenti*») итальянского простолюдина по сравнению с теми же слоями в России, Германии, Швейцарии, разнообразнее, многочисленнее и утонченнее. В них много внимания уделено форме и притом совсем не в ущерб содержанию. А это умение ценить форму является, может быть, одним из самых видных признаков интеллигентности.

Перейдем к понятиям итальянского простонародья о чести — здесь мы встретим уже яркое, почти разительное доказательство интеллигентности, особенно если захотим для сравнения обратиться к русскому народу. Русский язык при всем своем богатстве не выработал другого ходячего термина для определения идеала чести и порядочности, как описательное и неопределенное выражение «честный (или порядочный) человек». Но русской интеллигенции сейчас же понадобилось другое слово, соответствующее всему тому, чего требует от своего «идеала» интеллигентный человек, и оттого-то у нас приобрело такие права гражданства английское слово «джентльмен». Между тем в Италии этот самый термин создан народом и известен в любой деревушке не меньше, чем слова «хлеб» и «вода». Каждый итальянец — и мужик, и босяк, и профессор — свято дорожит правом на звание *galantuomo*¹, которое слагается из такой же массы частных, как и наше *gentleman*. Одной честности недостаточно: нужно сознание собственного достоинства, известная отточенность манер, немножко рыцарства и пр., и пр., и пр. Я назвал этот пример разительным потому, что на нем вы видите, как каждому итальянцу свойственно понятие, в котором у нас нуждаются только интеллигентные люди.

В какую сторону вы ни обратитесь, вы всюду отметите интеллигентность итальянца, благодаря чему ничто человеческое ему не чуждо, даже то, о чем он имеет самые смутные по-

¹ Порядочный человек (*итал.*).

нения. Возьмите отношения простонародья к искусству или литературе. Даже римлянин, если только он не чичероне¹ по ремеслу, безбожно путает имена и даже отрасли художества своих национальных гениев: вы услышите из его уст о Рафаэле «Боунаротти», о «ваятеле» Тициане «да Винчи», об «Освобожденном Иерусалиме» Ариосто... Несомненно, это — невежество, поражающее в людях, которые родились и выросли в виду купола св. Петра. Но опять-таки, всмотритесь глубже, и вы откроете странное явление. Тот самый трактирщик, который думает, что фамилия Микеланджело была Макиавелли, одарен вкусом тоньше, вернее и уверенней вашего: у него свои взгляды на красоту картин, статуй и зданий, и он, хваля или порицая, укажет вам на такие черточки, что вы заподозрите, не дурачит ли вас переодетый художник. Он чувствует и понимает искусство — дар, опять-таки у нас доступный во всей своей полноте только очень интеллигентным лицам, — и, главное, он знает цену искусству, он на миллионы миль далек от того, чтобы считать статую или стихи «баловством», как русский простолудин и, в глубине души, даже высокопрославленный немецкий. Вникнув во все это, вы поймете, каким образом во Флоренции пять веков тому назад поэма Данте читалась вслух прямо на улице или на площади перед внимательными аудиториями из лавочников и подмастерьев и каким образом еще и теперь вымирающие лодочки на черных гондолах Венеции не находят для своих песен более подходящего текста, чем октавы Тассо из «*Gerusalemme Liberata*».

О музыке я не стану и упоминать.

Правда, с другой стороны, что это самое простонародье не знает ни истории, ни географии и вообще лишено всего, что носит характер нарочитого, благоприобретенного познания. Но когда изменившиеся условия принесут ему эти познания, семена их найдут — чему почти не бывало примеров в истории цивилизации — готовую, распаханную почву, не нуждающуюся в неблагоприятном труде пионеров; здесь не придется создавать интеллигенцию при помощи образования — здесь останется только взять готовую самородную интеллигенцию и вооружить ее знанием.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 31.01.1901

¹ Проводник, гид (*итал.*).



Рим

28 января (10 февраля)

Вам уже известны из телеграмм внешние обстоятельства, вызвавшие и сопровождавшие падение министерства Саракко; остается разобраться во внутренней связи этих событий, которые сам свергнутый министр-президент назвал «странными» и которые действительно не всеми и не сразу были поняты даже здесь. Интерес их притом не в одной только странности: падение кабинета Саракко замечательно тем, что произошло в силу отрицательного вотума палаты, а не в силу закулисных дрызг, как это практиковалось уже около восьми лет подряд, с 28 ноября 1863 года, когда пал Джолитти. Это явление, возвращая парламенту его авторитет и достоинство главного регулятора правительственных течений, должно быть отнесено к числу добрых признаков оздоровления политической жизнедеятельности государства.

Генуэзские события, подавшие врагам кабинета повод к объявлению желанной войны, произошли совсем недавно, почти на днях, так что достаточно будет напомнить нам об их сути в десяти строках. Началось с того, что крючники генуэзского порта устроили стачку, к которой старались привлечь и рабочих других специальностей. Естественно, эти стремления прежде и ярче всего выразились в отношении к стачке со стороны тамошней рабочей палаты — учреждения, носящего официальный характер в качестве общего представительства для всех рабочих союзов взаимопомощи. Префект Лигурии, некто Гарроти, убедившись, что эта палата всецело на стороне забастовщиков, объявил ее распущенной. Стачка, принявшая к тому времени угрожающие размеры, еще более разрослась: в рабочей среде появилось опасное раздражение. Депутат Кьези, сам бывший генуэзский маляр, телеграфировал министрам промышленности и внутренних дел, протестуя против поступка префекта, который в одно и то же время вредил и рабочим, лишая их законного руководства, и делу порядка, поселяя в стачечниках раздражение. Кончилось тем, что рабочая палата была восстановлена почти в том же составе, как и прежде, а Гарроти переведен в другую провинцию; после этого забастовки прекратились, причем рабочие в результате почти ниче-

го не выиграли против прежних условий. Вследствие этой истории на кабинет обрушились и крайняя левая, и центр. Первая — в отместку за то, что грандиозная стачка пропала почти совершенно бесплодно, чего бы не случилось, если бы интересы рабочих все время блюла генуэзская рабочая палата; второй — на том основании, что министерство уронило уступками престиж правительства, восстановив бунтовскую рабочую палату и удалив своего префекта. И для левой, и для центра, конечно, то были только поводы для придинок: истинные причины для «красных» коренились в простом желании провалить нелиберальное министерство, а для депутатов центра — «благородные аппетиты» (так выразился сам Саракко) их вожака Соннино, который давно метит в главы кабинета.

Вылазку начали соннинианцы. Один из них (Данео) внес формулу такого содержания: «Палата, находя, что в генуэзских событиях кабинет выказал отсутствие устойчивых руководящих принципов, приглашает министерство проявить ясное и определенное направление». По добрым парламентарным обычаям это означает то же, что великоновгородское: «мы тебе кланяемся», т.е. «уходите». Крайняя левая со своей стороны внесла к этой формуле поправку, подписанную Фульчи и заключавшуюся в одной фразе: после слова «палата» Фульчи предлагал вставить: «порицая образ действий правительства», т.е. приглашение удалиться уже без всяких церемоний.

Прения тянулись три дня, но об этом ниже; теперь перейдем прямо к голосованию, которое сложилось чрезвычайно любопытным и поучительным образом.

По уставу поправки балотируются раньше самой формулы, поэтому поправка Фульчи, сама по себе уже ниспровергавшая министерство, была первой поставлена на голоса. Получилось поразительное, колоссальное, совершенно беспрецедентное в истории всех парламентов противоправительственное большинство в 319 против 102. Это небывалое единодушие всех почти секторов палаты объясняется тем, что «благородные аппетиты» имели своих представителей, кроме центра, и справа, и слева — Принетти, Баччелли, Лакава, Джолитти — все вожаки своих «друзей» и охотники до портфелей. Все они вотировали за поправку Фульчи; соннинианцы сделали то же. С этого момента министерство, конечно, было уже побито, но тут именно и началось нечто странное. Товарищи Соннино, зная всеобщую к себе антипатию, сразу поняли, что представленная

ими формула Данео будет теперь нарочно провалена палатой, которая этим ясно покажет королю свое нежелание видеть Соннино преемником Саракко. Если бы не поправка Фульчи, то все враги министерства волей-неволей подали бы голос за формулу Данео, но благодаря этой поправке кабинет был уже опрокинут, так что теперь можно было, ничем не рискуя, провалить формулу Данео и ее вдохновителя Соннино.

Едва только раздался торжествующий крик Энрико Ферри: «Вы попались в нашу ловушку!», Данео, взволнованный и растрепанный, вскочил и заявил, что берет обратно свою формулу, но президент ответил, что это невозможно по уставу, раз формула уже поставлена на голоса. Слева, справа, чуть ли не с хоров для публики понесся характерный парламентский вой «у-у-у», ясно подчеркнувший злорадство и антипатию всей аудитории к этому интересному и сложному существу, имя которого Сидней Соннино. Данео закричал: «Хорошо, в таком случае мы сами будем вотировать против нашей же формулы!» Тут разразился взрыв неслыханного гвалта, особенно на крайней левой: «Труссы! Вы хотите скрыть свое меньшинство! Вы попались! Шуты! У-у-у! Ого-го-го! Долой!..»

И формула Данео провалилась большинством 388 голосов против одного. А так как формула Данео была тоже направлена против министерства, то Саракко в один и тот же вечер получил 217 голосов большинства против себя и 387 голосов большинства же за себя. Ему, действительно, ничего не осталось, как развести руками и назвать этот оборот «странным».

Но этот старый и умный политик понял, что те 387 голосов, т.е. большая часть их (за вычетом самосекшихся соннинианцев), означали вовсе не одобрение Саракко, а полное неодобрение и недоверие Соннино. Понял и вышел в отставку, что, в конце концов, составляло его давнишнее желание.

Когда вы получите это письмо, состав кабинета, пожалуй, будет вам уже известен; может оказаться, что во главе его вы все-таки встретите Соннино. Если это случится, если Италии суждено претерпеть и эту кару Божью, то помните, что такая комбинация составлена наперекор ясному, как дважды два четыре, желанию палаты народных представителей, и сообразно с этим попробуйте составить пророчества на будущее время. Но если Бог и пронесет, я, тем не менее, оставляю за собой право и обязанность как-нибудь показать вам в зеленом коридоре Мантечitorio или на голубом стуле кафе Араньо этого

opogévole Соннино, которого здесь так боятся и ненавидят, показать, насколько сумею, с его внешностью, психологией, прошлым и настоящим.

Прения, тянувшиеся, как уже сказано, три дня, были слишком интересны для того, чтобы можно было передать их в этом коротком письме. Я только мимоходом укажу на две частности, привлекавшие здесь наибольшее внимание, и подробнее остановлюсь на третьей, еще более усиливающей «странность» этого свержения.

Первая частности — это парадное шествие обладателей «благородных appetitov». Кажется, еще никогда эти appetitov не разыгрывались в таком количестве и так страстно и пламенно. Каждый пропел перед палатой свой лучший репертуар. Соннино снизошел по признания необходимости податных преобразований. Джолитти проспиртовал свою программу полезных реформ помаленьку; «божественный» Гвидо Баччелли вдохновенно промелодекламировал на тему «монархия и свобода» свои круглые периоды — стиль, в котором он непобедим, и приблизительно то же сделали многочисленные остальные, за которыми трудно и скучно было следить. Вторая частности — речь депутата Кьеза, произведшая огромное впечатление как первый выход настоящего рабочего, даже чернорабочего, в итальянском парламенте. Не останавливаюсь на этой речи теперь, потому что в одном из ближайших писем попытаюсь ввести читателя в тратторию соры Нины, где он близко увидит Кьеза более или менее «у себя», в кругу нескольких товарищей по сектору палаты.

Третья частности, это отношение всей без исключения оппозиции к самому Саракко. Ни один оратор, громя посильными громами ошибки правительства, не забыл выделить старого министра-президента, поклониться ему, выразить свое глубокое почтение его честности и принципам. Республиканец Калаянни, всегда отличающийся независимыми взглядами (он, между прочим, первый и один в Италии стал на сторону китайских «боксеров»), даже подал, не в пример своей партии, голос против поправки Фульчи, т.е. за кабинет, оправдывая это уважением и доверием к Саракко. Таким образом, Саракко, свергнутый таким огромным большинством, какого нигде в мире никогда не набиралось даже против самых ненавистных министров, получил, тем не менее, на свою долю множество искренних выражений сочувствия, уважения и симпатии.

Главный секрет этого — в отношении Саракко к парламенту. Последние министры, особенно Пеллу с его генеральскими манерами, приучили палату видеть в премьерере вместо корректного исполнителя дерзкого или же лукавого ослушника и противника. Когда наконец терпение истощалось, и министерству грозил отрицательный вотум, оно, не дожидаясь решающего слова палаты, само подавало в отставку, так что получалось впечатление, будто кабинет уходит добровольно, а парламент совсем ни при чем и служит исключительно для академических упражнений. Саракко поступил иначе. Он знал, что «генуэзская» кампания должна была его сбросить — об этом задолго, как о факте, говорили авторитетнейшие газеты, да и сам он в первый же день прений прямо сказал: «Я, может быть, в последний раз занимаю это место на скамье министров». Но он счел своим долгом и заставил своих коллег дожидаться вотума, чтобы дать возможность палате воспользоваться ее правом высокого государственного контроля. Этого уважения к правам парламента было бы одного достаточно, чтобы заслужить Саракко симпатии палаты. Но к своей конституционной корректности он присоединял еще и безукоризненную, всем известную честность, почетное прошлое, беспристрастие, ум, обходительность...

И при всем том после всех комплиментов — 217 голов отрицательного большинства. Вот что значит «аппетит!»

Altalena

Одесские новости. 2.02.1901



ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ НИМФ. НОВАЯ ДРАМА

2 (15) февраля

Здесь случилось веселое, безобидное происшествие, похожее на иллюстрацию к истории немецкого lex Heinze.

Рядом с вокзалом железной дороги в Риме находится обширная площадь Termini; посередине ее возвышается прелестный фонтан, о котором уже не раз упоминалось в этих письмах. До сих пор главную красоту фонтана составляли роскошно переплетающиеся струи обильной воды, особенно ночью,

когда с двух сторон площади нарочно зажигаются электрические рефлекторы. Но водоем фонтана не представлял ничего замечательного: он был временно украшен, просто для приличия, четырьмя львами, сделанными даже не из бронзы, а из какого-то скоропребывающего сплава. Между тем, по заказу городского самоуправления, известный ваятель Рутелли уже несколько лет работал над группами, которые должны были сменить четырех львов. Проект Рутелли был формально одобрен думской комиссией, и недаром: Рутелли — очень большой художник, поразительно воскрешающий в своих бронзах ту мощную человеческую красоту, которой, кажется, в оригинале и днем с огнем не отыщешь в нашем коротконогом цивилизованном мире. Посетители дворца изящных искусств, где находится постоянная выставка, обыкновенно подолгу останавливаются перед одной из работ Рутелли, помещенной в особой зале шедевров. Это скульптурная иллюстрация к VII песне «Ада», изображающая «души тех, которые в жизни были обуреваемы гневом», и в наказание на том свете осуждены вечно бороться друг с другом, «ударяя один другого не только руками, но и головою, грудью, ногами, вырывая друг у друга зубами куски тела». В группе Рутелли только две мужские фигуры, в которых художник неподражаемо воплотил ужас животного, обезумевшего от гнева, и вместе с тем чудную красоту безупречно здорового и сильного тела. Статуи для фонтана Термини должны были быть приблизительно в том же роде: четыре водяные нимфы, «опьяненные водой». Поэтому никто не сомневался, что дума сделала удачный выбор, и город терпеливо ждал, пока Рутелли окончит свою работу. В один прекрасный день наконец вокруг фонтана построили забор, ночью подвезли четыре группы, сбросили львов, установили на их места нимф, привели все в порядок и уже собирались отпраздновать открытие, как вдруг возник совершенно неожиданный вопрос.

Рим — очень странный город. В палате депутатов у него пять представителей, из которых двое (Бардзилай и Мацца) республиканцы, а остальные принадлежат к конституционной левой. Но римская дума совсем иное дело: избираемая теми же гражданами, которые посылают демократов в парламент, она, тем не менее, пополняется в огромном большинстве лицами аристократического происхождения и соответствующих взглядов. Отчасти это объясняется тем, что клерикалы, которым

папа запрещает принимать участие в парламентских выборах, вознаграждают себя в муниципалитете. Но главная причина такого несоответствия заключается, быть может, в том особом взгляде на город Рим и его значение, который упорно держится в умах коренных римлян. Римская дума испокон веков находится на Капитолии, а палата депутатов — всего только на Монтечиторио; ясно, что римлянин считает палату пустяком по сравнению с думой. В палату он охотно пошлет и разночинца, но с Капитолием у него связаны священные традиции, ему хочется, чтобы в думе по-прежнему звучали великолепные имена древнеримской знати. И вот он подает голос за тех самых *принципе*¹, которых накануне, будучи по поводу дороговизны припасов в коммунистическом настроении, он же и бранил за стаканом белого вина в своей *trattoria*², посылая им все ругательства диалектального словаря, от *accidenti*³ до пожелания «умереть убитыми». Оттого римские городские головы (синдики) всегда носят имена высшей аристократии города — Колонна (теперешний лорд-мэр), Русполи, Торлониа, Боргезе. И действительно, это звание считается высшей честью, доступной римскому гражданину; я слышал фразу, что «президентом совета министров можно сделаться, но синдиком Рима надо родиться».

Благодаря всему этому в здешней думе попадаются очень любопытные ископаемые. Двое из них, гласные Галли и Джовенали, совершенно неожиданно подняли (злые языки говорят, будто это влияние супруг) вопрос о безнравственности нимф Рутелли. Такое отражение закона Heinze — и где же? в Риме! — произвело самое комичное, но в то же время ошеломляющее впечатление; конечно, в самой думе сейчас же поднялись голоса против этих целомудренных опасений. Тогда Галли и Джовенали обещали представить в ближайшем будущем предложение не снимать забора, пока нимфы не будут одеты в бронзовые рубашки. Иными словами, юмористическое дело принимало серьезный оборот, потому что предложение, внесенное двумя клерикалами, было бы поддержано всей их партией.

Одно из замечательнейших свойств морали то, что ни насилие, ни глупость, и вообще ничто на свете не в состоянии так раздражить и возмутить человека, как мораль, когда она

¹ Князей (*итал.*).

² Трактир (*итал.*).

³ Черт возьми! (*итал.*)

в излишке. Чинные консервативные газеты, которые даже о социалистах говорят в спокойном тоне, отозвались на выходку этих послушных мужей стыдливых супруг резкостями и насмешками; население, не признающее чинности, вовсе уж не стеснялось. Это общее раздражение было первым последствием похода Галли — Джовенали; вторым же последствием было немедленное скопление публики вокруг забора на площади Термини, в котором ревностно отыскивались и создавались отверстия на высоте человеческого глаза. Из этих двух последствий получилось третье. Именно ровно через один день после возникновения в думе этого вопроса, как только смерклось и зажгли рефлекторы, какой-то юный студент из толпы, все время облепавшей безнравственное место, предложил разнести забор.

И через пять минут забора не стало. Неподалеку проживает артель, которой принадлежала постройка: она сейчас же волей-неволей прислала рабочих, чтобы спасти свое имущество, если не в форме забора, то хоть бы в форме досок и гвоздей. Полицейские были настолько тактичны, что не вмешивались в дело, поэтому все прошло мирно и весело. Артельщики унесли забор, какие-то хитрецы без ключа умудрились открыть краны, вода хлынула, переплетаясь и искрясь под сквозными лучами рефлекторов, и торжественное открытие было совершено под аккомпанемент веселых *evviva* и гомерического хохота, который еще с неделю не утомонится.

Теперь, конечно, о сорочках для нимф уже не будет речи.

Группы действительно удались Рутелли на славу. Если мнение профана не будет обидой памяти Бернини, то, по-моему, фонтан Termini теперь не уступает ни одному из его произведений в этом роде, кроме, конечно, грандиозного и неподражаемого Fontana Trevi, изображающего целый водопад с порогами. Нимфы Рутелли — Ундина, Наяда, Нереида и Океанида, по одной в каждом из четырех углов водоема, поистине прекрасны. Не знаешь, которой отдать преимущество: одна, отдыхающая в небрежной позе на спине какого-то левиафана, превосходит, пожалуй, подруг безукоризненной красотой тела, зато другая, шаловливо изогнувшись и сжимая руками шею огромного лебедя, гениально передает невинную, смелую, детскую резвость речных струек; третья — с совершенно современным типом лица, со сбившейся на бок пышной челкой волос, схваченная художником в момент, когда она руками и ногами

уцепилась на всем скаку за гриву и бока бунтующего морского коня, и четвертая — с распутившимися, вниз повисшими кудрями, вся изогнувшаяся, раскинувшаяся навзничь в сладострастном отдыхе по хребту разъяренного дельфина, — ярче и полней отражают главный замысел композиции: «опьянение водой».

Вчера весь день площадь Термини была оживлена более обыкновенного; в созерцающей толпе замечалось очень много дам и духовных лиц. Говорят, будто в Ватикане распорядились, чтобы семинаристы, которых в Риме такая бесчисленная и пестрая масса, во время своих прогулок не проходили по безнравственной площади.

Я думаю, что нигде эта лженравственность *à la Galli-Giovenale-Heinze* не может производить такого отталкивающего впечатления лицемерия, как в Риме, где не только музеи и галереи, но даже храмы полны лучших образцов и воплощений красоты человеческого тела, где на этой красоте воспитались больше ста поколений итальянцев и иностранцев. И надо отдать справедливость итальянцам — не они, а приезжие, туристы, особенно англичане, виновны в возникновении здесь склонности к фиговому листку и сорочке. Один коренной римлянин при мне искренне негодовал даже на то, что к некоторым приспособлениям, именуемым здесь монументами Веспасиана, весьма необходимым с житейской точки зрения и устроенным здесь на каждом шагу в самой несложной и откровенной форме, стали приделывать боковые заслонки вроде ширмочек.

— Одно к одному! — возмущался он. — Все это английское ханжество только к тому и приводит, что в capitoлийском музее уродуют гипсовой залепкой статую умирающего галла. А на ту женскую фигуру, что украшает гробницу одного из пап перед самым алтарем ватиканского собора, надевают бронзовую рубашку, и дают повод каждому чичероне объяснять туристам, что эта статуя в натуральном виде была слишком обольстительна, что какой-то легендарный инглишмэн в нее влюбился, и что после этого ее приодели, и тогда только туристы начинают смотреть на бронзовую сорочку рысьими глазами.

В самом деле, родину Боккаччо следовало бы в этом отношении оставить в покое. Итальянцы слишком близки к природе для цензуры *à la* Гейнце; подневольное, первобытное, почти тюремное положение здесь девушки не мешает, однако, большой свободе в речах, предоставляемой этой самой девушке

и способной двадцать пять раз скандализировать русскую студентку медицинских курсов. Глупо, непростительно глупо изгонять напоминания о чувственной стороне жизни там, где эта сторона играет такую роль в национальном характере и пользуется таким уважением, скажу больше — благоговением народной премудрости.



В театре Valle (Casa di Goldoni) шла на днях новинка — «Люцифер» Бутти. Я мало знаком с этим писателем, который во всяком случае не представляет из себя «*gran ché*»¹ ни как художник, ни как мыслитель; но по тому немногому, что прочел, вижу, что его преимущественно занимает интересный вопрос об очень опасной духовной болезни последнего времени. Имя этой болезни — атрофия совести, или, если угодно, растяжимость совести, которую мы все более или менее замечаем в себе. Для многих из нас, например, угрызения совести, о которых мы столько читали в романах, совершенно непонятны, так как не испытаны, и уж, конечно, не по отсутствию поводов к ним, а потому, что совесть потеряла свой фанатизм и стала софистически сговорчивой. Объяснение этого явления Бутти находит в упадке религиозного чувства. Он задумал драматическую трилогию «Атеист», первая часть которой — «В погоне за наслаждением» — шла в прошлом году в римском Costanzi без особенного успеха. «Люцифер» (или «Перст Божий») является второй частью.

«Люцифером» жители маленького итальянского городка прозвали старого преподавателя местного лицея за его атеизм. Он воспитывался в семинарии, пробыв даже четыре года священником и выказал большое рвение; внезапно с ним случился перелом: он обратился к положительной науке и перенес весь свой фанатизм в проповедь рационализма. Дети его — сын и дочь — не окрещены и воспитаны в атеистическом духе. Население городка чуждается его дома, но в семье «Люцифера» царят покой и довольство. В лицей назначают профессором философии бывшего товарища «Люцифера» по семинарии, который оставил последнюю до окончания курса потому, что не чувствовал призвания к священнослужению, но остался доныне глубоко верующим человеком и такой же воспитал свою дочь. Между последней и сыном «Люцифера» завязывается

¹ Не бог весть что; не ахти (*итал.*).

роман, но отец девушки ни за что не дает согласия на брак дочери с некрещеным «язычником». Старый «Люцифер» из любви к сыну принужден своими устами заявить отцу девушки, что сын, его надежда и воплощение его идей, идет на огромную уступку: дети от брака будут окрещены. Но отец девушки непреклонен. Тогда молодая чета женится против его воли, и он отрекается от дочери. Последняя вскоре, простудившись, заболевает; врачи теряют всякую надежду на ее спасение. Умиравшая хочет видеть отца, но тот ставит условием, чтобы к постели дочери был призван священник. И вот «Люциферу» приходится терпеть в своем доме присутствие ксендза, которому подчиняются все — и жена старого атеиста, и даже его сын. Между тем приходит известие, что дочь «Люцифера», живущая в Милане, пошла по дурной дороге. И убитый этим ударом старик должен еще видеть и слышать, как его сын под влиянием горя отрекается от отцовских идей, произносит в первый раз в жизни имя Божие, молится о спасении жены и, когда все кончено, над трупом последней, в присутствии «Люцифера», бросается на колени перед ксендзом со словами: «Отец мой, утешьте меня!» И раздавленный, уничтоженный, «Люцифер» шепчет, точно в бреду: «Кто знает?»

Пьеса имела успех. В ней есть сильные места, но, в общем, она испорчена обилием рассуждений.

Altalena

Одесские новости. 9.02.1901


Рим

5 (18) февраля

В состав нового министерства вошли главным образом лица, пользующиеся доверием страны. Особенно применимо это к президенту кабинета. Джузеппе Дзанарделли известен с наилучшей стороны и как депутат, и как министр, и как адвокат, и как частное лицо. Он занимал в трудные времена трибуну президента палаты — должность не менее ответственная, чем та, к отправлению которой он призван теперь, — и дал пример безукоризненного беспристрастия, как приличествует старому правоведа. Будучи одно время министром юстиции, он разработал новые кодексы, которыми

положил прочные основания судебской независимости (не его вина, если не все принципы и законы, проведенные им в жизнь, применяются на практике), его же имя подписано под знаменитым итальянским уложением о наказаниях, которое считается одним из наиболее прогрессивных: в нем отменена смертная казнь.

И если в карательной системе, особенно в той ее части, которая относится к тюремному заключению, сохранены многие ненужные жестокости, то по сравнению с прежними кодексами и даже с некоторыми современными иностранными образцами уголовная система Дзанарделли все-таки представляет крупный шаг вперед. Дзанарделли — старый либерал того хорошего старинного либерального оттенка и закала, который один только способен на время примирить резкие противоречия и найти общий тон в партийной разногласии. Действительно, министерство носит отчасти коалиционный характер, если принять во внимание, что, например, Припетти (министр иностранных дел) руководит одной из крайних правых групп. Но разношерстность входящих в состав кабинета программ не настолько, однако, резка и ярка, чтобы мешать всякому положительному начинанию и тормозить деятельность правительства в направлении тех преобразований, которых ждет от него страна. Молодой король этим своим первым шагом, за исходом которого с любопытством и интересом следила вся Италия, выказывал достаточную умелость и понимание положения дел, призвав к власти только лиц, действительно могущих спеться в общем концерте. Луццатти с его слишком смелыми податными реформами и Соннино, реакционер без оглядки, несмотря на все усилия их, остались без портфелей.

Имя Дзанарделли дает право рассчитывать, что в ближайшем будущем будет поднят и окончательно разрешен вопрос о допущении развода. Дзанарделли — ярый защитник расторжимости брака; говорят, что именно это портило в последнее время его отношения с двором, при общеизвестной набожности королевы Маргариты. До сих пор каждый раз, как заходила речь о разводе, дело застревало в сенате. Вероятно, теперь почтенная верхняя палата, по существу своему несколько склонная поддаваться влияниям властей предрержащих, не найдет особенных оснований более противиться узаконению развода. И пора, потому что при итальянском темпераменте

получается то соблазнительное явление, что множество семейств, даже при детях, живут в узаконенном «разъезде»: муж здесь, жена там, и оба грешат.

Из преобразований экономического характера прежде всего, вероятно, будет поставлен вопрос об отмене пошлины на зерно. Привозной хлеб в Италии обложен сбором в $7 \frac{1}{2}$ лир с квинтала (100 килограммов): для покупателя это составляет разницу почти в 10 сантимов на кило, а для бедноты, питающейся почти одним хлебом, эти два сольдо обиднее всяких других притеснений. Из-за зерновой пошлины не раз подымались кровавые волнения в разных частях Италии. В последнее время агитацию против этого налога начали городские думы. То там, то здесь, сообщают газеты, муниципальный совет единогласно или огромным большинством высказывается о желательности отмены *dazio sul grano*¹. Подают свой голос в этом смысле и крупнейшие центры, даже те, в которых думы консервативны, потому что дороговизна хлеба явно вредит всем слоям городского населения. Если бы не отставка министерства Саракко, палата теперь уже приступила бы к обсуждению *mozione*² Ферри, выставленной социалистами и совершенно отменяющей пошлину на зерно. Но вопрос не так прост, как кажется. Дело в том, что итальянский земледелец, т.е. больше 80% всего населения королевства, платит за свою землю, за свой скот, за орудия и еще бог весть за что большие налоги, которых не знает счастливый производитель зерна в других странах. Поэтому, взимая с иностранца плату за ввоз хлеба, правительство вместе с пополнением своей казны совершает в некотором роде акт справедливости: оно заставляет счастливого уплатить в виде пошлины то же, что несчастный уплатит в виде тысяча одного налога. Если отменить пошлину, то земледельцы не выдержат конкуренции и обнищают еще более, т.е. с двух горстей мамалыги в день перейдут на одну горсть; городское население сначала, видимо, выиграет на дешевизне заморского хлеба, но через год тоже больно почувствует последствия крестьянского разорения.

Вернее всего, что пошлина будет понижена с семи с половиной лир до пяти.

Сегодня кончается карнавал. Когда он открылся, наш префект Кольмайер объявил афишей, что гражданам разрешает-

¹ Пошлина на зерно (*итал.*).

² Депутатское предложение (*итал.*).

ся в эти дни появляться на улице в масках и в костюмированном виде; завтра он объявит, что действие этого разрешения прекращается; вот, кажется, и все: никто этим разрешением не воспользовался и никто не пожалеет об его отмене.

В самом деле, удивительно, до чего изменились итальянцы за последнее время. Куда девались знаменитые массовые проявления их детской впечатлительности, их умение заражать подмивающим весельем близкого и далекого, так что из других городов, из-за границы прибывали тысячи народу полюбоваться на римский карнавал? И следа не осталось. Из театральных зал убирают стулья и устраивают несколько *вельонов*, т.е. костюмированных балов с платой за вход, но это не значит, что веселится народ, как в доброе старое время. Улица точно забыла о карнавале. По Корсо бегут будничные озабоченные фигуры, сгорбившись и засунув руки в карманы будничных пальтишек; изредка промелькнет мальчишка с пристегнутым носом или кормилица, одетая почти по-русски, т.е., как всегда, проведет группу трехлетних ребятишек в нарядах Пульчинеллы, или две девицы определенного звания проедут в номерных дрожках, сучая под чепцами голубых бѣбѣ¹. Даже в масляный четверг — день, в который когда-то по Корсо мчались наперегонки варварийские² жеребцы, проезжали громоздкие колымаги с символическими *mascherata*'ми³ артистов, студентов, ремесленников, и все были буквально пьяны от веселья, теперь даже этот день проходит без блеска. Только то и заметно, что на Корсо толпа, что маски попадаютя намного чаще и что уличные мальчишки бросают вам конфетти в лицо; но нет настроения, нет увлечения, все это похоже на диссонанс, и невинные конфетти, попадая вам в лицо, производят на вас впечатление насмешки над вашим достоинством и серьезностью.

Итальянцы единодушно объясняют эту убыль веселости словом *miseria*⁴.

Altalena

Одесские новости. 13.02.1901

¹ Малютка, младенец (*фр.*).

² Берберийские — североафриканская порода скаковых лошадей.

³ Маскарадами.

⁴ Бедность; нищета (*итал.*).


Рим

20 февраля (5 марта)

Новое министерство начинает недурно и уже первыми шагами отрадно оправдывает доверие короля и ясно определившееся за эти дни доверие страны. Прекрасное впечатление произвело на Италию то необычайное событие, что апульские беспорядки были погашены не штыками, не военным положением, а скорой материальной и нравственной помощью. Того же образа действий Дзанарделли и Джолитти решили придерживаться, очевидно, и по отношению к последним событиям в Палермо.

Рабочие беспорядки, происшедшие в сицилийской столице, замечательны тем, что демонстранты своей грудью ратовали не столько за интересы четвертого сословия, сколько за честь, достоинство и благополучие Сицилии и отчасти за карман палермских портовых тузов. Действительно, предпочтение, оказываемое центральным правительством северу перед югом, особенно перед Сицилией, стало за последние годы слишком очевидным, тем более что полуденная часть королевства гораздо более нуждается в поддержке и заботах, чем Верхняя Италия. Это предпочтение отчасти объясняется тем, что депутаты южных областей, «избираемые» по-каморристически подкупному способу, не умеют и не стараются защищать в палате интересы своих округов с таким рвением, как представители северного населения, более образованного и независимого.

Таким образом, правительственная небрежность по отношению к югу иногда доходит до неприличия. Так, недавно были сделаны заказы разным верфям Италии, причем, однако, не вспомнили ни об одной сицилийской верфи. Это упущение показалось одинаково опасным и капиталистам, и рабочим, и всем вообще сицилийским патриотам, так что в стачке и демонстрациях приняли участие почти все цехи трудящегося люда — от крючников гавани до извозчиков.

Вам уже известно, что беспорядки сильно разрослись: толпа, в которой особенно свирепствовали женщины, осыпала камнями вагоны трамвая, перерезывала проволоки, срывала рельсы, отражала силой натиски солдат и карабинеров. Важней

всего было то, что такая огромная и бурная стачка носила характер не протеста против жадности работодателей (которые в этом случае сочувствовали и, может быть, даже подстрекали демонстрантов), но настоящей демонстрации против правительства, если хотите, даже с оттенком сепаратизма. При таком положении дела министерство выказало себя с очень выгодной стороны, послав сейчас же успокоительные телеграммы с обещанием восстановить справедливость и удовлетворить законные желания сицилийских рабочих. Благодаря этому, а также скромному поведению карабинеров, беспорядки улеглись. Конечно, не следует быть очень наивным: вероятно, главной причиной поспешной услужливости правительства послужило именно то, что с интересами рабочих совпали и интересы богатых промышленников. Но, как бы то ни было, генерал Пеллу, например, при тех же условиях закричал бы: «Целься!» и даже, пожалуй: «Пли», и карабинеры — раса, которая всегда и всюду служит показателем правительственного настроения, — держали бы себя иначе. Представьте: сами рабочие-демонстранты, собравшись вечером после бури, вотировали свое одобрение поведению *benemerita* («заслуженный корпус» — официальный титул карабинеров). По совести, эту похвалу может смело записать в свой приход сам Дзанарделли.

Заседания палаты начнутся завтра. В эту сессию, как я уже говорил, ожидается постановка и разрешение вопроса о разводе и понижении или отмене пошлин на зерно. Кроме того, министерством отмечены другие облегчительные экономические меры. Как известно, в Италии существуют местные заставы, на которых со всех провозимых в черту города или местечка предметов, идущих в пищу, взимается особая пошлина. Деревни, конечно, освобождены от этой таможенной системы.

Теперь министерство намерено предложить обращение 264 мелких пунктов из закрытых в открытые, отменив для них потребительный налог, и установить желательность постепенного открытия более крупных закрытых городов. Особенное внимание будет обращено на понижение, если не отмену, налогов, взимаемых с муки на внутренних заставах, — максимум будет определен в 2 лиры со 100 килограммов. Налог на соль, проклинаемый всеми женщинами королевства, будет уменьшен на 10 сантимов. Таким образом, потерпят убытки и казна, монополизирующая производство и продажу соли, и городские самоуправления. Чтобы возместить эти убытки,

не прибегая к новым налогам, правительство намерено увеличить сбор с наследств в свою пользу, строго придерживаться сметы в расходах, а городские сметы подвергнуть внимательному и сократительному контролю и т.д.

Высший совет народного здравия под председательством Баччелли обсуждает теперь законопроект о защите против малярии, свирепствующей среди рабочих-земледельцев. По словам «Трибуна», законопроект основан на том принципе, что правительство и работодатели обязаны принять на себя защиту рабочих от опасностей, которыми данная работа может им грозить.



Сюда прибыл, во второй раз в этом году, артист Джованни Эммануэль. Кажется, у нас его имя совершенно неизвестно; здесь, однако, его очень ценят — я слышал и такое мнение, что он головой выше Густаво Сальвини. Это, конечно, сильно преувеличено. Во всяком случае, Эммануэль — актер очень интересный, с настолько своеобразной физиономией, что, поивадав его и в «Кине», и в «Графе де Ризооре», и в «Лире», и в «Свадьбе Фигаро», я совершенно не чувствую себя в силах определить хотя бы смутно общие черты, красную нить его художественной личности. Отметим его реализм, вкус и ум — значило бы ничего не сказать, поэтому к нему я вкратце еще вернусь в каком-нибудь из ближайших писем. Из остальных театральных событий замечательно появление г-жи Барриентос в театре Costanzi в роли Розины. Рим уже знаком с нею по прошлому году и принимает ее восторженно. Правда, первый выход ее в этот приезд ознаменовался ужасными свистками, но только по адресу тенора, который действительно представлял из себя недоразумение; все же номера молодой певицы были встречены громовыми одобрениями. Действительно, у этой девочки на вид и по возрасту — поразительный, буквально чарующий голос. Счастливицы, слыхавшие Патти в былые времена, говорят, что Мария Барриентос способна заменить «Аделину». Правда, знатоки россиниевской музыки обвиняют ее в отсутствии или извращенности вкуса, что выражается в ее будто бы дерзком и своевольном обращении с музыкальным замыслом композитора. Но это — дело знатоков, а мы, невежды, слушаем и наслаждаемся.

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 27.02.1901



Рим

24 февраля (9 марта)

Заявления Дзанарделли в первом заседании палаты произвели хорошее впечатление. Никого особенно не поразило то, что старый вождь либералов начал свою речь с подтверждения принципов свободы, но приятной новостью, по сравнению с предшественниками, показалось рвение министерства, явившегося перед палатой не с голословными обещаниями, а с готовыми законопроектами, которые и были внесены в том же заседании от имени Воллемборга, министра финансов. Заключающиеся в них меры освободят население от 47 миллионов лир в податях и налогах, не обременяя при этом ни государственной казны, ни местных самоуправлений. Дзанарделли принял депутацию от палермских портовых рабочих и обещал исполнить их справедливые требования о доставлении им заработка. Депутация осталась вполне довольна отношением и обращением министра-президента. Агитация за отмену пошлин на привозное зерно усиленно продолжается. На 10 марта в Риме назначено собрание, где будут говорить против пошлин Энрико Ферри и экономист-лейборист Панталеони.

Altalena

Одесские новости (ваеч. вып.). 1.03.1901



Рим

УЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

20 февраля (5 марта)

Римская улица не похожа на то, к чему мы привыкли у себя. В новой части города теперь устраивают, правда, широкие проспекты с просторными тротуарами, с домами венского стиля — затейливое, пестрое, изящное... и художественно дешевое зодчество. Но такие улицы, как *via Nazionale*, которые были бы вполне на своем месте где-нибудь в Австрии, здесь производят странное впечатление диссонанса и, прямо скажу, портят город. Настоящая римская улица, старый добрый Корсо, узка, даже

тесна: от стены до стены она едва ли не уже обыкновенной одесской мостовой, т.е. полосы между тротуарами; тротуары на Корсо шириной в метр с небольшим. Так что если в одном конце квартала появляются две дамы рядом и если эти дамы достаточно красивы и элегантны, чтобы побудить встречных уступить дорогу (римские кавалеры не любят особенно чиниться), то всем встречным пешеходам неминуемо следует спуститься на узкую полосу мостовой, где и без того в два ряда снуют широкие извозчичьи коляски и отвратительно дребезжащие автомобили, не считая желтого допотопного конного омнибуса, который отвозит терпеливых людей на Piazza del Pópolo. То есть теснота, особенно в воскресенье, непомерная; прибавьте к этому сплошную линию высоких домов, которые своей величиной еще более оттеняют узкость аристократической улицы. Но все это, с одной стороны, так своеобразно по сравнению со всем виденным вами, что сразу дает вам почувствовать очарование новой, незнакомой среды и жизни, очарование Рима; с другой стороны, это красиво и в особенности уютно, как бывают уютны крохотные, но высокие, хорошо освещенные и убранные комнатки. А Корсо хорошо освещен и хорошо убран. Древние создатели этой длинной струны расположили ее так умело, что Корсо почти весь день озарен солнечным светом; после заката над ним загорается цепь электрических огней. И при дневном, и при ночном освещении одинаково ярко выступает красота этой чудесной улицы.

Красота Корсо не в роскошных магазинах: лавки здесь почти провинциально скромны, зеркальных огромных витрин не видно. Но все эти блестящие новейшей мишуры только испортили бы Корсо. Его благородному, сдержанному стилю не нужно мелких украшений. Его палаццо так просты, так гладки, незатейливы, четырехугольны, что в первое время приезжий проходит мимо них равнодушно или пожимая плечами. Только с течением времени вы начинаете вглядываться в стройное, полное достоинства благородство этих зданий-памятников, начинаете любоваться непередаваемой гармонией в их частностях, в разрезе их окон, в колоннах подъезда, начинаете поддаваться влиянию их многовековой красоты до того, что теряете из виду ее неподвижность: архитектура становится для вас чем-то живым, вроде поэзии или музыки, чем-то способным очаровать вас своим настроением... Второе украшение Корсо — это римская толпа. Она не особенно шумлива, не особенно многочисленна; зато она весело оживлена, всегда изящ-

на и красива. Может быть, парижская толпа элегантнее (многие оспаривают), но римская побеждает всякую конкуренцию красотой своих женщин и мужчин. Только здесь, на Корсо, вам посчастливится между площадями Venezia и Рóроlo увидеть такое множество черных, каштановых и золотистых красавиц; особенно хороши блондинки, по большей части итальянки, с волосами чисто золотого блеска, без всяких красных или желтых отливов. Мужчины же прямо радуют и утешают: всемирное вырождение физического мужчины почти не коснулось Италии — здесь у большинства ноги не кривы, колени на месте, плечи не висят, веки не опухли. И большинство из этих дам и мужчин одеты так, точно у каждого и каждой — портной не ремесленник, а художник: цвет ткани, покрой платья подобраны точно по наитию, по откровению, именно те самые, которые удачнее всего облегают данный стан, оттеняют цвет лица, подчеркивают характер походки.

Не претендую ни на смелость, ни на новизну идеи, если скажу, что элегантность служит большим показателем интеллигентности (опять-таки, как в одном из предыдущих писем, прошу не смешивать интеллигентность с образованностью). Только новичок на дороге прогресса может нарядиться в виде протеста в деревенскую рубаху: не в том дело, что это мужицкий наряд, а в том, что это некрасиво. Когда я бываю на Корсо, меня всегда берет тоска и обида за нашу Одессу. Ведь и у нее почти пятьсот тысяч жителей, ясное небо и столичная амбиция. Отчего же она так глубоко провинциальна, что эта провинциальность бросается в глаза прежде всего при первом взгляде на ее толпу? Я не стану говорить о мужчинах, но дамы! Одесситки, даже летом, до отчаяния незелегантны и мешковаты; ни одна, почти без исключений, не умеет ходить, подымать платье, раскрывать зонтик, опираться на вашу руку, отвечать на ваш поклон... Вот уж именно маленький Париж — очень маленький.

В старой части Рима, кроме Корсо и двух-трех других важнейших артерий, почти нет прямых улиц: все извилистые перепутанные переулочки или улочки, часто прерываемые площадями, которые оставлены перед лучшими костелами и дворцами. Красивыми эти улицы, конечно, нельзя назвать, но они, по крайней мере, живописны, не видно покатых железных крыш, которые так безобразят лучшие виды в городах новой постройки (здесь все кровли плоски), и в узкой раме желтых высоких домов синее римское небо чудно выделяется полосой настоящего лазурного бархата.

На этих демократических улицах, конечно, элегантной толпы нет, но красавиц и здесь, может быть, не меньше, за корзинами зелени, под косяком и у стойки открытых лавчонок, особенно вокруг белого стола прачечной. Здесь можно наблюдать, прямо среди улицы, те типичные проявления простонародного житья-бытья, которые у нас обыкновенно процветают только во внутренних дворах. Ванька-Рутютю (*Pulcinella*) воздвиг свой шатер перед толпой ребятишек на перекрестке, и извозчики почтительно огибают его: он пищит точно тем же тоном, что и на Святой Руси; слов его не разберешь, не зная неаполитанского наречия — Пульчинелла не признает других языков, — но видно, что он ведет себя точно так же, как и у нас на Куликовом поле, т.е. дурачит, колотит и получает колотушки. Шарманка тоже примостилась прямо на улице; она не так скверно дребезжит, как ее российская сестра, и под ее аккомпанемент приятный, иногда хороший баритон поет ритурунель римской серенады: «Заря уже поднялась, и проснулись фиалки, но не взойти солнцу, если не выглянешь ты!»:

*L'aurora é già spuntata,
Iso nnate le viole,
Ma nun rinasce er zole
Sin nun t'affacci te!*

На другом перекрестке небольшая толпа собралась вокруг дужего молодца, который с приемами заправского оратора убеждает публику купить клей для разбитых тарелок или проволочную штуку, из которой можно устроить и подсвечник, и подутюжник, и вазу для букета. Называется такой оратор *шарлатаном*: корень этого слова (*ciarlare*) означает *болтать*, и бедный трибун-торгаш очень бы огорчился, если бы узнал, во что превратилось его прозвище у северных медведей.

Солнце палит; с замка Св. Ангела раздается пушечный выстрел: полдень. Через несколько минут мимо нас скользит поспешной походкой стройной и молодой женщины барышня лет двадцати или меньше, одетая просто, но изящно. Лучше всего на ней (после личика и фигуры) иногда шляпка, иногда кофточка, смотря по тому, *modista*¹ ли она или *sartina* (ученица-портниха). Вокруг ее шеи обвита пушистая лисичка из темного собачьего меха; на руках темные красивые перчатки; правая рука поддерживает платье с коварным расчетом

¹ Модистка (*итал.*).

ясно очертить красивые бедра, а левая сжимает кошелечек и сверток с маленькой бутылочкой. В бутылочке четвертушка вина: *sartina* спешит на Пинчо — воспользоваться часом свободы и закусить куском хлеба с колбасой и глотком сладкого красного «Гротта-Феррата». Ей, вероятно, неудобно держать и кошелек, и сверток в руке, но что прикажете делать: устроить в юбке карман и испортить себе всю фигуру — невымыслимо и невозможно. У нее даже носовой платочек, и тот в кошельке.

Грешным делом, пойдём за нею на Пинчо. На первых порах она неприветлива: это — римлянка. «Мне ничего не нужно, — режет она вас, — я уж была за покупками в *quarantotto*». Это — стереотипная фраза римских девушек, когда им нужно отогнать — серьезно или «так себе» — навязчивого *raino* (франта): *quarantotto*, т.е. 48, называются такие энциклопедические магазины, где продается решительно все за 48 сантимов за штуку: материи, ложки, игрушки, фотографические аппараты для одного снимка и т.п.

Если *quarantotto* вас не устрасит и если *sartina* в данную минуту не спешит навстречу своему *ragazzo*¹, или по-римски *gegazzo*, вы еще прежде чем подниметесь на тенистый, цветущий Пинчо, сведете с нею знакомство. Вы найдете в ней глубину мысли и образность выражения. У нее либеральные взгляды. В Риме, по ее мнению, девушкам и женщинам дают мало свободы. Она никогда не выйдет замуж. Если она полюбит — «но по-настоящему», — то обойдется без синдика и ксендза: ей почему-то кажется, что это гарантирует ее от опасности иметь детей. Детишек она не любит. Ухаживать за собой она позволяет, но только не долго, а то ей надоест. Жизнь ее должна быть романом. Она когда-нибудь убежит от семьи далеко... в Париж! Она хотела бы умереть рано, но «не прежде, чем ударит полдень». Если вы спросите, что это за «полдень», она расхохочется и спросит: «А в Риме дожди бывают?» Этот вопрос, опять-таки на ее жаргоне, означает: «Как вы наивны!»

В час дня — *al tocco* — она вас оставит: ей пора в мастерскую («в школу», как она выражается). Через несколько дней она, пожалуй, согласится ради вас «пропилить» послеобеденную работу («пила» здесь равняется «казне» русских школьников и означает незаконные вакации), и тогда вы ее повезете за город обедать. Но в первый день знакомства это невозможно.

¹ Здесь: молодой человек, парень (*итал.*).

Sartina блюдет свое достоинство. Она и не позволит вам проводить ее до «школы», потому что могут встретиться родные, а в Риме на этот счет строго.

Действительно, меня здесь сразу поразило полное отсутствие на улице молодых парочек, которых такая масса, особенно по вечерам, под акациями нашей Одессы. Бедные итальянские девицы — за ними следят, точно за анархистами. И, в конце концов, довольно скучное впечатление производят все эти юные щеголи, собирающиеся перед Араньо, когда видишь, что им предоставлено только перекидываться взглядами со своими прелестными избранницами, потому что рядом с избранницами шуршат юбками мамыши — стройные, изящные, но строгие.



По вечерам римская уличная жизнь рано затихает. В половине десятого, кто не в театре или не у Араньо, тот в постели или в гостях. На улицу выпархивают только ночные бабочки — создания неинтересные виду своей интернациональности. Впрочем, здесь они гораздо скромнее, приличнее и требуют гораздо большего уважения к себе, чем в России.

Иногда только ночью, на каком-нибудь затерянном перекрестке, вы натолкнетесь на типичную, чисто римскую группу. Пять-шесть подвыпивших граждан, выйдя только что из траптории, остановились тайком поиграть в запрещенную *морру*. Играют, собственно, двое: остальные следят с немалым азартом. Игра очень проста: каждый из двух игроков поминутно опускает правый кулак и в то же время разжимает пальцы, все или часть; один из них при этом вслух пытается угадать число, которое составят его разжатые пальцы с разжатыми пальцами партнера. *Морра* до того несложна, что, вероятно, для разнообразия она обыкновенно завершается поножовщиной. Поэтому, как только на другом углу показываются две знаменательные треуголки (карабинеры всегда ходят парами), компания исчезает, и римская улица погружается в сон.

Altalena

Одесские новости. 1.03.1901



Рим

27 февраля (12 марта)

Разлад между клерикалами и радикалами, царящий в капитулийской думе, начинает принимать серьезный оборот. После того как не удалось убрать с площади Термини рутеллиевских нимф, шесть клерикальных членов управы, придравшись к мелкому случаю, заявили синдикку дону Просперо Колонна о своем уходе из состава городской джунты. Однако это не повлекло за собой кризиса благодаря энергии либерального донна Просперо: он спокойно принял отставку клерикальных управцев, которые теперь будут заменены либеральными и радикальными гласными ввиду того, что гласные папской партии решили не принимать участия в выборах для пополнения джунты. Население всецело на стороне либералов. Вчера в честь популярного донна Просперо были устроены две манифестации с шествием по улицам: одна по замыслу нескольких городских корпораций, другая по инициативе либеральных студенческих партий. Несмотря на шумный характер демонстраций, полиция, конечно, им не препятствовала ввиду их антиклерикального значения. Дон Просперо, выйдя к студентам, произнес речь, в которой благодарил молодежь за выраженные ему симпатии и обещал и впредь выше всего ставить принципиальное достоинство национального, итальянского, «неприкосновенного» Рима.

Altalena

Одесские новости. 4.03.1901



Рим

1(14) марта

Здесь с каждым днем все больше распространяются слухи о предстоящем будто бы в Тулоне провозглашении нового тройственного союза между Россией, Францией и Италией. Конечно, это только слухи, т.е. настоящего провозглашения союза не может последовать уже потому, что Италия еще на два года связана обязательствами с Германией и Австро-Венгрией. Но нет никакого сомнения, что некоторое сближение между королев-

ством, империей и республикой заметно налаживается. Вам уже, конечно, известно, что два русских военных судна окажутся в тулонских водах ко дню соединенного смотра французской и итальянской эскадры; таким образом, в этот день будут развеваться все три трехцветных флага, и Европа получит полное право принять это совпадение за обещание общей дружбы.

Итальянцы, в общем, были бы довольны такой переменной. Во-первых, союз с немцами вообще и с австрийцами, в частности, представляет для итальянца в психологическом отношении какое-то противоестественное сожительство. Немец каждой черточкой своего характера идет врозь с итальянцем; поговорите о римлянах с членами здешней бесчисленной немецкой колонии, и вы услышите совсем не «союзные» отзывы; австриец сверх того хранит воспоминание об итальянском порабощении и, чтобы создать себе иллюзию доброго старого времени, теснит триестских националистов. Во-вторых, тройственный союз до сего дня не принес итальянцам никакой выгоды, не спас их от Адуи и не сохранил за ними Сан-Мунской бухты в Китае. Может быть, во всем этом злая воля берлинского или венского кабинета была и совершенно ни при чем, но такие щелчки подорвали в обществе всякую веру в значение союза с немцами. В-третьих, если французы не особенно благоволят к итальянцам, зато итальянцы прямо влюблены во французов, в их Париж, в их язык и музыку. Всякое сближение с Францией здесь было бы встречено с чистосердечным восторгом.

О политических выгодах такой перемены я не буду говорить, потому что считаю эти выгоды — если бы они и получились — исключительно выигрышами правительств, а не народов. В дружбе ли Италия с немцами, или с французами и русскими — для народного благосостояния это безразлично, потому что как один, так и другой союз мыслимы только для военных целей, и, следовательно, военные и флотские затраты останутся те же, если не возрастут. Конечно, будут кое-какие мелкие последствия, вроде праздничного «на водку» трем народам: итальянцам, наводнившим французский Тунис, будет дан намек на официальное признание их преобладания в крае; французские вина и ликеры и русское зерно получат более широкий доступ через таможни Италии и т.п.

Что действительно было бы отрадно при возникновении нового тройственного союза, это его идейные последствия. Русская литература, русское искусство хлынули бы в Италию, которая таким образом, несомненно, пережила бы такой же

период увлечения всем русским, как недавно Франция. Россия тоже бы короче познакомилась с плодами духовной жизни итальянцев, которая теперь для русской публики представляет, кроме двух-трех имен (только имен), нечто вроде темной комнаты. Итальянские ученые — юристы, экономисты, физиологи — с их смелыми художественными синтезами внесли бы немало оживления в скучную, онемеченную сферу русской научной жизни. Обе страны много выиграли бы от такого сближения, тем более что нет двух народов, которые духовно так были бы похожи и близки друг с другом, как итальянцы и русские. Это может показаться парадоксом, но это так. К сожалению, русско-итальянское духовное сродство, поражающее всех, кто хорошо знает оба народа, в большой публике этих стран до сих пор осталось незамеченным; взрыв энтузиазма и любопытства, сопровождающий обыкновенно провозглашение международных союзов, дал бы всем возможность почувствовать это сродство и укрепил бы духовную связь между Россией и Италией надолго, за пределы срока дипломатических договоров.

Итак, будем надеяться, что Тулон окажется дополнением Кронштадта.

Altalena

Одесские новости. 6.03.1901



2 (15) марта

В последнее время в Италии вошел снова в моду старинный обычай: поэты кочуют из города в город, изустно знакомя публику со своими новыми произведениями. Только недавно закончилось торжественное шествие по «ста городам» королевства двух поэтов римского диалекта, Паскарелла и Трилусса, которые повсюду произвели фурор своими изящными сонетами. Теперь такое же круговое шествие начал Габриеле Д'Аннунцио. Уже в двух или трех главных городах Италии этот талантливый дезертир декадентства среди шумных и заслуженных оваций читал свою поэму «Ночь на Капрере» — третью главу обширной эпопеи «Песнь о Гарибальди».

Талант и ум Д'Аннунцио находятся теперь в лучшей поре зрелости; что бы ни вышло в настоящее время из-под его пера, печать этого полного расцвета должна лежать на всяком его

произведении. Тем более приятно заметить, что бывший декадент и ницшеанец (не понявший у Ницше ни одной строки) как раз теперь спустился с заоблачных высот в жизнь и стал говорить языком, понятным обыкновенным людям, о вещах, способных заинтересовать порядочных людей. Правда, краткое увлечение символизмом в Италии пролетело, так что, быть может, правы те, кто объясняет поворот Д'Аннунцио переменной ветра. Но кому какое дело до внутренних побуждений? Важно то, что Д'Аннунцио опомнился, и как раз в удобное время — в момент, когда талант его находится на вершине своей горы, или, если хотите, своего холма. Теперь только от него можно смело ожидать прочных и долговечных крупных созданий.

До сих пор, по моему глубокому убеждению, он не написал ничего долговечного, кроме нескольких мелких стихотворений. Действительно, как поэт — не только как стихотворец — Д'Аннунцио почти велик. Создавать такие гармонические сочетания звуков, какие попадают в иных его сонетах и стансах, значит быть гораздо более чем версификатором: Д'Аннунцио — истинный художник слова. Если бы к тому же небо не лишило его фантазии и наблюдательности, он занял бы почетное место среди величайших поэтов мира. Но ни фантазии, ни наблюдательности у него нет, а в лирике он до сих пор был слишком неискусен. Поэтому даже среди его стихотворений редко попадаются такие, на которые читатель мог бы отозваться душой, а не рассудком. Зато, когда Д'Аннунцио один раз в год случается быть искренним и не жеманиться, из-под его пера выходят настоящие маленькие шедевры, которые не скоро будут забыты. Но среди его драм и романов нет ни одного подобного оазиса. Драммы лишены движения, для которого нужна фантазия, и потому скучны и тощи; романы тоже бессодержательны и потому переполнены тем, что Д'Аннунцио и его соотечественники в простоте душевной считают *психологией*, т.е. изложением того, что думает и чувствует герой во всякую данную минуту. Романы Д'Аннунцио благодаря чудному языку действуют несколько ослепительно на итальянцев, но иностранец, для которого часть этих красот языка и стили не вполне понятна, видит скудную постройку в большей наготе и, вспоминая о Толстом и Достоевском, может только улыбнуться ученической психологии Д'Аннунцио.

Иное дело теперь. Теперь Д'Аннунцио подошел к жизни, следовательно, фантазия уж не так ему нужна, тем более что он всегда остается гораздо больше лириком, чем эпическим по-

этом. Он написал оду молодому королю, где были чудные строки призыва и тоски по вождю: «Натяни твой лук, зажги твой светоч, порази, озари, о герой латинского племени! Ибо если продолжатся позор и страдания, то, когда час пробьет, среди восставших ты близко увидишь и того, кто сегодня тебя приветствует, о юноша, рукою смерти коронованный на море!» Недавно он написал оду на «вознесение» Верди, которая тоже вызвала всеобщий восторг. Теперь он выступает с «Песнью о Гарибальди», замысел которой — история и лирика, т.е. два поля, в которых недостаток наблюдательности и фантазии почти не будет замечен. Вот заглавия семи частей эпопеи: «Рождение героя», «Океан и пампасы», «Ночь на Капрере», «От Рима к болотам», «Аспромонте и Ментана», «Венки мира» и «Кончина героя».

Д'Аннунцио еще не читал своей «Ночи на Капрере» перед римской публикой, но эта глава (около 1000 стихов) уже издана отдельно миланской фирмой «Тревес»; таким образом я успел с нею познакомиться. Сам автор говорит в примечании, что это произведение написано для декламации, а не для немого чтения. Оригинальные стихи с полузвучиями вместо рифм не производят особенного впечатления при чтении глазами. Но, несомненно, у хорошего декламатора они должны звучать гармонично и красиво. Публика в Турине, Милане и Флоренции, прослушавшая «Notte di Caprea» из уст самого поэта, отзывалась на эти стихи овациями и энтузиазмом.

В «Ночи на Капрере» отражена величавая простота Гарибальди. Он завоевал Италию, подарил ее королю Виктору Эммануилу (Д'Аннунцио иронически часто прибавляет к слову «король» эпитет *sopraggiunto*, который в данном случае можно перевести: «приехавший с опозданием»), попросив себе в награду мешок зерна для посева, и вернулся на свой остров, на Капреру, где у него ферма, выстроенная собственными руками. Ночью ему не спится, и он от нечего делать принимается разбирать свое наградное зерно, которое намерен завтра посеять на своем поле; по весу и по виду, опытным глазом и опытной рукой этот «мастер всех ремесел» отличает хорошие семена от негодных, а между тем в его памяти проносятся картины великой, почти сказочной войны, которая освободила пол-Италии и которая была создана и доведена до конца им, этим скромным земледельцем, сортирующим хлебные семена. Много воспоминаний проносится перед Гарибальди; из них особенно замечательно одно. Было это после Вольтурно и Гарильяно: *sopraggiunto* король принял в подарок завоеванные

Гарибальди земли и уехал с роскошной свитой обедать; Гарибальди со своими оборванными героями остался на лугу перед нищей деревушкой, сел отдохнуть на лопнувшую бочку и попросил поесть. Пастух принес ему ломоть черствого хлеба, кусок гнилого сыра и кружку воды; от воды шел тяжелый запах, так что Гарибальди вылил ее на землю и добродушно сказал: «Ваш колодец заражен, там, верно, падаль на дне». Его товарищи вокруг сидели и молчали, задумавшись; Гарибальди тоже задумался и точно молился, «и крепкий узловатый дуб, черневший над ним, казался священным, как кроткие масличные деревья того сада, где некогда трижды молился другой человек с золотыми кудрями...» И точно в знак доверия к этой божественной непритязательности героя, его ночные воспоминания внезапно прерываются блянием заблудившегося голодного ягненка. Гарибальди подымает его на руки, ласкает, утешает нежными словами и несет в загон к обеспокоенной кудластой матери. Так проходит первая ночь «рыцаря человечества» на его родной Капрере. Занимается на востоке заря, он срезает прут и гонит свое стадо на пастбище, радостной полной грудью вздыхая:

— О, свобода!

Altalena

Одесские новости (веч. вып.). 7.03.1901



Министерство представило свои финансовые законопроекты в отпечатанном виде. При выборах членов комиссии, которая должна будет рассматривать эти законопроекты, довольно неожиданно обнаружилось, что у кабинета Дзанарделли нет и намека на большинство в палате: в комиссию попали почти исключительно депутаты оппозиции, т.е. центра и правой.

Это явление, странное ввиду очевидного доверия страны к новому правительству, объясняется попросту личными счетами и завистями вожаков, главенствующих в центре и на правой. Они, конечно, надеются таким образом заставить прогрессивное министерство уйти в отставку.

Но Дзанарделли может поступить иначе: если он распустит палату и назначит новые выборы, то создаст за собою та-

кое большинство, каким до него не располагало ни одно министерство: в областях с развитым населением пройдут, как всегда, кандидаты левой и крайней левой, дружелюбных к кабинету, а в местах, где царят невежество и нищета, за правительственных кандидатов будут ратовать, кроме всемогущих префектов и полицейских, сами реформы, внесенные в программу кабинета и открыто отвергнутые центром и правой: облегчение зерновых пошлин и ненавистного потребительного налога.

Единственное неудобство новых выборов в том, что они слишком усилили бы крайнюю левую, чем мог бы быть подорван престиж монархии.

Altalena

Одесские новости. 8.03.1901



С берегов Тибра

21 марта (3 апреля)

Противники министерства ведут против него отчаянную борьбу, пользуясь каждым предоставляющимся предлогом, чтобы подорвать доброе имя кабинета Дзанарделли. В последние дни здесь нашумел пустенький инцидент, который оппозиция раздула в целый политический вопрос.

В здешнем университете существует обширный и, говорят, хорошо организованный кружок студентов-монархистов. Председателем кружка уже несколько лет состоит Джорджо Гейш (Heusch), сын очень известного, заслуженного и влиятельного генерала. Месяца три тому назад Джорджо Гейш сдал окончательный экзамен и из студента сделался доктором, однако товарищи в знак доверия оставили за ним председательское кресло в «монархическом кружке». Таким образом, когда на прошлой неделе в Пантеоне было устроено торжество по поводу приезда городского головы Буэнос-Айреса, привезшего от имени аргентинцев художественно сработанную плиту для возложения на гробницу Умберто, организатором манифестации монархического студенчества явился тот же Гейш, хотя уж и не студент. Эти манифестации, конечно, прошли в полном порядке, что и не мудрено при их благонамеренном направлении.

Несколько дней тому назад студенты-монархисты решили выразить сочувствие синдиксу дону Просперо Колонна за его поведение в столкновениях с клерикалами (здесь антиклерикализм на хорошем счету у монархистов). В этой манифестации не пожелала принять участие многочисленная аудитория Энрико Ферри; тогда демонстранты с шумом и свистками заставили профессора-социалиста прервать лекцию и уйти.

Ректор Черутти, человек передовых убеждений, отозвался на это событие несколько странно. Он написал доклад в квестуру (полицию), объясняя, что так как больше всех шумел и мешал слушать Джорджо Гейш, над которым ректор не имеет теперь никакой власти, ибо Гейш не студент, то он считает своим долгом указать на этот факт квестуре, чтобы она сделала юноше отеческое внушение.

Через день министр внутренних дел получил письмо, в котором Джорджо Гейш сообщал, что в квестуре его упрекнули за чрезмерное монархическое рвение. Поэтому он, Гейш, отказывается от председательства в кружке студентов-монархистов.

Благодаря связям Гейша об инциденте заговорили все газеты; оппозиция палаты воспользовалась этим случаем и представила Джолитти запрос относительно того, что квестура скомпрометировала престиж монархии. Депутат Чирмени выставил дело в таком свете: либеральное министерство, зная, что центр и правая против него, гонится за популярностью на крайней левой; полиция, которая всегда обладает тонким чутьем, поняла эту тенденцию и рассчитывала угодить министерству, делая беспримерный в ее летописях выговор монархисту за монархическое рвение.

Джолитти объяснил, что, во-первых, в полиции с Гейшем говорили совсем не в тех выражениях, какие он приводит в своем письме; ему только внушили — со всем почтением, какого требовали его благонамеренность, громкое имя и сильные связи, — что не следует подрывать престиж монархической демонстрации нарушением порядка, хотя бы и против профессора-социалиста.

И сим инцидент был исчерпан. Тем не менее даже в либеральной части общества и студенчества поступок ректора Черутти не вызывает одобрения. Обращение его в квестуру хорошо, может быть, в том смысле, чтобы показать, что правила об общественной политике и о свободе занятий писаны и для

монархистов. Но все это он мог лично высказать Гейшу; правда, последний уже не студент, но в пределах Сапьенцы (университетское палаццо) и он должен бы был признать власть ректора. А обращение по университетским делам в квестуру — нехороший и некрасивый прецедент, здесь безусловно осуждаемый.

Из этого случая вы поймете, как теперь смешались шашки. Партия «порядка» в палате — центр и правая, Соннино, Лакава, Луццатти и пр. — волею судеб повела отчаянную войну с правительством; та же партия *порядка* вне палаты устраивает студенческие «беспорядки», а квестура, с грозным полицмейстером Буонерба во главе, проповедует революционные идеи. Страшно! И все это потому, что Соннино во что бы то ни стало хочет добиться теплого места министра-президента...

Чем больше вглядываешься в эту кувырк-коллегию, тем яснее становится, что парламент, депутаты, голосования — все это фарс, *buffonata*¹, пыль в глаза, борьба полудюжины самолюбий, не создающая, не обуславливающая и не облегчающая прогресса нации. И таким фарсом все это и останется здесь, во Франции, в Англии и где угодно, пока не исчезнет чума дипломатии, закулисная международная политика. Потому что каждый дипломатический договор, о точном смысле которого нация и депутаты ничего не знают, на четверть века вперед предрешает внутренний прогресс страны, ставя перед ним стальные барьеры.

На днях Эрмете Новелли закончил первый полугодовой круг своих спектаклей в театре Valle. Я уже имел случай подробно говорить с читателями о «Доме Гольдони» как о попытке ввести в Италию оседлое искусство и о неудаче, которая, видимо, и справедливо должна постигнуть эту попытку. Новелли в прощальный вечер обратился к публике с «двумя словами», из которых можно только вывести подтверждение неуместного актерского закрепощения. Новелли признал, что его попытка не увенчалась полным успехом, однако, зная, что всякое начало трудно, он ничуть не падает духом, напротив, полон лучших надежд; поэтому в будущем ноябре он со своей труппой (лучшей в Италии в настоящую минуту) вернется в театр Valle и снова займет его на пять месяцев. Но в то же время ему пришлось указать на то, что из 78 произведений, которые шли на его сцене за эти 144 вечера, только 41 принадлежало к итальянскому

¹ Паясничание (*итал.*).

репертуару, остальные 37 — переводные. И уж, конечно, эти переводные пьесы ставились чаще национальных; что особенно характерно, это — успех фарсов французского производства, вроде «Муж охотится», или «У моей жены нет шику», которые десятками вечеров не сходили с афиш. И сборы, конечно, давало не национальное искусство, а именно «Охотящийся муж». Насколько это отвечает идее, вложенной в само название «Дом Гольдони», должны рассудить читатели. Ясно отсюда, что даже гений Новелли не в состоянии был привлечь публику в «крепостной» театр, и для приманки потребовался старый друг «Контролер спальных вагонов». Сомневаюсь, чтобы в будущем дело пошло лучше.

Хорошо хоть то, что летом Новелли по-прежнему кочует: он посетит Монте-Карло, Триест, Зару и т.д. Это — путь истинный для искусства, которое должно дарить свои проявления всем, кто на них имеет право, а не застревать в одной щели только потому, что эта щель — столица.

В других театрах пока ничего исключительного нет. Эммануэль с успехом продолжает свои классические спектакли на сцене театра Nazionale, но о нем мы поговорим по окончании великопостного сезона. Других серьезных драматических трупп в Риме в настоящую минуту не имеется. На сцене простонародного Manzoni появился было «Иоанн» Зудермана, но провалился, хотя публика собралась необычайная для этого театра — почти исключительно интеллигентная. Об опере в Costanzi и о Марии Барриентос я уже писал. В театре Adriano, где ожидалась было г-жа Делли Аббати, пришлось поставить «Фаворитку» без нее; в этой опере и чередующемся с ней «Рюи-Блазе» Маркетти никто из исполнителей не выделился, кроме молодого мексиканского баритона Берналя, у которого прекрасный сильный и хорошо поставленный голос.

Вскоре должно наступить оживление. На днях начнутся в Costanzi гастролы Джеммы Беллинчони в опере «Федора»; конечно, билеты на первые вечера уже раскуплены. Затем ожидается гвоздь сезона: «Мертвый город» Д'Аннунцио с Дузе и Дзаккони, поставленный под наблюдением самого автора. Правда, в Милане этот спектакль окончился свистками, и здесь предвидится почти то же, но — кто знает? — в этом, может быть, главный интерес.

Altalena

Одесские новости. 25.03.1901



Рим

24 марта (6 апреля)

«Tribuna» послала своего даровитого сотрудника Белькреди — того самого, который по ее же поручению был в Китае и, между прочим, разоблачил хищнический образ действий монсеньора архиепископа Фави, — в Марсель, для наблюдения за тамошней грандиозной стачкой. В Италии, как известно, этой стачкой особенно интересуются ввиду того, что среди марсельских рабочих множество итальянцев; кроме того, некоторые парижские газеты, вообще недолюбливающие la nation sorella (сестра), прямо обвиняют ее правительство в подогревании стачки для того будто бы, чтобы подорвать престиж Марселя в пользу Генуи. Тамошнего итальянского консула маркиза Каркано называют настоящим создателем стачки и утверждают, что он истратил на нее четыреста тысяч франков, конечно, подозрительного происхождения.

Из того, что сообщает Белькреди на этот счет, нельзя вынести ничего положительного ни за, ни против участия итальянских официальных интересов в марсельских событиях. Белькреди начинает с того, что признает неправыми обе стороны — и хозяев, и рабочих. Первые шесть месяцев тому назад подписали «красный манифест», устанавливавший 9-часовой рабочий день и 6-франковую норму платы, впоследствии 9 часов превратились в 10, а шесть франков в пять. В этом, несомненно, вина фабрикантов. Вина же рабочих в том, что они не воспользовались вероломством работодателей для мирного представления жалобы правительству — что сильно подвинуло бы вперед их интересы, — а рискнули начать новую, небывало грандиозную стачку, размеры которой совершенно не соответствовали ее поводам. Они выставили такие требования, как 8-часовой рабочий день, отмена ночного труда, восстановление в некоторых отраслях ручного производства, — требования, которых не мог одобрить и сам Мильеран. И результатом этого большого сражения явилось большое поражение, от которого рабочие марсельского порта не скоро оправятся.

Эта несоразмерность между силой пожара и его причинами приводит и Белькреди к убеждению, что стачка была искусственно организована с политической целью. Но Белькреди

думает, что здесь замешаны игроки внутренней политики, люди, добивающиеся популярности. Прочие смертные, конечно, вольны подозревать, напротив, козни политики международной, и тогда прежде всего подозрение должно пасть на Италию.

Однако если принять во внимание, насколько Италия заинтересована именно теперь в добрых отношениях к французам, и если припомнить, что со дня объединения итальянская внешняя политика была, может быть, полна ошибок, но не вероломна и не двулична, обвинение против Италии, как правительства, само собой падет. Другое дело, если мы предположим, что частные лица, заинтересованные в конкуренции между Марселем и Генуей, подлили масла и денег в стачку, разорительную для провансальской столицы...

Французы громко говорят о ненависти самих рабочих к товарищам итальянцам. Это, конечно, правда: италобобия существует, и не в одной только Франции. Но было бы клеветой утверждать, что эта нелюбовь вызывается нетоварищескими приемами конкуренции итальянского рабочего. Он не сбивает платы и стойко выдерживает стачку, так что его даже всегда считают зачинщиком последней. Конкуренция итальянских рабочих нелюба, во-первых, их многочисленностью, а во-вторых — личными качествами: расторопностью, выносливостью, понятливостью, которой одарены эти эмигранты, бегущие от безработицы на родине. Парижские и марсельские националисты подумывают чуть ли не об изгнании итальянских рабочих, но Белькреды — полушутя, полусерьезно — утверждает, что марсельские промышленники на этот счет такого мнения: «Если вышлют из Франции итальянских рабочих, нам только и останется, что уехать за ними вслед».

Altalena

Одесские новости. 29.03.1901



Рим

27 марта (9 апреля)

Умер профессор Месседаля, известный статистик и экономист. Покойный был любимцем римлян, значительная часть которых в свое время прошла через его аудиторию. Сам он тоже любил своих учеников и охотно беседовал с ними; эти беседы давали молодежи приятное в соединении с полезным, так

как Месседаля был всесторонне образован. Доказательством этого может послужить посмертная его работа, которая вскоре будет напечатана. Это — оригинальное соединение метеорологии с литературной критикой: автор доказывает поразительную точность и безошибочность метеорологических познаний Гомера всюду, где последний упоминает о различных ветрах. То же наблюдение оправдывается и для Ариосто; наоборот, Вергилий и Тассо, при всей их учености, нередко впадали в грубые ошибки. Работа очень интересна сама по себе и особенно как произведение профессора статистики. Впрочем, Месседаля всегда интересовался литературой и даже переводил английских поэтов. Ему было 84 года. Смерть его вызвала глубокое сожаление.

Скончался также Коккапельлер, бывший депутат от простонародных районов Рима. Малообразованный, полный самомнения, не вполне нормальный в психическом отношении, он, однако, завоевал симпатии простонародья, попал в депутаты и считал себя последним римским трибуном. Но в палате его речи только сместили слушателей, и избиратели скоро поняли, что имели дело с полуманьяком. Кабинет Депретиса воспользовался Коккапельлером, убедив его выступить противником сильных тогда радикалов. «Трибун» действительно, правдами и неправдами, внес разлад в радикальную партию, но тут подошли выборы, и Коккапельлер исчез со сцены и из памяти сограждан вплоть до дня своей смерти.

Altalena

Одесские новости. 4.04.1901



Рим

1 (14) апреля

В Неаполе совершено преступление, занимающее всю Италию почти не меньше тулонских празднеств. Тридцатилетняя вдова Коломба Орландо и маленький сын ее Джованнино убиты доном Пьетро Потенца, куратом (кюре) одного из неаполитанских костелов. Дон Пьетро одно время был квартирантом своей жертвы — дамы скромной, состоятельной, всецело преданной воспитанию сына Джованнино и приемыша Николино. Дон Пьетро увлекся хозяйкой и однажды ночью отважился на непозволительное покушение; синьора Коломба едва

спаслась, забаррикадировавшись у себя в спальне. После этой ночи дон Пьетро, конечно, был принужден перенести свои пены под другую кровлю, но преследовать несчастную женщину не перестал. Он докучал ей устно и письменно; он раздобыл ее портрет и, когда она в сопровождении внушительных родственников явилась к нему в ризницу костела, чтобы отобрать этот портрет, сбросил рясу и спасся через окно, унося с собою драгоценную карточку. Он, в отместку за холодность синьоры Коломбы, посулил какому-то каморристу 200 лир за обезображивание вдовы по неаполитанской системе — двумя ударами бритвы по лицу; та узнала о заговоре и почти никогда не выходила из дому. Кончилось это тем, что дон Пьетро, хладнокровно обдумав покушение и приготовив все необходимое для собственного исчезновения из Италии, убил вдову, а кстати и ее сына. Расчет дона Пьетро оказался ошибочным: его арестовали. В тюрьме он держится холодно и цинично, выражая сожаление и даже удивление только по поводу того, что ему не удалось скрыть следов преступления; убийство мальчика он объясняет тем, что ненавидел его не меньше матери.

Дон Пьетро Потенца был давно известен публике и полиции с дурной стороны. От него проходу не было женщинам и девушкам. Одну крестьяночку он заманил к себе на дом обещанием дать ей верные числа для субботней лотереи. Его же года три тому назад арестовали — не помню за что — в Риме, куда он явился развлекаться в статском платье и под чужим именем.

Убийства из ревности или за отвергнутую любовь нередки в нижней Италии, но это преступление вызвало особенное негодование — больше всего в простонародье — как ввиду исключительной жестокости убийцы, не пожалевшего и ребенка, так и ввиду того, что преступник — духовное лицо. С сожалением приходится признать, что в последнем отношении это событие является для Италии, особенно для ее простонародья, ударом по очень наболевшему месту. В южных городах, местечках и деревнях курат еще сохранил большую часть своего влияния на религиозных прихожан, поэтому всякое злоупотребление ему легко удается. Ни для кого не тайна, что эти злоупотребления tutt'altro che¹ редкость и что наиболее распространёнными из них являются эротические притязания.

¹ Совсем не редкость (*итал.*).

Боккаччо далеко еще не отошел в область преданий: об этом много могут порассказать жены и дочери низших слоев городского населения, а особенно жительницы местечек и деревень. В самом Риме, где население смотрит свысока даже на религию и где даже те немногие, кто еще набожен, насквозь пропитаны пренебрежительным скептицизмом, — в самом Риме курат много содействует утверждению за римскими мужьями их славы людей снисходительных, или, по-здешнему, *трижды добрых*. Любопытно то, что многие из этих пастырей любят даже без всякой цели, бескорыстно, щекотать скользкие вопросы и играть на струнах женского темперамента. Женщины и девушки из простонародья передают иногда такие беседы с исповедником, которым никакого оправдания и объяснения вы не найдете, если не допустите нарочитого желания со стороны padre¹ поболтать с миловидной духовной дочерью о пикантных предметах.

Все это, конечно, не составляет исключительного отличия черных таларов²: те же черты, в меньшей степени, свойственны итальянцам вообще как народу жизнерадостному и полнокровному. Но именно ввиду этого и опасно, в Италии более чем где бы то ни было, выделять из среды населения несчастных, которым закрыта всякая законная дорога к лучшим и важнейшим радостям жизни. Подавление плоти никогда не вело к замиранию чувственности; напротив, его результатом всегда было неестественное развитие последней, только в болезненно выродившихся формах. Отсюда чувственный, волнуемый характер католического мистицизма, отмеченный всеми серьезными исследователями. С отрочества заключенные в семинарии, похожие на испанский монастырь, одетые в платье, как будто нарочно придуманное для обезображивания мужского тела, вечно подавленные наставлениями, выговорами и надзором, будущие пастыри итальянцев вырастают в среде, где все направлено к изгнанию беса... и где все поэтому говорит о бесе. Взгляните на этих тощих, узкогрудых, хриплоголосых юношей на улице: по их неприятно изможденным лицам, с синими пятнами под бегающими глазами, вы сейчас поймете, что они проводят ночи без сна, в лихорадке, с раскрытым и пересохшим ртом. Что мудреного, если из такого воспитания получается дон Пьетро Потенца?

¹ Отец — форма обращения к католическому священнику.

² Талар — сутана.

Папа Лев XIII разрешил южноамериканскому духовенству вступление в брак. Это — и вообще реформы, реформы, реформы — единственный путь к укреплению шатающихся основ церкви св. Петра.

Altalena

Одесские новости. 7.04.1901



Рим

3 (16) апреля

Вчера папа Лев XIII провозгласил назначение 12 новых кардиналов — 10 итальянцев и 2 славян (чеха и поляка). Таким образом, коллегия папских избирателей состоит теперь из 67 кардиналов, из которых 27 не итальянцы. Этим устранена возможность избрания в преемники Льву XIII не итальянца, что повлекло бы к неудобным осложнениям, особенно с Германией, в случае, если бы новым папой оказался француз. Большая часть новоизбранных князей церкви — сторонники кардинала Рамполлы, государственного секретаря Ватикана, считаемого почти наверное преемником Льва XIII. Однако ввиду того, что непримиримая политика Рамполлы сильно повредила католической церкви, вызвав движение против нее в Австрии, Франции и за Пиренеями, легко может оказаться, что в священной коллегии у Рамполлы сторонников гораздо меньше, чем это кажется ему самому. Несомненно, провал Рамполлы был бы для церкви св. Петра большим счастьем, так как ей бы открылась дорога к реформам, которые одни способны поддержать ее расшатанный престиж.

Altalena

Одесские новости. 8.04.1901



Рим

GABRIELE

19 апреля (2 мая)

Городской театр Argentina — любимый театр королевы Маргариты — обширен, богат и красив. Когда в нем полный сбор, он должен быть великолепен. В этот вечер зал, ложи и раек почти полны, т.е. на три четверти заняты публикой. На сце-

не, на месте суфлерской будки, устроено возвышение, а на нем стол с ветвистым подсвечником и прибором для воды. В глубине сцены — большой белый бюст: красивая голова с широкой бородой, с выражением кроткого величия на лице. Это Джузеппе Гарибальди. Вокруг бюста поставлены ряды стульев.

Под самой рампой, перед первыми рядами кресел, на месте оркестра (здесь музыкантов не сажают в яму, как у нас) расставлены четыре стола для журналистов.

Публика в нетерпении. С райка то и дело раздаются призывные аплодисменты. Несмотря на фешенебельное обаяние театра Арджентина, студенты на галерке чувствуют себя вполне дома и перекликаются: «А, Пьетро, чао (здорово)!» — с одного крыла на другое, через весь театр. Вдруг аплодисменты сразу усиливаются, захватывают ложи и партер, молодые глотки кричат: «Evviva Gabriele!» И на сцене появляется среди толпы юношей в цветных факультетских шапочках небольшой эlegantный человек в черном фраке, с пачкой бумаг в руке, с реденькой русой порослью на кончике подбородка и с яркой лысиной во весь череп. На вид ему лет тридцать пять. Он вежливо и скромно кланяется, улыбается, всходит на возвышение и кладет свои бумаги на стол. Теперь уже и часть партера кричит:

— Viva d'Annunzio!¹

Многие его еще ни разу не видели и вглядываются в него с жадным любопытством. Правда, он бросил отчасти свой аристократизм, отказался от сверхчеловеческой позы, приблизился к жизни, побратался с демократами, но зрители невольно ищут в его внешности чего-нибудь особенного, точно в морском чуде-юде, чего-нибудь «эстетического», «ницшеанского», «пре-рафаэлитского». Но эти ожидания напрасны. У Масканьи хоть чуб над лбом и золотой браслет на руке, а у Д'Аннунцио — ничего: господин как господин, даже знаменитый воротничок не выше среднего размера. Одно утешение — лысина, которая действительно велика: как поэт низко ни кланяется, конца ей из зала не видно.

На стульях позади Д'Аннунцио размещаются юноши в университетских беретах; это члены комитета студентов-южан, которые пригласили Gabriele прочесть в Риме свою гарибальдийскую поэму в пользу голодающего населения Апулии. В их числе одна барышня — синьорина Монтефорте, сицилийка и, несмотря на то, большая феминистка: я видел ее в прошлом

¹ Да здравствует Д'Аннунцио! (*итал.*)

году на антиклерикальном съезде, где она была единственной дамой. В руках у нее изодранное знамя университетского легиона, выдавшее гарибальдийские битвы.

Д'Аннунцио начинает вступительную речь. Голос его приятен, и хотя не силен, но дикция безупречна, так что каждое слово отчетливо слышится повсюду. Любопытно, что как наружность Д'Аннунцио, так и голос не представляют ничего особенного ни в похвальном, ни в порицательном смысле: этот голос не резок, но и не звучен, не мощен, но и не слаб; читает он не дурно, но и не очень хорошо — слышно, что читает, а не говорит и не декламирует; словом, с внешней стороны все у него прилично, удовлетворительно и посредственно. Если кто-нибудь, читая Д'Аннунцио, пытался вообразить его себе живым и одетым, то уж верно всем представлялось что-нибудь бесконечно далекое от той истины, которая в 9 1/2 часов пополудни, 21 апреля нового стиля, скромно возвышалась перед биноклями зрительного зала театра Argentina.

Вступительная речь не относилась ни к Гарибальди, ни к Апулии, ни к студентам и была скучновата. Года два тому назад за нее Gabriele был бы злорадно освистан. Но то время прошло; теперь Д'Аннунцио — радикал и, кроме того, гость, сотрудник римских студентов; ему рукоплещут всюду, где в рукописи, по которой он читает, начинается красная строка. Однако заметно, что аплодируют — хотя и шумно — больше из приличия, потому что не всегда впопад, и в партере не без покашливания. Вступительная речь оставляет публику холодной. Начинаются стихи — «Ночь на Капрере», о которой я подробно уже писал вам.

Д'Аннунцио и стихи читает по рукописи — именно читает, сидя, без жестикюляции, толково, но без огня и выразительности. Чувствуется только однообразно приподнятый тон, свойственный всякому обывателю при чтении стихов. Но все это ничего не значит; здесь перед нами уже не речь, от которой нам скучно, здесь стихи, габриэлевские стихи, точеные, изваянные, полные звуковой гармонии даже для скользящего по ним глаза и к тому же облакающие благородную мысль, говорящие о самом красивом и поэтическом герое всех времен и народов. Кому дело до недостатков декламации! Голос исполнителя исчезает в стройной, поражающей, ослепительной гармоничности мерных, неуловимо созвучных стихов.

Теперь покашливание стихло, и аплодисменты раздаются впопад, становятся с каждым разом все дружнее и оглушительней и в заключение — после трогательной идиллии доброго героя-пастуха, относящего на руках заблудившегося ягненка к матери, — заканчиваются грохотом настоящей овации.

Партер расходится; молодежь собралась перед маленькой дверью заднего фасада, где одиноко ждет закрытое наемное *couré*¹. Дверь раскрывается, на пороге показывается Gabriele в пальто и котелке, смущенно улыбается, бормочет, благодарит и исчезает в *couré*. «Шагом!» — кричат студенты. Один из них уже сидит рядом с кучером или, может быть, на коленях у кучера. Карета идет шагом, за нею — длинная, растущая толпа, которая гудит:

— Viva Gabriele! Bravo Gabriele!

И встречные коляски с гербами на дверцах смиренно сворачивают назад, в боковые переулочки.

Вдруг кучер начинает ерзать на козлах, подымается и говорит: «Позвольте, уж лучше я сам», — и соскакивает на мостовую, потому что без него, в самом деле, торопясь выпрячь лошадку, еще как-нибудь оборвут постромки. И через минуту Д'Аннунцио едет без лошади. Заметив это, он выскакивает из кареты и вмешивается в толпу, опять смущенно улыбаясь и что-то бормоча.

— Viva Gabriele!

— Al Campidoglio!²

Но это уже слишком. На Капитолий Д'Аннунцио не пойдет: он не Петрарка и не Тассо. Он берет первого попавшего извозчика и спасается во всю прыть маленькой клячи. И студенты бегут за ним вдогонку и кричат друг другу:

— В Hôtel de Russie!



В театре Costanzi другая обстановка. Зал совсем полон, битком набит. На сцене — богатая комната странного стиля, с огромным окном на нездешний скалистый пейзаж, тлеющий на летнем закате. В комнате две женщины — одна с золотыми косами, другая черноволосяя и слепая. В эту последнюю мы жадно и благоговейно впираемся глазами: это — Элеонора Дузе, играющая

¹ Крытая двухместная коляска (*фр.*).

² На Капитолий! (*итал.*)

Анну в «Мертвом городе» Д'Аннунцио. Золотокудрая девушка (артистка Инес Кристина) — сестра мужа Анны, Леонардо, молодого ученого-итальянца, производящего раскопки среди развалин Микен — «Мертвого города» в «бездонной» Арголиде. Вот и сам Леонардо: это Дзаккони, который, дрожа, волнуясь, задыхаясь, передает о великом открытии — он нашел гробницу Агамемнона Атрида и пророчицы Кассандры с их золотым убранством и даже с прахом брэнного тела — *excusez de peu*¹...

«Ночь на Капрере» — прекрасная поэма; если вся эпопея о Гарибальди будет не ниже этого отрывка, это будет, без всяких обиняков, великое произведение. Но «Мертвый город» — другое дело. Это плохая, неудачная драма.

Правда, сюжет ее нов. Леонардо, отравленный ядовитым воздухом мифической Арголиды — земли преступного рода Атридов, — любит грешной любовью свою сестру Бьянку-Марию. Сестра об этом не знает, и для того чтобы она никогда об этом не узнала и осталась чиста, Леонардо убивает ее, а слепая Анна над трупом девушки — не знаю, почему — прозревает и оглашает ущелье Персейского источника воплем: «Вижу!»

Но Д'Аннунцио раздвинул этот сюжет на пять актов, в которых нет ничего, кроме разговоров, красивых, но искусственных и непонятных. Есть места, которые в исполнении Дзаккони, от бога предназначенного для изображения неврастеников, трогают, даже потрясают — особенно сцена признания Леонардо в любви к родной сестре. Но остальное и скучно, раздражающе скучно, и непонятно, причем вам даже неинтересно ломать себе голову над разгадкой тайного смысла этой трагедии.

Особенно обидно то, что у Дузе в этой пьесе незначительная, монотонно ноющая роль, и вдобавок *слепая*. Я в первый раз видел Дузе, с трепетом ожидал поднятия занавеса, не сводил с нее глаз — и не получил никакого впечатления. Признаюсь, досада меня взяла такая, что хотелось вытащить из кармана ключ и отчаянно засвистать в ответ на поклоны вызванного Д'Аннунцио.

Его вызывали. В других городах «Citta morta»² провалилась, но римская публика очень снисходительна.

Altalena

Одесские новости. 25.04.1901

¹ Подумать только! (*фр.*)

² «Мертвый город» (*итал.*).


Рим*16 (29) апреля*

Заседания палаты начнутся завтра. Можно сказать, что редко Италия ждала открытия парламентской сессии с таким нетерпением, как теперь, потому что, кажется, никогда еще положение дел не представлялось настолько запутанным и неопределенным. Прежде всего, неясно само отношение Италии к министерству: с одной стороны, если «Италия» — это нация, то кабинет Дзанарделли пользуется доверием огромного большинства; с другой стороны, если «Италия» — это палата (что, с известной точки зрения, вернее), то доверие к правительству более чем сомнительно.

Правая и особенно центр ведут против него отчаянную борьбу, не пропуская ни одного случая, чтобы не кивнуть на красное, чуть ли не антимонархическое направление, будто бы принятое Дзанарделли и его товарищами. О приключении с экс-студентом Heusch'ем нам уже известно; за ним пришел черед префектов, нескольких из которых министр внутренних дел Джолитти переместил за старые прегрешения во времена Пеллу в менее значительные провинции, в чем друзья Соннино и здешняя газета «Patria» тоже увидели подкуп против престижа власти; затем пришла генуэзская стачка, и консерваторы напали на правительство за то, что оно не послало в Лигурию военных подкреплений (однако беспорядков решительно никаких не произошло), а главным образом за то, что кочегары не были отданы под суд, как следовало бы по закону, приравнивавшему стачку экипажа к дезертирству скопом...

И на этот последний пункт правительству, особенно старому законнику Дзанарделли, трудно найти принципиальное возражение: закон действительно хотя и скверный, однако существует... Все нападки и указания на политическую неблагонадежность либерального кабинета выдержаны в очень вежливом стиле, потому что о таком человеке, как Дзанарделли, совестно было бы говорить непочтительно — особенно в пользу такого человека, как Соннино; но при всей этой учтивости несомненно, что на молодого короля эти упорные вопли об опасности могут в конце концов повлиять. А с другой стороны, в то же время как министерство обвиняют в заискивании

перед крайней левой, эта самая крайняя левая тоже находится в некотором смущении. Немалочисленные голоса нападают на нее за принятый ею правительственный курс. «Avanti» в своих передовицах, транстеверинский депутат-республиканец Сальваторе Бардзилаи в своих речах из сил выбиваются, доказывая Риму и миру, что Estrema¹ стоит за министерство только как за меньшее зло ввиду возможности восшествия Соннино; что Дзанарделли обещал Италии закон о разводе и податные облегчения, что по вопросу о военных расходах и о зерновой пошлине Estrema свободно выступила против министерства. Им отвечают: «А все-таки!», и непримиримые все-таки негодуют. Подхватывая на столбцах миланского «Sècolo» аргумент о военных расходах, известный публицист Гульельмо Ферреро задается таким вопросом: а не ловушка ли это якобы либеральное министерство? Те, кто превыше министерств, знали, что крайняя левая гораздо упорнее противилась бы увеличению военных издержек, если бы их предложил заведомо реакционный кабинет; и вот был призван Дзанарделли специально за тем, чтобы провести эти издержки при сравнительно слабом противодействии симпатизирующих ему народнических партий, а после одобрения военных расходов те, кто превыше министерств, пожалуй, охотно пожертвуют Дзанарделли, поймав таким образом в ловушку и его, и Estrem'у. Таковы опасения молодого ломбардского социолога. Им нельзя отказать в некоторой основательности, потому что только для наивных людей в конституционных землях правят страной конституционные министерства. Правят всюду те, кто превыше министерств, то есть та неопределенная, но непреодолимая квинтэссенция богатых классов, которая выражает свои тенденции иногда (очень редко) через монарха, а если монарх не вполне индивидуален, то через камарилью...

Чем это кончится — неизвестно. Теперь Дзанарделли принял на себя третейский суд между генуэзскими стачечниками и судохозяевами. Если его решение, что очень возможно, больно щелкнет последних, то «Patria» не поколеблется подвергнуть сомнению — конечно, со всевозможными поклонами и оговорками — само белоснежное беспристрастие этого порядочнейшего из порядочных людей Италии. Соннинианцы провозгласят, что революционер Дзанарделли и здесь сделал глазки Estrem'e. На короля все это не может не влиять. Если Дза-

¹ Крайняя — сокращенное название крайней левой (*итал.*).

нарделли задумает распустить палату, он этим только подтвердит в глазах всех свою революционную репутацию: нет сомнения, что при новых выборах крайняя левая усилится до самых нешуточных размеров. Словом, положение очень запутанное.

Корреспондент-иностранец обязан до некоторой степени отрешиться от своих собственных политических убеждений или вкусов и обсуждать проходящие перед ним события совершенно со стороны. И, глядя именно со стороны, будет очень жаль, если кабинет Дзанарделли падет. Дзанарделли обещает стране нормальную работу парламента и кое-какие реформы, т. е., по крайней мере, спокойствие в палате и на улице. Министерство Соннино обещает стране возобновление обструкции, затем подавление последней сильными средствами, а в результате — уличные брожения.

Altalena

Одесские новости. 1.05.1901



Рим

27 апреля (10 мая).

Интересно было бы решить вопрос, почему за границей так любят клеветать на Италию. Из зависти ли, оттого ли, что чопорным иностранцам не по душе экспансивная простота этого народа-ребенка, каждый турист считает себя не только вправе, но и в долгу сказать перед отъездом, в виде, что ли, резюме, несколько осудительных слов по адресу итальянцев, и такое мнение увозит с собой на родину и там пропагандирует. Но что простительно туристу, того не простишь журналисту, пользующемуся гостеприимством страны годами и имеющему возможность изучить ее. Италия далеко не свободна от недостатков, и часто эти недостатки очень крупны, но честный публицист обязан освещать их извиняющую причинную связь с историческими и другими условиями. Между тем происходит совершенно обратное: так как обвинять легче, чем объяснять, большинство итальянских корреспондентов-иностранцев не останавливаются и перед клеветой, в которой легкомыслие близко граничит с недобросовестностью. Так поступили здешние корреспонденты некоторых крупных американских газет, напечатавших недавно, будто Бреши, убийца короля Умберто, в тюрьме подвергался пыткам — до какого-то совершенно

несуразного «накалывания языка» включительно — и что эти муки свели его с ума. У меня бы чернила побелели от ужаса при одной мысли вступить хоть словом за итальянскую тюремную систему: она ужасна, она злобна, мстительна и бесцельно жестока; более того, зрители тюремных замков и здесь, как во всем остальном мире, весьма склонны к злоупотреблениям; но «пытка» — просто гадкая клевета. Обозреватель «Одесских новостей» (вечернее приложение к номеру от 13 апреля) с вполне понятной брезгливостью опустил все подробности об этих «пытках», заимствовал — по долгу службы — из американских газет только известие о помешательстве Бреши, да и то изложил его в форме слуха. Однако я счел это достаточной причиной, чтобы обратиться к министру-президенту Дзанарделли с почтительным запросом относительно того, верна ли эта новость, выражая надежду и желание как можно скорее получить возможность опровергнуть ее как глупую клевету.

Г-н Дзанарделли, с присущим ему уважением к правам печати, немедленно ответил на мой запрос следующим письмом (оригинал письма посылаю вам).

«...Я навел справки у министра внутренних дел, от которого зависит тюремное управление, относительно состояния Бреши, и убедился, что известие о том, будто он помешался, лишено всякого основания.

Примите и пр.

Дж. Дзанарделли».

Редко безупречная репутация министра-президента не допускает сомнения относительно того, что он не подписался бы под этими словами, если бы не мог честью поручиться за их соответствие правде.



В ожидании предстоящего приблизительно в середине лета разрешения от бремени королевы Елены римская дума решила поднести королевской чете драгоценную колыбель от Вечного города, для которой был уже составлен и проект. Должен был начаться — или, пожалуй, уже начался — сбор приношений, как вдруг вчера вечерние газеты напечатали письмо, посланное королем министру-президенту Дзанарделли и разрушившее все шансы ревностных монархистов капитулийской думы. Король Виктор Эммануил, за супругу и за себя, с благодарностью отказывается и от подарка, и вообще

от всякого рода празднеств по поводу предстоящего радостного события в его семействе, а собранные деньги предлагает употребить на дела благотворительности. Это — ушат очень холодной воды — «acqua Marcia» по-здешнему — для тех из инициаторов колыбельной затеи, которые в глубине души мечтали таким путем получить крестишко и ленточку. Будет любопытно посмотреть, насколько теперя остынет их пыл по собиранию добродетельных даяний.



В последнее время с новой силой здесь вспыхнул интерес к русской литературе. Газеты и журналы печатают переводы из А.П. Чехова, М. Горького; «Юлиан отступник» Д.С. Мережковского вышел чуть ли не в двух переводах; говорят о постановке на итальянских сценах русских пьес настроения — род литературы, совершенно здесь неизвестный; в числе этих пьес, вероятно, пойдет и перевод «Старого дома» Ал.М. Федорова. В унисон этому литературному оживлению общественное мнение со дня на день все увереннее твердит о предстоящем политическом сближении Италии с Россией... *Alla buon'ora!*¹

Говорят, будто уже ассигнованы средства на учреждение в Риме русской художественной академии. Это было бы прекрасным вступлением к сближению. Другие страны, от Англии до Испании, давно владеют здесь живописно расположенными вилами — академиями для своих художественных стипендиатов.

Altalena

Одесские новости. 3.05.1901



Рим

28 апреля (15 мая)

Флорентийские газеты с восторгом говорят о постановке в тамошнем городском театре «Pèrgola» оперы «Дьявольская трель». Года два тому назад я слышал эту оперу — тогда только что написанную — в римском театре «Argentina». Ее здесь тогда повторили за двухмесячный сезон больше десяти раз, и действительно опера того стоит. Скажу о ней два слова в расчете

¹ В добрый час! (*итал.*)

на то, что и одесситы скоро познакомятся благодаря предприимчивости Н.Н. Соловцова с этой прелестной и много нашумевшей новинкой.

Музыка принадлежит маэстро Станислао Фальки, автору опер «Юдифь» и «Лорелея». Либретто написано Уго Флересом и задумано очень удачно, даже отчасти философски. Известно, что Тартини, великий скрипач, был в то же время великим воплощением итальянского XVIII века во всех его безумствах и крайностях. Примером мистицизма Тартини может служить то, что он собирался постричься в монахи; примером его дебоширских наклонностей — то, что он от имени Падуанского университета вызвал на поединок пятнадцать венецианских студентов и всех их благополучно перекалечил; примеров его разгула подобрать нельзя, потому что их слишком уж много в хронике галантных приключений всех больших городов тогдашней Италии.

Уго Флересу пришла, очевидно, мысль воплотить беспокойный дух Тартини, его «дьявола», отдельно от самого Тартини: он ввел в либретто «Дьявольской трели» маленького аббата Арделио, нечто среднее между проказником и искусителем, между ребенком и мужчиной, между добром и злом, т.е. нечто вполне отвечающее «настроению» семнадцатого века. Этот Арделио руководит всеми действиями Тартини, и он же в третьем действии создает ту самую *сонату дьявольской трели*, которую, по преданию, Тартини подслушал у нечистого духа.

Первое действие — в Венеции, на вечере у кардинала Корнаро. В то время как на первом плане дамы и кавалеры между собою посмеиваются над Джорджо Фальеро, женихом племянницы кардинала, в глубине Тартини играет на скрипке пьесу, сочиненную им в честь этой самой кардинальской племянницы, прекрасной Зуаны. Зуана (сопрано) пленена и его страстной игрой, и его смелым ухаживанием. Музыканты ее жениха играют в ее честь под балконом серенаду, но она едва благодарит Джорджо, который начинает кое-что подозревать. Аббат Арделио (контральто) нашептывает на ухо Тартини (тенор) совет поучиться фехтованию: «Вам скоро придется пустить в ход шпагу... Приходите ко мне, я покажу вам прием, против которого не устоит ваш будущий противник — синьор Джорджо». Изумленный Тартини спрашивает: «Кто вы, аббат, и как вы все это знаете?» Арделио не отвечает, потому что в эту минуту в зал возвращаются вышедшие было гости. Это

действие сразу располагает вас к опере своими прелестными и оригинальными эффектами. Каватина Тартини и серенада наемных музыкантов, выдержанные, по словам знатоков, в стиле того времени, изящные и наивно-затейливые, все время гармонично переплетаются со сложными речитативами беседующих гостей; в сцене между Тартини и Арделио — после любовного соло тенора, которое в Риме всегда бисировалось, — каждый раз, как кто-нибудь отворяет двери зала, в музыку диалога врывается прелестный мотив допотопного менуэта, под который танцуют гости в другой комнате.

Второе действие — в саду кардинала. Арделио успел сделать четыре дела: обучить Тартини своему фехтовальному «приему», написать Тартини от имени Зуаны письмо с назначением свидания, написать Зуане такое же письмо от имени Тартини и известить Джорджо о готовящейся измене. Он сам и привел ревнивого жениха в сад. Слышится характерный возглас гондольера «Оэ!», в глубине по каналу скользит черная гондола, и из нее выходит Тартини. Показывается Зуана, и следует чудный, поистине делающий честь маэстро Фальки дуэт, который при мне в Риме трижды бисировали и притом «во всю длину». Джорджо бросается на Тартини. Арделио удерживает Зуану, которая хочет помешать поединку, и после нескольких схваток, красиво иллюстрированных нервными *agreggio* оркестра, Джорджо падает. Арделио уговаривает растерянную Зуану бежать с Тартини, и сам остается с умирающим. Джорджо молит об исповеднике — Арделио предлагает свои услуги в качестве аббата. Начинается исповедь — одно из лучших мест в опере, сплетенное из трогательных фраз баритона и сардонических ответов контральто. Публика обыкновенно молча ожидает занавеса и затем заставляет поднять его и повторить всю сцену.

Третье действие — в монастыре. Тартини скрылся было с Зуаной на маленьком островке вблизи лагуны, но сбирь¹ республики открыли его убежище. Он кинулся в воду и, чувствуя, что утопает, дал обет постричься в монахи, ежели небо спасет его. Он достиг земли и теперь намерен сдержать слово. Арделио не желает допустить со стороны своего гениального избранника такой измены принципам веселой и беззаботной жизни: он приводит в монастырь Зуану. Но Тартини непреклонен: он прощается с Зуаной и уходит в храм, где должно состояться его пострижение. Тогда Арделио восклицает: «Не все

¹ От: *sbirro* — полицейский; стражник (*итал.*).

потеряно: есть еще скрипка!», — берет в руки забытую скрипку Тартини, и в оркестре начинается «дьявольская трель», созданная, конечно, на тему знаменитой сонаты, но почти неузнаваемая, усиленная, удесятеренная в своей страстности, — я бы осмелился сказать «улучшенная», если бы соната Тартини не была освящена почти тремя веками. Кое-где в этот гимн искушения вплетаются голоса монахов, принимающих в лоно монастыря нового брата, но вдруг раздается крик Тартини: «Пустите меня!», и он выбегает, сбрасывая монашеское облачение, навстречу возлюбленной, другу и жизни.

Станислао Фальки еще, кажется, молод. «Дьявольская трель», прекрасная сама по себе, обещает немало и в будущем.

Altalena

Одесские новости. 4.05.1901



Ученическая газета

Из школьных воспоминаний

Может быть, доброе внимание лиц, призванных к преобразованию русской школы, остановится и на ученической литературе, в которой, кажется, ничего зловредного быть не может. Мне хочется в подкрепление этой надежды рассказать вам крошечную историю одного ученического журнала и его влияния, конечно, не столько на читателей, сколько на составителей.

Он назывался «Правда». Это было серьезное в своем роде предприятие: журнальчик гектографировался в полусотне копий и расходился по всем гимназиям Одессы. Хотя мы строго следили за цензурностью направления и статей, приходилось вести дело секретно. Распространялись выпуски через доверенных лиц, и через них же приходили рукописи и письма; впрочем, присылали мало материала, и весь журнальчик почти всегда заполнялся трудами самой редакции. «Правда» выходила не периодически, но по мере накопления статей; так как мы были очень усердны, то выпуски являлись очень часто — раза по три в месяц, даже чаще.

Редакция и печатня находились у Ваньки... Если этот очерк попадет на глаза тому, кто когда-то назывался этим именем, пусть он и вообще мои старые товарищи, о которых

я здесь упомяну, простят мне смелость, с которой я *теперь* называю их так же, как называл *тогда*. После продолжительной разлуки, отчуждившей нас друг от друга, вероятно, навсегда, я не имею права на такую фамильярность; но искушение слишком сильно — мне так приятно воскресить и пережить хорошие вечера, проведенные за работой вместе с ними, — единственное светлое воспоминание моей гимназической карьеры, и то же, думаю, и для них...

Ванька был главный редактор и цензор. Мы были тогда в седьмом классе; я имел уже проблески слабого понятия о настоящей литературе и дивился Ваньке и до сих пор дивлюсь. В нем была бездна такта: он всегда умел найти то слово, которое нужно было удалить из статьи, чтобы, не портя сока, убавить излишек опасного перца. И, уговаривая самолюбивого сочинителя поступиться этим словом, он делал это так мило, любезно, добродушно, что никаких недоразумений в лоне редакции никогда не возникало, несмотря на большое несходство «направлений» у отдельных ее членов.

Ванька сам писал редко, но симпатично. Я помню его рассказ о чиновнике Хвостикове, позванном на блины к их превосходительству, рассказ, который вполне мог быть напечатан в хорошей юмористической газете. Зато передовицы, кажется, ему не удавались.

Передовицы были хороши у инициатора всей затеи, которого мы называли Алешей, со вдумчивым, отчасти мечтательным складом характера и с искоркой лукавого юмора в уголке умных глаз. Он писал, беря тему сжато, но глубоко, особенным стилем, немножко неясным, под которым чувствовалась страстная напряженность убеждения. Чтобы дать представление о передовицах Алеши, позвольте сказать, что — proportions gardées¹ — В.В. Розанов в общем литературном облике напоминает мне иногда эти фиолетовые строчки курсива с подписью Азь под ними.

Брат Алеша — «Пепка» — был моложе нас и лишен литературного самолюбия. Нельзя было уговорить его писать. Но он был очень важной спицей в редакции «Правды» как первая инстанция по разбору входящего материала, затем как хороший метранпаж и особенно как гениальный гектографист: он изучил в совершенстве эту липкую капризную массу, которая так и норовила пристать к листу и прорваться, и умел держать ее

¹ При разнице в масштабах (фр.).

в повиновении до пятидесятого оттиска восьмой, иногда двенадцатой страницы. После каждого промывания он как-то особенно ловко «возжигал спиртус» и потом охлаждал «машину», так что она слушалась его почти беспрекословно. Когда не было Пепки, гектограф буянил, и ничего не выходило.

Четвертым китом постоянной редакции был ваш покорный слуга. Я писал «Фельетоны без заглавия», с которыми приходилось много возиться цензору-Ваньке, и я же собственно вручную переписывал статьи для гектографирования. Для этого употреблялись особенные чернила, в которых вязло перо; писанье шло черепашьям галопом, и вдобавок надо было подделываться под печатный курсив, чтобы добрые люди не узнали почерка; и если при всем том я безропотно переписывал, посудите, какова была любовь к делу.

Был еще один главный сотрудник, писавший для каждого выпуска, но никогда не бывавший в нашей «редакции». У него был оригинальный псевдоним — *Перо*, но не написанное буквами, а нарисованное гусиное перо. Это был умный и искренний юноша; внешняя форма ему в то время не вполне давалась, или относился он к ней сквозь пальцы, но в его статьях и очерках была всегда толковая и настойчивая мысль. Я давно его не видел. Судьба забросила его куда-то в глушь, и эти строки уж верно не дойдут до него. Я жалею об этом — мне так бы хотелось послать именно ему сердечный, глубокий поклон и доброе пожелание.

Мило и весело было в наши рабочие вечера у Ваньки на дому. Хозяин, в то время хворавший, лежал на оттоманке и починял присланный неизвестно кем рассказ, Алеша диктовал, я писал под диктовку, а Пепка осторожно втискивал свеженаписанный лист в коробку гектографа.

— Да ты туда ли попал? — беспокоился Ванька.

Пепка не удаивал отвечать на такие вопросы; Алеша оглядывался в сторону брата, сближая красивые черные ресницы, и отвечал за него:

— Туда. В ту самую *тугу*.

И мы громко хохотали по поводу этой *туги*. Подавали чай, мы подкреплялись. Затем Ванька заставлял меня рисовать вишнетку для заглавия журнала. На этот счет он был очень требователен и желал для каждого выпуска особую композицию. И я грешный, умевший рисовать только толстого преподавателя греческого языка в виде балерины, должен был грызть ручку, выдумывая и приблизительно изображая не помню какие арабески, среди которых покоилось слово ПРАВДА.

Когда все было отпечатано, Пепка потягивался и бежал мыть руки, что было совсем не так легко: мне думается, что у него по сей день должны быть фиолетовые пальцы. Мы с Алей складывали страницы, а Ванька на особой машинке скреплял их тоненькой металлической скобкой. Потом начиналась втроем (Пепка имел святое право на отдых) корректура, т.е. ручная подправка тех мест, которые почему-нибудь неясно вышли на гектографе.

Все наконец было готово и сложено.

Мы любовались чистеньким видом нового выпуска, громко восхищались Пепкиным талантом и лихо пели хором песни, мало, правда, подходившие к моменту по содержанию, но вполне отвечавшие нашему радостному настроению. Помню эту:

*Эй! Си тю м'эмэ, дюзэ ке тю м'эмэ!
Мэ се н'э па врэ;
Ай тромпёза, и мантёза, тромпё-о-з!¹¹*

Мы страшно любили свой журнальчик. Отошли куда-то на стопятидесятый план и баккара, и винт, и Дерibasовская, и бильярд, и барышни, и попойки. «Правда» нас околдовала.

Я хорошо помню ее содержание. Она проповедовала товарищество, самообразование, порицала картеж и кутеж. В последнем выпуске, вышедшем перед самыми экзаменами, требовалось, чтобы успевающие ученики не подавали прошений об освобождении от письменных испытаний, на которых помощь их так необходима товарищам. Бывали статьи, посвященные интересам гимназисток, были, кажется, и дамские сочинения. Была одна заметка о предстоявшем прохождении какой-то звезды через поле земного наблюдения. Были критические заметки о книгах, имевших отношение к гимназическому вопросу. Мы написали на языке эсперанто во все страны Европы и из Германии и Швеции получили на том же языке обстоятельные и любезные ответы о тамошних гимназиях. Из Кенигсберга писал какой-то доктор, из Упсалы гимназист Aolhander. Оба ответа были переведены и помещены в «Правде». Были, конечно, статьи против классицизма, против порядка задавания тем для ученических сочинений и т.п. Беллетристика состояла из рассказов, которые бывали иногда, право, недурны, из стихов, которым в редакции придавался по возможности

¹ Если ты меня любила, скажи, что ты меня любила!

Но это не так!

Ай, обманщица, притворщица! (*фр., искаж.*)

приличный вид; кроме того, был «редакционный роман». Сначала это была история фантастических приключений трех гимназистов; в предисловии прямо говорилось, что наше намерение вовсе не излагать случившиеся случаи, а именно заманчивыми небывицами вызвать в читателях-гимназистах тоску по удалству и отвращение к серой гимназической действительности. Иными словами, «Правда» уже предугадала «литературу настроения», опередила Максима Горького. Но после второго выпуска мы начали другой роман, так как прежний оказался нам чересчур уж детским. Новая эпопея называлась тогда тоже «Трое», но фантастического ничего в ней не должно было быть; напротив, наш замысел был — провести трех героев через все затруднительные положения, в какие действительно *может* попасть гимназист, и показать на их примере, как, по нашему мнению, из таких положений надо выпутываться. Оба романа, т.е. оба начала романов, понравились.

Читателей было очень много во всех гимназиях, причем — как это ни странно — тайна осталась тайной: даже в нашем классе никто не подозревал, что издавали «Правду» мы. К нам приходили письма и критические заметки (мы вели отдел самокритики), доказывавшие, что к журналу относились внимательно; когда одна глава романа показалась скабрёзной, мы получили протесты. Сбор пожертвований на покрытие расходов по изданию шел удовлетворительно. Тем не менее настоящего влияния журнала не было заметно. Мы сами грустно шутили по этому поводу, что наши читатели, —

*собравшись в кружок
И на журнал швырнув колоду,
Свирепо дуются в банчок!*

И разговоров о «Правде» в гимназической среде было еще мало. Конечно, со временем пришло бы все, но перед экзаменами вышел 7-й выпуск, а в следующем учебном году наша редакция уже распалась. Мне свалилась с неба возможность осуществить желанный отъезд за границу, и я перед самыми экзаменами, отряхнув прах заведения от ног своих, переключался в Швейцарию; Ваньке и Алеше пришлось много заниматься, и наша «Правда» уж не воскресла...

Altalena

Одесские новости. 16.05.1901



Рим

23 мая (5 июня)

Буря стачек, разразившаяся во всей Италии, захватила наконец и наш спокойный, неотзывчивый Рим. Сначала камешки, потом тачечники, потом папиросницы. Забастовка последних произвела в Риме особенное впечатление ввиду того, что палаццо della Regia на площади Мастаи, где работают «сигарары», в представлении публики окружено романтической легендой: считается, что там собраны самые красивые девушки и женщины трастеверинского Заречья и Борго.

Ни один порядочный человек при случае не преминет вам рассказать, что у него столько-то лет назад была подруга сердца из «сигарар», независимо от того, правда ли сие или нет. Ясно поэтому, что на стачку папиросниц и на последовавшие за нею демонстрации на площади Мастаи римляне взглянули больше с галантной точки зрения, как в свое время парижане на забастовку учениц-портних. В этом отчасти проклятие прекрасного пола: когда женщина кричит и кусается от голода, ее принимают немножко «не всерьез», со снисходительным оттенком галантности, будто дело идет о тряпках и бусах.

Между тем положение «сигарар» в высшей степени заслуживает серьезных протестов и улучшений. Они работают в условиях, находящихся вне законов гигиены, дышат табачной пылью, берут пищу желтыми пальцами, и за все это получают такую грошовую плату, что и сказать стыдно: доходит даже до 30 копеек в день. Учреждение это правительственное, а начальство любит сочинять, переделывать и перекраивать уставы, вводить и дополнять, и от этого бедным «сигарарам» тоже не радостно приходится. Недавно вышло запрещение кормить грудью детей в здании палаццо Реджия: взвесьте, до чего такое распоряжение мало уместно в Риме, где грудных детей кормят даже в вагоне электрической конки и на галерке оперных театров...

«Сигарары» поволновались перед своим палаццо, вступили в несколько стычек с карабинерами (уж это племя, очевидно, совсем плохо насчет галантности) и наконец прибегли к помощи трастеверинского депутата Бардзилаи, который представил их депутацию министру-президенту. И стачка «сигарар» благополучно кончилась «принятием к сведению» и кое-какими взаимными уступками.

Зато забастовка каменщиков окончилась полной победой стачечников, которые добились своего. На всех постройках (забастовка была всеобщая) уже вновь начались работы; только кое-где каменщики вынуждены бездействовать ввиду того, что стачечники-тачечники до сих пор не всюду поладили с хозяевами. Эти *carrettieri*, обязанность которых подвозить к постройкам добываемую далеко глину-*pozzolana*¹, являются, кажется, настоящими париями четвертого сословия, вроде золоторотцев (*mondezzari*). А когда наконец все недоразумения будут улажены, очень может быть, что придется возиться с новой стачкой: в *Agro Romano* (равнина вокруг Вечного города) заволновались землеробы, требуя повышения платы на 30 сантимов в день.

В черте города почти нельзя увидеть эту дикую отрасль человеческого рода, которую на здешнем диалекте называют *birgini*. Мне только раз или два случилось видеть их у источников *Acqua Acetosa* или за чертой ворот Каваледжери: это шершавые оборванцы почти звериного вида, собравшиеся в *Camagna romana*² из самых диких углов нищего юга — с гор Аbruццов или Калабрии; глядя на них, становится понятно, что вдохновило ваятеля Д'Орси на создание знаменитой статуи под горько-насмешливым именем «Твой ближний», выставленной в галерее современного искусства на *via Nazionale*. Глядя на них, странным кажется подумать, что из этих шероховатых губ выходят членораздельные звуки. Если уж и *birgini* заговорили, то значит голод их нестерпимо тяжел. Но для бессловесных одного голода мало — нужен учитель, указчик.

Пропаганда социалистов должна была сделать огромные успехи, чтобы дойти до берлог этих несчастных *birgini*. Вообще надо сказать, что такой густоты забастовочного движения в Италии еще не бывало. Конечно, оно обусловлено тем, что социалисты подняли головы, а социалисты подняли головы потому, что попало министерство, не способное к противозаконным насилиям.

Исходя из этих справедливых соображений, друзья Соннино пускают стрелу за стрелой в правительство Дзанарделли; стрелы эти часто доноснического характера. Но на общество

¹ Вулканическая порода, которую добавляют к бетону и строительному раствору.

² Римские окрестности (*итал.*).

эти доносы не действуют: момент не таков. Все понимают, что право на стачку в конституционной стране неоспоримо, что требования рабочих по большей части поставлены на добрый фундамент голодной нужды и что уже одно отсутствие кровопролитий — большая заслуга со стороны правительства.

Надо надеяться, что все это ясно и молодому королю, который из-за воплей небеспристрастных спасателей трона не откажет в своем доверии такому старому, верному, честному слуге Италии и династии, как Джузеппе Дзанарделли. В этом смысле толкуют, между прочим, пожалование министру-президенту шейных знаков ордена Благовещения, дающих право на сан «королевского кузена». Врага не называют кузеном и, в конце концов, Виктор Эммануил достаточно умен, чтобы понять, как мало — вопреки воплям Соннино — крайние партии думают теперь о форме правления.

Глава радикалов Сакки послал королю поздравление по поводу рождения принцессы Иоланды Маргариты.

Altalena

Одесские новости. 30.05.1901



Рим

РУССКАЯ КОЛОНИЯ В РИМЕ

27 мая (9 июня)

В эти месяцы обыкновенно русская речь начинает слышаться в Риме чаще, нежели зимой и весной. Когда ни придешь к Араньо, «Нового времени» на полке нет — занято. В подъезде почтового дворца на площади Сан-Сильвестро перед газетным прилавком нередко появляются мешковатые господа или дамы, одетые не по-римски, и слышится вопрос: *авете гжиорнали руси?*¹ На что старый продавец сокрушенно отвечает: *Eh no²...*

Этот вопрос ему предлагают почти ежедневно, и он все-таки не решается выписать хотя бы только «la Nowoje Wremia». Для него этот шаг, вероятно, представляется чем-то вроде путешествия в гиперборейские страны: с самим именем России

¹ У вас есть русские газеты? (*итал., искаж.*)

² Эх нет (*итал.*).

здесь связано понятие о чем-то очень далеком, недостижимом и непостижимом. А русские, живущие здесь, ничего не делают для того чтобы изменить, по мере возможности, такой порядок вещей. Проживают они здесь совершенно отдельно и независимо друг от друга и почти между собою не знакомы; нет у них здесь поэтому никакого учреждения, вокруг которого могла бы группироваться русская колония в Риме, — например читальни.

Когда-то, лет пятьдесят тому назад, было хоть *caffé Greco* на *Condotti*, где по традиции собирались все приезжавшие сюда русские: здесь можно было видеть Гоголя, Иванова, Боткина, Тургенева, Толстых, Брюллова. Кофейня процветает и до сих пор, но русского в ней ничего нет — только в глубине одной из ее низеньких, с закопченным потолком, галерей красуется написанный масляными красками на стене в форме медальона портрет Гоголя. Русской речи здесь уже не слышно; место русских заняли поляки, а на полочке всегда желтеет последняя тетрадка петербургской газеты «Край». Вообще о русских здесь не слышно: едва знают по имени художника Степанова, а ведь кроме него здесь больше двадцати пяти лет живут и братья Сведомские, и Бакалович, и Риццони... Здесь же годами проживает проф. Модестов, но не слышно и о нем; и хуже всего то, что не только для туземцев, но и для соотечественников не слышно. Словом, есть проживающие русские, но нет русской колонии, даром что на *via Sistina*, на доме, где Гоголь писал «Мертвые души», есть мраморная доска от этой самой несуществующей «русской колонии».

Следовало бы поспешить с устройством здесь академии для молодых русских художников по примеру всех цивилизованных и крупных государств Европы. Говорят, что Министерством финансов уже отпущены для этой цели достаточные средства; но ведь пока приищут место, да сторгуют палаццо, да пока, да пока... А теперь как раз момент, когда железо горячо и надо ковать его: здесь о России больше заговорили и благодаря слухам о новом тройственном союзе, и благодаря другим обстоятельствам, особенно благодаря М. Горькому, которого усердно переводят. Тут бы и постараться, тут бы и объединиться интеллигентным россиянам, проживающим в Риме, чтобы сообща устроить открытые чтения о новой (не худо бы и о старой) русской литературе, руководить переводчиками в выборе произведений, добиваться своим коллективным весом постановки на здешних сценах Островского, Чехова...

Отчего бы, например, не воспользоваться для этой цели русским домом на *via delle Botteghe Oscure*, где церковь св. Станислава? Я давно собирался писать вам об этом доме, который, как нельзя более, подходил бы к устройству там русской читальни.

Этот дом и костел когда-то принадлежали Польше, а после раздела (по другим [сведениям], после первого мятежа) были конфискованы русским правительством. В самое последнее время здесь, по инициативе русского агента по духовным делам, устроен странноприимный дом для русско-подданных паломников, которых здесь немало бывает проездом при посещении мощей Николая Угодника в *Var-gopoge* (Бари). Подворье рассчитано на 40 человек обоего пола и устроено с такими удобствами, о каких в Риме, право, и не помышляют хорошо живущие люди среднего слоя. Баня, холодные души, дезинфекционная комната — и все это в течение восьми дней совершенно бесплатно. Когда нет наплыва, восьмидневный срок, конечно, не так строго соблюдается. Паломники очень довольны и помещением, и уходом; особенно довольны католики, потому что костел в том же доме.

Заведует костелом настоятель отец Юлиан Аттромов, коренной русский, перешедший в католическую веру; заведует, конечно, по назначению русского правительства, что доказывает, что для отца Юлиана сделано исключение из строгости русских синодальных правил ввиду особенных заслуг и достоинств, отличающих этого пастыря. Действительно, отец Юлиан — замечательнейшая личность. В ранней молодости чтение жития св. Терезы (несколько странный источник) внушило ему мысль о воссоединении церквей, и мысль эта с той поры стала его заветной мечтой, за которую он до сего дня борется, вызывая нарекания и преследования, особенно со стороны иезуитов, ввиду его чересчур чистых и высоких взглядов на религиозные вопросы. Но борьба не утомила отца Юлиана: ему 77 лет, а в его кудрявых русых волосах нет ни одной седой нити, он бодр, весел и полон энергии и энтузиазма; его речь жива и полна оригинальных, глубоких мыслей и вместе с тем — редкое сочетание — острой наблюдательности. Это — один из наиболее замечательных русских людей в наши дни, а вот и о нем здесь ничего в большой публике не знают, и приезжают русские, и уезжают, не заглянув в старинную прохладную ризницу гостеприимного отца Юлиана...

В этом самом доме тот же русский агент по духовным делам проектирует теперь — если будет на то согласие свыше — дешевые квартиры для бедных русских художников. До постройки академии такое учреждение было бы очень уместно, да и при существовании академии не стало бы лишним, потому что академии предназначаются только для казенных стипендиатов. Надо надеяться, что и эта добрая инициатива увенчается полным успехом.

Спрашивается теперь, нельзя ли было бы уделить два-три зала в этом обширном палаццо и какую-нибудь приличную сумму на основание русской читальни, вокруг которой могла бы группироваться русская колония? Ввиду того что правительство совершенно не интересуется устройством русских читален за границей, они обыкновенно создаются молодежью, которая невольно придает им не вполне серьезный характер. Но это и хорошо за неимением лучшего; в Риме же, к сожалению, нет русской учащейся молодежи, так что нет и намека на читальню. Официальный характер предприятия дал бы возможность приезжим и проживающим здесь русским находить в такой читальне не только свои газеты и журналы, но и те серьезные и часто дорогие издания, которые могут со специальных точек зрения интересовать русских, посещающих Рим. Мало ли приезжает сюда, незримо и неведомо, народу для научных исторических исследований о русско-римских отношениях или других интересных вопросах; официальная читальня много бы помогла им. Эта же читальня могла бы выделить комитет для организации лекций русского языка, русской литературы, русского искусства, и успех этих лекций был бы заранее и безусловно обеспечен.

Столичной печати следовало бы обратить внимание на это дело и осветить то обстоятельство, что относительная новизна учреждения нисколько не умаляет его безусловной пользы со всех точек зрения, особенно в момент, когда духовное сближение между Россией и Италией так легко достижимо на почве признаков политического сближения.

Altalena

Одесские новости. 2.06.1901



Рим

МЕЖДУ КОРОЛЕМ И НАЦИЕЙ

1(14) июня

Можно быть монархистом или республиканцем для Италии, но нельзя отрицать, что итальянцы в массе любят свою династию; скажу даже больше — я подозреваю, что не все республиканцы вполне свободны от какого-то бессознательного, заботливо-нежного полочувства к королевскому дому, особенно в некоторые моменты. Чем это объяснить, не берусь угадать: тем ли, что Савойский дом возведен на престол Италии республиканскими руками, или тем, что короли этого дома постоянно говорят об уважении к либеральным принципам революции, благодаря которым они, короли, стали королями, или, наконец и скорее всего, той близостью двора к народу, из-за которой подчас иноземцу кажется, будто в Риме к высочайшим особам относятся непочтительно и будто сами эти высочайшие особы живут слишком на улице. В этом смысле особенно любопытно послушать немцев.

На Корсо иногда скромно мелькает в цепи других частных и извозчичьих карет черный экипаж, по бокам у которого колесят два велосипедиста; невысокий офицер с бледными усами правит лошадьёю левой рукой, а правой отдает честь немногим кланяющимся. Это и есть король. Один молодой немец при мне неодобрительно отзывался о такой простоте. У них, в Берлине, когда ждут проезда кайзера, то, кажется, по мостовым прекращается всякое постороннее движение, а народ стоит шпалерами по сторонам и в надлежащий момент кричит hoch¹. Отсутствие всего этого в Риме очень возмущало немца. Еще больше была в последнее время возмущена его супруга, тоже, конечно, немка. Ее шокировала свобода, с какой газеты говорили о предстоящем рождении королевского ребенка. «Что это такое? — негодовала она. — Мне стыдно перед своими детьми, которые слышат все эти толки о parto della regina (роды королевы) и пристают ко мне с вопросами: "Разве можно знать заранее, что должен родиться ребенок?"»

И действительно, как назло моей немке, газеты усердно и заботливо сообщали о ходе беременности, о приблизительном

¹ Ура! (нем.)

сроке, о визитах акушера Морисани, о том, что королева Елена хотела бы сама кормить, но ей этого не позволят, и так далее. Конечно, с немецкой точки зрения, все это шокирует.

С точки зрения итальянцев, более приближающихся к типу народа здорового, не изменившего природе, нелицемерно и еще не до конца испортившего себе воображение, все это было очень просто и очень свято. Итальянская публика серьезно и добродушно интересовалась здоровьем молодой женщины, у которой это — первый ребенок, и король был очень благодарен стране за такое доброе и благожелательное внимание. Немецкая мамахен в словах *parto della regina* могла (и должна была) видеть опасность для своих кнабенов¹, толчок к любопытству, но итальянские дети не нашли никакого соблазна в толках о предстоявшем приращении королевской семьи. В приготовительном классе школы, у монахинь, девочки давно ожидали себе праздника, и как только раздались первые пушечные выстрелы с Монте Марио, устроили из разноцветной бумаги маленькие флаги и потребовали отпуска... Правда, что монахини отобрали у девочек флаги и наказали их за шум, но тут уж совсем другая подкладка: монахини не желали радоваться радости узурпаторов града св. Петра.

И вот, благодаря тому что радостное событие готовится почти на глазах у всей нации, оно становится для нее дорогим и желанным; у многих появляется какое-то теплое отношение к вопросу, точно дело идет об их собственном ребенке. Кое-кто пересаливает — был, помню, дамский журнальчик, который еще в январе, захлебываясь, щебетал о предстоящем «прилете розового ангелочка, который озарит радостным сиянием величественные стены Квиринала (надо было никогда не видеть Квиринала, чтобы обвинить его в «величественности»), но такого сюсюканья не следует ставить в строку. Факт тот, что при выстрелах с форта Монте Марио много сердец умилилось, хотя и не сюсюкая и не лепеча: «ангелочек». И даже когда насчитали только 21 выстрел вместо 101, то умиление было так сильно, что королеве Елене добродушно простили разочарование, примирились с рождением дочери и даже нашли в этом поэтическую сторону. «Принчипессина!² Какая это будет прелесть года через 3—5, когда ее будут возить в светлом платьице на музыку на Пинчо», — думают люди монархического образа

¹ От: *Knaben* — мальчики (нем.).

² Маленькая принцесса (итал.).

мыслей; но и люди немонархического расположения, помня, что о приезде принцессины они знали еще за пять месяцев, что мать, хотя и за стенами Квиринала, но на их глазах и под их добродушным вниманием взлелеяла и выхолила маленькое невидимое существо, и они ощущают какое-то суровое доброжелательство к девочке Иоланде Маргарите, и им тоже бы хотелось взглянуть на нее: какова она из себя — маленькая ли, похожа ли на отца, или на мать, или красивее их.

Я потому так долго остановился на этом событии, не относясь ни к политической, ни к общественной области, что вижу в нем систему, которой давно следует итальянский королевский дом и которую следовало бы только еще шире развить для общего блага. Между правящими и народом должно быть постоянное и близкое общение.

Здесь, очевидно, дело к тому и идет. Здесь вообще мало соблюдается богдыханское правило *parum de principe* («поменьше о государе»): нация знакома с королем, и печать с каждым днем все подробнее сближает это знакомство. Например, недавно выпущена книга Луиджи Моранди «Как воспитывался Виктор Эммануил III». Автор преподавал бывшему принцу Неаполитанскому итальянскую литературу и рассказывает теперь много интересного о спартанской системе, которую установил во дворце главный воспитатель наследника полковник д'Озио. День Виктора Эммануила был распределен по часам, без минуты полной свободы и полного отдыха, и за исполнением расписания следили так, как будто дело шло о машине, а не о живом мальчике. Ни дождь, ни нездоровье не избавляли принца от верховой езды. Учителям было приказано обращаться с ним строго и просто и требовать к себе со стороны принца самого почтительного отношения. Примеры строгости подавал сам д'Озио, нередко за мелкие погрешности бранивший своего воспитанника очень выразительными эпитетами. Однако Виктор Эммануил был привязан к суровому полковнику, что, по одним, делает королю много чести, а по другим — указывает на чрезмерную мягкость характера.

Судя по книге Моранди, Виктор Эммануил хорошо образован. Любопытно, что греческому языку его не обучали вовсе. Зато он прекрасно владеет новыми языками, знает основательно математику и порядочно — экономические науки.

Altalena

Одесские новости. 6.06.1901


Рим

5 (18) июня

Вам известно, что король, едва только здесь заговорили о поднесении колыбели и о празднествах, письменно попросил добрых квиритов¹ приберечь деньги и энергию для других целей, например на дела благотворительности. Но людям нужен был во что бы то ни стало орден, и потому короля не послушались. Колыбель поднесут (надо признаться, что из римских мастерских выходили и более изящные работы), и празднества в полном разгаре. Одно из них, например, состоялось в последнее воскресенье. Семь тысяч маленьких детей были собраны на вилле Боргезе; им раздали цветы и повели процессией к Квириналу. Это — сорок пять минут ходьбы, если не больше; если бы было солнце, детям было бы очень жарко. Но солнца не было; вместо того лил дождь — холодный, точно то была не небесная вода, а здешняя *acqua Marcia*, славная своей низкой температурой. Все девочки в процессии были без шляпок; большинство детей, т.е. тысяч пять, были одеты совсем легко; зонтиков ни у кого не было: были вместо них цветы. Мокрые дети дошли до площади Квиринала, где на балконе показались король Виктор Эммануил и счастливый дедушка, популярный здесь *sof Nicóla* (князь Черногорский). Дети устроили манифестацию, подбрасывая вверх цветы, и это длилось минут тридцать. Потом их распустили по домам. А дождь все-таки не перестал.

Из этого вышел небольшой, но солидный скандал. Король, конечно, обошелся очень ласково с маленькими манифестантами и их большими руководителями. Но после демонстрации городской голова дон Просперо Колонна явился во дворец и заявил королю, что он, синдик, хотя и почетный председатель праздничного комитета, но в этом подводном путешествии семи тысяч маленьких детей ничуть не виноват. Король тоже выразил свое удивление и неудовольствие по тому поводу, что детей привели к Квириналу, несмотря на дождь. В тот же день собралась экстренно управа и постановила, что ученики и ученицы городских школ не будут больше участвовать ни в каких процессиях. Дон Просперо отказался от почетного председательства в комитете празднеств по случаю рождения королев-

¹ От: *quirites* — граждане (*лат.*).

ны Иоланды. Все газеты раздражены. Но комитет не унывает. Вчера на улицах расклеили «манифест», сваливавший все на погоду — как будто детей нельзя было отпустить из виллы Боргезе домой.



Началась перед парламентскими каникулами главная, самая отчаянная резня: обсуждение бюджета внутренних дел. По всем остальным вопросам победило министерство; теперь реакционеры центра хотят в последний раз испытать судьбу. Они будут особенно обрушиваться на неслыханное ни в какой другой стране учащение стачек и на бездействие правительства как перед забастовками, так и перед возникновением рабочих и крестьянских союзов. Но эта партия для соннинианцев заранее проиграна. Если победит министерство, они потерпят сто первое поражение, считая с момента, когда Дзанарделли занял свой нынешний пост; если победит оппозиция, то палата будет распущена, а новые выборы не пропустят и половины того материала, из которого теперь Соннино вербует своих наездников. С каждым днем становится очевидно, что для Италии наконец основательно наступил либеральный период.

Чего хотят консерваторы от бедных крестьянских союзов, просто непонятно. Рабочие — это, как-никак, народ заведомо красный; но у пейзажистов никаких мечтаний не имеется, они и не помышляют о равенстве с бариним и хотят только обеспечить себе свою мамалыгу, которая теперь не во всякую минуту попадает на зубы. Для этой скромной цели они объединяются в союзы и союзами требуют повышения платы; теперь они получают, в русском переводе, около 60 копеек в день, а хотят получать по 75 коп. И именно потому, что карабинер не вмешивается, все проходит тихо, спокойно и прилично.

А хорошо было бы, если бы палату распустили и назначили новые выборы. Тогда бы Монтечиторио хоть немного очистилось от многих неприятных элементов прямо с точки зрения уложения о наказаниях. Прежде был депутат Полиццо, герой города Палермо, следствие о котором, вероятно, кончится при втором пришествии. Затем выплыл неаполитанский депутат Казале, следствие о темных деяниях которого тоже не скоро кончится. Теперь разбирается в том же счастливом Неаполе процесс депутата Алиберти, обвинявшего газету «1799 год» в клевете; о характере процесса можете судить по тому, что

я назвал его не процессом газеты, а процессом Алиберти. Наконец, теперь газета «Propaganda» печатает разоблачения о подвигах депутата Афана де Риверы, который будто бы в убыток казне покровительствовал Круппу при поставке военного материала, — и это опять-таки в Неаполе.

Любопытно, как все эти господа строго выдерживают couleur locale¹. Полиццоло — сицилиец: в его лице мы имеем дело с мафией, а мафия — учреждение грозное, серьезное, грандиозное, и дело Полиццоло — дело об убийстве. Остальные же трое — Казале, Алиберти и Афан де Ривера — неаполитанцы; в Неаполе мафии нет, здесь есть только каморра, специальность которой не убийство, а мошенничество; и вот Казале, Алиберти и Афан де Ривера, в унисон настроению города, представителями которого они являются, никого, сохрани боже, не убивают, а только... промышляют.

Вот уж именно «представители» областных индустрий.

Altalena

Одесские новости. 11.06.1901



Письма из Рима

I

АНИКА-ВОИН

8 (21) июня

Умер последний могиканин римского карнавала, великий генерал Маннаджа ла Рокка, в миру Луиджи Гвиди, торговец старыми тряпками.

Когда римлянину необходимо выбраться, т.е. очень часто, из его уст вырывается стиснутое: mannaggia... Это ругательство в переводе означает приблизительно пожелание недугов и болячек. Собственно, национальное римское ругательство — не mannaggia, а tte róssino ammazzatte («чтоб тебя убили»), но и первое слышится на римских улицах очень нередко. Во всяком случае, оно короче, звучнее и более поддается подделке под громкую фамилию. Сор Луиджи Гвиди, торговец старыми тряпками, приделал к нему аристократический хвос-

¹ Местный колорит (фр.).

тик la Росса («замок»), нечто вроде немецкого окончания («бург»), и получилась совершенно княжеская фамилия, настолько звучная, что ею можно ввести в заблуждение любого иностранца, даже прилично говорящего по-итальянски, если он только не посвящен в словарь уличной брани.

Каждый карнавал с незапамятных времен генерал Маннаджа ла Рокка проезжал по Корсо в тележке, на призрачной кляче, в полном воинском убранстве, с огромным копьем и громадной саблей, в шлеме с петушиными и бумажными перьями, а за ним тянулся его генеральский штаб, доходивший иногда до числа тридцати человек, не считая гоготавших и улюлюкавших мальчишек. Карнавал из года в год бледнел и вырождался, но Маннаджа ла Рокка не уходил со своего поста. Только сам он старел и хирел; кляча ушла из мира сего в бессрочную отставку, и пришлось заменить ее осликом; главный штаб уменьшался в количестве, и даже мальчишек за генеральской тележкой с каждым годом бежало все меньше и меньше. Так шло дело на убыль, пока генерал не преставился в госпитале св. Духа на том берегу Тибра, в семь часов пополудни 15 числа.

Он умер на своем посту, можно сказать. Недавно был праздник св. Марии, покровительницы божественной любви; этот праздник, которым заканчивается май, «месяц Святой Девы» (*il mese mariano*), торжествуется с особенной пышностью в простонародье. Бесконечный ряд тележек и колымаг, разубранных цветами вплоть до хвоста лошадей, на рассвете покидает Рим, отправляясь на поклонение иконам в Альбано, а часов в шесть совершает обратный въезд в Вечный город и прогулку по Корсо. В этом году, как всегда, генерал Маннаджа ла Рокка красовался в своей тележке, со своим осликом, но без военных доспехов, в живописной и пестрой цепи нарядных набожных *madonnari*¹. По дороге в Альбано процессию взбрызнуло дождем. Маннаджа ла Рокка простудился, попал в госпиталь св. Духа, а оттуда — на *Campo Santo*².

Был момент, когда славное имя генерала прокатилось далеко за пределами Рима и дошло до Парижа. Это случилось после поражения итальянцев при Адуе. Орлеанский претендент презрительно отозвался об итальянских солдатах, граф Турин-

¹ Участники процессии в честь праздника Мадонны (*римск. гуал.*).

² Кладбище (*итал.*).

ский — племянник короля Умберто — вызвал его на дуэль, а по примеру этих двух принцев еще несколько французов разрешили себе выходки насчет итальянской храбрости, и еще несколько итальянцев послали им вызовы. Самый redoutable¹ из парижских хулителей, некий Томге (Tomegueux), искусный фехтовальщик, тоже получил телеграмму-картель и гордо понес ее в газету, и Figaro немедленно известил публику о том, что знаменитый Томге вызван на дуэль за честь итальянских солдат одним из заслуженнейших офицеров итальянской армии по имени генерал Маннаджа ла Рокка.

Конечно, в тот же день Figaro и Томге узнали, как их одурачили, но было уже поздно — от Рима до Парижа добрые люди хохотали и славили храброго генерала Маннаджа ла Рокка и непобедимого Томге.

Сам Луиджи Гвиди, скромный *страччароло* (тряпичный торговец), был, конечно, ни при чем в этой гениальной *capzonatura*². Ее единственным автором был — и об этом узнали только два года спустя — несчастный Рубикки Ришель, талантливый фельетонист «Тribun'ы», впоследствии сошедший с ума и ныне тоже покойный.

Какова была руководящая идея генерала Маннаджа ла Рокка, на кого была направлена воплощенная им сатира, этого я не знаю. Он изображал карикатуру Аники-воина, но сам, конечно, думал только о смехотворности карикатуры, а не об ее значении. Не знаю и того, был ли он, как водится, немного помешан или просто, как говорят здесь, неуравновешен (*squilibrato*), что по-русски означает «не все дома». Во всяком случае, его изобретение было гениально угадано, начиная с имени и кончая перьями на шлеме; он был очень популярен в Риме, и с его смертью исчезает последний знаменосец старого карнавала и одно из наиболее характерных римских «пятнышек».

Впрочем, этих «пятнышек» еще остался непочатый и неопи-санный угол. Жива еще злая сора Джулия с собакой, жив сумасшедший «попугайщик», жив бродячий поэт сор Пеппе Пеллуччи, жив монах-зубодер на островке св. Варфоломея, жив доктор Лолло, исправивший «Божественную комедию», и из них каждый в своем роде стоит бравого генерала Маннаджа ла Рокка.

¹ Грозный (*фр.*).

² Насмешка, проделка (*итал.*).

II

«TRAVASO»

Смерть генерала Маннаджа ла Рокка мне напомнила о другой покойной знаменитости того же рода — о голодном философе Тито Ливио Чанкеттини.

Тито Ливио прибыл в Рим лет восемь тому назад с севера, а выбыл из Рима (на Campo Santo¹) в 1898 году, по причине недоедания и холода. Римляне его хорошо знали: он с утра до ночи стоял у вокзальной решетки, сгорбленный, седой, остробородый, горбоносый, в лохмотьях, весь обвешанный плакатами со странными надписями, в которых настойчиво повторялось слово *accidenti* (дурное пожелание): *accidenti* притеснителям, *accidenti* барам, *accidenti* палачам. Но все это было очень безобидно. Тито Ливио совсем не принадлежал к революционерам — это был просто мыслитель, восстававший на непорядок вселенной только с философской точки зрения и только философскими средствами. Тито Ливио был не в своем уме, но весьма учен и принадлежал к великой семье изобретателей: он устроил «машину для уловления птиц» и «машину для постройки карамелей».

Только что, переводя названия этих машин, я попытался подделаться под стиль Тито Ливио, но вижу, что это невозможно. Философ писал и говорил каким-то странным, особенным языком, избирая для каждой мысли наиболее аллегорический способ выражения и для каждого слова наиболее архаическую форму. С этим стилем римляне вполне познакомились, когда Тито Ливио Чанкеттини начал издавать журнал «Travaso delle Idee» — в буквальном переводе: «переливание идей». Весь журналчик составлялся самим философом и был не то сатирическим, не то метафизическим, а в общем производил довольно тяжелое и большое впечатление. Посему его не покупали, и Тито Ливио Чанкеттини умер от недоедания и холода. Рукописи его, говорят, по сей день хранятся у хроникера газеты «Messaggero».

Полтора года тому назад веселая компания молодых римских журналистов решила возобновить издание «Travaso» под редакцией... Тито Ливио Чанкеттини. И с тех пор «Travaso» очень благополучно выходит в свет за подписью покойного

¹ Кладбище (*итал.*).

философа, с его карикатурным портретом в заголовке, и в каждом выпуске обязательно имеются две сентенции на злобу дня, до того выдержанные в стиле Тито Ливио, что не верится в подделку.

«Travaso» выходит по субботам, в половине четвертого, а к семи часам во всем цивилизованном Риме нет грамотной души, которая бы не прочла всего выпуска. «Travaso» стал для римлян такой же необходимостью, как музыка на Пинчо или на piazza Colonna, как кафе Араньо. Поэтому я несколько остановлюсь на этом журнальчике.

Наследники Тито Ливио Чанкеттини скорей юмористы, чем сатирики. Никакого направления в «Travaso» нет: его цель — подымать на смех все, над чем не грешно посмеяться, и доставлять вам за два сольдо по веселому получасу в неделю. Он вполне беспристрастен, потому что вышучивает и перебивает правого и виноватого без различия партий. И все им очень довольны, потому что быть вышученным в «Travaso» — это такая же для вас реклама, как если бы вышла в свет новая коробочка папирос вашего имени.

«Travaso» совершенно не похож на другие юмористические листки. Он весь построен по традиционному плану: в нем все рубрики раз и навсегда учреждены и освящены тенью загробного редактора, и эти рубрики очень оригинальны. Есть между ними такие, за одну идею которых, независимо от исполнения, Тито Ливио или его помощники заслуживали бы большой золотой медали. Например, письма Марии Тегами, появляющиеся в каждом выпуске. Пишет их известный римский диалектальный поэт, юный длинноногий Трилусса (Карло Салустри). «Мария Тегами» — это дама, приятная во всех отношениях, и в письмах ее читатель переживает все перипетии шаткой жизни, присвоенной этому цеху. Донна Мария переходит от одного депутата к другому (больше всего ей нравятся депутаты). Я считаю письма Марии Тегами, несмотря на бездну личных намеков, прямо художественным произведением. Римская Аспазия изображена во весь рост: невежественная, добрая, легкомысленная, чувствительная, жадная из необходимости и бескорыстная в глубине души.

Другая специальная рубрика «Travaso» — это еженедельные стишки Mario a Caterina. Марио — супруг, Катерина — жена. Стишки всегда находятся на третьей странице газетки и состоят из трех куплетов, в которых Марио, жалуясь на пылкость

Катерины, освещает с точки зрения *intimità dell'alcova*¹ все текущие события. Катерина придирается к любому случаю, чтобы кольнуть своего малоспособного супруга: падет министерство, провалится на выборах Д'Аннунцио, состоится рабочая маевка — Катерина по всем этим поводам намекает на холодность Марио. Иногда во всем этом чересчур много грубого перца, но нередко эта рубрика выходит премилой, и потом всю неделю цитируется на улице и в кофейнях.

Каждый выпуск «Travaso» начинается с торжественной песни, написанной каким-нибудь героическим размером — октавами, например, — на злободневные темы. Не знаю, кто ведет этот отдел: здесь стихи иногда положительно прекрасны, что не мешает им быть остроумными. Я никогда не забуду, какой хохот стоял во всем Риме в прошлом году, после съезда социалистов, когда «Travaso» воспел это событие. Поэт в звучных секстинах повествовал о дебатах этого съезда и заканчивал так: «Один из ораторов воскликнул: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" — и этот возглас так повлиял на мое сердце, что, «выйдя на улицу подышать свежим воздухом, я немедленно присоединился к одной из дочерей пролетариата»:

*E uscito fuor per cambiar un po' d'aria
Tosto m'unii con nna proletaria!*

Карикатура «Travaso» — это обыкновенный итальянский *ripazzo*, которого у нас не знают. Французская или немецкая карикатура обработаны, закончены, тогда как *ripazzo* — едва намечен; это эскиз, набросок; *ripazzo*² — это, собственно, детский рисунок, без светотени, с одними намеками на контуры. *Ripazzo* «Travaso» почти всегда очень удачны и метки. Одно время «Travaso» в каждом выпуске помещал специальный *ripazzo*, изображавший в голом виде здешнего миллионера, депутата Джачинто Фраскара, и эти карикатуры были так убийственно остроумны, что Фраскара — редкий случай — наконец потерял терпение. Он пригрозил было процессом, но тут-то его и подняли на смех больше прежнего. Тогда он переложил гнев на милость... и голенький Фраскара исчез со столбцов «Travaso».

Гм... А впрочем, на это в Европе не так строго смотрят.

Altalena

Одесские новости. 13.06.1901

¹ Альковная близость (*итал.*).

² Кукла, марионетка (*итал.*).


Рим*10 (23) июня*

Либеральное министерство одержало наконец большую и крупную победу. В последнее время реакционеры, видя свои малые шансы, уже выражали готовность примириться с Дзанарделли, только бы избавиться от Джолитти, министра внутренних дел; наружно это объяснялось тем, что Джолитти — тайный антимонархист и сообщник социалистов; по настоящему же дело было в том, что Соннино, который руководит реакционной оппозицией, мечтает именно о портфеле министра внутренних дел. Вот почему на бюджете этого министерства и сосредоточилась главная, наиболее отчаянная борьба. Соннианцы доказывали, что стачки последних месяцев были незаконны, что крестьянские союзы тоже незаконны, что правительство, однако, не вмешалось ни разу ни в забастовки, ни в возникновение аграрных лиг, что поэтому правительство играло на руку революционерам и, значит, не должно быть терпимо в монархической стране. Джолитти, Дзанарделли и их сторонники — большинство действительно с крайней левой — отрицали все это, и было любопытно слушать, как республиканец Бардзилаи выбивался из сил, защищая министерство против обвинения в сообщничестве с его же, депутата Бардзилаи, партией. Более смело держали себя социалисты. Они, устами Ферри, прямо заявили: мы поддерживаем министерство только потому, что оно нам полезно для наших субверсивных целей.

Очень корректно было поведение министров. Зная, насколько их судьба зависит от расположения крайней левой, ни Дзанарделли, ни Джолитти, однако, ни словом не поступились против своей строго монархической веры. Министр внутренних дел повторил несколько раз, что своей политикой свободы он стремится отвлечь крестьян и рабочих от социализма; министр-президент провозгласил свой принцип: «король и свобода», и вся палата — правая, центр, левая, кроме крайней левой, ответила на это вставанием и овацией. И сейчас же вслед за этим крайняя левая вотировала за министерство Дзанарделли, а центр и правая, несмотря на аплодисменты, — против... Таких удивительных комбинаций еще не бывало в итальянской палате!

Вчера зал заседаний был полнее, чем когда-либо раньше за тридцать лет. Было налицо 482 депутата (из 508). Реакционеры частью рассчитывали на победу, частью полагали, что у министерства окажется большинство в 12—16 голосов. Сторонники Джолитти исчисляли свое большинство в 47 голосов. Но все ошиблись. Разница оказалась 264 — 184, т. е. 80 голосов большинства за либеральное министерство. Любопытно, что в это большинство вошли несколько депутатов из креатур генерала Пеллу, а вдохновителем Пеллу был в свое время Соннино.

Итак, теперь Соннино опять разбит, следовательно, на некоторое время Италия может не бояться реакционных законопроектов и провозглашений осадного положения. Крестьянским и рабочим союзам будет дана возможность развиваться в законных пределах и улучшать заработок бедного люда, не прибегая к беспорядкам и насилию. Уже давно палата не работала так дружно и плодотворно, как теперь; на очереди стоит много полезных реформ — законопроект о нормировке труда женщин и детей, составленный Анной Кулишовой и внесенный депутатом Турати; законопроект о разводе, обсуждение которого начнется на днях. Кроме того, на прошлой неделе, в одно из утренних заседаний, палата приняла два постановления, побуждающих министерство внести законопроекты о праве женщин на адвокатскую деятельность и об отмене газетного секвестра, последнего остатка цензуры.

В наименее *красной* группе крайней левой, у радикалов, происходят, между тем, недоразумения. Известно, что их глава Сакки послал королю поздравительную телеграмму по поводу рождения Иоланды Маргариты и что вместе с монархическими партиями палаты во дворец ездили и несколько радикалов, опять-таки с Сакки во главе. Это все истолковали как указание на то, что радикалы ничего не имеют против монархии, лишь бы она была либеральна, а Сакки, в частности, ничего не имеет против министерского портфеля. В этом ничего странного не было, так как именно тем радикалы отличаются от республиканцев, что у первых нет никакого априоризма в вопросе о форме правления. Но совершенно неожиданно в общем собрании радикальной группы оказалось, что Сакки, во-первых, никогда ни от кого не получал сана главы парламентских радикалов и что, во-вторых, подавляющее большинство группы (чуть ли не 20 против 5) придерживается совершенно

иного мнения по отношению к монархии. Увидев такое настроение товарищей, Сакки и его четыре единомышленника ушли с заседания.

Очень жаль и очень некстати, что как раз теперь в крайней левой начинаются разногласия и, кроме того, совершенно непонятно, чем радикалы отличаются от республиканцев, если не тем, что желают добиться демократических реформ при и с помощью монархии?

Altalena

Одесские новости. 17.06.1901



Ночь на Ивана Купалу

Рим, 13 (26) июня

В ночь на Ивана Купалу — Сан-Джованни — огромная толпа народа по традиции собирается на площади, где храм св. Иоанна Латеранского, и в окрестностях, и надо заметить, что эта традиция во всей своей полноте уцелела до сего дня, хотя все другие милые привычки старины — карнавал, крещенская кутерьма на piazza Navona — быстро вымирают. Оно и понятно, если сообразить, как приятно провести ночь на свежем воздухе именно с 23 на 24 июня; это не то, что 5—6 января или в начале марта. А жара к этому времени здесь, в Риме, хотя и не так ужасна, как та, к которой приучены одесситы, но все-таки томительна.

Зачем идут в эту ночь на площадь Сан-Джованни? Во-первых, затем, чтобы поесть улиток под красным соусом, которых все трактирщики в окрестностях площади за неделю еще начали заготавливать к этому празднику. Действительно, поглощение улиток идет всегда идеально бойко: все столики на piazza San-Giovanni, на piazza Santa-Croce in Gerusalemme, на via Porta Maggiore заняты теплыми компаниями, по большей части одетыми просто, но далеко не без элегантных пятен. Жирные lumache¹ плавают в густой красной жиже, вызывая в иностранце чувство отвращения... и аппетита. И потом широкогорлые полулитры и четвертушки белогокурого *фраскати* или *гротта-фerratты* так непобедимо напоминают вам своим видом, в бле-

¹ Улитки (итал.).

ске газовых горелок, что горло пересохло... И вы кончаете тем, что одолеваете последние вспышки гадливости доводом обязанности порядочного корреспондента, берете стул, пристраиваетесь к уголку четырехместного столика — сидящая за ним компания из шести персон обоего пола весело отзывается на ваш поклон красивым *buona sera*¹ — и требуете храбро четвертушку белого вина и робко порцию улиток. Бррр!..

Ничего. Вкусно несомненно; много перца, не так уж очень жирно, и если бы не психология, то хоть вторую порцию проси.

А кругом — что за музыка! И в крещенский вечер на *piazza Navona* вокруг трех феерических фонтанов мастера Бернини устраивается специальный *chiasso e fracasso*², — но не то. На *piazza Navona* и народа в пятьдесят раз меньше, и инструменты — все только дудки, свистелки да трещотки, и воздух не летний, и нет винного огонька. А здесь, куда ни взглянешь, у каждого и у каждой в руках по огромному колоколу из обожженной глины, да к груди привязаны такие же маленькие колокольчики, и сверх того в зубах жестяная дудка изумительной длины, и к кирпичному языку колокола подвязана бешеная трещотка. И на оглушительном фоне гармоничного, чистого перезвона глиняных колоколов и колокольчиков, тембр которых точно переносит в Швейцарию, рассыпаются фейерверки свиста, визга, треска, гудения, гула, воя, хохота, грохота, пения, окликов, откликов, острот, конского шага, скрипа колес, щелканья кнутов, извозчицких «*азоп!*»

Эта канонада в один миг овладевает всеми нервами, подымает и опьяняет. В толпе Сан-Джованни нельзя быть зрителем: бес, а не вы, пробивается к бараку, торгуется, покупает колокол, сует в руки вам трещотку и сейчас же бросает вам навстречу ближнего, который нарочно дудит вам прямо в ухо из жерла аршинной трубы — но его не слышно за общим грохотом — и которому вы мстите, ударяя в набат над непокрытой головкой его темноглазой спутницы.

В толпе медленным шагом пробираются дрожки, владельческие ландо, наемный электрический автомобиль и какие-то линейки или колымаги, о которых до и после этой ночи никто в Риме и подозревать не может. К оглоблям, седлу, краям, к навесам линеек подвязаны колокола и колокольчики; все разубрано живыми или дешевыми купальскими искусственными

¹ Добрый вечер (*итал.*).

² Шум и гам (*итал.*).

цветами, которые тут же в бараках продаются по два сольди за пучок. Между колясками и пешеходами идет война. С гвалтом, хохотом и гомоном стороны тычут друг другу в нос длинными чесночными стеблями и трубят друг другу в ухо; пеший мальчишка подносит к губам маленький комочек красной бумаги, надувает щеки — и из комочка вдруг вырастает молния, длинная-предлинная бумажная колбаса, конец которой влетает внутрь большой колымаги, производя там в темноте переполох и визг, — и вдруг из колымаги выскакивает такая же выдувалка, только белая, и бьет мальчишку в лоб, и он с хохотом бежит дальше, свертывая на ходу в комочек свою бумажную молнию.

В то же время в каком-нибудь из народных театров должен происходить конкурс *canzonette romanesche*¹ di San-Giovanni. Бесчисленные поэты римского наречия заготавливают ворохи этих канцонетт, редакция диалектального журнальчика «*Rugantino*»^{*} выбирает из них лучшие, а окончательный приговор произносит плебисцит публики. В этом году в комиссии «*Rugantino*» для оценки музыкальной стороны купальских песен участвовал сам маэстро Весселла, дирижер городского оркестра, знаменитость, *excuser du reu*²! Однако — не знаю, как музыка, еще не слышал — текст канцонетт в этом году очень плоск и бледен.

Обыкновенно это серенады к жестокой, не желающей выглянуть в окошко *чумакe* (*ciutasa* — непереводаемое ласкательное слово, которым римлянин называет свою возлюбленную, нечто вроде *голубушки*), или характерные куплеты на тему «Старьевщик», «Швейцар», даже «Маньячча» (сутенер) и т.д. Иногда эти канцонетты имеют отношение к празднику: например, поэту снится, что он со своей *regazze*³ идет к Сан-Джуванни, оба разодетые, в богатом ландо, и *regazze* его целует; но этот поцелуй его будит, и оказывается, что —

Invece m' hai lassato in abbandono.
A ppiagne' tra li guai e tra li affanni
Lo so cche wai stanotte a Ssan-Giuvanni,
Ma nn'antro te ce porta cor landó!

¹ Римские песенки (*итал.*).

^{*} Ругантино («ворчун») — национальный маскарадный тип римлян, как Пульчинелла у неаполитанцев.

² Здесь: не кто-нибудь! (*фр.*)

³ Девушка (*римск. гуал.*).

То есть приблизительно:

Но ты меня покинула; я плачу,
Я гроб зову безвременный и ранний;
Да, в эту ночь ты едешь к Сан-Джованни,
Но уж *гругой* везет тебя туда...

И не только в этих канцонеттах вся поэзия купальской ночи: есть еще легенды. В эту ночь и в Италии черт, колдун и ведьма (*strega*) мечутся по земле больше, чем в будни; а, в частности, о Риме и, точнее, именно о площади Сан-Джованни, вот что известно.

В глубине площади темнеет древняя громада, базилика св. Иоанна Крестителя Латеранского, древнейший из римских храмов, Ватикан XIII столетия. На рассвете здесь будет торжественная служба, но теперь, ночью, лучше осторониться подальше от этого храма... В этот час по гулкому мрамору пустынной базилики, в темноте и в полосах лунного блеска гонятся одна за другой две женщины и со стонами повторяют одна другой все те же два вопроса:

- Дочь моя, зачем ты это сделала?
- Мать моя, зачем ты это сделала?

Когда дочь царя Ирода принесла голову Предтечи на блюде в праздничные палаты отца, ее глаза и глаза ее матери невольно и странно приковались к мужественным чертам этой мертвой головы; и с тех пор обе Иродиады, терзаемые безысходной страстью к тому, кого они убили, бродят по земле, не находя покоя, и по-своему печально празднуют Иоаннову ночь в Иоанновой базилике Вечного города.

Altalena

Одесские новости. 19.06.1901



Неаполь

НА РАСПУТЬЕ

(10) 23 июля

Чем это кончится?

Все шло так ясно и прилично: правительство честно выдерживало нейтралитет в столкновениях работодателей с рабочими; последние пользовались этой необычайной корректностью начальства для того, чтобы поправить и повысить на полступени свои чересчур уже печальные финансы; крайняя

левая зато поддерживала министерство; реакционеры настаивали, что министерство продает монархию; в публике на основании всего этого было приятное убеждение, что тяжелые времена прошли, и для Италии настал промежуток мирной и плодотворной работы. И вдруг месяц тому назад лейтенант де Бенедетти — по слухам, неврастеник и в то утро возбужденный вином — велел своим солдатам дать залп в упор по толпе землеробов-стачечников на мосту у Берры в окрестностях Феррари и убил одну женщину и одного мужчину.

Социалисты, республиканцы, радикалы восстали как один человек против виновников этого убийства. Они утверждали, что стачечники в то утро хотели перейти через мост с самым законным намерением — мирно попросить других землеробов, трудившихся где-то за мостом, примкнуть к забастовке. И если лейтенант не хотел их пропустить, потому что ему было велено не пропускать, то надо было по закону сначала пустить в ход холодное оружие, а потом только стрелять. Газеты социалистов утверждали, что де Бенедетти — заведомый неврастеник, что он накануне пьянствовал, что ту ночь он провел с легкой женщиной, и т.д. «Avanti» настаивал, что мужчина был убит самим лейтенантом выстрелом из револьвера. В палате, почти накануне ее роспуска, произошла нехорошая, неприятная, скандальная сцена. Военный министр объявил, что де Бенедетти исполнил свой долг, а насчет его ночных развлечений выразился, что не депутатское дело — подбирать и комментировать такую грязь, как подобные слухи. Эти слова произвели взрыв, крайняя левая завывала и завопила; Ферри, голос которого покрывает все другие голоса, взятые вместе, назвал министра негодяем. Президент палаты прервал заседание и уговорил военного министра объяснить, что он своими словами о «грязи» не хотел обидеть собрание народных представителей. Потом этот же министр послал вызвать на дуэль — не Ферри, а какого-то газетчика, печатно удивившегося тому, что генерал безответно позволил назвать себя негодяем. Но дуэль не состоялась. Министр остался в тяжелом, неловком положении, и поговаривали об его отставке.

Раз правительство одобрило поступок де Бенедетти, крайняя левая должна по логике отступить от Дзанарделли, а без крайней левой у министерства не будет большинства, и оно падет на первых заседаниях палаты не дальше сентября. Тем хуже для Дзанарделли и Джолитти, но тем хуже и для социалис-

тов, потому что всякое другое министерство будет хуже теперешнего, и о свободе пропаганды и стачек придется забыть. Значит, социалистам, с одной стороны, невозможно не нападать на министерство, с другой — невыгодно голосовать против него. И вот социалисты благоразумно играют на два фронта. С одной стороны, они устроили множество митингов, где протестовали против убийства и убийцы и даже пытались кричать *abbasso* (долгой) по адресу войска; с другой стороны — их официозные органы дают понять, что все-таки голоса крайней левой должны остаться за либеральным министерством. Депутат Оддино Моргари, очень талантливый и оригинальный публицист, в своей близкой к массам газетке «*Sempre avanti*»¹ лучше всего объясняет эту необходимость. «Факт убийства возмутителен, — говорит Моргари, — но министерство за него прямо не ответственно. Нехорошо со стороны либерального кабинета покрывать де Бенедетти своим одобрением, но ведь закон есть, и нельзя требовать, чтобы министры короля стояли на точке зрения социалистов. С Дзанарделли можно быть уверенным, что хоть свобода стачек и пропаганды не будет нарушена; если Дзанарделли падет, его сменят реакционеры — с намордником, кандалами и не одним, а ста лейтенантами де Бенедетти». То же самое доказывает Турати в особой брошюре и центральный римский «*Avanti*» во всех передовицах. Но избиратели — простонародье, рабочие — вряд ли убеждены в прелестях такой тактики. Кой-кому поддержка министерства после Берры будет казаться изменой делу рабочей партии: простой люд судит прямолинейно и не умеет политиканствовать. Но не только простой люд — и некоторые лучшие среди интеллигенции итальянского социализма восстают против нового курса парламентской группы — например, здешний журналист, бывший изгнанник за май 1898 года Артуро Лабриола, которого не надо смешивать с римским профессором-однофамильцем по имени Антонио. В рабочей партии грозит начаться раскол. Я уже читал здесь на улицах афиши о предстоящем выходе газеты «*Маяк*», «органа социалистов-диссидентов», в виде протеста против «изменнического карьеризма некоторых членов партии».

А любопытно в этом случае поведение реакционеров. Пока стачки плодятся и размножаются в полной тишине и с сохранением порядка, они говорили, что правительство продало

¹ «Всегда вперед» (итал.).

душу социалистам за 93 голоса крайней левой. Теперь, когда двух рабочих застрелили, а их убийцу за это свыше похвалили, можно было бы наконец убедиться, что правительство идет своей дорогой, а социалисты своей? И убедились бы, если бы дело было в достоинствах или недостатках кабинета Дзанарделли, но дело не в них, а в личных аппетитах вожакон консервативной партии. Если завтра Дзанарделли (предположим невозможное) провозгласит осадное положение и пошлет всех социалистов на галеры, Сиднею Соннино по этой причине не перестанет хотеться попасть в министры, и Дзанарделли для реакционных газет все же останется предателем монархии.

Что из этого выйдет, узнаем в сентябре, а пока отмечу одно явление, которое печальнее всего. По-моему, в Италии нет милитаризма: здесь масса войска, но у офицеров нет и следа прусского противного кастового духа: они — люди, как все, чиновники в особой форме. Поэтому до сих пор я не замечал в Италии раздражения против войска, ненависти к солдату ни у кого, даже у социалистов. Теперь все это грозит перемениться благодаря лейтенанту де Бенедетти. Попытки кричать *abbasso l'esercito*¹ были, как я уже сказал, на всех митингах по поводу Берры. На днях, по газетным слухам, такие же крики раздались и в Риме, на *piazza Colonna*, во время вечерней музыки, когда центральная площадь столицы полным-полна народа. Это нехорошие признаки. А сообразно с изменяющимся настроением части общества по отношению к войску, вероятно, меняется и настроение офицеров. Ничего доброго из этого не выйдет.

Войско, предназначенное для защиты страны, составленное из плоти и крови всех уголков и слоев страны, должно быть любимо всеми. Поэтому оно должно стоять вне всяких внутренних передраг. Поручать офицерам и солдатам междоусобные поручения, значит делать из войска полицию. Если итальянские офицеры согласны на такую роль, им нельзя обижаться, что население начнет смотреть на них как на полицейских и относиться к ним как к полицейским. А это было бы тяжело и грустно, потому что итальянская армия, воевавшая за независимость, могла бы быть по праву лучшей гордостью нации. И молодежь бы шла в солдаты как на честный долг, а не как на пост, откуда в любую минуту могут приказать «*пли*» по единокровным мужикам.

¹ Долой армию (*итал.*).

P.S. Виделся с Артуро Лабриола; об этом свидании подробно в другом письме. Сегодня упомяну только вот о чем. Я заговорил о готовящемся «диссидентском» издании «Маяк».

— Это затея полицейских, — ответил Лабриола, — этой газетки здесь никто всерьез не примет, потому что нас, неаполитанцев, не проведешь. Мы им устроим такой сюрприз: в самый день выхода первого выпуска мы напечатаем в газете «Propaganda» (областной орган рабочей партии) уголовный аттестат редактора этого «Маяка», по официальным источникам, он сидел в тюрьме, между прочим, и за мошенничество. Полиция хочет внести свою лепту в обозначающийся временный раскол в нашей партии... но уж очень там они глупы.

Altalena

Одесские новости. 19.07.1901



Рим

Политический момент не из особенно ясных. Одно из обещаний министерства Дзанарделли, именно податные облегчения, оказывается трудноисполнимым. Молодой министр финансов Воллемборг на первом дебюте кабинета представил палате проект уничтожения застав в четырехстах с чем-то городах и местечках, но предварительная комиссия из девяти членов, которой палата передала проект на рассмотрение, провалила его: отчасти потому, что в комиссии большинство было составлено из врагов кабинета, отчасти потому, что проект был неудачен.

Воллемборг попробовал внести в него поправки, но потом предпочел совсем взять его обратно и принялся за составление нового. Недавно он закончил и представил в Совет министров очень полный и смелый план уничтожения всех внутренних застав в королевстве, с покрытием убытков при помощи налогов на менее необходимые продукты, а, главное, при помощи преобразования подоходного налога. Таким образом, вздорожали бы многие товары, даже очень необходимые, например мясо, но мука — главная пища итальянского пролетария — подешевела бы, и варварское учреждение — городские таможи и ежедневные обыски — было бы устранено.

Однако такой радикализм испугал Дзанарделли, который, в этом случае, может быть, и не вполне резонно, предпочитает прогресс шаг за шагом. Воллемборг вышел в отставку. Значит ли это, что министерство круто повернуло направо и не сдержит своих обещаний относительно облегчения налогов? Это значило бы потерять поддержку крайней левой, т.е. прожить не дальше сентября. Официозная «Тribuna» утверждает, что кабинет остался верен своим демократическим стремлениям и что новый министр финансов, как только будет найден, выработает новый облегчительный проект.

В ту минуту, когда я пишу, пост Воллемборга еще не занят. Называют либерала Каркано; если и не он, то во всяком случае какой-нибудь либерал из старой группы Дзанарделли и Джолитти. Глава кабинета попробовал было привлечь к себе консерваторов, предложив портфель министра финансов известному Луиджи Луццатти, профессору, экс-премьеру, человеку большого ума и больших познаний, готовому на реформы и не столько ненавистному радикалам, как, например, Соннино. Но Луццатти отказался, не желая, вероятно, играть второй и даже третьей роли в кабинете.

В среде партий крайней левой продолжается брожение. Трудно решить, какое мнение в ее среде популярней: что надо поддерживать министерство, пока оно либерально, или что надо его провалить, потому что оно — как и всякое другое — представляет буржуазию и монархию. Но можно предвидеть, что только республиканцы — и то вряд ли — станут в сентябре против министерства; из остальных же двух партий радикалы, по самой своей программе, должны поддерживать какой бы то ни было кабинет, если он чтит свободу и проводит полезные реформы, а социалисты, несмотря на теперешние споры в их среде на этот счет, вернуться к той же тактике. Судя по парламентской группе, большинство в этой партии всецело на сторон такого — как выражаются противники — оппортунизма. Разные местные кружки, на которые разделяется интеллигентная часть партии, деятельно обсуждают тот же вопрос и, очевидно, тоже склоняются к этому решению. Чтобы узнать мнение низшего, основного и многочисленного слоя партии — рабочих и земледельцев — «Avanti» проектирует нечто вроде поголовного опроса.

Раскол, произошедший в среде миланского союза той же партии, не имеет никакого отношения к политике. По словам Турати, в миланский союз втерлись лица, позирующие жела-

нием борьбы *quand même*¹, лица, которых он называет *анархоидами* (Моргари более удачно окрестил их *гладиаторами*) и которых считает вредными для дела. Не имея возможности очистить от них партию, Турати со своим лагерем вышел из старого союза и основал новый. Но это — семейные дела, которые, верно, будут улажены домашними средствами.

Между клерикалами и юмористической газеткой «Asino» («Осел»), издающейся по субботам при «Avanti», идет отчаянная война по вопросу о католической морали. С легкой руки австрийских и венгерских антипапистов, итальянские социалисты разоблачили сущность латинских наставлений духовникам, составленных святым Альфонсом Лигворским и одобренных двумя папами. Действительно, наставления эти не внушают доверия. «Asino», печатающий эти разоблачения, знает, в какое место бить врага: с одной стороны, клерикалы пуще ока дорожат исповедью и особенно женской исповедью — последними остатками власти, а с другой, итальянцы — народ ревнивый; подозрения, что в исповедальне есть что-то неладное, давно укрепились в народе, и нет лучшего средства оторвать массу от патера, как доказав ей основательность этих подозрений цитатами из докторов церкви.

Церкви святого Петра нужны реформы. Необходимо приблизить семинариста к жизни и разрешить священнику честную брачную жизнь. Иначе злоба и раздражение в народе растут и минутами доходят до ярости.

Altalena

Одесские новости. 29.07.1901



Письма из Неаполя

I

12(25) июля

Неаполь мне не нравится. Я здесь в первый раз и приехал сюда из Рима, где в самом захудалом переулке заметны отзвуки стройной классической красоты. Когда глаза привыкли к этой стройности, Неаполь поражает нищетою своего дешевого зодчества. Старых построек почти нет, новые безобразны, кроме двух-трех пунктов.

¹ Во что бы то ни стало (*фр.*).

Правда, что шума и жизни много на этих улицах, но чей это шум, чья это жизнь? Когда толпится простонародье, это живописно; когда шумит и шуршит нарядная толпа, эlegantная и *distinguée*¹, как должно быть в Париже и как в Риме, это эффектно и красиво. Здесь, на неприятной *via Toledo*, кишит что-то среднее: ни простонародье, ни *eleganza*², а так себе, мещанство, деловая публика, тот слой, где ни дамы, ни мужчины не умеют со вкусом одеться.

Люди в Неаполе и лицом и телом некрасивы. Тип лица неправильный, выразительность его скорее можно назвать подвижностью (это далеко не одно и то же); волосы на вид кажутся жесткими. При одном взгляде на них ясно, что у неаполитанцев не может быть художественного пластического вкуса, хотя странно это для народа, у которого такая бездна вкуса музыкального и который живет в виду таких окрестностей, у такого моря, под таким небом.

В окрестностях действительно хорошо. С горы над Позиллипо или с холма, где стоит нахмуренный замок Сант-Эльмо, чудные виды на пестрый город, на сизый Везувий с белым облачком, прильнувшим к гладкому конусу его правой вершины, на темно-яхонтовое море, на прозрачный голубой силуэт острова Капри. Небо над Неаполем должно быть необычайно красиво, но, к несчастью, теперь лето, а под каникулярным солнцем небо всегда теряет глубину своей окраски.

В общем, грешно повторять, будто Неаполь уж такое диво нашей бедной земли, что его «посмотреть и умереть».

Зато он необычайно интересен. Я уверен, что если пожить здесь не на положении иностранца, а так, чтобы по возможности проникнуть в жизнь, ближе познакомиться с семьей квартирной хозяйки, добиться двух-трех приглашений в семейные дома и вообще осмотреться и особенно вслушаться в это неуловимое наречие, можно сделать множество ценных наблюдений над контрастами жизни, потому что вряд ли в другом городе, даже в Лондоне, вы наткнетесь на такое близкое, мирное и разительное сожителство Ормузда и Аримана во всех видах.

Я живу в Неаполе всего дней десять, занят все время посторонними хлопотами, и специально *наблюдать* мне некогда, да и вообще это скучное занятие. Кроме того, здешний диалект, который я в Риме со сцены так свободно понимал, совсем не то

¹ Благородный, изящный (*фр.*).

² Элегантность (*итал.*).

на улице, что в театре. Это какое-то удивительное наречие, ужасно певучее, крикливое, полужалобное; в его бесчисленных интонациях заложены в зародыше переливы всех знаменитых неаполитанских песенок, и на каждом шагу в крике продавца *пшенок* или маленькой газетчицы вы узнаете знакомые припевы *Кармелы* или *Когда луна встает над Марекьяро...*

В этом произношении все усечено, все сокращено — говор народа, который торопится жить, понимает все с налету и которому достаточно намек на слово, двух-трех букв. Есть анекдот: флорентинец (известно, что тосканский язык — образцовый) заспорил с неаполитанцем, какое наречие выразительней.

— По-нашему, — сказал сын берегов Арно, — если хочешь отогнать надоедливую человека, достаточно произнести: *via!*¹

— А по-нашему, — ответил «лаццарони», — достаточно сделать только *pst!*

Pst короче *via*; и у неаполитанцев все произносится как *pst*. Но вместе с тем они умудряются некоторые гласные растягивать до бесконечности, с особым припевом, в котором что-то жалобное или недовольное, или капризное. Кто их поймет?

Поэтому я в Неаполе заметил и запомнил только то, что уж очень бросалось в глаза, по контрасту с Римом или с русскими палестинами; и прежде всего то, что здесь жизнь выносится на улицу. Это уж не римский Борго, простонародный и зажиточный, добрые обитатели которого, оставшиеся по сей день, несмотря на свой врожденный скептицизм, подданными папы, оттого, что им это выгодно, в сумерки садятся на пороге своих щелей и болтают с соседями. Здесь, в Неаполе, на улице варят, едят, шьют, умываются и — как ни больно констатировать — чешут волосы. Здесь же и спят. Ночью в каждом углу, у каждого памятника, под каждой будкой лежат группами, вповалку, маленькие и большие оборванцы, изредка — девочки. Неаполитанец на улице — у себя дома и, если он помоложе, не стесняется пройти по самой людной площади полуголым.

Я видел и совсем голых мальчишек лет до 16, которые купались или просто удили рыбу под самой *Villa Nazionale*, на глазах у гуляющей публики. Чего зато не видел, это знаменитых «лаццарони» и «неаполитанских рыбаков», как последних рисуют на картинках, с красными длинными колпаками и в коротких брючках. «Лаццарони», т.е. взрослые здоровые люди

¹ Вон! (*итал.*)

в голом виде и в положении лежачего *dolce far niente*¹, давно и совсем, кажется, перевелись в Неаполе. И не мудрено: есть надо и «лаццарони», а где же это возможно при лежачем положении в наши дни, когда на все съедобное повешено столько налогов? Пришлось и «лаццарони» надеть рубашки и пойти искать работы по порогам или по карманам более имущих сограждан. Что касается рыбаков, то они все как следует обряжены в пиджаки и в брюки до пят и на головах носят обыкновенные соломенные шляпы или модные у неаполитанского простонародья ушастые картузы, по форме очень напоминающие те, что у нас попадаются на правоверных евреях.

Все знают, что здешнее простонародье очень надоедливо, назойливо и подобострастно. Будем справедливы: это вполне извинительно, потому что турист по большей части человек зажиточный, а неаполитанцы очень бедны, и их желание навязать вам свои услуги, раз уж вы приехали тратить деньги в их город, вполне естественно. Вот чего зато не знают иностранцы: что это самое простонародье даже с теми, в ком не нуждается, уж не назойливо и подобострастно, а только очень услужливо и вежливо. В вагоне трамвая, садясь на скамью перед вами, женщины без шляп и мужчины в картузах оборачиваются и спрашивают позволения сесть к вам спиной. На улице рабочий или разносчик, чтобы указать вам дорогу, потратит четверть часа, созовет маленький совет из соседей, обдумает, где меньше вероятия заблудиться иностранцу, и отпустит вас с самыми подробными указаниями, так что у вас, если вы что-нибудь понимаете по-ихнему, голова кругом идет от этой пестрой смеси «направо» и «налево». Но, конечно, с вопросом о дороге нельзя обращаться к мальчикам: они обязательно укажут в противоположную сторону. В этом их наслаждение.

А.М. Федоров, посетивший Рим после Неаполя, рассказывал, что Неаполь каждый вечер так и звенит серенадами. Я до сих пор не слышал ни одной, хотя еще ни разу не вернулся к себе домой раньше часу или двух ночи. Это меня удивило, и я обратился за разъяснением к коренному неаполитанцу.

— Этот ваш знакомый, вероятно, жил в каком-нибудь отеле на набережной Кьяйя? — спросил он тоном человека, который, по итальянскому выражению, «*знает ее во всю глину*».

— На Кьяйя или нет, не знаю, но в отеле.

¹ Сладостное безделье (*итал.*).

— То-то же. А вы живете на частной квартире. Содержатели отелей понимают свою выгоду: им надо показать форестьеру *Nàpoli bella* «со всеми кисточками»: вот они и фабрикуют серенады, что ни вечер.

А все-таки Неаполь — город, полный музыки. Днем, пройдя большой конец, вы непременно два или три раза наткнетесь на *organetto*¹, который всегда и гораздо гармоничней и красивей нашей шарманки и исполняет пьесы вовсе не того пошиба — иногда и «Богему», и «Тоску» — «*O dolci basi*». Реже встречаются уличные певцы с гитаристом и двумя мандолинами: песни их обыкновенно злободневные, но не сатирические, а пресно-чувствительные, на какой-нибудь знакомый голос. Теперь в моде безграмотная песенка, напеваемая всеми арбузными разносчиками и относящаяся к смертной драке между солдатом и лейтенантом, которая случилась недавно где-то, кажется, на юге. Вечером почти в каждом квартале попадаетесь маленькая кофейня, пожертвовавшая углом, где можно было бы поставить два столика для устройства подмостков, прикрытых занавесом в пять франков ценой — *mamma mia*², сколько блох! — и с фортепиано впереди. Занавес подтаскивают к потолку, барышня иногда, но редко хорошенькая, поет без голоса и умения, но ей аплодируют; потом та же барышня выбегает в сопровождении господина, и оба поют или произносят один из тех неприличных, но иногда грациозных дуэтов на диалекте, которых целая бездна в неаполитанском репертуаре.

В одном из *caffè-concerto*³ мы, два одесских студента, *en touristo*⁴ и ваш покорный слуга, наткнулись на чисто итальянский продукт: на импровизатора. Это был маленький, косенький, молодой брюнетик с сильным полуженским голоском, очень нервный, с актерской искоркой и с потными руками, которые он все время обтирал платочком. Оркестр играл все один и тот же довольно изящный куплет, под который брюнетик импровизировал на распев четверостишия, мешая диалект с итальянскими формами, улыбаясь сам островам, которые приходили ему в голову, обтирая руки и обводя ложи и партер косыми глазами. Импровизация состояла из комплиментов разным

¹ Шарманка (*итал.*).

² Мама моя! (*итал.*)

³ Кафе с представлением (*итал.*).

⁴ Турист (*искаж. фр. и итал.*).

amici¹, которых артист замечал в своей аудитории. Куплеты у него бежали удивительно быстро и плавно, размер был всюду правильный и рифмы налицо, попадались остроумные выходы, так что мы было заподозрили, что это все подготовлено заранее. Но импровизатор нас разубедил самым неожиданным образом. Наши очень туристские наряды и форестьерские лица привлекли внимание его раскосых шмыгающих глазок, и вдруг, прежде чем мы поняли, в чем дело, публика впереди обернулась и стала, улыбаясь, смотреть на нас. Мы сконфузились, надо сознаться, до того, что совсем уже ничего не поняли из его жаргонных острот; он, очевидно, заметил наше смущение и усилил красноречие, так что публика начала прыскать со смеху. И все-таки я не знаю, что такое он про нас наговорил. Мы разбирали отрывочно: укротитель уличных собак... Сильвио Пеллико в первой молодости... деревенский мясник... но кто, как и почему, неизвестно, а публика веселилась. Признаюсь, мы были в ужасно глупом положении — *bella figura!*²

Родина импровизации — Тоскана, деревни в окрестностях Сиены, где крестьяне говорят на чистом музыкальном итальянском языке, где народная поэзия поражает иногда красотою до того изысканными, до того *grécieuses*³, что тамошний мужицкий *rispetto*⁴ часто похож на строфу из Д'Аннунцио. Там на деревенские свадьбы приглашают искусников, которые импровизируют октавы, один во славу невесты, другой — в честь жениха, тягаясь, кто первый устанет. Борьба длится иногда почти час, и гости слушают стихи, не утомляясь, подзадоривая певцов одобрениями. А между певцами дело нередко оканчивается поножовщиной.

Но письмо ужасно разрослось, а я еще не указал, чем именно Неаполь так интересен, в чем выражаются контрасты и то соседство Ормузда с Ариманом, о которых я упоминал. Об этом — до следующего письма. Пока же позвольте прибавить два слова о *grotta del cane*, которую только что смотрел.

«В окрестностях Неаполя находится знаменитая собачья пещера, называемая так потому, что когда...» — помните? Это, кажется, из Янчина или, может быть, из физики. Странное дело:

¹ Друзьям (*итал.*).

² Какой конфуз! (*итал.*)

³ Тонкие, изысканные (*фр.*).

⁴ Устные восьми- или шестистишия любовного содержания (*итал.*).

мы все необычайно умиляемся, когда в жизни встречаем подтверждение того, что выучили в школе: оно дорого, вероятно, потому, что редко.

Паровой трамвай провез меня через длинный туннель под горой Позилинно, широкий и высокий, освещенный фонарями, потому что здесь свободный проход и пешком, и конным. Этот туннель в Неаполе называют просто *Grotta* и дальше — дорога на Баньоли и Поццуоли. Первая или вторая станция этой дороги — Аньяно; трамвай останавливается прямо против длинной аллеи, уходящей в глубину направо. По этой аллее, в ужасной пыли, я прошел около версты, на повороте поднялась мне навстречу босая (редкость в Европе) крестьянка и спросила на диалекте:

— *Signuri, vulite vede'a Grotta'o cane?*¹

Она пошла со мною, рассказывая о том, как водила в Собачью пещеру королеву Елену и *principino*² и как они были любезны, а *principino* не кто иной, как король Виктор Эммануил, которого в Неаполе — его родном и удельном городе — очень любят и оттого по сей день называют королевичем. Моя *guida*³ очень гордилась этими воспоминаниями и настаивала.

— Вы не обращайтесь внимания, *signuri*, на то, что босиком: это потому, что мне приходится часто входить в пещеру. И башмаки там скоро сторают.

В эту минуту с нами поравнялась белая собачка, догонявшая нас с таким усердием, точно ее сахаром манили. Оказалось, совсем напротив: собачонка должна была на себе показать мне действие углекислоты. Не могу передать, до чего меня поразила эта готовность страдать во имя науки. Я умилился и спросил, откуда в собачонке такая покорность, что она сама прибегает. Моя *guida* ответила:

— Все равно бы силой притащила.

Тут у меня язык прилип к гортани. Ну и собака! Прямо приват-доцент. Такая понятливость!

Мы подошли к маленькому деревянному забору, прикрепленному к обрыву; *guida* отперла дверь и пропустила меня вперед. Внутри была маленькая площадка; пещера в покато́м каме-

¹ Господа, не желаете ли посмотреть Собачью пещеру? (*неапол. диалект*)

² Королевич, наследный принц (*итал.*).

³ Гид, экскурсовод (*итал.*).

нистом обрыве уступами уходила вниз, и чем ниже, тем гуще казалась легонькая дымка, застилавшая пол. Шагах в десяти уже видна была только черная дыра.

Гвида затынула:

— Это — Собачья пещера, при Нероне называвшаяся Пещерой мертвых, потому что Нерон ежедневно забавлялся, бросая сюда связанных рабов, которые умирали, потому что дно пещеры покрыто углекислым газом... Собака здесь задыхается в одну минуту, *persona*¹ в три... Пещера сообщается с Везувием, так как замечено, что во время извержения уровень газа понижается... Несколько лет тому назад какой-то англичанин надел на голову прибор и пошел в глубину, но там сейчас почти 80 градусов, так что у него лопнули стекла прибора, и его вытащили веревкой, однако он пришел в себя, потому что у англичан крепкие головы.

— Да-да, ничего...

Я вошел за ней в пещеру, на первый уступ. Слизкий черный грунт. Ноги сейчас же охватило неприятной, влажной теплотой. Я нагнулся, потянул в себя воздух и кинулся вон, как ошпаренный. Что-то невообразимое, запах сельтерской воды — но не сифона, а бочки — на верхней полке русской бани.

Гвида схватила собачонку за шиворот и поставила на второй уступ. Собачонка с момент постояла терпеливо, расставив ноги, растерянно поводя глазами, потом вдруг начала плакать и царапаться. *Гвида* ее отпустила; бедная собачонка, визжа, скользя, срываясь, вырвалась на свежий воздух и заковыляла назад и вперед по площадке, мотая головой, как пьяный человек. Между тем моя *гвида* зажигала и опускала осмоленный канат; он синел, дымился и гас. Через минуту *гвида* совсем исчезла в дыму. Появившись на свет Божий, она мне сказала:

— Посмотрите, не похоже на озеро?

Действительно, дым пепельной тонкой пленкой постлался по ровной поверхности тяжелого газа и — если смотреть, нагнувшись в уровень, — казался узеньким заливом голубого швейцарского озера на раннем рассвете.

Собачонка тем временем опамятовалась. Ей дали сахару, и она убежала по своим делам; с меня взяли две лиры с половиной, и я ушел по своим.

Altalena

Одесские новости. 31.07.1901

¹ Человек (*итал.*).


Неаполь**II**

В первую зиму 1900 года в Риме как-то вечером постучались в мою дверь. Я отозвался: «*avanti*» — и вошел Р. Ломбардо, автор драмы «Кровь», русскую переделку которой благосклонный читатель, может быть, заметил в фельетонах «Одесских Новостей» под заглавием «Министр Гамм». Вошел Ломбардо в сопровождении невысокого, несколько полного молодого человека в очках. Это оказался Артуро Лабриола, который, не включенный покойным королем в амнистию за май 1898 года, возвращался тайком в Неаполь, чтобы там объявиться властям для пересмотра процесса. Его имя было мне хорошо известно по письмам из Парижа в разных газетах; одна его статья была напечатана по-русски в «Жизни»; в этих писаниях замечался хороший и образованный публицист, и главное, человек независимых убеждений. Вообще это имя было не незнакомо в Риме даже тем, кто не читал «*Avanti*» или «*Critica Sociale*»: может быть, благодаря тезке и врагу молодого изгнанника, *illustre*¹ профессору Антонио Лабриола. Со своей «кафедры злословия» в кафе Араньо, перебивая косточки ближним и дальним, *illustre* нередко поминал теплым словом и далекого однофамильца, правда, это — честь, которой легко добиться всякому, но, как бы то ни было, словечки *illustre* расходятся по всем столикам Араньо, а Араньо — центр римской жизни.

Таким образом, мне была известна вкратце и история Артуро Лабриола, похожая, впрочем, на историю почти всех других молодых силуэтов, которые недавно начали обрисовываться и которые лет через пятнадцать или десять займут первые ряды на левой половине итальянской политики: сначала газетная работа, потом гарибальдийская рубашка в греко-турецкую войну, потом май 98-го года, арест, побег по крышам в нижнем белье, Швейцария, заглазный процесс за участие и главарство в уличных беспорядках и за соответствующие газетные статьи, заглазное осуждение, не помню на сколько лет, в тюрьму и потом жизнь *bohème* в Париже, в ожидании погоды, среди веселой братии недовольных французов, итальянцев и русских.

¹ Почтенный (*итал.*).

В ту ночь мы в небольшой компании до трех часов скромно и весело запивали кьянти жирные макароны, великолепно изготовленные по-сицилийски талантливым Ломбардо. Утром Лабриола уехал в Неаполь, вечером «Avanti» поместил телеграмму о том, что его арестовали на неаполитанском вокзале. Через месяц его вторично судили и, конечно, оправдали.

С тех пор он живет в своем родном Неаполе безвыездно: столица его не привлекает — у итальянцев (счастливая земля!) нет этого российского недуга — продавать, едва представится случай, родной уголок за возможность жить в столице. Зато в Неаполе он в один год приобрел широкую и прочную известность как глава той партии, которая разоблачила грязные тайны городского самоуправления, добилась временного роспуска думы и управы, назначения правительственного следствия и отдачи под суд всемогущего депутата Казале, царька неаполитанской каморры. При его же, Лабриола, участии республиканская газета «1799-й год» напечатала нашумевшие разоблачения о другом неаполитанском депутате, каморристе и взяточнике Алиберти, который привлек газету к суду, зная, что при нравах местной юстиции его дело верное, и тот же Лабриола, наконец, в самое последнее время руководил кампанией газеты «Propaganda», органа здешней рабочей партии, против третьего из 12 депутатов Неаполя, толстого Афан де Ривера, обвиняя его в сделках с Крупном в убыток казне, но Афан де Ривера ограничился опровержением и в суд не подал...

Часть населения теперь боготворит Артуро Лабриола, другая часть ненавидит. Неаполитанские аристократки, ожидающие на днях революции, мечтают, вероятно, разыграть с ним Шарлотту Корде.

Отыскать его в Неаполе оказалось, однако, нелегко. Домашней жизни здесь так мало, что лучшие знакомые часто не знают один адреса другого. В редакции «Propagand'ы» мне сказали, что Лабриола живет *в той стороне*; в редакцию приходит каждый день, но теперь вся редакция с утра до вечера сидит в суде, на процессе Алиберти и «1799-го года». В редакции последнего я совсем никого не застал.

— Все на процессе, — объяснил убогий швейцар убогого домика (но в Неаполе каждая хата называется *палаццо*), где в третьем этаже ютится республиканская редакция.

— Даже сторожа нет?

— Да ведь сторож-то и есть обвиняемый.

— Как? Разве он — ответственный редактор?

— Gnorsi (да-с).

Я удивился, но, впрочем, ответственный gerente¹ «Avanti», кажется, сдает газету на почту.

1799 год — это год провозглашения в Неаполе Партенонейской республики, но эта республика оказалась совсем недолговечной, и ее создатели плохо кончили. Одного из них звали Винченцо Руссо; упоминаю об этом вот почему: Руссо (не Rousseau, а Russo, с ударением на у) — самая распространенная фамилия в Неаполе, повторяющаяся на вывесках каждого квартала, не знаю почему: из любви ли к русским, или оттого, что здесь много рыжих.

Через два дня процесс кончился, понятно, осуждением редакционного сторожа за то, по мотивировке суда, что он *недостаточно доказал* справедливость своих обвинений. Дело длилось тридцать заседаний; Алиберти вышел из него, как полководец Пирр после победы, очень потрепанным. Были *достаточно* доказаны и взятки, и тайная лотерея, и дружба с каморрой. Но эта каморра устроила великое ликование по случаю триумфа своего дона Дженнарино: жгли фейерверк, кричали ура и в воздух чепчики бросали, а между прочим подрались на улице с радикалами. На следующий день после этого торжества правосудия я встретился наконец с Лабриола.

— Как вам понравился Неаполь?

Я, конечно, скрепя сердце, сказал, что весьма и очень. Лабриола оживился.

— Вы, конечно, читали, сколько в северных газетах нападают на наш город; дошли до того, что ученые, антропологи, провозгласили нас, южан, низшей расой. Но ведь это не просто клевета, а прямо глупость: кто не знает о богатых способностях, о врожденной сметливости неаполитанца? Говорят об отсутствии нравственного чувства: неправда, наш народ глубоко чувствует добро и зло, его легко и рассердить, и расстроить; он просто очень импульсивен и очень беден, и когда ему хочется есть, он не вдумывается в статьи уложения о наказаниях. У нас есть отчаянные воры и каморристы, но нет закоренелых преступников, потому что каждого можно добрым словом растрогать до глубины души. Мы — народ с лучшими задатками; всему виной наша история. Семь династий, одна хуже другой, грабили наш город и как будто нарочно воспитывали и плодили

¹ Заведующий; управляющий (итал.).

жуликов; теперь пришла восьмая, за которой я, хоть и республиканец, признаю добрые намерения, но не признаю ни гроша умения. Что для нас сделали? Увеличили налоги. Ведь это правда, сколько ни отрицайте, что правительство делает все для севера и забывает о юге.

— Может быть, — сказал я, — преступность количественно такова же или еще больше, а качественно, без сомнения, хуже во многих других городах, хоть бы в Лондоне. Но беда вот в чем: вас, неаполитанцев, климат приучил выносить все на улицу — тарелку, гребешок, нищету, бесприютность и преступление. Те самые подонки общества, которые на севере ютятся по подвалам, здесь, в Неаполе, откровенно спят на камнях посреди площади и воруют днем, на глазах у публики, лишь бы только не было городского. В вашем характере нет северного лицемерия, потому вы и о язвах своих больше и свободней говорите. И получается впечатление, будто у вас всех этих ужасов больше, когда на деле они, вероятно, только не так секретны.

— Может быть, Неаполь вообще странный и любопытный город. Теперь у нас в моде социализм — благодаря рекламе, которая для крайних партий получилась из скандалов Казале и Алиберти. Но, по правде признаться, проповедовать нашему населению борьбу сословий, т.е. попросту святую зависть, можно только временно. Вообще же неаполитанец не приспособлен к зависти. Здесь нищета и роскошь живут не только рядом, но и в полюбовном согласии; нищета ворует у роскоши избытки ее носовых платков, роскошь карает в нищете избытки ее дерзости, и оба слоя друг другом довольны. Так шли, например, отношения между простонародьем и аристократией при Бурбонах, когда у знати еще были денежки. Вот отчего у нас богачи и каморра так привыкли друг к другу.

— А что представляет из себя теперь неаполитанская аристократия?

— Денег у них нет. Но во всем остальном только у нас да в Сицилии вы и найдете еще в XX веке баронов с настоящими феодальными замашками. Они полны традиции, предрассудков, ненависти к новизне, надменны, очень добры... и очень безграмотны.

— Аристократы ваши стоят за Италию или за Бурбонов?

— За Бурбонов, за наследников Франческьелло, при котором они отпировали свой последний банкет. Но, в конце концов, кто разберется в политическом настроении Неаполя? Возь-

мите простонародье. Клерикал скажет, что оно в массе за Бурбонов, и не очень соврет, потому что при Бурбонах все было дешевле, а благонамеренный скажет, что здесь ужасно любят *principino*¹ (короля Виктора Эммануила III), и будет вполне прав. А с третьей стороны, Неаполь все-таки город революционеров, и наши рыбаки и торговцы угрями все-таки потомки Мазаньелло.

Мазаньелло был бедный неаполитанский рыбак. В 1648 году, когда испанское правительство отяготило город налогами, Мазаньелло поднял уличное восстание и ворвался во дворец губернатора. Хитрый гранд наружно уступил требованиям черни; Мазаньелло, совсем не просивший об этой чести, внезапно получил сан генерала. Во дворце, на торжественном приеме, жена губернатора поднесла Мазаньелло букет, галантный рыбак поцеловал цветы и упал в обморок. С того дня он стал постепенно впадать в полоумие, слепнуть и хиреть не по дням, а по часам. Клевреты губернатора во время одного из припадков подсунули Мазаньелло для подписи какой-то договор, невыгодный для народа; Мазаньелло, в полубеспамятстве, поставил под договором свой крест. Эта бумага была показана народу, и чернь застрелила Мазаньелло, точь-в-точь как римляне поступили со своим последним трибуном Кола ди Риэнцо.

— Так у вас теперь в моде социализм?

— И в какой моде! Не говорю о населении, среди которого партия широко вербует сторонников, но возьмите правящие классы. После историй Казале и Алиберти всем, кто не за каморру, пришлось примкнуть к ним: вы ведь заметили, как все здешние консервативные газеты в один голос травят комиссию, ведущую следствие против Казале и его клики. «Mattino», газета Матильды Серао, иначе не называет сенатора Саредо, председателя этой комиссии, как *mattonne* (детское страшилище, *бабай*), а ведь Саредо — президент Государственного совета. Поневоле всем этим чиновникам правительства в борьбе против каморры приходится опираться на нас, забывая пока о нашей политической неблагонадежности. Я был у Саредо по делу о разоблачениях насчет генерала Афан де Ривера и даже подивился доверию и готовности, с которыми он доставил мне — а ведь я для него демагог — разные справки щекотливого характера... Или вся эта история Афан де Ривера — знаете, как она возникла? Просто-напросто в редакцию «Propagand'ы»

¹ Королевич, наследный принц (*итал.*).

явился один капитан и доложил: так и так, а вот и документы, пропечатайте. Понимаете, в какой мы чести, если капитаны приходят к нам жаловаться на генералов?

Было уже поздно, мы попрощались.

— Так вам, значит, Неаполь понравился... А на Капри были?

— Не был.

— Поезжайте! Как можно? Это прелесть. А на Везувий взбирались?

— Нет.

— Взберитесь! Как можно? Это прелесть.

— А вы были на Капри и на Везувии?

— Нет.

— Вы? Неаполитанец?

— Э! — сказал Лабриола. — Три четверти коренных римлян не видели папы.

И это правда. Мы поохотали и расстались.

Другое мое «интервью» насчет Неаполя было, пожалуй, менее интересно, зато очень эксцентрично. О нем в следующем письме, если не наскучил.

Altalena

Одесские новости. 8.08.1901



Письма из Неаполя

III

14 августа

На второе «интервью» о Неаполе я наткнулся около двух часов ночи в довольно глухом закоулке, возвращаясь из театра. Но прежде чем начать об «интервью», надо сказать два слова по поводу пьесы, которую я смотрел в тот вечер.

Утром мое внимание привлекло знакомое слово на белой афише: «La Zolfara». Афиша гласила, что подвигающаяся в театре Беллини или Россини сицилийская диалектальная труппа ставит нынче вечером «Серную копь», сцены в трех действиях из сицилийского быта, сочинение «Джузино Поли»: в такую форму исковеркала печатная афиша честное имя бедного Пеппино Джусти Синополи.

В Италии должно быть много таких самородков... и таких неудачников. Пеппино Джусти был простым деревенским народным учителем. Семь или восемь лет тому назад он написал

«La Zolfara». Джованни Эммануэль принял пьесу в свой репертуар и провел ее с большим успехом по всей Италии. В Сицилии «Серная копь» шла на диалекте и вызывала дрожь и восторг у публики, знакомой с ужасами этих сицилийских рудников, где взрослые и дети дышат испарениями серы. Но вместе с рукоплесканиями пьеса вызвала и косые взгляды с другой стороны. К этому прибавилось несколько стихотворений, не совсем удачных, но либеральных, и патеры, всеильные в том округе, добились того, что Джустини лишился места. И с тех пор живет он с семьей на плечах то в Катании, то в Неаполе, то в Риме, шесть лет подряд гоняясь за работой; живет в тяжелых условиях, случайными занятиями. Писать ему больше некогда; «Zolfara» обошла сцены, и больше ее никто ставить не хочет — для этого здесь скорее, чем где-либо, нужна сильная и настойчивая протекция. А Джустини не умеет добиваться: Бог не послал ему энергии. Бритый, толстый, благодушный, типичный сицилиец, дитя природы, готовое хохотать, когда есть чем набить трубку и посыпать лапшу, и поделиться последним грошом, трубкой и душою с друзьями, когда они «в зелени»¹, не думая о завтрашнем дне. Но завтрашний день неумолимо приходит, и Пеппино снова начинает свои мытарства. Талант его между тем сохнет без применения, перегорает —

*Как молоко у матери, в разлуке
С ее грудным ребенком...*

Публика, понятно, забыла о нем, и его имя знакомо только в министерствах, которые ежемесячно говорят ему: через месяц, посмотрим, *chi sa*².

А впрочем, не виноваты и министерства. Мест мало, конкурентов масса. Есть другой, заправский писатель, которого не хочу назвать, потому что он слишком известен, и хотя эти строки написаны по-русски, все-таки неловко. Это — поэт, издавший до десяти сборников, автор двух поэм из истории человечества, где сильная, искренняя лирика сплетена с глубоким символизмом, в добром старом смысле этого слова, где, наконец, много серьезной недюжинной эрудиции; потом, это — тоже человек с семьей; наконец, это — бывший солдат Гарибальди. Года полтора тому назад римская печать подняла целую пропаганду, чтобы министр народного просвещения — тогда Баччелли — дал этому поэту приличное место. И поэта послали

¹ От: *al verde* (букв. «в зелени») — на мели (*итал.*).

² Кто знает; как знать (*итал.*).

в Катанию стеречь какой-то памятник, за 700 лир в год, т.е. за 21 рубль в месяц. Где же после этого и вспомнить о Пеппино Джугисти?

Джугисти теперь в Риме и, может быть, и не знает, что его «Серная копь» идет на диалекте в маленьком неаполитанском театре и что его имя на афишах скрючено в Джузино Поли.

Я не захотел потерять случая познакомиться с пьесой и остался под глубоким впечатлением. Картины сицилийской нищеты и полунищеты, невежества, суеверия, каторжная жизнь старых и малых жертв серной копи под ярмом у владельца и у трактирщицы, и на этом фоне история простодушного рабочего, которому повезло в делах, потому что на его жену виды у надсмотрщика копи, обрисовка сицилийских характеров, импульсивных, ветреных, готовых на доверие и на коварство, — все сделано с сильным и несомненным талантом, проведено живо и ловко, хоть это первая работа... и дай бог, чтобы не последняя.

Итак, я шел по довольно глухому закоулку, думая о серной копи, в которую судьба посадила Пеппино Джугисти. Вдруг за мной послышались шаги, стук собачьих лап, оклик, свист; я обернулся: на меня бежали два субъекта и бульдог. Прежде чем я успел испугаться, один из субъектов сунул мне руку под куртку с таким видом, что нельзя было разобрать, хочет ли он меня ограбить или обыскать, а другой спросил:

— Кто вы такой?

— А вы кто такие?

— Мы переодетые полицейские.

Со мной был паспорт, и я его показал. Субъекты удивились.

— В первый раз за четырнадцать лет! — сказал один.

В паспорте они ничего не поняли, но самый феномен человека с документом до того умилил их, что они даже не спросили, на каком языке написана эта зеленая книжка, и отпустили меня с миром. Но я не отпустил их.

— Какое вы право имеете хватать человека за пиджак раньше, чем не спросили у него просто и вежливо, кто он такой?

— Э, caro lei¹, — ответил виновный, — вы привыкли к тому, что у вас там, за границей, население благовоспитанное и полиция вежлива, и думаете, что и в Неаполе оно возможно. Здесь не то, здесь надо хватать, а потом спрашивать, не то убе-

¹ Дорогой вы мой (*итал.*).

гут. Здесь, будь мы вежливы, жулики приняли бы это за слабость и трусость с нашей стороны. Надо знать Неаполь, как мы его знаем.

Услышав резонные речи, я переложил гнев на милость и разговорился. Они сказали, что каждую ночь обходят этот участок — *sezione San-Lorenzo* — очень, по их словам, неблагонадежный, и следят за тем, все ли поднадзорные дома. Поднадзорными считаются в течение известного времени все отбывшие наказание по некоторым статьям уголовного свода, как кража, грабеж, убийство: они обязаны от заката до восхода сидеть безвыходно дома.

— А можно мне сопровождать вас в обходе? — спросил я.
— *Favorisca*¹.

Они из вежливости или по привычке своего рыцарства поместили меня в середину; бульдог, знавший дорогу наизусть, выступал перед нами. Я внимательно осмотрел своих спутников: скуластые лица с сильными подбородками, выражение озабоченное и решительное, и полицейские всеэкзаменующие глаза. Одеты по-летнему: крахмальные белые рубашки, без жилетов. В руках крепкие палки, под платьем, верно, револьверы.

На первом же углу мы наткнулись на группу мужчин, спавших на мостовой.

— У этих вы не спрашиваете паспорта? — пошутил я.

— Мимо этих мы проходим на цыпочках, чтобы не будить. Если их разбудить, пойдут красть.

— Да что же можно украсть в эту пору? Улицы пусты, лавки на семи замках. Разве надеются набрести на полуночничествующего форестьера вроде меня?

— Нет, на это не надеются, потому что после одиннадцати форестьеры сидят по домам точно так же, как все те неаполитанцы, у которых есть свой дом. А воруют они вот что.

Мы проходили под фонарем, укрепленным в стене; полицейский показал палкой на полосу свежей извести, шедшей от фонаря до пола.

— Здесь на днях жулики выковыряли из стены трубку газопровода. Она свинцовая, ее можно сбить в сломанном виде лавочнику за пять сольди. Смотрите внимательно по стенам и увидите такие следы почти под каждым фонарем.

¹ Милости просим (*итал.*).

— Но ведь это полчаса работы, — удивился я, — такой риск за двадцать пять сантимов?

— Полчаса работы? Как бы не так. В три минуты, и готово. По минуте на каждый метр. Ловкости этому народу не занимать: мы недавно арестовали одного молодца, который среди бела дня отстегнул на каком-то англичанине ровно двенадцать пуговиц и вытащил портфель, но англичанин заметил покражу... в ту минуту, когда вор пустился убежать. Вот здесь живет первый из наших поднадзорных.

Переулок был извилист, как локон; ворота, в которые другой полицейский постучал тяжелым чугунным кольцом, были густо убиты шляпками гвоздей, как часто делается в Италии — не знаю, с какой целью, но с результатом впечатления чего-то внушительного, *redoutable*¹. Над воротами, через минуту, задрезало маленькое окошко и послышалось: «*Chi è?*»².

— Покажись.

Индивидуум «показался», предупредительно держа свечу перед лицом. Он был в спальном наряде, то есть совершенно гол. Лица его я не рассмотрел, но полицейские рассмотрели и пошли дальше, пожелав ему:

— *Statte bono* (будь здоров).

— *Santa notte*³.

За поворотом опять стук и опять то же слово «покажись», это традиционное *affaccete*⁴, которым начинается каждая неаполитанская серенада и которое в XX веке, за исчезновением серенад, вон где приходится слышать.

Третья *visita*⁵ была интересной. Пришлось оставить бульдога внизу и взобраться на второй этаж — дверь с улицы на лестницу была открыта. Там мы постучались и вошли в локанду — род ночлежного приюта. Три спички да ночной свет из окна не давали возможности определить число коек, но, судя по воздуху, их было много. Все, кого можно было рассмотреть, спали нагишом. Полицейские здесь, не будя, заглянули в лицо двоим: одному молодому, возле которого на стуле лежала берсальерская феска (он со службы попал в тюрьму, а после тюрьмы еще не собрался купить штатское платье), и другому, полу-

¹ Грозный (*фр.*).

² Кто там? (*итал.*)

³ Спокойной ночи (*итал.*).

⁴ Покажись! (*неапол. диалект*)

⁵ Визит (*итал.*).

лысому и седому. У старика было во сне очень милое лицо, напоминавшее Верди, только подбрее. Подушка под ним была в разводах от насекомых, от слюны, от жирных волос, от пыли и казалась набитой комьями.

Когда мы вышли, спутники рассказали мне, что старик — бывший убийца и *ci-devant*¹ один из *sari*² каморры. У него был во дни оны кабачок, и жил он зажиточно. Сам, на правах саро, он не «работал», а сидел за прилавком и важно принимал мелких *picciotti*³, приносивших ему, по уставу, половину своей выручки.

— За что?

— Оттого что он саро (голова). У него влияние, он может укрыть, у него сведения о представляющихся случаях поживиться; кроме того, когда содействие каморры нужно кому-нибудь, кто может хорошо заплатить, переговоры всегда ведутся через саро...

Я мысленно прибавил к этому, что у саро, вероятно, есть кумовья в квестуре... не говоря, конечно, о присутствующих.

— А есть действительно богатые люди, которые для своих целей нанимают каморру?

— Есть, — очень коротко ответил мой левый спутник, стучась кольцом в восьмые или десятые ворота.

Я рискнул на щекотливый вопрос:

— Скажите... правда ли, что у Алиберти (депутат, привлечший республиканскую газету «1799-й год» к ответственности за клевету) тесные связи с каморрой?

На минуту воцарилось молчание, потом полицейский уклончиво сказал:

— У Алиберти своя политическая партия, как у всех депутатов.

«Исполать нашим депутатам», — подумал я, между тем как наверху, лязгая, отворилось окошко и зажелтелось сияние свечи.

— *Ste vujje?*⁴ — протяжно спросил женский голос.

— Мы. *Affaccete, Nziate!*

«Покажись, Аннунциателла...», но ведь это, как на смех, прямо дословная цитата из тысячи одной серенады!

¹ В прошлом (*фр.*).

² Главарь, главари (*итал.*).

³ «Мелкота», низшая ступень преступной иерархии (*итал. разг.*).

⁴ Это вы? (*неапол. диалект*)

Нциателла оказалась полной женщиной, лет тридцати, и было очень хорошо видно, насколько именно она полна. Она поднялась с постели, как была, в вечной и несокрушимой прическе горою. Она держала себя гораздо развязнее мужчин: крикливо упрекнула за то, что слишком поздно пришли, потом всмотрелась и засмеялась:

— Это вы кого привели? Спасибо. Oh guagliò (парень), бросить тебе ключ?

— За этой мы, собственно, не обязаны следить, — сказал, отойдя, один из полицейских, — но если бы в Неаполе ограничиваться только тем, к чему обязаны по закону, свежо бы пришлось обывателям.

— Что это за женщина?

— Вы слышали. А в тюрьме она сидела за то, что испортила бритвой лицо подруге, которая отбила у нее *magnassia*¹. Знаете, что такое *маньячча*?

— Знаю.

— То есть вы римских знаете, а не здешних. Здешний маньячча не работает и ни в ком не нуждается, днем он гуляет по Тоledo в жилете фэнтези. Ночью он состоит при своей девице. Часто бывает, что посетитель торгуется или совсем отказывается платить: тогда она свистит вот так — do-o-o, do-re-do-fa! — и маньячча вырастает из-под земли, шапка *на трех четвертях одиннадцатого*¹, а из кармана торчит кончик бритвы. Каждый маньячча знает цену своей девице и после каждого приема требует с нее именно эту сумму; ей самой на обед и на духи он оставляет треть или четверть, не больше тридцати сольди в день.

— Детская проституция развита?

— Нет ее совсем... Но дело в том, что у нас девочка в тринадцать лет уже сложена как женщина. Так что ей легко выдать себя за шестнадцатилетнюю. Как ее уличить? Ведь это со времен дона Чиччо (Криспи) вольный промысел. Только содержательницам домов терпимости запрещено нанимать несовершеннолетних. А те, которые от себя, — кто их знает. Но, во всяком случае, очень малолетних нет.

Мне очень захотелось переменить тему.

— Что такое, собственно, каморра: просто общее название вроде жулья (*malavita*) или организация?

¹ Сутенер (*итал.*).

² От: *sulle ventitré e tre quarti* — набекрень (*итал.*).

— Нет, жулье — один счет, а каморра — другой. Не всякий жулик — каморрист. Надо ему сначала отличиться и заслужить доверие, тогда его принимают в *picciotti* («фуксы», в буквальном переводе «малыши»); из *picciotti* он за ловкость производится в мастро, а потом становится капо. Но *capì* очень немного. Любопытно живут они в тюрьмах. Там обыкновенно может быть только один капо, если в тюрьму попадает новый житель, имеющий право на это звание, то между старым и новым происходит поединок на ножах, до первой крови, и победитель остается головой.

Я вспомнил, что в «Серной копии» рабочие назывались тоже *picciotti*, а надсмотрщик сразу капомастро.

— Тот же самый порядок у бандитов в наших горах, — заметил другой, более молчаливый полицейский, родом калабриец, но его областной патриотизм, уцелевший даже в квестуре, испугался сравнения каморры с бандитами. — Только наши бандиты не каналы, а порядочные люди; у нас убийства редки, а случаются уже тогда, когда это прямо необходимо. По-тамошнему за некоторые вещи нельзя не мстить, честь этого требует, и тут ничего не поделаешь. Вот как Музолино: его осудили без вины, он бежал из тюрьмы, а теперь скрывается и мстит своим обвинителям; но никому, кроме них, не делает зла.

— Когда его поймают, наконец?

— Никогда. В горах не ловят, даром, что послали туда целое войско, и особенно важно то, что все население за Музолино. Его и накормят, и спрячут, и не выдадут.

Этот Музолино превратился в легенду, о нем и по поводу его рассказывают самые странные и несовместимые вещи. В июле прошел фантастический слух о поездке старосты его родного местечка в Рим с целью не больше и не меньше как просить короля о помиловании неуловимого разбойника. Время от времени патрули натываются на Музолино: завязывается перестрелка, три карабинера падают на мать-сыру землю, а бандит уходит. Сначала тамошний корреспондент «*Avanti*», а потом сотрудник миланского «*Corriere della Sera*» послали своим газетам очень подробное и живописное интервью с Музолино. Я спросил на этот счет мнение калабрийца. Он помахал кистью руки с видом человека, знающего, где раки зимуют, и сказал:

— Кью-кью, кья-кья, — что по-неаполитански значит: вранье.

Этот неподражаемый термин навел меня на мысль спросить о воровском жаргоне.

— Жаргон-то есть, но он всем в простонародье более или менее известен: в Неаполе секретов не любят, здесь все на виду. Нож они называют сигарой, деньги — апельсиновыми корками, нашу братию — *rupazzi* (карикатура); но это просто ходячие словечки.

— У каморристов есть условные отличительные знаки?

— К чему? Они знают друг друга в лицо. Оттого их и трудно ловить. Клан на сходке из франтовства надевает шапку на левый бекрень и подкатывает правую штанину... А вы вот отличили ли бы этих? Это каморристы.

Мы были на *piazza Dante*; посреди площади, под фонарем, скромно и мило сидели на скамье два очень элегантных молодых человека, беседуя вполголоса. Один из них раскланялся с моими спутниками.

Уже светало; у меня кости были точно помяты. Я пригласил своих Вергилиев выпить со мною вина; они поблагодарили, но отказались и проводили меня до моих ворот. Это было очень любезно и совсем напрасно. Дворник, получая с меня установленные 50 сантимов, очень удивленно смотрел и вслед удалявшимся полицейским — он узнал их по спинам и бульдогу, — и на меня.

Altalena

Одесские новости. 15.08.1901



Вскользь

В Москву!..
«Три сестры»

Одесситы только после очень долгой борьбы соглашаются признать то, что приезшему резко бросается в глаза: Одесса — провинция.

Это действительно очень горько и больно для города, в котором почти полмиллиона жителей и к которому тяготеет огромный район величиной с западноевропейскую великую державу. Но на людях и смерть красна: Киев, Харьков, Казань — все это тоже провинции; значит, нам нечего стыдиться, мы в хорошем обществе.

Стыдиться нечего, зато есть на что негодовать, потому что слово *провинция* очень обидно и еще потому, что, если Казань и Одесса — провинция, то Россия от этого ничего не выигрывает и много теряет.

На колоссальной равнине, заселенной ста двадцатью пятью миллионами людей, маячат два умственных центра: Петербург и Москва. Все остальное — провинция, живущая отраженным светом. Если это — хорошо и нормально, то уж не знаю, что на белом свете считается ненормальным и нехорошим.

Правда, что то же самое и во Франции, которая вся исчезает в понятии «Париж», но Франция — мала. И Франция, по-моему, всегда страдала от этого главенства столицы. Ее история — это сплошное подчинение капризам Парижа, между тем как у Бретани и Прованса, вероятно, не всегда совпадали вкусы с настроением департамента Сены. Из этого выходили неудобства, например Ваңдея.

А вот возьмите Германию или, еще лучше, Италию. Политическая столица — Рим — одна, как в России, но умственной столицы нет. Нет города, который забирал бы себе лучших ученых, артистов, писателей, издавал бы один все лучшие журналы, газеты и книги; нет города, в который приходилось бы за тридевять земель мчаться всякому, кто хочет пожить среди духовных богатств своей родины.

У немцев, кроме Берлина, есть Мюнхен, Лейпциг, Дрезден. У итальянцев, кроме Рима, есть Милан, Турин, Флоренция, Неаполь и Палермо. У нас есть Петербург и Москва. Сравните размеры трех государств и разочтите.

Получится то, что в «провинции» и наука не совсем наука, потому что лучшие профессора в Петербурге, и театр не совсем театр, потому что лучшие артисты в Петербурге, и жизнь не совсем жизнь, потому что за выездом в Петербург лучших людей все — и журналы, и газеты, и умные разговоры — все укатило в Петербург. И если вы хотите на все это взглянуть хоть одним уголком глаза, то извольте и вы переселиться в Петербург, за сорок восемь часов железной дороги, в другой климат (и в какой климат, боже праведный!)

Во всем этом отчасти виновата «сила вещей». Столицам протежируют. Из лучших людей, кого можно, просто назначают в Петербург и Москву, а кого нельзя назначить, например певцов и актеров, увлекают казенной благостыней, с которой

провинция не может соперничать. Для столичной печати создаются особые законы, поэтому печать только в столицах и развивается как следует, и, прельщенные этим, все лучшие писатели стекаются в Петербург и Москву. Мы же — Волга, Днепр, Черное море — остаемся на постном питании, хотя и у нас аппетит велик. Может быть, даже не аппетит, а голод.

Я никогда не могу забыть, однако, о том, что среди актеров, беллетристов, публицистов, ученых, художников, состоящих на службе у столиц, *сотни*, понимаете, *сотни* наших южан; можно было бы назвать лучшие имена России в их перечне. И страшно обидно думать о том, что все они, ради удобств духа или тела, променяли — я скажу продали — наше синее небо за серые дожди Петербурга.

Спросите их на этот счет, упрекните. Они ответят:

— Во-первых, выгодней: там больше платят. А во-вторых, там среда интеллигентнее.

Первое откровенно и, по нашему времени, извинительно. Но второе и по нашему времени способно взорвать кроткого человека.

Понимаете ли, среда интеллигентней! А почему интеллигентней? Оттого, что лучшие люди там. Но тогда останься ты, лучший человек, здесь и содействуй поднятию среды *в твоём родном уголке*, чем дезертировать на готовые умственные хлеба в Петербурге...

Ах, правда, там лучше платят. И публика не так обидчива.

И вот из-за большей платы и ради всякого рода моральных удобств лучшие дети провинции валом валят в столицу, малодушно и некрасиво удирают с поста, где многое надо и можно сделать, — и провинция остается «провинцией».

А ведь одна веточка, привитая на дикой яблоне, превращает ее в садовое дерево; и маленькая горсть «светил» могла бы, пожалуй, ассимилировать себе провинцию, если бы не это жалкое дезертирство.

Когда патриотизм ослепляет и заставляет забыть правду Божью ради выгоды своего хутора, он вреден. Но любить свой родной угол больше всех остальных так же естественно, как любить свою мать больше чужой матери. И если бы каждый работал для своего родного города, это было бы простым и идеально справедливым разделением труда, и в России не было бы — думается мне — провинциальных захолуствий с полумиллионом граждан в глаженном белье.

Но поелику в Петербурге больше платят, наши «лучшие» люди селятся в Петербурге и оттуда упрекают Одессу за ее «провинциальность». Честь и слава.

Altalena

Одесские новости. 1.09.1901



Вскользь

Сезон соловцовской труппы открылся, а через три недели закроется, и мы опять останемся без русской драмы вплоть до весны, когда приедут гастролеры — падающие звезды, которые не светят и не греют, как бы они ни были прекрасны.

Теперь идет война из-за воцарения русской оперы вместо итальянской. Смею думать, что я в этом деле судья очень беспристрастный, потому что не люблю никакой оперы, без различия национальностей, и в качестве именно человека незаинтересованного позволю себе робко, скромно и бегло высказать «особое мнение». Дело в том, что Городской театр обязан сообразоваться со вкусами города, а в городе — сужу по своим встречам — что-то ужасно много сторонников итальянской оперы и ужасно мало любителей русской. И, живя в Риме, я читал в одесских газетах о таком успехе итальянцев за последние сезоны, что становится сомнительно: точно ли уж они надоели и публике не меньше, чем газетчикам?

Хорошо было бы произвести на этот счет опрос публики, плебисцит среди читателей. Я, конечно, не возьмусь за такое дело — я новичок в этой рубрике и еще не настолько знаком с читателями, чтобы задавать им вопросы, а главное, для меня лично все равно, будут ли там в мое отсутствие петь «я невесту сопровожда-а-ю», или «*accompagno la fidanzata*». А плебисцит все-таки был бы полезен; иначе выйдет, как в басне, что об овцах судили-рядили, а спросить овец-то и забыли.

Но это в скобках. А как лицо глубоко заинтересованное, я негодную на то, что для нас, любителей драмы, театрального сезона не полагается. 25 сентября Н. Н. Соловцов перевозит «плькы своя» в Киев, а нам предоставляется или ходить в цирк (приедет, радуйтесь!), или «сопровождать невесту» вплоть до Великого поста.

Положение хуже губернаторского. А «сибиряковский» театр еще далеко — отсюда не видно.

В этой беде, хватаясь, как утопающий, за волосы ближнего, который не умеет и сам плавать, я не могу не вспомнить о наших «любителях» и не обратиться к ним с воплями своего страдания.

Каковые следуют ниже.



Сударыни и господа! Был артистический кружок в Петербурге; за него принялись умные люди, и любительский кружок стал Суворинским Малым театром. Причина успеха была та, что новое правление призвало хорошего режиссера и заинтересовало публику новыми пьесами. В Киеве тоже есть артистический кружок. Одно время им заведовали адвокаты Куперник и Андреевский: они тоже понимали, что залог успеха любительских спектаклей — только в постановке новинок, и в консульство этих двух заправил киевский кружок процветал, и серьезная публика им серьезно интересовалась. Был затем артистический кружок в городе Одессе. Был, был, был, мир о нем забыл: ставили вы там «Горе от ума» или в этом роде, публику имели в бессрочном отпуске; потом ваш кружок распался, и никто этого не заметил.

И вот именно к вам, бывшие члены бывшего кружка, и к вам, всем любителям и любительницам драматического искусства, мы обращаемся с этим слезным воззванием.



Медам и господа! Вы влачите, в моральном отношении, непрежалкое существование. Грамотная публика третирует вас хуже, чем врачей-гомеопатов. Она проходит мимо и не пользуется вашими услугами. Все вы мечтаете о том, как бы разыграть что-нибудь хорошее... ну, вроде «Горе от ума» — перед настоящими, интеллигентными, *toutes proportions gardées*¹, слушателями. И я вам очень сочувствую и тем горше упрекну вас за склонность к «Горю от ума».

Неужели вы не понимаете, что в старой или просто раз данной пьесе *вас* никто не придет слушать, кроме четырех кузин и папашиных должников? Да и те только потому, что вы с ними предварительно обошлись, как с вечерними девицами: устроили облаву, схватили и вручили билет.

¹ Здесь: такими, как надо (*фр.*).

Я вас вполне понимаю: вы не сами по себе, вы только стараетесь подражать. Один из вас пошел в «любители» потому, что открыл в себе умение, если чуть понапыжится, говорить таким же голосом, как Дальский. Другая выучилась подавать руку, не сгибая локтя, как Пасхалова. Поэтому он до смерти хочет сыграть именно ту пьесу, в которой он — а значит, и вся Одесса, — видел Дальского, а она мечтает о «Бесприданнице». Бьются, хлопочут, плачут, потом устраивают спектакль, а после спектакля на сиденьях стульев можно пальцем писать по пыли.

Публика это знает и смеется над вами.

А попробуйте вы, господа любители, воскресить свой кружок, но переменить систему. Среди вас есть люди даровитые и умные, это бесспорно. Не вступайте в соперничество с настоящими актерами — не стоит, а отмежуйте себе особую область, в которой не будет страшна конкуренция, и помогите нам провести без скуки зимние месяцы, когда в Городском театре вечер за вечером будут «сопровождать невесту».

Обыкновенно театральные новинки доходят к нам через несколько месяцев после того, как о них уже и говорить забыли в столицах. Это и скучно, и некрасиво для большого города. Отчего бы *вам* не играть новинок, еще не виданных нашей публикой?

Страх самостоятельного шага — не резон. Во-первых, вы далеко не поголовно бездарны; во-вторых, от вас не потребуют ни образцовой постановки, ни образцовой игры. Вы должны будете — и сумели бы — только позаботиться о толковой, выразительной читке добросовестно разученных ролей.

За пьесу, не игранную в Одессе, агенту общ. драм. пис. уплачивается столько же, сколько за игранную. Будет, может быть, разница в расходах на декорации (хотя в большинстве теперешних пьес на сцене всегда комната), и непременно придется разориться на режиссера.

Где его найти? На Руси должно быть много старых и опытных актеров в таком положении, что они охотно откликнутся на вызов руководить хорошим делом за посильное жалование. Откуда платить режиссеру? Из сборов за спектакли. Теперь у вас нет сборов, а тогда все же кое-какие будут.

В этом нельзя сомневаться. Конечно, нет ничего интересного грамотному человеку смотреть, как вы копируете Дальского, когда он самого Дальского видел в той же роли собственными

глазами. Но послушать хорошо разученную читку, например ибсеновских «Привидений», было бы многим интересно. И печать оказала бы вам поддержку, если бы увидела, что вы предлагаете серьезную и нелегкую попытку, а не то что мечтаете показать миру, как вы элегантно подаете руку, не сгибая локтя, и для этой заманчивой цели ставите... «Горе от ума».

Горе-то горе, а вот от чего — не скажу. Неловко.

Altalena

Одесские новости. 5.09.1901



Вскользь

Говорят, будто, несмотря на реформу, отметок не уничтожат. Очень жаль.

Не в том дело, что отметка бесполезна, а в том, что она вредна. И не просто, а тройко вредна.

Первый вред — тот, что она возбуждает детскую зависть (педагоги называют это «благородным соревнованием») и портит отношения между детьми.

Второй вред тот, что отметка содействует переутомлению детей. Правда, виновата здесь не только балльная система, но главным образом родительская глупость. Понимаю, что если ребенок получает двойки, надо постараться додвинуть его, если можно, до чина троечника. Но ведь «мамаши» тройками довольны, их материнское самолюбие жаждет четверок, пятерок, похвального листа, медали, генеральского чина! И дети, если «мамаша» настойчива, тщатся уразуметь свыше своего разума и впадают в тот противоестественный порок школьного возраста, который называется зубрением.

Если же ребенок избегнет этого порока, то является на сцену третий вред отметки. Папаша требует четверок, а учитель их не ставит. Значит, надо помочь учителю, т. е. поставить себе эти четверки собственноручно.



Трудно поверить, до какой степени подлог распространен среди школьников и до чего просто и легко дети смотрят на это преступление, которому, однако, отведено такое почетное место в уложении о наказаниях.

Каждое постановление школьной дисциплины служит поводом к подлогу.

От ученика, не явившегося на урок, опоздавшего к общей молитве, пропустившего день или два, требуется письменное удостоверение родителей о наличии «уважительной причины». Если такая причина, вроде головной боли, имелась, то «папаша», конечно, подпишет соответствующую записку. Но когда «причины» нет, когда резон прогула — просто-напросто праздник святого Лентя, то школьник, понятно, не решается беспокоить папашу и ...

И приносит с собой в класс удостоверение о болезни, подписанное папашей. Папашины росчерки изображены с совершенством, наводящим на мысль о решетчатом окошке и сером халате.

Урока не приготовил — то же самое. Знал я учеников, у которых было всегда про запас штук пять записок такого содержания: «Сын мой такой-то не мог приготовить на сегодня уроки по ... (пробел) вследствие головной боли». Следует папашина подпись. Этот бланк при надобности заполнялся названием предмета, из которого «сын мой» не желал в данный день получить двойку, а внизу подмахивалось число и месяц. Просто, мило и прочно.

Если папаша рассеян или очень занят, то нет надобности рисковать подчисткой и подделкой отметок. Ему просто-напросто не подадут записной тетради, в которую в день субботний заносятся недельные двойки.

Но под этими двойками начальство требует папашиной подписи. Это ничего. Подпись будет.



До невероятных, потрясающих, если вдуматься, размеров доходит эта школьническая привычка к подлогу. Это даже не привычка, это — фамильярность, панибратство, амикошонство с одним из отвратительнейших преступлений. Им не только пользуются в случае необходимости, когда нет другого выбора: им играют, им шалят и бахвалятся.

А еще хуже, когда подлогом даже и бахвалятся перестают, когда его начинают не замечать, относясь к нему, как к чему-то вполне естественному.

Бывает ли это?

Я знал и знаю хороших, старательных, способных учеников, которые по субботам приносят домой неподдельные, настоящие четверки и пятерки, показывают записную тетрадь папаше... и подписывают ее за папашу.

Почему?! По привычке.

И когда эти ученики, во всем остальном честные и порядочные мальчишки, принуждены по болезни провести учебный день дома, с ведома и даже по требованию папаша, они потом сами пишут удостоверение и сами виртуозно расчеркиваются за папашу.

Почему?! Так себе.

Как же допускают это родители?! По привычке.



Можно вывести из этого такое заключение: дети — мерзавцы и их надо пороть.

А можно вывести и другое заключение. Может быть, это все проявления инстинктивного детского возмущения против обидного контроля, потому что не контроль, а сердце нужно с детьми.

Altalena

Одесские новости. 7.09.1901



Вскользь

Встретил на площадке трамвая кузена-гимназиста. Платье на нем в обтяжку, светло-пепельное, почти сиреневое, а лицо испитое. Я заботливо спросил:

— Переутомился?

— Кто?

— Ты.

— Почему?

— От чрезмерных занятий.

— А! Слышал, слышал, — догадался он, выколуывая из глаза угольную крошку. — Но ведь это сказки. У меня занятий нет.

— А ты двоечник?

— Я-то? Второй ученик.

— Как же это? Не занимаясь?

— Ни минуты в день. Начиная с третьего класса. А я теперь в седьмом.

Я хотел развести руками, но не удалось — правая как раз понадобилась для того, чтобы выколупнуть у себя из глаза угольку ную пылинку. Поэтому я продекламировал:

*Я тебя не понимаю:
Что ты хочешь мне сказать?*

— Я ж и говорю. Не занимаюсь ни минуты в день. Не готовлю уроков, не до того.

— Но ведь тебя вызывают отвечать?!

— Эге, ты совсем провинциал. Слушай и учись: разберем это дело попредметно. Вот хоть начнем с древних языков.

Прихожу я в класс и между молитвой и началом урока списываю с подстрочника в книжечку два-три слова из тех двадцати или больше, которые указаны в подстрочнике против заданного на сегодня отрывка. Это на случай, ежели грек затеет ревизию книжек — у всех ли выписаны неизвестные слова. Если он спросит, почему у меня их так мало, я важно отвечу, что все остальные мне известны. В то же время я пробегаю по подстрочнику перевод отрывка и грамматические примечания: память у меня — на час — отличная, и я во всеоружии. Приготовление урока у меня заняло пять минут. Но я это делаю только тогда, когда знаю, что меня вызовут.

— А как ты можешь это знать?

— Такие вопросы хоть бы ты потише задавал. Охота тебе показывать всему вагону, что ты провинциал.



— Ну, а если задана работа на дом?

— Если задана, то и будет списана во время большой перемены, накануне срока, если очень длинная, то ее можно списать на уроке физики. У нас физик очень хороший.

— Хорошо, это можно сделать с задачей; ну, а если надо представить сочинение по русскому языку?

— Ах, в таких случаях у меня великолепная система. Я сейчас же посылаю тему одному приятелю: он теперь газетчик и живет в Вене. Он, еще когда был студентом, *шпацко* писал сочинения, по три рубля за штуку, на какую угодно тему и отметку. Ну, а для меня бесплатно. Через неделю получаю сочинение, первый сорт, и никакого беспокойства. Так сказать, от нашего

собственного венского корреспондента. Вот переписывать уже приходится самому. Это правда. Ничего не поделаешь, этакая досада.

— Постой. Как ты определил его сочинения? Я не понял. «Шатко» пишет, что ли?

— Не «шатко», а «шпацко».

— Что это значит?

— Шпак значит франт, шпацкой — франтовской, а шпацко — значит, хорошо во всех отношениях. То, что по-гречески kalys kagathys.



— Как же ты относишься к реформе?

— Никак. Я к ней не отношусь, она ко мне не относится.

И опять я хотел развести руками, и опять не удалось, и опять по той же причине.

— А ты не изумляйся. Теперь отменять греческий язык? Не понимаю, почему. Это даже негуманно. Что ж «греки»-то будут делать? Ведь они семейные люди.

— Но ведь греческий язык и бесполезен, и труден.

— Это не резон. Из гимназистов три четверти идут в юристы и врачи, а ведь учат нас всех во что бы то ни стало геометрии? И будут учить и после реформы. Вот тебе, значит, еще один предмет и трудный, и на три четверти бесполезный, а реформа его не тронет. За что ж грека-то по миру пускать? Он человек семейный. И по существу дела тоже: вот в прошлом году мы читали «Одиссею». Говорят, очень хорошая штука. Прямо-таки талант.

— Однако, видишь, читали так, что ты сам и не понял ничего и принужден судить об «Одиссее» с чужих слов.

— И это не резон. Мало ли чего я не понял! Меня в приготовительном классе обучали различать отвлеченные категории понятий, а я тогда был такой астроном, что учитель гимнастики прикалывал мне к рукавам билетки с обозначением «правая рука» и «левая рука». Эти категории, по-моему, называются философией, а по-ихнему — синтаксис и этимология. Там я тоже ничего не понимал; однако реформа в это дело не вмешается. Только, видишь, на грека напали: дался им грек!

— Зато введут естественную историю...

— Но не может грек преподавать естественную историю! Естественная история греку никакой пользы не принесет.

— Да я не о греке радею, а о тебе. Вам, гимназистам, она пользу принесет.

— Нам? Ты провинциал, ты из Бендер приехал. Мы ее не заметим. Вон барышням ведь преподают зоологию и ботанику; а Маруся вчера со мной пари держала на поцелуй, что у коро-вы нет рогов. Факт.

— Господи! Да что ж у тебя наконец за взгляд на науку?

Он ответил, выколушывая из глаза новую угольную крошку:

— Не интересна.

Altalena

Одесские новости. 8.09.1901



Вскользь

Человек рожден эгоистом, и потому простиительно ему смотреть на все сквозь одноцветные очки эгоизма. Так я и смотрю на слух о дуэли между артистом Дальским и адвокатом, который на суде немножко увлекся игрой собственного краснбайства.

Каждую весну я получаю одесские газеты через четыре дня после выхода их на свет божий. В этих газетах пишут очень много и вкусно о гастролерах. Савина, Комиссаржевская, Варламов, Давыдов — имена, которые мне снятся, но люди, которых я никогда не видел. А пишут о них так заманчиво, и когда приедешь осенью в Одессу, рассказывают о них с таким восторгом, что просто начинаешь по этим артистам тосковать, точно они тебе родные или, по крайней мере, точно ты с ними давно свыкся. Ведь я их, собственно, *знаю*. Знаю, какой голос и выговор у Савиной. Знаю, что Комиссаржевская так хорошо произносит в «Дяде Ване» слова:

— Папа, будь же милосерден!

Что при этом весь театр умирает, и даже бельэтаж не кашляет. Все знаю, а не видал.

Не видал и Дальского.

— Дальского не знаете? — укоряли меня недавно знакомые театралы. — Странно, как это вы на глаза людям не стыдитесь показываться, не выдавши Дальского. Какой Гамлет!

— Что Гамлет, а вот какой Рогожин! С первого слова слышно. Как это он чуть-чуть покосится на вопрос Настасьи Филипповны и буркнет: «Доползет!» Страшно становится. Вы постарайтесь увидеть, а то стыдно.

Я злюсь на такие речи и даю себе зарок увидеть. И вдруг — Дальский дерется на дуэли.



Пистолетный порох имеет свои разновидности.

Например, здесь, в Одессе, когда-то сразились два господина, а пистолеты взяли и не выстрелили. Ни у того, ни у другого — такое совпадение!

Это — первая разновидность.

Месяц тому назад, кажется, в столице, произошла дуэль между полковником М. и одним молодым князем. Пистолеты «взяли» выстрелили, и юноша-князь, в наказание за пустую мимолетную полудерзость, был убит.

Это — вторая разновидность.

И кто может поручиться, какой разновидностью будут начинены эти проклятые длинноносые приборчики для поединка Дальского? Черт знает что! И подумать жутко...

У какого народа нет горько-соленых счетов с этим обычаем, с этой мерзостью, которую считают делом чести? У немцев убили Лассалья, у итальянцев Каваллотти, у русских Пушкина и Лермонтова. Как будто еще с тех пор, как Ахилл-мститель убил Гектора — защитника родины и, если хотите, свободы любви, — сама судьба охотнее губит достойнейшего.

Это ужасно. И это еще более глупо, чем ужасно. Зачем Дальский дерется? Его знают и ценят повсюду, а того, что сказал о нем адвокат, и столица бы не заметила, если бы не вышло скандала. Мы, «провинция», и теперь, после скандала, хоть убей, не имеем понятия о том, что сказал адвокат. Нам до адвоката нет никакого дела, мы ждем Дальского по-прежнему и больше прежнего, мы дорожим Дальским, его жизнью, его горлом, глазами, руками...



Мы, мы, мы... А кому до нас дело? Человека обидели, и он хочет за себя заступиться. Есть ведь такие странные обиды на свете, которые для суда неуловимы; и есть такие люди, которые, когда невозможен суд, жаждут самосуда.

Я видел такой случай года два тому назад, на фонтанском трамвае. Молоденький франтик вез семью, очевидно, своей невесты, на Золотой берег или в летний театр. Едва мы трону-

лись и молодой человек уселся рядом с невестой, на площадку вскочил на ходу мужчина в папахе — тип о четырнадцати вершках от плеча до плеча, не считая ваты. Он осмотрелся: вагон был совершенно полон. Он метнул взором в невесту, в жениха и вдруг через весь вагон приказал кондуктору:

— Распорядись, чтобы тот молодой человек уступил мне свое место.

И указал мизинцем на бедного франтика. Тот вспыхнул, смиренный кондуктор, очевидно, знакомый с господином в папахе, растерялся и сделал нерешительный шаг к скамье парочки. Тогда жених разрешился:

— Я не понимаю! Какое вы право...

— Что-о? — грозно спросил нахвальщик, впиваясь в беднягу двумя «вот такими» глазищами. Кондуктор кинулся к жениху и зашептал: «Ради бога...», мамаша невесты дергала будущего зятя за носовой платочек, невеста в ужасе толкала его, сестричка невесты захныкала... несчастный франтик, белый, как бумага, встал и вышел на другую площадку. Барышня пошла его утешать, а бешмет занял всю скамейку.

Поставьте себя на место моего франтика. Перед невестой! Перед всей публикой! Жаловаться нельзя: из-под папахи не вышло ни одной угрозы, ни одного слова, кроме невинного «что», с двумя *о*, правда, но два *о* по суду не наказуемы. А упереться нельзя было, потому что бешмет был скроен в косую сажень между плеч, тогда как франтик был провизорского типа.

В таких случаях, если у человека в жилах кровь, а не бульон, ведь до безумия заманчива и обольстительна мысль, что два пистолета равняют широкоплечего с узкоплечим!

Это одна сторона. Но, с другой, неужели, за одно «*что*», за одну глупую, нахальную выходку можно с легким сердцем выстрелить в человека?



Нет, с дуэлью надо покончить.

Все законодательства о дуэли неудовлетворительны. Они грозят дуэлянтам карой: но если человек не боится пули, то не боится и уложения о наказаниях.

Надо обставить дуэль так, чтобы из дела *чести* она превратилась в дело *сомнительной корректности*. Для этого нужно установить два правила.

Первое: дуэлянты ни в каком случае не подлежат наказанию.

Второе: секунданты подлежат строгому наказанию, *каков бы ни был исход поединка.*

Может быть, при таком порядке и найдутся еще друзья, готовые идти в секунданты, даже не на риск, а на бесспорную тюрьму. Но уж, наверное, сами охотники до поножовщины не с таким легким сердцем будут являться поутру к добрым приятелям:

— Не окажешь ли маленькой услуги? Передай мой вызов адвокату Цицероненко.

Вызывая на дуэль, человек надеется победить. Вообразите, что ему еще не грозит при этом никакая судебная ответственность. Если я убью противника, я цел, свободен и счастлив. А секундант, т.е. верный и ни в чем неповинный друг? Секундант за *мое* торжество поплатится тюрьмой.

При таких условиях нужно будет иметь подошву вместо лба, чтобы считать дуэль «делом чести». Чужой риск при твоём полуриске — это уж будет не дело чести, а гешефт.

Altalena

Одесские новости. 16.09.1901



Вскользь

В первом антракте.

— У вас на лице написано: я зол.

— И зол, — ответил Манилов.

— В чем дело?

— Вы разве не читали, что где-то на восточном берегу нашего моря хотят устроить еще одну русскую Ниццу, номер десятый?

— Какова наивность! И это вас заботит? В Скадовске тоже проектировали русскую Ниццу, номер девятый, а Скадовск однако же остался деревушкой, как ему Бог велел. И с номером десятым то же будет.

— Но ведь пока что этих номеров уже десять; понимаете, если каждый из них отдельно совсем не совершенство, то ведь вместе-то их десять! А наша дума зевает. Дас-с, знаете, не противоречьте, пожалуйста. Когда торговля убывает и единствен-

ное спасение города в курортной политике, тогда то, чем занимается наша дума, есть зевание и больше ничего. Эх, кабы меня туда!

Я знал, что Манилов — любитель сильных мероприятий: это он, если помните, советовал бойкотировать английскую торговлю и тем отвратить сердце шекспировых потомков от героических помыслов. Поэтому я поинтересовался, что бы он выдумал, «кабы его туда», т.е. в думу.

— Кабы меня туда? Я бы заставил их опрокинуть все вверх дном, повернуть руль в другую сторону. Я бы спросил: убывает торговля? — Убывает. — Хотите вы из города стать пригородом? — Не хотим. — Так вот же вам единая нерушимая скрижаль: курортная политика. Все для курорта; что не для курорта, того нам не надо.

— Школы?

— Не надо!

— Больницы? Народные театры? Не надо?

— Очень даже надо. Больницы нужны потому, что в курорте необходимо заботиться о здоровье коренного населения, чтобы не заражать приезжих.

— А народные театры?

— А, это политика. Не только народные, но всякие спектакли я бы поощрял всеми силами. У меня бы из-под кнута играли. Потому что в курорте необходимы развлечения. Хорошие, высокопробные развлечения. Это реклама.

— Хитро. Но вы забыли один пунктик.

— Например?

— Курорт функционирует летом, а театры зимой. Следовательно...

— Следовательно, все повернулось бы вверх дном; с того мы и начали эту беседу. У меня летний сезон был бы купальный, театральный, журнальный, бальный — поняли?

— А зима?

— А зимой каникулы. В том смысле, что летом сцены и артистические кружки функционировали бы для практической цели, ради славы и выгоды курорта, а зимой — для поучения и развлечения коренных жителей. Но об этом всем я бы после подумал, а начал бы с другого.

— Слушаю.

— Я бы начал с мостовых. Я бы уничтожил эти мостовые, по которым нельзя ездить, и тротуары, по которым нельзя ходить.

— Да это ересь! Наши мостовые? Наши тротуары! Гордость нашего города!

— Никуда не годятся. Тряско, шумно и подошвы рвутся. Я не могу допустить, чтобы у приезжих рвались подошвы. Я вымощу улицы плоскими квадратиками. Я пушу по городу крытые дрожки такого устройства, чтобы в них могли сидеть четыре порядочных человека, не рискуя своим собственным достоинством, и пятый зайцем! Я запрещаю строить некрасивые и одноэтажные домишки, а существующие велю убрать и заменить. Я сниму с дачных местностей половину городских налогов, но прикажу дачевладельцам перестроить под моим наблюдением свои землянки. Я заведу таксу для квартир и вместо санитарного штрафа буду конфисковать имущество в городскую пользу. У меня строго... А какие у меня будут купанья!

— Например?

— У меня будут европейские купанья. Берег я расчищу, песочек, музыка, домики для раздевания, модные купальные костюмы и флирт в воде... Остендэ! А лиманы! Ведь я для лиманов город ограблю. Ведь я городской театр на свободное время хоть под цирк отдам — у меня по-американски, но зато мои лиманы будут прозываться не Хаджибей и Куяльник, а Эдем и Валгалла... С Мадагаскара будут к нам приезжать на лечение; не то что десять русских Ницц, а сама французская Ницца выйдет в отставку. И тогда я насобираю денежек и на школы, и на... pardon¹, оркестр замолчал. До свидания, бегу на свое место. Ах, кабы меня да в думу пустили!

— Скоро и будут пускать квартиронанимателей, — сказал я вдогонку.

— Меня не пустят. Я за квартиру плачу только 840 рублей в год, — печально отозвался Манилов, исчезая в повороте фойе.



Второй антракт.

— Вот глупое положение!

— О чем это вы?

— Об артистах в ту минуту, когда занавес опускается, но еще не упал. Ведь им приходится изображать живую картину. Действие кончается эффектом, после которого сцена долж-

¹ Извините (*фр.*).

на мгновенно исчезнуть. Видели «Огни Ивановой ночи»? В 3-м акте Марикка целует Георга: этот момент — апогей напряжения, этим поцелуем он и она мистически связывают себя навек неразделимо; этот поцелуй должен остаться ярким и мгновенным, как молния, впечатлением зрителя... Вместо того занавес начинает медленно ползти вниз, зритель глазает, Марикке и Георгу до смерти неловко сидеть, как восковые фигуры, им приходится поцеловаться еще раз, потом еще раз... И из эффекта делается какая-то жижа. Или возьмите пролог «Орлеанской девы». Ведь он кончается экстазом, видением: перед Жанной взвились знамена и трубы зазвучали, она поднимает руки к небесам, точно ожидая чего-то таинственного, чего-то священного, чего людские взоры не должны видеть... а занавес начинает ползти, и, пока он ползет, Жанна стоит себе в виде прописной буквы игрек, а зритель смотрит и остывает. Тут моментальность нужна! Раз — и нет сцены. И чего им стоит привесить вместо занавеса бархатную портьеру с разрезом посередине, которая бы, как на окнах, подбиралась в две стороны кверху и падала мгновенно и бесшумно?

— А если эффекта нет? Если вся пьеса написана по-чеховски и тон ее тоскливый, расплывчатый? Для финала такой пьесы ваша портьера не годится, тут нужен именно медленный, ползущий, точно сам унылый занавес.

— Конечно! В театре ничем нельзя пренебрегать: и занавес есть сценическое средство. Надо уметь владеть занавесом: надо комбинировать оба рода. То медленно ползущий опускной, то портьера. В особенно эффектных финалах лучше всего было бы гасить на мгновение электричество и уже в полной темноте опускать занавес. Тут никакого новшества нельзя бояться. Разве можно пренебрегать концом пьесы, когда конец пьесы и есть ее средоточие!

В другой группе.

— Доктор Штокман? Что это за Штокман? Ибсеновский «враг народа» не немец, а норвежец, и зовут его, значит, не Штокман, а Стокман. А еще мы обижаемся, когда за границей Анютку из «Власти тьмы» называют *анутка!*..

Altalena

Одесские новости. 17.09.1901



Вскользь

С дрожek какой-то студент сделал мне рукой и остановил извозчика. Подойдя поближе, я узнал его: бывший сомученик по классическому воспитанию, неглупый малый, мечтавший стать инженером.

— Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим. Садитесь, подвезу — поболтаем.

— Спасибо, но мне не в ту сторону.

— Ничего, мне зато во все стороны. Я, собственно, направлялся к Либману, но это не к спеху. Садитесь, садитесь.

Я сел и подумал: «Проинтервьюирую!»

— Как же это вы вдруг в университет, когда собирались в технологический институт?

— Ах, да, золотые сны юности. Но я не пошел. Конкурсно экзамена боялся.

— Так вы, верно, математик и потом перейдете в институт?

— Нет. Я вообще раздумал. В институте много работы, а я этого ужасно не люблю. Я нарочно на юридический поступил. Это очень уютный факультет.

— Однако вы круто расправились со своим призванием.

— Нну-у... охота вам употреблять слова прошлого столетия. Призвание? У меня не было призвания. Я просто считал, что доктор или адвокат — это слова, на мой вкус, некрасивые и мещанские, а инженер — очень красивое слово. «Он — инженер»: это мне и теперь кажется шикарнее всего прочего. Но — передумал. Работа — вещь предпочтенная, но я ее терпеть не могу.

— Разве на юридическом факультете нечего делать?

— Это зависит от темперамента. У меня есть товарищи, которые очень усердно занимаются. А я совсем не занимаюсь.

— Почему?

— Не хочу.

— Но вы тогда ничего не знаете?

— Я ничего знать не желаю.

— А как же экзамены?

— Сдаю.

— А государственный?

— Сдам.

— Что же вас интересует?

— Что интересует? Вы спрашиваете в том смысле, что должна же быть, по вашему мнению, какая-нибудь ветвь премудрости, с которой мне было бы аппетитно войти в близость? Да?

— Да.

— Ничего.

— Вы рисуетесь!

— Я? Не перед кем.

И, обменявшись этими любезностями, мы оба, чтобы не обидеться, рассмеялись.



— Нет, мой милый, вовсе я не рисуюсь, а говорю вам истинную правду, — начал он. — Давным-давно, когда мы с вами, бывало, приходили по воскресеньям в «свое заведение» отсиживать шесть часов «без обеда» (но с выпивкой и закуской), тогда и я, если помните, был умственным малым. Отсиживая, мы с вами только и делали, что «ставили вопросы» и «разрешали» таковые.

— И вы были прекрасным диалектиком. Это я помню.

— Вот именно. А теперь я все это бросил и спорить не умею, потому что мне надоело. А надоело потому, что я заметил в себе способности вполне логически и, главное, вполне искренно доказывать себе или другим не только то, что солнце светит, но и то, что солнце отнюдь не светит. Я теперь ни в чем не убежден и даже не чувствую в себе желания ни в чем убедиться. Поэтому, когда мои товарищи, которые все глупей меня (а надо вам знать, что я очень скромн), увлекались историческим материализмом, я твердо продолжал играть в бильярд и носить мундир на белой подкладке, потому что белая подкладка очень красива.

— И ничего не читали?

— Кроме беллетристики, ничего. Потому что, во-первых, я не интересуюсь. А во-вторых, потому, что меня все это бесит. Говоришь ты со студентом Ивановым и слышишь: «Прочтите непременно Бернштейна, это необходимо для правильного понимания...» и т.д. Но тут же стоит студент Пржепинский, который замечает: «А после него прочтите ответ Каутского. Очень важно для понимания...» и т.д. «Но вы, конечно, "Капитал" читали?» — «Нет-с, не имел чести». — «Ах, так вам надо начать

с "Капитала" или еще лучше с "Критики некоторых положений политической экономии"... Ладно. Я подвожу подсчет: все вместе — семь томов, из них четыре — в три фунта весом каждый. Иду дальше и встречаю студента Ивановича, который мне говорит: «Великолепная "Этика" у Геффдинга! Прочтите непременно. Вы Вундта, конечно, читали?» — «Ммм... Собирался». — «Прочтите, тоже очень серьезная работа. Но Геффдинг лучше». Тут подходит студент Халахинц и докладывает, что «Этика» Иодля тоже прекрасная книга, но что, конечно, лучше Спенсера ничего нельзя порекомендовать. Потом студент Кандакопуло советует мне ознакомиться с историей философии и называет и Льюиса, и Виндельбанда, и еще три книги, а шестой студент рекомендует мне приналечь вообще на историю и для этой цели предлагает мне составить «списочек». И когда я после всего этого иду утешаться к Ниночке, оказывается, что Ниночка только что вернулась с лекции по физиологии и стыдит меня за то, что я совершенно не знаком с этой наукой, и предлагает мне тоже «списочек»... Понимаете?! И теперь я вас спрашиваю только об одном: кого мне послушаться? Потому что все сразу — это выше сил человеческих.

— Выберите то, что вас интересует.

— Сказано, что ни одна наука меня не интересует сама по себе.

— Так выберите юридические: ведь вы юрист.

— Это еще не причина для того, чтобы юридические науки заинтересовали меня больше всякой другой.

— В таком случае все это очень печально.

— То, что я ничем не интересуюсь? Милый мой, это зависит от вкусов. Я, например, нахожу это очень отрадным и могу вам это пояснить.



— Я, видите ли, не люблю безграмотности, но я в то же время заклятый враг учености. Пришло теперь такое подлое время, что от каждого человека с ножом у горла требуют «списочка» прочтенных им книг. Теперь не важно быть умным, а важно быть начитанным. Кто говорит свои мысли от ума, тот — дилетант, неразвитый человек, а кто повторяет вычитанное, тому все удивляются. Правду я говорю?

— Правду.

— Этот порядок не в моем вкусе. Если меня абсолютно не интересует, что думает Иодль о праве человека на самого себя, то я этого Иодля отрицаю и знать не желаю. Я предпочитаю иметь на всякий счет свое собственное мнение. А если есть вещи, о которых у меня нет никакого мнения, то это вовсе не беда. Я не обязан обладать всем. Я не магазин Петрококино. Я вообще не считаю человека аппаратом для мышления. По-моему, назначение человека — жить, а не учиться. Я не хочу учиться и думаю, что не нуждаюсь в обучении. Все, что мне интересно, я узнаю, не учась, потому что мне только то интересно, что можно узнать из жизни. Вот я и живу.

— Разве жизнь — в бильярде, в танцах, в белой подкладке, в Ниночке?

— Скорее, чем в «Этике» Вундта. Чтобы *жить*, мне надо встречаться с людьми, которые тоже *живут*, а их я встречаю в бильярдной. Конечно, и они шваховаты, но они мне симпатичней буквоедов. И когда я играю на бильярде, я *живу*, потому что волнуюсь, радуюсь и огорчаюсь. Когда я франчу по Дерibasовской, я тоже живу, потому что чувствую удовлетворение от своей красивой фигуры; когда я целуюсь с Ниночкой, я опять живу, потому что Ниночка бросает меня в жар и холод; когда я танцую, я и тогда живу, потому что верчусь под музыку и наслаждаюсь ощущением своей ловкости, здоровья, силы, молодости... А по всему вышеизложенному я — белоподкладочник и таким намерен остаться. И так как вы уже доехали, то я вам пожелаю всего хорошего и отправлюсь к Либману именно, только и исключительно потому, что у Либмана бильярдная. Мое почтение.

— А читали вы Ницше? — спросил я, спрыгивая с дрожек и протягивая ему руку.

— Не читал. Но слышал о нем и чувствую, что он должен во многом соглашаться со мной. Это меня нисколько не удивляет.

— Да, в «Заратустре» особенно, — сказал я и совершенно невольно по привычке добавил: — Прочтите непременно «Заратустру».

Он посмотрел на меня с презрением.

— Раз он говорит то же самое, что я, — на какого такого ляса я стану его читать? К Либману. Трогай.

Altalena

Одесские новости. 18.09.1901



Вскользь

Дома и на чужбине

Русская газета, выходящая без цензуры, пишет статью о бурах и об англичанах в том смысле, что англичане мародерствуют и что поэтому их надо было бы усмирить надлежащими внушениями. Русская газета понимает, что все это ею говорится напрасно, так как ее статьи ни к чему не приведут. Но «не ради победы надо бороться», — сказал Сирано и был прав. Надо бороться, надо писать и писать бурофильские статьи для того, чтобы общественное мнение не остывало, чтобы джинго ни на минуту не заподозрил, будто порядочные люди согласны с его образом действий.

Русский корреспондент лондонского «Standard» передает своему органу эту статью и призывает на голову виновной русской газеты все цензурные кары. Ему, кажется, хотелось бы, чтобы у русских бурофилов отняли розницу, запретили частные объявления, грянули тремя предостережениями и тут же прихлопнули газету, наказав редактора, автора статьи и наборщиков knout'om¹ и сослав их на каторгу в «Сиберию».

Русская газета по этому поводу изумляется: вот тебе и англичане с их уважением к свободе!

Русская газета очень наивна. И вовсе не в англичанах здесь дело.

Англичане очень любят свободу. У себя на родине они чтут ее свято и нерушимо. Но французы у себя на родине тоже чтут ее. Швейцарцы у себя на родине тоже радеют о свободе каждого гражданина и об оказании всякого уважения к его человеческому достоинству. И бельгийцы тоже — у себя на родине.

Но когда все эти господа попадают в земли, где еще поется «раззудись плечо, размахнись рука!» — они, вместо того чтобы пионировать у варваров почтение к святым правам человека, немедленно кладут ноги на стол.

Бельгиец Эмиль Камбье, который у себя на родине, вероятно, говорит уличным мальчишкам *s'il vous plaît*², в Одессе был неоднократно изловляем в кулачной расправе со служащими.

¹ Кнутом.

² Пожалуйста (фр.).

В вагоне железной дороги я однажды познакомился со швейцарцем-винооторговцем, который очень хорошо говорил по-русски. Вплоть до Подволочиска он расписывал мне привольную жизнь *in der lieben freien Schweiz*¹, но в Волочиске заговорил с носильщиками на *ты*, а в Бирзуле обругал разносчика газет в степени восходящего родства.

В Лондоне англичанин почел бы неприличным вести полемику при помощи воззваний к начальству. В Англии это было бы шоком, а в России ничего, сойдет.

Все эти сыны свободных стран, без различия национальностей, поклоняются у себя на родине свободе вовсе не потому, что сила вещей такова.

У них два взгляда. В Париже, если вы завяжете ссору с извозчиком, то тридцать голосов не преминут закричать вам:

— М-сье позабыл, что у нас нельзя говорить вместо *socher* — *sochon*².

А в России они же кричат извозчику не иначе, как:

— Пошел.

Винить их за это или не винить — это вполне бесполезно. Так оно есть, так оно будет, пока у иностранца, едущего русские булки, будут причины полагать, что здесь мордобитие поощряется.

На «Д-ре Штокмане»

Избранная натура и толпа — это не одно и то же. Толпа смотрит на внешние черты и черточки. «Избранная натура» смотрит исключительно в глубину.

Например, в антрактах «Доктора Штокмана» (по-моему, он Штокман, но против афиши пойти нельзя) — о чем говорила толпа? О внешнем суетном и скоропроходящем.

Она говорила:

— Заметили грим Шувалова?

— А в чем дело?

— Ведь он загримировался точь-в-точь Радецким. Лучше всякого портрета.

— А вы несчастье-то заметили?

— Какое несчастье?

¹ В любимой свободной Швейцарии (нем.).

² Вместо кучер — свинья (фр.).

— Со Зверевой, бедняжкой! Маленький сын Штокмана услышал, что не пойдет больше в гимназию и с радостью подбросил книжку. А книжка возьми да попади в голову Зверевой. Пострадала, бедная, на службе искусству.

Это — болтовня «толпы». Болтовня о вещах внешних, суетных и скоропреходящих. Могла ли вмешаться в эту болтовню «избранная натура»? Отнюдь.

«Избранная натура», вероятно, сидела в антрактах на своем месте и думала глубокую думу, наморщив чело. Она проникла. Она хотела докопаться до самой глубины, до самой сути.

И проникла. А проникнув, побежала в редакцию «Одесского Листка».

Вот почему сегодня утром изумленная твердь земная прочла в этой газете следующие строки, объяснившие ей наконец все значение пьесы Ибсена.

«В ней нет ни сильно драматич. мест, ни эффектных построений, но она богата своей содержательностью, а *главное*, является особенно близкой одесситам, заинтересованным в развитии морских купаний (наши лиманы). Доктор Штокман *стоит за упорядочение этого дела в родном городе*. Для этого ему приходится вступить в неравную борьбу с дирекцией вод и даже с населением города».

Так вот в чем вся суть-то дела! Вот отчего нам так близок этот бедный д-р Штокман: он стоит за упорядочение морских купаний!

Это подписано Е.Ф. Я здесь ничего не прибавил и не изменил. За это я ручаюсь, чем угодно. Если я прибавил или изменил, казните меня. Изобретите любую кару. Заставьте тогда меня подписываться отныне Е.Ф. Я подчинюсь. Даю клятву, что подчинюсь. Настолько я уверен в том, что ничего не прибавил и не изменил.

В таких случаях было бы кощунством прибавлять или изменять. Это ведь прелестно именно своей натуральностью. Это — полевой цветочек, лесное яблочко. Нетронутое, первобытное произведение самой природы, едва-едва задетое легким полуоттенком грамотности.

Да и та не очень заметна.

Мы-то ломали себе голову: чего же хочет Ибсен, если обществу, по его мнению, несостоятельно? В чем он ищет спасение? Где источник оздоровления? В разнузданном индивидуализме?

- Вовсе нет, — объяснил нам г-н Е.Ф.
— А где же?
— На лимане.

Семь лет у нас в Одессе не ставили «Штокмана». На восьмой год наконец он попал к нам, и хорошо попал. Он очень хорошо попал, этот бедный непонятный герой. Он страдал от того, что был не понят.

А тут его взяли и поняли!

Altalena

Одесские новости. 19.09.1901



Русский театр

В старых вердиевских операх наши итальянские гости чувствуют себя как рыбы в воде. Незамысловатые, плавные и красивые мелодии этих опер дают им возможность показать во всем блеске свои молодые, свежие, как бы созданные для *bel canto* голоса, и не нужно быть особенным поклонником итальянской музыки, чтобы наслаждаться, слушая эти красивые, чистые звуки, волной льющиеся со сцены. Не удивительно поэтому, что поставленный вчера «Трубадур» сошел отлично. Исполнители главных партий — г-жи Монти-Бруннер и Адаберто, г-да Гамба и Модести — обладают именно такими артистическими данными, которые нужны для образцового исполнения этой оперы. Г-жа Монти-Бруннер знакома Одессе как одна из лучших Азучен, которые бывали у нас. В настоящее время в исполнении ею этой роли перемен незаметно: все тот же горячий артистический темперамент и красивый, густой голос. Г-н Гамба — артист с таким голосовым материалом, которого хватило бы на нескольких обыкновенных певцов. Голос у него поставлен от природы, поет свободно, как птица небесная. Притом, что очень важно, интонация его почти всегда верна (фальшь, которая слышалась в арии за кулисами в первом действии, всецело должна быть поставлена в вину оркестру, который часто сбивает артистов вместо того, чтобы помогать им, как было и с г-ном Модести в знаменитой арии второго действия). Словом, г-н Гамба — отличный Манрико. Можно ему только посоветовать хоть немного гримироваться: слишком уж он молоденький на вид. Г-жа Адаберто — очень хорошая Элеонора, как с вокальной, так и с драматической стороны,

а г-н Модести внес много изящества и благородства в исполнение партии графа ди Луна. Хоры поют хорошо, но оркестр — положительно какой-то *enfant terrible*¹ оперы г-н Каstellано: неисправим — хоть брось. Все исполнители имели шумный успех и не только у экспансивной галерки, но и у нашего обыкновенно ледяного и застывшего в своем величии партера.

А.

Одесские новости. 20.09.1901



Вскользь

Я с приятной новостью, господа. В среде нашей печатной братии скоро состоится симпатичное торжество. Редакционная семья одной одесской газеты будет на днях чествовать скромного, но заслуженного юбиляра.

Имя юбиляра — г-н Е.Ф., а юбилей ему будет устроен по поводу того, что как раз накануне торжества г-н Е.Ф. в пятый раз в своей жизни посетит театр и напишет о спектакле рецензию, которая, несомненно, будет так же хороша, как все четыре предыдущие.

Мне удалось узнать программу торжества, которой я спешу поделиться с читателями.



Во-первых, будет выпущен юбилейный номер газеты. На том месте, где обыкновенно печатаются публикации и объявления, теперь будет помещен портрет г-на Е. Ф. Юбиляр будет изображен во весь рост. В левой руке будет бинокль, в правой — перо, а на груди медальон — подарок Ибсена. Внизу будет красоваться автограф юбиляра: подпись и девиз: «Гляди в корень».

Текст юбилейного номера будет, по обыкновению, пестреть лучшими именами нашей литературы.

Состав подвального помещения — пока секрет, но в верхней половине номера будет помещен, к удовольствию читателей, обычный злободневный фельетон под заглавием «Бублики» и за подписью «Насекомый». Блестящий автор на этот раз коснется очень интересного эмбриологического вопроса.

¹ «Ужасный ребенок» (фр.).

Если (спросит г-н Насекомый) отец пишет комедии, а мать пишет драмы, то какого рода произведения будут писать дети такой четы?

Вопрос этот, как известно, уже давно занимает талантливо-го автора «Бубликов», но я не считаю себя вправе сказать, какой именно ответ даст на него г-н Насекомый. Он это скажет и докажет сам — с таким блеском, что все читатели пожалеют:

— Ах, зачем он стал писателем, а не акушером.

Но гвоздем юбилейного номера будет другой фельетон, который, благодаря любезности автора, мне позволено привести почти целиком. Прошу внимания.

Речи из-под печи

Тихий вечер...

Солнце еще не зашло, но должно было скоро зайти...

На завалинке у ворот сидел человек...

Лицо его было печально...

То был я...

Да... то был я...

Над моей многодумной головой шумели акации...

И шум их листвы, казалось, шептал мне:

— И зачем это ты живешь на свете?!

Зачем?!

Кто знает?

Я глубоко задумался, а правая рука моя машинально подносила к устам моим семечки...

Сероватые, лучисто-полосатые семечки...

Я раскусывал их...

И выплевывал шелуху...

Выплевывал с силой, со злобой, с яростью, с гневом, с бешенством, со скрежещающим бешенством черного отчаяния!..

Да!..

Зачем я живу на свете? Кому я нужен? Кому?! Кому?!?!..

А акации шептали...

— Никому, — шептали они...

И шелуха семечек улетала...

Летела...

И падала в жестяной ящик с водой, с надписью «Для собак», — в жестяной ящик, тихие воды которого осеняла старая акация...

И вдруг...

Мне захотелось стать подобным этой шелухе...
Чтобы меня кто-нибудь выплюнул...
С силой, с яростью выплюнул!..
И чтобы я тоже полетел... улетел... и закачался на гладкой
поверхности волн...
И акации шептали:
— Да... да... улети... улети... далеко... подальше... как можно
дальше...
И мне вдруг безумно захотелось стать бродягой... босяком...
Отчего я не босяк?..
Отчего?!
Как было бы хорошо, если бы я был босяком!..
Мимо меня промчалась конка, точно стрела, пущенная
из лука...
Но я мощно ухватился за ручку и вскочил на подножку...
И мы полетели вперед...
Вперед, без страха и сомнения!..
Я ожил...
Мне хотелось петь... мне хотелось плясать... ликовать...
но я боялся кондуктора.
Но... что это?!
Я замер...
Есть такие женщины...
Женщины-кошечки...
Те женщины, которым все прощаешь...
Я много встречал их в своей жизни...
Много...
Я любил их...
Они меня — нет, но я им это прощал...
Ведь им все прощаешь...
И вот еще одна передо мной...
Дивное создание...
Не жеманная барышня, раба приличий, будущая кукла...
О, нет!..
То было дитя природы, не стянутое в корсете, не засушен-
ное пошлым воспитанием буржуазной среды...
То была горничная!
Мои глаза встретились с ее глазами...
Она прочла в моих глазах всю повесть моего сердца...
Эту летопись ядовитых терзаний и всепрощения...
Она все прочла...
Все!

Потому что в эту минуту в моей вдохновенной душе рождались потоком рифмы и тут же отпечатывались в моих пылавших, гипнотизировавших глазах...

И она прочла эти рифмы...

И ее глаза мне ответили...

Что?..

Я не разобрал. Я не успел разобрать. Нет, не успел!..

Потому что ее ротик раскрылся, и голос серафима прозвучал во тьме ниспадающей ночи...

Южной ночи...

Тот голос звучал так:

— Кондуктор, нехай вин от-там коло будки остановыть, бо мини вже злазить треба...

И кони стали...

И все пропало...

Видение исчезло...

Вдохновение покинуло меня...

За что?!.

Нет ответа...

Кони *стали*, а вдохновения *не стало*...

Такова жизнь...

Вечный дуализм...

Ах!..

Подпись: *Вольношаталец*.



Наконец, в театральном участке газеты будет помещена статья самого юбиляра: «О свойствах лиманной грязи по сочинениям датского писателя Георга Ибсена».

Юбилейный номер будет выдаваться всем приглашенным бесплатно: только за хранение шляп будет взыскано предварительно по пятаку с человека.

Зато всем будет предоставлено воспользоваться юбилейным номером, как им угодно. Это будет очень удобно.

Воспользовавшись юбилейным номером, все приглашенные соберутся в конторе газеты, оправят фраки, выстроятся полукругом и с юбиляром и его коллегами во главе замрут в трепетном ожидании, пока за стеной трубный оркестр не грянет шумного марша. Это будет лейтмотив лешего из «Снегурочки».

Все станы выпрямятся, по всем спинам побегут мурашки, и тогда «войдут» «ихнее степенство».

Именно *войдут*, а не *войдут*.

И именно ихнее степенство, а не их степенство.

Так оно уж установлено. Был такой приказ:

— У меня своя грамматика, и никто, значит, против меня не могут спорять!

Ихнее степенство *погадут* руку не только юбиляру, но и другим лицам. Даже сошки помельче не будут забыты. Литератор Блин получит два пальца, а литератор Кляксапирус — указательный и ноготь от среднего. После этого обряда все двинутся обедать.

Когда в бокалах заискрится донское, встанет литератор Кляксапирус и провозгласит:

— Ваше степенство! Когда я был в Париже...

Но его прервет литератор Блин:

— Ваше степенство! Как очевидец греко-турецкой войны, в которую я был вами послан на остров Крит...

Но ему не даст кончить литератор Насекомый, который скажет:

— Ваше степенство! Мой конфрер¹ Альфред де Мюссе сказал: «Мой стакан невелик, но я пью из моего стакана». Это вполне применимо к сегодняшнему юбиляру. Но не только к нему, а и к нам всем, его товарищам, а вашего степенства покорнейшим слугам. У нас тоже свои стаканы, и мы пьем из них здоровье вашего степенства.

В ответ на это ихнее степенство от полноты сердца и желудка собственноручно отпустит милостивую отрыжку.

Но лучше всего будет конец праздника, потому что в 7½ часа вечера вся редакционная семья торжественно проследует в инвалидное заведение, где и останется на вечную оседлость. Это будет очень хорошо.

Altalena

Одесские новости. 21.09.1901



Русский театр

Г-н Помпа недаром избрал для своего дебюта «Севильского цирюльника». Характер его голоса (легкий, теноровый лирический баритон) вполне подходит к партии Фигаро, а опыт-

¹ Confrère — собрат, коллега (фр.).

ность и прекрасная школа дают ему возможность свободно преодолевать щедро рассеянные композитором в этой партии вокальные кунштштюки. Помимо всего этого, г-н Помпа непринужденно держится на сцене и в драматическом отношении дает хотя и шаблонный, но выдержанный тип пройдохи-цирюльника. Очень хорошо спел свою партию г. Веккиони, хотя благодаря отсутствию природного комического дарования ему ничего не удалось сделать в драматическом отношении из роли дона Базилио. Мила была г-жа Таманти — кокетливая и бойкая Розина, удачно преодолевшая колоратурные камни преткновения этой партии. Зато совсем слабым оказался г. Квартти — граф Альмавива. Начать с того, что он не знал партии и потому сбивался с темпа и тона. Колоратурные места совсем у него пропали; кроме того, играл он вяло, чем расхолаживал веселое настроение, царившее на сцене. Весьма возможно, что когда г. Квартти выучит, как следует, партию Альмавивы, недостатки эти сгладятся, хотя нам кажется, что благодаря самому характеру своего тяжеловатого голоса и малой его обработке артист вообще не подходит к этой роли. Из остальных исполнителей хорошим Бартоло, комичным в меру и без шаржа был г. Петруччи и типичной Бертой — г-жа Паганелли.

А.

Одесские новости. 21.09.1901

Русский театр

Г-н Каstellано неутомим: вот уже больше недели труппа его гостит в Одессе, а до сих пор он не повторил ни одной оперы. Немудрено поэтому, что оперы идут не всегда достаточно отрепетированными, как это было и вчера на представлении «Аиды», изобиловавшим шероховатостями, что касается ансамбля и в особенности оркестров и хоров. Зато отдельные исполнители имели большой успех — и вполне заслуженно. Г-жа Адаберто — очень интересная Аида. Она хорошо держится на сцене, горячо играет и недурно поет. Следует ей только избавиться от неприятной и незстетичной манеры «подъезжать» к нотам и без нужды налегать на верхний регистр. Хорошего, в общем, партнера имела г-жа Адаберто в лице г-на де Гранди. Правда, в первом акте артист детонировал,

и голос его звучал утомленно, особенно в медиуме, но потом г-н де Гранди распелся и своими высокими нотами потрясал театр. В отношении игры г-н де Гранди «нового слова» не сказал, но держался хорошо и производил благоприятное впечатление.

Г. Помпа в роли Амонасро подтвердил то мнение, которое у нас сложилось после его первого дебюта, как об артисте очень опытном, музыкальном и обладающем притом голосом, хоть и не глубоким, но удивительно красивого тембра. Что касается г-жи Монти-Брунер, то нужно признать, что в роли Амнерис с наибольшей рельефностью выказались все ее положительные качества: обширные голосовые средства, умение держаться на сцене, музыкальность и верность интонации и, наконец, огромный темперамент, благодаря которому сцена четвертого действия произвела сильное впечатление. Остальные исполнители были на своих местах за исключением, конечно, оркестра, который нередко без надобности шумел, путался сам и сбивал певцов, словом, проявлял самую многостороннюю деятельность и, казалось, все усилия прилагал к тому, чтобы поставить в тупик артистов, что ему, к счастью, далеко не всегда удавалось.

А.

Одесские новости. 22.09.1901



Камерный вечер

Вчера одесситам представлялся редкий у нас случай услышать несколько капитальных произведений камерной музыки в художественном исполнении братьев Сапельниковых и проф. Алоиза. Пожелавших воспользоваться этим случаем нашлось довольно много, хотя в зале виднелись и пустые места.

Главным номером программы было чудесное трио Чайковского, посвященное «памяти великого артиста» (Николая Рубинштейна), — это настоящая «элегия в звуках», по удачному выражению известного музыкального критика Баскина. В этом произведении Чайковский излил всю скорбь, неведанную на него смертью его друга и учителя. Такие элегические места, как основная мелодия первой части трио и девятая вариация второй, не часто встречаются во всей новейшей литературе камерной музыки. Особенно сильное впечатление производит девятая вариация, когда под аккомпанемент аккордов и арпеджо фортепиано буквально стонут и плачут скрипка и виолон-

чень. Впечатление от трио получалось бы положительно потрясающее, если бы, к сожалению, сам композитор не расхолодил его, введя в вариации второй части неподходящие к настроению мотивы трепака, вальса и мазурки.

Исполнено трио было превосходно. Я.В. Сапельников (пианист), которому композитор здесь особенно много задал работы, проявил все лучшие стороны своего прекрасного дарования: воздушное туше, благодаря которому пиано звучит у него совершенно, как золова арфа, достаточно сильный удар, вдумчивость и тонкое понимание исполняемого произведения. Г-н Алоиз был неподражаем в элегических, главных местах трио благодаря как своему глубокому тону, так и превосходным качествам своего инструмента. Что оба артиста мастерски справились с техническими трудностями исполняемого произведения, об этом, нам кажется, и распространяться не стоит. Г-н Сапельников-скрипач усердно и удачно соревновался со своими старшими партнерами. Играл он старательно, чисто, местами с увлечением, насколько ему позволял его довольно холодный темперамент. Артисту следовало бы поработать еще над тоном, который у него несколько суховат. Это особенно заметно было в исполненной им сонате Грига, где скрипка его звучала довольно жидко. Г-н Сапельников-младший во всяком случае скрипач с будущим, и окончательное суждение высказывать о нем теперь нам кажется преждевременно.

В программу концерта, кроме указанных вещей, входили соната для виолончели с фортепиано Рубинштейна, отлично исполненная г-дами Сапельниковым и Алоизом, и несколько мелких вещиц для фортепиано solo, между ними вальс сочинения г-на Сапельникова, очень ловко написанный, хотя не блестящий оригинальностью.

А.

Одесские новости. 24.09.1901



Вскользь

В газете «Россия» помещено письмо из провинции, в котором какой-то отец горько жалуется на русскую грамматику. Его дочь перешла в первый класс гимназии, и ей на этом основании уже предлагаются к изучению такие умные вещи: «Тон лежит в основе образования гласных звуков, а шорох — согласных».

Перед этой фразой несчастный, убитый горем отец приводит еще несколько других — все из учебника Смирновского, — объясняющих физическую разницу между тоном и шорохом, но я их не решаюсь процитировать. У меня правило — не говорить о том, чего не понимаю. Этим премудростей я не мог уразуметь даже в приготовительном классе, когда знал их еще назизуть. Тем более теперь.

Однако приятно было бы узнать, за что такая честь приготовишкам, за какие такие заслуги им докладывают о вещах, которые к ученикам приготовительного класса не имеют никакого касательства?

Приготовишка, если он только не принадлежит к сорной породе вундеркиндов, обыкновенно не умеет еще классифицировать самых простых предметов, так что даже нос утирает салфеткой, а в ушах ковыряет непросохшим пером. И в то же время ему предписывается классифицировать понятия. Он должен знать, какой категории понятий присвоен чин «предмет», а какой — «действие». Он обязан уловить разницу между «действием» и «состоянием». Кроме того, он должен знать, что сам предмет есть одно, а слово, его обозначающее, нечто другое, и что этому слову титул — имя существительное. Но не всегда. Иногда оно называется и подлежащим. А, впрочем, может быть и сказуемым. Когда именно? О том ведомо ученику приготовительного класса.

Преподавателю при этом предоставляется разыгрывать наивного человека, т.е. притворяться, будто он верит, что ученики его понимают, когда на деле и сам он себя очень приблизительно понимает.

По крайней мере, изучалась бы вся эта премудрость по аналогии. Сказать просто ребенку, что стол, червяк, тень (!!) суть предметы. Может быть, он поверит. Если поверит, то сам догадается, что другой стол и другой червяк — тоже предметы. А мало-помалу причтет к предметам и стул, и шляпу, и папу (для папы это будет весьма приятно).

Но нет-с, так нельзя-с. Надо все пройти глубоко и основательно. Нельзя, чтобы ребенок «повторял, как попугай». Если ему внушено, что тень есть предмет, то надо, чтобы он сам в эту глупость верил всей пылкостью души и чтобы знал, почему он в нее верит.

Плохие дни пришли теперь для дилетантов. По всему свету отдан приказ: или не знай ничего, или знай все. Если вы знаете только половину, то у вас нет основательности познаний,

и вы ни в грош не ставитесь. Недостаточно, чтобы вы правильно говорили по-русски, — надо, чтобы вы могли объяснить, почему вы называете дворника мерзавцем, а не мерзавкой.

Я вовсе не враг науки, но науку нельзя разыгрывать на гармонике. Нельзя обязать каждого порядочного человека знать все с подоплекой. У дилетантизма свои права.

Позвольте прямо спросить: на что грамматика? Никого она никогда ничему не выучила. Кто говорит (и пишет) по-русски правильно, тот и не вспоминает о грамматике. А кто учился иностранному языку по грамматике, никогда не будет хорошо говорить на этом языке.

Чтобы уметь поймать муху, вовсе не надо знать инсектологии. И чтобы добиться оправдания мултанских вотяков, Вл. Г. Короленко не понадобилось римское право.

Римское право нужно специалисту-юристу, а грамматика — специалисту-филологу. Большинство людей — не специалисты и не должны ими быть.

У нас почему-то так заведено: с одной стороны, самое элементарное образование доступно только немногим счастливым. А с другой — на учащегося взваливают целый базар бесполезных сведений, от подлежащего до нон-квадратуры круга.

Я тоже считаю ученых украшениями человечества. Но украшение человечества есть исключение из человечества. А нормальный, приличный, здоровый человек должен, по-моему, быть дилетантом. Само слово «интеллигенция» включает в себе дилетантский оттенок. Истинный интеллигент не должен все знать, он должен только быть *способен* все, при нужде, понять. Интеллигентность — это гибкость ума, а не склад знаний... да еще никому не нужных, вроде этой самой грамматики.



Вообще строго теперь на свете по части образованности. Вон литератор ...комый негодует, что от театрального рецензента не требуется ценза. При этом он подчеркивает созвучные слова *рецензент* и *ценз* и думает, что сострил.

Мы могли бы по этому поводу рассказать литератору ...кому маленький анекдот.

Жил-был один генерал, а при нем состоял адъютант, обязанностью которого было занимать его превосходительство. Однажды этот адъютант приходит и хихикает:

— Анекдотец, ваше пр-ство...

— Ну, послушаем...

— Поручик Байбак получил рак, а ему доктор Вахлак этот самый рак ножиком — чак!..

— Хо-хо-хо... — загрохотал генерал, а нахохотавшись, поинтересовался:

— А в чем же тут, собственно, самая соль?

— В созвучии слов, ваше пр-ство!

Через день генерал встречается с другим генералом.

— Анекдотец, ваше пр-ство... Как это бишь? Полковник Петров заболел... э... дизентерией, а его доктор Штейн... хо-хо-хо... и вылечил!..

И оба генерала долго хохотали, после чего второй генерал все-таки вспомнил спросить:

— А в чем же тут, собственно, соль, ваше пр-ство?

— В созвучии слов, ваше пр-ство...

Мы могли бы рассказать этот старый анекдот, но он все равно не принесет никакой пользы литератору ...кому.

Мы ограничимся только одним вопросом: за что литератор ...комый сердится? Что обидного в том, что сотрудники «Одесских новостей» «оказывают ему сугубое (?) внимание»?

Спрашиваю вполне серьезно. Вопрос о том, какие «лестные» письма писались литератору ...кому двенадцать лет тому назад, меня не интересует, потому что двенадцать лет тому назад, может быть (chi lo sa? Чем черт не шутит!), литератор ...комый и заслуживал лестных отзывов. Но это было и сплыло.

Я хотел бы знать, за что он теперь сердится? Кто его обидел?

Ума не приложу.

Я? Невозможно. Я недавно без злобы и яда посмеялся над писаниями литератора ...кого и его коллег, но никого при этом не обидел. Ни о чем, кроме писаний, я при этом не говорил; даже подчеркивая отношения, существующие в том климате между литераторами и «ихним степенством», я опирался только на литературные данные, имеющиеся на сей предмет в изобилии.

Я думаю, что насмешка над писаниями, и только над писаниями, не есть еще обида. Это — шутка, на которую надо было ответить такой же.

Литератор ...комый прямо не ответил, а вместо того стал поменьку пощипывать. И, по-моему, не вполне красиво пощипывать.

Было, например, указание на то, что некоторые критиканы («безусые мальчики в штанах» — я узнал себя: я, действительно, бреюсь и ношу брюки) позволяют себе «уничтожающе (*merci*) третировать людей, у которых они недостойны развязать ремни сандалий».

Вот уж это нехорошо. Это значит коснуться человека вне его писаний. Это выходка не литературная. Литературе не надлежит знать о том, что я — такой скверный человек. Ну, я недостойн разувать литератора ...когого, но зачем об этой моей окаянности печатать в газете?

А главное, по-моему, литератор ...комый носит вовсе не сандалии, а башмаки на резинках.

Altalena

Одесские новости. 26.09.1901



Русский театр

«Травиата» в исполнении труппы г-на Каstellано идет прилично, хотя нельзя сказать, чтобы все артисты вполне удачно справлялись со своими партиями. Лучше других была вчера г-жа Таманти, весьма недурно спевшая и старательно сыгравшая партию Виолетты. Можно было бы только посоветовать ей меньше суетиться, особенно во втором акте во время объяснения с отцом Альфреда. Трудную сцену смерти она провела насколько возможно реально, хотя и не внесла в нее ничего самостоятельного. В общем, хорошим Альфредом был г-н Гамба — благодаря главным образом своему чудесному голосу, которым артист щеголял даже с излишком, временами неуместно форсируя его и тем нарушая впечатление. Г-ну Гамба необходимо также отвыкнуть от ходульной, ничего общего с жизненностью не имеющей игры. Какого-нибудь Манрико в «Трубадуре», пожалуй, еще можно изображать в стиле старой школы, но в такую житейскую драму, как «Травиата», необходимо вносить больше чувства, реализма и, главное, простоты. Вообще г-ну Гамба, несмотря на все его артистические данные или, скорее, именно ввиду этих данных, следует еще много видеть и многому поучиться. Г-н Помпа играл отца Альфреда без надлежащего достоинства, свойственного старому французскому дворянину XVII века. Пел он на этот раз тоже неважно, ибо был не в голосе и потому детонировал (в дуэте с Виолеттой

во 2-м акте). Вторые персонажи хороши. Хоры недостаточно отрепетированы. Оркестр играл лучше обыкновенного, а интродукцию к четвертому акту даже бисировал, хотя аплодисменты и требования повторения следует, нам кажется, отнести скорее на долю Верди, чем г-на Абате. Нельзя не поставить на вид администрации длинноту антрактов, живо напомнившую пресловутые «буфетные» антракты русской оперетки.

А.

Одесские новости. 26.09.1901


Вскользь

Что харьковские и киевские женщины совершенно правы, в этом теперь мало кто сомневается. Я только думаю, что совместное обучение обоих полов необходимо не в одном университете, но и в начальной школе и особенно в гимназии. Конечно, я не советую дамам включить в свою петицию и эти ходатайства, ибо глупо было бы подавать такие прошения, из которых все равно ничего не выйдет. Но знать и до поры до времени намотать на ус, что строгое разграничение между девочкой и мальчиком только распаляет в них дурное любопытство, — это очень важно. Придет время, когда и эту идею можно будет смотреть с уса и пустить в оборот.

А пока вместо скучных рассуждений я расскажу вам «вскользь» одну арабскую сказочку, которая называется «Азра».



В день, когда родилась Азра, отец ее, великий султан, получил такое письмо от мудрого карайджанского старца:

«Нет бога, кроме Бога.

Созвездия говорят, что через три дня после того, как дева Азра станет женой Азрой, ты лишишься престола.

И Магомет — пророк его.

Твой слуга, раб Всевышнего,

Омар-Али из Карайджана».

Султан очень хорошо знал женскую душу, поэтому он сейчас же понял, что лет через пятнадцать, не больше, парчовая царская чалма слетит с его головы... если не с его головою. Ни того, ни другого ему не хотелось. Он решил принять меры.

Было бы проще всего приказать главному евнуху удавить Азру. Но султан боялся Аллаха.

В таких сомнениях он открыл свою душу Эбн-Ассуру, любимому советнику.

— Господин, — ответил Эбн-Ассур, — посели ее высочество в каком-нибудь из недоступных оазисов твоей пустыни.

Султан обнял советника и сказал ему:

— Эбн-Ассур, чтобы наградить тебя, я с завтрашнего дня обложу податью ночных тряпичников, и пятьдесят — на сто этой подати будет идти в твой кошель. Другая половина поступит на содержание моей дочери Азры. Иди с миром, Эбн-Ассур.

Но султан был не только щедр и милостив, он был также мудр. Поэтому он на свой лад последовал совету. Он поселил Азру не в оазисе, а на необитаемом островке, имя которого утаил даже от Эбн-Ассура.

В стороне заката от владений султана лежало большое море, а в этом море была забыта Создателем крупица белого камня. Это был тот самый мраморный островок Эвлис, о котором таинственно рассказывали друг другу все корабельщики мира именно потому, что никто никогда его не видел. На полдня пути вокруг по всем направлениям доступ к Эвлису преграждали мраморные скалы, под которыми ярилась день и ночь бешеная пена.

Но султан велел — и в тайком приготовленную лодку посадили Азру с негритяжкой-кормилицей, а четыре удалых рыбака ударили в весла и помчались прямо в сторону таинственных беломраморных бурунов.

Может быть, у султана были свои расчеты. Во всяком случае, он ждал возвращения рыбаков с большим волнением. А когда прошли недели и лодка не вернулась, он пополнял, порозовел, обложил налогом карманщиков и подарил и этот налог мудрому Эбн-Ассуру.



Султан ошибся. Рыбаки погибли, но погибли на обратном пути. Азру и кормилицу Аллах бережно донес до мраморного берега Эвлиса. Там рыбаки отыскивали несколько цветущих плодородных долинок, и в одной из них, под многоствольным бананом, построили хижину. Они перенесли туда из лодки всякую утварь и большой негритянский лук.

После этого они попрощались с негритяжкой, поклонились крошечной царевне и отчалили. И ветер понес их прочь от берега и разможил четыре удалые головы о мраморные камни бурунов.

Дни бежали. Азра начинала ходить и лепетать. Кормилица давно свыклась, нашла свою утеху в царевне и перестала тосковать о родине — тем более что на родине ее часто бивали колючими прутьями.

У них всего было вдоволь. Плоды, золотые или румяные, падали сами к их ногам, птицы точно сами летели навстречу метким стрелам ловкой негритянки. Азра вырастала, дождливая пора сменялась летней жарой, негритянка насчитывала уже четырнадцать равноденствий со дня их прибытия на мраморный островок Эвлис. Дни бежали, и подходило пятнадцатое равноденствие.



На этот раз ударила особенно сильная буря. Море побелело на ширину взора человеческого со всех четырех сторон Эвлиса.

Когда буря утихла, Азра пошла на берег купаться. Но, дойдя к своему любимому крошечному заливу, она остановилась и вскрикнула. В залив врывалось в то мгновение толстое бревно, а верхом на бревне сидела невиданная, довольно крупная мартышка. Увидев Азру, мартышка что-то закричала ей почти человеческим голосом. Азра кинулась бежать.

Негритянка, не вполне разобрав со слов царевны, в чем дело, захватила свой лук и осторожно пошла с Азрой к берегу. У последней скалы они остановились, и негритянка тихонько выглянула.

Так и есть. Она это подозревала. Мартышка была уже на берегу и спала на яркой зернистой мраморной плите, и была это вовсе не мартышка, а мальчик с каштановыми волосами, на вид — однолеток Азры.

Негритянка помнила наказ султана:

— Если шайтан занесет туда, не знаю, какими путями, живую душу, у тебя есть лук.

Но то было семь с половиной лет тому назад. Уже семь с половиной лет негритянку никто не бил колючими прутьями. А когда женщину так долго никто не бьет, она, как известно, перестает повиноваться.

Мальчика разбудили, повели в хижину и накормили. Он покушал и заснул.



Нет свитка науки, который был бы темен для детского ока. Кто учил Азру понимать странный язык маленького друга, подаренного ей бурей? Кто помог мальчику объяснить царевне, что его зовут Андрио и что пришел он с полночи и заката на большом корабле, который раскололся на мраморных бурунах?

На белом Эвлисе теперь жили трое счастливых, в безмятежном неведении всего, что творилось там, за бурунами, никогда не спрашивая себя, почему они здесь, на мраморном островке, а не во дворце султана, про который говорила иногда негритянка, или в большом и шумном городе, откуда приехал Андрио.

Тихо, мирно и дивно текло время на беломраморном острове Эвлисе.

И прошло два года. Снова ударила равноденственная буря. Зеленые молнии царапали черное небо, и, вероятно, среди них пролетел ангел Азраил и указал бледным пальцем своим на хижину под многоствольным бананом в плодоносной долине мраморного острова. Потому что в этот банан и в эту хижину ударила тяжелая молния.

Банан устоял, но хижина запылала. Ее крыша рухнула. Азра и Андрио спаслись, бедная негритянка осталась под обломками.

Азра и Андрио были теперь одни, без крова, без ложа, без всего необходимого для жизни, но вдвоем. И опять побежали дни.



Может быть, теперь еще лучше жилось на Эвлисе. Добрую негритянку скоро забыли, а все остальное было так ново и так приятно: делать все своими руками, изобретать все своей головой, спать на душистой траве, укрываясь от ласковой теплой ночи только трепетом лунного света...

Азра и Андрио жили дружно. Если они когда-нибудь и ссорились, то разве потому, что царевна из каприза отказывалась петь, а у нее была в горле птичка буль-буль, и Андрио выучил свою подругу двенадцати прелестным песенкам. В этих случаях они очень больно дрались, но потом мирились.

Когда снова пришла дождливая пора, Андрио перенес две охапки травы в мраморную пещеру недалеко от берега и в этом белом дворце провел с царевной веселую зиму. И когда опять наступило лето, то застало Азру и Андрио здоровыми и румяными, только их одежды были изорваны и истрепаны.

Андрио был очень предусмотрителен. Чтобы приберечь это платье на зиму, он решил не носить его летом. И дети стали ходить без одежды.

Султан был спокоен, потому что не знал. Но если бы он и знал, то мог бы все-таки быть спокоен. Его престолу не грозили чужие руки, потому что Азра и Андрио слишком привыкли друг к другу.

И все бы шло хорошо, если бы не равноденственные бури.



Подошло двадцать восьмое равноденствие с того дня, как на Эвлисе появилась Азра, и тринадцатое с тех пор, как Андрио стал ее гостем и другом. Разразилась буря, ужаснее всех прежних... а после бури на мраморном острове было уже снова три человека.

Третий человек попал на Эвлис так же, как Андрио, — уцепившись за обломок мачты, и был этот третий человек очень тонкой и краснолицей женщиной, с острым носом и какой-то удивительной прозрачной игрушкой верхом на носу.

Она немного объяснялась на языке Андрио. Она сказала детям, что Бог спас ее, вероятно, в награду за ее строгое благочестие, велела называть себя мисс Джэн и забрала весь островок Эвлис в свои руки.

Как это случилось? Дети не заметили. Если бы Андрио не ребенком покинул свою землю, он, может быть, успел бы узнать, что таков уж от Бога данный талант всех соотечественников мисс Джэн. Они забирают чужое в свои руки так, что никто этого не замечает.

На острове все пошло иначе, все навыворот. Азра и Андрио были недовольны, но не смели противиться новым порядкам. Они, скрепя сердце, учились читать и писать, повторять за мисс Джэн лающие звуки ее родного языка и утешались только своей дружбой. Азра успокаивала Андрио, он ободрял Азру.

И однажды, выйдя на рассвете из мраморной пещеры, дети почувствовали, что вернулось лето. Солнце не грело, а целовало; ветер не веял, но ласкал. Радость охватила Азру и Андрио. Они спрятали свои одежды по примеру прежних лет и побежали к морю. Наигравшись в яхонтовой воде, они вернулись в пещеру к мисс Джэн.

Мисс Джэн умерла. То есть умерла, но потом воскресла. Она это называла обмороком.

Воскреснув, она прогнала Андрио с глаз долой и велела ему одеться и принести одежду Азре. А когда оба были одеты, она поставила их перед собой и объяснила детям их проступок. Она объяснила, что Азра — девочка, а Андрио — мальчик, что ей уже больше четырнадцати лет, а ему шестнадцать, и потому их близость отныне недозволительна.

А так как наступило лето, она велела Андрио спать с этих пор под бананом, а себе с Азрой оставила пещеру. Над входом пещеры она повесила плащ, когда-то сшитый Андрио для Азры из шкурки диких лисичек. Перед тем как поднять этот занавес и войти, Андрио было приказано каждый раз спрашивать позволения.

Андрио покорился. Он провел эту ночь вдали от Азры, но не мог спать: он до рассвета промечтал о том, как было бы хорошо, если бы и мисс Джэн спалила молния.

Во вторую ночь он тоже не спал, но думал не о мисс Джэн. Ему не доставало Азры, и он думал об Азре. Он старался разгадать, почему его разлучили с любимой подругой, но ответ не приходил в голову. Ответ не приходил, а вместо него голову и все тело наполнял какой-то странный, томящий туман, не то сладкий, не то мучительный.

В этот день он старался не встречаться глазами с Азрой, однако он заметил, что и она сама отворачивалась от него. И при этом ему впервые бросалось в глаза, как странно грациозны были ее движения, как красиво волновались полутени ее тонкого стана.

И в третью ночь он не спал. Это ему надоело. Ему стало скучно.

Он проскользнул к пещере и приподнял занавес, позабыв спросить позволения, и шепнул:

— Азра...

Шепот его был тише вздоха, но в ответ на него что-то нежно зашелестело, и жаркая ручка упала на его руку.

Он стиснул эту ручку и повел Азру прочь от пещеры.

• ◆ •

Султан лишился своего престола.
Неисповедимы пути Аллаха!..
Выведите отсюда мораль.

Altalena

Одесские новости. 28.09.1901

• ◆ •

Вскользь

Остриг г-н Насекомый, ничего не поделаешь. Он говорит, что мне шесть лет от роду и что старшие не должны спускаться с меня глаз, а то может случиться такое же несчастье, как с маленьким Фемистоклюсом Маниловым и т.д.

Было бы нетрудно ответить г-ну Насекомому в этом же тоне, потому что острословие — такая позиция, в которой он особенно слаб. Но, во-первых, блажен, иже и насекомые милует. А во-вторых, не шуток и иронии, а совсем другого ответа заслуживает в этом случае г-н Насекомый.

Как-никак для «шести лет» я уже все-таки устарел. Может быть, именно поэтому слово «молодость» больше не пугает меня. Но было время, когда изо всех обидных слов нельзя было прибрать более едкого для меня. Не потому, чтобы я когда-нибудь сам стыдился молодости, а потому, что это слово в нашем обществе всегда произносится не в честь и в радость, как должно, а в укор и насмешку, — не для оживления, не для окрыления сил и размахов, а для того, чтобы сдунуть прочь с этих крыльев ту золотистую пыльцу, без которой бабочки падают наземь.

Молодежь еще не накопила той путаницы опыта, от которой ум за разум заходит, поэтому молодости ведомо, чего она хочет. И это свое хотение она выражает прямо и горячо, без оглядки, а когда искренний человек говорит без оглядки, он всегда находит те слова, которые нужны. Вот чем хороша молодость. Где еще вы найдете сочетание всех этих данных: желать всей душою, знать, чего желаю, и говорить именно теми словами, которые нужны? Только юность так широка, чтоб одним ударом задеть сразу эти три струны...

Но когда грянет их волнующий аккорд, сквозь который, может быть, голос Божий взывает к оглохшему от ваты в ушах

человечеству, все мошки и таракашки, все г-да Насекомые важно подергивают усиками и спрашивают:

— Стоп! А у тебя где усики?

Усиков у молодости нет. Молодость конфузится и прячется.

Шамиссо рассказывает: жил-был некий Петр Шлемиль; продал он черту за богатство свою тень, свою никому не нужную, бесполезную, совершенно лишнюю тень. И с тех пор Шлемилю житья не стало. Шлемилю пришлось кочевать из страны в страну, не находя нигде ничего, кроме вражды. Правда, он повсюду старался делать добро, но в ответ на это добро его спрашивали: «Где тень твоя, Шлемиль?» Кому была нужна эта тень? Ни один таракан никогда не подумал бы укрыться в ней от солнечного зноя. Но за то, что у Шлемиля не было этой совершенно никуда не годной серой полосы под ногами, люди сжили Шлемиля со свету.

Молодость — это компас, тонкочувствительная и никогда не лгущая стрелка. Но про насекомых компас не писан. Пусть стрелка укажет в сторону самых чистых идеалов, какие могут сниться душе человеческой, — насекомые только улыбнутся и спросят:

— А где усики?

Насекомые не судят по существу, им нет дела до правоты молодости, нет дела даже до ее сил, они знают только один припев: им нужна тень Шлемиля и больше ничего. Мотылек с обитыми крылышками грузно и конфузно валится в пыль, и с этих пор он уже не будет летать, а будет ползать и пресмыкаться рядом с теми мошками и таракашками, нагуливая и себе усики.

Шуточки нашего г-на Насекомого очень беззубы и — охотно допускаю — беззлобны, но они тем не хороши, что исходят из этого фона, на котором лучшая, единственная светлая полоса паскудной человеческой жизни представляется только смешною. Есть над чем смеяться! Вы бы лучше поплакали, если вы уже так далеки от молодости, г-н Насекомый, — это было бы разумней!



Г-н Насекомый помнит, что ему двенадцать лет тому назад написали детское письмо. А помнит ли он еще о том, что такое молодость?

Не думаю. И я хочу напомнить ему о том.

Он рассказывает о каракулях, которые я выводил в присутствии няни после того, как у меня шла кровь из носу, и когда няня спросила, что это за каракули, я, оказывается, ответил не «пишу», а «пису».

Нет, г-н Насекомый, это было не так.

Было это в синий римский вечер. Мы втроем сидели, болтая ногами, на парапете Квиринальской площади и любовались на оранжевый закат, который пылал у края потемневшего неба, за черными извилинами нижнего старого Рима. Но когда эта яркая полоса расплылась, нам стало скучно, и, чтобы избыть скуку, мы пошли за речку, в Борго, — пошли втроем, оглашая степенные римские улицы таким шумом и хохотом, точно была нас целая рота.

В Борго нельзя скучать. В Борго скрещиваются серые узенькие средневековые переулочки, прорубленные в ветхой, но могучей папской стене: в эти переулочки из черных узких дверей, из прищуренных окошечек изливается что-то интригующее, таинственное, что всегда овладевает душою и не дает ей пустовать. В Борго живут старые «римляне из Рима», зажиточное допотопное простонародье, величавые добрые люди, не верующие ни в сон, ни в чох. В Борго через шаг — харчевня, которая до полночи набита веселыми любителями белого вина. У Борго с правой стороны стоит на страже круглый замок Святого Ангела, а слева — гигантская мономахова шапка Ватиканского собора.

Мы ворвались в одну из дверей и в темноте взбежали по узенькой лестнице. Звонить не пришлось — нам на хохот отперли.

— Добрый вечер, сора¹ Тута. Элена и Нелла дома? Отпустите их с нами в Колизей.

Начинается спор. Матери это кажется чем-то ужасным — что скажут соседи? И так уж болтают. Но разве скромная боргижанка, вдова лавочника, может устоять против логики трех адвокатов?

И нас пятеро. Теперь мы хохочем, как целая дивизия. Мы гуськом, держа друг друга за руки, пробегаем весь Борго, атакуем полусонного извозчика, набиваемся ему все пятеро в коляску и в пять голосов кричим:

— На Корсо!

¹ Тетя (итал.).

Ему, очевидно, неловко везти на Корсо такую ораву, в которой две девицы с неприкрытыми головами, но спорить не полагается, потому что кто-то сидит уже на козлах, одной ногой впереди, другой сзади и уверяет извозчика:

— Знай, что все люди братья.

— И сестры! — кричит Нелла.

— Есть, положим, и двоюродные, — отзывается извозчик, однако трогает и восклицает своей бедной коняке:

— Аэопп!..

И мы едем по Корсо, под яркой электрической линией, прямо к кафе Араньо и перед кафе в пять глоток взываем:

— Alt¹!

Он останавливается. Элегантная толпа смотрит на нас и недоумевают. Приятель, который сидел на козлах, спрыгивает и врывается в кондитерскую. Он неприличен. Огромная шляпа его на затылке, а на лбу висит толстый клок золотых волос. Все лорнетки в кофейне обращаются на него, пока он покупает шоколадки-джандуйотки. Он выходит, и мы встречаем его воплем:

— Urrà!

И мы у Колизея. Город только что был здесь и вдруг исчез, ушел, отодвинулся далеко, и огни его потухли. Старая колоссальная развалина освещена только резким светом месяца. В этом блеске, вся белесоватая с черными расселинами и морщинами, она кажется полуистлевшим чудовищным скелетом. Звуки, доносящиеся сюда из города, изменяются и отдаются здесь с каким-то гробовым оттенком.

Мы стихли. Мы стоим в самой середине огромной овальной площади, едва узнавая друг друга в лунном свете, глядим вниз, в обнаженные черные подземелья Колизея, и не хохочем. Елена и Нелла жмутся одна к другой. Нами, мужчинами, овладевает героическое настроение, и вдруг мы раздражаемся в унисон рифмами Лоренцо Стеккетти, раскатывая каждое *r*, точно трещотку:

*Настанет день: на эти города,
Которые так пышны, так красивы,
Обрушится, как гррром и гррад на нивы,
Восставшая за поправных orga!..*

¹ Стоп! (итал.)

И не успели мы еще окончить, как обе сестры начинают смиренно петь римский stornello¹:

*На небесах, меж звездочками рая,
Горит огна, глаза мои чаруя:
Я гля нее живу, гля ней умру я —
А ей гореть, вовек не догорая...
Цветок отрады...*

- Тише! Слеземте в подземелья!
- Это запрещено. Сторож увидит.
- Мы его уьем!

Мы прыгаем в подземелье и с камня на камень ссаживаем Элену и Неллу, сжимая их тонкие упругие талии. В подземелье луна не доходит. Тут темно, сыро... жутко... Гнилушки светятся и кажутся взглядами каких-то одноглазых бродяг, приютившихся на ночлег в Колизее...

...Через полчаса мы в трактире. Мы убиваем третьего цыпленка и четвертый литр белого Марино. Честное римское вино не бьет в ноги, не туманит глаз, а все приливает к сердцу и веселит его. Элена задыхается от беспричинного восторга. У Неллы черные глазки блестят так, что смотреть странно. Мы возглашаем тосты за сору Туту, за Рим, за Россию и Сицилию. Толстый хозяин подходит к нам, широко улыбается и велит подать нам вишен даром.

Но мои спутники клюют носами: они в России не бывали и не привыкли полуночничать. Они хотят домой.

— А как же Элена и Нелла?

— Пусть их Vladimiro отвезет. Ему близко. А я не могу, мне уже третий сон снится.

И вот я везу Элену и Неллу к Борго и уговариваю их поехать ночевать ко мне.

— Вы с ума сошли! Ни за что. Какой смысл? Мама бы нас убила. Вам надо работать? Ну, так что же? Глупости! Что? Занять вашу постель? Для чего это? Чтоб вы не могли соблазниться и лечь спать? Перестаньте болтать пустяки. Бросьте. И не просите лучше, это невозможно, ни за что, никогда, никогда...

¹ Народная припевка любовно-лирического или шуточного содержания (итал.).

И Елена с Неллой едут ко мне ночевать. Спичек нет, подъемная машина закрыта: в черной темноте, с кружащимися головами, я полуведу, полувлеку их к себе на шестой этаж.

Вот они лежат, полураздетые, на постели в моей крохотной каморке. Обе уже заснули: Нелла — тихо, как ребенок, Елена — дыша глубоко и порывисто. Снится ли им сердитая мама, сора Тутта?

Я стою у окна. Резкая прохлада предрассветного часа щекочет и бодрит тело и голову. От спящего Рима, который весь лежит под моим чердачком, идет глухой шум, как из раковины. Св. Петр с колонны цезаря Траяна через полверсты расстояния глядит мне в глаза.

Я зажигаю лампу, сажусь у стола и отдаю себя опьянению работы.



Из-за крыш выстрелили солнечные лучи. Прилив энергии сразу падает, усталая истоста охватывает все члены словно распадающегося тела. Точка. На подушке есть еще полместечка: я поддвигаю два стула, вытягиваюсь, осторожно кладу голову рядом с двумя темно-каштановыми головками, закрываю глаза и засыпаю, как ребенок.



Вот оно как было, г-н Насекомый, а не так, как вы рассказали. А теперь расскажите-ка нам, как *вы*-то печете свои «Бублики», вы, которому так смешна молодость?

Смешна ли? Есть такая система: смеяться... чтоб не завидовать.

Altalena

Одесские новости. 29.09.1901



Русский театр

Поставленный вчера в Русском театре неувядаемый «Фауст» произвел, в общем, очень благоприятное впечатление, несмотря на многие как декоративные, технические, так и другие, недочеты (между прочим, отсутствие военного оркестра в четвертом действии и балета — во втором). Г-н Гамба в музыкальном отношении очень хороший Фауст. Его прекрасный, легкий

голос как раз подходит к этой партии; благодаря природной музыкальности г-н Гамба так поет в упоительных дуэтах третьего действия, как это не часто удается и опытным «старым» тенорам, и можно сказать, что из г-на Гамбы выработается замечательный исполнитель роли Фауста, когда он... научится двигаться по сцене не как марионетка, а как живой человек. Превосходной партнершей г-ну Гамбе была г-жа Таманти, ее нежный голос звучал очень хорошо, изящно вышло у нее *air des bijoux*¹ и недурно, хотя и несколько безжизненно, песня за прялкой. В драматическом отношении г-жа Таманти — приличная Маргарита. Вполне удовлетворителен, в общем, был г-н Веккиони — Мефистофель, хотя эта партия чересчур низка для него. Лучше всего исполнил он «Песню о золотом тельце», хуже серенаду, где ему не хватало низов. Играл г-н Веккиони старательно, но сильно утрировал, а физиономию сделал он себе такую, что на ночь и смотреть бы на нее не следовало. Г-н Помпа довольно слабо провел роль Валентина во втором действии и совсем хорошо — в четвертом. «*Dio possente*»² звучало у него жидко и тяжело, да и исполнена была эта общеизвестная ария уж чересчур «по-своему». Зато в четвертом действии артист точно переродился: отлично провел в вокальном отношении сцену дуэли и очень эффектно сцену смерти. Г-жа Монти-Бруннер, выступившая впервые перед одесской публикой в роли Зибеля, имела шумный успех. Нам кажется излишним распространяться о том, что артистка шутя справилась с этой сравнительно легкой партией. Вторые исполнители хороши. Недурно поет мужской хор. Зато женский сильно хромает. Оркестр, хотя и звучит жидко, но, в общем, приличен.

А.

Одесские новости. 1.10.1901



Русский театр

Вчерашний спектакль в Русском театре представлял собой какой-то, если можно так выразиться, музыкальный *pele-mele*³. Сначала зачем-то была сыграна увертюра Дон Жуана, успешная и так всем опротивить благодаря неуклонному и многолет-

¹ «Ария с жемчугом» (фр.).

² «Бог всесильный» (итал.).

³ Сумбур, мешанина (фр.).

нему исполнению ее оркестром Городского театра, а после второго акта «Джоконды» оркестр исполнил два произведения г-на Абате, бенефис которого праздновался.

Такое смешение музыки разных эпох, композиторов и стилей не могло, конечно, способствовать цельности впечатления, полученного от самой оперы, и может быть объяснено лишь тем, что г-ну Абате хотелось показать публике образцы своего дарования, как дирижерского, так и композиторского. В последнем г-ну Абате, судя по пьесам, сыгранным вчера, нельзя отказать. Его гавот очень грациозен и написан умелой рукой, а что касается прелюдии, то вещь эта хотя и не самостоятельна, тем не менее производит приятное впечатление благодаря красивой, сочной инструментовке. Обе пьесы по требованию публики были повторены.

Из исполнителей оперы на первое место следует, несомненно, поставить г-ж Монти-Бруннер, Адаберто и г-на Модести. Центральным пунктом исполнения г-жой Монти-Бруннер роли Лауры является дуэт второго действия, где она обнаруживает такую мощь голоса и страстность передачи, какую нам редко приходилось слышать у других исполнительниц этой партии. Отлично спета была артисткой и молитва в том же втором акте. Очень изящная Джоконда г-жа Адаберто. Вокальные номера партии исполнены были ею просто и музыкально, а в драматическом отношении она сделала все от нее зависящее, чтобы хоть немного оживить эту деревянную роль.

Особенно в ударе был г-н Модести-Барнаба; его красивый голос звучал широко, легко и свободно, и потому ария во втором действии и сцена-монолог в первом были исполнены им превосходно; артисту не следует только форсировать свои и без того звучные высокие ноты. Играл г-н Модести прилично, без особой аффектации и преувеличения, в которые так легко впасть в этой роли. Г-н Гранди, к сожалению, был не в голосе, пел с усилием и похрипывал, так что даже в знаменитой арии «Cielo e mare»¹ не произвел надлежащего впечатления. Г-н Векиони (инквизитор) и г-жа Паганелли (слепая) — вполне удовлетворительны. Г-н Абате вел подтянувшийся к бенефису своего дирижера оркестр хорошо и получил несколько ценных подарков.

А.

Одесские новости. 3.10.1901

¹ «Небо и море» (итал.).


Вскользь**«УЕХАЛИ...»**

Помните? Перезвон бубенчиков растаял, дурнушка Соня тихо вошла в комнату, где дядя Ваня хмуро пощелкивал на счетах, остановилась, уронила руки и уныло протянула тоскливое слово:

— Уехали...

Странное слово. Если его произнести особенным образом, оно на мгновение создает перед глазами целую повесть. Начинается эта повесть с того факта, что было скучно и тошно. Потом кто-то желанный приехал: в холодные комнаты ударил яркий луч, полный веселых, пляшущих, сверкающих золотом и радугой искорок-пылинок. Пробежала минута, и наступила хлопотливая разлука. Зазвенели бубенчики или свистнул паровоз. Комнаты потухли, посерели, посырели. Душу и тело у того, кто в них остался, ломит от безнадежной усталости. И во всех углах точно невидимки-мухи с однозвучной жалобой поют:

— Уехали...

В понедельник вечером наша бонбоньерка, наш белый раззолоченный театр, была полна от оркестра до свода. В антрактах стоял небывалый гром от оваций. Около двух тысяч человек пришли прощаться с соловцовской труппой. И из них кто не вызывал, тот аплодировал, и кто не топал ногами, тот махал платком. Такого урагана давно не было в этих стенах.

Прошел день — и «уехали...» Из роскошной бонбоньерки выброшен душистый шоколад, и на место его насыпаны леденцы. И в городе Одессе восстанавливается старая неприкосновенная скука и пустота.

В течение целого месяца было у нас что-то, что держало нас, худо ли, хорошо ли, на высоте человеческого призвания, то есть выше карманных интересов. Когда уже мочи не ставало судачить о дороговизне квартир и о том, что нет «делов», можно было поговорить о докторе Штокмане. Штокман волновал нас, и это был единственный случай, когда мы волновались по чужим делам. Пусть это волнение проходило без результата и следа, но само по себе ведь оно, даже мгновенное, было так чисто, хорошо и красиво по сравнению с теми дрызгами, которые волнуют нас вне театра!

И вот мы и остались вне театра. И снова мы, как дядя Ваня, начнем отщелкивать на счетах три десятка яиц или пятьдесят четыре квартирных. И при этом не будет даже сознания того, что вечером есть куда пойти, где освежиться...

Знаете ли, этому трудно поверить. Я вижу, что это так, — готов дать оба уха на отрез, если это не так, но не идет это в мою голову. Если бы я подряд целый год старался понять, я бы все-таки не понял, каким таким образом наши хозяева не видят, что драматический театр — единственный экран интеллигентности в городе, где нет ни журнала, ни даже литературных кружков, кроме одного, который...

И не только того жаль, что они «уехали» и оставили незаполнимую пустоту. Грустно еще и потому, что «уехали», едва заглянув, люди, которых Одесса горячо полюбила. Насколько полюбила, то показали овации последнего спектакля.

Девочки в пансионах, не видя почти никогда мужчин, «обожают» всех учителей, даже если учителя не только не Аполлоны, а «совсем отнюдь». Одесса в этом отношении уравниена судьбами с институтом. В труппе Н.Н. Соловцова есть прекрасные отдельные артисты, но главного — ансамбля — в ней уже нет. И, однако, одесситы полюбили и проводили эту труппу так, как будто бы лучше ее на всем свете никогда не бывало.

Хозяева думают, что мы драмы не любим. Но хозяевам свойственно думать не то, что надо. Мы ее любим!

Соловцовская труппа наезжает к нам, между прочим, впопыхах, по второму плану. И, надо сознаться, довольно явственно подчеркивает этот второй план. А все-таки ее у нас любят поменьше — это я наверное знаю, — чем там, на первом плане.

Нашу любовь доказали цифры и еще больше — проводы. Я мог бы подкрепить это и другими данными — рассказать, что говорит наша публика об отдельных артистах. Может быть, эти артисты даже не узнали бы себя под густым слоем розового лака. Но я напомним только одно явление, которое всего ярче говорит именно о самом настоящем институтском обожании.

Это — повальное, бесконтрольное поклонение одной из «уехавших». В нее прямо влюблены. Стараются говорить ее задушевым грудным контральто. Перенимают, нехотя, тон ее тихой музыкальной речи, ее манеру произносить слова, ее движения и жесты. Во имя ее отрицают Савину. Приедет Дузе — будут чуть ли не отрицать Дузе. Вызывают ее за самый незначительный выход, даже когда он неудачен. Вызывают ее

даже тогда, когда она не участвует в спектакле, — так себе, не то из влюбленной шаловливости, не то в виде протеста против другой исполнительницы в ее роли. Пьют ее здоровье в самых теплых компаниях и при этом, однако, произносят ее имя со всем уважением, какого может требовать гордая женщина. И от одного намека на то, что она может уйти, как все, в крепостные казенного театра и не вернуться на юг, вспыхивают и вспышкой заглушают щемящую оскорбленную боль, настоящую боль отвергнутой и растоптанной любви.

Пусть из этого наши хозяева извлекут то нравоучение, с которым примирится их общественная совесть. Это так легко, что я не стану им здесь помогать. Если бы я и хотел, то не мог бы. Не до нравоучений, когда, право, мысль, как отведенный компас, тянется все туда же, все в ту же сторону, вдоль по линии северных рельсов, по которым *она* и все *они* «уехали»...

Altalena

Одесские новости. 4.10.1901



Прием иностранцев в итальянские университеты

Некоторые лица обратились ко мне с запросами относительно условий приема иностранных студентов в университеты Италии. По наведенным мною справкам, эти условия таковы.

Иностранец, чтобы быть принятым в качестве действительного студента, должен обладать цензом, дающим право на поступление в университет в его родной стране. Следовательно, окончившие русскую гимназию могут быть приняты на все факультеты и в инженерную школу; аттестаты реальных и коммерческих училищ дают доступ только в инженерные школы, причем реалисты могут быть допущены и на медицинский факультет ввиду соответствующего прецедента со стороны Петербургской военно-медицинской академии.

Что касается женщин, то к ним это правило о национальном цензе неприменимо и, несмотря на то что у нас они пока вообще не допускаются в университеты, в итальянские университеты они могут поступить, имея только аттестат, а тем более диплом женской гимназии. Может быть, ввиду существова-

ния в России женского медицинского института и в Италии для поступления в медицинский факультет потребуется знание латыни в том же объеме, как для принятия в русский институт, но и здесь можно будет сослаться на то, что институт в строгом смысле не есть университет, и потому его правила не должны быть принимаемы во внимание в Италии.

Прибавляю к этому, что, по всему смыслу итальянского учебного законодательства, там *не могут* возникнуть вопросы ни о чрезмерном наплыве, ни об отсутствии «вакансий» и что итальянские студенты очень радушно и приветливо отнесутся и к гостям, и к гостьям.

Студенток-итальянок в Римском университете (других я совсем не знаю) не особенно много, но неизмеримо более, чем, например, швейцарских женщин в берлинской или цюрихской Hochschule¹. Мужчины к ним относятся просто и вежливо, профессора — дружелюбно и корректно. Некоторые предметы, кроме того, имеют почти совершенно женскую аудиторию из нестуденток ввиду того, что итальянские университеты открыты для публики: это преимущественно лекции по литературе, философии, педагогике. В числе профессоров есть одна женщина г-жа Тереза Лабриола, которая, конечно, с охотой возьмет на себя все немногие хлопоты по зачислению русских женщин в студентки Римского университета.

Вообще же руководство русскими студентками в их первых шагах в Риме охотно возьмет на себя женский феминистический кружок, а в частности, его председательница, г-жа Амадори, она же издательница ежемесячника «Vita Feminile» (улица Panisperna, 36).

Итальянские университеты делятся на четыре факультета: медицинский и юридический, физико-математический и философско-литературный. Курс на медицинском — *шесть* лет, на остальных — по четыре года. Лекции начинаются около середины ноября нового стиля.

Я вторично советую русским «голиардам» серьезно подумать об Италии, на первых порах о Риме. Они останутся довольны и средой, и постановкой учебного дела.

Пользуюсь этим случаем, чтобы, по желанию студента Г. (отрицавшего факт «гонений» на русских студентов за границей), печатно ответить на присланное им мне письмо. Студент Г. опасается, что его, «врага корпорантов», сочли за их защитника.

¹ Высшая школа (нем.).

Я думаю, что это опасение неосновательно: все, вероятно, поняли г-на Г. так именно, как он желал, т.е. что на выходки корпорантов не стоит, мол, обращать внимания, когда во главе университетов находятся люди, неспособные унизиться до гонений на приезжего студента. Никто, надеюсь, и не подумал счесть студента Г. защитником рыцарей ордена подтяжки. Но надеюсь и на то, что мало кому показалось вместе с г-ном Г., будто на их выходки не стоит обращать внимания. Во-первых, эти выходки делают положение русского студента очень фальшивым. Во-вторых, «имена людей, стоящих во главе университетов», ровно ничего не доказывают, вопреки мнению г-на Г. Корпоранты — сила, перед которой очень часто самому вескому «имени» приходится спасоваться; да и само «имя» ручается только за постановку преподавания, а вовсе не за национальное беспристрастие. Теодор Момзен — очень громкое имя, прикрывающее очень убежденного шовиниста.

Я рекомендую Рим. Дайте немцам отдохнуть.

А.

Одесские новости. 7.10.1901



Русский театр

«Евгений Онегин» оказался «не по силам» труппе г-на Каstellано. Опера эта, явившаяся результатом творчества таких двух гениальных мастеров, как Пушкин и Чайковский, требует от исполнителей, помимо хороших голосов и умения петь, еще ясного понимания сценических ситуаций и тщательного изучения изображаемых типов, что представляется для иностранцев тем более затруднительным, что типы эти — глубоко национальны. Не удивительно поэтому, если наши итальянские гости, разучившие эту оперу только для гастролей в России и, весьма вероятно, не видевшие хороших образцов на сцене, а может быть, и не читавшие самого романа, были вчера довольно слабы. Лучше других держался и пел г-н Помпа, исполнявший заглавную роль. Правда, было бы желательно, чтобы артист придавал больше выражения произносимым словам (например, в сцене объяснения с Татьяной, в сцене ссоры), но этот недостаток сглаживался благодаря музыкальности исполнения и простой, полной достоинства игре его. Г-жа Адаберто, по-видимому, мало уяснила себе характер Татьяны, и по-

этому весь вечер чувствовала себя, как говорится, «не в своей тарелке», как-то вымученно играла и пела, сухо и без увлечения, и даже в сцене письма не произвела надлежащего впечатления. Г-н Гамба в драматическом отношении мало удовлетворительный Ленский, зато некоторые вокальные номера исполняются им недурно, например ария первой картины «Я люблю вас» и отчасти «Куда, куда вы удалились». Прилично прошла и дуэль, оказавшаяся, кстати сказать, бескровной, так как пистолет у г-на Помпа дал осечку, и г-н Гамба, к удовольствию его поклонниц, остался живым и здоровым. Г-жа Монти-Бруннер бойко играла резвушку Ольгу и пела, как всегда, старательно, но почему-то детонировала в первом действии. Г-н Ферраиоли вполне удовлетворительно спел свою единственную арию третьего действия, а г-жа Паганелли была совсем хорошей няней. Оркестр, по-видимому, мало репетировал, играл нестройно и часто фальшиво, хотя темпы брал, за немногими исключениями, правильные. Театр был почти полон: наша публика верна своим симпатиям.

А.

Одесские новости. 7.10.1901



Вскользь

Выставка южнорусских художников — очень милая выставка, но по ней ясно видно, как бедны фантазией южнорусские художники.

Впрочем, не только они. Художники вообще обделены фантазией. Каталог одной выставки всегда кажется списанным с каталога другой. Художники, в огромном большинстве, не находят свежих сюжетов и не придают оригинального оттенка старым.

Я, собственно, перевидал очень мало картин, но, например, ребенок с бабушкой г-на Пастернака, или «Пересыхающий ручей» г-на Попова, или даже прелестные «Вечер» и «Зиму» г-на Заузе — все это и я видел уже по три раза каждое. Там голых деревьев было шесть и ручей бежал справа налево; здесь стволов около дюжины и ручей идет слева направо; это, конечно, разница. Но покажите мне послезавтра «Перед дождем» г-на Морозова и какое-нибудь другое «Перед дождем» (а их ужасно много) — я уж не скажу уверенно, которая из двух картин мне понравилась на южнорусской выставке.

Мало того, послезавтра нелегко уже будет припомнить, называлась ли картинка г-на Морозова «Перед дождем», или «После бури», или даже «Лунная ночь».

Хуже всего то, что художники очень сердятся, когда им говорят о недостатке фантазии. Им тогда кажется, будто вы посягаете на права их искусства. Они отвечают очень избитой фразой:

— В живописи важно не то, *что* написано, а то, *как* написано.

Это, вероятно, правда, но и в поэзии, собственно, «важно» не *что*, а *как*. И вообще в искусстве «важно» не *что*, а *как*, потому что задача искусства есть красивая форма. Но хорошее содержание никогда не мешало красоте формы и, наоборот, всегда только увеличивало достоинство произведения. И если бы и художники умели находить интересные сюжеты для своих картин, они первые были бы очень довольны и не вели бы пустых разговоров о том, что «важно». Просто-напросто они не умеют.



Одна причина этого — органическая и совершенно неустраняемая. Дело в том, что наблюдательность не любит уживаться с фантазией. Художники наблюдательны по преимуществу. Они слишком привыкают жадно подмечать пустяковинные «черточки» и копеечные «оттеночки». Эти мелочи в конце концов начинают им казаться сутью жизни. И вот создается целая картина — с морем, пароходиками и небом, для того только, чтобы в уголочке этого неба поместить «оттеночек», который поразил художника и, по его мнению, должен произвести 1789 год в искусстве.

Оттого скульптура интереснее. Наблюдательность ваятеля не так мелочна: для него отсутствует, во-первых, мир красок, а во-вторых, пейзаж — та самая Божья природа, которая, к сожалению, в живописи выродилась в какое-то царство безотрадной шаблонной пошлости, включая туда же и пресловутое «Солнечное пятно» г-на Кандинского, несмотря на весь его импрессионизм (кстати, довольно элементарный). Скульптору поневоле приходится отдавать меньше сердца шпионству за «оттеночками», так что остаются время и сила для более или менее свежих концепций. На каждой скульптурной выставке вы найдете половину изваяний, о которых *есть что* расска-

зать. Извольте что-нибудь рассказать о «Поздней луне», даже если б она была написана не г-ном Бальцом, а Лагорио!

Другая причина этой неизобретательности господ художников уже не органическая, а самовольная. Это весьма щекотливый пункт.

Очень крупному художнику, окончившему русский университет, я рискнул однажды напомнить по поводу его же известной картины об очень известном произведении Н.К. Михайловского.

— Нет, странно, не чит... А впрочем, позвольте, как? Михайловский? Не помню. Он, что же, пишет?

Факт.

Не знаю, достаточно ли я объяснился: высказаться точнее было бы уж неловко. Говорю я о том, что художники, обыкновенно, чересчур... специалисты. Они мало чем интересуются вне живописи. Из прочего мира к ним почти не доходит сведений. Это лишает пицци фантазию и усиливает пагубную склонность на темы из 1001 старого каталога.



На нашей выставке, впрочем, есть не очень избитые вещи. По крайней мере, вещи, не производящие впечатления голого перепева даже на профана, видевшего очень мало картин.

Г-н Ганский, кажется, очень талантлив, а импрессионизм его, кстати, очень осторожен. Известно, что нет ничего приятнее и душеспасительнее, чем новаторство полегонечку, не раздражающее даже больных печенью. «Сумерки» и паки «Сумерки» г-на Ганского приковывают внимание и даже, выражаясь по-модерному, «настраивают».

Импрессионизм г-на Кандинского, повторяю, очень уж просто выдумать, но одной его резкости, однако, достаточно для того, чтобы остановить внимание. Его картинка «У лесного ручья» — рыцарь в латах, перед черной водой речки, на опушке леса, и все краски перепутаны — романтична; и сюжет ее уносит далеко назад и примиряет с элементарно лубочной манерой письма. Тогда так писали. Вся картина даже похожа на увеличенную виньетку из догутенберговского списка «Нибелунгов»: под нашими широтами это может сойти за оригинальность.

Зато «Солнечного пятна», по-моему, не надо было писать. Смешно как-то: человек вооружался всеми крайностями «сецессионизма» для того, чтобы написать освещенную лужайку с вертикальной белой барышней на заднем плане. Это похоже на бурю в стакане воды или на актера, который надел бы красный плащ, взошел бы на трибуну, махнул по воздуху окровавленным кинжалом и продекламировал:

— Пахнет сеном над лугами...

Так и быть, когда свежие сюжеты не идут в голову, приятно, если хоть старые трактуются с кое-какими нововведениями. В этом смысле я облегченно вздохнул перед «Двумя приятельницами» Е.К. Петрокино и «Вечерком» г-на Бершадского. Увидя в каталоге — в десятый раз на моем веку — «Двух приятельниц», я приготовился полюбоваться двумя барышнями на садовой скамье, из которых одна с улыбочкой склонила голову, а другая смущенно поверяет ей свои девичьи тайны, держа в правой руке книжечку, или увидеть снова двух старушек за чайком, смеющихся с тем выражением, с каким хохочут актрисы на сцене. Оказалось приятное разочарование. На картине г-на Бершадского «Вечерком» изображена, в миллионный раз, влюбленная парочка, но спасибо хоть за то, что и одета она не так, как принято, и красиво срезана у пояса, и пейзаж вокруг не тот, пошлый до зубной боли, лес с корявым деревом посередине.

В одном окне на Дерибасовской была недавно выставлена картина с надписью «1000 рублей». Поэтому перед ней стояла всегда толпа ничего не понимавших зрителей. А на картине был изображен не больше и не меньше как старый мужичок, стригущий, кажется, собаку. И я готов заплатить тысячу рублей за это полотно и даже повесить его у себя в комнате (честное слово!), если я уже раз двенадцать не видел на картинах точное таких же мужиков.

Этот мужичок, вероятно, очень хорошо написан?

Жил-был царь, покровитель искусств. Пришел к нему некий тип, назвавший себя большим искусником. Он действительно подкидывал вверх горошину и попадал в нее на лету брошенной иголкой. На этом основании он требовал себе от царя-мецената награды.

Царь велел ему выдать... мешок сухого гороху.

Altalena

Одесские новости. 9.10.1901



Вскользь

Удивительно: как давно писали Пушкин и Крылов, а кажется, будто вчера только писали. Пушкин, не помню по чьему адресу, выразился так: «Хаврониос, ругатель закоснелый...» А Крылов изобразил существительное женского рода от того же корня, которое подкапывает дуб, потому что оно от природы лишено таланта подымать очи кверху и, значит, не может усмотреть, что губимое дерево плодоносно.

Точно вчера писали Крылов и Пушкин. Разница только в том, что тогда был Хаврониос, а теперь Хеврониус. Остальное — как прежде: и мания закоснелого ругательства, и неспособность поднять вверх голову и рассмотреть, кого, собственно, ругаешь.

Этот Хеврониус на днях подкопался под г-на Як. Новикова. Назвал его Жак де Новикоф и вышутил за исключительное писание по-французски («от франсэ», острит Хеврониус). Решил, что все сочинения Новикова суть «абракадабра» — и в доказательство подверг критике... их обложки.

Что есть обложка? Обложка есть передняя книги. Хеврониусу в нутро книги не удалось проникнуть. И думаю, что не удалось бы, равно если бы г-н Новиков даже писал по-русски. А человеку, не имеющему доступа во внутренние комнаты, простительно судить по прихожей.

Мы, значит, на Хеврониуса не очень бы сердились, тем более что он не опасен. Его подкапывательный аппарат — точь-в-точь как в басне Крылова — совершенно туп, потому что оканчивается пяточком. И, по-моему, пяточком же и начинается.

Но явление Хеврониуса, который так-таки ни в грош не ставит г-на Новикова, печально, как напоминание о том, что, в самом деле, никто не пророк в своем отечестве.

Я вполне понимаю Хеврониуса: ему смешно. Видит он самого обыкновенного господина, проживающего по паспорту, все как следует: господин этот заседает в думе, как многие другие, и притом заседает так же неудачно, как и эти другие. Словом, ни от кого ничем не отличается. И вдруг оказывается, что он за границей напечатал несколько книжек. Для Хеврониуса одни заглавия этих книжек представляются чем-то таким... наинеудобовыговариваемейшим. Ну и понятно, Хеврониуса разбирает смех.

Для нас, двуногих, это не смешно, а грустно. Ведь это, собственно, возмутительная несправедливость. Человек живет у нас под боком и на виду — до смешного под боком и на виду — и между тем как за границей (где не дураки живут: сам Хевро-ниус ездил когда-то в Париж и «одобрял») — между тем как там его имя всем известно и произносится и печатается с глубоким уважением, у нас о нем с этой стороны почти слыхом не слышали, а когда слышали, так от... от... И сказать неловко.



«Наши за границей» — это тема, которую разработал почему-то Лейкин. И у Лейкина из этой темы вышла плясовая история. Но, на самом деле, если бы тут и было до пляски, вышла бы очень невеселая пляска. *Danse macabre*¹.

Русскому за границей, если он патриот и человек с самолюбием, приходится очень тоскливо. Любезные туземцы галантно говорят ему о родине такие вещи, которые тем мучительнее слышать, что не всегда на них можно огрызнуться. Иногда совесть не позволяет.

И вот есть несколько слов и несколько имен, которые выручают русского за границей. Он уже готов опустить голову, сдаться, почти расписаться под объявлением о банкротстве. Тогда вдруг на спасение в памяти у него вспыхивают эти магические слова и особенно эти имена, всемогущие, непобедимые. И картина меняется: «наш за границей» опять подымает голову и гордо смотрит в глаза туземцу, потому что теперь туземцу нечего возразить.

Верьте мне или не верьте, но среди этих спасающих имен, очень многочисленных, отведено далеко не последнее почетное место имени г-на Новикова.

Никто не пророк в своем отечестве. У нас г-на Новикова знают по его думской деятельности. И надо быть справедливыми: г-н Новиков — не практик, поэтому роль гласного думы ему не подходит. Но в Европе «Жака» Новикова знают иначе. В Европе, когда вы произнесете это имя, каждый образованный человек сочувственно кивнет вам головой. Потому что там, в Европе, это — имя крупного рыцаря гуманности, страстного врага войны. Имя одного из лучших предводителей лиги вечно мира и, наконец, имя даровитого проповедника одной из

¹ Пляска смерти (*фр.*).

благороднейших грез политического идеализма, воплощение которой было бы истинным праздником человечества, — идеи о всемирной федерации государств.

Откуда же Европа знает об этих достоинствах «Жака» Новикова, совершенно неведомых нам, его согражданам? Из тех самых книжечек, обложку которых Хеврониус принял за желуди и потому расчавкал. Расчавкал и при этом изумился: почему по-французски, а не по-русски? Наивность индивидуума, которого нянька в детстве шлепала все по голове, а не по другому пункту. Находила всегда, что это все равно.

Да-с, господа. Если перед вами за границей выше меры хулят Россию, вы смело и даже с гордостью можете назвать этого самого «Жака» Новикова, и будьте уверены, что вас поймут и что *там* никто не захрюкает на это популярное, чтимое, симпатичное имя.

А интересно знать, какой эффект произвело бы там произнесенное в обществе имя Хеврониуса?

Вероятно, вывели бы вон.

Altalena

Одесские новости. 12.10.1901



Вскользь

«Старый дом» Ал. М. Федорова прошел в столице без успеха. Мне кажется, что это потому, что его там не сумели сыграть. «Старый дом» — не такая пьеса, которая могла бы провалиться перед чуткой публикой. Поэтому все знаки неодобрения, которые г-ну Федорову довелось на этот раз услышать перед изменчивой рампой Александринского театра, должны быть записаны в свой счет исполнителями. Это *им* шикали те, кто думал, будто шикает автору: исполнителям, бывшим на сцене, режиссеру, стоявшему за кулисами... и вообще, может быть, *чему-то такому*, что было во мраке и в тайне за кулисами.

Здесь, конечно, не в деталях было дело. Я не знаю, эффектно ли скреблась там мышь под половицами забытой комнаты, и хорошо ли был уловлен тот особенный шум, который, по ремарке г-на Федорова, слышится в нежилых помещениях. Это никакого значения не имеет. Этого могло и не быть. Правда, публика — и с нею добрых девять десятых из просвещенных критиков — считают именно эти шумы и скребения мышей

за признак «настроения» только потому, что такие приемы пустил в ход Чехов, родоначальник школы настроения. Но это мнение доказывает только то, что публика есть публика, и что среди критиков одесские пронизательные рецензенты, господа Еф и Кф, не являются уж такими вопиющими исключениями.

«Настроение» — совсем не в том.

Прежде хорошие пьесы писались так, что из них вытекала какая-нибудь общая идея, а если точно сформулированной идеи не было, то хорошая пьеса властно заставляла зрителей задумываться над какими-нибудь вопросами. Но теперь «идеи» и «вопросы» уж давно не так волнуют нас, как прежде. Не то чтоб «идеи» и «вопросы» нам надоели, а скорей мы разочаровались в них. Столько их перерешило и обмозговало русское общество — я говорю о лучшей его части, — что теперь уж кажется неуместным еще проповедовать. И о чем проповедовать? О меньшем брате? О правах женщины? Слыхали. Слыхали, запомнили, наизусть выучили... Только вот толку не вышло, идеи идеями остались, и в жизнь их еще не удалось провести, и Бог весть, когда удастся. Тут тоска берет, тут не до новых «идей» и не до новых «вопросов».

Поэтому теперь хорошая пьеса стала иною. Она ничему не поучает: она говорит не голове. Она действует непосредственно, как музыка, — и, как музыка, овладевает той частью души, которая вне контроля головных соображений. Она не того хочет, чтоб вы ушли из театра, ломая себе голову над новым «вопросом». Она хочет, чтобы после занавеса ваша душа осталась на часть окрашенной в тот цвет, которым написана картина. Она *настраивает* душу, как скрипку, по своему камертону. Вот почему она — пьеса настроения.

Шумы нежилой комнаты или звенящие сверчки здесь ни при чем. Это — любимый прием Чехова и больше ничего.

Настроение, настоящее настроение в «Старом доме» есть, и есть не потому, что там мыши скребутся, а потому, что вся пьеса им проникнута.

Школа настроения так еще молода — в русском театре она представлена пока только Чеховым. Теперь г-н Федоров выступил со «Старым домом». Обыкновенно в таких случаях вторая посылка бывает перепевом первой. Но здесь этого нет. «Старый дом» вносит новый тон. Его настроение не чеховское.

С пьесы Чехова вы уходите в тоске. Вся душа у вас звенит и поет жалобой на серый провинциализм той жизни, которой мы нудимся на белом свете.

В «Старом доме» тоски и жалобы нет. В этой пьесе невидимо разлито что-то другое — из ее аккорда выделяется другой основной тон. Если бы перед вами хорошо разыграли эту пьесу, нам бы стало уже не тоскливо, а *жутко*, жутко, потому что вы бы почувствовали в воздухе атомы вековой, застарелой, ничем неизгладимой *ненависти*, которую сила вещей отравила человеческую душу.

Припомните, что в «Старом доме» выведены «друзья детства» Палаузов и Силуянов. Оба равны по своему развитию и образованию, но второй из них — сын крепостного, а первый — сын рабовладельца. И поэтому, несмотря на старую дружбу и современность взглядов, у обоих вся душа бессознательно проникнута ненавистью друг к другу. Приходит повод, и эта ненависть прорывается наружу.

Петербургские критики недоумевающе спрашивают себя: зачем в пьесе портреты предков помещика Палаузова? Зачем Палаузов с этими портретами разговоры разговаривает? Или, как это его «друг» Силуянов, такой по-мужицки ровный и скрытный, вдруг ни с того ни с сего палит в Палаузова заявлением: «Я люблю твою жену»?

Корень этих вопросов — в том, что столичные Ефы и Кфы так же мало поняли суть «Старого дома», как и режиссер «Александринки». Ведь портреты предков — это ибсеновские «призраки», тот источник, из которого стелется над старым домом атмосфера непобедимой *gancine*, или, по-русски, но не так точно — ненависти. Эта ненависть, осевшая на дне сердца, толкает Палаузова к изображениям его дедов-крепостников, чтобы у них найти опору и вдохновиться раздражением против победителя-хама. И неожиданная выходка Силуянова, это «люблю твою жену», чем резче она противоречит всему характеру мужицкого сына, тем ярче оттеняет то, что и в душе у ровного, дружелюбного Силуянова кроется залежь многолетней ненависти.

Но так как слово «ненависть» в пьесе не произносится и перстом не указано, то ни Ефы, ни Кфы, ни александринский режиссер не поняли, в каком тоне надо было «настроить» актерский оркестр.

Раз основной фон не понят, ученические вопросы «а почему?» очень понятны.

Кто-нибудь мог бы ответить то, что режиссер ни при чем, так как сам г-н Федоров принимал участие в постановке своей пьесы. Но это, так сказать, резон для некурящих. Курящим же

известно, что «участие» автора в этих случаях ведет только к озлоблению актерских самолюбий, со всякими последствиями оного...

Для пьесы г-на Федорова есть театр, где и режиссер ее понял бы, и артисты передали бы как следует, и публика была бы побеждена: это — Художественный театр Немировича и Станиславского в Москве. В Александринском театре этих пьес не умеют ставить. Ведь неправда то, что петербургская публика когда-то освистала чеховскую «Чайку»: нет, публика была ни при чем — это александринская *труппа* провалила одну из лучших жемчужин русской сценической сокровищницы.

Пусть пример «Чайки» будет утешением для г-на Федорова.

Altalena

Одесские новости. 13.10.1901



Биржевой зал

Концерт братьев Сапельниковых привлек вчера в зал Новой биржи довольно много публики и сопровождался овациями и обильными подношениями. Талант г-на Сапельникова-пианиста слишком хорошо известен нашей публике, чтобы нужно было останавливаться теперь на его характеристике. Достаточно сказать, что вчера артист был особенно в ударе и проявил лучшие стороны своего выдающегося дарования. Главным номером программы нужно признать редко исполняемую концертантами вдохновенную фортепианную сонату Чайковского. Богатство мелодий и замечательная техническая разработка их ставят это произведение покойного композитора на высоту, которая вряд ли была достигнута его современниками и последователями. Прекрасная первая часть этой сонаты и единственное в своем роде по красоте скерцо могут быть причислены к лучшим созданиям фортепианной литературы вообще. Сыграна была соната Сапельниковым превосходно; особенно удались ему бравурные энергичные места первой части. Замечательно отчетливо и в истинно классическом стиле была передана артистом fuga Баха, а в рапсодии Листа г-н Сапельников положительно ослеплял своей гигантски развитой техникой. Меньше нам понравилось исполнение фанта-

зии Шопена, прелюдии Мендельсона и арабесок Шумана. Темп двух последних вещей был взят чересчур быстрый в ущерб ясности мелодий, да и вообще произведения эти были сыграны с излишней нервностью. Г-н Сапельников-скрипач произвел на этот раз худшее впечатление, чем на своем самостоятельном концерте. Быть может, этому виною огромный биржевой зал, в котором положительно терялись звуки его скрипки. Кроме того, г-н Сапельников заметно грешил против чистоты интонации (в «Ноктюрне» Шопена, «Зефире» Губая), что, по-видимому, следует приписать постоянно почему-то расстраивавшейся скрипке. Лучше всего исполнено было г-ном Сапельниковым «Perpetuum mobile»¹ Риса, где он обнаружил отлично и равномерно разработанную технику обеих рук. Относительно исполнения остальных номеров программы нам приходится повторить то, что мы уже не раз говорили: г-ну Сапельникову следует выработать более полный тон и обратить особенное внимание на содержательность исполнения.

А.

Одесские новости. 13.10.1901



Вскользь

Слушал оперу и оперетку.

Мне кажется, что опера — самое курьезное изобретение человека. Понятно, я ничуть не намерен ее «отрицать». Было бы глупо «отрицать» то, что неопровержимо доставляет эстетическое наслаждение огромному множеству людей.

Но попробуйте вдуматься, как это, собственно, смешно. Паж должен вбежать и объявить:

— К воротам замка подъехал король во главе своего отряда.

И все. И это — самая прозаическая фраза, какую только и можно выдумать. Это — сухое известие, репортерская заметка, телеграмма. Смело можно обещать миллион в премию тому, кто укажет в этой фразе хотя бы чуть тлящийся намек на поэзию. Спросите какого угодно свежего человека: он вам ответит, что пристегивать музыку к таким словам, это — абсурд. Это, — скажет он, — напоминает того анекдотического офицера,

¹ «Вечное движение» (лат.).

любителя пения, который требовал, чтобы денщик рапортовал ему не иначе как руладами. Однажды денщик прибежал впопыхах со словами:

— Ваше благородие, кухня...

— Пой!

И денщик запел:

— Ва-аше благородие...

— Да ты не комкай, а выдерживай темп.

Денщик выдержал темп и спел:

— Ваше благородие, ку-ухня гори-и-ит!

А тем временем и чуланчик занялся.

Оперные композиторы поступают, как этот офицер. Фраза «король подъехал к воротам замка», находящаяся в опере «Эрнани», звучит в пении совершенно так же глупо, как рапорт о горящей кухне, положенный на ноты.

Я очень люблю музыку «Евгения Онегина». Но не могу и вообразить себе ничего смешнее и нелепее, чем сцена первого знакомства.

— Mesdames, я на себя взял смелость привести приятеля. Рекомендую вам: Онегин, мой сосед, — заливается Ленский.

А Онегин бунчит:

— Я сча-а-астлив!

Ужасно поэтично!

Не о том я говорю, что в жизни вообще не поют, так что и на сцене петь не надо. Это бы ничего не значило. В природе нет пейзажей только белого и черного цвета — однако рисунки черным карандашом могут очень верно и художественно давать иллюзию этой самой разноцветной природы. И хотя в жизни люди и говорят, а не поют, пение на сцене может также дать иллюзию жизни. Но для этого надо, чтобы слова соответствовали музыке. Точнее — чтобы слова стоили музыки. Задача музыки — трогать и волновать. Когда слова текста тоже рассчитаны на то, чтобы тронуть и волновать, музыкальная иллюстрация их только усиливает впечатления. Но когда слова являются голым сообщением о приезде короля или пожаре на кухне — распевать эту весть по нотам до чрезвычайности глупо.

Я не думаю, чтобы такие не идущие к музыке места можно было устранить из оперных либретто. Какому искуснику ни поручите составления текста, от прозы — хотя бы и стихотворной — не убежишь. Она и явится той нитью, на которую будут

нанизаны поэтические номера. Даже либретто «Богемы» — шедевр в этом отношении — изобилует сухими остротами, которые никого не смешат, и вообще фразами, которые, положенные на музыку, напоминают седло на корове.

Мне кажется, что эти неустранимые «мертвые места» оперных либретто не должны иллюстрироваться музыкой. И еще мне кажется, что так оно и случится. Части публики уже смешно, когда Ленский «рекомендует» Онегина по нотам; мало-помалу над этим станет смеяться *вся* публика. Тогда и композиторы спохватятся.

Я мечтаю о превращении оперы по структуре в оперетку. Или, если предпочитаете, о возникновении *серьезной оперетки*, легкий полунамек на которую виден, может быть, в «Наталке Полтавке».

Теперь оперетка по содержанию пуста, а по исполнению неприлична. За немногими исключениями (наша венская труппа, конечно, первая в их числе) в оперетку поступает худший актерский и голосовой материал. И, в придачу к этому, лучшие композиторы гнушаются опереткой.

А ведь в самой идее оперетки нет ничего унижительного: это просто драма или комедия с музыкальными номерами. У Шекспира почти все пьесы написаны прозой и стихами попеременно, и это, кажется, не лишает их «серьезности».

Когда опера превратится в оперетку — это, по-моему, должно случиться, — получатся следующие выгоды. Во-первых, либреттисту будет легче создать действительно художественное произведение. Во-вторых, репортажа по нотам не будет: только выдающиеся, центральные, сами по себе волнующие пункты текста будут исполняться *contando*. Это — кстати — облегчит публику и позволит ей внимательней отнестись к отдельным красотам музыки.

И красот этих будет больше, потому что композитор не разменяет своего золота на гроши для «музыкальной иллюстрации» вот таких поэтических перлов:

— Кто идет? Кто идет? Кто идет? Ти-та-ти-та-титатам?

Altalena

Одесские новости. 15.10.1901



Вскользь

ГОСПОЖА ШАПОКЛЯК

Всякие бывают псевдонимы, но такого псевдонима вы, верно, себе не воображали. Напечатан фельетон и под ним подписано: «Шапокляк». И публике при этом ведомо, что автор — дама, очень известная дама.

Псевдоним, когда он — имя нарицательное, должен намекать на тон, вкусы и направление литератора. Например, если под фельетоном подписано «Насекомый», это вам мгновенно уясняет, в чем дело: вы заранее понимаете, что тон будет моветон, направление небрезгливое, а вкус... Вкуса, правда, не знаю, но зато будет запах... бр... лучше не говорить об этом.

Псевдоним «Шапокляк» намекает на возвышенные сферы. Бальный зал, дамские плечики, черные кавалеры с этими блинчиками в руках... Тон — фешенебельный, вкусы модные и направление — благовоспитанное.

Пишет под этим псевдонимом очень талантливая романистка. Автор прелестных рассказов, переведенных на все языки. Автор художественного описания Святой Земли, звучащего глубоким религиозным чувством. Содержательница маклерской конторы для продажи должностей по неаполитанской городской службе. И редактор-издательница газеты *Mattino*, лейб-органа этой маклерской конторы.



Не думаю, чтобы еще где-нибудь на свете была более грязная и отвратительная пресса, чем неаполитанское трио: «Corriere di Napoli», «Don Marzio» и «Mattino» — причем последнее да будет первым.

Есть гадкие листки в Париже, но не то. Есть «Петербургский листок» и «Московский листок», но не то. Разве, может быть, в Лондоне найдется что-нибудь подобное. Потому что в Англии вообще есть много такого, чего, собственно, никто бы не ожидал.

Мерзость неаполитанского трио лежит главным образом не в том, что называют игрой на низких инстинктах массы. Грязных сальностей там, например, вовсе нет. Напротив, этим

газетам нужно выдерживать благопристойность. Иначе им и их заправилам — выскочкам, и без того висящим в положении мещан во дворянстве, — грозила бы опасность лишиться доступа в аристократические салоны — обнищальные, грязные, распутные, но не терпящие сальностей в газете, точь-в-точь как Нана.

Насчет остальных «инстинктов» в Италии трудно. Не на кого науськивать массу, разве только на богачей. Но это не в интересах консервативных листков. Чехов нет, поляков нет, внешние враги созданы так искусственно, что итальянскому сердцу бесконечно милее «враг»-француз, чем «друг»-австрияк. Есть евреи, но живут они скромно и незаметно, и об антисемитизме в Италии даже не принято разговаривать. Впрочем, «*Corriere di Napoli*» промышляет понемногу и антисемитизмом. Правда, редактор-издатель этой газетки сам еврей, но плевать ему на это обстоятельство. Такой пустяк не может интересовать его, когда в редакции получается письмо из Алжира за подписью известного писателя Мисази.

Но это — частный случай. Вообще-то трио, о котором я говорю, не стремится влиять на толпу ни в какую сторону.

Это — не уличные газеты. Это еще хуже.

Уличная газета науськивает. Значит, она внушает темному люду какую-нибудь идею — грязную, подлую, но все-таки идею. Такая газета служит извращенной мысли, но все-таки мысли. Это все-таки газета, все-таки почти литература.

«*Mattino*» не есть литература.

«*Corriere di Napoli*» не проводит и не развивает ни-ка-ких идей.

«*Don Marzio*» совершенно не интересуется тем, будет ли население считать белое белым или гнилое свежим.

Эти газеты существуют не для того, чтобы рассуждать. Их назначение — одно и простое: помогать содержателю.

Есть в Неаполе публицист г-н Скарфольо. Ему важно зарабатывать много денег и пользоваться влиянием. Поэтому он становится содержателем газеты. Является полезный человек такой-то — газета пишет о том, что дочка полезного человека такого-то отличная пианистка, а у жены прелестные зубки. Нужны на послезавтра деньги — завтра в газете будет статья о том, что такой-то банк — очень хороший банк и директор его душка; и кстати напоминается, что 2 августа (а теперь март) именины директорского ребенка — этого белокурого ангелочка. Только для этого газета и существует. Остальное не имеет значения:

объявления печатаются для того, чтобы за них платили. Городские происшествия и фельетонный роман — так себе. А больше нет ничего.

Это уж не газета. Это — хроническое поздравительное стихотворение из тех, которые посылаются его превосходительству с приложением просьбы о пособии в размере 25 рублей.

Эта газета и есть «Mattino», а центральный отдел ее ведет госпожа «Шапокляк».



Называется этот отдел «Mosconi» («Комары»). Фельетон как фельетон — абзац от абзаца отделяется звездочками. А в абзацах говорится вот что.

Первый:

«Праздник материнской любви... Что чище и выше материнской любви — этой искры великой любви Богочеловека, зароненной в нежную женскую душу? Торжество этой любви симпатично праздновалось третьего дня в элегантном палаццо Майали, где в бельэтаже обитает милая семья почтенного адвоката Теста ди Леньо. Ромильде, прелестной дочурке адвоката и грациозной синьоры Катерины, исполнилось в этот день четыре года. Милое дитя, которому родители и друзья дали хорошенькое ласкательное прозвище Пуппи, получило множество ценных и изящных подарков. Слух многочисленных гостей очаровала своим пением юная и прелестная синьорина Эрсилія, дочь почтенного издателя дона Рикардо Бадрони. У синьорины Эрсиліи поистине чудный голос. Кроме нее отличался элегантный синьор Чиччо Труффатори, продекламировавший с поразительным искусством одно из своих лучших стихотворений. Поздравляем с таким талантливым сыном счастливого князя Антонио, это светило нашей городской управы. Среди присутствовавших я отметила: маркизу Пуччи, прелестную княгиню Печчи (с приездом!), графиню Поччи, баронессу Паччи, белокурую синьору Пиччи с обеими юными дочками — старшая из которых, черноокая Аделаида, в ближайшем времени выйд... Впрочем, я не хочу быть нескромной — пусть на сладких тайнах сердца до поры до времени лежит густая белая фата! Семейный праздник закончился не раньше рассвета. Милой новорожденной и ее родителям наши лучшие пожелания».

Звездочка. Потом:

«Я спешу обрадовать своих прелестных читательниц. Помните? Помните, как мы опечалились, когда роскошный магазин синьоры Фарабутти — этой волшебницы дамского наряда! — исчез с угла улицы Тоledo и улицы Контероссо, и на месте его осталась только унылая пустота черных окон с приклеенными белыми листками? О, подруги, в лагере женщин сегодня отменяется траур и воцаряется прежнее веселье. Дорогая синьора Фарабутти хотела только испугать нас: ее чудотворная мастерская сияет теперь своей золоченой вывеской — где? Угадайте! На Биржевой площади. Прежнее помещение было роскошно? Новое ослепительно. В прежнем красавицы-клиентки находили все парижские моды? В новом они встретят лицом к лицу сам Париж. О, синьора Фарабутти! Можно ли так жестоко испытывать своих друзей?»

Звездочка. Потом:

«Маленькая почта. *Беспомощной Марьетте*: Не знаю, на какое число приходится день святого Гоффредо. Вы можете узнать это из полного календаря, который найдете в магазине Титоки-пассаж Умберто, № 7»...

Достаточно?

Это все пишет Матильда Серао, женщина, которой нет теперь равной по таланту среди писательниц, — женщина, повести которой проникнуты такой чудной, благородной, задушевной грустью, — женщина, вышедшая снизу, глубоко снизу, и знакомая с тяжелой школой жизни, — женщина, добывающая повышение городovým за плату в двести франков...

Матильда Серао!
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа внушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он...

Altalena

Одесские новости. 16.10.1901



Русский театр

Вчера труппа г-на Каstellано с г-жой Гальвани во главе прощалась с одесской публикой в архаической, выслужившей все сроки «Сомнамбуле». Примитивные мелодии этой оперы, от которых таяли наши деды и отцы, оставляют холодным современного слушателя, избалованного сложностью новой музыки. Постановка таких опер в наши дни понятна поэтому только тогда, когда в труппе есть такая выдающаяся артистка, какой, несомненно, является г-жа Гальвани. Голос ее, правда, обыкновенного тембра, как бы создан для колоратуры, и, слушая ее головокружительные пассажи, свободную трель и бисерное *staccato*¹, кажется, что все эти вокальные кунштштюки проделывать так же легко, как простым смертным говорить. Кроме того, артистка вчера свободно держалась на сцене и внесла жизнь даже в такую неблагоприятную роль, как в роль Амины — Сомнамбулы. Успех г-жа Гальвани (бывшая вчера еще и бенефицианткой) имела огромный, превратившийся после исполнения ею сцены из «Диноры» в овацию. Лучи ее успеха рикошетом упали на господ Каstellано и Абате, которые также были неоднократно вызваны. Из остальных исполнителей лучшим оказался г-н Веккиони, мягкий голос которого отлично звучал в тягучих беллиниевских мелодиях. Недурен во втором действии был г-н Квартти, зато в первом он пел вяло и часто детонировал. Г-жа Нунец (трактирщица Лиза) была довольно слаба; голос ее звучал некрасиво, и многого в отношении чистоты оставляла желать интонация. Хоры шли совсем хорошо, особенно в финальном ансамбле второго действия. Недурно справлялся со своей, правда, нетрудной задачей и оркестр.

Altalena

Одесские новости. 16.10.1901

¹ Стаккато, отрывистое исполнени музыкальных звуков (*итал.*).



Вскользь

Вчера я получил письмо из родного захолустья. Письмо — от маленького кузена Мурчика. Он пишет:

«...Тебе, верно, будет интересно узнать, что делается теперь в нашей прогимназии. У нас все тот же инспектор, который, помнишь, воспитал и тебя. Он за последний год сделал несколько перемен для того, чтобы учение шло лучше. Теперь мы сидим в классах по росту: маленькие впереди, а большие сзади. Одного дылду посадили на последней скамье, и он сказал, что он очень близорук, а инспектор сказал, чтобы он купил себе очки. На переменах мы теперь должны ходить парочками вдоль коридора и назад, по правой стороне, как извозчики. Оглядываться можно, только если очень нужно, и нельзя делать больше семидесяти шагов в минуту. Мы теперь все ходим и считаем шаги, а инспектор стоит посередке и смотрит, чтобы никто не махал руками.

Теперь он говорит, что будет сделано еще несколько важных перемен. Греческий язык будут изучать только те, которые сами захотят. У нас в прогимназии не будет ни одного такого дурака. Поэтому грека рассчитают совсем. Мы все ужасно жалеем, что инспектор у нас преподает только латинский язык.

На прошлой неделе у нас был первый урок естественной истории. Учитель тот самый, что по арифметике. Он объяснил нам все устройство: как Бог создал человека и его жену, а потом животных и полезные растения для того, чтобы люди их ели, и ядовитые растения для того, чтобы люди их не ели. На урок пришел инспектор. Он сел рядом со мной, взял мой ранец, надел пенсне сверх очков и стал копать и просматривать все мои книги и тетради и при каждой кляксе шептал мне: «Чумичка!» После урока он сказал, чтобы мы учились прилежно по естественной истории, иначе будем получать двойки, и останемся на второй год.

Говорят, что у нас будет новая форма с красными ленточками. Инспектор говорит, что это будет очень полезно для того, чтобы учение шло лучше, потому что красную ленточку легче заметить на улице. Поэтому теперь ленивые ученики будут меньше шляться (так он сказал). Я думаю, что это неверно. В сумерки или вечером красной ленточки издали не увидишь.

Было бы лучше, если бы форму сделали такую, чтобы к поясу была привешена красная лампочка. Или можно так: прицепить к каблукам бубенчики, они будут звенеть, и будет ясно, что идет гимназист, даже если он прячется. А чтобы гимназисты не снимали башмаков, можно приклеивать их сургучом с печатью прогимназии и проверять каждую субботу.

Третьего дня инспектор после молитвы сказал нам, что приехал ревизор, чтобы посмотреть, какие еще перемены надо сделать в нашей прогимназии, и что ревизор будет на большой перемене. На большой перемене нам не позволили завтракать. Мы выстроились в две шеренги, и он прогнал домой одного ученика, у которого на носу волосатая бородавка. Потом пришел ревизор. Он на вид был очень добрый. Мы ему закричали: «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Он засмеялся и пошел домой. Я дома рассказал это маме.

Видишь, я исписал теперь шесть страничек, а ты никогда ничего не напишешь. Все здоровы и кланяются тебе. Мама тебе пишет. Ответь поскорее и пришли мне какие-нибудь итальянские почтовые марки. Если не редкие, ничего, я двойники вымениваю.

Любящий тебя Мурчик».

Altalena

Одесские новости. 17.10.1901



Вскользь

Надо отдать, однако, справедливость гимназиям, прогимназиям и реальным училищам. Там ребенка не колотят даже в приготовительном классе, разве только свои же братья-товарищи. От директора и до того лица, которое начальство называет «педелем», а ученики иначе, никому и в голову не придет поднять на гимназиста руку.

Как это ни странно, но общественные школы, даже лучшие из них, далеко еще не дошли до таких верхушек прогресса: в училище «Труд» мастера, как известно, помаленьку боксируют. А если так обстоит дело с общественными, то интересно бы знать — как оно поставлено в частных? Бьют или не бьют?

У меня есть только сведения об одесских частных школах для девочек. В этих училищах, несомненно, не бьют. По крайней мере, не слышал. Напротив, работают в этих школах моло-

дые женщины, любящие педагогическое дело, часто воспитательницы по призванию, образованные и проникнутые передовыми веяниями педагогики. Во многих из этих училищ даже совсем не наказывают детей — не ставят их в «угол» и не оставляют без обеда.

Но как живется в низших частных школах мальчишкам?

Это — «совсем другая разница», как говорят у нас под эстакадой. О передовых веяниях педагогической науки по этому поводу, конечно, и мечтать воспрещено: это хорошо только для бабышень. У мужчин, конечно, строгость и дисциплина.

Но строгость строгостью, а вопрос вопросом: бьют или не бьют?

Не знаю. Но могу предоставить историческую справку.



В Одессе процветает училище для мальчиков г-на ...на. Г-н ...н успел даже получить какой-то знак отличия за услуги по народному образованию. Тем не менее вот какие вещи — не в обиду будь сказано г-ну ...ну — передавал мне один из его неблагодарных бывших учеников.

Поступив в заведение г-на ...на, этот ученик застал там четыре воспитательные меры.

Во-первых, пощечины.

Во-вторых, щелчки по темени.

В-третьих, дранье за волосы.

В-четвертых, порку розгами и линейкой при благосклонном участии штанов или без оного.

Эти четыре приема считались обязательными и входили, так сказать, в программу, которой следовали все учителя. Но при этом у некоторых преподавателей были свои индивидуальные меры.

Сам г-н ...н, например, любил колотить учеников линейкой по ладоням, а преподаватель чистописания г-н ...с щипал детей за кожу под подбородком и тряс, приговаривая:

— Собачья тварь!

Вы, конечно, можете сказать, что хороши же были и ученики, если с ними приходилось так обращаться. На это я тоже отвечу исторической справкой.

Мой знакомый, со слов которого я передаю эти отрадные сведения, предложил однажды своему соседу по скамье известную загадку:

— Две палочки, на палочках бочка, на бочке арбуз, а на арбузе звери бегают — что это такое?

Сосед не угадал, что это есть человек, и с досады пожаловался:

— Он говорит мне глупости!

Это было на уроке самого г-на ...на. Г-н ...н не осведомился даже, какие именно глупости говорил мой знакомый, а просто выпорол его.

И заметьте, что мой знакомый — сын зажиточной семьи, так что он в училище г-на ...на был еще в привилегированном положении. Другим приходилось и хуже.

Это, правда, времена прошедшие. Но, с другой стороны, еще недавно сравнительно мой знакомый, не помню за какими справками, пришел в свою старую *alma mater*¹ и, проходя по коридору мимо одного из классов, остановился. Он узнал голос г-на ...на, который произносил:

— Двести тридцать одна тысяча семьсот сорок шесть... Пиши, паршивец!

Тогда мой знакомый пожертвовал справками и ушел восвояси, сказав сам себе успокоительным тоном:

— *Semper idem!*²



За частными школами нужен строгий надзор, потому что частные школы, как иной раз и газеты, нередко основываются исключительно для денежной наживы.

Нужно было завести табачную лавочку или комиссионную контору — взяли да учинили для разнообразия училище 3-го разряда. Но природа лавочника остается природой лавочника. И так как душа лавочника, собственно, всегда мечтает о торговле сушеной рыбой, то в заведениях этого рода и на ученика смотрят, как на тарань.

Но надзор свыше не приведет ни к чему, пока эта тарань останется безусловной рыбой. Детей колотят и будут колотить, а до надзора не дойдет об этом ни намека, потому что первоисточник — сами ученики — будет молчать. Будут молчать потому, что будут бояться. Ведь распорядился же по-своему г-н Гофман с двумя смельчаками, которые отважились обвинить его.

¹ Университет; букв. «мать-кормилица» (*лат.*).

² Везде одно и то же (*лат.*).

Надо прямо и недвусмысленно уяснить учащимся и их родителям, что не должно быть в России такого учителя, который имел бы право задрать свой хохол превыше закона. Дать ученикам и их родителям право жаловаться на такого надменного господина — но не рискуя при этом зеницей ока за один факт жалобы, даже если она добросовестна. Русские суды, слава тебе, господи, доказывают, что и у нас дорожат правовыми гарантиями человеческой личности. Но если они нужны взрослому человеку, то тем более нужны они человеку растущему, для того чтобы он вырос в уважении к закону и привык ему повиноваться не только за страх, но и за совесть.

P.S. «Мурчику». — Попробую воспользоваться. Спасибо.

Altalena

Одесские новости. 18.10.1901



Вскользь

Мы схоронили наборщика.

Когда вы пишете пером, буквы там легко бегут одна за другой. Вы даже не замечаете, как от *м* переходите к *и* и как постепенно получается «милостивый государь». Вам кажется, будто каждое слово не мало-помалу, а мгновенно возникает у вас под пером — как светлая черта, когда вы в темноте чиркнете дешевой спичкой по стене. И вам не приходит в голову, как медленно, трудно и грузно складываются те же слова из свинцовых палочек.

Человек провел в царстве этих свинцовых палочек почти тридцать лет, работал честно с утра до ночи и ночью, создал себе трудом сносное положение и в своем сравнительном довольстве не забывал помогать товарищам. Это был хороший человек — легкою да будет ему земля.

От чего он умер? Конечно, от чахотки.



Этой зимой я часто ходил в одну маленькую артельную типографию, где печаталась маленькая вечерняя газета. Было там восемь наборщиков, включая метранпажа.

Наборщики были очень приветливые ребята. Раз или два после выхода газетки, когда три десятка мальчишек-разносчиков бегом исчезали в сумраке вечера, выкрикивая звучное заглавие, мы с наборщиками отправлялись вместе закусьвать. Они были так же хороши в качестве собутыльников, как за станком.

Однажды из восьми их стало семеро: одного отправили в больницу. На следующий день типографский мальчик пошел в больницу и принес известие, что товарищ умер.

Я как раз тогда был в наборной комнатке. Я едва только успел узнать об отправке покойного в больницу, когда пришла эта весть. И у меня слетел глупый и наивный вопрос:

— От чего он умер?

Наборщик, стоявший за моей спиной, ответил:

— Конечно, от чахотки.

От этого «конечно» по мне пополз холодок. И вдруг я в первый раз заметил, что по этой комнате вообще и всегда, независимо от градусника, плавало какое-то неуловимое, сырым холодом пробирающее дыхание. От серых станков и серых букв так было неуютно, хмуро, холодно... «Зимно», как красиво говорят поляки.

Другой наборщик отозвался:

— Наша судьба. Все мы этим концом кончаем.

Потом, после долгого молчания, третий сказал:

— В прошлом январе — один, осенью — другой, теперь — третий.

Кроме нас четырех и мальчика в эту минуту в наборной не было никого. Рабочий, стоявший у меня за спиной, понизил голос и сказал:

— Я знаю кандидата на эту осень.

Оба наборщика и мальчик выпрямились и вопросительно посмотрели на него.

У меня не хватило воли обернуться. Он, вероятно, сделал рукой знак в сторону соседней комнаты и указал им на завтрашнюю жертву свинца. Я не видел. Наборщики ничего не ответили, ничего не выразили на лицах и снова принялись за работу, и застучали свинцом, этим подлым грязным металлом, который идет на пули и на фальшивые монеты, который даже не умеет звенеть, а только стучит отвратительным мертвенным стуком. Меня не интересовало узнать, кто именно умрет

осенью, но невольно в памяти у меня всплыли портреты этих семи наборщиков, одного за другим. И вдруг меня поразило, как я до той минуты не замечал, что у всех у них были сероватые лица с белыми лбами, нехорошей белизны худого сока.

В комнате было хмуро и холодно. Мне подумалось, что если бы сквозь западную стену вдруг ворвался широкий солнечный луч, в нем пылинки не закружились бы, как всегда, искрясь и переливаясь, а поплыли бы важно и грузно, темно-серым угаром, не блестя и не вздрагивая. Это были бы пылинки свинца.



Над такой могилой в голову ползут мучительные мысли. Пока земля шуршит и рокошет, торопясь убрать от нас фиолетовый ящик, мы думаем не об усопшем, а о себе.

Собственно, видели его в жизни мельком, и лица даже не запомнили, — а мало ли мы виноваты перед этим уходящим и безответным?

Вот недавно, еще на прошлой неделе, может быть, послали статью не в три часа, а в семь. Правда, раньше не успели. Но статью для спеха раздали нескольким наборщикам, и одна часть досталась ему. Кто же вправе сказать, что не тогда именно, не за этой неурочной работой вползла в его грудь последняя, смертельная свинцовая пылинка?

А потом, еще позже, вечером, мы, быть может, вспомнили, что в этой статье одно место недостаточно сильно, не так остроумно, как бы следовало. И побежали в типографию вставить несколько жалких красных словечек. Он терпеливо принял бумажную полоску, укрепил ее и снова застучал.

Потом эта статья вышла утром в газете во всем своем блеске, и одна половина читателей ее не дочитала, а другая забыла, и ничего, ровно ничего из этой статьи не вышло, кроме того что умер отравленный человек.

Дышат, дышат люди и свинцом, и углем, и хлопком, и опилками, столько веков дышат всякой дрянью на пользу человечеству, и поди ищи, спрашивай, докапывайся, где эта польза!

Altalena

Одесские новости. 20.10.1901



Вскользь

О СРЕДНЕМ СЫНЕ ПАТРИАРХА НОЯ

К одному аптекарю Латинского квартала явился недавно субъект. Делая покупку, субъект выспрашивал аптекаря об учащейся русской молодежи в Париже.

Аптекарь почуял в субъекте выгодного клиента и разговорился. При этом, конечно, принимая во внимание род покупки, за которой пришел субъект, аптекарь особенно постарался насчет клубнички. Субъект остался очень доволен, хихикал, причмокивал, пускал слюну изо рта и благодарил за сообщения.

Это был редактор-издатель петербургской ежедневной газеты «Доносчик». И в ближайшем выплевке газеты «Доносчик» эти аптекарские сообщения были напечатаны в русском переводе.

Все это очень естественно. Субъект никогда ничем иным не занимался: он всегда клеветал. Нет на Руси такого имени, такого учреждения, такого сословия, которого этот субъект не оклеветал. А если есть такое, то пусть успокоится: придет и его очередь в каком-нибудь из ближайших выплеков газеты «Доносчик».

Собственно, к этому уже так привыкли, что даже не пожимали плечами. Во-первых, «Доносчика» не читали. Во-вторых, даже прочтя, забывали. Но, очевидно, не всякие слова можно безнаказанно произносить, хотя бы даже и в секретном непотребном месте. И аптекарские побасенки об отношениях между русскими студентами и студентками, хотя и подписанные именем указанного субъекта, были признаны заслуживающими опровержений.

Выступаю, безусловно, против авторов этих опровержений и в защиту субъекта.

Авторы опровержений кругом виноваты. К чему такой шум? Правда, субъект на этот раз позволил себе больше, чем всегда. Но это не причина. Можно было прочесть, вымыть руки и спокойно отправить и этот выплевок газеты «Доносчик» туда, куда сам Людовик XIV ходил пешком.

Напротив, субъект кругом прав и аптекарь прав.

Аптекарь рассуждает так:

— Помилуйте! Русские студенты видят, что русские студентки живут одни, без семьи. Что бы сделал я, аптекарь из Латинского квартала, если бы познакомился с девушкой, живущей одиноко? Разумеется, сделал бы «предложение». Значит, так же поступают и русские студенты: делают «предложения» студенткам.

Тут возникает вопрос, как же отвечают девицы на эти «предложения». За разрешением такого сомнения аптекарь обращается к своей законной аптекарше. А аптекарша рассуждает так:

— Помилуйте! Русские студентки живут одни, без мамы, окруженные молодыми людьми. Если бы я в юности моей жила без мамы, совершенно самостоятельно, и вокруг меня постоянно бы вертелись молодые люди, что бы я сделала? Я бы позволила? Значит, и русские студентки позволяют.

Пусть у кого-нибудь повернется язык сказать, что аптекарь и аптекарша могли бы рассуждать иначе. Не могут. Выше лба уши не растут.

Так рассуждают все эти мещане и мещанки, в Париже или в Цюрихе, косясь на русских студентов и отодвигая от них своих дочерей. Русская студентка вернулась в полночь с реферата о Рескине, но квартирная хозяйка не может поверить этому. Хозяйка знает женскую натуру, судя по себе, и понимает, что это невероятно. Какой там Рескин в полночь?

Вот откуда идет распространенный среди европейского мещанства слух о нравственности русских студентов. Оно судит по себе.

И субъект судит по себе. Он — человек с аппетитами. Он чувствует, что, если бы все студенты были похожи на него, а все студентки — на его женский идеал, то из их сборищ неминуемо бы вышли «притоны разврата». И поэтому он вполне искренно верит, что так оно и есть, что на собраниях студентов и курсисток происходят какие-то оргии.



Но довольно. И да вернется «субъект» по-прежнему во тьму презрения и забвения, откуда его на минуту вытащили только для расправы.

О нем смело можно забыть. Клевета этого субъекта не вредит. Симпатия русского общества к русскому студенчеству отбросит с презрением и не такую клевету.

Сегодня вечером вы можете и должны доказать незыблемость этой симпатии: в Новом театре идет студенческий спектакль, который для блага просвещения, для чести нашего города, для безмолвного и благородного посрамления клеветнического хамства *должен* дать полный сбор, потому что на эти деньги несколько бедных юношей смогут продолжать учение в университете.

Не забудьте об этом спектакле. И в особенности пусть соберутся много женщин и много девушек, чтобы доказать, что они верят русскому студенту и уважают его, проходя гордо и презрительно мимо глупой и бессильной выходки среднего сына Ноева.

Altalena

Одесские новости. 21.10.1901



Вскользь

Дума должна заняться — а теперь, когда вы читаете эти строки, может быть, уже занялась — большим вопросом мирового значения. Право! Это — вопрос о прислуге.

Нет города в цивилизованной стране, где прислуга не приводила бы в отчаяние господ своей ленью, дерзостью и неблагодарностью. За границей хозяйки понемногу совсем отказываются от горничной, от кухарки и даже от энциклопедической девочки «за все». Они предпочитают мыть полы сами, только бы не переругиваться с этими особами, в руках у которых столько средств гадить и пакостить мадам.

Октав Мирбо написал даже целую книгу «Дневник горничной», которая очень интересна, хотя довольно несуразна. Горничная у Мирбо пописывает и о литературе, и о деле Дрейфуса, и о торжественном обеде, и о семейных отношениях. Совсем г-н Насекомый.

Но и в романе Мирбо ясно то, что лучшая горничная — все-таки горничная, и даже с ней поэтому нельзя ужиться.



Когда-то с прислугой умели обращаться. Секрет умения был в том, что хам был хам, а не человек.

Хозяева и не подозревали о том, что хам может быть хотя бы только цветом волос равен господину. Если в семье была бабушка Марья Сергеевна, то горничную Машу переименовывали в Полю, исключительно для принципа, потому что *qui pro quo*¹ не могло выйти: бабушку по имени не называют.

У хама не могло быть ничего общего с господином.

— Я больна, — стонет нянька.

— Больна! Скажите! Как будто благородная! — возмущается г-жа Простакова.

Вера в эту полную разницу была так сильна и цельна в барине, что и хам ею проникался. А проникшись, служил не только за страх, но и за совесть. И все шло гладко и мило.

Это патриархальное, доброе и подлое старое время ушло и не вернется.



Будет другое время, т.е. будет у нас, а в Америке, например, уже кое-где есть.

Дело поставлено так. Приходит к вам наниматься в горничные очень изящная барышня.

— Я студентка университета, — говорит она вам, — теперь каникулы, и я хочу заработать денег...

И она поступает к вам «за все». Но и вы, и она чувствуете себя совершенно равными друг другу. Вы говорите ей:

— Вы уже вымыли пол, мисс Смит?

Она отвечает:

— Да, мисс Смайльс.

Когда к вам приходит важный гость, вы не забываете сказать:

— Мисс Смит, представляю вам мистера Гиббинса, директора здешней конторы сталелитейного банка. Мистер Гиббинс, это — наша горничная, студентка мисс Смит.

И мистер Гиббинс шаркает:

— Весьма рад. На каком вы факультете? Ах да, вы сокурсница моего сына! Очень, очень приятно.

И тогда все тоже идет гладко и мило.



А у нас все через пень колоду.

¹ Одно вместо другого; путаница (*лат.*).

Мы, с одной стороны, говорим уже прислуге «вы». Если не говорим «вы», то иным путем даем ей понять, что она — тоже человеческого, а не хамского сословия. Если сами и не даем ей повода понять это, то она и без нас узнает, что оно так. Дух времени, господа.

Это с одной стороны. А с другой — мы все-таки обращаемся с прислугой, как с хамовым отродьем. Если бы она села в вашем присутствии, ей был бы нагоняй. Когда она осмеливается заспорить с нами, мы раздражаемся воплями о предедрзости. Если кухарка жалуется, что в кухне спать душно, мы качаем головами:

— Как они требовательны!

А если мы отводим горничной «антресоли», в которых ни стать, ни сесть, причем там же фигурирует корзина с пеленками Мокрунчика, то все наши знакомые удивляются:

— Но у вас рай для этого народа! Ах, вы их портите!

Когда холопу было ясно, что он — хам, а не человек, он ладил с барином, как ладит верная собака. Это был гнусный старый порядок, но это был порядок.

Когда вы признаете холопа вашим ровней, одинаково с вами достойным всякого почтения и благосостояния, тогда этот эмансипированный холоп будет тоже ладить с вами, как ладит настоящий джентльмен с настоящим джентльменом. Это будет хороший порядок.

А теперь никакого порядка нет. Теперь — беспорядок. Теперь вы левой рукой признаете за холопом право носить одно имя с вами, болеть «как будто благородный», часто — даже состоять во множественном числе под именем «вы». В то же время правой рукой вы указываете ему, что он все-таки хам и вам не ровня. И что для него конура в «антресолях» — то же, что для вас — квартира с избирательным правом. Это — ни рыба ни мясо, ни да ни нет, это — неопределенное положение, из которого нет никакого выхода, кроме тяжелых недоразумений.

Было время, когда холоп вас боялся. Будет время, когда холоп станет вас уважать. Теперь он уже не боится вас, но еще не уважает. Поэтому нет для него лучшего наслаждения, чем как-нибудь лягнуть вас.

К старым дням, когда прислуга вас боялась, уже нельзя вернуться. Идите же вперед, к тому времени, когда она сможет уважать вас.

Altalena

Одесские новости. 25.10.1901



Вскользь

Среди старых бумаг мне попался истрепанный номер позапрошлогодней петербургской газеты, которой теперь уж нет. Как раз тот номер, где напечатана корреспонденция из Рима за подписью А. З-ский.

Это — подпись человека, которого тоже теперь уже нет.

Надо рассказать вам эту маленькую грустную сказку жизни.

Я лично Златопольского не знал и никогда не видел. В той петербургской газете изредка попадались его письма из Рима. Но мне не приходило в голову искать с ним встречи. Ни даже навести справку о том, какие буквы подразумевались между этим «З» и окончанием «ский». Наши соотечественники вообще ведут в Риме жизнь, очень обособленную друг от друга.

Внезапно, зимой этого года, газеты напечатали, что накануне вечером застрелился некто Златопольский, корреспондент русских газет, двадцати пяти лет от роду.

Нужно сознаться, что я и тут не пошел проводить его гроб на Campo Santo¹. У всякого есть свои мертвые, даже когда живешь на чужбине. Траур — это черная туча, которая далеко добрасывает свою холодную тень, даже за четыре дня пути. Что мне было до чужого человека, выстрелившего себе в висок?



Эту историю мне передали гораздо позже.

Златопольский приехал в Рим из какого-то безымянного литовского захолустья. Там у него остались мать и сестры. Сюда его загнала чахотка, которую он думал обольстить синим воздухом и золотыми лучами римского неба.

Был это высокий, худощавый, бородатый мужчина. Имя его болезни ярким кармином было написано у него на щеках.

Он поселился в одном скромном семействе за воротами Porta Pia². Хорошая хозяйка давала ему утром и вечером по чашке белого кофе, за 10 сантимов в день. Каждое утро он покупал себе на 20 сантимов вчерашнего хлеба — и таким образом жил на 12 медных копеек в сутки.

¹ Кладбище (*итал.*).

² Старинные городские ворота в Риме.

Но свои пятнадцать франков за комнату и кофе он вносил около каждого первого числа аккуратно. За это хозяйка очень любила бы его, если бы...

Тут начинается старая, чересчур обыкновенная быль.

— Если бы у нее не было дочери, синьорины Чезиры.

Как только Златопольский увидел ее, он на еще ломаном итальянском языке взволнованно сказал матери:

— Синьорина Чезира очень похожа на один портрет, который я вам покажу.

Молодой художник Севальос, родом из республики Эквадор, который жил в той же семье и рассказал мне эту историю, срисовал в день похорон головку с этого портрета. Я видел рисунок и видел синьорину Чезиру. По-моему, сходства никакого.

Портрет был снят в Литве, с невесты Златопольского. Эта невеста была его дальней родственницей и потому умерла от чахотки.



Мало-помалу дела молодого человека стали поправляться. Он прибавил к кофе римские сдобные *маритоцци*, а к хлебу колбасу. Потом и вовсе начал обедать у хозяйки, с супом и вином, как настоящий живой человек. Кармин на его щеках стал розовым, а о кашле Златопольский уже и думать забыл.

Кажется, у него завелись уроки и переводы. Кроме того, он строчил корреспонденции в несколько петербургских и польских газет. Корреспонденции были серенькие, но одна из них — о памятнике Гейне, который автор видел в какой-то римской мастерской, — вызвала полемику. П.И. Вейнберг напечатал письмо в редакцию, настаивая, что памятник описан неверно. Златопольский ответил, что памятник описан верно.

Словом, все налаживалось, даже старухе и девушкам в литовском захолустье стали, верно, перепадать изредка рубли. Только хозяйская дочка не хотела даже кокетничать.

Гордый поклонник не настаивал. Он только сказал:

— Буду ждать.

И снова принялся за свою работу. Синьорина Чезира не слышала от него больше ни одного такого слова. Он выходил к обеду, болтал, смеялся, пожимал руку всем и ей и шел писать.



В одно воскресенье он застал за обедом молоденького, очень вежливого поручика. За фигами хозяйка сказала:

— Синьор Златопольский, будете сегодня вечером дома? У нас затевается игра в лото.

Вечером поручик опять был там. В следующее воскресенье тоже.

В понедельник, около шести часов вечера, когда синьорина Чезира вышла из лавки, где служила кассиршей, у дверей ее ждала, по обыкновению, горничная. А поодаль стоял Златопольский.

Он подошел.

— Синьорина, позвольте мне с вами поговорить серьезно, без свидетелей.

Девушка ответила:

— Вы разве не знаете, что я — невеста?

— Ага. Извините.

Он поклонился и свернул по другой улице. Зашел к прачке и уплатил ей по счету. Завернул к портному и отдал ему последние десять франков от рассрочки за пальто. Потом положил пустой портфель в карман и пошел домой.

Дома он пообедал со всеми, шутил, острил, потом пожал руку всем и ей, ушел в свою комнату и застрелился.

Никакой записки не оказалось. Адреса матери не могли найти. Так что в литовском захолустье, может быть, и до сего дня беспокоятся — отчего он не пишет?

Синьорина Чезира очень плакала. Художник Севальос, мечтательный испаноамериканец, посоветовал ей положить на грудь умершему ее портрет. Но она нашла, что это было бы неприятно поручику. Поэтому на груди у Златопольского спрятали тот самый портрет, который был непохож на синьорину Чезиру.

Altalena

Одесские новости. 27.10.1901



Гастроли А. Зандрок

«АРРИЯ И МЕССАЛИНА»

У г-жи Зандрок, несомненно, очень развито чувство меры. Для такой роли, как Мессалина — роли старого трагического стиля, — она сумела отказаться от своей обычной удивительной, почти бедной простоты и дала несколько красиво разработанных патетических моментов. Это надо поставить г-же Зандрок в большую заслугу, потому что многие другие артисты ее типа не поколебались бы «упростить» и такую роль.

В роли императрицы-куртизанки г-жа Зандрок выдвигает прежде всего ее неудовлетворенность. Мессалина сама утомлена своей ненасытной чувственной жадностью, которой нет удовлетворения, потому что все ее избранники в конце концов повторяют один другого. Она бросила Сильвия для Марка — Марк оказался слабым человеком, не умеющим отдаться любви, как она, беззаветно и очертя голову; подавленный проклятием своей матери Аррии, он отравляется, и Мессалина снова приближает к себе Сильвия. Но в ней постоянно живет воспоминание о Марке — не столько из любви к нему (таков, мне кажется, замысел г-жи Зандрок), сколько из пресыщения Сильвием. Она надевает на себя наряд вакханки, опьяняет себя вином, хочет наконец опьянить себя и мезтью, но когда Аррия со своим мужем Петом умирает на ее глазах, это не радует ее утомленную, мятущуюся душу, а только усиливает ее глубокую замаскированную тоску. Такое толкование роли Мессалины является очень интересным и делает честь уму и вкусу талантливой гастролерши.

Все ее выходы (к сожалению, в двух актах Мессалина не появляется) произвели большое впечатление. Были моменты, когда в зрительном зале не было слышно даже шороха.

Публики было немало.

Сегодняшний спектакль явится одним из наиболее интересных. Д'Аннунцио как драматург Одессе еще совсем не знаком. «Джоконда» — может быть, лучшая из всех его драм: символизм ее не так искусственен, как в остальных пьесах этого

типичного декадента; есть высокохудожественные сцены. Г-жа Зандрок исполнит в высшей степени сложную роль Сильвии Сеттала.

Alt.

Одесские новости. 29.10.1901



Вскользь

Об одной встрече и одной сказке, которые мне вспомнились по поводу пресловутого молдаванского проекта.

Произошла эта встреча несколько лет тому назад в окрестности Берна. Под высоким кустом спала на траве девушка, подложив под голову мужскую куртку своего спутника. Он, в рыжем жилете, сидел рядом и тоже старался заснуть.

Это был еще совсем юноша, типичный итальянец.

Когда я проходил мимо него, он поднялся и сказал мне тихо, чтобы не разбудить девушку:

— Нет ли при вас карты этого кантона? Здесь не у кого спросить дорогу в Дзуриго (Цюрих).

Он узнал иностранца, а при иностранце в Швейцарии предполагается карта. У меня она была. Я развернул ее в сторонке, на пне.

— Вот дорога в Цюрих, но неужели вы идете туда пешком?

— Sissignore¹.

— С барышней?

— Sissignore. Это моя сестра.

— Тогда — знаете что? Возьмите с собой эту карту. Она почти до самого Цюриха.

— А вам она не нужна?

— Пустяки, берите.

— Grazie².

Я посмотрел на девушку. Лица не было видно. Шатенка, судя по фигуре — лет восемнадцати. Я спросил:

— Барышне не будет трудно идти так далеко?

— Да, будет трудно. Она к тому же нездорова. Но по железной дороге нельзя. Я даже не знаю, сколько стоит из Берна в Цюрих, в третьем классе.

¹ Да, синьор (*итал.*).

² Спасибо (*итал.*).

— Недорого, франков восемь.

Он ответил:

— На свете нет ничего дешевого. Придется и ей дойти пешком. Чтоб их всех перерезали!

— Кого?

На это он ответил так:

— Меня с нею выгнали из Берна.

— Выгнали?

— *Sissignore*.

— За что? Впрочем, если это нескромный вопрос, я не настаиваю.

— Нет, отчего же, вы с виду *una persona da bene*¹, вам можно сказать. Про меня разосланы из Италии во все швейцарские квестуры заявления, что я опасный человек. Так что за мною следят и чуть что — выгоняют. Меня уже выслали из Лугано и Женевы; впрочем, если бы я остался там, так умер бы с голоду. И сестра тоже.

— А сестра тоже «опасная»?

— *Sissignore*. Из-за нее теперь нам обоим велели уйти из Берна.

Девушка во сне опустила уже локоть с лица, и лицо было такое обыкновенное, милое, скромное лицо молодой модисточки, что невозможно было поверить в ее «опасные» качества. Я удивлялся и молчал. Он тоже помолчал и вдруг сказал:

— Моя сестра — героиня. Она — великая женщина.

Я совсем не нашелся, что ответить.

— Знаете, чем она занимается?

— Шьет?

— *Nossignore*². Она — кельнерша. — И с итальянской искренней напыщенностью он закончил удивительнейшей фразой, какую я когда-либо слышал: *fa la prostituta*³.

Я в это время смотрел ему в глаза и постарался, чтобы ни одна черточка у меня на лице не дрогнула и не выразила обидного удивления.

— Она это задумала в прошлом году, когда к нам в местечко на выборы приехал депутат Турати и говорил об устройстве союзов и кассы. Она была на этой речи. Как раз за неде-

¹ Порядочный человек (*итал.*).

² Нет, синьор (*итал.*).

³ Она проститутка (*итал.*).

лю перед тем умерла наша мать. Я собирался в Швейцарию, а она прежде не решалась. После речи Турати она мне сказала: «Хорошо, я тоже перейду границу и буду работать вместе с тобой. Только я не пойду на фабрику». Я не стал расспрашивать. Только в Женеве, когда она мне наконец объяснила толком, куда она поступит, я сделался как сумасшедший. Я хотел ее убить вот этим ножом. Мы спорили и ссорились две ночи — днем я был на работе. На второе утро я уступил. Потому что она совершенно права. Она говорит так: обо всех уже позаботились, у всех уже есть союзы взаимопомощи и кассы, а у этих женщин ничего нет. Я пойду к ним и научу их сплотиться и постоять за свои права, как депутат Турати. Разве это не верно? Мне сначала было ужасно горько, что моя сестра — проститутка. Но и это глупость. Разве ее ремесло — преступление? Есть только два преступления: грабить слабого человека и делать доносы на друзей народа. Неправда ли? Моя сестра великая женщина.

— За что же ее выслали из Берна?

— Хозяйка заметила и хотела ее выгнать. Я пришел говорить с этой женщиной, а она мне сказала: «Вы живете на деньги вашей сестры». Это — подлая ложь. Я назвал ее воровкой, а тут вмешались остальные кельнерши: их подучила моя сестра. Вышел такой скандал, что нам обоим велели убираться из Берна. Эти *fessi* (дураки) думают, что в Дзуриго¹ не будет то же самое.

Мне пора было уходить. Я пожал руку юноши и, уходя, машинально поклонился его спавшей сестре, по кроткому лицу никто бы не угадал, что то была пионерка смелого, неслыханного дела.



Через неделю из этой встречи сложилась у меня сказка — понятно, недописанная и очень мало похожая на подлинные обстоятельства того, что рассказывал итальянец.

Потом эта неоконченная сказка вместе с другими бумагами пропала у меня в Волочiske; я запомнил из нее только два отрывка.

Действие происходит неизвестно когда, неизвестно где — в каком-то Рёдри.

¹ Итальянское название Цюриха.

«Не ищите на ландкарте этой маленькой земли: к одному из крупных княжеств уже давно ее причли.

Спит угрюмый старый Рёдри, в узких улицах темно; только в доме близ костела освещенное окно.

Там — ковер, большие кресла и холодная кровать, на которой непробудно спит скончавшаяся мать.

Эрменгарда на коленях у постели на полу; думы странные мелькают по бескровному челу.

Ирме думается: "Мама, ты уснула — я одна. Миг настал, к великой цели я направиться должна.

Я одна на белом свете... Счастлив тот, кто одинок: ни одной души родимой с ним не связывает рок. Он страдает — и отчего не обязан ни пред кем... Даже право на страданье в мире отдано не всем!"

Медальон она раскрыла — в медальоне был портрет. В думмах Ирмы промелькнуло: "И тебя уж больше нет.

Ты впервые рассказал мне о спасителе, труде, о народе, о свободе, о страданиях и нужде.

Ты мечтал о дивной жизни — жизни в праведной борьбе; я мечтала... я мечтала лишь отдать себя тебе.

Но в холодной черной яме ты окончил этот бой и унес туда, в могилу, и любовь мою с собой.

И теперь мой дух и тело — эту собственность твою — за твое святое дело я навеки отдаю.

Да, несчастен, мой учитель, твой трудящийся народ, но в труде его величье даже недруг признает. А у тех, к кому пойду я, и такой отрады нет: их ужасный труд *позорным* называет гордый свет!

Я пойду не по тобою проторенному пути. Я хочу другой дорогой к той же цели подойти.

Имя честное "работник" высоко поставил ты... Я взнесу *другое* имя до такой же высоты"».

И потом Ирма, богатая сирота-аристократка, под чужим именем поступает в притон и мало-помалу, шаг за шагом, по крупицам учит своих несчастных подруг силе единения. Подруги идут за ней, и, наконец, только небольшая группа гетер, руководимая хорошенькой Неддой, относится враждебно к новшествам Ирмы. И вот однажды в бурную ночь в заведение попадает пьяный маньяк. Кроме него, нет мужчин. Он осыпает грешниц укорами и проклятиями, грозя им вечной карой,

и речь его дышит такой гневной силой, что беззаботные блудницы опускают головы.

«Робко грешницы молчали. Буря выла за окном и в порывах этой бури словно вздрагивал весь дом.

Бедных девушек объяла дрожь, испуганная дрожь... Ирма резко поднялась и промолвила: "Ты лжешь.

Если Бог — не злая сказка, ты клеветнешь на Него: осудить нас не могло бы никакое Божество.

Мы соблазном служим миру? В этом нет на нас вины: мы не создали разврата — мы развратом рождены. Он древнее нашей касты и затем лишь создал нас, чтобы мощь его потопом по земле не разлилась.

Не зальешь ты в человеке всесжигающую страсть! Не мешай нам этой страсти отдавать себя во власть!

Если в нас и наше тело ты закроешь ей исход, в тот же миг она, бушуя, всю вселенную зальет.

Да! Затем должны мы с торгу отдавать свои тела, чтобы девственница девство охранять в себе могла!

Только день, когда не станет предрассудков и границ, только этот день и сможет сделать лишними блудниц.

Этот день тебе ужасен? Преклонись же предо мной! Назови меня желанной, непорочной и святой!

И пока тот день великий не заблещет с вышины, мы, страдалицы-блудницы, человечеству нужны!"

И молчанье было в зале; утомилась гроза. Смело грешницы смотрели обвинителю в глаза.

Гордость честного страданья взоры девушек зажгла... Что за тихие рыданья донеслись из угла?

Это — Недда. Эрменгарда пылко бросилась к ней, и прильнула к Ирме Недда льном распущенных кудрей...»

Обе партии примирились. А что было дальше — не знаю, потому что по лени эта сказка осталась недописанной. Впрочем, я думаю, что и не знал бы, как ее кончить.

Altalena

Одесские новости. 29.10.1901



ВСКОЛЬЗЬ

СВЕРХЧЕЛОВЕК РЕПОЧКИН

Наконец одесские театралы познакомились с божественным Габриеле Д'Аннунцио. Какую встречу оказали они ему? Аплодировали? Покашливали? Слушали его «Джоконду» или исполнение г-жи Зандрок? Этого я пока не знаю.

Но если покашливали, если в сцены его лучшей драмы не вслушались, не вникли, — было бы очень жаль. Д'Аннунцио скучен, как пустая комната, это правда, но он заслуживает всякого внимания со стороны умного читателя. Дело в том, что по сочинениям Д'Аннунцио больше, чем по какому бы то ни было другому автору, можно изучить физиономию *fin de siècle*¹. Ныне уже, к счастью, покойного *fin de siècle*.

Каким же это образом? Может быть, Д'Аннунцио мастерски изображает типы конца XIX века?

Нет, в сочинениях Д'Аннунцио вообще нет ни одного типа.

Может быть, в своих произведениях он сфотографировал модные течения *fin de siècle*?

Нет. То есть он очень старался изобразить их, но из этого ничего не вышло.

В чем же дело?

В том, что по романам, драмам и стихотворениям Д'Аннунцио легко изучить самого автора. А этот автор — бесподобное воплощение всех типических крайностей покойного *fin de siècle*.



Fin de siècle'е был большим недоразумением. Люди заговорили о новой высшей красоте, когда и с точки зрения старой красоты они, эти люди, все-таки были очень неудовлетворительны. Люди захотели нарочно перемешать понятия добра и зла, «позволить себе все», в то время как на деле каждый из них только потому чувствовал себя способным удушить сонную муху, что убийство сонной мухи не внесено в уложение о наказаниях. Люди были, как мы все, грешные, ростом с комара, на кривых ножках, а титуловали себя сверхчеловеками.

¹ Конца века (*фр.*).

Это самое повторилось с Д'Аннунцио.

Прежде всего, постарайтесь войти в трагизм вот какого положения. Человека, пишущего красивые стихи, зовут Габриеле Д'Аннунцио. Это очень звучно и громко, это — знать:

— Гавриила Благовеститель.

И вдруг оказывается, что Габриеле-то он Габриеле, но Д'Аннунцио есть не что иное, как псевдоним. А настоящая его фамилия Рапаньетта. Если эту фамилию этимологически перевести на русский язык, то получится:

— Гаврило Репочкин.

Для обыкновенного человека, т.е. для Шиллера, де Мюссе, Пушкина, это было бы совсем полбеды или еще меньше. Но для сверхчеловека это — крах. Сверхчеловек претендует на полную красоту своей особы, без пятен, от шляпы до носочков. Пушкина ранили в нижнюю часть тела — и ничего. Но ибсеновская Гедда Габлер, узнав, что ее возлюбленный выстрелил себе не в голову, а в живот, считает и его и себя опозоренными.

Вот почему Пушкин не был бы смешон, если бы его даже звали как-нибудь Хвостиковым. И вот почему у всех, кто читал Д'Аннунцио, вызывает такой смех известие, что Д'Аннунцио в действительности зовут Репочкиным.

Noblesse oblige¹. Тому, кто в каждом стихе вопит о себе: «Я есмь я!», необходимо иметь что-нибудь за душой. Он должен быть или истинно великим человеком, или истинно красивым.

Большое самомнение было у Эдгара По — но он был выдающимся явлением и по внутренним качествам, и по внешности.

Чем выдается Д'Аннунцио? Он поразительно красиво расставляет слова в стихах и в прозе. У него очень музыкальный слог.

Больше ничего. Фантазии у него нет. Наблюдательности нет. Ума, хватающего звезды с неба, нет.

Но ему, по крайней мере, простили бы его актерские претензии, как прощают их Лине Кавальери, если бы он был похож на Лину Кавальери. Она скверно поет, но она так пластична, так эффектна, что ей безумно аплодируют. Несправедливо, но вполне естественно.

У Д'Аннунцио нет ни одного из этих благ.

Вы скажете, что до его внешности никому нет дела. Но это не так.

¹ Положение обязывает (фр.).

Цицерона прозвали Цицероном потому, что у него на носу была бородавка — *сисего*. Но так как Цицерон был гениальным оратором и политиком, то его бородавка никого не смешила, даже в те позерские времена. Было просто и помимо бородавки на чем остановить глаза и внимание.

Извольте остановить внимание на Д'Аннунцио. Единственное достоинство, которое у него есть, — искусственная красота языка — скоро надоедает. Больше в нем ничего нет достопримечательного. Но вместе с тем вокруг его имени стоит такой шум, он сам столько говорит о себе и своем величии в каждом сонете, романе, драме, что и отвлечь от его особы свое внимание тоже нелегко. И совершенно невольно и естественно вы запоминаете все его «бородавки»: маленький рост, заячье выражение лица, лысину до затылка, бесцветный голос... Не из злорадства запоминаете, а просто потому, что это единственные достопримечательности его особы, взятой изнутри и извне.

Мимо какого-нибудь бедного пустынного захолустья можно проехать молча и равнодушно. Но если вам кричат при проезде: «Смотрите, какой великолепный город», — то волей-неволей вы сейчас же мысленно перечтете в нем все лужи.

Я уверен, что сам Д'Аннунцио глубоко сознает, насколько он ниже своих претензий и насколько потому смешон. Оттого он так чувствителен к насмешке.

Однажды вышла книжка его стихов, озаглавленная женским именем «Изотта Гуттадоро». Критик Скарфольо — муж Матильды Серао, запутанный теперь в неаполитанском муниципальном скандале, — написал остроумную критику этой книжки, переделав ее название в «Ризотто аль помодоро»*. За это Д'Аннунцио вызвал его на дуэль.

Серьезный человек, твердо уверенный в прочности своей работы, никогда не поступил бы так.

Altalena

Одесские новости. 30.10.1901

* «Ризотто с томатом».



Гастроли А. Зандрок

«АЛЕКСАНДРА» ФОССА

Содержание этой хорошей, хотя по-старому построенной пьесы таково: Эрвин фон Эберти соблазнил когда-то молодую актрису кочующего театра Александру (г-жа Зандрок) и скоро ее покинул. У Александры родился ребенок. Не видя для своего дитяти впереди ничего, кроме страданий, Александра решилась на детоубийство, но в решительный момент силы ей изменили, она упала без чувств и при падении задавила насмерть ребенка. Перед судом она признала себя виновной в предумышленном убийстве и была присуждена к семи годам тюремного заключения. В первом действии мы застаем ее вышедшей из тюрьмы, озлобленной и жаждущей мести. Она разыскивает Эрвина, которому ничего не известно о рождении у нее ребенка и ее заключении; ей удается воскресить в старом любовнике прежнюю любовь. Эрвин приводит Александру к своей матери. Мать, женщина старых правил, расспросив Александру об ее детстве и обо всей ее страдальческой жизни, принимает ее радушно и вскоре, в рождественский вечер, дает свое согласие на брак с Эрвином. Александра побеждена этой добротой; в то же время любовь Эрвина вызывает и в ней возврат в полной силе ее прежнего чувства к нему. Ее планы мести исчезают, она видит перед собой возможность успокоиться и узнать счастье. Но Эрвин и его мать еще не знают, что она была в тюрьме по обвинению в детоубийстве; Александра чувствует, что надо рассказать и об этом, но медлит. Тогда лесничий Эрвина, знающий тайну Александры, выдает ее старой госпоже. Мать Эрвина требует, чтобы Александра покинула ее дом. Александра рассказывает свою историю Эрвину, выдавая ее за происшествие, вычитанное в газете; Эрвин отвечает, что сближение отца и матери погибшего ребенка в таком случае невозможно и что женщине остается один выход — смерть. Александра отравляется.

В пьесе много прекрасных сильных сцен, которые г-жа Зандрок провела положительно безукоризненно, выказав свой крупный своеобразный талант во всем блеске. Лучшее всего удались ей сцены с матерью Эрвина, особенно первая встреча

с нею, где г-жа Зандрок виртуозно передала злобное, несколько дикое, враждебное настроение молодой женщины, — и сцена в последнем действии, когда Александра напрасно заклинает старуху простить ей давно искупленную вину и не разрывать ее счастья. Сцена смерти была исполнена своеобразно и трогательно. Вообще этот спектакль — бенефис г-жи Зандрок — был одним из самых удачных и произвел глубокое впечатление на публику — не к чести Одессы, малочисленную. Талантливая артистка получила корзину с цветами и букет.

Завтра, для прощального спектакля, идет «Гамлет» с г-жой Зандрок в роли датского принца. Женщина-Гамлет — это нововведение в области драматического искусства, счастливо примененное впервые Сарой Бернар, должно вызвать большой интерес в здешней театральной публике.

Alt.

Одесские новости. 31.10.1901



Вскользь

Целый рой светло-голубых платиц и маленьких головок — черных, русых, белокурых — много, но трудно сказать, сколько, потому что в такие минуты глаза теряют способность считать.

Тревожный перезвон детских голосов, всхлипывания, боязливая суетня узеньких ножек.

В то же время снаружи, за окнами, гул нарастающей толпы, звон пожарных повозок, неразборчивые возгласы и вопли, и вверху, над всем — туча серого дыма.

Еще не все девочки опомнились. Некоторые смотрят по сторонам широко раскрытыми глазами: им не верится, что все это действительно произошло с ними.

Они пришли в класс, ничего не ожидая, одни с готовыми уроками, другие со страхом, что вызовут, — и вдруг этот заразительный вопль «пожар!», за ним одно мгновение убийственного ужаса, а потом сплошная бессознательная паника, когда душа не слышит больше ни страха, ни надежды, вся поглощенная одним жадным позывом — бежать. Потом — слепая, отчаянная толкотня в удушливом горьком дыму, перед окном, чтобы скорее дорваться до рук учительницы... момент ужасной,

отуманивающей радости, когда смелые руки самоотверженной женщины вырывают маленькую голубую фигурку из дыма, — прилив чистого воздуха, которым можно захлебнуться, — и спуск, почти полет, с зажмуренными глазами, вниз, по жестким рукам пожарных, висящих на гибкой трепещущей лестнице.

Этого града впечатлений может хватить на пятьдесят лет жизни. Для таких крошек — иным не больше семи лет — этого слишком много. Некоторые из них замерли и притихли, как наказанные.

Но другим не сидится. Они мечутся по комнате, прижимаются лбом к стеклу и, не решаясь кричать в этой чужой квартире, шепчут изо всех сил маленького горла:

— Спасите их, спасите всех, непременно спасите...

Привели еще одну. Общее волнение: на нее бросаются как на «новенькую», дергают, целуют, осыпают расспросами:

— Где та? Где другая? Ты не видела, что с четвертым классом?

Но она сама ничего не знает и не помнит. Ей известно только одно — может быть, слышала, может быть, видела:

— Такую-то обвязали веревкой и сбросили за окно, на Преображенскую улицу!

— Ничего, значит — спасли, всех спасут, — успокаиваем мы. Но девочки не слушают нас: они побледнели еще больше, представляя себе эту подругу, висящую в воздухе на канате, так высоко над тротуаром.

К «новенькой» бросается одна из младших:

— Слушай, слушай, а моего мальчика ты не видела? Моего мальчика? Я без него не пойду домой. Боже мой, ты не видела моего мальчика?

Ее лицо — поражающая, изумительная миниатюра материнского горя, — а ей самой лет восемь.

Бедная малютка-мама! Каждое утро она трогала, подымаясь на цыпочки, белую пуговку у высокой двери, дверь отворялась, и она спрашивала строгим тоном:

— Готов? — он вечно опаздывает.

— Готов, — отвечала с улыбкой женщина, отворявшая дверь.

И из соседней комнаты спешил, путаясь в своем пальто, этот крохотный студентик «детского сада», этот «ее мальчик», и она ему говорила:

— Ты готов? Наконец-то! В первый раз за всю жизнь. А то тебя вечно приходится ждать. Ни на что не похоже. Я уже решила: если ты сегодня не будешь готов, перестану заходить за тобой.

Он уверял:

— Я всегда буду 'ано вставать, мадмазель.

— Ну, идем. Взял завтрак?

— Да, мадмазель.

И они рядом спускались с лестницы. Она держала его за руку. У ворот она оправляла на нем пальто и шапочку, заботливо осматривала его с ног до головы и затем только выпускала на улицу. И вела его бережно и внимательно за руку, запрещая ему размахивать ручонками и ступать на мелкие острые камни. На перекрестках она терпеливо выжидала, чтобы проехали мимо все извозчики. Наконец, в раздевальной училища она снимала с него пальто, калоши, приглаживала ему волосы, целовала его и отпускала:

— Ну, иди. Только не шали сегодня.

И он послушно отвечал:

— Не буду, мадмазель.

Бедная малютка-мама, она с такой тоской повторяла:

— Слушай, слушай, ты не видела моего мальчика? Что с ним? Я не пойду без моего мальчика...

И «новенькая» безучастно отзывалась:

— Я его не видела, я его совсем не видела.

В эту минуту в передней — опять какое-то беспорядочное движение.

— Еще привели! — перекликаются девочки и бросаются к двери.

Дверь подается и в ту же секунду опять захлопывается — на ключ.

— Нельзя, — слышится оттуда суровый, отрывистый голос.

— Что такое?

— Отчего?

— Тсс... тише...

— Не видно.

— Ой, там несут! Там несут кого-то!..

Это правда. Там несут, с запрокинутой головой, с остановившимися глазами, их подругу, девочку лет десяти или двенадцати — тяжелую мертвую девочку.



Зато на площади очень весело. Публика щеголяет гражданским мужеством. Не в том смысле, чтобы рваться в огонь, на помощь пожарным, а в том смысле, что пока городовым не до нее, она храбро толпится в «сквере» и топчет кусты.

Окна правой половины фасада — точно просветы в пекло. Из них валит бешеное красное пламя. В некоторых местах верхнего этажа все уже выгорело, и на раскаленные рельсовые стропила падает желтый солнечный свет сквозь разрушенную крышу. Все полы тоже уже провалились: когда с крыши рушится внутрь какая-нибудь пылающая красная масса, видно через голые окна, как она пролетает по всем этажам до низа.

Публика настроена эстетически.

— Прелесть! — говорит барышня барышне.

— Правда, похоже на декорацию?

— Ну, далеко до этого декорации, — сентенциозно бунчит нарочитым басом аршинный первокурсник.

Тут же рядом идет речь в другом тоне:

— Так просто обвязывали и спускали вниз, на брезент. Надо было вам это видеть: зажмуренные глаза, канат подмышками, а сама то скрюченная, как в судороге, то вытянутая, будто мертвенькая... Ужас!

Голоса:

— Смотрите, смотрите, ангел загорелся! Сейчас полетит вниз!

Под Меркурием, из всех окон углового цинкового купола, давно прет густой серый дым; теперь дым почернел — и вот показываются огненные змейки. Они вьются, прячутся, переплетаются, сливаются вместе и вдруг вырываются огромным клубом из одного окна, потом из другого, из четвертого; весь купол горит, как сноп соломы. С головокружительной быстротой пламя взбегаёт по башенке к позолоченному шару, на котором, подняв одну ногу, стоит грациозный божок.

Через минуту башенка начинает разрушаться: черные и красные куски отделяются от нее и летят вниз — внутрь или на улицу.

Еще через пять минут на фоне красного пламени выделяется только скелет купола.

— А Меркурий стоит!..

В это мгновение поднятая нога статуи отделяется и, кружась, улетает куда-то в пекло.

— Какой он хорошенький на одной ножке! — радуется какая-то девица.

— Отчего же он не падает?

— Он на шпиле, — говорит рабочий.

Вдруг вся верхняя половина башенки с одноногим Меркурием на острие начинает ровно и вертикально опускаться, точно проваливаясь под себя. Потом она останавливается — раздается стон толпы, — вся пылающая громада медленно опрокидывается в сторону улицы и мчится вниз с грохотом пушечного залпа.

— Прелесть! — говорит барышня барышне.

А первокурсник басит:

— Здорово!

Altalena

Одесские новости. 31.10.1901



Вскользь

Когда слышишь о дуэли вообще — о такой дуэли, например, какая лишила Россию Пушкина, — то становится на душе очень грустно и горько. Но при рассказе о такой дуэли, какая произошла недавно между двумя офицерами в немецком городе Инстербурге, для скорби не остается места: ее вытесняет раздражение, гнев на злонамеренную тупость людскую.

Поручик Власковиц был пьян, и в пьяном виде «нанес оскорбление действием» двум своим приятелям. Протрезвившись, он совершенно ничего не помнил об этом происшествии и спокойно уехал венчаться. Но начальство вызвало его телеграммой в Инстербург, где офицерский суд заставил бедного поручика драться с «оскорбленными» на дуэли. Власковиц готов был извиниться, «оскорбленные» готовы были принять извинение, но офицерский суд настоял на дуэли, и молодой поручик, которого ждала влюбленная невеста, попал из-под венца в могилу.

Что это такое?

В одной русской военной газете несколько лет тому назад, когда тоже возникли толки о дуэли, был предложен на разрешение совершенно такой же случай, только в русской обстановке и, может быть, совсем не вымышленный. Жили-были два офицера в тесной дружбе; напились оба пьяными и подрались;

утром, протрезвившись, снова стали друзьями, но кто-то видел их пьяную драку.

— Справедливо ли заставить драться еще раз и уже не с голыми руками? — спрашивалось в газете.

Нашелся один генерал, который ответил, что это вполне справедливо, потому что нельзя допустить, чтобы офицера безнаказанно били по физиономии.

Что это такое?

Нигде и никогда на земле не было видано такого выворота наизнанку всякой человеческой логики. Когда человек остушился и упал, его принято подымать; но здесь ему говорят:

— Упал? Упади еще раз, иначе мы тебя исключим из общества джентльменов.

Когда человек по неосторожности простудился, принято дать ему хинин, уложить его в постель и укрыть двумя одеялами. Здесь же от него требуют:

— Простудился? Так постой-ка заодно пять минут на сквозняке.

Какая-то слепая, обжорливая стихийная сила, вроде той силы притяжения, которая заставляет горца, поскользнувшегося на крутизне, лететь уже до самого низа.

Он ведь был пьян, как все вы бываете пьяны, и потом был готов извиниться! За что же вы принуждаете его драться на дуэли?

— Офицера нельзя безнаказанно бить по физиономии, — отвечает суд «чести».

— Но знаете ли, камрады, мы, собственно, готовы удовлетвориться... — робко бормочут «оскорбленные».

— Тогда извольте подать в отставку, — рычит суд «чести».

И вот офицеры выходят драться.

Тут начинается самое странное.

Вместо того чтобы обменяться двумя выстрелами «так себе», или, по крайней мере, рассчитать прицел на легкую рану, они от всей души норовят — «с прискорбием», как г-н Максимов, — уложить противника на семь футов ниже земли.

В этом — ужасная тайна оружия, гипноз его, еще не исследованный. Вероятно, даже несомненно, ощущение пистолета в руке отуманивает голову и совесть и будит в человеке скотину.

С другой стороны, есть и страх.

— Он стоит передо мной с пистолетом в руке, черт его знает, какие у него намерения? Вдруг убьет? Нет, уж это неудобно.

Вот почему выходит, что Онегин, только что мысленно извинявший Ленского за его молодой задор, так торопится выстрелить первым и делает такой тщательный прицел.

А кагал немецких офицеров стоит тут же и священнодействует, поощряя и нарочно вызывая это возрождение скотины в человеке, этот триумф гнуснейших инстинктов, более позорный для офицера, чем для кого бы то ни было другого, потому что офицер, если он не мальчишка, должен знать цену оружия и на что оно ему дано.

Интересно знать, какую речь произнесет по этому поводу Вильгельм, такой любитель военных порядков.



Сердечный и радостный привет малороссам, желанным и жданным гостям.

В таком составе, как теперь — г-жу Заньковецкую рядом с господами Кропивницким, Саксаганским, Садовским, Карым, — половина теперешней театральной Одессы их не видала. И вообще никакой труппы, ни русской, ни иноязычной, в таком составе не видала.

Много причин, почему артисты-малороссы должны быть нам дороги.

Только благодаря им не вырождается чудный украинский язык — прелестнейшее из славянских наречий, только благодаря им доходит эта звонкая гармоничная речь до ушей горожан, среди которых уже не один Нечипоренков пытается корчить кацапа¹, выговаривая: «п'таамушта...»

Только благодаря им со сцены иногда доводит до нас свежим воздухом народного быта вместо гадких, надоевших, дешевых интеллигентных разговоров, из которых склеиваются «Накипи» и ей подобные осадки; и серую столицу — обычное место действия в великорусском репертуаре — сменяет привольная, ласковая, теплая, душистая земля украинская, которой так красиво дано имя: «ясная»...

Благодаря им мы снова встречаем на сцене полувымершее *чувство*, этого истинного бога, забытого ради «толкования ролей» и связанных с ним выкрутасов. Их репертуар и их игра, все построено на чувстве, и все поэтому освежает и очищает душу.

¹ Прозвище русских среди украинцев.

И наконец (ставлю это последним только для того, чтобы ярче оттенить эту заслугу малороссов), только они еще и помнят о том, что искусство должно обтекать свою землю, как солнце, должно быть кочевым, и только они еще и кочуют, перенося свою животворную искру с места на место, в наши дни всеобщего, повального, безобразного закрепощения актеров за городами и казной.

Altalena

Одесские новости. 1.11.1901



Гастроли А. Зандрок

«ГАМЛЕТ»

Того, насколько подходит к женщине роль Гамлета, я не стану касаться, предоставляя разбор этого вопроса в ближайшем номере нашему присяжному театральному критику. Здесь скажу только, что внешней иллюзии мужчины г-жа Зандрок, конечно, не дала. Но в классических пьесах иллюзия вообще представляет второстепенное и даже третьестепенное требование: мы хотим слушать их сознательно, вглядываясь и оценивая. С этой стороны, исполнение г-жой Зандрок роли датского принца (артистка делает из него хоть и нормального, но очень нервного и очень глубоко чувствующего человека) явилось в высшей степени интересным и полным замечательных деталей, свидетельствующих и об уме, и о художественном вкусе этой талантливой и оригинальной артистки. Но у г-жи Зандрок этих деталей так много, что мы ограничимся указанием на две три наиболее выдающиеся. Такова сцена спектакля, в которой каждый хороший артист обыкновенно дает полный простор своей изобретательности. Когда король с королевой встают, Зандрок-Гамлет, злорадно хлопая в ладоши, вскакивает с пола, подымает канделябр, подносит его к лицу короля, схватив его за грудь, и в лицо ему произносит знаменитое четверостишие: «Оленя ранили стрелой»... Этот прием, мне кажется, представляет очень полезную вставку: без него у других исполнителей, как и в шекспировском тексте, неясно, почему королева сейчас же посылает Гамлету через придворного упрек за его поведение во время спектакля. Сцену объяснения с матерью г-жа Зандрок

ведет в очень возбужденном, почти яростном тоне; после слов о портретах (для которых артистка пользуется двумя медальонами) она полумашинально отбрасывает от себя шпагу и кинжал, точно чувствуя, что совсем теряет самообладание. В этой сцене очень эффектен уход г-жи Зандрок — пошатываясь и задыхаясь от только что перенесенной внутренней бури. В последней сцене г-жа Зандрок тоже вносит очень важную, на мой взгляд, поправку. Получив первый удар от Лаэрта в руку, она вздрагивает, останавливается, сбрасывает перчатку и говорит: «Я ранен. *Разве это честный бой?*» После этого, когда Лаэрт роняет свою шпагу, Зандрок-Гамлет нарочно не дает ему поднять ее и, пристально глядя ему в глаза, подает ему свою, а потом, подняв шпагу Лаэрта, осматривает ее острие. Всего этого у Шекспира нет: подчеркнутых выше слов Гамлет в тексте не произносит, а шпагами бойцы меняются незаметно, «в пылу боя». Но и отсебятина, когда она так естественна и так удачна, как эта, не только прощается, но и одобряется.

Это была прощальная гастроль г-жи Зандрок. В ее лице наша публика могла бы познакомиться с очень своеобразной и очень даровитой артисткой, не мировой, но, несомненно, недюжинной. Говорю «могла бы», потому что, как известно, наша публика предпочла муниципальную оперетку, и Русский театр пустовал. Впрочем, на «Гамлете» публики было гораздо больше обычного. Г-же Зандрок были устроены шумные овации.

Alt.

Одесские новости. 1.11.1901



Вскользь

Военный писарь Любиков, имея намерение застрелиться, приехал с этой целью из Петербурга в Киев. Это — скажу в скобках — замечательно для характеристики нашей столицы: она может так надоесть, что в ней и застрелиться противно.

Любиков приехал в Киев и перед концом покутил. На Крепчатике усмотрел специальную барышню Верочку и пригласил ее ужинать в отдельный кабинет. После ужина барышня Верочка оказалась застреленной, а Любиков тяжело — кажется, смертельно — раненным.

Теперь Любиков утверждает, что она сама, узнав о его намерении, возжаждала смерти и для себя. Другие же склонны предполагать, что мысль: «На что ей-то жить?» возникла не у Верочки, а у самого Любикова, и он убил бедную девушку, как убивают обыкновенно, не дождавшись ее согласия.

Для суда это, собственно, вопрос не важный, тем более что до суда, кажется, мы с Любиковым не доживем. Но публика очень заинтересована этой загадкой. Может ли «такая» девица возыметь мысль о самоубийстве? Или ей это не по чину, и до чего додумался военный писарь, до того не додуматься проститутке?

Дело в том, что публика в душе считает самоубийство героическим шагом, хотя и говорит вслух:

— Малодушие!

Я, кстати, никогда не мог понять, где тут именно малодушие. Что хотите, но не малодушие.

Рассуждают так:

— Самоубийство — это мгновенное усилие воли, после которого нет больше страданий. Жизнь — это ежедневная борьба со страданиями, для которой нужно постоянное напряжение воли. Понятно, что предпочесть один миг физической боли целому длинному ряду разнообразных мучений, это — доказательство малодушия.

От одного умного старика я слышал на эти рассуждения такой ответ:

— Издание стоит десять рублей, а в рассрочку его можно приобрести так, чтобы к первому января внести четыре рубля, к первому апреля еще четыре, а к первому июля три. Итого одиннадцать рублей, т.е. больше десяти. Отчего же, однако, огромное большинство подписывается в рассрочку? Оттого, что у огромного большинства нет пороха на то, чтобы сразу отдать красненькую. Оно предпочитает истратить больше, лишь бы помаленьку. С самоубийством то же самое. Нужно очень много пороха, чтобы так разом вырвать из груди этот красный билет, называемый сердцем. Большинство предпочитают настрадаться и на сто рублей, зато помаленьку и пассивно. Жизнь — это самоубийство в рассрочку.

Нет ни одного дурня, который бы не был умнее своего ума. Ум наш говорит много глупостей, но внутри нас живет что-то такое, что поверх ума подсказывает нам правду.

Оттого публика, умом сочиняя малодушие самоубийц, в глубине души чувствует, что это не так — полагать цену самоубийце в грош, а себя, мирно глотающих оплеухи, считать героями.

Публика в душе сознает, что самоубийство — это все-таки нечто, все-таки шаг, требующий силы. Оттого она будет инстинктивно не доверять, чтобы такой «твари», как киевская Верочка, могла серьезно прийти в голову мысль о самоубийстве.

Еще во время безденежья — это бывало. Но за вкусным ужином? Немыслимо.

Это значило бы предположить в «твари» неприличную тонкость чувств. Нет, она не может.



Я знаю, однако, что может. И в доказательство позвольте рассказать вам две сказочки.

В Риме есть некая баронесса Тразелли. Настоящая баронесса по мужу-барону, который жив, здоров и обитает с женой в том же помещении, где находится притон баронессы.

Очень шикарный притон, совершенно не по средствам для человека, лишённого купонов. Девиц очень мало, и ни одна не остается там больше двух недель.

У меня был один приятель, тоже человек без купонов, но одаренный изумительным талантом симулировать присутствие купонов и даже в большом количестве. Благодаря этому таланту он попал в почет у привередливой баронессы.

Однажды он показал мне письмо на модной бумаге:

— Прочти, это человеческий документ.

Письмецо было написано со всеми запятыми:

«Pregiatissimo Signore¹—

Жду вас с нетерпением: вы увидите у меня новенький, очень оригинальный образчик (campione), который, я уверена, окажется вполне в вашем вкусе. Итак, до скорого свидания: времени мало. Надеюсь сегодня или завтра вечером иметь удовольствие пожать вам руку, остаюсь

ваша devotissima²
баронесса Тразелли».

¹ Многоуважаемый господин (итал.).

² Глубоко преданная (итал.).

— Любопытная бумажка, — развел я руками. — Ты пошел?

— Нет. У меня это письмо лежит уже дней десять. «Образчик», верно, уехал... Слушай, сегодня у нас свободный вечер, и нет ни сантима, так что в театр пойти нельзя. Идем к баронессе? Ты ведь интересуешься здешней средой. Мы придем, поболтаем с баронессой и невинно уйдем. Ты увидишь там типы! Я тебе покажу там особенно одну девушку, очень интересную и очень несчастную.

— А баронесса не рассердится на такой визит втуне?

— Помилуй! Она — сама любезность.

Мы пошли к баронессе.

По дороге приятель рассказал мне об этой очень интересной и очень несчастной девушке. Имени ее не назову, хотя мы и очень далеко от Рима и хотя в Италии даже переводчики Горького не знают ни звука по-русски. Для беглости условимся называть ее хоть Кармелой.

Эта Кармела, по объяснениям моего приятеля, была на особом положении. Баронесса дорожила ею и держала ее у себя — случай неслыханный — уже второй месяц. У Кармелы была своя отдельная комната и своя неприкосновенная ванна. Кармела отдавала хозяйке не половину, а только треть своего гонорара, чего тоже до нее у баронессы не бывало. И баронесса так привязалась к Кармеле, что говорила ей *ты*.

— А как она говорит остальным?

— В третьем лице, конечно. Там все по-фешенебельному.

Дело в том, что по-итальянски вместо нашего «вы» употребляется, безразлично для мужчин и женщин, местоимение «она» (*lei*), под которым подразумевается «ваша милость».

— Чем же она так несчастна, если ей живется так хорошо? — очень искренно изумился я.

— Кто ж ее знает. Я с ней говорил только один раз. Она мне ужасно понравилась, и я выхлопотал у хозяйки разрешение повезти Кармелу на вельоне (масляничный маскарад). Представь, что во время танцев с ней вдруг сделалась истерика, так что мне пришлось увезти ее к себе. У меня она успокоилась, но зато вплоть до утра все жаловалась мне на свою судьбу. Она говорила, что когда у нее бывают посетители, она иногда потихоньку сжимает рукой медальон с образком и молится: «Мадонна, спасите меня из этой ямы!», а потом, когда посетитель, опомнившись, видит у нее в глазах слезы, он ухмыляется и нежно

говорит: «Какой же у тебя, однако, темперамент, Кармелина, — даже плачешь!» Она уже раз бросила эту жизнь, когда была в Неаполе, но она не умеет шить и едва грамотна, а к нищете не привыкла, так что... Когда она увидела, что пришло время нести в ломбард свои профессиональные шелковые блузы, она одумалась, перевезла эти блузы в Рим и поступила к баронессе Тразелли... Читай: «Баронесса Тразелли».

Эти слова были вырезаны на бронзовой дощечке, прибитой к очень монументальной двери в третьем этаже. Мы позволили.

Баронесса меня очаровала. Очень представительная и милая дама, любезная, без всякой вульгарности и с такими фразами:

— Я много слыхала о ваших великих писателях Tolstoi, Dostoievski и, как только улучу время, куплю перевод и прочту. Русские — гениальная нация.

С нами сидела только баронесса. Девицы были заняты.

— Где Кармела? — спросил мой приятель.

В эту минуту вбежала горничная, а за дверью послышались истерические взвизгивания.

— Синьора баронесса, синьорина Кармела лежит в обмороке...

Баронесса вскочила и бросилась в дверь. Я не знал, что делать, но мой приятель побежал за баронессой, а я за ним.

Кармела лежала на диване в третьей комнате: красивая блондинка в лиловой блузе, без кровинки в лице, с перекошенным от боли ртом, как у всех отравившихся сулемой.

Впрочем, ее потом отходили. Я еще как-нибудь соберусь рассказать, насколько знаю, дальнейшую историю Кармелы, которая очень поучительна. А пока должен вас уверить, что сколько мы ни бились, от нее нельзя было допытаться другого объяснения этой сулемы, как только:

— Я больше не могла.

Не голодала, жила в чести у знакомых и ближайшего начальства — и отравилась оттого, что «больше не могла».

Очевидно, и это — причина.



У меня почти не остается места для второй сказочки, которая, может быть, даже характернее первой.

То была еще не проститутка, но непреложная кандидатка в этот цех. Странное существо восемнадцати лет, миловидное, неряшливое, апатичное, пассивное, безвольное, которое просто не сумело бы отказать даже рогатому черту.

У нее была мать, психологию которой я отказываюсь понять. Она, правда, бедствовала, но на доходы с дочери не могла рассчитывать, потому что дочь ничего не зарабатывала ни *этим*, ни каким-либо другим ремеслом.

Четыре студента, теплая молодая компания, поселившись все вместе на отдельной квартире, предложили ей жить у них. Она согласилась, и мать согласилась, хотя денежной выгоды ни для той, ни для другой из этого не предвиделось. Разве то, что не приходилось больше кормить дочку.

Она вела у студентов хозяйство, вела довольно грязно — и жила с ними в большой дружбе. Никаких ссор и сцен на этой всему кварталу известной квартире не происходило: студенты расходились по утрам, а вечером являлись обедать, пели песни, хохотали и танцевали с барышней. Ей не на что было жаловаться.

Несмотря на то, через две недели она тожехватила сулемы. И когда студенты ее отходили и, плача, спросили:

— За что?

Она тоже ответила:

— Я больше не могла.

Altalena

Одесские новости. 3.11.1901



Вскользь

Печать и общество, вероятно, усиленно заговорят теперь о студенческом суде. Тем более что этот вопрос вызовет много споров даже у людей одного направления. Самые верные единомышленники легко могут разойтись в ответе на такую задачу:

— Желательно или не желательно дать студентам право судить своих товарищей?

Одни скажут:

— Мы любим молодежь и верим ей, но для суда нужен опыт и знания, которых у нее не может быть.

Другие ответят:

— Есть такие проступки, осудить которые вправе и дитя. Для того чтобы отнестись с порицанием к забияке, шулеру или фискалу, нужна только чистая совесть. Это так же легко и естественно, как отличить тухлое яйцо.

Мне кажется, что и те и другие будут правы. И разгадка дилеммы, по-моему, в том, чтобы резко ограничить понятие чистого морального суда чести от суда дисциплинарного.



Если на полу лежит тухлое яйцо, все, кто не страдает насморком, сторонятся. И маленькие дети, такие, чью душу еще не заложило потребностью лебезить, инстинктивно сторонятся от фискала или задиры.

Студенты университета уже далеко не дети, а русские студенты особенно. Научной подготовки у них, конечно, нет, но опытность имеется. Ой как имеется! Молодые люди, которые с пятого класса гимназии шатаются по урокам, а в самой гимназии переутомляются, волнуются, притворяются и озлобляются, вступают в университетские палаты достаточно подготовленными для того, чтобы судить, суть ли мошенники хорошие люди или нехорошие.

И если в среде студенчества появляется — это бывает редко, но бывает — прискорбная личность, не надо отказывать студентам в праве точно и дружно установить эту прискорбность, чтобы все о ней знали и поступали сообразно тому, что знают.

Всякий суд чести представляет огромную консервативную пользу, предохраняя чистых от сближения с нераскаянным нечистым. Для молодежи это самосохранение особенно полезно, так как оно раз и навсегда научит и в будущем делать различие между человеком и человеком.

Но студенческий суд должен быть, мне кажется, только судом чести и ничем иным. Суд чести имеет дело только с честью. Он судит с точки зрения чести, и его кара должна падать только на честь — на незаслуженно доброе имя виновного товарища.

Право этого товарища на продолжение занятий, т.е. его положение в настоящем и в будущем, — этого суд *чести* не может касаться. Иначе он из суда чести вырождается в дисциплинарное учреждение.

К этому можно прибавить, что и само по себе сдирание с человека мундира — не для студентов занятие.



Нельзя скрывать, что есть такая тенденция. Многие из студентов — может быть, большинство, желали бы такого порядка: NN крупно согрешил, курсовые старосты, с соблюдением всех гарантий, судят его и объявляют недостойным носить студенческий мундир. А начальству после этого предоставляется удалить осужденного из университета.

Если бы такой порядок утвердился, я позволил бы себе считать его недостойным студенчества.

Вникните в такое рассуждение:

— Установлено, что этот человек присваивает себе некорректным путем чужие деньги. Поэтому мы не хотим, чтобы он получал высшее образование.

Или же:

— Поэтому мы хотим лишить его на один год права учиться.

Или же:

— Поэтому мы его заставим уйти из нашего университета и попытаться поступить в другой.

На нехороших предрассудках было бы основано такое рассуждение.

Где сказано, что только порядочные люди достойны проходить высшие науки? Где сказано, что за некорректные действия мы можем вычестить год из жизни молодого человека? Где сказано, что университет есть место, откуда большинство имеет право изгонять неугодного ему товарища?

Это уже не суд чести, а исправительная комиссия.

Настоящий суд чести поступает иначе. Он говорит во всеуслышание:

— Господа! Мы по совести считаем доказанным, что NN совершил такой-то и такой-то поступок. Мы по совести признаем этот поступок за некорректный. Мы по совести находим, что человек, сознательно способный на такой поступок, не может более считаться порядочным человеком. Знайте это, и руководствуйтесь.

Вот суд чести. Он дает нравственное удовлетворение оскорбленному и нравственное осуждение виновному.

Но суд чести не говорит последнему:

— Ты провинился, а потому мы тебя лишаем земли и воды. Мы хотим вмешаться в твою судьбу. Мы тебе запрещаем учиться. А чтобы ты подчинился нам, мы призываем на помощь начальство.

Это, может быть, прилично для заграничного корпоранта с пестрой подтяжкой через плечо, но не для русского студенчества, более гордого, благородного и рыцарского, чем оно даже само подозревает.

Altalena

Одесские новости. 8.11.1901



Что будет с Городским театром

У К. В. ЛЕОНАРДА

— К сожалению, — заявил нам гласный К.В. Леонард, — я не присутствовал на последнем заседании городской думы, когда обсуждался вопрос о Городском театре, и если бы меня не отвлекло из Одессы елизаветградское земское собрание, я не преминул бы высказаться в думе по этому вопросу. Во всяком случае, я полагаю, что вопрос о театре еще будет обсуждаться нашими гласными. Театральная комиссия теперь сделала вызов лиц, желающих взять в аренду Городской театр. Когда поступят заявления от антрепренеров, когда поставлено будет на очередь рассмотрение вопроса о сдаче театра, комиссия, несомненно, обратится к нам, гласным, с запросом, как мы желаем распределить будущие сезоны и какие труппы желательно видеть на сцене Городского театра. Кроме того, нам придется рассмотреть вопрос о сроке будущей антрепризы. Что касается моего личного взгляда, то я полагаю, что Городской театр должен преследовать воспитательные цели. Для этого он построен и для этого мы тратим на него ежегодно крупную сумму. В Городском театре публика должна иметь в течение обязательного сезона русскую драму сроком не менее трех месяцев, в остальное время должна быть опера. Разумеется, совершенно неважно, в каком порядке будут следовать драма и опера.

Предпочтение, конечно, должно быть отдано русской опере, но ввиду того, что в Одессе много иностранцев, которые любят итальянскую оперу и привыкли к ней, я полагаю, что сле-

довало бы распределить оперный сезон так, чтобы русская опера чередовалась с итальянской, но, во всяком случае, повторяю, русская опера должна стоять на первом плане. Относительно необязательного сезона, т.е. Великого поста, праздника и т.д., я полагаю, что на это время антрепренер может сдавать театр другим труппам; при этом весьма желательно, чтобы театр сдавался всякий раз с разрешения театральной комиссии. В это время свободны артисты московского Малого театра, петербургских драматических театров, и потому публика имеет полное основание желать, чтобы они гастролировали у нас.

В последнее время был поставлен также на очередь вопрос об оперетке в Городском театре. Вопрос этот рассматривался в думе. По моему мнению, в течение обязательного сезона оперетка не должна иметь место в Городском театре. В необязательном сезоне можно мириться с такой опереткой, как игравшая у нас оперетка Шульца, где многие певицы не уступают оперным. Некоторые находят, что оперетку лучше допустить зимой, чем в такое время, как Великий пост. Признаюсь, — улыбаясь, заявил нам К.В. Леонард, — я такой же православный, как и другие, но это скромное блюдо лучше допустить постом, чем в течение обязательного сезона.

Весьма важно также определить роль театральной комиссии в деле эксплуатации Городского театра. На мой взгляд, комиссия должна, сообразуясь с инструкциями городской думы и городской управы, контролировать все действия антрепренера. В течение драматического сезона комиссия обязана следить за репертуаром, требуя, чтобы к постановке назначались серьезные пьесы. Затем состав драматической труппы должен быть одобрен комиссией. Наконец, в интересах дела желательно сдавать театр на более или менее продолжительный срок, во всяком случае, более чем на два года.

А.

Одесские новости. 9.11.1901



Вскользь

Туманный день в Одессе — это невыносимо.

Лень и думать, и читать. В каждой книжке точно пуд, и валится она из рук на пол, и поднять ее не хочется. В голову ползут такие все проклятые мысли.

Возьмешь газету — еще хуже. Городские происшествия и телеграммы словно со вчера перепечатаны. С тоски просмотришь объявления — все то же. Никто не ищет мужа, не вызывает охотников поехать куда-нибудь... в тибетский город Лхасу или вообще на край света. Только профессора мнемоники пестрят на первой странице, да на четвертой студенты ищут уроков за стол и комнату.

Немного надо смертному человеку. Стол и комната — он и доволен.

Мне почему-то ясно представляется этот студент, ищущий стола и комнаты, и вообще вся его обстановка — внутренняя и внешняя.



Это, представляется мне, среднего роста чистенький студентик с большим кадыком. Комната у него маленькая, но в бельэтаже.

Ходит он по комнате вперед и назад и диктует последнюю диктовку своему питомцу Саше или Пете. А вечером или завтра надо убраться: отказали от стола и комнаты, и студенту самому противно оставаться тут дальше.

Саша или Петя в первом классе. Неприятный ребенок из чересчур умных. Он сегодня носится с фразой:

— Я этого решительно не понимаю.

И нарочно бесит студента и этой фразой, и всякими другими выходками. И диктовку он всегда писал хорошо, а сегодня вкатил три *н* в слово «длинный».

— Зачем это? Разве три *н* бывает? — сердится студент.

— Три *н*? — говорит Саша или Петя, ловя деревянную ручку зубами, — три *н*? Анна — Анна — Анна — Анна-на. А сколько же *н* в слове «Анна»?

Студент с подавленной яростью пропускает мимо ушей его скверный намекающий тон и отвечает:

— В слове «Анна» только два *н*. Давайте сюда латинский.

— Я решительно не понимаю, — нудит Саша или Петя.

— Что это вы опять решительно не понимаете?

— Я решительно не понимаю, зачем это вы должны выбраться, если Аня выходит замуж.

Бедный студент вскакивает и кричит:

— Уходите к черррту!

Саша или Петя торжествующе собирает свои книжонки и уходит.



Дзинь-дзинь... Входит двухбородый м-сье в золотом щипоносе¹.

— Это ваше объявление в газете? За стол и комнату?

— Мое. Прошу садиться.

И начинаются переговоры.

— У меня, собственно, их двое... Реалистик во втором классе и гимназист-третьеклассник. Так вот репетировать... У них, собственно, был с первого дня репетитор, но с ним нам пришлось расстаться... Знаете, порок молодости — строптивость... эти идеи... марксизм... нам пришлось расстаться... да...

Студент согласен.

— А сколько часов в день?

— Это, собственно, в зависимости от этакого вашего, хе-хе, педагогического чутья... Часом больше, получасом меньше...

Студент согласен.

— Потом... есть у меня еще, собственно, сын кадет. Он, знаете, по субботам приходит в отпуск... Так вот, он, собственно, должен будет ночевать в вашей комнате.

Студент согласен.

— А комната с отдельным ходом?

— Конечно. Собственно, ход через столовую, но ведь там, кроме как во время обеда или вечером, никого нет. Есть еще ход через кухню.

Студент согласен.

— Да! Вот еще. Дочка моя — в шестом классе Мариинской... Вы, собственно, по-французски — теория или практика?

— Говорю немного.

— Так вот с нею, в минуты досуга, перекинуться словечком на языке берегов Сены. Хе-хе... У нее, собственно, была до сих пор гувернантка, но нам пришлось расстаться. Эти парижанки, знаете... строптивость...

Студент согласен.

Он даже просит позволения перебраться сегодня же вечером.

М-сье в золотом щипоносе разрешает и уходит.

¹ Пенсне.



Студент укладывается.

Слышен легкий стук в дверь, потом еще два удара и еще один.

Студент вздрагивает, хватается стакан воды, выпивает залпом и говорит хрипло:

— Войдите.

Входит барышня Аня и останавливается у порога.

Студент говорит:

— Ваши рассердятся.

Она отвечает:

— Папы и мамы нет. Я не мешаю?

— Нет, садитесь. Я уже все уложил.

Пауза.

— Вы уговорились с тем господином, который только что был? — спрашивает Аня.

— Уговорился.

— За стол и комнату?

— За стол и комнату. Как и всё на свете! — отвечает студент, усмехаясь.

— Всё на свете? — удивленно, тихо повторяет она.

— Всё на свете.

Студент садится далеко от Ани на чемодан и говорит с большим убеждением, глазами следя за своей мыслью в воздухе:

— Всё на свете. Я даю теперь уроки за стол и комнату и буду их давать еще два года подряд. Потом я буду говорить на суде за и против людей разного сорта с той целью, чтобы вкусно поесть и удобно поселиться. Т.е. за стол и комнату. А так как все это в сумме составит мою жизнь, то и получится, что я, Череменко Дмитрий, проживу всю свою жизнь за стол и комнату.

Пауза.

— Вы всмотритесь в это дело, — продолжает он. — Ведь только предрассудок говорит, будто богатому стол и комната не нужны, потому что они у него уже имеются. Чепуха! Возьмем-те хоть вашего папеньку. Спиридон Христофорович, из-за чего вы бьетесь? Я бьюсь потому, что у меня есть сын, дочь... невеста, да и я с женой тоже люди живые. То есть: сыну надо обеспечить стол и комнату, дочери — стол и комнату и самому с женой стол и комнату. Сюда входят путешествия, театры, балы — но это все только дополнения к столу и комнате, вроде ковра или мороженого. Понимаете?

Пауза.

— Когда вы, бывало, — говорит он тише, — поздно вечером на цыпочках уходили отсюда, я долго не засыпал и мечтал. И мне думалось: как бы это было хорошо — сшить себе знамя, написать на нем хорошее слово, поднять над головой так, чтобы кругом добрые люди видели и надеялись, и идти, взывая: кто не со мной, тот против меня, а кто против меня, тот не жилец на белом свете! Видите, Аня, как оно даже поэтично излагается. Но... кто-то недавно говорил мне, что у нынешней молодежи нет идеалов... Представьте, это был, кажется, ваш папа. Но он не прав. Идеалы есть! И я мог бы горячо говорить перед сильными за слабых, но сильные всегда элегантно одеты, и если бы я в патетическом месте заметил, как они смотрят на мои заплатанные башмаки... Это выше моих сил, Аня.

И он машинально взглядывает на свои башмаки, ловит невольный взгляд Ани, прячет ноги под стул, потом вскакивает и говорит с холодной злобой:

— Меня не то бесит, что все для себя. Не эгоизм. Но меня бесит дешевизна. *Жизнь* — за стол и комнату!

Аня, уронив голову, шепчет:

— Есть еще любовь.

Он снова садится.

— И это было бы хорошо, Аня, — говорит он тихо. — Это было бы, пожалуй, не хуже знамени. Мы с вами тайком бы обвенчались и убежали бы куда-нибудь на юг... Это было бы хорошо, Аня.

— Отчего же?.. — не договаривает Аня, сидя все с поникшей головой.

— Оттого, что нельзя. Оттого, что я большой эстетик, Аня, — это моя болезнь. Я не хочу видеть на вас заплатанных башмаков, потому что я большой эстетик.

Анна еще ниже роняет голову и еще тише говорит:

— Я могла бы тоже давать уроки...

Он пожимает плечами:

— За стол и комнату?

Аня молчит.

Студент зовет:

— Маша!

Входит горничная.

— Пошлите мне панича и Степана, а сами позовите, пожалуйста, извозчика. Прощайте, Анна Спиридоновна. Поклонитесь папе и маме.

Altalena

Одесские новости. 11.11.1901



Что будет с городским театром

У В. И. МАСЛЕННИКОВА

— Я нахожу, — заявил нам гласный Масленников, — что у нас театра нет, а существует только театральное здание. Все, что происходит в Городском театре, носит случайный характер. Дают драму всего в течение одного месяца, затем немецкую оперетку, малорусскую труппу, итальянскую оперу. При нынешних порядках чем мы гарантированы, что и французский фарс «La Roulotte» не попадет на сцену Городского театра?

Между тем все это очень прискорбно. С завистью приходится читать в газетах, что в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове существуют постоянные драматические труппы, ставятся пьесы известных наших и заграничных драматургов, ставятся новые пьесы современного репертуара. Публика, в особенности молодежь, интересуется этим, разговаривает о пьесах, о литературе, спорит — словом, живет жизнью интеллигентных людей. А нам только приходится говорить: «Как бы хорошо, если бы и у нас все это было». Интеллигентный человек, работающий весь день, жаждет разумных, удовлетворяющих его художественные потребности развлечений. Он не пойдет слушать венскую оперетку или «Глытай, абож павук». Он хочет послушать русскую драму, а у нас ему дают все, только не драму. Только в сентябре, когда еще многие живут на дачах или курортах, у нас дают русскую драму.

Разве не дико, что в Одессе, университетском городе, где столько учебных заведений, театральное дело так ведется? Я не знаю, чем наш город отличается от какого-нибудь Аккермана. Немудрено, что многие убивают вечера за картами; не играющему в карты некуда деваться; в театре оперетка или малоруссы. Невольно вспоминаются давно прошедшие годы, когда в старом городском театре играла русская драма; в то время и в помещении цирка на Александровском проспекте играла русская драма. В обоих театрах публики всегда было очень много. А ведь население Одессы против прежнего удвоилось. У нас была тогда собственная «одесская драматическая труппа», и теперь это могло бы быть, но лица, стоящие во главе театального дела, не хотят этого.

Такой ненормальный порядок ведения театрального дела следует искоренить. Драма имеет огромное воспитательное и образовательное значение, и мы должны стремиться всеми силами к тому, чтобы у нас была постоянная русская драма — у публики установится с театром известная связь, она будет смотреть на театр, как на светоч умственной жизни.

Я предлагаю, чтобы в течение всего обязательного сезона у нас играла русская драма, и только к концу сезона ее можно чередовать с русской оперой или итальянской. Мы будем иметь тогда возможность ставить все новинки, которые с успехом идут в столицах. Публика любит и жаждет русской драмы; дайте ей хороший репертуар и состав труппы, и она будет наполнять театр. Даже в сентябре далеко не первоклассная труппа Соловцова дала порядочную прибыль.

Следует принять во внимание, что драматическая труппа г-на Соловцова теперь не та, что была несколько лет тому назад. Многие артисты выбыли из состава труппы, но г-н Соловцов вовсе не пополнил ее. Если бы у него потребовали лучшего состава труппы, если бы настаивали, чтобы драма играла три месяца, он все это исполнил бы. Г-н Соловцов не виноват в ненормальном ведении у нас театрального дела; во всем виновата театральная комиссия, которая испортила г-на Соловцова. При других обстоятельствах он оказался бы прекрасным антрепренером. Я лично убежден, что в театральной комиссии нет любящих театральное дело и преданных ему людей. Комиссия, например, теперь *in cogroge*¹ осматривает малую кассу. Но разве в этом ее главная задача? Почему комиссия не выработала программы будущих сезонов, а будет довольствоваться теми, которые предложат ей антрепренеры в своих заявлениях? Пусть она поступает, как она находит более удобным, и сдаст театр, кому хочет, но если она распределит будущий сезон по-прежнему, я первый буду протестовать в думе.

Драма, повторяю, должна и может быть в Городском театре в течение почти всего обязательного сезона. Утверждают, что драма не может выдержать в Одессе всего сезона. Это неверно. Я бы бросил все свои дела и сделался антрепренером, чтобы доказать только, что этого можно достигнуть. Наконец, мы готовы отказаться от постоянного оркестра и хора, лишь бы была постоянная одесская драма. Можно ее поддерживать субсидией, которая уходит на оркестр и хор, хотя я лично убежден,

¹ В полном составе (*лат.*).

что она не нуждается в субсидии. Великим постом следовало бы предоставлять театр для спектаклей русской опере. Во время и после Пасхи театр следует сдавать для гастролей корифеев русской драматической сцены.

А.

Одесские новости. 13.11.1901



Новый театр

«ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» БАЛУЦКОГО

В семье помещика Яцка (фамилии в программе нет) живет в качестве учителя некий молодой ученый Путницкий, который становится женихом дочери помещика Ядвиги (г-жа М. Шнаге). Отчасти под его влиянием, отчасти из подражания своей тетке, старой панне Флоре, завзятой стороннице женской эмансипации, Ядвига начинает заниматься науками и почитать серьезные книжки. В то же время ее молоденькая кузина Зося (г-жа Лонцкая) посвящает себя хозяйству и на предложение подписаться под петицией о женских правах (дело происходит в Галиции) отвечает: «На что мне права? Чтобы у меня еще больше стало работы?» Однако это обилие работы не мешает Зосе быть постоянно бодрой, веселой и приветливой. Четвертое лицо интриги — улан Болек Вацьковский (г-н Павловский), дальний родственник Ядвиги, влюбленный в нее и презирающий ее жениха — «педанта, который садится в седло с правой стороны». Ядвига тоже чувствует больше склонности к беззаботному поручику, чем к своему жениху: она проводит с Болеком целые дни в прогулках верхом, а за молодым ученым тем временем ухаживает Зося. Путницкий понемногу сам пленяется ею, хотя она и «не читала ни Спенсера, ни Милля». Все это, после обычных перипетий, кончается счастливой перетасовкой: Зося делается невестой ученого, а Ядвига переходит к поручику, и все заканчивается веселой мазуркой. Комедия построена умело, в действии недостатка нет, диалоги живы и остроумны, некоторые фигуры довольно типичны, а мизерная тенденция подчеркнута очень мало, так что пьеса смотрится с большим удовольствием, особенно в таком прекрасном исполнении, каким блеснула гостящая у нас польская труппа. Особенно хороша, положительно прелестна, была го-

спожла Лонцкая (Зося), очаровавшая многочисленную публику своим многообещающим талантом, своей искрящейся живостью, своей молодой безыскусственной грацией. Г-жа М. Шнаге в роли панны Ядвиги была очень эффектна, а ее партнер г-н Павловский оказался весьма изящным уланским поручиком. Остальные исполнители тоже более чем содействовали прекрасному ансамблю. Вообще видно, что труппа хорошо сыгралась, поставлена вполне по-европейски, и публика, усердно посещающая эти спектакли, не обманывается в своих ожиданиях.

Alt.

Одесские новости. 14.11.1901



Вскользь

На днях я смотрел «Дон Карлоса» — трагедию Шиллера, написанную, оказывается, для зала Болгарова, на Старо-Резничной ул.

В этом учреждении ставят то «Воровку детей», то «Дон Карлоса». То есть или портят вкус негодными пьесами, или отбивают охоту к хорошим.

Один молодой артист из труппы попечительства сказал мне:

— Помилуйте, да разве наши задние ряды в состоянии даже просто грамматически понять период в пять стихов?

У Шиллера же есть, например, «Орлеанская дева» — драма, полная действий, и эта живость действия, как маховое колесо, поможет вниманию зрителя задних рядов преодолеть мертвые точки непонятных монологов.

Но «Дон Карлос», весь построенный на борьбе идеалов, о которых к задним рядам Старо-Резничной улицы не дошла еще благая весть, — драма, не легко дающаяся и человеку среднего слоя, даже в чтении, драма, фабула которой так ничтожна по сравнению с колоссальностью ее идеи, — «Дон Карлос» не может идти на такой сцене иначе, как под непрерывное покашливание публики.

Правда, «для народа» нужны *только* те пьесы, которые признаны хорошими и для интеллигентов. Но это не значит, что *всякая* хорошая пьеса, интересная для интеллигентов, может заинтересовать задние ряды.

Задним рядам еще нужны фабулы и действие, от которых интеллигенция начала уже отвыкать, может быть, к сожалению.



«Дон Карлос» был поставлен для г-на Россова. Мне, таким образом, удалось впервые познакомиться с этим интересным артистом.

Судьба его очень странна. Достаточно указать на то одно, что артист, играющий специально и исключительно классические стихотворные роли, начавший свою карьеру на всю Россию прошумевшим выходом в «Гамлете» на пятнадцатом году своей деятельности, еще во цвете лет попадает в аудиторию на Старо-Резничной улице.

Особенно разумной причины этому печальному факту нельзя подыскать. Люди, близко стоящие к делу, приводят разные объяснения закулисного характера, но до последних не может быть дела нам, видящим г-на Россова перед кулисами.

Г-н Россов перед кулисами, несомненно, ярко доказывает свое право на более высокое место по иерархической лестнице актерского мира.

Трудно судить о нем, конечно, по одной роли. Он хорошо исполнил сильные патетические места, но зато показался неподготовленным к тонкой нюансировке. Это впечатление, однако, противоречит тому факту, что роль Гамлета считается лучшей в его репертуаре.

Поэтому из напрашивающихся после одного спектакля заключений надо пока отбросить все, кроме единственного: г-н Россов, несомненно, даровит, искренне и пылко даровит, но недостаточно воспитан в артистическом отношении.

У него есть прискорбные пробелы — пустые места, проглоченные без толкования, без ударения, — жесты и манеры, уцелевшие только по недосмотру или безалаберности.

Тем более жаль, что этому артисту приходится подвязаться на подмостках Старо-Резничной улицы, далеко не располагающих к усердной работе над самосовершенствованием. И в то же время каждое упущение, каждая мелкая погрешность незаметно портит свежий вкус массы.

Как это глубоко печально, что в России даровитые артисты таким роковым образом не приспособлены для народной сцены...

Altalena

Одесские новости. 14.11.1901



Новый театр

«ЗАГЛОБА СВАТОМ» Г. СЕНКЕВИЧА

Юбилей Сенкевича, несмотря на свою колоссальность, носил характер семейного торжества, как это всегда бывает при искренней любви и сознании близости к чествуемому. Поэтому, когда Сенкевича попросили дать новую пьесу для постановки в день юбилея, он на скорую руку набросал маленькую буффонаду, совершенно свободную от всяких литературных претензий. На семейном празднике бывает приятно послушать юмористическое стихотворение какого-нибудь домашнего поэта на домашние, близкие сердцу темы, и никто в пылу веселья не требует, чтобы в этом стихотворении все рифмы оказались на местах. В пьесе Сенкевича совершенно так же речь идет о старом и добром знакомом — о Заглобе, вносящем веселые нотки в этическое величие трилогии, — и так как Заглоба прославился удивительными приключениями, то истинными, то собственного изобретения, то здесь он выведен героем совсем уже невероятного приключения. Вот вкратце содержание: у старого Оливиуша (г-н Щуркевич) есть дочка, по имени, конечно, Зося (г-жа Лонцкая), которая любит молодого жолнера¹ Яна Зарембу (г-н Окорницкий). Отец, по обыкновению, против брака. На «защянок» Оливиуша нападают татары под предводительством Лыкай-Бея (г-н Шимбровский), который оказывается побратимом Зарембы: Лыкай-Бей говорит молодому жолнеру: «Для меня священен не только ты, но и все твои родные — братья, отец и мать, жена, даже тесть...» Слыша это, Оливиуш, которому предстоит быть посаженным на кол, молит Зарембу жениться на Зосе. Ксендз венчает их, и тогда Лыкай-Бей объявляет, что он не татарин, а шляхтич Заглоба, и что вся комедия подстроена им для его друга Зарембы. Отец сначала сердится, потом его уговаривают и т.д. Все это на пространстве одного действия раскрашено довольно забавными деталями. Литературными достоинствами эта семейная шутка не блещет. Разыграна была она недурно, хотя не с таким мастерством, какое наши гости уже успели высказать в первых спектаклях. Видно было, что исполнители далеко не увлечены своими ролями.

Alt.

Одесские новости. 15.11.1901

¹ Пехотинца (пол.).



Вскользь

Обратите внимание, с какой готовностью и поспешностью русское общество приходит на помощь каждый раз, как в печати появляется известие о новом случае «невзноса платы за право учения».

Это замечательно. Обыкновенно так трудно бывает вырвать у читателя пожертвование: ведь к нему не лично являючися, не устно пристаюти, а только посылают мертвый лист печатной бумаги, на который можно, не краснея, отмолчатся.

Газете так часто приходится обращать внимание публики на чей-нибудь холод и голод, что у читателя чувствительность успела притупиться. И, может быть, он в этом не особенно виноват, потому что и газетам приходится иногда делать выбор (как это тяжело!) в наплыве писем с просьбами о помощи.

И чтобы пронять утомленное и приобывшее читательское сострадание, нужно обыкновенно много искусства. Нужно расписать, размазать, подкрасить, даже преувеличить... нужно — назовем вещь ее именем — рекламировать несчастье.

Или — нужен сенсационный, из ряда вон выходящий случай, вроде последнего пожара. Но такие редки, и не в них наибольшее, наичернейшее горе.

Когда случай заурядный и фельетонисты не позаботились или не сумели «расписать» — пожертвования наползают сонно и вяло, замирают, дотащившись до пятнадцати рублей, и эти пятнадцать рублей «препровождатся» по адресу того, кому они столько же помогут, сколько умирающему от жажды — плевков.

Отчего же сравнительно крупные суммы набираются чуть ли не в 24 часа по коротенькой заметке и по такому заурядному, ежеминутному поводу, как то, что судьба грозит закрыть перед молодым существом дорогу к образованию, если у молодого существа нет денег.

Очевидно, общественная совесть не может с этим примириться. Общественная совесть может иногда промолчать, когда люди телом мрут от медленного голода, но против голодного мора души она протестует и приходит на помощь.

Я не берусь судить, насколько это предпочтение справедливо, но оно глубоко знаменательно.

Наша жизнь выработала принцип платы «за право учения», из которой обыденная скороговорка сделала «правоучение».

Общественная совесть не признает «правоучения». Она инстинктивно верит не в «правоучение», а в «право на учение».

Право на учение, которое принадлежит всем и каждому, худому и доброму, богачу и нищему, принадлежит по рождению, «Божией милостью», вековечно, нерушимо, как право на дыхание.

Общественная совесть делает, что может, откликаясь на отдельные крики...

И было бы горько, если бы девушка, на помощь которой пришло теперь общество, приняла эту помощь с поникшей головой, со стыдом.

То был бы ложный стыд.

Ей придет время понять, что каждый раз, когда общество помогает какому-нибудь утопающему, оно только платит свой долг или, скорее, частичку своего непогасимого долга. Потому что нет ни одного слабого и побежденного, который не был бы неоплатным кредитором общества.



И еще о праве на учение — с другой стороны и по другому поводу.

Отзываясь на мои замечания о том, что учащейся молодежи не должно принадлежать право на отлучение товарища от науки, студент П.Г. из Дрездена сообщает мне о случае, бывшем в тамошней русской колонии.

Какой-то студент выразил публично крайне антисемитские взгляды, проповедуя «идеи человеконенавистничества и дикой травли людей».

«Тогда, — пишет г-н П.Г., — я потребовал немедленного исключения г-на NN из нашей среды. После бурных и страстных дебатов было решено немедленно исключить г-на NN из нашей студенческой группы».

И г-н П.Г. оказывает мне честь вопросом, как бы я отнесся к этому случаю.

Мое скромное мнение таково, что я бы — по существу дела — этого решения не одобрил.

Какие бы человек ни исповедовал и проповедовал взгляды, либеральные или нет, гуманные или нет, исповедь и проповедь касаются его совести и больше никого. Общество или группа должны контролировать только действия, а не образ мыслей. И удаление человека из данной группы за неподходящий образ мыслей — непристойно. Особенно же непристойно такой поступок в передовой среде, потому что люди передовые, люди мысли и науки должны знать свою азбуку, первая буква которой — терпимость.

Это — по существу дела.

Что же касается формы решения, против нее, мне кажется, нельзя ничего иметь. И в статье, на которую отвечает г-н П. Г., я не об этом вовсе говорил.

Товарищи г-на П.Г. исключили того студента из своей «группы», из своей определенной «среды». Это — их право. По-моему, они им некстати воспользовались, но право есть право. Если один член группы ей не по сердцу, она просит его отстраниться. Против этого нельзя восставать.

Я же восставал против исключения по товарищескому суду из *учебного заведения*, а не из группы или кружка. Тот студент NN остался студентом, его не отлучили от науки. Только это я и пытался доказать: что товарищи товарища не должны лишать науки, потому что право на учение неотъемлемо принадлежит всем и каждому, богачу и бедному, *худому и доброму*.

Altalena

Одесские новости. 18.11.1901



Новый театр

«ЗОЛУШКА» ШУТКЕВИЧА

Пьеса по содержанию и обстановке напоминает малорусский репертуар. Это — история бедной девушки, дочери сто рожа, которую мачеха выгоняет из дома и которая, в конце концов, выйдя чистой из разных испытаний, становится невестой любимого человека — молодого студента Жаровского. Благодарная роль в этой пьесе только одна — самой «золушки» («попыхадла») Маньки. Г-жа Лонцкая провела эту роль так,

что спектакль закончился шумной овацией по ее адресу. Эта артистка одарена истинным, непосредственным, простодушным талантом и теплой искренностью чувства. В соединении с безыскусственной грацией самой первой, самой нежной молодости эти качества производят поистине чарующее впечатление. Дарование г-жи Лонцкой заслуживает самого заботливого внимания со стороны критики и сценических руководителей. Из остальных исполнителей был хорош г-н Шияборский — актер типа малоросса г-на Садовского — во вводной и неблагоприятной роли Игнация, безнадежно влюбленного в Маньку и с горя запившего. Г-н Орлинский прилично, хотя не без шаржа, сыграл отца «золушки», старика-сторожа Яна. В роли студента Жаровского выступил г-н Павловский, но оказался не в ударе. Г-жа Шнаге, к сожалению, почему-то не приняла участия в спектакле.

Alt.

Одесские новости. 18.11.1901



Вскользь

Собственно говоря, следовало бы посетить того несчастного г-на Рубальского, о котором вчера на этих столбцах рассказывал д-р Авиновицкий. Хотя бы для того, чтобы посмотреть дом Штыхнова.

Доктор описывает:

«В районе Толчка имеется громадный дом с длинным, узеньким двором, куда божье солнце и в июле не заглядывает, с затхлыми, вонючими щелями да конурами».

Ниже, для характеристики домовладельца, содержателя этой клоаки — самого Штыхнова, сообщается следующий эпизод.

Когда г-жа Рубальская умоляла Штыхнова не выгонять ее с большим ребенком из шестирублевой квартиры, этот субъект ответил:

— Эх, дурная ты, безмозглая баба! Дом мой — это мои деньги, а деньги — мой капитал, а капитал — моя жизнь; так пощади же ты, баба, мою жизнь — отдай мои деньги.

Очень хорошо сказано. Это по-немецки называется «виселичным юмором».

Интересно. Заметьте, Штыхнов даже разговаривает. Так-таки прямо владеет членораздельной речью. Это он-то — Штыхнов!

Такой игры природы вам не покажут ни в одном зверинце. Да, следовало бы пойти посмотреть.

Но дом его, по правде сказать, вовсе не такая редкость, чтобы его нельзя было себе вообразить с минимальной точностью, даже не посмотрев.

Таких домов сотни в Одессе.

Недавно мне представился случай заглянуть в некоторые из них — там, за Толчком. Может быть, в их числе была и клоака этого Штыхнова: я не смотрел на имена домовладельцев, избраженные на жестяных дощечках у ворот. Нарочно не смотрел: мне почему-то претило. Да и сами дощечки были так неразборчивы от грязи и ржавчины, словно хозяева с умыслом прятали свои имена в нечистоте.

Дворы в таких домах то земляные, то вымощены острыми камнями. На острых камнях играют маленькие дети, падают, ушибаются и приобретают ту спотыкающуюся походку, по которой и под лакированными ботинками узнаются развинченные и дряблые щиколотки детей подвала.

Я спустился в один такой подвал.

Истертая лестница ведет в какую-то траншею в полтора роста глубиной. В эту траншею глядят частые двери «квартир».

Когда отворяется такая дверь, вы еще не сразу вступаете в логово живых людей. Прежде надо спрыгнуть еще на пять вершков ниже.

Тут живые люди схоронены глубже, чем трупы на кладбище.

У ворот дома только что хозяин — может быть, этот самый Штыхнов — на ловко вставленный вопрос о том, темны ли квартиры, ответил вам:

— Что значит темны? Так... Как полагается за шесть рублей.

Теперь вы видите воочию, что полагается за шесть рублей. Полагается одно окошечко — издевательство над нищим человеком, — глядящее в упор на разбитый сырой цемент узенькой траншеи.

Эта траншея — пожильцы называют ее *коридором*, а их дочери — *балконом* — сама лежит под двухэтажной стеной. На всем просторном небе нет для солнца такого места, с которого оно могло бы загнать свой луч в эту мерзкую щель. На грош, на ломаный грош «полагается» в ней света — и этот свет пьют из нее десять или двенадцать окошечек, чтобы разбавить серым оттенком грязную мглу подземных конур.

Но темнота еще не самое худшее. Есть еще воздух.

Вы, вероятно, думаете, что «воздухом» называется то вещество, которым люди дышат?

Как бы не так. Воздух — это то, от чего люди задыхаются.

В этом погребе нос и глотка в один миг наполняются чем-то таким омерзительным, чему не найдешь названия.

Если бы я рискнул описать этот запах, мне пришлось бы загадить бумагу самыми срамными, самыми рвотными из непечатных слов, какие только способен написать на заборе порочный бездомный мальчишка.

Знаете ли, при наличии деревянного сердца можно со всем примириться — с сыростью, грязью, темнотой, но ведь без воздуха прожить нельзя, ведь это удушье физически невыносимо мучительно...

Пустяки: привыкают и к этому неудобству.

А хозяин — может быть, этот самый Штыхнов — говорит по этому поводу:

— Что же, вентиляцию им за шесть рублей устраивать?

Шесть рублей! Надо не иметь совести, чтобы брать по шести рублей за эти отхожие места.

Шесть рублей! Ведь эта цифра — ложь. Тут не шесть рублей. Тут шесть тысяч чистого годового дохода, соскребенных с полуголодного люда.

Надо не иметь совести, чтобы за шесть тысяч годовой платы гноить стариков и детей — здесь кто не дитя, уже старик — в таких помойных ямах.

— Уа-а-а, — прерывает ваши мысли протяжный тонкий вой.

Откуда это? Вы вглядываетесь и различаете арку, за которой, очевидно, другая комната.

Странно... Откуда здесь арка? Верно, был в дни оны погреб, а потом расчетливый хозяин задумал устроить квартиру, и для того прорубил арку в соседнюю мину.

Теперь в этой соседней мине лежит в постельке, цвета старой половой тряпки, маленькое, страшно маленькое грудное дитя и тихонько воет:

— Уа-а-а...

Вы всматриваетесь в его личико, и вдруг вас перекашивает от сожаления и отвращения.

— Отчего он у вас такой?

Мать хмурится и говорит:

— Оттого, что не другой.

В эту минуту на тощем, землистом личике появляется ужасная конвульсия, губы точно хотят разорваться, под глазами появляются черные рытвины...

— Боже мой, что с ним такое?!

Мать нежно отвечает:

— Золотой мой мальчик! Он улыбается.

Тогда вы уходите. Хозяин стоит у ворот и косится на вас — он теперь днем и ночью боится санитаров, — и вы пробегаете мимо него быстро и не глядя, чтобы, чем черт не шутит, не соблазниться...

Да. А попробуйте этому субъекту не уплатить шести рублей — он вам покажет. Он за шесть рублей на все готов.

Шесть рублей — это деньги. Для него шесть серебряных рублей — то же, что тридцать сребреников. А за такую сумму мало ли на что можно пойти?

Altalena

Одесские новости. 20.11.1901



Вскользь

Недавно я водил по Одессе приезжего иностранца. Мерзкое занятие — и врагу не пожелаю. Тем более что европейцам у нас решительно нечего показывать.

Мой иностранец остановился перед нашей известной биржей и одобрил, а впрочем, спросил:

— Что у вас тут, собственно, делается?

— Мм... дают концерты.

— А еще?

— Не знаю. Ничего.

Я действительно не знаю. Когда новую биржу выстроили, я читал, кажется, жалобы на то, что она пустовала, а маклеры по-прежнему собирались между Фанкони и Робина. А с тех пор об этом обстоятельстве ничего не слышал и думаю, что дело обстоит приблизительно по-прежнему.

Мой иностранец тоже сказал:

— Я думаю, что этот дворец должен пустовать. В таком городе, как Одесса, вSpoенном торговлей, биржа совершенно излишня.

— Как так?

— Именно потому, что у одесситов пропитаны коммерцией все фибры. Я ведь слышал, что у одесситов коммерция идет прямо из глубины сердца. В стране поэтов не нужно было бы литературного клуба, потому что три человека, встретившись все равно где — даже в кутузке, — сейчас заговорили бы о поэзии. И где бы ни сошлись два одессита, они сойдутся непременно во имя меркуриево. На что же тут биржа? Если правда, что одесситы именно такие жрецы этого вороватого божка, как мне говорили петербуржцы, то я убежден, что они предаются коммерции где попало — в театре или первого мая на лоне природы — и за множеством дел не успевают заглядывать в биржу.

Иностранцы в России с поразительной точностью напоминают русского в Европе. Как мы там, так и они тут сорят замечаниями, решениями, открытиями, одобряют, осуждают, не зная ни аза, не понимая ни бельмеса.

И этот иностранец, конечно, сказал только дешевый парадокс. Но мне бросилась в глаза верность его предположения, что истинный одессит где угодно способен предаться коммерции.

То есть до чего это верно! Где угодно, когда угодно, в каком угодно настроении.

И даже в каком угодно возрасте.

Если вы — коренной одессит, то, верно, вспомните из собственного детства что-нибудь в этом роде.

Собирали марки? Несомненно. Менялись ими со сверстниками в Александровском парке? Конечно. Старались при этом нагреть ближнего? Троп умолчания.

Обстановка самая поэтическая.

Светлые аллеи бульвара полны народа: точно две яркие, разноцветные, говорливые реки бегут рядом, одна вперед, другая назад, в берегах, составленных шпалерами густо усеянных публикой скамей. Внизу темная гавань и черное, как бархат, море с бесчисленными электрическими точками, и из пустоты поминутно выглядывает красный глазок маяка. Надо всей картиной тысячеголосый говор, и в него вплетаются веселые нотки максантовского оркестра.

В темных аллеях сидят парочки и целуются, не оглядываясь на прохожих.

В устье одной из темных аллей показывается гимназистик.

Что должен делать в такой вечер и в парке такой гимназистик? Несомненно, играть в казаки-разбойники.

Он и играет. Только что, где-нибудь подальше, они все стояли кружком и кто-то «считал»:

— *Ани, бани, что пог нами.
Пог железными столбами,
Унчик, бунчик, сам корольчик,
Золоченый крест!*

И все закричали:

— *Косточка атаман!*

Косточка перед нами. Он очень мрачен. Ему сегодня не везет. Только что «казаки» переловили его товарищей — он один уцелел. Утром репетитор, готовивший Косточку к четырем перекламенкам, поймал его у самой двери и заставил-таки заниматься чуть ли не весь час.

Люся не пришла ни к его сестре, ни сюда в парк. Он с тоски затеял игру — и вот ее плачевные результаты.

— Ну, дела! — думает он.

Вдруг на него из толпы налетает «казак» — долгоногий реалист по прозвищу Цуцик. Косточка пускается наутек.

Цуцик летит за ним по черной аллее и кричит:

— Спуртуй, спуртуй, от меня не уйдешь!

Цуцик на бегу испускает призывные крики, но никто не отзывается.

Они добегают до дороги, углубляются в правую половину парка, переправляются через «Черное море» и, наконец, Косточка падает на скамью и кричит:

— Чур-чур!

Теперь он неприкосновенен. Цуцик тоже измучен и не протестует. Он садится и только говорит:

— Аж куды забежал! Дурак.

На что Косточка отвечает:

— Твое имя так. Мое прозвищное, а твое родное.

После этого оба молчат. Пульсы понемногу утихают, мысли возвращаются в обычное русло, и вот Цуцик садится верхом на скамейку и говорит Косточке:

— Ну, согласен?

Косточка понимает и режет:

— Не.

— Дурак, — повторяется Цуцик. — Посмотрите на этого пана: ему дают Китай в полтаэля за Цейлон, Гонконг и синий Эквадор, а он еще ломоты строит!

— И строю. Потому что Цейлон у меня не какой-нибудь, а шикарный. Даром что двойник, а я его за две юбилейные Америкы выменял.

Цуцик, положим, знает, что у Косточки Цейлон шикарный — у Аксюка меньше двугривенного не купишь; тем не менее он презрительно выпячивает губу и эффектно плюет сквозь передние зубы.

— Да, — продолжает Косточка. — А Гонконг ярко-красный тоже не пустяк, я думаю.

— Задавака! — ворчит Цуцик.

«Задавака» значит «гордец», но на Косточку эта обида не действует.

Тогда Цуцик ядовито говорит:

— Я ведь знаю, в чем дело. Ты думаешь, твоей Люси старшая сестра женится на том капитане и поедет с ним, и у тебя тогда все марки даром будут? Тебе уже, верно, твоя цаца обещала целую массу Китаев? Только не надейся! От когда мы там были в последний раз, так у Люсиной сестры с капитаном с того дня полное адье.

— Врешь?

— Я вру? Он на той неделе в Константинополь уехал. Очень просто: он набожный, а те не захотят, чтобы дочка перешла из католической веры. И стоп машина.

Косточка разбит и обескуражен.

— Забожись!

— Накарай меня Бог! Ну? Берешь Китай? Не то променяю Дрючку. Дрючок две Португалии, перепечатки на Азорские острова, и серию Сан-Марино? Ну?

Тишина. «Звонкозвучная тишина». И вдруг в нее врезаются отдаленные вопли:

— Цу-у-уцик!

— Наша партия меня зовет, — настораживается реалистик.

«Разбойник» Косточка опасливо отодвигается от «казака».

— Да ты не бойся, — говорит Цуцик. — Ну их на третий этаж — мы делом заняты, а они морочат голову своей ерундой.

И, продав таким образом святое дело казачества, он снова спрашивает:

— Ну?

Из распластанного переплета своего «билета» Цуцик вытаскивает большую почтовую марку с зеленоватым драконом. Косточка смотрит ему в руки с большим аппетитом.

— Валяй! — говорит он. — Даю тебе Цейлон с Гонконгом. Идет?

— Без Эквадора? Дудки.

— Чудак. Не могу же я отдать синий Эквадор, если он у меня только од...

Близко около них, в аллее, раздаются шаги и, главное, хохот, знакомый хохот!

— Люсинька твоя, — презрительно говорит Цуцик.

Косточка тоже поводит плечами: ему теперь не до Люси.

И смех Люси замолкает в отдалении.

Тогда гимназистик говорит:

— Не могу я тебе отдать синий Эквадор, раз он у меня один. А вот что: берешь Боливию в двадцать центавос?

— Боливию в двадцать?.. А ну, покажи.

— С уговором.

— Ну?

— Мы спрячем марки, а потом ты дашь мне отойти на пять шагов и тогда только погонишься.

— Ты за то обещаешь, что если будет у тебя опять двойник синего Эквадора, никому не дашь, кроме меня.

— Ладно. Бери марки.

— Ну, отходи. Раз, два, три, четыре, пять... Держи его!

И юные биржевики стремительно исчезают в глубине «Черного моря».

А у нас еще жалуются на оскудение и обеднение Одессы. Не бойтесь!

Помните, как у Некрасова:

— Не бездарна та природа,

Не погиб еще тот край...

Altalena

Одесские новости. 21.11.1901



Новый театр

«МАЗЕПА» ЮЛИЯ СЛОВАЦКОГО

Эта прекрасная, не уступающая драмам В. Гюго пьеса одного из лучших польских поэтов-романтиков построена на известном предании о том, как Мазепа в молодости был за какую-то провинность привязан к спине дикого коня. Эффектные и сильные сцены драмы написаны прекрасными стихами; отдельные

места выдаются психологической глубиной. К недостаткам пьесы надо отнести то, что не все поступки действующих лиц достаточно мотивированы логической необходимостью.

Воеводу играл, для первого выхода, г-н Болеславский. С удовольствием отмечаем, что этот прекрасный режиссер показал себя третьего дня и талантливым, интеллигентным, опытным актером с безукоризненными манерами, с благодарной внешностью и красивым голосом. Способный г-н Павловский (Мазепа) был не в ударе и не особенно твердо знал роль. Г-жа Новицкая удовлетворительно передала кротость, основную черту характера Ахелии. Збигнева играл г-н Домбровский, которому эта роль мало удалась. Выбор исполнителя для благодарной роли князя надо признать совершенно неудачным. Театр был совершенно полон.

Altalena

Одесские новости. 23.11.1901



Вскользь

Г-н Александровский, выдающийся киевский театральный рецензент, обвинил малоросского драматурга г-на Старицкого в многочисленных плагиатах. То-то списано отсюда, то-то переведено оттуда, а источники не указаны. Эксперт проф. Флоринский в своем заключении близко подошел к выводам г-на Александровского. Тем не менее киевский окружной суд признал г-на Александровского виновным в клевете.

Кто виноват и прав — рецензент или драматург, эти два исконных врага, — не так важно в этом случае, как более широкий вопрос о том, что такое «плагиат». И вообще об этой и смежных сторонах литературной этики.

Нельзя сказать, что плагиатом называется литературное заимствование без указания источников.

«Указание источника» — это нечто в высшей степени мелкое и пустячное, это — одна строчка в подзаголовке первой страницы.

Очень похвально, если эта строчка имеется. Но одно отсутствие ее само по себе не могло бы вызывать тех громов небесных, которые литераторы обыкновенно обрушивают на виновника плагиата.

И я уверен, что если бы даже во всех романах известного г-на Гейнце были указания на «источник», мы бы, в конце концов, не примирились с этим литератором и оставили бы за ним неприятную кличку «плагиатор».

Если человек только то и делает, что читает Иванова или Петрова сочинения и потом передает их *tels quels*¹ своими словами, то как же и назвать его иначе? Хотя бы он каждый раз и обозначал в подзаголовке: «Сюжет заимствован оттуда-то».



Просматривая критические статьи, я нередко замечал, что многие из них начинаются совершенно одинаково.

Например:

«Еще Аристотель выразил ту мысль, которая легла в основу лежащей перед нами книги, в следующих словах...»

Или:

«Собственно говоря, идея этого выдающегося произведения не нова. На нее есть довольно прозрачные намеки в сочинениях Декарта и Лейбница; к ней же довольно близко подходит бессмертный автор трактата о "четвертом корне достаточного основания"; и, наконец, слабый отголосок той же мысли чувствуется в некоторых стихах "Экклезиаста". Тем не менее...»

Или:

«Сюжет пьесы г-на NN не особенно оригинален. Еще Софокл...»

Вы можете сказать, что все это есть желание установить преемственность. По-моему же, эта скверная манера коренится в том, что человеческая эрудиция всегда рвется проявить себя. И, не имея почти никогда поводов кстати, проявляется обыкновенно некстати.

В этом мелочном свойстве бесцельной эрудиции — придирайтесь ко всякому чиху, чтобы вспомнить по этому поводу об Аристотеле, — кроется разгадка большей части обвинений в плагиате.

— О, Расин! откуда слава?
Я тебя, гружка, поймал:
Из русского «Стоглава»
Ты «Гофوليو» украл!
Чувств возвышенных сиянье,
Выражений красота,

¹ Как есть (фр.).

*В «Ангромахе» — погражанье
«Погребенюю кота»!*

Это, конечно, карикатура, но она дает понятие, каким образом «плагиат» часто является бредом мятущейся и пузырящейся эрудиции.

У Шекспира нет почти ни одной пьесы, сюжет которой не был бы заимствован откуда-нибудь. И всегда без указания источников.

Что же — значит ли это, что Шекспир был не только лесным браконьером, но и литературным?

Так можно далеко зайти.

Гете украл народную легенду и написал «Фауста». Ленау воспользовался его идеей и тоже написал «Фауста». Я видел издание: источник не указан.

Пушкин написал «Каменного гостя» без ссылки на испанский роман о севильском развратнике Дон Жуане.

Ни в «Ревизоре», ни в «Мертвых душах» нет в подзаголовке указания: сюжет сообщен А.С. Пушкиным.

Однако все это не «плагиаты».



Сюжет в литературном произведении, как и основная мысль в произведении научном, — не есть главное, и не то составляет неприкосновенную собственность автора.

Сюжетами могут случайно столкнуться два современника, живущих в разных концах Европы. А в мире отвлеченных идей такое совпадение случается очень часто, потому что *les beaux esprits se rencontrent*¹ и еще потому, что идеи каждой эпохи обыкновенно как-то сами собой носят и чувствуются в ее воздухе.

Главное в произведении — это сам автор. Иван обработает сюжет или идею по-ивановски, Петр — тот же сюжет или идею по-петровски. И эта марка личности и составляет истинную, неотъемлемую, неприкосновенную авторскую собственность.

Не потому неприкосновенную, что есть такая статья закона, а в силу самой своей природы.

У множества людей перчатки одного и того же номера и того же материала. Но нет двух людей, у которых линии на ладони были бы тождественны.

¹ Великие умы встречаются (*фр.*).

Сюжет — это перчатка, на которой остаются следы от сжатой ладони. И в разнице между этими сгибами заключается самостоятельность произведения.

Однофамильцев много, но у каждого из них своя подпись. И никакой Сергеев не может обвинить меня в подлоге, если я написал его имя своим почерком.

Как в подписи, человек отражается в обработке произведения. Только эта обработка и неприкосновенна. Остальное неважно.

Об остальном Расин говорил:

— Я беру свое всюду, где нахожу его.

Он украл «Гофолию» из «Погребения кота» и остался великим писателем.

Кстати. Вышеприведенные стихи принадлежат Воейкову. Сообщаю об этом во избежание обвинения в плагиате.

Altalena

Одесские новости. 24.11.1901



Вскользь

Последний литературный четверг окончился небольшим анекдотом. Его рассказал нам художник г-н Кузнецов.

Как известно, спорили в тот вечер о том, разрешить ли к дальнейшему существованию искусство для искусства или же оное прекратить, а на место его ввести искусство идейное.

Г-н Кузнецов сказал:

— Господа, я — художник. Однажды я на выставке увидел картину, которая мне настолько понравилась, что я часа два простоял перед нею. Потом пришел домой — и забыл содержание.

Анекдот произвел впечатление. В самом деле, если такой выдающийся художник два часа простоял перед картиной, эта картина должна была быть очень хороша. И если при этом он так обратил мало внимания на ее содержание, значит, содержание в картине — самая последняя вещь.

Все это так, но... не надо забывать, что г-н Кузнецов — художник. Он заинтересован в этом деле. Он может быть в нем только свидетелем, но не судьей.

Отсюда, конечно, еще не следует, что судьями можем быть мы, профаны, публика. Мы тоже не больше, чем простые свидетели.

Но мне кажется, что свидетельские показания публики в настоящее время, а может быть, уже давно, громогласно и упорно повторяют:

— На выставках картин очень скучно.

И уже то, что публика в этом случае искренна, смело может быть освобождено от всякого сомнения.

Кто не знает, как люди собираются на выставку?

— Мама, выставка уже целую неделю открыта — стыдно, — говорит барышня.

— Ох, правда, — морщится мать, — ну вот в воскресенье пойдем. Скажи сестрам. Да предупреди Михайловых: вместе уж пойдем, все-таки веселее.

В воскресенье идут. Предварительно себя настроили торжественно и опасливо. Дело предстоит рискованное: того и гляди, попадешь пальцем в небо, и стыдно будет.

И проходят они по залам медленно, с оглядкой, притягивая себя за волосы к каждой картине, мучительно и напряженно ища, к чему бы придраться, чтобы почувствовать хоть на миг истинное наслаждение, такое, какое, например, дает музыка.

Но это искание тщетно. Все картины оцениваешь головой. Ощущение все время такое:

— Вон то полотно, *должно быть*, прекрасно написано.

Непосредственно чувству — ничто не говорит. И от выставок уходят, как с барщины, в полном неудовлетворении.

Что это — нелюбовь к живописи? Невозможна повальная нелюбовь к отрасли искусства. Бывают отдельные люди с отшибленной одной стороной чувствительности, но у нормальных людей ничего не отшиблено.

Все дети любят картинки, и все люди должны любить живопись.

Вина самой живописи, если она их от себя отталкивает.



Чего не достает живописи?

— Содержания.

У нас так любят высокий штиль, что, обыкновенно, требуют от картин «идейности», причем, для пущего тумана, говорят еще о разнице между «идеей» и «тенденцией», из которых одну одобряют, а другую отрицают, и проч.

Что такое идейная живопись? Это живопись, наводящая на мысли.

Каким образом она наводит на мысли? Это выяснил в том же заседании г-н Соколовский.

— Я стою, — сообщил он, — перед двумя картинами «Возвращение солдата прежде и теперь» и думаю: вот как было прежде — возвращается хилый старик и находит свою избу разрушенной, а вот как теперь — солдатик вернулся в деревню к жене еще молодым и свежим. А почему такая отрадная разница? Потому что прежде служили 25 лет, а нынче только 4 года. А почему теперь только 4 года? Потому что была реформа. А чем же она была вызвана? Просветительным движением 60-х годов. Или же, например, гляжу я на картину «Гости сельского учителя». Мне сейчас же приходит в голову: вот интеллигент, который получает 25 рублей в месяц и принужден пить чай в компании пропойцы волостного писаря и ему подобных.

После речи г-на Соколовского я пошел спать и видел кошмар.

Снилось мне, будто я снова проник в помещение выставки и там рассматриваю все картины с идейной точки зрения.

И стою я будто перед картиной «У родимой матушки» и вижу, что там изображена печальная молодуха в кокошнике, жалующаяся матери на свою судьбу.

И я будто думаю:

— Нет, необходимость упрощения и облегчения бракоразводной процедуры в настоящее время совершенно неопровержима! Если бы эта женщина могла развестись со своим мужем, ей не приходилось бы бегать отвести душу «к родимой матушке»...

И будто бы, просмаковав таким образом эту картину, я подхожу к «Веселому анекдоту» Маковского и «реагирую» так:

— Какими пустяками заняты эти люди! Если бы у нас образование было поставлено иначе, они теперь читали бы книжку, а не развлекались бы глупыми анекдотами. А как ужасно худощав и мизерен этот чиновник! Да... сидячая жизнь, недостаток воздуха и питания... Следовало бы повесить оклад жалованья мелким чиновникам, но... как это сделать, ежели средств нет.

И тут я будто бы сел писать проект о всероссийском повышении жалований.

В этот миг я проснулся.



Не идея, которая с искусством не имеет ничего общего, а *содержание* — вот что вернуло бы живописи остывшие восторги публики.

У нас так ум за разум зашел, что мы иногда не понимаем самого простого слова.

И меня могут спросить:

— Что такое содержание?

Право, не знал бы, что ответить на такой вопрос. Я совсем плох насчет определений. Содержание есть содержание. Написать картину с новым содержанием значит нарисовать такие сцены или такие предметы, которых еще никто не писал. А написать картину с избитым содержанием — значит сделать нечто совершенно обратное.

И это именно и делают художники, и притом еще настаивают, что они правы, потому что в искусстве важно исполнение, а не сюжет.

Но, позвольте. Чтобы иметь возможность *как-нибудь* написать, нужно ведь все-таки написать *что-нибудь*? Ибо *ничего* — это ясно — *никак* и не напишешь.

От содержания в картине вы не отвертитесь. Оно будет — *nature morte*¹, пейзаж или жанровая сценка, — но оно будет.

И непонятно, какие еще могут быть сомнения, желательно ли, чтобы это содержание было ново и интересно.

Как бы ни было звучно стихотворение, оно нас не восхитит, если тема его избита.

Как бы талантлив ни был скрипач, его скучно слушать, если он исполняет только старые пьесы.

Отсюда не следует, что исполнять старые пьесы «не должно» или что писать стихи на старые темы «нельзя».

Художнику никто не указ. Можно виртуозно написать и яичную скорлупу, и это, конечно, будет самое настоящее «искусство».

Мы против яичной скорлупы нисколько не протестуем.

Мы только зеваем.

Скромно, вежливо, почтительно зеваем.

Мы, профаны, не осмеливаемся грозить художникам:

— Если вы будете выписывать яичную скорлупу, мы назовем вас бездарными.

¹ Натюрморт (*фр.*).

Мы просто говорим:

— Если вы будете тратить ваш талант на яичную скорлупу, мы будем скучать на ваших выставках — как скучаем теперь. А впрочем, делайте, что угодно!

Вот и все. Я, собственно, знаю, что сюжет есть, так сказать, только *повод* для создания картины. Но так как этот повод на ней же и остается навеки, то не надо, чтобы он ее портил.

Altalena

Одесские новости. 25.11.1901



Вскользь

Господину А.Р., в ДРЕЗДЕН

Милостивый государь!

Вы пишете, что я ложно понимаю слово «терпимость». Вы же — очевидно, правильно понимающий это слово, — называете *нетерпимым* такого человека, «который признает целую нацию или целую группу людей порочными». Такого человека вы считаете нужным выгнать из земляческого ферейна. И находите, что это изгнание не противоречит терпимости.

Вот ваши слова:

«Если я скажу: г. N — негодяй, а потому — выгнать его из ферейна¹, — я вполне терпимый человек: ведь мы же не исповедуем непротравления злу».

Я тоже не исповедую непротравления злу. Я, напротив, исповедую противление злу.

Но я не признаю, чтобы ошибочные взгляды подходили под ярлык понятия «зло» и чтобы г-н N за то, что у него свои взгляды, кто-нибудь имел право называть негодяем.

Этот г-н N был бы негодяем, если бы, утверждая, что «целая нация порочна», он приводил клеветнические, заведомо для него самого лживые доводы. Но об этом не писал мне г-н П.Г. и теперь не пишете и вы. Значит, я вправе принять, что недобросовестности не было и что г-н N был сам твердо убежден в том... что не понравилось вам и вашим товарищам.

«Если г-н N, скажем, вор, — пишете вы далее, — то меня нельзя ни в коем случае упрекнуть в нетерпимости, если я выгоню его из своего дома и даже засажу в кутузку».

¹ Сообщество, корпорация (нем.).

Вор — это одно, а человек, несогласно с вами мыслящий, — это другое.

Вор что-то такое *гелает*, что вам *вредит*. А человек, несогласно с вами мыслящий, что-то такое *думает*, что вам *не нравятся*.

Это — огромная разница.

И мне очень странно, что именно вам — очевидно, молодому и передовому человеку — я должен повторять такие зады. Будто вы сами никогда не слышали о том, что образа мыслей нельзя ни карать, ни преследовать.

Когда из германской армии выгоняют офицера, как это иногда бывало, за демократические убеждения, вы, несомненно, относитесь к этому с порицанием. Тогда вам это кажется насилием над свободой совести — неправда ли?

А между тем демократический образ мыслей точно так же неприятен германскому офицерству, как взгляды заядлого антисемита — вам и вашим товарищам по фереюну.

Удаляя из своей среды демократа за то одно, что он демократ, германские офицеры поступают не хуже вас и ваших товарищей. И, удалив из своей среды антисемита за то одно, что он антисемит, вы и ваши товарищи поступили не лучше германских офицеров.

Вы, может быть, подумаете: «Это не одно и то же — разве демократа можно ставить на одну доску с антисемитом?»

Не только в Дрездене, милостивый государь, есть люди, которые горячо сочувствуют демократическим идеалам и являются заклятыми врагами антисемитизма. Но не все эти люди находят возможным, подобно вам и вашим товарищам, авторитетно устанавливать, что их собственный образ мыслей весьма прекрасен, а убеждения их противников не годятся никуда.

Рассуждать таким образом вовсе не значит верить в свою веру.

Это значит только быть очень простодушным.

Позвольте мне сказать, что вы, милостивый государь, вообще впадаете местами в простодушие.

Вы пишете:

«Уж на что терпимый народ — здешние (германские) практические марксисты, а и они к антисемитам нетерпимы».

Я бы очень изумился первой части этой фразы, если бы не знал, что люди из России живут за границей в полной, к сожалению, обособленности от туземной жизни и получают о ней понятие только по газетам и по публичным разглагольствованиям.

Но и при этом, собственно, можно было бы успеть рассмотреть ту очень известную истину, что терпимость практических марксистов есть миф, под которым не подпишутся даже сами практические марксисты.

В их *идеале* есть принцип терпимости, но в их практике его нет. Потому что и быть не может. Потому что всякая боевая партия ведет борьбу, а в борьбе нужны дисциплина и регламентация, а дисциплина и регламентация исключают терпимость к чужеродному мнению.

Я нисколько не ставлю этого в вину или в неискренность практическим марксистам. Потому что вообще говорить о терпимости какой бы то ни было *партии* — значит (извините) не иметь никакого понятия о европейском укладе общественной жизни.

Партия органически *не может* быть терпима. У нее свой катехизис, и кто в ее катехизис не верит, того она удаляет потому, что он сам себя от нее удалил.

Но у вас там — просто земляческий ферейн.

Если бы это был ферейн юдофилов, я понял бы удаление юдофоба. Как если бы это был, на американский лад, клуб толстяков, я понял бы изгнание худощавого человека.

Но у вас был просто ферейн земляков. И вы не имели ни права, ни основания требовать от вашего земляка еще и образа мыслей по вашему вкусу. И когда он этого свидетельства о благонамеренности не представил, не имели нравственного права удалить его из землячества.

Я настаиваю, что это со стороны ваших товарищей было проявлением неоспоримой нетерпимости.

На этом мы можем закончить прения. Не льщу себя надеждой и вовсе не желаю переубедить вас и ваших товарищей, но прошу в свою очередь маленькой любезности с их и вашей стороны.

Я желал бы, чтоб вы доставили этот мой ответ исключительно вами господину.

Я не знаю даже его фамилии, а его взгляды мне глубоко *et pour cause*¹ антипатичны.

Но потому именно я желаю, чтобы он убедился, что не все его противники вопиют о терпимости только для себя.

Altalena

Одесские новости. 27.11.1901

¹ И небеспричинно (*фр.*).



Вскользь

Г-н Боборыкин говорил в Петербурге о литературном пролетариате: в добрый час. Слишком мало шумят обыкновенно о том факте, что и в печатном мире есть лица голодающие и лица, таковых обсасывающие. А отчего молчат об этом — ясно. Ведь говорить о чем бы то ни было, даже к обсуждению не возбраненном, могут у нас только газеты, а газетам на эту тему говорить не хочется.

Это очень красиво. Газету составляют 25 газетных работников, которым, собственно, очень и очень хотелось бы посулгать по такому для них насущному поводу. Но во главе газеты стоит один работодатель, которому этого рода толки неприятны. И 25 желающим приходится молчать под дудку одного нежелающего.

Хозяин есть хозяин, где бы вы его ни водворили — в суконной лавке или в редакции наипередовой газеты.

Где бы вы ни увидели хозяина, он повсюду один и тот же. Он повсюду вводит прелести хозяйственной системы, то есть денежную или умственную прижимку, произвол своей хозяйской ноги, окрик «чего надеть?» и соответствующую этому окрику волокиту.

Я вовсе не имею в виду лядащих захолустных газет или таких, которые вообще не удовлетворяют в смысле чистоплотности. Об этих не стоило бы долго толковать: сказать им — поступайте, мол, как поступают в хороших столичных редакциях — и готово. Они бы, конечно, тут же взяли и исправились.

Горе в том, что хозяйственный принцип грузно поставил свою «ногу» даже в самые «многоуважаемые» печатные гнезда. Самое искреннее передовое знаменосничество не мешает тому, что древко знамени укреплено в хозяйственной почве.

Это очень естественно, и никто этому не удивляется.

Г-н Боборыкин предлагает парализовать хозяйственную систему организацией литературных работников. Это было бы очень хорошо. Но организации бывают разные. Есть организации, ведущие к цели, и есть никуда не годные.

Было бы очень важно хорошо понять разницу между этими и теми. Мне удалось уразуметь ее благодаря одному мимо-летнему знакомству, которое попутно выяснило передо мной и то, в чем заключаются особенности литературного хозяина.

О простой денежной прижимке я говорить не буду — она ничем не отличается от обыкновенной эксплуатации в любом торговом деле.

И, кроме того, она не так эффектна, как другие специально-литературные проявления хозяйской «ноги». Потому что в последних можно подметить особенно резкий контраст между тем, что вполне искренно проповедуется на бумаге, и тем, что прodelывается за кулисами редакции.

И опять напоминаю, что речь идет о самых почтенных органах русской печати, лучшей марки, — и прибавлю, что за немногие факты, которые передам, я считаю возможным поручиться.

Мне года три тому назад сообщил их, с предъявлением документов, один еще довольно молодой человек, квартировавший в то время под эстакадой.

Он был из тех, которые останавливают вас на улице полулатинской, полуфранцузской цитатой, чтобы потом получить с вас, на правах образованного человека, не обычную копейку, а целый пятак или больше.

Однако он оказался очень приятным человеком, имел следы среднего образования и с тех пор, как поселился в Одессе, заглядывал в публичную библиотеку в те дни, когда бывал сносен одет.

Совершенно неожиданно он оказался поэтом: он прочел мне однажды стихотворение, которое мне очень понравилось, а потом еще несколько стихотворений. И даже читал хорошо.

Я спросил его, как водится:

— Отчего не пошлете в какой-нибудь журнал?

Он ответил:

— Вспомнили! Я уже три года — с тех пор, как вернулся в Россию, — состою в самых оживленных сношениях с редакциями столичных журналов. Но это — сношения особенного рода.

— Какого?

— А вот какого: я посылаю, они отсылают обратно.

— Неужели и то, что вы мне только что читали, было возвращено?

— Абсолютно. И вы думаете, из одной редакции? Отнюдь. Из четырех.

Он назвал четыре толстых заглавия.

— И что меня особенно обидело, это — совпадение, — добавил он. — Как раз в тот день, когда пришел «одскочь» из «.....», я взял в библиотеке последнюю книжку этого само-

го журнала и нашел там неудачное стихотворение Вл. Соловьева, которое они сочли достойным напечатания, а мое вернули! Вы прочтите это соловьевское стихотворение.

Прошло несколько времени. Мой знакомый прочел мне очень оригинальную сказку или аллегорию в стихах, с гражданским содержанием, самого гуманного направления и с выводами, которые мне показались очень смелыми и новыми.

— Я посылаю это, — сказал он, — в «.....» и прилагаю такое письмо: «Прошу известить меня, почему эта сказка не будет принята: из-за недостатков исполнения, по независящим обстоятельствам или ввиду несогласия редакции с основной идеей».

Через полтора месяца он опять пришел ко мне.

— Итак?

— Вот ответ.

Я прочел:

«М. г. Ваша сказка не будет напечатана, потому что мысль ее глубоко неверна с точки зрения социологической».

Я спросил его:

— Что вы теперь предпринимаете?

— Последний опыт, — сказал он злобно. — Посылаю статью о стихотворениях Мирры Лохвицкой. К ней все рецензенты возмутительно относятся. Я пишу в ее защиту. Пошлю нарочно в журнал, который еще ни разу не говорил о ней. И приложу такое же письмо, какое приложил к этой несчастной сказке.

Через два месяца из редакции архипередового и архимолодого журнала получился такой ответ:

«Не можем поместить вашей статьи, так как редакция придерживается другого взгляда на деятельность г-жи Лохвицкой».

Тогда мой знакомый потерял терпение и, так как сами условия его жизни располагали к наивности, решил обратиться к существовавшей тогда видной литературной организации с чем-то вроде жалобы.

Собственно, это была не жалоба, а очень искренний вопрос, обращенный к чувству корректности литературных столпов, руководивших организацией.

Мой знакомый писал приблизительно так:

«В передовой печати по всем поводам проповедуется нелицеприятие и предпочтение лучшего худшему. Из такого-то передового журнала были мне возвращены, как недостойные

печати, следующие стихотворения (они приводились). В то же время в этом журнале было помещено следующее стихотворение г-на Вл. Соловьева (и оно приводилось). Прошу комитет решить, что скорее заслуживало по своим достоинствам напечатания в журнале. Если решение будет в пользу моих стихов, то прошу ответить мне на следующий вопрос:

Со стороны журнала, проповедующего нелицеприятие, *корректно ли* такое предпочтение, основанное не на сути, а на подписи?

Возможно, — прибавлял он, — что моих стихов вовсе не прочли. Это ведь бывает. Говорят, что редакции завалены стихами. Но мне до этого нет дела. Пусть объявят: не присылайте стихов. Если же не объявляют, то должны читать. Этот журнал протестовал бы, если бы где-нибудь в канцелярии возвращали, не прочитывая, прошения на том основании, что их чересчур много. И потому прошу комитет высказаться: *корректно ли* такое оставление стихов без прочтения со стороны *такого* органа печати?»

Затем, переходя к случаю со сказкой, оказавшейся «неверной с социологической точки зрения», он писал:

«Журнал, вернувший ее с таким ответом, проповедует о праве каждого человека свободно высказывать свои мысли. В то же время моей мысли он не дает ходу, потому что она ему кажется неверной. Нельзя возразить, что я мог обратиться в другой журнал: если этот, наиболее близкий к моему направлению, не принял, то другие и подавно. Следовательно, мне фактически заткнули глотку за то, что мои мысли показались кому-то неверными.*

И опять спрашиваю: *корректно ли?*»

Наконец, передав приключение со статьей о г-же Лохвицкой, мой наивный знакомый рассуждал так:

«На эту писательницу все нападали. Я за нее вступился. Я представлял себе, что поле печати есть огромная палата гласного суда, где председатель равно дает голос и обвинителю и защитнику. Но из журнала мне ответили, что так как предсе-

* Едва ли это так: «глубоко неверную с точки зрения социологической» статью, наверное, другой журнал другого лагеря признал бы верной и поместил бы, если она вообще достойна того. К редакции же данного журнала нельзя предъявлять требования содействовать распространению воззрений, кажущихся ей глубоко неверными. (Примеч. ред. «Огесских новостей».)

датель против обвиняемого, то мне, защитнику, слова дать не желают. И я, конечно, не мог обратиться с этой же статьей ни в какой другой из хороших журналов, потому что те все уже успели вышутить г-жу Лохвицкую.

И опять спрашиваю: *корректен ли* такой ответ со стороны передового журнала?

И вообще спрашиваю у почтенного и компетентного комитета: как я должен понимать русскую хорошую печать? Что она такое: учреждение ли для свободных прений и арена для всех артистов, или лавочка, где господствует только хозяйское усмотрение, где хозяин велит вам думать его мыслями, подделываться под его вкусы и к тому же самовластно берет на продажу папиросы той, а не другой фабрики, вовсе не руководствуясь при этом достоинствами товара?

Никаких практических для себя последствий от вашего ответа не жду, а желаю только знать ваше компетентное мнение на мой вопрос:

Корректно ли?»

Я пожал плечами, прочтя это послание, но судьбой его заинтересовался. В самом деле, человек восставал против самых элементарных принципов журнального дела, в доброкачественности которых не сомневался ни один из лучших журналистов. И требовал признания этих принципов «некорректными» от организации, во главе которой стояли многие из обвиняемых им лиц.

Ответ получился такой:

«Комитет не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела редакций».

— Видите? — комментировал этот ответ мой злополучный знакомый. — Нигде и никогда они не признавали неприкосновенности «внутренних дел». Ни на фабрике. Ни в мастерской. Ни в лавке. Ни в канцелярии. Всюду — по их мнению — печать должна иметь право проникать, оглашать, как там ведется дело, одобрять и осуждать. Но только вопрос коснулся того, что творится за кулисами редакции (а ведь там тоже на сцене искатели платной работы и ее наниматели), — пошла уж музыка не та. Тут «внутренние дела» — не прикасайся! Рука руку моет. Я был дурак и не понял: будь он хоть разлиберал, но хозяин — всегда хозяин и в своем хозяйском доме гласности не терпит. У него «внутренние дела»!

Я уж давно потерял из виду этого знакомого. Но я твердо запомнил, что не всякая организация, носящая высокую кличку, стоит на высоте этой клички, по крайней мере, в смысле беспристрастия. В этом мире всем свойственно прикрывать своего брата, даже кривя душой.

А потому, когда устроите ту организацию для защиты от литературных хозяев, что предлагает г-н Боборыкин, то будьте осторожны насчет состава...

Altalena

Одесские новости. 28.11.1901


Вскользь

Мне почему-то все представляется, будто бенефис г-жи Лонцкой и г-на Павловского, предстоящий сегодня вечером, есть отчасти праздник и на моей улице.

Может быть, оно и верно, потому что мой праздник — это день, когда я доволен и счастлив. Я убежден, что сегодня вечером почувствую себя на час и довольным, и даже счастливым.

Тому две причины. Первая та, что я люблю театр, особенно когда там не поют, и душой радуюсь всякому театральному торжеству.

На второй причине надо несколько дольше остановиться.



Миньон пела песню о той земле, где померанцы зреют. Память ее не помнила той земли, но душа сохранила в холодной чужбине обаяние когда-то виденной теплой, красивой, ласковой страны.

Лермонтов рассказал нам о душе, которой ангел когда-то спел небесную песню, и та душа долго томилась на свете, полна чудным желанием; и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.

Песенка Миньон, песнь улетевшего ангела, поет, мне кажется, в душе у каждого человека. Может быть, как воспоминание о лучшем крае. Может быть — если вы не мистик, — как инстинктивное сознание о том, что не для такой бесцветной жизни, как наша, мы созданы.

Потому в нас рано разговаривает любовь к экзотической красоте, о которой рассказывают издавшие то, чего мы не видели.

Большинство из нас начинают с того, что заглазно влюбляются в Италию. С этого начал и я.

Было это очень рано — в те годы, когда наша фантазия любила все яркое, полнокрасочное, сверкающее, резко оттененное.

Такова именно красота Италии, даже понаслышке. Там все — или да, или нет, без середины: день ярче, ночь темнее, чем у нас, и все вообще ярче и темнее, чем у нас.

Но понемногу, с годами, рядом с этой страстью к могучей мажорной гамме зародилась любовь к неопределенным хроматическим переливам, к полутону, к полутени, к неуловимому мерцанию всего переходного, чему не найдешь точного имени, чего не втиснешь в ограниченную рамку.

Тогда я влюбился в польскую народность.

Есть такая сказка о волшебном замке, лежавшем «на восток от солнца, на запад от луны». Остров, на котором построен этот замок, должен походить на Польшу.

Она лежит на рубеже запада и востока. Запад и восток — это луна и солнце, это — два полюса, ни в чем не схожих, во всем отличных, непримиримых, и Польше выпало на долю примирить их.

Что такое поляки? Посмотрите им в лицо: это — славяне в профиль и французы en face.

Заметьте их движения. Где в них кончается величавая плавность славянского барства и где начинается звонкая нервность Европы — того никому не определить, но как чувствуется, как обольстительно чувствуется эта неуловимо-гармоническая двойственность переходного типа!

Вслушайтесь в их язык. В широкое, важное, степенное полногласие, какое прилично языку, рожденному беспредельной славянской равниной, густо и часто вплетены звонкие, напоминающие колокольчик ноты, от которых сверкает Парижем.

Загляните в их душу, от их души перейдите к их истории — во всем вы найдете это зыбкое, странное слияние востока с западом, это чарующее созвучие свирели с арфой, и в каждом мгновении их жизни и летописи вы проследите что-то не чужое и не наше, переходное, заманчиво неясное, что не есть —

Ни день, ни ночь, ни тьма, ни свет.

Вот почему, когда мне пришла пора полюбить, как теперь любят, все недосказанное, зыблющееся, неопределенное, я влюбился в польскую народность.



Но если бы г-жа Лонцкая и не была полькой, она была бы все-таки очаровательна.

Г-н Павловский простит меня. И он — даровитый и свежий актер, весь налитый жизнью, веселостью и сквозящим блеском молодости. Мы будем рукоплескать ему сегодня вечером от всей души. Но — *place aux dames*¹ — первое место г-же Лонцкой.

В тот вечер, когда я увидел ее в первый раз, она в последней картине была одета в польский народный костюм и плясала мазурку.

Было видно, что г-жа Лонцкая совсем не овладела техникой танцев на сцене. Но эта милая угловатость движений, напоминавшая подростка, только увеличивала впечатление безыскусственной, трогательной грации.

Г-жа Лонцкая играет неизмеримо лучше, чем танцует. Но и в ее игре видно то же отсутствие выучки, техники, опытной расчетливости, — и точно так же безо всей этой пудры обаятельней выступает непосредственная, богоданная прелесть ее таланта и молодости.

Г-жа Лонцкая когда-нибудь вернется к нам, окруженная звоном крупного имени большой популярности. Тогда, может быть, мы увидим ее королевой сцены и законченным виртуозом.

Но мы тогда уж не увидим ее такой, как сегодня вечером, — такой непосредственной, такой бессознательно грациозной... такой молодой.

Altalena

Одесские новости. 29.11.1901

¹ Сначала дамы (*фр.*).



Антон Чехов и Максим Горький

ИМПРЕССИОНИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ¹

Не так давно в русской литературе возникла странная, на редкость своеобразная, лишь отдаленно напоминающая нечто подобное в литературах других стран школа. Строго говоря, это и не совсем «школа» в привычном понимании — о ее создании никто не объявлял и принципов ее не провозглашал, да и само ее существование было замечено лишь тогда, когда присущие ей черты уже получили законченное и талантливое воплощение. Обычно — по крайней мере, в XIX веке — литературные «школы», как, скажем, натурализм Золя, всегда заявляли о себе заранее и подымали победный флаг, еще не выиграв ни одной баталии. Не так было со школой, о которой пойдет речь на этих страницах. Она появилась без громких манифестов, и ее создатель Антон Чехов, отдавая в печать пьесу «Дядя Ваня», вряд ли подозревал, что он открывает новый этап в развитии русской литературы. Эта школа возникла сама собой, в чем и состоит самый верный залог ее долговечности и самое лучшее доказательство ее жизненной силы.

Странная всё же это школа. Ее произведения не заставят вас задуматься, как книги Льва Толстого или Тургенева, содрогнуться или прослезиться, как романы Достоевского, и даже «горьким смехом» Гоголя вы не засмеетесь. Новая школа не выступает с проповедью новых идей, не углубляется в психологический анализ, не изображает новые человеческие типы. Ее единственная цель — передать *впечатление*, привести вас в определенное, я бы сказал, беспричинно беспокойное состояние. Она, по русскому выражению, *настраиивает* вашу душу, как если бы ваша душа была скрипкой, а поэт — ее настройщиком, и не случайно чеховскую школу стали называть в России «литературой *настроения*».

Есть еще что-то, кроме названия, что роднит эту школу с музыкой. Как и музыка, она действует не на ум, а на сердце.

¹ Статья была написана автором по-итальянски. Здесь публикуется в переводе на рус. яз. Г. Ротенберга.

Как и музыка, она своим настроением пробуждает в вашей душе смутную грусть воспоминаний и сожалений и вместе с тем смутную радость желаний и надежд.

Что такое «литература настроения», хорошо показал в недавно написанном фельетоне Максим Горький. Фельетон представляет собой монолог воображаемого читателя (отчего бы великому актеру «Дома Гольдони» не перенести этот монолог на итальянскую сцену?) и называется «О беспокойной книге». Приведем несколько отрывков:

«Ну-с, и вот купил я однажды книгу одного из этих новых хваленых писателей.

Купил, любовно принес домой и вечером, разрезав осторожно листы, приступил к чтению...

Что за черт! Прекрасный, точный язык, беспристрастие, такая, знаете, ровность — очень хорошо! Прочитал один маленький рассказ, закрыл книгу, подумал... Впечатление грустное, но читать можно без боязни. Нет этих, знаете, резкостей, экивоков в сторону обеспеченных людей, нет стремления выставить меньшого брата* образцом всяких добродетелей и совершенств, нет ничего дерзкого, все очень просто, очень мило... Читаю еще рассказик — очень, очень хорош! Bravo! Еще... Говорят, что когда китаец хочет отравить какого-нибудь благоприятеля, который почему-либо надоел ему, китаец угощает его имбирным вареньем. Великолепное, вкусное варенье, и до известного момента его кушаешь с невыразимым наслаждением. Но когда наступает этот «известный момент», человек вдруг падает, и — готов...

Так вот и эта книга — я прочитал ее, не отрываясь. Дочитывал уже в постели, а когда кончил — погасил огонь и собрался баиньки. Лежу спокойно, вытянувшись. Темно и тихо...

Как вдруг, знаете, чувствую что-то необычное — начинает казаться, что надо мною во тьме вьются и кружатся с тихим жужжаньем какие-то осенние мухи, — знаете этих навязчивых мух, которые умеют как-то сразу сесть вам и на нос, и на оба уха, и на подбородок?

...Открываю глаза — ничего. Но в душе — что-то мутное, невеселое. Невольно вспоминаю прочитанное, встают перед глазами сумрачные образы героев... Люди всё дряблые, тихие, бескровные, жизнь у них — нелепая, скудная.

* Так сентиментально-иронически в России называют представителей неимущих классов.

Не спится мне...

Начинаю думать: прожил я сорок лет, сорок лет, сорок лет. Желудок варит плохо. Жена говорит, что я — гм! — что я ее уже не так люблю, как любил лет пять тому назад... Сын — болван. Отметки у него прескверные, ленится, катается на коньках, читает идиотские книги... Надо посмотреть, какие это книги...

У жены под глазами — гусиные лапки, а она — туда же... Служба моя — совершенная глупость, если рассуждать правильно. И вообще — вся моя жизнь, если рассуждать правильно».



Антон Чехов начинал как сочинитель бесчисленных юморесок для второразрядных петербургских журналов — коротеньких смешных рассказиков-безделиц, лишенных, казалось бы, какого-либо сатирического подтекста. На острую наблюдательность и манеру письма молодого автора обратил внимание издатель «Нового времени» г-н Суворин и взял его под свое покровительство. Мало-помалу и критика — та тяжеловесная критика «толстых» журналов, что имеет такой непререкаемый авторитет в России, заинтересовалась им. Сборники чеховских рассказов раскупались нарасхват, и постепенно стала все явственнее угадываться глубокая грусть, таившаяся за внешним добродушием его шаржей. Чехов рассказывал свои историйки, читатель читал их и посмеивался... А закрыв книжку, чувствовал иной раз приступ тоски от внезапного осознания невыразимой скуки бытия и восклицал про себя: «До чего же никчемна жизнь в этом мире!» Когда же писатель постепенно отошел от забавных пустяков и посвятил себя серьезной новеллистике, все окончательно убедились, что в лице Антона Чехова Россия приобрела певца печали, выдающегося изобразителя той серой и унылой пустоты, в которую превратилась современная жизнь... у нас и повсюду.

Чехов не пишет романов. Стремясь к непосредственному воздействию на читателя, он предпочитает формы, воспринимаемые сразу и целиком, — рассказ и драму. Краткость его новелл позволяет ему создавать их в большом количестве, благодаря чему он смог отобразить в них жизнь всех слоев общества, от витающей в высоких материях интеллигенции до погрязшего в дикости и темноте крестьянства.

Возьмем, к примеру, «Скучную историю», исповедь старого университетского профессора. Научные заслуги профессора повсеместно признаны, его знает широкая публика, его обожают студенты. Он осыпан наградами и званиями. У него есть семья, у него есть воспитанница, которую он отечески и рыцарски любит, как умеют любить в России. У него есть всё, кроме удовлетворенности. В такой, казалось бы, высокой и благородной сфере, как мир науки, он, никого не виня, видит ту же никчемность, ту же пустоту повседневности, что и в мире простых обывателей. Любовь молодежи ему небезразлична, но и она достается слишком дешево... И профессор томится скукой... А воспитанница — красавица, умница — влюбляется в человека, который тем и неприятен профессору, что он такой же, как все, не хуже и не лучше, и к тому же оставляет ее, и бедная девушка чувствует, как ее тоже охватывает и отравляет скука... Скука, скука, скука — вот лейтмотив этого мучительного рассказа. Это не та экзистенциальная скука, что доводит до самоубийства, — нет, от этой скуки человек не лишает себя жизни, а смиряется, прозябает и зевает, находя некоторое утешение разве что в разнообразии зевков. Вот уж, действительно, «Скучная история», но не в том смысле, что вы бросите ее, не дочитав, — напротив, вы не сможете оторваться от чтения. Настоящая же скука настигнет вас потом, и несколько дней вы будете терзаться, как кошмаром, жуткой мыслью: «До чего же никчемна жизнь в этом мире!» А все оттого, что чеховская история отравила вас, как то китайское варенье, оттого, что автор *настроил* вашу душу на свою излюбленную ноту.

На той же ноте Чехов ведет разговор о любви, о человеческих устремлениях, о политике: все в наши дни никчемно, все дешево, все скучно. Писатель проходит по всем классам общества и всюду встречает скуку и неудовлетворенность, а обратившись наконец к теме деревни, он в поразительных рассказах «Мужики» и «В овраге» рисует картину, внушающую ужас и... все ту же скуку, потому что и там, «на дне оврага», в царстве беспросветной тьмы, тоже все никчемно — даже преступление.

Серая, унылая пустота — везде и всюду.

Важное место в творчестве Чехова занимает драматургия. Не думаю, что она может рассчитывать на успех, например, в Италии. Итальянский театр требует сюжета, пусть простого,

но завершенного и хорошо выстроенного, то есть единства действия. У Чехова же мы имеем только единство *настроения*, единство той ноты, на которую настроены все мелодии его пьес. Он старается быть максимально верным реальной жизни, а реальная жизнь редко предлагает сюжеты, выстроенные от начала до конца в соответствии с законами сцены. По умению создавать иллюзию реальности Чехов, без сомнения, превосходит кого бы то ни было в России и за ее пределами. В нарушение всех и поныне общепризнанных правил драматического искусства герои его пьес разговаривают, зевают, напевают не потому, что так нужно для развития сюжета, а потому, что так разговаривают, зевают и напевают в реальной жизни — случайно, без какой-либо связи с происходящим. Есть сцены и диалоги, которые внешне совсем не имеют отношения к сюжету, и, тем не менее, все — каждое слово, каждый жест, служит созданию общего впечатления, общего *настроения*.

Увлеченные пьесами Чехова, литератор Немирович-Данченко и актер Станиславский и основали в Москве новый театр, где, кроме произведений автора «Дяди Вани», ставятся по преимуществу драмы Ибсена и Гауптмана. Это уникальный в своем роде театр, стремящийся в своих спектаклях к полной сценической достоверности. Его актеры отказались от всякой условности, до сих пор считающейся необходимым атрибутом театральности, — они не играют, а живут. И первый любовник, и последний статист равно заботятся о естественности поведения на сцене. Нет ролей более важных и менее важных. Нет отдельных исполнителей — есть единый ансамбль. Немирович-Данченко даже высказался в том смысле, что в идеале вообще не следовало бы выносить на афишу имена актеров, то есть «идеальная» труппа мыслится им как некое подобие симфонического оркестра. Стремлением к полной достоверности отмечено и сценическое оформление. Никакой излишней пышности в духе знаменитых постановок Мейнингенского театра, зато все приметы реальной жизни воспроизводятся очень тщательно. Даже занавески на окнах колышутся, как от ветерка.

Хотя чеховские пьесы плохо поддаются пересказу, я все же попытаюсь в немногих словах дать представление об одной из них, на мой взгляд, лучшей у Чехова. Это «Дядя Ваня», драма в четырех действиях.

...Лето. Сельская местность в средней полосе России. Имение отставного профессора. Сам профессор постоянно отсутствует, и хозяйством занимается брат его первой, покойной жены, мужчина сорока с чем-то лет, учившийся в университете и, возможно, подававший надежды. Вынужденный жить в деревне, он скучает, злится на судьбу и недоволен всем на свете. Вместе с ним в усадьбе живет его племянница Соня, добрая, некрасивая девушка лет двадцати пяти. Это она зовет его дядей Ваней.

Есть еще земский врач Астров, незаурядный, умный, образованный человек, художественная натура. Он тоже недоволен жизнью и поэтому, как большинство русских интеллигентов в провинции, «пьет водочку». На лето в имение приезжает владелец с женой. Он — старый профессор, самовлюбленный эгоист, капризный подагрик. Она — молода, красива, любит жизнь и тоже тяготится своим существованием. И вот, когда все эти люди собираются вместе, их до поры до времени скрытая неудовлетворенность прорывается конфликтами. Но и конфликты их жалки, как сама их жизнь. Дядя Ваня влюблен в жену профессора без всякой надежды на взаимность. Соня страдает от безответной любви к доктору Астрову. Профессор жалуется на подагру, донимает всех своими капризами и запрещает жене музицировать, потому что звуки рояля нарушают его дневной сон. Жена и доктор, движимые не любовью и страстью, а всего лишь скукой, оказываются в объятиях друг друга, и в этот момент их застает дядя Ваня. В конце концов, дядя Ваня, доведенный до отчаянья пустотой жизни и крахом в любви, дважды стреляет в старого профессора, почему-то именно в нем видя причину своей несложившейся жизни. Однако и преступление ему не удастся: не умея обращаться с оружием, он дважды промахивается... Жалки обиды, которые он выкрикивает в лицо профессору: ты погубил мою жизнь! ты платишь мне нищенское жалование пятьсот рублей в год! я думал, ты великий ученый, а ты ничтожество!

Потом все разъезжаются. Уезжает профессор с женой, простив дядю Ваню с показным и тоже жалким великодушием. Уезжает под перезвон бубенчиков доктор Астров. А дядя Ваня и Соня остаются в деревне — вернутся к хозяйственным заботам, будут писать счета на постное масло и гречневую крупу, жить прежней пустой жизнью, серой, унылой, монотонной, вечной...

Антон Чехов — большой поэт. Проза его изящна, тонка, выразительна, язык прозрачен и чист, стиль безупречен. Некоторые места пьесы, которую я попытался пересказать, звучат музыкой, потому что вы их слышите не умом, а сердцем.

Кроме «Дяди Вани», Чеховым написаны пьесы «Чайка», «Иванов» и совсем недавно «Три сестры».

Пока что у чеховской манеры есть только один заметный последователь — Александр Федоров, молодой автор, чья драма «Бурелом» наделала столько шума по всей России. Пьеса, которой он заявил о себе как о представителе «литературы настроения», называется «Старый дом». Это комедия или, если угодно, драма в четырех действиях. Главные герои — два интеллигента. Один — потомок крепостных, другой — дворян-помещиков. Они дружат с детства, вместе учились в гимназии и в университете, и все же не могут избавиться от глухой неприязни и недоверия друг к другу, что в конечном счете и приводит к столкновению. Это чувство враждебности — печальное наследие векового рабства — Федоров *преображает в атмосферу*, подобно тому как Чехов преобразует в атмосферу унылую скуку жизни.



Словно специально для того, чтобы развеять эту скуку, заставить нас забыть о нашей жалкой, растительной жизни, Максим Горький показал нам другую жизнь. Он открыл новый социальный класс, единственный, мимо которого прошел Чехов, и нашел в нем то, чего автор «Дяди Вани» не смог найти в других классах общества, — настоящую *живую жизнь*, если воспользоваться модным русским выражением.

Это жизнь тех, кто убежал от мира скуки, а так как скука царит во всех слоях общества, то среди горьковских героев есть и бывшие дворяне, и бывшие интеллигенты, и бывшие крестьяне. Понятием «бывший» Горький как бы хочет сказать, что только сорвав с себя этикетку, свидетельствующую о принадлежности к определенному сословию, определенной профессии, человек может сбросить путы, мешающие свободно и полному проявлению его жизненных сил, торжество которых писатель демонстрирует на примере своих бродяг и босяков. Его персонажи — люди, умеющие желать, вкладывающие в свои желания всю душу и не признающие никаких

препятствий морального или другого свойства. Какой контраст по сравнению с расслабленными чеховскими героями, чувствующими, думающими, мечтающими в подуши!

Биография Горького достаточно известна, и нет нужды приводить ее здесь. Славу принес ему рассказ «Челкаш», опубликованный лет пять назад в петербургском журнале «Русское богатство». Босьяк Челкаш, вор, гуляка, вольная птица, противопоставлен простому деревенскому парню, сохранившему рабскую психологию своих крепостных дедов. Этого случайно встреченного парня Челкаш подбивает на участие в крупной краже, и тот, хоть и не сразу, соглашается. Сбыв краденое, Челкаш щедро вознаграждает помощника и предвкушает предстоящий загул. Парень же не находит себе места. В нем просыпается вся его крестьянская, мелкособственническая жадность. Он ползает в ногах у Челкаша, умоляя того отдать все деньги ему («Ты же все равно их пропьешь!»), а потом набрасывается на него и едва не убивает. Тогда Челкаш, дрожа от жалости и ненависти к этому жадному рабу, бросает ему деньги и уходит. Вор, пьяница, но — личность.

Художественные достоинства этого рассказа велики, однако не только они стали причиной небывалой популярности Горького. Он появился как раз в тот момент, когда полемика между двумя прогрессивными партиями, марксистами и народниками, была в самом разгаре. Как, несомненно, известно читателям, народники защищали общинную собственность, существующую в русской деревне, тогда как марксисты выступали против, считая ее препятствием на пути превращения крестьян в фабричных рабочих. И хотя речь шла всего лишь о межпартийной полемике, вся интеллигенция обеих столиц (включая людей, никакого отношения к социализму не имеющих) следила за ней с огромным интересом. В горьковском «Челкаше», где показано моральное превосходство *вырвавшегося из рабства* босьяка над крестьянином, молодые марксисты увидели подтверждение верности своих идей. Именно марксисты сразу стали превозносить Горького и меньше чем за два года создали ему славу, которую до него ни один русский писатель не приобретал за такой короткий срок.

Думаю, что теперь, повзрослев и поумнев, петербургские марксисты сами убедились в своей ошибке. Они приняли горьковского босьяка за пролетария, а он так же далек от пролетария, как и крестьянин. Если мужик прикован к хозяйству, а ра-

бочий — к машине, то босяк не прикован ни к чему, и нет такого дела, каким он занимался бы больше трех дней кряду. Позднее Горький написал выразительную поэму в прозе «Двадцать шесть и одна», где достаточно ясно показал, что, на его взгляд, занятые на производстве столь же мелки и ничтожны, как и работающие в поле. И те, и другие вынуждены жить по установленному распорядку, при котором нет места проявлениям творческой фантазии и поэтических наклонностей души. В отличие от вольного бродяги, человек, живущий оседлой, размеренной жизнью, не способен, считает Горький, на душевный порыв, на яркую мысль, меткое слово.

Послушаем, например, о чем говорят «гулящая» Мальва из одноименного рассказа и бродяга Сережка:

— Мне всегда хочется чего-то, — задумчиво заговорила Мальва. — А чего... не знаю. Иной раз села бы в лодку — и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видеть. А иной раз так бы каждого человека завертела да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась...

— Это оттого, что ты думаешь. А кто думает, тому жить скучно, — убежденно произнес Сережка. — Всегда чего-нибудь делать надо, чтобы люди вертелись, как ты говоришь, вокруг — быстро-быстро... и чуяли, и понимали, что ты живешь. Жизнь, ее перемешивать надо почаще, а то застаивается она...¹

Сережка — истый бродяга, типичный горьковский босяк. Его мечта — «на сем свете заваруху развести». Мальва не так решительна, не так энергична и сильна — может быть, потому, что она женщина, а, может быть, потому, что и на ней, к сожалению, лежит клеймо какого-никакого, но постоянного ремесла и социального положения...

Когда речь идет о том, чтобы «на сем свете заваруху развести», тут не до щепетильности. Для босяков Максима Горького морали не существует. Его бродяги не отступают и перед злодеянием, даже жестоким, но уж никак не мелкотравчатым по цели и исполнению. Многие называют Горького пессимистом, забывая, что старые понятия не подходят для обозначения новых явлений. Конечно, современный наблюдатель не может не быть пессимистом, коль скоро жизнь, какой она предстает сегодня, не дает поводов для благодушия. Горьковские босяки

¹ Слова Сережки даются в обратном переводе с итальянского, поскольку в тексте Полного собрания сочинений А.М. Горького их нет: очевидно, сняты писателем в позднейших редакциях рассказа. (Примеч. пер.)

способны на все, и писатель не скрывает, а подчеркивает это; за читателем же остается право задуматься: уж не лучше ли быть способным на все, чем неспособным ни на что, как дядя Ваня и иже с ним.

Мораль есть нечто понятное в рамках более или менее цивилизованного человеческого сообщества, но герои Горького живут за пределами такого сообщества, и им нет нужды отвергать мораль, потому как они не знают, что это такое. Вот, например, рассуждение босяка Артема из рассказа «Каин и Артем», тем более ценное, что рассуждающий, хотя и изображен красавцем и силачом, обладает умственным развитием, едва достаточным для портового крючника. Артема, избитого до полусмерти подстерегшими его недругами, находит, приводит в чувство и кое-как перевязывает уличный торговец по прозвищу Каин, маленький, жалкий еврей, которого только ленивый не третирует, не обижает. Из благодарности Артем становится защитником Каина, но вскоре устает от этой роли.

«За то, что ты меня тогда пожалел, — говорит он еврею, — я могу тебе заплатить. Сколько надо? Скажи — и получи. А жалеть тебя я не могу. Нет во мне этого... Я только ломал себя — притворялся. Думал — жалею, ан выходит — так это один обман. Совсем я не могу жалеть».

И на Каина снова обрушиваются насмешки и издевки припортовых пьянчуг и бездельников. Артем не находит в себе ни жалости, ни благодарности, а принуждать себя к ним он со своей грубой душой не умеет.

Критики обвиняют Горького в приукрашивании босяков, в том, что он романтизирует их, изображает более умными и интересными, чем на самом деле. Возможно, они правы. Что с того? Говорят же немцы: есть книги, которые и без правды хороши.

Антон Чехов показал нам людей бесцветных, вялых, чьи руки связаны предрассудками, страхом, привычкой. Максим Горький рисует совсем других героев — не анемичных, дряблых, рахитичных, близоруких, страдающих хроническим насморком и несварением желудка, а налитых здоровой кровью, способных на сильные страсти и дерзкую решимость, свободных и живущих *живой жизнью* даже в грязи. Да, эта жизнь зла. Но изнуренное бледной немочью современное человечество, чтобы переродиться физически и морально, нуждается в притоке злой крови, горячей и красной. Слишком уж много развелось среди нас *очкариков*, в прямом и в переносном смысле.

И если многие говорят Горькому, вы, мол, преувеличиваете: дайте ваших босячков Чехову, и увидите, что и в них он найдет немало мелкого и ничтожного, то мы вправе ответить: неважно, пусть горьковские типы выдуманы — и такие они способны внушить нам *святую зависть* к их силе, тоску по настоящей, по живой жизни, да просто по *жизни*, потому что наша жизнь это не жизнь, а растительное существование.

По своему воздействию «босяцкий» цикл Горького несколько напоминает — да будет мне позволено такое сопоставление — «Сирано де Бержерака». Если не считать «Одинокие люди» Гауптмана, эта пьеса Эдмона Ростана — пожалуй, единственное нерусское произведение, приближающееся к жанру *литературы настроения*. Ведь и «Сирано» при его очевидной искусственности и заданности покоряет нас именно тем, что пробуждает тоску по временам, когда жизнь была красива. И Горький, и Ростан *настраивают* нас на красоту жизни.

Считается, что *литература настроения* лишена гражданственности. В силу не изжитого до сих пор предрассудка общественно значимым в России признается только такое произведение, которое содержит «новое слово», «новую идею». А *литература настроения*, особенно Чехов, идеями не занимается. Один наш критик, самый тяжеловесный и скучный из всех, написал даже что-то вроде исследования под любопытным названием «Есть ли у господина Чехова идеалы?» Не знаю, какой ответ маститый критик дал на этот вопрос, но характерен сам вопрос.

Я же со своей стороны полагаю, что литературная пропаганда *идей* или *идеалов* была полезной двадцать лет назад, а в наши дни она совершенно бесполезна. Естественно, я говорю только о России. Для большей части русской интеллигенции «вопросов» больше нет. Женское равноправие, помощь бедным, свобода слова и совести, как и другие подобные принципы, общепризнанны и не дискутируются. Смею утверждать, что сегодня по этому поводу ничего нового сказать нельзя. Мысль слишком далеко опередила действительность. Потребуется длительный период борьбы за осуществление всего того, что совесть человечества считает справедливым уже десятки лет, и только по окончании этого периода могут возникнуть новые идеи. Сейчас нет необходимости открывать новые горизонты — дойти бы до ближайшего... увы, еще такого далекого.

Наступает время не размышлений, а строительства, но чтобы строить, нужно бороться. А чтобы уметь бороться, нужно уметь желать, желать страстно и смело.

У нас же для этого нет сейчас ни душевных сил, ни решимости. Все мы слишком Гамлеты. Одна только вера могла бы дать нам стимул к борьбе, но и она, будучи производным от нашей угнетенной, болезненной психики, не может не быть поражена недугом в своей основе. Вера, чувство идеала — вот чего не хватает нам сегодня. И если Антон Чехов дает простое и безжалостное изображение этого *гамлетизма*, выродившегося в пошлую болезнь, то Максим Горький примером своих героев призывает нас отбросить бесплодное умствование, позорную пассивность, дешевый скептицизм, ощутить в себе силу и жажду борьбы. Мы не босякам завидуем, а их силе, и не так уж важно, на что она у них идет. Когда нам самим будет дано обрести подобную силу, мы сумеем найти ей правильное применение.

Чехов печалит нам душу, описывая унылое *средневековье*, воцарившееся в конце XIX столетия, которое, вопреки календарю, похоже, еще не кончилось. С тем большим энтузиазмом мы слушаем Горького, чей голос, придающий нам силу и мощно *настраивающий* на борьбу, звучит как предвестие *Возрождения*.

Может ли быть у литературы гражданская миссия более высокая, чем эта?!

Vladimiro Giabotinski

Nuova Antologia. Rome, 1901. Vol. 36. No. 719. P. 723—733.



Вскользь

Бог знает, отчего так приятно кататься на санях. Ведь железная дорога и автомобиль еще быстрее — отчего же они так не увлекают души?

Эдгар По написал:

*Сани мчатся в даль равнин с серебристым
гинь-гинь-гинь...*

В том беспечном перезвоне столько радостных картин!

Трели сыплются, бряцая, в тишине ночной журча...

*Звезды вторят им, мерцая, улыбаясь, созерцая
и в восторге трепеща...*

И — как некогда поэтам —
 звезды вновь грожащим светом
 Отбивают такт для трели, что несется в даль равнин
 С колокольчиков:
 — Динь-гинь...
 Динь-гинь-гинь...
 Вторя плеску, треску, блеску звонкой трели
 гинь-гинь гинь...¹

Между тем выходишь от Брунса, где оставил последний полтинник. Свежие санки бегут мимо, а подозвать их нельзя. Такая скука.

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, Лидочка.

— Отчего вы надуты?

— Так. У вас есть деньги, Лида? Покатайте меня в санках.

Лида требует обещания не говорить глупостей и получает его. Обещать все можно.

Побежали санки. Ногам тепло, душе уютно, и сама скука словно прихорашивается.

— О чем скорбите?

— Скучно.

— Почему скучно? Ведь вы работаете.

— Это не работа.

— А что?

— Это не работа. Настоящий труд — это работа руками, физическая. Для такой работы живой человек создан. После такой работы душа довольна и, когда отдыхает, то как будто бы тихонько поет от радости и здоровья. А моя работа не работа. Я вывожу буквы, и ничего из того не выходит, а мои мускулы дрябнут.

— Я ничего не понимаю.

— Вас никто не просит понимать.

— ...Лида?

— Я.

— Какое у вас внутреннее содержание?

— Не говорите глупостей.

— У вас никакого внутреннего содержания нет. Я ведь вас знаю с детства.

— Ну?

¹ Пер. Вл. Жаботинского.

— Когда вам было девять лет, вы говорили так: «Я вырасту большая, стану актрисой, надену платье декольте и буду лежать на сцене на кушетке — вот так; все будут на меня смотреть, и всем захочется меня поцеловать — такая я буду хорошенькая». Говорили вы это?

— Конечно.

— Хорошо. Через три года после того я катался в лодке около Большого Фонтана, рано утром, и видел, как вы заплыли на пробках довольно далеко и там, в одной блузе, беседовали с каким-то мальчиком. Что, это было randevu?

— Я не помню. Вероятно.

— Хорошо. Когда вы были в четвертом классе, на именинах у кого-то вы выпили целый бокал шампанского, стали откровенны и объясняли мне распределение вашей жизни так: «Когда я кончу гимназию, пойду на курсы, выйду замуж и тогда буду вся, с головы до носков, принадлежать моему мужу, а до тех пор я принадлежу всем, кто мне нравится, с головы до кушака». Сказали вы мне это или нет?

— Откуда мне это помнить? И вы обещали не говорить глупостей.

— Не помните-с. А отчего вы не поехали на курсы?

— Будут деньги — поеду, отчего не поехать.

— Отлично. А когда вам было шестнадцать лет, я сидел как-то в сумерки у вас на даче; мы пили чай с апельсинами, тут же была ваша мама и один юнкер, с которым вы всегда по вечерам пропадали до часу на берегу. Юнкер сказал, что ему очень нравится запах апельсина. Вы думаете, я не заметил, как вы сейчас брызнули себе под воротник блузки соком из дольки апельсина? Это было очень любезно по отношению к юнкеру. Отчего вы смеетесь?

— Это я тоже помню.

— Слава богу. А два года тому назад я застал вас поздно вечером у того газетчика: он меня не сразу впустил, а потом мне же еще пришлось проводить вас домой. Я тогда отчаянно злился!

— А зачем вы не вовремя приходите?

— И наконец, недавно я попал где-то в отдельный кабинет и изловил на зеркале надпись вашим почерком: «Demi-vierge». У вас нет алмазных колец. Вы там были с кем-то таким, кто носит бриллиантовые перстни.

— У, да вы — шпион!

— И после этого скажите мне, какое у вас внутреннее содержание?

— Знаете песенку: «Я, гейша, вечно весела, изящна, радостна, мила»... Я ведь очень мила?

— Вероятно. Я не всмотрелся. Но неужели вам это все не надоело?

— Не знаю. Я тоже «не всмотрелась». Но вы мне надоели.

— Лида! Призываю вас к порядку.

— Нет, право. У вас-то самого какое содержание? Теперь вы прочли сто книг и написали сто статей; до вашей смерти вы прочтете тысячу книг и напишите тысячу статей. И сами говорите, что из этого ничего не выйдет. Тогда не за что и нападать на меня. Вы мне ужасно надоели.

— Лида.

— Я.

— Я расскажу вам сказку.

— Делайте, что угодно.

— Это было очень давно. Я сидел на песке у моря и ждал погоды. Вдруг сзади послышался голос: «Сказать тебе правду?» Я обернулся: это была старуха, бродячая цыганка.

— Допустим.

— Она взяла мою руку и сказала: «Панич Амвросий, у тебя нет ни отца, ни матери, но у тебя скоро будет много денег и спокойная душа, и ты будешь любить недостойную женщину».

— Дальше?

— Я дал ей пять копеек, и она убежала, и вслед за ней убежало много лет. Моя мама жива и здорова; я мечусь от тоски; вам приходится катать меня в санях на ваш счет, и зовут меня вовсе не Амвросий. И все-таки...

— Все-таки?

— Все-таки я люблю недостойную женщину и жгу свою душу из-за недостойной женщины.

— Кто она такая?

— Жизнь.

Altalena

Одесские новости. 1.12.1901



Вскользь

Из римских очерков

Чувствую — приличие требует, чтобы в сегодняшнем номере газеты красовалось что-нибудь этакое... поитальянистей, так как со вчерашнего вечера Одесса — опять на итальянском положении.

С чем и поздравляю тех, кто этому обстоятельству рад.

Мне лично от него ни холодно, ни жарко. Но раз уж итальянцы здесь, то да будут они *benvenuti*¹, и да улыбнется им всякое солнце успеха.

И так как многие из вас сегодня проснутся под впечатлением перезвона римских колоколов, я охотно пользуюсь этим случаем, чтобы вспомнить о Риме и поболтать о нем.

Я несколько раз уже писал о римской улице и о тамошнем знаменитом центральном кафе Араньо. Читатели, конечно, уже забыли об этих очерках, но, как бы то ни было, мое дело сделано. И я с чистой совестью могу перейти к тратториям, а по-русски — харчевням.

Сегодня заглянем в тратторию «Трех воришек».

Низенькая, стародавняя постройка — непонятно, как она уцелела в переулке Шарра, у самого Корсо.

Хозяин и хозяйка (их имена сор Нино и сора² Нина) утверждают, что харчевне больше семисот лет: оно возможно, хотя, конечно, ответственность по этому вопросу я оставляю всецело на совести сора Нино и сору Нины.

Полюбуйтесь на эту чету: вряд ли вы часто видали таких красавцев. Особенно хорош он — настоящий римлянин, высокий, дородный, полнолицый, белолицый, с высоким черным чубом, с черными усами вокруг небольшого рта, как у Петра Великого, с великолепным могучим голосом, от которого дрожит посуда.

Вам прислуживают три красавицы — Аугуста и Аделина, сестры хозяина, и Идетта, его дочь. Каждая из них в своем роде, пожалуй, еще лучше самого сора Нино.

¹ Желанные гости (*итал.*).

² Сор, сора — дядя, тетя (*итал.*).

Иде, например, пятнадцать лет, но на вид это вполне взрослая девушка, поразительно точное воплощение того представления об итальянке, которое мы, иностранцы, составляем себе с детства. У нее прекрасная фигура, прекрасное лицо, прекрасные черные волосы, прекрасные глаза, похожие на черешни, прекрасные губы, похожие на вишни.

Она знает о своей красоте, но это ее не портит, потому что итальянки — верьте, не верьте — никогда не пококотничают, да если бы и захотели, не сумели бы.

Младшей из сестер сора Нино, Аделине, лет семнадцать — это блондинка, спокойная, мягкая, dolce¹, вежливая, будто и не римлянка, она скорее похожа на флорентийку, одну из тех средневековых кастелянш, по которым вздыхали великие поэты и которые под скромными манерами верной жены хранили Бог знает какую массу огня, любви, ненависти и отваги. Как загадка, как психология Аделина интереснее обеих других: соседние обыватели это чувствуют и выражают это утверждением, что Аделина изо всех трех самая «geniale»².

Но как тип, как полное воплощение Рима в лице женщины поражает Аугуста, величавая красавица лет девятнадцати или двадцати. Единственное определение, подходящее к ней, это слово «великолепна». Великолепна ее фигура и поступь королевы, великолепны орлиные черты ее лица, великолепна ее небрежная манера бросать вам свое buona sera³, точно кость собаке, великолепна ее невозмутимость и та резкость, с какой она отвечает вам дерзостью на самую мягкую шутку.

Право, если бы туристы, вместо утомительных прогулок — и с красной книжкой Бедекера в руках и с мошонником-чичероне перед глазами — два вечера подряд внимательно присматривались к Аугусте, они лучше, глубже и скорее знакомились бы с сущностью, прелестью и характером Вечного города...

— Добрый вечер, signori!

На пороге показывается седой, бородатый, сгорбленный нищий с красными безобразными глазами. Аугуста слегка щурится на него и говорит своим постоянно равнодушным грудным голосом:

— А, это сор Пеппино пришел читать свои новые стихи.

¹ Милая (итал.).

² Здесь: славная (итал.).

³ Добрый вечер (итал.).

Старик останавливается посреди комнаты, опирается левой рукой на палку, подымает десницу и действительно декламирует, шамкая, какую-то оду на окончание святого года; смысл не вполне понятен, но видно, что сор Пеппино — радикал.

Я всматриваюсь в него, начинаю узнавать и, когда он умолкает, подзываю и предлагаю выпить со мной стакан вина. Он учтиво отказывается, говоря, что предпочел бы тарелку супа.

— Я, кажется, видел вас, сор Джузеппе, — говорю я, — на прошлогодней маевке рабочих, на Рокка дель Драго? Не вы ли читали там белые стихи?

— Я, — отвечает старик, — только стихи были не белые, а терцины.

Аделина подает ему суп, он вежливо приглашает нас *favore*¹, мы благодарим и желаем приятного аппетита.

Сор Пеппино начинает вылавливать ложкой длинные жгуты вкусной лапши и от глотка до глотка декламирует те стихи, которых я не разобрал на Рокка дель Драго. Стихи действительно оказываются терцинами, все тройные рифмы на своих местах, смысл почти всюду присутствует, и по этому смыслу видно, что сор Пеппино не только радикален, но и еще хуже.

— Сор Джузеппе, вы ничего не печатаете?

Сор Джузеппе обращался к редакциям, но ничего не выходило. Да ему и не нужно. Он бродит по тракториям и кофейням, читает вслух свои оды, и его угощают.

Печатная слава его не влечет; тем не менее в Риме его знают многие.

Даже Криспи его знает, вот по какому случаю.

После поражения при Абба Гариме, когда «великий муж» вышел в отставку, сор Пеппино купил за двадцать сантимов почтовую марку и послал ему на Сицилию, как раз ко дню рождения, специальную оду, оканчивающуюся словами: «И в этот день итальянские матери единодушно моими устами посылают тебе свое проклятие!»:

*Per labbro mio ti mandano
La lor maledizione!*

У сора Пеппино любопытная философия. Аугуста его спрашивает, как это ему удалось дожить до таких почтенных лет.

— Вот вам лучшее средство для долголетия, барышня: никогда не сердиться, не принимать ничего близко к сердцу. Я сам

¹ Присоединиться к трапезе (*итал.*).

никогда в жизни не бывал сердит, от того и пережил и жену, и детей. Детям я всегда говорил: «Не раздражайтесь, а не то плохо кончите», — но они меня не слушали; вот и умерли все раньше отца, и поделом. А жена моя была так сварлива и вспыльчива, что с ней в иные дни нельзя было оставаться вместе. Я и ее предупреждал, но все напрасно. Зато, когда она умирала, я стал над изголовьем и сказал ей: «Ага? Чья правда! Стоило так злиться из-за пустяков! Вот и помираешь в 50 лет. Как тебе не стыдно!» Нет, поверьте мне, это лучшее и вернейшее средство.

И сор Пеппе заключает свою проповедь веселой улыбкой.

— Позвольте, сор Джузеппе, а разве ваши стихи к Чиччи Криспи написаны без озлобления? В них столько чувства!

Сор Пеппино пожимает плечами и объясняет:

— Мало ли что я могу написать...

Altalena

Одесские новости. 2.12.1901



Вскользь

Сейчас одесситы наслаждаются чудной итальянской оперой, и возникает вопрос, хорошо ли было бы, если бы вместо итальянцев пели русские певцы.

Вряд ли много еще осталось в Одессе таких ископаемых, которые не мечтали бы о русской *граме* в Городском театре. За эту *граму* мы должны стоять во что бы то ни стало — и, кажется, уже ее добились. Так что этот сезон будет последним годом драматической голодовки.

Но ратовать за русскую *граму* еще не значит требовать русской *оперы* предпочтительно перед итальянской.

Сам я в этом деле и краем уха не судья. Но встречаюсь на каждом шагу с любителями оперы, которых такая масса в нашем городе. И нет ни одного из них, кто бы не ужасался перед этой перспективой:

— В Городском театре в обязательный сезон будет русская опера — с русскими певцами!

Разберите этот вопрос с какой угодно точки зрения — вы не найдете ни одного серьезного довода за такую реформу.

Прежде всего, надо вспомнить о голосах.

В драме теперь есть стремление упразднить отдельные таланты актеров и заменить их талантом режиссера. Но в опере это немыслимо — в опере нужны прежде всего хорошие

певцы. Даже Вагнер, проповедовавший первенство оркестра над певцами, тоже, однако, не мечтал об открытии доступа на сцену безголосому певцу.

Заменить итальянцев россиянами — значит вместо лучших голосов получить худшие.

В прошлом году в одном авторитетном интервью было показано, что с уходом господ Давыдова и Южина на казенную сцену в «провинции» не осталось ни одного первоклассного тенора.

У нас поет г-н Апостолу. А в труппе у г-на Бородая?

В труппе у г-на Бородая поет г-н Ошустович. Всякое почтение г-ну Ошустовичу, но если к нам привезут его и увезут г-на Апостолу, то не знаю, кто этим останется доволен. Даже сам г-н Ошустович доволен отнюдь не останется.

Всех лучших певцов закрепощает казенная сцена, и для обязательного сезона «провинциалам» остается товар второго сорта.

Смею сомневаться, чтобы при всем этом загребании казенная опера в столицах была обставлена, в общем, лучшими силами, чем та опера, которой одесситы наслаждались в прошлом году и будут наслаждаться в этом.

И нам отказаться от итальянцев и довольствоваться певцами г-на Бородая? От всего сердца: не приведи Господи!

То есть, конечно, милости просим во всякое другое время — постом или весной. Но зимой в Городском театре, который, говорят, единственный в России, нужна опера, тоже единственная в России.

Итальянская опера — это одна из лучших «достопримечательностей Одессы».

В Петербурге могут теперь с завистью говорить:

— В Одессе уже второй год ставят «Тоску».

Если у нас в обязательный сезон введут русскую оперу, то мы — в лучшем случае — будем получать новые произведения г-на Римского-Корсакова через год после того, как почтенный автор покажет их Петербургу.

Русская национальная музыка — великая музыка. Я в этом не сомневаюсь. И ни один одессит в этом не сомневается. Но одесситы пока очень туго понимают ее. И винить их в этом нельзя, так как это музыка севера, а мы — южане.

Я верю, что «Борис Годунов» — прекрасная опера. «Снегурочку» я даже очень люблю; и эта последняя опера, кстати, дала в Одессе князю Церетели несколько полных сборов.

Но от «Бориса Годунова» все, кого ни спросишь, остались почти в ошалелом состоянии:

— Убейте — не понимаю!

А к «Снегурочке» отнеслись так:

— Есть милые места, но в общем... курьезно. Этот птичий хор... или этот дуэт царя с Купавой — ужасно наивно. Какая-то лапландская музыка — право. А впрочем, для курьеза очень интересно.

И я подозреваю, что хорошими сборами кн. Церетели был обязан не г-ну Римскому-Корсакову, а своему декоратору и машинисту, да поэтической фантазии Островского.

Вводите русскую оперу понемножку, приучите нас к ней — другое дело. Но вы плохую услугу окажете русской музыке, если будете популяризировать ее через второстепенных певцов — перед одесситами, привыкшими к певцам первоклассным.

В репертуар наших итальянских гостей включены уже четыре русские оперы. Продолжайте в том же направлении, и дай вам бог успеха, но не пугайте людей сразу и этнографической музыкой, и... этнографическими голосами...

Одесский Городской театр построен для одесской публики, а она, мне кажется, в этом смысле думает очень определенно:

— Добро пожаловать русским певцам когда угодно, но зимняя опера должна быть «с итальянцами».

Altalena

Одесские новости. 4.12.1901



Вскользь

В литературном отделении одного студенческого бала за границей я слышал длинное стихотворение, содержание которого постараюсь передать вам.

Автор фантазировал:

«В унылую осеннюю полночь я брел один по тропинкам кавказских ущелий.

Мне было жутко и душно: сырой туман давил голову, как дым, и, казалось, от этого дыма задохлись небесные звезды, потому что ни одна из них не мерцала.

Тоска обвилась вокруг моего сердца, и я громко простонал:

— Есть ли еще огонь на земле?

И передо мною чей-то глубокий, неземной широты и звучности голос повторил:

— Есть ли еще огонь на земле?

Палка выпала из моих пальцев и, гремя, укатилась в пропасть. А голос снова спросил:

— Есть ли еще огонь на земле?

«Это эхо», — подумал я и крикнул:

— Эхо!

Было молчание, и потом тот же голос еще громче, еще настойчивей прозвучал вопросом:

— Есть ли еще огонь на земле?

Тогда молния озарила мою душу — я понял, кто говорит со мною в эту ночь, под утесом кавказского ущелья, и радостно выпрямился и крикнул:

— Есть еще огонь на земле, титан Прометей!

Облегченный вздох повеял по ущелью. И голос зазвучал ласковой и, может быть, мужественной слезою:

— Ты узнал меня, юноша? Передай же моим детям, что я не изменил им.

Я купил у богов в минуту слабости бессмертие, но минута слабости прошла, и я проклял это бессмертие, потому что я во всем хочу быть равен моим детям.

Я схоронил себя в этой могиле, под утесом моей пытки, и лежу там, как лежат мертвые люди, неподвижно и молчаливо.

И только тогда, когда редкий путник забредет в это страшное ущелье, нестерпимо становится мне в каменной могиле, и я спрашиваю:

— Есть ли еще огонь на земле?

Путник отвечает:

— Есть еще огонь на земле!

И я снова спокойно замираю на долгие годы.

Иди. Будь благословен и скажи людям, что я их благословляю...»



Мне кажется, что недаром я слышал эту фантазию из уст поэта-студента и на студенческом вечере.



Студенческие балы тем дороги, что это — истинные смотры университетской молодежи.

Круглый год студенческая масса учится и дает уроки.

Учится, жалуясь на свою науку, и дает уроки, жалуясь на свою судьбу.

Учение — это еще туда-сюда, кое-как можно и к нему приладиться. И потом — каковы бы ни были его качества, оно все-таки идет студенту если не в пользу, то на потребу, и, учась, можно все-таки нет-нет да сказать самому себе:

— А ведь я, может быть, развиваюсь! Я вот не замечаю, а, может быть, в это самое время мой кругозор взял да расширился!

И становится приятно.

Давать уроки — другое дело. Тут уже никакие иллюзии невозможны. Тут вам без уверток известно, что вы обучаете питомца пустякам.

— «Хлеб» пишется через *ять*.

Тогда как это неправда, потому что нет никакой причины писать «хлеб» через *ять*.

Студент насилует свою голову на лекциях и в лаборатории, а оттуда бежит насиловать ее за 33 копейки в час к какому-нибудь 33-му ученику параллельного отделения пятого класса такой-то гимназии. От него — к другому. И чем у студента больше таких тридцать третьих учеников, тем он довольнее — и тем он чаще и чаще злится на свою проклятую судьбу.

Так идут шесть дней недели. В седьмой день учреждена Божья суббота, Христово воскресенье. Студент *«отдыхает»*: он бежит в публичную библиотеку и треплет городские книги.

Это напоминает завязатого пьяницу. С похмелья у него голову ломит — и он прогоняет ощущение катценяммер¹... опохмеляясь еще одной рюмочкой.

И ближние студента, да и сам он — все привыкают к мысли, что он совсем отравлен алкоголем беспросветной умственности. Что от него уцелела только большая голова с вылупленными подслеповатыми глазами, а под головой болтается, величиной с брелок, впалая студенческая грудь и дряблые, дохлые ножки. Что он желчен и хронически зол от скуки, неудовлетворенности и раздоров с учениками. Что он разучился веселиться, и, значит, плоха на него гражданская надежда, ибо на какую же работу годится та Наталка, что песен не поет?

Но приходит годовой смотр — студенческий бал, и печальное заблуждение блистательно опровергается.

¹ Katzenjammer — похмелье (нем.).

Студент зажигает вокруг себя веселые огни, велит звучать песням и музыке, пляшет на своих неожиданно выросших и окрепших ногах и кричит людям во весь дух своей внезапно распарившейся груди:

— Я жив! Я не умер!

Люди смотрят и радуются всей любовью сердца своего, потому что, в самом деле, студент оказывается жив и так хорошо непохож на то, чем его себе представляли.

Вовсе он не выродился в головастика. Может быть, это — вата, но у него и грудь, и плечи на месте. И его ноги совсем не одрябли, потому что он танцует ими без особенной виртуозности, согласен, но с большим увлечением и пафосом.

И совсем он не подслеповат. Может быть, он и близорук чуточку, но теперь этого не видно за веселыми искрами его беззаботных глаз.

И ничуть он не желчен и не обозлен и не разучился хохотать. Тон его хохота уже не прежний, чего греха таить не дрожат от него стены. Но смех — это музыка, и если инструмент изменился, то ноты остались те же, что и пятьдесят, сто лет тому назад и в дни, воспетые Гомером...



Иногда думается:

— Ведь люди, собственно, такая скверна... я на них не сержусь, но это так. Ведь они и своей радости не знают, и чужой завидуют. Отчего же лица их просветляются таким чистым сочувствием, когда они любят на веселье молодости? Отчего они тогда не завидуют и не желают зла?

Оттого, я думаю, что все они были когда-то молоды и в сыром тумане жизни, как Прометей в могиле об огне, сохранили память о молодости.

И когда представляется случай, они, истомленные, измочаленные брызгами ядовитой жизненной грязи, жадно и тоскливо спрашивают:

— Есть ли еще молодость на земле?

И когда им чудится в ответ:

— Есть! — их сердце радостно и успокоительно расширяется, и все, что осталось благородного на дне души, выливается в двух словах:

— Будь благословен...

Altalena

Одесские новости. 5.12.1901



Вскользь

Третьего дня присяжные оправдали женщину, покушавшуюся на детоубийство, и прекрасно сделали, потому что мужчина не должен карать женщину за то, чего он сам не переживал и не может понять.

Прочитав газетный отчет об этом деле, я вспомнил когда-то слышанную швейцарскую легенду о графине Метти фон Церинген.



Граф Церинген разошелся почти со всей своей родней, которая не желала простить ему женитьбы на крестьянке Метти.

Но Метти была удивительная красавица. У нее было пять сестер и пять братьев, все молодцы и красотки на загляденье, а Метти люди считали самой прекрасной в семье, в деревне и во всем округе.

Граф женился на ней и не жалел о разрыве со знатной родней. Метти была нежна, заботлива и скромна.

Только через несколько лет счастье графа начало омрачаться: у Метти не было детей.

Себя он в этом не винил — за него могла поручиться не одна горожанка в Берне, где он провел свои юношеские годы. Причина была в Метти.

Граф заказывал молебны, призывал знахарей — ничего не помогало.

В те суеверные времена люди часто видели глупые сны. И графу однажды приснился такой сон.

К нему будто бы прилетели семь белых пташек, которые поочередно садились ему на плечо и ворковали:

*Семеро нас, и мы все твои дети;
Нас погубила красавица Метти.*

Проснувшись, граф только пожал плечами. Он не был силен в арифметике, но расчет был не из трудных. Он женат четыре года — как же Метти могла погубить семерых детей?

Однако этот же сон, как случилось в те времена, привиделся графу еще два раза.

Граф сделался мрачен и стал избегать своей жены, которая томилась и день ото дня бледнела.



Наконец, кто-то посоветовал графу призвать ученого врача. Граф дал гонцу много денег на дорогу и послал его в город Монпелье за самым знаменитым из тогдашних докторов.

Седой еврей приехал, сухо поклонился графу, не снимая с головы шапочки, прошел в спальню графини и заперся там с ней наедине.

Через час он оставил ее и пошел говорить с графом. Никто их не подслушал. На следующее утро доктор получил свои червонцы, пересчитал их три раза и уехал с тем же непроницаемым лицом, с каким прибыл.

Граф велел построить у себя на дворе высокий помост. На помосте поставили плаху. Из Берна привезли рыжего молодца с длинной бородой и поселили — никто не хотел пустить его к себе ни за какие деньги — в заброшенной башне.

В ближайшую пятницу на заре двор замка наполнился народом. На помост взвели графиню Метти, рыжий молодец взял ее за пепельные косы и отрубил прелестную головку.

Пять сестер казненной графини бросились графу в ноги, умоляя позволить им отслужить заупокойную мессу. Но граф ответил:

— Я позволю отслужить мессу в тот день, когда прощу ее. И по тону было видно, что он никогда не простит.

На следующий день утром он уехал. И никто в замке не знал, куда он уехал.



Проходили месяцы. Граф скитался один, на сером коне, из города в город, точно его гнал нечистый. И нигде он не мог найти себе успокоения.

Раскаяние не вползало в его душу. Ему просто было тяжело.



Однажды буря застигла его в лесу, по которому он ехал уже целый день и все не видел конца.

Он кое-как добрался до хижины угольщика и попросил приюта.

Угольщика не было дома. Жена его, похожая на ведьму, сидела на скамье и печально смотрела на огонь. Граф заметил в ее глазах слезы.

— О чем ты плачешь? — спросил он.

Женщина резко ответила:

— Мой муж ушел в деревню на свадьбу сына, а меня оставили здесь, будто бы затем, чтобы стеречь хижину. Это неправда, они просто постыдились того, что я такая грязная. Воспитала сына, болела им, мучилась из-за него — теперь он нашел молодницу и знать не хочет старой черной матери...

Граф поднялся, вышел из хижины, вывел коня из-под навеса и ускакал, несмотря на то, что буря сорвалась со всех цепей и валила наземь старые сосны.



Снова прошло много времени; граф переехал через высокие горы и очутился на итальянской земле. Граф был измучен скитаниями и соскучился по роскоши и удобствам.

Ее высочество герцогиня Туринская была его родственницей. Он решил погостить у нее.

Он помнил ее молодой девушкой, стройной, свежей, веселой и резвой. Он застал ее постаревшей и грустной.

Но она приняла его радушно и устроила в честь него пир.

На пиру было много красивых дам. После пира вечером состоялся бал. В числе гостей было много красавиц, и его высочество герцог со всеми танцевал и за всеми ухаживал, кроме своей жены.

Граф помнил герцога десять лет назад еще наследником: он тогда был влюблен в эту девицу так пламенно, что грозил своему отцу заколоться, если ему не позволят жениться на его избраннице. А теперь он словно не замечал ее, своей доблестной жены, доброй матери его детей.

Граф перевел глаза на герцогиню — герцогини не было в зале. Он пошел искать ее.

Герцогиня сидела в углу маленькой отдаленной комнаты и заглушенно рыдала.

— Что с вашим высочеством? — тихо спросил граф, садясь возле нее.

— Кузен, — простонала она, — разве я совсем некрасива? Ведь я была красавицей!

Граф понял, о чем она думает, и не ответил на ее вопрос.

— У меня шестеро детей, — говорила, рыдая, герцогиня, — я им отдала свою красоту, и для меня красоты не осталось. Я не знала этого и не знала, что без красоты не станет и любви...

Тут рыдания громко вырвались из ее оскорбленного сердца, и под шум этих рыданий граф резко поднялся и быстро вышел из комнаты. Он проскользнул в свои покои, оделся, спустился незамеченным вниз и уехал, один, верхом на коне, с опущенной в раздумье головой.



Скоро он прибыл в Женеву. Здесь тоже у него был старый друг, с которым он когда-то вместе досаждал бернским гражданам разными юношескими проказами.

Теперь этот друг был главой городского магистрата.

Графа потянуло к нему. Он оставил коня в гостинице, попросил указать себе дом бургомистра, постучал в дубовую дверь медной скобкой и велел служанке доложить.

Бургомистр выбежал к нему в беспорядочной одежде, с радостным и тревожным выражением лица.

— Друг, дорогой друг, — воскликнул он, — сегодня Бог посылает мне двух дорогих гостей. Он привел тебя, а моя жена в эту минуту готовится порадовать меня первенцем.

В это мгновение из внутренних комнат донесся пронзительный, животный вопль невыносимой боли.

Граф с силой оттолкнул бургомистра от себя и бросился вон из его дома.



Через два дня он вернулся в свой замок, вызвал из Берна прелата, исповедался перед ним и заказал тысячу месс за упокой души графини Метти.

Altalena

Одесские новости. 6.12.1901



Вскользь

РАДИ БОГА!

Если такова наша судьба, что вместо драмы у нас должна быть опера, то слава богу, по крайней мере, за то, что хоть опера отличная.

Но мне кажется неоспоримым, что когда налицо имеется отличная опера, портить ее не надо.

Поэтому, ради бога, позаботьтесь, вы, власть имеющие, о г-дах хористах!

Музыкальные рецензенты пишут, что городской хор и в голосовом отношении очень плох. С этой стороны, кажется, почти ничего сделать нельзя до лета.

Но если уж так суждено, чтобы он резал нам уши, то пусть хоть не мозолит нам глаза.

Обратите внимание на «игру» г-д хористов. Это какой-то сплошной срам.

Вы так заботитесь об иллюзии, что у вас в «Лоэнгрине» лебедь все время подозрительно ищет чего-то или кого-то у себя на шее. Это не только реализм, а самый настоящий веризм.

И в то самое время, как лебедь, который, во-первых, птица, а во-вторых, даже не птица, а просто чучело, соперничает у вас с Эрмете Дзаккони, г-да хористы только смешат и злят публику своей удивительной деревянностью.

На сцене они почему-то располагаются непременно полукругом, лицами к зрительному залу, и поют, не двигаясь.

Разве это необходимо? Почему отдельные певцы могут двигаться по сцене, вытягивая ногу, а хористы не могут?

У князя Церетели хор живет, волнуется, смешивается, перемешивается, но от этого стройность пения ничего не теряет.

Можно было бы и у нас предложить хористам больше походить на живых людей.

Тем более что г-н Гордеев, кажется, мастер этого дела. Говорят, что в «Андре Шенье» он очень удачно вымуштровал хористов в этом направлении.

Зачем же дело стало? За что такая исключительная честь опере Джордано?

А без г-на Гордеева, т.е. без подробного участия опытной и разумной режиссерской руки, дело не может обойтись. Если сказать г-дам хористам просто и коротко: «Подпустите игры», то они подпустят такой игры, что разве один только суфлер, человек привычный, удержится от смеха.

Им, очевидно, все надо разжевать и положить в ротики.

Ведь когда хористы, вытянувшись этак полукругом, начинают собственноручно играть, получается еще хуже — нечто необыкновенно уморительное.

Вот, например, они все разом поднимают непременно правые руки, растопыривают пальцы, трясут ими в воздухе и снова убирают руки по швам.

— Это что за кеськесе¹?

— Гнев!

Но лучше всего у них выходит «изумление».

Все они для иллюстрирования этой эмоции сразу поворачиваются попарно друг к другу, делают большие глаза, поднимают брови под козырек шлема и разводят правой ладонью вправо, а левой влево. И разом же все поворачиваются во фронт, укладывают брови на надлежащее место и опускают руки на брюки.

Я не знаю, удовлетворялась ли этим публика во дни царя Гороха. Но теперь, и в одесском Городском театре, это решительно недопустимо.

Дело не столько в престиже Городского театра, сколько прямо в непосредственном впечатлении от спектакля, потому что «игра» г-д хористов резко портит это впечатление.

Г-жа Делли Аббати и г-н Апостолу умело и талантливо владеют жестом и мимикой. Г-жа д'Арнейро, судя по первым выходам, играет превосходно, так тонко, как дай бог хорошей драматической актрисе.

С какой стати наряду с такими исполнителями терпеть в хоре неповоротливость, какой не может похвастаться даже иной солдат-костромич, взятый впервые на своем веку в театральные статисты?

Ради бога!

Altalena

Одесские новости. 8.12.1901



Вскользь

ПИСЬМО К МАМАШАМ

Вчера у нас был приведен отрывок из статьи проф. Гродескула против разделения полов. Статья эта написана с целью повлиять на кого следует для открытия перед женщинами университетских и иных школьных врат. От совместного обучения проф. Гродескул ждет большой пользы для возрождения чистоты нравов.

¹ Qu'est-ce que c'est — что это такое? (фр.)

Это так. Но, думается, не мешало бы повторить увещевания проф. Гродескула и по вашему адресу, заботливые мамы. Потому что если в порче нравов была не без влияния устроенная помимо вас школьная система, то главная вина в этой порче лежит все-таки на вас.

Вы, может быть, заметили, что ваши сыновья с самого нежного возраста становятся жертвами повальной болезни, имя которой — чувственность.

Я не хочу распространяться, но у меня есть масса данных — разговоров, признаний, даже фактов, — чтобы доказать, что, преимущественно в возрасте от 12—15 лет, воображение и мысли ваших дорогих мальчиков *исключительно* заняты представлениями самого непохвального свойства. Их разговоры с друзьями касаются постоянно тончайших деталей любопытного предмета; они с восторгом читают неприличные куплеты, рассматривают скабрзные рисунки и т.д., а приблизительно около 16 лет (часто гораздо раньше) переходят от теории к практике.

О ваших дочерях мне не хочется говорить.

Вопрос, который меня здесь занимает, это причины такого и раннего, и вообще ненормально сильного развития чувственности в ваших сыновьях. Конечно, вы уже досадливо догадываетесь, что я обвиню вас, скромные, высоконравственные мамы.

И действительно, вас следует обвинить.

Года четыре тому назад мне в руки попала книжка, если не ошибаюсь, г-жи Водовозовой, где выводилась «идеальная» мать Лялина. Эта дама так прекрасно и разумно обращалась со своими детьми, что самый строгий критик не нашел бы, к чему придраться.

Но и она, как только дело доходило до «эмбриологических вопросов», начинала вилять и говорила детям, что «охотно бы объяснила, да вы не поймете»...

Прежде всего, это абсурд. Объясните как следует, и ребенок поймет. Что в этом непонятного?

Но вы не объясняете и «не можете» объяснить. Посмотрим, что из этого выходит. Для общего вывода я соберу еще несколько аналогичных фактов.

Почти с пятилетнего возраста мальчику начинают внушать, что он должен остерегаться особ другого пола.

Ему запрещают входить в комнату сестер, когда они одеваются.

Немного позднее ему указывают, что он слишком фамильярен с девочками, а это неприлично.

Собственно, больше приходится выслушивать это маленьким представительницам прекрасного пола, и они уже, отдаляясь от сверстников-мальчиков, вызывают в последних недоумение — отчего это? Недоумение разрешается ответом, что это — девочки, а с девочками *нельзя* фамильярничать.

Девочка становится *запретным плодом*.

Мальчик предлагает вполне понятный вопрос о том, как и откуда взялся на свет новый котенок, папин пони и наконец он сам, его новорожденная сестричка и другие дети. Прежде при таких вопросах любопытного успокаивали какой-нибудь научной гипотезой об аистах, ангелах, капусте. Но теперь мы с вами — прогрессисты. Аисты и капуста — все это глупости. Мы «прямо» заявляем ребенку, что этого *нельзя* еще знать.

Таким образом, «эмбриологические вопросы» становятся *запретным плодом*.

За столом, как только разговор принял известное направление, ребенка отсылают в детскую. Это, конечно, очень вежливо и замечательно льстит детскому самолюбию, но центр тяжести не в том. Главное, такие «мероприятия» бьют в глаза, привлекают внимание ребенка, и разговоры взрослых становятся *запретным плодом*.

Продолжать ли? Вы уже верно поняли, к чему я клоню.

Да, вы сами, вы, матери, своим прямым влиянием *подстрекаете в детях любопытство* к известным предметам, так *заметно и противоестественно* скрывая их. Запретный плод сладок.

А когда любопытство соединяется с инстинктом, вложенным в нас от природы, тогда получается вот что.

Мальчик подглядывает у щелей ванной комнаты, у дверей спальни молодой горничной, с лихорадочной жадностью набрасывается на скабрзные рисунки, доставляемые добрыми товарищами, а так как с течением времени ему кажется мало услаждать только зрение, он все чаще и чаще начинает забегать на кухню.

Кто в этом виноват? Кто ввел понятие пола в его чистую дружбу с девочками? Кто внушил ему мысль, что женщина должна оставаться для него каким-то живым секретом? Кто разжег в нем с первых лет любопытство?

— Я, — может с полным правом ответить каждая из вас.

Далее. Животрепещущий вопрос об аистах не улетучится из головы вашего сына потому только, что вы приказали ему не думать о пустяках. Не надо быть глубоким психологом, чтобы знать, что навязчивую мысль нельзя своевольно отогнать от себя, пока ей самой не вздумается уйти.

Не воображайте же, что ваш сын не узнает того, что его интересует.

Не беспокойтесь! Я узнал «все это» в шестилетнем возрасте, и так — большинство. Старше десяти лет вы не найдете ни одного несведущего.

Товарищи непременно расскажут, что надо, и притом с такими деталями, о которых вы не имеете ни малейшего понятия.

И товарищи расскажут это вашему мальчику с улыбочками, с аппетитом, с восторгом — а вы, если бы вы это сделали сами, рассказали бы *чисто* и серьезно.

Если бы вы не начинали скрывать, если бы вы на первый же вопрос (предлагаемый обыкновенно в самом раннем возрасте) спокойно и ясно ответили всю правду, то неиспорченный ребенок не обратил бы никакого особенного внимания на сообщенное вами, сжился бы с этой мыслью, свыкся бы с ней, как свыкается с потребностью есть, спать и совершать разные жизненные отправления.

И тогда никакой товарищ не мог бы поразить, восхитить, заинтриговать вашего сына своими открытиями, потому что *в известном нет ничего заманчивого*.

А вы скрываете, прячете, боретесь с природой и распяляете ваших детей.

Далее. То, что вы высылаете ребенка при некоторых разговорах из комнаты, не замедлит соединиться в его представлении с запрещением касаться книг, которые вы свысока признаете «вредными», «преждевременными». И вот ваш мальчик опять заинтересуется.

Подслушивать разговоры он, пожалуй, не станет, но книжку, несомненно, раздобудет и украдкой прочтет.

Прежде он и не обратил бы внимания на ее содержание, но теперь он невольно заинтересуется именно тем, что ему запрещено, так как запретный плод сладок. За первой книгой последует другая, а в количестве книг, слава богу, недостатка не будет!

Вы гордитесь вашей стыдливостью. Послушайте, прелестные мамы: считать стыдливость за добродетель — это очень уморительно.

В Южной Америке есть племя, считающее постыдной публичную еду. Оно утоляет свой голод, скрываясь и прячась от постороннего взора.

Это тоже стыдливость.

Настоящая невинность — совершенно неиспорченные дети или Адам и Ева до грехопадения — не знает стыдливости, потому что ей и в голову не приходит, что в человеческом теле есть что-то греховное и что его надо ревниво прятать под одеждami.

Тот, кто стыдится своего тела, тот уже не совсем чист, у того уже развращено воображение.

Да спросите, в минуту откровенности, у какого-нибудь Дон Жуана: что больше щекочет его чувства — бесстыдство или стыдливость?

Он вам ответит, что нет большей приманки, чем стыдливость. Посмотрите на скабрезных романистов: они тоже стыдливы, они не скажут ни одного откровенного, резкого, грубого слова; у них все под вуалью, все намеками — ни одного прямого выражения не найдется. И они разжигают даже св. Антония, между тем как научные книги, где нет церемоний и стыдливости, читаются порядочными людьми без волнения и возбуждения.

Но человеческое общество так устроено, что без стыдливости невозможно обойтись. Я и не восстаю против нее, я только говорю, чтобы вы не принимали одного из неудачных плодов нашей великой культуры за добродетель и, главное, чтобы вы не портили ваших невинных детей, приучая их к этой стыдливости.

Не внушайте им раньше времени мысли о разделении полов, о неприличии фамильярности, о непозволительности сближения мальчиков с девочками — и они останутся «чисты», пока природа не вступит в свои права.

Более чистые, более простые и товарищеские отношения между детьми разных полов — вот что необходимо и недостаток чего так же губительно действует на ваших детей, как и ваша скрытность по вопросам, вызывающим вполне понятную любознательность. И я в сотый раз повторяю вам: не скрывайте того, что хотите скрыть, ибо запретный плод сладок, запретный плод заманчив, запретный плод обольстителен.

Altalena

Одесские новости. 9.12.1901



Вскользь

Опять достается в Неметчине студентам из России. Теперь уже по поводу вжесненских истязаний над польскими детьми за нежелание молиться Богу по-немецки.

Прежде всего — два слова об имени города, в котором истязания «имели место». Этот город называют то Врешеном, то Вржесеном, то еще иначе, а называть его надо Вжесней. Если по-немецки Вжесня будет Врешен, то ничего еще отсюда не следует: город Вжесня все-таки есть город Вжесня.

После этого перейдем собственно к студентам.

В первый раз я сегодня жалею о том, что обыкновенно меня радует — о том, что мне выпало на долю писать в одесской газете, а не в столичной, потому что я хотел бы довести до слуха возможно большего числа русской молодежи следующие со дня сердца идущие слова:

— Господа! Уезжайте из Неметчины и не ездите больше учиться в немецкие университеты.

Это — единственное, что вы можете сделать, и единственное, что вы *должны* сделать.

Больше вы ничего не *можете*, потому что все ваши протесты против немецких протестов ни к чему не поведут.

Вы будете громогласно доказывать, что немецкий бурш есть ничтожество, что если бы на нем не корпоративная подтяжка, то не было бы разницы между ним и парфюмерным коммивояжером. И в то же время, что вы ведете за границей подвижническую жизнь, т.е. учитесь, голодаете и уважаете женщину.

Это будет все напрасно. Этому поверят только те, кто это знает без вас.

Но сами виновники торжества — подтяжечники и состоящие при них профессора — просто не обратят внимания.

Для них все это не важно, даже если это — правда.

Вы могли прочесть во вчерашней корреспонденции из Берлина, до какой наглости доходит их фантазия. Потому что ведь о подтяжечнике и о русском студенте можно сказать что угодно: что первый — золото, а второй — мразь, что второй — вор, а первый — ангелочек; но сказать, что бурш-подтяжечник *интеллигентнее* студента из России — это уже за пределами добра и зла. Это уже значит, что человек просто-напросто и нарочно врет кому-то назло.

На деле — рыцарям ордена подтяжки нет ни малейшей корысти в развитии или глупости студентов из России.

Они ненавидят вас помимо всего этого — просто за то, что вы им несимпатичны. У вас все по-другому.

Вы на них не похожи. В чужой стране очень приятно видеть людей на нас непохожих. Но другое дело — терпеть их в своем собственном фатерланде¹.

Вы скажете, что не принесете им никакого вреда своей самобытностью. Но если это и так? Что же из того? Вы для них невыносимы не потому, что опасны, а потому, что неприятны.

Если в вас есть хоть капля беспристрастия, вы должны признать, что студент из России не может показаться подтяжечнику иначе как неприятным.

Разве вас самих не бесит, *à la longue*², вся внутренность и внешность бурша, не бесит эта ребяческая злая тупость в двадцатилетних розовых балбесах? Точно так же подтяжечника бесит ваш бедный костюм и ваша исключительная (мне кажется, слишком исключительная) преданность умственным интересам, из-за которой вы лишены возможности и охоты показать буршу кулак.

О, если бы вы показали ему кулак, тогда другое дело! Не из трусости — бурш не трус, — но просто из почтения к «физике», свойственного каждому животному, он возымел бы к вам уважение и преданность.

Но вопрос в том, сумеете ли и захотите ли такой ценой купить бурша вы?

У меня был знакомый студент в одном из немецких университетов, который очень шокировал подтяжечников своей синей рубахой и толстой палкой, но когда в этой палке оказалась тяжелая гуттаперчевая сосиска и обладатель доказал полную готовность пустить ее в обращение, немцы признали, что *гер керль ист дох зйн брафер бурш*³, хотя этот керль в столкновениях с немцами упорно говорил только по-французски, прибавляя в пояснение:

— *Же не парль ке лэ ланг сивилизэ!*⁴

Чувствуете ли вы себя способными на это? Готовы ли вы приобрести для постоянного ношения при себе нагайку так,

¹ Фатерланд — отечество (нем.).

² Долгое время (фр.).

³ А этот малый — настоящий бурш (нем.).

⁴ Я говорю только на цивилизованных языках (фр.).

чтобы бурш знал об этом и знал, что вы вооружены не только симпатиями порядочных людей, но и дубиной. Готовы ли доказать ему, что вы способны не только защитить себя от него, но еще и его самого изобидеть в придачу?

Только тогда он стал бы уважать вас. Но не думаю, чтобы ради уважения бурша вы согласились взять в руки нагайку.

Значит, надо уезжать. Это единственное, что можно сделать.

И — сказал я выше — единственное, что *должно* сделать.

Должно — ради самого законного самолюбия, ради нравственного престижа вашей нации, если вы дорожите этим престижем.

Вы теперь сильно подрываете этот нравственный престиж за границей. Потому что когда людям, живущим в чужом доме, так упорно кричат, придираясь по всякому поводу: «вон!», то не уходит, упираться, снисходить до доказательств: «за что вы нас, мы ведь, собственно, ничего...», это значит не иметь самолюбия.

Гордый человек, когда ему сказали в чужом доме «уйди», прежде уходит, а потом начинает объяснения.

Вы скажете:

— Позвольте, да кто же нас гонит? Меньшинство! Подонки! Есть на кого обращать внимание!

Вообразите себя опять-таки в чужом доме. Вы слышите ежедневно споры в семье на ту тему: вышвырнуть ли вас за дверь или терпеть. Что же, вы останетесь в этом доме на том основании, что там есть кто-то, кто предлагает вас терпеть?

Если вы — люди гордые и дорожите вашим достоинством выше удобств, то вы должны сейчас же уйти из этого чужого дома, не допуская, чтобы из-за вас начали ругаться между собой туземцы.

Если вы — люди гордые и дорожите незапятнанностью вашего достоинства, вы *должны* уйти из немецких университетов и политехникумов, под какой бы ливреей они ни прятались — германской, австрийской или швейцарской.

Delenda Carthago.

Altalena

Одесские новости. 13.12.1901



Вскользь

Профессор Сикорский в Киеве хлопочет о воскресном отдыхе для приказчиков — и при этом закрывает глаза на то, что для будничной работы приказчика нет еще никакой нормировки.

Между тем не так легко решить, что важнее.

Конечно, один день абсолютного покоя в неделю очень полезен. Но если взять приказчика из такой точки земного шара, например из одесского старобазарного района, где приказчицья работа длится ежедневно по 18 часов, то мы увидим, что у такого приказчика еженощно остается 6 свободных часов.

На дорогу из магазина домой, «ужин», раздевание, потом утром туалет, чай и путешествие в лавку — положим, по 1 часу в сутки.

Итого, на сон остается по 5 часов в сутки.

Господь Бог же повелел порядочному человеку спать 8 часов в сутки.

Поэтому такой приказчик в будни не досыпает еженощно по 3 часа.

Будних дней в неделю 6; ergo¹ за неделю за приказчиком из такой точки земного шара накапливается 18 часов сонной недоимки.

Наступает воскресенье, сикорское воскресенье, с абсолютным отдыхом.

Как должен воспользоваться этим отдыхом старобазарный приказчик?

Он должен, по-моему, доспать недоимочные 18 часов и, кроме того, те 8 часов, которые по основным законам мира сего причитаются на воскресенье.

Итого — 26 часов должен спать приказчик в сикорское воскресенье.

Мне кажется, что тут ему придется прихватить и кусочек понедельника — не так ли?

А проф. Сикорский благодушно мечтает о том, как приказчики по этим абсолютным воскресеньям будут предаваться самообразованию!

¹ Следовательно (лат.).

Мне кажется, что предпочитать один день абсолютного отдыха системе ежедневных маленьких отдыхов — значит предпочитать ежедневному скромному обеду целую неделю голода с одним пиром до несварения желудка — или ежедневной рюмочке водки — один основательный выпиванс по воскресеньям.

Лучше всего было бы, конечно, сделать так, чтобы и воскресенье оставалось абсолютно свободным, и по будням был бы маленький отдых.

Но...

Поэтому, если уж хлопотать о чем-нибудь одном, то гораздо лучше требовать нормировки будничной работы.

Все равно по воскресеньям и церковным праздникам, приказчики — за некоторыми исключениями — заняты (говорю об Одессе и Киеве) только с 11 часов до 3-х, а по табельным дням — с 11 до 8 вечера.

А праздников в России, слава богу, много.

И приказчики, *faute de mieux*¹, были бы благодарны Господу за свои воскресенья, если бы не усталость и не сонная недоимка, накапливающаяся за неделю неурегулированного труда.

Если бы приказчики были заняты по будням только с 8 до 8, то можно было бы кое-как примириться с четырьмя часами работы по воскресеньям.

Приказчик мог бы тогда ежедневно высыпаться, и у него еще оставалось бы по 4 часа свободных, из которых он мог бы урвать часть и на то, чтобы порадовать профессора Сикорского самообразованием.

Надо считаться и с некультурностью нашей публики. Если бы по воскресным дням нигде ничего нельзя было купить — летописи России обогатились бы «мятежом» хозяев.

Это нежелательно в видах охраны государственного порядка.

Но запрещение торговли ранее 8 часов утра и позже 8 часов вечера такого мятежа не вызвало бы — и потому оно и с этой точки зрения желательней.

Мне случилось говорить по этому поводу с г-ном Гудваном, ездившим, как читатели вспомнят, в столицу хлопотать перед г-ном Ковалевским о нормировке приказчицкой работы.

¹ За неимением лучшего (*фр.*).

Г-н Гудван сообщил мне, что уже несколько городских дум (херсонская, симферопольская и сызранская) постановили возбудить ходатайства об ограничении *будничной* торговли 12 часами.

Кроме того, московская дума, по предложению гл[асного] Коробова, уполномочила голову кн. Голицына хлопотать о том же.

Киевская дума поступила бы очень странно, если бы, по совету проф. Сикорского, совершенно забыла, что при чрезмерном будничном труде — грош цена наиабсолютнейшему воскресенью.



С точки зрения воскресного отдыха очень интересно положение некоторых «привилегированных» приказчиков — тех, которые служат в съестных и хлебных лавках, в кондитерских и кофейнях и еще — в цирюльнях.

В булочных еще можно, по-моему, разрешать по воскресеньям торговлю по 3 часа утром и по 3 вечером (к свежему хлебу), как делается кое-где за границей. То же самое можно сказать и вообще о съестных лавках.

В цирюльнях по воскресеньям тоже можно было бы ограничить работу, по крайней мере, временем от 10 до 4-х — как это тоже практикуется за границей.

Но как быть по воскресеньям со служащими в кондитерских и кофейнях? Эти заведения бойчее всего торгуют по праздникам.

В скромных кофейнях, которых довольно много в Одессе, прислуживают обыкновенно две девушки. Работа начинается рано утром и затягивается до часу ночи, а нередко и до двух. Через день каждая девушка пользуется отпуском приблизительно с 2 до 6.

Едва ли этим бедняжкам приходится спать больше 6 часов в сутки. Обо всем прочем — о прогулках и вообще развлечениях — и речи быть не может.

Если так ведется в будни, то гораздо хуже обстоит дело по праздникам, когда работы в кофейнях больше. И по этой именно причине и речи не может быть о воскресном отдыхе в таких заведениях.

Но, с другой стороны, просто жалость смотреть на несчастных девушек, когда они, почти шатаясь от множества недоспанных ночей, обносят чаем поздних посетителей. И при этом,

под отеческим взором хозяев, еще стараются согнать с лица невольную хмурую гримасу и заменить ее веселой приветливой улыбкой — чтобы гости не обижались...

Altalena

Одесские новости. 15.12.1901



Городской театр

Слушать заигранную и запетую «Лючию» в таком сереньком исполнении, каким было вчерашнее, ничего, кроме скуки, доставить не может, и потому наша публика поступила очень осмотрительно, не наполнив театра и наполовину. В заглавной роли выступила г-жа Брамбилла и доказала лишний раз, что ей не следует — по крайней мере в настоящее время — браться за ответственные колоратурные партии. Ее голос для этого слишком утомлен, поет она с трудом, а колоратура ее настолько тяжела, что ни в каком случае не может удовлетворить даже не особенно взыскательного слушателя. Вчера г-же Брамбилле удалось лишь те места, где требуется плавное пение, и то только благодаря красивому тембру ее голоса. Партнером ее был г-н Браво, мягко и со вкусом исполнивший партию Эдгара. К сожалению, голос его звучал чересчур слабо, а игра была, по обыкновению, шаблонна. В общем, он приличный, хотя и далеко не выдающийся Эдгар. Г-н Бонини — недурен в роли Артура и был бы еще лучше, если бы не его грубоватая «семинарская» манера держать себя на сцене. Вторые персонажи — удовлетворительны. Оркестр шутя справился с незамысловатой музыкой «Лючии», а хор был на этот раз на высоте своей нетрудной задачи.

Altalena

Одесские новости. 15.12.1901



Вскользь

В московском Малом театре шла на днях драма итальянца Э.А. Бутти, озаглавленная «Погоня за наслаждением».

Бутти задумал написать трилогию об атеистах. Эта пьеса — первая часть трилогии. Вторая часть — «Люцифер» — шла пока только в Италии. Третья, если не ошибаюсь, еще

не написана, хотя о содержании ее кое-что уже известно. Бутти выбрал для своей литературной деятельности очень интересную область. Его занимает неустойчивое положение, в котором завертелась человеческая совесть после низвержения кумиров.

Прежде была на все указка. Человек делал то-то, не делал того-то, всегда стараясь совпасть с предписанием Божьего закона. Иногда выходило худо — но совесть человека была спокойна.

Теперь же, разбив указку, человек мало-помалу стал подкапываться под все старые правила своей совести.

— А почему, собственно, я не должен лгать? Ложь иногда гуманнее правды. Лжесвидетельством иногда можно спасти хорошего человека от неразумного судьи...

— А почему, собственно, «не убий»? Отчего убить волка, загубить микроб — можно, а убить человека нельзя? Что теряет убитый человек? Горькую жизнь — и взамен ее приобретает вечный покой.

Этот болезненный спорт расшатывания стародавних положений совести закончился последним подкопом под устои самой совести.

До тех пор человек только пробовал переоценить ложь и убийство, стоя на той же точке зрения добра и зла, т.е. доказывая, что убийство не есть зло, а ложь есть добро.

Теперь же он спросил себя:

— Что же такое, собственно, добро и что такое зло? Почему мы известный оборот дела называем добром, а другой оборот злом? Из того, что мы называем первым именем, выйдут в течение веков тысячи «хороших» и «дурных» последствий, а из того, к чему мы прицепили ярлык «зло», точно так же в течение столетий выйдут и «хорошие» и «дурные» результаты — тысячи тех и других. И все это кончится охлаждением земли, смертью всего живого — и тогда окажется, что незачем было огород городить, капусту садить и еще делить эту капусту на два сорта. Нет ни добра, ни зла. И я буду поступать без разбору, как случится.

Но всякий человек, не вполне заурядный, любит мудрствовать и уж непременно придумает какое-нибудь обобщение своим поступкам.

Трилогия Бутти дает три примера таких обобщений. Три человека, отвергшие Бога, изберут себе каждый по принципу

для объяснения и направления своих поступков — и все трое, вероятно, кончат банкротством. По крайней мере, первые два так уже кончили.

Один сказал себе:

— В жизни нет смысла; единственное оправдание жизни, это — наслаждение.

И начал «скачку за наслаждением». Именно «скачку»: «погоня» — неверный перевод итальянского слова *corsa*¹. Погоня предполагала бы одну конечную цель: догнать, тогда как здесь мы видим настоящую скачку — процесс для процесса.

Наслаждение оказывается плохим суррогатом смысла жизни и приводит героя к краху.

Другой — «Люцифер» — тоже отверг Бога и перелил весь фанатизм своей души бывшего семинариста в науку и мышление. Это — «скачка за истиной».

«Люцифер» тоже банкротится. Когда на семью обрушиваются разные удары, сын его, воспитанный отцом в духе атеизма, бросается за утешением к патеру. И сам старый «Люцифер», разбитый и во второй раз изверившийся, заканчивает драму шепотом:

— Кто знает? Кто знает?

В третьей пьесе Бутти, если не ошибаюсь, будет выведен делец крупного идейного полета — фабрикант, что ли, заменивший Бога жаждой дела для подъема здорового кровообращения в стране.

Вероятно, и эта пьеса кончится поражением третьего идеала — общего блага, в котором Бутти видит столь же недостаточную замену религиозной веры, как и в эпикуреизме или в искании отвлеченной и этической правды.



Чтобы не выходить из области итальянской драматургии, передадим содержание последней трагедии Габриеле Д'Аннунцио, освистанной в Риме при помощи дверных ключей, — «Франчески да Римини».

Данте видел в аду бесконечную вереницу теней, осужденных на странную кару вечного, беспрестанного полета. Но, по зову Вергилия, две из этих теней остановились и рассказали поэтам-интервьюерам свою историю.

¹ Бег (*итал.*).

Говорила Франческа, а ее возлюбленный Паоло молчал.

— Однажды, — сказала Франческа, — мы читали вместе о том, как Ланселот был побежден любовью. Мы были одни и не опасались ничьего прихода... И когда мы прочли, как этот любовник целовал улыбку на устах своей подруги, он — кому никогда уже не расстаться со мною, весь дрожа, поцеловал меня в губы. Злым советчиком был этот рассказ и тот, кто его написал! В этот день мы уже больше не читали...

Д'Аннунцио сделал из этой истории пять действий.

Первое происходит в одном замке в Равенне. Родные Франчески намерены ее обмануть: ей покажут в качестве жениха красавца Паоло Малатеста, а выдадут ее, из политических видов, за его старшего брата, урода Чанчотто. На сцене — служанки Франчески, которые на досуге занимаются пением песен «сладкого нового стиля», но в их веселую болтовню вкрадываются намеки, напоминающие о том, что в стране происходят битвы и пожары, что эта эпоха есть настоящий век железа и братоубийства. Братья Франчески ссорятся и бросаются друг на друга с обнаженными мечами — их с трудом удастся помирить.

И вот за решеткой показывается красавец Паоло Малатеста (Густаво Сальвини). Франческа (Элеонора Дузе) побеждена. Она срывает кроваво-красную розу и подает ее Паоло. Снаружи слышен голос младшего брата девушки:

— Франческа! Отопри, Франческа!

Возглас, который потом будет повторен другим голосом и в другом, более страшном смысле.

Второе действие — в башне осажденного замка семьи Малатеста. Франческу выдали уже за урода Чанчотто. Во время боя она из любопытства стоит у бойницы, озаряя факелом темноту, и, глядя на огонь его, задумчиво спрашивает:

— Ты хочешь
Пожрать меня, о пламя
Прекрасное? Ты хочешь, чтобы я
Твоею стала?

Появляется Паоло — и в его беседе с Франческой слышна скрытая, греховная взаимная страсть. Начинается бой. Паоло ранен на глазах у Франчески. Тогда она прощает ему участие в обмане, который сделал ее женой урода, и сама делает ему перевязку.

В эту минуту входит ее муж Чанчотто, весь покрытый кровью, и она с невольным отвращением сторонится от его целуя:

— На панцире у вас так много крови!

Чанчотто выпивает чашу хиосского вина, приготовленную Франческой для раненого Паоло, и Франческа снова наполняет чашу и подает ее последнему со словами:

— Пейте,
Синьор мой шурин, из той самой чаши,
Откуда пил ваш старший брат.

— Пожар! — кричат стрелки, — и на горизонте подымается зарево пылающего города Римини.

В третьем действии на сцене комната Франчески. Служанки поют и пляшут.

Франческе говорят, что Паоло, уехавший было во Флоренцию, неожиданно вернулся и хочет ее видеть.

— Скажи ему «нельзя», — говорит смущенная Франческа.

Но Паоло уже тут:

— Услышав звуки музыки, я к вам
Пришел с моим приветом —
я пришел к вам
С приветом возвращенья моего
На родину.

И между ними наедине начинается роковой разговор.



— О, Паоло, верните мне покой!
Как сладко было б жить — хоть час один —
В забвеньи обо всем — об этой буре,
Которая томит меня...



— Горе, горе
Мне, Паоло, — все ваши
Слова — как будто искры...



— Расскажите
Мне что-нибудь о вашей жизни.
Сядьте здесь рядом. Говорите о себе.

Паоло:

Зачем хотите вы,
 Чтоб воскресил я снова в сердце горечь
 Моей унылой жизни? Что другим
 Казалось приятным,
 Мне все то было скучно и противно,
 И разве только музыка дарила
 Мне редкий час отрады...



— ...Я видел
 Там юношу из дома Аманьери,
 Который звался Данте;
 Он полюбился мне — его душа
 Казалась мне полна любви и скорби...



На столике лежит знаменитая книга о любви Ланселота дель Лаго к прекрасной Джиневре. Что-то влечет Паоло к этой книге. Он читает страстные речи Ланселота, а между тем голова Франчески наклоняется над страницами рядом с его головой.

— Теперь читайте вы
 Ее слова. Вы будете Джиневрой.

Франческа читает и останавливается:

— Нет, не могу. Не вижу.

И так они доходят до того места, где Джиневра и Ланселот целуются.

Дальше все идет по Данте.

В четвертом действии Франческа приходится выслушать объяснение в любви от третьего брата Чанчотто — от свирепого и кровожадного полурейбенка Малатестино.

— Клубяся под моими
 Шагами, пыль твой образ принимает:
 Живая ты трепещешь в ней... и таешь.

Франческа отталкивает его. Тогда Малатестино открывает ее мужу подслушанную им тайну любви Франчески и Паоло.

Чанчотто желает убедиться. Он не показывает жене и брату и тени подозрения. Он даже говорит:

— А помните, Франческа, вы нам дали
 Хиосского вина, и все мы пили
 Из той же чаши — помните?

И снова заставляет Франческу прикоснуться к чаше с вином, из которой отпил он и Паоло.

В пятом действии мы присутствуем на очень страстном свидании любовников, которое прерывается стуком в дверь и криком Чанчотто:

— Франческа! Отопри, Франческа!

Муж врывается, убивает брата и жену, потом падает на одно колено и на другом ломает свой меч.



Еще одна новинка, заинтересовавшая итальянскую публику и, кроме того, имевшая большой успех в Риме, принадлежит известному драматургу Роберто Бракко.

Герцог Равильяни провел веселый час с падшей женщиной. У падшей женщины родилась девочка Паолина, которая вырастает среди подонков неаполитанской пристани.

Она встречается со слепым юношей Нунцио, который каждый вечер играет в качестве тапера на фортепиано в притоне разврата, принадлежащем его отцу.

В притоне потухли все огни. Нунцио зовет девочку вместе бежать из этой клоаки. И она отвечает:

— Я ничего не вижу...

— До улицы я буду твоим проводником, — говорит Нунцио, и дети бегут.

Во втором действии мы у герцога Равильяни. Он постарел, ослаб и выжил из ума. У него начинается старческое раскаяние. Он помнит, что когда-то падшая женщина показала ему ребенка и сказала:

— Это твоя дочь.

И теперь у него мелькает смутная мысль: «Хорошо бы разыскать девочку...»

Но герцогом овладела хитрая француженка, жадная кокетка Ливия Бланшар, которая несколькими словами отвлекает дряблые мысли герцога от опасного предмета.

И герцог со старческим слюнявым смехом пирует вместе с Ливией и ее подругами и в конце пира падает на пол, разбитый апоплексическим ударом.

В третьем акте снова на сцене Паолина и слепой Нунцио.

Уже семь лет подряд он играет на скрипке, она поет — и на эти деньги оба живут. Но Паолина стала красавицей. Какая-то

старая ведьма предлагает ей выгодные «партии» — а тут же на глазах у девушки умирает ее подруга, жертва нищеты.

Паолина решается. Натура матери отзывается в ней. Она со слезами покидает слепого и бросается в омут разврата.

Пьеса озаглавлена «Затерянные во мраке».

Altalena

Одесские новости. 18.12.1901



Вскользь

«Петербургская газета» устроила опрос драматургов о том, чего они требуют от актера. Из полученных ответов останавливает на себе внимание мнение г-на Южина:

«По-моему, великий актер — тот, кто верно понял и ярко изобразил не только то, что автор написал, но и то, что он передумал, когда писал пьесу. Для автора быть понятым критиком — большое счастье, но быть понятым актером — необходимость, и как бы велик ни был актер своим талантом смешить, трогать и потрясать публику, он все-таки останется злейшим врагом автора, если не сумеет слиться с его душой всем существом и только будет пользоваться созданным его творчеством положением для того, чтобы проявить свой гений или талант. Когда сеешь рожь — пусть она и вырастает, если же изоржи вырастает пшеница, вряд ли хозяин может быть доволен».

Я выписал дословно этот довольно длинный ответ для того, чтобы поставить перед глазами читателя очень типичное ходячее мнение, которого придерживаются драматурги и театральные критики:

— Актеры — это инструменты, на которых автор исполняет свои симфонии.



Против этого мнения актеры должны упорно бороться, защищая обратный принцип:

— Пьесу создают на равных правах два человека — автор и актер.

Надо вспомнить, как возникло сценическое искусство: тогда мы поймем, насколько неприлична ему та роль мертвого инструмента, которую единомышленники г-на Южина хотели бы навязать актерам.

Трагедия и комедия в Элладе зародились еще задолго до появления на свете первого драматурга; в древнегреческих священных игрищах каждый актер был в то же время автором своей роли.

Новое сценическое искусство, пришедшее в Европу из Италии, развилось в этой стране первоначально в виде комедии масок. У публики были свои излюбленные типы — Паяц, Арлекин, Коломбина, Панталон и т.д., — каждый из которых отличился раз и навсегда установленным характером и костюмом. В бродячих труппах отдельные актеры и актрисы раз и навсегда разбирали себе роли этих масок.

Каждая новая комедия ставилась так: вся труппа сообща вырабатывала интригу со всеми ее деталями — т.е. новую комбинацию злоключений Арлекина и Коломбины, а затем диалог импровизировался исполнителями соответственно характеру каждой роли.

И тут актер был в то же время автором.



В наши дни так уже не делается — и не скажу, чтобы стоило об этом жалеть.

Но с тем, чтобы слово автора было законом для актера, очень трудно согласиться. И так же трудно согласиться, чтобы законом для актера был замысел автора.

Мне кажется, напротив, что во многих случаях это совершенно не нужно и даже вредно — не только по отношению к внутренней обработке роли, но и просто к ее словам.

Вот первый попавшийся пример — слова Григория Отрепьева из сцены в келье Чудова монастыря:

— Все тот же сон! *Возможно ль!* В третий раз.

Не знаю, как на других, а на меня это «возможно ль», которого в таком смысле никто и никогда не употребляет, производило всегда фальшивое, «театральное» впечатление.

Не говорить: «Возможно ль? В третий раз!»

Говорить: «Странно!» — или: «Невероятно! Непонятно! В третий раз».

Вообразите, что найдется актер, на которого это «возможно ль» будет производить такое же впечатление режущей ухо натяжки. Неужели он не имеет права заменить неудобное, не дающееся ему слово другим, более правдивым?

Если артист чувствует неправдоподобие данного слова, ясно, что он не может себе представить, как произносится это слово в этом смысле естественно и правдоподобно. Значит, он и сам этого слова правдоподобно не скажет.

То же можно применить к целой фразе. Она может показаться актеру или вообще неправдоподобной, или не подходящей к роли. Он будет прав или неправ, но раз это ему так кажется, то уж он хорошо той фразы не произнесет. И поэтому лучше ему для себя ее изменить или выбросить.

Надо только, чтобы после всех актерских урезок или отсебятин тип роли оказался цельным, и еще надо, чтобы смысл пьесы не извратился от поправок, внесенных актером в его роль. Если все это будет соблюдено, то победителя не судят.

Странно, очень странно требовать, чтобы актер играл непременно по замыслу автора.

Испокон веков все великие артисты играют Гамлета мыслителем. Если бы завтра воскрес Шекспир и сказал:

— Господа! По моему замыслу Гамлет действительно поврежден в уме.

Что же, неужели из-за этого надо было бы отныне и во веки веков портить великую драму, играя Гамлета умалишенным?

— Посеяна рожь, пусть рожь и вырастает, — говорит г-н Южин, — а то, если вырастет пшеница, хозяин будет недоулен.

В том-то и дело, что автор — не хозяин драмы, а всего полхозяина. Это ведь только так говорится, будто хороший актер «перевоплощается» в роль. Будь это правда, Дузе в «Даме с камелиями» напоминала бы Сару Бернар в той же роли.

Перевоплощения нет. Напротив, каждый актер приспособливает каждую роль *для себя*. И если потом в другой роли он кажется нам совершенно другим человеком — это тоже не значит, будто он все время превоплощается. Это значит просто, что он показывает нам разные октавы своего таланта.

И когда ему удастся очень близко притянуть роль к его собственной актерской личности, мы говорим:

— Он слился с этой ролью.

Но это имеет не тот смысл, что человек нарочно сузил себе плечи, чтобы влезть в готовый сюртук. Это имеет тот смысл, что он хорошо перешел сюртук по своему росту. Если при работе пришлось одну пуговицу прибавить или убавить — это пустяки. Лишь бы сюртук, в конце концов, сидел хорошо — и победителей не судят.

После всего этого — что же автор пьесы за «хозяин»? Он — простой сотрудник. Он делает половину работы: приспособляет сюжет для сцены.

Но вторая половина дела — приспособление ролей к исполнителям — не менее важна. Актеры столько же ответственны за пьесу, сколько и автор, а ответственностью и определяется хозяин.

Все страшные словеса:

— Отсебятина...

— Неуважение к тексту великого писателя...

Все это пустые жупелы. Все это нехорошо, когда не умно, не талантливо и не искренно. И все это хорошо, если удачно.

Altalena

Одесские новости. 19.12.1901



Вскользь

О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

Особое мнение

Случай, о котором не считаю уместным говорить печатно, побуждает меня поделиться с читателем некоторыми соображениями относительно литературной критики, т.е. критики беллетристических произведений.

Эта критика представляется мне, по нашему времени, бесполезным пережитком. И, кроме того, я считаю ее даже вредной, так как теперешнее обилие критических статей только сбивает публику с толку, не давая ей понять, как именно должна она относиться к беллетристическим произведениям и чего именно, по естественному смыслу нашего времени, должна в них искать.

Литературно-критические статьи пишутся по такому рецепту: критик, прочтя книгу беллетристического содержания, сокращенно излагает это содержание, констатирует, что в книге «затронуты» такие-то вопросы или такие-то идеи, и затем развивает или опровергает эти идеи.

В течение многих лет такой рецепт был вполне естественным порождением всего духа того времени. Поэтому тогда

такие критические статьи по поводу каждого явления беллетристической литературы были естественно необходимы и очень полезны.

Объяснюсь.

То время было временем выработки новых общественных взглядов. В то время интеллигенция придерживалась многих старых мнений, которые, ввиду изменившихся условий, уже успели сделаться предрассудками.

Эпоха требовала идей. И идеи налетели целым поветрием.

Разум логически сомневающейся личности занял первый план на духовной сцене той эпохи. Всюду — куда ни обернись — где только была интеллигенция, всюду что-нибудь доказывалось и опровергалось, всюду провозглашалась какая-нибудь новая мысль. Потому что новых мыслей и вообще мыслей требовала сама жизнь.

Необходимо было доказать, что не внешнее величие, а благоденствие народных масс должно быть главной заботой государства.

Что женщина равноправна мужчине.

Что воспитание должно стремиться к тому, чтобы выработать в ребенке его собственный характер, а не к тому, чтобы приучить человека плясать под чужую дудку.

И многое другое. Всего этого тогда интеллигенция не знала — или, вернее, только что сама об этом догадалась, потому что новые условия жизни подсказали ей эти мысли.

А жизнь?

Жизнь не двинулась вперед... по независящим от нас обстоятельствам.

Жизнь не подвинулась вперед ни на шаг. Постройка русского общества осталась прежней. Те самые поправки, которые нужны были ей тридцать и сорок лет тому назад, нужны и теперь.

Вот почему наша эпоха не требует новых общественных идей: нужные идеи преподаны нам уже много лет тому назад.

Это очень печально, но это так.

Когда-нибудь русская жизнь шагнет снова вперед, отношения снова перетасуются, тогда потребуются новые идеи, и общество снова закипит рвением идейного мышления.

Но теперь этого рвения нет.

Кому теперь охота — в интеллигентном обществе — ломать копыя из-за женского вопроса? Давно переговорили, ничего нового не скажешь. Добрые люди знают уже *все* доводы за рав-

ноправие женщин и верят в них. Князь Мещерский тоже знает все доводы и не верит в них. Вы ничего уже не поделаете ни с первым, ни со вторым.

Значит, нечего и горячиться.

Мы теперь знаем наизусть все идеи, нужные для починки нашей эпохи; для нас спорить об этих идеях есть такая же наивность, как, например, горячиться в защиту того, что лучше писать по-русски без *еров*.

Мы теперь только стараемся повторять безустанно и упорно эти ставшие азбучными истины для того, чтобы услышали их те, от кого зависит их проведение в жизнь.

Но для нас эти идеи больше не представляют никакого интереса.

И теперь явления жизни уже не могут вызвать в нас таких взрывов мышления, как во дни оны.

Мы уже не увлекаемся мышлением.

Мы смотрим на закрытый для женщин университет и вяло констатируем по себе:

— Вот ошибка против идеи равноправия женщин.

И если тут же какой-нибудь новичок бросится с жаром доказывать нам, что женщина имеет право на образование, нам станет неловко:

— Из-за чего он беснуется? Слыхали! Знаем без него!

А если жизнь не будит в нас мышления, то не может будить его и беллетристика, изображающая эту самую старую жизнь.

Во дни оны человек, читая роман, то и дело невольно задумывался над тем, что ему приводили на мысль изложенные в романе факты.

Теперь этого нет. Я утверждаю, что никто из интеллигенции теперь абсолютно не в состоянии предаться мышлению по поводу прочтенного романа или прослушанной драмы.

Самое большое — если он знает со слов критиков, что чтение должно наводить на мысли, самое большое — это если он будет в некоторых местах нарочито шептать себе:

— Это место наводит меня на такую-то идею. Ах, какая верная идея.

И даже без восклицательного знака. Поэтому критическая статья, помогавшая мыслить по поводу беллетристики в то время, когда людям естественно хотелось мыслить по поводу беллетристики, никому и ни на что не нужна теперь, когда по поводу беллетристики мыслить уже фактически и естественно невозможно.

Оттого критика беллетристических произведений теперь не нужна.

И оттого на том поприще, где некогда работали художники — Белинский, Добролюбов, Писарев, теперь подвизаются — господа, боже ты мой! — г-да Скабичевский и Буренин.



Это — насчет полной бесполезности и ненужности в наше время литературной критики. А теперь упомянем и о ее вреде.

Потому что она, когда-то бывшая очень полезной, в наше время вредна. И вот почему.

Множество накопившихся, но не проведенных в жизнь идей сделали нас людьми дряблыми, не дельными, полуверящими, оглядчивыми и во всех смыслах дешевыми.

Мы приучились ни к чему страстно не стремиться. Мы потеряли страстность. Мы разучились чувствовать целой душой и возжелеть в целую душу.

Надо научить нас этому.

Вот что инстинктивно поняла уже русская изящная литература. В ней возникла школа «настроения», на одном полюсе которой Чехов, рисуя действительность, вызывает в нас тоску по иной жизни, а на другом полюсе Горький своей ярко раскрашенной ложью об иных людях тоже заставляет нас желать, чтобы эта ложь стала действительностью. Чтобы мы из сереньких и дряблых стали яркими и сильными.

Эта литература вселяет в нас не идею, а настроение, т.е. не головной постулат, а неясное, но сильное влечение, стремление *всей души* в ту лучшую сторону.

Это нам и нужно! Нужно стремление и влечение цельной нефилософствующей души, а не умственные доводы на тему о том, что по таким-то и таким-то причинам такая-то жизнь лучше такой-то.

Философствовать мы умеем — и ничего из этого не вышло. Мы должны вновь научиться желать.

И именно этого возбуждения желаний и порывов должны мы искать в сегодняшней литературе, потому что возрождение способности желать есть главнейшая задача нашего времени.

Критики же точно хотят помешать этому возрождению. К Чехову и Горькому они пристегивают, по старому шаблону, то же мудрствование, которое сделало из нас куцых гамлетов и от которого нам надо спастись в литературе наития и импульса.

Вот чем критики сбивают публику с толку. Они говорят ей:

— Ищи у Чехова идей.

Когда на самом деле они должны были бы говорить:

— Зажмурь глаза ума и отдайся Чехову, как музыке. Он научит тебя желать.

Дела критики непоправимы. Если бы критики вдруг пожелали реформировать себя на новый лад и вместо того, чтобы по-прежнему разъяснять идею произведения, принялись бы разъяснять его настроение, они навредили бы еще больше, потому что настроение от анализа вянет и улетает.

В свое время критика сделала великое дело. Теперь, во имя своего достоинства, она должна замолчать — до тех пор, пока не наступят лучшие времена.

Altalena

Одесские новости. 20.12.1901



Вскользь

И то утешительно, что управление учебного округа хлопотало об открытии в Одессе высших женских курсов.

Трудно себе представить, кто бы мог отрицать то, что нужна в таком учреждении сильно дает себя знать в Одессе.

С одной стороны, наплыв женщин на общеобразовательные лекции, читаемые при нашем университете.

С другой — то солидное количество одесситок и вообще девушек из одесского учебного района, которое каждую осень разъезжается в вагонах третьего класса по разным заграничным университетам.

У меня нет никаких данных, чтобы даже приблизительно представить себе число девушек из Новороссии, учащихся в иностранных университетах. Но если бы мне кто-нибудь поручился за очень высокую цифру, я бы не удивился: это было бы возможно и вполне вероятно.

А на каждую девушку, уехавшую учиться за границу, приходится, наверное, по десятку (если не больше) таких девушек, которые страстно хотели бы, но не могут последовать их примеру.

О! Проектировавшимся одесским курсам можно было бы смело гарантировать не только полный комплект слушательниц, но еще и длинный хвост неудачниц, для которых не окажется «вакансий».

В делах этого рода наличность нужды должна решать все. Побочным рассуждениям не должно быть места. И мне кажется очень смешным, что до сих пор идут еще прения на тему: способна или неспособна женщина к «мужской» науке.

Легко специалисту написать три тома в доказательство того, что мозг женщины доказывает ее *неспособность* к наукам.

Так же легко написать три тома в доказательство того, что мозг женщины доказывает ее *способность* к занятию науками.

Еще легче провозгласить, что наука отвлекает женщину от материнства и убивает в ней женственность.

И еще легче — опровергнуть сие и доказать обратное — что наука «отнюдь» не отвлекает женщин от материнства и «отнюдь» не лишает их женственности.

Все это очень легко — и вряд ли очень важно.

Важно то, что женщина *хочет* учиться.

Способна ли она, как равная, соперничать в этом с мужчиной — никто не знает.

Может быть, способна: пусть сама докажет это.

Может быть, неспособна: пусть сама убедится в этом.

Дайте ей *на опыте* доказать нам, что и ученая она останется матерью и не обрстет бородой, или же *на опыте* увидеть, что наука несовместима с женственностью и материнством.

Спором а priori¹ можно все «доказать» — и оттого именно спор а priori никогда ничего не доказывает, ни одного жаждущего не убеждает и не насыщает.



Все вы, конечно, слышали о том, как бедствуют русские студенты — без различия пола. Но с уверенностью можно сказать, что студенты и студентки из России за границей бедствуют еще больше.

Там нельзя достать ни уроков, ни переписки, ни даже места приказчика или хотя бы театрального статиста.

Барышня, скопив уроками в России несколько сотен (вы представляете себе, как это легко при плате 33 коп. в час?), только на эти деньги и рассчитывает, пускаясь в это смелое путешествие в негостеприимную чужбину.

И если хотите знать, как она там живет, то вот вам одно воспоминание.

¹ Независимо от опыта (*лат.*).

В бернской колонии была вечеринка.

Приезжий господин сидел во главе стола, студентки и студенты смотрели ему в рот; он говорил, а те подавали реплики.

Я же попросил у буфетной барышни франкфуртскую сосиску, обложил хреном и начал есть.

Возле меня сидела молоденькая, едва ли 22-летняя студенточка.

Вдруг она обернулась ко мне и тихо, но развязно сказала:

— А дайте-ка попробовать, вкусная ли у вас сосиска. Так, из любопытства.

Трудно было бы мне передать, что я почувствовал от этих простых слов и от этого горько-развязного тона. Видите ли, мы рано из книг знакомимся и с голодом, и с прочими ужасами жизни, но это не есть знакомство. Когда мы воистину, лицом к лицу, в действительной жизни встречаемся впервые с каким-нибудь из этих ужасов, он все-таки производит на нас совершенно новое, неслыханное, потрясающее, с толку сбивающее впечатление.

Я страшно растерялся. До того растерялся, что мои губы глупо сложились в кривую улыбку и пробормотали бестактную фразу:

— Ага, из любопытства!

— Это уж не ваше дело, — сказала она, положила кусочек сосиски себе в рот и пересела дальше...

Я этого случая никогда не забуду — и вам не советую забывать.

И, кроме того, нельзя забывать и о гонениях, воздвигаемых туземцами на студентов из России.

Если от этих гонений страдают студенты-мужчины, то вообразите, каково приходится женщинам.

Каково девушке видеть, что ею гнушаются, что ей не верят, что ее презирают, слышать, как на нее клеветают — неопровержимо, потому что за спиной — грязнейшими клеветами, на какие только способна слонная железа немецкого мещанина...



Еще несколько слов по поводу тех же гонений.

Я хочу здесь ответить на одно письмо из Херсона: во-первых, потому, что автор очень неразборчиво подписал свою фамилию, во-вторых, потому, что одна фраза этого письма очень типична.

Вот она:

— Неужели же ехать за границу в худшие политехникумы и университеты *только* (!) потому, что там, где лучшие политехникумы и университеты, там твоя гордость страдает?

Мне кажется, что на этот вопрос можно ответить очень кратко.

— Это дело вашего вкуса. И не поздравляю вас с таким отношением к вашей собственной гордости.

Altalena

Одесские новости. 21.12.1901



Вскользь

Культ писателей — это такая вещь, которой сразу не поймешь. Во-первых, не поймешь, что это собственно за штука, а во-вторых — как надо к ней относиться — с одобрением или порицанием.

Но мне кажется, что если дать себе ясный отчет в первом, т.е. в значении понятия «культ», то станет до очевидности понятным и второе — какими глазами смотреть на него.

Культом когда-то называлось религиозное поклонение или почитание какого-нибудь божества. Теперь, конечно, это слово получило значение уже не религиозного, а духовного поклонения или, скорее, преклонения.

И яркий пример истинного писательского культа вижу я в следующем, вряд ли единичном случае, который мне сообщило недавно одно весьма интеллигентное и достойного всякого доверия лицо.

Между некоей девицей и неким студентом (было это не в Одессе) возник очень серьезный спор о том, обязан ли студент жениться на девице или не обязан. Студент говорил, что нет. Девица говорила, что да.

Знакомые предлагали студенту третейский суд — он наотрез отказывался.

Тогда кто-то спросил:

— А не согласитесь ли вы представить все это на суд Н.К. Михайловскому?

Студент согласился и обещал подчиниться решению этого судьи, которого, вероятно, в жизни в глаза не видал.

«Дело» изложили на бумаге — под редакцией студента, — переписали начисто и отправили в Петербург г-ну Михайловскому.

Через некоторое время получился мотивированный ответ. Судья пришел к выводу, что девица в своих требованиях права.

И студент женился на ней. Воображаю, как они теперь счастливы.

Но дело не в том: этот случай все-таки остается прекрасным примером истинного духовного культа писателя. И такой культ, несомненно, представляет то, что по газетному словарю называется отрадным явлением.

Но какой же это культ? Духовный. Ду-хов-ный. Ду-хов-ный?!

Если же за человеком бегают целой гурьбой по фойе театра, не дают прохода на улице и повсюду отравляют жизнь упрямым взглядением, это уже не духовный культ, а басня Крылова:

— По улицам слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что слоны в диковинку у нас —
Так за слонем толпы зевак ходили.

Эти две стороны строго надо различать в российском культе писателей. Где кончается духовный культ, приносящий умному писателю и радость, и честь, и где начинается физическое глазение зевак, приравнивающее умного писателя к слону и потому действующее ему на желчь.

Человеческое глазение невыносимо. Или, скорее, как кому. Красавице оно приятно. Писателю оно тошно.

И это вполне естественно. Умному, но тщеславному человеку приятно, чтобы человеческое внимание обращалось на то именно, что у него есть поистине выдающегося.

Н.К. Михайловский проявил в своих сочинениях выдающуюся чуткость и справедливость — и ему, верно, было очень приятно, когда чужие люди приглашением в третейские судьи доказали ему, насколько они оценили в нем *эти* качества. Потому что люди обратили внимание как раз на то, что составляет его, Михайловского, красоту.

М. Горький в самом начале своей писательской карьеры тоже, вероятно, радовался, встречая в печати приветствия новому таланту. Талант — это красота Горького, и не могло быть ему неприятно, когда люди любовались на эту его красоту.

У красавицы-женщины красота другая — ее внешность. И оттого красавице, даже не тщеславной, а просто здоровой и не испорченной жеманностью, приятно, чтобы люди любовались ее внешностью — конечно, если они любят ее не грубо и не грязно.

Но смешивать всего этого нельзя. Пялить глаза на *внешность* Михайловского или Горького за то только, что их красота — в таланте, это так же нелепо, как показывать повсюду письма красавицы и вопить:

— Прочтите! Это сама такая-то написала!

Вы читаете: «Прошу передать подателю сего известные вам выкройки».

— Что же тут замечательного?

— Она, она писала!

Если бы красавица, с записками которой так бы поступали, была рассудительна, ей бы стало неловко:

— В моих записках нет ничего замечательного — зачем же выставлять их всем напоказ?!

То же самое должен чувствовать писатель, на которого глазают.

— Помилуйте! — может он сказать, — если вы вперяете умственные очи в мои умственные качества, выраженные в моих книгах, это мне невыразимо приятно, потому что вся надежда моей жизни — в сочувствии серьезной публики моему таланту. Но если вы пялите глаза мне в лицо, то это мне невыразимо неприятно, потому что в моем лице нет ничего, оправдывающего особое внимание, и еще потому, что я вовсе не выставлял вам своего лица на суд и одобрение...

Это мне кажется такой простой истиной: когда внимание людей направляется на объект, сознающий себя недостойным его, объекту это ужасно неприятно.

М. Горький не считает свою внешность достойной такого стадного человеческого внимания, каким его окружили и окружают. И потому в своей нашумевшей речи по адресу московских зевак он был, по-моему, прав, прав и прав от первого слова до последнего.

Любуйтесь книгами Горького — но тело Горького оставьте в покое.

Конечно, у любопытства есть свои права. Интересно поглазеть на Вандербильта:

— Какой вид у человека, у которого столько денег?

И на г-на Горького:

— Что за физиономия у человека, который так хорошо пишет?

Но у благовоспитанности тоже есть свои права. А благовоспитанность требует, чтобы вы не давали человеку заметить, что вы на него глазеете.

Этого правила мы не соблюдаем не только по отношению к Горькому, но и по отношению к величинам неизмеримо меньшим.

А резюмируя — культ писателей в России разлагается на две составные части: духовный культ и культ глаzenia.

Первый — отличная вещь. Но за второе — pardon¹ — бить и то мало.



Говоря о том, что и г-н М. Горький бывал доволен, встречая признания своего таланта, я не даром сделал оговорку: «В самом начале своей писательской карьеры».

Дело в том, что теперь чуткая душа этого поэта пошла гораздо дальше по пути злобного отношения к «культу». М. Горького возмущают уже, по-видимому, и проявления чисто духовного внимания.

И если вздуматься, то и мы, простые смертные, не столь чуткие и чувствительные, должны будем согласиться с ним.

Возмущает, собственно, не само духовное внимание, но люди, испускающие на писателя это внимание.

Как бы они удивились, если бы с ними завести такой разговор:

— Горького любишь?

— О! Ужасно.

— За что?

— У него все такие сильные люди.

— Так сделайся же и ты сильным! Как тебе не стыдно, любя-то Горького, служить в банкирской конторе и «не рассуждать» перед принципалом?

— Да войди ты в мое положение: у меня невеста, я скоро женюсь — с чего тогда жить будем?

— Брось невесту!

— Ты с ума сошел?! Она умерла бы с горя.

¹ Извините (фр.).

— Значит, ты женишься, дослужишься до старшего бухгалтера и потом умрешь?

— Умру.

— А Горького любишь?

— О! Ужасно.

Люди, конечно, правы, глубоко и «ужасно» правы.

Но прав и писатель. Потому что, *à la longue*¹, до тошноты противно видеть этих господ, которые сами пальцем не шевельнут, чтобы выбиться из сети предрассудков, и в то же время читают и одобряют Горького.

И еще как следят!

Беда какому-нибудь Коновалову сплеховать, отклониться на миг от воли-волюшки в сторону обеспеченных колодок:

— Ай-ай-ай! Фи! Это — совсем не сильный человек. Это — дряблый человек. Это — не Челкаш. Он готов променять свободный голод на сытую службу.

От героя повести Горького они требуют беспредельной смелости. Пусть он семерых одним махом убивает. Пусть он не признает ни привычек, ни удобств. Пусть он топчет на виду у мира все те предрассудки, в которые душа его уже не верит. Тогда они довольны.

А сами обижаются, когда пришел знакомый и сел, не сняв пальто:

— Конечно, это пустяки. Но все-таки, что за такое пренебрежение...

Никогда еще не было так ясно видно, в какой высокой степени жизнь «плевать хочет» на литературу, как теперь — в этом смехотворном поклонении М. Горькому.

P. S. На статью г-на Геккера (ответ на мое «особое мнение» по поводу литературной критики) печатно возражать пока не буду. Во-первых, это не совсем удобно; во-вторых, печатный спор, при котором между ответом и вопросом проходит по 24 часа, если не больше, — вещь очень медленная и никого не удовлетворяющая. Но в один из ближайших четвергов (после Нового года) вопрос о литературной критике будет специально поставлен в литературно-артистическом клубе. Тогда я постараюсь дать посильный ответ и на доводы г-на Геккера.

Altalena

Одесские новости. 24.12.1901

¹ Долгое время (*фр.*).



Вскользь

«РАДИ БОГА!»

Недавно я имел удовольствие «объясняться» с г-дами хористами одесского Городского театра по поводу моей статьи «Ради бога!», напечатанной в этой же рубрике.

Оказалось, прежде всего, что г-да хористы прочли эту статью чересчур уж невнимательно. Им показалось, будто ее значение было такое:

— Ради бога, распустите поскорее наш городской хор!

Это неверно. Значение статьи было такое:

— Ради бога, обучите наш городской хор прилично играть.

Только об этом я хлопотал, и только об этом я готов хлопотать и теперь, потому что, по-моему, городской хор играет неудовлетворительно. И, по-моему, девять десятых публики находят, что он играет неудовлетворительно.

Этим я никого и ни в чем не хочу обвинить. Я даже уверен, что среди наших хористов половина были бы способны вполне прилично сопровождать свое пение жестами и мимикой, если бы это было не в хоре, а solo.

Но хор — другое дело.

Отдельный артист подымает правую руку под углом в 70 градусов — и получается впечатление человека грозящего. Это прекрасно. Но если 25 хористов, все разом, подымают руки на 70 градусов, то выходит танец автоматов из «Коппелии». Это комично.

И так как невозможно сомневаться, что при внимательном отношении этот недостаток очень легко исправить, то невозможно и предполагать, будто в статье «Ради бога!» я умолял не о лучшей муштровке хора, а об окончательном роспуске по домам всех хористов.

Это было бы почти то же самое, как если бы я предлагал уничтожить целый забор из-за того, что на нем мальчишки мелом написали неподходящие слова.

Вот другое дело — если забор непоправимо плох, т.е. если у г-д хористов голоса плохи.

Я лично по этому вопросу ничего не знаю. Не любя вообще хорового пения, решительно не умею сообразить, резал ли мне хор уши своим пением или же нет.

Я в этом полагаюсь на чужие мнения.

С одной стороны — газеты, говорящие, что хор поет скверно. И кое-кто из публики, упорствующий в таком же взгляде.

С другой стороны — резоны г-д хористов, которым я далеко не могу отказать в вескости.

— Газеты? — говорили они мне, — разве можно полагаться на рецензентов? В «[Одесском] листке» пишут, что мужской хор никуда не годится, а женский удовлетворителен. А в «[Одесских] новостях» сказано, что мужской хор еще бы ничего, но женский — ни на что не похож. Нам из этого только одно и можно вывести — что один из двух мало смыслит в музыке. Но кто?

Другие прибавляли:

— Позвольте: после «Лоэнгрин» к нам подошло одно лицо, вообще очень скупое на похвалы, и сказало, что мы в тот вечер пели положительно «отлично». А это лицо уж, наверное, достаточно смыслит в музыке...

Мне назвали это лицо, и, действительно, оказалось, что заподозрить это лицо в непонимании музыки было бы глупее, чем глупо.

— А отчего, — продолжали г-да хористы, — газеты в отчетах о «Лоэнгрине» ни словом не обмолвились о том, что хор пел «отлично»? Рецензенты хотят замечать только наши промахи — как же на них можно полагаться после этого?

— В нашей среде есть люди с музыкальным образованием!

— Несколько голосов в хоре обратили на себя внимание самого Джиральдони!

— Некоторых из нас приглашали из других трупп на гастроли по 100 рублей в месяц!

— Как могут быть у нас плохие голоса, когда хор пополняется со строгого конкурсного экзамена, на который является обыкновенно масса народа?

— Говорят, будто в хоре только новички, а среди нас есть хористы, состоящие на службе по 10—15 лет!

И так далее.

Кто виноват, кто прав — судить не нам.



В двух вещах, однако, г-да хористы, по-моему, безусловно правы.

Первое — это жалоба на резкость тона, которым о них пишут. Каемся: есть тот грех. Если бы у меня было время перечитать теперь статью «Ради бога!», я — ничего не изменяя в ней по существу — может быть, упрекнул бы себя за некоторые выражения. И в том же, положи руку на сердце, сознаются как мои коллеги из нашей газеты, так и мои «конфреры»¹ (похищаю любимый термин литератора ...когого) из других здешних изданий.

Второе — это размеры жалованья, которое платит хористам город. 30—35—40—45—50 рублей в месяц. 50 рублей именно тем лицам, которые уже 10—15 лет служат в городском хоре.

Это — жалкая, мизерная плата, сказочно жалкая, баснословно и фактически мизерная плата для такого города и такого театра.

Тут, правда, есть какая-то сложная комбинация: это жалованье г-да хористы получают в продолжение 10 месяцев, а сами заняты только 3 месяца — но, с другой стороны, и в свободное время им часто не разрешают ездить на выгодные гастроли... и т.д.

Во всем этом ваш покорнейший слуга путается. В «городовых» бюджетных вопросах я не умею разбираться. Но в вопросах городского достоинства — умею.

Для достоинства города, в котором публика так относится к опере, как у нас, 50-рублевый максимум для жалованья хористов — срам, несомненный и большой срам.

С этой точки зрения я готов был бы оправдать и скверные голоса, и фальшивое пение: за 40 рублей ничего лучшего не полагается. Если бы я был хористом и если бы мне платили по 40 рублей, я бы — честное слово — нарочно пакостил.

Ибо, когда с одной стороны имеется прижимка, тогда с другой нет ничего неуместнее добросовестности.

Altalena

Одесские новости. 29.12.1901

¹ От: confrère: собрат, коллега (фр.).



Вскользь

Открытое письмо

Госпожа!

Я не вижу ни странного, ни тем более смешного во всем том, что вы мне пишете.

Напротив, ваше письмо звучит для меня повторением не только того, что мне уже говорили многие, но и того, что говорит мне часто моя собственная душа.

Именно потому, что ваше горе — общее горе, я позволяю себе ответить на ваше письмо печатно.

«Ответить» — собственно, это будет не ответ, если под ответом на вопрос понимать решение задачи, заключающейся в вопросе.

Я не знаю решения вашей задачи. Я не вижу пути к ее решению — не вижу ни одного человека, кто знал бы этот путь и мог бы указать нам с вами, — и не надеюсь на то, чтобы скоро явился такой человек и такой путь открылся.

Вы пишете:

«...Я испытываю приступы такой страшной тоски, что места не могу найти себе.

...Своей работе я не могу отдаться всей душой так, как бы мне хотелось: она не удовлетворяет меня.

...Оглянешься на себя — такая бездеятельность, такое бессилие!

...И хуже всего то, что какая-то безнадежность охватывает меня: кажется мне, что нет *дела*, нет *работы*, нет *слов*, *человека*, которые увлекли бы меня всецело, захватываяще, так, чтобы я обо всем на свете забыла... Тоска, скука!»

Много же вы захотели!..

Видите ли, я вас не знаю. Может быть, это неприятное состояние вытекает из глубоких свойств вашей души. Может быть, оно возникло на днях, случайно, потому, что вы прочли такую книжку или в вашей жизни приключился такой оборот; и когда прочтенное или пережитое забудется, тогда вы успокоитесь и опять начнете жить да поживать.

Может быть, наконец (не хочу вас обидеть и не верю в это, но отмечаю так, для порядка), может быть, наконец, вы меня мистифицируете, вы вовсе не хандрите и даже вовсе вы не госпо-

жа, а господин, какой-нибудь мой остроумный благоприятель. Бывало.

Но это все равно. Я думаю, что под вашим письмом могли бы подписаться сотни, тысячи и больше людей. Ваша личность, какова бы она ни была, отступает для меня на второй план, горе, изложенное в вашем письме, — на первый.

По-моему, нет этому горю лекарства.

Вы очень удачно классифицируете то, что мучительно недостает тоскующим людям: дела — работы — слов — человека.

Дело... Какое дело можно с чистой совестью присоветовать тоскующему человеку?

Маленькое полезное дело есть у вас и без наших советов, и от него-то вам и тошно. А большого дела я бы вам не захотел присоветовать, даже если бы и знал, где оно, в чем оно и что ему за цена.

Работа? Процесс работы — второстепенная вещь. Нельзя рассуждать так: работа утомляет, утомленный человек спешит выпасться — и для тоски не остается времени. Это неправда — для тоски всегда остается время.

Надо, чтобы цель работы удовлетворяла, иначе это будет то пересыпание песка из одной кучи в другую и потом назад, от которого даже каторжники сходят с ума.

Взятое сама по себе, что такое для души человека — работа? Даже водка действует лучше нее — водка дает забвение, которого не может дать работа.

А хорошая, увлекательная цель работы — это есть опять-таки «дело» — то «дело», которого мы с вами не умеем найти.

Слова?.. Много мы слышали на веку нашем слов. Вы, может быть, очень молоды, но и вы, несомненно, слышали много слов, много искренних и хороших слов и идей.

Грош им цена.

Мы живем в такие времена, когда сердце ничего не жаждет, кроме того чтоб научиться чего-нибудь жаждать. И поэтому никакие слова, кроме слов тоски, в такое время не могут войти как родные в человеческое сердце, кроме слов тоски и разных вариантов одной старой фразы, которую я нахожу в вашем письме:

— Чего-то хочется мне, есть какое-то неясное стремление к чему-то, чего не знаю...

Много народу ждет теперь пророка, чтобы он пришел и сказал новые слова. Он может прийти и сказать новые слова — это легко.

Но чтобы мы ему горячо и плодотворно поверили — это не легко. — Ты, Господи Боже, молчаливый и загадочный. Ты вели, как это не легко!

Наконец, «человек», — пишете вы. Нет человека, который мог бы увлечь.

Это я считаю главным пунктом. Найти живого человека — это куда важнее, чем найти дело, работу и слова. Может быть, и дело, и работа, и слова через любовь живого человека, точно через музыку, окрасились бы для вас иными, яркими, манящими, обольщающими цветами.

Позвольте мне повторить то, что я однажды написал на этих самых столбцах о значении личного счастья. В нем все: «и причина, и цель, и лозунг, и девиз».

«Как цветы блестят пышнее, выпив капельку росы, так оно дает идее силу страсти и красы. Крепче камни бьет рабочий, стойче воины в борьбе, раз им памятно, что к ночи ждут их милые к себе...»

Но ведь это так только в стихах сочиняется. Потому что вся задача в том, чтоб полюбить именно живого человека — такого, чтобы он был вроде короля Лира, «человек от головы до ног».

Ищите ветра в чистом поле! Нет такого человека.

И если вы самого настоящего великого человека рассмотрите близко, то вы увидите, что и он не такой, которым бы стоило увлечься. У него найдутся домашние слабости, которые будут смешить вас больше, чем будут восхищать вас все его общественные великие подвиги.

На великое следует смотреть только издали, а увлечение жаждет приблизиться. Поэтому, чем бы вы ни увлекались, оно снова неминуемо падет в ваших глазах, оттого что слишком приблизится...

Надо успокоиться, госпожа. *Жить* мы с вами и с нам подобными не будем, это решено. И нужно поступить, как все — устроить поддельную жизнь.

Не будем требовательны. Вы ведь остаетесь в «восторге» от оперы, хотя, собственно, только два-три исполнителя не резали вам слуха? Относитесь так же и к вашей жизни.

Отдавайте умеренное поддельное усердие поддельному делу, принимайте к сведению поддельные слова и будьте ласковы с поддельным человеком, игнорируя те случаи, когда он скажет вам глупость или пошлость.

Да вы, несомненно, так и поступите, когда пробежит у вас теперешняя минута. Заживете отличными суррогатами жизни и проживете, дай вам небо мафусаилов век, безо всякой глупой разочарованности, а просто с пониманием дела.

Где будет весело, веселитесь; если будет не очень весело, вы только притворитесь перед собой, что вам очень весело, — и все обойдется прекрасно.

И я, ваш покорный слуга, намерен действовать по этому же рецепту.

Altalena

Одесские новости. 30.12.1901

ПРИМЕЧАНИЯ

ИЗ ДЕТСКОГО МИРА. Педагогическая заметка

Первая опубликованная в прессе статья Жаботинского.

С. 29. Корпус — закрытое среднее воен.-учеб. заведение для мальчиков в дореволюц. России.

«Южное обозрение» (Одесса, 1896 — 1906) — полит., науч., лит., торг.-пром. и финанс. ежедневная газета.

ЭДГАР АЛЛАН ПО

С. 30. По (Эдгар Аллан; 1809 — 1849) — амер. писатель-романтик, лит. критик.

Балтимор — город в штате Мэриленд, место смерти Э. По.

Жюль Верн (1828 — 1905) — фр. писатель, один из создателей жанра науч.-фантастич. романа.

Мавро (Мавр) Иокай (1825 — 1904) — венгер. романист.

«Приключения Ганса Пфаля» (1835) — науч.-фантастич. рассказ Э. По.

«Низвержение в Мальстрем» (1841) — науч.-фантастич. рассказ Э. По.

«Рукопись, найденная в бутылке» (1833) — рассказ Э. По.

«Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» (1838) — науч.-фантастич. рассказ Э. По.

С. 31. «Вий» (1935) — рассказ Н.В. Гоголя.

«Стуртографу» (Криптография; 1840) — статья Э. По.

«Graham's Magazine» (1841 — 1842) — журнал, который редактировал Э. По.

Диккенс (Чарльз; 1812 — 1870) — англ. писатель-романист.

«Барнаби Редж» (1841) — роман Ч. Диккенса.

Ингрэм (Джон) — биограф и исследователь творчества Э. По.

«Философия творчества» — статья Э. По, опубликованная в «Graham's Magazine» (1846).

С. 32. Дюма-отец (Александр; 1802 — 1870) — фр. писатель-романист, драматург.

Эмар (Густав; 1818 — 1883) — фр. писатель, автор многочисл. приключенч. романов.

Беранже (Пьер Жан; 1780 — 1857) — фр. поэт.

С. 34. Крэбб (Джордж; 1754 — 1832) — англ. поэт.

Мильтон (Джон; 1608 — 1674) — англ. поэт, автор поэмы «Потерянный рай» (1667).

Фет (Афанасий Афанасьевич; 1820 — 1892) — рус. поэт, переводчик.

ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛЛЕТРИСТОВ НА ВОСПИТАНИЕ

С. 35. Гарин (Гарин-Михайловский Николай Георгиевич; 1852 — 1906) — рус. писатель, публицист.

«Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1895) — повести Н.Г. Гарина-Михайловского.

- С. 36.** Тимковский (Николай Иванович; 1863 – 1922) — рус. прозаик, драматург.
«Русск[ая] м[ысль]» (М., 1880 – 1918) — ежемесяч. науч., лит. и полит. журнал.
Макиавелли (Никколо; 1469 – 1527) — итал. мыслитель, полит. деятель.
- С. 37.** «Русск[ое] бог[атство]» (СПб., 1876 – 1918) — ежемесяч. лит., науч. и полит. журнал.
«То было раннею весной» — повесть А.Р. Крандиевской (1865 – 1938).

АРИЭЛЬ И ТАМАРА. *Сказка*

- С. 38.** Соломон — царь Израильско-Иудейского гос-ва (965 – 928 до н.э.).
- С. 39.** Идумея (страна Эдомская) — древняя страна в Передней Азии, была расположена между Мертвым морем и заливом Акаба.
- С. 41.** Псалмопевец — Давид, отец Соломона, царь Израильско-Иудейского гос-ва (ок. 1010 – 970 до н.э.); считается автором библ. Книги Псалмов.
«Песнь Песней» — библ. книга любовной лирики; традиция приписывает ее авторство Соломону.

АЛЬ-ДЖАНЕСКО. *Цыганская легенда*

- С. 43.** Гитаны — испан. цыгане.
Мансанарес — река, протекающая через Мадрид.

МЬШОНОК. *Из действительной жизни*

- С. 48.** Виль-Эрст — город в Швейцарии, округ Санкт-Галлен.
- С. 51.** «Одесские новости» (Одесса, 1884 – 1920) — обществ.-полит., лит., науч. и коммерч. ежедневная газета. Жаботинский был зарубеж. кор., чл. редколлегии и ведущим фельетонистом этого издания.

ИЗ ШВЕЙЦАРИИ. Открытие национального музея

- С. 52.** Герольд — глашатай, вестник, распорядитель на рыцарских турнирах.
Цуг (нем. Zug) — шествие.
Оберланд — центр. часть Швейцарии.
Ретророманцы — народность, живущая в Швейцарии.
Граубинден — кантон в швейц. Альпах.
Цвингли (Ульрих; 1484 – 1531) — швейц. гуманист и реформатор.
Роба — верх. муж. одежда в Италии 16 в.
Фижмы — юбка на китовом усе.
Брыжи — воротник или выпуск на груди в виде оборок.
- С. 53.** Унтервальден — один из старейших швейц. кантонов.
Дионисий — в греч. мифологии бог виноделия.
Шафгаузен — самый сев. кантон Швейцарии, расположен в долине Рейна.

ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

- С. 53.** Confoederatio Helvetica — Швейцарская Конфедерация.
Аара — река, приток Рейна.
Бундесрат — федеральный совет.
Гросрат — парламент.

БЕРГЛИ. *Оберландская легенда*

- С. 55.** Бернский Оберланд — центр. часть Швейцарии к югу от Берна.
Тунское озеро (озеро Тун) — находится в Бернском Оберланде.
Низен, Эйгер, Монах, Юнгфрау — горы кантона Берн.

С. 58. Капеллан (в римско-католич. и в англиканской церкви) — священник при часовне, а также помощник приходского священника.

С. 60. Гриназее (Грюнзее) — озеро в швейц. Альпах.
Финстерааргорн (Финстерахорн) — гора в кантоне Берн.

НОРТИ. *Этюг*

С. 60. Тванн — город в центр. Швейцарии.

Биль — город в кантоне Берн, где проходит языковая граница между франко- и немецкоговорящей частями Швейцарии.

Неввиль (Ла-Неввиль) — коммуна, окружной центр в кантоне Берн.
Невшателец — житель кантона Невшатель во франкоговорящей части Швейцарии.

С. 61. Остров Св. Петра — расположен в юж. части Бильского оз.

Жан Жак (Руссо; 1712 — 1778) — фр. философ, писатель, уроженец Женевы.

Лигерц — коммуна в кантоне Берн.

ВО ДВОРЦЕ БОГДЫХАНА

С. 63. Богдыхан — (от монг. богдохан — священный государь) — термин, которым в рус. грамотах 16 — 17 вв. называли императоров Китая.

ЭДЕЛЬВЕЙС. *Оберландская легенда*

С. 66. Лаутербруннен — коммуна в кантоне Берн.

Штауббах — водопад в кантоне Берн.

С. 67. Юнгфрау — гора в кантоне Берн.

Тун — город в кантоне Берн.

Морéна — ледниковые отложения.

С. 69. Бернский Оберланд — см. примеч. к с. 55.

Арбалет — усовершенств. лук, самострел.

ВСТРЕЧА С ЛУКЕНИ. *Письмо в редакцию*

С. 71. Лукени (Луиджи; 1873 — 1910) — анархист, убивший (1898) императрицу Елизавету, супругу Франца Иосифа.

Аппенцель — городок полукантона Аппенцель Иннерроден в вост. Швейцарии.

Aarberg (Аарберг) — коммуна в кантоне Берн.

Романский жаргон (романеско) — язык рим. простонародья.

Рарре (раппе) — мелкая монета, швейц. сантим.

С. 72. Ломбардец — житель Ломбардии, адм. р-на Сев. Италии между Альпами и долиной реки По; гл. город Милан.

Беллинцона — гл. город кантона Тичино на юге Швейцарии.

Карно (Мари Франсуа Сади; 1837 — 1894) — фр. инженер, политик, президент Франции (1887 — 1894); убит итал. анархистом Санте Ка-зерио.

Кур — столица кантона Граубюнден в Швейцарии.

Карл Моор (1852 — 1932) — швейц. социал-демократ, марксист.

Ломбардские беспорядки — волнения в Милане, связанные с неуро-жаем и высокими ценами на хлеб (май 1898).

ВО СЛАВУ НАУКИ. *Этюг*

С. 75. «Одесский листок» (Одесса, 1873 — 1917) — обществ.-полит., лит. и коммерч. ежедневная газета.

С ДОРОГИ

С. 76. Офен — нем. назв. Буды, которая составляет вместе с Пештом единый адм. центр Будапешт.

Мункачи (Михай; 1844 — 1900) — венгер. художник, один из лидеров романтизма в нац. живописи.

Хоц (Кароль Лотц; 1833 — 1904) — художник венгер. академич. школы, много работавший в жанре фресковой живописи.

С. 77. Фиуме (Риека) — портовый и турист. город на берегу Риекского (Фиумского) залива Адриатич. моря; до Первой мировой войны принадлежал Австро-Венгрии, с 1991 — Хорватии.

Франц Иосиф (1830 — 1916) — император Австрии (с 1867 — Австро-Венгрии).

Покойная императрица — Елизавета (см. примеч. к с. 71).

Шиллер (Иоганн Кристофор Фридрих; 1759 — 1805) — нем. поэт, драматург и теоретик иск-ва.

Гете (Иоганн Вольфганг; 1749 — 1832) — нем. писатель, основоположник нем. лит-ры нового времени.

Бескилы — горный массив на севере Венгрии.

Дьекеньеш — город на юге Венгрии.

Драва — правый приток Дуная.

С. 78. Банфи (Дежё; 1843 — 1911) — премьер-министр Венгрии (1895 — 1899).

Крейцер — австр. медная монета.

Аббация — курорт на Адриатич. побережье.

Истрия — полуостров на западе Хорватии.

Триест — итал. город на границе со Словенией.

С. 79. Corso (Via del Corso) — гл. улица, проспект (*итал.*).

Дерибасовская — гл. улица Одессы.

РИМ

С. 80. Палаццо Корсини — рим. дворец на Трастевринской стороне (см. примеч. к с. 88).

С. 81. Баччелли (Гвидо; 1832 — 1916) — итал. врач и обществ. деятель.

Ara Coeli (букв. «небесный алтарь») — церковь на Капитолийском холме (Santa Maria in Ara Coeli).

Джованьоли (Раффаэлло; 1838 — 1915) — итал. писатель, автор ист. романа «Спартак» (1874).

С. 82. Процесс Золя — судебное преследование Э. Золя за публикацию памфлета в защиту А. Дрейфуса «Я обвиняю» (1898).

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 82. Криспи (Франческо; 1819 — 1901) — гос. деятель, адвокат; премьер-министр Италии (1887 — 1891, 1893 — 1896).

Сади Карно — см. примеч. к с. 72.

С. 83. «Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней» — строки из стихотворения «Вечерняя заря» А.И. Полежаева (1804 — 1838).

Альфред Дрейфус (1859 — 1935) — офицер фр. генштаба, ложно обвиненный в шпионаже. Антисемитская направленность дела Дрейфуса расколола общество Франции и др. европ. стран на два непримиримых лагеря.

- С. 84.** Пикар (Мари-Жорж; 1854 – 1914) — начальник разведыват. бюро фр. генштаба (с 1896), потребовавший пересмотра дела Дрейфуса. Шерер-Кестнер (Огюст; 1838 – 1892) — фр. полит. деятель, вице-председатель сената, выступавший за пересмотр обвинит. заключения по делу Дрейфуса.
 Жорес (Жан; 1859 – 1914) — фр. социалист, выступавший за пересмотр дела Дрейфуса.
 Трарье (Луи; 1840 – 1906) — фр. адвокат, требовавший пересмотреть дело Дрейфуса.
 Леблуа (Луи; 1854 – 1927) — адвокат, друг М.-Ж. Пикара; участвовал в защите Дрейфуса.
 Пеллье (Жорж-Габриель де; 1842 – 1900) — генерал фр. генштаба, обвинивший Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии.
 Анри (Юбер-Жозеф; 1846 – 1898) — майор, зам. начальника разведыват. бюро фр. генштаба, противник пересмотра дела Дрейфуса.
 Пати дю Клам (дю Пати де Клам Арманда; 1853 – 1916) — полковник фр. генштаба; вел следствие по делу Дрейфуса и был противником его пересмотра.
 Гонз Шарль-Артюр (1838 – 1917) — генерал, помощник начальника фр. генштаба, противник пересмотра дела Дрейфуса.
 Буадефр (Рауль ле Мутон де; 1839 – 1919) — генерал, начальник фр. генштаба, противник пересмотра дела Дрейфуса.
- С. 85.** «Органическая преступность» — понятие, разработанное антропологич. школой уголовного права, возникшей в Италии в 70-х годах 19 в. Согласно этой школе, преступления совершают люди с врожденными преступными наклонностями.

С ДОРОГИ

- С. 86.** Баркарола — песня венециан. лодочника, гондольера.
- С. 87.** «О закрой свои бледные ноги» — монастых Валерия Брюсова (1873 – 1924).
 Азинелли и Garisenda (Гаризенда) — башни, ставшие эмблемой Болоньи; согласно легенде, построены соперничавшими семействами Азинелли и Гаризенди.
- С. 88.** «Ад» — ч. 1-я «Божественной комедии» Данте (1265 – 1321).

ЧОЧАРА. Рассказ

- С. 88.** *...caffè Greco na via Condotti...* — кафе Греко на рим. ул. Кондотти было местом встреч художников, писателей, композиторов со всего мира.
- С. 89.** Piazza di Spagna (*итал.*) — пл. Испании в Риме.
- С. 90.** Трастевринская сторона — рим. заречье, «простонародный» р-н на правом берегу Тибра.
- С. 91.** Сольдо — итал. серебряная монета.
- С. 92.** Via Albani (*итал.*) — ул. Албани в Риме.

РИМ

- С. 93.** Баччелли — см. примеч. к с. 81.
- С. 94.** Гомер (между 12 и 8 вв. до н.э.) — легендарный автор др.-греч. поэм «Илиада» и «Одиссея».

Вергилий (Марон Публий; 70 — 19 до н.э.) — др.-рим. поэт, автор «Энеиды» и один из главных персонажей «Божественной комедии», ведущий Данте по загробному миру.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. У русских художников

С. 95. Братья Сведомские — Александр Александрович Сведомский (1848 — 1911), живописец-пейзажист; Павел Александрович Сведомский (1849 — 1904), ист. живописец; жили в Риме (с 1875).

Панов (Михаил Петрович; 1837 — 1898) — ученик Н.С. Пименова в Императорской Академии художеств; за скульптуру «Фрина перед народным судом» был удостоен звания профессора.

...как в известной картине... — имеется в виду картина фр. художника Ж.Л. Жерома «Фрина перед ареопагом» (1861).

С. 96. Гера — в греч. мифологии богиня, покровительница брака, жена Зевса.

Афродита — в греч. мифологии богиня красоты и любви, покровительница мореплавателей, дочь Зевса.

Фульвия с головой Цицерона — картина П. Сведомского; Фульвия (77 — 40 до н.э.) — жена др.-рим. полководца Марка Антония; Цицерон Марк Тулий (106 — 43 до н.э.) — др.-рим. политик и философ, блестящий оратор.

Сведомский-senior (Александр) — старший из братьев Сведомских.

С. 97. Гаршин (Всеволод Михайлович; 1855 — 1888) — рус. писатель, автор рассказа «Художники» (1879).

Этруски — др. племена, жившие на Апеннинском полуострове в 1-м тысячелетии до н.э.

Ромул и Рем — легендарные основатели Рима.

Джулио Романо (1492 — 1546) — итал. художник, архитектор.

Клюни — Парижский музей средневековья в Латинском квартале.

С. 98. Краснушкина (Екатерина Захаровна; 1858 — после 1914) — рус. художник, училась в классе батальной живописи Петербургской Академии художеств.

Медичи — флорентийский род, игравший важную роль в ср.-век. Италии.

С. 99. Катакомбы di Santa Priscilla (Св. Присциллы) — рим. катакомбы, знаменитые своими фресками.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. Против ножа

С. 100. Театр Costanzi — оперный театр в Риме; построен по проекту архитектора Доменико Костанци (1890).

Piazza di Pietra — пл. Пьетра, недалеко от рим. Пантеона.

С. 101. Раффаэлло Джованьоли — см. примеч. к с. 81.

С. 102. Петрарка (Франческо; 1304 — 1374) — один из величайших поэтов итал. Возрождения.

Rase, rase, rase (итал. мир, мир, мир) — строка из стихотворения Петрарки «Италия моя» (1344 — 1345).

РИМ

С. 103. Ментана — городок севернее Рима, где гарибальдийцы потерпели поражение от папских и фр. войск (1867); на месте боя воздвигнут памятник павшим гарибальдийцам (1877).

Виктор Эммануил II (1820 — 1878) — первый король объединенной Италии (с 1861).

Паписты — адепты Папской обл., теократич. гос-ва во главе с рим. папой, существовавшего в Италии (756 — 1870).

Монторотондо — городок в окрестностях Рима.

«L'inno di Garibaldi» — «Гимн Гарибальди» (итал.).

«Марш Двуглавого орла» («Под двуглавым орлом») — соч. генерал-капельмейстера австр. армии Йозефа Франца Вагнера.

Бовио (Джованни; 1837 — 1903) — итал. юрист, профессор политэкономии, депутат парламента (1879).

C. 104. Porta Pia — старинные гор. ворота Рима.

Майские волнения — см. примеч. к с. 72.

Рудини (Антонио Старрабба; 1839 — 1909) — итал. полит. деятель, возглавлял министерства иностр. и внутр. дел, был премьер-министром.

Regina Coeli (Реджина Чели) — тюрьма на Трастевринской стороне (см. примеч. к с. 90).

C. 105. ...осталась «при пиковом интересе»... — потерпела неудачу, осталась ни с чем.

РИМ

C. 105. Лоренцо Перози (1872 — 1956) — итал. священник, органист, композитор.

Базилика Святых Апостолов — собор возле рим. пл. Венеции.

Театр Костанци — см. примеч. к с. 100.

Лоренцо Стеккетти (1845 — 1916) — итал. поэт.

C. 106. Эдмондо де Амичис (1846 — 1908) — итал. писатель, участник борьбы против австр. владычества, член социалист. партии.

Короленко (Владимир Галактионович; 1853 — 1921) — рус. писатель, публицист, обществ. деятель.

Кардуччи (Джозуэ; 1835 — 1907) — итал. поэт и литературовед.

Каваллотти (Феличе Карло Эммануэле; 1842 — 1898) — итал. поэт и драматург, обществ. деятель, один из руководителей радикально-демокр. партии.

Д'Аннунцио (Габриеле; 1863 — 1938) — итал. писатель, поэт, драматург и полит. деятель; приветствовал фашист. переворот в Италии.

Глеб Иванович Успенский (1843 — 1902) — рус. прозаик и публицист.

...В начале несчастной войны... — имеется в виду Десятилетняя война за независимость Кубы от Испании (1868 — 1878), которая закончилась подписанием мирного соглашения, отменившего наиболее неприятные для кубинцев законодат. акты. 17 лет спустя (1895) на остров высадился отряд партизан во главе с Хосе Марти. Они овладели вост. частью страны и провозгласили Кубинскую республику. Для усмирения повстанцев Испания послала на Кубу 200 тыс. солдат. В США развернулась кампания против испан. жестокостей, особенно усилившаяся после гибели на гаванском рейде амер. броненосца «Maine» (1898). Соединенные Штаты потребовали, чтобы испанцы полностью отказались от Кубы, и приступили к воен. действиям. Испания капитулировала, после чего в конституции Кубы появился пункт о том, что США имеют право размещать на острове свои войска.

Менотти Гарибальди (1840 — 1903) — генерал, депутат парламента, сын Дж. Гарибальди; возглавлял движение за единую Италию, получившее название «ирредента» (Italia irredenta — неосвобожденная Италия).

С. 107. Мак-Кинли (Уильям; 1843–1901) — 25-й президент США (от республик. партии).

ПИСЬМА ИЗ РИМА. У русских художников

С. 107. Риццони (Александр Антонович; 1836–1902) — рус. художник.

С. 108. Степанов (Алексей Степанович; 1858–1923) — рус. художник, академик живописи (1905).

Хронос (Кронос) — в греч. мифологии титан, сын Урана и Геи; осклпив отца, стал верховным богом. Низвергнут сыном Зевсом в бездну.

РИМ

С. 110. «Скрок» (должно быть: «кроки», от *фр.* *croquis*) — момент. набросок (обычно карандашный), схватывающий характерные черты натуры.

Менелик II (1844–1913) — император Эфиопии (с 1889), завершивший процесс создания единого гос-ва.

Вильгельм Оберданк (1858–1882) — студент из Триеста, участник ирреденты (см. примеч. к с. 106); покушался на жизнь императора Франца Иосифа (1882).

РИМ

С. 111. Пеллу (Луиджи; 1839–1924) — итал. генерал и полит. деятель; был воен. министром, министром внутр. дел, премьер-министром (1898–1900).

Умберто I (1844–1900) — король Италии (с 1878).

Палаццо Браски — дворец Браски на пл. Навона; здесь находится (с 1952) Музей истории Рима.

С. 112. «Don Chisciotte» («Дон Кихот») и «L'Asino» («Осёл») — итал. юморист. журналы.

«Агентство Стефани» — итал. телеграф. агентство.

Сара Бернар (1844–1923) — великая фр. актриса.

«La dame aux camélias» («Дама с камелиями»; 1852) — драма, написанная А. Дюма-сыном (1824–1895) по мотивам его одноимен. романа (1848); ее сюжет лег в основу либретто оперы Дж. Верди «Травиата» (1853).

Odeon — один из старейших театров Парижа (с 1782).

Théâtre Français («Театр Франсе», или «Комеди Франсез») — гл. театр Франции (1680).

Ростан (Эдмон; 1868–1918) — фр. поэт, драматург, автор драмы «Орленок» (1900).

Герцог Рейхштадтский — Наполеон II (Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт; 1811–1932), сын Наполеона I и Марии Луизы, дочери австр. императора Франца I.

С. 113. Сарду (Викторьен; 1831–1908) — фр. драматург, написал около 60 пьес.

«Мертвый город» — драма Д'Аннунцио (1898).

«La Gioconda» («Джоконда») — драма Д'Аннунцио (1898).

СВЯТКИ В ИТАЛИИ. «Мео». Старая рождественская сказка

С. 114. Presepio (букв. «ясли», *итал.*) — игрушечный театр с фигурками, воспроизводящими сцену поклонения волхвов, непременный атрибут рождеств. празднеств в Италии.

- C. 116.** Cottio (*итал.*) — традиц. рыбная ярмарка в канун Рождества с участием уличных певцов и музыкантов, сопровождавшаяся шумным весельем.
- C. 118.** Via Sistina — ул. Систина возле пл. Испании в Риме.
Piazza Colonna — пл. Колонна в Риме.
- C. 119.** ...*зажечь серро* — сжигание «рождественского полена» было традиц. частью празднич. ритуала.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. 1898 год

- C. 122.** Национальная выставка в Турине — большая выставка, приуроченная к 50-летию итал. конституции и первой войны за независимость (ноябрь 1898).
- C. 123.** Карл Альберт (1798 — 1849) — король Сардинии (1831 — 1849); ввел умеренно-либеральную конституцию (Альбертинский статут).
Risorgimento (букв. «возрождение», *итал.*) — Рисорджименто, освобождение и объединение Италии (19 в.).
- C. 124.** Лион — город, где в 17 — 18 вв. началось производство фр. шелка, славившегося по всей Европе.
Pensionato Artistico Nazionale — нац. худож. выставка, победители которой получали стипендию для продолжения занятий искусством.
Лоренцо Перози — см. примеч. к с. 105.
Джордано (Умберто; 1867 — 1948) — итал. композитор.
Масканьи (Пьетро; 1863 — 1945) — итал. композитор и дирижер.
Руджеро Бонги (1828 — 1895) — итал. филолог, литератор и политик.
Рафаэль Санцио (1483 — 1520) — итал. художник эпохи Возрождения.
Доницетти (Гаэтано; 1797 — 1848) — итал. композитор.
Бернини (Джованни Лоренцо; 1598 — 1680) — итал. художник и архитектор, создатель стиля барокко в наиболее целостном его выражении.
- C. 125.** Вароссо (букв. «вычурный», *итал.*) — направление в искусстве (конец 16 — середина 18 в.).
Леопарди (Джакомо; 1798 — 1837) — итал. поэт и прозаик.
Чезаре Ломброзо (1835 — 1909) — итал. суд. психиатр и криминалист, основоположник антропологич. направления в уголовном праве.
...*полустолкновение с республикой Колумбией...* — дело о защите имуществ. прав итал. подданного Э. Черрути, которому Колумбия отказалась полностью выплатить компенсацию. После того как итал. флотилия приблизилась к берегам Колумбии, решение было исполнено в полной мере (1898).
...*коммерческий трактат с Францией...* — торговый договор (1898), согласно которому между Италией и Францией был установлен режим наибольшего благоприятствования для обмена любыми товарами (кроме шелковых тканей и скота).
...*участие в успокоении Крита...* — После антитур. восстания греч. населения о-ва Италия совместно с Россией и др. европ. странами потребовали вывести тур. войска и признать автономию Крита.
Брин (Бенедетто; 1833 — 1898) — итал. инженер-кораблестроитель и полит. деятель, министр иностранных дел (1892 — 1893), морской министр в различных кабинетах Италии.

РИМ

С. 126. «Тришка — малый не простой» — цитата из басни И.А. Крылова «Тришкин кафтан».

Гвидо Баччелли — см. примеч. к с. 81.

...у жертвенника Весты и храма Юлия Цезаря... — жертвенник Весты, богини-покровительницы семейного очага и жертвенного огня, находился на склоне Палатинского холма перед Форумом; в центре Форума сохранились руины храма Юлия Цезаря, построенного Августом (29 до н.э.).

РИМ. La Malavita

С. 126. Уайтчепель — район Ист-Энда в вост. Лондоне.

С. 127. Lungotevere Sangallo — набережная Сангалло.

Santo Spirito — больница Св. Духа.

С. 128. «Сельская честь» — опера П. Масканьи. Премьера состоялась 17 мая 1840 г. в Риме, в театре Костанци.

Нижняя Италия — Сардиния, Сицилия, Корсика.

...с переходом Римской области в руки короля... — т. е. с 1897 г.

С. 129. Тимпаны (литавры) — ударный муз. инструмент.

РИМ

С. 129. Виктор Эммануил — см. примеч. к с. 103.

Гарибальди (Джузеппе; 1807 — 1882) — нар. герой Италии, полководец, один из вождей Рисорджименто (см. примеч. к с. 123), литератор.

Мадзини (Джузеппе; 1805 — 1872) — итал. патриот и писатель, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за нац. освобождение и либерал. реформы в 19 в.

Д'Адзелио (Массимо; 1796 — 1866) — итал. писатель и обществ. деятель; первый премьер-министр молодого Виктора Эммануила II.

Кавур (Камило Бенсо; 1810 — 1861) — итал. гос. деятель, дипломат, глава правительства объедин. Итал. королевства.

...гербом династии... — имеется в виду правившая в Италии (с 1861) Савойская династия.

Рафаэль Санцио — см. примеч. к с. 124.

Елена Николаевна (1873 — 1952) — дочь короля Черногории Николы I (см. примеч. к с. 478), супруга Виктора Эммануила III.

С. 130. Ирредентисты — участники ирреденты (см. примеч. к с. 106).

РИМ

С. 130. ...праздник Epifania, по-народному la Befana... — знаменует приход трех волхвов, принесших дары младенцу Иисусу.

Piazza Navona — пл. Навона.

РИМ

С. 136. Массонство (братство вольных каменщиков; от англ. mason — каменщик, фр. franc-mason — вольный каменщик) — всемирный союз тайных филос.-мистич. обществ (лож).

Иезуит — член монаш. католич. духовного ордена («Общество Иисуса»), основанного (1534) Игнатием Лойолой для борьбы с вероотступниками.

«Черный папа» — глава ордена иезуитов.

Олидо Гуеррини (Гверрини) — псевдоним Лоренцо Стеккетти (см. примеч. к с. 105).

«Вестник Европы» (СПб., 1866 — 1918) — ежемесяч. лит.-полит. журнал.

- С. 137.** «El sueño de Makar» («Сон Макара», 1885), «El desertor de Sajalin» («Соколинец», 1885) — рассказы В.Г. Короленко.

РИМ

- С. 137.** Licenza liceale (*итал.*) — свидетельство об окончании лицея.

РИМ

- С. 140.** Ваккелли (Пьетро; 1837 — 1913) — итал. полит. деятель; сенатор (с 1896), министр казначейства в кабинете Пеллу (1898 — 1900).

Луццатти (Луиджи; 1841 — 1927) — итал. экономист и полит. деятель; министр финансов, премьер-министр.

...*основание Рима — гербовая бумага...* — Изобретение гербовой бумаги приписывается византийскому императору Юстиниану I (483 — 565).

Эрмете Новелли (1851 — 1919) — итал. актер.

«Valle» — рим. театр «Валле» («Дом Гольдони»).

Росси (Эрнесто; 1827 — 1846) — итал. актер-трагик, один из крупнейших представителей итал. реалистич. школы.

- С. 141.** Цаккони (Дзаккони, Эрмете; 1857 — 1948) — итал. актер, представитель натуралист. направления в театре.

Густаво Сальвини (1859 — 1930) — итал. актер, сын Томмазо Сальвини. Экар (Жан-Франц) — фр. поэт и писатель, автор пьесы «Parà Lebonnard» (1889).

Кин — гл. персонаж пьесы А. Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство» (1836).

Делавинь (Казимир; 1793 — 1843) — фр. поэт и драматург, автор пьесы «Людовик XI» (1832).

Шейлок — гл. персонаж пьесы В. Шекспира «Венецианский купец» (1596).

РИМ

- С. 141.** ...*на конференцию о разоружении...* — речь идет о Гаагской мирной конференции (1899).

Королева Маргарита (Савойская; 1851 — 1926) — супруга Умберто I (см. примеч. к с. 111).

«Ирис» — опера П. Масканьи (1898).

РИМ. Из нравов клерикальной печати

- С. 144.** Байрон (Джордж Ноэл Гордон; 1788 — 1824) — англ. поэт-романтик.

Шелли (Перси Биши; 1792 — 1822) — англ. поэт-романтик.

Олидо Гуеррини — см. примеч. к с. 136.

Марио Раписарди (1844 — 1915) — итал. поэт.

Риччотти Гарибальди — итал. генерал, политик и обществ. деятель; сын Дж. Гарибальди.

Samicia Rossa (красная рубашка, *итал.*) — форменная одежда волонтеров Гарибальди.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

- С. 145.** Турати (Филиппо; 1857 — 1932) — итал. полит. деятель, публицист; депутат парламента (1896 — 1926), лидер парламентской группы социалист. партии.

Майские волнения — см. примеч. к с. 72.

Избирательные коллегии — избират. округá.

С. 146. Энрико Ферри (1856 — 1929) — итал. ученый, криминолог, последователь Ч. Ломброзо (см. примеч. к с. 125).

Пеллу — см. примеч. к с. 111.

Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.

С. 147. Пезаро — город на берегу Адриатич. моря.

Ада Негри (1870 — 1945) — итал. поэтесса.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 147. Жорес — см. примеч. к с. 84.

Себ[астьян] Фор (1858 — 1942) — фр. анархист, публицист.

Кассаньяк (Гранье Поль, де; 1843 — 1904) — фр. полит. деятель и журналист, придерживался бонапартистских взглядов.

Дрюмон (Эдуард Адольф; 1844 — 1913) — фр. писатель, полит. деятель и публицист, известный своими антисемит. взглядами.

«Petit Journal» («Маленькая газета») — самая массовая фр. газета второй половины 19 в.

С. 148. Статут Карла Альберта — см. примеч. к с. 123.

Синдикат — здесь: проф. союз.

С. 149. Дзаккони — см. примеч. к с. 141.

Сальвини (Томмазо; 1829 — 1915) — великий итал. актер, отец Густа-во Сальвини.

Новелли — см. примеч. к с. 141.

Дузе (Элеонора; 1858 — 1924) — итал. актриса.

Тина ди Лоренцо (1872 — 1930) — итал. драм. актриса.

Пеццана (Пеццана-Гвальтьери Джачинта; 1841 — 1919) — итал. актриса.

...«*пленять своим искусством свет*»... — цитата из басни И.А. Крылова «Музыканты».

Сара Бернар — см. примеч. к с. 112.

Коклен (Бенуа Констан; 1841 — 1909) — актер «Комеди Франсез», теоретик театра.

Муне-Сюлли (Жан; 1841 — 1916) — фр. актер, играл в театрах «Одеон», «Комеди Франсез».

Геррери (Мария; 1863 — 1928) — испан. актриса.

Фор (Франсуа Феликс; 1841 — 1899) — президент Франции (1885 — 1899).

Орден Почетного Легиона — высшая награда Франции, присуждаемая за воен. или гражд. заслуги.

Баччелли — см. примеч. к с. 81.

Жюль Клареси (1840 — 1913) — фр. журналист и беллетрист, директор «Комеди Франсез» (с 1885).

КАРНАВАЛ В РИМЕ

С. 150. Аделина Патти (1843 — 1919) — итал. певица.

С. 151. Арлекин, Коломбина — персонажи итал. комедии дель арте.

Louis XIV — Людовик XIV.

С. 152. Баратынский (Боратынский Евгений Абрамович; 1800 — 1844) — рус. поэт.

«*Я знаю вас, я знаю вас*» — цитата из поэмы Е.А. Баратынского «Цыганка» (1831).

РИМ

Де Чезаре (Карло; 1824—1882) — итал. экономист и гос. деятель.
С 1871 г. — депутат, затем сенатор.
Бовио — см. примеч. к с. 103.

С. 154. Баччелли — см. примеч. к с. 81.

Caffè Aragno — кафе Араньо, место встреч рим. интеллект. и полит. элиты.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 155. Тройственный союз — воен.-полит. блок Германии, Австро-Венгрии и Италии (1879—1882).

Франко-русский союз — воен.-полит. союз России и Франции (1891—1893).

Кровавая резня — жестокая расправа со студентами Падуи, выступавшими против австр. господства (1849).

С. 156. Кошут (Лайош; 1802—1894) — организатор борьбы за нац. независимость во время венгер. революции (1848—1849).

Петефи (Шандор; 1823—1849) — венгер. нац. поэт, публицист.

Коммерческий трактат — см. примеч. к с. 125.

Торниелли (Джузеппе; 1836—1908) — итал. дипломат и полит. деятель.

Пеллу — см. примеч. к с. 111.

Риччотти Гарибальди — см. примеч. к с. 144.

Кортис — имя указано неточно. Должно быть: Фортис Алессандро (1842—1909) — итал. полит. деятель, премьер-министр (1905—1906).

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 157. Бовио — см. примеч. к с. 103.

Пеллу — см. примеч. к с. 111.

Диффамация — см. примеч. к с. 148.

С. 158. Дзанарделли (Джузеппе; 1826—1903) — итал. полит. деятель; был министром юстиции, премьер-министром (1901—1903).

Альбертинский статут — см. примеч. к с. 123.

Piazza Colonna — см. примеч. к с. 116.

Висконти Веноста (Эмилио; 1829—1914) — итал. полит. деятель, министр иностр. дел.

Русполи (Эмануэле; 1838—1899) — синдик (мэр) Рима (1892—1899), представитель старинного аристократического рода Русполи.

Луццатти — см. примеч. к с. 140.

УЛЬРИХ. Очерк

С. 160. Улеаборг — город в Финляндии.

РИМ

С. 163. Лев XIII (Винченцио Джоакино Рафаэль Луиджи; 1810—1903) — римский папа (1878—1903).

Trastevere — см. примеч. к с. 90.

С. 165. Рамполла (Мариано, маркиз Тиндаро; 1843—1913) — кардинал, ближайший советник папы Льва XIII.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 166. Катехизис — изложение христиан. вероучения в виде вопросов и ответов.

Пий IX (1792—1878) — римский папа (с 1846); утратив власть над Римом (1870), не признал суверенитет объединенного Итал. королевства.

Булла — послание, распоряжение римского папы.

Тютчев (Федор Иванович; 1803 – 1873) — рус. поэт. Цитируемое стихотворение «Был день, когда Господней правды молот...» (1864) написано в связи с обнародованием энциклики папы Пия IX, назвавшего свободу совести «заблуждением века».

С. 167. ...«секретарей», как выражался Крылов... — имеется в виду басня И.А. Крылова «Лев и барс» (1815): «...назначим же скорей мы от себя секретарей...»

РИМ

С. 168. Феличе Каваллотти — см. примеч. к с. 106.

Via Nazionale — одна из центр. улиц Рима.

Лоренцо Стеккетти — см. примеч. к с. 105.

Веристы (от *итал. vero* — правдивый, истинный) — последователи веризма, направления в итал. литературе и искусстве конца 19 в., возникшего под влиянием фр. натурализма.

С. 169. ...романа Золя... — имеется в виду роман Э. Золя «Рим» (1896).

Криспи — см. примеч. к с. 82.

Эритрея — вост. африкан. гос-во на побережье Красного моря; признала итал. суверенитет над спорными территориями (1889), после чего Италия объявила о создании колонии Эритрея (1890).

Итальянские интересы в Китае — в 1899 г. кабинет Пеллу предпринял неудач. попытку захватить в Китае порт для стоянки итал. флота, что вызвало падение кабинета Пеллу.

D'autres chats à fouetter (букв. «для порки есть другие кошки») — есть заботы поважнее (*фр.*).

ДУША И ТЕЛО

С. 170. Выставка в Турине — см. примеч. к с. 122.

С. 176. Писарев (Дмитрий Иванович; 1840 – 1868) — рус. критик; речь идет о его статье «Борьба за жизнь» (1867), посвященной роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

С. 177. Павленковские биографии — выходившая в издательстве Ф.Ф. Павленкова (1839 – 1900) серия «Жизнь замечательных людей». Миссолунги — город, в котором умер Байрон, участвовавший в восстании греков против тур. владычества.

Лойола (Игнатий; 1491 – 1556) — см. примеч. к с. 136.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. Г-н Семирадский

С. 178. Семирадский (Генрих Ипполитович; 1843 – 1902) — ист. живописец, профессор живописи.

Преторианский лагерь — лагерь императорской гвардии в Др. Риме. «Светочи христианства. Факелы Нерона» (1876) — эта картина принесла Г.И. Семирадскому профессорское звание и гран-при Всемирной выставки в Париже.

С. 179. «Новое время» (СПб., 1868 – 1917) — рус. газета.

С. 181. Айвазовский (Иван Константинович; 1817 – 1900) — рус. живописец-маринист.

С. 182. Notre-Dame [de Paris] — кафедр. собор Парижской Богоматери (XII – XIV вв.).

Вагоссо — см. примеч. к с. 125.

Бернини — см. примеч. к с. 124.

Фонтан Trevi — построен архитектором Н. Сальви (1632).

«Quo vadis» («Камо грядеши»; 1894 — 1896) — роман польского писателя Г. Сенкевича (1846 — 1916), принес ее автору Нобелевскую премию (1905).

...я ценю у Сенкевича знаменитую трилогию... — речь идет о романах «Огнем и мечом» (1883 — 1884), «Потоп» (1884 — 1886), «Пан Володыёвский» (1887 — 1888).

С. 183. «Пан Тадеуш» (1834), «Дяды» (1832) — поэмы Адама Мицкевича (1798 — 1855).

...товарианистическое увлечение... — в 1841 г. А. Мицкевич увлекся идеями апологета польского мессианства А. Товьянского (1799 — 1878). «[Конрад] Валленрод» — поэма Адама Мицкевича (1828).

Ибн Фодлан (Ибн Фадлан) Ахмед — араб. путешественник и писатель 1-й половины 10 в. В 921—922 гг. посетил Волжскую Булгарию. Оставил уникальные описания быта и полит. отношений огузов, башкир, болгар, русов и хазар.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. Римское гетто

С. 184. «Русское богатство» — см. примеч. к с. 37.

С. 185. Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.

Де Амичис — см. примеч. к с. 106.

Фогаццаро (Антонио; 1842 — 1911) — итал. писатель.

«Вестник Европы» — см. примеч. к с. 136.

Зангвиль (Израиль; 1869 — 1926) — англо-евр. писатель, автор романа «Дети гетто» (1892) и сборника очерков «Мечтатели гетто» (1898).

С. 186. 20 сентября 1870 года — дата присоединения Рима к Итал. королевству, завершившая эпоху Рисорджименто (см. примеч. к с. 123).

С. 187. Беатриче Ченчи (1577 — 1599) — дочь рим. аристократа, приговоренная к смертной казни за убийство своего грубого и деспотич. отца.

С. 188. Феокрит (ок. 310 — ок. 270 до н.э.) — др.-греч. поэт, родоначальник жанра идиллии, воспевавший простоту и естественность быта. «Старовещники» — старьевщики.

Джузеппе Джоаккино Белли (1791 — 1863) — поэт, автор «Римских сонетов», написанных на романеско (см. примеч. к с. 71).

БУРЯ. Рассказ

С. 188. Tempesta — буря (итал.).

С. 189. Avanti (букв. «вперед»; итал.) — войдите.

Чивитавеккья — итал. порт на Средиземном море.

ПРАВДА. Притча

С. 195. Г-жа Дубельт (Зеланд-Дубельт Елена Александровна; 1863 — после 1937) — рус. писательница.

Тунское озеро — см. примеч. к с. 55.

С. 196. Юнгфрау — см. примеч. к с. 67.

Штауббах — см. примеч. к с. 66.

Оберланд — см. примеч. к с. 69.

С. 197. [Афина] Паллада — в греч. мифологии богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел.

С. 199. ...бьернсоновская герошня... — Бьернсон Бьеристерне Мартиниус (1832 — 1910), норв. поэт, драматург, прозаик, лауреат Нобелев-

ской премии (1903), анализировал моральный аспект отношений мужчины и женщины.

КОТ МУРЛЫКА. Н.П. Вагнер

С. 199. Вагнер (Николай Петрович; 1829 — 1907) — рус. зоолог и писатель, писал под псевд. «Кот-Мурлыка»; автор сборника «Сказки Кота-Мурлыки» (1872), в который вошли «Две склянки», «Мила и Нолли», «Князь Костя», «Макс и Волчок», «Папа-пряник», «Базиль Гранжо» и др.

Белинский (Виссарион Григорьевич; 1811 — 1949) — рус. лит. критик. Гофман (Эрнст Теодор Амадей; 1776 — 1822) — нем. писатель, композитор, художник; воплотил в своих фантастич. рассказах и романах дух нем. романтизма.

С. 201. Амбре — благовоние, духи.

«Впотьмах» («Темный путь») — роман Н.П. Вагнера.

С. 202. Надсон (Семен Яковлевич; 1862 — 1887) — рус. поэт трагич. мироощущения.

НИЦЦА LA BELLA. Одесская сказка

С. 204. Ипсиланти (Александр Константинович; 1792 — 1828) — князь, генерал-майор, участник Отечеств. войны (1812); борец за освобождение Греции от тур. ига.

С. 205. Триест — см. примеч. к с. 78.

Истрианский славянин — славянин, живущий на полуострове Истрия, Хорватия.

Атгическое наречие — диалект жителей Аттики, юго-вост. обл. Средней Греции.

Каподистрия (Иоанн Антонович; 1776 — 1831) — граф, греч. и рос. гос. деятель, дипломат; первый президент независимой Греции. В 1821 г., когда А. Ипсиланти призвал Александра I выгнать турок из Европы, Каподистрия официально осудил выступление греков.

Альмавива — широкий мужской плащ (по имени графа Альмавивы, персонажа комедии Бомарше «Севильский цирюльник»; 1775).

С. 206. Miserere — церковное песнопение на текст псалма 51 («Помилуй меня, Боже»).

С. 207. Градское девичье училище — Одесское училище для девочек (открыто в 1817).

Порто-франко — свободный порт, т.е. пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров и не подконтрольный гос. таможне.

Розина — героиня оперы Д. Россини «Севильский цирюльник» (1816).

С. 209. Каталани (Анджелика; 1780 — 1849) — итал. певица, директор Итал. оперы в Париже (1814 — 1817).

Дзамбони (Луиджи; 1767 — 1837) — итал. певец, первый Фигаро в «Севильском цирюльнике» Д. Россини.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 214. Эмануэле Русполи — см. примеч. к с. 158.

Corso — см. примеч. к с. 79.

Nazionale — см. примеч. к с. 168.

С. 215. ...в совете на Капитолийском холме... — на Капитолийском холме находится здание Сената.

Баччелли — см. примеч. к с. 81.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

- С. 216.** Нотарбартоло (Эммануэле; 1834 — 1893) — маркиз, президент Сицилийского банка; убит сицилийской мафией.
- С. 217.** Полиццо (Раффаэло) — депутат парламента и член совета директоров Сицилийского банка, причастный к организации покушения.
- С. 218.** ...«обретается в нетях»... — находится неизвестно где, в бегах; скрывается.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

- С. 218.** Турати — см. примеч. к с. 145.
Майские беспорядки — см. примеч. к с. 72.
- С. 219.** Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.
- С. 220.** Соннино (Сидней; 1847 — 1922) — итал. гос. деятель.

ИТАЛЬЯНСКАЯ МАФИЯ

- С. 221.** Полиццо — см. примеч. к с. 217.
Нотарбартоло — см. примеч. к с. 216.
- С. 223.** Мирри (Джузеппе; 1834 — 1907) — итал. генерал и полит. деятель, участник восстания Гарибальди, сенатор (с 1898).
- С. 225.** Пеллу — см. примеч. к с. 111.
«Северный курьер» (СПб., 1899—1900) — ежеднев. полит. и лит. газета.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

- С. 226.** Мирри — см. примеч. к с. 223.
Де Феличе-Джузеппе (Джузеппе; 1859 — 1920) — сицилийский социалист, организатор союзов трудящихся.

ANNO SANTO. Театральный конгресс

- С. 228.** Anno Santo — святой год; введен папой Бонифацием VIII (1300); начиная с 1470 отмечается каждые 25 лет.
Юбилейный святой год — время святых паломничеств, отпущения грехов и разрешения от обетов молчания.
Лев XIII — см. примеч. к с. 163.
Булла — см. примеч. к с. 166.
Гвельфы — полит. группировка в Италии (12 — 15 вв.), выступавшая за ограничение власти герм. императоров в Италии и усиление влияния римского папы.
- С. 229.** Папа Климент V (Бертран де Гут; 1264 — 1314; избран в 1305) — перенес папский престол в Авиньон (1309).
Пий IX — см. примеч. к с. 166.
Пуччини (Джакомо; 1858 — 1924) — итал. оперный композитор.
- С. 230.** «Тоска» (1899) — опера Дж. Пуччини по одноим. драме В. Сарду.
Масканьи — см. примеч. к с. 124.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

- С. 231.** Галерея на Капитолии — картинная галерея на Капитолийском холме.
Гвардия папы — учреждена папой Юлием II (1596).
Кивер — головной убор с высокой тульей, козырьком и подбородочным ремешком.

С. 232. Микеланджело (Буонаротти; 1475–1564) — скульптор, художник, архитектор эпохи итал. Возрождения, гл. архитектор собора Св. Петра в Риме (с 1546).

Бернини — см. примеч. к с. 124.

С. 233. Scala Regia — «Царская лестница», соединяющая папский дворец с собором.

Хорутвь — полотнище на длинном древке с изображением Христа или святых.

Митра — головной убор высшего духовенства.

С. 234. Тиара — тройная корона папы римского, увенчанная крестом.

Скуфейка (скуфья) — мягкая шапочка.

XXII anno santo — 22-й святой год (см. примеч. к с. 228).

ПИСЬМА ИЗ РИМА. Итоги 1899 года в Италии

С. 235. §14 — параграф австр. конституции, дававший верховной власти право проводить желательные для нее мероприятия.

Майские волнения 1898 — см. примеч. к с. 72.

Нотарбартоло — см. примеч. к с. 216.

С. 236. Полицоло — см. примеч. к с. 217.

Мирри — см. примеч. к с. 223.

...урвать кусочек у Китая... — см. примеч. к с. 169.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. Мафия

С. 237. Теппа (*umal*) — самоназвание преступного сообщества (Società della Terra); соврем. значение — «городская шпана».

Ломбардия — адм. р-н Сев. Италии между Альпами и долиной реки По; гл. город — Милан.

Уайтчепель — см. примеч. к с. 126.

Финикияне — жители Финикии, гос-ва, занимавшего сев. часть вост. побережья Средиземного моря (II—I тыс. до н.э.).

Карфагеняне — жители города-гос-ва, существовавшего в зап. Средиземноморье (7–2 вв. до н.э.).

Норманны — скандинав. народы, осуществлявшие набеги на берега Европы (8–сер. 11 вв.).

С. 238. ...«*короли обеих Сицилий*»... — королевство Обеих Сицилий со столицей в Неаполе включало Сицилию и Юж. Италию (504–860).

Фердинанд II (1810–1859) — король Обеих Сицилий из династии неаполит. Бурбонов, прозванный «королем-бомбой» после бомбардировки восставшего г. Мессины (1849).

Савойский дом — см. примеч. к с. 129.

Римский проконсул — наместник провинции в Др. Риме.

Восстание Сицилии — восстание под руководством Гарибальди, положившее конец власти неаполит. Бурбонов (1860).

«Сельская честь» — см. примеч. к с. 128.

«Риголетто» (1851) — опера Дж. Верди.

Кардуччи — см. примеч. к с. 106.

Виктор Эммануил — см. примеч. к с. 103.

С. 240. Данаиды — в греч. мифологии дочери царя Даная, которые убили своих мужей и несут в загробном мире вечное наказание, наполняя водой бездонную бочку.

ИТАЛИЯ В 1899 ГОДУ

С. 241. Дело Нотарбартоло — см. примеч. к с. 216.

Каневаро (Феличе Наполеоне; 1838–1926) — адмирал и полит. деятель; министр иностр. дел в кабинете Пеллу (1898–1899).

Сан-Мунская бухта — см. примеч. к с. 169.

Каваллотти — см. примеч. к с. 106.

Богдыхан — см. примеч. к с. 63.

С. 242. Статут Карла Альберта — см. примеч. к с. 123.

Монтечиторио — холм, на котором находится здание итал. парламента.

Де Феличе-Джуффрида — см. примеч. к с. 226.

С. 243. Умберто I — см. примеч. к с. 111.

Висконти Веноста — см. примеч. к с. 158.

С. 244. Майские беспорядки — см. примеч. к с. 72.

Тройственный «мезальянс» — см. примеч. к с. 155.

...попытки сближения с Францией... — итало-фр. договор о режиме наибольшего благоприятствования в торговле (1898).

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 245. Король Умберто — см. примеч. к с. 111.

Податное бюро — налоговое управление.

С. 246. Южноафриканская (англо-бурская) война (1899–1902) — аннексия Великобританией республик Трансвааль и Оранжевое свободное гос-во, которыми управляли (с 1856) выходцы из Голландии, так наз. африканеры, или буры.

С. 247. Балтимор — порт на вост. побережье США.

Джон Буль (Джон Бык) — прозвище грубого британца; по имени персонажа памфлета англ. публициста Дж. Арбетнота «История Джона Буля» (1727).

Вильгельм Тель — легендар. борец за независимость Швейцарии.

Джинго (jingo, англ.) — шовинист, ура-патриот.

Томми Аткинс — персонаж одноим. стихотворения Р. Киплинга.

Уитлэндер (от голланд. uitlander — «пришелец») — до англо-бурской войны: прозвище европ. поселенцев, не имевших трансваальского гражданства.

Виктория (1819–1901) — англ. королева (с 1837), последний представитель Ганноверской династии.

«ТОСКА» ПУЧЧИНИ. ДАНТЕ СО СЦЕНЫ

С. 248. Джачинта Пеццана — см. примеч. к с. 149.

«Тоска» — см. примеч. к с. 230.

«Богема» (1895) — опера Дж. Пуччини.

Сарду — см. примеч. к с. 113.

Джиральдони (Леоне; 1825–1897) — итал. певец и преподаватель вокала.

Дарклэ (Хариклея; 1860–1939) — румын. певица, исполнительница заглавной роли в рим. премьере оперы «Тоска» (1900).

Романеско — см. примеч. к с. 71.

С. 250. Эрмете Новелли — см. примеч. к с. 140.

НАЧАЛО СЕССИИ ПАЛАТЫ

С. 251. Турати — см. примеч. к с. 145.

Коста (Андреа; 1851–1910) — итал. социалист, депутат парламента (с 1882), примыкал к крайней левой фракции.

Майская неделя — см. примеч. к с. 72.

Умберто I — см. примеч. к с. 111.

Вольтерра — город в провинции Пиза.

С. 252. Соннино — см. примеч. к с. 220.

РИМ

С. 253. Palazzo Madama — здание заседаний сената.

Дело Нотарбартоло — см. примеч. к с. 216.

С. 254. Равенна — город в Сев. Италии.

Таранто — город на берегу Тарантского залива, юго-вост. Италия.

...щедринское «запорю»... — постоянная угроза градоправителя из романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (1869).

«ПЕРЕВОСПИТАНИЕ» СИЦИЛИИ И ДЕЛО НОТАРБАРТОЛО

С. 255. Нотарбартоло — см. примеч. к с. 216.

С. 257. Криспи — см. примеч. к с. 82.

Рудини — см. примеч. к с. 104.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 257. Баччелли — см. примеч. к с. 81.

Инфлюэнца — грипп.

С. 258. Казати (Габрио; 1798 — 1873) — итал. гос. деятель; будучи министром образования (1859 — 1860) Сардинского королевства, провел закон о подведомственности уч. заведений: университетов — центр. власти, средних школ — провинциальным властям, начальных — местным властям.

НАЧАЛО КОНЦА. ДЖОРДАНО БРУНО

С. 259. Джордано Бруно (1548 — 1600) — итал. философ и поэт; по приговору инквизиции сожжен на костре.

С. 261. Антонио Лабриола (1843 — 1904) — итал. философ и социолог, ортодоксальный марксист, автор кн. «Essais sur la conception matérialiste de l'histoire» («Очерки материалистического понимания истории»). Campo del Fiore — площадь, на которой сожгли Дж. Бруно.

С. 262. *Со дня занятия Рима...* — т.е. с тех пор, как Рим, являвшийся столицей Папского гос-ва, был присоединен к Итал. королевству (1870). Нунций — постоянный дипломатич. представитель римского папы в иностр. гос-ве, приравниваемый по рангу к послу.

[Римская] курия — совокупность центр. учреждений Ватикана, возглавляемая папой и осуществляющая управление католич. церковью.

ПЕРВЫЕ СТЫЧКИ. «QUO VADIS»

С. 263. Пеллу — см. примеч. к с. 111.

Беттоло (Джованни; 1846 — 1916) — адмирал, морской министр Италии (1899 — 1900, 1903, 1909 — 1910).

Кармине (Пьетро; 1841 — ?) — итал. полит. деятель, министр финансов (1899-1900), занимал министерские должности в разных кабинетах. Бозелли (Паоло; 1838 — 1932) — итал. полит. деятель, премьер-министр (1916 — 1917).

Саландра (Антонио; 1853 — 1931) — итал. полит. деятель, правый либерал, адвокат; премьер-министр (1914 — 1916).

Баччелли — см. примеч. к с. 81.

Бардзилай (Сальваторе; 1860 — 1939) — итал. журналист и полит. деятель.

- С. 264.** Пантано (Эдоардо; 1842 — 1932) — итал. полит. деятель, участвовал в легионе Гарибальди; лидер республиканцев (в конце 1890-х).
 «Quo vadis» — см. примеч. к с. 182.
 «La famiglia Polaniecki» («Семья Поланецких»; 1894) — роман Г. Сенкевича.
 «Bartek il vincitore» («Бартек-победитель»; 1882), «Анна» («Ганя»; 1876) — рассказы Г. Сенкевича.
 «Oltre il mister» («Без догмата»; 1890) — роман Г. Сенкевича.
 Папская конгрегация — совет кардиналов при папе римском, осуществляющий управление католич. церковью и Ватиканом.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

- С. 265.** Decretone (букв. «большой декрет»; *итал.*) — декрет, содержащий постановления по нескольким вопросам.
 Статут Карла Альберта — см. примеч. к с. 123.

ОБСТРУКЦИЯ

- С. 268.** Befana — см. примеч. к с. 130.
 Piazza Navona — см. примеч. к с. 130.
 Турати — см. примеч. к с. 145.
С. 269. «Майский герой» — герой майских беспорядков (см. примеч. к с. 72).
 Quousque tandem (*лат.* до каких пор, доколе) — начало речи Цицерона, направленной против Луция Катилины.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

- С. 270.** Bel canto — стиль вокального исполнения, отличающийся легкостью, красотой звучания.
 Metastasio (Пьетро Метастазियो; 1698 — 1782) — итал. поэт и драматург.
 Manzoni (Алессандро Мандзони; 1785 — 1873) — итал. писатель.
 Centesimi — мелкая монета ($1/100$ лиры).
 «Valle» — см. примеч. к с. 140.
 Альфьери (Витторิโอ; 1749 — 1803) — поэт, драматург, создатель итал. классицистич. трагедии.
 Джакоза (Джузеппе; 1847 — 1906) — итал. драматург, поэт, либреттист, автор либретто многих опер.
 Косса (Пьетро; 1834 — 1881) — итал. драматург.
 Дюма-сын (Александр; 1824 — 1895) — фр. писатель.
 Каваллотти — см. примеч. к с. 106.
 «Дама с камелиями» — см. примеч. к с. 112.
С. 271. Джачинга Пеццана — см. примеч. к с. 149.
 Drammatico Nazionale — Нац. драматич. театр.
 «M-gi Alfonse» («Мосье Альфонс») — комедия А. Дюма-сына.
 Веристы — см. примеч. к с. 168.
 Вестри (Луиджи; 1781 — 1841) — итал. актер.
 «Мишель Строгов» — роман фр. писателя Ж. Верна (1828 — 1905).
 Новелли — см. примеч. к с. 140.
 Дзаккони — см. примеч. к с. 141.
 «Siciliana» («Сицилиана», или «Болеро Елены») — ария из оперы Дж. Верди «Сицилийская вечерня»; «Ridi pagliaccio» («Смейся, паяц») — ария из оперы Р. Леонкавалло «Паяцы».

ОБСТРУКЦИОНИЗМ В ИТАЛИИ

С. 272. Монтечиторио — см. примеч. к с. 242.

С. 273. Ферри — см. примеч. к с. 146.

Obstruzione material (*итал.* «грубая обструкция») — скандальные действия, направленные на срыв заседания.

Камбрэ-Диньи (Луиджи Гильельмо; 1820 – 1906) — итал. гос. деятель, министр финансов (1867 – 1869).

Пантано — см. примеч. к с. 264.

С. 274. Д'Аннунцио Габриеле — см. примеч. к с. 106.

Абруцци — область Италии у побережья Адриатич. моря.

РИМ

С. 275. Palazzo Montecitorio — см. примеч. к с. 242.

Камбрэ-Диньи — см. примеч. к с. 273.

С. 276. Ministeriali (от ministero в значении «кабинет министров») — депутаты проправительств. большинства (*итал.*).

Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

Джолитти (Джованни; 1842 – 1928) — лидер итал. Либеральной партии, неоднократно занимал пост премьер-министра.

Сидней Соннино — см. примеч. к с. 220.

Пати дю Клам — см. примеч. к с. 84.

С. 277. Энрико Ферри — см. примеч. к с. 146.

Коста — см. примеч. к с. 251.

Турати — см. примеч. к с. 251.

Де Феличе — см. примеч. к с. 226.

Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс; 1835 – 1910) — амер. писатель и обществ. деятель.

С. 278. Нотарбартоло — см. примеч. к с. 216.

НОВЫЙ РОМАН Д'АННУНЦИО. В театрах

С. 279. Superuomo (сверхчеловек; *итал.*) — имеется в виду Д'Аннунцио. «Also sprach Zarathustra» («Так говорил Заратустра»; 1883 – 1891) — работа, в которой Ф. Ницше выдвинул теорию сверхчеловека и воли к власти.

«Джоконда» (1898), «Слава» (1899), «Мертвый город» (1898) — драмы Д'Аннунцио; «Фуосо» («Огонь»; 1900), «Наслаждение» (1889), «Невинная жертва» (1892), «Триумф смерти» (1894), «Девы скал» (1895) — романы.

С. 280. Prerafaelite (прерафаэлизм) — направление в англ. поэзии и живописи второй пол. 19 в., исповедовавшее духовное родство с художниками эпохи раннего Возрождения (до Рафаэля).

С. 281. Фоскарина — речь идет об актрисе Элеоноре Дузе, подруге Д'Аннунцио.

Giacosa (Джиакоза) Джузеппе (1847 – 1906) — итал. драматург и либреттист.

Театр «Quirino» — театр Квирино в Риме.

«Тоска» — см. примеч. к с. 230.

Театр Valle — см. примеч. к с. 140.

«Сирано де Бержерак» (1897) — пьеса фр. поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868 – 1918).

Андреа Мадджи — итал. трагик.

Муне-Сюлли — см. примеч. к с. 149.

Эдип — в греч. мифологии сын фиванского царя, по неведению убивший отца и женившийся на собств. матери.

Эрнани — персонаж драмы Виктора Гюго «Эрнани» (1830).

РИМ

С. 282. Пеллу — см. примеч. к с. 111.

«Гора» (итал. *monte*) — холм Монтечиторио (см. примеч. к с. 242).

С. 283. Palazzo Montecitorio — см. примеч. к с. 242.

Габриеле Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.

Ферри, Турати — см. примеч. к с. 146 и к с. 251.

Ницше (Фридрих Вильгельм; 1844 — 1900) — нем. философ и писатель.

С. 284. «Фуосо», «Мертвый город» — см. примеч. к с. 279.

Псевдоним Фоскарины — см. примеч. к с. 279.

Заратустра — см. примеч. к с. 279.

С. 285. Верлен (Поль; 1844 — 1896) — фр. поэт.

Уайльд (Оскар; 1854 — 1900) — англ. писатель.

ТЕАТР В РИМЕ

С. 285. Королева Маргарита — см. примеч. к с. 141.

С. 286. Гольдони (Карло; 1707 — 1793) — итал. драматург.

Альфьери — см. примеч. к с. 270.

С. 287. Бракко (Роберто; 1861 — 1943) — итал. писатель, драматург, журналист, театр. и муз. критик.

Феррари (Паоло; 1822 — 1889) — итал. драматург; сенатор, президент Миланской академии.

Джакоза — см. примеч. к с. 270.

Sar Peladan (1859 — 1918) — Сар (Жозефен) Пеладан, фр. писатель-мистик, автор цикла романов под общим названием «Закат латинского мира».

Муне-Сюлли — см. примеч. к с. 149.

Эрнани — см. примеч. к с. 281.

Эдип — см. примеч. к с. 281.

Луи (Рюи) Блаз — герой одноим. драмы В. Гюго (1838).

С. 288. Эрmete Новелли — см. примеч. к с. 140.

...о «прекрасных Еленах» или «Орфеях в аду»... — имеются в виду оперетты фр. композитора Ж. Оффенбаха (1819 — 1880) «Прекрасная Елена» и «Орфей в аду».

«Гейша» (1896) — оперетта англ. композитора С. Джонса (1869 — 1914).

Кафешантан — кафе с эстрадой для выступлений.

С. 289. Гоморра и Содом — города, согласно Библии, уничтоженные Богом за нечестивость их жителей.

По — река, берущая начало в Альпах; впадает в Адриат. море.

«Дама от Максима» (1899) — пьеса фр. комедиографа Ж. Фейдо (1862 — 1921).

РИМ

С. 290. Энрико Ферри — см. примеч. к с. 146.

«Мертвый дом» — вторая часть романа Ф.М. Достоевского «Записки из Мертвого дома» (1860).

...создатель «Божественной Комедии»... — имеется в виду Данте Алигьери (1265–1321), великий итал. поэт, автор поэмы «Божественная комедия».

- С. 291.** Писемский (Алексей Феофилактович; 1821–1881) — рус. писатель.
- С. 292.** Аркадий Николаевич и мадам Кукшина — персонажи романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Мизелли (Фурио; 1868–1949) — итал. поэт.
Боттичелли (Сандро; 1445–1510) — итал. художник, представитель раннего Возрождения.
Генрик Сенкевич — см. примеч. к с. 182.
- С. 293.** «Без догмата» (1889–1890) — роман Г. Сенкевича.
М[атитльда] Серао (1856–1927) — итал. романистка и журналистка, последовательница веризма (см. примеч. к с. 168).
Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.
Фогаццаро — см. примеч. к с. 185.
Панцакки (Энрико; 1840–1904) — итал. поэт, директор Академии изящных искусств.
Верга (Джованни; 1840–1922) — крупнейший представитель итал. реалистич. романа.
Капуана (Луиджи; 1839–1915) — итал. критик и писатель, профессор литературы в Рим. ун-те.
Берсецио (Витторио; 1828–1900) — итал. драматург и публицист.
Кардуччи — см. примеч. к с. 106.
Раписарди — см. примеч. к с. 144.
Стеккетти — см. примеч. к с. 105.
Короленко — см. примеч. к с. 106.
Надсон — см. примеч. к с. 202.

РИМ

- С. 293.** ...колоссальная фигура *Гарибальди на коне чудной работы Этторе Феррари*... — автором памятника Дж. Гарибальди в Риме является Э. Галлори; работа Э. Феррари установлена в Пизе.
- С. 294.** Фраскетинское — вино из г. Фраскати в 20 км от Рима.
Биссолати (Леонида; 1857–1920) — итал. полит. деятель, один из лидеров социалист. партии (1892–1912), гл. ред. газеты социалистов «Аванти»; депутат парламента (с 1897).
- С. 295.** Трастевринская — см. примеч. к с. 90.
Марсельеза — песня времен Великой фр. революции, ставшая гимном революционеров и гос. гимном Франции.
Карманьола — фр. революц. песня.
«Прудонианцы» — последователи фр. социалиста, теоретика анархизма Пьера Жозефа Прудона (1809–1865).
- С. 296.** Раскол марксизма — марксизм стал идеологич. основой социал-демократ. движения, расколовшегося в нач. 20 в. на два течения — революционное и реформистское.
Антонио Лабриола — см. примеч. к с. 261.
Бернштейн Эдуард (1850–1932) — нем. социал-демократ, основатель ревизионизма.
- С. 297.** Катехизис — см. примеч. к с. 166.
«Грачевский крокодил» Салова (1879) — повесть рус. писателя Ильи Александровича Салова (1834–1902).

«Пойдем за ним», «На светлом берегу» — новеллы Г. Сенкевича.
 «Воскресенье» (1889 — 1899) — роман Л.Н.Толстого.
 Нехлюдов, Маслова — персонажи романа Л.Н.Толстого «Воскресенье».

РИМ

- С. 299.** Бизео (Чезаре; 1843 — 1909) — итал. живописец.
 Де Амичис — см. примеч. к с. 106.
 Энрике Серра (1859 — 1918) — исп. художник.
 М. Эчена — вероятно, имеется в виду исп. живописец Хосе Эчена (1845 — 1909).
 Бенишелли (Альберто; 1870 — 1952) — итал. художник.
 Бенда (Владислав Теодор; 1873 — 1948) — польско-амер. живописец, иллюстратор и дизайнер.
 Ла Белла (Винченцо; 1872 — 1954) — итал. художник.
 Сандро Боттичелли — см. примеч. к с. 292.
 Неопрафаэлизм — см. примеч. к с. 280.
 Сомеда (Доменико; 1859 — 1944) — итал. художник.
 Штук (Франц фон; 1863 — 1928) — нем. живописец и скульптор.
- С. 300.** Леонкавалло Руджеро (1857 — 1919) — итал. композитор.
 Масканьи — см. примеч. к с. 124.
 «Affare Dreyfus» — дело Дрейфуса (см. примеч. к с. 82).
 Palazzo delle Belle Arti — Дворец изящных искусств.
 Джузеппе Феррари (1843 — 1905) — итал. художник.
 Баттистини (Маттиа; 1856 — 1928) — итал. певец.
 Веруда (Умберто; 1868 — 1904) — итал. художник.
- С. 301.** Патини (Геофило; 1840 — 1906) — итал. художник.
 Коркос (Витторิโอ Маттео; 1859 — 1933) — итал. художник.
- С. 302.** Рутелли (Марио; 1859 — 1914) — итал. скульптор.
 Д'Орси (Ахилл; 1845 — 1929) — итал. скульптор.
 Песни «Ада» — см. примеч. к с. 88.
- РИМ. Caffè Aragno**
- С. 303.** Кафе Араньо — см. примеч. к с. 154.
 Piazza Colonna — см. примеч. к с. 118.
 Герры (от нем. Herr) — господа.
- С. 304.** Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.
 Прево (Эжен Марсель; 1862 — 1941) — фр. писатель, автор любовно-психологич. романов.
 Монтепен (Ксавье Рауль де; 1823 — 1902) — фр. писатель, автор авантюрно-ист. романов.
- С. 305.** Шовэ (Костанцо; 1844 — 1918) — основатель и редактор газеты «Popolo Romano» (с 1873).
 Каваллотти — см. примеч. к с. 106.
 Лабриола — см. примеч. к с. 261.
- С. 306.** Кант (Иммануил; 1724 — 1804) — философ, родоначальник нем. классич. идеализма.
 Гегель (Георг Вильгельм Фридрих; 1770 — 1831) — нем. философ.
 Декарт (Рене; 1596 — 1650) — фр. философ и математик.
 Маффео Панталеони (1857 — 1924) — итал. экономист, социолог, политик; связывал развитие экономики с гедонистич. потребностями индивида.

«Неолиберизм» — принцип свободы предпринимательства, рыночной анархии, невмешательства гос-ва в экономику.

С. 307. Бернштейн — см. примеч. к с. 296.

«Влечение, род недуга» — цитата из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

ЗАДАЧА. Вагонный рассказ

С. 307. Фиуме — см. примеч. к с. 77.

С. 308. Кроацция — Хорватия.

Суровый край: его красам, пугаяся, дивятся взоры, / На горы каменные там поверглись каменные горы... — строки из поэмы Е.А. Баратынского «Эда» (1824).

С. 309. «Bez dogmatu» («Без догмата», пол.) — роман Г. Сенкевича.

С. 310. Аббация — см. примеч. к с. 78.

«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» НА РИМСКОЙ СЦЕНЕ

С. 314. «Сирано де Бержерак» — см. примеч. к с. 281.

Корш (Федор Адамович; 1852 — 1923) — рус. драматург, антрепренер, переводчик; основал московский Большой драматич. театр (1882 — 1932).

Андреа Мадджи — см. примеч. к с. 281.

С. 315. Коклен — см. примеч. к с. 149.

С. 316. «Одинокие люди» (1891) — пьеса нем. писателя, лауреата Нобелевской премии (1912) Герхарта Гауптмана (1862 — 1946).

«Дядя Ваня» (1897) — пьеса А.П.Чехова.

«Камо грядеши» — см. примеч. к с. 182.

Петрония, Эвника — персонажи романа «Камо грядеши».

Мальва, Челкаш — персонажи рассказов А.М. Горького.

СИЛУЭТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЦЕНЫ. I. Новеллы и Дзаккони

С. 317. Театр Costanzi — см. примеч. к с. 100.

Эрмете Дзаккони (Цаккони) — см. примеч. к с. 141.

«Лоренцаччо» (1834) — драма фр. поэта и прозаика Альфреда де Мюссе (1810 — 1857).

«[Извозчик] Геншель» — пьеса Г. Гауптмана (1898).

Джакоза — см. примеч. к с. 270.

Новеллы — см. примеч. к с. 140.

С. 318. Томмазо Сальвини — см. примеч. к с. 149.

Росси — см. примеч. к с. 140.

Ристори (Аделаида; 1822 — 1906) — итал. актриса.

Пеццана-Гвальтьери — см. примеч. к с. 149.

С. 319. Шейлок — см. примеч. к с. 141.

«Верист» — см. примеч. к с. 168.

«Кин» — см. примеч. к с. 141.

«Гражданская смерть» — пьеса итал. драматурга П. Джакометти (1861).

С. 321. «Привидения» (1881) — пьеса норв. драматурга Генрика Ибсена (1828 — 1906).

Косса (Пьетро; 1830 — 1889) — итал. писатель и драматург.

«Одинокие люди» — см. примеч. к с. 316.

«Нахлебник» (1849) — комедия И.С. Тургенева.

«Власть тьмы» (1886) — пьеса Л.Н. Толстого.

РИМ. Новая палата

С. 322. Де Феличе — см. примеч. к с. 226.

Ферри — см. примеч. к с. 146.

Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.

РИМ. Образцы «вырождения»

С. 322. *...в мае 1897 года, у Домоко...* — см. примеч. к с. 125.

С. 323. Ментана — см. примеч. к с. 103.

Царь Леонид — предводитель 300 спартанцев, задержавших армию персов в Фермопильском ущелье (480 до н.э.).

Феличе Каваллотти — см. примеч. к с. 106.

РИМ

С. 324. Гимн Гарибальди (1858) — музыка А. Оливьери, слова Л. Меркантини.

Карманьола — см. примеч. к с. 295.

Марсельеза — см. примеч. к с. 295.

Пеллу — см. примеч. к с. 111.

С. 325. Монтечиторио — см. примеч. к с. 242.

Де Феличе — см. примеч. к с. 226.

Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

Джолитти — см. примеч. к с. 276.

«Avanti» — газета итал. социалистов.

Закон Гейнце (1900) — привел к усилению адм. произвола в нем. печати и искусстве под предлогом борьбы с аморальными явлениями.

Поль Дерулэд (1846–1914) — фр. полит. деятель монархич. направления.

С. 326. Аристотель (384–322 до н.э.) — др.-греч. философ, основоположник формальной логики.

РИМ

С. 328. Palazzo Madama — см. примеч. к с. 253.

Турати — см. примеч. к с. 145.

С. 330. Галло (Никколо; 1849–1907) — итал. полит. деятель, министр нар. просвещения.

Ministeriali — см. примеч. к с. 276.

РИМ. Новое министерство

С. 330. Пеллу — см. примеч. к с. 111.

Саракко (Джузеппе; 1821–1907) — итал. полит. деятель; сенатор, министр обществ. работ.

С. 331. Висконти Веноста — см. примеч. к с. 158.

Палаццо della Consulta — резиденция м-ва иностр. дел.

Китайские события — речь идет о «боксерском» восстании в Китае (1898–1901) и воен. интервенции Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, Франции, Японии, США, России, Италии.

Криспи — см. примеч. к с. 82.

Уитлэндеры — см. примеч. к с. 247.

Кули — носильщик, грузчик, возчик, чернорабочий в странах Азии.

РИМ. Молодежь

С. 332. Араньо — см. примеч. к с. 154.

Новолиберизм — см. примеч. к с. 306.

- С. 333.** Маффео Панталеони — см. примеч. к с. 306.
Нума Дроз (1844 — 1899) — швейц. полит. деятель, президент Швейц. Конфедерации (1881; 1887).
«Майский» эмигрант — участник майских событий (см. примеч. к с. 72).
- С. 334.** Робертс (Фредерик; 1832 — 1914) — англ. маршал, командовал брит. войсками во время англо-бурской войны (1899 — 1902).
«Панталеонисты» — см. примеч. к с. 306.
- РИМ. Убийство короля Умберто**
- С. 335.** Ломбардия — см. примеч. к с. 237.
Савойский дом — см. примеч. к с. 129.
Король Умберто — см. примеч. к с. 111.
- С. 336.** Королева Маргарита — см. примеч. к с. 141.
Виктор Эммануил — см. примеч. к с. 103.
Виллафранк — город в Сев. Италии, где произошло сражение, определившее исход австро-прусской войны (1866), в которой итальянцы сражались на стороне Пруссии.
Биксио (Джиролано Нино; 1821 — 1873) — сподвижник Дж. Гарибальди.
...«второй из Тысячи»... — участник легендарного похода «тысячи» итал. патриотов во главе с Гарибальди, двинувшихся на помощь неаполитанцам, которые восстали против династии Бурбонов (1860).
- С. 337.** Альбертинский статут — см. примеч. к с. 123.
Депретис (Агостино; 1813 — 1887) — итал. полит. и гос. деятель, участник похода Гарибальди; занимал пост премьер-министра в нескольких кабинетах.
Рудини — см. примеч. к с. 104.
Кайроли (Бенедетто; 1825 — 1889) — итал. полит. и гос. деятель либер. направления, дважды был премьер-министром.
Криспи — см. примеч. к с. 82.
Джолитти — см. примеч. к с. 276.
Пеллу — см. примеч. к с. 111.
«Каморристы» — сторонники каморры, преступной организации, аналогичной мафии.
- С. 338.** Занятие Рима — см. примеч. к с. 186.
Виктор Эммануил III (1869 — 1947) — наследный принц Неаполитанский, последний король Италии (1900 — 1946).
Миланские волнения — см. примеч. к с. 72.
- С. 339.** Африканская война (1894 — 1896) — неудачная кампания, в результате которой Италия вынуждена была признать независимость Эфиопии.
Елизавета — супруга императора Франца Иосифа, убитая Л. Лукени (см. примеч. к с. 71).
Карно — см. примеч. к с. 72.
Piazza Colonna — см. примеч. к с. 118.
Секвестровать (от *итал.* sequestrare) — изъять, конфисковать.
Княжна Елена — см. примеч. к с. 129.

РИМ

- С. 340.** Бреши (Гаэтано; 1869 — 1901) — итал. анархист, убийца Умберто I.
Монц — город возле Милана.

С. 341. Иврея — город в провинции Турин.
Тренто — город в провинции Трентино.

С. 342. Синдик — мэр.

РИМ. Следы заговора

С. 343. Процесс Лукени, императрица Елизавета — см. примеч. к с. 71.

С. 344. «С ученым видом знатока» — цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Реджо (Реджо-ди-Калабрия) — город и порт в Италии, на юге Аппенинского полуострова.

РИМ

С. 345. Граф Уголино — персонаж «Божественной комедии» Данте, обреченный на вечный голод в аду за предательство.

С. 346. Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

Колонна (Просперо; 1858–1937) — князь; итал. полит. деятель, синдик (мэр) Рима (1899–1904, 1914–1919).

РИМ. Королева Маргарита

С. 346. Шпалеры — деревянные или металлич. опоры для растений.

С. 347. Цивильный лист — сумма, выделяемая гос-вом на содержание монарха и его двора.

С. 348. Кардуччи — см. примеч. к с. 106.

«Железная корона» монцского собора... — корона Лангобардского королевства, хранящаяся в храме Иоанна Крестителя в г. Монце. Ею короновались большинство герм. императоров, а также Наполеон I. Хименес (Этторе; 1855–1926) — итал. скульптор.

Пинчо — холм в Риме.

С. 349. Stabat Mater («Стояла Мать скорбящая») и De Profundis («Из глубины взываю к Тебе, Господи») — скорбные католич. гимны.

РИМ. Скандал в палате

С. 349. Пантано — см. примеч. к с. 264.

С. 350. Турати — см. примеч. к с. 145.

Секвестр — запрещение или ограничение на пользование или распоряжение каким-либо имуществом.

Ministeriali — см. примеч. к с. 276.

С. 351. Суперга — церковь в Турине, усыпальница Савойской династии.

Пантеон — храм на Марсовом поле, где погребены знаменитые итальянцы, в частности Рафаэль.

СИЛУЭТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЦЕНЫ. II. Джачинта П. Гвальтьери

С. 352. Джачинта П. Гвальтьери — см. примеч. к с. 149.

Аделаида Ристори — см. примеч. к с. 318.

Томмазо Сальвини — см. примеч. к с. 149.

Эрmete Новелли — см. примеч. к с. 140.

С. 353. «Джон-Габриэль Боркман» — пьеса Г. Ибсена (1897).

Шиллер (Иоганн Кристофор Фридрих; 1759–1805) — нем. поэт, драматург; автор трагедии «Мария Стюарт» (1800).

«Мария Стюарт» (1800) — трагедия Шиллера (см. примеч. к с. 77).

Катерина Юбше — персонаж пьесы В. Сарду «Мадам Сан-Жен».

Медея — в греч. мифологии колхидская царевна, возлюбленная аргонавта Ясона; героиня одноим. трагедии Еврипида.

Дзаккони — см. примеч. к с. 141.

«Тереза Ракен» — роман Э. Золя (1867).

С. 354. Кунстштюк (от нем. Kunststück) — фокус, трюк, проделка.

Уголино — см. примеч. к с. 345.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТР. «Жизнь» И.Н. Потапенко

С. 355. Потапенко (Игнатий Николаевич; 1856 — 1929) — рус. прозаик и драматург.

Шувалов Иван Михайлович (1865 — 1905) — рус. актер.

Неделин (Евгений Яковлевич, наст. фам. Недзельский; 1850 — 1913) — рус. актер.

Леонидов (Леонид Миронович, наст. фам. Вольфензон; 1873 — 1941) — рус. актер и режиссер, артист Моск. Худож. театра (с 1903), нар. артист СССР.

Соловцов (Николай Николаевич; 1857 — 1902) — рус. актер и театр. деятель, открыл театр итал. оперы в Одессе.

Велизарий (Мария Ивановна; 1864 — 1944) — рус. актриса, жена актера И.М. Шувалова.

С. 356. «Старый капрал» — стихотворение П. Ж. Беранже (1780 — 1857).

РИМ

С. 356. Площадь Термини — привокзальная площадь в Риме.

Via Nazionale — см. примеч. к с. 168.

Via Cavour — ул. Кавур.

С. 357. Гарпейская скала — утес, с которого в Древнем Риме сбрасывали преступников, приговоренных к смерти.

Via Serpenti — ул. Серпенти.

Мост Св. Ангела — др.-рим. мост, ведущий к одноим. замку.

Замок Св. Ангела (гробница Адриана) — мавзолей императора Адриана, позднее крепость, служившая убежищем для римских пап и тюрьмой для врагов католич. церкви.

С. 358. Купол Апостола Петра — купол собора Св. Петра, самого крупного сооружения в Ватикане.

Бернини — см. примеч. к с. 124.

Лестница Бернини — лестница, ведущая от пл. Испании к церкви Тринита деи Монти (архитекторы Ф. де Санктис и А. Спекки). Фонтан Баркачча на пл. Испании создан по проекту Пьетро Бернини, отца Лоренцо Бернини.

Костел Горной Троицы — церковь Тринита деи Монти.

Араньо — см. примеч. к с. 154.

РИМ

С. 359. Рубини (Джулио; 1844 — 1917) — итал. полит. деятель, министр казначейства (1900).

Кимирри (Бруно; 1845 — 1917) — итал. полит. деятель, министр финансов (1900 — 1901).

Саракко — см. примеч. к с. 330.

С. 360. Диффамация — см. примеч. к с. 148.

Пантеон — см. примеч. к с. 351.

С. 361. Anno santo — см. примеч. к с. 228.

Лев XIII — см. примеч. к с. 163.

Взятие Рима — см. примеч. к с. 186.

Эрмете Новелли — см. примеч. к с. 140.
 Театр Костанци — см. примеч. к с. 100.
 «Maison de Molière» («Дом Мольера») — неофициальное название театра «Комеди Франсез».

РИМ. Экс-депутат де Феличе

С. 362. Де Феличе — см. примеч. к с. 226.

Нотарбартоло — см. примеч. к с. 216.

С. 363. Энрико Ферри — см. примеч. к с. 146.

Коста — см. примеч. к с. 251.

Биссолати — см. примеч. к с. 294.

Антонио Лабриола — см. примеч. к с. 261.

Гасконь — ист. область на юго-западе Франции; гасконцы отличаются предприимчивостью и честолюбием.

НЕВЕЖА. Очерк

С. 365. Дом Вагнера (по имени первого владельца) — построен на пересечении улиц Дерибасовской и Екатерининской (архитектор Ф. Шаль; нач. 19 в.), где теперь находится «Пассаж» (архитекторы Л. Влодек и Т. Фишель; 1899).

Фиуме — см. примеч. к с. 77.

Аббатия — см. примеч. к с. 78.

С. 366. Лидо — цепь песчаных островов, отделяющих Венецианскую лагуну от Адриатики.

С. 367. «Живописное обозрение стран света» (СПб., 1872 — 1902; 1904 — 1905) — еженедельный иллюстрированный журнал; в 1882 г. появилось лит. приложение, превратившееся в ежемесячник (с 1892).

С. 370. «Дядя Ваня» (1897) — см. примеч. к с. 316.

Императорская сцена — Александринский театр в Петербурге, старейший рус. драм. театр (после революции — Ленинградский академ. театр драмы им. А.С. Пушкина).

Савина (Мария Гавриловна; 1854 — 1915) — актриса Александринского театра.

Мравина (Евгения Константиновна; 1864 — 1914) — солистка Мариинского театра.

Славина (Мария Александровна; 1858 — 1951) — солистка Мариинского театра (после революции — Ленинградский гос. академ. театр оперы и балета им. С.М. Кирова; 1934 — 1992).

РИМ. Сто лет после «Тоски»

С. 372. Рафаэль Санцио — см. примеч. к с. 124.

Форнарина (булочница) — прозвище Маргариты Лути, возлюбленной Рафаэля.

С. 373. Агвинальдо (Эмилио; 1869 — 1964) — борец за освобождение Филиппин сначала от власти Испании, а затем и США (1899 — 1902).

...англичане полтора года безуспешно солят... — см. примеч. к с. 246.

...в 1896 году... на итальянцев налетела абиссинская орда... — см. примеч. к с. 339.

Криспи — см. примеч. к с. 82.

Баратьери (Орест; 1841 — 1901) — генерал, командовал итал. армией в Эфиопской кампании (1894); был отдан под суд за неудачное ведение воен. действий.

«Тоска» — см. примеч. к с. 230.

Сарду — см. примеч. к с. 113.

С. 374. Меттерних (Клемент Венцель; 1773 — 1859) — австр. дипломат и министр, канцлер Австрии (с 1821).

ОДНА МИНУТА. *Рождественский рассказ*

С. 375. Токайское — сорт вина.

С. 376. Гаршфальва — город в Венгрии.

Уй-Домбовар — Новый Домбовар, город в Венгрии.

Эд перц — одна минута (*венгер.*).

Сочельник — канун церковных праздников Рождества и Крещения.

С. 377. Семиградия — Трансильвания, ист. область в соврем. Румынии.

РИМ. Разного рода бандиты

С. 378. Чивитавеккья — порт на Тирренском море.

Сардиния — остров в Средиземном море.

С. 380. Фавье (Пьер-Мари-Альфонс; 1837 — 1905) — католический епископ, глава католической миссии в Пекине (с 1870).

...осада во дворце британского посольства... — события в Пекине, где повстанцы осадили посольский квартал (см. примеч. к с. 331).

СИЛУЭТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЦЕНЫ. III. Бенини

С. 381. Гольдони — см. примеч. к с. 286.

Берсецио (Витторио; 1828 — 1900) — итал. драматург, публицист.

Пьеса «Злоключения господина Мелкосошкина» («Несчастья господина Травет»; 1876) написана на пьемонтском диалекте.

С. 382. Галлина (Джачинто; 1852 — 1897) — итал. драматург, представитель венецианского диалектного театра.

С. 383. Дзаккони — см. примеч. к с. 141.

Факотум — доверенное лицо.

С. 384. «Дама с камелиями» — см. примеч. к с. 112.

Муне-Сюли — см. примеч. к с. 149.

РИМ. Новая опера Масканьи

С. 385. Масканьи — см. примеч. к с. 124.

«Маски» (1901) — опера Масканьи; впервые поставлена в рим. театре Костанци и миланском «Ла Скала».

Костанци — см. примеч. к с. 100.

Илика (Луиджи; 1857 — 1919) — итал. драматург, либреттист.

«Богема» — см. примеч. к с. 248.

«Тоска» — см. примеч. к с. 230.

«Ирис» — см. примеч. к с. 141.

С. 386. Арлекин, Коломбина, Паяц, Панталон, Пульчинелла — персонажи итал. комедии дель арте.

Полишинель — фр. имя Пульчинеллы, персонажа итал. комедии дель арте.

Ванька Рутютю — длинноногая кукла в колпаке, юж.-рус. аналог Пульчинеллы, Полишинеля и Петрушки.

Pizzicato (пиццикато, пиччикато; *итал.*) — извлечение звука щипком на струнном смычковом муз. инструменте.

Партикулярный — штатский, частный.

РИМ. Экспедиция герцога Абрुццкого

С. 389. «Полярная звезда» — судно, на котором герцог Абруццкий совершил экспедицию к Сев. полюсу (1899).

Герцог Абруццкий (принц Луиджи Амадей Савойский; 1873 — 1933) — итал. путешественник, побывал на Земле Франца Иосифа (1898; 1900).

Каньи (Умберто; 1863 — 1932) — участник экспедиции герцога Абруццкого к Сев. полюсу; впоследствии адмирал.

Далла Ведова (Джузеппе; 1834 — 1919) — итал. географ.

Христиания — столица Норвегии.

Остров принца Рудольфа — самый сев. о-в архипелага Земля Франца Иосифа.

С. 390. Антонов огонь — гангрена.

Куэрини (Франческо) — участник экспедиции герцога Абруццкого к Сев. полюсу.

Кавалли (Молинели Пьетро Ахилл; 1865 — 1958) — врач, участник экспедиции герцога Абруццкого к Сев. полюсу.

С. 391. Нансен (Фритъоф; 1861 — 1930) — норв. полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира (1922).

РИМ

С. 395. «На Шипке все спокойно» — 1) иронич. характеристика стремления скрыть плачевное состояние дел, опасное положение или представить всё в более выгодном для себя свете; 2) триптих В.В. Верещагина, изображающий рус. солдата, погибшего на Шипкинском перевале. Художник заимствовал название из офиц. донесений генерала Ф.Ф. Радецкого, который во время рус.-тур. войны (1877 — 1878) докладывал начальству, что «на Шипке все спокойно», в то время как солдаты замерзали под огнем противника.

Рубини — см. примеч. к с. 359.

Кимирири — см. примеч. к с. 359.

Финали (Гаспаре; 1829 — 1914) — итал. полит. деятель, министр казначейства (1901).

Висконти Веноста — см. примеч. к с. 158.

Соннино — см. примеч. к с. 220.

Саракко — см. примеч. к с. 330.

Молодой король — Виктор Эммануил III (см. примеч. к с. 338).

С. 396. Пеллу — см. примеч. к с. 111.

Каваллотти — см. примеч. к с. 106.

Майские волнения 1898 — см. примеч. к с. 72.

Джолитти — см. примеч. к с. 276.

Луццатти — см. примеч. к с. 140.

Вальдек-Руссо (Рене; 1846 — 1904) — премьер-министр Франции (1899 — 1902); во время полит. кризиса, вызванного делом Дрейфуса, сформировал кабинет, включивший все группировки от крайне правой до крайне левой.

Королева Елена — см. примеч. к с. 129.

РИМ

С. 396. «Маски» — см. примеч. к с. 385.

С. 397. «Ирис» — см. примеч. к с. 141.

Масканьи — см. примеч. к с. 124.

Чимароза (Доменико; 1749 – 1801) — итал. композитор, преимущественно оперный; работал в Италии, России, Австрии.

«Тоска» — см. примеч. к с. 230.

С. 398. Павана (павана; *итал.*) — старин. бальный танец.

Менуэт — старин. фр. нар. танец.

Мадригал — небольшое муз.-поэтич. произведение лирич. характера.

Фурлана — итал. нар. танец.

С. 399. Иллика — см. примеч. к с. 385.

Дрейфус — см. примеч. к с. 83.

Рикорди (Джованни; 1785 – 1853) — муз. издатель, основатель нотной торговли в Италии.

РИМ. Д. Верди

С. 400. Верди (Джузеппе; 1813 – 1901) — итал. композитор.

«Сила судьбы» — опера Дж. Верди; была впервые поставлена в Мариинском театре (1862).

Николай Павлович (Романов; 1796 – 1855) — император Николай I (1725 – 1855). Премьера оперы «Сила судьбы» состоялась во время правления Александра II (1855 – 1881).

«Дон Карлос» — опера Дж. Верди; премьера состоялась в париж. театре «Гранд Опера» (1867).

...*в присутствии Наполеона и Евгении...* — речь идет о Наполеоне III (1852 – 1870) и его супруге Евгении.

«Аида» — опера Дж. Верди; премьера состоялась в Каире (1871).

Хедив — титул паши Египта.

С. 401. «Сельская честь» — см. примеч. к с. 128.

«Паяцы» — опера Р. Леонкавалло (см. примеч. к с. 300); премьера состоялась в Милане (1892).

«Тоска» — см. примеч. к с. 230.

«Лозингрин» — опера Р. Вагнера; премьера состоялась в Веймаре (1850).

«Вертер» (1886) — опера фр. композитора Ж. Массне.

Вальс Мюзеты — из оперы Дж. Пуччини «Богема».

«Трубадур» — опера Дж. Верди; первая постановка состоялась в рим. театре Аполло (1853).

С. 402. Ной — библ. праведник, спасенный Богом от всемирного потопа.

ОБ АКТЕРСКОЙ ОСЕДЛОСТИ. Письмо из Рима

С. 402. Новелли — см. примеч. к с. 140.

С. 403. Галло — см. примеч. к с. 330.

«Дом Гольдони» («Casa di Goldoni») — см. примеч. к с. 140.

Густаво Сальвини — см. примеч. к с. 141.

Жан Экар — см. примеч. к с. 141.

«Нахлебник» — см. примеч. к с. 321.

Дзаккони — см. примеч. к с. 141.

С. 404. «Ревизор» (1836) — комедия Н.В. Гоголя.

С. 405. Дузе — см. примеч. к с. 149.

Тина ди Лоренцо — см. примеч. к с. 149.

Маджи — см. примеч. к с. 281.

РИМ

С. 407. Каневаро (Феличе Наполеоне; 1838 – 1926) — адмирал и полит. деятель; министр иностр. дел в кабинете Пеллу (1898 – 1899).

Императрица Елизавета — см. примеч. к с. 339.

Король Умберто — см. примеч. к с. 111.

Джантурко (Эмануэле; 1857–1907) — итал. юрист и полит. деятель, министр юстиции.

РИМ. Культурность или невежество?

С. 413. ...вы услышите из его уст о Рафаэле «Буонаротти», о «ваятеле» Тициане «*да Винчи*», об «Освобожденном Иерусалиме» Ариосто... — Жаботинский пародирует римского обывателя, путающего Рафаэля с Буонаротти, Тициана с да Винчи и Тассо с Ариосто.

Купол Св. Петра — см. примеч. к с. 358.

Поэма Данте — см. примеч. к с. 290.

РИМ

С. 414. Саракко — см. примеч. к с. 330.

Джолитти — см. примеч. к с. 276.

Лигурия — прибрежный район сев.-зап. Италии.

Соннино — см. примеч. к с. 220.

С. 415. ...«мы тебе кланяемся, княже, [а по-твоему не хотим]»... — форма отказа новгородского веча.

Принетти (Джулио; 1851–1908) — итал. полит. деятель, крупный промышленник; министр обществ. работ (1896–1897), министр иностр. дел (1901).

Баччелли — см. примеч. к с. 81.

Джолитти — см. примеч. к с. 276.

С. 416. Энрико Ферри — см. примеч. к с. 146.

Монтечиторио — см. примеч. к с. 242.

Араньо — см. примеч. к с. 154.

С. 417. Китайские «боксеры» — см. примеч. к с. 331.

РИМ

С. 418. Lex Heinze — закон Гейнце (см. примеч. к с. 325).

Площадь Термини — см. примеч. к с. 356.

С. 420. Колонна — см. примеч. к с. 346.

Русполи — см. примеч. к с. 158.

Торлониа (Леополдо; 1853–1918) — синдик (мэр) Рима (1882–1887).

С. 421. Бернини — см. примеч. к с. 124.

Fontana Trevi — см. примеч. к с. 182.

Ундина — дух воды в жен. образе, русалка, наяда.

Наяды — в греч. мифологии дочери Зевса, нимфы водной стихии.

Нереиды — в греч. мифологии морские божества, дочери Нерея и океаниды Дориды.

Океаниды — в греч. мифологии дочери титана Океана и Тефиды.

С. 422. Монументы Веспасиана — обществ. писсуары. Рим. император Тит Флавий Веспасиан ввел налог на обществ. туалеты.

Умирающий галл — скульптура второй пол. 3 в. до н.э.; оригинал утрачен, копия находится в Капитолийском музее.

Боккаччо (Джованни; 1313–1375) — итал. писатель, выдающийся представитель литературы эпохи Возрождения.

С. 423. Casa di Goldoni — см. примеч. к с. 140.

Бутти (Энрико Аннибале; 1868–1912) — итал. писатель; автор пьесы «Люцифер» (1900).

«В погоне за наслаждением» — пьеса Э. Бутти (1900).

РИМ

С. 424. Джузеппе Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

С. 425. Молодой король — см. примеч. к с. 395.

Луццатти — см. примеч. к с. 140.

Соннино — см. примеч. к с. 220.

Королева Маргарита — см. примеч. к с. 141.

С. 426. Саракко — см. примеч. к с. 330.

Ферри — см. примеч. к с. 146.

Наряд Пульчинеллы (см. примеч. к с. 386) — белый балахон и панталоны, белый колпак на голове, черная полумаска с носом-клювом, горб.

РИМ

С. 428. По-каморристически — см. примеч. к с. 337.

С. 430. Баччелли — см. примеч. к с. 81.

Густаво Сальвини — см. примеч. к с. 141.

«Кин» — см. примеч. к с. 141.

«Граф де Ризоор» — пьеса Сарду (см. примеч. к с. 113).

«Лир» — пьеса У.Шекспира «Король Лир» (1605–1606).

«Свадьба Фигаро» (1784) — пьеса фр. комедиографа Пьера Бомарше (1732–1799).

Costanzi — см. примеч. к с. 100.

Розина — см. примеч. к с. 207.

Патти — см. примеч. к с. 150.

РИМ

С. 431. Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

Воллемборг (Леоне; 1859–1932) — итал. экономист и полит. деятель, министр финансов (1901–1903)

Энрико Ферри — см. примеч. к с. 146.

Панталеони — см. примеч. к с. 306.

РИМ. Уличная жизнь

С. 431. Via Nazionale — см. примеч. к с. 168.

С. 432. Piazza del Popolo — пл. Народа.

С. 434. Ванька-Рутюто — одесский аналог Пульчинеллы (см. примеч. к с. 386) и Петрушки.

Ритурнель — вставка в аккомпанемент вокального номера.

Замок Св. Ангела — см. примеч. к с. 357.

Пинчо — см. примеч. к с. 348.

Гротта-Феррата — вино, произведенное в одноим. аббатстве.

РИМ

С. 437. Рутеллиевские нимфы — см. примеч. к с. 421.

Просперо Колонна — см. примеч. к с. 346.

РИМ

С. 437. ...связана обязательствами с Германией и Австро-Венгрией... — см. примеч. к с. 155.

С. 438. Триестские националисты — борцы против австр. господства (ирредентисты; см. примеч. к с. 106).

Адуа — место жестокого поражения итальянцев (1896), вторгшихся в Эфиопию.

Французский Тунис — гос-во в Сев. Африке, протекторат Франции (с конца 19 в.).

...*Тулон окажется дополнением Кронштадта* — имеется в виду мирный визит в Кронштадт эскадры фр. броненосцев (1891), торжественно встреченных рус. правительством и Александром III.

РИМ

С. 439. Паскарелла (Чезаре; 1858 — 1940) — итал. писатель, уроженец Рима, один из виднейших представителей диалектной литературы.

Трилусса (Карло Альберто Салустри; 1871 — 1950), — рим. поэт, представитель диалектной литературы.

Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.

С. 440. Ницше — см. примеч. к с. 283.

С. 441. ...*молодому королю...* — см. примеч. к с. 395.

«Notte di Caprera» («Ночи на Капрере»); Капрера — островок, на котором умер Дж. Гарибальди.

Виктор Эммануил II — см. примеч. к с. 103.

Вольтурно и Гарильяно — реки, на которых отряды Гарибальди побеждали армию Франциска II.

РИМ

С. 442. Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

С БЕРЕГОВ ТИБРА

С. 443. Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

Пантеон — см. примеч. к с. 351.

Умберто — см. примеч. к с. 111.

С. 444. Просперо Колонна — см. примеч. к с. 346.

Энрико Ферри — см. примеч. к с. 146.

Джолитти — см. примеч. к с. 276.

С. 445. Сапыенца — Рим. ун-т «Ла Сапыенца».

Соннино — см. примеч. к с. 220.

Луццатти — см. примеч. к с. 140.

Эрмете Новелли — см. примеч. к с. 140.

Valle — см. примеч. к с. 140.

С. 446. Nazionale — см. примеч. к с. 271.

Manzoni — см. примеч. к с. 270.

Costanzi — см. примеч. к с. 100.

Зудерман (Герман; 1857 — 1928) — нем. писатель, автор трагедии «Иоанн Креститель» (1898).

«Фаворитка» — опера Доницетти (см. примеч. к с. 122).

«Рюи Блаз» — опера итал. композитора Филиппо Маркетти (1831 — 1902).

Джемма Беллинчони (1864 — 1950) — итал. оперная певица и педагог.

«Федора» — опера У. Джордано (см. примеч. к с. 122).

«Мертвый город» — см. примеч. к с. 113.

Дузе — см. примеч. к с. 149.

Дзаккони — см. примеч. к с. 141.

РИМ

С. 447. Фави (Фавье) — см. примеч. к с. 380.

Мильеран (Александр; 1859 — 1943) — полит. деятель, адвокат, социалист, первый министр-социалист в составе фр. правительства.

РИМ

- С. 448.** Месседаля (Анджело; 1920—1901) — итал. экономист.
С. 449. Ариосто (Лудовико; 1474—1533) — итал. поэт и драматург эпохи Возрождения.
Вергилий — см. примеч. к с. 94.
Тассо (Торквато; 1544—1595) — итал. поэт эпохи Возрождения.
Депретис — см. примеч. к с. 337.

РИМ

- С. 449.** Курат — кюре, приходский священник (*фр.*).
С. 450. Каморрист — член каморры (см. примеч. к с. 337).
С. 451. Боккаччо — см. примеч. к с. 422.
С. 452. Лев XIII — см. примеч. к с. 163.
Церковь Св. Петра — католич. церковь.

РИМ

- С. 452.** Кардинал Рамполла — см. примеч. к с. 165.

РИМ. Gabriele

- С. 452.** Королева Маргарита — см. примеч. к с. 141.
С. 453. «Ницшеанский» — см. примеч. к с. 283.
«Прерафаэлитский» — см. примеч. к с. 280.
Масканьи — см. примеч. к с. 124.
Апулия — провинция на юго-востоке Италии.
С. 455. Петрарка — см. примеч. к с. 102.
Тассо — см. примеч. к с. 449.
Hôtel de Russie — фешенебельный отель в центре Рима.
Элеонора Дузе — см. примеч. к с. 149.
С. 456. «Мертвый дом» — см. примеч. к с. 290.
Дзаккони — см. примеч. к с. 141.
Агамемнон Атрид — царь Микен, один из героев «Илиады», возглавивший поход на Троию.
Арголида — область Греции в вост. ч. п-ва Пелопоннес.
Кассандра — прорицательница, ставшая при взятии Трои добычей Агамемнона.
Персейский источник — назв. источника в Микенах. Персей — в греч. мифологии сын Зевса и Данаи, основатель Микен.

РИМ

- С. 457.** Джолитти — см. примеч. к с. 276.
Пеллу — см. примеч. к с. 111.
Лигурия — см. примеч. к с. 414.
Соннино — см. примеч. к с. 220.
Гульельмо Ферреро (1871—1942) — итал. социолог, историк, публицист, гос. деятель.

РИМ

- С. 459.** Бреши — см. примеч. к с. 340.
Умберто — см. примеч. к с. 111.
С. 460. Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.
Королева Елена — см. примеч. к с. 129.
Виктор Эммануил — см. примеч. к с. 338.

- С. 461.** Acqua Marcia — акведук Марция, отличается холодной водой.
 Д[митрий] С[ергеевич] Мережковский (1866 — 1941) — рус. писатель и религ. философ. «Юлиан отступник» (1896) — первая часть его трилогии «Христос и Антихрист».
 Ал[ексей] М[итрофанович] Федоров (1869 — 1949) — поэт, переводчик, журналист, драматург; автор пьесы «Старый дом» (1901).

РИМ

- С. 462.** Соловцов — см. примеч. к с. 355.
 Станислао Фальки (1851 — 1922) — итал. композитор.
 Уго Флерес (1851 — 1939) — итал. поэт, журналист, критик.
 Тартини (Джузеппе; 1692 — 1770) — итал. скрипач и композитор, выработал осн. приемы ведения смычка. «Соната дьявола» — одно из его известнейших произведений.
С. 463. Каватина — сольная лирич. партия в опере.
 Менуэт — см. примеч. к с. 398.

УЧЕНИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. Из школьных воспоминаний

- С. 465.** Метранпаж — старший наборщик или руководитель группы наборщиков в типографии.

РИМ

- С. 469.** Трастеверинское Заречье — см. примеч. к с. 90.
 Борго — старый район Рима.
С. 470. Золоторотцы — здесь: ассенизаторы.
 Aqua Acetosa — акведук Ацетоза.
 Абруцци — см. примеч. к с. 274.
 Калабрия — область, расположенная на оконечности итал. «сапога»; гл. город Реджо-ди-Калабрия.
 Соннино — см. примеч. к с. 220.
 Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

РИМ. Русская колония в Риме

- С. 471.** Иоланда Маргарита — принцесса Иоланда (1901 — 1986), дочь короля Виктора Эммануила III.
 Араньо — см. примеч. к с. 154.
 «Новое время» — см. примеч. к с. 179.
 Гиперборейские страны — в греч. мифологии страны Севера.
С. 472. Caffé Greco — см. примеч. к с. 88.
 Иванов (Александр Андреевич; 1806 — 1858) — рус. художник, мастер ист. живописи.
 Боткин (Василий Петрович; 1810 — 1869) — рус. писатель, брат врача и ученого С.П. Боткина.
 Брюлов (Карл Павлович; 1799 — 1852) — рус. живописец.
 Сведомские — см. примеч. к с. 95.
 Бакалович (Степан Владиславович; 1857 — 1947) — рус. художник, представитель позднего академизма.
 Рицони — см. примеч. к с. 107.
 Модестов (Василий Иванович; 1839 — 1907) — рус. историк и филолог, специалист в области античности.
 Via Sistina — ул. Систина.

С. 473. Русский дом — Дом Св. Станислава, рим. резиденция польск. кардиналов (с 17 в.); посольство России (в 1890-е гг.) потребовало, чтобы хозяева дома безвозмездно принимали православных паломников. Николай Угодник (Чудотворец) — один из наиболее почитаемых христ. святых; его мощи хранятся в базилике Св. Николая (г. Бари).

РИМ. Между королем и нацией

С. 475. Савойский дом — см. примеч. к с. 129.

Шпалеры — см. примеч. к с. 346.

С. 476. Королева Елена — см. примеч. к с. 129.

Монте Марио — холм на правом берегу Тибра, к северу от Борго и Ватикана.

Квиринал — дворец королевского семейства на холме Квиринал.

Пинчо — см. примеч. к с. 348.

С. 477. Иоланда Маргарита — см. примеч. к с. 471.

Богдыхан — см. примеч. к с. 63.

Луиджи Моранди (1844 — 1912) — историк итал. литературы.

Виктор Эммануил III — см. примеч. к с. 338.

РИМ

С. 478. Вилла Боргезе — знаменитый рим. парк.

Квиринал — см. примеч. к с. 476.

Асqua Marcia — см. примеч. к с. 461.

Виктор Эммануил — см. примеч. к с. 338.

Nicoló (Никола I Петрович-Негош; 1841 — 1921) — князь (1861 — 1910), а затем король (1910 — 1918) Черногории.

Просперо Колонна — см. примеч. к с. 346.

С. 480. Крупп — династия сталелитейных королей Германии.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

С. 480. Аника-воин — герой рус. нар. стиха об Анике и Смерти. В переносном смысле означает хвастуна, человека, храброго лишь на словах, вдали от опасности.

С. 481. Праздник св. Марии — в католич. церкви месяц май посвящен Деве Марии (с 18 в.).

Альбано — город примерно в 20 км от Рима.

Madonnari — участники процессии в честь праздника Мадонны (*рим. гуал.*).

Адуа — см. примеч. к с. 438.

С. 484. Трилусса — см. примеч. к с. 439.

Аспазия — гетера, возлюбленная правителя Афин Перикла (420 — 490 до н.э.).

С. 485. Октава — стихотворная строфа из восьми строк.

Секстина — шестистишие с двумя рифмами.

РИМ

С. 486. Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

Джолитти — см. примеч. к с. 276.

Соннино — см. примеч. к с. 220.

Ферри — см. примеч. к с. 146.

С. 487. Пеллу — см. примеч. к с. 111.

Анна Кулишова (Розенштейн, 1853 — 1925) — рус. народница, участвовала в создании Итал. социалист. партии (с 1878).

Турати — см. примеч. к с. 145.

Секвестр — см. примеч. к с. 350.

Иоланда Маргарита — см. примеч. к с. 471.

Априоризм (от *лат.* a priori — «предшествующий») — познание до опыта, изначальное познание.

НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛУ

С. 488. Праздник Ивана Купалы — нар. праздник летнего солнцестояния; отмечается в ночь на 24 июня (7 июля), когда родился Иоанн Предтеча (Креститель), возвестивший о скором явлении Христа.

Храм Св. Иоанна Латеранского — кафедральный собор и резиденция рим. епископа.

Piazza Navona — см. примеч. к с. 130.

Площадь Сан-Джованни — площадь перед храмом Св. Иоанна Латеранского.

Фраскати, Гротта-Феррата — сорта итал. вин.

С. 489. Бернини — см. примеч. к с. 124.

Ландо — автомобиль с откидным верхом.

С. 490. Канцонетта (*итал.*) — песенка.

С. 491. *...ночь царя Ирода принесла голову Предтечи...* — царь Ирод обещал исполнить любую просьбу своей падчерицы Саломеи, которая, по наущению ее матери Иродиады, попросила голову Иоанна Крестителя, обличавшего греховный союз Ирода с Иродиадой.

НЕАПОЛЬ. На распутье

С. 492. Феррари — город в Италии.

«Avanti» — см. примеч. к с. 325.

Ферри — см. примеч. к с. 146.

С. 493. Оддино Моргари (1865 — 1944) — итал. журналист и полит. деятель, социалист.

Май 1898 — см. примеч. к с. 72.

Артуро Лабриола (1873 — 1959) — итал. журналист, экономист, правовед, один из лидеров и теоретиков анархо-синдикализма.

РИМ

С. 495. Дзанарделли — см. примеч. к с. 158.

Воллембург — см. примеч. к с. 431.

С. 496. Каркано (Паоло; 1843 — 1918) — итал. полит. деятель, министр финансов (1901 — 1904).

Луццатти — см. примеч. к с. 140.

Соннино — см. примеч. к с. 220.

С. 497. Моргари — см. примеч. к с. 493.

Св. Альфонс Лигворский (Лигуорский; 1696 — 1787) — епископ, теолог; был канонизирован (1831) и признан наставником католич. церкви (1871).

ПИСЬМА ИЗ НЕАПОЛЯ. I

С. 498. Via Toledo — ул. Толедо.

Везувий — вулкан на юге Италии.

- Капри — остров в Неаполитанском заливе.
 Ормузд — король света в верованиях др. персов; Ариман — князь зла и тьмы.
- С. 499.** «Кармела» — неаполит. песня, муз. Э. де Куртиса.
 «Когда луна встает над Марекьяро» — неаполит. песня «А Марекьяро», муз. Ф.П. Тости, сл. С. ди Джакомо.
 Арно — река в Тоскане.
 Лаццарони — нищий, босяк (*итал.*).
 Борго — см. примеч. к с. 469.
 Villa Nazionale — парк в Неаполе.
- С. 500.** А.М. Федоров — см. примеч. к с. 461.
 Кьяйя — улица и набережная в Неаполе.
- С. 501.** ...показать *форестьеру Napoli bella...* — показать иностранцу прекрасный Неаполь.
 «Богема» — см. примеч. к с. 248.
 «Тоска» — см. примеч. к с. 230.
 «O dolci basi» («О нежные лобзанья»; *итал.*; рус. пер.: «О сладкие воспоминанья») — ария Каварадосси из 3-го акта оперы Дж. Пуччини «Тоска».
- С. 502.** Сильвио Пелико (1789 — 1854) — писатель, журналист, обществ. деятель.
 Сиена — город в районе Тосканы.
 Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.
 Октавы — см. примеч. к с. 485.
 ...из Янчина... — И. Янчин написал «Краткий учебник географии».
- С. 503.** Баньоли — город в Юж. Италии.
 Поццуоли — порт на берегу Неаполитанского залива.
 Аньяно — озеро возле Неаполя.
 Королева Елена — см. примеч. к с. 129.
 Виктор Эммануил — см. примеч. к с. 338.
- С. 504.** Нерон (Тиберий Клавдий; 37 — 68) — последний рим. император из династии Юлиев-Клавдиев.

НЕАПОЛЬ. II

- С. 505.** ...*Р. Ломбардо, автор драмы «Кровь», русскую перепелку которой... под заглавием «Министр Гамм»...* — стихотворная драма «Министр Гамм. Кровь»; подробнее об этой пьесе и проблеме ее авторства см. на с. 15.
 Артуро Лабриола — см. примеч. к с. 493.
 Покойный король — Умберто I (см. примеч. к с. 111).
 Май 1898 — см. примеч. к с. 72.
 «Жизнь» (1897 — 1901) — лит.-полит. журнал «легальных марксистов»; издавался в Петербурге, Лондоне и Женеве.
 «Avanti» — см. примеч. к с. 325.
 «Critica Sociale» — журнал итал. социалистов.
 Гарибальдийская рубашка — см. примеч. к с. 144.
 Греко-турецкая война — см. примеч. к с. 125.
- С. 506.** Кьянти — сорт красного вина.
 Каморра — см. примеч. к с. 337.

- Крупп — см. примеч. к с. 478.
 Шарлотта Корде (д'Армон; 1768 — 1793) — убийца трибуна фр. революции Ж.П. Марата.
- С. 507.** Партенопейская республика — республика, провозглашенная (1799) неаполитанцами, свергнувшими с помощью фр. армии власть испанских Бурбонов.
 Пирр (319/318 — 272 до н.э.) — царь Македонии и Эпира, воевавший с Римом и Карфагеном.
- С. 508.** Франческьелло — Франциск II (1836 — 1894), последний монарх из династии неаполитанских Бурбонов.
- С. 509.** Виктор Эммануил III — см. примеч. к с. 338.
 Мазаньелло (Томмазо Аньелло; 1620 — 1647) — итал. рыбак, вождь нар. восстания в Неаполе (1647).
 Кола ди Риэнцо (Коза ди Риенцо; 1313 — 1354) — итал. полит. деятель, возглавивший антифеод. восстание, в результате которого была учреждена Римская респ., и ди Риенцо провозглашен нар. трибуном (1347).
 Матильда Серאו — см. примеч. к с. 293.
- С. 510.** Беллини (Винченцо; 1801 — 1835) — итал. композитор, крупнейший мастер бельканто.
 Россини (Джоаккино; 1792 — 1868) — композитор, с творчеством которого связан расцвет итал. оперы 19 в.

ПИСЬМА ИЗ НЕАПОЛЯ. III

- С. 511.** Баччелли — см. примеч. к с. 81.
- С. 514.** Берсальер — военнослужащий особых стрелковых частей итал. армии. Круглую черную шляпу берсальера традиционно украшают петушиные перья.
- С. 515.** Верди — см. примеч. к с. 400.
 Квестура — местное полиц. управление в Италии.
 Исполать — слава, хвала.
- С. 516.** Жилет фэнтези — стиль «фэнтези» в одежде отличается разнообразием форм и фонов.
 Криспи — см. примеч. к с. 82.
- С. 517.** Калабрия — см. примеч. к с. 470.
- С. 518.** Piazza Dante — пл. Данте.
 Вергилий — см. примеч. к с. 94.

ВСКОЛЬЗЬ

- С. 519.** Вандея — департамент на западе Франции; центр мятежей, поднятых роялистами и католиками, которые выступали за реставрацию Бурбонов (конец 18 — нач. 19 в.).

ВСКОЛЬЗЬ

- С. 521.** Соловцовская труппа — см. примеч. к с. 355.
...я новичок в этой рубрике... — статья опубликована под рубрикой «Маленький фельетон».
...об овцах судили-рядили, а спросить овец-то и забыли — цитата из басни И.А. Крылова «Волки и овцы».
 «Пьлки своя» — здесь: свою труппу.
 Великий пост — 48-дневный пост перед Пасхой.

«Сибиряковский» театр — одесский театр на ул. Пастера, открытый антрепренером Александром Иллиодоровичем Сибиряковым.

С. 522. Суворинский Малый театр (театр Лит.-художеств. о-ва) — рус. театр, существовавший в Петербурге (Петрограде) в 1895 — 1917 гг. Размещался в здании быв. Апраксинского театра на Фонтанке.

Куперник (Лев Абрамович; 1845 — 1905) — адвокат и публицист.

Андреевский (Павел Аркадьевич; 1850 — 1890) — адвокат и журналист. «Горе от ума» (1824) — комедия А.С. Грибоедова (1795 — 1829).

С. 523. Дальский (Мамонт Викторович; наст. фам. Неелов; 1865 — 1918) — рус. артист.

Пасхалова (Анна Александровна, наст. фам. Чегодаева; 1867 — 1944) — рус. актриса, играла в театрах Одессы, Харькова.

«Бесприданница» (1879) — пьеса А.Н. Островского (1823 — 1886).

С. 524. «Привидения» — см. примеч. к с. 321.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 528. «Одиссея» — см. примеч. к с. 94.

С. 529. Бендеры — город в Молдавии.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 529. Савина — см. примеч. к с. 370.

Комиссаржевская (Вера Федоровна; 1864 — 1910) — рус. актриса.

Варламов (Константин Александрович; 1848 — 1915) — актер Александринского театра.

Давыдов (Владимир Николаевич; 1849 — 1925) — рус. актер, театр. педагог.

«Дядя Ваня» — см. примеч. к с. 316.

Рогожин, Настасья Филипповна — персонажи романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (1868).

С. 530. Лассаль (Фердинанд; 1825 — 1864) — нем. полит. деятель и писатель.

Каваллотти — см. примеч. к с. 106.

Ахилл — один из героев «Иллиады», убивший Гектора.

Гектор — один из героев «Иллиады», убивший Патрокла, друга Ахилла.

...на фонтанском трамвае... — на трамвае, связывающем Фонтан с центром Одессы.

С. 531. Бешмет — верх. муж. одежда на Сев. Кавказе и в Ср. Азии.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 532. Скадовск — городок на юге Украины.

С. 534. Лиман — мелководный залив.

Хаджибей, Куяльник — назв. одесских лиманов.

Эдем — рай.

Валгалла — в скандинавской мифологии обиталище душ воинов, павших в бою.

С. 535. «Орлеанская дева» (1879) — опера П.И. Чайковского (по Шиллеру).

«Доктор Штокман» («Враг народа»; 1882) — пьеса Г. Ибсена.

«Власть тьмы» — см. примеч. к с. 321.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 536. ...*направлялся к Либману...* — в кафе-кондитерскую Либмана.

С. 537. ...*мундир на белой подкладке...* — белая шелковая подкладка студенческого мундира указывала на состоятельность ее обладателя.

Бернштейн — см. примеч. к с. 296.

Каутский (Карл; 1854 — 1938) — экономист, историк и публицист, один из лидеров нем. социал-демократов.

«Капитал» — основополагающий труд К. Маркса (1867).

С. 538. «Критика некоторых положений политической экономии» — работа К. Маркса (1859).

Гёффдинг (Харальд; 1843 — 1931) — дат. философ и психолог.

Иодль (Фридрих; 1849 — 1915) — нем. философ.

Вундт (Вильгельм; 1832 — 1920) — нем. психолог, физиолог и философ.

Спенсер (Герберт; 1820 — 1903) — англ. философ и социолог, один из основоположников позитивизма.

Виндельбанд (Вильгельм, 1848 — 1915) — нем. философ, глава баденской школы неокантианства.

С. 539. Петрококино — одесский торговый дом бр. Петрококино (с 1859). Ницше — см. примеч. к с. 283.

«Заратустра» — см. примеч. к с. 279.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 540. Буры — см. примеч. к с. 246.

Сирано — см. примеч. к с. 281.

Джинго — см. примеч. к с. 247.

Эмиль Камбье — представитель О-ва моск. и рос. конно-железных дорог.

С. 541. Подволочиск — поселок в Тернопольской обл., Украина.

«Доктор Штокман» — см. примеч. к с. 535.

РУССКИЙ ТЕАТР

С. 543. *Bel canto* — см. примеч. к с. 270.

Верди — см. примеч. к с. 400.

«Трубадур» — см. примеч. к с. 401.

Азучена, Манрико, Элеонора, граф ди Луна — персонажи оперы «Трубадур».

ВСКОЛЬЗЬ

С. 547. «Снегурочка» (1880) — опера Н. Римского-Корсакова по одному из пьес А. Островского.

С. 548. Греко-турецкая война — см. примеч. к с. 125.

Альфред де Мюссе — см. примеч. к с. 317.

РУССКИЙ ТЕАТР

С. 548. «Севильский цирюльник» — опера Дж. Россини (1816).

С. 549. Кунштютк — см. примеч. к с. 352.

РУССКИЙ ТЕАТР

С. 549. «Аида» — см. примеч. к с. 400.

КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕР

С. 550. Сапельников (Василий Львович; 1868 — 1941) — рус. пианист, дирижер, проф. Москов. консерватории (1897 — 1899).

Алоиз (Владислав Францевич; 1860 — 1918) — рус. виолончелист и композитор, препод. Петербург. консерватории.

Трио Чайковского — фортепианное трио «Памяти великого артиста» (1882).

Николай [Григорьевич] Рубинштейн (1835 — 1881) — рус. пианист-виртуоз, основатель Москов. отделения Рус. муз. о-ва (1860) и Москов. консерватории (1866; ее проф. и дирижер).

Баскин (Владимир Сергеевич; 1855 — 1919) — рус. муз. критик.

Арпеджат (арпеджио) — последовательное извлечение звуков аккорда.

С. 551. Трепак — рус. нар. танец.

Мазурка — польский нар. танец.

Эолова арфа — муз. инструмент, звучащий от дуновений ветра.

Григ (Эдвард; 1843 — 1907) — норв. композитор.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 552. Учебник Смирновского — «Учебник русской грамматики» П.В. Смирновского (Петербург, 1884 и позже).

С. 553. Инсектология — наука о хим. уничтожении насекомых.

Мултанские вотяки — жители села Старый Мултан, обвиненные в ритуальном убийстве; в их защиту выступили (1892 — 1896) В.Г. Короленко и А.Ф. Кони.

В.Г. Короленко — см. примеч. к с. 106.

РУССКИЙ ТЕАТР

С. 555. «Травиата» — см. примеч. к с. 112.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 562. Маленький Фемистоклос — 8-летний сын Манилова, персонажа поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (1842).

С. 563. Шамиссо (Адельберт фон; 1781 — 1838) — нем. писатель и естествоиспытатель, автор «Удивительной истории Петера Шлемиля» (1814).

С. 564. Борго — см. примеч. к с. 469.

Замок Св. Ангела — см. примеч. к с. 357.

С. 565. Кафе Араньо — см. примеч. к с. 154.

Джандуйотки (джандуйотти) — треугольные шоколадки с орехами.

Лоренцо Стеккетти — см. примеч. к с. 105.

С. 566. Марино — сорт белого вина.

С. 567. Колонна цезаря Траяна (111 — 114) — воздвигнута императором Траяном; позже была увенчана статуей апостола Петра (1587).

РУССКИЙ ТЕАТР

С. 567. «Фауст» — опера Ш. Гуно, впервые поставлена в Париже (1859).

С. 568. «Dio possente» («Бог всеильный») — каватина Валентина из оперы «Фауст».

Air dos bijoux — «Ария с жемчугом» (букв. «с драгоценностями», *фр.*), вальс Маргариты из оперы «Фауст».

РУССКИЙ ТЕАТР

С. 568. «Дон Жуан» (1787) — опера В. Моцарта.

С. 569. «Джоконда» (1880) — опера А. Понкьелли.

Гавот — старинный фр. танец.

Лаура — персонаж оперы «Дон Жуан».

«Cielo e mare» («Небо и море», *итал.*) — ария из оперы «Джоконда».

ВСКОЛЬЗЬ. «Уехали...»

С. 570. «Дядя Ваня» — см. примеч. к с. 316.

Соловцов — см. примеч. к с. 355.

Доктор Штокман — см. примеч. к с. 535.

С. 571. Аполлон — в греч. мифологии сын Зевса, бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств. Изображался прекрасным юношей с луком или кифарой.

Савина — см. примеч. к с. 370.

Дузе — см. примеч. к с. 149.

ПРИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ В ИТАЛЬЯНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

С. 573. Голиарды — бродячие актеры в средневековой Франции.

Корпорант — член студенческого объединения.

С. 574. Теодор Момзен (1817 — 1903) — нем. историк, юрист, философ, лауреат Нобелевской премии по литературе (1902).

РУССКИЙ ТЕАТР

С. 574. «Евгений Онегин» — опера П. Чайковского; либретто по одноим. роману А. Пушкина.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 575. Пастернак (Леонид Осипович; 1862 — 1945) — рус. художник, академик живописи.

Попов (Андрей Андреевич; 1832 — 1896) — рус. живописец.

Заузе (Владимир Христианович; 1859 — 1939) — рус. художник, препод. Одесского худож. института.

С. 576. ...1789 год... — год Великой французской революции.

Кандинский (Василий Васильевич; 1866 — 1944) — рус. живописец, график, теоретик изобразит. искусства, основоположник абстракционизма.

С. 577. Импрессионизм — художеств. направление, зародившееся во Франции (2-я пол. 19 в.).

Бальц (Владимир Степанович; 1864 — 1939) — укр. художник.

Лагорио (Лев Феликсович; 1827 — 1905) — рус. пейзажист, профессор живописи.

Михайловский (Николай Константинович; 1842 — 1904) — рус. критик, публицист, народник, редактор журнала «Русское богатство».

Ганский (Петр Павлович; 1867 — 1942) — одесский художник, член Товарищества юж.-рус. художников.

...из *догутенбергского списка*... — то есть рукописного экземпляра, изданного до изобретения И. Гутенбергом (1400 — 1488) книгопечатания.

Нибелунги — обладатели чудесного золотого клада, история борьбы за который составляет популярный сюжет герм. эпоса.

С. 578. Бершадский (Юрий Рафаилович; 1869 — 1956) — представитель плеяды юж.-рус. художников старшего поколения.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 579. «Хаврониос, ругатель закоснелый...» — первая строка эпиграммы А. Пушкина «На Каченовского» (1820).

...*Крылов изобразил существительное женского рода от того же корня...* — имеется в виду «героиня» басни «Свинья под дубом».

Новиков (Яков Александрович; 1849 — 1912) — пацифист, член Постоянной комиссии Междунар. бюро мира, участвовал в выдвижении номинантов на Нобелевскую премию мира.

С. 580. Лейкин (Николай Александрович; 1841 — 1906) — рус. писатель-юморист, автор очеркового цикла «Наши за границей».

ВСКОЛЬЗЬ

С. 581. Федоров — см. примеч. к с. 461.

Александринский театр — см. примеч. к с. 370.

БИРЖЕВОЙ ЗАЛ

С. 584. Сапельников — см. примеч. к с. 550.

Фура — муз. произведение, основанное на повторении одной темы.

Бах (Иоганн Себастьян; 1685 — 1750) — нем. композитор, органист, клавесинист.

Рапсодия — вокальное или инструмент. произведение на темы нар. песен, танцев.

Лист (Ференц; 1811 — 1886) — венгер. композитор, пианист, дирижер.

С. 585. Шопен (Фредерик; 1810 — 1849) — польский композитор и пианист.

Мендельсон (Мендельсон-Бартольди Феликс; 1809 — 1847) — нем. композитор, пианист, дирижер.

Арабеска — муз. пьеса с богато орнаментированным мелодич. рисунком.

Шуман (Роберт; 1810 — 1856) — нем. композитор-романтик.

Губай (Губер) Йене (Евгений; 1858 — 1937) — венгер. скрипач и композитор.

Рис (Фердинанд; 1784 — 1838) — нем. композитор, пианист и дирижер.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 586. «Эрнани» — опера Дж. Верди (1844) по одноим. драме В. Гюго.

С. 587. «Богема» — см. примеч. к с. 248.

«Наталка Полтавка» — пьеса укр. писателя И. Котляровского (1769 — 1838).

ВСКОЛЬЗЬ. Госпожа Шапокляк

С. 588. Шапокляк — псевд. Матильды Серао (см. примеч. к с. 293).

С. 589. Скарфольо (Эдоардо; 1860 — 1917) — итал. журналист и писатель, муж Матильды Серао.

С. 591. «Пока не требует поэта...» — начало стихотворения А.С. Пушкина «Поэт».

ВСКОЛЬЗЬ

С. 592. «Сомнамбула» — опера В. Беллини, впервые поставленная в Милане (1831).

Кунштшюк — см. примеч. к с. 354.

Беллини — см. примеч. к с. 510.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 594. «Педель» — инспектор, надзиравший за поведением учащихся.

С. 595. Эстакада — ж.-д. путепровод в одесском порту, предназначенный для перегрузки зерна, угля, цемента и др. сыпучих материалов.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 597. Метраншаж — см. примеч. к с. 464.

ВСКОЛЬЗЬ. О среднем сыне патриарха Ноя

С. 600. Средний сын Ноя (Хам) был проклят за то, что не отвернулся при виде наготы своего отца.

С. 601. Латинский квартал — париж. р-н неподалеку от ун-та.

Рескин (Джон; 1819 — 1900) — англ. критик, теоретик искусства, публицист.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 602. Октав Мирбо (1848 — 1917) — фр. писатель, романист, публицист.

Дело Дрейфуса — см. примеч. к с. 83.

С. 603. Простакова — персонаж комедии Д. Фонвизина «Недоросль» (1782).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 605. А. З-ский (Златопольский) — автор корреспонденций из Рима в петербургской газете «Северный курьер». Не исключено, что это один из псевд. самого Жаботинского, и тогда мы имеем дело с лит. мистификацией.

...Имя его болезни ярким кармином было написано у него на щеках... — речь идет о чахотке.

С. 606. Маритоцци — сухое печенье с изюмом.

Гейне (Генрих; 1797 — 1856) — нем. поэт, прозаик, публицист.

П[етр] И[саевич] Вейнберг (1830 — 1908) — рус. поэт, переводил Гейне, Байрона, Гете, Шекспира, Шелли.

ГАСТРОЛИ А. ЗАНДРОК. «Аррия и Мессалина»

С. 608. Зандрок (Адель; 1863 — 1937) — нем. актриса.

«Аррия и Мессалина» — трагедия нем. драматурга А. Вильбрандта.

Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.

«Джоконда» — см. примеч. к с. 113.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 610. Турати — см. примеч. к с. 145.

Волочиск — город в Украине.

ВСКОЛЬЗЬ. Сверхчеловек Репочкин

С. 614. Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.

«Джоконда» — см. примеч. к с. 113.

С. 615. Шиллер — см. примеч. к с. 77.

Де Мюссе — см. примеч. к с. 317.

«Гедда Габлер» (1880) — драма Г. Ибсена.

Эдгар По — см. примеч. к с. 30.

Лина Кавальери (1874 — 1944) — итал. оперная певица.

С. 616. Матильда Серао — см. примеч. к с. 293.

Ризотто — рис с различ. добавками, классич. блюдо сев.-итал. кухни.

ГАСТРОЛИ А. ЗАНДРОК. «Александра» Фосса

С. 617. Фосс Иоганн Генрих (1751 — 1826) — нем. поэт, переводчик Гомера (см. примеч. к с. 94).

С. 618. Сара Бернар — см. примеч. к с. 112.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 624. Вильгельм (II, Гогенцоллерн; 1859 — 1941) — герм. император, король Пруссии (1888 — 1918).

Заньковецкая (Мария Константиновна; 1860 — 1934) — укр. актриса.

Кропивницкий (Марк Лукич; 1840 — 1910) — укр. актер, драматург.

Саксаганский (Панас Карпович; 1859 — 1940) — укр. актер, режиссер, педагог.

Садовский (Николай Карпович; 1856 — 1933) — укр. актер и режиссер, брат И. Карпенко-Карого, П. Саксаганского.

Карый (Карпенко-Карый Иван Карпович; наст. фам. Тобилевич; 1845 — 1907) — укр. драматург, актер, театр. деятель.

«Накипь» (1882) — роман Э. Золя.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 630. Сулема — сильный яд.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 634. Корпорант — см. примеч. к с. 573.

ЧТО БУДЕТ С ГОРОДСКИМ ТЕАТРОМ. У К.В. Леонарда

С. 634. Гласные — выборные члены земских собраний и гор. дум в России (со 2-й пол. 19 в.).

Земское собрание уездное или губернское — распорядит. орган местного самоуправления (земства) в России; состояло из гласных.

С. 635. Великий пост — см. примеч. к с. 521.

Шульц (Иоганн; 1747 — 1800) — нем. композитор.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 636. Мнемоника — совокупность приемов, облегчающих запоминание нужных сведений; основана гл. обр. на законах ассоциации.

С. 637. ...в шестом классе Мариинской... — в шестом классе Мариинской жен. гимназии.

ЧТО БУДЕТ С ГОРОДСКИМ ТЕАТРОМ. У В.М. Масленникова

С. 640. Аккерман — город в Одесской обл.

С. 641. Соловцов — см. примеч. к с. 355.

НОВЫЙ ТЕАТР. «Женский вопрос» Балуцкого

С. 642. Балуцкий (Михаил; 1837 — 1901) — польский беллетрист.

Спенсер — см. примеч. к с. 538.

Миль (Джон Стюарт; 1806 — 1873) — англ. экономист и философ.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 643. Шиллер — см. примеч. к с. 77.

«Воровка детей» — мелодрама фр. драматурга А. Деннери (1811 — 1899).

С. 644. Россов (Николай Петрович; 1864 — 1945) — рус. актер.

НОВЫЙ ТЕАТР. «Заглоба сватом» Г. Сенкевича

С. 645. Сенкевич — см. примеч. к с. 182.

НОВЫЙ ТЕАТР. «Золушка» Шуткевича

С. 649. Садовский — см. примеч. к с. 624.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 649. Толчок — толкучий рынок, место, где торгуют подержанными вещами, старьем.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 652. ...*между Фанкони и Робина...* — между двумя популярными кафе у пересечения Ланжероновской и Екатерининской улиц.

С. 653. Кутузка — тюрьма.

...во имя меркуриево... — в интересах торговли; Меркурий — бог торговли в рим. мифологии.

С. 654. *Спуртуй, спуртуй...* (от *англ.* spurt, резкое усилие, рывок) — здесь: жми, жми.

Таэль — денеж. единица, имевшая хождение в странах Вост. Азии. «Не бездарна та природа. / Не погиб еще тот край» — строки из стихотворения Н. Некрасова «Школьник» (1856).

НОВЫЙ ТЕАТР. «Мазепа» Юлия Словацкого

С. 656. Юлий (Юлиуш) Словацкий (1809 — 1849) — польский поэт-романтик, проблемы нац.-освоб. движения трактовал с радикал. позиций. В[иктор] Гюго (1802 — 1885) — фр. писатель-романтик.

Мазепа (Иван Степанович; 1644 — 1709) — гетман Украины, стремился к отделению Левобереж. Украины от России.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 657. Старицкий (Михаил Петрович; 1840 — 1904) — укр. драматург. Флоринский (Тимофей Дмитриевич; 1854 — 1919) — рус. историк, славист.

С. 658. Гейнце (Николай Эдуардович; 1852 — 1913) — рус. писатель, автор многочисленных романов, пользовавшихся широкой популярностью среди читателей из низов. Ист. романы Гейнце носили откровенно компилятивный характер, с обширными заимствованиями у др. авторов.

Аристотель (384 — 322 до н.э.) — др.-греч. философ.

Декарт (Рене; 1596 — 1650) — фр. философ и математик.

Лейбниц (Готфрид; 1646 — 1716) — нем. философ, математик, физик, изобретатель.

...бессмертный автор трактата о «четвертом корне достаточного основания»... — нем. философ А. Шопенгауэр (1788 — 1860), автор докторской диссертации «О четвероюм корне закона достаточного основания» (1813).

Экклезиаст (в рус. традиции Екклесиаст, или Проповедник) — назв. библ. книги, которая в рус. Библии помещается среди Соломоновых книг, а в еврейской — между «Плачем Иеремии» и книгой Есфирь.

Софокл (496 — 406 до н.э.) — др.-греч. драматург.

...О, Расин! откуда слава... — цитата из сатиры «Дом сумасшедших» А.Ф. Воейкова (см. примеч. к с. 660).

Расин (Жан, 1639 — 1699) — фр. драматург.
«Стоглав» (1551) — свод постановлений собора православной церкви, затрагивающий различ. стороны церковной, соц.-экономич., обществ. и полит. жизни России 16 в.
«Гофолия» (1691), «Андромаха» (1667) — пьесы Ж. Расина (1639 — 1699).

С. 659. «Погребение кота» — лубочная картинка (18 в.).

Гете — см. примеч. к с. 77.

Ленау (Николаус; 1802 — 1850) — австр. поэт.

С. 660. Воейков (Александр Федорович; 1778 — 1839) — рус. сатирик и журналист.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 660. Кузнецов (Николай Дмитриевич; 1850 — 1929) — рус. живописец.

С. 662. Маковский (Владимир Егорович; 1846 — 1920) — рус. живописец.

ВСКОЛЬЗЬ. *Gospodinu A.P., в Дрезден*

С. 664. Ферейн — сообщество, корпорация (нем.).

С. 666. Катехизис — см. примеч. к с. 166.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 667. Боборыкин (Петр Дмитриевич; 1836 — 1921) — писатель, автор многочисл. романов, повестей и пьес.

С. 668. *...квартировавший в то время под эстакадой...* — т.е. бездомный (см. примеч. к с. 595.).

С. 669. Соловьев (Владимир Сергеевич; 1853 — 1900) — рус. философ, поэт, публицист, лит. критик.

Мирра Лохвицкая (Мария Александровна; 1869 — 1905) — рус. поэтесса Серебряного века.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 672. Миньон — девочка-циркачка, поющая тоскливые песни, персонаж романа В. Гете «Годы ученья Вильгельма Мейстера» (1795).

Лермонтов рассказал нам о душе... — имеется в виду стихотворение М. Лермонтова «Ангел».

С. 674. Мазурка — см. примеч. к с. 551.

АНТОН ЧЕХОВ И МАКСИМ ГОРЬКИЙ. Импрессионизм в русской литературе

С. 675. Натурализм — направление в амер. и европ. искусстве и литературе последней трети 19 в., представители которого стремились к предельно точному и объективному воспроизведению реальности.

Золя (Эмиль; 1840 — 1902) — фр. писатель.

«Дядя Ваня» — см. примеч. к с. 316.

С. 676. *...великому актеру «Дома Гольдони»...* — имеется в виду Э. Новелли (см. примеч. к с. 140).

«О беспокойной книге» (1900) — фельетон М. Горького.

С. 677. «Новое время» — см. примеч. к с. 179.

Суворин (Алексей Сергеевич; 1834 — 1912) — издатель газ. «Новое время» (с 1876).

- С. 678.** «Скучная история» (1889), «Мужики» (1897), «В овраге» (1899) — рассказы А. Чехова.
- С. 679.** Немирович-Данченко (Владимир Иванович; 1858 — 1943) — рус. драматург и режиссер.
Станиславский (Константин Сергеевич; 1863 — 1938) — рус. режиссер, актер и педагог.
Ибсен — см. примеч. к с. 321.
Гауптман — см. примеч. к с. 316.
Мейнингенский театр — придворный театр Саксонско-Мейнингенского герцогства; приобрел мировую известность в результате гастролей по странам Европы (1874 — 1890).
- С. 681.** «Чайка» (1895), «Иванов» (1887), «Три сестры» (1900) — пьесы А. Чехова.
Александр Федоров — см. примеч. к с. 461.
- С. 682.** «Челкаш» (1895) — рассказ М. Горького.
«Русское богатство» — см. примеч. к с. 37.
- С. 683.** «Мальва» (1897), «Каин и Артем» (1898) — рассказы М. Горького.
- С. 685.** «Сирано де Бержерак» — см. примеч. к с. 281.
«Одинокие люди» — см. примеч. к с. 316.
«Есть ли у господина Чехова идеалы?» — статья лит. критика и публициста Александра Михайловича Скабичевского (1838 — 1910).

ВСКОЛЬЗЬ

- С. 686.** Эдгар По — см. примеч. к с. 30.
Брунс — ресторан Карла Брунса на Екатерининской ул. в Одессе.
- С. 688.** Большой Фонтан — курортная зона Одессы.
Demi-vierge (*фр.* «полудева») — о развращенной девушке.

ВСКОЛЬЗЬ. Из римских очерков

- С. 690.** Кафе Араньо — см. примеч. к с. 303.
Корсо — см. примеч. к с. 79.
- С. 691.** Бедекер — серия путеводителей издательства К. Бедекера.
Чичероне — см. примеч. к с. 413.
- С. 692.** Криспи — см. примеч. к с. 82.
Терцины — трехстрочные ямбические строфы с соблюдением строго определ. схемы рифмовки.

ВСКОЛЬЗЬ

- С. 694.** Вагнер (Рихард; 1813 — 1882) — нем. композитор, реформатор оперы.
Давыдов (Александр Михайлович; наст. фам. Левенсон) — рус. певец-тенор.
Южин [Давид Христофорович; 1864(68?) — 1923] — рус. оперный певец, антрепренер.
Бородай (Михаил Матвеевич; 1853 — 1929) — рус. театр. деятель, антрепренер.
Ощустович (Феликс Антонович; ок. 1870 — ?) — рус. оперный певец, педагог.
«Тоска» — см. примеч. к с. 230.

Римский-Корсаков (Николай Андреевич; 1844 – 1908) — рус. композитор.

«Борис Годунов» (1874) — опера М. Мусоргского (1839 – 1881) по мотивам трагедии А.С. Пушкина.

«Снегурочка» — см. примеч. к с. 547.

Церетели (Алексей Акакиевич; 1864 – 1942) — антрепренер рус. оперных театров в Харькове (1895 – 1900), Петербурге (1900 – 1916), Париже (с 1916).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 696. Прометей — в греч. мифологии титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и подаривший его людям.

С. 697. Ять — буква дореволюц. рус. алфавита, упраздненная реформой орфографии (1918).

...*та Наталка, что песен не поет...* — см. примеч. к с. 587.

ВСКОЛЬЗЬ. Ради бога!

С. 703. «Лоэнгрин» — см. примеч. к с. 401.

Веризм — см. примеч. к с. 168.

Эрмете Дзаккони — см. примеч. к с. 141.

Церетели — см. примеч. к с. 694.

Гордеев (Гордеев-Гордин Георгий Федорович; ? – 1918) — рус. оперный певец, режиссер, антрепренер.

«Андре Шенье» (1896) — опера У. Джордано (см. примеч. к с. 124).

С. 704. Царь Горох — сказоч. персонаж, олицетворение незапамятной старины.

ВСКОЛЬЗЬ. Письмо к мамашам

С. 704. Гродескул (Гредескул Николай Андреевич; 1864 – 1937?) — рус. ученый социолог, историк, юрист. Депутат I Гос. Думы.

С. 705. Водовозова (Елизавета Николаевна; 1844 – 1923) — рус. педагог, детская писательница, мемуаристка.

С. 708. Св. Антоний — раннехрист. подвижник, основатель отшельнического монашества.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 709. Вжесня — польский город на территории, принадлежавшей Пруссии (до 1918).

Бурши — члены студенч. корпораций в Германии.

Корпоративная подтяжка — у студенч. корпораций имелись разнообразные знаки отличия (цвета, значки, ленты и т.д.).

С. 711. *Delenda Carthago* [est] («Карфаген должен быть разрушен»; лат.) — настоят. призыв к борьбе с врагом или препятствием.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 712. Сикорский (Иван Алексеевич; 1842 – 1919) — доктор медицины, психиатр, проф. ун-та им. Св. Владимира в Киеве.

...из одесского старобазарного района... — старый базар на одной из центр. улиц города.

С. 713. Гудван (Абрам Моисеевич; 1873 – ?) — рус. журналист, печатался в газетах «Одесские новости», «Речь», «День», «Русское слово».

С. 714. Голицын (Владимир Михайлович, князь; 1847—1932) — московский губернатор (1887—1891), городской голова (1897—1905).

ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

С. 715. Эдгар (Равенсвуд) — персонаж оперы Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (1835).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 715. Бутти — см. примеч. к с. 423.

С. 717. Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 106.

«Франческа да Римини» — трагедия Д'Аннунцио, написанная по мотивам одного из эпизодов «Божественной комедии» Данте.

Вергилий — см. примеч. к с. 94.

С. 718. Ланселот дель Лаго (Ланселот Озерный) — рыцарь Круглого стола, персонаж легенд и рыцарских романов о короле Артуре.

Густаво Сальвини — см. примеч. к с. 141.

Дузе — см. примеч. к с. 149.

С. 719. Хиосское вино — вино, произведенное на острове Хиос в Эгейском море.

С. 720. Джиневра — жена короля Артура, возлюбленная Ланселота.

С. 721. Роберто Бракко (1862—1943) — итал. писатель, автор пьесы «За-терянные во мраке» (1901).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 722. «Петербургская газета» (1867—1917) — ежедневное издание.

Южин — см. примеч. к с. 694.

С. 723. Эллада — Греция.

Паяц, Арлекин, Коломбина, Панталон — см. примеч. к с. 386.

Григорий Отрепьев — персонаж трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».

С. 724. Дузе — см. примеч. к с. 149.

«Дама с камелиями» — см. примеч. к с. 112.

Сара Бернар — см. примеч. к с. 112.

ВСКОЛЬЗЬ. О литературной критике. *Особое мнение*

С. 727. Мещерский (Владимир Петрович, князь; 1839—1914) — публицист, прозаик, издатель и редактор «Гражданина» — полит. и лит. журнала-газеты консервативно-монархич. направления в Петербурге (1872—1914).

Ер — буква рус. алфавита; после реформы орфографии (1918) употребляется только как разделит. твердый знак.

С. 728. Белинский — см. примеч. к с. 199.

Добролюбов (Николай Александрович; 1836—1861) — рус. лит. критик, публицист.

Писарев — см. примеч. к с. 176.

Скабичевский — см. примеч. к с. 685.

Буренин (Виктор Петрович; 1841—1926) — рус. критик, фельетонист, поэт, драматург; стал символом реакционной журналистики.

ВСКОЛЬЗЬ

- С. 732.** Михайловский — см. примеч. к с. 577.
- С. 733.** Басня Крылова — цитата из басни «Слон и Моська» (1808).
- С. 734.** Вандербильты — семья амер. миллионеров; родоначальником ее богатства был пароходный и ж.-д. магнат Корнелиус Вандербильт (1794 — 1877).
- С. 735.** Принципал — здесь: глава, хозяин.
- С. 736.** Коновалов — герой одноим. рассказа М. Горького.
Челкаш — см. примеч. к с. 682.
Геккер (Наум Леонтьевич; 1861 — 1920) — рус. журналист, критик, этнограф; придерживался народнических взглядов.
Литературно-артистический клуб — Одесское лит.-артистич. о-во (1897 — 1919).

ВСКОЛЬЗЬ. «Ради бога!»

- С. 737.** «Коппелия» (1870) — балет Л. Делиба по мотивам сказоч. повести Э. Гофмана «Песочный человек».
- С. 738.** «Лоэнгрин» — см. примеч. к с. 401.
Джиральдони (Леоне; 1825 — 1897) — итал. певец и педагог.

ВСКОЛЬЗЬ. Открытое письмо

- С. 742.** «Как цветы [...] жгут их милые к себе...» — частично измененные строки стихотворения Жаботинского «Шафлох» (1900).
Король Лир — герой одноим. пьесы У. Шекспира.
- С. 743.** Мафусаилов век — долгая жизнь (по имени Мафусаила, который, согласно Библии, прожил 969 лет).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹, УПОМИНАЕМЫХ В. ЖАБОТИНСКИМ

- Абате, дирижер 556, 569, 592
Абруццкий Л., герцог 389, 393 – 394
Авиновицкий 649
Аврелий М. 303
Агамемнон 456
Адаберто, певица 543, 549, 569, 574
Айвазовский И.К. 181
Александров, художник 99
Александровский, театральный рецензент 657
Алиберти, депутат 479 – 480, 506, 509, 515
Алоиз В.Ф. 550 – 551
Альфьери В. 270, 286
Амадори, издательница 573
Амичис см. де Э. Амичис
Анджелелли, директор тюрьмы 278 – 279
Андреевский П.А. 522
Андреис см. де Андреис
Анри Ю.-Ж. 84 – 85
Апостолу, певец 694, 704
Аристотель 326, 658
Артингсон, поэт 201 – 202
Аткинс Т. 247
Атромов Ю. 473
Афродита, богиня 96
Аччарито, преступник 278 – 279, 294, 336, 342
Банфи Д. 78
Байрон Дж.Г. 144, 177
Бакалович С.В. 472
Балуцкий М. 642
Бальц В.С. 577
Баратынский Е.А. 152
Баратьери О. 373
Бардзилаи С. 219, 260, 263 – 264, 267, 277, 419, 458, 469, 486
Барриентос М. 430, 446
Баскин В.С. 550
Батакки Ч. 251 – 252
Баттистини М. 300
Бах И.С. 584
Баччелли Г. 81, 93 – 94, 126, 137 – 138, 149, 154, 215, 257 – 259, 263, 415, 417, 430, 511
Бедуцци, агитатор 55
Белинский В.Г. 199, 728
Белла см. ла Белла
Белли Дж.Дж. 188
Беллини В. 510, 592
Беллинчони Дж. 446
Белькреди, корреспондент 380 – 381, 447 – 448
Бельтрани-Скалиа, сенатор 253 – 256
Бенда В.Т. 299
Бенедетти см. де Бенедетти
Бенини Ф. 381 – 384
Бенишелли А. 299
Беранже П.-Ж. 32
Берналь, певец 446
Бернар С. 112 – 113, 149, 618, 724
Бернини Дж.Л. 124, 130, 182, 232, 358, 421
Бернштейн Э. 296, 307, 537
Берсецио В. 293, 381
Бертолини П. 252, 269
Бершадский Ю.Р. 578
Бетголо Дж. 263
Бизео Ч. 299

¹ Сложные имена, которые пишутся через дефис, апостроф или отдельно, рассматриваются как единое слово.

- Биксио Дж.Н. 336
Биссолати Л. 294, 363
Блази см. де Блази
Боборыкин П.Д. 667, 672
Бовио Дж. 103 – 104, 153 – 154, 157 – 158
Бозелли П. 263
Боккаччо Дж. 422, 451
Болеславский, актер 657
Бонги Р. 124
Бонини, певец 715
Бонифаций VIII 228
Бонифаций XIII 228
Бономелли, архиепископ 348
Боргезе, княжеская династия 420
Борисов, актер 355
Бородай М.М. 694
Боткин В.П. 472
Боттичелли С. 292, 299
Браво, певец 715
Бракко Р. 287, 721
Брамбилла, певица 715
Бреши А. 344 – 346
Бреши Г. 340 – 344, 346, 350 – 351, 459 – 460
Брин Б. 125
Бруникарди, депутат 252
Бруно Дж. 259, 261 – 262
Брюллов К.П. 472
Буадефр см. де Буадефр Р.
Буль Д. 247
Буонерба, полицмейстер 445
Буренин В.П. 728
Бутти Э.А. 423, 715 – 717
Бьянкери, депутат 330
Вагнер Н.П. 199 – 200, 202 – 203, 694
Ваккелли П. 140
Вальдек-Руссо Р. 396
Вандербильт, миллионер 734
Варламов К.Н. 529
Ведова см. Дела Ведова Дж. 389
Вейнберг П.И. 606
Веккиони, певец 568 – 569, 592
Велизарий М.И. 355
Веноста см. Висконти Веноста Э.
Верга Дж. 293
Вергилий (Виргилий) 94, 250, 449, 717
Верди Дж. 400 – 402, 441, 556
Верлен П. 285
Верн Ж. 30, 271
Веруда У. 300
Весселла, дирижер 490
Вестри Э. 271
Виктор Эммануил II 103, 123, 129, 136, 185, 238 – 239, 336 – 338, 441
Виктор Эммануил III 338 – 340, 342, 344 – 345, 460, 471, 477 – 478, 503, 509
Виктория, королева 247, 389
Вилла, депутат 266, 350
Вильгельм II 125 – 126, 624
Вильгельм Телль 247
Виндельбанд В. 538
Виски, депутат 267 – 268
Висконти Веноста Э. 158, 243, 331, 395
Водовозова Е.Н. 705
Воейков А.Ф. 660
Воллемборг Л. 431, 495 – 496
Вундт В. 538 – 539
Галли, депутат 420 – 421
Галлина Дж. 382 – 383
Галло Н. 330, 403
Гальвани, певица 592
Гамба, певец 543, 555, 567 – 568, 575
Ганский П.П. 577
Гарибальди Дж. 129, 144, 169, 293, 323 – 324, 358, 439, 441 – 442, 453 – 454, 456, 511
Гарибальди М. 106
Гарибальди Р. 144 – 145, 156, 323
Гарин-Михайловский Н.Г. 35, 37
Гаррони Р. 323
Гарроти, префект 414
Гаршин В.М. 97
Гауптман Г. 316, 321, 679
Гвальтьери см. Пеццана-Гвальтьери
Гвиди Л. см. ла Рокка
Гегель Г.В.Ф. 306
Гейне Г. 606
Гейнце Н.Э. 326, 422, 658
Гейш (Heusch) Дж. 443 – 445, 457
Геккер Н.Л. 736
Гера, богиня 96
Герреро М. 149
Гете И.В. 77, 659
Геффдинг Х. 538
Гоголь Н.В. 31, 291, 472, 675
Голицын В.М. 714
Гольдони К. 286, 289, 361, 381 – 382, 403, 406, 445 – 446, 676
Гомер 94, 183, 449, 698

- Гонз Ш.-А. 84 — 85
 Гордеев Г.Ф. 703
 Горький М. 293, 316 — 317, 365, 461, 468, 472, 629, 675 — 676, 681 — 686, 728, 733 — 736
 Гофман Э.Т.А. 199, 596
 Гранди *см. де Гранди*
 Гродескул Н.А. 704 — 705
 Губай Й. (Губер Е.), композитор 585
 Губернатис *см. де Губернатис*
 Гудван А.М. 713 — 714
 Гуеррини О. *см. Стеккетти Л.*
 Гюго В. 656
 Давыдов В.Н. 529, 694
 Дадди, актер 399 — 400
 Д'Адзелио М. 129
 Дальский М.В. 523, 529 — 530
 Данео, депутат 415 — 416
 Д'Аннунцио Г. 106, 113, 146 — 147, 185, 274, 279 — 280, 283 — 285, 293, 304, 322, 334, 439 — 441, 446, 453 — 456, 485, 502, 608, 614 — 616, 717 — 718
 Данте А. 228, 248, 250, 345, 354, 413, 717, 720
 Д'Антоня, профессор 257
 Дарклэ Х. 248
 Д'Арнейро, певица 704
 Де Амичис Э. 106, 185, 299
 Де Андреис 145, 363
 Де Бенедетти, лейтенант 492 — 494
 Де Блази, полицейский 236
 Де Буадефр Р. 84 — 85
 Де Гранди, певец 549 — 550, 569
 Де Губернатис А. 289
 Декарт Р. 306, 658
 Делавинь К. 141
 Делигарди, депутат 265
 Делла Ведова Дж. 389
 Делли Аббати, певица 446, 704
 Де Марки, певец 248
 Демитреску, делегат студенческого конгресса 82
 Де Монтепен К.Р. 304
 Де Пелье Ж.-Г. 84
 Депретис А. 337, 449
 Дерулэд П. 326
 Де Феличе-Джуффрида Дж. 224, 226 — 227, 242, 277, 322, 325, 360, 362 — 365
 Де Чезаре К. 153
 Джакоза Дж. 270, 287, 317, 385
 Джантурко Э. 407
 Джиральдони Л. 248, 738
 Джирарди, депутат 260, 266
 Джицци, профессор 80
 Джоббе М. 282
 Джованьоли Р. 81, 101 — 102
 Джовенали, депутат 420 — 421
 Джолитти Дж. 276, 282 — 283, 325, 337, 396, 414 — 415, 417, 428, 444, 457, 486 — 487, 492, 496
 Джордано У. 124, 703
 Джусти-Синополи Дж. 382
 Дзаккони (Цаккони) Э. 141, 149, 271, 317, 319 — 321, 353 — 354, 383 — 384, 403, 405, 446, 456, 703
 Дзамбони Л. 209
 Дзанарделли Дж. 158, 219 — 220, 276, 282, 325, 342, 346, 424 — 425, 428 — 429, 431, 442 — 443, 457 — 460, 470 — 471, 479, 486, 492 — 496
 Дзуккарелли, профессор 84 — 85, 283
 Дзукколи Л. 143 — 144
 Диккенс Ч. 31
 Ди Лоренцо Т. 149, 405
 Дионисий 53
 Ди Подджо-Суаза, князь 214
 Ди Риэнцо К. 509
 Добролюбов Н.А. 728
 Д'Озио, полковник 477
 Домбровский, актер 657
 Доницетти Г. 124
 Д'Орси А. 302
 Достоевский Ф.М. 31, 184, 290, 440, 675
 Д'Оттавия Дж. 127 — 128
 Драйлинг 201 — 202
 Дрейфус А. 83 — 84, 300, 399, 602
 Дроз Н. 333
 Дрюмон Э.А. 147
 Дузе Э. 149, 352, 405, 446, 455 — 456, 571, 718, 724
 Дю Пати де Клам А. 84 — 85, 276
 Дюма А. (отец) 32, 271, 320
 Дюма А. (сын) 270
 Елена, королева 129, 340, 347, 396, 460, 476, 503
 Елизавета, жена императора 339, 343, 407
 Жорес Ж. 84, 147

- Зангвилль И. 185 – 187
Зандрок А. 608 – 609, 614, 617 – 618, 625 – 626
Заньковецкая М.Л. 624
Заузе В.Х. 575
Зичи, семейство 76
Златопольский, корреспондент 605 – 607
Золя Э. 82, 84, 169, 353, 675
Зудерман Г. 446
Ибн Фодлан (Ибн Фодлан) А. 184
Ибсен Г. 321, 542, 544, 679
Иванов А.А. 472
Иллика Л. 385, 399
Ингрэм Д. 31, 33
Иодасон, профессор 55
Иодль Ф. 538 – 539
Иокай М. 30
Иоланда Маргарита, принцесса 471, 477, 479, 487
Ипсиланти А. 204 – 205
Кавалли (Кавалли-Молинелли) П.А. 390 – 391, 393
Каваллотти Ф.К.Э. 106, 168 – 169, 241, 270, 305, 323, 396, 530
Кавальери Л. 615
Кавур К.Б. 129, 357
Казале, депутат 479 – 480, 506, 509
Казалетти 125
Казати Г. 258
Кайроли Б. 337
Калаянни, депутат 417
Камбрэ-Диньи Л.Г. 273 – 276
Камбье Э. 540
Кандинский В.В. 576 – 577
Каневаро Ф.Н. 241, 243, 407
Канена, матрос 391
Кант И. 306
Каньи У. 389 – 393
Каподистрия И.А. 205
Капелли Г. 324
Капуана Л. 293
Кардарелли, профессор 257
Карденти, матрос 391
Кардуччи Дж. 106, 144, 239, 293, 348
Каркано, маркиз 447, 496
Карл Альберт, король 123, 148, 242, 265
Кармине П. 263
Карно М.Ф.С. 72, 82, 339
Карпенко-Карый И.К. 624
Карый см. Карпенко-Карый И.К.
Кассаньяк Г.П. де 147
Кастелано, антрепренер 544, 549, 555, 574, 592
Каталани А. 209
Каутский К. 537
Кварти, певец 549, 592
Квинтавалле, цирюльник 344 – 345
Кеде, лавочница 49
Кимирри Б. 359 – 360, 395
Клам см. дю Пати де Клам
Клареси Ж. 149
Климент V 229
Ковалевский 713
Кодронки 360, 362 – 363
Коккашьеллер, депутат 449
Коклен Б.К. 149, 315
Коломба О. 449 – 450
Коломбо, президент палаты парламента 218, 267 – 269, 272, 276 – 277, 322, 324
Колонна П. 346, 420, 437, 444, 478
Кольмайер, префект 426
Комиссаржевская В.Ф. 529
Конильо, дирижер 361
Корде Ш. 506
Коркос В.М. 301
Коробов, гласный московской думы 714
Короленко В.Г. 106, 137, 184, 293, 553
Кортис см. Фортис
Косса П. 270, 321
Коста А. 251, 277, 363
Котап В. 305
Коццоли, семейство 378 – 379
Кошут Л. 156
Краснушкина Е.З. 98
Криспи Ф. 82, 83, 138, 169, 257, 331, 337, 339, 373, 516, 692 – 693
Кристина И. 456
Кропивницкий М.Л. 624
Крупп, промышленник 480, 506
Крылов И.А. 167, 579, 733
Крэбб Дж. 34
Кузнецов Н.Д. 660
Кулишова А. 487
Куперник Л.А. 522
Куэрини, лейтенант 390 – 391, 393
Къеза, депутат 414, 417
Къези, депутат 251 – 252

- Ла Белла 299
 Ла Рокка М. (Гвиди Л.) 480—483
 Лабриола Ант. 261, 296, 305—306, 363, 395, 505
 Лабриола Арт. 493, 495, 505—507, 510
 Лабриола Т. 394—395, 573
 Лавалетт, кардинал 107
 Лагорио Л.Ф. 577
 Лакава, депутат 415, 445
 Ланер А. 341, 344—345
 Лапшони, врач 164
 Лассаль Ф. 530
 Леблуа Л. 84
 Лев XIII 142, 163—167, 228—229, 233, 361, 452
 Лейбниц Г. 658
 Лейкин Н.Д. 580
 Ленау Н. 659
 Леонард К.В. 634—635
 Леонид, царь 323
 Леонидов Л.М. 355
 Леонкавалло Р. 300
 Леопарди Дж. 125
 Лермонтов М.Ю. 184, 291—292, 530, 672
 Лигворский А. 497
 Лист Ф. 584
 Лолло, доктор 482
 Ломбардо Р. 505—506
 Ломброзо Ч. 125
 Лонцкая, актриса 643, 648—649, 672, 674
 Лоренцо см. ди Лоренцо
 Лохвицкая М.А. 669—671
 Лукени Л. 71—73, 343
 Луццатти А. 140, 158, 170, 396, 425, 445, 496
 Луццатто Р. 269
 Льюис Дж.Г. 538
 Людовик XI 141, 393
 Людовик XIV 600
 Людовик, герцог 389
 Мадджи А. 281—282, 314—316, 405
 Маджжорино-Феррарис, депутат 263
 Мадзини Дж. 129
 Мазаньелло Т.А. 509
 Макиавелли Н. 36, 413
 Мак-Кинли У. 107
 Маковский В.Е. 662
 Малер А.Ж. 48—51
 Маргарита, королева 142, 285, 336—338, 341—342, 346—348, 425, 452
 Маркетти Ф. 446
 Марки см. де Марки
 Маркс К. 291, 296
 Мартин, глава ордена иезуитов 136
 Масканыи П. 124, 142, 230, 238, 300, 385—386, 397—400, 453
 Масленников В.И. 640
 Мацца, депутат 419
 Маццони, врач 164
 Мендельсон Ф. 585
 Менелик II 110
 Мережковский Д.С. 461
 Месседаля А. 448—449
 Мещерский В.П. 727
 Мизелли Ф. 292
 Микеланджело Б. 232, 413
 Мильеран А. 447
 Мильтон Д. 34
 Мирбо О. 602
 Мирри Дж. 224—227, 236, 243
 Мирто, князь 222
 Мисази, писатель 589
 Михайловский Н.К. 577, 732—734
 Мицкевич А. 183
 Мицкевич В. 183
 Модести, певец 543—544, 569
 Модильяни, студент 81
 Момзен Т. 574
 Монтепен см. де Монтепен К.Р.
 Монти-Бруннер, певица 543, 550, 568—569, 575
 Моор К. 72
 Моранди Л. 477
 Моргари О. 493, 497
 Морель (Морелло, псевд. Расти-
 ньяк) 112, 144, 247
 Морисани, акушер 476
 Морозов, художник 575—576
 Мравина Е.К. 370
 Музолино, бандит 378—380, 517
 Муне-Сюлли Ж. 149, 281, 287, 384
 Мункачи М. 76
 Мусси, мэр 342
 Мюссе А. де 548, 615
 Надсон С.Я. 293
 Нансен Ф. 391—392
 Наполеон II 112, 400
 Наталетти А. 122—123, 125
 Негри А. 147

- Неделин Е.Я. 355
Некрасов Н.А. 293, 656
Немирович-Данченко В.И. 584, 679
Нерон 504
Никола I, князь Черногории 478
Николай Павлович, император 400
Ницше Ф.В. 283, 285, 291, 440, 539
Новелли Э. 140 – 141, 149, 250, 271, 288, 317 – 321, 352, 361, 402 – 406, 445 – 446
Новиков Я.А. 579 – 581
Новицкая, актриса 657
Нотарбартоло Э. 216 – 217, 221 – 224, 226, 235 – 236, 241, 243 – 244, 253 – 256, 360
Нунец, певица 592
Оберданк В. 111
Олье, проводник 391, 393
Орлинский, актер 649
Островский А.Н. 399, 472, 695
Ошустович Ф.А. 694
Павловский, актер 643, 649, 657, 672, 674
Паганелли, певица 549, 569, 575
Пагостен, скульптор 300
Панов М.П. 95
Панталеони М. 306 – 307, 333, 431
Пантано Э. 264, 273, 349 – 350
Панцакки Э. 293
Паризи, профессор 154
Паскарелла Ч. 439
Пассананте, повар 251, 336
Пастернак Л.О. 575
Пасхалова А.А. 523
Патини Т. 301
Пати де Клам см. дю Пати де Клам
Пати дю Клам см. дю Пати де Клам
Патрици, профессор 143
Патти А. 150, 430
Пеллу Л. 111 – 112, 140, 146 – 148, 156 – 158, 169, 219 – 220, 225, 235 – 236, 239 – 244, 252 – 256, 260, 263 – 264, 269, 275 – 277, 282 – 283, 324 – 325, 329 – 330, 337, 396, 407, 418, 429, 457, 487
Пеллуччи П. 482
Пеллье см. де Пеллье Ж.-Г.
Пеннати, депутат 335
Перози Л. 105, 124
Петефи Ш. 156
Петр Великий 306, 690
Петрарка Ф. 102, 455
Петрококино Е.К. 578
Петруччи, певец 549
Пеццана-Гвальтерии Дж. (Г.) 149, 248, 250, 271, 318, 352 – 354, 405
Пеццола, поэт 209
Пий IX 156, 166 – 167, 229
Пикар М.-Ж. 84 – 85
Пилотто, драматург 382
Пирр, полководец 507
Писарев Д.И. 176, 728
Писемский А.Ф. 184, 291
По Э.А. 30 – 35, 615, 686
Подджо-Суаза см. ди Подджо-Суаза
Подзо, депутат 146
Полиццоло Р. 217 – 218, 221 – 224, 226, 236, 239, 257, 360, 479 – 480
Помпа, певец 548 – 550, 555, 568, 574 – 575
Попов А.А. 575
Потапенко И.Н. 355
Потенца П. 449 – 451
Прево Э.М. 304
Принетти, депутат 415
Прометей 285
Птига, проводник 391, 393
Пуччини Дж. 229, 248 – 249, 397, 399, 401 – 402
Пушкин А.С. 184, 291 – 292, 530, 574, 579, 615, 622, 659
Рази Л. 386
Ракоци, семейство 76
Рамполла М. 165, 452
Раписарди М. 144, 293
Расин Ж. 658, 660
Растињяк см. Морель
Рафаэль Санцио 124, 129, 372, 413
Рейтер, актриса 405
Рем, легендарный основатель Рима 97
Рескин Дж. 601
Ривера А. де 480, 506, 509
Рикорди Дж. 399
Римский-Корсаков Н.А. 694 – 695
Рис Ф. 585
Ристори А. 318, 352
Рицциони А.А. 107 – 108, 472
Ришель Р. 482
Риэнцо см. ди Риэнцо
Робертс Ф. 334
Розанов В.В. 465
Рокка см. ла Рокка
Романо Дж. 97

- Ромул, легендарный основатель Рима 97
 Рондани Д. 333
 Росселли А. 170 – 171, 176 – 178
 Росси Э. 318
 Россини Дж. 510
 Россов Н.П. 644
 Ростан Э. 112 – 113, 282, 314 – 315, 317, 685
 Рубальская 649
 Рубальский 649
 Рубини Дж. 359, 395 – 396
 Рубинштейн Н.Г. 550 – 551
 Рудини А.С. 104 – 105, 257, 337
 Рудольф, принц 389
 Русполи Э. 158, 214 – 216, 420
 Руссо В. 507
 Рутелли М. 302, 419, 421
 Рюи В. 81
 Рюкер Ф. 48, 51
 Саблье, студент 81
 Савина М.Г. 370, 529, 571
 Савуа, проводник 391
 Садовский Н.К. 624, 649
 Сакки, депутат 471, 487 – 488
 Саксаганский П.К. 624
 Саландра А. 263
 Салов И.А. 297
 Сальвини Г. 141, 149, 403, 405, 430, 718
 Сальвини Т. 318, 352
 Салустри К.А. (Trilussa) 439, 484
 Сапельников Я.В. 551, 584 – 585
 Саракко Дж. 330 – 331, 359, 395, 415 – 418, 426
 Сарду В. 113, 248, 373
 Саредо, сенатор 509
 Сведомский А.А. 95 – 97, 472
 Сведомский П.А. 95 – 96, 472
 Селла Э. 306 – 307, 332 – 334
 Семирадский Г.И. 178 – 184
 Сенкевич Г. 182, 264, 292, 297, 645
 Серао М. 293, 509, 591, 616
 Серра Э. 299
 Сикорский И.А. 712 – 714
 Сильвестри А. 324
 Синополи П.Дж. 510
 Скабичевский А.М. 728
 Скарфольо Э. 589, 616
 Сквитти, профессор 257 – 258
 Скуратов, актер 356
 Славина М.А. 370
 Словацкий Ю. 656
 Смирновский П.В. 552
 Соколовский 662
 Соловцов Н.Н. 355, 462, 521, 571, 641
 Соловьев В.С. 669 – 670
 Соломон, царь 38 – 42
 Сомеда Д. 299
 Соннино С. 220, 252 – 253, 276, 395, 415 – 417, 425, 445, 457 – 459, 470 – 471, 479, 486 – 487, 494, 496
 Софокл 658
 Спадони, скульптор 300
 Станиславский К.С. 584, 679
 Старицкий М.П. 657
 Стеккетти Л. (псевд. О. Гуеррини) 105 – 106, 136, 144, 168, 293, 565
 Степанов А.С. 108 – 109, 472
 Стокен, машинист 391, 393
 Стратико, студент 258 – 259
 Суворин А.С. 677
 Таманти, певица 549, 555, 568
 Тартини Дж. 462
 Тассо Т. 413, 449, 455
 Твен М. 277
 Тегами М. 484
 Текельи, семейство 76
 Тимковский Н.И. 36
 Тиццан В. 413
 Толстой Л.Н. 32, 176, 182, 184, 290 – 292, 297, 334, 440, 675
 Томге, фехтовальщик 482
 Торлония Л. 420
 Торниелли Жд. 156
 Тразелли, баронесса 628, 630
 Трарье Л. 84
 Трилусса см. Салустри
 Турати Ф. 145, 218 – 220, 251, 268 – 269, 277, 283, 329, 350, 363 – 364, 487, 493, 496 – 497, 610 – 611
 Тургенев И.С. 184, 290, 321, 472, 675
 Туринский, граф 481 – 482
 Тютчев Ф.И. 166
 Уайльд О. 285
 Умберто I 111, 123, 147, 214, 243, 245, 251, 257, 278, 335 – 339, 341 – 348, 350 – 351, 407, 443, 459, 482
 Успенский Г.И. 106
 Фави см. Фавье
 Фавье П.-М.-А. 380 – 381, 447
 Фальбо К. 142
 Фальки С. 462 – 464

- Федоров А.М. 461, 500, 581 – 584, 681
Феличе-Джуффрида *см.* де Феличе-Джуффрида Дж.
Феокрит, поэт 188
Фердинанд II 238
Ферраиоли, певец 575
Феррари Дж. 300
Феррари П. 287, 293
Ферреро Г. 458
Ферри Э. 146, 273, 277, 283, 290, 322, 363 – 364, 416, 426, 431, 444, 486, 492
Феруйе, проводник 391
Фет А.А. 34
Финали, член Госсовета 395
Флерес У. 462
Флоринский Т.Д. 657
Фогаццаро А. 185, 293
Фоддан *см.* Ибн Фоддан
Фонтана Дж. 224
Фор С. 147
Фор Ф.Ф. 156
Фортис А. (ошибочно Кортис) 156
Фосс А.Г. 617
Франц Иосиф 77 – 78, 389
Франциск II 508
Франческелло *см.* Франциск II
Фраскара Дж. 485
Фратти А. 323
Фрина, гетера 95
Фульвия 96 – 97
Фульчи, депутат 415 – 417
Хименес Э. 348
Хоц К.Л. 76
Хронос 108
Цаккони *см.* Дзаккони
Цвингли У. 52
Цезарь Ю. 126
Церетели А.А. 694 – 695, 703
Цицерон М.Т. 96, 616
Чайковский П.И. 550, 574, 584
Чанкеттини Т.Л. 483 – 484
Чезаре *см.* де Чезаре
Чеккарелли, сообщник преступника 294
Ченчи Б. 187 – 188
Черутти, ректор 444
Чехов А.П. 184, 293, 316, 461, 472, 582, 584, 675, 677 – 679, 681, 684 – 686, 728 – 729
Чечони А. 302
Чимароза Д. 397
Чирмен, депутат 444
Шамиссо А. фон 563
Шекспир У. 149, 270, 288, 319, 626, 659, 724
Шелли П.Б. 144
Шерер-Кестнер Ж. 84
Шиллер И.К.Ф. 77, 353, 615, 643
Шияборский, актер 649
Шнаге М. 643, 649
Шовэ К. 305
Шопен Ф. 130, 585
Штук Ф. фон 299
Штыхнов, домовладелец 649 – 651
Шувалов И.М. 355 – 356, 541
Шульц И. 635
Шуман Р. 585
Шуткевич, автор пьесы 648
Экар Ж.-Ф. 141, 403
Эмар Г. 32
Эммануэль Дж. 405, 430, 446
Эртель Б. 127 – 128
Эффрена С. *см.* Д'Аннунцио Г.
Эчена Х. 299
Южин Д.Х. 694, 722, 724
Янкель, музыкант 183
Cap. Porta 31
Frustino, автор серенады 164
Heusch *см.* Гейш 457
Niceron P. 31
Nicóla *см.* Никола I
Pezzana *см.* Пеццана-Гвальтьери
Rastignac *см.* Морель
Somedá *см.* Сомеда Д.
Trithemius J. 31
Venaruba P. 278
Veruda *см.* Веруда У.
Vignere (Vigenére) B. de 31

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
Л. Кацис. Жаботинский-публицист	6
Проза. Публицистика. Корреспонденции. 1897—1901	25
Примечания	744
Алфавитный указатель имен, применяемых В. Жаботинским	800

Художественное издание

Жаботинский Владимир (Зеев)
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ
в двух книгах
книга 1

Художник обложки	<i>М. Драко</i>
Художественный и технический редактор	<i>Г. Емел</i>
Корректор	<i>М. Ходыко</i>
Компьютерная верстка	<i>Т. Пришепова</i>

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.11.2008.

Формат 60x90^{1/16}. Гарнитура Балтика. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 50,5. Тираж 2000 экз. (1-й завод 1000 экз.) Зак.

ООО «МЕТ». ЛИ № 02330/0056902 от 1.04.2004 г.
220029, Минск, ул. Киселева, 20.

Отпечатано в ПРУП «Минская фабрика цветной печати».
ЛП 02330/0056853 от 30.04.2004 г.
220024, г. Минск, ул. Корженевского, 20.

ISBN 978-985-436-571-8



9 789854 365718